



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

P Slav. 176. 25

Bd. Dec. 1887.



Harvard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

(Class of 1828).

28 Sept. - 26 Oct., 1887.

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ВУРЦЛАНДЪ

SEP 23 1887

LIBRARY

ИСТОРИИ-ПОЛИТИКИ.

ЛІТЕРАТУРЪ.

ДВАДЦАТЬ-ВТОРОЙ ГОДЪ.—КНИГА 9-я.

СЕНТЯБРЬ, 1887.

ПЕТЕРБУРГЪ.

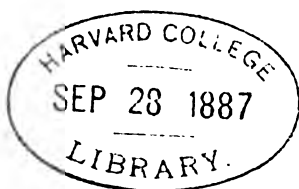
КНИГА 9-Я. — СЕНТЯБРЬ, 1887.

Стр.

I.—ТЕОРИЯ.—Поэтика.—VI-XI.—В. Дмитриевой.	5
II.—ИЗЪ АВТОБИОГРАФИИ.—I.—М. М. Антокольского.	68
III.—СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА ВОРОНЦОВЫХЪ.—Окончаніе.—IV.—А. Г. Брикнера.	109
IV.—П. Н. КУДРЯВЦЕВЪ, ВЪ ЕГО УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ТРУДАХЪ.— I.—В. Н. Герье.	146
V.—ТИПЪ ФАУСТА ВЪ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.—Очерки.—III.—М. Ф-ть.	189
VI.—СТЕЛЛА.—Романъ въ двухъ частяхъ, писанъ Брэддонъ. — Съ англійскаго.— Часть вторая.—V-XI.—А. Э.	228
VII.—НАКАПУНЪ ПУШКИНА.—Сочиненіа К. Н. Батышкова, со статьей о жизни и сочиненіяхъ Батышкова, написанною Л. Н. Майковымъ, и прикѣпленіями, составленными имъ же и В. Н. Сантовимъ.—А. В. Пыпина.	273
VIII.—СТАРЫЙ ДРУГЪ.—Романъ.—I-XXII.—І. Ясинскаго	312
IX.—ХРОНИКА — ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ. — Ограниченіе пріема въ гимназіи и прогимназіи: министерское распоряженіе 18-го іюля и циркуляръ попе- чителя одесскаго учебнаго округа. — Тѣсная связь между этими мѣрами и новыми университетскими правилами.—Вопросъ о сосредоточеніи первоначальнаго народнаго образованія въ рукахъ одного вѣдомства. — Сельская медицина въ западныхъ губерніяхъ.—Новая желѣзно-дорожная политика	371
X.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. — Австро-германскій союзъ и его значеніе.— Свиданіе императоровъ въ Гаштейнѣ.—Восточная политика Австріи, въ связи съ условіями союза двухъ имперій.—Причины разногласій между Вѣною и Берлиномъ по поводу балканскихъ дѣлъ.—Предпріятіе принца Кобургскаго въ Болгаріи.—Отношенія великихъ державъ къ болгарскимъ событіямъ.— Трудность практическихъ мѣръ для охраны берлинскаго трактата.—Проекты вмѣшательства безъ оккупации.—Дѣла внутренняго примиренія во Франціи и въ Италіи.	393
XI.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Дѣтскія игры, преимущественно русскія, въ связи съ исторіей, этнографіей, педагогіей и гигиеной. Е. Попровскаго.— Слово о Полю Игоревѣ, какъ художественный памятникъ кievской дружины и Руси. Исслѣдованіе Е. Барсова.—А. П.—К. Головинъ, Сельская община въ литературѣ и дѣятельности. — К. К.—Дренинъ и современныя со- фисты, Функъ-Брентапо, переводъ Я. Новичаго.—Л. С.	408
XII.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ. — Свобода сужденій объ умершихъ; ея необходимость, ея границы.—Обзоръ журнальной дѣятельности М. Н. Кат- кова.—Его нетерпимость; неопредѣленность его положительной программы, недостатки его отрицанія.—Настроеніе, созданное „Московскими Вѣдомо- стями".—Отношеніе ихъ къ вопросу объ овражкахъ.—Значеніе Каткова для русской печати.—Преемники Каткова.—Церковно-приходскія школы въ пе- тербургской губерніи.	426
XIII.—БИОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ. Стихотворенія С. Я. Надсона, съ портре- томъ, факсимиле и биографическимъ очеркомъ. Изд. К. Т. Солдатенкова.— Философія и выраженіе чувствъ, П. Мантегацца. Пер. Н. Грота и Е. Вербиц- каго.—Артуръ Шопенгауеръ. Лучи свѣта его философіи. Пер. Н. Мара- зуева.—Вл. Мизиневичъ. Петербургское лѣто. Очерки лѣтняго сезона. Лѣт- нія сказки. Дачный романъ.	

ОБЪЯВЛЕНІЯ см. ниже: XVI стр.

Объявленіе объ изданіи журнала „Вѣстникъ Европы" въ 1888 г. см. ниже, на оберткѣ.

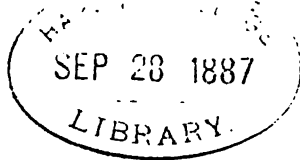


ВѢСТНИКЪ

Е В Р О П Ы

ДВАДЦАТЬ-ВТОРОЙ ГОДЪ. — ТОМЪ V.

ГОДЪ LI. — ТОМЪ CXXI. — 1/4 СЕНТЯБРЯ, 1887.



ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

27-429

ИСТОРИИ — ПОЛИТИКИ — ЛИТЕРАТУРЫ

СТО-ДВАДЦАТЬ-СЕДЬМОЙ ТОМЪ

ДВАДЦАТЬ-ВТОРОЙ ГОДЪ

ТОМЪ V

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала:
на Васильевскомъ Острове, 2-я линія,
№ 7.

Экспедиція журнала:
на Вас. Остр., Академич. переулокъ
№ 7.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ

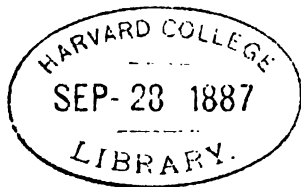
1887

P Slav 176-25
~~Slav 3012~~

1887, Sept. 28 - Oct. 26.

Koinot fund.





ТЮРЬМА

ПОВѢСТЬ.

„Людей губить тѣснота, неестественная
жизнь, праздность, преступное отчужденіе
отъ всеобщихъ интересовъ, преступный
холодъ ко всему человѣческому“...

Г—нъ.

VI *).

Было начало декабря. Съ утра несла мятель, заволакивая всю даль молочно-бѣлою, движущеюся завѣсой. На улицахъ воздвиглись огромные сугробы снѣга, образовавшіе странные холмы, корридоры и навѣсы; съ череви, не переставая, неслись жалобные звуки колокола и, сливаясь со свистомъ вѣтра, безслѣдно затеривались въ пространство, окутанномъ со всѣхъ сторонъ непроницаемымъ снѣжнымъ покровомъ.

Леночка нѣсколько уже разъ, по приказанію отца, выбѣгала на крыльцо посмотрѣть — не перестала ли погода, и каждый разъ цѣлое облако бѣлаго, мокраго пуху залѣпляло ей глаза. Съ любопытствомъ вглядывалась Леночка въ мутное небо, и странная мысль приходила ей въ голову... Ей хотѣлось, чтобы снѣжный вихрь подхватилъ ее въ свою танцующую стаю и унесъ бы ее далеко-далеко...

Стемнѣло; въ комнатахъ зажгли свѣчи. Антонъ Кирилычъ сидѣлъ въ залѣ и раскладывалъ неизмѣнный пасьянсъ; Ольга Ивановна, по обыкновенію, прилегла „отдохнуть“, и ея могучій храпъ потрясалъ мирныя стѣны домика, вызывая со стороны Антона Кирилыча обычное восклицаніе:

*) См. выше: августъ, 543 стр.

— Дорвалась! Захрапѣла! Ишь, какъ выводить, матушка, носомъ-то, что твоя валторна! Отдыхаетъ! А спроси: чтѣ дѣлала день-деньской? Ничего... И во что спать, подумаешь,—удивительно даже...

Леночка сидѣла въ дядиной комнатѣ и выпивала по канѣ какую-то безконечно-надоѣвшую ей подушку, предназначенную быть поднесенной отцу, въ видѣ сюрприза, въ день его именинъ. Но ей не хотѣлось выпивать; она скучала и разсѣянно прислушивалась къ пѣнію сверчка за печкой, вторившему глухому гулу разгулявшейся вьюги.

Антонъ Кирилычъ разложилъ всѣ свои любимыя пасьянсы и уже подумывалъ объ ужинѣ, какъ вдругъ, сквозь шумъ и вой мятели на улицѣ, послышался сначала захлебывающійся звонъ колокольчика, какіе-то крики, заглушаемые порывами вѣтра, и, наконецъ, торопливые стуки въ ворота, смутный говоръ и шаги.

— Кого это несетъ, на ночь глядя? — заворчалъ Антонъ Кирилычъ, подымаясь. — Вѣрно съ пути какіе-нибудь сбились. Лена, поди, скажи Абраму или Терехѣ, чтобы поглядѣли, кто это?

Но Лена уже давно была на крыльцѣ; неопредѣленное предчувствіе кипѣло въ ея груди... Между тѣмъ Тереха съ трудомъ отворилъ занесенныя снѣгомъ ворота. Гремя бубенчиками и колокольцами, на дворъ вѣхала лихая ямщицкая тройка, запряженная въ большія сани, обитыя ковромъ. Изъ нихъ выскочилъ, весь обсыпанный снѣгомъ, закрученный вьюгою, Діодоръ, быстро вбѣжалъ на крыльцо, потомъ въ сѣни, настѣжъ отворилъ двери въ комнаты и, не раздѣваясь, ворвался въ залу, на порогъ которой уже стоялъ и ждалъ его Антонъ Кирилычъ.

Нѣсколько минутъ гость и хозяинъ молча смотрѣли другъ на друга. Діодоръ первый прервалъ тягостное молчаніе. Онъ вдругъ захохоталъ и протянулъ зятю руку.

— Чтѣ? Не узнали? Не ждали сокола? — проговорилъ онъ между смѣхомъ.

— Какъ не узнать, узналъ, — угрюмо отвѣчалъ Антонъ Кирилычъ, нѣхотя прикасаясь къ протянутой ему рукѣ.

Но Діодоръ уже не слушалъ его. Все еще не раздѣваясь, онъ прошелъ въ свою бывшую комнату и, увидѣвъ у пальецъ испуганную и обрадованную Лену, бросился къ ней.

— Наконецъ-то!.. — прошепталъ онъ взволнованно, схватывая ее за руки и напряженно вглядываясь въ ея личико, ярко освѣщенное лампой. — Вотъ и ты... Все такая же... худенькая, блѣдненькая... но ужасно милая, добрая... Ну вотъ... Я пришелъ къ

тебѣ, наконецъ... Какъ долго я мечталъ объ этой минутѣ... и вотъ... Ты ждала меня, да?

Тутъ онъ совершенно неожиданно бросился предъ нею на колѣни и началъ цѣловать холодныя ручки Леночки. Тутъ только она замѣтила, что отъ него пахло виномъ, и сердечко ея почему-то больно сжалось.

— Дядя Додя, что съ тобою?—проговорила она едва слышно.

Діодоръ поднялъ голову, взглянулъ ей въ лицо и усмѣхнулся.

— Я радъ...—проговорилъ онъ и, вставъ на ноги, вышелъ въ залу. Леночка послѣдовала за нимъ.

На встрѣчу Діодору уже бѣжала съ восклицаніями мать. Діодоръ крѣпко обнялъ и поцѣловалъ ея облитое слезами лицо. Потомъ вышла заспанная Ольга Ивановна и церемонно поздоровалась съ „братцемъ“. Въ то время, когда шли хлопоты объ ужинѣ и самоварѣ, Діодоръ опять подошелъ къ Антону Кирилычу, хмуро раскладывавшему пасьянсъ.

— Что вы хмуритесь?—спросилъ его Діодоръ и залился веселымъ, раскатыстымъ смѣхомъ.—Вы, можетъ быть, думаете, что я опять на вашу шею засѣсть пріѣхалъ. Спѣшу васъ успокоить,—нѣтъ! Не бойтесь! Я пріѣхалъ съ вами расплатиться за прошлое. Вотъ... получайте!..

Онъ порылся въ карманахъ своего сюртука и выбросилъ на столъ цѣлую кучу помятыхъ радужныхъ бумажекъ. Одна изъ нихъ отъ порывистаго движенія попала прямо въ лицо Антона Кирилыча. Старикъ обидѣлся и отстранился.

— А ты не очень бросайся-то...—проворчалъ онъ.—За хлѣбъ-соль эдакъ не платятъ...

— Получайте, пока есть! Вотъ вамъ... еще... еще... ха-ха-ха! Берите! Все возьмите! На-те! Тутъ вамъ и впередъ, ежели когда опять вздумаю къ вамъ. Ха-ха-ха!—Говоря такъ и пересыпая слова свои смѣхомъ, Діодоръ выворачивалъ всѣ свои карманы и вышвыривалъ на столъ смятыя бумажки, серебро, мелочь. Мѣдныя деньги съ грохотомъ звенѣли по столу; гривенники и двугривенные звенѣли, катились по столу, сыпались на полъ, а Діодоръ все хохоталъ, любуясь на оторопѣвшаго Антона Кирилыча.

— Что? Много? — спрашивалъ онъ.—Ничего... берите. Не бойтесь, не враненныя и не фальшивыя. Честныя деньги, трудовыя... Ха-ха-ха...

Опорожнивъ свои карманы, Діодоръ, наконецъ, усталъ хохотать, присѣлъ къ столу и задумался. Воцарилось молчаніе. Антонъ Кирилычъ искоса поглядывалъ на разбросанныя на столѣ и по полу деньги, какъ бы опредѣляя, сколько тутъ приближи-

тельно будетъ? Видно было, что ему страстно хотѣлось ихъ собрать, и въ то же время онъ совѣстился, не рѣшался: гордость не позволяла.

Лена стояла, прижавшись въ уголку, и наблюдала за всею этой странной сценой. Она была въ восторгѣ; она, не отрывая глазъ, любовалась дядей. Такимъ она еще никогда его не видала; онъ совсѣмъ не похожъ былъ на того блѣднолицаго, робкаго студента, который боязливо ласкалъ ее у себя на волѣнкахъ и попотомъ напѣвалъ ей забавныя пѣсни подъ сдержанный аккомпаниментъ гитары. *Этотъ* дядя глядѣлъ смѣло и прямо, говорилъ громко и ничего не боялся. Наружность его также сильно измѣнилась. Волосы его не падали теперь по плечамъ длинными кудрями, какъ у геттингенскаго мечтателя—Ленскаго, а густыми короткими прядями были разметаны надо лбомъ. Традиціонная студенческая борода также исчезла. Онъ былъ гладко выбритъ, и это придавало особую выразительность его крупнымъ чертамъ, и въ то же время дѣлало его чрезвычайно моложавымъ. Борода не скрывала теперь ни одной строго-правильной линіи его лица, и профиль его напоминалъ теперь тѣ мужественные, словно изъ стали и желѣза отлитые, профили, которые сохранились на древнихъ римскихъ камняхъ. Только очертанія губъ сохранили свою мягкость и нѣжность и напоминали прежняго добродушно-стыдливаго, застѣнчиваго студента.

Въ передней кто-то зашевелился; Антонъ Кирилычъ вздрогнулъ и, не вытерпѣвъ, поспѣшилъ набросить газету на кучку денегъ, лежавшую на столѣ. Это движеніе вывело изъ задумчивости Діодора и заставило его снова расхохотаться.

— Да что вы ихъ не спрячете?—воскликнулъ онъ, вставая.— Не стѣсняйтесь, пожалуйста... Однако, что же это? Пріѣхалъ я къ вамъ въ гости, а вы меня ничѣмъ и не угощаете?

— Чѣмъ же угощать? Вотъ сейчасъ ужинъ будетъ.

— Ужинъ ужиномъ, а прежде не мѣшало бы выпить водки, вина, коньяку что-ли...

— У меня не кабакъ,—неосторожно замѣтилъ Антонъ Кирилычъ.

Діодоръ поблѣднѣлъ и грозно сдвинулъ брови.

— Послушайте, Антонъ Кирилычъ!—произнесъ онъ, каждое слово свое сопровождая ударомъ кулака о столъ.— Не смѣйте издѣваться надо мною! Предупреждаю васъ, что теперь не прежнія времена, и я молчать предъ вами не стану. Я не мальчишъ, Антонъ Кирилычъ, и не позволю себя оскорблять хотя бы самому

чорту! Слышите вы это? Ну, и воздержитесь, иначе я за себя не отвѣчаю...

— Что ты шумишь?—возразилъ Антонъ Кирилычъ.—Пріѣхалъ въ гости, а бузнишь и грозишь. Я у себя въ домѣ этого не позволю; какъ разъ прибѣжу вывести...

Діодоръ весь вспыхнулъ и сдѣлалъ движеніе впередъ... Антонъ Кирилычъ замѣтно струсилъ и защитился рукою, словно ожидая удара. Этотъ жестъ привелъ Діодора въ себя, и онъ весело расхохотался.

— Боже мой!—обратился онъ къ старику.—Да неужели вы думали, что я васъ побью? Не беспокойтесь, до этого не дошло еще и, надѣюсь, никогда не дойдетъ. Діодоръ Ярцевъ никогда не пускалъ въ ходъ кулака и насилія, хотя, признаться, и чесались иногда руки... Однако, вотъ что, Антонъ Кирилычъ: неужели мы съ вами даже одного дня не можемъ прожить мирно подъ одной крышей? Знаю, что вы меня ненавидите... но что же дѣлать? Мнѣ такъ хотѣлось повидаться съ матерью и съ сестрой... Леночкой... Вѣдь кромѣ нихъ у меня никого нѣтъ на свѣтѣ...

— Да мнѣ что же...—пробормоталъ присмирѣвшій хозяинъ.—Я не препятствую...

— Ну, и очень радъ! А насчетъ угощенія я самъ распоряжусь сейчасъ. Еще не поздно...

Діодоръ схватилъ первую попавшуюся бумажку и вышелъ въ кухню.

Едва дверь за нимъ затворилась, Антонъ Кирилычъ засуетился и поспѣшно бросился собирать деньги со стола. Руки его тряслись, глаза сверкали, когда онъ подносилъ къ свѣту новенькія шуршащія сотенныя бумажки. Леночка съ отвращеніемъ глядѣла на отца, наконецъ, не вытерпѣла и пошла къ двери.

Антонъ Кирилычъ, услышавъ шорохъ, сначала испугался и прикрылъ руками столъ. Но, увидѣвъ Лену, онъ ободрился и позвалъ ее.

— Ты что тутъ дѣлаешь? Поди-ко, вотъ, помоги мнѣ собрать... покуда этотъ сумасбродъ не воротился.

Но Лена только фыркнула и убѣжала изъ комнаты.

— Обрадовалась! Заступникъ пріѣхалъ!—заворчалъ ей вслѣдъ Антонъ Кирилычъ.—Ну, да вѣдь тебя-то я не боюсь; не посмотрю, что ты полневысты, а прямо разложу, да и выпорю...

Черезъ часъ тихій, молчаливый домикъ стараго управителя преобразился. Безпрестанно отворялись и затворялись двери, во всѣхъ комнатахъ горѣли огни, слышался громкій говоръ и смѣхъ. Въ дядиной комнатѣ, на раскрытомъ ломберномъ столѣ, стояла

цѣлая баттарей бутылокъ. Діодоръ пилъ ужасно много, но не пьянѣлъ, только глаза его становились ярче, да голосъ громче.

Все шло пока мирно; Антонъ Кирилычъ замѣтно ступшевался и старался говорить какъ можно меньше. За ужиномъ чуть было не произошло столеновеніе, но Діодоръ снова расхохотался, и все обошлось благополучно. О себѣ Діодоръ почти ничего не говорилъ, а больше спрашивалъ; съ матерью былъ очень нѣженъ, съ сестрою какъ-то иронически-почтительнень, а съ Леночкой обращался по-товарищески, безпрестанно дѣлая ей гримасы и подмигиванья насчетъ разныхъ смѣшныхъ эпизодовъ во время ужина, чему Леночка много и искренно хохотала. Она была въ возбужденномъ состояніи и съ нетерпѣніемъ ждала минуты, когда можно было поговорить съ дядей наединѣ.

Послѣ ужина Антонъ Кирилычъ поспѣшилъ уйти въ свой кабинетъ, вызвавъ за собою жену.

— Уложите его поскорѣе!—приказалъ онъ имъ шопотомъ.—Вѣдь онъ пьянъ, какъ стелька, и, пожалуй, буянить будетъ. Уговорите его какъ-нибудь...

— Діодоруха! — робко заговорила мать, выходя въ залу, гдѣ сынъ еще сидѣлъ за бутылкой вина.—Ты бы легъ; тебѣ ужъ и постель постлана въ твоей комнатѣ. Двѣнадцатый часъ...

— Да, братецъ, тебѣ бы лечь лучше,—заискивающе прибавила Ольга Ивановна.—Ты, небось, съ дороги-то приусталъ,—надо и отдохнуть!

Діодоръ понялъ ихъ намѣренія и опасенія; это его разсмѣшило.

— Спасибо, спасибо, сестрица!—проговорилъ онъ насмѣшливо въ тонъ сестрѣ и лукаво подмигивая не отходившей отъ него Леночкѣ.—Только напрасно беспокоитесь,—я спать всю ночь не стану; хорошо, Леночка? Мы вотъ съ нею бесѣдовать будемъ, старину вспоминать... Бери, Лена, свѣчку, пойдемъ, братъ, съ тобою въ нашу обитель... А вы спите, — мы вамъ мѣшать не будемъ. Мамаша, и вы идите, я съ вами завтра обо всемъ потолкую. Спокойной ночи!

Съ этими словами Діодоръ захватилъ со стола свѣчку и пошелъ въ свою комнату. Лена послѣдовала за нимъ. Марья Филипповна съ безпокойствомъ проводила ихъ глазами и, вздохнувъ, принялась убирать со стола, стараясь дѣлать это какъ можно тише. Потомъ прислушалась у Діодоровой двери,—тамъ шелъ тихій, мирный разговоръ. Тогда только старушка успокоилась и пошла въ свою спальню, гдѣ долго и горячо молилась, прежде чѣмъ лечь въ постель.

Между тѣмъ Діодоръ, оставшись съ Леночкой вдвоемъ, поставилъ свѣчи на столъ, придвинулъ его ближе къ дивану и позвалъ Леночку къ себѣ поближе.

— Ну, поди ко мнѣ, Ленокъ, еще разъ здравствуй!—мягко заговорилъ онъ. — Садись ко мнѣ на колѣни, помнишь, какъ бывало? Вотъ такъ... теперь поговоримъ. Разсказывай, что тутъ у васъ безъ меня было. Что баушка-Федосья? Какъ поживаетъ почтеннѣйшая сестрица Прасковья Петровна? Все, все разсказывай...

Говоря это, онъ нѣжно проводилъ рукою по Леночкиной головѣ. Но Леночка вдругъ вся вспыхнула, тихонько освободилась изъ дядиныхъ объятій и отошла въ сторону. Діодоръ обратилъ на это мало вниманія и продолжалъ:

— А Володька? Слышалъ, слышалъ я про него... По хорошей торной дорожкѣ пошелъ.—Онъ засмѣялся жесткимъ смѣхомъ и отпилъ изъ стакана, стоявшаго передъ нимъ.

— Да, Лена, Володька твой не пропадетъ, не собьется съ пути, какъ мы, грѣшные. Такимъ и ворота настежъ открыты, и всѣ книги въ руки. Они—пшеница, а мы—плевелы... Что же, конечно... а все-таки горько, обидно... Ну, мы ошибались, заблуждались, мы не поняли,—но за что же такъ жестоко, безжалостно?... Выбросили, растоптали ногами, переломили пополамъ всю жизнь... отъ всего отстранили... А вѣдь, можетъ быть, и мы бы на что-нибудь пригодились... Впрочемъ, что объ этомъ?—перебилъ самъ себя Діодоръ, обращаясь къ Леночкѣ.—И то сказать: „ежели всѣ сочинять будутъ, то кто же переписывать-то станетъ?“, какъ говорилъ Макарь Дѣвушкинъ у Достоевскаго. Надо же кому-нибудь идти за колесницей триумфатора... Леночка, ты, мой голубчикъ, можетъ быть, не поймешь меня? Но нѣтъ, поймешь, я въ этомъ увѣренъ... Я знаю, какая у тебя головка и какое хорошее, сочувственное сердечко... У меня во всемъ мірѣ нѣтъ другого такого друга и товарища, какъ ты; вотъ почему я съ тобой такъ и говорю. Я и пришелъ къ тебѣ затѣмъ, чтобы отвести свою душу. Ты, можетъ быть, думала, что я забылъ тебя, не думалъ о тебѣ? О, какъ еще думалъ и тосковалъ по временамъ... Въ минуты обидъ, въ минуты жестокихъ разочарованій и невыплаканныхъ душевныхъ слезъ, раздиравшихъ мое сердце, я помнилъ тебя и летѣлъ къ тебѣ мысленно, Лена! Знать, что тамъ, гдѣ-то далеко, за синимъ Карамышемъ, въ дремучей Тюрьмѣ, есть маленькое любящее сердечко, сочувствующее тебѣ... Это меня утѣшало, воскрешало мои упавшія силы. Я ободрялся, я чувствовалъ, что не одинъ, и начиналъ вѣрить въ себя, въ свой талантъ и свое

счастье... А какъ тяжело бывало мнѣ, Леночка! Ухъ, какъ горько и тяжело! Люди ужасно злы и несправедливы,—бойся людей, Леночка! Не даромъ какой-то мудрецъ сказалъ, что человѣкъ—животное „злое по преимуществу“. А какъ я любилъ ихъ... да, признаться, и теперь люблю! Мнѣ не столько обидно было переносить ихъ оскорбленія, сколько разочаровываться въ своихъ юношескихъ надеждахъ. Я стремился къ людямъ, какъ къ братьямъ, я раскрывалъ имъ объятія, а они плевали и заушали меня. Впрочемъ, не я первый, не я послѣдній пью чашу сію... А моя первая любовь... Они и ее оскорбили, растоптали, смѣшали съ грязью. А какое это было, Леночка, чистое, нѣжное, благоухающее чувство... Ахъ, я не могу тебѣ даже передать этого! Чтѣ-то такое невыразимо прекрасное, свѣтлое, отчего и теперь, при одномъ воспоминаніи, въ душѣ у меня словно розы расцвѣтаютъ... Она была швейцарка; ей едва-едва только сравнялось 16 лѣтъ, когда она должна была покинуть свои чудныя горы, гремяція водопадами, блистающія дѣвственно-бѣлоснѣжными покровами своихъ вершинъ, и пріѣхала въ Россію „добывать хлѣбъ“ въ качествѣ бонны. А какая она была бонна! Ей самой еще нужны были няньки... Она была невинна, какъ снѣгъ Юнгфрау, и такъ же нѣжна, какъ альпійская роза... Ее и звали Розою. Я познакомился съ нею въ городскомъ саду, куда она водила гулять своихъ питомцевъ,—двухъ весьма избалованныхъ сыновъ предводителя дворянства. Дѣти страшно ее мучили, такъ что часто я заставлялъ ее всю въ слезахъ. Сердце у меня разрывалось, когда я видѣлъ это несчастное, обиженное дитя, такъ прекрасное въ своемъ одиночествѣ. Я уже и тогда любилъ ее, и каждый день ходилъ въ садъ взглянуть на нее. Однажды мнѣ удалось оказать ей маленькую услугу; мы разговорились. Она совсѣмъ не знала русскаго языка, а я хотя и плохо говорю по-французски, но мы какъ-то сразу стали понимать другъ друга. Съ дѣтскою довѣрчивостью она прильнула ко мнѣ всей душою: можетъ быть, я былъ первый, который на чужбинѣ по-братски протянулъ ей руку и заговорилъ съ нею не какъ съ хорошенькой бонной, а какъ съ человѣкомъ. Мы полюбили другъ друга. Сколько у насъ было плановъ, надеждъ, сколько счастливыхъ минутъ мы съ нею скоротали! Она пѣла мнѣ свои горныя мелодіи, въ которыхъ, казалось, отражалось серебряное журчаніе горныхъ ручейковъ, шорохъ скатывающихся по склонамъ лавинъ, звонъ колокольчиковъ на шеяхъ козъ, трели пастушьего рожка... Она такъ мило называла меня своимъ спасителемъ—„mon sauveur“... И я спасъ бы ее, князь, унесъ бы ее на своихъ рукахъ на край свѣта, но... я

тогда былъ нищимъ Пѣшаго базара и не было у меня ни одного пѣнязя, чтобы купить вѣнецъ своей царицѣ. И двуногіе шакалы безжалостно растерзали мою голубицу, измяли и растоптали мою едва распустившуюся альпійскую розу... Незадолго до знакомства съ Розой, одинъ мой товарищъ, такой же скиталецъ, какъ я, уѣхалъ въ Сибирь искать счастья. Я уже думалъ, что онъ погибъ въ своихъ бесплодныхъ поискахъ, какъ вдругъ неожиданно получаю отъ него письмо. Зоветъ къ себѣ, сулитъ горы золота... Я рѣшилъ ѣхать. Роза обливалась слезами; я хотя и утѣшалъ ее, обѣщаясь пріѣхать за нею, какъ только устроюсь, но сердце у меня ныло. Страшно мнѣ было оставлять этого ребенка на произволъ судьбы. Предчувствія мои оправдались. Когда я возвратился, Роза моя сидѣла въ тюрьмѣ. Она будто бы убила своего собственного ребенка,—ха! А развѣ она сама не была убита?.. но ея невѣдомый убійца спокойно гулялъ себѣ на свободѣ... Разумѣется, Розу оправдали, осудить ее было бы чудовищно. Я ждалъ этой минуты съ нетерпѣніемъ, чтобы скорѣе имѣть возможность утѣшить, приласкать обиженного ребенка. Но Роза не вынесла своего позора; выходя изъ суда и увидѣвъ меня, она вся задрожала и упала въ обморокъ. А черезъ два дня ее не было на свѣтѣ,—она отравилась спичками. Съ этихъ поръ, Леночка, я сталъ пить...

Діодоръ на минуту смолкъ. Потомъ допилъ свой стаканъ и продолжалъ, вперивъ свой неподвижный сверкающій взоръ въ пространство:

— Но у меня оставался еще талантъ. Въ немъ сосредоточилось для меня все: и любовь, и дружба, и цѣль жизни. Я вѣрилъ въ него, лелѣялъ его, какъ любимое дитя. Работалъ надъ нимъ, обтачивалъ и шлифовалъ... Мнѣ хотѣлось сдѣлать изъ него колоссальное огниво, которымъ я могъ бы высѣкать искры божественнаго огня изъ самыхъ безчувственныхъ людей. Я хотѣлъ заставить содрогнуться отъ тоски самое зачерствѣвшее сердце, хотѣлъ вызвать цѣлые потоки слезъ изъ никогда не плакавшихъ глазъ. Но хотя меня встрѣтили рукоплесканіями, хотя мнѣ удавалось уловить со сцены общій вздохъ тысячи грудей, въ то время, когда, среди трепетной тишины, властительно гремѣлъ мой одинокій голосъ,—но я все-таки былъ недоволенъ. Измученный, потрясенный, я падалъ послѣ монолога гдѣ-нибудь за кулисами, на кучѣ сваленныхъ декораций, и шепталъ: „не то, не то“... Эта мысль отравляла все мое существованіе, не давала мнѣ покою ни днемъ, ни ночью, преслѣдовала меня и во снѣ, и на яву. Иногда она являлась мнѣ на сценѣ, въ то время, когда я исполнялъ

любимую роль, и я вдругъ становился холоденъ и спѣшилъ скорѣе докончить пламенно начатый монологъ. Можетъ быть, я и ошибался... но я никогда не чувствовалъ себя удовлетвореннымъ, никогда душа моя не наполнялась восторгомъ гения, никогда не могъ я сказать себѣ искренно и чистосердечно: „да, это такъ! это хорошо“!..

Діодоръ вдругъ замолкъ и всталъ во весь ростъ. Одной рукою отбросилъ онъ назадъ спутанныя пряди волосъ, другою оперся на столъ и нѣсколько мгновений стоялъ въ раздумьѣ... Но вотъ лицо его смертельно поблѣднѣло, глаза расширились и заблестали, устремленные куда-то вдаль, все лицо преобразилось, и онъ началъ знаменитый монологъ Гамлета: „быть или не быть“... Дойдя до словъ:

Кто снесъ бы бить и посмѣянье вѣка,
Безсилъе правъ, тирановъ притѣсненъе,
Обиды гордаго, забытую любовь,
Презрѣнныхъ душъ презрѣніе къ заслугамъ,
Когда бы могъ насъ подарить новымъ
Одинъ ударъ...

Діодоръ запнулся и, опустившись на стулъ, долго сидѣлъ въ молчаніи, закрывъ лицо руками.

Быть можетъ, еслибы онъ произнесъ этотъ монологъ въ театрѣ, предъ многочисленной публикой, театръ задрожалъ бы отъ рукоплесканій. Но крошечная комнатка, скудно освѣщенная парой свѣчъ, была по прежнему тиха и молчалива. Только за печкой мирно чирикалъ сверчокъ, да за окномъ свистѣла и свирѣпствовала буря, словно цѣлая стая демоновъ носилась въ пространствѣ между небомъ и землей.

Однако у Діодора былъ одинъ сочувствующій зритель,—это Леночка. Прижавшись къ уголку дивана, не освѣщенному свѣчею, она жадно ловила каждое слово, каждое движеніе дяди, не сводя съ него своихъ широко открытыхъ глазъ. Когда онъ читалъ монологъ Гамлета, она вся превратилась въ слухъ, боясь проронить хотя бы одно слово. И или дядя сумѣлъ такъ ярко передать страшную муку человѣческаго духа, заключеннаго въ слабое, безсильное тѣло, или сама Леночка чуткимъ сердцемъ своимъ догадалась объ этихъ мукахъ, но монологъ безсмертнаго датскаго принца глубоко потрясъ дѣвочку. Душа ея не могла вмѣстить внезапно нахлынувшихъ слезъ; бурнымъ потокомъ вырвались онъ наружу и затопили лицо.

Діодоръ не слышалъ ея рыданій. Онъ поднялъ опущенную голову, всталъ и въ задумчивости прошелся по комнатѣ.

— А маркизъ Поза?—началь онъ снова.—Какъ я люблю этого благороднаго, великодушнаго человѣка, смѣлаго рыцаря подѣ девизомъ Любви и Правды, врага всякаго насилія, обмана, лжи! Какъ дрожало во мнѣ сердце, когда я произносилъ его великія слова:

Смѣшная эта страсть нововведеній,
Боторая, цѣпей не разбивая,
Ихъ тяжесть только умножаетъ, мнѣ
Не распаляетъ крови. Вѣкъ тщедушный
Не вызрѣлъ для меня прекрасныхъ идеаловъ;
Я—гражданинъ грядущихъ поколѣній...

— Какая это прелесть, Леночка! Я чувствовалъ, что говорю именно то самое, что есть во мнѣ самомъ, что самъ я когда-то пережилъ и передумалъ. Все это было мнѣ такъ близко, такъ знакомо... вся кровь во мнѣ бурно закипала... Я былъ маркизъ Поза, и маркизъ Поза былъ я. Но минута жаркаго вдохновенія смѣнялась холоднымъ анализомъ, и я опять шепталъ: не то, не то... Нѣтъ, не то!—упавшимъ голосомъ повторилъ Діодоръ, садясь на стулъ.—А если не то, затѣмъ же безплодно тратить скудный запасъ внутренняго огня, отпущенный мнѣ въ даръ природою? Не лучше ли употребить его иначе какъ? Что изъ меня не выйдетъ Гаррика или Ольдриджа,—въ этомъ я теперь глубоко убѣжденъ; простымъ же гаеромъ на потѣху сытой толпы я быть не хочу. Впрочемъ я не сразу сдался. Я попробовалъ „Фауста“; но для этого могучаго генія у меня совсѣмъ не хватило силѣнки. Ты думаешь, я его не понималъ? Въ томъ-то и суть, что понималъ, но никакъ не могъ справиться. Меня еще хватало на одинъ монологъ, но дальше я терялся, запутывался и въ концѣ ослабѣвалъ совсѣмъ. Маркиза Позу я зналъ, какъ свои пять пальцевъ, любилъ его, проникъ во всѣ изгибы его характера, въ самый сокровенный уголокъ его души, и то былъ недоволенъ собою; ну, а предъ Фаустомъ оковчательно пасовалъ. Такъ изъ меня и не вышло Фауста... Тогда я принялся за отечественные типы, за бытовые роли. Но тутъ у меня тоже не пошло. Я даже слова забывалъ на сценѣ. Нужно было изображать Жадова, Несчастливцева, Краснова, а у меня въ глазахъ стоялъ маркизъ Поза. Никакъ не могъ я ролью проникнуться, какъ слѣдуетъ настоящему актеру... Бросилъ. И тутъ, Леночка, я рѣшилъ, что на свѣтѣ есть актеры „только на одну роль“. Въ этой роли они велики, геніальны, даже могутъ прославиться,—ну, а дальше ни-ни... Такъ и я. Есть у меня одна излюбленная роль, съ нею я и останусь. Но сыграть ее мнѣ не придется на сценѣ, да и не стоитъ. Лучше

же, когда придетъ время, сыграть ее въ жизни, хоть одинъ разъ, да не даромъ. Такъ я рѣшилъ, такъ и будетъ... И съ этой мыслью я разстался навсегда со сценой и уѣхалъ опять на прински, въ Сибирь. Но тамъ мнѣ не понравилось: не люблю я золота, Леночка. Оно такъ холодно блеститъ и напоминаетъ мнѣ почему-то яркій взглядъ кровожаднаго звѣря. И тянетъ къ нему, и страшно. Убѣжалъ я и оттуда...

— Леночка!—воскликнулъ вдругъ Діодоръ, замѣтивъ, наконецъ, ея слезы.—Да ты никакъ плачешь, голубчикъ мой? Боже ты мой, ужь не обо мнѣ ли? Оно правда, я жалокъ: вся моя жизнь до сихъ поръ была усиліемъ пигмея овладѣть дубиной Геркулеса. Но это еще ничего, кое-что есть и впереди. Помни, Леночка!—прибавилъ онъ, разсмѣявшись и притягивая ее къ себѣ.—Помни, что я тебѣ сказалъ объ актерахъ на одну роль. Я еще разыграю свою роль когда-нибудь; это меня утѣшаетъ. Можетъ быть, я погибну, какъ погибъ маркизъ Поза, но что же такое? Погибнуть за хорошее, честное дѣло—сладко. Леночка, ты только не забывай меня, ты у меня одна во всемъ мірѣ, и если только я буду что-либо сознавать за гробомъ—меня несказанно утѣшитъ сознание о томъ, что твоя голова думаетъ и помнитъ о своемъ безпутномъ дядѣ.

Когда я умру,—надо мной
Посадите вы вѣу, друзья;
Плачущая вѣа,—прикрой
Ты своими вѣтвями меня...

— Леночка, вотъ тебѣ мой завѣтъ: люби побольше; сильнѣе любви ничего нѣтъ на свѣтѣ. Люби людей и жалѣй ихъ, хотя они и шакалы. Что же дѣлать? въ каждомъ человѣкѣ сидитъ шакалъ. И въ тебѣ, Леночка, сидитъ; вотъ погоди, придетъ время, онъ нѣтъ-нѣтъ, да и защекаетъ зубами. А отчего люди—шакалы? Оттого, что любви мало. А безъ любви нѣтъ и правды, нѣтъ великодушія на прощенье, нѣтъ счастья...

Тутъ вдругъ рѣчь Діодора стала дѣлаться безсвязною, отрывистою; онъ опустилъ голову на столъ и, наконецъ, заснулъ. Леночка долго сидѣла около него, взволнованная, потрясенная исповѣдью дяди, пока, наконецъ, и сама не заснула, крѣпко прижавшись къ плечу Діодора.

VII.

Рано утромъ Леночку разбудили ласковыя слова и поцѣлуи. Она проснулась и увидѣла, что лежитъ на дядиной постели, окутанная его шубой, а дядя, веселый, свѣжій, сидитъ около нея на краешкѣ дивана и смѣется, глядя на нее.

— Ну, что во снѣ видѣла?—спросилъ онъ ее весело.—Бѣдняжка, я вчера тебя измучилъ своими разговорами, прости! Что, небось о маркизѣ Поза говорилъ? Ха-ха-ха!.. Это—мой конекъ. У всѣхъ великихъ людей есть свои слабости, а у маленькихъ ихъ и подавно цѣлая куча. Ну, зато ты теперь мнѣ должна все рассказывать.

Онъ дѣйствительно говорилъ самъ очень мало и только все чему-то смѣялся, рассказывая по комнатѣ и потирая руки. Послѣ чая онъ увелъ Леночку въ свою комнату и принялся разспрашивать ее. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ея разсказа онъ хмурилъ брови, а въ другихъ тихо улыбался и нѣжно гладилъ дѣвочку по головѣ. Когда она кончила, Діодоръ долго рассказывалъ въ молчаливомъ раздумьѣ, изрѣдка взглядывая на Лену, потомъ тихо вышелъ изъ комнаты и направился къ Антону Кирилчу въ кабинетъ.

Лена съ замирающимъ сердцемъ подкралась въ кабинетъ; ей страстно хотѣлось подслушать, о чемъ будутъ говорить. Она догадывалась, что рѣчь пойдетъ о ней, и вся дрожала въ трепетномъ ожиданіи рѣшенія своей участи.

Но дверь была наглухо заперта, и до Леночки только смутно доносился громкій убѣждающій голосъ дяди и недовольное ворчаніе отца.

Разговоръ длился часа два; наконецъ, Діодоръ вышелъ изъ кабинета взволнованный, нахмуренный и, молча, принялся ходить по своей комнатѣ. Леночка ждала.

— Ну, голубчикъ!—обратился къ ней Діодоръ, поймавъ ея тревожный взглядъ.—Не везетъ намъ съ тобою! Просилъ, молилъ твоего папашу, чуть не на колѣняхъ, отдать тебя въ гимназію на мой счетъ,—уперся, кремень эдакій, и ни съ мѣста. Гувернантку, наконецъ, предлагалъ ему нанять для тебя,—не хочетъ. „Не желаю,—говорить,—чтобы моя дочь стриженной дѣвкой была. Пусть лучше безграмотной проживетъ вѣкъ, а то выучится наукамъ разнымъ, и родителей почитать перестанетъ“. Что съ нимъ подѣлаешь? И гдѣ онъ всего этого набрался? Впрочемъ, вѣрно, изъ „Гражда-

нина“ почерпнулъ; я видѣлъ, тамъ у него на столѣ цѣлыя горы лежать этого почтеннаго журнала...

Леночка вся поблѣднѣла.

— Такъ, значить, ты уѣдешь, и я опять одна останусь!.. — вырвался у нея изъ груди отчаянный крикъ.

У Діодора больно сжалось сердце при видѣ этого не-дѣтскаго горя.

— Леночка! — заговорилъ онъ тихо и ласково, подсаживаясь къ ней. — Леночка, я все готовъ сдѣлать для тебя, но какъ? — не знаю. Взять тебя съ собою я не могу; ты видишь, отецъ твой вооруженъ противъ меня, и ни за что не отпуститъ тебя со мною. Остаться здѣсь я, конечно, могъ бы для тебя, но это ни къ чему не поведетъ: я — плохой воспитатель... Я, право, не знаю, чтѣ и дѣлать... Лена, не плачь, милая... Господи, какъ это подло — губить ребенка! Подожди, я опять пойду просить...

И Діодоръ выбѣжалъ изъ комнаты. Леночка горько плакала. Она уже не надѣялась больше, и чудилось ей, что стѣны ея тюрьмы еще тѣснѣе смыкаются вокругъ нея.

Вторичныя просьбы Діодора ни къ чему не повели: Антонъ Кирилъчъ оставался непреклоненъ. Дѣло кончилось ссорой, шумомъ и крикомъ, такъ что Діодоръ даже не пошелъ обѣдать и затворился въ своей комнатѣ. Во время этой бури домашніе всѣ попрятались по угламъ, а Марья Филипповна тихонько плакала въ кухнѣ.

— Безумцы эдакіе! — кричалъ Діодоръ на весь домъ, опрокинувъ стаканъ за стаканомъ. — Неужели они не понимаютъ, что рабы, освободившись, прежде всего жестоко мстятъ своимъ притѣснителямъ? Что тюрьма и невѣжество воспитываютъ злобу и звѣрскія страсти? Боже, да когда же, наконецъ, разобьются совсѣмъ эти проклятыя цѣпи?!

— Ладно! — рычалъ, въ свою очередь, Антонъ Кирилъчъ, сидя въ кабинетѣ. — Ишь ты, раскричался въ чужомъ домѣ, распоряжаться пріѣхалъ! Да не будетъ по твоему, сумасбродъ эдакой! Не пущу свою дочь хвосты трепать по лекціямъ да театрамъ разнымъ, какъ эти стриженные короткохвостки. Чтобы еще въ актрисы пошла, какъ ваша милость, да распутничала всячески... Не будетъ этого — вотъ вамъ мой сказъ!..

Къ вечеру Діодоръ напился мертвецки пьянъ и собрался ѣхать. Тройка, звена колокольчиками, лихо подкатила къ крыльцу. Діодоръ вышелъ, не простившись съ зятемъ. Въ снѣгахъ его поджидала Леночка. Она не чувствовала холода, хотя была въ одномъ платицѣ; она задыхалась отъ рыданій и вся дрожала.

— Прощай, Ленокъ!—обратился къ ней Діодоръ.— Не тоскуй, я скоро опять къ тебѣ вернусь... Чтѣ бы я ни надумать,—я приду къ тебѣ проститься... Куда же мнѣ больше? Ты у меня одна... одна... Ты меня... благословишь...

Рыдая, дѣвочка обвила своими холодными рученками дядину шею и сквозь слезы не переставала лепетать: „дядя Додя, возьми меня съ собой“... Діодоръ плакалъ вмѣстѣ съ нею пьяными слезами. Насилу его усадили въ сани. Но Леночка все еще цѣплялась за него, пока, наконецъ, не гиенуль лихой ямщикъ, приподнявшись на облучей: „ой, вы, соколики!“

Рыная тройка рванулась впередъ, колокольчикъ вздрогнулъ, снѣжная пыль взвилась изъ-подъ копытъ. Лена упала въ снѣгъ, захлебываясь слезами. Когда она поднялась и взглянула на дорогу, то сквозь туманъ слезъ, застилавшій ей глаза, увидѣла только бѣлое облако, крутившееся по селу.

Лена опять осталась одна.

„Теперь уже все кончено для меня,—писала Леночка въ своемъ дневникѣ, спустя нѣсколько времени послѣ отъѣзда дяди. —Вѣрно, никогда не вырвусь я изъ этой тюрьмы. Впрочемъ, мнѣ теперь все равно; всегда, должно быть, такъ бываетъ, когда нечего ждать. Прежде я боялась умереть; бывало, услышишь похоронные перезвоны, и сердце какъ-то замретъ, когда подумаешь, что когда-нибудь и надъ тобою звонить также будутъ, а ты уже ничего не услышишь. А теперь я желала бы умереть. На томъ свѣтѣ все-таки что-нибудь новое будетъ, а здѣсь уже все извѣстно, переизвѣстно. Встанешь утромъ,—бабушка гремитъ посудой, Агаѣя самоваръ несетъ; за чаемъ идетъ разговоръ о томъ, чтѣ готовить на обѣдъ. Послѣ чая садишься за пальцы и вышиваешь, а зачѣмъ и кому это нужно, неизвѣстно... А тамъ обѣдъ: папаша ворчитъ и бранится, что супъ перепрѣлъ и говядина не дожарена; послѣ обѣда всѣ ложатся спать, а я опять сажусь вышивать. А тамъ опять чай, опять ужинъ,—только ѣда и ѣла, разговоры объ ѣдѣ, сонъ,—ничего больше. Бабушка говорить: „всѣ такъ живутъ“,—но, по моему, жить такъ не стоитъ. Да и неправду бабушка говорить: — не всѣ... Пишутъ же въ книжкѣ совсѣмъ другое, да вонъ и дядя — развѣ онъ такъ живетъ, какъ мы? Значить, есть на свѣтѣ другая жизнь, не похожая на нашу. Дядя хотя и говорилъ мнѣ, что несчастливъ былъ, однако же онъ не остался здѣсь, гдѣ все такъ тихо, спокойно, никто не жалуется, бабушка даже гово-

рить: „какого тебѣ, Леночка, еще счастья нужно? нашей жизни всѣ завидуютъ“... И правда,—ѣдимъ, спимъ въ волю; можетъ, это и есть счастье? Отчего же мнѣ такъ скучно и противно все это?

„Дядя говорилъ мнѣ еще, чтобы я всѣхъ любила, что тогда я буду счастлива. Но я никакъ не могу понять,—за что я буду любить папашу, мамашу, Володьку,—и потому мучаюсь еще больше. Какъ это любить всѣхъ одинаково? Вонъ бабушку, дядю, нашу Агаю, Григорія Полубарова, его сестру я люблю, потому что и они меня любятъ. А вотъ Володьку я никакъ не могу полюбить... Господи, ничего-то я не понимаю! какъ я глупа, какой я уродъ! Какъ мнѣ скучно! Лучше умереть“...

Скоро Ленѣ стало еще скучнѣе, — умерла бабушка. Она умерла, какъ солдатъ на полѣ битвы, въ кухнѣ у плиты, приготовляя какое-то любимое кушанье для Володеньки, который въ этотъ день прикатилъ изъ Питера, взявъ отпускъ на двѣ недѣли. Со смертью бабушки, у Лены порвалась послѣдняя связь, соединявшая ее съ семьею. Не съ кѣмъ теперь ей стало хоть изрѣдка подѣлиться своими мыслями, и Леночка дичала все болѣе и болѣе. По цѣлымъ днямъ случалось ей молчать, такъ что, когда отецъ или мать обращались къ ней съ вопросомъ,—она даже не сразу могла отвѣтить, чѣмъ вызывала большое неудовольствіе со стороны родителей.

— И что она молчитъ, какъ истуканъ?—жаловалась Ольга Ивановна.—Слова отъ нея не добьешься. Словно у нея языкъ-то отнялся!

— Дурь на себя напустила!—комментировалъ Антонъ Кирилъчъ.—Въ дяденьку своего выродилась, актерствуетъ! Охъ, дѣвка, и доберусь я до тебя когда-нибудь!

Однако и эти угрозы, которыхъ, впрочемъ, Леночка давно уже перестала бояться, не вызвали въ ней никакой реакціи. Станнымъ, задумчиво-удивленнымъ взглядомъ окидывала она отца, мать, и молча уходила изъ комнаты.

„Чего они отъ меня хотятъ?“ спрашивала она себя, бродя по лѣсу или скользя на лодкѣ по уединеннымъ заливчикамъ Карамыша между двумя зелеными шумящими стѣнами. „Вѣдь ничего я у нихъ не прошу, никому не мѣшаю“...

Бывали, впрочемъ, и теперь минуты, когда Леночку тянуло къ людямъ, и ей страстно желалось чьего-нибудь ласковаго слова, добраго отвѣта на всѣ вопросы, возникавшіе въ ея душѣ среди тишины и безмолвія уединенныхъ прогулокъ. Сердце ея зажигалось огнемъ, душа наполнялась цѣлыми потоками любви, —она готова была всѣхъ обнять и съ жадной лаской взгляды-

валясь въ каждое человеческое лицо, попадавшееся ей на встрѣчу. Но сейчасъ же дикая застѣнчивость сковывала всѣ ея, готовые вырваться наружу, чувства, и она печально отворачивалась.

Къ этому времени относится одно ея странное знакомство.

Однажды къ нимъ зашелъ батюшка; Антонъ Кирилычъ былъ въ духѣ и оставилъ его пить чай. За чаемъ шелъ оживленный разговоръ. Леночка разсѣянно прислушивалась. Но мало по-малу онъ овладѣлъ ея вниманіемъ; она заинтересовалась. Рассказывая о своихъ вѣчныхъ войнахъ съ калугурами и жалуясь на ихъ подвохи, батюшка, между прочимъ, упомянулъ, что на полубаровскомъ пчельникѣ недавно поселился какой-то отшельникъ, въ которому каждое воскресенье стекаются толпы народа, даже и православныхъ, чтобы слушать его поученія; самъ же онъ сидитъ безвыходно на пчельникѣ, носить вериги, питается самою грубою пищей и поэтому считается чуть не за святого.

— Да кто же онъ такой? Откуда?—спросилъ Антонъ Кирилычъ.

— Говорятъ, здѣшній. Зовутъ его Демидомъ. Писарь рассказывалъ мнѣ, что будто бы этотъ самый Демидъ былъ когда-то, давно еще, должно быть, до васъ,—сосланъ за убійство въ Сибирь. Ну, а теперь вотъ возвратился и въ святые попалъ.

— Экіе мерзавцы!—возмутился Антонъ Кирилычъ.—И не понимаю, чего это начальство смотреть. Взять бы этого святого, да...

„Какая гадость!“ подумала Леночка съ отвращеніемъ и, не дослушавъ рекомендуемыхъ отцомъ мѣропріятій, вышла изъ комнаты.

Этимъ же вечеромъ она отправилась къ сестрицѣ Прасковѣ, которая хотя и была уже очень стара, но все еще неутомимо продолжала лечить, ухаживать за больными и спорить съ батюшкою на бесѣдѣ о двуперстномъ знаменіи.

— Давненько, давненько не провѣдывала ты меня, Аленушка!—привѣтствовала Леночку старуха.—Знамо, тебѣ со мною тѣсно; стара я стала, ину пору и не дослышу, и не домекну... Скоро-скоро, Аленушка, закроются мои свѣтлые глазыньки,—чую! Вотъ уже и сестрицушка моя, Марья Филипповна, царство ей небесное, въ могилку улеглась... Охъ, и не видишь, какъ время идетъ; гляди-ка вонъ, и ты уже заневѣстилась. Такъ-то вотъ и смерть придетъ,—не услышишь, не увидишь...

И Прасковья было совсѣмъ пригорюнилась... Но по природной своей живости скоро встрепенулась и засуетилась, приговаривая:

— Охъ, да что же это я, старая? Что же это я тебя, свѣтъ ты мой Аленушка, ничѣмъ не угощаю? И такъ рѣдко ходишь, а я хочу совсѣмъ отвадить.

— Меня, бабушка, ничѣмъ не нужно угощать,—возразила Леночка.—Ты мнѣ, бабушка, лучше скажи, какой это старичокъ у васъ на пчельникѣ живетъ?

Прасковья перестала суетиться и полу-удивленно, полу-подозрительно глянула на Леночку.

— Откуда это ты спровѣдала? И зачѣмъ это тебѣ надобно?

— Я, бабушка, хочу на него посмотрѣть, какъ онъ живетъ, чтѣ дѣлаетъ, чему учить... Ты поведи меня къ нему, бабушка...

— Ишь ты, проворная какая! Чего мы старому человѣку докучать будемъ. У него и безъ насъ дѣла много.

— Да вѣдь ходять же къ нему другіе, бабушка! Отчего же мнѣ не пойти?

— Ишь ты, упрямая какая! Ну, ладно, приходи завтра ко мнѣ объ эту пору,—я на пчельникѣ собираюсь, и тебя, пожалуйста, возьму.

На другой день, часовъ въ семь, полубаровская душегубка отчалила отъ нагорнаго берега и тихо поплыла по неподвижному Карамышу, ловко управляемая однимъ весломъ. Леночка задумчиво глядѣла то на дремлющія купы деревъ, узорчатой гирляндой окаймлявшія подернутую розовой краской заката рѣку, то на темное, сухое лицо Прасковьи, обвязанное бѣлымъ платкомъ и казавшееся отъ этого еще темнѣе. Тысячи вопросовъ кипѣли у нея въ головѣ, но она молчала, не зная, о чемъ раньше говорить. Наконецъ, когда душегубка вступила подъ сѣнь узкаго заличика, заросшаго кругомъ лѣсомъ, и тихо скользила между многочисленными островками толстыхъ, разлапистыхъ листьевъ кувшинки,—Леночка опустила весло и обратилась къ Прасковьи:

— Скажи мнѣ, бабушка, отчего тебѣ какъ будто бы не хотѣлось, чтобы я видѣла Демида?

— Охъ, свѣтъ ты мой!—въ раздумьѣ отвѣчала старуха.—Злобато людская велика... всего боишься! Вонъ Демида-то еще не успѣлъ къ намъ на пчельникѣ прибыть, а писарь уже справки наводитъ: какой-такой у насъ старичокъ обитаетъ? А старичокъ-то и такъ уже натревоженъ... Охъ, много, много онъ на своемъ вѣку потерпѣлся! Отдохнуть ему пора, на покоѣ пожить...

— Бабушка, правда ли, что онъ человѣка убилъ?—невольно понизивъ голосъ, спросила Леночка.

— Это правда истинная, голубчикъ мой. Видишь, какъ это

дѣло-то было,—вѣдь почитай на нашихъ глазахъ все это содѣялось. Повалился къ его женѣ бурмистеръ ходить. Ходилъ, ходилъ, и, на конецъ дѣла, и бабу совсѣмъ замоталъ, и домъ весь въ разстройство привелъ. Горько это, дѣвушка, Демиду показалось,—а мужикъ-то онъ въ тѣ поры былъ нравный, несутерпчивый, горячій мужикъ! Подкараулили онъ бурмистера, да топоромъ его и прикончили!.. Ну, знамо дѣло, судили его, плетями взодрали и въ Сибирь отправили. Тогда расправа-то коротка была,—не то, что нынѣ, каждаго судятъ да рядятъ по совѣсти,—виновать онъ аль невиновать... И цѣлыхъ пятьдесятъ лѣтъ выжилъ Демидъ въ Сибири; тяжелъ былъ грѣхъ его, иначе же и покаяніе онъ за него принялъ большое. Не начальству каялся, а Богу, и истинно сказать можно—потрудился старичокъ во славу Божию. Есть ли на немъ грѣхъ теперича, аль нѣту,—разсудить одинъ Господь на небеси; ну, а мы, грѣшные, по человѣчеству своему полагаемъ, что—святой жизни человѣкъ и разумомъ просвѣтленный отъ Бога.

Въ это время душегубка причалила къ берегу и ударилась носомъ въ заросшій камышомъ, обрывистый берегъ. Ленѣ вдругъ стало чего-то жутко, и она съ робостью послѣдовала за Прасковьей, бодро пробиравшейся сквозь чащу низенькихъ кустовъ орѣшника, обвитыхъ роскошными плетями хмѣля. Дѣвушка грезилось нѣчто величавое, какъ ветхозавѣтные пророки, дышащее благостью и мудростью, осѣненное ореоломъ страданія и искупленія... И она подходила въ трепетѣ ожиданія и боязни.

Но вотъ, среди зеленой чащи, показался небольшой, крытый камышомъ, рубленый шалашикъ, въ которомъ у Полубаровыхъ зимою обыкновенно сохранялись ульи. Прасковья подошла въ крошечному оконцу и, перекрестившись, трижды постучала въ него со словами: „Господи, Иисусе Христе, помилуй насъ“...

Никто не отозвался. Прасковья продѣлала то же самое вторично, и опять не послѣдовало отвѣта.

— Должно, на молитвѣ стоять!—прошептала Прасковья.—Ежели въ третій разъ не отзовется,—надоть назадъ идти...

Однако, въ третій разъ, въ шалашикъ послышалась возня, и слабый старческій голосъ протяжно отозвался: „аминь“!

Прасковья схватила Леночку за руку и ввела ее въ шалашъ, въ которомъ царила прохладная полутьма, пропитанная запахомъ свѣжаго лѣса. Демидъ встрѣтилъ посѣтителей у самаго порога. Это былъ низенькій, согбенный, худощавый старичокъ съ большой головой, покрытой массой густыхъ, изсѣра-серебристыхъ кудрей. Отъ этой несоразмѣрно большой головы и оттого, что

спина его была постоянно согнута въ поясницѣ, онъ казался еще миниатюрнѣе и производилъ впечатлѣніе существа крайне безпомощнаго и жалкаго. Онъ даже ходилъ совершенно не распрямляясь, и только когда говорилъ, нѣсколько разгибалъ спину, упираясь руками въ колѣни. Тощія руки, худое маленькое лицо, казавшееся еще меньше среди рамки волнистыхъ волосъ, довершали первое впечатлѣніе дряхлости и безпомощности. Но это было именно только „первое впечатлѣніе“, которое, при болѣе близкомъ знакомствѣ съ Демидомъ, мало-по-малу сглаживалось и исчезало. Тогда вы замѣчали, что мелкія черты старика замѣчательно подвижны и живленны; маленькіе черные глаза его сохранили почти юношескую живость и блескъ, а худыя коричневыя руки съ надувшимися синими жилами и тонкая, жилистая шея кажутся скованными изъ желѣза. Видно было, что когда-то въ этомъ тщедушномъ тѣлѣ горѣлъ огонь неудержимый, и нужно было много дней поста, самобичеванія, самоуничтоженія, чтобы погасить его... Одѣтъ былъ Демидъ въ одну длинную бѣлую рубаху изъ самаго грубаго холста; ноги его были босы. И вся обстановка, окружавшая его, показывала, что здѣсь живетъ человѣкъ, давно отказавшійся отъ всего земнаго.

— Кто здѣсь?—началъ онъ, вглядываясь въ пришедшихъ.— А-а, Петровна... А съ тобой кто пришелъ? Не разберу я что-то...

— Это дѣвушка, Власычъ, со мной, стараго княжескаго управителя дочка... Провѣдать мы тебя зашли...

— Спаси васъ Господь... Идите, садитесь.

Демидъ, повидимому, съ трудомъ наклонился, отчего всѣ позвонки его рельефно обрисовались на бѣлой рубахѣ, выдвинулъ на средину шалаша длинную скамью и тяжело опустился на нее. При этомъ что-то глухо звянуло.

„Это должно быть вериги“, — подумала Леночка, и душа ея вдругъ наполнилась необыкновенной тоской и жалостью. Ей стало тѣсно, душно, больно...

Началась бесѣда. Говорилъ больше Демидъ, обращаясь къ Прасковѣ; Леночку же онъ, повидимому, совершенно игнорировалъ. Говорилъ онъ о смиреніи и гордости, причемъ приводилъ разные библейскіе примѣры изъ жизни Давида, Соломона и т. д. Говорилъ о праздности, корыстолюбіи, распущенности и о способахъ борьбы съ этими пороками; въ числѣ этихъ способовъ на главномъ планѣ стояли молитва и умерщвленіе плоти... Говорилъ довольно гладко, не торопясь и уснащая свою рѣчь книжными оборотами, притчами, текстами, и вообще выказалъ большую начитанность въ Писаніи. Но при всемъ томъ рѣчи его, повиди-

мому, не имѣли между собою внутренней связи, отзывались заученностью, текли какъ-то холодно и вало; очевидно Демида „училъ“ своихъ посѣтительницъ,—училъ официально, и никакой душевной теплоты не чувлось въ этомъ поученіи „на заказъ“. Только когда гости встали и собрались уходить,—старикъ вдругъ какъ-то умилился духомъ, размякъ и даже заплакалъ, совершенно по-дѣтски всхлипывая. О чемъ были эти слезы?..

Съ тѣмъ же тяжелымъ чувствомъ тоски возвращалась Леночка домой. Картина страшнаго добровольнаго одиночества и самоотреченія глубоко ее потрясли. Но она была недовольна: совсѣмъ не того ждало ея пылкое воображеніе, ея жаждущая душа. Она надѣялась увидѣть могучую силу, а увидѣла старческое безсиліе и слабость; надѣялась услышать огненное слово, могущее сразу освѣтить и разсѣять ея душевную темноту, а услышала „заказныя“ рѣчи, избитые примѣры, заученные тексты безъ толкованія и разъясненія. И не трепеть благоговѣнія возбуждалъ въ ней Демида, а какую-то болѣзненную жалость. Особенно слезы его, съ которыми проводилъ онъ ихъ до порога своей уединенной кельи, раздѣдали ей все сердце.

— Нѣтъ, это не то!—рѣшила Леночка въ разочарованіи.

Однако, спустя нѣсколько дней, въ мысляхъ и чувствахъ ея произошелъ значительный переворотъ. Личность Демида представилась ей въ другомъ свѣтѣ и неудержимо влекла къ себѣ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ подъ убогой внѣшней оболочкой не можетъ таиться великая мощь духа? Развѣ мало нужно нравственныхъ силъ, чтобы обречь себя на страшную нищету, одиночество, лишенія? Даже слезы Демида при прощаньи Леночка объяснила въ его пользу. „Онъ, должно быть, насъ жалѣлъ“... думала она, и эта способность человѣка, отрешагося отъ себя, жалѣть другихъ—глубоко ее тронула.

„Пойду къ нему опять,—рѣшила она.—Только одна пойду теперь, безъ Прасковьи“.

Она была убѣждена, что „заказныя“ рѣчи Демида предназначались для старой раскольницы: Леночкѣ извѣстно было, какое значеніе придаетъ простой народъ знанію св. Писанія. Говори ему просто, понятно, — онъ будетъ равнодушенъ; но скажи ему то же самое „по Писанію“, — онъ хотя половины и не пойметъ, зато будетъ доволенъ, умирится и проникнется уваженіемъ къ „дотошному“ человѣку. Вспомнивъ это, Леночка почти увѣрена была, что, кромѣ заказныхъ рѣчей, у Демида есть еще и другія рѣчи, и въ этой увѣренности отправилась къ нему одна.

Былъ такой же тихій, жаркій вечеръ, какъ и въ первый разъ,

когда Леночка тихонько ото всѣхъ пробиралась къ Демидову шалапу. Но на стукъ ея и привѣтствія никто не отозвался изъ шалапы. „Онъ, вѣрно, на молитвѣ, а можетъ быть, увидѣлъ меня и не хочетъ принять“, — съ грустью подумала Леночка, пробираясь назадъ сквозь зеленныя перепутанныя вѣтви орѣшника и калины. „Въ самомъ дѣлѣ, онъ подумаетъ, что я просто любопытная дѣвчонка и лѣзу къ нему для забавы“...

Съ этими мыслями Леночка выбралась кое-какъ изъ кустовъ и очутилась какъ разъ въ той мѣстности сада, которая отведена была подъ огородъ. Справа и слѣва тянулись стройные ряды сіяющихъ подсолнечниковъ, а прямо предъ нею разстилалось пустынное картофельное поле, озаренное красноватымъ блескомъ заходящаго солнца. Въ сторонѣ, у самыхъ почти орѣшниковъ, копошилась бѣлая согбенная фигура. Леночка сейчасъ же узнала Демида; онъ тщательно окучивалъ картофельныя гряды и, казалось, былъ совершенно погруженъ въ свое занятіе. Худыя руки его ловко и проворно дѣйствовали мотыгой; на плечахъ глухо и мѣрно позвякивали вериги; огромная кудрявая голова въ отблескѣ заката казалась окруженною ореоломъ.

Леночка остановилась въ невольномъ смущеніи; старикъ не замѣчалъ ея и продолжалъ работать. Наконецъ, она рѣшилась и осторожно приблизилась къ Демиду.

— Господи Іисусе Христе, помилуй насъ! — дрожащимъ голосомъ произнесла она.

— Аминь! — отозвался Демидъ, съ трудомъ разогнувъ спину и, опершись на мотыгу, сталъ пристально всматриваться въ дѣвушку.

— Я уже была у тебя... — объясняла Леночка робко. — Помнишь, съ Полубаровой Прасковьей тогда заходила?..

— Помню... помню! — вымолвилъ Демидъ, продолжая ее разсматривать.

— Можетъ, я тебѣ помѣшала? Я тогда лучше уйду...

— Какая тутъ помѣха, дитятко! Это не молитва, а и отъ молитвы для ближняго своего оторваться позволено. Помнишь, чай, что въ Писаніи сказано? „Егда придетъ къ тебѣ ближній твой со скорбью и нуждою великою, а ты въ тотъ часъ на молитвѣ стоишь, то оставь молитву свою, ближняго утѣшь и успокой, и тогда снова возвратись къ молитвѣ“... А еще Господь нашъ Іисусъ Христосъ сказалъ: „милости хочу, а не жертвы“... Вотъ что, родная моя...

Вся Леночкина робость разомъ исчезла послѣ этихъ словъ,

сказанныхъ съ добродушіемъ и простотой. Съ полнымъ довѣріемъ взглянула она на Демида.

— Вотъ и я къ тебѣ, дѣдушка, съ нуждою пришла...—сказала она.

— Что ты, дитятко, какая-такая еще нужда у тебя?—возразилъ Демидъ, потряхивая своими кудрями.—Какіе еще года твои... тебѣ только жить да радоваться...

— Нѣтъ, дѣдушка!—воскликнула Леночка порывисто.—Скучно... скучно мнѣ...—Выговоривъ это, она залилась слезами... Демидъ задумчиво глядѣлъ на нее, продолжая покачивать своей кудлатой головой. Онъ понялъ, что предъ нимъ стоитъ человѣкъ, которому мало поученій и текстовъ св. Писанія...

— Ну ладно, дѣвушка...—произнесъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія необыкновенно ласково и задушевно.—Пойдемъ, потолкуемъ съ тобою: какая-такая нужда у тебя завелась, — расскажешь мнѣ. Только вотъ что: куда намъ идти? Въ шалашикъ ли ко мнѣ, али вонъ лучше подъ энти ветелки; видишь, вонъ, лужайка-то гдѣ, травка-то зеленая? Пойдемъ подъ ветелки, родненькая, — люблю я, знаешь, смотрѣть, какъ солнышко въ теплыя моря спать укладывается... Хорошо! Тишина эдакая кругомъ, и на душѣ тише какъ-то въ эту пору бываетъ... Такъ-то вотъ и жизнь, думаешь, человѣческая кончается... И свѣтло было, и вѣтерокъ шумѣлъ, и птички пѣли, — и вдругъ все затихаетъ... Всѣ смѣхи, всѣ думы, всѣ горя и радости, — все темная могила на вѣки прикрывается...

Философствуя такимъ образомъ, старичокъ обогнулъ правый уголъ картофельнаго поля и привелъ Леночку на полукруглую лужайку, осыненную густолиственной купой старыхъ косматыхъ ветель. Отсюда дѣйствительно открывался великолѣпный видъ на закатъ: прямо передъ глазами пылало ярко-розовое небо; солнца было уже не видно за черною каймою деревьевъ, но цѣлые снопы золотыхъ дрожащихъ лучей еще сверкали и переливались на горизонтѣ. А выше, почти надъ самой головою, неподвижно стояли большія, круглыя облака: они были блестящи и бѣлы, какъ гигантскія глыбы снѣга, и только узорчатые края ихъ чуть атѣли...

Демидъ усѣлся на мягкой душистой травѣ, которую заря изъ ярко-зеленой сдѣлала золотистою; Леночка помѣстилась рядомъ съ нимъ.

— Такъ ты говоришь, дѣвушка, скучно тебѣ?—началъ Демидъ, прищуривая глаза отъ яркихъ прощальныхъ лучей солнца.—Что же, дитятко, оно, пожалуй, время для тебя такое... Дружка

милаго сердечко ищеть, по зазнобушѣ встосковалось. Найдешь дружка, выйдешь замужъ,—и тоска пройдетъ. Вѣрно оно такъ...

— Ахъ, дѣдушка, не то!—нетерпѣливо воскликнула Леночка. — Не нужно мнѣ дружка, не объ этомъ я думаю и замужъ не хочу... Потому скучно мнѣ жить, что дѣла мнѣ никакого нѣтъ и не знаю я ничего...

— Вонъ что! — задумчиво проговорилъ старикъ, не отводя газъ отъ завата. — Вотъ такъ-то оно всегда бываетъ. Отъ невѣденія томится человѣкъ, а и узнаетъ—еще пуще у него душа затоскуетъ... Не помогаетъ тоскѣ наука... вѣрно говорю, дитятко! И мудрые заблуждаются... Потому, — вѣры нѣту, челоуѣколюбія нѣту,—оттого и жизнь тошна. Расскажи мнѣ, дитятко, чѣмъ же твоя жизнь тошна, когда, по настоящему, тебѣ бы только игры да смѣхи надобны,—а?

— Какъ же не тошна? Ничего я не дѣлаю, да и всѣ-то мы здѣсь какъ живемъ? Только спимъ, ѣдимъ, объ ѣдѣ заботимся,—въ этомъ и работа вся... Развѣ такъ надо жить по настоящему? —горячо добавила Леночка.

Старикъ въ раздумѣ качалъ головою.

— Вѣрно, вѣрно, дитятко... Не о хлѣбѣ единомъ живѣтъ человѣкъ. Такъ бездѣлье тебя одолеваетъ, говоришь... А молишься ли ты, дѣвушка?

— Молюсь, дѣдушка, но вѣдь что же въ молитвѣ? Вотъ ты самъ давеча сказалъ, что и молитву надо бросить, чтобы нуждѣ ближняго помочь.

— Ты и помогай, когда онъ къ тебѣ придетъ. Нужды на свѣтѣ много: захочешь лишь только, — она къ тебѣ сама придетъ, и искать не надо.

— А чѣмъ помогать? Этого-то я и не знаю... Придетъ ко мнѣ нужда, — а я и слова ей не сдумѣю сказать... не могу... не знаю...

— Охъ, охъ, дѣвушка!.. — вымолвилъ Демидъ и, закрывъ глаза отъ солнца ладонью, пристально посмотрѣлъ на Леночку. — Нетерпѣливо сердце твое и горячій твой нравъ... Оттого большія бѣды тебѣ будутъ, ежели не смиришь ты себя. Бѣды большія и тяготы великія..

Леночка сильно вздрогнула, хотѣла что-то вымолвить, но низко нагнула голову и стала порывисто дергать траву изъ земли.

— Да, дѣвушка, вѣрно я говорю! — продолжалъ Демидъ, оживляясь. — Терпѣть и думать больше надо. Вотъ послушай, — я тебѣ про себя, пожалуй, расскажу. Грѣхъ я великій совершилъ во младости, а отчего? Оттого, что былъ нетерпѣливъ и вѣры

во мнѣ не было... Загубилъ я человѣка, кровь пролилъ... Сослали меня на каторгу. А я замѣсто того, чтобы покориться, еще болѣе возропталъ и вознегодовалъ. Востосковалась во мнѣ душа, и въ гордости своей я даже руки на себя хотѣлъ наложить. Что, думаю себѣ, мнѣ теперича осталось въ жизни моей? Ни жены у меня, ни дѣтокъ малыхъ, ни сродственниковъ; каторжникъ я, больше ничего. Опостыло мнѣ все, людей я возненавидѣлъ, свѣтъ вольный мнѣ тьмою кромѣшною представлялся... А пуще всего, дѣвушка, кровь меня донимала... т.-е., которую я пролилъ... Страшно кровь человѣческую пролить, дѣвушка! Кровь кровью отомщается завсегда,—такъ-то вотъ и меня было Господь покаралъ, ежели бы не спасла меня любовь и вѣра...

Старикъ свѣсилъ вудравую голову на грудь и задумался. „Вотъ то же и Ѳеодосъ мнѣ говорила!“—вспомнилось вдругъ Леночкѣ.

— Ну, что же, дѣвушка, рассказывай... — тихонько напомнила она ему.

— Такъ вотъ я тебѣ и сказываю, что вѣра меня спасла. Подвернулся мнѣ одинъ человѣкъ, въ иноческомъ чинѣ онъ состоялъ и сосланъ на поселеніе былъ за вѣру... Тогда, дѣвушка, времена были на этотъ счетъ строгія... Прозрѣлъ онъ меня и мои грѣшныя думки, и сталъ просвѣщать... То-есть, и не могу я тебѣ рассказать, дитятко, что тогда со мною содѣялось, какъ началъ онъ мнѣ свои божественныя слова говорить! Всю мерзость свою я въявь тогда увидѣлъ, и ужаснулся... Возлюбилъ Господа моего, возлюбилъ людей, — и словно свѣтомъ меня осіяло. На душѣ покой, на сердцѣ—легость... Велика благодать Господня и вѣсть конца щедротамъ его!

— Ну, а дальше что же было?—сказала Леночка, видя, что старикъ снова замолчалъ.

— Ушли мы съ инокомъ на Ишимъ и тамъ поселились. И жили мы съ нимъ эдакъ болѣе двадцати лѣтъ въ трудахъ и покоѣ. Забылъ я тутъ о себѣ грѣшномъ помышлять, да о жизни своей пропащей сокрушаться. Узналъ я тутъ, что у Бога всякій грѣхъ прощенъ и всѣ люди нужны на свѣтѣ... Народъ насъ посѣщалъ въ большомъ числѣ, и мы по силѣ-мощи утѣшали. Многіе совсѣмъ съ нами оставались, и подъ конецъ всѣхъ насъ, утѣшенныхъ, собралось человѣкъ сорокъ. И какой же рай-райскій въ нашемъ скиту былъ!..

Однако для меня большое горе настало. Померъ мой наставникъ и утѣшитель, блаженный инокъ. Уложилъ я его въ гробъ, который онъ своими руками самъ себѣ приуготовилъ, затѣмъ въ

могилеу и камень навалилъ большущій. Не стало моего сердечнаго друга и брата... только и осталось мнѣ отъ него рѣчи его святыя, мудрыя, да вотъ вериги эти, которыя я съ него снялъ и на грудь мою возложилъ...

При этихъ словахъ Демидъ отстегнулъ воротъ рубахи, вытащилъ изъ-за пазухи конецъ тяжелой желѣзной цѣпи и, перекрестившись, благоговѣйно поцѣловалъ одно изъ огромныхъ и толстыхъ звеньевъ ея. На глазахъ его блеснули слезы.

— И сладко мнѣ стало, дитятко, когда я надѣлъ на себя эту памятку! Словно опять я увидѣлся съ святымъ мужемъ и услышалъ его мудрое слово. И теперь, когда, бываетъ, по слабости человѣческой посѣтитъ меня смута, печаль,—взгляну я на память друга, вспомню его,—и просвѣтлюсь. Спасъ онъ меня отъ грѣха и слабости, отъ смерти вѣчной избавилъ, гордыню мою смирилъ...

— Чему же онъ училъ васъ, дѣдушка? — спросила Лена, все время съ жадностью слушавшая рассказъ Демида.

— Училъ онъ насъ,—началь Демидъ важно и медленно, — училъ съ теплою вѣрою къ Господу-Богу прибѣгать, трудиться непрестанно, другъ друга любить, гордыню смирять, прощать обиды, а паче немощамъ и нуждамъ помогать... Приходили мы къ нему темные, звѣрю подобные, безграмотные,—и всѣхъ насъ словомъ своимъ онъ просвѣтлялъ и утѣшалъ...

— Развѣ ты, дѣдушка, безграмотный? — удивилась Леночка.

— Безграмотный, дитятко. Такъ смежаю малость, а по настоящему читать не могу...

— Какъ же ты такъ хорошо Писаніе знаешь? Ты прошлый разъ, какъ мы съ Петровной были, сколько говорилъ! И изъ какой книги, и какая глава, и какой стихъ... все!

— А по памяти, голубь мой! Онъ, бывало, мнѣ читаетъ, а я запоминаю. Мы съ нимъ, можетъ, каждую книгу разовъ по пятидесяти прочли,—какъ же не запомнить?

— Теперь вотъ что еще скажи мнѣ, дѣдушка: для чего ты одинъ живешь? Развѣ въ міру нельзя также людей учить и помогать имъ?..

— Можно-то можно, а все-таки велика слабость человѣческая, дѣдушка! Иной разъ собой займешься, а ближняго своего забудешь. И ссоры, и ненависти, и зависти въ міру больше, — въ тѣснотѣ-то легче согрѣшить. А здѣсь любо мнѣ, просторно, родная ты моя! И обдумаешь все, и покаешься, и Господу-Богу во всякое время помолишься... А еще, дружочекъ, скажу я тебѣ, —когда о себѣ думать забудешь,—о другомъ скорѣе позаботишься. Вотъ я теперь живу, — ничего мнѣ не надо. Есть уголъ, гдѣ

нбону повѣсить, да хлѣбушка кусочекъ, да холстинки клочочекъ, — вотъ и буде съ меня. Отвыкъ я ото всего, и заботы у меня объ себѣ нѣту никакой. И когда придетъ ко мнѣ человекъ, — какъ скажу я ему: мнѣ неколи?.. Не могу я ему въ его нуждѣ отказать, потому—весь я тутъ, нечего мнѣ дѣлать, некуда спѣшить. Вотъ что, дѣвушка ты моя милая...

Старикъ, говоря эти слова, весь оживился, задвигался, заблесталъ глазами... Леночка глядѣла на него въ удивленіи, невольно преклоняясь предъ этимъ искреннимъ счастьемъ самоотверженія. И ей даже смѣшно стало, что она нѣсколько времени тому назадъ такъ жалѣла и сокрушалась объ этомъ счастливицѣ. Не онъ ли скорѣе долженъ ее жалѣть?..

— Ты вотъ погляди, дѣвушка! — продолжалъ, между тѣмъ, старикъ восторженнымъ шопотомъ, приподнимаясь на колѣняхъ и обводя рукою вокругъ. — Гляди, какъ хорошо кругомъ! Каждый-то листочекъ, каждая травка, каждый сверчокъ дышитъ, славословить Господа... Куда ни глянь, — вездѣ премудрость Божія, вездѣ Духъ Господень. Стань передъ каждой былинкой — и молись... потому въ ней Господь пребываетъ... Какъ же не хорошо-то?.. Краса божія! А въ міру, дѣвушка, — нѣтъ! Тамъ утѣшенія, злость, клевета зачастую живутъ.

— А отчего же ты заплакалъ-то тогда, — помнишь, какъ мы отъ тебя уходили? Я думала... мнѣ показалось сначала, что тебѣ безъ людей скучно... нехорошо...

— Что ты! Когда же я безъ людей? Я на людяхъ постоянно: то одинъ придетъ, то другой, — вотъ ты пришла... А отчего я заплакалъ-то тогда? — задумчиво проговорилъ старикъ: — это я тебѣ, дѣвушка, скажу сейчасъ. Гляжу я эдакъ-то на васъ, — и вспако мнѣ въ умъ... Господи! думаю себѣ: — недостойный я, безграмотный, каторжникъ, и вотъ все-таки не забываютъ меня добрые люди и слова моего глупаго не гнушаются... И правда, вспомнилась мнѣ тутъ прежняя-то жизнь моя океанная, — и прослезился я...

Солнце давно уже сѣло, — тѣни сгустились въ чащахъ деревъ, а на открытыхъ мѣстахъ еще рѣзъ прозрачный голубой сумракъ. Небо теперь было чисто, какъ хрусталь; бѣлыя облака давно растаяли или уплыли. Кое-гдѣ еще слабо, неувѣренно проглядывали звѣздочки. На траву легла роса.

— Ну, дѣдушка, прощай, пора мнѣ, — проговорила Лена, приподнимаясь. — Я въ тебѣ, дѣдушка, часто ходить буду, если ты меня гнать не будешь. Мнѣ еще много съ тобою поговорить надобно...

— Христосъ съ тобою, голубка, что ты! Зачѣмъ гнать, — ходи хоть каждый день. Горячее въ тебѣ сердце, нетерпѣливое, дѣвушка, — смирай себя... Чуть оно въ тебѣ забурлитъ, забушуетъ, — ты сейчасъ возьми Евангеліе, открой и прочитай, какъ нашего Господа-Бога обижали и зашали, и все онъ, многомилостивый и многотерпѣливый, снесъ и простилъ. Читай это почаще, дѣвушка, — а то ко мнѣ приходи, мы вмѣстѣ читать будемъ. Такъ что-ли, родная моя?

— Хорошо, дѣдушка, — произнесла Леночка, и нѣжная ласка прозвучала въ ея голосѣ. — А что, дѣдушка, я тебя хочу просить: дашь ты мнѣ когда-нибудь свои вериги надѣть?

— Охъ, на что это тебѣ, — зачѣмъ тебѣ вериги? Тяжелы они для тебя будутъ... Твоя молитва и такъ къ Господу дойдетъ. Ты только смирай себя, людей люби, приглядывайся къ нимъ побольше. Бездѣлье тебя докучаетъ, — и дѣло найдется. Ты только поменьше о себѣ думай...

„Господи, онъ совсѣмъ какъ дядя говоритъ!“ — подумала Леночка, и ей захотѣлось поцѣловать у Демида руку. Но она сдержалась и промолчала.

— Такъ-то, родная. Ну, иди, я тебя до бережка провожу. Ты скажи мнѣ, какъ зовутъ тебя, — я нынче помяну тебя въ своей грѣшной молитвѣ, чтобы успокоилъ Владыка Небесный твое сердце неспокойное, непокорное... Ну, вотъ мы и пришли. Прощай! спаси тебя Христосъ, родная...

Лодка тихо отчалила отъ берега, и скоро плескъ весла замеръ вдали... Но Демида долго еще стоялъ надъ рѣкою, посылая воздушные кресты по направленію отплывшей лодки и шепча: „Охъ, дѣтки, дѣтки! и отколѣ берутся у васъ такіа думки?.. Ишь ты, вериги мои захотѣла надѣть... Пстой, дитятко, жизнь-то велика, — можетъ, еще и потяжелѣе придется тяготу носить“...

А Леночка была уже далеко. Лодка ея тихо плыла по узенькому заливчику, совсѣмъ скрытому подъ навѣсомъ огромныхъ старыхъ деревьевъ. У береговъ вода казалась черною, какъ чернила, и только по срединѣ залива, тамъ, гдѣ сквозь вѣтви древесныхъ вершинъ проглядывало небо, по водѣ струилась свѣтлая полоска.

Лена опустила весло и задумалась. Странное волненіе овладѣло ея душою, и никакъ не могла она собрать во едино своихъ разсѣянныхъ мыслей. То вспоминались ей таинственныя предсказанія старика, и сердце ея наполнялось болѣзненнымъ предчувствіемъ горя, а на глазахъ невольно навертывались слезы; то вдругъ вся она вздрагивала отъ внезапныхъ приливовъ страстной тоски и неопредѣленныхъ желаній... Въ одну и ту же минуту

она никакъ не могла опредѣлить, — въ чему ее больше тянетъ, чего больше хочетъ ее душа: мирнаго ли покоя, или бури... И въ то же время ее успокаивала мысль, что теперь она не одна, что есть кому разсказать о своихъ душевныхъ тревогахъ, надѣясь встрѣтить не насмѣшки и непониманіе, а дружескій совѣтъ и участіе.

Часто стала Леночка посѣщать Демида, и съ каждымъ разомъ этотъ человѣкъ, счумѣвшій такъ оригинально освободиться отъ „мірской тѣсноты“, привлекалъ ее къ себѣ все болѣе и болѣе. Его душевный миръ, ясность міросозерцанія, простота идеаловъ благотворительно дѣйствовали на ее „нетерпѣливое сердце“. Леночка становилась какъ-то покойнѣе, терпимѣе; неровности характера ее сглаживались, бурные порывы къ невѣдомому улегались. Она стала какъ будто примиряться съ дѣйствительностью и внимательно оглядывалась кругомъ; фантазіи ее мало-по-малу разсѣивались. Ту же тѣсноту, невѣжество, нравственную бѣдность видѣла она, но теперь не злобную ненависть возбуждала она въ Леночкѣ, а жгучую жалость и желаніе помочь...

Неизвѣстно, чѣмъ бы разрѣшилось это настроеніе, еслибы въ это время совершенно неожиданно не пріѣхалъ дядя.

Мы уже видѣли, какъ они встрѣтились.

Когда первая радость свиданія, подогрѣтая воспоминаніями прошлаго, миновала, — Леночка снова ушла въ свою раковину. Съ грустью и удивленіемъ наблюдалъ Діодоръ за своею племянницей, и скоро долженъ былъ убѣдиться, что прежнее безвозвратно ушло, что нѣтъ больше того искренняго, довѣрчиваго ребенка съ открытою душою, который когда-то радовалъ его и утѣшалъ. Хотя и теперь Лена приходила иногда къ дядѣ, но въ бесѣдахъ ихъ не было прежней задушевности, откровенности, и какая-то тайна легла между ними. Тщетно старался Діодоръ разгадать эту тайну, тщетно искалъ случая заглянуть въ Леночкину душу, — она была непроницаема, какъ чаша Тюрьмы, темна, какъ синія безлунныя ночи. Онъ мучился, терялся предъ Леночкой, и невольная робость сковывала его языкъ, когда онъ глядѣлъ въ эти большіе золотисто-каріе глаза, устремленные на него съ страннымъ выраженіемъ вопроса и недовѣрія...

Временами Леночка положительно пугала его. Чтò значили ее то задумчивые, то сверкающіе мрачнымъ огнемъ взгляды, ее загадочные вопросы, ее внезапная молчаливость; чтò значили ее гнѣвные вспышки, смѣнявшіяся вдругъ страстною нѣжностью, не

имѣющею предѣловъ? Отчего, повидимому, не радовали ее весенніе цвѣты, яркіе наряды, пѣсни, почему на губахъ ея не мелькаетъ никогда задушевная молодая улыбка, которая такъ краситъ и ярко озаряетъ юныя лица?

Ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ не могъ Діодоръ подыскать отвѣта, и душа его наполнялась смутною тревогой и недовольствомъ.

„Мы ее измучили, мы виноваты, — съ тоской думалъ онъ. — Мы оставили ее одну, и когда она просила у насъ хлѣба, мы протягивали ей камень. Можетъ быть, она теперь ненавидитъ насъ... и развѣ не справедливъ ея гнѣвъ? Что, напримѣръ, я сдѣлалъ для нея?... Какъ это больно!“...

Между дядей и племянницей установились странныя отношенія. Одинъ какъ будто хотѣлъ высказаться, чего-то ждалъ, рвался; другая — пугливо пряталась и молчала. Дѣло дошло до того, наконецъ, что Діодоръ въ присутствіи своей племянницы, которую онъ когда-то баюкалъ на своихъ колыбеляхъ, робѣлъ и смущался, какъ мальчикъ, а Леночка, въ свою очередь, стала явно избѣгать общества дяди.

Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ со дня пріѣзда Діодора въ Подгорное.

VIII.

1-е мая 1870 года началось въ Подгорномъ сильнѣйшей грозой и бурей. Еще съ ранняго утра по небу заходили подозрительные сѣренкіе барашки и шумно носились надъ селомъ цѣлыя тучи воронъ, а къ двѣнадцати часамъ все небо сплошь заволочлось черною пеленою, на мрачномъ фонѣ которой особенно ярко выдѣлялся стройный силуэтъ подгоринской церкви. Наконецъ, грянулъ первый ударъ грома: рѣва вздулась и посинѣла, а лѣсъ какъ-то жалобно загудѣлъ. Со свистомъ рванулся по улицѣ вѣтеръ, вздымая и крутя столбы пыли, треща соломенные крыши избъ, срывая съ плетней развѣшенное для просушки бѣлье и съ этою же цѣлью воткнутые на колышкахъ горшки. Еще пророкоталъ громъ, и полился проливной дождь, завѣсивъ непроницаемымъ пологомъ всю окрестность. Все потемнѣло, словно внезапно наступила ночь; даже въ двухъ шагахъ трудно было разглядѣть что-нибудь.

Это обстоятельство совсѣмъ разрушило планы о. Пареена, который еще за недѣлю до перваго мая мечталъ собрать въ этотъ день хорошую дружескую компанію и устроить гдѣ-нибудь „подъ сѣнію древесъ“ знатную маѣвку.

Въ большой тревогѣ расхаживалъ батюшка взадъ и впередъ по своимъ убогимъ апартаментамъ и поминутно подходилъ къ окну, чтобы взглянуть на небо. Онъ все еще надѣялся, что авось гроза скоро пролетитъ и погода разведрится, но скоро убѣдился, что надежды его совсѣмъ неосновательны. Дождь разыгрывался все пуще и пуще, по улицѣ неслись шумные потоки воды, громъ грохоталъ, не переставая. Батюшка съ грустью барабанилъ пальцами по стеклу и снова принимался совершать свою молчаливую прогулку по комнатамъ. Досада его возрастала, какъ у каждаго человѣка, который еще задолго рассчитывалъ провести день извѣстнымъ образомъ, все рассчиталъ, расположилъ—и вдругъ всѣ планы его неожиданно рушатся...

— Эка бѣда! Эка бѣда!—повторялъ батюшка шопотомъ.—Весь день испорченъ... Зюзя, а Зюзя!—обратился онъ къ своему неизмѣнному сожителю, который сидѣлъ въ сосѣдней комнатѣ за какими-то вѣдомостями.—Какъ ты думаешь: можетъ еще разведриться?

— Не разведрится!—мрачно отозвался знаменитый толкователь Апокалипсиса.—Вѣдь я еще давеча вамъ говорилъ, что ненастье будетъ, и не малое. Вороны даже суетились, и опять же реполовъ воду крыломъ чертили.

— Скверно!—сказалъ батюшка со вздохомъ и снова подошелъ къ окну.

Дождь все еще лилъ. Но сквозь его густую сѣть батюшка все-таки замѣтилъ какой-то тяжелый, неуклюжій экипажъ, тащившійся по улицѣ со стороны большой дороги. Лошади, избѣченные дождемъ, который хлесталъ имъ прямо въ глаза и ослѣплялъ ихъ, едва перебирали ногами; ямщикъ тщетно подхлестывалъ ихъ кнутомъ, стараясь принимать какъ можно смѣлыя осанки; онѣ спотыкались и чуть не падали на каждомъ шагѣ. Наконецъ, и онъ, очевидно, потерялъ всякую бодрость и безпомощно скрючился на своемъ сидѣннѣ, завернувъ на голову полъ сѣраго зипуна. Съ огромнаго парусиннаго зонта, защищавшаго пассажира, лились цѣлые водопады мутно-пѣнистой воды. Батюшка заинтересовался положеніемъ несчастныхъ путниковъ и внимательно слѣдилъ за ихъ медленнымъ теченіемъ по селу.

— Кто бы это могъ быть?—думалъ онъ вслухъ.—Ба-ба! Да это вѣдь непременно къ Антону Кирилычу сыночекъ ѣдетъ изъ Петербурга! Вѣрно, вѣрно!—повторилъ повеселѣвшій батюшка, обрадованный неожиданно представившимся развлеченіемъ.—Онъ, больше некому! Они его ждали на этой недѣлѣ. Вонъ они повернули... остановились... Конечно, онъ! Такъ и есть...

Батюшка въ волненіи прошелся по комнатѣ, словно не къ Антону Кирилычу, а къ нему пріѣхалъ сынокъ. Таковы уже были свойства его живой, увлекающейся натуры; его такъ и подмывало побѣжать, разузнать, расспросить, рассказать всѣмъ, что къ Антону Кирилычу пріѣхалъ сынъ, втораго онъ цѣлыхъ два года не видалъ. Наконецъ, батюшка не вытерпѣлъ.

— Зюзя, а Зюзя! Доставай-ка мнѣ мой кожанъ да высокія калоши... Пойду я къ Коробковымъ. Любопытно... все-таки столичный житель... новости всякія...

— Ну куда въ какую погоду? Ноги промочите, простудитесь... эхъ! — ворчалъ Зюзя.

— Что же такое? Далеко ли здѣсь? Все равно, скука сидѣть дома, — оправдывался батюшка.

И несмотря на уѣщанія сожителя, онъ храбро отправился подъ ливень.

Когда онъ достигъ, наконецъ, дома Антона Кирилыча и вошелъ въ темную прихожую, его встрѣтила страшная суматоха, вызванная пріѣздомъ дорогого гостя. Работники вносили чемоданы; кухарка несла къ куда-то съ мокрымъ пальто и пледомъ, весь домъ былъ наполненъ ходьбой, стукомъ отворяемыхъ и затворяемыхъ дверей, восклицаніями и отрывистымъ говоромъ. Батюшка поспѣшилъ незамѣтно проскользнуть въ комнату Діодора, чтобы выждать, когда въ домѣ водворится порядокъ и все приметъ свой обычный видъ.

Діодоръ большими шагами расхаживалъ по комнатѣ; на его губахъ мелькала странная улыбка. Лена сидѣла тутъ же на окнѣ и задумчиво глядѣла въ окно, по которому съ шумомъ струились дождевые потоки. Только они двое, повидимому, не принимали никакого участія въ общей суматохѣ, по случаю прибытія Володи. Батюшка уѣлся въ уголокъ.

— Дождались племянничка? — полушопотомъ спросилъ онъ, наскоро затягиваясь папирсой.

— Да... дождался, — нѣхотя отвѣтилъ Діодоръ съ тою же иронической улыбкой. При этихъ словахъ онъ быстро взглянулъ на Леночку, — она продолжала сидѣть неподвижно.

Когда все поутихло и кухарка, топая, пронесла въ столовую шипящій самоваръ, батюшка осмѣлился явиться въ гостиную. Володя, уже вымытый, причесанный и переодѣтый съ ногъ до головы, сидѣлъ за круглымъ столомъ. Онъ за эти два года еще болѣе выросъ и сдѣлался совсѣмъ красавцемъ. Темные, но словно подернутые золотистою пылью волосы легкими кудрями облегли его лицо. Большіе черные глаза, полузакрытые длинными рѣсницами,

цами, были очень выразительны и могли, по желанію обладателя ихъ, бросать то томно-нѣжные, то уничтожающе-высокомѣрные взгляды и попеременно то обжигали зноемъ своихъ лучей, то обдавали холодомъ нестерпимымъ. Изящная, выхолощенная борода красиво вислась на подбородкѣ и на щекахъ, оттѣнная ослѣпительную бѣлизну и свѣжесть лица. Хороши были также его руки съ длинными, тонкими пальцами и закругленными ногтями. Володя самъ любилъ на нихъ любоваться, вытягивая ихъ предъ собою или поднося близко къ глазамъ. Вся фигура его, выхолощенная, упитанная, была преисполнена необычайной граціи и въ то же время чувства собственного достоинства. Онъ напоминалъ тѣхъ красивыхъ, холеныхъ лошадей-любимцевъ, которые гордо выступаютъ предъ хозяевами своими, въ полномъ сознаніи, что ими любуются и дорожатъ. Одѣтъ онъ былъ въ бѣлоснѣжную сорочку, шитую шелками, и въ свѣжую чичунчовую пару. Отъ него такъ и вѣяло свѣжестью, молодостью, несмущаемымъ душевнымъ спокойствіемъ и лучшими духами. Страшно даже какъ-то было къ нему подойти; являлась невольная боязнь какъ-нибудь нечаянно испачкать это красивое существо и уничтожить всю его свѣжесть и изящество... Такое же точно чувство явилось и у батюшки, когда онъ вошелъ въ гостиную и увидѣлъ молодого человѣка.

„Картинка! Какъ есть картинка!“ — подумалъ онъ.

Володя при входѣ батюшки немножко поморщился, но немедленно спряталъ эту гримасу и съ небрежною снисходительностью протянулъ батюшкѣ кончики пальцевъ. Но добродушный батюшка не обратилъ на это вниманія. „Ай да молодчикъ! — подумалъ онъ снова, бережно и осторожно прикасаясь къ рукѣ Володи. — Министръ! Настоящій министръ“.

За то Антонъ Кирилъчъ сверхъ обыкновенія даже обрадовался приходу о. Парѣна. Еслибы къ нему пришелъ въ эту минуту злѣйшій врагъ его, онъ и тому былъ бы радъ. Онъ всему міру готовъ былъ бы неустанно показывать свое дѣтище, съ гордостью говоря: „Вотъ глядите! Есть ли еще у кого-нибудь такой сынъ?“ Весь онъ былъ преисполненъ внутреннимъ восторгомъ, и лицо его свѣтилось тою наивною родительскою нѣжностью и гордостью, которая хотя и смѣшить отчасти, но всегда трогаетъ. Отъ радости онъ даже какъ-то помолодѣлъ рядомъ съ сыномъ, похорошѣлъ и подобрѣлъ.

— Ну что, Владиміръ Антонычъ? — началъ батюшка, откашливаясь. — Изволили благополучно окончить курсъ вашихъ наукъ? Можно поздравить съ полнымъ окончаніемъ... и такъ сказать... съ преуспѣваніемъ?..

— Если это вамъ доставляетъ удовольствіе, можете поздравить,—съ небрежной полуулыбкой отвѣтилъ Володя, и отвѣтилъ такъ, какъ могъ бы только отвѣтить принцъ королевской крови своему подчиненному.

— Опять съ золотою медалью,—нѣсколько задыхаясь, вмѣшался Антонъ Кирилычъ.—Володя, покажи-ка батюшкѣ свою медаль-то!

— Ахъ, оставьте, папаша! Удивительно, какъ васъ эти глупости занимаютъ... точно вы ребенокъ!.. Постѣ какъ-нибудь...

Сказавъ это, Володя принялся разсматривать свои руки. Старикъ осѣлся, бросилъ вокругъ растерянный, сконфуженный взглядъ и принялся какъ-то неловко егозить на стулѣ, подвигая сыну то сливочникъ, то сухарницу.

„Ну, сыночекъ-то того... еще что-то вальяжнѣе прежняго сталъ!“—подумалъ батюшка, однако, чтобы сгладить какъ-нибудь всеобщую неловкость, а главное, чтобы не утратить своего достоинства предъ столичнымъ юношей, смѣло отвѣшлялся и пустился въ дальнѣйшіе разспросы.

— Гм, гм... Что же?.. Какъ тамъ, напримѣръ, въ столицѣ-то? Что новенькаго? Вѣдь у насъ тутъ одно слово—Тюрьма, хе-хе-хе!—съострилъ батюшка.

— Право, не знаю, что тамъ новаго,—отвѣчалъ Володя, продолжая заниматься своими руками.—Притомъ я не имѣю чести знать, кабая собственно область васъ интересуесть?

— Гм, гм...—пролепеталъ батюшка и окончательно растерялся.

Разговоръ не клеился. Володя скоблилъ ногти крошечнымъ золотымъ ножичкомъ, привѣшеннымъ къ цѣпочкѣ часовъ, и неопредѣленно мычалъ на вопросы; батюшка отчаянно пилъ ставанъ за ставаномъ, обжигая себѣ губы; старикъ безъ всякой видимой надобности переставлялъ на столѣ разные предметы и съ обожаньемъ ловилъ каждое движеніе Володи. Только когда разговоръ коснулся Полянскихъ, молодой человѣкъ нѣсколько оживился и выказалъ интересъ.

— Скажите, пожалуйста,—началъ онъ, ни къ кому собственно не обращаясь:—я слышалъ, что Марья Ивановна Фирсова овдовѣла; правда это?

Фирсова была дальняя родственница Полянскихъ, бывшая замужемъ за купцомъ, нажившимъ огромныя деньги во времена откуповъ.

— Да, да!—въ одинъ голосъ посѣвшили поддакнуть и Антонъ Кирилычъ, и батюшка.

— Вѣдь она, кажется, осталась единственною наслѣдницей послѣ мужа?

— Единственной!—подхватилъ батюшка съ жаромъ.—Все, все какъ есть ей досталось... Теперь первѣйшая у насъ богачка въ губерніи. Сами посудите,—два богатѣйшихъ имѣнія, конный заводъ великолѣпнѣйшій, да чистоганомъ милліончика два будетъ... Это, какъ вы хотите, ничего себѣ... хватить дѣтишкамъ на молочишко...

И батюшка засмѣялся, довольный остротой. Володя усмѣхнулся тоже, отчего о. Пароень еще болѣе расцвѣлъ и ободрился.

— Славная барынька!—съ одушевленіемъ продолжалъ онъ.—Она у насъ каждое воскресенье въ церкви бываетъ. Очень усердная прихожанка...

— Развѣ она теперь здѣсь?—разсѣянно спросилъ Володя.

— Давно! Антонъ Кирилычъ, когда она сюда пріѣхала-то? Никакъ на масляницу? Да такъ, такъ! Я тогда еще молебень служилъ по случаю ея пріѣзда у Полянскихъ въ домѣ. Давно у нихъ гостить! Щедрая барыня! На украшеніе нашей церкви изрядную сумму пожертвовала.

Батюшка окончательно разошелся и готовъ былъ пуститься въ нескончаемые рассказы, но въ эту минуту Володя такъ искренно зѣвнулъ и потянулся, что слова замерли у него на губахъ, и онъ суетливо сталъ прощаться.

— Вамъ надо отдохнуть съ дорожки-то! Чай, растрясло порядкомъ, да и погода такая отвратительная...—болталъ онъ, стоя предъ Володей съ шляпой въ рукахъ.—Такая досада, знаете! Я было сегодня проектировалъ маленькую прогулочку... знаете, какъ это у васъ въ столицахъ—пикники что-ли называется? И вообразите,—вдругъ эдакой скандалъ...

— Гм... это непріятно..., — протянулъ Володя, но вдругъ неожиданно оживился и прибавилъ:—а знаете, это въ сущности великолѣпная мысль! Соберемтесь какъ-нибудь на дняхъ, а? Побольше народу и... куда-нибудь въ лѣсъ...

— Отлично, за чѣмъ же дѣло стало?—радостно подхватилъ батюшка.—Да хоть завтра же... впрочемъ нѣтъ,—завтра будетъ сыро... А вотъ послѣ-завтра? Поѣдемте съ вами вмѣстѣ въ Полянскіе, пригласимъ ихъ... Великолѣпно! Впрочемъ, спѣшу откланяться; дождь, кажется, прошелъ... До свиданія!

И онъ вышелъ. Володя проводилъ его глазами и, пробормотавъ сквозь зубы: „экое любопытство у этихъ поповъ!“—услѣлся на прежнее мѣсто и погрузился въ задумчивость.

Тѣмъ временемъ батюшка затягивался у Діодора папирисой

и вполголоса повѣрялъ ему свои впечатлѣнія. Лены уже не было въ комнатѣ.

— Ну птичка, я вамъ доложу! Востѣрь ногогобъ, ухъ, какъ востѣрь!.. Вообразите себѣ, даже въ смущеніе приходишь при немъ, — право! Министръ!

Діодоръ молчалъ.

Этимъ же вечеромъ, когда въ домѣ все спало крѣпкимъ сномъ, Лена сидѣла въ своей комнатѣ и при тускломъ свѣтѣ сальной свѣчи писала дневникъ.

„Братъ пріѣхалъ. Я къ нему не выходила, но черезъ стѣну слышала, какъ онъ ломался и какъ всѣ ходили передъ нимъ на заднихъ лапкахъ. Особенно возмутительно онъ обошелся съ батюшкой, который въ простотѣ сердечной пришелъ поздравить его съ окончаніемъ курса. И батюшка все-таки послѣ этого лебезилъ передъ нимъ и заискивать... Какъ все это противно, гадео! Папу онъ обрывалъ на каждомъ шагу, такъ что мнѣ даже жаль его стало, а мамашѣ, какъ увидѣлъ ее, сказалъ: „что это вы какъ кухарка одѣты!“ Обо мнѣ даже не спросилъ... и это послѣ двухлѣтней разлуки! Какое же тутъ прощеніе и примиреніе, о которомъ толкуетъ мнѣ Демидъ? Не могу я ни простить, ни примириться; напротивъ, я болѣе чѣмъ прежде ненавижу брата. Мнѣ даже его голосъ, его лицо противны... и никакъ не могу я побѣдить въ себѣ этого отвращенія. Чувствую, что не обойдется у насъ безъ исторіи, — впрочемъ, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Надо же когда-нибудь все это рѣшить окончательно; вѣдь я не дѣвочка теперь, — мнѣ 18 лѣтъ. Неужели я такъ и буду цѣлый вѣкъ сидѣть на отцовскомъ хлѣбѣ?“

„Нѣтъ, надо скорѣе все это кончить. Выбирать одно изъ двухъ: или уйти къ Демиду, или...“

„Ахъ, дядя-Додя, дядя-Додя! Лучше бы ему не пріѣзжать! Съ его пріѣздомъ все во мнѣ перевернулось, все мое спокойствіе, всѣ намѣренія разсыпались въ прахъ. Какъ только увидѣла я его, такъ поняла, что я вѣдь только одного его люблю и только въ немъ — всѣ мои надежды, вся моя будущая жизнь. Съ нимъ я готова идти на край свѣта и дѣлать чтó угодно, а безъ него я пропаду. Какими дѣтскими и глупыми кажутся мнѣ теперь всѣ мои прежніе планы! И вообще, какая я глупая и никому ненужная дѣвчонка! А можетъ быть, я и пригодилась бы на что-нибудь, еслибы меня воспитывали какъ слѣдуетъ и учили. А теперь грустно думать, что вся моя жизнь такъ пропадаетъ, ни за

что... Несправедливая судьба!—вонъ брату она все дала, а мнѣ ничего.

„Страшно подумать, чѣмъ все это кончится. Я каждый день жду какого-то несчастья. И некому рассказать, что творится въ моей душѣ, не съ кѣмъ посоветоваться. Съ дядей я совершенно не могу говорить; я боюсь даже смотрѣть на него, какъ бы онъ не догадался обо всемъ. А между тѣмъ я вижу, что ему надо поговорить со мною,—онъ иногда глядитъ на меня такими грустными глазами, съ такимъ недоумѣніемъ, что у меня все сердце разрывается; можетъ быть, онъ думаетъ, что я его ненавижу... Милый Додя! Онъ и не подозрѣваетъ, какъ я люблю его, какъ хотѣлось бы мнѣ все, все ему рассказать... Но этого никогда не будетъ, никогда! Онъ никогда ничего не узнаетъ. Я, кажется, умру отъ стыда, если когда-нибудь онъ догадается. Боже, какъ я несчастна!..

„Уйду завтра на цѣлый день къ Демиду. Давно я у него не была; я думаю, онъ обо мнѣ соскучился. Вотъ счастливый человекъ! Отказался совершенно отъ себя и думаетъ только о другихъ. Мнѣ иногда хочется рассказать ему о себѣ, но я не могу этого сдѣлать. Я вотъ даже пишу это—и краснѣю, а кому-нибудь сказать... Притомъ я заранѣе знаю, что онъ скажетъ: „терпи, смирись, молись“... А я не могу смириться и терпѣть,—я уже пробовала. Господи, и развѣ же я виновата во всемъ этомъ?!

„Нѣтъ! Даже думать не хочется, чѣмъ все это кончится“...

IX.

Усадьба Полянскаго находилась верстахъ въ трехъ отъ Подгорнаго и носила названіе Пайки. Старинный каменный домъ былъ выстроенъ на вершинѣ горы и весь утопалъ въ роскошномъ саду. Во весь лицевой фасадъ его шла широкая терраса съ огромными колоннами и каменными ступенями, поросшими дикимъ плющемъ и кустами розъ, а отъ ступеней уступами сбѣгали внизъ широкія тѣнистыя аллеи широколиственныхъ кленовъ, задумчивыхъ тополей, мечтательной сирени и абацій. Славные уголки были въ этихъ аллеяхъ! Прохладные, пронизанные золотомъ солнечныхъ лучей въ теплые лѣтніе дни, таинственные, росистые и благоухающіе въ тихія звѣздныя ночи. Не мало, вѣроятно, въ свое время разыгралось романическихъ эпизодовъ въ этихъ поэтическихъ уголкахъ,—такую таинственную прелесть въяло отъ нихъ...

Ко всей роскоши панинской усадьбы не доставало одного — рѣки. Правда, не столь еще давно у подножія сада былъ великолѣпный прудъ, въ которомъ водились жирные караси и цвѣли гигантскія водяныя лиліи, но самъ Полянскій уничтожилъ этотъ прудъ въ минуту раздраженія и въ пику жителямъ сосѣдней, когда-то принадлежавшей ему деревни, которые пользовались его водою и въ то же время не хотѣли уступить ему роскошныхъ поемныхъ луговъ, которые онъ самъ же отдалъ въ припадѣкъ великодушія при полюбовномъ размежеваніи. Тогда разсерженный баринъ приказалъ спустить прудъ и превратить его въ огородъ; съ тѣхъ поръ на днѣ пруда растутъ огурцы, капуста и морковь, воду же мужики берутъ изъ отвратительно-грязной канавы, прикрытой обокъ съ деревней, а для господъ каждый день ѣздить версты за полторы на влочи.

По слухамъ, вообще, Левъ Егоровичъ Полянскій оказывался человѣкомъ крутымъ, вспыльчивымъ, что называется „правнымъ“, и недаромъ крестьянскія дѣвушки сложили про него пѣсню:

Не ходите, дѣвушки, на Панику въ Левушкѣ.

Онъ не хочетъ насъ любить, изъ ружья хочетъ убить...

Насмѣшники, впрочемъ, не оставили въ покоѣ и его главнаго приказчика, помощника и повѣреннаго во всѣхъ дѣлахъ, Николку Гладкаго или Смазного (такъ называли его за обильныя жирныя наслоенія на щекахъ). Про него онѣ сочинили слѣдующій куплетъ, какъ нельзя лучше свидѣтельствующій о задушевности отношеній крестьянъ къ этому вѣрному Личардѣ Льва Егорыча Полянскаго.

Ужъ мы Гладкому Миколкѣ подобѣемъ подметки колки,

Подобѣемъ подметки колки, да все вострыя иголки...

Въ настоящее время дѣла Полянскаго пришли въ сильный упадокъ, такъ что даже по округѣ стали носиться слухи объ аукціонѣ. Полянскій совершенно не умѣлъ вести хозяйство, и это было самою главною причиною его разоренія. И притомъ у него была страсть къ рискованнымъ предпріятіямъ и къ такъ-называемымъ „раціональнымъ способамъ“, которые при недостаткѣ практичности и соображенія вѣчно кончались у него неудачей, унося въ то же время непроемчиво массу денегъ. То онъ, не сообразуясь съ положеніемъ текущихъ дѣлъ на биржѣ и въ торговлѣ, засѣетъ всю землю однимъ овсомъ — и, разумѣется, пролетитъ; то приобрететъ какіе-то туки, отъ которыхъ земля совершенно перестаетъ производить, то, наконецъ, засадитъ чудовищныя деньги въ какую-нибудь необыкновенную жнею, а она отъ неумѣнья обращаться съ нею сломается въ скоромъ времени и

стоит себѣ преспокойно въ амбарѣ, потому что на починку нѣтъ денегъ. Однимъ словомъ, это былъ обыкновенный типъ многихъ русскихъ помѣщиковъ-хозяевъ. Миколка-Гладкій, такъ громко воспѣтый новѣйшею сельскою поэзіей, дѣйтельно помогалъ своему барину во всѣхъ его хозяйственныхъ предпріятіяхъ, отчего, впрочемъ, лично не только не былъ въ убыткѣ, но даже пренесправно нагрѣвалъ, какъ говорится, себѣ руки.

Разстройству дѣлъ Полянскаго не мало также содѣйствовала широкая жизнь, которую онъ велъ. Его пиры, балы, обѣды славились на всю округу, и даже теперь, желая сохранить за собою репутацію хлѣбосола, Полянский изъ всѣхъ силъ танулся, чтобы устроить какой-нибудь необыкновенный вечеръ или званный обѣдъ. Рѣдкій день у него не было гостей, и хотя всѣ, не исключая самихъ хозяевъ, сознавали очень хорошо, что прошлое миновало безвозвратно, но по старой памяти старались сохранять декорумъ разореннаго помѣщичьяго дома.

Семейство Полянскаго, кромѣ жены, состояло еще изъ четырехъ дѣтей. Нельзя сказать, чтобы онъ былъ счастливъ въ дѣтяхъ: ему и здѣсь такъ же не везло, какъ и въ хозяйствѣ. Старшая, Агнеса Львовна, нѣкогда была первою красавицей и умницей во всей округѣ и царицей на всѣхъ балахъ и собраніяхъ, но достигла тридцатилѣтняго возраста и не вышла замужъ. Почему случилось такъ, — достоверно неизвѣстно. Говорятъ, что въ ранней молодости она была чрезвычайно горда, разборчива и браковала жениховъ, какъ хромыхъ барановъ; когда же спохватилась, то было уже поздно: всѣ ухаживатели разсѣялись какъ дымъ, при первыхъ слухахъ о томъ, что Полянскіе на волосокъ отъ разоренія. Притомъ и красота порядочно поизносилась и увяла, и остроуміе значительно притупилось. Слава Агнесы померкла; съ чувствомъ душевной боли замѣчала гордая барышня, что толпа поклонниковъ вокругъ нея все болѣе и болѣе рѣдѣетъ, что далеко не первенствующую роль приходится ей играть на балахъ. Нѣтъ ничего печальнѣе развѣнчаннаго, павшаго величія... Агнеса хирѣла, мелѣчала, ожесточалась и, наконецъ, совершенно перестала посѣщать публичныя собранія, гдѣ она когда-то блистала звѣздою первой величины и гдѣ теперь ее часто совершенно не замѣчали. Этого ея гордость не могла перенести, и она предпочла уединеніе униженію.

О ея энергіи, остроуміи и изворотливости въ достиженіи извѣстныхъ цѣлей, между прочимъ, свидѣтельствуетъ слѣдующій фактъ, за достоверность котораго мы, впрочемъ, не ручаемся, хотя въ немъ и нѣтъ ничего неправдоподобнаго. Этотъ фактъ совер-

шился въ то самое время, когда дѣла Полянскихъ пошатнулись уже настолько, что въ теченіе года Агнесѣ сдѣлано было только два платья и что изъ всѣхъ ея многочисленныхъ поклонниковъ при ней оставались лишь два поручика, одинъ страдавшій постоянной отрыжкой помѣщикъ и одинъ совершенно неопредѣленнаго званія и неопредѣленныхъ занятій молодой человѣкъ, очевидно не знавшій, куда дѣвать себя отъ скуки. Въ это-то самое трагическое время случилось слѣдующее: въ сосѣднемъ селѣ Кривомъ проживалъ вдовый дьячокъ, сильно запивавшій, убогій и скудный умомъ, по прозванію Лупоглазый, ибо имѣлъ непомѣрно большіе и глупые глаза на выкатѣ. До сихъ поръ на Лупоглазаго рѣшительно никто не обращалъ вниманія, и онъ преспокойно себѣ пьянствовалъ въ кабакахъ, нисколько не подозрѣвая, что скоро сдѣлается героемъ романа и предметомъ самыхъ оживленныхъ толковъ и пересудовъ. Совершенно неожиданно у него умираетъ въ Одессѣ какой-то родственникъ, протопопъ, и Лупоглазый дѣлается единственнымъ наслѣдникомъ капиталца въ 40,000. Прежде всего на радостяхъ, какъ водится, Лупоглазый жестоко запилъ и неизвѣстно, какое бы онъ далъ употребленіе своему наслѣдству въ дальнѣйшемъ будущемъ, еслибы не подвернулась Агнеса и не пришла на помощь къ опалѣвшему отъ счастья Иванушкѣ-дурачку, не знавшему, что дѣлать съ своими деньгами. Невзрачнаго, глупаго, полупьянаго дьячка вдругъ стали усиленно приглашать въ Панику, закармливать обѣдами, запивать шампанскимъ, которое собственноручно наливала ему сама очаровательная Агнеса. Дьячокъ совершенно обезумѣлъ: онъ влюбился въ красавицу и ни отъ кого не скрывалъ своихъ чувствъ. Надъ нимъ смѣялись; одна Агнеса очевидно поощряла роковую страсть Лупоглазаго, пуская въ ходъ всѣ обольстительныя ухищренія своего опытнаго кокетства. Гордая царица баловъ, одного благосклоннаго взгляда которой, бывало, тщетно ждуть толпы блестящихъ поклонниковъ, теперь, не гнушаясь, садилась рядомъ съ грязнымъ, безобразнымъ дьячкомъ, строила ему нѣжные глазки, не разъ давала цѣловать свою ручку... Было отчего обезумѣть! Агнеса снизошла даже до того, что сама лично посѣщала дьячка въ его мрачномъ логовищѣ, и жители Кривого частенько видали въ это время на своихъ улицахъ элегантный одноконный шарбанчикъ Полянского или стройную амазонку, укутанную густымъ темнымъ вуалемъ и скакавшую по направленію дьячковаго дома.

Результатомъ таинственныхъ экспедицій прекрасной амазонки было то, что въ одинъ прекрасный день дьячокъ, явившись въ Панику, встрѣтилъ настолько сухой приѣмъ, что его даже не

пригласили сѣсть, а когда онъ дрожащими отъ волненія губами спросилъ, гдѣ барышня и можно ли ему ее видѣть, — ему объявили, что она уѣхала въ Петербургъ и вернется черезъ мѣсяцъ. На другой день дьячокъ опять пришелъ въ Панику, но этотъ разъ его совсѣмъ не приняли, а когда онъ сходилъ съ крыльца, — дворня провожала его смѣхомъ и ругательствами. Несчастный сошелъ съ ума. Нѣсколько времени онъ, растрепанный, дикій, бѣгалъ по Кривану, отыскивая пропавшія деньги и спрашивая у каждаго встрѣчнаго: куда уѣхала его невѣста? — наконецъ, куда-то исчезъ изъ села и больше не появлялся. Впрочемъ о немъ никто и не пожалѣлъ; всѣ въ одинъ голосъ говорили, что „такъ дураку и надо“... А черезъ мѣсяцъ Агнеса дѣйствительно вернулась изъ Петербурга съ запасомъ роскошныхъ нарядовъ; по случаю ея пріѣзда былъ данъ прелестный вечеръ съ ужиномъ и музыкантами, выписанными изъ губернскаго города, и въ числѣ ея неизмѣнныхъ пяти обожателей явился шестой — юный еврейчикъ изъ Одессы...

Правдивъ или нѣтъ рассказанный фактъ, — повторяемъ, достоверно не извѣстно; извѣстно только то, что дѣла Полянскихъ вообще, а самой Агнесы въ частности, съ каждымъ годомъ становились все хуже и хуже, балы и обѣды повторялись рѣже и рѣже, а обожатели одинъ за другимъ разсѣялись. Однако, несмотря на это, Агнеса и до сихъ поръ еще не утратила былого величія и бонтонности. Одѣвалась она всегда чрезвычайно элегантно, говорила съ гостями не иначе какъ по-французски и особенно при вечернемъ освѣщеніи могла произвести сильное впечатлѣніе на новаго человѣка. Находились даже такіе люди, которые побаивались ея остроумнаго язычка, въ присутствіи ея робѣли, терялись и вообще благоговѣли предъ этою развѣнчанною царицей. Такъ, „храмъ разрушенный — все храмъ“...

Братъ ея, Егоръ, далеко уступалъ своей сестрицѣ въ остроуміи, ловкости и бонтонности. Это былъ неуклюжій, невзрачный дѣтина огромнаго роста, съ глуповатымъ лицомъ и растеряннымъ видомъ. Учился онъ вмѣстѣ съ Володей, вмѣстѣ съ нимъ поступилъ въ 3-й классъ гимназіи, но при переходѣ въ четвертый застрялъ и съ тѣхъ поръ аккуратно застрѣвалъ въ каждомъ классѣ на два года. Однако, при помощи невѣроятныхъ усилій со стороны учителей, онъ кое-какъ доползъ до 6-го класса и больше уже не прогрессировалъ. У него развилась какая-то странная болѣзнь, подъ названіемъ „mania religiosa“, и, къ общему удовольствію, онъ принужденъ былъ выйти изъ гимназіи. На самомъ дѣлѣ, Егоръ Львовичъ отличался большими странностями.

Часто, напримѣръ, среди гостей и шумной бесѣды онъ вдругъ вскакивалъ, съ вдохновеннымъ видомъ дѣлалъ поклоны предъ иконою и затѣмъ снова, какъ ни въ чемъ не бывало, возвращался къ прерванной такъ странно бесѣдѣ. Кромѣ того, онъ любилъ чрезвычайно вычурно и туманно выражаться; разговоръ его изобиловалъ массою иностранныхъ словъ, ни къ селу, ни къ городу употреблявшихся, а иногда даже цѣлыми тирадами, выхваченными изъ книгъ. На вопросъ: „что вы подѣлываете? онъ всегда отвѣчалъ: „расширяю свой умственный кругозоръ“, а иногда и вовсе возьметъ, да и озадачитъ вопрошателя Карамзинскимъ періодомъ въ родѣ: „углубляюсь въ самого себя, вспоминаю прошедшее, соединяю его съ настоящимъ и нахожу способъ украшать одно другимъ, дабы оставить въ мірѣ благодѣтельные слѣды бытія своего“... Въ боковомъ карманѣ его скрутка постоянно находилась записная книжка, кругомъ исписанная подобными цитатами и иностранными словами. Какъ только въ книгѣ попадалось ему какое-нибудь неудобопроизносимое слово—онъ немедленно выписывалъ его, затверживалъ и долго носился съ нимъ, пока на смѣну не являлось другое, еще болѣе мудреное. Однажды онъ, въ теченіе цѣлаго мѣсяца, на каждомъ шагу употреблялъ слово: экстраординарный. „Экстраординарная погода“... „экстраординарная лошадь“... и т. д. Въ другой разъ ему очень понравилось слово: „реабилитація“, и онъ даже въ самое простое предложеніе ухитрился всунуть его... По этой причинѣ рѣдко кому приходило въ голову бесѣдовать съ Егоромъ Львовичемъ и не мудрено, что нѣкоторые бѣгали отъ него, какъ отъ чумы.

Окончивъ такъ преждевременно курсъ своихъ наукъ, онъ совершенно отдался изящной литературѣ, въ которой и въ гимназій еще чувствовалъ большую склонность. Онъ не ограничивался однимъ чтеніемъ, а даже пытался „создать“ что-либо самостоятельное („Пишутъ же другіе, чортъ возьми! Отчего не написать и мнѣ“?). Разсудивъ такимъ образомъ, Егоръ Львовичъ написалъ огромный трактатъ „о людской подлости“ и послалъ его въ редакцію одного серьезнаго, научно-литературнаго журнала. Трактатъ ему, разумѣется, возвратили „съ благодарностью“, но обстоятельство это, повидимому, нисколько не обезкуражило юношу. Съ похвальной скромностью онъ рѣшилъ, что еще недостаточно расширилъ „свой умственный кругозоръ“ и усердно принялся расширять его, въ громадномъ количествѣ поглощая романы Дюма, Ксавье де-Монтепена, Зола, Гюго и tutti-quantum. Отъ литературы онъ прежде всего требовалъ грандіозности и вообще отличался самостоятельностью сужденій. Такъ, Тургеневъ

и Гончаровъ были, по его мнѣнію, „такъ себѣ“, Гоголь, Толстой и Пушкинъ — „ничего“, а о Крестовскомъ-псевдонимѣ онъ отзывался такъ: „Что хорошаго можетъ написать женщина? Вѣдь еще Шекспиръ сказалъ: о, женщины! ничтожество вамъ имя!“...

Расширивъ достаточно умственный кругозоръ, Егоръ Львовичъ принялся, наконецъ, за самостоятельное творчество. Прежде всего онъ спилъ великолѣпную тетрадь, украсилъ ее виньеткой, придумалъ заглавіе и началъ обдумывать сюжетъ. Первый часть прошелъ благополучно: начинающій поэтъ съ вдохновеннымъ челою рассказывалъ по комнатѣ, вздымалъ кверху волосы и съ какими-то подавленными стонами простиралъ руки въ пространство. На второмъ часу, однако, вдохновенное чело стало покрываться потомъ, руки опустились, а вмѣсто стоновъ стали вырываться довольно явственные ругательства. На третьемъ часу Егоръ Львовичъ съ мрачной рѣшительностью спряталъ тетрадь въ столъ, легъ на кровать и заснулъ.

Такимъ образомъ, въ короткое время на письменномъ столѣ Егора Львовича скопилась цѣлая куча чрезвычайно изящныхъ тетрадей съ самыми разнообразными заглавіями и совершенно чистыми страницами. Это были все будущія произведенія его, долженствовавшія нѣкогда осчастливить міръ и прославить „отъ былыхъ водъ до черныхъ“ имя Полянскаго. То обстоятельство, что до сихъ поръ ни одинъ изъ задуманныхъ имъ романовъ не пришелъ къ желанному концу, Егоръ Львовичъ объяснялъ такъ: „Развѣ можетъ наша сѣренькая будничная жизнь дать достойный сюжетъ для романа? Развѣ есть вокругъ меня что-нибудь достойное вниманія? Развѣ совершаются въ моей печальной обстановкѣ грандіозныя, экстраординарныя событія?“ Тутъ онъ возвышалъ голосъ до fortissimo и, сдѣлавъ паузу, доканчивалъ ріано: „Нѣтъ! Нѣтъ сюжетовъ, и потому перо мое остается въ трагическомъ бездѣйствіи“...

При всѣхъ своихъ слабостяхъ и недостаткахъ, молодой Полянский, однакожъ, имѣлъ и свои достоинства. Онъ былъ очень добродушенъ, простъ и безобиденъ. Одного только онъ не выносилъ и не прощалъ, — когда его въ глаза называли „Егоромъ Львовичемъ“. При этомъ онъ весь наливался кровью, выходилъ изъ себя и напоминалъ, что его зовутъ вовсе не „Егоромъ“, а Георгіемъ, или, „если хотите“, Жоржемъ. Но отнюдь, отнюдь не Егоромъ... Во всемъ остальномъ онъ былъ незлобивъ какъ агнецъ, и всѣ въ домѣ, начиная съ Агнесы и кончая младшей сестренкой, едва выучившейся дѣлать реверансы, только-что не возили на немъ воду. Впрочемъ, для окончательной характери-

стики Жоржа (дѣлаемъ ему эту уступку и отнынѣ перестаемъ называть его Егоромъ) приводимъ здѣсь мнѣніе о немъ, составленное паникскими мужиками.

— Ягоръ эфтотъ у нихъ теленокъ! — говорили мужики. — Ягоръ — малый-рубаша! Одно вотъ только, что добре книгъ онъ начитался, ну и одурѣлъ маненько. А то малый ничего.

На другой день послѣ грозы, въ четвертомъ часу пополудни, по дорогѣ отъ Подгорнаго къ Паникѣ бойкой рысцой бѣжала сытая поповская лошадка, запряженная въ легкую плетеную телѣжку. Въ телѣжкѣ сидѣли батюшка и Волода. По обѣ стороны черной, какъ бархатная лента, дороги волновались великолѣпные всходы пшеницы, своими серебристо-зелеными волнами заливавшей на много десятинъ кругомъ придорожныя поля. Направо, въ сторонѣ, сквозь синеватую дымку, видѣлся лѣсокъ; изрѣдка оттуда приносился вѣтерокъ, и тогда въ воздухѣ разливалось опьяняющее благоуханіе ландышей, фіалокъ и березовыхъ почекъ. А впереди, тамъ, гдѣ дорога круто сворачивала влѣво на Панику, на горизонтѣ извивалась волнистая линія холмовъ, также утопавшихъ въ прозрачномъ голубомъ туманѣ.

Бойкій батюшкинъ битючокъ мѣрно постукивалъ копытами по еще влажной землѣ. Батюшка правилъ и, вѣроятно, по случаю такого близкаго сосѣдства съ благоухающимъ петербургскимъ гостемъ, находился въ нѣсколько возбужденномъ состояніи. Считая себя почему-то обязаннымъ занимать своего спутника, онъ безъ умолку болталъ и разсыпался передъ Володей. Проѣзжали мимо хлѣбовъ — онъ восклицалъ: „эки хлѣба-то нынче Господь даетъ!“ Поровнявшись съ полянкой, на которой стояло множество толстыхъ пней, онъ съ грустью произносилъ: „Льва Егорыча лѣсокъ-то былъ! На срубъ проданъ весь какъ есть“...

Но спутникъ его молчалъ и сидѣлъ въ задумчивости: врядъ ли онъ даже слышалъ, чтѣ сообщалъ ему словоохотливый батюшка.

Между тѣмъ битючокъ забралъ влѣво, спустился по склону холма, и тутъ предъ путниками, какъ на ладонѣ, предстала усадьба Полянского. Среди яркой, освѣженной дождемъ, зелени, бѣлыхъ, блистающихъ на солнцѣ, колонны террасы выглядѣли особенно нарядно и изящно. Деревья рѣзвою толпой сбѣгали внизъ по горѣ, и ихъ кудрявыя вершины, словно зеленныя облака, клубились вокругъ крутого ската. Еще ниже, у самаго подножія горы, по боку обрывистаго, заросшаго тощими ветлами, буерака лѣпились какія-то грязныя, вонючія кочки, скорѣе напоминающія

сооруженія термитовъ, чѣмъ жилия человѣческія постройки. Рас-
трепанныя крыши съ зіяющими прорѣхами, сѣвозъ которыя, словно
ребра на трупѣ, проглядывали гнилыя стропила; повалившіеся
плетни, разрушенные сараи, — все это свидѣтельствовало о крайней
нищетѣ обитателей деревушки. Кое-гдѣ, впрочемъ, видны были
старанія хоть немножко пригладить и причесать печальную бѣд-
ность: поваленные плетни въ нѣкоторыхъ мѣстахъ были подперты
колышками, дыры на крышахъ были тщательно прикрыты зеле-
нымъ камышомъ, пестрѣвшимъ среди общаго сѣро-грязнаго фона,
какъ новыя заплаты на старомъ платьѣ; иногда даже рѣзко бро-
сались въ глаза совершенно новыя, блестяще-бѣлыя веревъ, на
которыхъ были навѣшены источенныя червями ворота; но всѣ
эти попытки прикрасить нищету, повидимому, были совершенно
тщетны и только еще болѣе выставляли на видъ жалкія разва-
лины и лохмотья. И что-то тоскливое, безотрадно-мрачное подни-
малось въ душѣ при взглядѣ на эти жалкія жилища, вокругъ
которыхъ такъ роскошно расцвѣтала природа, росли великолѣп-
ные лѣса, разстилались неоглядныя хлѣбныя поля, цвѣли фіалки
и ландыши. Обидно становилось, что все ликуеть и цвѣтетъ
рядомъ съ этимъ непокрытымъ горемъ... Одинъ бѣлый домъ съ
колоннами, гордо возносясь надъ окрестностью, словно смѣялся
среди своихъ кудравыхъ, многотуманныхъ аллей...

Плетеная телѣжка, подпрыгивая, проѣхала чрезъ полуразру-
шенную плотину и повернула въ узкій, грязный проулокъ. На
сѣдковѣ пахло дымомъ и навозомъ; желтолицая, худая баба,
вѣроятно больная, грѣлась на завалинкѣ и безучастнымъ взоромъ
глядѣла вокругъ; грязные бѣловолосые ребята валялись въ пыли.
Послѣ широкихъ порядковъ Подгорнаго, послѣ его чистенькихъ
домиковъ съ палисадниками все здѣсь казалось такъ сѣро, угрюмо,
безобразно...

Повидимому, и впечатлительный о. Пароенъ поддался общему
настроенію картины, потому что восторженность его вдругъ упала,
и онъ, задумчиво оглядѣвшись кругомъ, произнесъ:

— Ахъ, какіе эти паничкіе мужики бѣдные! Жалость смо-
трѣть... Бѣднѣе ихъ, пожалуй, во всей округѣ нѣту. Каждый-то
годъ у нихъ голодовка да эпидеміи... Сколько я ихъ великимъ
постомъ перехоронилъ—страсть! Тифы да диссентеріи; докторъ
и то ужъ говорить: „Паника у васъ—гнѣздо заразы“... Надѣлъ-то
имъ больно плохъ достался...

Володя ничего не отвѣтилъ батюшкѣ, только нетерпѣливо
передернулъ плечами и снова погрузился въ задумчивость.

Въ это время паницкій переулочек кончился, еще поворотъ, и усадьба открылась во всемъ своемъ величїи и красотѣ.

— Вотъ онъ и замокъ Монъ-Реаль! — воскликнулъ батюшка, оживляясь. — Ба! Да у нихъ, кажется, гости...

Дѣйствительно, на террасѣ засѣдало цѣлое общество, сгруппировавшись вокругъ чайнаго стола. Познакомимся обстоятельно со всѣми.

Чай разливала „сама“; это была робкая, забитая женщина, безсловесная и покорная, находившаяся въ полномъ подчиненїи у мужа и своей блистательной дочери и вполнѣ признававшая надъ собою ихъ превосходство. Съ утра до ночи она только и дѣлала, что угождала имъ, — стряпала, гладила, кормила, подметала, — и все это совершенно безропотно. Поодаль отъ нея, за особымъ столикомъ, сидѣлъ Полянскій и курилъ табакъ изъ длиннаго чубука. Всякій, кто слышанъ былъ о его крутомъ нравѣ и энергичныхъ дѣйствїяхъ, почему-то представлялъ его себѣ мужчиной огромнаго роста, съ могучимъ, потрясающимъ басомъ, свирѣпыми усами и свободными тѣлодвиженїями, однимъ словомъ, чѣмъ-то въ родѣ тѣхъ, нынѣ уже отживающихъ, бурбоновъ, при взглядѣ на которыхъ всегда приходило на память извѣстное стихотворенїе Давыдова: „Бурцевъ-ѣра, забіяка“ и воинственные звуки „Крамбамбули“. Но, при ближайшемъ знакомствѣ, cadaго ждало полнѣйшее разочарованїе: на самомъ дѣлѣ, Левъ Егорычъ былъ крошечный, сухенькій, весьма подвижной человѣчекъ, съ маленькимъ личикомъ, исписаннымъ множествомъ морщинъ и напоминавшимъ старую лайковую перчатку, съ скверной клочковатой бороденкой и какимъ-то длиннымъ завитымъ кокомъ на лбу, дѣлавшимъ его похожимъ на франтовъ 20-хъ годовъ. При всемъ этомъ онъ говорилъ чрезвычайно пискливымъ голоскомъ, а когда ему приходила охота посмѣяться, изъ горла у него вылетали какіе-то странные, шипящіе и свистящіе звуки. Напротивъ его, въ широкомъ мягкомъ креслѣ, изнемогала подъ бременемъ своей толщины вдова Марья Ивановна Фирсова. Это была дебелая, что называется, „налитая“ барыня лѣтъ уже порядочно за 40. Впрочемъ на видъ она казалась гораздо моложе отъ своей полноты, а главное отъ манеры одѣваться всегда въ свѣтлое — голубое, розовое. Рядомъ съ высокой, стройной Агнесой, облеченной въ суровое полотно, гарнированное черными кружевами, она казалась „старою“ дѣвочкой. Вышла она замужъ за 60-ти-лѣтняго старика, и потому осталась какою-то неудовлетворенной и вѣчно жаждущей любви. Влюблялась она постоянно и непремѣнно въ самыхъ молоденькихъ; влюблялась въ cadaго встрѣченнаго на

улицъ гимназиста, кадета, юнкера, приказчика, даже извозчика и еще при жизни мужа, который держалъ ее въ ежовыхъ рукавицахъ, пылала платонической страстью къ одному провинціальному актеру, которому, въ знакъ любви, поднесла въ даръ собственного рукодѣлія двѣ фуфайки и дюжину носковъ изъ берлинской шерсти. Несмотря на свой довольно почтенный возрастъ, Марья Ивановна до сихъ поръ была наивна, довѣрчива и какъ-то добродушно-глупа. Жизни и людей она совершенно не знала, и всѣ ухаживанья за ней приписывала не обаянію миллионѣ, доставшихся ей въ наслѣдство, а исключительно своимъ личнымъ достоинствамъ. Ей—незлобивой, простодушной, мягкосердечной—и въ голову никогда не приходила мысль о томъ, что ее могутъ обмануть, провести, насмѣяться надъ нею. Цѣны деньгамъ она также не знала и сыпала ими направо и налево безъ всякаго расчета. Какъ только кончился годъ ея траура, она поспѣшила нашить себѣ голубыхъ и розовыхъ нарядовъ и накупила массу ни на что ненужныхъ бездѣлушекъ. Въ то же время она была очень добра, и кто бы ни обращался къ ней за деньгами, она безъ отказа давала. Одни Полянскіе, въ теченіе трехъ-четырехъ мѣсяцевъ, успѣли уже перебрать у нея по мелочамъ до 3 тысячъ. Но этихъ „мелочей“ Полянскимъ было мало; миллионы раззадорили ихъ аппетиты, и они хитро и осторожно разставляли вдовѣ свои сѣти... Всѣ въ домѣ ухаживали за нею на перерывъ, а въ послѣднее время почему-то особенно часто случалось такъ, что Марья Ивановна и Жоржъ оставались наединѣ. При этомъ Жоржъ безпрестанно прикладывался къ бѣлымъ пухлымъ ручкамъ „*ma tante*“ и читалъ ей отрывки изъ „Демона“, а „*ma tante*“ оказывала явные знаки благоволенія племянничку, шаловливо трепля его за взѣрошенные вихры и никому другому, кромѣ его, не позволяя сопровождать себя въ уединенныхъ прогулкахъ по саду, во время которыхъ Жоржъ носилъ за нею книгу, ридикюль съ работой, шаль и скамеечку. Агнеса, глядя на все это, одобрительно улыбалась брату и особенно нѣжно цѣловала Фирсову. Въ настоящую минуту Жоржъ, по обыкновенію, не покидалъ своей должности пажа при „милой тетускѣ“; онъ сидѣлъ у нея за кресломъ и обмахивалъ ея разгорѣвшееся лицо пушистой вѣткой цвѣтущей черемухи.

Кромѣ семейства Полянскихъ, на террасѣ находилось еще нѣсколько постороннихъ лицъ. Тутъ были: нѣмецъ Штофъ, содержатель сосѣдней мельницы на Карамышѣ; бывшій арендаторъ почечуевского имѣнія, а теперь винозаводчикъ, купецъ Щепоткинъ и, наконецъ, какой-то совершенно незначительный юнкеръ,

съ которымъ Агнеса иногда, отъ нечего-дѣлать, воекетничала. Мельникъ Штофъ поражалъ голяеовскими размѣрами своего туловища, мѣдно-краснымъ цвѣтомъ лица, обросшаго синеваго колючей щетиной, и, кромѣ всего этого, былъ еще извѣстенъ тѣмъ, что недавно женился на седьмой женѣ, чѣмъ онъ, впрочемъ, довольно скромно гордился. Въ противоположность колоссальному нѣмцу, Щепоткинъ былъ чрезвычайно худъ и тощъ и всею своею фигурою, облеченною въ длиннополый скортукъ, напоминалъ манекенъ, выставляемый обыкновенно въ окнахъ магазиновъ готоваго платья. За то темно-бронзовое лицо его съ косо прорѣзанными, узкими глазами, съ подвижной клинообразной бородкой и тонкими, какъ бы втянутыми, губами являло признаки хитрости и смѣливости необычайной. Въ молодости онъ былъ тарханомъ, т.-е. ѣздилъ по селамъ и вымѣнивалъ на разныя бездѣлушки пеньку, тряпье, кости, пухъ, холсты и пр.; теперь же у него была собственная земля, винокуренный заводъ и, вѣроятно, кое-какія деньжонки,—такъ тыснонокъ сто, а можетъ, и побольше, въ точности никто не зналъ. Онъ былъ вдовъ и имѣлъ единственного, уже взрослого, сына, который, несмотря на отцовскіе капиталы, подобно отцу своему, ѣздилъ по деревнямъ и тарханилъ. „Пуцай своимъ горбомъ добро наживаетъ, нечего на отцовское надѣяться!“—говорилъ Щепоткинъ, когда ему говорили о сынѣ.

Рядомъ съ нимъ сидѣла Агнеса и усердно подливала ему въ стаканъ коньяку, какъ будто не нарочно задѣвая его иногда своимъ плечикомъ, полузакрытымъ какою-то кружевною прелестью. Это обстоятельство, повидимому, повергало въ полнѣйшее отчаяніе юнкера, влюбленнаго въ Агнесу со всѣмъ пыломъ и искренностью 19-ти лѣтъ; онъ страшно вздыхалъ, гремѣлъ палашомъ и бросалъ на „коварную“ демоническіе взгляды. За то Щепоткинъ былъ на седьмомъ небѣ; поглощая стаканъ за стаканомъ вѣрчайшій чай съ коньякомъ, онъ самодовольно вытиралъ лицо клѣтчатымъ грязнымъ платкомъ и совершенно завладѣлъ общимъ вниманіемъ, рассказывая о своей поѣздкѣ въ Финляндію, которую онъ называлъ Вихляндіей.

X.

Появленіе батюшки съ Володей произвело нѣкоторый переполохъ и перемѣщеніе дѣйствующихъ лицъ. Хозяинъ пронзительно вскрикнулъ и бросился обнимать Володю; Жоржъ отбросилъ вѣтку черемухи въ сторону и громогласно заржалъ, оставивъ немедленно свой постъ около прелестной вдовушки; Агнеса сдѣлала

легкое восклицаніе, какъ будто нечаянно облила свое платье сливками, исчезла и скоро появилась опять въ шелковомъ капотѣ какого-то необыкновеннаго золотистаго оттѣнка; наконецъ, Фирсова забыла доѣсть сладкій пирожокъ и немедленно влюбилась въ молодого путеца, который, какъ нарочно, былъ сегодня особенно красивъ въ обласнѣнномъ кителѣ съ золотыми пуговицами и погонами.

Когда все успокоилось, кончились первыя привѣтствія и рекомендаціи и всѣ ушли по мѣстамъ, Щепоткинъ попытался было продолжать свой рассказъ, который онъ находилъ необыкновенно занимательнымъ, но Левъ Егорычъ перебилъ его на первомъ же словѣ:

— Ну, ты, Астафій Петровичъ, теперь оставь свою Вихляндію! Теперь не до тебя. Ну, инженеръ, рассказывай! Чтѣ, какъ, откуда и прочее, прочее...—обратился онъ къ Володѣ.

Щепоткинъ осѣлся и устался на Володю своими калмыцкими глазками.

— Чтѣ же рассказывать! — весело отвѣчалъ Володя; онъ вообще замѣтно оживился и почувствовалъ себя въ своей сферѣ. — Курсъ кончилъ благополучно и мѣсто уже получилъ. Вы знаете, конечно, что въ Н—й губерніи идутъ теперь изысканія для проведенія желѣзно-дорожной вѣтви, которою предполагаютъ соединить Х-скую и С-скую дороги. Такъ вотъ туда и я назначенъ. Окладъ на первый разъ порядочный... Сюда же я пріѣхалъ всего на два мѣсяца, повидаться съ родными.

— Отлично, отлично! — одобрилъ Полянскій, весь какъ-то подпрыгивая на своемъ стулѣ. — Хорошій, право, нынче народъ пошелъ: энергичный, предприимчивый, — смотрѣть любо! Дѣйствуйте, дѣйствуйте!.. Вотъ въ прошломъ году ѣхалъ я по Волгѣ съ однимъ тоже молодымъ инженеромъ, — онъ былъ одинъ изъ членовъ комиссіи, назначенной для изслѣдованія причинъ обмѣла Волги. Разговорились мы. Ну, ужъ и умница! Какъ сталъ онъ мнѣ свои проекты развивать — заслушаешься! „Дайте, говорить, намъ денегъ побольше, — мы вамъ на луну желѣзную дорогу построимъ“...

— Они построятъ, — какъ же! — неожиданно вмѣшался въ разговоръ Щепоткинъ (онъ все время внимательно наблюдалъ за Володей и, очевидно, сразу его не взлюбилъ). — Они, инженеры-то, мастера на рѣчахъ разговаривать! А Волга-то матушка годъ отъ году мелѣетъ да мелѣетъ себѣ... Лѣтъ пять тому назадъ одинъ простой мужичокъ брался за 500 рублѣвъ ее расчистить, — не согласились: дескать, мужикъ — дуракъ, неученый... А вотъ, гля-

дишь, инженеры-то и ученые, а ничего подѣлать не могутъ. Только судятъ-рядятъ да миллионами пошвыриваютъ. До миллионъ-то они дюже охочи. Имъ только подавай, они чудесную дорожку проведутъ въ свой карманъ миллионамъ-то эфтимъ...

Выходка эта произвела различное впечатлѣніе на присутствующихъ. Володя взглянулъ на Щепоткина такимъ взглядомъ, какимъ глядятъ обыкновенно на досадную муху, жужжащую около уха, и, не удостоивъ его даже отвѣтомъ, отвернулся; нѣмецъ, очевидно, ничего не понялъ; Полянский залился своимъ беззвучнымъ, шипящимъ смѣхомъ; Агнеса сдѣлала гримасу. Одинъ батюшка вдругъ заволновался и счелъ почему-то нужнымъ вступить за честь инженеровъ.

— Ну, нѣтъ, Астафій Петровичъ! Это ты напрасно! По наузѣ-то оно совсѣмъ не такъ выходитъ... потому — наука, можно сказать...

— А ты, батя, помалчивай лучше! — перебилъ его Щепоткинъ, посмѣиваясь. — Ваша порода тоже, извѣстно, — руки загибающія, глаза завидующіе. Племя Левитово — сказано! Молчи, а то расскажу про Левита!

— Про какого тамъ еще Левита? — задыхаясь отъ смѣха, спросилъ Полянский. Онъ очень любилъ грубия, но иногда остроумныя выходки бывшего тархана.

— А вотъ отъ котораго все племя поповское произошло. Видишь, какъ дѣло было: шелъ Христосъ съ Левитомъ и застигла ихъ въ дорогѣ ночь. Остановились они въ пещерѣ ночевать. Ну, извѣстно, ходили-ходили цѣлый день, — захотѣлось Левиту, по человѣчеству своему, покушать. А былъ у нихъ всего одинъ махонькій хлѣбецъ. Вотъ, вынимаетъ Христосъ эфтотъ хлѣбецъ, раздѣлилъ его пополамъ, одну половину Левиту отдалъ, другую себѣ оставилъ и сталъ на молитву. Съѣлъ Левитъ свою порцію, однако все ему ѣсть хочется, — только разманило пуще. А Господь все молится, все молится. И думаетъ Левитъ: „дай, молю, я у него возьму, — можетъ, онъ всю ночь промолится, глядишь, и про хлѣбъ забудетъ“... Взялъ, стащилъ у Христа хлѣбецъ, съѣлъ и заснулъ... Просыпается утромъ, глядь, а Христосъ уже въ путь собирается. „Ну, — говоритъ Христосъ, — пойдемъ, Левитъ; только я, говоритъ, отсюда въ другую сторону пойду, такъ давай съ тобою деньги подѣлимъ“. И раздѣлилъ Господь деньги на три кучки, — одну себѣ оставилъ, а другую Левиту даетъ. „Господи! — говоритъ Левитъ: — а кому же третья-то?“ „А это, — говоритъ Христосъ, — тому, кто у меня вчера хлѣбъ взялъ, останется“. Левитъ-то, какъ услыхалъ эти слова, такъ деньги-то

поскорѣе и загребѣ... „Господи! вѣдь это я у тебя взять хлѣбъ, — давай деньги мнѣ“... Вотъ она какова ваша братья-то, Левиты. Не хуже инженеровъ! — бросая косвенный взглядъ на Володю, добавилъ Щепоткинъ.

Анекдотъ Щепоткина вызвалъ почти во всѣхъ веселость. Польинскій зашипѣлъ и затопалъ ногами, а нѣмецъ залился тоненькимъ, взвизгивающимъ смѣхомъ, совершенно непропорціональнымъ его росту, и все повторялъ: „Карашо!.. Ничево... Это карашо!“ Только Володя не улыбнулся, да Агнеса снова сдѣлала гримаску и прошептала: „fi donc!“

Батюшка сконфузился и укоризненно обратился къ Щепоткину.

— Стыдно, Астафій Петровичъ! Въ глазу брата своего видишь спицу, а во своемъ бревна не замѣчаешь... Стыдно, стыдно тебѣ...

— Ну, ну, не сердись, батя! — трепля о. Парѣна по плечу, сказалъ Щепоткинъ. — Не про тебя сказано; всѣ вѣдь знаютъ, что ты у насъ Кузьма безсребренникъ...

Однако батюшка не унимался. Споръ разгорался; но такъ какъ Щепоткинъ былъ вообще находчивѣе и острѣе, то, въ концѣ концовъ, батюшка окончательно оказался прижатымъ къ стѣнѣ и, вмѣсто словъ, только бессильно махалъ руками, словно отгоняя отъ себя цѣлую тучу оводовъ.

— Ну, батюшка, совсѣмъ кривоносое ваше положеніе! — воскликнулъ Жоржъ, все время съ большимъ интересомъ слѣдившій за состязаніемъ спорщиковъ.

— Жоржъ! C'est impossible! — укоризненно прошептала Агнеса въ сторону брата, который всегда шокировалъ ее своими выходками и выраженіями.

— Какой тамъ импосибль? — отмахнулся Жоржъ отъ сестры. — Вотъ ты всегда такъ дискредитируешь меня въ глазахъ общества...

Агнеса махнула рукой.

Тѣмъ временемъ, подъ шумокъ бесѣды, Володя подсѣлъ къ вдовушкѣ и, очевидно, не терялъ даромъ времени. Въ его рукахъ очутилась брошенная Жоржемъ черемуховая вѣтка, и глазки Марьи Ивановны какъ-то особенно блистали, когда она взглядывала на молодого человѣка. Агнеса это замѣтила, и брови ея замѣтно нахмурились. Она сдѣлала таинственный знакъ Жоржу, но Жоржъ повернулся къ ней спиной и завылъ довольно дикимъ голосомъ: „насъ вѣнчали не въ церкви“. Очевидно, онъ былъ не прочь избавиться отъ своей пажеской должности и передать

ее другому. Агнеса хотѣла что-то сказать, но только вздернула плечами и съ осанкой оскорбленной королевы выплыла въ комнаты; вслѣдъ за нею, бряцая палашомъ, послѣдовать унылый юнкеръ.

Солнце уже склонилось за горы и въ послѣдній разъ облило золотомъ вершины дремлющаго сада. Деревья стояли въ задумчивости; ни одинъ листокъ на нихъ не шевелился. Особенно торжественны были тополи: стройно возносясь къ небу, какъ башни готическаго собора, они словно замерли въ молитвенномъ восторгѣ. А въ неподвижномъ голубомъ воздухѣ, словно жертвенный ошміамъ, распространилось тонкое, сладостное благоуханіе серебристаго лоха и пріотившагося гдѣ-нибудь по близости ландыша. Казалось, все молилось въ трепетномъ ожиданіи грядущей ночи.

— Господа! не угодно ли закусить?—провозгласилъ хозяинъ, появляясь на порогѣ въ ярко освѣщенномъ четырехугольномъ двери, словно оперный Мефистофель предъ Маргаритой въ храмѣ. —Пойдемте-ка, пройдемтесь по водочкѣ...

Всѣ торопливо послѣдовали любезному предложенію Льва Егорыча, исключая, впрочемъ, Володи и Фирсовой, и шумно потянулись въ залу, гдѣ на большомъ, длинномъ столѣ была уже сформирована довольно приличная закуска. На нѣсколько минутъ воцарилось молчаніе, прерываемое только стукомъ ножей и вилокъ, звономъ рюмокъ и чавканьемъ.

А на террасѣ слышались шопотъ и сдержанныя восклицанія... Совсѣмъ уже стемнѣло; ночь тихо и нѣжно обняла землю и зажгла надъ нею свои дрожащія свѣтильники. Изъ глубины сада послышалось сначала робкое, потомъ все болѣе и болѣе смѣлое соловьиное пѣніе. Со стороны деревушки пронеслись-было какіе-то неопредѣленные, грубые звуки, но они скоро смолкли, и ничто уже не нарушало болѣе торжественной музыки ночи.

— Жоржъ, Жоржъ!—торопливо шептала Агнеса, подзывая къ себѣ увлекшагося закуской брата —Что ты дѣлаешь?.. ступай къ Магіе,—вѣдь она одна на террасѣ...

— Вовсе не одна, тамъ Володька!—невозмутимо отвѣчалъ Жоржъ и опять принялся тщательно ловить грибки изъ значительно опустѣвшаго салатника.

— Mon Dieu! il est d'une bêtise à croquer...—въ отчаяніи воскликнула Агнеса, бросая на брата негодующіе взоры.

— Одначе вашъ инженеръ-то ловкій парень!—говорилъ батюшкѣ Щепоткинъ въ другомъ углу.—Ишь около барыньки-то какъ закарамболивается!.. Строитель! ха-ха... Да нѣтъ, братъ, не

прошибись, смотри! Тутъ уже раньше твоего карамболи-то пущены... Одинъ-то, правда, глупенекъ будетъ, ну, а съ другимъ-то, пожалуй, тебѣ и помѣяться придется...—съ внезапной злостью добавилъ онъ.

— Буде болтать зря!—перебилъ его батюшка.—Какія тамъ карамболи! Да нешто это возможно? Ей ужъ за сорокъ давно будетъ, а ему еще едва ли и двадцать-то есть.

— Эхъ, батя!—захохоталъ Щепоткинъ.—Жилъ ты, жилъ на свѣтѣ, а все аки младенецъ нѣвакой!—тутъ Щепоткинъ нагнулся къ уху батюшки и прошепталъ:—Аль забылъ? Вѣдь за ней болѣе миллиончика чистоганомъ, не говоря уже о прочемъ...

Батюшка хлопнулъ себя по лбу и, забывшись, даже свистнулъ. „Эге-ге-ге!—подумалъ онъ.—Истинно, дуракъ я старый... Какъ это мнѣ въ голову не вспало; кабы не эта хитрая обезьяна

Астафій, я бы не подумалъ... Эге-ге-ге! Такъ вотъ онъ куда мѣтитъ-то? Такъ вотъ онъ почему прошлый разъ-то меня о ней выспрашивалъ? Ай да Володя!“...

И такъ поразила батюшку эта мысль, что онъ даже о цѣли посвщенія забылъ и вспомнилъ о ней только тогда, когда гости стали собираться по домамъ.

— Батюшки!—воскликнулъ онъ, всплескивая руками.—Вѣдь я и забылъ, зачѣмъ пріѣхалъ... Вѣдь мы съ Владиміромъ Антонычемъ хотимъ маёвку устроить, ну и, конечно, обращаемся, такъ сказать, къ содѣйствию вашему...

Батюшкина мысль о маёвкѣ встрѣтила въ обществѣ горячее сочувствіе и вызвала шумные толки о томъ, гдѣ собраться и кого пригласить. Мужчины предлагали собраться въ Тюрьмѣ, на берегу Карамыша, главнымъ образомъ, ради того, что тамъ можно наловить рыбы и сварить уху; но дамы единогласно выразили свой протестъ, говоря, что въ Тюрьмѣ теперь еще сыро и можно схватить лихорадку; кромѣ того, тамъ всегда бываетъ много змѣй... Наконецъ, послѣ многочисленныхъ толковъ, споровъ и криковъ, рѣшили собраться завтра на Крутой Шишкѣ (такъ называлась одна изъ самыхъ высокихъ вершинъ горной цѣпи, огибавшей Карамышъ), съ питіями, самоварами и разными закусками. Рѣшено было пригласить какъ можно больше народу, въ томъ числѣ кривовскаго управляющаго, недавно кончившаго курсъ въ Петровско-Разумовской академіи, съ молодою женой и свояченицей-студенткой, семейство нѣмца Пфейфера, состоящее изъ жены и одиннадцати замѣчательно дородныхъ дочерей, отъ 18 и до 8-ми лѣтъ включительно, смотрителя почечуевскихъ лѣсныхъ дачъ, поляка Бордзовскаго,—и много другихъ.

— Владиміръ Антоничъ!—говорила млѣющая вдова молодому путейцу, чуть не въ сотый разъ пожимая ему руку:—привезите, пожалуйста, свою сестру,—это такое прелестное созданіе... Я видѣла ее однажды въ церкви и очень желала съ ней познакомиться. Слышите? Непремѣнно привезите...

— Съ удовольствіемъ бы, Марья Ивановна, но она такая дикарка у насъ... мнѣ за нее иногда совѣстно бываетъ. Впрочемъ, если уже вы такъ хотите...

— Хочу! непременно хочу!—впадая въ тонъ капризной дѣвочки, воскликнула Марья Ивановна.—И если вы не привезете ее, я на васъ разсержусь...

Вмѣсто отвѣта, Володя, предварительно оглянувшись по сторонамъ, порывисто прильнулъ губами къ пухлой ручкѣ вдовы, которая при этомъ вся замѣла, какъ роза-центифолія. Но Володя ошибался, полагая, что никто не видитъ его маневровъ: съ одной стороны, темной ночью глядѣла на нихъ Агнеса, а съ другой, язвительно улыбался Щепоткинъ, посылая Володѣ въ спину полновѣсные вукшиши...

Скоро батюшкина телѣжка снова нырала среди росистыхъ полей, и синяя, многоглазая ночь ласково приняла путниковъ въ свои теплыя объятія. Но на этотъ разъ въ настроеніи ихъ произошла большая перемена. Володя былъ очень веселъ и безъ умолку напѣвалъ игривыя опереточныя аріи, а батюшка, напротивъ, былъ погруженъ въ задумчивость и почему-то усиленно стегалъ своего битюка, который и безъ того славно бѣжалъ по мягкой дорогѣ.

Почти въ это же самое время на томъ берегу Карамыша Демидъ провожалъ Леночку домой. У дѣвушки глаза были заплаканы, а Демидъ, отвязывая лодку отъ колышка, говоритъ:

— Вѣрно тебѣ говорю, слушайся меня, дѣвушка! Не перечь имъ, не препятствуй; чтѣ скажутъ—сморчи; обидятъ—стерпи. Терпѣніе все превозмогаетъ! А будешь перечить—пойдутъ у васъ смуты великія, грѣхъ, злость. Терпи, дѣвушка!

— Ахъ, дѣдушка, да вѣдь не могу я!—возражала Леночка.—И зачѣмъ это терпѣть обиды надо, — не понимаю. Вѣдь я никого не обижаю и никогда обижать не буду, зачѣмъ же позволять другимъ меня обижать? Ты вотъ говоришь: „не перечь имъ!“ Какъ же не перечить, когда, можетъ, они мнѣ чтѣ худое будутъ приказывать? Они и такъ мнѣ дѣлать ничего не дадутъ по моему. Вонъ наемдн, какъ Ульяна Птакина захворала,—я пошла къ ней, горчишники ей понесла,—такъ вѣдь мнѣ за это какъ досталось! „Вотъ,—говорятъ,—еще заразу какую-нибудь въ

домъ принесешь "... А если бы про горчишники отецъ узналъ, и еще пуще досталось бы. Скажетъ: „какъ смѣешь добро изъ дому по чужимъ людямъ растаскивать!“... Ужъ если изъ пусты-ковъ изъ такихъ шумъ подымается, что-жъ будетъ, ежели по-важнѣе что задумаешь? И такъ ужъ все по тихоньку да кра-дучись дѣлаешь... Не могу я больше терпѣть...

— Человѣкъ все можетъ, ежели захочетъ, — произнесъ Демида.

Леночка усмѣхнулась и, помолчавъ, горячо воскликнула:

— Нѣтъ, дѣдушка! Силушки моей нѣту больше жить здѣсь! Уйду я...

XI.

Въ назначенное время пустынная вершина Крутой Шишки, представлявшая изъ себя широкую луговину, поросшую высокой, густой травой и окаймленную, съ одной стороны, пышной бере-зовою рощицей, а съ другой замыкавшуюся голымъ обрывомъ, усѣяннымъ острыми камешками стального цвѣта, стала принимать оживленный видъ. Раньше всѣхъ прибылъ батюшка на огром-ныхъ дрогахъ, нагруженныхъ котлами, корзинами и ящиками съ пивомъ; длинноногій Зюзя сидѣлъ на передкѣ съ бреднемъ на плечахъ и, въ предвкушеніи гомерической выпивки, мрачнымъ го-лосомъ пѣлъ псаломъ: „Господи, воззвахъ къ тебѣ, услыши мя!“.. Тутъ же на краешекъ лѣгилъ работникъ, предназначенный для того, чтобы ставить самовары, помогать Зюзѣ ловить рыбу и откупоривать бутылки. Повидимому, онъ былъ очень доволенъ своей миссіей и ухмылялся во все свое скуластое, рябое лицо. Вторымъ явился Жоржъ и немедленно, принявъ картинную позу, принялся оглашать пространство аріей изъ „Руслана и Людмилы“: „О поле, поле“... которую, впрочемъ, онъ исполнялъ весьма фаль-шиво. Вслѣдъ за нимъ прискакалъ, какъ сумасшедшій, улылый юнкеръ и въ теченіе четверти часа страшно надоѣлъ батюшекъ своими опасеніями и предположеніями: „а ну какъ вдругъ возъ-метъ да пойдетъ дождь? а ну какъ никто не пріѣдетъ?“ и т. д. При этомъ онъ страшно волновался и метался во всѣ стороны, словно отъ того, что состоится или не состоится пикникъ, зави-сѣтъ, по меньшей мѣрѣ, его жизнь. Батюшка сначала снисходи-тельно отвѣчалъ на его вопросы; наконецъ, вышелъ изъ себя, плюнулъ и принялся зажигать огромный костеръ, сдѣлавъ видъ, что ничего не слышитъ.

Однако опасенія юнкера не оправдались: вечеръ былъ великолѣпный и публика мало-по-малу стала собираться. Приѣхало семейство Пфейферовъ и, не оглядѣвшись еще какъ слѣдуетъ, развязало безчисленные узелки, распаковало огромныя корзины, разсѣлось на травѣ и начало кушать съ такимъ аппетитомъ, словно оно передъ этимъ нѣсколько дней ничего не ѣло. Приѣхалъ молодой Петровецъ съ женой и свояченицей, которая шокировала всѣхъ своими стриженными волосами и громкимъ смѣхомъ; приѣхали Полянскіе съ Фирсовой, одѣтой въ необычайно воздушное блѣдно-палевое платье съ черными крапинками, въ которомъ она напоминала исполинскую бабочку-капустницу; приѣхалъ полякъ Бордзовскій, съ огромной выпуклой лысиной, маленькими заплаканными глазками и какъ бы созданный съ вѣчною сигарой во рту, и многіе другіе... Позже всѣхъ явился Володя съ отцомъ и Леной. Онъ запоздалъ оттого, что Лена долго не соглашалась ѣхать на Крутую Шишку. Уже онъ ее и бранилъ, и умолялъ, дошелъ до того даже, что руку у нея поцѣловалъ, — не хочетъ, да и все. Володя плюнулъ и собрался-было ѣхать безъ нея, какъ вдругъ капризная дѣвушка перемѣнила свое прежнее намѣреніе и согласилась. Одного только не удалось добиться Володѣ, — чтобы Леночка пріодѣлась лучше. Какъ она была дома, въ старенькомъ ситцевомъ платьѣ и бѣломъ платочкѣ, такъ и на пикникъ поѣхала.

Уединенная, безмолвная Крутая Шишка вдругъ закипѣла пестрой толпой, огласилась смѣхомъ, говоромъ, пѣснями и ауканьемъ. Казалось, огромный кочующій таборъ вдругъ нахлынулъ на нее и своимъ гамомъ нарушилъ ея невозмутимую тишь. Луговина запестрѣла роскошными русскими костюмами Пфейферовъ; у опушки рощи задымились огромныя костры, въ чашахъ деревьевъ послышались громкіе голоса...

Лена потихоньку ускользнула отъ шумной компаніи, расположившейся поближе къ кострамъ и корзинамъ съ провизіей, и ушла къ краю горы, туда, гдѣ луговина, покрытая роскошною шелковою травой, заканчивалась глубокими буераками, усыянными камнями и поросшими бурьяномъ. Нѣсколько правѣе, впрочемъ, по самому краю крутого спуска лѣпилась еще жидкая поросль подкленника, таволожки, „барыниныхъ кустовъ“ и еще какихъ-то странныхъ деревъ изъ породы ивъ, съ серебристыми толстыми листьями. Эта поросль, словно влочки сѣдыхъ волосъ на лысой головѣ, увѣнчивала круглую, съ крутыми боками, вершину горы и окаймляла небольшую площадку, съ которой открывался великолѣпный видъ на долину, разстилавшуюся внизу. У самого под-

ножія горной цѣпи вилась черная лента дороги, пролежавшей изъ Подгорнаго на почечуевскую усадьбу; за нею стлались широкія круглыя луговины, пересѣкаемыя зелеными кущами мелколѣсья, среди которыхъ, словно осколки разбитаго зеркала, тамъ и сямъ сверкали болотца, заросшія камышомъ, кувшинками и лиліями. Далѣе эти кусты переходили въ густой, высокой лѣсъ, сквозь темную зеленъ котораго, то пропадая, то опять появляясь просвѣчивалъ серебристый Карамышъ. Вправо онъ пропадалъ совсѣмъ, и надъ темными волнами лѣсной чащи, скрывшей его, только горѣлъ одинокой звѣздочкой крестъ подгоринской колокольни, а налѣво отъ Крутой Шишки, плотно прижавшись къ подножію холмистыхъ уваловъ, словно птичье гнѣздо, лѣпилась бѣлая княжеская усадьба, съ своими людскими, кошарами, сторожками и т. п. И дальше опять горы, опять зеленныя волны лѣса...

А за Карамышемъ, насколько глазъ хватить, раскидывались широкіе, просторные заливные луга. Ровною, гладкою скатертью уходили они все дальше и дальше, и сливались, наконецъ, съ горизонтомъ, подернутымъ золотистымъ туманомъ. Ничто не нарушало этой душу захватывающей шири, только чуть-чуть замѣтною точкой блестѣлъ гдѣ-то крестъ сельской церкви, да въ правомъ углу, на линіи, раздѣляющей небо и землю, чернѣла „Тюрьма“.

Невозможно описать словами то чувство, которое охватывало васъ при взглядѣ на эту чудную картину. Въ первую минуту это было чувство необычайнаго восторга и подъема духовнаго, — чувство свободы и простора. Чудилось, что за плечами поднимаются и трепещутъ гигантскія крылья; казалось, стоило только взмахнуть ими, — и гордо воспарить надъ землею... Но тутъ же руки опускались, ноги оставались прикосновенными къ землѣ, чувство восторга смѣнялось горькимъ сознаніемъ безсилія и невольно приходило на память мрачное изреченіе Спинозы: „Человѣкъ мнитъ себя наиболѣе свободнымъ, между тѣмъ какъ онъ есть наибольшій рабъ на землѣ!“

— Что ты здѣсь дѣлаешь? — слышался за спиною Леночки задыхающійся и раздраженный голосъ Володи. — Это просто безобразіе!.. Ты совершенно не умѣешь себя вести... Я хочу ее представить, познакомить съ обществомъ, а она, изволите видѣть, видами любитесь! Это чортъ знаетъ что такое... точно дѣвчонка деревенская... Ну, иди же, что ли! — закончилъ онъ свою тираду и грубо дернулъ Леночку за руку.

Леночка покорно пошла за братомъ; душа ея все еще наполнена была впечатлѣніемъ чудной панорамы, — ей хотѣлось молиться...

Маёвка была въ полномъ разгарѣ, когда они пришли. Зюзя, съ покраснѣвшимъ носомъ, очевидно, уже довольно близко ознакомившійся съ содержимымъ батюшвиныхъ ящичковъ, варилъ уху, въ разсѣянности мѣшая ее не ложкой, а щепкой; многочисленные кучера и работники не устѣвали ставить самовары и мыть посуду; мужчины, всѣ уже сильно подвыпившіе, страшно шумѣли, и батюшка тщетно старался водворить между ними порядокъ и организовать пѣніе. Агнеса Львовна, разобиженная тѣмъ, что Володя явно отдастъ свое предпочтеніе „прелестной тетускѣ“ и что вообще никто не обращаетъ на нее особеннаго вниманія, пробовала чары своего кокетства на молодомъ Петровцѣ, который, очевидно, не зналъ, куда ему дѣваться отъ очаровательной паникской сирены и, нервно пощипывая бородку, бросалъ вокругъ умоляющіе взгляды, отыскивая жену, которая, какъ на зло, ушла съ сестрой въ лѣсъ. Не мало смущалъ его также и юнкеръ, который явно свирѣлѣлъ, наливался кровью и угрожающе гремѣлъ палашомъ, поглядывая на „соперника“ (такъ онъ уже мысленно называлъ ни въ чемъ неповиннаго Петровца). Даже тяжеловѣсныя Пфейферши оживились и съ нечеловѣческимъ визгомъ бѣгали взапуски другъ за другомъ по луговинѣ.

— Вотъ и моя сестра! — произнесъ Володя нѣжно, подводя Леночку ко вдовѣ. — Представьте, убѣжала къ краю горы и стоитъ тамъ себѣ... Она — страшная дикарка, я вамъ вѣдь говорилъ...

— О, мы подружimsя! — воскликнула Марья Ивановна и, усадивъ Леночку около себя, такъ крѣпко пожала ей руку, что Леночка чуть не вскрикнула. Володя, между тѣмъ, опустился на траву, рядомъ со вдовою, и такъ она сидѣла между братомъ и сестрою, бросая попеременно на того и другую влажные, счастливые взоры.

Эта розовая картина, во вкусѣ Ватто, однако пришлась не по сердцу Агнесѣ. Она вдругъ смолкла, прикусила губы и судорожно принялась обрывать цвѣтокъ, который вертѣла въ рукахъ. Воспользовавшись ея замѣшательствомъ, Петровецъ улизнулъ и болѣе не возвращался; это еще болѣе обезкуражило Агнесу. Она, какъ раненая львица, вскочила съ мѣста, схватила подъ руку мгновенно просіявшаго юнкера и исчезла въ лѣсу.

Лена сначала совершенно растерялась въ чужой шумной толпѣ и ровно ничего не понимала, что дѣлается вокругъ. Не понимала, затѣмъ „толстая барыня“ (такъ окрестила она про себя Фирсову) крѣпко жметъ ея руки и безпрестанно цѣлуетъ;

не понимала, зачѣмъ Володя такими странными глазами глядитъ на Фирсову и какъ будто заигрываетъ съ нею; зачѣмъ всѣ шумятъ и какъ будто стараются перекричать другъ друга. Какъ въ туманѣ, сидѣла она, сумрачно и дико поглядывая по сторонамъ; въ эту минуту она очень напоминала маленькаго загнаннаго звѣрка. Но мало-по-малу она освоилась съ своимъ положеніемъ и стала всматриваться. И такъ вдругъ показались ей всѣ противны, пошлы, гадки, что она содрогнулась отъ отвращения и искренно пожалѣла, зачѣмъ согласилась на просьбы Володи побѣхать сюда. „Неужели имъ всѣмъ весело?—думала она, обводя глазами общество задумчивымъ взоромъ.—Чего они всѣ шумятъ, орутъ, смѣются? Зачѣмъ Володька такъ отвратительно ломается передъ этой толстой, разраженной барыней? Ахъ, какіе всѣ они противные!.. И батюшка сталъ противный: лицо красное, потное, и глаза узенькіе-узенькіе, и свѣтятся. Какой гадкій этотъ калмыкъ, который такъ гадко прищуривается и какъ будто подмигиваетъ, когда глядитъ въ нашу сторону! А этотъ долговязый, съ желтыми длинными волосами и весь въ веснушкахъ, — это, кажется, сынъ Полянскаго... Зачѣмъ онъ все на меня смотреть?.. Противные!.. И какъ нехорошо мнѣ!“...

Тутъ Леночка вспомнила дядю Додю, который теперь бродитъ гдѣ-нибудь, одинокій и печальный, вспомнила Демида, согнувшагося подъ тяжестью своихъ веригъ въ крошечной полу-темной избенкѣ,—и сердце ея сжалось нестерпимой жалостью и болью. Слезы навернулись у нея на глазахъ... „Зачѣмъ я оставила ихъ, такихъ добрыхъ, хорошихъ, и ушла сюда?“... Въ тоскѣ Леночка оглянулась кругомъ и ей показалось, что и деревья стоятъ какія-то грустныя, поблекшія, недоумѣвающія, словно жальли они, что весь этотъ безобразный гвалтъ нарушилъ ихъ покой, что смеяли и загрязнили роскошный благоухающій коверъ, стлавшійся у ихъ ногъ...

А веселье било ключомъ; компанія, что называется, разошлась. Пфейферши, набѣгавшись, опять усѣлись закусывать; къ нимъ присоединился Бордзовскій и своими утонченными комплиментами привелъ барышенъ въ игривое настроеніе. Онѣ хихикали, взвизгивали и переглядывались другъ съ другомъ, а Бордзовскій подмигивалъ имъ своими крошечными масляными глазками и, дымя сигарой, удваивалъ свою любезность и комплименты. Но еще большее оживленіе царило въ томъ кружкѣ, центромъ котораго была цѣлая батарея горячительныхъ напитковъ. Батюшкѣ, наконецъ, кое-какъ удалось, при помощи Петровца и его жены, составить хоръ, и дѣло выходило бы ладно, еслибы не Щепоткинъ, который въ самые патетическіе моменты забиралъ такого

верха, что всѣ пѣвцы затыкали уши и Христомъ-Богомъ умоляли его не пѣть.

— Астафій Иванычъ!—распинался предъ нимъ батюшка. — Ты бы помолчалъ лучше, благодѣтель! А? Право... Ишь вѣдь голосъ-то у тебя какой, да и пѣть ты совсѣмъ не умѣешь...

— Ну, вотъ еще!—возражалъ Щепоткинъ и, какъ бы въ доказательство своего умѣнья пѣть, самой невѣроятной фистулой запѣвалъ:

Какъ жилетка съ полосами,
А мой милый со глазами.
Охъ, болить сердце и печенка,
Далеко живетъ мальчонка!..

— Тыфу!—плевалъ батюшка въ негодованіи.

— Лихо! Жарь! Бей въ мою голову!—кричалъ, между тѣмъ, расхолодившійся Щепоткинъ и испускалъ при этомъ такой пронзительный свистъ, что чувствительныя Пфейферши вскрикивали и пугливо жались другъ къ другу.

— Уймись, уймись, оглашенный!—увѣщевалъ его батюшка. — Что ты, какъ Соловей-разбойникъ, свещешь! Нехорошо...

Не мало также надоѣдалъ батюшкѣ Жоржъ. Онъ дергалъ его то за одну полу, то за другую и, указывая на Леночку, шепталъ:

— Батюшка, да кто это такая? А? Неужто это Володькина сестра? Познакомьте меня съ нею, пожалуйста... Вѣдь это просто Офелія, ей Богу! Батюшка, а батюшка...

— А ну тебя, отстань съ Офеліей!—въ досадѣ кричалъ батюшка и, воздѣвъ руки къ небу, начиналъ:— „до-ми-фа-ре“...

Вдругъ, въ самомъ разгарѣ пѣнія, Щепоткинъ отдѣлился отъ хора, налилъ себѣ рюмку коньяку и, пошатываясь, направился къ группѣ во вкусъ Ватто. Онъ уже давно поглядывалъ на эту группу, и каждый разъ при этомъ его калмыцкіе глаза особенно поблескивали, не предвѣщая ничего хорошаго.

— За... ваше здоровье, барыня!..—провозгласилъ онъ, оставившаяся предъ Фирсовой и сильно пошатываясь. Онъ былъ сильно пьянъ, и рюмка въ рукѣ его дрожала.

— Ахъ, мерси! Очень вамъ благодарна!—отвѣтила вдовушка, вся вдругъ вспыхнувъ и бросивъ тревожный взглядъ на Володю. Щепоткинъ это замѣтилъ.

— Что вы, барынька, пугаетесь-то? Не съѣмъ!—насмѣшливо проговорилъ онъ. —Мы хоша и простые люди, наукъ не происходили, одначе же мы по душѣ... со всей любовью къ вамъ... не какъ иные—прочіе тамъ... За здоровьице!

Щепоткинъ залпомъ выпилъ коньякъ, ловко разбилъ рюмку

о каблукъ сапога и тяжело опустился на траву, у самыхъ ногъ Фирсовой.

— Посидѣть съ вами хочу,—дозволите? Ну-ка ты, инженеръ-путеецъ, подбери ноги-то!—дерзко отнесся онъ къ Володѣ.

Володя весь вспыхнулъ; Фирсова бросала вокругъ растерянные взгляды.

— Вы забываетесь!—сдержанно проговорилъ Володя, однако ноги подобралъ.

— Ничуть я не забываюсь! Я еще, слава-те, Господи, не больно чтобы пьянъ. Я все очень хорошо вижу и понимаю! Вижу, куда ты дорогу-то проводишь! Да, вижу! Ты мнѣ глаза-то не отведешь!

— Прошу еще разъ васъ замолчать!—повторилъ Володя, то блѣднѣя, то краснѣя. — Вы, кажется, видите, что здѣсь съ вами не желаютъ разговаривать!

— Да не разговаривай,—эка важность какая! Велика птица, подумаешь! Фу ты, ну ты, а хвостикомъ верть! Инженере-рь тоже! Х-хе! Одни погоны, а за погонами—шипъ съ масломъ. Это какъ въ пѣснѣ поется: „идетъ баринъ при цѣпочкѣ, а часовъ въ карманѣ нѣтъ“!.. И на эдакую-то шваль несчастную вы, барыня, насъ промѣняли! Э-эхъ! Обидно это! Об-бидно...

— Марья Ивановна!—едва сдерживая бѣшенство, обратился къ Фирсовой Володя.—Позвольте вашу руку... уйдемте отсюда. Это возмутительно!.. Точно въ кабацѣ... Богъ знаетъ, что такое!..

Они поднялись, чтобы уйти, но Щепоткинъ всталъ и загоролдиль имъ дорогу.

— Фю-ю!—засвисталъ онъ, разставляя руки.—Такъ-то вы, барыня, за нашу къ вамъ любовь поступаете? Солиднаго человѣка на голоногаго мальчишку мѣняете? Тэкъ-съ! Теперича понима-муа! Но только при вашихъ лѣтахъ это даже довольно стыдно-съ. Да-съ! Потому инженеру отъ васъ одни капиталы требуются, больше ничего-съ...

— Да вы замолчите или нѣтъ, нахаль эдакой!—вскрикнулъ Володя, забывшись и отталкивая въ сторону Щепоткина, чтобы пройти.

Щепоткинъ потерялъ равновѣсіе и чуть было не упалъ; это привело его въ ярость. Онъ дико гаркнулъ и съ поднятыми кулаками бросился на Володю... Марья Ивановна вскрикнула и повалилась на земь. Лена стояла блѣдная, ничего не понимая и недоумѣвающими глазами глядя то на Володю, то на разсвирѣлѣвшаго Щепоткина. Тяжелый тарханскій кулакъ уже былъ занесенъ надъ фізіономіей путеѣца-щеголя, и плохо бы ему при-

плось, еслибы въ это время не подоспѣлъ сзади батюшка и не ухватилъ Щепоткина за локти. Всѣ остальные участники пикника также не замедлили сбѣжаться на шумъ и пестрою движущеюся толпою окружили мѣсто происшествія.

— Что здѣсь такое? Что случилось?—слышались вокругъ тревожные и любопытные вопросы.

— О, то ничего! — успокаивалъ лукавый Бордзовскій испуганныхъ Пфейферигъ. — То просто маленьки турниръ за дамы сердца...

— Ахъ, мейнъ-Готтъ! Гроссъ-швандаль!..

— Пустите меня! — ревѣлъ, между тѣмъ, Щепоткинъ, вырываясь изъ батюшкиныхъ рукъ. — Пустите, я его изувѣчу! Я ему приличную морду-то исполосую, не погляжу, что инженеръ! Ишь ты, пришла свинья изъ Питера, вся истыкана!..

— Стой, стой, пьяная твоя душа! — уговаривалъ его батюшка, въ жару борьбы получившій уже два-три изрядныхъ толчка и все-таки продолжавшій съ самоотверженіемъ, достойнымъ лучшей участи, сдерживать бѣшеные порывы Щепоткина. — Опомнись, что ты дѣлаешь! Аль ты одурѣлъ?

— Я не одурѣлъ! Пусти, тебѣ говорятъ, а то и тебя убью! Всѣхъ убью, въ дребезги разнесу... Не смѣй онъ надо мной издѣваться...

— Марья Ивановна, голубчикъ, успокойтесь! — ухаживалъ Володя оволо Фирсовой, которая судорожно рыдала у него на плечѣ. — Стоитъ ли волноваться изъ-за всякаго негодяя!.. Папаша, велите лошадь подавать, я провожу Марью Ивановну. Ну, не плачьте же, ну, успокойтесь...

— И въ самомъ дѣлѣ, господа, ѣхать пора... Эй, Иванъ, закладывай лошадей!..—слышалось въ толпѣ.

— До свиданія, я уже уѣзжаю. Заглядывайте къ намъ!..

— Мерсі, и вы тоже!

— Вотъ тебѣ и пикникъ! — съострилъ кто-то подъ грохотъ колесъ отъѣзжающихъ экипажей.

Дѣйствительно, маѣвка, такъ удачно начатая, окончительно разстроилась; послѣ скандала никто не хотѣлъ оставаться, всѣ торопились поскорѣе уѣхать и, словно разбитое войско, разстроенными рядами покидали Крутую Шишку. Лутъ, такъ недавно еще кипѣвшій шумной жизнью, смолкъ и опустѣлъ, и на всемъ пространствѣ его только тамъ и сямъ валялись, словно трупы, пустыя бутылки, конфетныя бумажки, объѣдки хлѣба и колбасы, яичная скорлупа и нѣсколько почернѣвшихъ кучъ зола и угля. Деревья все такъ же таинственно и печально шептались, склоняясь надъ

загаженнымъ, измятымъ лугомъ, и эта грустная картина вызвала въ Жоржѣ философскія мысли.

— *Sic transit gloria mundi!*..—воскликнулъ онъ, приближаясь къ Леночкѣ, которая, всѣми забытая, все еще стояла на одномъ мѣстѣ и вопросительнымъ взглядомъ глядѣла вокругъ.

Звукъ его голоса заставилъ Леночку опомниться. Она вздрогнула и дико поглядѣла на Жоржа.

— Я вижу, вы поражены тѣмъ, что здѣсь произошло, — продолжалъ, между тѣмъ, Жоржъ, нисколько не смущаясь молчаніемъ Лены и стараясь принять предъ нею ту позу, которая, по его мнѣнію, наиболѣе къ нему шла, а именно засунувъ руки въ карманы и раскачиваясь на одной ногѣ. — Д-да! Но что же дѣлать? Къ несчастью, мы должны жить среди этихъ вампировъ...

Тутъ Жоржъ театрално встряхнулъ головою, протянулъ руку впередъ и только-что было-собирался произнести свой любимый монологъ: „о, люди, люди, порожденіе крокодиловъ“ ... какъ изъ-за кустовъ выбѣжалъ батюшка, весь красный, запыхавшійся и вспотѣвшій.

— Уф! — воскликнулъ онъ, на ходу снимая шляпу и вытираясь платкомъ. — Вы здѣсь, Елена Антоновна? Пойдемте, лошадь моя готова, самъ запрягалъ. Представьте, Зюзя куда-то пропалъ, анаеема! Непремѣнно напился и дрыхнетъ гдѣ-нибудь здѣсь въ кустахъ. А тутъ еще этотъ Щепоткинъ связалъ по рукамъ и по ногамъ. Насилу усадилъ его и отправилъ домой. Плачетъ — разливается... „Обидѣли, — говоритъ, — всѣ надежды разрушили... Любилъ, — говоритъ, — всей душой, и замѣсто всего этого — кувшинъ!“ Что-жъ, оно, правда, обидно... Ухаживалъ, старался, и вдругъ Владиміръ Антонычъ, можно сказать, изъ-подъ носа... Пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ...

Но тутъ батюшка спохватился, плюнулъ, выругалъ себя и, энергично воскликнувъ: „пойдемте!“ — увлекъ Леночку за собою.

Монологъ Жоржа безслѣдно потерялся въ пространствѣ... Однако это нисколько не обезкуражило юношу. Онъ проводилъ Леночку глазами, потомъ, воздѣвъ руки къ небу, произнесъ трагически:

Съ тѣхъ поръ, какъ міръ лишился рад,
Клянусь, красавица такая
Подъ солнцемъ юга не цвѣла...

И затѣмъ отправился въ кусты разыскивать свою заблудившуюся лошадь.

В. ДМИТРІЕВА.

ИЗЪ АВТОБІОГРАФІИ

I.

Петербургъ. Погода сырая, вѣтреная, ждутъ ледохода. Докторъ заставилъ меня сидѣть дома; по-неволѣ долженъ оставаться наединѣ съ самимъ собою. Этому я отчасти и радъ: давно не оставался наединѣ. Это въ своемъ родѣ сообщаться съ природою; видишь себя какъ-то лучше, яснѣе, точно не своими, а чужими глазами; провѣрзешь прошедшее и обдумываешь настоящее.

Петербургъ всегда воскрешаетъ во мнѣ давно - давно прошедшее. Вспомнился мнѣ и первый приѣздъ мой сюда, и первый отъѣздъ въ теплые края, на чужбину. Съ тѣхъ поръ много времени прошло, — ровно пятнадцать лѣтъ. Мнѣ стало грустно, очень грустно, когда картина за картиной пронесли мимо меня... Вспомнилась мнѣ твоя просьба и мое обѣщаніе рассказать тебѣ что-нибудь изъ моей жизни; теперь я очень радъ исполнить. Расскажу тебѣ о быломъ времени, пережитомъ мною именно здѣсь. Слушай и будь терпѣливъ: собираюсь писать много.

Жизнь дома не удовлетворяла меня. Моею завѣтною мечтою было ѣхать куда-нибудь учиться. Родители мои и слышать объ этомъ не хотѣли. Мечты они называли „бредомъ“, который нужно изъ головы вонъ выкинуть. Они хотѣли видѣть своего сына въ-время пристроеннымъ, осѣдлымъ, какъ Богъ и добрые люди велятъ. „Зачѣмъ тебѣ тратить свое здоровье и молодость?“

говорили они: „и ѣхать — куда? на край свѣта! Здѣсь тебя всѣ знаютъ, у тебя золотыя руки, легко можешь зарабатывать свой кусокъ хлѣба... а тамъ Богъ еще знаетъ, что будетъ?“...

Но страсть сильнѣе логики: я остался при своемъ. Именно тогда я познакомился съ однимъ большимъ провинціальнымъ идеалистомъ, вѣровавшимъ во все печатное, въ особенности въ нѣмецкія книжки. Онъ любилъ говорить обо всемъ возвышенномъ и объ искусствѣ въ особенности. Былъ онъ землемѣромъ и считалъ себя артистомъ. Я очень полюбилъ этого человѣка, несмотря на то, что за нимъ водились кое-какіе грѣшки. Какъ настоящій артистъ, онъ вѣчно бѣдствовалъ и иногда слегка запивалъ свое горе. Въ подобныя минуты онъ былъ особенно словоохотливъ.

— Это — стадо барановъ! — говорилъ онъ съ жаромъ, указывая на людскую толпу, проходившую мимо насъ. — Они живутъ безъ души, безъ чувства... Живутъ изо дня въ день, какъ эгоисты... Не смотри на нихъ! Ты — художникъ, царь природы! ты долженъ не работать, а творить... и только тогда, когда муза твоя захочетъ. Они не понимаютъ меня, и потому я несчастенъ. Совѣтую тебѣ: бѣги отсюда, бѣги въ храмъ искусства; тамъ увидишь все, всему научишься... Увидишь работы первѣйшихъ свѣтилъ въ мірѣ: Микель-Анджело, Рафаэля... на колѣни станешь, будешь молиться передъ ними, чтобы они вдохновили тебя... Вотъ, — указывалъ онъ опять на мимо-идущихъ: — они ничего не знаютъ, имъ ничего не нужно... но ты, ты — камень нешлифованный!

Я съ робостью спрашивалъ, видѣлъ ли онъ работы этихъ величайшихъ геніевъ въ мірѣ.

— Нѣтъ, — со вздохомъ отвѣчалъ онъ: — читалъ о нихъ много... Представляю себѣ: это были боги, а не люди.

Иногда онъ рассказывалъ мнѣ про великихъ мастеровъ: что такой-то придворный художникъ работалъ только часъ въ день, во время восхода и заката солнца; затѣмъ онъ прибавлялъ, что истинные художники только такъ и работаютъ. Рассказывалъ онъ еще, что другой великій художникъ долженъ былъ сдѣлать „Страданія Христа“. Что значитъ человѣческая жизнь въ сравненіи съ вѣчно-геніальнымъ твореніемъ? Напелся человѣкъ, который охотно отдался на мученіе ради увѣковѣченія страданій Христа. Художникъ создалъ чудо и самъ сейчасъ умеръ. Кончивъ свою картину, онъ сталъ любоваться ею, постепенно отходя назадъ, и, совершенно забывъ, что стоитъ на подмосткахъ — упалъ и Богу душу отдалъ. Всѣ эти рассказы я слушалъ съ замираніемъ сердца:

для моего воображенія они имѣли что-то чарующее, придавая будущности особенную прелесть.

Не стану рассказывать тебѣ, любезный другъ, что мнѣ пришлось перенести, пока удалось уѣхать въ Петербургъ. Прошли годы, и, наконецъ, я ѣхалъ! Я былъ въ небесахъ, наверху блаженства, и трогательно прощался съ моимъ идеалистомъ-землемѣромъ, который по этому случаю хватилъ немного лишняго и съ чувствомъ благословлялъ меня, напутствуя словами:

— Помни, что искусство безконечно, а жизнь коротка, что искусство—душа...—и т. д.

Самъ я не могъ себѣ отдать отчета въ томъ, что со мною происходитъ... Мнѣ казалось, что я будто несусь на невидимыхъ крыльяхъ, высоко, высоко... въ какомъ-то чудномъ пространствѣ... что могу летѣть, куда хочу, хоть черезъ океаны, выше орла...

Мой другъ! то было первое восторженное чувство юноши, къ которому жизнь еще не успѣла прикоснуться.

Я ѣхалъ, конечно, въ третьемъ классѣ. Было тѣсно, но ничего, я не обращалъ вниманія ни на это, ни на провизію, которою мать моя снабдила меня чуть не на цѣлый мѣсяцъ. Третій звонокъ, свистъ—и мы помчались.

Первое неудобство, которое я почувствовалъ, было отъ бутылки рому, торчавшей у меня изъ кармана. Я вынулъ ее и передалъ своему незнакомому сосѣду; тотъ откупорилъ, потянулъ изъ нея и передалъ другому; другой сдѣлалъ то же самое и передалъ третьему; такъ бутылка обошла весь вагонъ и вернулась ко мнѣ уже порожнею, при общемъ хохотѣ. Было смѣшно, очень смѣшно, и я отъ души смѣялся вмѣстѣ со всѣми. Затѣмъ я сталъ угощать закуской, и не доѣхали до первой станціи, какъ изъ провизіи моей уже ничего не оставалось.

Настала ночь. Мало-по-малу все утихло; вагонъ сильно качало—это убаюкивало пассажировъ; они стали дремать, потомъ храпѣть такъ, что ни свистъ локомотива, ни звонки не могли заглушить ихъ. Всю ночь я не спалъ, а сидѣлъ и смотрѣлъ въ окно, въ темную даль, и думалъ. О чемъ? Не помню. Вагонъ былъ тускло освѣщенъ; по временамъ въ окна заглядывали клубы дыма, вырывавшіеся изъ трубы локомотива; они то медлили у окна, точно просясь, чтобы ихъ впустили, то быстро уносились прочь, стелясь по землѣ и цѣпляясь за темные кустарники.

Настало утро. Пассажиры начали просыпаться, и я не узнавалъ моихъ вчерашнихъ весельчаковъ: у всѣхъ выраженіе было кислое, лицо помятое, волосы растрепанные; всѣ зѣвали, кашляли и хрипло спрашивали: „Скоро ли станція?“ Черезъ нѣсколько

времени всѣ стали понемногу охорашиваться; кто, высунувшись въ окно, умывался водою изъ бутылки; кто пилъ чай, а кто поспѣшно опохмелялся. Затѣмъ настала повсемѣстная трапеза: каждый отдѣльно вытаскивалъ какой-нибудь свертокъ изъ своего мѣшка, осторожно развертывалъ его и, сидя бочкомъ, точно прячась отъ другихъ, закусывалъ чтò Богъ далъ. Около меня сидѣла пожилая женщина, съ задумчивыми, почти страдальческими глазами: видно, не мало испытала она въ своей жизни.

— Вотъ озорники,—сказала она мнѣ:—давеча они все отняли у тебя, а теперь прячутся... хоть бы одинъ сказалъ: милости просимъ!

— Что же мнѣ-то предлагать, — замѣтилъ я, — когда у нихъ у самихъ мало.

Женщина ничего не отвѣтила, только грустно поглядѣла на меня; самъ не знаю почему, этотъ взглядъ кольнулъ меня и надолго остался у меня въ памяти. Только годъ спустя, я его понялъ. Эта женщина первая коснулась моихъ невидимыхъ крыльевъ и первая вырвала перо изъ нихъ. Какъ я впоследствии растерялъ всѣ остальные, какъ упалъ съ высоты прямо на землю, въ житейское болото — не знаю, но это случилось; мое странствованіе на крыльяхъ продолжалось не долго.

По рекомендаціи моего сосѣда, того самаго, который возвратилъ мнѣ пустую бутылку намѣсто полной, я остановился въ Петербургѣ не то въ заѣзжемъ домѣ, не то въ гостинницѣ. Хозяинъ казался мнѣ очень добрымъ малымъ, былъ всегда веселъ и любезенъ, и все предлагалъ мнѣ то одно, то другое, а я конфузился и отказывался... и, несмотря на это, мои сорокъ-восемь рублей, составлявшіе весь мой капиталъ, скоро исчезли, и въ первый разъ мнѣ пришлось поститься не въ-время. Хозяинъ больше не предлагалъ, мнѣ просить было неловко; но это мелочи, я все-таки былъ счастливъ, счастливъ, какъ нѣкто на свѣтѣ... вѣдь меня приняли въ Императорскую Академію Художествъ!

Для тебя, мой другъ, не можетъ быть понятно счастье, испытанное мною тогда. Ты всегда шелъ правильно, переходя отъ одной ступени къ другой; такъ ты и достигъ извѣстной высоты. Не то случилось со мною: я сразу перескочилъ всѣ препятствія, всѣ ступени. Я—академистъ, принятъ въ храмъ искусства, въ высшее учебное заведеніе. Ты спросишь: какъ это случилось? Охотно расскажу тебѣ, но лишь настолько, насколько оно можетъ интересовать тебя, не вдаваясь въ подробности.

Оглядываясь назадъ, съ удовольствіемъ могу утверждать, что

свѣтъ не безъ добрыхъ людей. Правда, много пришлось мнѣ пережить, но безъ этихъ добрыхъ людей я бы совсѣмъ не пережилъ. Первой среди нихъ была жена бывшаго виленскаго генераль-губернатора, Анастасія Александровна Назимова. Ея доброе, мягкое, материнское отношеніе ко мнѣ, ея ласковый взглядъ вдунули въ меня жизнь, и я ожилъ, ибо до нея ко мнѣ никто никогда ласково не относился... Но о моемъ дѣтствѣ и отрочествѣ — въ другой разъ. — Назимова не ко мнѣ одному такъ относилась, она оставила по себѣ память о многихъ добрыхъ дѣлахъ, протягивала руку помощи, не спрашивая, кто нуждающійся, и любила ближняго въ широкомъ смыслѣ этого слова. То была истинная христіанка; подобные люди всегда рѣдкость.

Первой моей работой на поприщѣ искусства были двѣ копіи: головы Христа и Божіей Матери, изъ дерева; этого было достаточно, чтобы заинтересовать Назимову. Отъ нея я имѣлъ письмо къ баронессѣ Э., которой, кажется, въ то время не было въ Петербургѣ. Мнѣ приходилось ждать недѣли двѣ. Въ теченіе этого времени я каждый день отправлялся на Васильевскій Островъ, ходилъ вокругъ академіи, засматривалъ въ окна, гдѣ ничего не видѣлъ, завидовалъ каждому входившему, и самъ не смѣлъ перешагнуть порогъ — какая-то священная боязнь удерживала меня. Внутренность академіи рисовалась въ моемъ воображеніи чѣмъ-то необъятнымъ, чудеснымъ. Тамъ — искусство и поэзія, составляющія гордость и славу человѣчества... Съ каѳедры тамъ говорится о чемъ-то возвышенномъ, чуждомъ всего, что составляетъ меркантильную злобу дня. Тамъ все „избранные Богомъ“, какъ говорилъ мой добрый землемѣръ. Однимъ словомъ, мое воображеніе работало, я лелѣялъ мысль: можетъ быть, кто знаетъ, и я перешагну этотъ порогъ?

Отъ баронессы Э. я получилъ письмо къ профессору Пименову, который похвалилъ мою работу изъ дерева, имѣвшуюся при мнѣ, и освѣдомился относительно моего рисованія. „Куда мнѣ такъ рисовать, какъ здѣсь рисуютъ!“ — подумалъ я, и отвѣчалъ, что рисовать не умѣю. Этимъ я чуть не надѣлалъ себѣ бѣды, такъ какъ въ академію принимаются только одни умѣющіе рисовать. Профессоръ нахмурилъ брови, задумался и, взявъ мою работу, повелъ меня къ конференцъ-секретарю. Скоро состоялась резолюція: я могу посѣщать скульптурный классъ, а пока долженъ подучиться рисовать въ школѣ. Не помня себя отъ радости, я бросился бѣжать... — Извозчикъ! — закричалъ я: вези! — Куда, баринъ? — торопливо спросилъ онъ. Я смутился, позабылъ адресъ квартиры, да и то, что въ карманѣ ни гроша.

Но радость моя была сильна; я побѣждалъ самъ быстрее лошади, точно кто подгонялъ меня. Готовъ былъ всѣхъ обнять, всѣхъ расцѣловать; чужіе казались мнѣ знакомыми, а знакомые родными. Цѣлый день я говорилъ, рассказывалъ, бѣгалъ, и вечеромъ — усталый, голодный — заснулъ крѣпкимъ сномъ. На завтра я, конечно, уже былъ въ скульптурномъ классѣ. Это была громадная зала въ шесть-семь оконъ огромныхъ размѣровъ. Создана она была широкою рукою при императрицѣ Екатерицѣ II. Вдоль ея, по срединѣ, стоялъ цѣлый рядъ гипсовыхъ статуй. Мнѣ показалось, что я припелъ слишкомъ рано и что занятія еще не начались — засталъ всего трехъ учениковъ. Занимались они слѣдующимъ: одинъ усѣлся на скульптурномъ станкѣ, а двое другихъ катали его. Мой приходъ не стѣснилъ ихъ; этому я былъ радъ и сталъ разсматривать все, что тамъ было и что казалось мнѣ такъ ново и дивно. Группа „Лаокоона“ очень обрадовала меня: это были старые знакомые, я видѣлъ ихъ еще въ дѣтствѣ въ стереоскопѣ, привозившемся къ намъ какъ диовинка. Съ тѣхъ поръ я не могъ забыть „Лаокоона“.

Въ углу дремалъ подслѣповатый сторожъ. Я завелъ съ нимъ разговоръ, но онъ неохотно отвѣчалъ; отъ него я узналъ только, что надо набить доску глиной, и тогда можно начать работать. Онъ прибавилъ еще, что сегодня никакъ нельзя, только завтра.

На-завтра я припелъ въ томъ же часу, и нашелъ тѣхъ же трехъ учениковъ. На этотъ разъ они обступили меня съ любопытствомъ; я же смотрѣлъ и не зналъ, какъ начать работать, такъ какъ никогда изъ глины не лѣпилъ. Подумалъ, постоялъ, и, давай Богъ смѣлости, началъ по своему, какъ изъ дерева. Сначала сдѣлалъ глиняную глыбу, и потомъ сталъ ее выработывать. Мои товарищи сразу увидѣли, съ кѣмъ имѣютъ дѣло, лукаво начали одобрять мой пріемъ и давать мнѣ совѣты, конечно, на выворотъ. Я имъ вѣрилъ, и цѣлый день проработалъ съ азартомъ; потъ лилъ съ меня ручьями, время шло быстро. „Но что же значить, — думалъ я: — что ни ученики, ни профессоръ не приходятъ?“ Спросилъ я у своихъ товарищей; они отвѣчали, что сегодня праздникъ — я и тому повѣрилъ. Но на-завтра явились опять только тѣ же трое и никого больше; на послѣ-завтра опять тоже. На этотъ разъ они увѣрили меня, что учениковъ-скульпторовъ теперь всего пять, и что профессора не ходятъ сюда; сдѣланные же работы нужно носить къ нимъ показывать на квартиру. Первая половина сказаннаго была сущая правда, даже и начало второй, но конецъ... Непремѣнно расскажу тебѣ это,

другъ: это въ своемъ родѣ знаменательно не только для меня, но и для самой академіи художествъ.

По указанію учениковъ, я долженъ былъ снести свою работу къ профессору Пименову, жившему тутъ же рядомъ; ему же я былъ отрекомендованъ баронессою Э. Онъ былъ высокаго роста, худощавъ, съ быстрыми, порывистыми манерами; о немъ ходило много анекдотовъ; въ нихъ онъ представлялся художникомъ съ недюжиннымъ талантомъ, человѣкомъ гордымъ до сумасбродства, энергичнымъ до рѣзкости, но въ то же время безпечнымъ и немного лѣнливымъ. Всѣ боялись его, не исключая и начальства академіи, а ученики просто избѣгали встрѣтъ съ нимъ.

Кончивъ работу, я, съ помощью сторожа, снесъ ее къ нему. Повидимому, онъ былъ очень удивленъ моею смѣлостью, посмотрѣлъ на меня, на работу, и лаконически произнесъ:—Самъ приду.—Въ классѣ ждали меня видимо съ нетерпѣніемъ не только трое моихъ товарищей, но и еще нѣсколько человѣкъ незнакомыхъ.

— Ну, что?—спросили всѣ въ одинъ голосъ, какъ только я вошелъ. Я повторилъ то, что сказалъ профессоръ. Всѣ остались почему-то недовольны моимъ отвѣтомъ:—видно, не того ждали.—Не можетъ быть!—говорили одни.—Онъ шутитъ,—говорили другіе.

— Ну, признайтесь, — приставали ко мнѣ: — вѣдь не то было? — Я не сталъ отвѣчать имъ; мнѣ не понравилась ихъ назойливость. Вдругъ дверь раскрывается, и высокая, гордая фигура Пименова прямо подходитъ къ намъ. — Работаете? — спросилъ онъ, не глядя ни на кого. Всѣ оробѣли; чужіе поспрашивали и по-одиночкѣ стали исчезать за дверь; остальные начали-было показывать свои работы, но Пименовъ порывисто глянулъ направо, налѣво, и съ недовольной гримасой произнесъ:—Тѣфу, какъ грязно! — Развѣ у васъ нечѣмъ заслонить свѣтъ? — спросилъ онъ затѣмъ, указывая на окна. Ученики отвѣчали отрицательно. Онъ еще больше поморщился и закричалъ:—Эй, сторожъ! инспектора позови мнѣ сюда!

Маленькій инспекторъ явился скоро, точно изъ-подъ земли выросъ.—Помилуйте! какъ это можно?—еще громче закричалъ профессоръ. — Точно казарма: свѣтъ снизу доверху, статуи грязныя... Помилуйте... на нихъ ничего не видать...

Послѣ этого начался новый порядокъ, появились желтыя ширмы на окнахъ, чинились и красились статуи, но, главное, съ тѣхъ поръ скульптурные профессора стали аккуратно дежурить, чего не случалось съ незапамятныхъ временъ.—Итакъ, благодаря

фарсу, который ученики хотѣли сыграть со мной, скульптурный классъ получилъ настоящее свое учебное значеніе.

Профессоръ Пименовъ былъ для меня вовсе не страшнымъ, а, напротивъ, очень добрымъ; онъ хвалилъ меня, какъ за рисунокъ, такъ и за лѣпку, и охотно поправлялъ не только меня, но и каждого желавшаго слѣдовать его совѣтамъ, а желавшихъ было много и изъ живописцевъ: въ этомъ отношеніи онъ былъ истиннымъ мастеромъ и поправлялъ, какъ никто потомъ. Къ сожалѣнію, онъ началъ хворать, и не прошло года, какъ его уже не стало.

Нѣчто странное случилось по отношенію къ моему рисованію. Вначалѣ оно шло неуспѣшно; одинъ изъ моихъ старшихъ товарищей убѣдилъ меня, что доучиваться въ рисовальной школѣ не стоитъ,—лучше онъ самъ будетъ давать мнѣ уроки, конечно, за деньги. Уроки состоялись; я аккуратно срисовывалъ съ гравюръ и не менѣе аккуратно платилъ учителю, хотя послѣднее было мнѣ гораздо труднѣе, нежели первое.

Однажды я посѣтилъ вечерній рисовальный классъ и былъ крайне пораженъ тѣмъ, что увидалъ. „Такъ рисовать,—подумалъ я,—какъ нѣкоторые рисуютъ, я тоже сумѣю“. И, не долго думая, на-завтра принесъ папку, бумагу и сталъ рисовать.

Ко мнѣ подошелъ помощникъ инспектора, очень строгій на видъ, но въ душѣ добрый человѣкъ, и спросилъ, кто мнѣ позволилъ рисовать. Я не ждалъ подобнаго вопроса, и не зналъ, что отвѣчать: развѣ для этого надо позволеніе? — Профессоръ Пименовъ,—сказалъ я, и солгалъ. Оказалось, что здѣсь не скульптурный классъ, и надо было держать предварительный экзаменъ изъ рисованія, чего я не зналъ. Но имени Пименова было достаточно для того, чтобы и здѣсь мнѣ было дозволено продолжать заниматься.

Недѣли двѣ послѣ моего вступленія въ академію художествъ, появился въ скульптурномъ классѣ новичокъ, юноша, повидимому, такой же одинокій, какъ и я. Онъ шелъ по живописи, но, ради толковаго изученія дѣла, пожелалъ раньше полѣзнуть; онъ выбралъ римскій барельефъ „Антиной“, съ котораго и я началъ. Меня поражало сходство юноши съ Антиноемъ: правильное овальное лицо, окаймленное густыми вудравыми волосами, правильный носъ, сочныя губы и мягкіе, слегка смѣющіеся глаза—все это было у обоихъ почти одинаковое. То былъ ученикъ И. Е. Рѣпинъ. Мы скоро сблизились, какъ могутъ сблизяться только одинокіе люди на чужбинѣ.

Я рисовалъ въ вечернемъ классѣ съ гипсовыхъ головъ не лучше другихъ, но и не хуже, и съ нетерпѣніемъ ждалъ прихода профессора. Мнѣ хотѣлось слышать его мнѣніе. Но вотъ скоро и классъ кончается, а его нѣтъ. А между тѣмъ я знаю, что онъ здѣсь, самъ видѣлъ его. Спрашиваю у моего молчаливаго сосѣда по рисованію, что это значитъ, а онъ отвѣчаетъ не то равнодушно, не то презрительно:—Онъ тамъ, на Олимпѣ засѣдаетъ.

— Что это за Олимпъ?—спрашиваю съ недоумѣніемъ.

— А вотъ не знаете, такъ узнаете!

„Странно,—подумалъ я:—отвѣчаетъ точно оракулъ“.

Впослѣдствіи я узналъ, что загадочнаго тутъ ничего нѣтъ. Въ углу средняго класса стоялъ рядъ стульевъ желтаго цвѣта, обитыхъ черною клеенкою. Тамъ, по словамъ учениковъ, собирались профессора для отдыха „послѣ обѣда“, и иногда заговаривались до того, что классъ безъ нихъ и кончался. Вотъ этотъ уголокъ и прозвали „Олимпомъ“, гдѣ старцы раздавали намъ нумера взаимныя пальмовыхъ вѣтвей. Ты, другъ, навѣрно находишь, что это смѣшно, неправдоподобно — я самъ былъ вначалѣ такого мнѣнія. Боже сохрани, еслибы кто осмѣлился сказать что-нибудь дурное про академію, притронулся бы къ моему кумиру... я бы назвалъ его дерзкимъ, злымъ... Но потомъ... Суди, однако, самъ. Въ нашемъ классѣ было два профессора: одинъ уже старикъ, доживавшій свой вѣкъ, В—съ; онъ иногда, съ заложенными за спину руками, прохаживался среди учениковъ, дѣлая замѣчанія и давая совѣты, относившіеся, большею частію, къ фону рисунка; другой былъ пейзажистъ; уже одно это названіе ясно говоритъ, что онъ стоялъ не на своемъ мѣстѣ. Какъ же училъ онъ насъ рисовать фигуры? Никакъ не училъ! Просто никакъ! По крайней мѣрѣ, я почти два года просидѣлъ тамъ, и ни разу не видѣлъ, чтобы онъ подошелъ къ ученику. Правда, онъ иногда появляется, бывало, въ дверяхъ, постоитъ, посмотритъ и уйдетъ засѣдать на „Олимпъ“, точно тамъ его дежурство; и дежурилъ онъ тамъ аккуратно. Все это я увидѣлъ впослѣдствіи, теперь же я только былъ радъ, счастливъ, что захожусь въ академіи художествъ. Чего мнѣ было больше желать? Мои завѣтные мечты осуществились и въ гораздо большей мѣрѣ, нежели я ожидалъ! Я ходилъ съ поднятою головою, бодро, смѣло, легко, точно кто поднималъ меня... Да, я радовался, я отдавался академіи всецѣло, всей душой. Усердно посѣщалъ классы и лекціи, работалъ цѣлый день охотно, до поту, до усталости.

Изъ дому я получалъ хорошія письма: всѣ за меня радова-

лись, поздравляли, желали всего лучшаго. Родители даже прислали мнѣ цѣлую корзину всякаго добра. Тамъ я нашелъ жирный пирогъ, дюжину яблокъ, десятокъ селедокъ, полъ-дюжины рубашекъ, двѣ бутылки рому, вязанный шарфъ на шею, да еще нѣсколько рублей денегъ. Жаль только, что яблоки испортились въ дорогѣ, пирогъ пахнулъ селедками, а селедокъ я не могъ съѣсть—негдѣ было ихъ держать. Одну бутылку рому я самъ выпилъ помаленьку, а съ другою случилось чудо: постояла на окнѣ и высохла. Все-таки я былъ очень радъ подаркамъ: они были первою помощью, которую родители подали мнѣ на чужбинѣ. Однимъ словомъ, я былъ доволенъ и счастливъ. Только нѣсколько мѣсяцевъ спустя, на экзаменѣ, меня въ первый разъ охватило какое-то тупое недоумѣніе, когда я получилъ неудовлетворительную отмѣтку. За что?... За что такой-то получилъ высокій нумеръ, а другой—низкій?.. Вопросительно смотрѣлъ я на рисунки, на всѣхъ окружающихъ, но всѣ были безмолвны и отвѣта не было.—Да что это такое?—обращаюсь я къ моимъ товарищамъ съ умоляющимъ вопросомъ, прошу у нихъ разъясненія и получаю ироническій отвѣтъ въ родѣ: „Ищи кошку!“

Но все это скоро было забыто, и я опять работалъ съ усердіемъ, опять чувствовалъ себя избраннымъ Богомъ!.. А все-таки я былъ радъ, когда наступили каникулы. Меня тянуло домой; хотѣлось увидѣть родныхъ, знакомыхъ, землемѣра, всѣхъ обнять, рассказать всѣмъ мою радость; мнѣ хотѣлось привѣтствовать прелестныя окрестности моей родины, мѣста, куда я въ дѣтствѣ такъ часто бѣгалъ. Не стану описывать эту природу,—не съумѣю, да притомъ она уже не разъ была воспѣта. Скажу только, что она и до сихъ поръ имѣетъ для меня что-то чарующее. Правда, въ ней нѣтъ ничего грандіознаго, поражающаго, за то она успокоиваетъ свою гармонію. Красота ея разнообразна, жизненна, доступна вездѣ безъ потери силъ.

За три дня до отъѣзда, мой маленькій чемоданъ былъ уже туго набитъ моими пожитками; а предъ самымъ отъѣздомъ я переодѣлся по дорожному, именно, надѣлъ длинные сапоги, точно собирался дойти до Вильны пѣшкомъ. Надѣлъ я также и новую академическую фуражку, только-что купленную для пущей важности. Приѣхалъ я на вокзалъ часомъ раньше, первый подошелъ къ кассѣ, первый отдалъ багажъ и затѣмъ сталъ поодаль въ позу наблюдателя и слѣдилъ за лихорадочною торопливостью, съ которою отъѣзжающіе бѣгали, шныряли, путались и кричали точно на пожарѣ.

„Кто мнѣ равный?“ думалъ я: „никто!“ Вспомнилось мнѣ

мое дѣтство: именно съ такимъ радостнымъ трепетомъ я ждалъ, бывало, Пасхи, когда въ домѣ все убиралось по праздничному, полъ усыпался желтымъ пескомъ съ зеленью, а я, надевъ новое платье, праздновалъ вмѣстѣ со всѣми восемь дней и восемь ночей...

Вагонъ несется, торопится, но я тороплюсь еще больше. Я поминутно высовываюсь изъ окна, смотрю вдаль, впередъ, въ упоръ вѣтру; а то, закрываю глаза и даю вѣтру дуть мнѣ въ лицо и трепать мои волосы. Но вотъ остановка:—чего они тутъ стоять?—говорю я съ досадою. Мнѣ отвѣчаютъ, что опоздали на цѣлый часъ. Слезы готовы выступить у меня на глазахъ, точно бы меня кровно кто обидѣлъ.—На цѣлый часъ! — повторяю я. —Какъ имъ не стыдно!

Наконецъ, мы стали подъѣзжать къ Вильнѣ. Я узнавалъ каждое мѣсто, каждую горку, каждую дорожку, гдѣ такъ часто бродилъ; все это мнѣ такое знакомое, такое родное... И вотъ, я въ объятіяхъ родителей; звонкіе поцѣлуи сыплются на меня; вся комната наполнена веселымъ смѣхомъ; всѣ радуются, разспрашиваютъ, какъ поживаю; тащатъ со всѣхъ сторонъ, кто къ себѣ, кто къ свѣту, кричатъ: „Покажись!.. Тотъ самый!“... Отъ радости я совсѣмъ опьянѣлъ. Мальчуганы обступили окна, чтобы посмотреть на пріѣзжаго, какъ на жениха. Но не одни мальчуганы любопытствовали; были люди важные, богатые, которыхъ я заинтересовалъ; меня хотѣли видѣть, хотѣли знать, на чтѣ я сталъ похожъ, каковъ я въ самомъ дѣлѣ. Къ одному изъ этихъ „важныхъ“ я былъ приглашенъ спустя нѣсколько дней; онъ принялъ меня съ насмѣшливымъ любопытствомъ и спросилъ, чтѣ я тамъ дѣлаю (т.-е. въ академіи).—Фигурки рѣжете? кто же ихъ покупаетъ?—На чтѣ другой, такой же „важный“, отвѣчалъ за меня:—Мало ли есть сумасшедшихъ на свѣтѣ!

Во время этихъ веселыхъ дней одно опечалило меня: я не могъ отыскать своего добраго землемѣра. Напрасно искалъ я его вездѣ, напрасно разспрашивалъ о немъ; никто не могъ сказать, гдѣ онъ, куда уѣхалъ, чтѣ съ нимъ случилось... какъ въ воду канулъ. Я утѣшался мыслью, что все-таки увижу его, но прошло лѣто, прошло другое, и еще, и еще... и до сихъ поръ совсѣмъ я ничего о немъ не знаю.

Жить за городомъ, какъ мечталъ, мнѣ не удалось; за то я имѣлъ отдѣльную комнатку съ крошечнымъ окномъ, выходившимъ куда-то на крышу. Для меня это было особенно заманчиво, напоминая тѣсныя мастерскія голландскихъ живописцевъ старыхъ временъ. Тамъ-то я и сдѣлалъ свою первую работу изъ дерева: стараго портного-еврея, высовывающагося изъ окна, чтобы вдѣтъ

нитку въ иголку. Не помню, какимъ образомъ эта идея зародилась у меня; да знаетъ ли вообще художникъ, какъ зарождаются у него идеи? Для меня эта работа была первымъ поцѣлуемъ творчества, первымъ лучомъ свѣта въ лѣтній день. Я работалъ и ушивался работою. День, бывало, пройдетъ, а я не замѣчаю... Добрая мать моя приходила напоминать мнѣ, что настала часъ обѣда или ужина. Сумерки были временемъ моего отдыха. Среди работы у меня заболѣла рука; она болѣла сильно, но еще сильнѣе было мое увлеченіе; я продолжалъ работать, и пошелъ къ доктору только тогда, когда „Еврей-портной“ былъ оконченъ.

Нечего и говорить о томъ, что отецъ мой гордился мною; я былъ у всѣхъ на виду; родные посѣщали мою маленькую мастерскую и восхищались моею работою, за исключеніемъ одного почтеннаго старца, который однажды, внимательно осмотрѣвъ все, пресерьезно замѣтилъ: — Конечно, на то инструменты!—Отецъ сконфузился, а вѣдь думалъ удивить его мною.

Время каникулъ прошло быстро, и вотъ я уже въ Петербургѣ и моя работа на выставкѣ. Первый, кто ее замѣтилъ, это былъ В. В. Стасовъ; своимъ горячимъ отзывомъ онъ заставилъ многихъ обратить на меня вниманіе. Нечего и говорить, насколько самолюбіе мое было польщено. Я тотчасъ побѣждалъ купить шесть нумеровъ газеты и отдать за нихъ шестьдесятъ копѣекъ, сумму для меня въ то время не маловажную. Но стоило: въ первый разъ я читалъ похвалы себѣ, читалъ, и не могъ повѣрить—въ самомъ ли дѣлѣ въ моей работѣ есть что-то особенное?.. Между тѣмъ, напечатано... О, тогда каждое напечатанное слово имѣло для меня большое значеніе! Не успѣлъ я вдоволь насладиться публичными похвалами, какъ былъ приглашенъ къ одному меценату; онъ хотѣлъ узнать цѣну моей работы. Я сказалъ: сто рублей — что можетъ быть больше? Меценатъ, не говоря ни слова, вручилъ мнѣ эту сумму. Я забылъ поблагодарить, схватилъ шапку и пустился бѣжать домой, отъ радости не чувствуя земли подъ собою. Вдругъ я остановился, подумалъ: „Не сонъ ли это?“ Осторожно раскрылъ сжатую руку—дѣйствительно, тамъ сторублевая бумажка. Убѣдившись, что это не сонъ, я пустился бѣжать пуще прежняго... Ты смѣнешся, я это знаю; теперь мнѣ самому смѣшно вспомнить. Но знаешь ли ты, что значитъ получить первыя деньги за свой художественный трудъ? Это—первый трофей, первая побѣда, одержанная на поприщѣ искусства; душа моя праздновала эту побѣду всѣми своими силами, какъ это возможно только въ незабвенное время юности. Въ довершеніе моей радости, академія художествъ наградила

меня малою серебряною медалью—каково? Мнѣ захотѣлось похвастаться, но не было передъ кѣмъ, и я показавъ свою медаль квартирной хозяйкѣ. Хозяйка не повѣрила, чтобы она была серебряная и—о мой ужасъ!—чтобы убѣдиться въ этомъ, зажала ее между своими ерѣпками, острыми зубами, сдѣлала на ней двѣ глубокия зарубки и возвратила мнѣ обратно съ увѣреніемъ, что она оловянная.

Въ этомъ году мнѣ было суждено еще разъ возвратиться на родину съ новою побѣдою. Послѣ „Еврея-портного“ я сдѣлалъ изъ слоновой кости „Скупого, считающаго деньги“. Я тогда жилъ въ Академическомъ переулкѣ, во дворѣ, конечно, на самомъ верху. Въ началѣ я занималъ полъ-комнаты, но когда разбогатѣлъ на сто рублей и сосѣдъ мой выѣхалъ, то перегородка была снята, и я зацарствовалъ на всю комнату. Она была не совсѣмъ удобна для работы,—потолокъ былъ низокъ, окна малы, и это выкупалось развѣ только тѣмъ, что объ этотъ потолокъ удобно было зажать спички, даже для человѣка такого невысокаго роста, какъ я.

Нечего и говорить, что сто рублей очень скоро вышли; обыкновенный же мой доходъ состоялъ изъ десяти рублей въ мѣсяцъ. Это были не заработанные десять рублей, не заслуженные, а стипендія; не легко было ихъ достать и не сладко ихъ было брать. Силуюсь припомнить, имѣлъ ли я какое-нибудь понятіе о моей будущности, когда въ первый разъ ѣхалъ въ Петербургъ. Кажется, никакого. Такова сила влеченія въ юности. Меня просто влекло — сильно, безотчетно. Искусство я предпочелъ всему остальному, всему на свѣтѣ. Петербургъ оказался, однако, не той пустыней, гдѣ падала манна небесная; по-неволѣ пришлось отыскивать кусокъ хлѣба, во что бы то ни стало. Но гдѣ? Какъ?.. Было у меня рекомендательное письмо изъ Вильны къ г-ну Л. Я отправился по адресу, не безъ робости; вошелъ, конечно, не по парадной. Меня позвали въ кабинетъ; я перешагнулъ порогъ и сталъ тутъ же около двери. Л. принялъ меня ласково, упрекнулъ за мою робость, совѣтовалъ впередъ быть смѣлѣе. „Жизнь робости не пара,—сказалъ онъ:—а смѣлость города беретъ“, и кончилъ тѣмъ, что переслалъ меня съ письмомъ къ другому, другой—къ третьему, и т. д., и т. д. Началась игра съ мячикомъ: каждый, повидимому, охотно подхватывалъ меня и не менѣе охотно перебрасывалъ меня другому. Наконецъ, одинъ общалъ поговорить съ кѣмъ нужно, общалъ—и позабылъ. По-неволѣ приходилось напоминать не разъ, а нѣсколько. Благодаря этому, мое состояніе духа было не лучше, если не хуже, чѣмъ матеріальное состояніе.

Памятенъ мнѣ одинъ случай. Было уже далеко за полдень, я оставался еще на-тощакъ и поднимался по знакомой уже мнѣ лѣстницѣ... ноги мои дрожали, я готовъ былъ упасть на каждой ступенькѣ... потомъ долго стоялъ около двери, не рѣшаясь взять ручку болокольчика. Наконецъ, когда я дернулъ его и звонокъ жалобно задрожалъ, я весь вздрогнулъ, будто сердце оборвалось. „Не хочу!“ дико кричалъ я, и бросился назадъ по лѣстницѣ. На улицѣ мнѣ показалось, что я вырвался отъ какого-то тяжелаго кошмара, давящаго меня, и сталъ дышать свободнѣе, хотя въ вискахъ сильно еще стучало. Вопросительно посмотрѣлъ направо и налево: куда идти? „Не все ли равно?“ отвѣчалъ я самъ себѣ и пошелъ бродить по улицамъ. Вдругъ я остановился, схватился за боковой карманъ и обрадовался: „вѣдь у меня часы, золотые часы!“ То былъ остатокъ моей прежней состоятельности. Подумавъ немного, я ускорилъ шаги и отправился къ одному дальнему моему родственнику съ увѣренностью, что онъ не откажетъ мнѣ въ нѣсколькихъ рубляхъ подъ залогъ часовъ; но ошибся. Отвѣтъ его былъ въ своемъ родѣ знаменателенъ. — Видишь, — сказалъ онъ: — брать отъ тебя залогъ нехорошо, какъ-то совѣстно, а такъ дать не могу. — При этомъ онъ, какъ родственникъ и добрый человѣкъ, счелъ долгомъ дать мнѣ отеческое наставленіе: „Побѣжай, братъ, домой — это будетъ лучше всего. И отчего ты не хочешь быть такимъ, какъ всѣ? Видишь: всѣ мы живемъ и, слава Богу, жаловаться не можемъ, а тебѣ тарелки съ неба подавай! непременно художникомъ быть — важность какая! Вотъ знаю я одного художника, золотую медаль имѣетъ — пьяница! Медаль заложилъ, а самъ голодаетъ“.

Къ счастью, я скоро узналъ, что Г. назначилъ мнѣ стипендію: десять рублей ежемѣсячно. Можешь себѣ представить, какъ это было въ-время. Изъ этихъ десяти рублей шесть я отдавалъ за квартиру, рубль шелъ на классные расходы, а на остальное живи какъ знаешь, да еще и слоновую кость купи, и пальмовое дерево, и пр., и пр. Правда, впоследствии мой доходъ увеличился еще на восемь рублей, опять изъ того же источника, но на эти деньги я долженъ былъ нанять учителя французскаго языка. Учитель былъ изъ учениковъ академіи художествъ, и, конечно, у насъ пошло такъ же плохо, какъ первоначально мое рисованіе. И вотъ, я кончилъ „Скупого“; онъ щедро вознаградилъ меня, вовсе не какъ скупой. Я получилъ за него царскую премію въ 29 р. 16 коп. ежемѣсячныхъ, и получилъ совсѣмъ неожиданно. Можешь себѣ представить мой восторгъ! Я ликовалъ тѣмъ болѣе, что за „Скупого“ же получилъ большую се-

ребряную медаль. Кто могъ теперь оспаривать мою радость, мою гордость, мое богатство? Первымъ дѣломъ моимъ было отказаться отъ восемнадцати рублей частной стипендіи, потомъ съ легкимъ сердцемъ и съ новою побѣдою я возвратился на родину отдыхать и наслаждаться свободою каникулъ.

На этотъ разъ я нашелъ комнатку за городомъ, въ уголкѣ, среди прелестной природы. Въ первый разъ я наслаждался ею сознательно и наслаждался до упоенія, до усталости. Цѣлыми днями я одиноко бродилъ по густымъ лѣсамъ, увлекааясь всѣмъ, что тамъ видѣлъ; все мнѣ казалось столько же новымъ и интереснымъ, сколько и роднымъ. Уставъ, я ложился на спину и отдыхалъ; глядѣлъ съвозъ вѣтви деревьевъ на глубокую синеву высокаго неба и на причудливыя формы серебристыхъ облаковъ, гонимыхъ вѣтромъ; прислушивался къ шелесту деревьевъ, точно разговаривавшихъ между собою и кивавшихъ верхушками, какъ головами, любовался и закатомъ солнца... Наступали сумерки, лѣсъ становился мраченъ и угрюмъ, и я спѣшилъ домой, хотя голодный, но вполнѣ довольный... Часто по ночамъ я не могъ спать. Звонкія трели соловья приводили меня въ восторгъ. Какая-то внутренняя сила кипѣла во мнѣ, я чувствовалъ себя бодрымъ, веселымъ, мнѣ хотѣлось бѣгать, хохотать, — однимъ словомъ, я жилъ полной жизнью.

Около своего домика я развелъ цвѣтники. Много вниманія и заботы было посвящено ему; я не знатокъ ботаники, однако это не мѣшало мнѣ любить цвѣты, ухаживать за ними, выпалывать сорныя травы. Какъ радовался я, когда сѣмена, посѣянные мною, пустили ростки, когда молодые растенія стали подниматься все выше и выше и, наконецъ, превратились въ пышные кусты, покрытые цвѣтами, разливавшими вокругъ свой запахъ!.. Разъ, небо нахмурилось, поднялся вѣтеръ, блеснула молнія, раздался громъ, и дождь полилъ ливнемъ. Мои цвѣты не выдержали: они гнулись, ломались... Какъ я боролся за нихъ съ грозой! Поднималъ, подпиралъ, поддерживалъ ихъ, бѣгалъ отъ одного куста къ другому, не смотря ни на ливень, ни на вѣтеръ. Но все было напрасно: прошелъ дождь, а мои цвѣты лежали рядами, точно мертвецы на полѣ битвы; напрасно я расправлялъ ихъ, ставилъ имъ болѣе крѣпкія подпорки: въ нихъ не было жизни, и они быстро вяли, превращаясь въ ничто...

Лѣто прошло; настала осень со своими длинными, холодными ночами. Бабочки и мошки вертѣлись около зажженного свѣта, точно искали тепла; вѣтеръ качалъ деревья; поблеклые листья облетали и валялись на землю... Мой другъ, я нарочно остановился на

моемъ жить-быть въ деревнѣ, потому что оно было для меня послѣдними радостными, безоблачными днями юности. Мнѣ было тогда двадцать-три года, и моя жизнь вступала въ новый фазисъ, полный заботъ, неудачъ и мученій. Хочешь выслушать мою одиссею? Постараюсь рассказать тебѣ ее какъ можно короче и безъ сентиментальности. Я знаю, что ты не любишь ни сентиментальностей, ни длиннотъ—ты правъ: въ подобномъ случаѣ лучше всего факты, голые факты. Итакъ, слушай.

Я вернулся въ Петербургъ, поселился съ Рѣпинымъ въ одной комнатѣ, и въ эту зиму со мной ничего особеннаго не случилось. Въ академіи Рѣпинъ шелъ отлично: по рисованію онъ сразу сталъ первымъ. Я отсталъ, дѣлалъ все, что дѣлали другіе, только уже не съ тѣмъ пламеннымъ увлеченіемъ, какъ прежде. Мы всѣ шли постепенно впередъ, но куда? зачѣмъ?—этого мы не знали. Намъ было сказано, что мы—ученики академіи художествъ, и потому должны учиться. У кого учиться? Кто отвѣтитъ на загадочные вопросы, заставлявшіе насъ недоумѣвать? Мы были для профессоровъ чужіе, какъ и они для насъ. Ихъ мастерскія были для насъ закрыты, ихъ работъ не было видно на выставкахъ, однимъ словомъ, мы блуждали безъ руководителя, безъ авторитета. Многіе это чувствовали и сознавали, и это выражалось въ мѣткахъ и беспощадныхъ насмѣшкахъ, на которыя молодежь всегда щедра. Какъ шло наше ученіе въ классѣ гипсовыхъ головъ, я уже говорилъ; здѣсь, въ фигурномъ классѣ, куда я, наконецъ, перешелъ, дѣло шло не лучше. Правда, тутъ преподавателей было больше: между ними былъ и академикъ Бейдеманъ, относившійся къ своему предмету добросовѣстно—онъ никогда не засиживался по цѣлымъ вечерамъ на Олимпѣ со старшими товарищами; но, увы, я уже не засталъ его. Онъ умеръ неожиданно и странно. Въ его мастерской надъ дверью висѣла гипсовая рука, снимокъ съ работы Микель-Анджело, кажется, съ „Моисея“. И вотъ, разъ, когда онъ входилъ въ мастерскую, рука упала ему на голову, и это было причиною его смерти.

Въ фигурномъ классѣ я засталъ профессора В., очень добродушнаго и тихаго. Да вообще, какъ люди, всѣ наши профессора были добродушны и почтенны, въ особенности въ натурномъ классѣ. У каждаго изъ нихъ была своя прошедшая заслуга. Но въ то время, о которомъ идетъ рѣчь, почти всѣ они были уже утомлены, добродушіе ихъ превратилось въ апатію, свойственную старости, когда наступаетъ время думать о превратностяхъ міра. Тѣмъ не менѣе, никто изъ нихъ не хотѣлъ уступить мѣста силамъ болѣе молодымъ, болѣе дѣятельнымъ—одна смерть застав-

для ихъ выходить въ отставку. Профессоръ В. очень аккуратно обходилъ всѣхъ учениковъ, не забывая никого; около каждаго сидѣлъ относительно долго, молча сличая оригиналъ съ рисункомъ. Отыскавъ болѣе удачное мѣсто въ рисункѣ, онъ обводилъ его пальцемъ и съ особеннымъ удареніемъ произносилъ: — Очень хорошо! — Другой профессоръ, Іорданъ, гравёръ, на видъ еще бодрый старикъ, любилъ разговаривать съ учениками, прохаживаясь ради моціону, заложивъ руки за спину.

Науки шли не лучше. Боже мой, какъ опасно видѣть все вблизи, въ особенности художнику, рисующему въ своемъ воображеніи все въ увлекательныхъ формахъ!.. А тутъ, что ни увидишь, все не такъ, иначе, нежели представлялось. Раньше я мечталъ: „Вотъ гдѣ услышу о высокомъ значеніи искусства; получу разъясненіе того, что такое художникъ; услышу истину, на которой основана наука; вотъ гдѣ она будетъ изложена мнѣ въ увлекательныхъ рѣчахъ“. Мнѣ думалось, что всѣ профессора — люди идеальные, что они часто бесѣдуютъ съ учениками. „Какъ я буду ихъ любить! Да и какъ не любить ихъ? Я любилъ и люблю до сихъ поръ моего землемѣра, и не только люблю, но и уважаю... какъ же ихъ-то не любить?“ Я съ жадностью бросился слушать научныя лекціи, силился понимать ихъ, бранилъ себя за непониманіе, старался не пропускать ни слова — и все напрасно. Я недоумѣвалъ, но скоро увидѣлъ, что товарищи относятся къ преподавателямъ не лучше и не хуже, чѣмъ я; ихъ безпощадныя насмѣшки очень меня тѣшили. Интереснѣе всего казалось мнѣ преподаваніе исторіи искусства, и хотя у лектора не было особеннаго дара слова, но онъ, тѣмъ не менѣе, сообщалъ намъ много данныхъ и говорилъ просто и искренно. Зато Боже сохрани — когда онъ брался разъяснять намъ греческую красоту! Помню, разъ онъ предложилъ намъ сдѣлать „прогулку по музею“. Казалось бы, что можетъ быть болѣе заманчиво? Собрались насъ не мало. Послѣ многихъ комплиментовъ, отпущенныхъ лекторомъ каждой статуѣ, онъ обратился къ намъ съ убѣдительнымъ вопросомъ: — Не правда ли, тутъ всѣ статуи прекрасны? — Всѣ мы смотрѣли и не знали, что отвѣчать; оставалось только повѣрить ему на слово, а на это не всѣ были согласны.

Гораздо хуже шла у насъ всеобщая исторія. Фамилію преподавателя я забылъ. Это былъ человѣкъ очень флегматичный, очень педантичный, весь гладко выбритый и съ краснымъ парикомъ на макушкѣ. Читалъ онъ изъ книги, ровно, монотонно, безъ перерыва и безъ увлеченія. Голосъ его былъ похожъ на дребезжаніе стеколъ кареты, ватащейся по плохой мостовой, и

при этомъ онъ имѣлъ особенную способность усыплять хоть кого. Еще хуже шло преподаваніе анатоміи. Читалъ ее человѣкъ въ свое время извѣстный, но тутъ уже доживавшій свои послѣдніе годы, сгорбленный, безъ зубовъ и безъ голоса; рѣдко когда пропускалъ онъ лекціи, но рѣдко когда и читалъ больше 10—15 минутъ. Онъ, бывало, правильно разложить кости, установить скелетъ и, щурясь, оглянуть ряды пустыхъ скамеекъ, произнося: — Кажется, сегодня, господъ (слушателей) не много. — Онъ былъ очень снисходителенъ — эти немногіе слушатели сводились на двухъ-трехъ человѣкъ. Каплянувъ, преподаватель начиналъ лекцію изъ топографической анатоміи: — Вотъ, господа, лопатка. Лопатка имѣетъ край верхній, край нижній, — и т. д. Все это мы отлично знали изъ записокъ его. И только когда онъ присоединялъ къ этому что-нибудь изъ своихъ воспоминаній, мы слушали охотно. Совершенный контрастъ представлялъ молодой лекторъ Лавровъ, читавшій физику и химию; всѣ слушали его со вниманіемъ и интересомъ. Впослѣдствіи всеобщую исторію читалъ у насъ Эвальдъ; онъ говорилъ, а не читалъ, и говорилъ увлекательно, и потому мы всѣ увлекались. Еще немного позднѣе анатомію читалъ докторъ Гепнеръ, тоже молодой, искренній, всю душою преданный дѣлу. Мы всѣ ожили, старались наверстать потерянное время; аудиторія всегда была полна; приходили художники, давно окончившіе академическій курсъ. Гепнеръ первый въ своихъ лекціяхъ соединилъ слово съ дѣломъ (онъ привозилъ намъ части труповъ, познакомилъ насъ съ теоріей Дюшенъ-де-Булоня, считавшагося тогда еще шарлатаномъ (на его теоріи, однако, Дарвинъ впослѣдствіи основалъ свои идеи о „сбращеніи мышцъ“), однимъ словомъ, профессоръ Гепнеръ вдохнулъ въ нашу жизнь что-то свѣжее, новое... Мы тогда узнали, что ничего не знаемъ. Узнали также, насколько наша будущность зависитъ отъ хорошихъ, разумныхъ, а главное — искреннихъ преподавателей. Чѣмъ больше мы это сознавали, тѣмъ круче отворачивались отъ всего дряхлаго, отжившаго, не могущаго вновь ожить, дать жизнь новымъ отпрыскамъ. Всѣ почтенные профессора, о которыхъ я говорилъ вначалѣ, принадлежали прошедшему, а не будущему — не намъ.

Однако я далеко забѣжалъ впередъ, впрочемъ для того только, чтобы не возвращаться еще разъ къ этому предмету. Прибавлю, что скоро мы потеряли нашего новаго преподавателя, Гепнера: онъ умеръ раньше времени.

Наша внутренняя жизнь шла своимъ чередомъ, не имѣвшимъ ничего общаго съ академіей. Благодаря Рѣпину, я познакомился

съ нѣкоторыми товарищами-малороссами. Скоро изъ насъ составилъ тѣсный кружокъ. Мы часто собирались, передавали другъ другу академическія новости, читали, спорили, шумѣли, пѣли и расходились только поздно ночью. Впослѣдствіи къ намъ присоединились, кромѣ товарищей по академіи, также и нѣкоторые слушатели университета, и кружокъ принялъ нѣсколько болѣе систематическую организацію. Послѣ вечерняго класса мы собирались у каждаго по очереди; хозяинъ угощалъ чаемъ, калачами, масломъ и сливками, да и свѣтомъ, необходимымъ для рисованія. Каждый изъ насъ по очереди позировалъ; одинъ читалъ вслухъ, а прочіе, молча, притаивъ дыханіе, рисовали и страшно потѣли. Да и какъ было не потѣть! Собиралось насъ человѣкъ 12—15, всѣ въ шубахъ, въ теплыхъ пальто, у всѣхъ были галоши и палки; все это грудой сбрасывалось въ одну и ту же комнату—часто такую, что негдѣ было повернуться—на полъ, на кровать, гдѣ попало. Мы пили чай, самовары наставлялись по нѣскольку разъ, паръ столбомъ стоялъ и жара была невыносимая. Мы шутили, острили, рассказывали были и небылицы. Иногда горячо начатый споръ прерывался рисованіемъ. Во время отдыха споръ возобновлялся, но чаще составлялся хоръ; пѣли все, что знали: и изъ „Волшебнаго Стрѣлка“, и изъ „Жизни за Царя“, по преимуществу же малороссійскія пѣсни. У насъ былъ свой заповѣвалъ: это былъ человѣкъ маленькаго роста, тихій, немного грустный, точно чѣмъ-то обиженный; пѣлъ онъ голосомъ небольшимъ, но до того симпатичнымъ, сердечнымъ и унылымъ, что мы никогда не могли его достаточно послушаться. Онъ, бывало, усядется гдѣ-нибудь, заложить ногу на ногу, обниметъ колѣна руками, подниметъ голову, устремить взоръ куда-то въ неопредѣленную даль и, самъ раскачиваясь, начнетъ: „Гомонъ, гомонъ надъ дубровою“, или что-нибудь изъ множества пѣсенъ, содержаніе которыхъ я, къ сожалѣнію, позабылъ.—Ай да Мариничъ!—говорили мы ему въ похвалу; больше ничѣмъ не умѣли мы отблагодарить его.

Иногда затѣвались у насъ споры, такіе, какіе могутъ быть только въ Россіи. Мы спорили и кричали всѣ вмѣстѣ, не слушая ни другихъ, ни самихъ себя, перескакивая съ предмета на предметъ, не зная, зачѣмъ споримъ, куда ведетъ споръ и что мы хотимъ выяснить, и всегда кончая вовсе не тѣмъ, съ чего начали. Споры затягивались преимущественно тогда, когда на нашихъ вечерахъ были студенты: отчасти потому, что имъ скучно было молчать, когда мы рисовали, отчасти потому, что они въ большинствѣ смотрѣли на насъ какъ на добрыхъ, но никуда не

годныхъ малыхъ. Искусство казалось имъ праздною забавою, очень дорого стоющею и, въ сущности, никому не нужною. Тогда еще не затихъ знаменитый споръ: „что лучше: яблоко въ дѣйствительности или яблоко написанное?“ Мы тогда еще не знали, что и самый споръ яблока не стоитъ. Рѣчь шла и о томъ, что сапожникъ выше Шекспира и т. д. Студенты наступали на насъ смѣло, съ увѣренностью, старались доказывать свои мнѣнія различными данными... Это было настоящее ночное нападеніе; они заставляли насъ врасплохъ, не вооруженныхъ ничѣмъ. Тѣмъ не менѣе, мы схватывались съ ними, боролись, доказывали противоположное, кричали до хрипоты, далеко за полночь, спорили по нѣскольку человѣкъ вмѣстѣ, по-одиночкѣ, выносили споръ на улицу, уносили его съ собою домой. На-завтра спорили уже между собою художники. Наши ряды стали колебаться, мы чувствовали, что теряемъ почву подъ ногами. Въ самомъ дѣлѣ: что такое искусство, кому оно нужно, какая его цѣль? Каковъ идеалъ? Чего оно хочетъ отъ человѣка? отъ самой жизни? Какую пользу оно приноситъ? Имѣетъ ли оно право на существованіе?.. Красота? Что такое красота? Они называютъ ее условною, каждый чувствуетъ ее по своему... Они доказываютъ, что негръ предпочитаетъ негритянку, татаринъ отдастъ преимущество чернымъ зубамъ передъ бѣлыми... Неужели они правы?.. А эстетика? Что такое эстетика? Высшая наука о прекрасномъ. Отчего же не преподають ее въ академіи художествъ? Мнѣ говорятъ: чтобы понимать эстетику, надо тонко чувствовать. Я этой науки не знаю, да, должно быть, и тонкаго чувства не имѣю; послѣ этого какой же я художникъ?.. Они даже совсѣмъ отрицають искусство, а мы не можемъ доказать имъ противнаго. Ничего мы не знаемъ, не знаемъ даже, о какой красотѣ рѣчь идетъ, о внѣшней или душевной. Но споръ, какъ всякій споръ, особенно въ молодости, въ концѣ концовъ имѣетъ и свои хорошія стороны: онъ будитъ и толкаетъ впередъ. Чего не успѣвали высказать, не поняли, того мы стремительно доискивались внѣ спора, въ книгахъ, въ разспросахъ, и любознательность росла. Мы сознавали, что стоимъ не на твердой почвѣ; что у насъ ничѣмъ защищать того, что мы такъ любимъ, что насъ такъ сильно влечетъ къ себѣ. Мы бросились искать знанія, сами не зная, гдѣ его найти; искали въ книгахъ, читали все, что только было тогда въ переводѣ на русскій языкъ; читали безъ роздыха и безъ системы. Говоря: „мы“, подразумѣваю тутъ и моего сожителя, Рѣпина, съ которымъ я шелъ почти рука объ руку.

Какъ сейчасъ помню всю обстановку нашей комнаты. Наши

кровати стояли въ углу и подъ угломъ; тутъ же стоялъ столикъ со свѣчей и книгами; почти никогда не засыпали мы безъ чтенія, продолжавшагося далеко за полночь. Читались и греческая философія, и Бокль, и Дарвинъ, и историческіе романы. Перебрали и въ нашей литературѣ все, что было въ ней выдающагося. Такъ время шло.

Въ скульптурный классъ я ходилъ и занимался, но не охотно. Почему?—самъ не зналъ и не отдавалъ себѣ въ этомъ отчета; просто не влекло. Товарищи мнѣ тамъ были не по душѣ. Многие изъ нихъ были дѣти лѣпщиковъ, монументальныхъ дѣлъ мастеровъ, смотрѣвшіе на свое занятіе съ чисто-прагматической точки зрѣнія. Тамъ былъ только одинъ человѣкъ, къ которому меня влекло, но и то скорѣе изъ состраданія: это былъ въ своемъ родѣ мученикъ или жертва „безумія искусства“. Ему было уже лѣтъ за тридцать; когда именно онъ вступилъ въ академію художествъ, никто не зналъ; онъ же самъ не любилъ говорить объ этомъ. Былъ слухъ, однако, что вступилъ онъ лѣтъ четырнадцать тому назадъ и до сихъ поръ все оставался въ первомъ классѣ.

Былъ онъ ниже средняго роста, скорѣе пухлый, нежели полный; лицо его тоже было пухлое и доброе, волосы черные и гладкіе, борода жидкая, глаза черные, блуждающіе и губы полныя, съ синеватымъ отгѣнкомъ. Приходилъ онъ въ классъ рано, раньше всѣхъ, и уходилъ позднѣе всѣхъ. Ни на кого не обращалъ вниманія, ни съ кѣмъ не разговаривалъ, неохотно отвѣчалъ на вопросы и въ особенности на плоскія шутки нѣкоторыхъ товарищей. Все время онъ сидѣлъ почти неподвижно, устремивъ взоръ на предметъ, который старательно срисовывалъ на самой плохой бумагѣ кусочкомъ карандаша, вставленнымъ въ рейсфедеръ. Рисовать онъ начиналъ хорошо, вѣрно, но машинально; тушовка же никакъ не давалась ему. Изношенное пальто неизвѣстнаго цвѣта, всегда накинутае на его плечи, и засаленные до глянцежитости рукава ясно говорили о его несостоятельности. Я сталъ наблюдать за нимъ и убѣдился, что онъ часто голодаетъ. Его завтракъ и обѣдъ, повидимому, состояли всегда изъ одного и того же, а именно изъ куска чернаго хлѣба, приносимаго имъ съ собою въ классъ и украдкой тутъ же съѣдаемаго. Иногда и того не было, и я это узнавалъ по блѣдности его лица. Вначалѣ наше знакомство шло туго, потомъ довольно сносно и, наконецъ, совсѣмъ удовлетворительно. Подойду, бывало, къ нему, и тихо спрошу:—Кажется, сегодня вы ничего не ѣли?—Онъ посмотритъ на меня съ удивленіемъ, отведетъ

глаза въ сторону и не менѣе тихо отвѣчаетъ: — Нѣтъ. — Онъ даже сталъ ходить ко мнѣ. Но и тутъ онъ былъ тотъ же: застенчивый, пугливый, тихій и скромный. Я познакомилъ его съ Рѣпинымъ и другими; всѣ они относились къ нему по-человѣчески, и, повидимому, онъ этимъ очень дорожилъ.

Разъ нашъ К. совсѣмъ ожилъ и даже похорошѣлъ. Въ его жизни случились два событія одно за другимъ, и оба не мало-важныя. Во-первыхъ, онъ перешелъ во второй классъ и, во-вторыхъ, получилъ изъ дому нѣсколько десятковъ рублей какого-то наслѣдства. Мы сейчасъ пошли съ нимъ на толкучій, купили пальто, сапоги, шапку и т. д., и, вернувшись домой, весело принялись распивать чай. Онъ тогда сказалъ, что братъ зоветъ его на родину, и, конечно, лучший мой совѣтъ былъ — уѣхать, но онъ, повидимому, и думать не хотѣлъ объ этомъ.

Разъ я посѣтилъ его резиденцію. Это было гдѣ-то на Маломъ проспектѣ, въ квартирѣ сапожника, въ подвалѣ, гдѣ онъ занималъ маленькую, узкую комнатку съ однимъ окномъ. Обстановка вполне соответствовала его состоянію, но хуже всего былъ тухлый запахъ сырости и спертый воздухъ, заставлявшій задыхаться даже меня, далеко не такого избалованнаго, какъ теперь. Посѣтилъ я его потому, что онъ нѣкоторое время не приходилъ въ классъ; и дѣйствительно, я засталъ его не совсѣмъ здоровымъ. Дома онъ занимался не менѣе прилежно, чѣмъ въ классѣ. Онъ показалъ мнѣ свою комнату, срисованную имъ на небольшомъ клочкѣ бумаги масляными красками, со всей ея невзрачной обстановкой: старыми, поломанными стульями, кривымъ комодомъ, одеждой, развѣшенной по стѣнамъ, и отставшими, заплѣсневѣвшими обоями. Все это было передано тщательно и тонко выписано, только тускло, безъ дали и безъ жизни. Въ этомъ маломъ рисункѣ онъ отражался весь, какъ всякій художникъ въ своемъ произведеніи; но нельзя сказать, чтобъ у него не было божьей искры; можетъ быть, она была маленькая, но все-таки была. Мнѣ даже сказывали, что вначалѣ онъ шелъ въ академію недурно и получалъ хорошія отмѣтки, и что только на третнемъ экзаменѣ оборвался.

Мое посѣщеніе осталось у меня въ памяти надолго. Это былъ живой человѣкъ, которому бы не позавидовалъ мертвый, а между тѣмъ онъ жилъ и надѣялся на лучшую будущность. Я сомнѣвался какъ относительно его здоровья, такъ и относительно его карьеры; но чтѣ было виновато въ его судьбѣ: безталанность, бѣдствія или академія? Оставляя этотъ вопросъ открытымъ, окончу мой рассказъ о немъ. Онъ сталъ чаще хворать,

и мы, занятая молодежь, рѣже стали видать его, хотя и видали. Его блѣдное, пухлое лицо было во всѣхъ отношеніяхъ неестественно. Разъ встрѣчаю его, и онъ сообщаетъ мнѣ съ какой-то скривленной улыбкой: — А знаете, начальство академіи не позволяетъ мнѣ больше заниматься тамъ. — Неужто? — невольно вырвалось у меня: — плюньте да уѣзжайте! — Онъ ничего не отвѣтилъ, и мы разстались...

Настали каникулы, прошло лѣто, и опять начались классныя занятія; я вспомнилъ о К. и отправился отыскивать его на прежнюю квартиру, но не нашелъ тамъ ни его, ни сапожника. Куда перѣхалъ сапожникъ, я узналъ; собирался сходить къ нему, чтобы узнать о К., но моя жизнь, какъ я уже выше сказалъ, стала некрасна. Въ такихъ случаяхъ по-неволѣ становисься эгоистомъ, концентрируешь свое вниманіе на себѣ, барахтаешься, спасаешься, кричишь отъ боли... и позабываешь обо всемъ остальномъ. Если спросятъ, что случилось съ К., то, къ стыду моему, долженъ отвѣчать: — не знаю!..

Возвращаюсь къ собственной персонѣ. Въ эту зиму я, кажется, ничего не создалъ... Надо сказать, что я отлично запоминаю всѣ факты, всѣ детали, каждое лицо, но никоимъ образомъ не запоминаю времени, когда именно случился тотъ или другой фактъ, и потому очень можетъ быть, что нѣкоторые эпизоды тутъ перепутаны. Я уже выше сказалъ, что въ скульптурномъ классѣ неохотно занимался, но все-таки занимался не меньше другихъ. Я ходилъ въ классъ каждый день, старательно рисовалъ, перепортилъ массу бумаги и, съ жадностью впиваясь въ снимки съ греческихъ произведеній, слѣпо благоговѣлъ передъ ними, но не ощущалъ той страсти, которая заставляетъ сердце биться сильнѣе обыкновеннаго. Я хотѣлъ полюбить эти статуи всей душой, но не могъ; я упрекалъ себя за отсутствіе тонкаго чувства... Но почему же „Лаокоонъ“ такъ поразилъ меня еще въ дѣтствѣ, когда я увидѣлъ его въ стереоскопѣ? Почему теперь болѣе нравится мнѣ „Умирающій Галлъ“, чѣмъ другія? Почему меня влечетъ къ тому, въ чемъ есть выраженіе? Мнѣ говорятъ, что въ „Лаокоонѣ“ сказывается упадокъ греческаго искусства, что „Галлъ“ есть произведеніе искусства малоазійскаго, далеко не имѣющаго того высокаго значенія, какъ чисто греческое. Должно быть, у меня нѣтъ „тонкаго чувства“. Я пересталъ рисовать и сталъ бѣгать по музеямъ, что-то отыскивая и все-таки останавливаясь передъ тѣмъ, въ чемъ чувствуется жизнь, въ чемъ свѣтится душа... холодныя же вещи, какъ бы хорошо онѣ ни были исполнены, отталкивали меня.

Только потомъ я увидѣлъ, насколько инстинктъ мой не ошибался. Могу теперь положительно утверждать, что греки занимались формой для формы только въ декоративномъ искусствѣ, да и то далеко не всегда. Все же ихъ *идеальное* искусство есть выраженіе ихъ внутренняго настроенія. Они создавали не статуи, а боговъ, въ которыхъ настолько же вѣрили всею душою, насколько любили и чтили ихъ. Греки подчиняли форму, соответствующую данному богу, тому идеалу, который брались создать. Вся ихъ гениальная заслуга состоитъ въ томъ, что они создали своихъ боговъ въ совершеннѣйшей художественной формѣ, полной жизни и правды; но и самый ихъ культъ, религія ихъ способствовали этому, какъ потомъ христіанское міросозерцаніе способствовало созданію въ искусствѣ полнаго выраженія беззабѣтной душевной красоты, достигшей своего апогея, какъ у грековъ достигала апогея красота физическая. Разницу между этими двумя искусствами составляетъ противоположность ихъ содержанія. Греческіе боги не пришли искупить человѣческихъ грѣховъ, они не страдаютъ, а полны жизненнаго, реальнаго интереса—только въ совершенствѣ; греческіе полубоги—не христіанскіе мученики, пострадавшіе за вѣру и правду, не аскеты, отдалившіеся отъ мірскихъ суетъ и молящіеся за людскіе грѣхи; нѣтъ, они только усовершенствовали жизнь, счумѣли отличиться, стать выше обыкновеннаго человѣка, хотя бы въ физическихъ упражненіяхъ.

Разница между греческимъ и христіанскимъ міросозерцаніемъ состоитъ въ томъ, что греки призвали своихъ боговъ къ себѣ и придали имъ свои жизненные интересы, между тѣмъ какъ христіане, совершенно наоборотъ, стремятся къ Богу. Греческіе храмы не колоссальны, не давятъ человѣка своими размѣрами,—часто крышу замѣняетъ открытое небо; они стоятъ на платформѣ, заканчивающейся плоскимъ фронтономъ. Христіанскія готическія церкви всегда точно вырастаютъ изъ земли; ихъ безконечныя башни и шпицы стремятся къ небу, а внутренность ихъ скорѣе настраиваетъ на размышленіе о ничтожествѣ и суетности всего мірскаго, нежели вызываетъ желаніе окунуться въ житейскія волны. Кто-то высказалъ, что искусство развивается во времена упадка. Но какое искусство? Декоративное или душевное? Первое—не что иное, какъ продуктъ вкуса; произведенія его принадлежатъ къ предметамъ роскоши, ласкающимъ нашъ глазъ; оно всегда развивается, когда чрезмѣрное богатство сосредоточивается въ одномъ классѣ общества, какъ это было, напримѣръ, въ древнемъ Римѣ. Но душевное искусство, совершенно наоборотъ, под-

нимается пропорціонально съ духомъ народа; только у испорченныхъ душъ нѣтъ идеала.

Все это я говорю теперь послѣ многихъ, многихъ лѣтъ; послѣ того, какъ успѣлъ и подумать, и даже немного постарѣть; но тогда инстинктъ мой былъ сильнѣе сознанія... за то сколько мученій создалъ онъ мнѣ!

Съ нетерпѣніемъ ожидалъ я Пасхи и, не дождавшись, уѣхалъ домой. Но тамъ ничего хорошаго не ждало меня. Домашнія дѣла шли все хуже и хуже. Сестра моя, только-что вышедшая замужъ, опасно захворала; я засталъ ее уже въ постели и провелъ около нея четырнадцать дней, послѣ чего вернулся въ Петербургъ, радуясь ея выздоровленію.

Вечерніе классы рисованія еще продолжались. Весной они имѣютъ особенный, странный отпечатокъ. Ламповое освѣщеніе замѣняется дневнымъ свѣтомъ; иногда врываються послѣдніе лучи солнца, заставляющіе невольно оборачиваться въ ихъ сторону. Учениковъ мало; всѣ спѣшатъ домой, на родину, обнять родныхъ, знакомыхъ и среди нихъ отдохнуть и вольно пожить. Самый весенній воздухъ говоритъ что-то, вызываетъ особенное настроеніе, то безотчетно-грустное, то безотчетно-радостное; какой-то трепетъ охватываетъ, куда-то манить вдаль... Но меня на этотъ разъ никуда не манило... Классы закрылись, я остался одинъ, остался съ самимъ собой. Впрочемъ остались и другіе товарищи, съ которыми я иногда гулялъ. Большею частію я былъ одинъ, и тогда-то совсѣмъ предавался своимъ мечтамъ.

Меня занималъ все одинъ и тотъ же предметъ — искусство. Боже мой, какъ тяжело искать любимый предметъ въ потьмахъ, въ неизвѣстности! Кто заронилъ во мнѣ сомнѣніе? Зачѣмъ оно такъ преслѣдуетъ, мучитъ меня? Правда, въ теченіе этого времени я успѣлъ уже кое-что перечитать, и между многими другимъ и Прудона: „Объ искусствѣ“. Мы ухватились за него точно утопающіе, видѣли въ немъ опору нашихъ стремленій, но внутренно мы не были удовлетворены... Это все не то, не то... душа требуетъ чего-то другого... Помню, разъ ночью съ Рѣпинимъ мы долго шли молча. — А знаешь, — сказалъ онъ вдругъ: — мнѣ кажется, что искусство ни къ чему не ведетъ? — Видно было, что и его мучитъ тотъ же вопросъ. Я нападалъ на него за это, а самъ... Еслибы онъ зналъ, что тогда во мнѣ происходило! Если въ искусствѣ ничего нѣтъ, если оно только праздная забава, то отчего оно такъ сильно влечетъ меня къ себѣ? Отчего я отдался ему, оставивъ родныхъ, отрѣкшись отъ молодыхъ страстей? Отчего оставилъ сытный кусокъ хлѣба и пошелъ голодать на чужбинѣ,

чуть не протягивая руку съ просьбой о милостынь? Искусство... Что такое искусство? Почему я такъ страстно полюбилъ неизвѣстное?.. Красота... почему ты не открываешься мнѣ? Неужели, увидѣвъ тебя, узнавъ тебя, я тебя не полюблю? Вѣдь ты должна быть идеаломъ моей будущности, моей жизнью. Неужели всѣ знаютъ то, чего я такъ сильно добиваюсь и не знаю? Отчего же я не могу разрѣшить разрѣшеннаго другими? Какъ я завидую имъ!.. Да, я тогда завидовалъ всѣмъ и каждому. По цѣлымъ ночамъ я бродилъ вдоль набережной во время тихихъ, чудныхъ бѣлыхъ ночей, свойственныхъ только Петербургу. Иногда, отъ досады, у меня готовы были выступить слезы; какая-то внутренняя злоба пробуждалась во мнѣ... я грозилъ кулаками... Кому? за что?.. Себѣ, за свое незнаніе... По часамъ смотрѣлъ я на небо, на академію художествъ, облитую ночнымъ холодомъ и свѣтомъ, на гранитныхъ сфинксовъ, гордо и молчаливо стоявшихъ тутъ же у спуска Невы, точно два стража; на общій видъ набережной, убѣгающей вдаль, и на дрожащіе огненные столбы, отражающіеся на поверхности воды отъ корабельныхъ фонарей. Все это было спокойно, величаво и молчаливо... Мнѣ вспоминалось еще недавнее прошлое: во время моего перваго пріѣзда я тоже ходилъ вокругъ академіи. Я сравнивалъ мои тогдашнія чувства съ теперешними... Какая разница между ними! Скажи: неужели сфинксъ есть эмблема твоя, академія?

Полный усталости, я уходилъ домой тѣмъ, чѣмъ и пришелъ...

Я былъ очень радъ, когда жаркое, душное петербургское лѣто прошло. Мало-по-малу жизнь въ академіи проснулась; товарищи сѣзжались, добрые, энергичные, съ красными щеками... Пошли рѣчи, разспросы, толки... жизнь пошла своимъ чередомъ.

Долженъ замѣтить, что эта зима была для меня переходнымъ временемъ во всѣхъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, я перешелъ въ натурный классъ; во-вторыхъ, былъ назначенъ новый профессоръ скульптуры; затѣмъ, въ самой академіи совершились нѣкоторыя реформы; но главное—я познакомился съ однимъ человѣкомъ, имѣвшимъ на меня благотворное вліяніе. Начну по порядку, а то очень боюсь, чтобы написанное не стало похожимъ на шероховатую мозаику.

Профессоровъ натурнаго класса я уже хорошо зналъ, хотя никогда не имѣлъ чести съ ними говорить. Разъ только разговаривалъ я съ ректоромъ Бруни, когда ходилъ благодарить его за премію, полученную за „Скупого“. Помню, что тогда около него кто-то стоялъ и сталъ давать мнѣ совѣты.—Нѣтъ, нѣтъ,—перебилъ Бруни,—оставьте его: пускай идетъ своей дорогой; у него

что-то... новое!.. Съ Богомъ! — заключилъ онъ, и я, поклонившись, ушелъ. Но съ тѣхъ поръ много времени прошло, и теперь онъ врядъ ли помнилъ меня; притомъ же онъ рѣдко приходилъ въ классы, и то только на нѣсколько минутъ; здѣсь онъ всегда задумчиво прохаживался тихимъ шагомъ, съ сжатыми губами и высоко-поднятыми бровями. Онъ неохотно останавливался, когда докучливые ученики ловили его, такъ сказать, на ходу.

О профессорѣ Басинѣ ученики отзывались, что онъ рѣзокъ, иногда до грубости, но отлично поправляетъ. Когда я перешелъ въ натурный классъ, онъ отъ старости уже пересталъ хорошо видѣть.

Былъ еще профессоръ Марковъ, не стѣснявшійся въ замѣчаніяхъ; и, надо отдать ему справедливость, замѣчанія эти были иногда очень мѣткі. При мнѣ случилось, что одинъ художникъ представилъ видъ съ птичьяго полета. Марковъ положилъ его на полъ, сунулъ руки въ карманы, обошелъ картину кругомъ, пожалъ плечами и заключилъ:—Не знаю, не летать!...—Злые языки говорили, что онъ получилъ званіе профессора въ долгъ. Случилось это такимъ образомъ: онъ сдѣлалъ эскизъ „Колизей“ и обѣщалъ исполнить, за что и дали ему званіе профессора, но обѣщаніе осталось обѣщаніемъ, какъ профессоръ профессоромъ и эскизъ эскизомъ.

Затѣмъ профессоръ Х... очень добросовѣстно, старательно и даже съ успѣхомъ занимался вечернимъ классомъ и, тѣмъ не менѣе, подвергался насмѣшкамъ за то, что, будучи самъ далеко не первой силы колористомъ, именно о краскахъ и любилъ философствовать передъ учениками, останавливаясь около мольбертовъ. Длинная фигура съ длинной шеей, всегда одѣтая въ узкій костюмъ стараго покроя; подходя къ ученику, онъ, выставивъ лѣвую ногу впередъ и подперевъ правую рукою подбородокъ, глубокомысленно начиналъ:—Вотъ, изволите ли видѣть, передъ вами натура; если мы остановимся на минуту и спросимъ себя, что такое натура?..—Натура—тѣло, изволите ли видѣть. Тѣло имѣетъ свойство атласа, на атласѣ всегда есть бликъ... вотъ это и ловите! А потомъ, замѣтьте: всѣ выступающія части тѣла красны... вотъ изволите видѣть: уши, носъ, колѣна... Но мы еще поговоримъ... продолжайте... хорошо...

Не менѣе, если не болѣе, подвергался насмѣшкамъ профессоръ Неффъ, извѣстный своимъ слащавымъ колоритомъ. Въ мою бытность въ академіи, онъ отъ старости почти впалъ въ дѣтство. Мой товарищъ С. особенно удачно подражалъ ему и рассказывалъ намъ о такихъ его наивностяхъ, что мы отъ души смѣя-

лись не только, когда слышали о нихъ, но даже когда и вспоминали; что касается самого профессора, то видѣть его безъ смѣха было невозможно. Разъ какъ-то вечеромъ онъ вошелъ въ классъ въ полномъ блескѣ своихъ орденовъ и лентъ и подмигивая всѣмъ намъ своими маленькими масляными глазками.—Что это значитъ?—спрашивали мы другъ у друга, и скоро узнали, что онъ получилъ какой-то важный орденъ; воображая, что всѣ должны знать объ этомъ, онъ пришелъ принять отъ насъ поздравленія. Тогда нѣкоторые „ехидные“ ученики обступили его и въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ стали поздравлять. Неффъ принялъ это за серьезное и не менѣе серьезно отвѣчалъ съ нѣмецкимъ акцентомъ:—Я... я вполне заслужилъ!

С. рассказывалъ, что онъ совѣтовалъ ему быть богатымъ:—Художнику необходимо быть богатымъ, живописцу необходимо „валаться, валаться“ въ краскахъ. — Когда онъ подходилъ къ ученику, то бралъ у него палитру и собственноручно поправлялъ; отходя, онъ серьезно и наивно говорилъ:—Вотъ сейчасъ видно профессора!—Разъ онъ подошелъ ко мнѣ во время вечерняго класса и, увидѣвъ мой рисунокъ, расерылъ ротъ, точно чудо увидалъ, и таинственно произнесъ:—А-а!—Въ эту минуту напротивъ меня, Богъ знаетъ откуда, выросъ С., и этого было довольно, чтобы смѣхъ началъ душить меня, до того, что я искусалъ себѣ губы до крови, въ особенности когда Неффъ, усѣвшись на моемъ мѣстѣ и сличивъ мой рисунокъ съ оригиналомъ, сказалъ таинственно:—Я вамъ поправлю. Вашъ рисунокъ хорошъ, очень мнѣ нравится... я вамъ покажу, какъ надо рисовать...—Онъ началъ рисовать ровными штрихами и при каждомъ поворотѣ карандаша издавалъ какіе-то звуки въ родѣ: „пуфъ, пуфъ!..“ точно выпуская изо рта набравшійся тамъ паръ. На экзаменѣ я представилъ мой поправленный и похваленный рисунокъ — и что же? Получилъ за него какъ разъ послѣдній нумеръ! Мнѣ было стыдно и досадно.

Развѣ это не „пуфъ“?

Что же касается до скульпторовъ, то на насъ шестерыхъ было двое профессоровъ, кромѣ барона Клодта, имѣвшаго спеціальностью животныхъ и преимущественно лошадей. Его всѣ уважали не меньше, чѣмъ Бруни; люди, знавшіе его близко, отзывались о немъ съ особеннымъ почтеніемъ. Я видѣлъ его всего разъ, и это мнѣ памятно вдвойнѣ. Во-первыхъ, тогда я лѣпилъ первый этюдъ изъ глины, и мнѣ пришлось вынести нѣкоторыя непріятности. Дѣло въ томъ, что мои товарищи — скульпторы устроили противъ меня стачку, заняли всѣ мѣста, хотя нѣкто-

рые потомъ и не работали. Оставалось только хлопотать объ устройствѣ новаго мѣста. Но пока ввели газъ и все устроили, прошло три класса и осталось всего семь. Я принялся за дѣло съ энергіей. Именно тогда баронъ Клодтъ и пришелъ. Я сидѣлъ съ краю, такъ что первый этюдъ, имъ увидѣнный, былъ мой. Онъ остановился, опираясь на свою палку, потому что немного прихрамывалъ, и серьезно, почти строго спросилъ: — Давно ли вы лѣпите? — Я сказалъ. Тутъ же подошелъ дежурный профессоръ и отрекомендовалъ меня. — То-то! — произнесъ баронъ Клодтъ. Это лаконическое замѣчаніе сильно удивило, но вмѣстѣ и ободрило меня. Я кончилъ этюдъ, кончилъ и эскизъ на заданную тему, и представъ себѣ мое удивленіе: какъ за этюдъ, такъ и за эскизъ я получилъ первые нумера.

Эта маленькая побѣда въ маленькомъ мірѣ случилась, однако, кажется, съ годъ послѣ того времени, которое описываю. Въ ту же зиму, въ скульптурномъ классѣ появился новый профессоръ, Реймерсъ. Онъ былъ и скульпторомъ, и живописцемъ. Я сразу почувствовалъ, что отъ него вѣетъ теплотою. Это былъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, средняго роста, довольно полный. Его круглое лицо окаймлялось русою бородою; глаза его смотрѣли серьезно, но съ добротою, обхожденіе было просто и искренно; онъ говорилъ отъ сердца и старался передать ученику все, что самъ зналъ. Отъ него я въ первый разъ услышалъ простое разумное замѣчаніе. Я тогда рисовалъ какую-то фигуру; онъ подошелъ, посмотрѣлъ и сказалъ приблизительно слѣдующее: — Надо рисовать фигуры, а не линіи. Когда рисуете, надо чувствовать весь строй человѣка. Карандашомъ вы должны его построить съ сознаниемъ, а не рисовать машинально.

Послѣ перваго эскиза я сдѣлалъ второй, кажется „Исцѣленіе Товія“, и за него тоже получилъ первый нумеръ. Мои товарищи, наконецъ, рѣшили спросить у профессора: почему? Послѣ его объясненія, они начали относиться къ нему съ довѣріемъ, а ко мнѣ съ меньшимъ пренебреженіемъ.

Профессоръ Реймерсъ относился не знаю какъ къ другимъ, но ко мнѣ — съ отеческою заботливостію. Я охотно показывалъ ему какъ начатія, такъ и оконченныя работы. Разъ онъ спросилъ, что я подѣлываю дома. Я отвѣчалъ, что дѣлаю: „Поцѣлуй Іуды“. — Хорошо, — отвѣчалъ онъ: — приду. — Это было для меня совсѣмъ неожиданно. Я разсказалъ товарищамъ; они мнѣ не повѣрили: такъ это было у насъ неслыханно. Однако Реймерсъ не заставилъ долго ждать себя; онъ пришелъ, и, къ стыду моему, работа моя изъ глины была засохшею; ясно было, что я

давно не работаль. Но ничего, онъ отнесся къ этому снисходительно, далъ нѣсколько совѣтовъ, ободрилъ меня и ушелъ.

Мой другъ и сожитель, Рѣпинъ, много рассказывалъ мнѣ о Мстиславѣ Викторовичѣ Праховѣ. Всѣ его рассказы были для меня полны интереса, я слушалъ съ жаднымъ вниманіемъ. Знакомыхъ домовъ у меня въ Петербургѣ не было, а такихъ и подавно. — Какимъ образомъ и при какихъ обстоятельствахъ я познакомился съ М. В., не помню, но его серьезное, доброе и вмѣстѣ съ тѣмъ ясное выраженіе лица сразу привлекло меня и осталось въ моей памяти навсегда. Ему было лѣтъ за тридцать; росту онъ былъ средняго, немного сутуловатъ; лицо блѣлое, матовое, съ черною шелковистою бородою и высокимъ лбомъ; глаза, слегка прищуренные, задумчиво смотрѣли куда-то вглубь; носъ былъ прямой, стройный; ротъ строгій и слегка сжатый. По близорукости, онъ всегда носилъ золотыя очки. Вотъ и портретъ его.

Товарищи его по университету — нѣкоторые изъ нихъ уже профессора — очень любили и уважали его, какъ человѣка и какъ серьезнаго ученаго. — Ко мнѣ онъ высказалъ расположеніе; мы мало-по-малу сблизились; чѣмъ больше я узнавалъ его, тѣмъ больше любилъ.

Я жадно слушалъ его; онъ говорилъ хорошо, увлекательно, точно читалъ изъ книги. Бывало, придетъ онъ къ намъ и начнетъ рассказывать о чемъ бы то ни было: объ исторіи, объ искусствѣ, о поэзіи... все слушаешь съ одинаковымъ интересомъ, не силясь запоминать, какъ на лекціяхъ, а рѣчь его, точно мягкая рука, ласкаетъ сознаніе. Настанутъ сумерки, ночь смотреть уже въ окна, а намъ боязно вспомнить, что пора свѣтъ зажигать... Да и не хочется — зачѣмъ свѣтъ? Рѣчь его еще лучше звучитъ, когда не видишь кругомъ себя прозаической обстановки. — Онъ познакомилъ меня и со своимъ домомъ. Жилъ онъ въ самомъ верхнемъ этажѣ, въ небольшой, но чистой и уютной квартирѣ. Семейство у него было многочисленное: четверо братьевъ, двѣ сестры, глава семьи — мать, и дядя — братъ ея. Собирались у нихъ по воскресеньямъ, обѣдали. Я эти обѣды хорошо запомнилъ; они всегда были такъ хорошо приготовлены, такъ вкусны, особенно послѣ недѣльныхъ странствованій по кухмистерскимъ. А чего тамъ не наслушаешься! Это была тоже, въ своемъ родѣ, пища на цѣлую недѣлю.

Центромъ семейства была мать. Полная, съ добрымъ, умнымъ выраженіемъ лица, тихая и набожная, она была ласкова ко всѣмъ

и ко всѣмъ одинаково привѣтлива. Дѣтамъ она предоставляла полную свободу, и дѣти шли самостоятельно, путемъ старшаго брата, не употребляя во зло своей свободы. — Вотъ въ какой обстановкѣ я вдругъ очутился послѣ многихъ годовъ одиночества.

М. В. Праховъ посѣщалъ насъ часто и снабжалъ книгами, преимущественно поэтическими. — Не засушивайте вашъ умъ слишкомъ, развивайте чувство, орошайте его поэзіею, давайте ему просторъ, и оно само подскажетъ вамъ, что дѣлать..., — говорилъ онъ. Въ это время онъ собирался писать „Исторію литературы“ и накупилъ массу книгъ, къ которымъ вообще питалъ страсть. Многія изъ нихъ онъ перечиталъ мнѣ вслухъ, больше всего изъ нѣмецкой литературы; спрашивалъ меня о прочитанномъ, сравнивалъ мои впечатлѣнія и самъ многое высказывалъ. Читалъ много и русскаго, и въ особенности изъ Пушкина и Лермонтова. Прочиталъ онъ мнѣ и свой замѣчательный трудъ о „Словѣ о Полку Игоревѣ“, къ сожалѣнію, не конченный. Такъ мы проводили вечера. Я чувствовалъ, что мои познанія все болѣе и болѣе обогащаются; я благоговѣлъ передъ этимъ человекомъ. Его замѣчанія были для меня закономъ, его авторитетность неограниченна. Я и не замѣчалъ нѣкоторыхъ слабыхъ сторонъ его и бывалъ очень недоволенъ, когда мнѣ на нихъ указывали. Онъ даже правились мнѣ. При всей своей серьезности, онъ былъ не отъ міра сего. Если, бывало, мать не позаботится о его ѣдѣ, онъ остается голодный, точно это не его касается. Войдетъ, случалось, въ книжный магазинъ и такъ увлечется книгами, что не выйдетъ, пока купецъ не напомнимъ ему, что пора лавку заперать. Деньгамъ онъ не придавалъ значенія; когда онъ бывали у него, онъ охотно отдавалъ ихъ первому, кто попроситъ; если кто дастъ ему въ долгъ, онъ позабудетъ о нихъ, какъ и о своихъ. Онъ дѣлалъ въ свою жизнь не мало промаховъ и вредилъ, конечно, прежде всего самому себѣ. Сердиться на него нельзя было. Много разъ предлагали ему занять каведру и въ Дерптѣ, и въ Казани, но онъ всякій разъ отказывался, боясь внести туда только мертвую науку. Онъ мечталъ о другомъ; ему казалось, что нужно раньше внести жизнь и воспитаніе туда, гдѣ ихъ не было, и потому предпочелъ занять мѣсто учителя гимназіи. Тамъ своимъ живымъ словомъ, своею искреннею добротою онъ сразу заставилъ всѣхъ уважать и любить себя.

Не помню, долго ли продолжался этотъ періодъ, кажется, не долго, но, безъ сомнѣнія, это было лучшимъ періодомъ его жизни.

Конечно, многіе скажутъ мнѣ, что это былъ человекъ странный. Но развѣ каждый изъ выдающихся людей не имѣетъ сво-

ихъ странностей? Ломброзо даже проводитъ аналогію между великимъ человѣкомъ и сумасшедшимъ. Думаю, не вѣрнѣ ли, что великіе люди близки къ сумасшествію. Только изъ натянутой струны мы можемъ извлекать чудные, гармоническіе звуки, но вмѣстѣ съ тѣмъ ежечасно, ежеминутно рискуемъ, что струна порвется.

Довончу исторію М. В. Прахова; она не длинна. Спусти нѣсколько лѣтъ, онъ умеръ одинокій, далеко отъ родныхъ. Онъ сталъ хворать, забываться, и, наконецъ, угасть, оставивъ намъ о себѣ добрую память въ наслѣдство и руководство.—Миръ этому человѣку не отъ міра сего!

На моемъ маленькомъ горизонтѣ показалась маленькая тучка, имѣвшая для меня весьма печальныя послѣдствія. Нужно сказать, что я поступилъ въ академію вольнослушателемъ. Съ тѣхъ поръ прошло болѣе трехъ лѣтъ; я шелъ вмѣстѣ съ другими, получалъ награды и былъ равенъ всѣмъ остальнымъ. Но тутъ противъ насъ было принято что-то въ родѣ небольшой репрессивной мѣры: отъ всѣхъ потребовали обязательнаго экзамена изъ научныхъ предметовъ; иначе оставляли безъ правъ. Курсъ наукъ раздѣлялся на три класса; каждый классъ былъ двухгодичный. Начинать опять съ начала мнѣ не хотѣлось, а дозволить мнѣ держать экзаменъ потомъ—начальство не согласилось. По правдѣ сказать, я тогда былъ слишкомъ безпеченъ, слишкомъ увлеченъ искусствомъ и самимъ собою, чтобы всему этому придавать особенное значеніе; мало заботился о послѣдствіяхъ, особенно о послѣдствіяхъ практическихъ. Да притомъ у меня оставалась одна маленькая надежда: я слышалъ, что для талантливыхъ дѣлается исключеніе; а тогда обо мнѣ уже говорили и успѣли даже убѣдить меня въ моей талантливости. — Между тѣмъ я окончилъ барельефъ „Поцѣлуй Іуды“ и далъ отливать его изъ гипса, причемъ впередъ вручилъ работнику на чай. Онъ выпилъ за мое здоровье и отъ удовольствія отбилъ у „Іуды“ носъ и приставилъ новый, по своему, увѣряя, что такъ было. На „Іуду“ нельзя было взглянуть безъ смѣха; я волновался, приходилъ въ отчаяніе, но дѣлать было нечего: кое-какъ поправилъ, выставилъ его на экзаменъ. Для начальства онъ прошелъ незамѣченнымъ, а товарищи хвалили.

Я отлилъ свой барельефъ въ двухъ экземплярахъ и выручилъ двадцать рублей—ровно столько, сколько стоила отливка. Первый экземпляръ приобрѣлъ И. Н. Крамской. Тутъ-то я поближе по-

знакомился съ нимъ и съ „артелью“ идеальнаго устройства. Отъ всѣхъ и всего я былъ въ восторгѣ. Артель и въ особенности Крамской ласково приняли меня, интересовались мною, моею работою, охотно слушали меня, и мы иногда цѣлые вечера проводили въ бесѣдахъ. Тамъ познакомился я съ молодымъ и въ высшей степени талантливымъ пейзажистомъ, Васильевымъ, умершимъ такъ рано и для себя, и для искусства. Тутъ же узналъ „дѣдушку лѣсовъ“, какъ тогда звали пейзажиста Шишкина. Трудно было вѣрить, чтобы этотъ колоссальный человекъ, весь обросшій волосами, на видъ серьезный и даже сердитый, былъ въ то же время добродушенъ какъ ребенокъ, — такъ, по крайней мѣрѣ, отзывались о немъ всѣ, самъ же я зналъ его мало. Наконецъ, тамъ же я познакомился съ Д. О., съ его симпатичной молодою женою и со многими другими. Всѣ относились ко мнѣ сердечно и, главное, просто. Собирались обыкновенно по вечерамъ, совершенно по семейному. Карты и танцы не были въ ходу, за то затѣвались разные игры — вообще чувствовался просторъ, гдѣ можно было разойтись. У меня осталась въ памяти игра въ жмурки. Какъ сейчасъ вижу громадную фигуру „дѣдушки лѣсовъ“, стоящую посреди залы съ завязанными глазами; нѣсколько изогнувшись впередъ, растопыривъ руки и ноги, онъ старается ловить насъ въ пустомъ пространствѣ — мы ловко подергиваемся къ нему, щиплемъ его, тащимъ за фалды сюртука и съ хохотомъ отскакиваемъ въ стороны. На одномъ изъ этихъ вечеровъ даже читалась написанная мною статья по поводу нападокъ на искусство. Я принималъ къ сердцу все, что касается искусства, особенно когда нападали на него. Что именно я тогда писалъ — не знаю; по всей вѣроятности, безсмыслицу, подъ влияніемъ Прудона.

Однако статья была одобрена, и даже разъ какъ-то И. Н. Крамской подарилъ мнѣ свою фотографію съ надписью: „бойцу идей“.

Эта зима прошла для меня отлично во всѣхъ отношеніяхъ. Я приобрѣлъ столько знакомыхъ, столько добрыхъ, простыхъ и искреннихъ друзей. Въ ихъ серьезной средѣ я чувствовалъ, что духовно обогащаюсь, что горизонтъ мой расширяется. На каникулы уѣхалъ домой, довольный самимъ собою. Семейныя финансовыя дѣла, между тѣмъ, шли худо; мои — не лучше; мы другъ другу помогать не могли, всѣмъ было одинаково плохо, даже совсѣмъ плохо. Тѣмъ не менѣе, я купилъ кусокъ мрамора и отвезъ домой съ надеждой вырубить изъ него барельефъ: „Пощлуй Іуды“. Но тутъ случилось слѣдующее: я купилъ вовсе не

тѣ инструменты, которые были нужны, и потому рубилъ, рубилъ, все лѣто прорубилъ,—барельефъ такъ и остался недорубленнымъ, я возвратился въ Петербургъ ни съ чѣмъ. Начались классы, и я за лѣпку скоро получилъ малую серебряную медаль, но съ условіемъ, чтобы выдержать экзаменъ изъ научныхъ предметовъ. Тутъ-то въ первый разъ я на практикѣ испыталъ неудобства моего положенія; сталъ хлопотать, просить, обивать пороги, но все напрасно. Петръ кивалъ на Ивана, Иванъ на Сидора, и т. д. Я горячился, волновался, добивался того, чтобы сдѣлали снисхожденіе для меня, какъ дѣлали для другихъ моихъ товарищей, получившихъ право конкуррировать. Наконецъ сталъ даже добиваться званія учителя, желая совсѣмъ оставить академію; но просьба моя не была уважена, чему, впрочемъ, я потомъ былъ радъ. Чтѣо оставалось дѣлать? Лѣзнить, молчать и ожидать лучшей будущности, тѣмъ болѣе, что внѣ академіи ничего хорошаго не ждало меня. Въ памяти моей ярко оставался мой первый пріѣздъ въ Петербургъ, когда я искалъ работы, не зная, гдѣ найти ее, и наконецъ нашелъ на Невскомъ, у товарища. Я рѣзалъ для него цифры на шарикахъ. Три дня и почти три ночи прорѣзалъ, надавилъ себѣ на ладоняхъ водяные пузыри и получилъ за это ровно пять рублей. Съ тѣхъ поръ заказной работы больше не имѣлъ. Впрочемъ это не совсѣмъ вѣрно: разъ артель художниковъ доставила мнѣ работы еще на двадцать-пять рублей,—вотъ и все. Чтобы поддерживать свое существованіе, было меньше, чѣмъ недостаточно.

Тутъ память немного измѣняетъ мнѣ. Я долженъ предупредить: въ этихъ запискахъ нѣтъ законченныхъ типовъ и эпизодовъ. Я описываю не чужую жизнь, а свою; пишу то, чтѣо удѣлало въ моей памяти; къ сожалѣнію, она похожа на желѣзный листъ, покрытый пятнами ржавчины. Передаю тебѣ все, чтѣо помню, безъ реставраціи.

Помнится мнѣ, что по цѣлымъ днямъ я бродилъ по музеямъ; это питало мое чувство и развивало не руки, а меня самого. Я былъ уже въ состояніи различать не только черное отъ бѣлаго, но и сѣрое отъ чернаго. Сталъ понимать, что въ искусствѣ есть двоякая красота: физическая и душевная; насколько первая принадлежитъ декоративному искусству, настолько вторая свойственна духовному. Понялъ, что между душевной красотой и добромъ есть близкое сродство. Сталъ смотрѣть на античное искусство болѣе сознательно, любовался его величавымъ спокойствіемъ, простотою, пластическою шириною—однимъ словомъ, всѣмъ его вѣнчившимъ совершенствомъ; но я любовался всѣмъ этимъ только

глазами, я не могъ испытать того духовнаго наслажденія, которое греки испытывали, и не могъ просто потому, что это были ихъ идеалы, ихъ боги, а не мои.

Не помню, какъ зародился у меня проектъ „Нападенія инквизиціи на евреевъ во время Пасхи“. Не помню также, когда именно, по всей вѣроятности, въ началѣ весны; въ эту пору творчество всегда пробуждается во мнѣ, какъ въ природѣ жизнь. Первый, кому я сообщилъ объ этомъ, былъ Рѣпинъ; ему очень понравилось, и я принялся за дѣло съ особеннымъ рвеніемъ. Сколько времени проработалъ, опять не помню; но, кажется, долго. Я жилъ тогда одинъ и работалъ свой эскизъ дома изъ глины, въ огромныхъ размѣрахъ, аршина въ три длиною; комната оказалась мала и тѣсна, было неудобно и грязно. Но чтѣ все это значило въ сравненіи съ тѣми наслажденіями, какія я тогда испыталъ! Жаль, что ты не видѣлъ самого эскиза. Сюжетъ взятъ изъ еврейско-испанской исторіи среднихъ вѣковъ, когда евреи и мавры были изгнаны. Многіе евреи приняли тогда христіанство. Но только для виду, а въ душѣ оставались тѣмъ, чѣмъ были прежде. Ихъ звали: „мараны“ и за ними особенно присматривали, но вѣра сильна. Вотъ, гдѣ-то въ подвалѣ, они собрались праздновать Пасху. Для нихъ, чувствовавшихъ себя несвободными, этотъ праздникъ имѣлъ еще особенное значеніе: онъ напоминалъ объ исходѣ евреевъ изъ Египта... Праздникъ начинается вечеромъ; трапеза убирается богато по возможности; на столъ ставятся, кромѣ богатой посуды, еще и всякія символическія яства, а главное — сушоновая лепешка, „маца“, приготовленная изъ прѣснаго тѣста на водѣ безъ соли. Это напоминаетъ поспѣшный выходъ изъ Египта, когда были принуждены брать съ собою незаквашенное тѣсто и потомъ печь его на солнцѣ. Около трапезы, конечно, на самомъ видномъ мѣстѣ, устроено для хозяина дома сидѣнье, обложенное подушками. Хозяинъ сидитъ опершись — символъ, что онъ свободенъ, что онъ больше не рабъ. Передъ нимъ на столѣ блюдо, гдѣ лежитъ „маца“; оно покрыто чистѣйшею и затѣйливѣйшею матеріею, какая только есть въ домѣ. Хозяинъ встаетъ, высоко поднимаетъ блюдо и торжественно произноситъ: „Вотъ бѣдный хлѣбъ, который ѣли наши предки при выходѣ изъ Египта; теперь кто хочетъ, пусть придетъ; кто голоденъ, пусть насытится; тогда мы были проданными, теперь имѣемъ надежду, а въ будущемъ году станемъ дѣтьми свободы!“ Затѣмъ онъ опять садится, и начинаются рассказы объ освобожденіи израильтянъ — рассказы, полные легендарности и чудесъ. Начинается трапеза: ѣдятъ, пьютъ и поютъ псалмы. Но въ это время слышится шумъ, бряцаніе оружія... Всѣ пугаются, поднимается суматоха, паника... Столъ,

скамейки, посуда,—все опрокинуто... Бѣгутъ прятаться, хотятъ спастись, но уже поздно: инквизиція, лютой, безопадный врагъ, уже здѣсь... Въ этомъ эскизѣ мнѣ хотѣлось показать цѣлый рядъ еврейскихъ типовъ, выработанныхъ историческимъ ходомъ событій; но главное, показать это въ скульптурѣ по своему, до сихъ поръ еще небывалымъ образомъ. Представъ себѣ уголъ комнаты, образуемой двумя стѣнами. У одной поставленъ длинный столъ, гдѣ кругомъ сидѣли евреи; дальше—наглухо закрытая дверь, и около нея всѣ скучились въ минуту паники. У другой стѣны огромная арка, а за аркой видна витая лѣстница, отсюда спускается инквизиторъ со своими стражами. Стѣна, въ которой примыкаетъ лѣстница, имѣетъ окно, освѣщающее всю внутреннюю обстановку. Стоитъ только поставить эскизъ этимъ бокомъ къ свѣту, и вся сцена освѣщается черезъ окно барельефа. Какъ бы тамъ ни было, но я радовался этой работѣ чисто по-ребячески. Особенно памятенъ остался мнѣ вечеръ наканунѣ экзамена. Я тогда былъ въ возбужденномъ состояніи, сердце сильно билось; я чувствовалъ.... нѣтъ, не могу описать, что именно тогда чувствовалъ — что-то странное, неопредѣленное; долго лежалъ въ постели, но не могъ заснуть: то съживался въ комокъ, то потиралъ руки, по которымъ пробѣгала нервная дрожь, то поворачивался на спину и вытягивался во весь ростъ, то бросался изъ стороны въ сторону.

Преобладающимъ чувствомъ была радость: мнѣ казалось, что я что-то открылъ, чуть не Америку... Вдругъ какъ-то неловко повернулся, зацѣпилъ столикъ, стоявшій возлѣ — свѣча, книга, графинъ съ шумомъ и трескомъ полетѣли на полъ, столикъ за ними... Переполохъ вышелъ не малый и разбудилъ моего сосѣда. Самъ я растерялся и началъ отыскивать не спички, а то, что упало. Въ концѣ концовъ, выругалъ себя хорошенько, какъ за свою ребяческую радость, такъ и за неловкость, закутался въ одеяло, повернулся лицомъ къ стѣнѣ и постарался заснуть. Спалъ, однако, плохо и всталъ раньше, нежели натурщикъ пришелъ брать мою работу, чтобы отнести ее въ академію.

Не люблю я вставать зимою. Встаешь въ потьмахъ—свѣча горитъ дрожащимъ краснымъ пламенемъ; свѣтъ этотъ рѣжетъ заспанные глаза и заставляетъ щуриться; подальше отъ свѣчи—мракъ; окна смотрятъ въ комнату какими-то огромными черными патнами. Это не вечерній комфортабельный свѣтъ, а какое-то принужденное, временное, скоро-проходящее освѣщеніе... Въ домѣ холодно...

Пришелъ Иванъ, заспанный, хриплый, что называется, на-тощахъ... Я скоро одѣлся, мы взяли эскизъ на плечи и понесли

его, тихо, осторожно спускаясь съ лѣстницы, стараясь никого не разбудить. Перешли улицу. Около академіи сторожъ уже очищалъ свѣтъ. Вошли въ зданіе. Утренняя темнота показалась мнѣ здѣсь даже страшна, въ особенности когда сторожъ подошелъ, брянча ключами и неся въ рукахъ фонарь; мерцающій свѣтъ падалъ на гипсовыя статуи, разставленныя тутъ повсюду; при каждомъ поворотѣ фонаря бѣлая статуя, какъ тѣнь, выступала изъ глубины мрака и опять исчезала, и вмѣсто нея въ другомъ углу выступала другая и такъ же исчезала. Я зналъ, что это не тѣни, зналъ, гдѣ каждая статуя стоитъ, зналъ даже каждую статую, такъ сказать, наизусть, и все-таки послѣ плохо-проведенной ночи было непріятно смотрѣть. Пока мы установили эскизъ и устроили для него особенный боковой свѣтъ, трубы противоположныхъ домовъ стали видны—показалась заря, и скоро совсѣмъ разсвѣло. Кончивъ все, я пошелъ домой, легъ и крѣпко заснулъ... Проснувшись, я не всталъ, а вскочилъ и побѣжалъ въ академію. Былъ уже 11-й часъ, и экзаменъ кончился. Волненіе мое было сильно. Я встрѣтилъ сторожа, но онъ не торопился подойти ко мнѣ поздравить, чтобы получить на чай, какъ они всегда дѣлали. Я смутился и быстрыми шагами вошелъ въ экзаменаціонный классъ. Около моего эскиза стояла масса народа, и звонкій, юный, беззащитный хохотъ обдалъ меня. Хохотали и остряли по поводу выставленнаго мною эскиза. На меня смотрѣли кто съ сожалѣніемъ, кто съ досадою, кто злорадно; иные просто такъ смѣялись, потому что было весело. Одни находили, что мой эскизъ—дерзость; другіе видѣли въ немъ упадокъ; третьи говорили, что это фантазія, бредъ больного человѣка. Въ особенности потѣшались архитекторы. Они считали себя особенно избранными и не очень охотно братались съ живописцами; по крайней мѣрѣ въ нашемъ кружкѣ ихъ не было. — Ну, вотъ, — началъ одинъ скульпторъ, подойдя ко мнѣ, — вамъ бы сдѣлать тамъ дверь, а за нею еще комнату, а тамъ еще и еще, и въ послѣдней сѣсть и распивать чай. — „А вапа голая вакханка, стоящая на морозѣ въ двадцать-пять градусовъ, болѣе логична? — отвѣтилъ я ему съ сердцемъ: — вы рабы, жалкіе подражатели, работники, ничтожество!“ ... То ли, что онъ не ждалъ отъ меня подобнаго отвѣта, то ли, что выраженіе моего лица уже особенно поразило его, но онъ ничего больше не сказалъ. Я бросился домой, но дома не сидѣлось; побѣжалъ обратно въ академію. Я чувствовалъ себя, какъ долженъ чувствовать маленькій, слабый звѣрокъ, почувшій, что попалъ въ опасное мѣсто. Въ академіи искали меня отъ имени инспектора. Инспекторъ встрѣтилъ приблизительно слѣдующую фразу: — А, вотъ хорошо, что вы пришли; мнѣ поручено

сказать вамъ, любезный"... И пошелъ читать нотацію, то ласково, отеческимъ тономъ, то грозно... И нужно отдать ему справедливость, онъ исполнилъ порученіе очень добросовѣстно; говорилъ съ сердцемъ, искренно, но далеко не основательно. Говорилъ онъ долго; смыслъ его рѣчи былъ приблизительно слѣдующій: что я упрямъ, что я все хочу дѣлать по своему, что не слушаюсь профессоровъ (это было совсѣмъ неправда), и если не хочу слушаться, то зачѣмъ я въ академіи?.. и т. д., и т. д. Я стоялъ съ опущенною головою и молчалъ. — Знаю, — заключилъ онъ свою пламенную рѣчь: — вы упрямы, вы не послушаете меня... У меня невольно вырвались слова: — „Да, дѣйствительно такъ“. Онъ замолчалъ, удивленно посмотрѣлъ на меня и махнулъ рукою, какъ будто хотѣлъ сказать: — Не стоитъ и времени на тебя терять. — Я ушелъ.

Единственный, кто меня поддерживалъ, былъ Рѣпинъ, но я и безъ него не упалъ бы духомъ. Мои нервы напрягались, какъ парусъ противъ вѣтра; я несся впередъ, отстаивалъ свои убѣжденія, свою работу, насколько могъ: — Докажите, — говорилъ я, — что это не художественно, что это не эстетично... Я ссылался на двери Гиберти во Флоренціи, на другихъ средневѣковыхъ скульпторовъ. Почему Микель-Анджело называлъ эти двери „дверьми рая“? Потому, что онъ былъ гениальный художникъ съ великою душою, видящій достоинства и у другихъ; онъ былъ безпристрастенъ во всемъ, и это возвысило его, а не уронило. Только посредственные художники узки, фанатичны, не терпятъ ничего, кромѣ своего собственнаго; они все мѣряютъ на свой аршинъ, отстраняютъ все, что не подходитъ подъ ихъ мѣрку, и все новое называютъ ересью. Но всѣ мои убѣжденія оставались тщетными. Еще у одного человѣка нашелъ я оправданіе, а именно, у М. В. Прахова, и мнѣ этого было достаточно. Увидавъ мою работу, онъ, послѣ продолжительнаго осмотра, положилъ мнѣ руку на плечо и сказалъ внушительно: — М. М., все хорошо, что хорошо. Не законы создаютъ гениевъ, а гении — законы. Художникъ долженъ развиваться во всѣхъ отношеніяхъ и все-таки дѣлать то, что душа ему велитъ.

На вечернемъ рисованіи я встрѣчалъ моего любимаго профессора Реймерса. — Ну, что подѣлываете? спросилъ онъ у меня однажды. — „Ничего“, отвѣчалъ я и сталъ ему говорить объ эскизѣ. — Успѣете, — перебилъ онъ меня: — надо хорошенько еще подучиться. — Я былъ вполне согласенъ, что и выразилъ. — „Но за что мнѣ нотацію читали?“ — Кто? — „Инспекторъ“. — Вашъ эскизъ велѣно отливать изъ гипса, — сказалъ онъ, точно съ досадой. „Объ этомъ мнѣ ничего не говорили“, отвѣчалъ я. Онъ махнулъ

рукою и ушелъ; я остался въ недоумѣніи. Отойдя нѣсколько шаговъ, онъ опять вернулся ко мнѣ и заговорилъ по-дружески совершенно о другомъ; мнѣ показалось, что онъ этимъ хотѣлъ сказать: „Не на тебя я сердить, а досажую на другихъ“. Такъ я и до сихъ поръ думаю.

Въ нашемъ маленькомъ академическомъ мірѣ, среди товарищей, я сдѣлался предметомъ разговора; говорили за и противъ. Послѣдняго всегда бываетъ больше—уже такъ человѣкъ устроенъ. Какъ бы то ни было, но мое положеніе въ академіи стало странное, неопредѣленное. И радъ былъ бы оставить ее, но какъ? Неужто такъ, ничѣмъ? Разъ одинъ профессоръ сказалъ мнѣ, что мнѣ большаго и желать нечего. Можетъ быть, въ этомъ былъ комплиментъ, но я, при данныхъ обстоятельствахъ, принялъ это совсѣмъ иначе, какъ бы за подтвержденіе словъ инспектора. Бъ счастью, скоро настали каникулы и я былъ очень радъ уѣхать, чтобъ отдохнуть и забыться; взялъ, однако, съ собою эскизъ „Нападеніе инквизиціи на евреевъ“; мнѣ хотѣлось кое-что передѣлать въ немъ, но не успѣлъ и оставилъ его у своихъ родителей. Лѣто прожилъ недалеко за городомъ съ однимъ моимъ большимъ пріятелемъ, сдѣлалъ два еврейскіе типа для сюжета: „Споръ о талмудѣ“, и затѣмъ возвратился въ Петербургъ.

Тутъ память снова измѣняетъ мнѣ, и я долженъ напрягать ее, чтобы припомнить. По всей вѣроятности, ничего особеннаго не случилось тогда со мною. Говорятъ, что исторія челоѣка незамѣтна въ двухъ случаяхъ: когда онъ спитъ и когда онъ счастливъ; но это не совсѣмъ подходитъ ко мнѣ. Я спалъ, конечно, не больше другихъ, но не былъ и счастливъ настолько, чтобы не замѣчать часовъ. Сколько помню, эта зима была для меня чѣмъ-то выжидательнымъ. Скульптурный классъ я мало посѣщалъ, и то больше рисовалъ, чѣмъ лѣпилъ, или, лучше сказать, я почти совсѣмъ не лѣпилъ, всего сдѣлалъ одинъ барельефъ, круглыхъ же статуй ни одной; однако это не мѣшало мнѣ держаться въ натурномъ классѣ на извѣстной высотѣ. Почему я не лѣпилъ? мнѣ трудно даже самому отвѣтить; могу только сказать, что я силился, заставлялъ себя, и ничего изъ этого не выходило. Бывало, придешь, возьмешь глину, станешь около гипсовой статуи... но вѣдь она мнѣ такъ знакома, я знаю наизусть каждый ея мускулъ, каждый изгибъ. Въ моемъ воображеніи она стоитъ цѣликомъ; вотъ закрою глаза, захочу увидѣть ту или другую статую, и ее именно увижу въ своемъ воображеніи. Чего отъ меня хотять? Чтѣ я долженъ передавать отъ себя, какъ не знаніе, какъ не усвоенное? Развѣ я ихъ не знаю, развѣ не доказалъ этого въ своихъ этюдахъ? Конечно, я еще не художникъ, я еще уче-

никъ, мнѣ надо еще учиться. Но вѣдь я учусь, не только руками, но всею душою. Что изъ того, что не дѣлаю все то, что другіе дѣлаютъ?—вѣдь результаты не страдаютъ. Зачѣмъ не хотѣть принимать меня такъ, какъ я есть? Зачѣмъ заставляютъ насъ всѣхъ идти общимъ маршемъ? Зачѣмъ не хотѣть знать, что каждый человѣкъ есть новость на свѣтѣ, и что это въ особенности справедливо по отношенію къ художнику, который долженъ дорожить своею индивидуальностью? Въ академію приѣзжаютъ отовсюду; каждый приноситъ съ собой свой особенный складъ чувствъ и мыслей; зачѣмъ академія такъ тщательно старается сгладить все это? Пускай учатъ въ академіи всему, что необходимо знать художнику, но пусть не забываютъ, что въ искусствѣ больше, чѣмъ гдѣ-либо, необходимо разнообразіе, а не однообразіе.

Послѣ неудачи съ эскизомъ „Нападеніе инквизиціи на евреевъ“, я еще болѣе сталъ углубляться въ значеніе искусства, и чѣмъ болѣе искалъ его, тѣмъ болѣе дорожилъ своими инстинктами; я вѣрилъ въ свое чувство, и потому старался развить его, сдѣлать болѣе чуткимъ, болѣе воспримчивымъ. Впрочемъ этимъ я былъ обязанъ не себѣ одному, а также и М. В. Прахову, который именно „орошалъ“ мое чувство и развивалъ его постоянными чтеніями изъ лучшей художественной литературы; его бесѣды были просты и ясны; благодаря ему, я понималъ красоту, ея смыслъ и значеніе, а главное, понималъ высокое значеніе искусства, его силу, умѣющую увлекать человѣка, настраивать его именно въ тонъ тѣхъ аккордовъ, подъ впечатлѣніемъ которыхъ искусство находится въ данный моментъ. Я съ большимъ рвеніемъ бѣгалъ по музеямъ и уже сознательно любовался тѣмъ, что меня притягивало.

Въ концѣ зимы случился небольшой эпизодъ, въ сущности незначительный, но имѣвшій для насъ свой особенный смыслъ. Былъ поздній вечеръ; мы съ Рѣпинымъ сидѣли за столомъ другъ противъ друга; между нами горѣла керосиновая лампа съ бумажнымъ абажуромъ; мы оба были погружены въ свои занятія: онъ, опершись локтями на столъ и поддерживая ладонями голову, не сводилъ глазъ съ нѣмецкой грамматики; я же писалъ, какъ сейчасъ пишу... къ счастью для моего самолюбія, изъ тогдашнихъ писаній моихъ ничего не уцѣлѣло. Кругомъ насъ царствовала полная тишина, точно нарочно устроенная для нашихъ занятій; только и слышенъ былъ шорохъ моего пера, двигавшагося по бумагѣ. Вдругъ гдѣ-то вдали заиграла итальянская шарманка; жалобно-дрожащіе звуки кого-то умоляли, просили... Странно, что именно эти звуки пробудили насъ обо-

ихъ точно толчкомъ; мгновенно мы оба подняли голову, посмотрѣли другъ на друга и побѣжали открыть форточку: легкій вечерній холодокъ обдалъ наши воспаленныя лица—то былъ первый привѣтъ весны; мы вдыхали эту свѣжесть полною грудью. Звуки стали долетать до насъ яснѣе; мы притаили дыханіе и слушали ихъ, пока они не замерли вдали... Опять посмотрѣли мы другъ на друга, и кто-то изъ насъ произнесъ:—„Вотъ и искусство“. Захлопнувъ форточку, ушли спать, не говоря другъ другу больше ни слова, какъ будто боясь выронить то, что запало въ наши души.

Въ эту зиму я испыталъ горе: умеръ мой любимый профессоръ Реймерсъ. Онъ былъ давно нездоровъ—чѣмъ, не знаю. Онъ умеръ для меня неожиданно. Я сильно чувствовалъ эту потерю—гораздо сильнѣе, чѣмъ радость, когда нашелъ его. Въ памяти у меня осталась печальная картина. Послѣ вечерняго класса мы всѣ пошли на выносъ тѣла. Посреди комнаты, на возвышеніи, стоялъ черный гробъ, обставленный зеленью; восковыя свѣчи горѣли печально, тускло; народу было много, но всѣ слились для меня въ одну массу; сквозь дымъ виднѣлись кое-гдѣ блѣдныя лица, блистали ордена и звѣзды. Черная женская фигура какъ подошла къ гробу, тавъ и упала, и громко, горько зарыдала—то была жена Реймерса. Всѣ съ грустью опустили голову; сердце защемило навѣрно не у меня одного. Подняли женщину, убитую горемъ, закрыли гробъ крышкою, и мы, молодежь, понесли его на рукахъ въ церковь, гдѣ простояли долго, чего-то ожидая; наконецъ инспекторъ обратился къ намъ и сказалъ дрожащимъ голосомъ: „Господа, любимый вашъ профессоръ не встанетъ“... Мы молча разошлись. На-завтра, на рукахъ понесли мы его на кладбище... Не стану, мой другъ, описывать тебѣ всѣхъ подробностей погребенія—все это такая старая исторія, хотя она для каждаго изъ насъ „такъ нова“. Прибавлю только, что послѣ всего на кладбищѣ устроили трапезу. Мы всѣ были голодные и усталые, однако же и не думали заходить туда; но въ это время подошелъ къ намъ художникъ Келлеръ, повидному другъ покойника, и сказалъ: „Господа, Реймерсъ никогда никому не отказывалъ въ живни—зайдите!“ Это было лучшее надгробное слово.—Миръ этому доброму человѣку и профессору!

М. Антокольскій.



СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА ВОРОНЦОВЫХЪ

Окончаніе.

IV ¹⁾.

Всѣ эти данныя, проливающія свѣтъ на отношенія Завадовскаго къ Воронцовымъ, даютъ намъ высокое понятіе о его характерѣ. Едва ли у Семена Романовича былъ болѣе искренній другъ, чѣмъ Завадовскій. И своими способностями, и образованіемъ, Завадовскій былъ достоинъ уваженія и любви Воронцовыхъ. Они могли цѣнить въ немъ и друга, и товарища по службѣ, достойнаго, честнаго труженика; къ тому же Завадовскій, несмотря на блестящій успѣхъ внѣшней карьеры и на богатство, не находился въ особенно благопріятныхъ обстоятельствахъ. Семейныя обстоятельства его были далеко не удовлетворительными. Бракъ его на Вѣрѣ Николаевнѣ, урожденной Апраксиной, одной изъ первыхъ красавицъ того времени, былъ несчастливъ. Онъ самъ почти никогда не жаловался на жену. Изъ-за нея ему приходилось жить въ Петербургѣ, между тѣмъ какъ онъ предпочелъ бы пребываніе въ имѣніи. „Не своимъ хотѣніемъ, а молодости жены приношу въ жертву претяжкое терпѣніе“, писалъ онъ однажды, жалуясь на свое положеніе. Изъ другихъ источниковъ мы знаемъ, что прав-

¹⁾ См. выше: авг., 637 стр.

ственность жены Завадовскаго подлежала сомнѣнію. Между супругами иногда бывали минуты разлада. Изъ двухъ сохранившихся и напечатанныхъ въ той же коллекціи писемъ графини Завадовской къ Семену Романовичу, писанныхъ въ 1800 и 1801 году (XII, 313—315), видно, что жена Завадовскаго была недовольна мужемъ, жаловалась на него, просила, такъ сказать, заступничества Семена Романовича, и пр.

Многія письма Завадовскаго писаны въ печальномъ расположеніи духа. Въ 1786 г. умеръ его братъ, и онъ писалъ Семену Романовичу подробно о своемъ горѣ. Въ другихъ письмахъ—горькія жалобы на потерю дѣтей, умиравшихъ въ младенчествѣ одинъ за другимъ. „Я позналъ,—говорить онъ въ одномъ письмѣ,—какова радость, какова печаль отъ дѣтей: пятерыхъ погребъ; одна дочь шестимѣсячная остается, которая не ободреніе, а болѣе трепеть сердцу наводитъ. Толико я несчастливый отецъ“ и пр. (стр. 97). Сдѣлавшись графомъ „Римской Имперіи“ именно въ это время, Завадовскій писалъ: „Сынъ мой не дожилъ до сего титула, послѣ года и восьми мѣсяцевъ умеръ отъ зубовъ, ...и такъ, суетность сія меня ничуть не радуетъ“ и пр. (стр. 102).

Этому меланхолическому настроенію Завадовскаго соотвѣтствовала его страсть къ книгамъ. Въ 1794 году онъ писалъ между прочимъ Александру Романовичу Воронцову: „Не удивляюсь, что тысячи книгъ ты прочелъ; чѣмъ больше читаешь, больше хочется читать. Жить въ библіотекѣ тоже, что страдать водяною болѣзнію, въ которой питьемъ нельзя утолить жажды. Пресладкое упражненіе! Я тебя завидую, что читаемое остается въ твоей памяти. Меня природа не снабдила такимъ даромъ: хотя читаю и много на всякъ день, но прочтенное въ головѣ не остается твердо“ (стр. 130). Въ другомъ письмѣ, 1798 года, сказано: „Во всю жизнь я не отставалъ отъ чтенія, а теперь въ ономъ вся моя забава, и единственная по сердцу. Привычку же всегдашнюю имѣлъ читать больше по ночамъ, и до того, что безъ книги не могу уснуть. Теряю много, что твоя библіотека не подъ бокомъ у меня. Въ несчастное время, годъ не выходя изъ комнаты, прочелъ цѣлую библіотеку, даже лексиконы Морерія и Белевъ (Pierre Bayle), которыхъ никто не читаетъ. Вотъ до чего приводитъ насъ тяжкая скука! Гибонъ мнѣ извѣстенъ. Не считай меня несообразующимъ прошедшаго съ настоящимъ. Постигаю ли я твои здравыя мысли? Время то подымаетъ, то опускаетъ завѣсу, и отъ того только получаемъ неединообразный видъ дѣяній человѣческихъ“ (стр. 196). Во время опалы находясь въ ссылкѣ,

т.-е. живя въ имѣніи Ляличи, Завадовскій (въ 1800 году) писалъ однажды Александру Романовичу: „Прежде я любилъ заниматься древностію латинскою; напоследокъ, авторы французскіе умомъ и пріятностію своего языка нечувствительно къ себѣ привазили. Безъ напряженія головы можно въ нихъ сосать просвѣщеніе, а въ латинскую мертвую литературу надобно рыться нахмуреннымъ челомъ. Преемники наукъ, отъ народа въ народъ, всегда дѣлаютъ шагъ дагѣе противъ тѣхъ, отъ коихъ заимствовали оныя“ (стр. 252).

Какъ видно, Завадовскій отличался широкою эрудиціею. Нерѣдко въ его письмахъ встрѣчаются латинскія поговорки, ссылки на древнихъ классиковъ: то онъ упоминаетъ о Плутархѣ, то онъ, въ концѣ одного изъ своихъ писемъ къ Александру Романовичу, замѣчаетъ, что письмо „не короче Сенекиныхъ“, и т. п. Весьма рельефно рисуютъ его научныя воззрѣнія, его вкусъ и наклонности слѣдующія замѣчанія въ письмѣ къ Александру Романовичу Воронцову, отъ 20-го ноября 1800 года: „Рекомендуешь мнѣ чтеніе, отъ котораго я не только не отстаю, но еще больше чѣмъ когда-нибудь прилѣпляюсь къ оному въ теперешнемъ моемъ уединеніи. Съ Плутархомъ я знакомъ отъ юности въ переводѣ латинскомъ. Изображеніемъ вещей восхищаетъ вниманіе. Кисть его всегда прелестна, а не всегда правдива. Нерѣдко, отходя отъ простой истины, предпочиталъ оной блистательныя басни, которымъ могъ дать свой удивительный покровъ. Светонъ, нѣсколько предшествовавшій ему и отъ котораго заимствованъ, сколько малъ противъ величайшихъ дарованій Плутарха, столько вѣрнѣйшій писатель. Ежели не всѣ, то однакоже многія пробѣжалъ я наши исторіи и лѣтописи. Хаосъ неочищенный отъ лжи и невѣжества. Стоять одни имена и числа, а прочее все завалено грубымъ слоємъ. Отъ глагола въ глаголу, а потомъ изъ книги въ книгу переходили повѣсти, ни разсудительностію, ни явными удостовѣреніями не утвержденныя. Пипущимъ монахамъ не спорили монастырскія стѣны, а міръ легковѣрный, потому что не просвѣщенный, всякую всячину принималъ за истину, яко исходящую отъ святыхъ. Симъ образомъ, я полагаю, составила исторія нашей древности, на которую по пустому устремляемъ наше любопытство. Несторъ первый поступилъ во тьму необъятную, но его факель освѣтилъ ли весь нашъ горизонтъ? Въ безднѣ дикихъ народовъ, препиравшихся между собою, едва виденъ Россъ. Всю полосу до царства Іоанна Васильевича должно откинуть *in loca imaginaria*, каковы полагались, прежде чѣмъ

знали физику, за предѣлами земной сферы. Но и сія эпоха перемѣшана подобнымъ мракомъ, каковымъ объаты широкіе напуски отъ Китая, отъ Чингисхана и отъ вѣрующихъ въ Магомета. Поэтому исторія наша всегда будетъ для читателя скучна, ежели черпать оную хотимъ глубже, а не отъ временъ Петра Великаго. Для просвѣщающагося вѣка пріятнѣе повѣсть отъ начала просвѣщенія и отъ имени виновника онаго. Голикова записки я читалъ о семъ царствованіи. Исторію Татищева довольно знаю. Изъ нашихъ писателей у которыхъ, проходя томы, едва встрѣчается строка мыслящаго автора, а не рассказы, онъ лучшій. Но онъ, голоденъ будучи за своимъ столомъ, искалъ пищи себѣ въ архивахъ цареградской, польской и шведской. Набитый желудокъ не все сварилъ порядочно. Потому отдаетъ запахомъ гнилымъ хронологія его и родословныя деревья, на коихъ сченилъ иностранные прививки, по своей теплой вѣрѣ. Когда ты занимаешься Плутархомъ, то сравни умъ и силу его изображеній противъ святыхъ и мірскихъ нашихъ писателей, и увидишь всю жалкую бѣдность сихъ послѣднихъ. По моему мнѣнію, исторія та только пріятна и полезна, которую или философы, или политики писали. Но еще наши науки и нашъ языкъ не достигли до того, то и лутче пользоваться чужимъ хлѣбомъ, чѣмъ грызть свои сухари со ржавчиною. Когда пріѣдешь въ Москву, пришли мнѣ каталогъ продажныхъ французскихъ книгъ. Зрѣніе еще мнѣ служить. Къ очкамъ не могу себя пріучить; равнымъ образомъ и ко вниманію, когда другой читаетъ. Къ послѣднему удобно привыкають имѣющіе хорошую память, а ты вѣдаешь, сколь слаба моя“ (стр. 254—256).

О серьезныхъ занятіяхъ исторіею свидѣлствуютъ и другія замѣчанія Завадовскаго въ письмѣ отъ 21-го января 1801 года. Очевидно, Александръ Романовичъ писалъ ему объ историческихъ трудахъ разныхъ современныхъ писателей, между прочимъ и о Штритерѣ, издавшемъ въ 1771—1779 гг. сочиненіе „*Memorias populogium*“, въ которомъ заключался сборникъ разныхъ данныхъ изъ византійскихъ писателей о славянахъ и другихъ народахъ. На это отвѣчалъ Завадовскій: „Съ Штритеромъ я былъ въ перепискѣ. Онъ свѣдуецъ въ нашей древности, но въ томъ сомнѣваюсь, чтобъ и его сочиненіе просвѣтило оную, наипаче когда опускается въ глубину. Всѣ исторіи равны будутъ одна другой, естли захотимъ набивать нашу память токмо бытіями. Тысяча обстоятельствъ, коимъ внимали современники, теряются въ глазахъ потомства, замѣчающаго токмо великія происшествія, что

утвердили судьбу государствъ. Голосъ исторіи не должно спускать на тоны скучныхъ мелочей. Править онымъ можетъ къ притяженію нашего любопытства едино то, что заслуживаетъ вниманіе всѣхъ временъ, изображаетъ дарованіе и нравы людей, въ примѣры и къ наставленію будущихъ родовъ. Посему желаю увидѣть въ новомъ сочиненіи историка мыслящаго и, что еще рѣже, со вкусомъ, чего не имѣлъ трудолюбивый князь Щербатовъ ¹⁾: написалъ премного, чтобы не читали. Мое мнѣніе привязано къ эпохѣ Петра Великаго, потому что отъ времени царствованія его Россія непрерывно восходитъ въ гору. Не оспариваю важности предыдущихъ тому происшествій, что царь Іоаннъ, при ослабленіи чингизскаго поколѣнія, овладѣлъ Казанью, нанесъ ударъ шведамъ и литовцамъ. Занятіе Сибири, присоединеніе Малороссіи суть значущія дѣла. Но вспомни, какъ вверхъ дномъ обращалось, и до какихъ бѣдъ въ свою очередь шведы и поляки властвовали. А по двумъ послѣднимъ случаямъ мало пиши для историковъ, а больше для географовъ. Писателю просвѣщенному довольно было бы одной страницы, чтобы наши всѣ матеріалы на времена до Петра Перваго вмѣстить въ оную. Но еще не перевелись, и не такъ скоро прейдутъ любители книгъ за толщину оныхъ. Впрочемъ, древнія начала всѣхъ государствъ суть темная ночь, которую я просыпаю безъ сказокъ и безъ сновидѣній, убѣдившись въ томъ всемірною исторіею“.

Въ этихъ мысляхъ Завадовскаго замѣтно одновременное вліяніе латинскихъ классиковъ и французскихъ писателей литературы просвѣщенія. Эпоха французской революціи была временемъ протеста противъ средневѣковой исторіи. Страсть къ занятіямъ послѣднею развивается нѣсколько позже въ связи съ борьбою противъ французской революціи и Наполеона. Завадовскій, не дожившій до этой эпохи реакціи въ области политики, церкви, литературы, искусства, былъ нѣкоторымъ образомъ космополитомъ; національное значеніе историографіи для него какъ бы не существовало. Между тѣмъ какъ впоследствии, и даже очень скоро послѣ кончины Завадовскаго, между прочимъ, Карамзинъ сдѣлался сторонникомъ національнаго начала въ исторіи, и потому не безусловно одобрялъ эпоху реформы Петра Великаго, представители вѣка просвѣщенія и космополитизма, какъ, напр., С. Р. Воронцовъ или Завадовскій, ставили чрезвычайно высоко дѣятельность царя-преобразователя. Современники Екатерины, при чтеніи сочиненія Голикова о Петрѣ

¹⁾ „Исторія Россіи“ князя Щербатова, въ пяти томахъ, явилась въ 1770—92 гг.

Великомъ, восхищались подвигами послѣдняго и не считали особенно достойною вниманія исторію Россіи до эпохи реформъ.

Какъ кажется, Завадовскій охотнѣе занимался историческою литературою, чѣмъ другими науками или беллетристикою. Онъ не восхищался произведеніями искусства. Онъ рѣзко осуждалъ Безбородко за его страсть къ картинамъ. Въ міросозерцаніи его преобладалъ нѣкоторый пессимизмъ; въ его расположеніи духа слышно нѣсколько элегическое настроеніе. Веселости, свѣжести въ его письмахъ мы нигдѣ не встрѣчаемъ. Въ нихъ нѣтъ порывовъ воодушевленія. Даже эпоха преобразованій въ началѣ царствованія императора Александра I не породила въ немъ надежды на будущее. Правда, преклонныя лѣта, болѣзни, разныя несчастія или невзгоды въ семейномъ быту довольно рано надломили силы этого замѣчательнаго человѣка. Особенно мрачнымъ настроеніемъ онъ отличался въ послѣднее время царствованія Павла. Царедворецъ и сановникъ, вдругъ удаленный отъ двора, долженъ былъ жить въ деревенскомъ уединеніи. При всей наклонности къ жизни отшельника-философа, будто бы презиравшаго суету мірскую, Завадовскій, если не ошибаемся, неохотно видѣлъ себя лишеннымъ обыкновенной и болѣе или менѣе многосложной дѣятельности въ круговоротѣ столичной жизни. Отсюда понятны нѣкоторые отрывы его о дѣлахъ, о людяхъ и о себѣ. Вотъ образчикъ такого пессимизма. Въ апрѣлѣ 1799 года онъ писалъ къ Семену Романовичу: „Скажешь: послѣ Пизагора, Платона, послѣ Александра и Юлія Цесаря, были же философы и вожди, не спору. Подобаешь въ томъ и наша пословица: не святые горшки лѣпятъ; однакожъ Ломоносовъ другой не скоро появляется. Видно, наша нива, чтобъ рѣдкое родить, отдыхаетъ долго. Чтѣ до меня, мой другъ, то мало-по-малу, или разставшись, или потерявши всѣхъ милыхъ людей, остаюсь одинъ какъ палецъ и въ новомъ кругу вижу себя совершенно лишимъ. Подавляюсь грустью и уныніемъ и сильно желаю унести мои кости, чтобъ не были зарыты въ оградѣ Невской. Отъ чувствъ печальныхъ имѣешь мою бесѣду: о другомъ ни о чемъ въ сіе время не въ состояніи писать“.

Извѣстно, что и въ концѣ царствованія Екатерины, и во время Павла, Завадовскаго постигла невзгода быть впутаннымъ въ слѣдствіе о разныхъ злоупотребленіяхъ, происходившихъ въ банкѣ, директоромъ котораго онъ былъ. Нѣтъ сомнѣнія, что самъ онъ нисколько не былъ причастенъ къ этимъ дѣламъ. Однако на немъ лежала отвѣтственность за неблаговидные поступки подчиненныхъ ему лицъ. Его можно было обвинять въ

нерадѣннѣ, въ недостаточномъ контролѣ надъ служащими въ банкѣ. Изъ разныхъ источниковъ мы знаемъ, какъ сильно на Завадовскаго подѣйствовали эти печальные эпизоды. Онъ самъ неоднократно писалъ къ Воронцовымъ о своемъ несчастіи и горько жаловался на свою судьбу. Такъ, напр., въ его письмѣ отъ 26-го февраля 1796 г. сказано: „Привыкаю сносить злость и коварство людей, нарочито изысканныхъ въ мою пакость. Досадъ и непріятностей кучу валили; я не велъ борьбы, а презиралъ таковыхъ. Еще дѣло не кончено, а имѣвъ опыты расположенія, не могу ожидать ничего добраго. Богъ съ ними, лишь бы только мнѣ развязаться... Впрочемъ, увѣряю тебя, никакое обустройство не сломитъ моей души: чтѣ ни воспослѣдуетъ, приму за рокъ, властвующій надъ состояніемъ человѣческимъ, и остатокъ жизни проведу безъ томленія“. Объясняя подробно, почему онъ не могъ знать о кражѣ денегъ заблаговременно, Завадовскій сильно ропталъ на нерасположеніе къ нему Зубова и нѣкоторыхъ вельможъ, которымъ было поручено слѣдствіе при этомъ случаѣ. „Для меня, — писалъ онъ, — существуетъ древнее наше правило: безъ вины виновать... утомленный тучею непріятностей и не предвидя впредь себѣ лучшаго, просилъ я сперва уволнить меня отъ банка, чтѣ и сдѣлано“ и пр. Въ другомъ письмѣ: „Дѣло банковое почти спитъ... Умѣли настроить въ утайкѣ. Я не предвидѣлъ случая, чтобы дошло пожалѣть, что нѣтъ Шешковского“ ...

Въ 1799 году кража денегъ въ банкѣ была незначительна въ сравненіи съ большими суммами, пропавшими въ 1796 году. И въ этомъ случаѣ Завадовскій объяснялъ Воронцовымъ, почему онъ не могъ знать о злоупотребленіяхъ. Какъ бы то ни было, Завадовскій былъ удаленъ отъ дѣлъ и долженъ былъ оставить столицу. „Ни просьбою, ни терпѣніемъ, — писалъ онъ, — нельзя мнѣ было избѣгнуть моей участи. Мой рокъ въ томъ. Чувствительно симъ образомъ кончить сорокъ лѣтъ службы, и безплодной. Но совѣсть, разсудокъ, да и примѣры кладутъ пластырь на рану. Впрочемъ, щепка, брошенная ли бурей, или своимъ плаваніемъ достигла пристанища, лишь бы въ ономъ уже короткіе годы дожить безбавѣтно“ и пр. (стр. 239, 342).

Вызванный въ Петербургъ тотчасъ же послѣ вступленія на престолъ императора Александра, Завадовскій, въ письмѣ къ Семену Романовичу Воронцову, все-таки жаловался на свое положеніе. Онъ писалъ 1-го августа 1801 года: „Жребій мой проводить старость не въ покоѣ, не въ отдохновеніи, какъ и вся жизнь суетна была. Возложенъ трудъ: исправить, очистить наши

законы, писанные во мракѣ невѣжества, работа нѣсколько разъ предпринимаемая въ началѣ и въ теченіе прошедшаго столѣтія. Подвигъ въ томъ Петра I, Елизаветы и Екатерины II далеко отъ коего-либо успѣха, а еще далѣе отъ конца, даже не образованы по сей части порядкомъ самыя начала. Роюсь, на подобіе моли, въ необъятныхъ кипахъ старой и новой подъяческой смѣси, которая не просвѣщаетъ меня, а только тмитъ слабую мою память. Я не готовилъ себя быть докторомъ юриспруденціи; запасъ мой не больше какъ по любопытству или сколько нужно для поприща, которое проходилъ не по склонности, ниже по выбору собственному. Со всѣмъ тѣмъ долженъ полѣзть въ сферу законоученія и быть какъ въ нашихъ полковыхъ репортиціяхъ писывали: *за нѣмца русской*. Два мѣсяца утомляюсь работою прескучною, въ которой каждое слово, просторѣчіемъ скажу, выводитъ на пытку вниманіе, воображенія и проницательности тучи книгъ теоретическаго законовѣдства, которое не клеится съ русскимъ бытомъ. Не надѣюсь, чтобы стало моей жизни окончить преважное дѣло, а непомѣрно хочется истребить кнутъ, котораго я не видалъ ни въ натурѣ, ни въ дѣйствиіи; одно наименованіе поднимало и поднимаетъ во мнѣ всю ненависть“ (267).

До отмѣны кнута было еще далеко. Вообще, какъ кажется, кодификаціонная работа Завадовскаго шла не особенно успѣшно. Однако онъ, какъ видно, не щадилъ трудовъ для основательнаго изученія предмета. Онъ досталъ себѣ законы Фридриха II, разсуждалъ о законодательствѣ Юстиніана и выразилъ желаніе ознакомиться подробнѣе съ законодательствомъ Англіи. По этому предмету онъ писалъ Семену Романовичу въ апрѣлѣ 1803: „Я давно плѣненъ англійскими законами, какъ произведеніемъ умачеловѣческаго превыспряннаго; но я никогда не видѣлъ ихъ *in extenso*. Нѣкоторое понятіе, что объ оныхъ имѣю изъ Блэкстона ¹⁾ и другихъ писателей, коротко разсуждающихъ, не составляетъ во мнѣ совершеннаго знанія и удостовѣренія о цѣли и положительныхъ началахъ. Вотъ для чего я убѣдительнѣйше прошу тебя, мой другъ, употреби свое стараніе достать въ Англіи полное собраніе законовъ криминальныхъ. Безъ твоей помощи здѣсь успѣть въ томъ мнѣ никакъ не можно. Лучше изъ самаго источника черпать воду, чѣмъ изъ ручьевъ удалившихся и мутныхъ. Знаю, что не все хорошее для Англіи удобно приложить къ Россіи, но по возможности приметъ звено доброе

¹⁾ И Екатерина занималась чтеніемъ сочиненія знаменитаго юриста Блэкстона: „*Commentaries on the laws of England*“.

и наша образуемая масса; да еще тѣмъ болѣе, что гражданскіе законы затрудняются вліяніями частными, а уголовные руководствуютъ безпрепятственно интересъ общій“. „Писавъ о матеріи, — продолжаетъ Завадовскій, — которою набиваю голову, исповѣдаю предъ моимъ другомъ, что дѣлаю то весьма неохотно: все трудится отказываютъ и голова, и рука. Еще нашъ горизонтъ до того не очистился, чтобы воспарило на немъ всяческое благо. Велико дѣло и духа великаго требующее попираетъ предрасудки. Надобно возлюбить отечество превыше страстей, примѣняющихся къ человѣчеству, чтобы ввести законы въ неподвижное господство, и сію благодать не мы, а развѣ грядущіе на насъ узрять. Всего хотимъ лучшаго и, кажется, стремительно, но лишь къ исполненію, тутъ и препоны“ и пр. (стр. 270—271).

Къ сожалѣнію, мы не встрѣчаемъ никакихъ данныхъ о его управленіи министерствомъ народнаго просвѣщенія. Далѣе, нельзя не сожалѣть о томъ, что изданіе писемъ Завадовскаго къ С. Р. Воронцову прерывается въ 1807 году, между тѣмъ какъ есть основаніе думать, что переписка между друзьями продолжалась и въ слѣдующіе годы, до кончины Завадовскаго.

Письма Завадовскаго могутъ считаться важнымъ источникомъ для исторіи современныхъ ему событій. Находясь постоянно при дворѣ, пребывая постоянно въ близкой связи съ высокопоставленными лицами, отличаясь нѣкоторою опытностью въ дѣлахъ политики, онъ могъ сообщать многія подробности о государственныхъ дѣлахъ, о житьѣ-бытьѣ при дворѣ, о лицахъ и фактахъ, прибавляя ко всему этому множество критическихъ замѣчаній и освѣщая свой рассказъ остроумными выходками, эпиграммами и шутками.

Укажемъ сперва на отзывы Завадовскаго о Екатеринѣ II и о ея царствованіи.

Ему было 38 лѣтъ, когда онъ могъ писать Воронцову изъ Петербурга 3-го января 1776 года: „Порадуйся, мой любезный графъ, что на меня проглянуло небо и что уже со вчерашняго дня генеральсъ-адъютантомъ вашъ искренній другъ и преданный-шій слуга Завадовскій“ (XXIV, стр. 150).

Пока онъ былъ фаворитомъ, Завадовскій почти вовсе не писалъ о государынѣ. Находясь въ полной зависимости отъ нея, онъ не могъ отзываться о ея нравѣ. Изъ нѣкоторыхъ замѣчаній видно, что положеніе его не во всѣхъ отношеніяхъ было завиднымъ и удовлетворительнымъ. Такъ, напр., въ одномъ письмѣ

сказано: „Въ моемъ состояніи надобно ослиное терпѣніе“ (XII, стр. 9). „Новостей я меньше всѣхъ знаю и послѣдній въ городѣ свѣдаю, ежелибъ что и было. Ты знаешь, что я люблю упражняться моимъ дѣломъ, но здѣсь я не имѣю никакого. И такъ всегда одинъ, время иногда провождаю, читая книги“ и пр.; и дальше: „Чтобъ я всѣмъ сердцемъ былъ доволенъ, этого сказать не могу. Но сравнивая себя съ тѣми, которые меня ниже, благодарю за все Бога... Позналъ я дворъ и людей съ худой стороны, но не измѣнюсь нравомъ не для чего, ибо ничѣмъ не прельщаюсь“ (XXIV, стр. 153, 155). Любопытно и другое замѣчаніе Завадовскаго: „Кротость и умѣренность не годятся при дворѣ; почитая всякаго, самъ отъ всѣхъ будешь презрѣнъ. Не говорю, чтобъ я хотѣлъ перемѣнить для сего мой нравъ; но пишу для того, что не надобно удивляться, если фавориты носили видъ гордый“ (XII, стр. 10).

Достоинъ вниманія слѣдующій эпизодъ. Завадовскій написалъ въ 1776 году письмо къ С. Р. Воронцову, находившемуся въ то время въ Венеціи. Въ концѣ этого письма было сказано: „Страшись, Сенюша, не возвратиться и бояся не пріѣхать вскорѣ“. Очевидно императрица читала это письмо, на которомъ прибавила собственноручно: „И я прошу возвратитесь скорѣ“. Нѣтъ сомнѣнія, что Екатерина и Завадовскій бесѣдовали о Воронцовѣ и что императрица неблагосклонно отозвалась о Семенѣ Романовичѣ, который, какъ мы знаемъ, при переворотѣ 1762 года отстаивалъ права Петра III и хотѣлъ-было дѣйствовать противъ Екатерины. Къ замѣчанію императрицы въ письмѣ Завадовскаго прибавлено: „P. S. Строка сія рукою государыни приписана. Совѣтую отвѣчать къ ней прямо, если можешь, что ты пріѣдешь... изъясни свою чувствительность. Можешь сказать, что ты жертвовалъ собою прежде по склонности къ службѣ, по долгу къ отечеству и къ государю, а теперь охотно предаешься ея повелѣніямъ; что ты готовъ и силы, и самую жизнь ронить, гдѣ только опредѣлить угодно. Самъ ты лучше меня можешь изобразить свою мысль и благоговѣніе. *Мы любимъ хвалу и въ оной не знаемъ измѣшенства*“.

Этой приписки Завадовскій, конечно, не показывалъ Екатеринѣ.

Подробности размолвки фаворита съ императрицею намъ неизвѣстны. Дѣло было лѣтомъ 1777 года. Завадовскій 8-го іюля писалъ: „Собылось со мною все, что ты думалъ, оправдались твои предреченія; я столько несчастливъ, сколько истинны твои заключенія. Горька моя участь, ибо сердце въ мукахъ и любить не можетъ перестать. Сенюша, тебя стыжусь, а все прочее на-

свѣтъ не дасть мнѣ забвенія. Среди надежды, среди полныхъ чувствъ страсти, мой счастливый жребій переломился, какъ вѣтеръ, какъ сонъ, коихъ нельзя остановить: исчезла во мнѣ любовь. Послѣдній я узналъ мою участь и не прежде какъ уже совершилась. Угождаю волѣ, которой повинуюсь, доколь существую, я ѣду въ деревню малороссійскую... Мой отпускъ хотя съ тѣмъ опредѣленъ, дабы чрезъ 6 недѣль возвратиться, но могу ли я чему-нибудь уже вѣрить! Заклинаю тебя дружбою и любовью, не огорчайся и не обвиняй ее тяжкимъ образомъ. Представь человечество и страсть, и, забывая все прочее, люби и будь привязанъ, по крайней мѣрѣ, за то, что она вѣчно мила моему сердцу. Я не чувствую обиды, люблю одинаково, и буде-бъ страсть облегчилась, вмѣстѣ съ оною теперь дѣйствующая останется во мнѣ благодарность. Я просилъ Алексапу, чтобы онъ обстоятельно описалъ тебѣ мое состояніе. Рыдаіемъ и возмущеніемъ духа платя горькую дань чувствительному моему сердцу, я столько ослабѣлъ, что не въ состояніи о себѣ говорить... оставляю городъ и чертоги, гдѣ толико былъ счастливъ и злоуполученъ, и гдѣ сраженъ я на подобіе агнца, который закалается въ ту пору, когда ласкаясь лижетъ руку“ (XXIV, стр. 156—157).

И въ другихъ письмахъ Завадовскаго слышится его отчаяніе. Такъ, напр., онъ писалъ Семену Романовичу: „Не вѣрь, что я уже покоенъ... Сердце не покорно разсужденію, чувства онаго вѣчны и превѣчны. Бываютъ минуты разума, но пуще меня отягчающія. Размышленіе о смерти и самое терзаніе есть дань сердцу и дань ему пріятная. Трогаютъ меня благодѣянія столь же нѣжно, какъ самая любовь. Я чувствителенъ къ тому, что прошло, къ тому, что настоитъ и что впредь будетъ... Безуміемъ, слѣпотою или тѣмъ хочешь называй мое состояніе; я не стану спорить; однакожъ оно мило, и сіе на вѣки. Пусть время всѣхъ лѣчитъ, но врачемъ моимъ оно не будетъ“. Впрочемъ Завадовскій оставался еще нѣкоторое время при дворѣ, какъ видно изъ этого же письма: „Къ маленькому столу я былъ сегодня приглашенъ; болѣе нигдѣ не бывалъ и не пойду. Тяжело всякое свиданіе. Наружно притворюсь, и сія необходимость подавляетъ тѣмъ вѣщше сердце“...

Какъ кажется, и самой императрицѣ было не легко разстаться совсѣмъ съ Завадовскимъ. Побывавъ нѣсколько недѣль въ Малороссіи, онъ опять вернулся въ столицу, гдѣ, однако, уже болѣе не жилъ во дворцѣ, а въ частномъ домѣ. Онъ писалъ: „пріѣхалъ я по точной волѣ (т.-е. по желанію императрицы): ибо писано, что я надобенъ, что мнѣ будутъ рады, что знаніе меня

составляетъ желаніе имѣть меня другомъ. Какъ же сему не повиноваться, самъ разсуди! Въ первомъ моемъ явленіи, посѣвъши на самый кипятокъ, принять я былъ, могу сказать, по моей умѣренности, изрядно; не видѣлъ ничего весьма отличнаго, но по крайней мѣрѣ тонъ челоуѣка знакомаго не пресѣкался вовсе. На третьемъ и четвертомъ разѣ моего пріѣзду. я увидѣлъ и сіи знаки всѣ изглаженными. О сей огорчительной противъ меня поступкѣ изъяснялся я во всей моей чувствительности посредствомъ И. Ѳ. (?); и въ отвѣтъ мнѣ сказали, что внутренне чтятъ всѣмъ сердцемъ, а наружность естѣ принужденная, дабы утушить алармъ. Заключить не трудно, что наступали на душу смятенные моимъ пріѣздомъ. И такъ ты самъ отгадаешь легко, кто мои враги. Доволь своей роли не окончивъ, я, конечно, бѣльмо на глазу. Но какъ бы то ни было, я, дознавши все противное всѣмъ клятвамъ и обѣтамъ, уклоняюсь казаться часто“ и пр. (XII, стр. 17—18).

Другіе фавориты Екатерины, удаленные отъ двора, не встрѣчались болѣе съ императрицею. Такъ было съ Зоричемъ, съ Мамоновымъ и пр. Завадовскій, напротивъ, и послѣ своего паденія пользовался нѣкоторымъ расположеніемъ Екатерины и бывалъ при дворѣ. Такъ, напр., въ то время, когда въ Могилевѣ происходила встрѣча императрицы съ Іосифомъ II, онъ также долженъ былъ находиться въ Могилевѣ, откуда онъ писалъ Семену Романовичу Воронцову: „Явившись у двора, внутренне очень пожалѣлъ, что на сей разъ не пришла ко мнѣ горячка, ибо одинъ я былъ во всей публикѣ, котораго не пожаловали ни единымъ словомъ. Но въ уборной бывалъ лучше принять. Я предвижу, Сенюша, что много будетъ досаднаго, чѣмъ долѣе на глазахъ двора останусь: но... я полагаю благопристойностью нѣсколько подержаться, перенося всѣ непріятности“ и пр. (XXIV, стр. 158).

Послѣ этого только однажды Завадовскій намекнулъ на свое близкое отношеніе къ Екатеринѣ. Сообщая о своемъ намѣреніи жениться на шестнадцатилѣтней дѣвицѣ, Вѣрѣ Николаевнѣ Апраксинѣ, онъ сознался въ томъ, что не чувствуетъ настоящей любви, замѣчая: „Что до страсти пылкой, она во мнѣ не произвела оной, ниже я самъ ее могъ возбудить въ себѣ; и такъ какъ я по сію минуту самъ себя слѣдую, то я имѣлъ разъ въ жизни лютую и несчастную страсть, которая, размучивши сердце, не оставила въ ономъ для другой мѣста на вѣки. Я дѣлаю тебѣ, какъ моему искреннему другу, откровеніе полное“ и пр. (XXIV, стр. 161). Около этого времени — свадьба Завадовскаго была 30 апрѣля 1787 года — Завадовскій бывалъ при дворѣ развѣ только въ видѣ исключенія. Извѣщая наканунѣ свадьбы императрицу о своемъ

намѣреніи вступить въ бракъ, Завадовскій писалъ между прочимъ: „Исполню и уже исполняю всѣ ваши наставленія“, и далѣе: „Отъ васъ имѣю вся благая жизни. Вы мой покровъ и упованіе“ (XII, стр. 44).

Скоро послѣ этого Завадовскій писалъ Семену Романовичу о двухъ другихъ фаворитахъ, Ермоловъ и Мамоновъ: „Алексѣй Петровичъ Ермоловъ на дняхъ пріѣхалъ изъ Парижа въ Англію; я тебѣ его рекомендую какъ весьма добраго и честнаго человѣка. Подъ конецъ своего фавору онъ со мною познакомился, одинъ онъ изъ всѣхъ, котораго я въ случаѣ зналъ. Преемникъ его идетъ во слѣдъ наивеличавѣйшихъ“.

Въ это время Завадовскій пользовался довѣріемъ императрицы, которая назначила его опекуномъ молодого Бобринскаго, сына Григорія Орлова. Бобринскій, обремененный долгами и привыкшій къ распутной жизни, находился въ Англіи, и Завадовскому приходилось писать о надзорѣ надъ молодымъ человѣкомъ Семену Романовичу Воронцову. Какъ видно изъ этого письма (XII, стр. 53), Завадовскій неохотно бралъ на себя эту заботу, не имѣя, однако, возможности отказать въ этомъ Екатеринѣ. И Воронцову онъ писалъ о Бобринскомъ: „Главное, пришли его сюда поскорѣе, чѣмъ угодишь волѣ“, т.-е. чѣмъ обрадуешь императрицу.

Избѣгая въ своихъ письмахъ говорить объ императрицѣ, а также не упоминая раньше о политическихъ дѣлахъ, Завадовскій около 1788 года началъ отъвѣчать объ этихъ предметахъ. Оказалось, что онъ былъ недоволенъ положеніемъ дѣлъ и порою говорилъ и писалъ не безъ раздраженія. Нѣтъ сомнѣнія, что слѣдующая замѣтка въ письмѣ Завадовскаго къ Воронцову отъ 29 октября 1788 года относится къ Екатеринѣ: „Когда Эней въ Елисейскихъ поляхъ увидѣлъ Дидону, Виргилій на тотъ случай изображаетъ его чувства: *Non, quantum mutata est illa!* ¹⁾ Приводя примѣръ сей, думаю, что ты изъ онаго выразишь, что я хочу тебѣ тѣмъ сказать“. А въ іюнѣ 1789 года Завадовскій, жалуюсь на опасное положеніе, въ которомъ находилась Россія во время шведской и турецкой войнъ, писалъ: „Безпрерывная перемѣна въ войскахъ, то новое, то изъ новаго старое, страшныя издержки безъ хозяйства, все вышло изъ порядка; нѣтъ связи и соображенія; до крайняго приходимъ истощенія... Сія машина требуетъ умственной силы. Судьба еще отдалаетъ время вступить Россіи на степень величія, соразмѣрную ея могуществу. Ты пожелаешь узнать многія причины. Удовольствуйся, однако, которую скажу:

¹⁾ Т.-е.: уви, какъ она перемѣнилась.

несчастье въ избраніи людей. Выходило ли тебѣ когда на мысль, чтобы Заборовскій признанъ за способнаго потрясти Архипелагомъ, или Войновичъ предводитъ флотомъ большимъ на Черномъ морѣ? Далѣе самъ толкуй Энеевъ стихъ: *heu, quantum mutata est illa!* Люблю отечество, сердцемъ привязанъ къ славѣ благодѣявшей мнѣ; но живу въ такое время, когда льстецы пріемлются, а благонамѣренныя молча воздыхаютъ. Нѣтъ способу говорить что думаешь“.

Чрезвычайно рѣзко Завадовскій писалъ о Мамоновѣ, порицая при этомъ и Екатерину, въ то время, когда Мамоновъ женился на княжнѣ Щербатовой. Императрица, сильно огорченная, какъ извѣстно, образомъ дѣйствій фаворита, не мстила ему, устроила его свадьбу и рассталась съ нимъ дружески. Завадовскій, возмущенный этимъ эпизодомъ, писалъ своему другу, Семену Романовичу: „Интрига и вѣнецъ совершаются при дворѣ препокойно. Измѣна не менѣе награждается, какъ и сердечная привязанность. Одинакія преступленія въ различное время не одинаковое имѣютъ возмездіе. Представь сей и примѣръ Корсака и Брюси! Какъ ни есть, но всѣ рады, что сей человѣкъ пересталъ быть фаворитомъ. Надменное и самолюбивое животное, исполненъ былъ злости и коварства. Лицомъ похожъ онъ на калмыка или башкирца, только глаза выпуклыя и больше обыкновенныхъ сей породѣ. Взятъ будучи изъ офицеровъ, достигъ онъ такой силы, что всѣ дѣла проходили чрезъ его руки, которыхъ онъ и разумѣть не могъ. Лица кичливаго и надменнаго не слагалъ онъ ни на минуту. Говорилъ по-французски, занимался театромъ, и по симъ признакамъ приписывали ему и воспитаніе, и универсальный умъ. Малѣйшій лучъ смысла въ фаворитѣ кажется горящимъ солнцемъ. Не бывши въ состояніи по слѣдамъ идти князя (Потемкина), подражалъ только онъ его лѣни и увальчивости“... Затѣмъ о Зубовѣ: „Мѣсто свято пусто не бываетъ. Восходитъ новый фаворитъ—офицеръ конной гвардіи, мальчикъ двадцатилѣтній, котораго наружность и внутренность не общають долготы. Вотъ, мой другъ, тебѣ картина вещей и людей. Прочтя, сожги всѣ сіи листы и не оставляй ихъ бытія ни на минуту. Часа въ жизни нѣтъ у насъ надежнаго. Непредвидимо можешь подвергнуть мою откровенность для тебя единаго постороннихъ свѣденію. Что до меня лично, то отъ часу больше чувствую омерзѣніе къ суетностямъ свѣта. Не могу, какъ бы хотѣлъ, быть полезнымъ отечеству. Должности, что на себѣ имѣю, чрезъ время теряютъ уваженіе; ибо у насъ не всегда полезное, а всегда новое привлекаетъ по-

кровительство. Ничего не вижу, не предвижу для себя пріятнаго“ и проч.

Какъ видно, во всѣхъ этихъ и имъ подобныхъ замѣчаніяхъ заключается строгая критика образа мыслей и образа дѣйствій императрицы Екатерины. Еще болѣе ясно высказываетъ Завадовскій свое мнѣніе на этотъ счетъ въ письмѣ отъ 6 іюля 1791 года, гдѣ говорится объ опасности, грозившей Россіи со стороны Англіи и Пруссіи. Тутъ сказано: „По дѣламъ твоего мѣста государыня весьма довольна твоею службою. Въ образѣ мыслей твою голову своей уподобляетъ. Если ты не одобрялъ бы удостовѣреніемъ, своимъ духомъ, насъ союзныя державы общими угрозами привели бы къ стыду. Одна государыня удерживала дѣйствовать робости, которая въ смятеніе приводила души министерства. Безъ того и безъ твоихъ разсужденій, совѣтовавшихъ твердость, страхъ обуялъ бы совершенно. Государыня отзывалась не забыть твою заслугу и наградить за оную. Бывъ поддержиаема тобою въ сродныхъ мысляхъ величеству, не попускаетъ податься на низкій шагъ“ ... Сообщая разныя частности о затруднительномъ положеніи, въ которомъ находилась въ то время Россія, Завадовскій пишетъ: „Утопилъ бы я твое вниманіе, а мое перо, если бы все описывать, что скорбь дѣлаетъ усердному сыну отечества. Ни одно государство такъ скоро въ долги не ринулось, нигдѣ такъ быстро не возобладала роскошь и не внесла въ нравы гибельныхъ пороковъ, какъ у насъ. Расширяй свое воображеніе отъ сихъ пунктовъ: сколько ни дашь воли, не превзойдешь мѣру“ и пр.

Понятно, что Завадовскій при такомъ положеніи дѣлъ мечталъ объ удаленіи отъ дѣлъ. Когда Александръ Романовичъ Воронцовъ подалъ въ отставку, Завадовскій завидовалъ ему и хотѣлъ-было подражать его примѣру. Онъ находилъ, что императрица отнеслась къ Воронцову чрезвычайно несправедливо, и въ одномъ письмѣ выразился слѣдующимъ образомъ: „Мнѣ жизнь и всѣ пороки столицы такъ надоѣли, что ежели бы не имѣть отрады скоро переселиться въ деревню, я бы впалъ въ пресильную гипокондрію. Такое, мой другъ, наступило время, что или измѣнить правиламъ честности и совѣсти, или удалиться должно, дабы соблюсти оныя“ и пр.

По поводу дѣйствій Екатерины въ отношеніи къ Франціи, Завадовскій обвинялъ ее въ самолюбіи и честолюбіи. И онъ порицалъ отправленіе графа д'Артуа въ Англію, замѣчая: „Желаемъ, чтобъ сіи принцы главную роль имѣли и чтобъ нашему соучастію преимущественно одолжалось возстановленіе престола во Франціи. Вотъ, мой другъ, быть и цѣль настоящаго стрем-

ленія. Не полагай, чтобы мнѣніе министерства тутъ дѣйствовало. Собственная воля все движеть, и никто не смѣетъ заикнуться вопреки горячаго воображенія. Потому совѣтую тебѣ не озываться, приступая къ дѣламъ, какъ на тонѣ хвалы и угожденія, чрезъ что... обратишь вышшее къ себѣ благоволеніе“ и пр.

Изъ этихъ замѣчаній видно, какая разница существовала между Завадовскимъ и С. Р. Воронцовымъ. Завадовскій оставался чиновникомъ-царедворцемъ, тогда какъ его другъ былъ государственнымъ дѣятелемъ. Первый ограничивался рѣзкою критикою распоряженій императрицы въ письмѣ къ самому близкому другу; послѣдній не только противорѣчилъ, но даже прямо противодействовалъ мѣропріятіямъ Екатерины, какъ видно именно изъ этого эпизода съ графомъ д'Артуа. Завадовскій просилъ Воронцова хвалить то, что и ему, и Воронцову казалось нецѣлесообразнымъ, несогласующимся съ интересами Россіи. Воронцовъ не только не исполнилъ желанія друга, но даже выпроводилъ изъ Англіи французскаго претендента, пользовавшагося покровительствомъ Екатерины и Зубова.

Особенно рѣзко Завадовскій осуждалъ Зубова; обвиненія, направленныя противъ фаворита, разумѣется, относились, хотя бы косвенно, къ самой императрицѣ. Строго порицая разныя финансовыя мѣры, принятыя въ концѣ 1793 года, Завадовскій писалъ о Зубовѣ: „Молодой человѣкъ горячится на войну, чтобы получить больше, чѣмъ за Польшу; его полеть и ухватки загорнутъ (sic) дѣла не уступаютъ, а паче превосходятъ таковыя покойника“, т.-е. Потемкина. Въ декабрѣ 1793 года: „Г. Зубовъ властвуетъ во всѣхъ дѣлахъ безъ изыятія; одинъ только Питтъ въ его лѣты былъ полный министръ. Не въ одной Англіи торжествуетъ младость“. О Безбородкѣ Завадовскій писалъ, что онъ, благодаря чрезмѣрному вліянію Зубова, „почти фигурируетъ только“. Въ мартѣ 1794 года Завадовскій писалъ о значеніи Зубова: „Казалось прежде всѣмъ, что подобной власти, какъ имѣлъ князь Потемкинъ, никому стяжать нельзя; но теперешній фаворитъ несравненно больше имѣетъ мочи. Покойникъ ворочалъ только одною военною частью, а сей всѣ безъ изыятія привлекалъ въ свои руки. Подлыхъ пороковъ я въ немъ не знаю, а назвать не могу и то добродѣтелю, что одинъ восхотѣлъ всѣмъ быть и собою удовлетворить необъятному пространству дѣлъ. Отъ сего всѣ чины въ дѣлахъ упали и, такъ сказать, руки опустили: теченіе медленное съ тѣмъ сопряжено“ и пр. (104). Также Завадовскій писалъ лѣтомъ 1794 года: „Зубовъ всѣ части въ себѣ

загорнулъ и тѣмъ всѣхъ подорвалъ. По его дудѣ всякъ пляшетъ, его волю исполняютъ, и со всѣмъ къ нему, какъ къ оракулу, относятся и отсылаются“, а въ другомъ письмѣ: „Зубовъ министръ военныхъ, гражданскихъ и политическихъ дѣлъ; прочіе носятъ только титулъ, а въ игрѣ не больше дѣйствуютъ, какъ пѣшки; о чемъ сколько ни велико было бы твое удивленіе, но вообще наше больше онаго. Ему императоръ уже предлагалъ княжеской титулъ; принять оной еще отложено, а когда польскія дѣла окончатся, непременно войдетъ въ свѣтлые“ и пр.

Отношеніе Завадовскаго ко двору становилось все менѣе и менѣе благопріятнымъ. Онъ писалъ 7-го іюля 1794 года: „Меня фаворитъ ненавидитъ, а потому и свыше дознаю полную холодность; но я ожесточился терпѣніемъ, пока выжду пристойный случай отъ всего непріятнаго отдѣлаться“. Особенно часто Завадовскій сравнивалъ Зубова съ Потемкинымъ. Такъ, напр., онъ писалъ въ началѣ 1795 года: „Противъ умершаго талантъ въ немъ неровень, но амбиціи во всѣхъ частяхъ наслѣдникъ“. Въ февралѣ: „Память о князѣ Потемкинѣ переходитъ такъ, какъ всѣ слѣды большихъ матадоровъ время заглаживаетъ“. Въ мартѣ: „Тщеславіе (Зубова) превосходитъ всякую мѣру. Въ нашемъ слою гордыни подобной никто не видалъ. Куды къ статѣ ты свой покой взялъ! Блаженъ, что не предъ твоими глазами игра новаго театра. Одному все принадлежить, прочіе генерально его мыслямъ прилаживаютъ“. Власть Зубова, наконецъ, дошла до того, что Завадовскій лѣтомъ 1796 года писалъ: „Я тебѣ сказываю: о князѣ Потемкинѣ теперь весьма, весьма жалѣютъ“. Около этого же времени Завадовскій сообщилъ новости: „У князя Любомірскаго покупаютъ имѣніе за четыре милліона. Ты можешь угадать для кого? Выше мѣры надъ всѣми господствуетъ“. Предположеніе Завадовскаго, что Екатерина хотѣла подарить молодому фавориту столь громадное имѣніе, оказалось лишнимъ основаніемъ. Зато Завадовскій, вѣроятно, не безъ причины приписывалъ Зубову строгость, съ которою онъ былъ лишенъ мѣста директора банка въ началѣ 1796 года. „Когда фаворитъ,—писалъ онъ,—на кого наляжетъ, не легко тому держаться; и я теперь въ семъ положеніи“.

Несмотря на всѣ эти жалобы и на сильное раздраженіе Завадовскаго въ послѣднее время царствованія Екатерины, онъ былъ сильно пораженъ кончиною императрицы. Въ его письмѣ къ Александру Романовичу Воронцову отъ 11-го ноября 1796 года сказано: „Плачущій пишу къ тебѣ, милый мой другъ. Въ терзаніяхъ началъ, проводилъ, но уже въ горести ни съ чѣмъ не-

сравненной оканчиваю сей годъ. Смерть скоропостижная пресѣкла жизнь государыни и моей несравненной благодѣтельницы. Съ нею умерло все мое благосостояніе“ (179).

Во время царствованія императора Павла мы въ письмахъ Завадовскаго не встрѣчаемъ отзывовъ объ этомъ государѣ или критики его дѣйствій. Можно думать, что отношенія Завадовскаго ко двору въ это время были довольно благопріятными; по крайней мѣрѣ, однажды, въ февралѣ 1799 года, императоръ, императрица и вся царская фамилія были на балу у Завадовскаго. Къ концу этого царствованія онъ былъ удаленъ и жилъ въ Ляличахъ. Тутъ онъ обрадовался вступленію на престолъ императора Александра I, который тотчасъ же пригласилъ его въ столицу. Въ письмѣ къ Семену Романовичу, отъ 13-го мая, заключается критика царствованія Павла. „Не полагалъ я, — писалъ Завадовскій, — увидѣть спасеніе Россіи отъ свирѣпаго обуреванія, разливагоса на всѣ состоянія, не полагалъ пережить гоненій, устремленныхъ на меня лично, но благоволеніемъ судьбы вышли мы изъ томныхъ дней. Заживаютъ раны отъ муки прежней, по удостовѣренію, что отверженные кнутъ и топоръ больше не возстанутъ, ибо ангелъ со стороны кротости и милосердія царствуетъ надъ нами. Зады Іоанна Грознаго мы испытали, измѣряя потому радость общую, когда можемъ подымать духъ и сердце, когда нѣтъ не имѣть страха мыслить и говорить полезное и чувствовать себя. Милый другъ, возблагодаримъ счастливое время и что въ немъ окончимъ нашъ вѣтъ!“ и пр. А дальше: „Никогда я не думалъ увидѣть Неву, а всякій часъ ожидалъ быть отвезену въ крѣпость, что за оною, въ которую заключаемы были больше по воображенію, чѣмъ по дѣламъ“. Въ письмѣ отъ 20-го мая, по случаю пріѣзда въ Петербургъ Михаила Семеновича Воронцова: „Не полагалъ я никакъ пережить судорги Россіи и начать счастливую эпоху утѣшеніемъ, увидя твоего премолага сына“ и т. п.

По случаю порученнаго Завадовскому труда кодификаціи, онъ часто долженъ былъ видѣться съ государемъ. Въ его письмѣ отъ 7-го ноября 1802 года сказано: „Впрочемъ, по моей части я предоволенъ государемъ, и съ нимъ дѣло имѣть весьма пріятно: и внимателенъ, и подвиженъ, какъ нельзя больше въ общему благу“. Однако не всѣ лица, окружавшія императора, нравились Завадовскому. Восхваляя благія намѣренія Александра, онъ находилъ, что государь легко подчинялся чужому вліянію. Въ характерѣ Завадовскаго была сильная доля недовѣрчивости; превратности жизни сдѣлали его мнительнымъ. Объ императорѣ, затѣмъ,

Завадовскій пишетъ: „Весьма истинно, что благость сердца неизреченная и добрая воля наравнѣ съ оною, но способны ли окружающіе духи обратить направленіе оныхъ въ дѣйствительную пользу? А къ вліяніямъ не заперта дверь! Можетъ быть, время и опытность переработаютъ колеблемость на твердость; онъ столько миль и дорогъ для общаго блага, что отъ всей души желаю сего“. Говоря, однако, о дѣйствіяхъ разныхъ сановниковъ, подвергая строгой критикѣ разные правительственныя распоряженія, Завадовскій, какъ видно, не совсѣмъ былъ доволенъ системою управленія. Мы знаемъ изъ писемъ Семена Романовича къ брату и къ другимъ лицамъ, какъ сильно русскій дипломатъ въ Англіи нападалъ на образъ дѣйствій нѣкоторыхъ лицъ, окружавшихъ государя. Есть основаніе думать, что главнымъ источникомъ свѣденій Семена Романовича были письма Завадовскаго, которыя дѣйствительно заключаютъ въ себѣ множество данныхъ для исторіи перваго времени царствованія императора Александра I.

Что касается до отзывовъ Завадовскаго о другихъ лицахъ, то особеннаго вниманія заслуживаютъ его замѣчанія, относящіяся къ Румянцову, Безбородкѣ и Потемкину.

Завадовскій и С. Р. Воронцовъ во время первой турецкой войны были подчиненными фельдмаршала Румянцова. Оба они питали глубокую привязанность къ знаменитому военачальнику. Его судьба постоянно занимала и Завадовскаго, и Воронцова. Благодаря вліянію Потемкина, положеніе Румянцова во второй половинѣ царствованія Екатерины сдѣлалось чрезвычайно неловкимъ. Впрочемъ Румянцовъ въ 1776 году въ отношеніи къ императрицѣ поступалъ нѣсколько гордо и упрямо, чѣмъ даже вызвалъ нѣкоторыя рѣзкія выраженія въ письмѣ Завадовскаго къ Воронцову. За то немногимъ позже, въ 1777 году, Завадовскій жаловался на неблагодарность императрицы въ отношеніи съ Румянцову, котораго онъ при этомъ случаѣ называетъ благодѣтелемъ рода человѣческаго. Не безъ горечи и раздраженія Завадовскій затѣмъ, въ 1789 году, сообщалъ Семену Романовичу разные подробности о той жалкой роли, которую заставляли Румянцова играть во время второй турецкой войны. Описывая соперничество Потемкина и Румянцова, Завадовскій замѣчаетъ: „И такъ, мой другъ, видимъ въ наши времена состарѣвшагося Помпея и торжествующаго надъ нимъ Цесаря, исключая, что не въ республикѣ и не по одинакимъ предметамъ идутъ вещи. Видимъ руссійскаго Сципіона, загнаннаго въ деревню на смерть.

Сей примѣръ во всемъ похожъ. Сообрази его и не удивляйся, что въ наши дни то же случилось, что бывало въ просвѣщеннѣйшемъ народѣ лѣтъ двѣ тысячи назадъ, въ доказательство несправедливости человѣческой“. Завадовскій при этомъ называлъ Румянцова „величайшимъ полководцемъ, каковаго еще не имѣла изъ своихъ сыновъ Россія“. Въ другомъ письмѣ: „Уподоблялъ я его прежде Сципіону Африканскому; но немного разницы, когда приложить къ его судьбѣ судьбу Велизарія“. Въ 1792 году: „Фельдмаршалъ совсѣмъ забытъ; надобно случиться несчастливой нуждѣ, чтобы его вспомнили: столько не благоволятъ о немъ“.

Весною 1793 года Завадовскій писалъ Семену Романовичу: „Похвалюсь тебѣ, мой другъ, добрымъ дѣломъ. Лѣтъ нѣсколько работали и отливали по моему заказу бронзовую большую статую фельдмаршала Румянцова. Производилъ оную здѣсь находящійся художникъ Рашетъ. Вышла прекрасно въ отдѣлѣ, и образъ его довольно похожъ. Я не хотѣлъ выставить оную здѣсь на показъ всѣмъ, чтобъ не протолковали укоризною, а отправилъ въ мою малороссійскую деревню, гдѣ приготовленъ для нея храмъ, чтобъ воздвигнуть памятникъ благодарности моей къ благодѣтелю“. Эта статуя, какъ замѣчаетъ г. Бартеневъ, нынѣ воздвигнута въ Глуховѣ, мѣстѣ управленія Малороссією и гражданскихъ трудовъ графа Задунайскаго.

Въ 1794 году Завадовскій писалъ въ тонѣ крайняго неудовольствія: „Предполагая войну, ниже помышляемъ о Румянцовѣ. Онъ дѣлалъ отзывъ о своей готовности, однакожъ втунѣ. По лѣтамъ, хотя онъ въ тѣлѣ перемѣнился, но разумъ свѣжъ и тотъ же, безъ наималѣйшаго упадка; жалка его участь: навлекъ гоненіе, что былъ достойнѣе всемогущаго ¹⁾. Одинъ онъ и есть, чтобы могъ разстроенное поднять. Участь его часто мнѣ приводитъ на память великихъ мужей, умиравшихъ въ полномъ огорченіи отъ неpravосудія“.

Наконецъ, лѣтомъ 1794 года, по поводу военныхъ дѣйствій въ Польшѣ, Румянцову было ввѣрено командовать войсками. Сообщая объ этомъ, обрадованный Завадовскій писалъ А. Р. Воронцову: „Я тебѣ не могу довольно пересказать, какъ непомѣрная радость надъ всѣми воздѣйствовала, когда слышали о его начальствѣ, начиная отъ двора даже до улицы. Другъ друга поздравляя, цѣловали какъ въ Свѣтлый праздникъ. Не знаю, былъ ли кто у насъ, чтобъ тоlikое возбуждалъ въ себѣ вниманіе. Въ семъ только случаѣ я примѣтилъ, что и русская

¹⁾ Т.-е. Потемкина.

публика можетъ быть правосудна“. Впрочемъ другіе польководцы оставались независимыми отъ Румянцова, и ему не приходилось играть хотя бы сколько-нибудь важную роль. Къ тому же военныя операціи скоро кончились, когда состоялся третій раздѣлъ Польши. Двумя годами позже Румянцовъ скончался.

О Потемкинѣ Завадовскій отзывался часто, иногда въ рѣзкихъ выраженіяхъ, иногда довольно благопріятно. Въ 1787 году онъ говорилъ о проектѣ возведенія Потемкина на польскій престолъ. Достойна вниманія слѣдующая характеристика Потемкина въ письмѣ отъ 1-го іюля 1789 года, послѣ пребыванія князя въ Петербургѣ, куда онъ отправился, завладѣвъ Очаковымъ: „Князь Потемкинъ, возвратясь побѣдителемъ, весьма былъ ласковъ и привѣтливъ; раза два гостилъ въ моемъ домѣ. Однажды (т.-е. однажды), ведя со мною разговоръ, сказалъ, что ежели бы онъ вѣрилъ тому, что къ нему писано, то считать бы долженъ меня первымъ своимъ врагомъ. Нерадѣніе его, при жаждѣ владѣнія, въ отношеніи дѣлъ суть его пороки. Но благотворность есть также его превосходное свойство, и сія добродѣтель въ немъ со излишествомъ. Все стоячее онъ валитъ и лежащее поднимаетъ; врагамъ отнюдь не мстителенъ. Много въ немъ остроты, много замысловъ на истинную пользу; но сіи надобно исполнять бы другимъ. Словомъ, премного добраго; но общая ненависть къ нему выбираетъ только худое. Достигая все покорить подъ свою палу, не дорожитъ способами; но и величайшій мужъ Іулій Цесарь былъ in omnia graesers. Не уподобляю, однакожъ, ни успѣховъ, ни конца, ибо сфера не одинакова. Довѣренность могуществу его равна“ и пр. Весною 1791 г. Завадовскій писалъ: „Князь, сюда (въ Петербургъ) захвативши, инымъ не занимается, какъ обществомъ женщинъ, ища имъ нравиться и ихъ дурачить и обманывать. Влюбился онъ еще въ арміи въ княгиню Долгорукову, дочь вн. Барятинскаго. Женщина превзошла нравы своего пола въ нашемъ вѣкѣ: пренебрегла его сердце. Онъ мечется, какъ угорѣлый. Уязвленное честолюбіе дѣлаетъ его смѣхотворнымъ. Пороки Аннибала, пороки Александра видимъ безъ ихъ великихъ дарованій. До сихъ послѣднихъ достигнуть труднѣе, чѣмъ претворить нашу столицу въ Капуу, въ Вавилонъ“. Нѣсколько мѣсяцевъ послѣ кончины Потемкина Завадовскій очень рѣзко писалъ о дѣятельности его слѣдующее: „Изъ войны турецкой вышли мы не безъ славы, но опустошили столько свои карманы, что долго пребудемъ въ голахъ. Власть и расточительность покойника изрыла ямы; его память и теперь съ похвалами, и о его имени многое течетъ, какъ прежде. Губерніи

его приняла государыня подъ собственное управленіе; все имъ сдѣланное покрывается властью. Г. Поповъ, человѣкъ безъ посвященія и безъ талантовъ, вступилъ на постъ особливой довѣренности отъ единого удостовѣренія, что онъ былъ душа всѣхъ дѣйствій покойника, чего отнюдь не было: ибо умершій ни намѣреній постоянныхъ, ни плановъ опредѣлительныхъ ни на что не имѣлъ, а колобродилъ, какъ всякая минута вносила въ голову новую мысль, одна другую опровергающую“.

И Завадовскій, и Воронцовъ находились въ близкихъ дружескихъ отношеніяхъ къ Безбородкѣ. Понятно, что въ письмахъ Завадовскаго къ Семену и Александру Романовичамъ очень часто и подробно говорится о Безбородкѣ. При всей привязанности Завадовскаго къ Безбородкѣ отзывы его о послѣднемъ оказываются чрезвычайно рѣзкими. Считаю не лишнимъ, въ видѣ дополненія къ извѣстному труду г. Григоровича о Безбородкѣ, указать на нѣкоторыя замѣчанія о немъ въ письмахъ Завадовскаго.

Несмотря на прежнія дружескія отношенія, существовавшія между Безбородкою и Завадовскимъ, послѣдній въ сентябрѣ 1783 года писалъ о немъ къ Семену Романовичу: „Прежнія и новыя его противъ меня коварства рѣшили меня перестать съ нимъ всячески обходиться и трахать какъ явнаго своего врага, считая, что образомъ симъ меньше онъ мнѣ вредить можетъ, нежели въ лукавомъ видѣ пріятели. Сей случай отщепилъ меня и ото всѣхъ къ нему прилѣпленныхъ, которымъ онъ есть въ Бога и кои въ немъ перестанутъ чтить божество, лишь кончился бы его случай“. Однако, какъ кажется, размолвка ихъ не была продолжительною, и въ 1787 году, когда Безбородко сопровождалъ императрицу въ Крымъ, онъ переписывался съ Завадовскимъ. Мѣстами въ письмахъ Завадовскаго къ Воронцовымъ встрѣчаются намеки на полную зависимость Безбородки отъ Потемкина. „Онъ только эхо голоса княжаго“; „прибыльныя одолженія имѣя отъ князя, онъ во всѣхъ дѣлахъ его рабъ“. Далѣе: „Мамоновъ общаго нашего пріятели, гр. Ал. Андреевича, навсегда дискредитировалъ; легко ему въ томъ было успѣть, ибо общество и жизнь его (Безбородки) снабждали къ тому способами преизобильно... Не знаю, что дальше будетъ; но обыкновенно, какъ разъ у двора повихнутъ, то никакой костоправъ не поможетъ“.

Извѣстно, что Безбородко оказалъ Россіи существенную услугу заключеніемъ Ясскаго мира. При этомъ случаѣ онъ выказалъ необычайную дипломатическую ловкость. Однако, именно во время своего путешествія въ Яссы, въ концѣ 1791 года, онъ лишился своего значенія при дворѣ и въ дѣлахъ. Объ этой важной пере-

и́мѣнъ Завадовскій въ письмѣ къ С. Р. Воронцову, отъ 27 января 1792 года, рассказываетъ слѣдующее: „Гр. Безбородко, разжигаясь честолюбіемъ, равно и легкомысленностью захватить весь кредитъ, когда не стало князя (Потемкина), кинулся въ Яссы. При отъѣздѣ, изъ трусости врожденной, поручилъ внутренній портфель Зубову, а иностранныхъ дѣлъ—Маркову. Послѣдняго разумѣлъ себѣ первымъ другомъ, а у перваго думалъ тѣмъ найти связь. Возвратившемуся послѣ мира въ голубой лентѣ, при первой встрѣчѣ, дано ему почувствовать, что дѣла уже не въ его рукахъ. И такъ, съ тѣхъ поръ безъ изъятія Зубовъ управляетъ всѣми внутренними и ви́шними дѣлами, Маркова имѣя подъ собою для письма иностраннаго“. Завадовскій находилъ, что Безбородко при такомъ положеніи дѣлъ держалъ себя недостойно. „Александра Андреевича роль, — писалъ онъ, — пренепосыдная. Всякъ на его мѣстѣ, стяжавши доходу 150 тысячъ, удалился бы, но онъ еще пресмыкается въ чаяніи себѣ лучшаго, а наипаче корыстнаго, не имѣя духа на шагъ пристойный. Низкимъ терпѣніемъ и гибкостью многіе дождались своей погоды. Онъ послѣдуетъ сему правилу. Развѣ вытолкаютъ въ зашеи! Безъ того не уклонится, чуждъ бывъ нравственныхъ побужденій“. Также и въ другомъ письмѣ сказано: „На удѣлъ Александру Андреевичу мало что остается, и то почти для одной формы“, и далѣе: „Но мелкій духъ ничѣмъ не трогается“. Осенью 1763 года: „Пріятель нашъ (Безбородко) прилежно лазить, чтобъ, по назначенію о деревняхъ, получить больше и лучше“ и т. д.

Впрочемъ Безбородко не безъ основанія надѣялся на улучшение своего положенія. Въ апрѣлѣ императрица сказала ему, „что къ кому въ важныхъ нуждахъ прибѣгаютъ, тотъ не можетъ жаловаться, что къ нему нѣтъ возрѣнія“. Сообщая объ этомъ, Завадовскій прибавилъ: „Но онъ все таковъ же: въ первыхъ минутахъ, когда не спалъ страхъ, гордецъ тщеславный обнаружилъ свой малый духъ постыднымъ уторопленіемъ“. Особенно Безбородко старался угождать молодому фавориту. Завадовскій писалъ 7-го іюля 1794 года: „Съ того времени, какъ Зубовъ сталъ лучше обходиться съ нашимъ пріятелемъ, А. А. поступилъ на сближеніе. Нашъ и сему радъ и распростертыми руками принимаетъ его. Дѣла, впрочемъ, никакія изъ рукъ З. не вышли. А. А. самъ больше втирается, нежели его ищутъ, и что пожалуютъ на его перо, то приходитъ отъ резолюціи же З., и отработанное долженъ ему прежде предъявить. Постыдная роля“, и проч.

Изъ этихъ замѣчаній видно, въ какой зависимости находи-

лись высшіе сановники отъ личнаго расположенія къ нимъ императрицы и Зубова. При такихъ обстоятельствахъ опытные дѣльцы не столько были государственными людьми, сколько царедворцами. Въ этомъ отношеніи и самъ Завадовскій едва ли отличался отъ Безбородки. Таково общее впечатлѣніе, которое производятъ его письма. Онъ стоялъ нравственно выше Безбородки, но и самъ онъ не подавалъ въ отставку, хотя часто жаловался на неловкость своего положенія, на суету придворной жизни, на несоотвѣтствовавшее его вкусу житіе въ столицѣ; и онъ не говорилъ правды императрицѣ и Зубову, и былъ даже весьма недоволенъ Семеномъ Романовичемъ Воронцовымъ, когда тотъ открыто и безцеремонно высказывалъ свое мнѣніе по разнымъ политическимъ вопросамъ и этимъ возбуждалъ гнѣвъ Екатерины. Достоинствъ вниманія и то обстоятельство, что Завадовскій, не уважая Безбородки, все-таки оставался съ нимъ въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ, переписывался съ нимъ, просилъ его крестить сына и пр. Сознавая ясно, въ чемъ заключались недуги тогдашняго высшаго общества, онъ не имѣлъ мужества дѣйствовать сообразно съ своими воззрѣніями. Въ интимной перепискѣ съ Воронцовыми онъ подвергалъ строгой критикѣ образъ дѣйствій разныхъ лицъ, между прочимъ и своего друга, Безбородки, но едва ли вѣроятно, чтобы онъ въ личной бесѣдѣ съ этимъ другомъ давалъ ему совѣты или выговаривалъ ему „малый духъ“.

Въ концѣ концовъ, Безбородко, унижаясь предъ Екатериною и Зубовымъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, дожилъ до болѣе благопріятныхъ обстоятельствъ,—до коренной и очень выгодной для него перемѣны. Объ этомъ послѣднемъ фазисѣ карьеры честолюбиваго и алчнаго министра Завадовскій въ своихъ письмахъ къ братьямъ Воронцовымъ сообщаетъ любопытныя данныя, изъ которыхъ видно, какъ рѣзко отличалось положеніе Безбородки въ послѣднее время Екатерины отъ той роли, которую ему было суждено играть въ первое время царствованія Павла.

Въ письмѣ отъ 14-го марта 1795 года сказано: „Александръ Андреевичъ ко мнѣ ни разу не писалъ изъ Москвы. Его дѣло погружаться въ забавы и увеселенія, да и не худо въ запасъ насытиться пиршествами; ибо сюда пріѣдетъ на хрѣнъ и рѣдью. Для меня одно то удивительно, что ты удивляешься настоящему упадку духа. Но я тебя вопрошаю: когда ты въ немъ видѣлъ прямое возвышеніе онаго? Память, способность пера велики и все тутъ. Ничему не вѣрь, что онъ тебѣ о себѣ говорилъ или общалъ: его въ томъ слова какъ дымъ“. Въ апрѣлѣ 1796 г.: „Пріятель нашъ гр. А. А. въ кредитъ видимо упадаетъ; еще дер-

жится своею ко всему нечувствительностью и что иногда доходить нужда до его способностей, другими незамѣняемыхъ“.

Кончиною императрицы Екатерины все измѣнилось. Есть основаніе считать вѣроятнымъ, что Безбородко при этомъ случаѣ оказалъ чрезвычайно важную услугу Павлу Петровичу ¹⁾. Къ сожалѣнію, въ письмахъ Завадовскаго нѣтъ ни малѣйшаго намека на этотъ важный вопросъ. За то мы изъ этого источника узнаемъ о томъ, какое видное мѣсто занималъ Безбородко въ самое первое время царствованія Павла. Завадовскій писалъ къ графу Александру Романовичу Воронцову 11-го ноября 1796 года: „Побуждаюсь чистымъ усердіемъ къ тебѣ, по сношенію съ гр. Алекс. Андреевичемъ, спросить тебя, не имѣешь ли желанія войти въ службу и какого мѣста желаешь, считая себя сходнымъ? Государь къ графу Александру Андреевичу безпредѣльно милостивъ; онъ теперь одинъ и полный министръ, представленіемъ его внемлетъ отлично, и, безъ сомнѣнія, и на твой жребій преклонится: но, не зная твоей воли, поступить на то неудобно“, и пр. Также Завадовскій писалъ въ сентябрѣ 1797 года: „Князя Александра Андреевича кредитъ незыблемъ, онъ одинъ отлично уважается“. Затѣмъ, однако, говорится о болѣзненномъ состояніи Безбородки и далѣе, въ нѣсколькихъ письмахъ, Завадовскій насмѣхался надъ своимъ „пріателемъ“, постоянно говорившимъ о желаніи подать въ отставку и никогда не рѣшающимся на этотъ шагъ. „Что онъ самъ говорить, считай за совершенную пустошь“ и т. п.

Однако болѣзненное состояніе Безбородки принимало все болѣе серьезный характеръ. Подробно, съ которою Завадовскій въ своихъ письмахъ къ Воронцовымъ останавливается на этомъ предметѣ, свидѣтельствуетъ о его привязанности къ умирающему „пріателю“. Несмотря на очень невысокое понятіе Завадовскаго о характерѣ Безбородки, ему было жалко разстаться съ нимъ, и онъ, по своему обыкновенію, въ подобныхъ случаяхъ описывалъ свое горе. 15-го января 1799 года онъ писалъ: „Сегодня—завтра предвижу разставаться съ княземъ и, по свѣжѣ во всю жизнь, убиваюсь сердечною чувствительностью. Противъ своего состава, и отъ натуры крѣпкаго, онъ самъ всѣдневно воевалъ, доколѣ невоздержность въ похотяхъ плотскихъ не повергла въ изнуреніе, въ которомъ его видишь. Умъ небесный еще въ немъ блещетъ, но брѣнная храмина валится. Человѣкъ—чудное твореніе! Своею

¹⁾ См. главу: „Вопросъ о престолонаслѣдіи“ въ моемъ сочиненіи о Екатеринѣ II, основанную главнымъ образомъ на результатѣ работъ Григоровича, автора біографіи Безбородки.

головою можетъ легко двигать бременемъ дѣлъ, а къ управленію себя не имѣетъ силы"... Далѣе—подробности о свойствахъ его болѣзни: „Здѣсь разумѣется его вліяніе уже прошедшимъ. Съ отъѣзду его (въ Москву) не удалось мнѣ услышать, чтобъ хотя словомъ былъ упомянутъ... А во мнѣ увеличить меланхолію пріѣздъ князя, ибо не могу видѣть равнодушно его западъ, и когда о томъ думаю, кровь приступаетъ къ сердцу. Тяжело разставаться съ товарищемъ". Говоря подробно о положеніи Безбородки, о его болѣзняхъ и пр., Завадовскій писалъ въ мартѣ 1799 года: „Ахъ, мой другъ! Князь Александръ Андреевичъ своимъ изнеможеніемъ убиваетъ меня жестоко: отъ дня въ день видимо гаснетъ его жизнь, и о продолженіи оной я теряю надежду"... „Представь себѣ мое страданіе, каково мнѣ быть непрестанно съ любимымъ человѣкомъ и ожидать, что сего дня или завтра его не станетъ. Уже начинаютъ помышлять и о замѣнѣ", и пр. 6-го апрѣля Безбородко скончался. „Мои чувства преогорчены, и воспоминаніе на вѣкъ. Не въ состояніи болѣе промолвить", писалъ Завадовскій Александру Романовичу Воронцову въ тотъ же день (223).

Слѣдующія замѣчанія въ письмахъ Завадовскаго къ Воронцовымъ характеризуютъ отношенія и Завадовскаго, и публики къ скончавшемуся министру. „Ты мнѣ говаривалъ, сколько покойника Москва любила. Не можешь себѣ представить, до какой степени восходило о немъ сожалѣніе и здѣсь, въ гнѣздѣ самыхъ обильныхъ зависти. Не первой онъ постояннымъ благоволеніемъ фортуны сопровождаемъ былъ и въ жизни, и во гробу; но другого никого отъ вельможъ нашего вѣка уподобить ему нельзя, съ стороны любви и привязанности, изъявленныхъ публикою въ его болѣзнь и по кончинѣ. Симъ стяжаніемъ онъ превзошелъ вознесенныхъ и богатыхъ и удивляетъ самую зависть. Не было человѣка, написалъ Маркъ Аврелій, толико счастливаго, чтобъ при погребеніи его не нашелся радующійся въ предстоящихъ. Изреченіе философа не оправдалось ни единою душою отъ погребавшихъ нашего друга. Но чтѣ во всемъ томъ? Погребли и забудутъ".

Уже выше было сказано, что Завадовскій не особенно подробно и часто писалъ о политическихъ дѣлахъ, такъ что его письма не могутъ считаться особенно важнымъ источникомъ для исторіи внѣшней политики Россіи при Екатеринѣ, Павлѣ и Александрѣ. Онъ гораздо внимательнѣе слѣдилъ за событіями при дворѣ и въ мірѣ бюрократіи, нежели за фактами въ области политики въ тѣсномъ смыслѣ; но все-таки мы встрѣчаемъ въ письмахъ Зава-

довскаго многія данныя и болѣе или менѣе любопытныя замѣчанія о восточномъ вопросѣ, о польскихъ дѣлахъ, о французской революціи и пр.

Такъ какъ Завадовскій, и въ качествѣ начальника канцеляріи Румянцова, и въ качествѣ офицера, участвовать въ первой турецкой войнѣ (1768—74) и при этомъ былъ товарищемъ Семена Романовича, нельзя удивляться тому, что въ перепискѣ между пріятелями часто была рѣчь о туркахъ и татарахъ. По случаю занятія Крыма въ 1783 году онъ писалъ: „Крымъ занятъ. Турки крѣпко молчатъ: непріязненные намъ дворы не находятъ своего счету выѣшиваться въ сіи дѣла прямымъ лицомъ“ и пр. Узнавъ отъ Безбородки, что русское правительство лѣтомъ 1787 года не желало войны и старалось выиграть время, Завадовскій писалъ къ Александру Романовичу Воронцову, сильно осуждая образъ дѣйствій Потемкина и его товарищей: „Есть ли въ томъ благо-разуміе, что завременно обнажаемъ наши силы, наши виды и принуждаемъ турковъ уготовлять свою защиту?“ Продолжая разсуждать въ этомъ тонѣ, Завадовскій вдругъ останавливается, замѣчая: „Но на что я столько предъ тобою пустословлю по матеріи, ни до твоей, ни до моей части не касающейся? Пусть знаютъ то въ мірѣ, въ коняхъ бороды пошире“.

Когда началась война, Завадовскій говорилъ иногда о военныхъ операціяхъ. Въ октябрѣ 1789 онъ писалъ между прочимъ: „Турки теперешніе плоше несравненно тѣхъ, что въ нашу службу были побиваемы. Имперія ихъ наклонилась подъ послѣдній ударъ. Могъ бы оной быть и въ наши дни, но будетъ ли, не отвѣчаю“ и пр. Надежда его на окончательное паденіе турецкой имперіи не сбылась. Въ концѣ концовъ, онъ недоволенъ результатами войны. Такъ, напр., онъ въ далеко не веселомъ расположеніи духа писалъ 31-го октября 1790 года: „Со шведомъ миръ имѣемъ, не потерявши ничего изъ нашихъ камней и болотъ; обнадеживанія нашихъ сопостатовъ дѣйствуютъ надъ турками больше, чѣмъ тамошнія побѣды: уклоняются отъ мира, который доставать надобно за Дунаемъ или же отъ моря предъ Стамбуломъ. Способы всѣ въ рукахъ и избыточные“. Осенью 1791 года онъ писалъ: „Миру всѣ мы рады, но еще его полнымъ образомъ не имѣемъ... Сообрази убытки, представь величайшіе способы, каковы на турецкую войну мы имѣли, и размѣрай тѣмъ одержанную пользу. Власть безпредѣльная, силы страшныя, я всегда думалъ, захватятъ въ театръ войны и самый Стамбулъ: но судьба еще хранить магометанъ отъ совершенной гибели. Бито ихъ довольно, но взяли у нихъ немного. Отчего же? Оставляю твоей догадкѣ“.

Въ отношеніи къ Турціи Завадовскій и Семенъ Романовичъ не были одинаковаго мнѣнія. Лѣтомъ 1793 года Завадовскій писалъ: „Турцію ставишь высоко, а она почти падшая. Вообрази наши теперешнія границы, притомъ и флотъ черноморскій: какъ имъ смѣтъ затѣять новую войну, ударъ видя готовый въ самое сердце? Они же двоекратно испытали, что бѣдами ихъ окончились предпріятія, слѣдуя внушеніямъ другихъ. Стало бы насъ на все, лишь бы умѣть располагать, но за послѣднее кто можетъ отвѣчать?“

Мы знаемъ изъ другихъ источниковъ, что Екатерина въ послѣднее время своего царствованія не переставала мечтать объ осуществленіи своего любимаго проекта — уничтоженія Турціи, занятія Константинополя. На этотъ счетъ достойны вниманія слѣдующія замѣчанія въ письмѣ Завадовскаго отъ 3-го марта 1794 года: „Мы пристально на турокъ смотримъ. Они же сами чувствуютъ тяжкія узы, наложенныя на ихъ мирными трактатами. Самая связь вещей влечетъ къ рѣшительному удару. Ты вѣдаешь давнишнія желанія. Находитъ¹⁾, что теперешнія обстоятельства могутъ онымъ благопріятствовать. Я не думаю, чтобъ турки безъ вынужденія зачали войну; но стоятъ противъ ихъ всегда на караулѣ тоже тягостно, слѣдственно за наше миролюбіе не отвѣчаю“.

Нѣсколько лѣтъ сряду въ письмахъ Завадовскаго о Турціи не говорилось. Только въ 1804 году онъ возвратился къ этому предмету, объясняя Александру Романовичу Воронцову, почему можно считать вѣроятнымъ разрывъ съ Портою, находя, впрочемъ, что русское правительство недостаточно обращало вниманія на эту державу, намекая на общеславянскій вопросъ. „Въ ихъ областяхъ,—писалъ Завадовскій,—народы къ намъ приверженные, я слышу, по настоящимъ видамъ, претерпѣваютъ всякое зло; а чрезъ то исторгается изъ рукъ нашихъ преважный способъ, которымъ мы могли всегда дѣйствовать на Порту, на политику коея ни въ какомъ случаѣ нельзя положиться, ибо коварна и лукава... Мнѣ кажется, политика требуетъ, чтобы народы, покровительствуемые нами въ Турціи, не лишены были упованія на насъ. Впрочемъ,—прибавляетъ Завадовскій,—для важныхъ предпріятій потребенъ немалый духъ. Укажи мнѣ его. На семъ паче мысль моя шатается“.

Нѣсколько чаще и подробнѣе въ письмахъ Завадовскаго говорится о польскихъ дѣлахъ. Хотя тутъ мы не встрѣчаемъ новыхъ

¹⁾ Т.-е. императрица находитъ.

фактовъ, которые дополняли бы наши свѣденія о второмъ и третьемъ раздѣлахъ Польши, мы узнаемъ изъ этого источника кое-что о впечатлѣннѣи, произведенномъ мѣрами правительствъ въ отношеніи къ Польшѣ на современниковъ. И въ этомъ дѣлѣ, какъ во многихъ другихъ, Завадовскій не соглашался съ мнѣніемъ Семена Романовича Воронцова. Этому обстоятельству мы обязаны тѣмъ, что въ письмахъ Завадовскаго разсужденія о Польшѣ занимаютъ довольно видное мѣсто.

Въ началѣ 1792 года Завадовскій писалъ: „Я слышу, ты не оправдаешь подѣла Польши. Я стою противъ твоего мнѣнія ¹⁾. Приращеніе короля прусскаго, безъ сомнѣнія, знаменито, но наше втрое, и на турковъ открытая дорога. Пруссія же воевать на насъ, если мы не принудимъ, какая польза? А Польша, бывъ неподѣлена, внутренними своими силами когда-нибудь могла бы сдѣлаться для насъ опасною. Поступокъ со стороны нравственной если не апробуешь, въ томъ я не спорю. Но и тутъ скажу: гдѣ же есть нравственность въ политикѣ? Правда, можно бы, не компрометируя торжественныхъ словъ, тоже сдѣлать завоеваніемъ по случаю чинимаго сопротивленія отъ польскихъ войскъ. Но весь планъ дѣланъ и исполненъ былъ въ секретѣ Зубовымъ и Марковымъ. За то не пеняй на всѣхъ, ибо не всѣмъ есть воля и свобода представлять мысли, а только тогда-то и можно, когда оныхъ спрашиваютъ, что весьма изъ вещей рѣдкихъ. Въ этомъ не можешь противорѣчить, чтобъ сіе приобрѣтеніе не было изъ самыхъ знаменитыхъ, которыя въ прежнія времена Россія сдѣлала въ разсужденіи числа жителей и близости къ центру прямой нашей силы. А время, въ которое приобрѣтаемъ, самое удобнѣйшее потому, что спорить некому: во всѣхъ руки заняты“ и проч.

Тотчасъ же послѣ второго раздѣла Польши возникъ вопросъ о томъ, что будетъ съ остаткомъ республики. Въ письмѣ отъ 21-го августа 1793 года Завадовскій замѣчаетъ: „Ни австрійцы, ни пруссаки ²⁾ по-одиночкѣ не воснутъ къ остатку Польши, разсуждая на наше тому воспротивленіе; по себѣ же она ничто. Равнымъ образомъ, позволять ли и намъ загорнуть ³⁾ оную?“ и пр.

Въ остаткѣ Польши началась смута. Александръ Романовичъ, узнавъ объ этомъ, беспокоился. Завадовскій отвѣчалъ, утѣ-

¹⁾ При этомъ г. Бартеневъ подъ страницю замѣчаетъ: „Вспомнимъ, что Завадовскій — малороссіянинъ“.

²⁾ Въ изданіи сказано: „поляки“, но едва ли мы ошибаемся, предполагая, что должно читать: „пруссаки“.

³⁾ Малороссійское выраженіе: прибрать къ рукамъ.

шая его: „До тебя, надѣюсь, доходятъ слухи о Польшѣ, съ обыкновеннымъ увеличеніемъ. Есть то въ самомъ дѣлѣ, что Костюшка подымаетъ въ томъ краю гидру якобинцевъ“. Завадовскій надѣялся, что можно будетъ справиться съ поляками. „Какъ бы ни двигало бѣшенство,—писалъ онъ,—но поляки не французы. Сверхъ того, нашихъ силъ противъ нихъ столько, что и муху обухомъ бить можемъ“. Немногимъ позже онъ писалъ: „Польскія дѣла ведены были фаворитомъ (Зубовымъ) и А. И. (т.-е. Марковымъ); для прочихъ были онѣ тайна, дабы не подѣлать съ кѣмъ участія“. Движеніе въ Польшѣ или, какъ выражается Завадовскій, „заимствованный отъ Франціи якобинизмъ“ заставили Россію приступить къ рѣшительнымъ мѣрамъ. Третій раздѣлъ сдѣлался неминуемымъ. „Я думаю, настоящее происшествіе изгладитъ имя и существованіе республики, и остатки пойдутъ по рукамъ. Не спорю, что будутъ хлопоты: но слабымъ у сильныхъ какъ можно вырвать ломоть изъ рувъ? Да и кто возстанетъ противъ трехъ державъ участвующихъ?“ При этомъ Завадовскій сообщалъ многія любопытныя частности о состояніи Польши, подвергалъ критикѣ образъ дѣйствій князя Репнина и пр. Въ іюль 1794 года онъ опять писалъ: „Къ раздѣлу обломковъ готовимся. Свой пай предполагаемъ пространнымъ. Уже есть признаки, что цесарцы не прочь отъ дѣлежа... о королѣ прусскомъ и говорить нечего: онъ даромъ не воюетъ, развѣ въ томъ только надобно негоцировать, чтобъ не лѣзъ въ нашу черту. Считай, мой другъ, что сіе дѣло въ нынѣшнемъ году окончится непременно, и Польша перестанетъ быть въ Европѣ, на подобіе планетъ, исчезнувшихъ въ небесной сферѣ“. Завадовскій справедливо разсуждалъ: „Возмущенію только причастенъ шляхтъ, а не вообще народъ, который не возжигаютъ чинимыя подстреканія“. Поэтому онъ полагалъ: „Утушеніе сего пространнаго мятежа зависитъ отъ полной побѣды надъ Костюшкою“. Въ августѣ 1794 года Завадовскій насмѣхался надъ неудачею пруссаковъ въ Польшѣ: „Король прусскій не Кесарь: пришедъ въ Варшавѣ, не сказалъ: *veni, vidi, vici*“ и пр. Успѣхами русскаго оружія Завадовскій былъ доволенъ. Въ сентябрѣ 1794 года онъ писалъ: „Для насъ, опричь непріятныхъ хлопотовъ, нѣтъ никакой опасности, а напротивъ, приближаемся открыть полосу чрезъ Курляндію по Бугъ. Приобрѣтеніе въ сію сторону отечеству нашему столько важно, какъ подобнаго нигдѣ быть не можетъ. Самъ вѣдаешь, что нельзя не подѣлиться съ другими; но черта наша не обидна противъ сосѣдей. По сю пору австрійцы не любо взираютъ на сіи дѣла и еще въ прямыхъ мысляхъ не объяснились, но, поволобродивши

напослѣдокъ, принуждены будутъ на подѣлъ согласиться... Даруй Богъ, чтобы таково предположеніе поскорѣе совершилось, и чтобы простертая Россія, положа мечъ во влагалище, долго почилъ. Самъ Богъ видимымъ образомъ всѣ наши и помыслы, и предпріятія вѣнчаетъ своимъ всевышнимъ благоволеніемъ. Въ свое время колико мы завидовали Польской Украинѣ! Вспомни, теперь она вся наша, и съ великимъ еще приумноженіемъ! Вся благодатная земля, всѣ польскіе лѣса, обращаются въ наше обогащеніе“ и пр. Сообщая разныя подробности о дѣйствіяхъ Россіи и Пруссіи въ Польшѣ, онъ замѣтилъ: „Теперь я смотрю непріятно въ перспективу польскихъ дѣлъ: объекты представляются наизворотъ... Наше сообщеніе съ Европою по настоящимъ обстоятельствамъ и долго не установится“. Въ слѣдующемъ письмѣ Завадовскій указываетъ на затрудненіе избѣгнуть разлада при третьемъ раздѣлѣ Польши. „Согласить ихъ (т.-е. пруссаковъ и австрійцевъ),—писалъ онъ,—трудно, а выразишь легко, что они отъ того непрочь, чтобы Польшѣ остаться въ настоящемъ быту. Какой же нашъ выигрышъ за понесенныя тягости и убытки? Только-что Польшу оставимъ вѣчнымъ и пущимъ врагомъ, ко всякому противъ насъ готовою прилѣпиться“ и пр. Вскорѣ послѣ этого, однако, Завадовскій могъ сообщить о побѣдѣ, одержанной надъ Костюшкою, о взятіи Праги и о третьемъ раздѣлѣ. При этомъ достойны вниманія нѣкоторыя замѣчанія объ отношеніи Пруссіи къ Австріи въ этомъ дѣлѣ, характеристика Костюшки и опасенія разрыва между Пруссіею и Россіею. По случаю кончины бывшаго польскаго короля, Станислава Понятовскаго, въ Петербургѣ, въ 1798 году, Завадовскій писалъ: „Въ тотъ же путь и одинакимъ образомъ, т.-е. скоропостижно, отошелъ съ покойною императрицею. Рѣки не текутъ къ своимъ вершинамъ; а онъ положилъ тамъ голову, откуда получилъ корону. Погребеніе ему готовится во всемъ обрядѣ царскомъ. Для города его домъ былъ пріятнымъ. Любилъ бесѣду и всѣхъ принималъ ласково. И на престолѣ, и въ приватномъ быту не былъ стяжателемъ. Въ обоихъ случаяхъ, опричь долговъ, ничего не оставилъ“.

Особенно внимательно Завадовскій слѣдилъ за событіями во Франціи. Нельзя сказать, чтобы онъ къ французской литературѣ относился такъ, какъ къ ней относились Екатерина, Воронцовы и пр. Онъ довольно поздно выучился по-французски. Еще въ 1777 году онъ писалъ, что ему „удается разбирать французскую книгу; приобрѣсть свободоязычіе въ семъ языкѣ, сколь онъ ни нуженъ, я почти отчаиваюсь, но разумѣть оной становится мнѣ легко“. Въ его письмахъ почти вовсе не встрѣчается ссылки

на французскихъ писателей, между тѣмъ какъ онъ вообще читалъ много и любилъ заниматься литературою. О первыхъ фазисахъ французской революціи въ письмахъ Завадовскаго не говорится вовсе. За то, съ самаго начала 1792 года, когда французскія дѣла становились предметомъ обще-европейскаго политическаго вниманія, они въ перепискѣ Завадовскаго съ Воронцовымъ занимаютъ видное мѣсто. Нельзя не видѣть, что Завадовскій въ этому вопросу относился какъ-то холодно, тѣмъ императрица Екатерина или С. Р. Воронцовъ. Французская революція интересовала Завадовскаго, главнымъ образомъ, какъ вопросъ международной политики. Общихъ замѣчаній о значеніи французской революціи мы въ его письмахъ почти не встрѣчаемъ.

27-го января 1792 года Завадовскій писалъ: „Французскія дѣла—господствующая матерія нашей нынѣ политики и всего вниманія. Самъ ты знаешь, можемъ ли мы спасти погибшаго короля или непосредственно укротить обуявшій народъ? Не въ натурѣ вещей, чтобы ихъ правила въ нашемъ холодномъ Сѣверѣ произвели пожаръ. Привить философію народу неграмотному кому удобно“.

Вмѣстательство Екатерины въ дѣла Франціи нисколько не понравилось Завадовскому. Онъ писалъ по этому поводу: „Льстивые происки и желаніе, во всякомъ случаѣ, славы, ввергаютъ въ хлопоты и величайшія издержки въ такую пору, когда казна очень, очень неизобильна“. Немногимъ позже, въ апрѣлѣ 1793 года: „Дюмурье дѣламъ французскимъ другой далъ оборотъ; будетъ ли теперь нужда въ нашей помощи? Однакожь, мы при всемъ томъ не меньше силится въ оныхъ участвовать и чтобы всѣ плясали по нашей дудѣ“. Затѣмъ сказано: „Столица наша уподобляется Риму древнему: цари приходятъ въ лицѣ просителей. Графъ д'Артоа говоритъ тебѣ будетъ съ восхищеніемъ о вѣдѣшемъ своемъ пребываніи. Выѣхавши изъ Парижа, у насъ только онъ почувствовалъ свой санъ. Его принимали на томъ тонѣ, какъ принять былъ пруской Генрихъ; только разница, что сей весьма обходителенъ и ко всѣмъ ласковъ, а талантовъ между ими я не сравниваю“. Завадовскій находилъ, что Екатерина при поддержаніи французскихъ принцевъ руководствовалась мелочными расчетами честолюбія: „Желаемъ, чтобы сіи принцы главную роль имѣли и чтобы нашему соучастію преимущественно одождилось возстановленіе престола. Вотъ, мой другъ, быть и цѣль настоящаго стремленія“.

Семенъ Романовичъ Воронцовъ, находясь въ Англіи, разумѣется, зналъ о всѣхъ подробностяхъ событій, происходившихъ

во Франціи. Въ совсѣмъ иномъ положеніи находился Александръ Романовичъ, который около этого времени покинулъ столицу и, проживая въ своемъ имѣніи, нуждался въ новостяхъ о томъ, что происходило на Западѣ. Поэтому Завадовскій считалъ своимъ долгомъ сообщать ему обо всѣхъ событіяхъ во Франціи, такъ что его письма, въ отношеніи къ этому предмету, походятъ на газету. Элементъ фактическихъ данныхъ преобладаетъ. Мѣстами разсказъ освѣщается отзывами о лицахъ и вещахъ. Говоря о событіяхъ во Франціи, Завадовскій хвалилъ способности Дюмуре. „Армія безъ него,—говорилъ онъ,—какъ стадо безъ пастыря, но антюзізмъ еще не простываетъ. Мнимая вольность народъ движетъ... Развѣ нужда и истощеніе образумятъ и дадутъ мать якобинцамъ“ и пр. Не безъ раздраженія онъ описывалъ подробности казни королевы Маріи-Антуанеты (93), не безъ желчи разсуждалъ объ образѣ дѣйствій Пруссіи. Попадаются довольно оригинальные обороты, въ родѣ слѣдующихъ: „Безптанники (т.-е. sansculottes) всѣмъ адомъ ворочаютъ“; или: „въ Парижѣ и во всемъ королевствѣ мадамъ гиллетина, проливая кровь, всѣхъ въ трепетъ приводитъ“; или: „Волканы французскій едва ли могутъ погасить устремляемыя на оной силы“; или: „въ Парижѣ сѣченіе головъ обоого пола всеневный спектакель“; или: „Богъ одинъ вѣдаетъ, тѣмъ и когда угаснетъ сей пламень ада!“ По поводу заключенія Пруссіею базельскаго мира: „Миръ короля прусскаго долготу наложилъ на всѣ лица“.

Немногимъ позже общее вниманіе на себя обращалъ Наполеонъ, вскорѣ сдѣлавшійся опаснымъ для всей Европы. Пока, однако, по крайней мѣрѣ, во время царствованія императора Павла, Завадовскій не считалъ его подвиги особенно важными для Россіи. Нѣкоторыя изъ его замѣчаній, относящихся къ Наполеону, не лишены интереса. Такъ, напр., онъ писалъ 19-го января 1798 года: „Колико ни чудотворцы французы, но гдѣ вода входитъ, тамъ англичане сломятъ шею и самому Аннибалу Бонапартѣ“; а далѣе, говоря объ успѣхахъ французскаго оружія: „Спросишь, что же мы думаемъ? отвѣтъ готовъ: кто имѣетъ за 30 милліоновъ народа, 80 доходовъ и 400,000 войска, тотъ можетъ взирать покойно на всѣ настоящія превратности вдали, въ полной надеждѣ на свой собственный счетъ“. Въ другомъ письмѣ: „Уголъ нашъ такъ глубокъ, что, дая убѣжище несчастнымъ, вниманія ихъ тѣмъ не встревожитъ“. Въ мартѣ 1798 года: „Баютъ о высадѣ въ Англію. Прости, что сей пунктъ я считаю за химеру, и не испугайся, что французы уже вошли въ Римъ, объявили папу лишеннымъ свѣтской власти,

оставя ему одну духовную, провозгласили республику римскую и насадили въ оной древо вольности. По разстоянію и сіе не бѣда. Буря выливаетъ валы изъ береговъ, но когда волны переполняются, море отходитъ въ свой край. Натура всѣмъ править. На сей разъ пускай я буду у тебя атеистомъ“ (195). Въ то время, когда Наполеонъ отправился въ Египетъ, въ Европѣ не знали еще о цѣли его путешествія. Завадовскій писалъ 22-го іюня 1798 г.: „Негласно, какой предметъ имѣетъ экспедиція Бонапарты. Во всѣхъ вѣкахъ великія происшествія имѣли необычайныхъ людей. Французъ предводительствующій того же класса. Станемъ ждать новой диковины“. Затѣмъ вскорѣ намѣренія Наполеона сдѣлались извѣстными. Завадовскій писалъ 10-го августа 1798 года: „Бонапарта овладѣлъ Александрією. Цѣль его по всему видима въ Индію“. Во время отсутствія Наполеона въ Египтѣ, Завадовскій замѣтилъ о французскихъ дѣлахъ вообще: „Примѣтенъ переломъ французской горячки и что свой тупикъ уже чувствуютъ, хотя и присвояютъ себѣ громкіе примѣры грековъ и римлянъ. Но сіи росли исподволь, а не вдругъ на всю селенную наложили руки“. 1-го ноября 1798 года: „Сказать можно, что мнѣніе о великомъ народѣ весьма повихнулось, и возстаетъ опроверженіе общее на его замыслы... Владычествующій Парижъ приунылъ“. Особенно любопытно слѣдующее замѣчаніе въ письмѣ отъ 3-го декабря 1798: „Обращаюсь къ твоимъ замѣчаніямъ на Бонапарту. Онъ стужалъ своими громкими дѣлами и ненависть, и зависть противъ себя. Ты слышалъ о немъ одно гадкое; а Кобенцель, обращавшійся съ нимъ довольно, говорилъ мнѣ, что онъ великій математикъ, глубокомысленъ и проницателенъ, при честолюбіи безмѣрномъ. Но теперь не за чѣмъ вести судъ, имѣлъ ли онъ таланты полководца или разбойника; ибо третьяго дня изъ Молдавіи получено у насъ извѣстіе, переданное туда изъ Царяграда, что турецкій паша, пришедши на него войски, встрѣтивъ его предъ Каиромъ, побилъ на голову: убитому Бонапарту отрѣзана голова, которая, по обычаю турецкому, на позоръ выставлена будетъ предъ сералемъ. Остатки французовъ, не погибшихъ въ сраженіи, арапы и мамелюки по мѣстамъ доконали. Сбылось твое предсказаніе воспѣть панихиду. Подражая предприимчивостью Юлію Кесарю, я соглашаюсь, что онъ не имѣлъ счастья, ни талантовъ, ему равныхъ, но въ томъ меня не превозможешь, что гибель корсиганца не глупѣе великаго Помпея“.

Въ 1799 году французскія войска начали-было дѣйствовать весьма успѣшно въ Италіи. Завадовскій писалъ 4-го марта: „Опять, мой другъ, буря и новый штормъ. Дождемся ли конца

обуевающегося человечества? Авось чудакъ Суворовъ въ Италиі французскихъ каннибаловъ доконаетъ, какъ въ Польшѣ Костюшеу. Пожелаемъ, чтобъ его счастье и тамъ было съ нимъ“. Скоро начали приходить вѣсти объ успѣхахъ Суворова, и Завадовскій могъ писать 7-го мая 1799 г.: „Русскій Аннибалъ избавляетъ Италію съ такою же скоростью, какъ наказывалъ Кароагенскій... Настоящая война въ совершенную французамъ пагубу. Неужели и теперь не внимаешь моимъ предсказаніямъ?“ Недѣлею позже, сообщая подробности успѣшныхъ дѣйствій Суворова: „Гаданія мои начали сбываться, пора и тебѣ выходить изъ тревоги. Не отвергай моего пророчества и въ томъ, что вмаѣ, вмаѣ, всякъ останется при своемъ. Не впервде, отъ ослѣпленія человѣческаго расхищались стяжанія богатствъ, и получалъ Плутонъ въ свою селитбу многочисленныя колоніи. Каждый вѣкъ, а ихъ прошли тысячи, страдалъ своимъ омраченіемъ. Правда, ссылочной Бонапарта еще ворошится единымъ своимъ талантомъ: посягается пакости творить англичанамъ, но сіе не на дѣло. Какъ ему устоять, а паче утвердиться, съ горстью людей и лишенному всякаго подкрѣпленія, въ народахъ лютыхъ и звѣрамъ подобныхъ? Очисти въ Италію, за него примутся и въ мигъ истребятъ. Увидимъ въ немъ не Александра, а второго Герострата, ибо и великіе таланты безъ способовъ тупы“. Разсказывая объ убіеніи французскихъ пословъ близъ Раштадта, Завадовскій писалъ: „Возопіють въ Парижѣ веліемъ гласомъ, а мы скажемъ: чертей тѣмъ меньше, тѣмъ лучше. Они суть изъ числа главныхъ, посягнувшихъ на жизнь короля“.

Успѣхи Суворова исполнили Завадовскаго радостью. Сообщая Воронцову, что „Аннибалъ Россійскій“ проименованъ „Италійскимъ“, онъ пишетъ: „Проименованіе сіе распространено на все его потомство, чего ни Румянцовъ, ни Сципіоны не имѣли. Нервъ Россіи во удивленіе свѣту. Утѣшеніе превеликое жить въ цвѣтущіе дни своего отечества“, и пр.

Еще пока продолжались побѣды Суворова, Завадовскій, лишенный своихъ мѣстъ въ Петербургѣ, долженъ былъ удалиться въ свое имѣніе. Тамъ онъ уже не столь подробно и скоро узнавалъ о французскихъ дѣлахъ, какъ въ столицѣ, хотя получалъ газеты. Постоянно онъ и въ это время въ своихъ письмахъ повторяетъ свое пророчество, что власть Франціи скоро разрушится, что французы будутъ разбиты англичанами на морѣ и т. п. Такъ, напр., онъ писалъ 20-го мая 1800 г. „Остатокъ завоеваній Франціи уподобится шуму египетской экспедиціи. На лицо Бонапарты и къ его талантамъ приходитъ въ сію пору

слово Юлія Кесаря, шедшаго на Помпея: не опасенъ полководецъ безъ войска“. Завадовскій даже считалъ вѣроятнымъ, что Франція лишится своего вліянія въ пользу Австріи и Пруссіи. Свои довольно подробныя разсужденія по этому предмету онъ заключаетъ словами: „Я заболтался въ матеріи свѣше моего смысла. Смѣйся, дозволяю, что я дичь порю, и полагай, что инвалидъ хотѣлъ чѣмъ-нибудь распространить свою бесѣду съ тобою, въ заглаженіе долгаго молчанія“ (247).

Событія въ первое время царствованія императора Александра отвлекли вниманіе Завадовскаго отъ вопросовъ внѣшней политики. Къ тому же и Завадовскій, и Александръ Романовичъ Воронцовъ находились въ Петербургѣ и могли лично бесѣдовать о дѣлахъ западной Европы. Только въ 1804 году Завадовскій въ письмахъ къ своему другу возвращается къ этому предмету. Успѣхи Наполеона въ это время не измѣнили его убѣжденія, что Франція, въ сущности, не столь опасна, какъ полагали многіе другіе. Поэтому онъ былъ противъ вмѣшательства Россіи во французско-нѣмецкія дѣла. Такъ, напр., онъ писалъ: „Въ германскихъ дѣлахъ господствуетъ интересъ не нашъ, а другихъ державъ... не вчуужъ ли мы кидаемъ громъ?.. я считаю настоящее нашествіе на Германію за преходящее. Въ прежнихъ войнахъ между императоромъ и Франціею меньше ли страдали? Необыкновенное будетъ токмо то, ежели мы за грабежи германцамъ станемъ опустошать наши карманы“. Какъ трудно было тогда предвидѣть будущее, видно изъ слѣдующихъ замѣчаній Завадовскаго: „Приходятъ вѣсти, что Бонапарта провозглашенъ императоромъ галловъ. Вотъ плоды ругательствъ и заговоровъ! ¹⁾ Вмѣсто испроверженія послужили возвеличить лицо его. Отъ сего происшествія, можетъ быть, и дѣла иной видъ воспримутъ. Авось въ санѣ императора возлюбятъ миролюбіе и потушить жаръ военный, которымъ сгоралъ въ качествѣ консула. Его довольно упражнять внутреннія заботы, ибо посѣдаемый престолъ также подымаетъ враждующихъ. Въ народѣ могла быть тысяча таковыхъ, что простирали упованіе быть консуломъ, а наставшая царская линія то запинаетъ. И тутъ можемъ увидѣть борьбу новую, какъ явно и то, что судьба подъ своимъ щитомъ держитъ сего дивнаго чело-вѣка“ (281). Въ началѣ 1805 года, онъ удивлялся способностямъ „на все досужаго самодержца“ и писалъ: „Даже противъ сокровеннаго онъ столько чутокъ, что на посла Кобенцеля уже наступалъ съ жаромъ. Трудно въ какомъ-либо случаѣ постигнуть его

¹⁾ Намекъ на заговоръ Пшибегрю, Моро и пр.

неготовымъ. На низверженные престолы возводить свой родъ, и тѣмъ далѣе, свѣтъ ярче звѣзда его сыплеть“, и пр.

А. Р. Воронцовъ умеръ въ 1805 году, именно въ то время, когда русскіе патріоты были поражены извѣстіемъ объ Аустерлицкой битвѣ. Въ перепискѣ съ Семеномъ Романовичемъ, Завадовскій въ это время почти вовсе не затрогивалъ вопросовъ внѣшней политики. Мы знаемъ, что Семенъ Романовичъ Воронцовъ былъ сильно взволнованъ заключеніемъ Тильзитскаго мира. Совсѣмъ иначе смотрѣлъ на это дѣло Завадовскій, писавшій въ августѣ 1807 года: „Не знаю прямо кондицій нашего мира, а радуюсь и благодарю Бога, что противъ французовъ уже не воюемъ“ (307). Изданіе писемъ Завадовскаго прекращается въ октябрѣ 1807 года, между тѣмъ какъ онъ скончался не раньше, какъ въ 1813 году: нельзя не сожалѣть о томъ, что мы не узнаемъ о впечатлѣніи, произведенномъ на Завадовскаго событіями 1812 года.

Таковъ характеръ писемъ Завадовскаго, которыя могутъ служить важнымъ источникомъ при изученіи тридцатилѣтней эпохи отъ 1777 до 1807 года. Мы могли указать въ нашемъ очеркѣ лишь на главные предметы, о которыхъ говорится въ письмахъ Завадовскаго. Специалисты-историки найдутъ въ нихъ множество данныхъ и о разныхъ другихъ вопросахъ. Пользованіе этимъ источникомъ для монографическаго изслѣдованія политической исторіи затруднительно при отсутствіи указателя предметнаго и при отсутствіи полноты и точности алфавитнаго указателя именъ.

Мы могли бы указать еще на многіе предметы переписки Завадовскаго съ Воронцовыми, но не желали утомлять читателей еще болѣе большими размѣрами этого очерка. Такъ, напр., мѣстами встрѣчаются довольно любопытныя замѣчанія о Павлѣ и о „молодомъ дворѣ“ при Екатеринѣ II, о Нелидовой и ея значеніи во время царствованія Павла, объ отношеніяхъ Россіи къ Швеціи вообще и о пребываніи Густава IV въ Петербургъ осенью 1796 года въ особенности, о разныхъ французскихъ эмигрантахъ, объ упадкѣ Россіи въ матеріальномъ отношеніи въ послѣднее время царствованія Екатерины, о дѣятельности Маркова, Трощинскаго, Кочубея, Новосильцова, Беклепова и пр.

А. Бригнеръ.



П. Н. КУДРЯВЦЕВЪ

ВЪ

ЕГО УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ТРУДАХЪ

— Сочиненія П. Н. Кудрявцева. Съ портретомъ и факсимиле автора. Томы I и II. Москва 1887. Изданіе типографіи А. А. Карцева. Покровка, д. Егорова.

I.

Не мало уже лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ имя П. Н. Кудрявцева, этого неутомимаго дѣятеля на поприщѣ всеобщей исторіи, перестало встрѣчаться на страницахъ русскихъ журналовъ. Многочисленныя статьи его, напечатанныя въ 1846—58 годахъ, не утратили въ наше время ни интереса своего, ни научнаго значенія, но все затруднительнѣе становилось разыскивать ихъ въ разрозненныхъ книжкахъ старой журнальной литературы. Тѣмъ болѣе признательности заслуживаютъ племянникъ покойнаго Кудрявцева, П. П. Колосовъ, и издатель А. А. Карцевъ за то, что они не пощадили трудовъ и издержекъ на перепечатаніе историческихъ статей Кудрявцева въ отдѣльномъ изданіи, составляющемъ два обширныхъ тома, страницъ въ 600 слишкомъ каждый. Прежде всего, конечно, будутъ признательны издателямъ бывшіе слушатели покойнаго профессора, тѣмъ болѣе многочисленные, что въ его время историческое образованіе въ университетѣ еще не считалось излишнимъ для юристовъ и классиковъ. При чтеніи этихъ статей передъ слушателями снова воскреснетъ задумчивый благородный

образъ учителя, съ отпечаткомъ скорби на высокомъ челѣ—загадочной для молодежи и изрѣдка разсѣваемой доброй, участливой улыбкою.

Нѣсколько поколѣній внимательныхъ слушателей прошло передъ кафедрой Кудрявцева, но едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что самое сильное впечатлѣніе П. Н. оставилъ на послѣднихъ курсахъ, его слушавшихъ. Для нихъ его лекціи имѣли не только образовательное, но и воспитательное значеніе; онѣ служили имъ не только введеніемъ въ исторію, но, можно сказать, откровеніемъ исторіи. Онъ читалъ тогда студентамъ перваго года исторію Востока—пространный четырехъ-часовой курсъ. Исторія Древняго Востока получила въ пятидесятихъ годахъ новый, почти современный, интересъ, благодаря поразительнымъ, по своимъ результатамъ, раскопкамъ въ Месопотаміи и быстро развивавшемуся чтенію іероглифовъ. Вышедшее въ то время сочиненіе Дункера соединило въ одномъ изящномъ цѣломъ разрозненные труды специалистовъ и богатствомъ раскрывавшейся въ немъ жизни приводило читателей въ восторгъ, какой рѣдко выпадалъ на долю ученаго труда. Курсъ Кудрявцева былъ отраженіемъ этого новаго, горячаго интереса къ древнему Востоку, овладѣваго наукой, и передавалъ слушателямъ одушевленіе, возбуждаемое въ изслѣдователяхъ вновь открытою колыбелью человѣческой цивилизаціи. Новѣйшая исторія была тогда запретнымъ плодомъ въ нашихъ университетахъ, но едва ли студенты стали бы слушать съ большимъ вниманіемъ рассказы о событіяхъ 48 года, чѣмъ то, съ которымъ они прислушивались на лекціяхъ Кудрявцева къ исторіи фараоновъ, только-что вышедшихъ изъ своихъ гробницъ на свѣтъ науки, или къ новому истолкованію родословной народовъ въ книгѣ Бытія ¹⁾. Несмотря на свою сухость, этотъ послѣдній предметъ имѣлъ для студентовъ особенно заманчивый, таинственный интересъ. Это была первая попытка на ихъ глазахъ связать въ одно священную и мірскую исторію, внести въ область первой твердые научные приемы и одухотворить сухую лѣтопись о завоеваніяхъ и паденіи восточныхъ государствъ великими вопросами о происхожденіи человѣчества и его религіозныхъ идеаловъ. Здѣсь, вѣжется, нужно искать главную причину глубокаго впечатлѣнія, которое производилъ этотъ курсъ Кудрявцева. Хотя курсъ и не выходилъ изъ строго-историческихъ рамокъ, черезъ него просвѣчивалась философская мысль Шеллинга о единствѣ религіознаго / сознанія въ человѣчествѣ и преемственности религіозныхъ пред-

¹⁾ По сочиненію Кнебеля: „Die Völkertafel in der Genesis“.

ставленій у отдѣльныхъ народовъ. Подробнѣе студенты знакомились съ философіей Шеллинга на лекціяхъ П. М. Леонтьева, специально посвященныхъ этому предмету; въ исторіи же Востока Кудрявцева философская подкладка служила имъ той руководящей нитью, при помощи которой они выбирались изъ лабиринта фактовъ и впервые усваивали себѣ пониманіе *историческаго развитія*.

Занятый въ 1855—6 году на первомъ курсѣ повтореніемъ исторіи Востока, Кудрявцевъ, однако, не хотѣлъ разстаться съ своими прежними слушателями и читалъ имъ, какъ продолженіе исторіи Востока, дополнительный двухчасовой курсъ о героическомъ періодѣ въ исторіи Греціи, держась предѣловъ Дункера, т.-е. доводя эту исторію до начала персидскихъ войнъ. Въ началѣ этого учебнаго года скончался Т. Н. Грановскій, и всѣ надежды студентовъ были сосредоточены на одномъ Кудрявцевѣ. Между тѣмъ былъ заключенъ парижскій миръ; двери Россіи, долгое время строго охраняемыя, снова широко раскрылись въ западную Европу; состояніе здоровья П. Н. требовало отдыха, занятія его нуждались въ освѣженіи у самаго источника изучаемой имъ науки и въ досугѣ для докторской диссертации—и онъ взялъ годовой отпускъ за границу на 1856—7 академическій годъ. Извѣстіе это очень огорчило студентовъ; они лишались преподавателя, лекціями котораго очень дорожили, и разставались съ человѣкомъ, съ которымъ у нихъ образовалась душевная связь. Желая выразить эти чувства, они задумали дать П. Н. прощальный обѣдъ. Подобное проявленіе самостоятельности со стороны студентовъ было дѣломъ необычнымъ и потому смѣлымъ; студенты только-что избавились отъ маршировки на дворѣ университета и отъ лекцій фортификаціи, которыя читалъ назначенный для этого полковникъ въ большой залѣ новаго университета. Поэтому участниковъ въ обѣдѣ набралось не очень много, человѣкъ около 25. Даже студенты 4-го курса, привыкшіе къ болѣе формальнымъ отношеніямъ къ профессорамъ, уклонились отъ участія въ обѣдѣ. Затрудненіе заключалось, впрочемъ, не столько въ томъ, чтобы побѣдить безучастіе товарищей, сколько въ приглашеніи профессоровъ. Кромѣ самого Кудрявцева, студенты желали пригласить и ближайшихъ его друзей, П. М. Леонтьева и С. М. Соловьева. Съ первымъ изъ нихъ многіе студенты сблизились еще на первомъ курсѣ, но Соловьева они мало знали; онъ начиналъ читать съ 3-го курса, состоялъ деканомъ и казался строгимъ блюстителемъ формальныхъ отношеній. Студенты долго совѣщались, кому изъ нихъ подойти къ Соловьеву, который могъ не только отказать прійхать, но и запретить самый обѣдъ, въ виду лежащей на де-

канѣ отвѣтственности. Не безъ волненія студенты обступили Соловьева на большомъ крыльцѣ новаго университета, когда онъ, по своему обычаю, тотчасъ послѣ ранней лекціи спѣшилъ въ архивъ. Выслушавъ просьбу студентовъ, Соловьевъ принялъ озабоченный видъ, потупилъ глаза, довольно долго молчалъ, наконецъ кратко и почти сухо заявилъ, что принимаетъ приглашеніе.

Отвѣчая на выраженія горячаго сочувствія со стороны студентовъ и прощаясь съ ними, П. Н. Кудрявцевъ обѣщалъ, по возвращеніи, посвятить имъ всѣ свои труды и силы. Онъ направилъ свой путь въ Италію, въ страну, которой былъ посвященъ его главный ученый трудъ и къ исторіи которой онъ не разъ возвращался въ своихъ статьяхъ. Подъ вліяніемъ смѣлой политики Пьемонта, руководимой Кавуромъ, на Апеннинскомъ полуостровѣ повѣяло новой политической жизнью, и авторъ „Судебъ Италіи“, конечно, съ особеннымъ интересомъ слѣдилъ за біеніемъ этой жизни. Читатели „Русскаго Вѣстника“ имѣли возможность, отъ времени до времени, на страницахъ „Современной Лѣтописи“ угадывать перо горячаго поклонника заветной идеи итальянской исторіи. Но среди полного счастья, которое можетъ доставить ученому свободное занятіе любимымъ предметомъ, Кудрявцева неожиданно постигъ роковой ударъ. Послѣ многихъ лѣтъ бездѣтнаго брака ему блеснула надежда имѣть семью. Но то, что давало поводъ къ надеждѣ, оеазалось признакомъ тяжелаго недуга, который быстро свелъ въ могилу В. А. Кудрявцеву. Потеря жены совершенно подкосила здоровье П. Н. По своей любящей и сосредоточенной натурѣ онъ совершенно не могъ обходиться безъ взаимной привязанности, безъ подруги, которой онъ привыкъ повѣрять всѣ свои мысли и чувства. Притомъ легко было замѣтить, насколько живость и простодушная веселость В. А. была необходима для душевнаго спокойствія ея мужа.

4-го окт. 1857 г., въ годовщину смерти Грановскаго, студенты, собравшіеся на Пятницкомъ кладбищѣ, снова увидѣли въ кружкѣ профессоровъ П. Н. Кудрявцева. Онъ какъ бы постарѣлъ на нѣсколько лѣтъ. Замѣтивъ студентовъ, онъ быстро къ нимъ подошелъ и горячо обнялъ cadaго изъ нихъ, не сказавъ ни слова отъ волненія. Нѣсколько дней спустя, они увидѣли его въ аудиторіи. Онъ приступилъ къ чтенію Новой Исторіи, и видно было, какъ много онъ желалъ дать своимъ слушателямъ. Онъ устроилъ даже особые часы для историческихъ бесѣдъ. Но это не принялось. Студенты-историки, не зная еще предмета, не рѣшались дѣлать вопросовъ или высказывать свои мнѣнія, а нѣкоторые случайные посѣтители, тѣмъ болѣе смѣлые, что не пони-

мали, въ чемъ дѣло, пускались въ критику профессорскихъ словъ, приводили въ недоумѣніе студентовъ и злоупотребляли терпѣніемъ профессора. Но все это неожиданно скоро кончилось. Въ началѣ ноября лекціи Новой Исторіи прервались; нѣсколько времени спустя въ университетѣ распространился слухъ, которому боялись вѣрить: будто П. Н. боленъ чахоткой, а уже въ январѣ, въ ясный морозный день, студенты несли на своихъ плечахъ гробъ Кудрявцева на Даниловское кладбище.

Для всѣхъ, кто пережилъ эти дни, и для всѣхъ, кто помнитъ болѣе раннее время профессорской дѣятельности Кудрявцева, когда онъ еще былъ полонъ силъ и надеждъ, сборникъ его статей будетъ пріятнымъ подаркомъ, отраднымъ напоминаніемъ дорогого и забытаго прошлаго. Но подобное же значеніе будетъ имѣть это изданіе и для болѣе обширнаго круга современныхъ читателей. Такое изданіе представляетъ собой живую страницу изъ исторіи умственной жизни русскаго общества. Мы разсматриваемъ теперь съ любопытствомъ каталоги библіотекъ людей XVIII и другихъ, болѣе раннихъ, вѣковъ. По этимъ краткимъ указаніямъ мы составляемъ себѣ понятіе о томъ, что читали тогда люди, чѣмъ они интересовались, куда направлены были ихъ мысли, ихъ надежды. Но несравненно интереснѣе, конечно, для современнаго русскаго читателя проникать въ умственный кругозоръ предшествовавшего ему поколѣнія. Журнальныя статьи Кудрявцева вызывались появленіемъ въ исторической наукѣ книгъ, обращавшихъ на себя всеобщее вниманіе или приближавшихъ къ разрѣшенію какой-нибудь научный вопросъ; еще чаще происхожденіе ихъ обуславливалось какимъ-нибудь явленіемъ въ ученой или литературной жизни русскаго общества — защитой диссертациі, публичной рѣчью на университетскомъ актѣ, празднованіемъ столѣтней годовщины московскаго университета и т. п. По поводу одной изъ статей мы знакомимся съ характерными условіями тогдашней цензуры; другая переноситъ насъ на почву учено-литературной борьбы съ направленіями, враждебными развитію исторической науки, какъ проводника западной цивилизациі. Нѣкоторыя изъ статей, если принять во вниманіе ихъ объемъ или спеціальность содержанія, чрезвычайно характерны для тогдашней публики и журналистики. Статья, напр., о Карлѣ V, помѣщенная въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, есть собственно цѣлая книга въ 250 страницъ; здѣсь, впрочемъ, объемъ скрадывается цѣльностью и интересомъ содержанія; но какой изъ современныхъ литературныхъ журналовъ рѣшился бы дать теперешней публикѣ „Юность“ Данта въ 8. печатныхъ листовъ, въ особенности же крайне спеціальныи анализъ

первой части книги Швеглера о до-историческомъ легендарномъ періодѣ исторіи Рима—на 9 печатныхъ листахъ? Очевидно, размежеваніе между литературными и учеными журналами еще не состоялось, и почтенныя „Отечественныя Записки“ пятидесятихъ годовъ считали долгомъ выносить на своихъ плечахъ и науку въ узкомъ смыслѣ этого слова, а обычная журнальная публика была въ состояніи, между прочимъ, прочесть и ученый *трактатъ*.

Но если въ данномъ случаѣ мы можемъ говорить о вторженіи спеціальнаго изслѣдованія въ область журнальной литературы, то, въ общемъ, статьи Кудрявцева представляютъ собою совершенно другой, противоположный интересъ. А именно, всѣ онѣ служатъ замѣчательнымъ проявленіемъ эпохи, когда исторіографія отличалась у насъ преимущественно литературнымъ характеромъ, когда она, въ извѣстномъ смыслѣ, представляла собой отрасль беллетристики. Еслибы мы здѣсь имѣли дѣло съ единичнымъ фактомъ, мы могли бы искать объясненія въ личномъ талантѣ или наклонностяхъ автора. Въ натурѣ П. Н. Кудрявцева была сильная потребность художественнаго элемента; онъ живо ощущалъ красоту внѣшнихъ формъ; объ этомъ громко свидѣтельствуетъ горячій восторгъ, съ которымъ онъ привѣтствовалъ встрѣтившіяся ему за границей произведенія античной скульптуры и новой живописи. П. Н. Кудрявцевъ былъ и самъ литераторомъ, прежде чѣмъ сталъ историкомъ; его потребность художественнаго творчества выказалась въ цѣломъ рядѣ повѣстей. Понятно, что, сдѣлавшись историкомъ, онъ перенесъ и въ исторію нѣкоторые приемы и вкусы литератора. Но, какъ мы уже сказали, не все здѣсь объясняется личными свойствами нашего автора, ибо беллетристическимъ отгѣнкомъ отличается вообще исторіографія того времени. Это обуславливалось самимъ временемъ и вкусомъ публики. Конечно, этотъ вкусъ публики былъ не совсѣмъ добровольный. При отсутствіи того, что называется внутренней политической жизнью, и при невозможности касаться политическихъ вопросовъ у другихъ народовъ, изящная литература и поэзія безраздѣльно должны были занимать вниманіе читающей публики. Но и политикой не все можно объяснить. Дѣло все-таки въ томъ, что у насъ, какъ въ другое время и у другихъ народовъ, исторіографія развилась изъ беллетристики и долго носила черты матери. Въ области *русской* исторіи, гдѣ творческая дѣятельность была значительнѣе и самобытнѣе, это явленіе гораздо замѣтнѣе, и контрастъ рѣзко бросится въ глаза всякому, кто сопоставитъ *Исторію государства Россійскаго* Карамзина, гдѣ старина замаскирована литературнымъ плащомъ, съ *Исторіей Россіи* Соловьева, гдѣ исторія, чтобы быть

ближе къ правдѣ, такъ часто говоритъ языкомъ архива. Въ области Всеобщей Исторіи переходъ не могъ быть такъ ощутителенъ; нашимъ читателямъ, во-первыхъ, приходилось идти по слѣдамъ образцовыхъ историковъ западной Европы; во-вторыхъ, имъ нельзя было поддаться искушенію говорить языкомъ старины, такъ какъ языкъ этой старины былъ для читателей — чужой и непонятный; но и здѣсь, однако, ощутительно вліяніе беллетристики. Особенно замѣтно оно въ статьяхъ Кудрявцева: оно отражается здѣсь какъ въ выборѣ сюжетовъ, такъ и въ особенностяхъ языка патетическаго и ищущаго образовъ; она высказывается въ тщательности, съ которой авторъ *разрисовываетъ* подробности обстановки, и *дорисовываетъ* психологическими мотивами характеръ и дѣятельность историческихъ лицъ; наконецъ, оно особенно здѣсь проявляется въ такъ-сказать субъективномъ *лиризмѣ*, которымъ проникнута большая часть статей, т.-е. въ томъ, что на нихъ часто замѣтна печать внутреннего настроенія, въ которомъ находился авторъ.

Переходя теперь къ статьямъ, которыя будутъ предметомъ нашего разсмотрѣнія, мы скажемъ сначала нѣсколько словъ о времени и порядкѣ ихъ появленія.

Самый ранній изъ ученыхъ трудовъ Кудрявцева остался неизданнымъ ¹⁾. Сохранившаяся рукопись носитъ заглавіе: „Папство и имперія въ IX, X, XI и началѣ XII стол.“. Это „разсужденіе кандидата Кудрявцева“ было представлено въ факультетъ въ 1844 г. и, какъ видно изъ подписей, просмотрѣно почти всѣми тогдашними профессорами. Диссертация, однако, не была допущена до диспута по настоянію Шевырева, который, какъ видно изъ его замѣтокъ на поляхъ, находилъ, что авторъ слишкомъ сочувствуетъ папской власти и что его взгляды несогласны съ ученіемъ православной церкви. Несмотря, впрочемъ, на это, магистрантъ былъ отправленъ за границу. Оттуда онъ прислалъ въ 1846 году въ „Отечественныя Записки“ свое описаніе вѣнскаго картинной галлерей, перепечатанное въ I томѣ „Сочиненій“. Серьезно познакомившись уже въ Дрезденѣ и Мюнхенѣ съ европейской живописью, Кудрявцевъ былъ въ состояніи разсматривать вѣнскій „Бельведеръ“ глазами знатока и чувствовалъ потребность подѣлиться съ другими своими впечатлѣніями. Въ слѣдующемъ году—первоначально въ формѣ письма къ другу—появилась статья Кудрявцева о „Венерѣ Милосской“: это собственно взрывъ не-

¹⁾ Отрывокъ изъ этого сочиненія Кудрявцева напечатанъ въ хрестоматіи Л. И. Поливанова.

посредственного художественного восторга, который авторъ испытывалъ предъ знаменитой статуей и которому онъ съумѣлъ дать полный художественное выраженіе, достойное самого предмета. По возвращеніи въ Россію, Кудрявцевъ весь отдался своимъ новымъ обязанностямъ и своей обширной магистерской диссертациі: „Судьбы Италіи“, и уже не искалъ досуга для журнальных статей. Въ 1851 году появилась первая изъ нихъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“: „О достовѣрности исторіи“. Это была борьба про domo sua—молодой профессоръ исторіи вступился за честь и самое существованіе своей науки. 1852 годъ принесъ съ собой уже три статьи: неоконченную, вслѣдствіе цензурныхъ препятствій, статью о *Каролингахъ въ Италіи*, продолженіе *Судебъ Италіи*, статья о драмѣ Софокла *Эдипъ Царь*, которую перевелъ и помѣстилъ въ „Прописяхъ“ проф. римской словесности С. Д. Шестаковъ, товарищъ и другъ Кудрявцева, и, наконецъ, обстоятельную рецензію маг. диссертациі И. К. Бабста: „Государственные мужи древней Греціи въ эпоху ея распаденья“. Въ томъ же году Т. Н. Грановскій прочелъ на университетскомъ актѣ свою рѣчь о „Современномъ значеніи исторіи“; чтобы познакомить публику съ поддержаніемъ этой замѣчательной рѣчи и высказаться о вопросахъ, относительно которыхъ онъ не во всемъ былъ согласенъ съ авторомъ рѣчи, П. Н. посвятилъ ей въ слѣдующемъ году особую статью. Въ 1854 г. книга Швеглера, самый крупный трудъ по римской исторіи, появившійся послѣ Нибура, побудила П. Н. углубиться въ вопросъ о до-историческомъ періодѣ Рима и познакомить публику съ новымъ поворотомъ въ изученіи этого предмета. 1855 годъ былъ особенно богатъ статьями: въ ознаменованіе столѣтней годовщины московскаго университета профессорами былъ изданъ особый сборникъ статей, и участіе П. Н. въ этомъ сборникѣ выразилось въ статьѣ объ осадѣ Лейдена. Храбрая защита этого города ознаменовалась, какъ извѣстно, основаніемъ знаменитаго лейденскаго университета и, можетъ быть, кромѣ того, напоминала автору другую, происходившую въ то время, осаду, отъ которой надрывалось сердце современниковъ. Магистерская диссертациі С. В. Ешевскаго объ „Аполлинаріи Сидоніи“ вызвала разборъ ея со стороны бывшаго учителя автора и оппонента. Затѣмъ превосходная книга Вегеле о жизни Данта внушила Кудрявцеву мысль описать и для русскихъ читателей жизнь этого таинственнаго генія среднихъ вѣковъ, къ которому П. Н., по своей натурѣ, долженъ былъ имѣть такое сочувствіе. Но біографія остановилась на юности Данта. Наконецъ, появившаяся въ 1853—4 г., въ 10 томахъ, переписка Жозефа Бона-

парта побудила П. Н. предпринять для „Московскихъ Вѣдомостей“ рядъ очерковъ о завоеваніи французами Неаполя. Тяжесть утраты, которую понесли ученики и друзья Грановскаго, вслѣдствіе неожиданной его смерти осенью 1855 года, отразилась въ *Воспоминаніяхъ* Кудрявцева о Грановскомъ; она же возложила на него обязанность заняться, вмѣстѣ съ С. М. Соловьевымъ, изданіемъ сочиненій Грановскаго, которыя вышли лѣтомъ слѣдующаго года; введеніемъ къ нимъ служило написанное Кудрявцевымъ „Извѣстіе о литературныхъ трудахъ Грановскаго“, не вошедшее въ сборникъ его статей. Съ января 1856 г. сталъ выходить „Русскій Вѣстникъ“, въ которомъ П. Н. Кудрявцевъ состоялъ однимъ изъ четырехъ первоначальныхъ редакторовъ; для этого журнала онъ написалъ свое обширное изслѣдованіе о *Карлѣ V*. Наконецъ, пребываніе въ Италіи и появившаяся вторымъ изданіемъ книга Реймонта о *Юности Катерины Медичи* вызвали работу подъ такимъ же заглавіемъ со стороны Кудрявцева. Въ Италіи же Кудрявцевъ написалъ и первую главу задуманной имъ біографіи Грановскаго, появившуюся въ печати уже послѣ смерти самого автора ¹⁾.

Въ изданіи гг. Колосова и Карцева статьи Кудрявцева расположены не въ хронологическомъ порядкѣ, но въ подборѣ, болѣе удобномъ для читателя, такъ какъ статьи, однородныя по содержанию, по возможности помѣщены вмѣстѣ. Такимъ образомъ, во главѣ всего изданія напечатаны двѣ статьи, касающіяся общаго положенія и значенія исторіи, какъ науки. Одна изъ нихъ заключаетъ въ себѣ возраженіе на записку, представленную въ академію наукъ президентомъ ея, бывшимъ министромъ народнаго просвѣщенія, гр. С. С. Уваровымъ, на тему: „Достоѣрнѣ ли становится исторія“. Записка, представленная на французскомъ языкѣ, появилась одновременно въ двухъ русскихъ переводахъ въ „Москвитинѣ“ и въ „Современникѣ“ и, конечно, обратила на себя всеобщее вниманіе. Отрицая, что исторія становится достоѣрнѣе, авторъ записки подвергалъ сомнѣнію „одно изъ первыхъ условій ея существованія“, и, утверждая, что исторія не что иное, какъ *цѣль преданій*, переходящихъ изъ рода въ родъ, онъ отнималъ у нея всякое научное значеніе. „Возраженіе, — какъ выразился Кудрявцевъ, — получало еще особенный вѣсъ отъ того, что за него ручался авторитетъ, давно уже признанный въ литературномъ и ученомъ мірѣ“.

¹⁾ Въ рассматриваемое нами изданіе сочиненій Кудрявцева не вошелъ его „Историческіе рассказы по Тациту“, печатавшіеся въ „Пропілеяхъ“ и изданные послѣ его смерти подъ заглавіемъ: „Римскія женщины по Тациту“.

Повидимому, только авторитетность лица, поставившаго вопросъ, побудила молодого профессора поднять брошенную историкамъ перчатку; самый вопросъ, въ его глазахъ, не заслуживалъ серьезнаго вниманія. „Не изъ круга самой науки—сомнѣніе въ достовѣрности исторіи могло возникнуть только извне“, замѣчаетъ Кудрявцевъ съ вѣжливой ироніей. Дѣйствительно, нападки на исторію въ *мемуаръ* обнаруживаютъ недостаточное знакомство автора съ научной ея разработкой; но они касаются такихъ сторонъ исторіи, которыя всегда ей будутъ присущи; поэтому подобныя возраженія противъ исторіи всегда будутъ повторяться, хотя бы въ иной, болѣе зрѣлой, формѣ, вращаясь около существеннаго вопроса о научномъ значеніи исторіи. Въ виду этого, и самыя нападки, и еще болѣе отвѣтъ на нихъ Кудрявцева, имѣютъ въ наше время общій интересъ. „Нѣтъ сомнѣнія,—говоритъ авторъ академической записки,—что исторія древнихъ временъ основана на догадкахъ; она скорѣе дѣло вѣры, нежели обсужденія. За то и вынуждены мы допустить ее едва ли не въ томъ видѣ, въ какомъ построили намъ ее поэты, историки и риторы“. Такой упрекъ въ то самое время, когда наука свободно читала побѣдные бюллетени фараоновъ и начинала разбирать клинообразныя надписи, такой упрекъ отзывался дилеттантизмомъ, и въ отвѣтъ Кудрявцева явно звучитъ торжество историка, который могъ гордиться новѣйшими успѣхами египтологіи. „Пусть,—восклицаетъ онъ,—молчаливый сфинксъ остается на своемъ прежнемъ мѣстѣ; исторія уже начинаетъ обходить его и заглядывать далѣе. Были загадкой Гиксосы, и Моверсъ показалъ, что, допрашивая финикійскую древность, есть возможность разгадать и этихъ таинственныхъ пришельцевъ“. „Исторія,—побѣдоносно заключаетъ Кудрявцевъ,—перестаетъ быть дѣломъ одной вѣры, когда для нея открывается возможность повѣрки“. Нападеніе на исторію не довольствовало, впрочемъ, указаніемъ на скудость ея данныхъ; оно пыталось въ самыхъ усиленныхъ ея лучшихъ изслѣдователей придать исторіи научный характеръ—найти доводъ противъ ея состоятельности, какъ науки. Именно то, что составляло гордость исторической науки,—смѣлая и проницательная критика Вольфа и Нибура,—была обращена въ орудіе противъ нея. „Къ чему,—спрашивалъ графъ Уваровъ,—повели огромные труды Нибура, который безъ малѣйшихъ да и невозможныхъ возраженій разрушилъ всѣ основанія римской исторіи?“ Защитникъ сознавалъ, что все сомнѣніе въ древней исторіи у его противника есть не что иное, „какъ выводъ изъ частнаго вопроса о заслугахъ критика Нибура“, и потому на этомъ вопросѣ рѣшился дать свое

генеральное сраженіе. Половина всей статьи посвящена исключительно вопросу о Нибурѣ, и въ результатѣ мы имѣемъ прекрасную характеристику заслугъ и значенія этого ученаго. Прежде всего Кудрявцевъ постарался выяснитъ, что не даромъ прошло для науки отрицаніе Нибура, что самые противники его вынуждены признать силу его возраженій и что даже тѣ изъ нихъ, которые не раздѣляютъ его сомнѣній относительно начала римской исторіи, какъ скоро предпринимаютъ утверждать что-либо, всегда возвращаются къ Нибуру и опроверженіе его считаютъ первымъ условіемъ прочности своихъ собственныхъ мыслей. „Но мы были бы до крайности несправедливы къ Нибуру,—замѣчаетъ далѣе Кудрявцевъ,—еслибы въ цѣломъ его твореніи, вмѣстѣ съ авторомъ мемуара, не хотѣли видѣть ничего болѣе, кромѣ сомнѣній и вопросовъ, и во всей его дѣятельности только одно отрицаніе. Положительное знаніе, утверждающееся на истинной исторической почвѣ, напередъ очищенной строгимъ анализомъ и основанное на самомъ пониманіи предмета—вотъ тотъ идеалъ знанія, къ которому постоянно стремился Нибуръ“. „Отрицая призрачное, онъ въ то же самое время закладывалъ прочныя основанія для прочнаго историческаго зданія и работалъ надъ нимъ еще съ большимъ напряженіемъ. А что же изъ того, что не всѣ мнѣнія Нибура приняты послѣдовавшими за ними учеными? „Римская исторія“ этого ученаго вѣдь не могла же быть послѣднимъ заключительнымъ словомъ науки; было бы гораздо страннѣе, еслибы Нибуръ не только началъ, но и завершилъ собою все начатое имъ движеніе. Наука не стоитъ: она постоянно идетъ впередъ, переходя отъ одного вопроса къ другому, иногда даже нѣсколько разъ возвращаясь къ старымъ своимъ задачамъ и отыскивая имъ новое, болѣе удовлетворительное, разрѣшеніе, и самое первое мѣсто въ ней принадлежитъ тѣмъ гениальнымъ ученымъ, которые ведутъ за собою цѣлый рядъ послѣдователей, дѣйствующихъ врознь, но незамѣтно для нихъ самихъ идущихъ къ одной великой цѣли,—къ возможному осуществленію высокаго идеала знанія“.

Другого рода нападеніе и совершенно инымъ оружіемъ было поведено на новую исторію. Если изученіе древней исторіи признавалось безплоднымъ, вслѣдствіе *недостатка* средствъ къ познанію, то новая исторія отвергалась вслѣдствіе *излишества* этихъ средствъ, многочисленности подробностей, безконечнаго разнообразія источниковъ. Эта общая мысль опиралась на указаніе, что нѣтъ ни одного сочиненія, которое представляло бы полное, т.-е. всестороннее безпристрастное изображеніе извѣстной

эпохи, и что мы имѣемъ до сихъ поръ отъ той ли, отъ другой ли партіи „или одни факта, или извлеченія въ родѣ Вольтеровыхъ или Юмовыхъ, чрезвычайно забавныя, но безъ заботы объ истинѣ, и таково неминуемое слѣдствіе обязанности, возложенной на историка—быть безпристрастнымъ во что бы то ни стало“.

Итакъ, былъ поднятъ давнишній вопросъ о субъективности историческихъ писателей и о невозможности, вслѣдствіе этого, распознать дѣйствительную истину. Какъ на этотъ упрекъ отвѣтитъ Кудрявцевъ? „Наука имѣетъ свое объективное существованіе, которое представляется всѣми ея дѣятелями и обнимаетъ собою все богатство основательнаго знанія, безъ различія времени и мѣста, когда и гдѣ оно приобрѣтено. Поэтому, кажется намъ, напрасно стали бы мы для той или другой исторической эпохи искать одного только писателя, который бы совершенно исчерпалъ содержаніе своего предмета въ предѣлахъ извѣстнаго времени, такъ чтобы намъ ничего не оставалось желать болѣе. Такого писателя нѣтъ—и мы можемъ сказать безъ запинки—не можетъ быть, потому что, какъ бы ни удалось ему изображеніе предмета съ главныхъ его сторонъ, всегда найдется нѣсколько другихъ, имъ или вовсе незамѣченныхъ, или недостаточно осмотрѣнныхъ. Въ томъ и состоитъ важное отличіе науки отъ личнаго или субъективнаго знанія и ея преимущество передъ нимъ, что, совмѣщая въ себѣ все то, что у различныхъ писателей является въ своей отдѣльности, она гораздо менѣе подвержена упреку въ односторонности“. Такъ, при защитѣ своей науки отъ несправедливыхъ нареканій, самому защитнику становился все яснѣе ея смыслъ и ея значеніе... „Исторія,—говоритъ Кудрявцевъ,—какъ и всѣ другія науки одного съ нею начала, далека отъ притязаній на такое знаніе, которое бы не оставляло ничего темнаго или спорнаго въ изслѣдуемомъ предметѣ. Она *ищетъ* истины въ области, подлежащей ея вѣденію, и средствами, ей доступными, и не можетъ похвалиться, чтобы уже овладѣла знаніемъ, вполне равносильнымъ самому предмету; успѣхи исторіи, какъ науки, измѣряются не одною только мѣрою приближенія ея къ идеямъ, но и тѣмъ, сколько уже она побѣдила незнанія; чтобы оцѣнить по достоинству то богатство, которымъ она располагаетъ на послѣдней (по времени) ступени своего развитія, надобно прежде всего взять въ соображеніе, какъ великъ былъ кругъ приобрѣтеній въ предшествующую эпоху“.

Для примѣра такого обогащенія знаній, доставленныхъ новыми изслѣдованіями, Кудрявцевъ указалъ на труды Легюера, Петиньи, Лёбеля, Вайца и др., въ области меровингской эпохи,

но мы приведемъ съ особеннымъ удовольствіемъ другое мѣсто статьи, гдѣ, въ чрезвычайно поэтическомъ образѣ, Кудрявцевъ упомянулъ о новомъ приобрѣтеніи, только-что сдѣланномъ исторіей на отдаленномъ Востокѣ: „Жизнь историческая уходитъ все впередъ и впередъ отъ своихъ первыхъ зачатковъ, а тамъ, позади ея, надъ самыми этими зачатками, все больше и больше разгорается свѣтъ, которымъ отражается на нихъ современное знаніе“. А затѣмъ, далѣе, съ какою ясностью и увѣренностью молодая русская наука, въ лицѣ Кудрявцева, сознавала успѣхъ или прогрессъ знанія въ области исторіи, и какую бодрость духа и жизненность почерпала она изъ сознанія своей тѣсной связи съ наукою европейской: „Наука ощутительно зрѣетъ какъ по формѣ, такъ еще болѣе по содержанію; не въ одномъ мѣстѣ, не систематически, по принятому напередъ плану производится разработка ея, но изъ суммы всей этой дѣятельности складывается одинъ огромный капиталъ, который весь наука по праву можетъ считать своимъ достояніемъ, безъ различія мѣстности, гдѣ выработана та или другая доля ея“.

Перейдемъ теперь къ другой статьѣ Кудрявцева: „О современныхъ задачахъ исторіи“, которая была вызвана рѣчью Грановскаго: „О современномъ состояніи и значеніи всеобщей исторіи“. Эта рѣчь, по своей главной мысли, находилась въ тѣсной связи съ письмомъ естествоиспытателя Эдвардса къ А. Тьерри, которое было переведено и издано Грановскимъ одновременно съ рѣчью. Кудрявцевъ, какъ историкъ, считалъ своимъ долгомъ не оставить безъ возраженія главную мысль рѣчи, и такимъ образомъ вступилъ, съ своимъ искренно уважаемымъ учителемъ и товарищемъ въ „обмѣнъ мыслей“, къ которому въ наше время всѣ, конечно, отнесутся съ живѣйшимъ интересомъ.

Характерно, что Кудрявцевъ счелъ нужнымъ начать свою статью съ защиты Грановскаго отъ упрека, что онъ мало пишетъ и издаетъ. Въ этомъ упрекѣ слышится отголосокъ тѣхъ нападокъ на Грановскаго, которыми его противники въ университетѣ и въ журнальной литературѣ старались ему мстить за его популярность, за громадное нравственное вліяніе и то цивилизующее направленіе его лекцій, которое называли *западничествомъ*. Кудрявцевъ отвѣчалъ насмѣшками тѣмъ, кто ведетъ съ публикой постоянный, непрерывающійся разговоръ, и, если не случится другого матеріала, сообщаетъ ей лѣтопись того, что дѣлается у него въ семьѣ и въ кабинетѣ, а Грановскаго защищалъ замѣчаніемъ, что онъ видитъ въ литературѣ не подневное ремесло, а благородное искусство, и указаніемъ на изящную

форму и „строго воздержное на слова и выразительное изложение“. Характеризуя слогъ Грановскаго, Кудрявцевъ, между прочимъ, мѣтко указалъ на своеобразное построение и замкнутость его фразъ, въ которомъ всѣ „объяснительныя и дополнительные рѣченія всегда искусно подобраны въ средину рѣчи“.

Обращаясь къ самому содержанію статьи Кудрявцева, мы сначала коснемся двухъ возраженій Грановскому, которыя для насъ важны не столько по существу, сколько потому, что они хорошо знакомятъ съ образомъ мыслей Кудрявцева. Говоря о различіи античной исторіографіи отъ новой, Грановскій исходилъ изъ вѣрной мысли, что въ наше время *научный элементъ* въ исторіографіи долженъ стоять на первомъ планѣ, долженъ составлять преобладающую работу историка. Но, проводя эту мысль, Грановскій высказалъ ее въ нѣсколькихъ положеніяхъ, которыя Кудрявцевъ не хотѣлъ оставить безъ протеста. Такъ, напр., Грановскій говорилъ: „Ясно, что при настоящемъ состояніи науки, она должна отказаться отъ притязаній на художественную оконченность формы, возможную только при строгой опредѣленности содержанія, и стремиться къ другой цѣли, т.-е. къ приведенію разнородныхъ стихій своихъ подъ одно единство науки“. Кудрявцевъ вполнѣ соглашался съ авторомъ рѣчи въ томъ, что для исторіи выросла новая великая потребность, и что современный историкъ долженъ посвящать большую часть своихъ усилій *научному изслѣдованію*, но онъ не хотѣлъ поступиться *художественной формой*, какъ существенной *потребностью* также и современной исторіографіи. Онъ видѣлъ одну изъ несомнѣнныхъ великихъ заслугъ античнаго человѣка въ томъ, что онъ всюду за собою вносилъ *облагораживающій* элементъ искусства, и настаивалъ на томъ, чтобы нашъ вѣкъ не отрѣкался отъ этого античнаго наслѣдства, чтобы историкъ „не отказывался, какъ заявлялъ Грановскій, отъ притязаній на то совершенство формы, которое у народовъ классическаго міра было слѣдствіемъ исключительныхъ, не существующихъ болѣе условий“. „Требованія науки,—возражалъ Кудрявцевъ,—могли увеличиться, вслѣдствіе расширенія ея области, идеаль художественнаго исполненія отдалились на значительное разстояніе; осуществленіе его стало на нѣсколько кратъ труднѣе; но кто станетъ утверждать, что онъ вовсе не существуетъ для историка нашего времени?“

Разногласіе между Кудрявцевымъ и Грановскимъ не могло быть существенно въ вопросѣ о формѣ историческихъ сочиненій, и первый самъ ссылаясь на произведенія Грановскаго въ доказательство того, „что художественная обработка не стала дѣломъ,

совершенно постороннимъ для историка нашего времени“. Точно также и другое замѣчаніе Кудрявцева не обнаруживаетъ принципиальнаго разногласія съ авторомъ рѣчи, но характерно для направленія Кудрявцева и для его времени.

Рѣчь зашла о вліяніи прошлаго на настоящее, и о *пользѣ* исторіи. Имѣя въ виду античное воззрѣніе, что исторія можетъ служить школой политики и морали, Грановскій утверждалъ, что „практическое значеніе исторіи у древнихъ не можетъ имѣть мѣста при сложномъ организмѣ новаго общества“. Грановскій полагалъ, что исторія сдѣлается въ высшемъ и обширнѣйшемъ смыслѣ, чѣмъ у древнихъ, наставницей народовъ и отдѣльных лицъ—лишь тогда, когда достигнетъ научнымъ путемъ *уясненія историческихъ законовъ*. При настоящемъ, далеко не совершенномъ, состояніи исторіи, Грановскій усматривалъ главную практическую пользу ея въ томъ, что она „болѣе, чѣмъ всякая другая наука, развиваетъ въ насъ вѣрное чутье дѣйствительности и ту благородную терпимость, безъ которой нѣтъ истинной оцѣнки людей“ ¹⁾. По этому поводу онъ далѣе замѣчалъ, „что въ самыхъ позорныхъ періодахъ жизни человѣчества есть искупительная, видимая намъ на разстояніи столѣтій, сторона, и на днѣ самаго грѣшнаго предъ судомъ современниковъ сердца таится какое-нибудь одно лучшее и чистое чувство“.

Кудрявцевъ взглянулъ на дѣло еще съ другой стороны. Онъ находилъ, что и безъ сравненія съ тѣмъ, чего еще исторія можетъ достигнуть впереди, намъ нельзя не признать весьма тѣснаго отношенія ея къ дѣйствительности и въ наше время. „Что римлянинъ дѣлалъ по инстинктивному внушенію своей практической природы, то стало для насъ сознательною, слѣдовательно разумною необходимостью. Римлянинъ больше предчувствовалъ, нежели отчетливо сознавалъ органическую связь настоящаго съ прошедшимъ, когда искалъ въ послѣднемъ постоянныхъ и твердыхъ образцовъ для своей собственной дѣятельности; современный намъ человѣкъ, напротивъ, весь проникнутъ мыслью, что настоящее состояніе, то, что мы называемъ нашею дѣйствительностью, необходимо условлено прошедшимъ“... „Конечно, примѣры непосредственнаго примѣненія уроковъ исторіи къ самой жизни встрѣчаются очень рѣдко; но общее сознаніе — разумѣется, въ образованныхъ классахъ—проникнуто ихъ важностью болѣе, чѣмъ когда-нибудь. Не всегда можно указать, какимъ образомъ оно переходитъ въ самое дѣйствіе; но рѣдко нельзя почувствовать

¹⁾ Сочин. Грановскаго, I, стр. 29.

его скрытаго присутствія при всѣхъ почти важнѣйшихъ событіяхъ. Въ наше время много ли найдется народовъ, въ судьбахъ которыхъ не участвовали бы, болѣе или менѣе, дѣятельно ихъ же историческія преданія?“

Кудрявцевъ, кромѣ того, вѣроятно, вспоминалъ, какое *практическое* значеніе получило изученіе исторіи именно въ его время; какъ опасались исторіи люди, руководившіеся *реакціей* противъ излишествъ и бредней 1848 года; какъ они боялись изображенія эпохъ, въ которыхъ духъ свободы внушалъ людямъ великія идеи и подвиги, и какъ они не менѣе того запрещали изображать эпохи, когда внѣшній гнетъ сокрушалъ въ обществѣ благородныя инстинкты человѣка и вызывалъ наружу дурныя сови. Въ этомъ случаѣ ярые противники исторіи сами громко свидѣтельствовали о ея высокомъ значеніи. Съ другой стороны, Кудрявцевъ не могъ не имѣть въ виду, какое нравственное и воспитательное значеніе получаетъ, именно при такихъ обстоятельствахъ, изученіе прошлаго. Мы припоминаемъ, какъ высоко тогда цѣнили въ профессорскихъ кругахъ почтенное, слишкомъ забытое въ наше время, — сочиненіе Шмидта: „Ueber die Denk- und Glaubensfreiheit unter den Caesaren“, и какое хорошее, возвышающее духъ впечатлѣніе производило чтеніе этой книги на студентовъ.

При тогдашней изумительной взыскательности цензуры, Кудрявцевъ не могъ, конечно, открыто высказать свою мысль, и только съ помощью сдѣланныхъ сейчасъ замѣчаній можно, какъ намъ кажется, понять настоящій смыслъ его словъ: „Древній человѣкъ бралъ у исторіи одну ея хорошую сторону, хотѣлъ отъ нея примѣровъ, образцовъ, наставленій; многосторонняя мысль нашихъ современниковъ съ одинаковымъ интересомъ изучаетъ эпохи упадка общественнаго благосостоянія и нравственности, какъ и времена процвѣтанія человѣческихъ обществъ; она еще болѣе проникнута желаніемъ поучаться у прошедшаго и, не довольствуясь одною славною стороною исторіи, ищетъ себѣ назиданія въ самихъ бѣдствіяхъ отжившихъ поколѣній и ихъ слабостяхъ“. Кудрявцеву приходилось защищать свою науку не только противъ официальныхъ мѣръ, стѣснявшихъ дѣятельность историка, но почти-что еще болѣе противъ общественныхъ теченій, которыя при тогдашней удушливой атмосферѣ разрастались до изумительныхъ притязаній. По этому поводу онъ приводитъ, между прочимъ, одинъ чрезвычайно забавный фактъ изъ тогдашнихъ литературныхъ нравовъ, рассказывая, какъ Грановскаго упрекали за то, что онъ выбралъ для одной изъ своихъ историческихъ характеристикъ — Бэкона Веруламскаго, „человѣка, въ жизни кото-

раго есть темныя стороны, слабости, пятна“. Дѣло въ томъ, что Бэконъ былъ канцлеромъ королевства, и пятно, лежавшее на немъ, заключалось во взяточничествѣ. Поэтому-то автору характеристики кричали: „давайте намъ образцы, достойные подражанія, а историческую истину въ ея полнотѣ оставьте у себя—мы въ ней не нуждаемся“.

Переходимъ теперь къ болѣе принципиальному разногласію между историками, на которомъ слѣдуетъ внимательно остановиться, такъ какъ оно касается чрезвычайно важнаго и теперь стоящаго на очереди вопроса объ отношеніяхъ исторіи къ естествознанію. Оба историка были согласны между собою въ томъ, что надъ всѣми другими соображеніями и потребностями, надъ художественностью формы и прагматической пользой, долженъ преобладать въ исторіографіи *научный* элементъ. Но гдѣ искать этого научнаго элемента?

Мы знаемъ изъ біографіи Грановскаго, что еще въ Германіи идеи Риттера положили основное начало для его воззрѣній на отношенія природы и человѣка въ его исторической жизни ¹⁾. Нѣсколько замѣчательныхъ изслѣдованій естествоиспытателей Эдвардса и Бэра, которыя своими результатами глубоко врѣзывались въ область исторіи, укрѣпили въ Грановскомъ увѣренность въ первостепенномъ значеніи естествознанія для дальнѣйшихъ успѣховъ исторіи, какъ науки. Его университетская рѣчь была выраженіемъ этого его заветнаго убѣжденія. Въ ней живо чувствуется, съ какою пылкой вѣрой онъ искалъ въ естественныхъ наукахъ избавленія отъ утомительнаго однообразія историческихъ „компендіумовъ“ и отъ произвольныхъ логическихъ построеній со стороны философовъ исторіи. При чрезвычайной сжатости *рѣчи* и при нѣкоторой восторженности тона, вытекавшей изъ обстановки и внушаемой идеальной перспективой великаго будущаго науки, Грановскій долженъ былъ выставить очень рельефно значеніе новаго научнаго метода, который, по его мысли, исторія могла заимствовать у естествознанія. Примѣняя къ своей наукѣ слова Кетле о статистикѣ, Грановскій, напр., говорилъ о времени, когда исторія займетъ мѣсто въ ряду *опытныхъ наукъ*. Но изъ-за горячихъ привѣтствій на праздникъ науки не слѣдуетъ забывать истинной мысли Грановскаго, заключающейся въ рѣчи. Намъ кажется, что рѣшающее мѣсто въ рѣчи слѣдующее: „У исторіи двѣ стороны: въ одной является намъ свободное творчество духа человѣческаго, въ другой—независимыя отъ него, данныя приро-

¹⁾ А. Станкевичъ, „Т. Н. Грановскій“, стр. 72.

дою, условія его дѣятельности“. Это мѣсто совершенно согласно съ другими словами Грановскаго, приведенными его біографомъ: „Природа есть только подножіе исторіи, въ сферѣ которой совершается главный подвигъ человѣка, гдѣ онъ самъ является зодчимъ и матеріаломъ“.

Но для современнаго рецензента было важно вдвинуть вопросъ въ его настоящія границы, подробнѣе разъяснивъ его, и мы этому обстоятельству обязаны тѣмъ, что Кудрявцевъ подробно изложилъ свой взглядъ на отношенія исторіи къ естествознанію.

Онъ направляетъ свою критику преимущественно на то мѣсто рѣчи, гдѣ авторъ ея, упрекнувъ историковъ за ихъ равнодушіе къ естественнымъ наукамъ, восклицаетъ: „дальнѣйшее упорство, впрочемъ, невозможно, и исторія, по необходимости, должна выступить изъ круга наукъ филолого-юридическихъ на обширное поприще естественныхъ наукъ“. „Вполнѣ сочувствуемъ г. Грановскому,—замѣчаетъ рецензентъ,—въ его желаніи поставить на видъ просвѣщеннымъ русскимъ читателямъ всю важность такой проблемы, какъ сближеніе исторіи съ естествознаніемъ, и познакомить ихъ съ успѣхами этого направленія. Дѣйствительно, это одинъ изъ самыхъ живыхъ современныхъ вопросовъ въ наукѣ; онъ проходитъ, какъ самый чувствительный нервъ, черезъ всю исторію; онъ напрашивается, когда дѣло идетъ о естественныхъ границахъ той или другой страны историческаго міра, или о предѣлахъ распространенія какого угодно историческаго племени; къ нему же приходится возвращаться каждый разъ, какъ только зайдемъ рѣчь о нравахъ и обычаяхъ того или другого народа, его постоянныхъ свойствахъ, первоначальныхъ вѣрованіяхъ, о началѣ самихъ учреждений. Чѣмъ дальше подвигается исторія къ своимъ началамъ, тѣмъ больше расчищается передъ нею мракъ отдаленныхъ временъ, тѣмъ больше чувствуется подъ ногами ея *естественная основа*—природа и ея условія, потому что исторія выросла на той же самой почвѣ, на какой и всѣ прочія явленія, составляющія собственно предметъ естествознанія. Наука, въ самомъ дѣлѣ, зрѣетъ по мѣрѣ того, какъ подходитъ къ своей естественной основѣ и начинаетъ различать черезъ смѣну многихъ поколѣній ея постоянно дѣйствующее вліяніе“.

Вполнѣ признавая, такимъ образомъ, значеніе для исторіи естественно-научныхъ данныхъ, Кудрявцевъ рѣшительно отвергалъ мысль о превращеніи самой исторіи въ отрасль естествознанія. Въ виду этого онъ беретъ подъ свою защиту историковъ противъ обвиненія, что, вслѣдствіе ихъ *упорства*, такъ мало еще сдѣлано

для объясненія исторіи путемъ естественно-научныхъ изслѣдованій. Кто не знаетъ,—воскликаетъ онъ,—что число положительныхъ выводовъ, достигнутыхъ самимъ естествознаніемъ въ сферѣ историческихъ вопросовъ, еще очень ограничено, что многіе изъ этихъ вопросовъ, несмотря даже на помощь опытныхъ естествоиспытателей, до сего времени весьма мало подвинулись впередъ? Онъ не допускаетъ также упрека, что историки сами до сихъ поръ не принимали дѣятельнаго участія въ рѣшеніи вопросовъ, въ которые входятъ естественно-научныя данныя; онъ указываетъ, напротивъ, на цѣлую обширную отрасль исторической литературы, посвященную изслѣдованіямъ относительно происхожденія различныхъ народовъ, какъ древняго, такъ и новаго міра, ихъ родовыхъ признаковъ, мѣстъ первоначальнаго пребыванія и переселеній. „Но эти изслѣдованія—въ собственномъ смыслѣ историческія, они опираются на историческія извѣстія, они произведены лишь при помощи филологіи“. Итакъ, —замѣчаетъ Кудрявцевъ,—упрекъ сводится собственно къ тому, „что исторія до сихъ поръ рѣшала свои вопросы чисто исторически“, что историки нашего времени не усвоили себѣ *физиологическихъ* приемовъ! Но какія же средства удовлетворить такому требованію? Какъ заставить исторію сдѣлаться не тѣмъ, что она есть? Какъ хотѣть отъ нея, чтобы она усвоила себѣ приемы, ей несвойственные? Кудрявцевъ „остается при мнѣніи, что наука несомнѣнно много выиграетъ отъ успѣховъ новаго направленія, но что успѣхъ его не зависитъ непосредственно отъ самой исторіи“.

Не ограничиваясь такими общими замѣчаніями, рецензентъ пытается подробно рассмотреть тѣ смежныя области, въ которыхъ изученіе естественныхъ условій можетъ пролить свѣтъ на ходъ исторіи. Двѣ стороны различаетъ онъ въ вопросѣ о вліяніи природы на исторію: во-первыхъ, вопросъ о *землѣ*, о вліяніи географическихъ условій вообще. Со времени К. Риттера, принимавшаго землю за „храмину, устроенную провидѣніемъ для воспитанія рода человѣческаго“, историки приняли обычай снабжать свои сочиненія географическими введеніями. Грановскій находилъ, однако, что самое содержаніе немного выиграло отъ этого нововведенія. „Предпославъ труду своему бѣглый очеркъ описываемой страны, историкъ съ спокойной совѣстью переходитъ къ другимъ, болѣе знакомымъ ему, предметамъ и думаетъ, что вполне удовлетворилъ современнымъ требованіямъ науки“. „Но едва ли было бы справедливо,—возражаетъ на это Кудрявцевъ,—требовать отъ исторіи, чтобы она на всемъ своемъ движеніи черезъ данныя моменты равно неослабно слѣдила за географическими

вліяніями. Поставить такое требованіе, значило бы хотѣть отъ науки, чтобы она постоянно преслѣдовала второстепенный для нея интересъ съ нѣкоторымъ пожертвованіемъ своего собственнаго. Правда, дѣйствіе природы на человѣка постоянно; но степени этого дѣйствія, смотря по времени и ходу историческаго развитія, весьма различны, и мы очень сомнѣваемся, чтобы во всѣхъ моментахъ исторіи нужно было придавать ему равную значительность". Разсматривая съ Албанскихъ высотъ „царственные" холмы, возвышающіеся надъ равниной Тибра, Кудрявцевъ, по личному впечатлѣнію, испыталъ, какъ помогаетъ историку наглядное знакомство съ страной обнять своимъ взоромъ все внѣшнее очертаніе исторической судьбы ея. Но, тѣмъ не менѣе, онъ рѣшительно отвергалъ слова академика Бэра, приведенныя Грановскимъ въ подтвержденіе своей мысли: „когда земная ось получила свое наклоненіе, вода отдѣлилась отъ суши, поднялись хребты и отдѣлили другъ отъ друга страны, судьба человѣческаго рода была опредѣлена уже напередъ и всемірная исторія не что иное, какъ осуществленіе этой предопредѣленной участи". Но куда же мы дѣнемъ нравственныя вліянія?—воскликаетъ Кудрявцевъ:—неужели отнесемъ ихъ къ одному разряду съ тѣми, которыя двигали грубыми необразованными массами? Неоспоримо, что всякое великое историческое явленіе готовится вѣками. Но неужели въ этой подготовкѣ участвуютъ только одни физическія условія и въ сравненіи съ ними вліяніе отдѣльныхъ личностей оказывается совершенно ничтожно? И, съ своей стороны, также приводитъ Кудрявцевъ въ подтвержденіе своей мысли авторитетъ естествоиспытателя, — двѣ замѣчательныя страницы изъ сочиненія ботаника Шауа, надъ которыми слѣдуетъ подумать всякому, кто интересуется вопросомъ (т. I, стр. 52—3).

Разсмотрѣніе „естественныхъ опредѣленій въ жизни человѣчества" привело Кудрявцева къ выводу, что „самое сильное и твердое изъ нихъ есть то, которое принадлежитъ самой расѣ или *породѣ* людей". Такимъ образомъ, онъ воснулъ *другой* стороны значенія естественныхъ наукъ для исторіи. Своимъ переводомъ письма Эдвардса Грановскій поставилъ вопросъ о значеніи *породы* въ исторіи народовъ на очередь въ русской литературѣ. Статья Эдвардса и теперь, на разстояніи 60 лѣтъ, поражаетъ читателя мѣткостью наблюденій и далью отрываемой ею перспективы, поэтому можно себя представить, какое она производила впечатлѣніе въ свое время. Многочисленными наблюденіями надъ формацией головы у населенія восточной Франціи и сѣверной

Италіи ¹⁾, Эдвардсъ установилъ существованіе въ немъ двухъ рѣзко отличающихся типовъ—круглоголоваго и длинноголоваго, и эти два типа онъ отождествлялъ съ двумя племенами, на которыя историки раздѣляютъ кельтовъ—съ галлами и кимрами. Фактъ, подмѣченный Эдвардсомъ, чрезвычайно интересенъ, но за выводомъ его можно признать лишь силу предположенія, такъ какъ наблюденія произведены далеко не на всемъ пространствѣ, гдѣ жили галлы и кимры. Но какъ бы то ни было, главное значеніе статьи Эдвардса, по нашему мнѣнію, заключается не въ его открытіи двухъ типовъ среди кельтовъ, а въ первой, общей части изслѣдованія, гдѣ онъ, на основаніи разныхъ фактовъ изъ ботаники, зоологіи и антропологіи, приходитъ къ убѣжденію, что главные физическіе признаки народа могутъ въ большинствѣ населенія оставаться неизмѣнными чрезъ длинный рядъ вѣковъ, несмотря на вліяніе климата, смѣшеніе породъ, иноплеменные нашествія и успѣхи образованности. Однимъ словомъ, Эдвардсъ устанавливаетъ въ своемъ изслѣдованіи необыкновенно твердо и наглядно коренной фактъ удивительной живучести отдѣльных человѣческихъ породъ.

Понятно, какое значеніе такой фактъ долженъ былъ имѣть для историка. Онъ служилъ твердымъ, можно сказать, фізіологическимъ основаніемъ для другого, не столь уловимаго, но еще болѣе важнаго фактора въ исторіи — для духовнаго вліянія породы или расы въ исторіи народа. Кудрявцевъ чрезвычайно интересовался этимъ вопросомъ. Онъ зналъ близко его исторію; въ статьѣ своей онъ, напр., напоминаетъ о трудахъ Канта по этому предмету. Онъ очень высоко цѣнилъ сочиненіе боннскаго профессора Арндта объ историческомъ характерѣ европейскихъ народовъ и старался распространять среди своихъ слушателей знакомство съ этой книгой. Можетъ быть, подъ вліяніемъ этой книги, онъ самъ началъ мечтать, какъ мы сейчасъ увидимъ, о совершенно новомъ родѣ исторіографіи. Но, тѣмъ не менѣе, онъ и здѣсь спѣшилъ точнѣе формулировать требованіе и опредѣлять его границы. И въ изученіи историками вліянія породы, Кудрявцевъ различалъ двѣ задачи: „уловить первобытныя черты той или другой породы, связанныя съ самою ея организаціей — это

¹⁾ J. Schouw, Die Erde, die Pflanzen u. d. Mensch, p. 304—6. Мы считаемъ необходимымъ предостеречь читателей Кудрявцева отъ одного недоразумѣнія: излагая мнѣніе Эдвардса, онъ (стр. 57) даетъ поводъ думать, что этотъ ученый узнавалъ галльскій типъ въ Римѣ, „всматриваясь въ бюсты Августа, Тиберія, Тита“, а т. е. Эдвардсъ говоритъ здѣсь объ особомъ римскомъ типѣ, который онъ старался услѣдить въ Средней Италіи, внѣ всякой связи съ типами галловъ.

одна изъ самыхъ первыхъ задачъ историка; она слѣдуетъ непосредственно за вопросомъ о вліяніи географическихъ или мѣстныхъ условій на бытъ и исторію народа“. Но не совсѣмъ одно и то же распознать породы на мѣстахъ ихъ первоначальнаго пребыванія и уловить постоянныя черты нравственной фizioноміи народа, которыя проявились въ движеніи событій, въ исторіи. Первое есть дѣло исторической антропологіи, второе — исторической психологіи. Слывать ихъ въ одно, значить смѣшивать природу и исторію... Есть цѣлые народы, которымъ, кажется, суждено жить и умереть съ тѣми свойствами, съ какими исторія узнала ихъ впервые. Здѣсь ясна историческая основа, созданная вліяніемъ природы; но какъ скоро подъ тѣми или другими опредѣленіями установилась порода и ея индивидуальный характеръ, вѣншее вліяніе перестаетъ быть значительнымъ и производитъ развѣ только случайныя перемѣны. Мѣсто природы заступаетъ исторія; въ исторической жизни народа ни одно великое событіе не проходитъ для него даромъ; каждая форма и каждая фаза въ развитіи оставляютъ свой глубокой слѣдъ не только въ воображеніи народа, но и въ самыхъ его наклонностяхъ и нравахъ. Такимъ образомъ, чѣмъ дальше отъ колыбели народа, тѣмъ болѣе проступаетъ на его нравственномъ обликѣ историческое вліяніе, нарастающее на первой основѣ.

Изученіе этого нравственнаго облика народовъ, созданнаго подъ вліяніемъ исторіи, и составляло въ глазахъ Кудрявцева предметъ, особенно достойный современныхъ историковъ. Эта задача становилась для него исходнымъ пунктомъ для совершенно новой отрасли исторіографическаго искусства. Онъ находилъ, что искусство создавать полныя и отчетливыя индивидуальныя образы, доведенное до совершенства Тацитомъ, довольно уже усвоено историками новаго времени. „Наше время, благодаря успѣхамъ наблюденія и знанія, вообще поняло, наконецъ, возможность проявленія индивидуальности въ цѣлыхъ народностяхъ, отдѣльно взятыхъ, съ чертами, столько же неизмѣнными и постоянными, какъ и тѣ, которыя составляютъ основу личнаго характера“... „Не дѣло ли современнаго искусства, — спрашивалъ поэтому Кудрявцевъ, — прослѣдить эти индивидуальныя черты, принадлежащія цѣлымъ народностямъ въ постепенномъ движеніи событій ихъ исторіи и потомъ собрать ихъ въ одномъ болѣе или менѣе художественномъ изображеніи?“

Онъ утверждалъ, что при этомъ воображаетъ себѣ не мечтательный идеалъ, но имѣетъ въ виду дѣйствительныя образцы. Два года спустя онъ и самъ сдѣлалъ попытку соединить въ

одномъ наглядномъ очеркѣ разсѣянные въ исторіи черты французскаго народа ¹⁾. Не случайно, конечно, избралъ Кудрявцевъ для этого опыта именно французскій народъ; помимо римлянъ, это та нація, индивидуальныя черты которой выступаютъ наиболѣе рѣзко и вліятельно во всей ея исторіи,—но, несмотря и на эти благоприятныя условія, очеркъ, конечно, долженъ былъ остаться эскизомъ. Онъ заключаетъ въ себѣ много интересныхъ наблюденій и мѣткихъ замѣчаній, но для читателя и послѣ этого остается не вполне яснымъ, въ чемъ преимущественно слѣдуетъ видѣть задачу исторической психологіи: въ томъ ли, чтобы указывать въ событіяхъ національныя особенности, „постоянныя“ черты народнаго характера и врожденныхъ ему стремленій, или же, наоборотъ, въ томъ, чтобы выяснять вліяніе событій на образованіе національнаго характера. Одно и то же событіе вѣдь можно разсматривать какъ отраженіе народнаго характера и какъ моментъ, наложившій неизгладимую черту на этотъ характеръ. Такъ, напр., по поводу гугенотскаго движенія, Кудрявцевъ въ одномъ мѣстѣ (стр. 65) восклицаетъ: „сколько несчастныхъ склонностей и привычекъ вынесла французская нація изъ кровавой вражды двухъ безпощадныхъ религіозно-политическихъ партій?“ — а въ другомъ (стр. 248) онъ говоритъ: „Кто захочетъ изучить французскій національный характеръ въ самыхъ яркихъ и рѣзкихъ его проявленіяхъ, тотъ пусть въ особенности займется изученіемъ эпохи гугенотскихъ войнъ, эпохи, исполненной кровавой игры многихъ непримиримыхъ страстей“. Что же важнѣе,—спрашиваетъ себя читатель Кудрявцева:—изучать на событіяхъ національный характеръ или объяснять самыя событія при помощи національнаго характера? Другими словами, имѣется ли въ виду, чтобы исторія служила матеріаломъ для психологіи или психологія—научнымъ пособіемъ для исторіи?

Но, во всякомъ случаѣ, за Кудрявцевымъ остается заслуга, что онъ перенесъ вопросъ о *породахъ* съ фізіологической почвы на психологическую и что онъ сознательно указалъ на значеніе психологіи для историка. Десять лѣтъ спустя, знаменитый европейскій ученый, который достигъ поразительныхъ результатовъ своимъ методомъ, сдѣлалъ изъ психологіи основу исторіи. По мысли Тэнна, исторія не что иное, какъ примѣненіе (application) психологіи, подобно тому какъ метеорологія—прикладная физика. Какъ метеорологъ пользуется законами, открытыми въ физическомъ кабинетѣ, для объясненія атмосферныхъ явленій, такъ и

¹⁾ Въ статьѣ „Аполлинарій Сидоній“.

историкъ, изучающій дѣйствія *людей*, долженъ стоять на плечахъ психолога, который изслѣдуетъ человѣка. „Всякій проницательный и размышляющій историкъ есть психологъ, т.-е. трудится надъ психологіей исторической личности или группы, вѣка, народа или расы; задача его всегда сводится къ тому, чтобы описать человѣческую душу или общія черты въ какой-нибудь группѣ человѣческихъ душъ“¹⁾.

Но какое значеніе Кудрявцевъ ни придавалъ вопросу о порокахъ или исторической психологіи, онъ былъ далекъ отъ мысли сѣзнуть этимъ задачи историка. Широта его взгляда и его философское образованіе выразились именно въ томъ, что его замѣчанія о важности психологическаго изученія жизни народовъ подали ему въ то же время поводъ въ нѣсколькихъ прекрасныхъ строкахъ опредѣлить истинный характеръ исторіи и условія ея успѣха. „Изъ всѣхъ наукъ исторія наименѣе способна вынести какое-нибудь принужденіе; какъ нельзя связать ее никакою системою, такъ нельзя заставить ее служить одной цѣли. Составляя неистощимый матеріалъ для изслѣдованія, для мысли, она въ цѣломъ своемъ объемѣ несравненно шире всякаго индивидуальнаго воззрѣнія“. „Исторія,—говоритъ онъ далѣе,—разрабатывается сама изъ себя, изъ своего собственнаго содержанія; по тѣсной связи, существующей между различными отраслями знанія, она также пользуется пособіемъ или содѣйствіемъ другихъ наукъ для болѣе вѣрнаго разъясненія нѣкоторыхъ сложныхъ вопросовъ, но самая мысль историческая, или, что тоже, пониманіе смысла историческихъ событій прежде всего принадлежитъ ей самой, потому что можетъ быть только выводомъ изъ ближайшаго или пристальнаго наблюденія надъ ихъ постепеннымъ ходомъ“.

Отступая нѣсколько отъ порядка, принятаго въ изданіи, мы перейдемъ теперь къ двумъ статьямъ, однороднымъ по содержанію. Это—рецензіи на двѣ историческія диссертациі, защищенныя въ 50-хъ годахъ въ московскомъ университетѣ. Обѣ диссертациі имѣли въ свое время и теперь представляютъ значительный общій интересъ, какъ по своей темѣ, такъ и по испол-

¹⁾ Уже въ введеніи къ своей „Исторіи англійской литературы“, вышедшей въ 1863 году, Тэнъ высказалъ свой взглядъ на значеніе психологическаго момента въ исторіи. Въ началѣ этого же сочиненія помѣщена его замѣчательная характеристика французскаго народнаго духа, точнѣе было бы сказать—ума или способа представленія и ощущенія. Приведенныя нами въ текстѣ мѣста находятся въ сочиненіи De l'Intelligence, 4^{éd.}, стр. 20.

ненію. Книга Бабста, который предназначалъ себя для занятій историческихъ, но, приглашенный въ Казань на кафедру политической экономіи, посвятилъ свои силы этой наукѣ, — имѣла предметомъ переходную эпоху въ исторіи Греціи между битвами при Мантиней и Хероней. Въ мантинейской битвѣ было окончательно подорвано спартанское преобладаніе надъ Греціей, но тутъ же палъ и Эпаминондъ, и греки впали въ состояніе политическаго раздробленія и безсилія. Въ херонейской же битвѣ, около 20 лѣтъ спустя, было положено начало македонскому владычеству.

Время между этими битвами въ глазахъ молодого историка было временемъ полного упадка какъ нравовъ, такъ и идеаловъ. Государственные люди тогдашней Греціи жили, по его мнѣнію, только мыслию о прошломъ; единственною практическою цѣлью ихъ было возрожденіе нравственныхъ основъ древняго быта; будущаго они не понимали и не умѣли подготовить; они не выставили ни новаго идеала, основаннаго на политическомъ *единствѣ*, ни новыхъ теорій государственныхъ. Это недостающее Греціи единство было принесено македонскимъ владычествомъ. Въ немъ заключалась слѣдовательно будущность Греціи. Съ этой точки зрѣнія авторъ судить о дѣятельности государственныхъ людей того времени: онъ открыто сочувствуетъ Эсхину, стороннику Македоніи, и защищаетъ его противъ обвиненій, которыя выставилъ противъ него Демосѣенъ, поборникъ аѣинской независимости. Этому взгляду автора рецензентъ противопоставляетъ совершенно другой. Споръ въ данномъ случаѣ, какъ и во всѣхъ подобныхъ, идетъ о томъ, долженъ ли и историкъ осуждать тѣхъ, кто былъ осужденъ ходомъ исторіи; долженъ ли онъ ихъ упрекать въ близорукости или отсутствіи идеализма, если они не содѣйствовали тому новому, что приносила съ собою исторія, а, напротивъ, противились ему, живя въ своихъ старыхъ идеалахъ; вопросъ и здѣсь въ томъ, дѣйствительно ли эти идеалы устарѣли и не заключали въ себѣ ничего способнаго къ новой, лучшей жизни?

Рецензентъ упрекаетъ автора въ томъ, что онъ въ своихъ требованіяхъ не всегда соображается съ условіями самой эпохи, которая составляла предметъ его изслѣдованія, а иногда слишкомъ замѣтно смотритъ на нее съ точки зрѣнія послѣдующей исторіи. Отъ великихъ людей Греціи въ эпоху ея распадѣнія мы бы хотѣли, — говоритъ Кудрявцевъ, — чтобы ихъ главною задачею было единство Греціи. Легко дѣлать намъ подобныя требованія, когда мы знаемъ положительно, что за эпохою распадѣнія слѣдовало время македонскаго владычества. Предшествоую-

щее состояніе Греціи вовсе не располагало государственныхъ людей ея къ политическому единству. Это единство могло представляться имъ не иначе, какъ подъ извѣстною уже формою гегемоніи, а гегемонія стала ненавистна грекамъ со времени спартанскаго владычества.

Съ своей точки зрѣнія Кудрявцевъ относится болѣе благосклонно, чѣмъ авторъ диссертациі, и къ самой эпохѣ, и къ людямъ, ей современнымъ. Не оспаривая, что это былъ вѣкъ упадка, онъ протестуетъ противъ сравненія ея съ эпохой римской имперіи и требуетъ, чтобы вмѣстѣ съ несомнѣнными симптомами разложенія болѣе выставлены были на видъ и признаки жизненныхъ силъ, которыя еще носила въ себѣ Греція и которыя даже во время упадка отличали ее отъ Рима въ соотвѣтствующую эпоху. „Тамъ едва ли можно говорить о глубинѣ разврата, гдѣ чувство долга еще могло быть вдохновителемъ если не великихъ дѣлъ, то великихъ начинаній, гдѣ было мѣсто самоотверженію, гдѣ еще умирали добровольною смертію не потому, чтобы тяготились жизнью, но потому, что не хотѣли пережить чести и независимости родного города“. Согласно съ этимъ рецензентъ расходится съ авторомъ въ оцѣнѣ отдѣльныхъ лицъ, признавая за нимъ заслугу, что онъ далъ мастерской очеркъ какъ ихъ жизни и дѣятельности, такъ и самаго образа мысли и политики ихъ. Особенно обнаруживается разногласіе относительно Демосоена и Эсхина „Благородно,—говоритъ Кудрявцевъ по поводу Эсхина („этого покорнаго слуги новаго порядка вещей“),—всякое усиліе поднять несправедливо опозоренное имя въ исторіи, но иное дѣло, когда за недостаткомъ матеріала для оправданія защита выставляетъ равносильныя обвиненія противъ другихъ (Демосоевъ). Мы сомнѣваемся, чтобы подобная апологія могла принести пользу наукѣ“.

Самое коренное разногласіе оказывается, конечно, въ оцѣнѣ самого македонскаго владычества. Въ глазахъ Кудрявцева это — *катастрофа*, т.-е. такое событіе, которое нельзя было предвидѣть издали и которое совершилось прежде, нежели можно было приготовиться къ нему надлежащимъ образомъ. „Неизбѣжность катастрофы мы признаемъ, но не видимъ достаточныхъ причинъ доказывать вмѣстѣ необходимость македонскаго владычества для Греціи, какъ единственнаго возможнаго для нея выхода изъ того состоянія, въ которомъ она находилась послѣ своего распадѣнія. Неизбѣжное въ исторіи отнюдь не есть всегда разумно-необходимое“.

Всякій согласный съ глубокою справедливостью этихъ словъ

читатель вмѣстѣ съ нами пожалѣетъ, что Кудрявцеву не суждено было осуществить надежду „въ другое время, если представится случай, раскрыть эту мысль подробнѣе“.

Съ наименьшимъ интересомъ прочтется въ наше время другая рецензія Кудрявцева — на диссертацию Ешевскаго: „Аполлинарій Сидоній“. Въ этой рецензіи, можно сказать, бьется живой пульсъ времени, которому она принадлежитъ. Напечатаніе книги Ешевскаго встрѣтило препятствія со стороны факультетской цензуры, и авторъ долженъ былъ пожертвовать изъ-за этого чуть не цѣлой главой своего труда ¹⁾. Виновникомъ такой странной для ученаго учрежденія мѣры былъ деканъ факультета С. Шевыревъ. Несмотря на большія способности и заслуги его, какъ профессора, Шевыревъ игралъ незавидную роль въ исторіи московскаго университета. Болѣе литераторъ, чѣмъ ученый, воспитанный въ понятіяхъ Мерзляковской эпохи, когда кафедра русской словесности была кафедрой *элоквенціи*, онъ по натурѣ, преданію и служебному честолюбію сталъ *риторомъ* на кафедрѣ. Буквально, *воспѣвая* на лекціяхъ красоты Гомера, Данте, Шекспира и т. д., онъ въ перемежку обличалъ Западъ въ *мнѣніи*, говорилъ о безбожности политической экономіи, которая заботится о богатствѣ вопреки тексту Св. Писанія: „ищите же прежде царствія Божія и правды Его, и это все приложится вамъ“ — и дѣлалъ озлобленныя выходы противъ „Отечественныхъ Записокъ“, „заразившихся гнѣвіемъ Запада“. Студентовъ это очень забавляло, но трудно было жить при такомъ деканѣ профессорамъ, знавшимъ истинную цѣну наукѣ. Наука тогда не пользовалась благосклонностью власти, а Шевыревъ тоже по убѣжденію и по личнымъ антипатіямъ былъ слишкомъ склоненъ проникаться духомъ времени.

Къ счастью, эта слащавая и ходульная риторика, щеголявшая въ плащѣ патріотизма, не загасила живой струи свѣта, которая проливалась тогдашнимъ преподаваніемъ исторіи. Доказательствомъ этому можетъ послужить книга Ешевскаго. Совершенно справедливо привѣтствовалъ ее Кудрявцевъ, какъ признакъ того, „что всеобщая исторія понемногу спѣетъ у насъ и начинаетъ приносить свои плоды“... „Мы всегда были за нее и радуемся каждому новому ея успѣху. Намъ всегда пріятно было думать, что рядомъ съ дѣятельною разработкою русской исторіи

¹⁾ Если книга Ешевскаго пострадала отъ университетской цензуры, то рецензія на нее Кудрявцева подверглась урѣзкамъ отъ цензуры общей. У покойнаго Ешевскаго былъ экземпляръ рецензіи, пополненный съ рукописи, но, къ сожалѣнію, сама рукопись не сохранилась.

может идти у насъ съ успѣхомъ и основательное знакомство съ общими историческими вопросами. Ничто такъ не освобождаетъ мысль отъ односторонности, какъ сравнительное историческое изученіе"... „Во всеобщей исторіи лежитъ мѣра заслугъ каждой народности общему человѣческому дѣлу... Чѣмъ дальше раздвигаются предѣлы историческаго знанія, тѣмъ больше расширяется умственный горизонтъ вообще". Но не въ этихъ только общихъ выраженіяхъ оцѣниваетъ Кудрявцевъ трудъ своего бывшаго слушателя. Онъ особенно хвалитъ умный выборъ темы. Помимо значенія исторіи Галліи для пониманія непосредственной связи между міромъ древнимъ и новымъ, заслуга Ешевскаго заключается въ умѣньшъ привязать изученіе цѣлой большой эпохи къ исторіи одного лица. И Сидоній важенъ для исторіи своей эпохи не только по своимъ дѣйствіямъ—„черезъ призму его сочиненій видѣнъ весь его вѣкъ и быть". Кудрявцевъ особенно доволенъ тѣмъ, какъ Ешевскій сумѣлъ воспользоваться для исторіи литературными произведеніями Сидонія. Исторія литературы,—говоритъ онъ,—связана съ исторіей гораздо тѣснѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Давно прошла та пора, когда писателямъ и его произведеніями занимались единственно ради его литературныхъ формъ и чисто поэтическаго достоинства. Эстетическій вопросъ остается самъ по себѣ, но въ наше время привыкли дорожить отжившими писателями особенно по ихъ ближайшему отношенію къ эпохѣ, которой принадлежать они своею жизнью и дѣятельностью. Главу объ общественной жизни Галліи въ V в. у Ешевскаго Кудрявцевъ ставитъ отчасти выше соотвѣтствующаго описанія у Фориэля; всего же болѣе доволенъ онъ главой, гдѣ авторъ изображалъ современную Сидонію политическую исторію римской имперіи. Вообще онъ видитъ въ книгѣ основательное изученіе предмета, сопровождаемое замѣчательнымъ изложеніемъ, и соединеніе литературнаго образованія съ историческимъ. Книга служитъ образцомъ приложенія результатовъ литературной критики прямо къ исторіи. Самого автора Кудрявцевъ признаетъ столько же хорошимъ критикомъ, какъ искуснымъ повѣствователемъ, и находить, что русская литература приобрѣла въ немъ „писателя съ сердцемъ и широкимъ образованнымъ взглядомъ на вещи".

Несмотря, однако, на эти похвалы, рецензентъ расходился съ авторомъ диссертации въ двухъ существенныхъ вопросахъ: во взглядѣ на характеръ галло-римской литературы въ V вѣкѣ и въ оцѣнкѣ личности Сидонія. Самою выдающеюся чертою галло-римской литературы V вѣка была ея риторичность, ребяческое щегольство искусственной фразой и мудренымъ стихомъ. Ешев-

скій видѣлъ причину этого явленія отчасти въ галльскомъ характерѣ, отчасти же въ вліяніи одрахлѣвшей римской цивилизаціи. О произведеніяхъ галльскихъ ораторовъ онъ говорилъ, что они отзываются *старческимъ* безсиліемъ и въ то же время *дѣтствомъ*, въ которое впадаютъ иногда отживающіе люди и народы“. Кудрявцевъ же, соглашаясь съ этимъ отзывомъ насколько онъ касался тогдашнихъ римлянъ, находилъ въ галльской литературѣ признаки *другого* совсѣмъ дѣтства. Проводя аналогію съ латинской литературой итальянскаго *возрожденія*, Кудрявцевъ утверждалъ, что риторичность и подражательность въ языкѣ и формѣ равно могутъ служить признакомъ старческой, „переживающей свое послѣднее время, литературы“, „какъ и зарождающейся вновь по чужимъ образцамъ“: „что въ отношеніи къ римлянамъ прямо свидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ упадкѣ поэтической производительности и истиннаго вкуса между ними, то же самое въ приложеніи къ другому, болѣе молодому народу, можетъ только служить доказательствомъ незрѣлости его понятій и неопытнаго пристрастія къ внѣшнимъ формамъ. Для начинающихъ самое главное въ искусствѣ—форма; и сколько разъ повторялось извѣстное явленіе, что литература, которая начала съ подражанія, долгое время не могла подвинуться далѣе усвоенія себѣ нѣкоторыхъ внѣшнихъ приѣмовъ и поставляла всю свою задачу въ умѣньшъ употреблять ихъ при всякомъ удобномъ случаѣ. Какое ни дайте содержаніе новичкамъ въ литературной дѣятельности, они прежде всего постараются испытать на немъ свое формальное искусство“.

При такомъ взглядѣ на литературу V в. должна была измѣниться и точка зрѣнія на самого Аполлинарія Сидонія, въ которомъ Кудрявцевъ видѣлъ не столько плодъ вымирающей латинской образованности, сколько представителя молодой въ цивилизаціи галльской народности. Не то, чтобы ему, вслѣдствіе этого, стало болѣе симпатично риторическое направленіе; онъ его слишкомъ близко видѣлъ около себя. „Какъ должны завидовать,—восклицаетъ Кудрявцевъ,—запоздалые риторы нашего времени Сидонію и его современникамъ! Тогда ихъ искусство вѣнчалось даже поэтическою славою, хитросплетенная фраза заслуживала своему автору дипломъ на поэтическое достоинство. Двумя-тремя громкими панегириками можно было проложить себѣ дорогу къ безсмертію“.

Но это нерасположеніе къ риторству не ослѣпляло историка и не мѣшало ему отыскивать за риторомъ человѣка. Крупною слабостью въ характерѣ Сидонія является шаткость его полити-

ческихъ убѣжденій, легкость, съ которой онъ переходилъ отъ одной партіи къ другой. Ешевскій видитъ въ этомъ вліяніе риторства, Кудрявцевъ—вліяніе прежде всего самой эпохи, которая не знала и не допускала нравственнаго закала и твердости убѣжденій. Поэтому, по мнѣнію рецензента, молодой авторъ съ горячимъ сердцемъ и гадливостью къ работѣнной фразѣ былъ слишкомъ строгъ къ Сидонію... „Было бы странно,—оговаривается по этому поводу Кудрявцевъ,—хотѣть взять на себя защиту ротора. Мы вполне раздѣляемъ мысль автора о раздѣдающемъ дѣйствіи риторическаго направленія; мы также не ожидали бы ничего добраго отъ человѣка, который весь проникнулся имъ. Въ вѣбъ мужества мысли особенно кажется презрѣннымъ риторъ съ своею позолоченною фразою на всякій случай и съ своею дешевою готовностью восхвалять всѣхъ и cadaго. Но какъ есть время мужества мысли, такъ бываетъ пора ея дѣтства. Сидоній жилъ именно въ одну изъ такихъ поръ, когда невозможно было образованіе безъ примѣси риторства“.

Но не потому Сидоній былъ жалокъ и несостоятеленъ въ своей политической жизни, что по нѣскольку разъ выправлялъ слогъ своихъ писемъ къ пріятелямъ: Кудрявцевъ находитъ, что дѣйствія Сидонія гораздо проще и лучше объясняются его природными свойствами, чѣмъ школою и образованіемъ. Не въ риторикѣ, а въ живомъ, увлекающемся и легкомысленномъ характерѣ Сидонія коренилась его „неспособность глубокаго пониманія дѣйствительности“. Изъ-подъ общаго уровня римскаго образованія Кудрявцевъ разгадываетъ въ Сидоніи „настоящій галльскій типъ съ его неподдѣльною фізіономіей“, съ его слабыми и *сентиментальными* чертами. Не римскія черты въ Сидоніи — его привязанность къ жизни, любовь къ удовольствіямъ, сердце, открытое впечатлѣніямъ природы и дружбы, воспріимчивость и способность къ увлеченію и выѣстѣ съ тѣмъ подвижность, любезность, общительность“.

Наконецъ, не все въ немъ и риторика: въ его изображеніи наружности и нравовъ варварскихъ народовъ, въ его характеристикѣ нѣкоторыхъ современниковъ есть черта несомнѣнной подлинности и наблюдательности, и даже тамъ Сидоній не всегда риторъ, гдѣ онъ говоритъ о самомъ себѣ. Такъ передъ читателемъ рецензіи постоянно выступаетъ изъ-за ротора живой образъ *человѣка*, представителя своего племени и своей эпохи, и Кудрявцевъ могъ съ полнымъ основаніемъ, по поводу характеристики Сидонія, сдѣлать прекрасное замѣчаніе, что, настоящая

мѣра исторической правды иногда вѣрнѣе достигается уменьшеніемъ свѣта, чѣмъ блескомъ и яркостью красокъ“.

Перейдемъ теперь къ двумъ статьямъ, одинаково отличающимся спеціальнымъ характеромъ своего содержанія. Одна изъ нихъ передаетъ результаты ученаго изслѣдованія Швеглера о вопросахъ, связанныхъ съ началомъ Рима. Мы не посовѣтуемъ углубляться въ эту слишкомъ объемистую статью читателямъ, не имѣющимъ спеціального интереса къ разсматриваемому въ ней вопросу; но мы сожалѣли бы, еслибы издатели, имѣя въ виду вкусы большинства, опустили статью о Швеглерѣ. Книга этого замѣчательнаго ученаго, составляющая краеугольный камень для изслѣдованій римской старины, не переведена на русскій языкъ; не переведенъ и Нибуръ, гипотезы котораго разбираетъ и исправляетъ Швеглеръ, а между тѣмъ знаніе новыхъ языковъ не увеличивается, а скорѣе уменьшается среди учащихся филологовъ и юристовъ. Но помимо этого статья важна для оцѣнки добросовѣстнаго трудолюбія и ученаго направленія занятій Кудрявцева. Онъ не излагаетъ только Швеглера, но, изучивъ вопросъ и относящуюся къ нему литературу, разбираетъ мнѣнія тюбингенскаго ученаго, и, когда находитъ нужнымъ, отдѣляется отъ нихъ.

Вводя въ русскую литературу Швеглера, Кудрявцевъ считалъ необходимымъ познакомить читателей и съ вышедшей нѣсколько раньше книгой противоположнаго направленія, съ сочиненіемъ базельскихъ ученыхъ Герлаха и Бахофена, возвратившихся къ до-Нибуровскому взгляду на начало Рима и отвергавшихъ рѣшительно всѣ сомнѣнія и выводы исторической критики. „Римская исторія давно кончена, но для римской исторіографіи далеко еще не видится конца впереди“, совершенно справедливо могъ начать свою статью Кудрявцевъ. Такое положеніе науки подало ему поводъ еще разъ высказать свой взглядъ на ея характеръ. „Наука не равнозначительна понятію полной побѣды: борьба съ даннымъ матеріаломъ, усиліе одолѣть его мыслью—необходимое условіе ея существованія и главный признакъ ея жизненности. Не то выплываетъ цѣну личнаго воззрѣнія, что оно не встрѣчаетъ себѣ много возраженій, но сила движенія, возбужденнаго имъ въ наукѣ, и плодотворность идеи, положенной ему въ основаніе“. И, вспоминая о Нибурѣ, Кудрявцевъ прославляетъ его заслуги въ великолѣпномъ образѣ. Указавъ на то, что всякую книгу по римской исторіи мы встрѣчаемъ вопросомъ, какъ относится она къ Нибуру, и что нѣтъ еще книги, которая не спѣшила бы дать за себя отвѣтъ на этотъ вопросъ, Кудрявцевъ продолжаетъ: „путешественники, видѣвшіе развалины Вавилона, говорятъ, что на

каждомъ кирпичѣ сохранились слѣды письменъ, можетъ быть означающихъ чье-нибудь имя; мы можемъ сказать, что въ продолжающемся на нашихъ глазахъ построеніи древней исторіи Рима каждый камень кладется вновь—съ именемъ Нибура“.

Затѣмъ, слѣдуя за Швеглеромъ, Кудрявцевъ разъясняетъ вопросъ объ источникахъ древнѣйшей римской исторіи и о народныхъ пѣсняхъ римлянъ; вопросъ о древнѣйшемъ заселеніи Италіи—о пелазгахъ, аборигенахъ и этрускахъ, причемъ высказывается противъ Швеглера за восточное происхожденіе послѣднихъ; вопросъ объ этнографическомъ составѣ римлянъ,—признавая за этрусками болѣе значительное вліяніе, чѣмъ Швеглеръ; преданіе объ Энеѣ,—причемъ дѣлаетъ вѣское замѣчаніе по поводу предполагаемаго происхожденія этой саги изъ Лавиніума; мифъ о Геркулесѣ, гдѣ въ мнѣніи, что „идея Геркулеса выражала собою извѣстную степень историческаго сознанія“, слышитъ шеллингянецъ. Въ концѣ статьи Кудрявцевъ разбираетъ преданія о Ромулѣ и объ основаніи Рима и затѣмъ подводитъ итогъ заслугъ Швеглера: „наконецъ, — говоритъ онъ, — мы, благодаря опытному и осмотрительному руководительству Швеглера, добрались до настоящаго историческаго материка на римской почвѣ въ тѣсномъ смыслѣ слова. Мы нашли его не въ именахъ и дѣлахъ героевъ, которые сполна принадлежать сагѣ, а въ мѣстныхъ воспоминаніяхъ, скрывающихся подъ ними“. Кудрявцевъ отчетливо формулируетъ задачу критики, какъ ее расширилъ Швеглеръ—при помощи сдѣланнаго имъ открытія *этиологическаго* мифа. „Угадать вымыселъ подъ формою историческаго сказанія лишь первое дѣло критики; второе и самое важное, это—найти самые мотивы вымысла въ его современности и осмыслить въ немъ всѣ подробности, которыя на первый взглядъ могли бы показаться чисто сказочными. Тогда критика становится вровень съ своимъ матеріаломъ, тогда она побѣждаетъ его“.

Слѣдовать далѣе за Швеглеромъ въ разъясненіи римскихъ преданій Кудрявцевъ не рѣшается. Онъ признаетъ, что вмѣстѣ съ новыми предметами растутъ и самый интересъ изслѣдованія; „но мы, — говоритъ онъ, — подобно пловцамъ проплывшимъ пустынное море и завидѣвшимъ, хотя только издали, твердую землю, можемъ съ нѣкоторымъ правомъ повторить извѣстное восклицаніе: берегъ, берегъ! и, достигнувъ его, пріостановить наше плаваніе. Довольно видѣли мы обнаженныхъ скалъ, песчаныхъ отмелей и широкихъ безлюдныхъ пространствъ; довольно повстрѣчали мы на нашемъ пути лицъ безъ образа, призраковъ всякаго рода и историческихъ обломковъ разнаго вида, какъ бы случаевъ уцѣлѣвшихъ отъ боль-

шого кораблекрушенія и едва узнаваемыхъ подъ постороннимъ наросомъ, который образовался на нихъ отъ времени“. Мы привели эти слова для характеристики литературной манеры Кудрявцева, ищущей образовъ и иногда нѣсколько вычурной, но всегда задумчивой; приведемъ и тѣ замѣчанія, которыя были внушены ему опасеніемъ, что крайне спеціальныи и утомительныи характеръ изслѣдованія о древнемъ Римѣ оттолкнетъ читателей. „Нерѣдко, — говоритъ онъ, — можно слышать требованіе: дайте намъ полную и вѣрную исторію народа! Дайте намъ ее безъ утайки и нисколько не подкрашенную!.. и рядомъ съ этимъ требованіемъ также часто можно слышать выраженіе скуки, неудовольствіе, какъ скоро нужно бываетъ войти въ самыя подробности дѣла. Потребность историческаго изученія въ наше время есть во всѣхъ; но въ то же время существуютъ странныя понятія о средствахъ удовлетворенія ей. Требуютъ науки и въ то же время дѣлаютъ съ нами договоръ, чтобы она была легка, чтобы изученіе ея не стоило труда, ни даже большаго вниманія. Пусть исторія отъ первой страницы своей до послѣдней будетъ проста и ясна какъ сказка — тогда охотно прочтутъ ее и будутъ довольны ею вполне. Словомъ, для удовольствія нѣкоторыхъ, любящихъ собирать плоды безъ труда, исторія навсегда должна бы остаться въ состояніи дѣтства!“

Мы, къ сожалѣнію, не знаемъ, противъ кого направленъ этотъ намекъ; можетъ быть, противъ нѣкоторыхъ критиковъ первыхъ томовъ „Исторіи Россіи“ Соловьева. Исторія всегда, конечно, будетъ нуждаться въ защитѣ отъ требованія, чтобы она свои спеціальныя интересы приносила въ жертву популярности; но еще существеннѣе отстаивать ея свободу отъ противоположнаго направленія, навязывающаго ей мнимую научность. Обращаясь противъ такихъ критиковъ, Кудрявцевъ замѣчаетъ: „Другіе, напротивъ того, требуютъ, чтобы исторія была подчинена математикѣ. Считайте, мѣряйте и вѣшайте, говорятъ они, тогда только вы получите вѣрную исторію. Но какою мѣрою прикажете мѣрить или какими цифрами исчислять душевныя движенія, вообще нравственныя явленія, которыя составляютъ самую душу исторіи и служатъ главными пружинами всего послѣдовательнаго ея развитія?“ Указавъ на различныя затрудненія, причиняемыя приложеніемъ таковаго метода къ исторіи, Кудрявцевъ заявляетъ: „въ самомъ дѣлѣ, надобно слишкомъ матеріально понимать исторію, т.-е. не понимать ее вовсе, чтобы искать спасенія для нея въ однихъ цифрахъ. Истинно историческое движеніе не покоряется никакому исчисленію, потому что оно всегда бываетъ духовное. Есть, конечно,

сторона въ исторіи, гдѣ математика, исчисленіе вообще, можетъ съ пользою *послужить* ей своими выводами. Опредѣливъ сущность великаго историческаго движенія, не мѣшаетъ потомъ справиться съ цифрами, въ которыхъ оно выразилось внѣшнимъ образомъ; но нельзя, наоборотъ, отъ цифръ заключать къ самой сущности явленія. Пересчитайте поголовно поклонниковъ буддизма—и вы подумаете, что передъ вами величайшее явленіе всей исторіи. Требовать, чтобы исторія все основывала на счетѣ, значить видѣть въ ней одну механику и ничего болѣе“.

Статья *Каролинги въ Италіи* представляетъ собою продолженіе *Судебъ Италіи*; можно сказать, что это три первыя главы второго тома этого обстоятельнаго и добросовѣстнаго труда. Изъ трехъ частей этой статьи только первая была напечатана въ „Отечественныхъ Запискахъ“; вторая сохранилась въ корректурныхъ листахъ—съ отмѣтками цензора. На основаніи этихъ помѣтокъ можно предположить, какъ это дѣлаетъ издатель, что статья эта или вовсе не была одобрена для печати, или подлежала такимъ сокращеніямъ, на которыя авторъ не считалъ возможнымъ согласиться. Эти корректурные листы представляютъ въ нашихъ глазахъ одинъ изъ любопытныхъ памятникѣвъ въ исторіи русскаго просвѣщенія. Въ наше время нѣкто не повѣритъ, что тогда считалось неудобнымъ въ историческомъ трудѣ, хотя бы онъ относился къ Каролингамъ и къ IX вѣку. Неудобнымъ считалось, напр., сообщать, что римляне, избирая преемника папѣ Льву III, „до того увлеклись воспоминаніемъ о своихъ старыхъ правахъ, что нисколько не хотѣли уважать новыхъ правъ императора“. Неудобными были признаны слова: „Послѣднія событія въ Италіи, какъ видно, дали имперскому правительству хорошій урокъ“ или: „Новый король принялъ страну въ управленіе, когда она только что начинала оправляться отъ козней и опалъ, которыя тяготѣли надъ ней въ продолженіе болѣе чѣмъ трехъ лѣтъ со времени извѣстнаго возстанія... Самъ Людовикъ видѣлъ необходимость положить конецъ строгостямъ и началъ съ того, что простилъ многихъ осужденныхъ“. Не только отдѣльныя выраженія историка подвергались остракизму, но цѣлыя страницы и самые факты. Такъ, напр., требовалось пропустить рассказъ о жестокомъ ослѣпленіи Бернгарда, который вздумалъ съ оружіемъ въ рукахъ защищать свои права на Италію противъ своего дяди; требовалось также умолчать о совершившемся впослѣдствіи всенародномъ покаяніи Людовика Благочестиваго по поводу казни Бернгарда.

Но всего, конечно, страннѣе изумительная заботливость московскаго цензора о репутаціи римскаго папы Пасхалія, ради

которой приходилось пропустить рассказъ объ убійствѣ двухъ римскихъ сановниковъ въ Латеранскомъ дворцѣ и о заступничествѣ папы за убійцъ передъ императоромъ.

Авторъ „Судебъ Италіи“ закончилъ свое сочиненіе величайшимъ событіемъ въ исторіи западной Европы — коронованіемъ Карла Великаго въ Римѣ императорскою короною. Италія снова стала частью имперіи, но не главною, какъ въ прежнія времена; теперь она не болѣе какъ завоеванная провинція, и для ея историка становится важенъ вопросъ о вліяніи на нее этого завоеванія. Съ вопроса о значеніи для Италіи франкскаго завоеванія и начинается Кудрявцевъ свой *второй* томъ, и по своему обычаю дѣлаетъ частный вопросъ исходной точкой для разсужденія объ общемъ ходѣ историческихъ событій и глубокомъ вліяніи ихъ на жизнь народа.

Въ книгѣ: *Судьбы Италіи* Кудрявцевъ старался доказать способность къ жизни и движенію *лонгобардскаго начала* въ Италіи. Но это еще полное жизни начало было насильственно прервано франкскимъ завоеваніемъ. Русскій историкъ Италіи жалѣетъ объ этомъ оборотѣ дѣлъ и высказывается противъ фаталистическаго объясненія или оправданія событій. „Историческія событія, — говоритъ онъ, — дѣйствительно неотразимы, но лишь съ того времени, когда они совершились. Тогда нечего болѣе разсуждать о ихъ отмѣнимости или неотмѣнимости, тогда дѣло историка состоитъ лишь въ томъ, чтобы стараться опредѣлить ихъ слѣдствія, показавъ напередъ тѣ предѣлы, въ которыхъ должно распространиться ихъ вліяніе“. По этому поводу Кудрявцевъ указываетъ на то, какъ глубоко событія пускаютъ свои корни въ самую почву той или другой страны и сростаются съ нею почти до *безпредѣльности*. „Не въ одной только памяти, не въ одномъ воображеніи народа живутъ они, но нерѣдко проникаютъ до самыхъ основъ народнаго характера. Года прокладываютъ морщины на лицѣ человѣка, историческія событія прорѣзываютъ не менѣе глубокія черты на нравственной фізіономіи цѣлаго народа“... „Печать историческая, хороша она или дурна, почти всегда неизгладима. Религіозное сознаніе индійца не измѣнилось въ продолженіе тысячелѣтій; греки не могли освободиться отъ своего несчастнаго историческаго дуализма. Византія до конца своего существованія не могла раздѣляться съ нѣкоторыми недугами, которые присущи были ей съ самаго начала возрожденія ея подъ римскимъ знаменемъ. Еще въ наше время сохранились многія межи, проведенныя болѣе чѣмъ тысячу лѣтъ назадъ германскими завоеваніями. Рыцарство давно сложило всѣ свои доспѣхи въ національные

музеи, а духъ его и теперь еще такъ легко узнаешь въ нравахъ тѣхъ народовъ, которые прошли черезъ него. Дѣло Людовика XIV пережило всѣ перевороты во Франціи. Пруссія все еще сильна гениемъ Фридриха II. Такой же неотразимый фактъ въ исторіи Италиі — франкское завоеваніе“.

Но Кудрявцевъ не только любилъ историческія обобщенія; онъ любилъ также доказывать ихъ кропотливымъ трудомъ. Съ большою методичностью знакомить онъ читателя сначала съ тѣми областями Италиі, которыя не подверглись франкскому завоеванію — и при этомъ чрезвычайно рельефно изображаетъ положеніе поставленной между востокомъ и западомъ Венеціи. „Какъ корабль въ морѣ, проходящій между подводными скалами, она искусно лавировала между ними, держась довольно свободно на извѣстномъ разстояніи отъ того и другого и больше наклоняясь въ ту сторону, гдѣ была слабѣе сила притяженія. Впрочемъ, при всемъ искусствѣ, соблюсти совершенное равновѣсіе и избѣжать всякаго столкновенія было почти невозможно“. Затѣмъ, на основаніи скудныхъ лѣтописныхъ и законодательныхъ памятниковъ того времени, Кудрявцевъ старается прослѣдить франкское вліяніе на Италию при Карлѣ Великомъ — въ учрежденіяхъ, судѣ и въ правѣ. На основаніи этого изслѣдованія можно сказать, что главный результатъ франкскаго владычества и, прибавимъ, главный интересъ этой эпохи для историка — это то, что подъ давленіемъ завоевателей сталъ совершаться и ускоряться процессъ возникновенія новой, *итальянской* національности. Кудрявцевъ замѣчаетъ по этому поводу, что „образованіе цѣлой народности, какъ образованіе отдѣльной человѣческой личности, есть, болѣею частью, тайна органической природы, мало доступная положительному знанію. Исторія только приближается къ ней, но не въ состояніи прослѣдить весь процессъ ея съ полною отчетливостію“.

Въ силу франкскаго завоеванія, судьба Италиі зависѣла отъ того, что совершалось при дворѣ императора. Поэтому смерть Карла В. побуждаетъ историка обратиться къ его преемникамъ, причемъ онъ даетъ чрезвычайно справедливую характеристику ихъ: не будучи людьми совершенно неспособными, — говоритъ онъ, — Каролинги постоянно оставались ниже своего положенія и его требованій; имперія не имѣла для нихъ другого значенія, кромѣ формы, манившей ихъ честолюбіе; постепенно падая сами, они вмѣстѣ съ собою роняли и имперію. Охарактеризовавъ династію и ея взглядъ на ея задачу, историкъ обращается къ другой силѣ того вѣка — къ папству и мѣтко изображаетъ зарождающуюся

его политику. Когда старшій сынъ Людовика Благочестиваго, Лотарь, уже при жизни отца признанный императоромъ, получилъ въ управленіе Италію, папа Пасхалій послѣдствіемъ пригласить его въ Римъ, чтобы получить утвержденіе въ возложенномъ на него достоинствѣ. Лотарь поѣхалъ въ Римъ и писалъ отцу, что принялъ отъ римскаго епископа благословеніе, честь и имя императора. Во Франціи,—замѣчаетъ по этому поводу Кудрявецъ,—еще не научились понимать всю важность подобнаго дѣйствія; тамъ видѣли только формальную его сторону, не догадываясь о возможныхъ слѣдствіяхъ; но въ Римѣ знали уже ему настоящую цѣну и исподоволь поднимали его значеніе. Италія считала годы царствованія Лотаря только со времени его вѣнчанія. Мало-по-малу вводился обычай, который въ послѣдствіи могъ замѣнить собою недостатокъ самого права. „Складывая камень на камень, римская политика незамѣтно выводила свое громадное зданіе“.

Дѣятельность Лотаря не прошла безслѣдно для Италіи, и мы снова присутствуемъ при подробномъ анализѣ законодательныхъ памятниковъ той эпохи, особенно знаменитаго „римскаго уложенія“ Лотаря. Но только-что „зданіе Карла В. закрѣплено было еще однимъ новымъ камнемъ“, какъ внутренній миръ имперіи былъ нарушенъ неполитическимъ распоряженіемъ самого главы ея. „Вдругъ какъ будто пролилось на имперію неисчислимое море золь и бѣдствій разнаго рода, какъ будто рассыпался надъ нею мѣднеческій ящикъ Пандоры. Цѣлый рядъ послѣдующихъ поколѣній не могъ исчерпать всей бездны общественныхъ несчастій, которыя открылись со времени новаго раздѣла имперіи, предпринятаго Людовикомъ въ пользу четвертаго сына“.

Историку Италіи пришлось окунуться въ хаосъ междоусобныхъ войнъ и передѣловъ, происходившихъ вслѣдствіе этого въ державѣ Людовика Благочестиваго. Смерть этого императора даетъ историку поводъ отвлечься отъ множества частныхъ событій и перемѣнъ и придти мыслию къ одному господствующему явленію, т.-е. феодализму и вліянію его на распаденіе имперіи¹⁾. Усобицы между внуками Карла В. снова поглощаютъ вниманіе историка, и онъ доводитъ разсказъ о нихъ до Вердюнскаго договора, когда изъ имперіи Карла В. обособляются Франція и Германія. Съ этого момента исторія каждой изъ этихъ странъ уже получаетъ національный характеръ, который обнаруживается

¹⁾ Русская историческая литература обладаетъ въ настоящее время прекраснымъ специальнымъ изслѣдованіемъ по этому предмету; это магистерская диссертация П. Г. Виноградова, вышедшая въ Москвѣ въ 1880 г.

въ національномъ языкѣ. Когда Людовикъ Нѣмецкій и Карлъ Французскій связали другъ друга торжественною клятвой, они произносили эту клятву каждый на языкѣ союзнаго съ нимъ народа ¹⁾ и такимъ образомъ оставили два древнѣйшихъ памятника нѣмецкаго и французскаго языковъ. „Итальянцы, — съ грустью замѣчаетъ историкъ Италіи, — бывшіе вмѣстѣ съ Лотаремъ, не принимали никакого участія въ этомъ договорѣ и потому языкъ ихъ не можетъ похвалиться равновременнымъ памятникомъ своего самобытнаго существованія“. Но какъ бы себѣ въ утѣшеніе Кудрявцевъ находитъ въ фонтенальской битвѣ, случившейся за годъ до Вердюнскаго договора, ясное проявленіе зарождавшагося національнаго сознанія Италіи. „Единственный, — говоритъ онъ, — народъ, о которомъ можно подозрѣвать съ нѣкоторою вѣроятностью, что онъ принесъ на то же самое поле вмѣстѣ съ оружіемъ и мысль прямо національную, были итальянцы“ (стр. 406).

Такимъ образомъ, одна изъ самыхъ безотрадныхъ эпохъ въ исторіи оживляется и получаетъ смыслъ для историка — и для его читателей — тѣмъ, что онъ въ самыхъ скучныхъ фактахъ ищетъ зарожденія духа, который будетъ управлять дальнѣйшими событіями, т.-е. духа итальянской народности.

Отъ эпохи, въ которую только зарождалась итальянская національность, перейдемъ теперь къ той, когда національное сознаніе созрѣло въ умѣ одного изъ величайшихъ геніевъ Италіи и легло въ основу его безсмертнаго поэтическаго произведенія. И по своей связи съ исторіей Италіи, и по глубинѣ и загадочности своей поэзіи, и по романтизму и мистицизму своей натуры, Данте долженъ былъ особенно привлекать къ себѣ интересъ Кудрявцева. А тутъ представился еще особый поводъ, чтобы заговорить о немъ въ русской литературѣ. Въ 1851 г. вышелъ въ печати курсъ Форіэля о происхожденіи итальянской литературы и о Данте. Для образованныхъ русскихъ людей, въ тридцатые и сороковые годы воспитанныхъ на романтической поэзіи, авторъ сочиненія о „провансальской литературѣ“ былъ однимъ изъ самыхъ дорогихъ писателей и учителей. „Мы почти могли бы сказать, — говоритъ о немъ Кудрявцевъ, — что обязаны ему открытіемъ цѣлаго потеряннаго материка въ области европейской литературы“. Посмертный курсъ Форіэля, въ которомъ выяснялось вліяніе провансальскихъ трубадуровъ на раннюю итальянскую

¹⁾ У Кудрявцева (стр. 409) сказано: „на языкѣ своего народа“.

литературу и на Данте, не могъ быть обойденъ молчаніемъ. А затѣмъ въ слѣдующемъ году появилось сочиненіе Вегеле: *Жизнь и творенія Данте*, которое пролагало совершенно новый путь къ ихъ изученію. „Творя великое,—говоритъ Кудрявцевъ,—человѣкъ оставляетъ и великую задачу послѣдующимъ вѣкамъ. Цѣлыя поколѣнія приходятъ потомъ трудиться надъ тѣмъ, что создалось одною геніальною дѣятельностью. Когда творится великое, нарождается вновь цѣлый особый міръ понятій и образовъ, которые не менѣе дѣйствительныхъ явленій способны наполнить иное существованіе. Чѣмъ дальше отъ времени, когда совершалась та или другая геніальная дѣятельность, тѣмъ кажется она загадочнѣе, и, стараясь разгадать его, каждое поколѣніе приноситъ свой собственный опытъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ мѣняется и самый взглядъ на предметъ. Если это примѣнимо къ Гомеру, то тѣмъ болѣе къ Данту... Каждая вновь наступающая эпоха пробуетъ свои силы надъ Дантомъ, каждый вновь выработанный приѣмъ въ общей исторіи литературы прилагается и къ Данту“.

Что же новаго отмѣчаетъ Кудрявцевъ въ новыхъ книгахъ о Данте? Прежде всего онъ наводитъ его на мысль о значеніи и интересѣ біографій. Всякій великій дѣятель — великій поэтъ не менѣе, какъ и всякое другое историческое лицо — завѣщаетъ потомству не только свои творенія, но и самую жизнь свою. Не всегда даже можно сказать, которая изъ двухъ задачъ интереснѣе или поучительнѣе. Всякая прожитая жизнь поучительна, особенно если она оставила по себѣ слѣдъ въ великомъ имени. Надъ нею стѣдуетъ призадуматься и поработать мыслью иногда не менѣе, какъ и надъ прославленными твореніями... „Кто оставилъ по себѣ неумирающія творенія, тотъ именно жилъ не одною только внѣшнею жизнью: о немъ съ такою же увѣренностью можно сказать, что онъ мыслилъ, какъ и то, что онъ жилъ“.

„Жизнь человѣка,—говоритъ Кудрявцевъ въ другомъ мѣстѣ своей статьи,—какая эта разительная ткань впечатлѣній, чувствъ, столкновеній всякаго рода, борьбы, развитія силъ и ихъ постепеннаго упадка и истощенія! Ничего несбыточнаго — случается въ ней всякій разъ лишь то, что каждому болѣе или менѣе извѣстно по собственному опыту или по наблюденію надъ другими, и однако нѣтъ ни одного сколько-нибудь новаго и отчетливаго жизненнаго свитка, который, будучи развернутъ во всю его длину, не представилъ бы много новаго и замѣчательнаго матеріала для наблюденій. Выяснить и спасти отъ забвенія человѣческія черты въ жизни историческихъ лицъ — вотъ въ чемъ задача новаго біографическаго искусства“.

Въ такомъ пособіи, — говоритъ Кудрявцевъ далѣе, — лицо Данте, можетъ быть, нуждалось болѣе многихъ другихъ. Оно слишкомъ долго было заслонено его же твореніемъ, а съ другой стороны, Данте слишкомъ рано начали объяснять подстрочнымъ толкованіемъ его твореній, разбирая ихъ по частямъ, отчего не могло не потерпѣть много органическое пониманіе цѣлаго. Выжавъ и расплотивъ все, что есть въ „Божественной Комедіи“ загадочнаго и таинственнаго, комментаторы превратили и самое лицо Данте въ какой-то едва осязаемый мистическій образъ.

Раскрывъ въ этомъ загадочномъ образѣ дѣйствительныя, человѣческія черты великаго поэта, новые біографы его, особенно Вегеле, сдѣлали для себя возможнымъ исполненіе второй своей задачи — объяснить изъ жизни самыя его творенія. Въ этомъ Кудрявцевъ видитъ другую заслугу ихъ. До сихъ поръ мало думали о томъ, чтобы возстановить полное единство между жизнью и твореніями великаго писателя; до сихъ поръ посторонній зритель имѣлъ предъ собою какъ бы два плана и на каждомъ изъ нихъ особенное изображеніе. Вегеле же взялъ на себя трудъ изобразить жизнь писателя именно съ тою цѣлью, чтобы по возможности открыть въ ней истинные мотивы его нравственныхъ и другихъ убѣжденій, которыя отразились въ его произведеніяхъ; въ твореніяхъ Данте отыскиались для него живые слѣды тѣхъ стремленій, которыя занимали флорентинскаго гражданина большую часть его жизни. Человѣкъ познакомилъ его съ писателемъ, писатель разъяснилъ ему человѣка. Но если произведенія поэта помогли изслѣдователю лучше разъяснить различныя душевныя состоянія, пережитыя Данте въ разное время, то эти же произведенія: „Новая жизнь“, „Пиръ“, „Монархія“, равно какъ и „Божественная Комедія“, представились ему идеальнымъ ея отраженіемъ. И Кудрявцевъ, на основаніи труда Вегеле, приходитъ къ выводу: „геніальное творчество въ искусствѣ, повидимому все обращенное къ будущему, часто есть только полнѣйшее и совершеннѣйшее воспроизведеніе самой современности художника“.

Понятно послѣ того, какъ Кудрявцеву хотѣлось „со словъ новыхъ изслѣдователей пересказать русскимъ читателямъ жизнь великаго флорентинца“. Какъ многое другое, такъ и это предположеніе ему не удалось осуществить. Напечатанный имъ трудъ, хотя достаточно объемистый — 132 стр. — заключаетъ въ себѣ не болѣе какъ *дѣтство и юность Данте*. Можетъ быть, слѣдуетъ не столько объ этомъ сожалѣть — ибо въ дѣтствѣ и юности Данте Кудрявцевъ нашелъ самыя симпатичныя для себя мотивы, встрѣтился съ тѣми чувствами поэта, которыя онъ наилучше умѣлъ

изобразить—сколько о способѣ исполненія плана. Вегеле достигъ крупныхъ результатовъ тѣмъ, что впервые далъ въ біографіи поэта надлежащее мѣсто обзорѣнію политическаго и общественнаго состоянія Италіи въ эпоху Данте; у любимаго Форіэля Кудрявцевъ нашелъ прекрасный матеріалъ для объясненія литературы, подѣ влияніемъ которой сложились душевные идеалы Данте; при своей добросовѣстности Кудрявцевъ не могъ ограничиться для своего труда двумя упомянутыми книгами, и такимъ образомъ необходимо вытекавшее изъ новаго метода условіе для біографіи Данте—тщательные очерки политическаго состоянія и литературы Италіи въ XIII в., можно сказать, заглушили прекрасныя страницы, раскрывающія душевную жизнь молодого поэта.

Тѣмъ болѣе мы считаемъ нужнымъ въ этихъ очеркахъ, занимающихъ первыя двѣ главы труда о Данте, отмѣтить тѣ части, которыя составляютъ истинное приобрѣтеніе русской исторической литературы. Самою характерною чертою политическаго состоянія Италіи было въ то время глубокое и всеобщее раздѣленіе ея на двѣ партіи. Превосходно проведено у Кудрявцева объясненіе этого извѣстнаго факта изъ борьбы между имперіей и папствомъ. Кровавое состязаніе между ними уже кончилось. Но „слишкомъ долго тянулась борьба за Италію между двумя авторитетами, прежде чѣмъ перевѣсъ рѣшительно склонился на одну сторону. Оба направленія, между которыми болѣе двухъ вѣковъ была раздѣлена Италія, остались не только въ воспоминаніяхъ народа, но и продолжали держаться въ самыхъ его понятіяхъ. Споръ дѣйствительно разрѣшился побѣдою, но она выпала именно на ту сторону, которая не въ состояніи была замѣнить побѣжденное ею начало и утвердить единство своими средствами. Такимъ образомъ побѣда прошла, не доставивъ ожидаемыхъ результатовъ, и два полярныя направленія, ей предшествовавшія, продолжали существовать по прежнему—съ тою лишь разницею, что полюсы стаянулись на ближайшее разстояніе. Съ одной стороны Германія, съ другой—Неаполь вышли изъ круга,—за то въ сокращенномъ объемѣ того же самаго круга антагонизмъ продолжался съ прежнимъ жаромъ и прежнею силою“.

Какъ въ другихъ государствахъ все направлялось къ единству, такъ въ Италіи все распадалось по двумъ направленіямъ. Италія не раздѣлилась на двѣ отдѣльныя половины, но въ стѣнахъ почти каждаго города гвельфы боролись съ гибеллинами, и „не было равнаго мѣста въ окрестностяхъ городовъ, гдѣ бы гибеллинскія ополченія не спшибались и не дрались по нѣскольку разъ съ гвельфскими дружинами... За недостаткомъ другого, это

было также единство, но самого странного свойства: это было *единство раздѣленія*; между тѣмъ оно выступало очень ярко и передъ нимъ блѣднѣли всѣ другіе интересы... Впослѣдствіи, напр. въ XIV в., Италія уже знала раздѣленіе на крупныя политическія группы, которыя образовались около главныхъ центровъ, Венеціи, Милана, Рима и пр. Единства было, можетъ быть, еще менѣе; но за то отношенія не были такъ перепутаны. Тогда можно было, заключившись въ предѣлахъ одной политической области, посвятить ей всю свою дѣятельность и найти въ ней успокоеніе. Не такъ было съ тѣми, которымъ досталось жить въ трудную эпоху гвельфо-гибеллинскаго раздѣленія, когда самое сознаніе народа было какъ бы расколото на-двое. Въ это время Италія еще была общимъ отечествомъ для всѣхъ, родившихся на ея почвѣ; еще между всѣми ея частями была живая, органическая связь, которая чувствовалась каждому. Но въ то же время нельзя было чувствовать и носить въ сердцѣ Италію, какъ нѣчто единое и цѣлое, потому что всякій сознавалъ ея двойственность. Нравственному лицу непремѣнно предстоялъ выборъ — между гвельфами и гибеллинами“.

Коренною чертою борьбы этихъ партій было упорство и живучесть ихъ, неспособность къ примиренію, жажда взаимнаго истребленія. Все равно, какая бы партія ни побѣдила, побѣжденному во всякомъ случаѣ грозило не только изгнаніе, но и лишеніе всѣхъ средствъ существованія.

Какая же причина этого явленія и какъ возможно было при истребленіи побѣжденныхъ противниковъ постоянное возобновленіе борьбы? Макиавель въ своей „Флорентинской исторіи“ проводитъ параллель между партіями въ древнемъ Римѣ и въ итальянскихъ городахъ. Вѣрнѣе и болѣе поучительно различіе между ними, на которое указываетъ Кудравцевъ. Римскія партіи родились и умѣщались въ стѣнахъ одного города. Итальянскія партіи, напротивъ, возникли не изъ мѣстныхъ условій того или другого города, а изъ общаго хода политики страны. Онѣ сначала были повсемѣстными, а потомъ сосредоточивались въ мѣстныхъ центрахъ. Поэтому мѣстный успѣхъ той или другой партіи ничего не рѣшалъ въ общемъ ходѣ дѣла; онъ не давалъ ей рѣшительнаго перевѣса даже въ томъ городѣ, гдѣ она была у себя дома и считала себя торжествующею. Партія, побѣжденная и осужденная на изгнаніе въ одномъ городѣ, всегда могла найти себѣ сочувствіе и убѣжище въ другомъ. Мало того: въ случаѣ крайняго напряженія борьбы, враждующія стороны могли рассчитывать — кто на Неаполь, кто даже на Германію.

Къ этому примѣшивается то, что итальянская драма разыгрывалась главнымъ образомъ внутри феодальнаго сословія; въ другихъ мѣстахъ феодализмъ вездѣ имѣлъ своего главу; здѣсь же, со времени паденія Гогенштауфеновъ, онъ былъ совершенно безголовымъ и пользовался полною свободой во всѣхъ своихъ движеніяхъ. Поэтому феодальная вражда нигдѣ не развивалась такъ послѣдовательно, нигдѣ она не имѣла такого универсальнаго характера, какъ въ Италіи. Но что, можетъ быть, болѣе всего характеризуетъ борьбу итальянскихъ партій,—это самый театр ихъ дѣйствій. Между тѣмъ какъ въ другихъ странахъ феодальное сословіе болѣею частью жило разсѣянно въ своихъ владѣніяхъ, въ Италіи, наоборотъ, оно постоянно отличалось наклономъ къ городской жизни. Итальянскій феодализмъ не менѣе всякаго другого любилъ ограждать себя крѣпкими твердынями, но этотъ обычай жить въ стѣнахъ, защищенныхъ зубцами и башнями, онъ переносилъ съ собою въ самый городъ. „Оттого итальянскій городъ среднихъ вѣковъ былъ главною квартирою феодализма и вмѣщалъ въ своихъ стѣнахъ всю раздражавшую его внутреннюю вражду. Оттого особенно часто были ея вспышки и горячія столкновенія партій; оттого воздухъ былъ здѣсь воспалительнѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, что онъ спирался въ тѣсномъ пространствѣ городской ограды. На самыхъ улицахъ города происходила большая часть тѣхъ сценъ, которыя въ другихъ мѣстахъ разыгрывались среди чистаго поля“.

Эти строки будутъ оцѣнены историками. Но мы рассчитываемъ на признательность болѣе обширнаго круга читателей, если познакомимъ ихъ съ нѣкоторыми страницами второй главы. Говоря о провансальской поэзіи, Кудрявцевъ не могъ не коснуться главной струны въ этой звучной лирѣ — *любви*. „Это была любовь—не такъ, какъ понимали ее древніе, или какъ стали бы понимать ее наши современники, а другое, болѣе искусственное чувство, которое могло прозябать лишь при особенномъ состояніи литературы и самого общества. Въ этомъ чувствѣ выразилось идеальное направленіе вѣка вообще. Грубость нравовъ не исключаетъ совершенно идеальныхъ стремленій. Они, напротивъ, пробиваются иногда съ тѣмъ болѣею силою, чѣмъ болѣе въ общественномъ устройствѣ дано мѣста грубымъ матеріальнымъ требованіямъ. Въ феодальную эпоху „общество задыхалось отъ преобладанія физической силы, отъ произвола и насилія всякаго рода; человѣкъ чувствовалъ себя безопаснымъ только за крѣпкими стѣнами и въ желѣзной скорлупѣ, въ которую заковывалъ себя съ головы до ногъ. Но идеальное продолжало жить въ обществѣ,

несмотря на господство кулачнаго права, и какъ скоро открыло себя нѣкоторые выходы, устремилось ими съ неудержимою силою“.

Одинъ изъ этихъ выходовъ представляло, по словамъ Кудрявцева, крестоносное движеніе, другимъ— была рыцарская любовь, воспѣваемая трубадурами. „Женщина вообще высоко стояла въ понятіяхъ феодальнаго общества. Идеальное воззрѣніе оторвало ее отъ общаго уровня и вдругъ подняло ее на такую высоту, что она казалась уже неземнымъ существомъ. Въ очарованіи, производимомъ ею, увидѣли какое-то магическое дѣйствіе особаго рода; чувство, ею внушаемое, казалось непринлежащимъ къ разряду обыкновенныхъ человѣческихъ чувствъ. Любовь получила таинственный смыслъ, т.-е. перешла въ служеніе“.

Чрезвычайно поэтично описываетъ Кудрявцевъ, какъ самый образъ жизни феодальнаго общества способствовалъ этому превращенію любви къ женщинѣ въ мистическое служеніе ей, и какую роль въ этомъ отношеніи игралъ замокъ. Феодализмъ „былъ дикъ отъ природы и любилъ вить свои гнѣзда вдали отъ людей, на мало доступныхъ высотахъ“. Предоставимъ читателю узнать отъ самого автора, какъ жизнь по замкамъ повліяла на положеніе женщины, изолировала ее, вызвала, такъ сказать, тоску по ней: „въ обществѣ почувствовался недостатокъ присутствія женщины; ее искали, можетъ быть, тѣмъ сильнѣе, чѣмъ менѣе находили. Недостатокъ женскаго очарованія нельзя замѣнить ничѣмъ другимъ“. Разобщеніе по замкамъ вызвало съѣзды и рыцарскіе турниры: „здѣсь женщина была не просто украшеніемъ праздника, но и царицею его. Она была верховнымъ судьей рыцарской доблести и вѣнчала ее своею одобрительною улыбкою. Къ ней приближались съ подобоострастіемъ, чтобы принять изъ рукъ ея заслуженную награду, и съ тѣмъ же самымъ чувствомъ отступали назадъ“. „Дружеской короткости здѣсь не было довольно ни мѣста, ни времени. На этой степени чувство имѣло скорѣе видъ обожанія, чѣмъ любви. Разлука только увеличивала его силу и придавала ему еще болѣе мечтательный характеръ. Все идеальнѣе и идеальнѣе казалась „дама сердца“, недоступная простымъ человѣческимъ отношеніямъ, удаленная изъ круга ежедневнаго общенія, и все больше и больше отдѣлялась она отъ земли“.

Но праздникъ кончался, и снова наступало уединеніе въ замкѣ; отрадою въ этой жизни явилась пѣснь трубадура. „Искусственная и довольно однообразная пѣснь трубадура, переходившаго изъ замка въ замокъ и вездѣ воспѣвавшаго одно чувство, одинъ родъ любви, замѣняла для женщины того времени очень многое. Она доносила до женскаго слуха и дорогое для него

признаніе, и сердечный вздохъ обожателя, говорила сердцу и воображенію женщины, свидѣтельствовала о торжествѣ ея и наконецъ пріятно наполняла ея праздное время. Неудивительно, что женское ухо легко склонялось къ этой музыкѣ. Иногда влюбленный рыцарь и трубадуръ сливались въ одно лицо; тогда самая простая мелодія получала новую прелесть. Подъ огнемъ глазъ красавицы еще сильнѣе разгоралось вдохновеніе, и немудрено, что поэтическія строфы не только пѣлись, но и слагались вновь въ ея присутствіи“.

Историкъ, съ такимъ краснорѣчивымъ сочувствіемъ изобразившій настроеніе трубадуровъ, нашелъ потомъ самые нѣжные тоны для „поэтической повѣсти любви Данте“, отъ ея пробужденія въ ребенкѣ и до „воспламененія сердца и головы“ въ юношѣ, когда Беатриче въ первый разъ поклонилась ему. Это было то самое чувство, которое впервые сказалось въ провансальской поэзіи и наполнило собою почти все ея содержаніе; это была та идеальная любовь, которая обыкновенно разрѣшалась поэтическими звуками и скоро переходила въ культъ женщины. Въ ней выразилось идеальное стремленіе вѣка; она служила ему источникомъ высокаго вдохновенія и во многихъ случаяхъ замѣняла недостатокъ твердыхъ нравственныхъ началъ въ жизни. „Многого *личили*сь,—прибавляетъ историкъ,—тѣ народности, до которыхъ не достигло ея благотворное вліяніе“.

Это настроеніе сообщалось обыкновенно путемъ литературы; но Кудрявцевъ справедливо отмѣчаетъ, что въ данномъ случаѣ у Данте оказалась природная для него почва, такъ какъ пламя любви, повидимому, воспало его гораздо прежде, чѣмъ могло подѣйствовать на него то или другое поэтическое вліяніе. Дальнѣйшее развитіе чувства у Данте совершалось уже подъ этимъ вліяніемъ, ибо возрастаніе его любви къ Беатриче совпадаетъ съ его первыми опытами въ той поэзіи, которая признавала „служеніе женщинѣ, а не обладаніе ею, крайнюю цѣль“. Оттого-то, „какія бы перемены ни произошли во внѣшней судьбѣ „избранной“, она стояла одинаково высоко въ глазахъ того, кто однажды посвятилъ себя на служеніе ей. Можно и даже необходимо было ей принадлежать „другому“, потому что та идеальная любовь не совмѣщалась съ обладаніемъ и не допускала его для себя“. Историкъ разъясняетъ, однако, что чувство Данте не укладывалось въ эту условную рамку—такъ оно было задушевно и искренно, такъ глубоко коренилось въ самой его природѣ. Одно искусственное вліяніе никогда бы не могло покорить себѣ до такой степени всего человѣка. Въ жизни другихъ такое чувство бывало мимо-

летнымъ явленіемъ; въ душѣ Данте почти не оставалось мѣста другимъ стремленіямъ. Беатриче была не только самою яркою звѣздой его юности, но и возбуждательницею къ „новой жизни“. „Онъ былъ какъ полный сосудъ, принявшій въ себя всю полноту новаго въ европейскомъ развитіи чувства. Оттого такъ неистощимо было его поэтическое вдохновеніе, несмотря на то, что темою для него долгое время служилъ одинъ и тотъ же образъ“. „Оно било въ немъ черезъ край; оно ловило каждый новый моментъ и тотчасъ давало ему крѣпкую металлическую форму подъ именемъ сонета или канцоны. Въ томъ состояла его *новая жизнь*“.

Въ этомъ умѣнь постигнуть и вѣрно изобразить тайну жизни великаго итальянскаго генія мы чувствуемъ мастерство историка; но потому такъ хорошо была понята тайна, что историкъ умѣлъ за условными формами давно минувшаго вѣка угадать вѣчную и обще-человѣческую мелодію и потому что, какъ человѣкъ, онъ находилъ въ своей душѣ родственные ей звуки. Кудрявцевъ принадлежалъ къ тѣмъ избраннымъ натурамъ, для которыхъ написанъ стихъ: *das Ewigweibliche zieht uns hinan*. Поэтому, приведши одно удивительное мѣсто изъ „Новой жизни“ Данте, онъ могъ сказать: „сквозь поэтическую оболочку какъ ясно проглядываетъ истинное чувство! Мы въ самомъ дѣлѣ не знаемъ другого столько же вѣрнаго и искренняго выраженія того свѣжаго юношескаго чувства, которое владѣетъ человѣкомъ лишь немногія минуты его полнаго физическаго расцвѣта, чувства необыкновенно чистаго, восторженнаго и въ то же время робкаго, стыдливаго. Оно знакомо особенно идеальнымъ натурамъ“. Всѣ читатели статьи о Данте, конечно, пожалѣютъ, что эта „поэтическая повѣсть любви“ прерывается на тридцать страницъ подробнымъ изложеніемъ однообразной борьбы флорентинскихъ партій. Историкъ самъ чувствовалъ необходимость оправданія и ссылаясь на то, что Данте принималъ въ ней непосредственное участіе. Но лишь наступило торжество гвельфовъ, какъ поэта постигъ роковой ударъ и смерть „внезапно и насильственно похитила лучшую мечту его юности“. Предоставляя нашимъ читателямъ прочесть у самого Кудрявцева „видѣніе“ смерти Беатриче, въ которомъ излилось чувство поэта, мы думаемъ, что всякій изъ нихъ прочтетъ съ особеннымъ умиленіемъ заключительныя слова историка, которыя можно назвать его „видѣніемъ смерти“, ибо черезъ годъ послѣ нихъ ему пришлось также внезапно и неожиданно испытать горечь чувствъ, приписываемыхъ поэту. Во всякомъ случаѣ, первое чувство роковой, ничѣмъ невознаградимой утраты сказалось у Данте не поэтическимъ видѣніемъ, а горькимъ, безотраднымъ воплемъ. „Онъ

пережить то состояніе, въ которомъ человѣкъ говоритъ себѣ, что для него потеряно все, все въ мірѣ. Именно такъ: пустота вдругъ почувствовалась ему не только въ сердцѣ, но и въ цѣломъ мірѣ. Пылкость молодой души только увеличивала безотрадность положенія. Какъ прежде въ образѣ Беатриче сосредоточивалась для него вся красота и всякое достоинство, такъ теперь казалось ему, что цѣлый городъ не имѣетъ болѣе ни вида, ни достоинства, лишившись той, которая на поэтическій взглядъ была его единственнымъ украшеніемъ; всему свѣту онъ готовъ былъ жаловаться на свою потерю; какъ будто всѣ были виноваты въ ней и всѣ одинаково должны были ее чувствовать“. Для Данте смерть любимой женщины была только переходомъ къ другому, болѣе знаменательному періоду его жизни. „Ея образъ для него навсегда остался на той идеальной высотѣ, на которую онъ поднять былъ пареніемъ его молодого воспріимчиваго чувства; тѣмъ мрачнѣе сгущались потомъ тѣни надъ головою Данте, тѣмъ ярче свѣтилъ передъ нимъ любимый образъ, какъ неизмѣнная путеводная звѣзда его жизни... Матеріальныя черты Беатриче исчезали въ памяти поэта и мѣсто ихъ заступали другія, болѣе идеальныя и болѣе таинственныя, вмѣщавшія въ себѣ все богатство его внутренней жизни и по прежнему сосредоточившія въ себѣ его поэтическое вдохновеніе“. Когда пришла къ концу поэтическая повѣсть о „Новой жизни“, въ головѣ поэта уже зарождалась первая идея „Божественной Комедіи“.

Историка этой поэтической любви ожидала другая участь. Его любовь была уже не мечтой, не первымъ расцвѣтомъ юношескаго воображенія; она не служила ему „яркою звѣздой поэтического вдохновенія“, а тихой лампадой, освѣщавшей его непрерываемый трудъ. Когда погасъ этотъ свѣтъ, его перо остановилось, и книга выпала изъ его рукъ. Но и онъ испыталъ очарованіе того идеальнаго чувства, которое онъ такъ хорошо умѣлъ подслушать въ звукахъ средневѣковой поэзіи, и мы къ нему тоже можемъ примѣнить стихъ, которымъ онъ заключаетъ свою повѣсть о Данте:

Блаженъ, кто смолоду былъ молодъ!..

Статья о Данте служить естественнымъ переходомъ отъ историческихъ статей Кудрявцева къ тѣмъ, которыя касаются предметовъ художественнаго свойства. Одна изъ таковыхъ относится къ исторіи европейской живописи. Трудно себѣ представить, чтобы простое описаніе картинной галлерей могло имѣть такое общее

значение и доставить читателю такое удовольствіе, какъ статья о „Бельведерѣ“. Она одинакова интересна какъ для лицъ, не видавшихъ вѣнской галлерей, такъ и для тѣхъ, кто пожелаетъ провѣрить свои собственныя впечатлѣнія при изученіи этой галлерей или освѣжить свои воспоминанія о ней. Причина заключается въ томъ, что статья даетъ не только описаніе картинъ въ Бельведерѣ, но характеристику и общую оцѣнку самихъ художниковъ, основанную на тщательномъ изученіи ихъ произведеній въ другихъ галлерейхъ — дрезденской, мюнхенской и лихтенштейнской въ Вѣнѣ; характеристика Тиціана, напр., основана главнымъ образомъ на анализѣ его знаменитаго изображенія Христа въ Дрезденѣ—Christo della moneta. Затѣмъ авторъ статьи сумѣлъ передать читателямъ необыкновенную живость и непосредственность впечатлѣній, имъ самимъ вынесенныхъ, напр., передъ изображеніемъ княжны Турнъ-Таксисъ рукою Ванъ-Дейка—въ галлерей Лихтенштейна (стр. 616).

Съ характеристики итальянскихъ живописцевъ, произведенія которыхъ преимущественно наполняютъ Бельведеръ и къ направленію которыхъ Кудрявцевъ относился особенно сочувственно, начинаетъ онъ свою статью. На первомъ планѣ посѣтителей Бельведера поражаютъ произведенія художниковъ венеціанской школы, учениковъ Тиціана—Веронезе и Тинторетто. Весьма вѣрно опредѣляетъ Кудрявцевъ ихъ манеру и взаимное отношеніе ихъ къ Тиціану: сосѣдство Тинторетто съ Веронезомъ гораздо выгоднѣе для послѣдняго. Тогда какъ Веронезе, принявъ одинъ и тотъ же колоритъ отъ общаго ихъ учителя, искусно просвѣтилъ его живою игрою красокъ, Тинторетто взялъ противоположное направленіе и сгустилъ въ своихъ произведеніяхъ тѣни, не придавъ новой энергіи свѣту. Въ своей художественной критикѣ Кудрявцевъ иногда прибѣгаетъ къ юмору: такъ, говоря объ эклектической школы Карачіевъ, онъ замѣчаетъ: „но какъ скоро дѣло идетъ о Караччи, количество значить всего менѣе; въ отношеніи къ нимъ надо быть столько же строгимъ эклектикомъ, какъ они сами были въ отношеніи къ своимъ образцамъ“. Иногда онъ, какъ критикъ, вполне отдается своему впечатлѣнію; такъ, онъ говоритъ о Караваджіо: „Нельзя указать большаго контраста къ Рафаэлю. Очерки его грубо-жестки, черты угловаты, хотя всегда многозначительны, никакихъ слѣдовъ граціи и колоритъ, для означенія котораго я не нахожу приличнѣе слова, какъ *чубарый*. Художникъ съ замѣчательною силою таланта, онъ хотѣлъ быть оригинальнымъ, отступилъ отъ идеальнаго направленія своихъ предшественниковъ и вдался въ крайности натурализма. Страсть выра-

жается у него чертами сильными, рѣзкими, но тамъ, гдѣ должно преобладать идеальное, Караваджіо становится страненъ, неловокъ, почти совершенно теряетъ тактъ "... Черезъ годъ въ Парижѣ онъ измѣнилъ свое мнѣніе: „Караваджіо, — писалъ онъ, — въ своихъ историческихъ произведеніяхъ былъ для меня до Лувра выраженіемъ грубаго, хотя и очень характернаго натурализма. Я увидѣлъ его „Успеніе Богоматери“ и былъ пораженъ силою и глубиною простого, но искренняго скорбнаго чувства, разлитаго во всѣхъ лицахъ, которыя наполняютъ картину. Для меня стала ясна новая, дотогѣ почти неподозрѣваемая сторона въ талантѣ этого художника, которая можетъ значительно повысить цѣну и прочимъ“. Изъ итальянцевъ Бельведера самое сильное впечатлѣніе на молодого путешественника произвелъ, конечно, Тиціанъ. Кудрявцевъ видитъ въ немъ гармоническое сочетаніе идеальнаго и реалистическаго направленія вѣка: „послѣднее Тиціанъ принялъ и совершенно усвоилъ своей кисти, но не ограничился имъ однимъ, т.-е. не сдѣлался фламандцемъ. Прежній идеализмъ не былъ имъ рѣшительно отвергнутъ — онъ былъ только побѣжденъ въ своей односторонней исключительности и перешелъ въ искусство Тиціана какъ элементъ, ограниченный и проникнутый новымъ направленіемъ, болѣе соотвѣтствовавшимъ потребностямъ времени“.

По этому отзыву о Тиціанѣ можно было бы ожидать, что *фламандская живопись* не будетъ по достоинству оцѣнена Кудрявцевымъ. Но очень характерно для него, что онъ скоро справился съ впечатлѣніемъ, которое не было ему симпатично по натурѣ, и съ эстетическимъ тактомъ съвозъ оболочку проникъ къ художественной истинѣ. Его разсужденія объ отношеніи итальянской живописи къ нидерландской, объ этомъ „переходѣ отъ идеализма къ натурализму“, могутъ быть въ наши дни особенно поучительны. „Переходъ, — говоритъ онъ, — отъ итальянскаго отдѣленія живописи къ нидерландскому есть всегда переходъ отъ идеальнаго къ противоположному, къ тому по крайней мѣрѣ, что заключаетъ въ себѣ наименѣе идеала и наиболѣе природы. Искусство остается, безъ сомнѣнія, и здѣсь идеальнымъ, но только въ той мѣрѣ, въ какой это необходимо для его самостоятельности, для того, чтобы оно всегда оставалось на извѣстной высотѣ передъ ремесломъ. И здѣсь есть мѣсто созданію, творчеству, по которому только мы и можемъ судить о жизненности искусства; но здѣсь творческою силою фантазіи художника лишь дѣйствительное является идеальнымъ, тогда какъ тамъ высоко-идеальное превращается въ живой образъ въ дѣйствительности“.

Переходъ, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, былъ тѣмъ болѣе

рѣзокъ, что Кудрявцеву пришлось перейти въ нидерландское отдѣленіе черезъ залу съ картинами, изображавшими такъ-называемую *nature morte*. Чтѣ могло быть болѣе чуждо поклоннику Рафаэля и Винчи, чѣмъ, напр., „Рыбный рынокъ“ Ванъ-Эса, большая картина, вся занятая рыбами всякаго рода, висящими, лежащими на столѣ и на полу, кучами и по-одиночкѣ? Здѣсь, дѣйствительно, искусство служило уже инымъ богамъ: „вы сначала почти не замѣчаете искусства, такъ ощутительно говорить вашимъ чувствамъ въ этихъ произведеніяхъ дѣйствительная природа“. Но читатель вмѣстѣ съ авторомъ *вспоминаетъ* объ искусствѣ, когда при его помощи вглядывается въ картину и замѣчаетъ, какъ художникъ сумѣлъ передать „эту холодную жизнь со всѣмъ ей свойственнымъ колоритомъ“, какъ онъ вѣрно угадалъ и перенесъ на полотно, напр., игру красокъ въ перерѣзанной наискось свѣжей лососинѣ.

Едва ли болѣе симпатично было автору нидерландское искусство, когда оно обращалось къ человѣку, „стараясь уловить въ немъ жизнь самой природы въ противоположность идеальному, когда оно хотѣло видѣть въ человѣкѣ прежде всего благороднѣйшее *животное*“. Но и въ данномъ случаѣ, вглядываясь въ картины, на которыхъ человѣкъ празднуетъ свои пиры, съ сіяющимъ лицомъ и играющими отъ радости глазами истребляетъ природу растительную и животную въ разныхъ ея видахъ, авторъ сумѣлъ выяснитъ себѣ и читателямъ, почему эти картины принадлежатъ все-таки къ области искусства. За то свободнѣе дышитъ авторъ и выше, и выше поднимается его грудь, когда онъ подходит къ *ландшафту*, когда онъ выясняетъ, какъ идеальное направленіе искусства въ Италіи убивало въ художникахъ пониманіе поэтической стороны природы, и какъ велика въ этомъ отношеніи заслуга нидерландцевъ—когда, наконецъ, ему дана возможность заговорить о Рюисдэлѣ. „То, чтѣ внесъ Рюисдэлъ въ ландшафтную живопись, была его собственная глубокая симпатія къ природѣ—не къ этой праздничной, нарядной, сіяющей радостнымъ блескомъ, которая веселитъ взоръ, но къ природѣ дикой, утруемой, печальной, задумчивой; его ландшафтъ—почти всегда глубоко-поэтическая элегія... Любилъ онъ дивую прелесть лѣсовъ и робкую игру солнечныхъ лучей среди ихъ пустынныхъ полей; любилъ, когда пустыня оживлялась на минуту кривомъ охотниковъ, преслѣдующихъ оленя; любилъ осѣненный густою зеленью пригорокъ и вьющуюся по немъ одинокую тропинку, грустно оживленную однимъ лѣнливомъ пѣшеходомъ; любилъ старое дерево, сломанное грозой или брошенное бурей подлѣ широкой

дороги, стремительный скатъ ручья по каменистому руслу, черную тучу, завѣсившую горизонтъ и подъ нею—безмолвное кладбище съ памятниками, поросшими мохомъ забвенія... Онъ любилъ жить мыслью съ этими печальными предметами, и вмѣстѣ съ ними переносилъ на полотно и свою печальную думу—я хотѣлъ сказать—свою душу, исполненную любви къ грусти"... Если Рюисдэль открылъ Кудрявцеву значеніе ландшафта въ живописи, то изъ произведеній Ванъ-Дейка онъ, можно сказать, почерпнулъ художественную теорію *портрета*. Перейти отъ ландшафта къ портрету—по словамъ Кудрявцева—это совершить переходъ вовсе не такой рѣзкій, какъ казалось бы съ перваго взгляда. „Формы инныя, но условія искусства тѣ же самыя. Дѣйствительная основа нужна портрету еще болѣе, чѣмъ ландшафту; портретъ есть копія живой личности, между тѣмъ какъ ландшафтъ можетъ и не быть копіею дѣйствительной мѣстности. Но въ чемъ же выражается творчество художника въ дѣлѣ портрета, если передача оригинала остается его главной задачей? Въ томъ, чтобы сохранить всѣ черты подлинника и просвѣтлить ихъ идеальностью выраженія, ибо душа искусства есть идеализація“. Такова теоретическая формула; но правда и смыслъ ея стануть ясны читателямъ, если они послѣдуютъ за авторомъ въ его описаніи портретовъ Ванъ-Дейка, особенно портретовъ неизмѣтныхъ людей, по крайней мѣрѣ неизвѣстныхъ по имени, напр., той бюргерши, лѣта которой „унесли съ собою ея прежнюю привлекательность, а званіе не могло придать никакого особеннаго выраженія“. „На многія изъ подобныхъ лицъ,—говоритъ Кудрявцевъ,—вы, можетъ быть, не захотѣли бы взглянуть въ натурѣ, а теперь останавливаетесь, заглядываясь на нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, жизнь, прошедшая черезъ искусство, просвѣтлѣвшая въ ея идеальномъ свѣтѣ, имѣетъ свою необыкновенную прелесть, какъ бы въ доказательство—не первое, а развѣ тысяча-первое—того, что дыханіе искусства само исполнено жизненной силой, что въ немъ перерожденная жизнь еще болѣе приобретаетъ въ очарованіи“.

Много еще интереснаго найдетъ читатель въ разсматриваемой нами статьѣ—сравненіе между манерами Рембрандта и Корреджіо въ употребленіи свѣтотѣни, и характеристику Рубенса, въ картинахъ котораго „такъ тѣсно отъ жизни, появляющейся въ самыхъ яркихъ формахъ, въ самыхъ смѣлыхъ и разнообразныхъ положеніяхъ“, и описаніе картинъ другихъ мастеровъ, которые ему внушаютъ желаніе самому видѣть подлинники.

Пониманіе итальянской и фламандской живописи болѣе или менѣе легко доступно современному человѣку; поэтому можно

сказать, что разнообразіе художественнаго вкуса Кудрявцева особенно проявляется въ его статьяхъ, посвященныхъ классической древности. Въ статьѣ: „Эдипъ Царь“ онъ пересказываетъ развитіе драмы съ такимъ психологическимъ пониманіемъ и такимъ человѣческимъ сочувствіемъ, что многимъ читателямъ великое произведеніе Софокла раскроется во всей своей художественной красотѣ и человѣческой правдѣ, благодаря, можетъ быть, этому изложенію, тѣмъ болѣе, что оно сопровождается анализомъ, въ которомъ автору вполнѣ удалось выяснить *человѣческій* элементъ драмы, показать сверхъ прогресса чисто художественнаго и успѣхи нравственнаго сознанія между современниками величайшаго изъ трагиковъ классической древности. Разъясняя по поводу драмы общія начала нравственности, авторъ устанавливаетъ вѣчный принципъ, въ которомъ, можно сказать, заключается сущность этического развитія древности и полученнаго нами отъ нея наслѣдія—принципъ, что первою мыслью, слѣдующею за сознаніемъ вины, должно быть „сознаніе необходимости добровольнаго очищенія (экспіаціи), хотя бы оно сопряжено было съ тяжкими и ничѣмъ не вознаграждаемыми лишеніями“.

Если „Эдипъ Царь“ былъ для Кудрявцева высшимъ расцвѣтомъ нравственнаго сознанія грековъ, то воплощеніемъ ихъ чувства изящества была для него Венера Милосская. Ея статуя въ Луврѣ стала для него откровеніемъ пластической красоты. При видѣ ея забились въ немъ всѣ жилки художника, полная еще чаша юной жизни переполнилась до краевъ отъ восторга и наслажденія красою. Оттого, никогда не говорилъ онъ съ такою развязностью, съ такимъ веселымъ юморомъ, какъ въ письмѣ къ другу, котораго онъ приглашаетъ, „не снѣша къ новому, только на минуту заглянуть въ отдѣленіе древней пластики. Думаешь, можетъ быть, что мы такъ далеко ушли отъ древней жизни, что вовсе потеряли, наконецъ, способность понимать ее безъ книги, что не можемъ даже обонять, безъ помощи рефлексіи, благоуханіе лучшаго цвѣта древности, благоуханіе ея вѣчно юнаго искусства? Приди и посмотри. Тебѣ, правда, не достанется добавить остальное слово Цезаря, но зато ты сознаешься, что ты—побѣжденъ“.

Онъ ведетъ друга прямо къ Венерѣ Милосской. „Прямо къ ней пусть идетъ всякій, кто не вѣруетъ въ нашу восприимчивость для древняго искусства или кто хочетъ наслажденія имъ полнымъ, живого, *непосредственнаго*... Сіяющей красоты Венеры Милосской не въ состояніи закрыть самые вѣка. Если только красота не чужое твоему природному чувству, если ты видѣлъ

и замѣтилъ ее въ жизни, ступай прямо безъ всякаго ухищренія къ этому прекрасному образу; не только ты почувствуешь и, если хочешь, поймешь эту красоту—онъ лучше многихъ руководствъ ввести тебя въ тайны древняго искусства. Тогда бы ты понялъ и то, какъ возможно не говорить о ней, видѣвъ ее нѣсколько разъ; и признаюсь, у меня есть непреодолимое желаніе сказать о ней два, три слова“.

Мы не станемъ приводить эти слова, анализировать описаніе статуи и ея достоинствъ. Это, такъ сказать, цѣльное лирическое стихотвореніе въ прозѣ, которое вылилось изъ глубины души и не поддается анализу. Но вотъ строки, которыя можно назвать „гимномъ искусству“, такъ поэтично высказались въ нихъ художественныя убѣжденія автора. „Что такое она — эта живучесть искусства, эта жизнь, не умирающая въ его созданіяхъ, которая не гибнетъ въ землѣ, не блекнетъ отъ времени? Что такое эта теплота, вѣющая отъ нихъ на насъ и родящая въ насъ живую симпатію, въ насъ, сынахъ другого вѣка, дѣтяхъ иного племени, для которыхъ самая память о томъ давно погибшемъ племени есть купленная, приобрѣтенная, изъ книги добытая? Что же неумирающаго, намъ родного остается въ этихъ памятникахъ и говорить намъ въ нихъ такою понятною рѣчью? И не думаю, чтобы можно было отвѣтить однимъ словомъ—красота: есть красота мертвая и есть красота живая; отъ одной я тотчасъ уйду въ сторону; другая беретъ все мое вниманіе, родитъ пріязнь къ себѣ: мы опять пришли къ нашему вопросу. Тайна жизни искусства есть его духовное, идеальное: откуда и его безсмертіе. Откуда духовное? конечно, отъ духа художника, который вмѣстѣ съ своею идеею переноситъ въ камень или на полотно и, такъ сказать, часть своего собственнаго духа. Это онъ, это его создающій духъ,—духъ, слившійся съ своею идеею, который узнаемъ, который любимъ мы въ камнѣ; это онъ, огненный неразлучный съ пересозданнымъ имъ тѣломъ: онъ погребается вмѣстѣ съ нимъ въ могилу и, когда снова выходитъ изъ нея, остается тѣмъ же жизненнымъ духомъ“.

В. ГЕРЬЕ.



ТИПЪ ФАУСТА

ВЪ

МІРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЪ

ОЧЕРКИ.

III *).

Ленау хотѣлъ въ отдѣльномъ произведеніи противопоставить сенсуализмъ Донъ-Жуана спиритуализму Фауста. Но въ своемъ героѣ онъ намѣревался изобразить не простого искателя любовныхъ приключеній. Первоначальный характеръ романскаго преданія долженъ былъ уступить мѣсто новому пониманію его, соответствовавшему романтическимъ стремленіямъ. Донъ-Жуанъ сталъ безпокойнымъ искателемъ идеала, который въ наслажденіяхъ хочетъ утолить жажду души. Поэты байроновскаго періода съ особеннымъ пристрастіемъ останавливались на типахъ, выразившихъ романтическую безпредѣльность. Но Донъ-Жуанъ, кромѣ того, служилъ и представителемъ той демонической силы, того высокомерія, въ которыхъ сказывалась громко заявлявшая себя „личность“; это „роковой человѣкъ“ байроновскаго періода, предъ которымъ никто устоять не можетъ, любовь котораго готовитъ вѣрную гибель. Въ русской литературѣ такое пониманіе типа нашло самое яркое выраженіе въ Печоринѣ Лермонтова. Донъ-Жуанъ Ленау, вѣ-

*) См. выше: амт., 508 стр.

роятно, представилъ бы сходство съ его же Фаустомъ; непостоянство героя—не что иное, какъ погоня за идеаломъ, отъ котораго дѣйствительность далека. Но выполненіе, оставшееся отрывкомъ, не соотвѣтствуетъ первоначальному замыслу; надъ своимъ послѣднимъ произведеніемъ, появившимся уже послѣ его смерти, авторъ трудился съ большими перерывами уже во время психическаго недуга, омрачившаго послѣднія 10 лѣтъ его жизни.

Попытка слить въ одно лицо типы Донъ-Жуана и Фауста (попытка, которая, впрочемъ, обходится не безъ натяжекъ) дала весьма своеобразный характеръ драмѣ А. Толстого: „Донъ-Жуанъ“. Вліяніе Гётева Фауста на это произведеніе очевидно. Такъ, во вступленіи, сильно напоминающемъ прелогъ у Гёте, духи поютъ: „Тотъ, кто ищетъ свѣтъ, кто жаждетъ лишь обнять чтò вѣчно и прекрасно, надъ тѣмъ у ада власти нѣтъ“. Сатана говоритъ: „Мое дѣло благотворно; безъ дѣла праведникъ, пожалуй бы, заснулъ, и еслибъ чорта не было на свѣтѣ, то не было бы и святыхъ“. Болѣе того: зло и добро—отрицательное и положительное выраженіе той же величины. Донъ-Жуанъ, подобно Фаусту, томится надъ загадкой жизни. На пирѣ онъ поетъ: „Кто мнѣ скажетъ, зачѣмъ, для чего я живу? Кто мнѣ смыслъ разгадаетъ загадки? Смысла въ ней безконечной душой не ищи, но какъ камень, сорвавшись съ свистящей пращи, лети все впередъ, безъ оглядки!“—Этотъ Донъ-Жуанъ не сластолюбецъ романскаго преданія, не герой Мольера, беззаботно предающійся разгулу: это человѣкъ новаго времени, томимый жаждой идеала. Донъ-Жуанъ, согласно съ характеромъ своимъ, долженъ искать счастья въ любви; но, какъ искатель идеала, онъ придаетъ любви мистическій смыслъ; любовь—высшее блаженство и высшее откровеніе; это та сила, которая у Данте двигаетъ мірами, а земная любовь—только символъ и отраженіе вѣчной, мірообъемлющей любви.

...„Я понималъ любовь, — говоритъ Донъ-Жуанъ.—Любовь меня роднила со вселенной, всѣхъ истинъ я источникъ видѣлъ въ ней, всѣхъ дѣлъ великихъ первую причину. Черезъ нее я понималъ ужъ смутно чудесный строй законовъ бытія, явленій всѣхъ сокрытое начало“. Когда любовь есть ложь, то всѣ понятія и чувства — все ложь; религія, дружба, состраданіе и т. д. „Коль нѣтъ любви, то нѣтъ и убѣжденій, нѣтъ и Бога. Чтò-жъ остается въ жизни? Слава? власть? Какая власть того насытитъ, кто искалъ блаженства?“ Донъ-Жуанъ чувственность называетъ „искаженнымъ символомъ любви, который иногда, зажмуря очи, еще принять мы можемъ за любовь“. — „Къ чему же намъ зазрѣнными стѣсняться? мириться не могу съ судьбой и

покоряться тѣни; моимъ страстямъ я отпущу бразды, я все попру ногами и жизни отомщу“. Онъ хочетъ, чтобъ воображеніе опять унесло его на крыльяхъ, наполнило душу минутной вѣрой: „я непритворно въ роль войду и до развязки самъ себя не вѣрю“. Сатана видитъ гибель Донъ-Жуана въ томъ, что: „не понялъ онъ любви святого назначенья, которая-бъ теперь спасти его могла“. Сатана вызываетъ душу земли, которая должна повиноваться Донъ-Жуану во всемъ; земныя радости и безпредѣльная власть должны окончательно погубить его. Но въ концѣ опять слышится гѣсъ духовъ: „Оставь того, кто вѣруетъ и любить! Любовь есть сердца покаянье, любовь есть вѣры ключъ живой, его спасетъ любви сознанье“. Донъ-Жуанъ сознается, что „вмѣстѣ съ ложью то, что было чисто и правдиво, въ безуміи ногами я попрахъ“. — „Законъ вселенной—равновѣсье. Возмездіемъ лишь держится оно“. Онъ уходитъ въ монастырь, гдѣ приноситъ покаяніе и умираетъ.

Очевидно, что А. Толстой пользовался не первоначальнымъ видомъ преданія о „Донъ-Жуанѣ Теноріо“, а позднѣйшимъ видоизмѣненіемъ его, по которому „Донъ-Жуанъ де-Маранья“ кается и умираетъ въ монастырѣ. О Теноріо севильскія хроники гласятъ, что онъ погибъ отъ мести враговъ, а по народному повѣрью его низвергаетъ въ адъ статуя командора. Преданіе о Донъ-Жуанѣ де-Маранья, до извѣстной степени, допускаетъ сліяніе его съ Фаустомъ, по крайней мѣрѣ введеніе нѣкоторыхъ мотивовъ.

Характеръ страстной безпредѣльности одинаково присущъ обоимъ типамъ въ трагедіи „Донъ-Жуанъ и Фаустъ“, написанной нѣсколько лѣтъ до появленія „Фауста“ Ленау современнымъ молодымъ поэтомъ, Граббе. Авторъ связалъ своихъ героев любовью въ той же женщинѣ, что дало ему поводъ сопоставить эти типы, хотя онъ часто и смѣшиваетъ ихъ. Сходство заключается въ безмѣрности желаній одного и другого: въ Фаустѣ—безмѣрная жажда знанія; въ Донъ-Жуанѣ—безмѣрная жажда наслажденій; въ первомъ поэтъ хотѣлъ показать дерзновенность пытливаго ума; во второмъ—дерзновенность не признающаго законовъ сластолюбца. Такъ, Граббе въ двухъ лицахъ представляетъ то, что Фаустъ Гёте старается соединить въ себѣ, не ради высшихъ цѣлей, а именно, чтобъ постигнуть всю полноту существованія, приобщиться богатой жизни человѣчества. У Граббе, какъ и у Ленау, Фаустъ становится и Донъ-Жуаномъ; но между тѣмъ какъ Фаустъ Гёте и въ увлеченіи остается идеалистомъ, у другихъ чистота символа искажается господствомъ страсти. Герои

Граббе оба падаютъ во власть дьявола, который говоритъ: „по двумъ различнымъ путямъ вы пришли къ той же цѣли“. Сила, съ которой выражается дерзновенность его героевъ, составляетъ главное достоинство этого оригинальнаго произведенія, соответствующаго характеру страстнаго, стремительнаго, но рано погибшаго отъ излишествъ поэта, который, при крупномъ дарованіи, не достигъ полнаго развитія своего таланта.

Граббе ближе другихъ придерживается нѣкоторыхъ мотивовъ преданія; такъ, его Фаустъ въ такой же мѣрѣ повелитель надъ темными силами, какъ и мыслитель; дьяволъ съ трепетомъ повинуется его временной власти; первоначальная, болѣе внѣшняя сторона преданія, видимо, увлекала автора. Дьяволъ у него не Гётевскій Мефистофель; онъ скорѣй напоминаетъ Мефистофеля у Марло. Въ его словахъ слышится отголосокъ времени любви и упованія: „Кто несказанно любилъ, тотъ сильнѣй и ненавидитъ. Нечистый духъ не ближе-ль къ Божеству, чѣмъ червь, что роется въ пыли?“ Пантеизмъ звучитъ мѣстами и у Граббе: „Равны между собою духи, отъ высшаго до низшаго. Мы всѣ обломки божества; религія и любовь, всѣ чувства сердца, то сновидѣнія лишь Его“.

Когда, наконецъ, дьяволъ овладѣваетъ имъ, Фаустъ восклицаетъ: „Если безсмертенъ духъ мой, то буду бороться я съ тобой во вѣки вѣковъ, и, можетъ статься, буду побѣдителемъ!“

Какъ далеко все это отъ свѣтлаго идеализма Гёте, исполненнаго упованія, помимо религіозныхъ догматовъ и вѣры въ результаты человѣческой пытливости и, на основаніи этой вѣры, неутомимо ищущаго истины среди тревогъ и заблужденій! Когда, въ день похоронъ Виланда, окружающіе спросили Гёте, который казался необычайно сосредоточенъ, что думаетъ онъ о состояніи души усопшаго, онъ съ благоговѣніемъ отвѣтилъ: „Душа его не можетъ предаться ничему мелкому и недостойному, ничему, что не согласовалось бы съ нравственнымъ величіемъ его жизни; а объ уничтоженіи такихъ духовныхъ силъ и рѣчи быть не можетъ. Природа такъ щедро не расточаетъ своихъ сокровищъ; къ тому же Виландъ всю жизнь свою не растрчивалъ, а увеличивалъ ввѣренный ему кладъ“. Въ такомъ же смыслѣ писалъ онъ Цельтеру, извѣстному композитору пѣсень: „Будемъ трудиться, пока не отзоветъ насъ Великій Духъ, управляющій міромъ, и будемъ надѣяться, что тогда ждутъ насъ новыя задачи. Если Онъ, по милосердію Своему, въ то же время даруетъ намъ воспоминаніе и результатъ земныхъ усилій, то тѣмъ скорѣй

будемъ способны содѣйствовать великимъ *цѣлямъ Вседержителя міровъ*“.

Тридцатые годы были особенно богаты обработками „Фауста“; не только появленіе 2-й части драмы Гёте, вышедшей уже послѣ смерти его, но самое ожиданіе ея вызвало цѣлый рядъ продолженій, подражаній, иногда самобытныхъ произведеній, сценъ къ „Фаусту“, долженствовавшихъ дополнить драму, наконецъ и пародій. Даже извѣстные критики и комментаторы Гёте, какъ Розенкранцъ и Фишеръ, брались за „Фауста“; Розенкранцъ (1831) пытался найти удовлетворительный конецъ къ 1-й ч.; Фишеръ (правда, уже въ 1862 г.), подъ псевдонимомъ Мистифицинскаго, написалъ сатиру на 2-ю ч., подъ заглавіемъ: „Фаустъ, 3-я часть трагедіи“. Между болѣе или менѣе оригинальными обработками преданія нужно назвать поэму Марлова (1839). Въ предисловіи авторъ заявляетъ, что поэзія должна держаться на высотахъ современной науки. Поэма состоитъ изъ 3-хъ частей, озаглавленныхъ: Природа, Жизнь, Искусство. Литературный критикъ Готшалъ называетъ ее самымъ причудливымъ изъ всѣхъ произведеній, носящихъ имя Фауста. Поэтическая безсрочность послѣ-гётевскихъ „Фаустовъ“ достигла въ ней своего крайняго выраженія. Въ сущности, это не поэма и не драма, а рядъ произвольныхъ уклоненій отъ сюжета, то метафизическихъ умствованій, то юмористическихъ картинъ, смѣняющихся какъ въ калейдоскопѣ. Иногда, какъ у Браунталя (1835), фабула сохранена, но авторъ, гонимая за остроуміемъ и яркими эффектами, впадаетъ въ ложный, подчасъ выпренный тонъ. Тотъ же авторъ написалъ и драму „Донъ-Жуанъ“. Если въ названныхъ произведеніяхъ, до извѣстной степени, еще сказывается философскій замыселъ, то другіе жертвуютъ имъ ради грубыхъ драматическихъ эффектовъ, какъ, напр., Клингеманнъ (1815), или впадаютъ въ тонъ мелодрамы, какъ, напр., Гольтей (1832). До и послѣ Гёте были поэты, которые, подобно Клингеру, придали историческому Фусту, товарищу Гутенберга, черты Фауста, и подъ различными заглавіями („Фустъ, изобрѣтатель книгопечатанія“, „Гутенбергъ“, „Книгопечатаніе въ Майнцѣ“ и др.) дали картины изъ жизни XV-го вѣка.

Еще въ 1823-мъ г., І. Фоссомъ былъ написанъ „Фаустъ съ танцами и пѣніемъ“, гдѣ Фаустъ сводится къ Донъ-Жуану. Наконецъ, Гейне (уже въ 1851 г.) пишетъ фабулу къ „Фаусту“, подъ заглавіемъ: „Фаустъ, поэма, назначенная для танцевъ“. Странность заглавія объясняется тѣмъ, что текстъ былъ написанъ для лондонскаго театра и назначался для балета. Выборъ сюжета характеризуетъ современное отношеніе къ преданіямъ. Гейне,

врагъ всякихъ авторитетовъ, перенесъ и „Фауста“ въ область кордебалета. Поэтъ, придерживаясь содержанія народныхъ представлений, даваемыхъ въ Германіи въ XVII в. „англійскими комедіантами“ (въ основаніе которыхъ легла драма Марло), внесъ и новыя мотивы, и счумѣлъ въ то же время воспользоваться всею декоративной роскошью, на которую указываетъ 2-ая ч. „Фауста“ у Гёте. У Гейне Мефистофель—женщина Мефистофелія; либретто, согласно съ его назначеніемъ, наполнено, главнымъ образомъ, волшебствомъ и сборищами вѣдьмъ и чертей; любовью „Фауста“ къ дѣвушкѣ изъ низшаго сословія заканчивается поэма. Забавно то обстоятельство, что именно при концѣ Гейне уклонился отъ преданія, видимо преслѣдуя мысль, близкую герою у Гёте. Какъ его Фаустъ отказывается отъ высокомѣрныхъ требованій духа и ограничивается исполненіемъ каждодневныхъ обязанностей, такъ и въ замыслѣ Гейне Фаустъ находитъ успокоеніе въ скромныхъ радостяхъ семейной жизни.

Такимъ образомъ, „Фауста“ поютъ, танцуютъ, декламируютъ, комментируютъ, рисуютъ и пародируютъ. „Фаустъ“ вдохновлялъ поэтовъ и художниковъ, находилъ неоднократно отголосокъ въ звукахъ и болѣе конкретное выраженіе въ живописи, и заставляетъ до сихъ поръ задумываться ученыхъ комментаторовъ. Перечень всѣхъ „Фаустовъ“ былъ бы нескончаемъ, а прослѣдить, въ какой мѣрѣ замыселъ „Фауста“ слился съ другими поэтическими замыслами и типъ героя у Гёте повліялъ на созданіе родственныхъ типовъ, было бы невозможно, такъ какъ обширность и общность идеи сдѣлали ее достояніемъ всѣхъ мыслящихъ людей, а имя его—нарицательнымъ. Фаустъ сдѣлался представителемъ безпкойной мысли, возносящейся до неразрѣшимыхъ вопросовъ. Дюбуа-Реймонъ, при вступленіи своемъ въ должность ректора берлинскаго университета (въ 1882 г.), избравъ Гёте предметомъ вступительной рѣчи, указываетъ на родственную связь между Фаустомъ и нѣмецкими учеными. Дѣйствительно, Фаустъ живъ въ типахъ отвлеченнаго мыслителя, ученаго труженика, „всемирнаго человѣка“ (Universalmensch) и „всемирнаго ученаго“ (Universalgelehrter). Нѣмецкимъ критикамъ особенно свойственно говорить о „faustartige Dichtungen“, сравнивая Фауста даже съ героями такихъ произведеній, фабула и замыселъ которыхъ представляютъ мало общаго съ Фаустомъ. Шерръ, говоря о поэмѣ „Вацлавъ“, польскаго поэта Гарчинскаго, основываетъ сравненіе на господствующей мысли—томительной и тщетной попыткѣ выяснить загадку жизни, хотя въ названномъ произведеніи ни одинъ эпизодъ не напоминаетъ прототипа его, а исканіе героя находитъ разрѣшеніе въ

патріотизмъ. Брандесъ, въ своей книгѣ о Киркегорѣ, упоминаетъ о томъ, что этотъ мыслитель, представитель и поборникъ „субъективности“ въ датской литературѣ, задавался мыслью о Фаустѣ, вѣроятно, въ свойственной его сочиненіямъ формѣ философскаго и психологическаго анализа. Отказавшись отъ замысла, вслѣдствіе того, что современный ему критикъ уже написалъ разборъ „Фауста“ Ленау, Киркегоръ сосредоточился на „Донъ-Жуанѣ“ Моцарта, котораго онъ разбираетъ не съ музыкальной стороны, мало доступной ему, но въ которомъ, въ чисто романтическомъ духѣ, онъ находитъ выраженіе „чувственной геніальности“. Въ „Стадіяхъ жизни“ Киркегора Брандесъ видитъ несомнѣнное вліяніе „Фауста“ на личность фратера Тацитурна. „Пана Твардовскаго“ Мицкевича принято называть польскимъ Фаустомъ. Поляки считаютъ Фауста землякомъ, такъ какъ, по мѣстному преданію, онъ жилъ въ Краковѣ, гдѣ прославился ученостью и чернокопнѣемъ. Это сравненіе совершенно произвольно, такъ какъ въ шутиливой балладѣ отъ „Фауста“ осталось только служебное отношеніе къ нему дьявола и связанное съ этимъ описаніемъ волшебство, и стихотвореніе, чисто шуточное, не имѣетъ къ преданію о Фаустѣ никакого отношенія.

Если Фаустъ—родное дѣтище Германіи, то не слѣдуетъ ли искать въ Англіи, представляющей съ Германіей сходство, основанное на родствѣ расъ, выраженіе идеи „Фауста“? Однако мы въ англійской литературѣ знаемъ только одного „Фауста“, и то произведеніе весьма незрѣлое. Метафизика всегда имѣла плохихъ представителей въ Англіи, странѣ, давшей наукѣ индуктивный методъ и школу сенсуалистовъ. Тэнъ называетъ Карлейля представителемъ идеализма въ Англіи, но Карлейль столько же поэтъ, какъ и мыслитель. Было достаточно говорено о сходствѣ Манфреда съ Фаустомъ; но и душевныя терзанія Манфреда, по личному ихъ характеру, больше принадлежать области чувства, чѣмъ отвлеченной мысли.

Тѣ два произведенія, которыя родственны „Фаусту“ въ англійской литературѣ, также относятся къ 30-мъ годамъ. Первое—драма „Парацельсъ“, современнаго намъ поэта Роберта Броунинга—появилось въ 1836 г., когда поэту было всего 24 года. Второе—„Фестъ“, рано умершаго поэта Ф. Бэли, было начато авторомъ 20-ти лѣтъ отъ роду и появилось 2 или 3 года спустя, а именно въ 1839 году. Это своеобразное видоизмѣненіе „Фауста“ носитъ отпечатокъ геніальнаго дарованія, но, хотя и имѣло нѣкоторый успѣхъ, не могло, по отвлеченности содержанія и недостатку плана, при изумительной обширности, приобрести большую

извѣстность. Въ этомъ отношеніи оно раздѣлило участь „Парацельза“. Оба произведенія возбуждали удивленіе, но читались преимущественно терпѣливыми знатоками и въ книжномъ мірѣ составляютъ рѣдкость. Выборъ сюжета весьма характеристиченъ. Произведенія Броунинга, какъ извѣстно, пользуются болѣе уваженіемъ, чѣмъ популярностью, и служатъ предметомъ горячаго поклоненія для извѣстнаго кружка приверженцевъ и комментаторовъ. Сходство Парацельза съ Фаустомъ заключается только въ стремленіи къ изысканію тайнъ природы. Ученый естествоиспытатель Парацельзъ, современникъ легендарнаго Фауста, одинъ изъ послѣднихъ представителей мистическаго знанія среднихъ вѣковъ и въ то же время новаторъ въ наукѣ временъ Возрожденія, служить благодарнымъ предметомъ для поэтическаго произведенія, какъ по личности, такъ и по жизни своей, богатой блестящими успѣхами и горькими переворотами. Поэтъ воспользовался интереснымъ матеріаломъ съ гениальной самобытностью, а если „Парацельза“ и сравниваютъ съ „Фаустомъ“, то сравненіе основывается не на сходствѣ фабулы или замысла, а на глубокомысленныхъ изысканіяхъ героя въ тайнахъ природы.

О „Фестѣ“ юнаго Бэли современная автору критика говорила такъ: „Это удивительное произведеніе превзошло Канта отвлеченностью философской мысли, а Гёте — причудливостью вступленія, въ которомъ вводится Св. Троица въ лицахъ!“ Но критикъ соглашается въ томъ, что произведеніе такъ богато поэтическими красотами, сильно и своеобразно, что странное впечатлѣніе, получаемое отъ туманности и безсвязности его, болѣе чѣмъ выкупается удивленіемъ передъ гениальностью автора.

Самъ Бэли говоритъ голосомъ своего героя, что у него нѣтъ плана, есть только замыселъ. Время было благопріятно для подобныхъ произведеній. Романтическія тенденціи, имѣвшія въ каждой странѣ своеобразный характеръ, послѣ Германіи охватили и Англію. И здѣсь онѣ сказались въ отрѣшеніи отъ опредѣленныхъ формъ, въ символахъ, въ сліяніи философской и научной мысли съ поэзіей. Но хлынувшее богатымъ потокомъ идейное содержаніе, раздвигая или разрушая условныя рамки, оставило непоколебимыми и неприкосновенными только догматы церкви и установившіяся въ обществѣ понятія о нравственности. Современная мысль допускаетъ религіозное чувство и внѣ догмата, и устроиваетъ компромиссъ между потребностями души и законами разума. Но Англія всегда представляла особенность, рѣзко отличавшую ее отъ другихъ странъ: въ ней мы видимъ то абсолютное отношеніе къ преданію, которое сказывается въ неприкосновенности

его или въ крайнемъ отрицаніи; третьяго термина нѣтъ, по крайней мѣрѣ не было. Нигдѣ уваженіе передъ догматомъ и условными понятіями о нравственности не повліяло такъ сильно на литературныя произведенія и на общественныя формы. Тѣ, которые шли въ разрѣзъ съ общепринятыми понятіями, не находили извиненія даже въ геніальности своей. Примѣрами служатъ Байронъ и Шелли. Догматически-нравственное вліяніе сказывается даже въ области фантазіи и умозрѣнія. Вездѣ узнаемъ слѣды того строгаго пуританства, которое зоркимъ окомъ слѣдило за малѣйшими уклоненіями отъ установленнаго кодекса нравственности и вѣры. Если нѣмцы болѣе мыслители, чѣмъ художники, то англичане—болѣе моралисты. Контрастъ между преобладающимъ въ наукѣ позитивизмомъ и абсолютностью догматическихъ понятій свидѣтельствуетъ о томъ недостаткѣ гибкости, на который неоднократно указываетъ Тэнъ въ своей „Исторіи англійской литературы“, той гибкости, которая находитъ примиреніе между двумя различными областями, двумя противоположными міровоззрѣніями. Тотъ же авторъ настаиваетъ на особенностяхъ англо-саксонскаго племени: интенсивность внутренняго ясновидѣнія, которое, въ связи съ наблюдательностью и знаніемъ дѣйствительности, даетъ поэтическимъ образамъ англійскихъ поэтовъ такую силу и рельефность. Прибавимъ для характеристики подлежащаго нашему разбору „Феста“ еще одну особенность XIX-го в. вообще, безъ различія національности: усиленную субъективность, доходящую иногда до того недуга, который французскій критикъ Брюнетьеръ (по поводу сочиненій Аміеля, болѣзненнаго искателя идеала) мѣтко назвалъ „гипертрофіей личности“.

Среди англійскаго общества, подъ вліяніемъ господствующихъ стремленій, юноша, надѣленный всѣми дарами природы, хочетъ излить весь богатый лиризмъ души своей, привести въ сознаніе глубочайшіе вопросы метафизики, выяснить результаты отвлеченнѣйшаго мышленія, суммировать пріобрѣтенное знаніе,—но въ какую форму облечь столь разнородныя стремленія? Поэтъ останавливается на „Фаустѣ“, находя въ немъ ту раму, которая вмѣститъ самое богатое и разнообразное содержаніе, ту форму, въ которую выльется всякая субъективность. Замкнутый въ догматъ, но мучимый болѣзною вѣка, поэтъ изливаетъ свои надежды, вѣрованія и сомнѣнія въ драматическую поэму, въ которой преобладаетъ элементъ дидактическій съ сильной примѣсью лиризма. Хотя вліяніе Гётева „Фауста“ на „Феста“ несомнѣнно, но все-таки онъ послужилъ только удобнымъ предлогомъ для выраженія личныхъ взглядовъ и чувствъ, какъ и самыхъ дерз-

новенныхъ мечтаній о славѣ, власти и любви. Тутъ находимъ отголоски научныхъ занятій и впечатлѣній, полученныхъ отъ произведеній поэзіи; въ различныхъ сценахъ встрѣчаемъ слѣды Данте и Шекспира, „Декамерона“ и Мильтона. Мысль Феста постоянно витаетъ вокругъ того, что прекрасно на землѣ или таинственно и величаво въ той области, которая постоянно манитъ мысль человѣка и никогда вполне не удовлетворяетъ ея. „Фестъ“ даетъ намъ случай заглянуть во внутреннее броженіе молодого, еще не установившагося, но замѣчательно сильнаго и глубокаго ума. Въ произведеніи преобладаютъ богословскія размышленія объ отношеніи творенія къ Творцу, о конечныхъ цѣляхъ, о природѣ, жизни и смерти, добрѣ и злѣ. Восторженное поклоненіе природѣ напоминаетъ Шелли, но религіозность замѣняетъ пантеизмъ послѣдняго. Очевидно вліяніе Мильтона и англійскихъ псалмовъ на представленія о загробной жизни, съ ихъ метафорами и живописными сравненіями, къ которымъ они прибѣгаютъ для яркаго изображенія загробныхъ радостей. Извѣстно, что англійская дидактика любитъ черпать изъ Библии свои образы и сравненія, такъ какъ строгій пуританизмъ нашелъ болѣе соотвѣтствующее выраженіе въ библейскихъ представленіяхъ, чѣмъ въ широко-человѣчномъ ученіи Евангелія. До нашего времени въ лонѣ англиканской церкви были люди, которые, подобно нѣкоторымъ сектаторамъ первыхъ временъ христіанства, ждали появленія Новаго Сіона и наступленія новой эры справедливости и благоденствія. Въ „Фестѣ“, вмѣстившемъ отголоски самыхъ разнородныхъ впечатлѣній, иногда къ богословскому догматизму примѣшивается тотъ восторженный мистицизмъ сектатора, который оставилъ слѣды въ англійской литературѣ. Мечтанія объ обновленіи земли и о великолѣпіи Новаго Сіона нашли въ немъ высшее выраженіе. Такъ, одна изъ послѣднихъ сценъ происходитъ уже во время „тысячелѣтняго царства“. Но и мірскому элементу отдается дань въ произведеніи. Иногда, на подобіе „Декамерона“, юноши и дѣвы сходятся для бесѣды и въ пѣсняхъ, разсказахъ и аллегоріяхъ прославляютъ любовь, разсуждаютъ объ ея свойствахъ, или воспѣваютъ вино и веселье, доставляемое обществомъ. Произведеніе вмѣстило въ себѣ всѣ колебанія ума, всѣ противорѣчія и неясныя стремленія души: и твердое упованіе, и разочарованность скептика, и желаніе покоя, и потребность выпучей дѣятельности. Такимъ образомъ, мистицизмъ Данте и величавая грусть Манфреда, библейскіе образы и эротика трубадуровъ смѣняются пестрой чредой.

Что же осталось отъ преданія? Отношеніе Феста къ Люциферу,

служеніе ему сверхъ-естественныхъ силъ, путешествіе съ Люциферомъ по небеснымъ пространствамъ. Потому, мѣсто дѣйствія всюду: въ раю, въ преисподней, на планетахъ; они даже спускаются, на подобіе Данта, въ центръ земли. Сходство же съ Гёте, главнымъ образомъ, заключается въ мысли, что силою стремленія къ добру человекъ долженъ торжествовать надъ зломъ и искушеніями. Эта мысль и у англійскаго поэта служить завязкой. Отъ преданія онъ отрѣшился настолько, что у него Фестъ не вступаетъ въ договоръ съ Люциферомъ, потому никогда не предается ему вполне, но нравственные колебанія героя то усиливаютъ, то уменьшаютъ власть надъ нимъ злого духа, который возлагаетъ надежду на продолжительность искушенія и на самообольщеніе Феста, какъ на опаснѣйшаго врага людей. Такимъ образомъ, Люциферъ представляетъ здѣсь скорѣе олицетвореніе личнаго психическаго состоянія, чѣмъ народное понятіе о враждебной человѣку силѣ. Въ поэму вводится и Елена, но это не греческая Елена, а весьма образованная дѣвица изъ современнаго англійскаго общества. При томъ вдохновенномъ спиритуализмѣ, которымъ пронизануто произведеніе, и любовь является вѣнцомъ жизни, просвѣтлѣніемъ всего существа, а возлюбленная — посредницей между земной и небесной красотою. Фестъ „любитъ любовь“ и востѣваетъ ее; этимъ объясняются и отвлеченный, отчасти условный, характеръ эротики въ произведеніи, и увлеченія Феста другими женщинами.

Такъ какъ въ поэмѣ преобладаетъ дидактическій элементъ, то каждый затронутый предметъ, къ какой бы области онъ ни принадлежалъ, служитъ поводомъ къ поученію; Люциферъ и духи поучаютъ Феста, Фестъ поучаетъ Елену, товарищей. А при изумительной фантазій и обширномъ знаніи автора, поученія часто принимаютъ видъ цѣлыхъ диссертаций. Одно изъ дѣйствующихъ лицъ дѣлаетъ вопросъ — и вотъ богатой струей полились мысли, образы, аллегоріи, рассказы, философскіе аргументы и афоризмы. Въ дѣйствіе вводятся, ради догматическаго или нравственнаго назиданія, Святая Троица, архангелы, ангель-хранитель Феста, аллегорическія фигуры, какъ: Власть, Христіанскіа Добродѣтели, Ангелы земли и луны, и т. д., наконецъ, даже (въ Андѣ) Зевсъ, Брами и Будда, какъ представители разныхъ мировоззрѣній. Есть поученія, которыя тянутся на нѣсколькихъ десяткахъ страницъ, безъ перерыва! При этомъ авторъ вращается главнымъ образомъ въ представленіяхъ протестантскаго богословія, къ которому примѣшивается безпокойная пытливость новаго человѣка; мысль витаетъ въ разнородныхъ сферахъ, но англійская традиція постоянно

служить тѣмъ центромъ, около котораго она вращается. Потому-то, при несомнѣнномъ влияніи на него Гётева Фауста, сходство болѣе внѣшнее. Фестъ не есть искатель абсолютнаго духовнаго начала; это съ начала до конца убѣжденный христіанинъ, душевныя колебанія котораго представляютъ только психическіе моменты, не имѣющіе влияния на судьбу его; имъ руководить жажда на землѣ приобщиться тайнъ загробной жизни, съ цѣлью познанія и духовнаго совершенствованія. Хотя произведеніе крайне незрѣло въ художественномъ отношеніи, оно любопытно, какъ первый опытъ молодого и сильнаго ума анализомъ осилить массу міровыхъ явленій. Какъ произведеніе вполнѣ субъективное, оно интересно и по самой личности автора. Глубина мысли, богатство поэтическихъ образовъ, гениальная своеобразность и весь идейный объемъ поэмы поразительны. Если спиритуализмъ ея часто доходитъ до мистическаго полумрака, то достигаетъ иногда и до высокаго лиризма.

Что такое произведеніе плохо поддается разбору—очевидно. Но авторъ самъ влагаєтъ замыселъ его въ уста своего героя, говорящаго о молодомъ поэтѣ, въ которомъ легко узнать его самого. Онъ исчисляетъ различныя цѣли, преслѣдуемыя поэтами: „Одинъ бардъ показываетъ судьбы государствъ и царей. Другой изображаетъ людей, сообразно съ нравами, обычаями, законами, мѣстомъ и временемъ, и безчисленными случайностями гражданской жизни. Тотъ, о которомъ рѣчь, поставилъ себѣ задачей показать, что, каковы бы ни были испытанія, сомнѣнія и грѣхи человѣка, какими бы мірскими цѣлями и плотскими увлеченіями ни запятналась душа его, какую бы власть на землѣ ни дало ему зло—все-таки небеса открыты тому, кто любитъ Бога.—Задача поэта показать міръ въ человѣкѣ и внѣ его, отношеніе души къ Божеству и окружающую человѣка, но невидимую обыкновенному оку, дѣйствительность. Произведеніе его—картина жизни земной и духовной... Герой повѣсти принадлежитъ міру, но одна страсть въ немъ поглотила всѣ прочія. Сфера, въ которой вращается онъ—земная жизнь, но центръ ея—жизнь духовная. Подобно жизни, повѣсть заключаетъ въ себѣ правоученіе, и каждая сцена пронизана какой-нибудь истиной... Мірское и духовное содержаніе находятся въ ней въ такомъ же союзѣ, какъ душа и плоть въ человѣкѣ. Законъ двоякій управляетъ человекомъ; одинъ—законъ земной: обычай, время, случай, обстановка; другой—законъ законовъ, уставъ предвѣчный, неизмѣнный, центръ міра и явленій. Смѣшай ихъ—и возникнетъ хаосъ; одна-кожъ связи ищетъ всякій, кто мыслить. Но чѣмъ яснѣе человѣку

законъ духовный, тѣмъ понятнѣе становится ему міръ видимый: такъ свѣтлѣе міръ жрецамъ, пророкамъ“.

Этими словами авторъ одинаково намѣтилъ и свой спиритуалистическій оптимизмъ, и свою расплывающуюся программу, и свои дидактическія цѣли. Оптимизмъ, на которомъ основывается сходство съ Гёте, высказывается, кромѣ пролога, въ различныхъ мѣстахъ. Напр. „Добро и зло — то десница и шуйца Господа; зло порождаетъ добро, какъ искушеніе добродѣтель. — Человѣкъ, даже противясь волѣ Господа, совершаетъ судьбы Его. Родъ людской пройдетъ черезъ сомнѣнія, грѣхъ, познаніе, вѣру, власть, любовь и благодать, извѣдавъ всѣ ступени, узнавъ всѣ звуки богатой душевной гаммы, пока сольются всѣ въ гармоніи небесной. Земля — скрижаль Господня, на которой Онъ пишетъ законы и открываетъ людямъ судьбы Свои“.

При невозможности передать отвлеченное и несвязное содержаніе, укажемъ на главные моменты произведенія.

Первая сцена происходитъ на небѣ, у Божьяго престола; она начинается съ восторженнаго гимна серафимовъ Творцу и напоминаетъ сонмъ бессмертныхъ духовъ, сплотившихся въ мистическую розу въ послѣднихъ пѣсняхъ Дантова „Рая“. „Святъ, святъ, святъ! Какъ пламенные языки на небѣ, мы вспыхиваемъ и горимъ, и встаемъ, и растемъ, и теряемся, Отче, въ Тебѣ! Святъ, святъ, святъ! Вѣка идутъ, вѣка проходятъ, мы живемъ въ Тебѣ и Ты въ насъ; міры движутся, поколѣнія рождаются и умираютъ“ и т. д.

Божественную Комедію, а именно, поученія святыхъ въ раю, напоминаетъ и посѣщеніе Фестомъ рая, и видѣнное имъ тамъ. Вернувшись на землю, Фестъ, поучая возлюбленную, говоритъ ей о благихъ намѣреніяхъ Провидѣнія, о грѣхопадѣніи, о необходимости очищенія и о будущности человѣчества.

Въ первой сценѣ Люциферъ съ благоговѣніемъ подходитъ къ престолу Господа и проситъ Его дать ему власть надъ юнымъ Фестомъ. Господь отвѣчаетъ, что Люциферъ можетъ искушать юношу, но что усилія погубить его будутъ тщетны. „Пусть познаетъ, что любовь Моя сильнѣй его грѣховъ, и убѣдится, что только Я могу наполнить душу, которой далъ бессмертіе“.

Согласно съ преданіемъ, Люциферъ дѣлается путеводителемъ Феста, и они являются единственными дѣйствующими лицами въ слѣдующихъ сценахъ, озаглавленныхъ: Вода и Лѣсъ. Закатъ солнца. — Тоже. Полночь. — Въ горахъ. Восходъ солнца. — Легко себѣ представить, какой просторъ даетъ перемена декорацій восторженнымъ описаніямъ природы, и какой лиризмъ вызываетъ

она въ поэтѣ. Люциферъ у Бэли нисколько не похожъ на Гётева Мефистофеля, отрицателя и демократа; это и не Мефистофель-пессимистъ, котораго мы видѣли у Ленау. Люциферъ ближе къ дьяволу у Марло. Онъ преклоняется предъ божествомъ и съ горестью вспоминаетъ о своемъ паденіи. Потому въ послѣдней сценѣ и его, согласно съ идеализмомъ молодого поэта, коснулось всепрощеніе Творца. По временамъ онъ говоритъ какъ богословъ, и, постоянно поучая Феста, является чѣмъ-то въ родѣ главнаго ментора. Въ рѣдкихъ случаяхъ онъ остается вѣренъ сложившемуся типическому характеру дьявола, какъ въ той сценѣ, гдѣ онъ говоритъ Фесту, что жизнь — все, а смерть — химера, что хотя знаніе и покупается невинностью, но въ экономіи природы добро и зло безразличны. Фестъ возражаетъ, что наука стремится и зло обратить на пользу; въ этой задачѣ — крестъ и вѣнецъ мыслителя; онъ надѣется, что настанетъ время, когда всѣ силы природы и человѣка будутъ служить только добру. Люциферъ насмѣшливо указываетъ на неосновательность и бесполезность подобныхъ утопій. Въ общемъ же, мы въ лицѣ его встрѣчаемъ раздвоенное въ умозрѣніи сознаніе поэта; этотъ взглядъ современнаго человѣка на принципъ зла мы встрѣчали уже въ крупнѣйшихъ произведеніяхъ предшественниковъ. Поэтъ иногда влагаетъ въ уста Люцифера свои собственныя чувства, напр. благочестивую скорбь о грѣховности людей, которую только слегка прикрываетъ ироніей. Неустановившійся еще образъ мыслей ведетъ къ противорѣчіямъ: то мы видимъ аскетическое преврѣніе къ мірскимъ радостямъ; то властолюбіе и желаніе мірскаго счастья посѣщаютъ душу Феста. Далѣе, Фестъ вступаетъ въ длинный разговоръ съ молодымъ студентомъ, и разсуждаетъ съ нимъ о разныхъ отвлеченныхъ вопросахъ; онъ совѣтуетъ ему не жалѣть о тѣхъ часахъ, которые, будучи посвящены наукѣ, „созидають духовную жизнь, но разрушаютъ тѣлесную“. Юношѣ, который хочетъ познакомиться съ жизнью столицы, Фестъ говоритъ: „Не для того-ль, чтобъ поклоняться ложному блеску, чтобъ презирать человѣчество? Подобно дѣтямъ міра, шутить величайшими истинами, узнать разладъ между умомъ и сердцемъ, и гнаться за остроуміемъ вмѣсто мудрости? Таковы пути міра: онъ учитъ насъ терять въ толпѣ то, что послѣ тщетно силимся обрѣсти одни и когда толпа насъ оставитъ: нашу невинность“. Хотя онъ и называетъ большой городъ тѣмъ полюсомъ, въ кругѣ котораго вращается міръ, и гдѣ, какъ на циферблатѣ, каждый шагъ, который сдѣлаетъ время, вносится въ книгу, онъ все-таки, въ тонѣ благочестиваго назиданія, высказываетъ сожалѣніе о томъ, что „въ юношествѣ жи-

ветъ странное, но сильное желаніе извѣдать всѣ чувства сердца; это опасно, грѣшно и пагубно. Знаніе свѣта бесплоднѣй льдины, свѣтъ пустъ, какъ скорлупа яйца; форма и поверхность—все, а содержанія нѣтъ”.

Въ сценѣ: „Городская площадь въ полдень“—погребальное шествіе служить поводомъ къ разсужденіямъ о жизни, смерти, вѣчности, и къ молитвамъ и воззваніямъ къ Творцу о духовномъ совершенствованіи. Въ предыдущей сценѣ кони Люцифера, Мракъ и Гибель, несутъ его и Феста по воздуху въ бѣшеной скачкѣ; подъ ними мелькаютъ страны Востока и Запада; Фестъ привѣтствуетъ каждую страну, согласно съ ея судьбой и ея характеромъ; завидя океанъ, онъ, въ тонѣ восторженнаго диаврамба, привѣтствуетъ и его, какъ славу и оплотъ родной страны.

Въ тѣхъ сценахъ, гдѣ вводится Елена, преобладаютъ разговоры о любви, о поэзіи и искусствѣ. Любовь ведетъ къ поэзіи. „Поэты—всѣ тѣ, которые любятъ, тѣ, которые проникнуты великой истиной и возвѣщаютъ о ней; величайшая же истина есть любовь“. Далѣе: „Фантазія—атмосфера, въ которой дышетъ разумъ; рассудокъ—почва для него; память—воздь, а страсть—согрѣвающий огонь. Опытъ и фантазія—отецъ и мать пѣснопѣнія“. Въ домѣ Феста юное общество собирается для бесѣды и веселья; они говорятъ и поютъ о любви, какъ при средневѣковыхъ любовныхъ собраніяхъ. Елену выбираютъ въ царицы вечера, Фестъ вѣнчаетъ ее: „Вѣнчаю тебя, любовь моя, вѣнчаю тебя! Будь мнѣ царицей, мнѣ, подвластному и вѣрному тебѣ. Любовь моя, вѣнчаю тебя! Будь владычицей по праву земному, по праву небесному. Сердце мое исполнено радости, какъ великолѣпный городъ полонъ веселья“ и пр. Возлюбленная хочетъ узнать „сущность духовныхъ вещей“, и Фестъ отвѣчаетъ длинными толкованіями о взаимномъ отношеніи естества и духа. Въ другомъ мѣстѣ, она хочетъ убѣдиться въ его связи съ міромъ духовъ и вызываетъ духъ съ дальней планеты; она вопрошаетъ его, и духъ указываетъ на единство и вѣчность мірозданія и поучаетъ, что природа, вѣчно живая, есть образъ Творца, хотя и противоположна Ему.

Есть отдѣлы, озаглавленные: На лунѣ. — На солнцѣ. — Въ воздухѣ. — Въ пространствѣ—и т. д. Небесныя тѣла теряютъ свое космическое значеніе, чтобъ сдѣлаться мистическими символами небесныхъ сферъ и ступеней познанія. Уподобленія берутся произвольно изъ различныхъ областей науки. Такъ, встречаемъ причудливое, но остроумно проведенное сравненіе между фазами развитія человѣка и геологическими періодами. Сцены, оза-

главленные: Развалины храмы.—Столичный городъ.—Площадь.— На кладбищѣ.— Морской берегъ.— Колоннада и т. д. не отличаются по тону отъ предыдущихъ. Вездѣ дидактика, метафизика, богословіе, но изумительное богатство образовъ и мыслей, навѣянныхъ предметомъ. Сцены: Адъ, Рай, Центръ земли и др. напоминаютъ средневѣковыя мистеріи. Въ „Лучшемъ мірѣ“ герой встрѣчаетъ свою Музу, которая говоритъ съ нимъ о высокомъ значеніи поэзіи. Сцена „Міръ духовъ“ наполнена христіански-нравственными аллегоріями. На небѣ Фестъ встрѣчаетъ свою мать; ослѣпленный сіяніемъ Божества, онъ стоитъ передъ Нимъ, но не видитъ Его. Хотя глубокая, отчасти мистическая религіозность составляетъ основной тонъ поэмы, по временамъ слышатся отголоски современной разочарованности и величавой меланхолии Манфреда. Фестъ, среди юношей, прославляющихъ любовь, поетъ: „Не могу любить, какъ любилъ прежде; величайшая скорбь въ жизни—сознавать, что чувства въ насъ постепенно замираютъ, и сердечныя узы слабѣютъ, когда приближается леденящая старость. Надежда одна остается; остается для того, чтобъ мы еще могли желать полного успокоенія, могильной тишины. Страсти, подобно бурямъ, бушуютъ, пока не улягутся сами, и оставляютъ послѣ себя унылую тишину и чувство изнеможенія въ изнывшей груди“. О молодомъ поэтѣ Фестъ говоритъ: „Онъ писалъ среди развалинъ прошлаго, обломковъ того, что было дорого сердцу его; они были его сѣдалищемъ и предметомъ повѣсти душевной; такъ свергнутый, одинокій царь рассказываетъ о своей странѣ и о томъ, какъ лишился ея“. Иногда скептицизмъ влагается въ уста Люцифера: „Для меня нѣтъ будущаго; будущее — вымыселъ и тѣнь; настоящее — вѣчность для человѣка. Ненавистно мнѣ самообольщеніе, въ которое искусственно вдаются люди. Слупая ихъ, подумаешь, что будущность—какой-то царь, или Богъ, богатый дарами царскими и надѣленный вѣковѣчными наслѣдіями. Таковъ мірской кумиръ въ понятіяхъ человѣка. А настоящее? Это бѣдный нищій, усталый и обезумѣвшій отъ старости и однообразія жизни. Узнай же заблужденіе: ничто прошедшее, ничто и будущее; настоящее же—все“.

Но свѣтлое мировоззрѣніе и религіозное упованіе всегда берутъ верхъ надъ скептицизмомъ и мрачнымъ настроеніемъ. „Кто никогда не сомнѣвался, никогда не вѣрилъ. Гдѣ сомнѣніе, тамъ и истина: это тѣнь его“. Черты высокаго идеализма разсыпаны повсюду. „Въ чемъ цѣна жизни, когда утрачена способность постигнуть красоту и святость міра? Ибо святое значеніе скрывается во всемъ, что вышло изъ рукъ Творца. Сколь пре-

красно вознестись умомъ на выси мышленія и духовнымъ окомъ обозрѣвать даль, и мысленно радоваться тому, что могли бы осуществитъ воля и власть человѣка въ дружномъ, хотя бы и краткомъ союзѣ. Одна великая мысль, одно благородное чувство, одинъ добрый поступокъ даютъ жизни цѣну и продолжительность“. Размышляя о добрѣ и злѣ, онъ отказывается отъ награды, какъ не боится и наказанія; ни небо, ни адъ не должны быть двигателями его поступковъ. „Мы должны бы жить такъ, какъ будто ничто не ждетъ насъ за гробомъ, предоставить надежду и боязнъ существамъ низшаго разряда и любить добро ради добра. Если земля не убѣдитъ меня, что я обязанъ любить и хвалить Господа, убѣдитъ ли рай или адъ?“... Далѣе: „Человѣчество за гробомъ продолжаетъ совершенствоваться. Эта жизнь, этотъ міръ не удовлетворяютъ насъ; они несоразмѣрны съ требованіями духа. Не мѣста требуемъ мы, а пространства; не время нужно намъ, а вѣчность; не безсмертный духъ, а божественное безсмертіе“. Въ одной изъ послѣднихъ сценъ Фестъ на тронѣ; цари и сильные міра повинуются ему, хотя и съ ропотомъ. Власть его служить символомъ торжества добраго начала и высокихъ помысловъ. Но Люциферъ напоминаетъ ему, что и прахъ, поднятый бурей, можетъ вознестись до престола, и что царство его кратковременно. Фестъ, достигшій вышлага на землѣ, чувствуетъ, что смерть крадется къ нему. Какъ личность, онъ долженъ сойти со сцены міра. Съ небесъ раздается гласъ Господа: „Умри!“

Слѣдующій затѣмъ „Судъ надъ землею“ служитъ образцомъ того мрачнаго ясновидѣнія англо-саксонской расы, которое напоминаетъ средневѣковаго человѣка, и о которомъ неоднократно говоритъ Тэнъ. Ангелъ земли: „Звѣзды небесныя, остановите бытъ свой! Удержите дыханіе: настала часть роковой смерти вселенной! Подобно трупу въ могилѣ, лежишь ты, земля. Невидимый червь точитъ тебя. Вижу, какъ все разрушается, все разлагается: воздухъ мутенъ и густъ; птицы падаютъ съ вышины, какъ осенніе листья; остановились ручьи, солнце померкло, вѣтеръ обмеръ на вершинахъ горъ, обмеръ и палъ; земля сбрасываетъ города съ выи своей, какъ конь всадника. Левъ рычитъ и издыхаетъ, устремивъ зрачки на небо; орелъ вскрикнулъ и ринулся на земь какъ лучъ. Глухой рокотъ подъ землею: то движеніе костей. Возстаньте!—и они сбросили могильные камни, подобно легкимъ покрывамъ; они сидятъ въ гробахъ, отецъ и мать, мужъ и жена, братъ и сестра, кто любимъ и кто любить, всѣ здѣсь, какъ при жизни. Скелеты облакаются въ плоть, сердца забились, слезы

блестять во впадинахъ глазъ. Горе! горе! Что шепчутъ уста? То лепетъ неясный, одно лишь слышно: Горе намъ!“ Далѣе: „Время, сбрось въ океанъ вѣчности великія мысли свои, а ты, вѣчность грядущая, что готовишь ты намъ?“

Сокративъ безконечный перечень сценъ, мы упомянули только о тѣхъ, которыя наиболѣе характеризуютъ фантастическій произволъ поэмы, а изъ нихъ старались выдѣлить въ самомъ сжатомъ видѣ то, что можетъ дать понятіе о господствующемъ тонѣ его. Въ этой драматической поэмѣ нѣтъ ни драматическаго дѣйствія, ни эпическаго повѣствованія; произведеніе слишкомъ субъективно, чтобы выполнить требованія драмы или эпоса. Вездѣ, въ прямой или косвенной формѣ, личное „я“ составляетъ тотъ центръ, около котораго вращается міръ; все въ немъ должно служить герою; по его велѣнію, сходятъ духи съ другихъ планетъ и даютъ ему отвѣтъ; пространство и время теряютъ свое обыкновенное значеніе и становятся космическими понятіями. „Гдѣ мы?“ — спрашиваетъ Фестъ во время одного изъ фантастическихъ путешествій. — „Въ пространствѣ и во времени“ — отвѣчаетъ Люциферъ. — На землѣ все ему доступно; природа шлетъ ему тончайшія благоуханія свои, все прекрасное создано для него; подобно первому человѣку въ библейскомъ представленіи, онъ царствуетъ на землѣ, и все ему повинуетъ. Но юный царь удрученъ мыслію XIX вѣка, его гнететъ знаніе, тревожатъ вопросы и сомнѣнія, и вотъ онъ излагаетъ ихъ въ формѣ драматической поэмы, въ которой преобладаетъ дидактика, съ сильной примѣсью лиризма, пользуясь для этого фавулой, которая, давая самый широкій просторъ субъективности, можетъ вмѣстить въ себѣ не только всю богатую жизнь духа, но и противорѣчія ея. Среди этого лабиринта есть одна путеводная нить: господствующія въ англійскомъ обществѣ традиціи; нѣмецкую метафизику съ ея безконечными, но туманными горизонтами ограничиваетъ замѣнутый богословскій догматъ, отъ котораго поэтъ только рѣдко уклоняется по произволу юной фантазіи или потребностямъ души. Такъ, юный идеализмъ его не допускаетъ ни ада, ни окончательной гибели; потому въ послѣдней сценѣ всѣ души призываются Спасителемъ къ общему блаженству; искупленіе коснулось и падшихъ ангеловъ. Люциферу, который хочетъ завладѣть Фестомъ, Господь говоритъ: „Иди, оставь его; этотъ смертный любилъ Меня; среди сомнѣній онъ сохранилъ вѣру въ божество; сомнѣнія только служили ему путемъ къ познанію истины. Онъ Мой“. Далѣе Богъ говоритъ Люциферу: „Безсмертіе вла противорѣчить вѣчному закону добра. Во всемъ пространствѣ свѣтъ и ра-

дествъ. Нѣтъ болѣе естества, нѣтъ и тѣни; грѣхъ смыть, и искушений болѣе нѣтъ; все прошлое живетъ въ безсмертныхъ дуняхъ подобно сновидѣніямъ; ты исполнилъ назначеніе свое, и, какъ представитель зла, ты уничтоженъ. Потому небо вновь возрадуется тебѣ и сонмъ блаженныхъ привѣтствуетъ тебя, какъ брата“ и т. д. Любовнымъ гимномъ Творцу оканчивается произведение.

„Такъ душа и нѣсноплѣніе, родившись на небѣ, вновь возвращаются къ своему источнику“, — говоритъ Фестъ. Ангелы поютъ о святости, совершенствѣ и безконечности Господа. Духъ святой говоритъ о сліяніи всѣхъ духовъ съ Божествомъ. Троица вернется къ первоначальному Единству, и Единство будетъ во всѣхъ, и всѣ будутъ въ Немъ. Богословскимъ опредѣленіемъ Божества, исходящимъ изъ устъ самого Бога, оканчивается послѣдняя сцена этого любопытнаго произведенія.

Биографъ Гёте, Льюисъ, въ пренебрежительномъ отзывѣ о „Фестѣ“, считаетъ его неподлежащимъ разбору. Дѣйствительно, какъ художественное произведение, оно слишкомъ непослѣдовательно и отвлеченно; но, помимо поэтическихъ достоинствъ и захватывающаго идейнаго объема, оно останется однимъ изъ любопытнѣйшихъ примѣровъ того субъективнаго произвола, который допускается сюжетомъ. Едва ли и найдется въ мировой литературѣ поэтическая фабула, допускающая такой фантастическій произволъ, гдѣ субъективность могла распылиться въ ту „гипертрофію личности“, о которой говорено выше, фабула, отразившая въ различныхъ обработкахъ въ такой сильной мѣрѣ современныя вліянія, хотя основная мысль видимо стоитъ внѣ временныхъ вліяній. Послѣднимъ по времени образцомъ этого рода, какъ и послѣднимъ представителемъ типа вообще, является „Фаустъ“ нѣмецкаго поэта Ф. Штолце. Онъ относится къ 60-мъ годамъ. И зрѣлье замыселъ разросся въ объемистое, безформенное произведение. Авторъ въ немъ намѣревался дать продолженіе 1-ой части Гётева „Фауста“, поставивъ себѣ цѣлью показать внутреннее очищеніе и духовное совершенствованіе героя. Хотя нѣмецкіе критики не отказываютъ ему ни въ оригинальности, ни въ поэтическихъ достоинствахъ, оно мало извѣстно. Велерѣчивость и безграничныи произволъ, утомлявшіе уже въ предшествующихъ „Фаустахъ“, заставили послѣдняго изъ нихъ пройти почти незамѣченнымъ.

Будетъ ли этотъ трудъ окончательнымъ? Послужить ли онъ послѣднимъ образцомъ той титаномахи, которая нашла въ „Фаустѣ“ вообще свое привычное, а въ „Фаустѣ“ Гёте самое

яркое и полное выражение? Наврядъ ли. Новая жизнь вносить новые взгляды, создаетъ новые идеалы, находитъ и новыя формы, въ которыя выливаются они. Идея же Фауста, по гибкости своей, представляетъ возможность цѣлаго ряда видоизмѣненій, согласно съ духовнымъ развитіемъ культурнаго человѣка. Вѣроятно, со временемъ измѣнится и преобладавшій до сихъ поръ взглядъ на „Фауста“ Гёте; поэтическая оцѣнка его будетъ строже отдѣляться отъ „Фауста“ какъ символа. Но пока общество живетъ той усиленной жизнью мысли, которая отразилась въ мировомъ произведеніи, типъ героя будетъ служить представителемъ стремительнаго и неудовлетвореннаго человѣка, а произведеніе Гёте и въ дальнемъ будущемъ — эпизодомъ въ великой драмѣ человѣческаго духа. Если каждый этапъ на пути прогресса и отмѣченъ неизбѣжной и роковой катастрофой, которая ждетъ человѣка каждый разъ, когда онъ заявляетъ абсолютныя требованія, то онъ обогащаетъ его и ширью кругозора въ томъ духовномъ царствѣ, которое все болѣе открываетъ ему свои сокровища, въ которомъ все болѣе получаетъ онъ права гражданства.

Что „Фаустъ“, какъ произведеніе германское, должно было найти самыя сильныя отголоски въ нѣмецкой литературѣ, — очевидно. Но чѣмъ объяснить полное отсутствіе Фауста въ романскихъ литературахъ? Развѣ сфинксъ не всему человѣчеству бросилъ свою загадку, или не всѣхъ одинаково волнуетъ эта загадка?

Въ первобытномъ состояніи народъ облачаетъ рѣшеніе ея въ миѳы и образы, и, задумываясь надъ началомъ и концомъ бытія, создаетъ свои поэтическія толкованія, какими бы мы именами ни назвали ихъ: стихомъ ли о Голубиной Книгѣ и О страшномъ Судѣ, или Вессобрунской Молитвой и Муспили, соотвѣтствующими произведеніями германской древности. Впослѣдствіи онъ ищетъ успокоенія въ догматѣ; наконецъ, въ періодъ зрѣлаго мышленія, разумъ отбрасываетъ простыя, уже готовыя, рѣшенія, и онъ ищетъ рѣшенія новаго, основаннаго на томъ же разумѣ. Тогда возникаютъ философскія системы, тогда создаются и Фаусты; создаются тамъ, гдѣ метафизическая мысль, по отвлеченности своей, даетъ туманные результаты, а мысль общественная нуждается въ формѣ для метафизическихъ изысканій. Но тамъ, гдѣ даже отвлеченная мысль отчетлива и образна, гдѣ писатель только вводитъ общество въ такія области, которыя изслѣдованы и ярко освѣщены разумомъ, гдѣ, наконецъ, непотрасенный догматъ даетъ рѣшительный отвѣтъ, когда спекулятивная философія вотще вопрошаетъ — тамъ нѣтъ и Фаустовъ.

У итальянцевъ есть свой Вертеръ, но Фауста нѣтъ. Уго

Фосколо, авторъ романа „Послѣднія письма Якопо Ортисъ“ (1802), отчасти мотивируя патріотизмомъ грусть своего героя, этимъ самымъ придаетъ вертеризму болѣе мужественный и опредѣленный характеръ. Если попытаемся объяснить отсутствіе Фауста въ Италіи временемъ упадка въ литературѣ, то почему же во Франціи, при ея богатой и разнообразной литературѣ, не только не находимъ ни одного представителя міровой идеи Фауста, но долгое время даже весьма ограниченное число цѣнителей? Оттого ли, что во Франціи безпокойная мысль находила отводъ въ дѣятельной жизни, и что при богатствѣ государственныхъ и общественныхъ интересовъ отвлеченное мышленіе отступаетъ на второй планъ? Но вѣдь Италія долгое время въ политикѣ была безлична, и тогда слѣдуетъ также полагать, что время Фаустовъ для Германіи миновало. Взаимодѣйствіе между общественною жизнью и литературными произведеніями такъ сложно, что мы оставимъ скользкую почву литературныхъ гипотезъ, а ограничимся указаніями на факты и на ихъ очевидныя послѣдствія. Великія творенія и отголосокъ ихъ объясняются общимъ строемъ общественной мысли, для которой они служатъ фокусомъ; значеніе ихъ въ томъ, что они резюмируютъ, опредѣляютъ, отчасти предугадываютъ смутно сознаваемыя потребности ея. Слѣдовательно, нужно искать отвѣта на вопросъ въ племенныхъ особенностяхъ и въ историческомъ развитіи этихъ особенностей.

У туманнаго сѣвера символы и миѳы, глубина и сложность мысли, всеобъемлющія теоріи романтизма и отвлеченность метафизики, т. е. саги и Эдда, Шекспиръ и Шелли, Парсиваль и Фаустъ. У юга блескъ и рельефность, изящество и грація, ясность и законченность въ замыслѣ и въ выраженіи; эти качества находимъ даже въ міровомъ произведеніи, въ Божественной Комедіи. Въ исторіи сѣверъ—первый носитель идеи будущаго, въ области мысли представитель отрѣшенія отъ вѣковыхъ традицій, борьбы и свободы. Югъ ближе къ античному искусству, менѣе объемлющему, но болѣе совершенному, т. е. къ художественной законченности и ограниченности легко истерпываемаго замысла; литература латинскихъ народовъ коренится въ классическихъ традиціяхъ. У французовъ нѣтъ народнаго эпоса, нѣтъ и поэмы, резюмирующей сокровеннѣйшую жизнь культурнаго челоѣка. У нихъ почти нѣтъ самородковъ творчества; въ Германіи ихъ много. Опредѣленность и соразмѣрность, атрибуты латинской расы, представляютъ рѣзкій контрастъ съ той безформенностью, которая въ Фаустѣ соответствуетъ самой безпре-

дѣльности основной мысли. Отвлеченность замысла, поэтический произволъ (выраженіе той субъективности, на которую неоднократно указываетъ г-жа Сталь), отсутствіе единства въ томъ и мысли,—все это долгое время было такъ чуждо французамъ, что „Фаустъ“ считался, а нѣкоторыми еще и считается, тѣмъ-то чудовищнымъ, непонятнымъ. Способность обозрѣвать многое разомъ, стремленіе согласовать противорѣчія посредствомъ широкихъ обобщеній, слить науку съ искусствомъ, ради полноты и совокупности, свойственны германскому уму. Послѣ времени рабскаго подражанія различнымъ образцамъ, Германія, вступивъ на новый путь самобытнаго творчества, воплотила въ себѣ именно эти, общечеловѣческіе, идеалы космополитизма и универсальности міровоззрѣній. Потому-то, говоря вообще, и краснорѣчіе, предполагающее цѣльное, отчетливое, единично-законченное убѣжденіе, дается нѣмцамъ менѣе, чѣмъ французамъ. Французы ораторствуютъ; нѣмцы взвѣшиваютъ и разсуждаютъ. Вотъ тотъ строй мысли, та категорія умовъ, изъ которыхъ вылилось и различіе формъ въ поэзіи и искусствѣ. Могли ли французы имѣть „Фауста“, если весь тотъ складъ мысли, на основаніи котораго возникъ онъ, былъ чуждъ имъ? Первые цѣнители „Фауста“ вышли изъ лагеря юной Франціи; первый переводъ былъ сдѣланъ однимъ изъ юныхъ членовъ романтической школы, отголоска нѣмецкой романтики, той школы, литературныя тенденціи которой шли въ разрѣзъ съ установленными традиціями, школы, пробивавшей новые пути и впервые установившей то духовное международное общеніе, которое подчинило Францію вліянію Германіи и Англіи. Съ тѣхъ поръ, чрезъ посредничество романистовъ и ихъ послѣдователей, благородный, ровный свѣтъ придворнаго освѣщенія въ литературѣ раздѣлился въ многоцвѣтную призму всенародной жизни; съ тѣхъ поръ и симпатіи къ міровому произведенію постоянно возрастаютъ. Теперь, когда такъ часто неясное стремленіе замѣняетъ законченную мысль, и символъ—конкретное выраженіе; теперь, когда Франція живетъ жизнью всего человѣчества, и Фаустъ вступаетъ въ права свои и становится достояніемъ всѣхъ. На это указываютъ частые ссылки, указанія, переводы, толкованія. При живомъ международномъ общеніи мысли, произведеніе, такъ ярко выразившее господствующія тенденціи вѣка, должно было сдѣлаться достояніемъ образованнаго большинства, и по мѣрѣ того, какъ эти тенденціи болѣе приводятся въ сознаніе, Фаустъ пріобрѣтаетъ популярность и у другихъ народовъ.

Все болѣе проникается Франція новыми началами, въ корню чуждыми ей. Ясность и опредѣленность, атрибуты латинской

расы, все болѣе отступаютъ на второй планъ передъ насущными требованіями вѣка. Тревожная современная мысль рѣже выливается въ законченныя формы. Желаніе все понять, все объять, заставило писателей выйти изъ узкой колеи опредѣленныхъ теорій. Все чаще раздаются во французской критикѣ жалобы вожаковъ и ветерановъ ея на то, что личному я, прежде—даже у новаторовъ и отрицателей—скромно скрывавшемуся за предметомъ изслѣдованія, теперь отводится слишкомъ большое мѣсто. Однако изъ громкаго заявленія вѣковѣчныхъ правъ этого я возникаютъ произведенія, какъ „Фаустъ“. Все ближе подходитъ самая критика къ тому строю мысли, который дѣлаетъ возможной оцѣнку, если не возникновеніе, подобныхъ произведеній. Стоитъ указать на столько разъ разбираемый въ послѣдніе годы „Дневникъ“ Амьеля, умершаго въ Женевѣ профессора, критика и (посредственнаго) поэта. Студентъ двухъ нѣмецкихъ университетовъ, онъ является крайнимъ представителемъ германскаго склада мысли во французской литературѣ. Рефлексія въ немъ загубила творчество. По свидѣтельству французскихъ критиковъ Шерера и Бурже, его мучила потребность „совокупности“ (totalité), жажда найти абсолютное стремленіе къ безконечному. Онъ боится дать „неполный синтезъ“, потому не сосредоточивается въ одномъ произведеніи, въ которомъ могъ бы высказаться вполне, а постоянно дробится на мелочи. Однако Ренанъ говорить объ одномъ собраніи стихотвореній Амьеля: „Оно останется однимъ изъ лучшихъ выраженій того, что думалъ и чувствовалъ бѣдный XIX-й вѣкъ, который столько видѣлъ, если и не осуществилъ“.

Этими тенденціями дышетъ каждая страница его хотя и монотоннаго, но любопытнаго дневника, служащаго, по выраженію Бурже, увеличительнымъ стекломъ для изученія извѣстнаго склада современной мысли, а именно: германское міровоззрѣніе, свойственный ему анализъ и склонность къ мечтательности. „Мысль болѣе дѣйствительна, чѣмъ фактъ“, — говоритъ Амьель. „Жизнь есть символъ... Разумъ человѣка можетъ успокоиться только въ абсолютномъ, чувство — въ безконечномъ, а душа — въ томъ, что божественно“... Что закончено, то не соответствуетъ истинѣ: частное всегда односторонне“ и т. д. У французскихъ писателей жизнь соответствуетъ опредѣленной и вполне ясной дѣйствительности; у Шекспира, Гёте и Карлейля жизнь является чѣмъ-то зыбимымъ, неопредѣленнымъ, постоянно нарастающимъ и разлагающимся. Согласно съ этимъ, и Амьель жалуется, что французскій языкъ не передаетъ всѣхъ оттѣнковъ

умозрительной мысли, что на немъ нельзя выразить *возникновенія* (le devenir, das Werden); что ему свойственно выражать только результаты, послѣдствія; благодаря прозрачной ясности языка, на немъ все принимаетъ видъ кристаллизаціи, и пр. Очевидно, что мы имѣемъ дѣло съ умомъ германскаго склада, и притомъ въ крайнемъ его выраженіи. Несмотря на то, въ современной французской критикѣ онъ нашелъ сильный отголосокъ и возбудилъ симпатіи; прежде онъ, вѣроятно, подвергся бы осмѣянію или былъ бы непонятъ, теперь же встрѣтилъ не снисходительную, а положительную оцѣнку. Его неоднократно называли „мученикомъ идеала“, а безпокойную пытливость его, при недостаткѣ творческой силы, „болѣзнью идеала“. Разборъ его произведеній, болѣе чѣмъ самый дневникъ его, является знаменіемъ времени.

Бурже, говоря о возрастающемъ господствѣ нѣмецкаго мышленія, видитъ слѣды его, а именно гегеліянства, даже въ Тэнѣ, блестящемъ французскомъ критикѣ. Но качества латинскаго ума дали яркое выраженіе и абсолютное значеніе тому, что у Гегеля только таится въ зародышѣ. Что истину абсолютную легче популяризировать, чѣмъ истину относительную, вполне очевидно. Но не трудно предвидѣть, что новые взгляды и приемы въ критикѣ со временемъ будутъ служить коррективомъ его воззрѣній, большая сумма основныхъ данныхъ поведетъ къ ограниченію системы, и абсолютность его приѣма сдѣлаетъ уступки относительности первоначальнаго положенія. Интересно прослѣдить за филиаціей тѣхъ идей, которыя дали право гражданства во Франціи произведеніямъ сѣвернаго творчества. Когда возникли эти идеи и когда усилились онѣ? Кто первые и крупнѣйшіе представители тѣхъ восполитическихъ тенденцій, которыя теперь составляютъ явленіе обыденное?

Въ лицѣ Аміеля Швейцарія не въ первый разъ является посредницей между Германіей и Франціей. Въ Швейцаріи рѣзкія особенности обѣихъ націй ступшевываются, контрасты нейтрализируются, а иногда сочетаются. Швейцарія принадлежитъ также Руссо и г-жа Сталь.

Но первымъ представителемъ новаго направленія является Дидро, котораго уже современники называли „самымъ нѣмецкимъ умомъ во Франціи“.

Итакъ, мы уже въ XVIII-мъ вѣкѣ находимъ тѣ самобытные умы, которые, опередивъ время, толкнули мысль на новую колею, съ инициаторской силой сдѣлались вожаками ея, несмотря на парадоксы и крайности, въ которые такъ часто вдавались. По словамъ Каро (въ его: „Fin du XVIII-ème s.“), изъ двухъ главныхъ

тенденцій XVIII-го вѣка: во-первыхъ, безвѣрія и пресыщенія, во-вторыхъ, энтузіазма и инициативы, второе, представителями котораго служатъ Дидро и Руссо, преобладаетъ теперь во Франціи. Дидро является истиннымъ предвѣстникомъ XIX-го вѣка; съ него начинается во Франціи широкое теченіе современной мысли. Онъ первый между французами писатель-космополитъ, жрецъ нату-рализма, великій журналистъ своего времени и популяризаторъ науки. Со всѣми свойствами его ума еще ближе познакомили тѣ изъ сочиненій его, которыя много лѣтъ хранились въ петербургскомъ Эрмитажѣ и только недавно были изданы, а именно: „Опроверженіе Гельвеція“, „Основы физиологіи“, „Планъ русскаго университета“, „Отрывки психологіи, этики, логики“, и т. д.

Дидро, со своими, не всегда ясными, но обильными и глубокими мыслями, бойкими гипотезами, всеобъемлющей симпатіей и универсальностью пониманія, сильнымъ инициаторскимъ умомъ и богатой ассоціаціей идей, приближается къ тому строю мысли, который породилъ „Фаустовъ“ и другія родственныя произведенія. Онъ уже въ свое время сильно возбуждалъ мысль современниковъ, но не далъ ничего цѣльнаго и полного. Зыбкость и подвижность мнѣній сдѣлали изъ него сѣятеля, щедро расточавшаго сѣмена мысли, но ни разу не высказавшагося вполне. Такъ, по свидѣтельству критиковъ, постоянные переливы мыслей и чувствъ помѣшали и современному намъ Амелю дать что-либо цѣльное и законченное. Дидро опередилъ вѣкъ мыслями о трансформизмѣ и эволюціи. Онъ создалъ субъективную критику, т.-е. оцѣнку бойкую, непосредственную, пренебрегающую законами эстетики. Будто въ силу ясновидѣнія, задолго до возникновенія романтическихъ теорій, Дидро намѣтилъ ихъ словами: „Поэтамъ и пророкамъ свойственно обращаться къ прошлому и къ грядущему. Потому моментъ ихъ мысли всегда по ту или по эту сторону ихъ земной жизни“. Характеристиченъ слѣдующій анекдотъ. Гуляя въ полѣ съ Гриммомъ, Дидро сорвалъ хлѣбный колосъ съ василькомъ и задумался. — Что вы тамъ дѣлаете? — спрашиваетъ Гриммъ. — „Вслушиваюсь“. — Кто говоритъ съ вами? — „Богъ“. — Ну, и что-жъ? — „Онъ говоритъ по-еврейски (игра словъ: непонятнымъ языкомъ). Сердце понимаетъ, но умъ не достигъ высоты, нужной для пониманія“. Неужели это въ духѣ французскихъ отрицателей XVIII-го вѣка?

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, С. М. Жиарденъ, посвятивъ сочиненіе разбору психическихъ особенностей Руссо, рассматриваетъ его какъ типъ нѣкоторыхъ немощей современнаго общества. Отбросивъ изъ разбора тѣ личные элементы, которые коре-

нились въ болѣзненномъ и неудовлетворенномъ самолюбіи, какъ и въ неудавшемся существованіи, находимъ извѣстныя черты, вліяніе которыхъ можно прослѣдить до нашего времени. Одною изъ самыхъ выдающихся особенностей его является сильная субъективность, неумѣряемая разумомъ и потому ведущая къ парадоксу; а одинъ изъ основныхъ принциповъ его заключается въ томъ, что онъ въ чувствительности видитъ болѣе надежнаго вождя, чѣмъ въ разумѣ. Возставая противъ современнаго матеріализма и невѣрія, онъ видитъ нравственную силу въ энтузіазмѣ и въ религіозномъ наитіи. Не слѣдуетъ ли видѣть въ чувствительности Руссо, какъ и въ субъективной критикѣ Дидро—задатки современнаго импрессионизма? Не составляетъ ли энтузіазмъ, въ связи съ космополитизмомъ и многосторонностью взглядовъ, отличительную черту поклонницы его, г-жи Сталь, впервые давшей опытъ сравнительной литературы и указавшей на взаимодѣйствіе литературныхъ и общественныхъ явленій?

У Руссо внезапный импульсъ, не всегда ясный, но сильный и горячій, замѣняетъ методъ и отчетливость классической Франціи. Но страстный порывъ умѣряется разсудкомъ, и, по выраженію автора, „иная книга, начавшаяся парадоксомъ, оканчивается общимъ мѣстомъ“. „Если парадоксъ составляетъ фасадъ его сочиненій, то здравый смыслъ служить имъ святилищемъ“. Всѣ названные особенности Руссо представляютъ рѣзкую противоположность къ тѣмъ „общимъ мыслямъ“, въ которыхъ Низаръ видитъ особенность и силу французовъ, и на разборъ которыхъ онъ построилъ свою „Исторію французской литературы“.

Девятнадцатый вѣкъ далъ полный разсвѣтъ такого склада умовъ, которые въ XVIII-мъ, опередивъ романтизмъ, являются предвѣстниками новой эпохи всеобъемлющаго пониманія и оригинальнаго творчества. Романтическая школа, которую глава ея, В. Гюго, назвалъ литературной революціей, становится представительницей тѣхъ литературныхъ возрѣвній, которыя до нея являются какъ бы только индивидуальными особенностями. Уже у В. Гюго видимъ многообразіе вводимыхъ предметовъ и полнѣйшую свободу, предоставленную творческимъ силамъ, хотя характеры въ его драмахъ построены на яркомъ и несложномъ антитезѣ. Но у Теофиля Готье встрѣчаемъ, въ крупнѣйшемъ изъ его произведеній, не только произволъ фантазіи, но и субъективную безпредѣльность и то стремленіе къ микрокосму, т.-е. къ совокупности духовныхъ силъ, которые характеризуютъ нѣмецкую романтику. Прибавимъ къ этому изощренія анализа, богатую, но произвольную ассоціацію идей, въ силу которой связываются ви-

дно самые разнородные предметы, и мы убѣдимся, что не только форма творчества измѣнилась, но и самая мысль вошла въ новую колею. Герой лучшаго изъ его романовъ (написаннаго въ 1835 г.), художникъ по профессіи, жалуется, что не можетъ творить, не вслѣдствіе недостатка, а вслѣдствіе избытка мыслей, что даровитость и многосторонность затрудняютъ творчество. Впервые встрѣчаемъ указанія на тотъ строй мысли, которому отводится такое широкое мѣсто въ современной литературѣ. Напр.: „Я не понимаю человѣка: тамъ, гдѣ начинается жизнь, я съ ужасомъ останавливаюсь, какъ будто увидѣлъ голову Медузы“. Очевидно, что тому, кто видитъ предметъ en bloc, легче приносить и положительныя сужденія; но зоркому оку, которое видитъ всѣ оттѣнки, лежащіе между крайностями, всякое жизненное явленіе кажется любопытной, сложной загадкой. Однако въ этой сложности заключается истинное пониманіе жизни. О Шекспирѣ герой говоритъ: „Безпорядокъ и разрозненность его драмъ и минно-фантастическіе приемы поэта вѣрнѣе передаютъ дѣйствительность, чѣмъ самая точная комедія нравовъ, плодъ тщательныхъ наблюденій. Каждый человѣкъ заключаетъ въ себѣ человечество, и записывая, что приходитъ ему на умъ, онъ ближе подходитъ къ цѣли, чѣмъ тщательно копируя предметы, находящіеся внѣ его“, и т. д. На болѣзненномъ разладѣ чувствъ (хотя преимущественно въ донъ-жуановскомъ духѣ), на погонѣ за идеаломъ, на стремленіи къ совокупности и гармоніи духовныхъ силъ основано это любопытное произведеніе, являющееся звеномъ между Рене и Фаустомъ, мятежными героями Байрона и безпокойнымъ мыслителемъ.

Во Франціи, какъ и въ Германіи, романтическая школа пустила корни въ разныя стороны, и со времени возникновенія своего осложнялась и видоизмѣнялась отъ современнаго ей умственного вклада, передавая въ то же время различныя колебанія и недуги вѣка; хотя она здѣсь и не имѣла того вліянія на науку и ограничилась областью литературы, но значительно осложнила изъ смежныхъ областей свои задачи, преслѣдуемая ею даже въ ущербъ эстетическимъ интересамъ. Совокупность вмѣсто единства, широкая субъективность, такъ часто теряющая руль въ художественныхъ, какъ и въ нравственныхъ вопросахъ, многообразность и живописность, но и вычурность и безпокойная пытливость составляютъ особенность французской литературы, начиная съ Мюссе и Боделъра, переходя къ Бальзаку и Ж.-Зандъ, оканчивая Флоберомъ и большинствомъ современныхъ писателей. Эволюція и взаимодействіе явленій, всепониманіе и ассимиляція, космо-

политизмъ и свобода приемовъ, доходящая до анархїи, сложность психическаго анализа и ширь литературнаго кругозора—вотъ тѣ истины относительныя, которыя, въ противоположность абсолютнымъ и неподвижнымъ положеніямъ, растутъ и расширяются вмѣстѣ съ умственнымъ уровнемъ общества; пониманіе ихъ сущности и ограниченіе ихъ примѣненія составляютъ одну изъ крупныхъ современныхъ задачъ; онѣ даютъ современному искусству, наукѣ, поэзіи ту богатую многообразность и безграничность горизонтовъ, которыя характеризуютъ современность. Было бы излишнимъ указывать на тѣ особенности въ проявленіи господствующихъ тенденцій, которыя всегда будутъ обуславливаться сложностью агента, заключеннаго въ понятіи о національности. Национальному или космополитическому строю мысли принадлежитъ будущность? Судя по многимъ даннымъ, время національной замкнутости миновало, и торжество должно остаться за тѣмъ космополитизмомъ, который при должной ассимиляціи не уничтожаетъ національнаго характера, но только даетъ ему болѣе широкое современное значеніе.

При богатомъ наплывѣ идей и слогъ измѣнился; вопреки жалобамъ нѣкоторыхъ доктринеровъ старой школы на утрату національныхъ качествъ, вопреки ихъ пренебрежительному отношенію къ результатамъ болѣе близкаго духовнаго международнаго общенія, уступки ему дѣлаются повсемѣстно, и даже ими самими. Утративъ часть своей прежней ясности и конкретности выраженія, французскій языкъ приобрѣлъ гибкость, нужную для передачи тончайшихъ оттѣнковъ отвлеченной мысли, и обогатился множествомъ неологизмовъ; но мы находимъ и стилистическія изощренія, доходящія до вычурности. Бѣдны и безцвѣтны были прежніе рѣдкіе переводы иноземныхъ произведеній. Новые переводы Шекспира, „Фауста“ и др., новымъ уже языкомъ, болѣе способнымъ къ ассимиляціи, свидѣтельствуютъ о томъ измѣненіи въ общемъ складѣ мысли, которому соответствуетъ его словесное выраженіе. Состояніе умовъ извѣстной эпохи таится въ зародышѣ въ предшествующей эпохѣ. Литература служитъ проводникомъ духовнаго наслѣдія поколѣній. Нѣкоторые писатели одарены способностью съ особенной силой воплощать въ себѣ тѣ тенденціи, которымъ суждено достигнуть полнаго развитія уже послѣ нихъ. Поэтъ не жрецъ и не пророкъ, но онъ—представитель сокровеннѣйшихъ стремленій мыслящаго большинства. Чуткость гениальныхъ поэтовъ равняется ясновидѣнію. Отзывчивость дѣлаетъ ихъ толкователями современныхъ потребностей и предвѣщателями будущихъ. Чуткостью и силою отзывчивости опредѣляется значеніе поэта для

его времени. Широкое умственное теченіе, нашедшее выраженіе въ „Фаустѣ“, не трудно прослѣдить въ духовной дѣятельности нашего вѣка. Крупнѣйшіе писатели его воплотили въ себѣ одно изъ намѣченныхъ и резюмированныхъ въ немъ стремленій, или проявляютъ послѣдствія этихъ стремленій. При обзорѣ французской литературы особенно легко убѣдиться въ этомъ: почти каждый выдающійся поэтъ или писатель служитъ представителемъ какой-нибудь одной особенности этого теченія; въ Германіи же совокупность этихъ особенностей таится въ зародышѣ во всей націи, и потому отдѣльныя черты выступаютъ не такъ ярко. Тѣмъ называетъ Гёте „отцомъ или иниціаторомъ всѣхъ высокихъ мыслей въ современной жизни“. Гдѣ, какъ не въ „Фаустѣ“, самомъ крупномъ и характеристическомъ произведеніи поэта, искать починъ этихъ идей, задатокъ преслѣдуемыхъ цѣлей? Около столѣтія „Фаустъ“ не перестаетъ занимать умы; безчисленные комментаріи выросли на его почвѣ; безъ различія школъ и національностей принято смотрѣть на „Фауста“ какъ на выраженіе извѣстныхъ тенденцій, характеризующихъ современность, и если вѣкъ, быстро шагая впередъ, оборачивается назадъ, и все еще, по выраженію Брандеса, „узнаетъ себя въ Фаустѣ“, т.-е. находитъ въ немъ зачатки современныхъ задачъ и волнующихъ его вопросовъ, то спрашивается: въ чемъ заключается оправданіе этихъ оцѣнокъ? Какъ опредѣлить эти задачи, эти стремленія? Чѣмъ отличается XIX-й вѣкъ отъ предыдущихъ? Постараемся резюмировать въ немногихъ основныхъ положеніяхъ многосторонній идейный объемъ „Фауста“, и рассмотримъ, въ какихъ чертахъ узнаетъ себя нашъ вѣкъ.

М. Ф-тъ.



СТЕЛЛА

Романъ въ двухъ частяхъ миссисъ Брэддонъ.

Съ англійскаго.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

V *).

Послѣ того вечера, когда мистеръ Несторіусъ сообщилъ Лашмеру содержаніе испанскихъ писемъ, послѣдній съ большей, чѣмъ до сихъ поръ, готовностью поддавался обольщеніямъ Цирцен, олицетворенной въ Кларисѣ, и по мѣрѣ того, какъ Лашмеръ становился любезнѣе, Клариса становилась очаровательнѣе. Его холодность сердила ее; она никакъ не могла забыть его первой измѣны, и онъ могъ загладить ее только безусловной преданностью, повергнувшись къ ея ногамъ, какъ рабъ. И теперь ей казалось, что она покорила его, и сознаніе торжества наполняло ее восторгомъ. Великолѣпное ничтожество ея личности вдругъ озарилось какимъ-то свѣтомъ и тепломъ.

— Лэди Кэрмино съ каждымъ днемъ хорошѣетъ, — говорилъ Несторіусъ, который былъ знатокъ красоты и могъ восхищаться сотней женщинъ, не отдавая сердца ни одной.

Онъ рано женился и женился выше своего состоянія, такъ что бракъ принесъ ему богатство и общественное положеніе. Онъ былъ превосходнымъ мужемъ немного глупенькой жены. Онъ ухаживалъ за ней, когда она заболѣла, и похоронилъ до-

*) См. выше: августъ, стр. 673.

стойно ихъ обоихъ. А теперь онъ былъ въ правѣ выбрать другую жену, если этого хотѣлъ. Людямъ, которые завидовали ему и ненавидѣли его, казалось, что онъ могъ выбирать жену по всей Англіи, такъ какъ всѣ англичанки боготворили того, кого очень немногіе англичане любили.

— Да, она великолѣпно хороша собой, — отвѣчалъ Лашмеръ; — но я не думаю, чтобы она была въ вашемъ вкусѣ. Вы предполагаете болѣе оригинальную наружность: Фенеллы, напримѣръ, или Миньоны, или той дѣвушки съ большими глазами, чтицы моей матушки.

— Чтица вашей матушки въ половину не такъ хороша, какъ лэди Кэрмино.

— Но вамъ она больше нравится. Она интереснѣе.

— Для меня, да.

— Для меня же она положительно антипатична. Въ ней есть что-то языческое. Я бы ненавидѣлъ Фенеллу — несносное созданіе съ обезьяньими ухватками, скачущую по лѣстницамъ и попадающуюся вамъ на дорогѣ въ самыхъ неожиданныхъ мѣстахъ. А Миньона и того хуже, потому что совсѣмъ безнравственна. Эта дѣвушка мнѣ напоминаетъ обѣихъ.

— Она не похожа ни на ту, ни на другую. Тѣ двѣ — воплощенная страсть, а она — воплощенный умъ. Тѣ — грубая, недисциплинированная натура; она спокойна, тверда и исполнена чувства собственного достоинства.

— То-есть, вы хотите сказать, что она не станетъ прыгать съ лѣстницъ или танцовать на яйцахъ. Но у нея течетъ неукротимая кровь въ жилахъ, несмотря на все ея наружное спокойствіе, кровь самаго яраго демагога, который когда-либо подбивалъ барановъ Брума на грабежъ и бунтъ. И кровь матери — испанки, бросившей родительскій домъ, кровь быстрая, какъ ртуть. Берегитесь ее, Несторіусъ.

— Я буду беречь ее, а не себя; беречь ее отъ зла, если съумѣю, но никогда не побоюсь зла отъ нея.

— Слышите ли вы его, о, боги! — воскликнулъ Лашмеръ: — вотъ темпераментъ! Онъ все видитъ въ розовомъ свѣтѣ, въ яркихъ лучахъ своей фантазіи. Онъ подобенъ Титаніи, которую околдовали.

Ясно, что Несторіусъ не былъ влюбленъ въ Кларису. Лашмеру нечего было бояться соперничества съ этой стороны, и онъ рѣшилъ, что судьба опредѣлила ему быть мужемъ лэди Кэрмино. Онъ уже разъ ушелъ отъ своей судьбы, вырвался изъ тенетъ; но теперь сознавалъ, что запутался въ нихъ снова. Еслибы даже

онъ выпутался изъ нихъ вторично, то снова попался бы. Такова ужъ видно судьба.

„Я предпочитаю быть ея вторымъ мужемъ, нежели третьимъ, — думалъ онъ, — и если опредѣлено, что я долженъ на ней жениться, то лучше мнѣ сразу сдѣлать предложеніе“.

Онъ говорилъ это себѣ, но предложенія все-таки не дѣлалъ. Какое-то тайное отвращеніе удерживало его, отвращеніе, котораго онъ не могъ объяснить себѣ. Онъ сердился на себя за то, что не могъ влюбиться.

„Я родился холоднымъ человѣкомъ“, — думалъ онъ.

Онъ не могъ иначе, какъ врожденной холодностью, объяснить себѣ недостатокъ теплоты въ ощущеніяхъ. Онъ воображалъ даже, что женщины ему противны, и что онъ кончилъ бы жизнь холостякомъ, еслибы не матеріальные расчеты и не просьбы матери жениться. Онъ могъ только выиграть отъ брака съ лэди Кэрмино, и было просто глупо отступать, и все-таки онъ день за днемъ откладывалъ объясненіе, которое связало бы его на вѣки.

„Что такое женатый мужчина, какъ не рабъ и не илоть, — думалъ онъ, — простой батракъ. Сначала рабъ жены, затѣмъ рабъ дѣтей и внуковъ, которые, быть можетъ, его преждевременно уморятъ. Отецъ семейства никогда не можетъ знать, который изъ его дѣтей составитъ его несчастіе. Онъ отвѣчаетъ за ошибки и безумства всей фамиліи до третьяго и четвертаго колѣна. Даже тогда, когда онъ уже сойдетъ въ могилу, разные теоретики будутъ указывать на него, какъ на источникъ всякаго зла, и извинять всѣ проступки и вины его потомковъ, ссылаясь на наслѣдственность или атавизмъ. И однако, матушка груститъ отъ того, что я не женюсь и у меня нѣтъ наслѣдниковъ; точно это Богъ вѣсть какое бѣдствіе... потеря, а не преимущество“.

Это былъ пессимистическій взглядъ на вещи, но лордъ Ланмеръ въ послѣднее время сталъ склоненъ къ пессимизму. Онъ былъ недоволенъ жизнію и самимъ собой. Онъ говорилъ себѣ, что причина всему — пять пустующихъ фермъ въ его имѣніи и что рана нанесена только его карману.

„Какъ счастливъ былъ Губерты!“ — думалъ онъ, прохаживаясь разъ утромъ по библіотекѣ, отпустивъ охотниковъ безъ себя, сославшись на необходимость писать письма. Охотники уже часа два какъ ушли, а онъ еще и пера не обмакнулъ въ чернильницу. Черезъ часъ гонгъ призоветъ къ полднику, и ему надо будетъ идти говорить комплименты лэди Кэрмино, которая являлась какъ царица красоты и требовала большого къ себѣ вниманія.

Онъ обѣщалъ съѣздить въ этотъ день въ Брумъ вмѣстѣ съ Кларисой и мистриссъ Мольчиберъ и осмотрѣть большой желѣзодѣлательный заводъ Денбрука, единственной владѣлицей котораго была теперь лэди Кэрмино. Ея имя стояло на всѣхъ фургонахъ и вагонахъ: „Клариса, маркиза Кэрмино“. Лапмеръ никогда еще не видѣлъ этого завода и вообще ненавидѣлъ осматривать какіе бы то ни было заводы и фабрики, ненавидѣлъ шумъ машинъ, запахъ печей, грязь и пыль, да не особенно жаловалъ и рабочихъ, хотя гуманнѣйшій въѣзъ требовалъ, чтобы онъ смотрѣлъ на нихъ какъ на братьевъ.

Онъ сознавалъ также, что осмотръ завода является нѣкотораго рода признакомъ его подчиненности. На него будутъ смотрѣть какъ на будущаго мужа лэди Кэрмино. Это было все равно, что подписаться подъ собственнымъ смертнымъ приговоромъ. Но какъ бы то ни было, а надо было ѣхать по жарѣ и пыли, такъ какъ онъ слишкомъ легкомысленно далъ обѣщаніе прошлымъ вечеромъ, сидя въ пріятной атмосферѣ гостиной, когда казалось, что энергіи у него непочатой край. Но вотъ, когда наступило утро, онъ почувствовалъ, что осмотръ завода будетъ для него нестерпимой скукой.

„Да, мой братъ Губертъ былъ счастливѣйшій человекъ, каковаго я только зналъ,—говорилъ онъ самому себѣ,—счастливѣйшій, несмотря на свое несчастное тѣлосложеніе, потому что онъ всегда жилъ своей собственной жизнью, не сворачивалъ съ своей дороги то вправо, то влѣво, какъ баранъ подъ кнутомъ пастуха, и какъ всѣ мы, злосчастные люди, рабы обычая, моды и эгоизма. Я хорошо помню, какъ онъ вѣчно, бывало, сидитъ въ этой комнатѣ, день за днемъ, спокойный, довольный, читаетъ, размышляетъ, иногда пописываетъ. Кстати, надо мнѣ издать оставшіяся послѣ него статьи; изъ нихъ составитъ интересная книга. Какой скучной, пустой жизнью казалась мнѣ тогда его жизнь, а вотъ теперь, честное слово, я завидую ему. Онъ жилъ не одинъ, но съ великанами прошлаго времени. Его товарищами были титаны. А я—я не заглядывалъ въ Гомера, съ тѣхъ поръ какъ вышелъ изъ университета; я не открывалъ Шекспира болѣе года. Я завязъ по уши въ Синихъ книгахъ, въ партійныхъ памфлетахъ и въ газетахъ, во всемъ этомъ дневномъ мусорѣ, который вѣтеръ разсѣетъ по воздуху и отъ котораго черезъ годъ не останется ни слѣда, ни воспоминанія“.

Онъ припоминалъ фигуру брата, сидящаго вонъ за тѣмъ письменнымъ столомъ въ глубокомъ креслѣ, которое маскировало его сторбленныя плечи, одной нѣжной рукой поддерживая блѣдный

любъ, другой переворачивая страницы какого-нибудь греческаго или римскаго поэта, драматурга эпохи Елизаветы или современнаго философа. Радикальное отроде вѣчно присутствовало при немъ въ послѣдніе годы, сидя неподалеку за отдѣльнымъ столомъ, и писало какое-нибудь упражненіе или, сидя у ногъ своего благодѣтеля, слушало волшебную сказку. Оба казались очень счастливы, а между тѣмъ Викторіану такое сообщество представлялось совсѣмъ неестественнымъ.

А теперь присутствіе этой дѣвушки въ домѣ его раздражало. Ихъ случайныя встрѣчи были рѣдки, и со всѣмъ тѣмъ онъ постоянно ожидалъ, что встрѣтится съ нею на лѣстницѣ или въ корридорѣ. Онъ всегда удивлялся, если, придя къ матери, не застаивалъ ея тамъ.

Онъ порѣшилъ въ своемъ умѣ, что она хитрая интриганка, опасный элементъ въ домѣ. Какъ быстро затянула она своей паутиной этого безразсуднаго, впечатлительнаго Несторіуса, а мистриссъ Мольчиберъ, свѣтская женщина, которой слѣдовало быть гораздо опытнѣе, постоянно расхваливаетъ ее. Она обошла его брата, когда была маленькимъ ребенкомъ, а теперь змѣя выросла, и ея извилистыя движенія были еще опаснѣе.

Брумъ и окраины Брума казались еще противнѣе обыкновеннаго лорду Лашмеру въ то октябрьское утро, когда лэди Кэрмино сидѣла напротивъ него, закутанная въ коричневый бархатъ, обшитый соболемъ, и въ небольшой собольей шапочкѣ на головѣ, необыкновенно какъ приставшей къ ея роскошнымъ золотисто-каштановымъ волосамъ. Еслибы для его счастья достаточно было присутствія красивой женщины или удовольствія ѣхать въ восьмь-рессорной каретѣ, то онъ долженъ былъ бы считать себя счастливымъ. Но сегодня даже красота лэди Кэрмино какъ-будто потускнѣла въ его глазахъ.

— Вашъ бархатъ и соболь пострадаютъ отъ пыли и дыма, — замѣтилъ онъ, бросивъ неодобрительный взглядъ на ея богатый костюмъ.

— О! я уже цѣлую вѣчность ношу это платье. Я буду рада, если оно испортится.

Лашмеръ разсѣянно оглядѣлъ улицу и замѣтилъ двухъ плохо-одѣтыхъ, въ ситцевыя платья, фабричныхъ дѣвушекъ, вутавшихся въ жалкіе шерстяные платки отъ рѣзкаго восточнаго вѣтра; и ему невольно подумалось, что радикальные вопли о неравенствѣ состояній составляютъ одну изъ темъ, для которыхъ всегда найдутся слушатели. Допуская даже, что всякій планъ для уравнинія состояній одинаково нелѣпъ и невозможенъ, контрастъ все-

такі будетъ мозолить людямъ глаза и всегда вызывать попытку какъ-нибудь устранить его.

— Эти двѣ дѣвушки съ большой завистью глядятъ на вашихъ соборей,—сказалъ онъ, замѣтивъ долгій завистливый взглядъ, которымъ онѣ провожали нарядную барыню въ каретѣ.

— Будьте увѣрены, что у нихъ есть праздничныя пальто на собачьихъ или кошачьихъ шкуркахъ, покрытыя вельветиною. Онѣ усердно слѣдятъ за модами,—отвѣчала Клариса легко.

— Нельзя не пожалѣть бѣдняжекъ,—пробормотала мистриссъ Мольчиберъ.

— Да, той тихой, пассивной жалостью, отъ которой ни тепло, ни холодно,—отвѣчалъ Лашмеръ съ спокойнымъ презрѣніемъ.—Еслибы кто-нибудь изъ насъ былъ похожъ на ту норфолькскую модистку, которой случилось однажды провиниться жалостью къ несчастному узнику, заключенному въ тюрьмѣ, и посвятить затѣмъ всю свою жизнь до самой смерти заключеннымъ, ихъ утѣшенію и поддержкѣ, то это была бы настоящая жалость. Но такихъ людей немного.

Лэди Кэрмино не продолжала спора. Она глядѣла впередъ на большія темныя ворота, мрачныя, какъ преддверіе Тартара. Они находились въ одной изъ грязнѣйшихъ улицъ Брумма, Денбрукъ-лэнъ, названной такъ по большому стали-литейному Денбрукскому заводу, который построенъ былъ покойнымъ мистеромъ Денбрукомъ и соперничалъ съ заводами Круппа и Коверила въ Германіи и Бельгіи. Лэди Кэрмино слышала стукъ паровыхъ молотовъ, и этотъ стукъ всегда наполнялъ ее гордостью. У нея были обширныя земли, дававшія ей видное мѣсто среди поземельной аристократіи, и она ими гордилась; но заводъ былъ ея царствомъ. Здѣсь былъ источникъ ея богатства и здѣсь она царила безъ помѣхи. Обширность этихъ плутоновскихъ палатъ, толпы закопѣлыхъ сажею лицъ, стукъ и грохотъ машинъ,—все это производило на ея женскую фантазію впечатлѣніе могущества и власти. Заводъ былъ похожъ на арсеналъ, и она казалась самой себѣ точно богиней войны, въ то время, какъ медленно переходила изъ одной палаты въ другую въ сопровожденіи почтительныхъ служащихъ и управляющихъ.

Ей пріятно было думать, что Лашмеръ увидитъ ее среди ея царства. Она не предупредила о своемъ пріѣздѣ, и ей показалось, когда она выходила изъ экипажа, что управляющій не такъ любезенъ, какъ обыкновенно. Онъ былъ такъ же почтителенъ, какъ и всегда, поклонился и разговаривалъ съ нею точно съ коро-

левой, но у него былъ смущенный видъ, не ускользнувшій отъ зоркихъ глазъ Лапмера.

— Боюсь, что мы пріѣхали не въ-время, — сказалъ онъ: — у васъ, быть можетъ, какая-нибудь особенно трудная работа на рукахъ.

— Нѣтъ, не то, милордъ, — отвѣчалъ управляющій серьезно: — такого рода вещи насъ никогда не затрудняютъ. Но теперь не совсѣмъ удобный моментъ для визита милэди. Мы наканунѣ забастовки рабочихъ.

Лэди Кэрмино засмѣялась весело и музыкально, точно ей сказали какую-то весьма забавную шутку.

— Ахъ, какая это старая исторія! — произнесла она. — Я всю жизнь это слышала. Мой отецъ говорилъ это почти каждый разъ, какъ возвращался съ завода. Рабочіе вѣчно замышляютъ худое. Забастовка вѣчно готовится, но никогда не осуществляется.

— Мистеръ Денбрууъ имѣлъ необыкновенное вліяніе на рабочихъ; у него былъ даръ ими управлять. Онъ устранялъ опасность забастовки частью личнымъ вліяніемъ, частью уступками; но вы, милэди, отказались...

— Сдѣлать уступки, которыя считаю излишними, которыхъ мой отецъ никогда бы не сдѣлалъ.

— Вашъ отецъ слѣдовалъ за духомъ времени, лэди Кэрмино. Онъ былъ слишкомъ разсудительный человѣкъ, чтобы плыть противъ теченія.

— Если мы не будемъ противостоять теченію, то оно всѣхъ насъ снесетъ, — отвѣчала лэди Кэрмино съ видомъ Беллоны.

Лапмеръ не ожидалъ, что въ ней найдетъ столько твердости... или упрямства — онъ не зналъ, какъ это назвать.

— Рабочіе крѣпились до сихъ поръ, хотя заработная плата у нихъ ниже, чѣмъ на другихъ заводахъ Брумма. Они крѣпились, благодаря превосходнымъ учрежденіямъ, основаннымъ вашимъ отцомъ и обезпечивающимъ рабочихъ въ старости и болѣзни. Но имъ обидно, что заработная плата ихъ ниже, чѣмъ у другихъ рабочихъ.

— Я не согласна измѣнить плату.

Управляющій покорно поклонился.

— Ваша воля, милэди, но увѣряю васъ, что мы рискуемъ остаться безъ рабочихъ.

— Если они забастуютъ, мы найдемъ другихъ.

— Въ Англіи — ни единого человѣка.

— Ну, такъ въ Бельгіи.

Управляющій пожалъ плечами.

— Бельгійскіе заводы процвѣтають; боюсь, что мы не переманимъ оттуда рабочихъ.

— Но если наши рабочіе насъ покинутъ, то лишатся права на фондъ, учрежденный въ ихъ обезпеченіе?

— Разумѣется.

— Въ такомъ случаѣ они насъ не покинутъ.

— Гявъъ—близорукій совѣтникъ, лэди Кэрмино. Радикализмъ постоянно развивается въ Бруммѣ. Двадцать лѣтъ тому назадъ, наши рабочіе получали больше другихъ, а теперь получаютъ меньше. Лучше было бы, лэди Кэрмино, еслибы вы согласились увеличить заработную плату.

— Я скорѣе закрою заводъ,—объявила Клариса.— Пожа-луйста, не будемъ больше говорить объ этомъ. Я привезла друзей осмотрѣть заводъ, а вовсе не за тѣмъ, чтобы выслушивать обычные жалобы и предсказанія о забастовкахъ. Рабочіе нашего завода знаютъ, что ихъ положеніе лучше, чѣмъ положеніе остальныхъ рабочихъ.

Послѣ осмотра завода, Клариса настояла на томъ, чтобы ея друзья осмотрѣли дома рабочихъ, которыми мистриссъ Мольчиберъ особенно интересовалась.

— Сознаюсь, что ничего не понимаю въ машинахъ,—говорила она,—но осматривать жилища бѣдняковъ для меня наслажденіе. Я—членъ общества артистической филантропіи и содѣйствовала украшенію многихъ бѣдныхъ жилищъ оклейкой стѣнъ артистическими, хотя и недорогими, обоями и вазами изъ майолики. Мнѣ всегда грустно думать, что есть такъ много людей, лишенныхъ всякихъ артистическихъ затѣй.

— Я боюсь, что жители Брумма не оцѣнятъ вашихъ артистическихъ затѣй,—отвѣчала Клариса.—У нихъ нѣтъ никакого понятія объ изяществѣ. Вы увидите въ ихъ домахъ самыя возмутительныя вещи: искусственные цвѣты подъ стеклянными колпаками, вязанныя крючкомъ салфетки и прочее безобразіе.

— Бѣдняжки!—вдохнула мистриссъ Мольчиберъ.—Придетъ день, когда наше общество разсѣетъ этотъ мракъ.

Дома рабочихъ образовали два просторныхъ квадрата, соединенныхъ между собой аркой, точно коллегія. Они были построены мистеромъ Денбрукомъ и были довольно высоки, въ три этажа, съ балконами во всѣхъ комнатахъ и колоннадой, подъ которой дѣти могли бѣгать во всякую погоду. Кромѣ того, имѣлось еще просторное зданіе, называвшееся рекреационнымъ домомъ, гдѣ дѣти играли днемъ, а старшіе веселились по вечерамъ. Были еще бани и прачешныя, и всѣ новѣйшія усовершенствованія и

приспособленія. Архитектура была утилитарная и основательная. Ни въ какой части зданій не было попытокъ на готическій или яковитскій характеръ. Зданія были откровенно безобразны, съ чердака до погреба; но комнаты всѣ были свѣтлыя и просторныя, корридоры и лѣстницы широки и съ хорошей вентиляціей.

Они входили въ двѣ или три гостиныхъ: Лапмеръ, чувствуя себя незваннымъ гостемъ; мистриссъ Мольчиберъ съ полнымъ торжествомъ, прорицая, какое изящество и благородство можетъ внести ея благотворительное общество въ эти жилища; Клариса, спокойная и царственная, входила и выходила, не извиняясь, по временамъ замѣчая матерямъ, что имъ дѣлаетъ мало чести, что дѣти ихъ въ грязныхъ передникахъ.

— У васъ хорошая квартира, еслибы только вы содержали ее въ должной чистотѣ, — сказала она одной женщинѣ.

— Заработная плата слишкомъ низка, чтобы намъ заниматься уборкой комнатъ, — отвѣчала та сердито, стоя спиной къ посѣтителю и, наклонившись надъ очагомъ, раскрыла какой-то горшокъ, изъ котораго сильно понесло лукомъ и жиромъ.

Мистриссъ Мольчиберъ попыталась-было намекнуть, что чадъ легко устранить, посредствомъ весьма нехитрыхъ приспособленій въ очагѣ, которыя могъ бы сдѣлать ея мужъ.

— Мой мужъ послалъ бы меня къ чорту, еслибы я вздумала приставать къ нему съ такими глупостями, — отвѣчала матрона грубо. — Намъ не до глупостей; намъ надо, чтобы повысили заработную плату и не говорили намъ пустяковъ. Есть намъ время заниматься всякимъ вздоромъ!

Клариса почувствовала, что атмосфера непріятная, что система ея отца, отлично дѣйствовавшая, пока онъ былъ живъ, теперь что-то разладилась.

— Здѣсь страшная духота! — воскликнула она: — вы слишкомъ топите ваши комнаты, вѣроятно потому, что уголь достается вамъ даромъ.

— Намъ ничто даромъ не достается, когда наши мужья и сыновья сохнутъ надъ работой для того, чтобы инныя-прочія ходили въ бархатахъ да въ мѣхахъ, — проворчала матрона встѣдъ уходящимъ посѣтителемъ.

Лэди Кэрмино вернулась къ своему экипажу, глубоко возмущенная недостаткомъ преданности въ своихъ подданныхъ. Она пріѣзжала сюда годъ тому назадъ съ друзьями, и ее встрѣтили какъ царицу: дѣти поднесли ей букеты; женщины присѣдали ей и улыбались, восхищаясь ея красотой и нарядомъ; мужчины по-

чтительно окружали ее, предупредительно отвѣчая на всѣ ея вопросы.

Перемѣна была поразительная и могла предвѣщать нѣчто еще худшее.

— Рабочіе классы становятся нестерпимы, — замѣтила она съ видомъ усталости и унынія, садясь въ карету.

— Они не всегда такъ пріятны, какъ было бы желательно, — отвѣчалъ Лашмеръ. — Нѣтъ мѣста въ мірѣ, гдѣ бы я чувствовалъ себя хуже, чѣмъ въ Брумѣ. Полчаса, проведенные въ этой трущобѣ, заставляютъ меня думать, что старый порядокъ кончился и что всѣмъ намъ придется засучить рукава и работать у доменныхъ печей.

— Эти люди положительно обожали моего отца, — замѣтила Клариса недовольнымъ тономъ.

— Ахъ! но это потому, что онъ былъ однимъ изъ нихъ, или, по крайней мѣрѣ, держалъ себя такъ, какъ одинъ изъ нихъ, — отвѣчалъ Лашмеръ. — Я увѣренъ, что онъ надѣвалъ потертый сюртукъ, когда приходилъ на заводъ, и не боялся запачкать рукъ. Вы же являетесь точно совсѣмъ изъ другого міра и глядите на нихъ свысока. Этого они не любятъ.

— Я больше никогда къ нимъ не приѣду, — объявила Клариса. — Въ этомъ они могутъ быть увѣрены.

Она была глубоко оскорблена и какъ женщина, и какъ красавица. Никогда еще до сихъ поръ мужчины не глядѣли на нее иначе, какъ съ восхищеніемъ. Эти же недовольныя, мрачныя лица преслѣдовали ее всю дорогу, когда они возвращались домой, а Лашмеръ, который долженъ былъ бы утѣшать ее, сидѣлъ молча и разсѣянно глядѣлъ на туманныя, осеннія поля.

Она хотѣла пощеголять передъ нимъ своимъ могуществомъ и предстать королевой своего закопченнаго царства, и чувствовала себя обиженной и униженной неожиданнымъ оборотомъ, какой приняла ея поѣздка.

VI.

Было около семи часовъ вечера, когда Лашмеръ вернулся домой. Передобѣденный чай уже былъ оконченъ, и охотники разошлись по ваннымъ и уборнымъ. А въ гостиной слышались звуки фортепіано и очень жиденькій сопрано, свидѣтельствовавшій, что мистриссъ Вавасуръ распѣвала балладу въ одиночествѣ или въ компаніи. Лашмеръ ушелъ въ бібліотеку, чтобы провести

спокойно полчаса за чтеніемъ газетъ, прежде чѣмъ идти одѣваться къ обѣду.

Комната была освѣщена только двумя полѣньями, горѣвшими въ каминѣ, и одной лампой, стоявшей на столѣ, гдѣ лежали газеты. Шторы не были спущены, и Лашмеръ, проходя по комнатѣ, увидѣлъ двѣ фигуры, медленно прохаживавшіяся мимо оконъ.

Онъ раскрылъ окно и выглянулъ въ него. Мужчина и женщина стояли неподалеку, занятые серьезнымъ разговоромъ. Женщина въ черномъ платьѣ, съ открытой головой, высокая, прямая и тонкая, была Стелла. Мужчина — Несторіусъ.

Онъ говорилъ ей что-то, наклонясь къ ней такъ близко, что Лашмеру казалось, что губы его почти касаются ея волосъ. Рука лежала на ея плечѣ, точно онъ въ чемъ-то убѣждалъ ее или о чемъ-то упрасивалъ.

Вдругъ Стелла сняла его руку съ своего плеча и, опустившись на колѣни, прижала ее къ губамъ порывистымъ, страстнымъ движеніемъ и затѣмъ убѣжала на другой конецъ террасы.

Только южная кровь могла побудить къ такимъ страстнымъ жестамъ. Какъ ни страненъ былъ ея поступокъ, въ немъ не было ничего фальшиваго или театральнаго. Все казалось естественнымъ и искреннимъ. Но для Лашмера, видѣвшаго всегда эту дѣвушку молчаливой и неподвижной, какъ статуя, эта новая сторона ея характера показалась совсѣмъ необычайной.

„Что она, съ ума сошла? — сердито подумалъ онъ. — Заразилъ ее Несторіусъ своимъ фантазерствомъ, или она ведетъ серьезную игру? Да, такъ должно быть. Она намѣрена поддѣлать нашего энтузіаста. Онъ впечатлительнѣе Улисса, а она хитрѣе Калипсо. Эти молчаливыя женщины, съ опущенными рѣсницами, всегда очень хитры“.

Онъ вышелъ на террасу. Осенній туманъ окутывалъ паркъ. Ночь сгушалась надъ долиной и рѣкой, подобно какому-то осязательному призраку, подобно могущественному крылатому чудовищу, простирающему свои крылья надъ землей, заволакивая и омрачая дома и луга, людей и звѣрей, и придавая всему живой характеръ мира, спокойствія и торжественности.

Но въ душѣ Лашмера не было мира, а горѣло жгучее чувство гнѣва. Почему онъ сердился, онъ ни разу не спросилъ самого себя.

— Хитрая дѣвчонка! — бормоталъ онъ: — негодная, неисправимая притворщица! Вотъ такія-то женщины и доводятъ умныхъ мужчинъ до гибели, ставятъ вверхъ дномъ всѣ сословныя раз-

лица, вкрадываются въ дома глупыхъ женщинъ и отнимають сердца мужей у законныхъ женъ.

Онъ увидѣлъ ее на краю террасы, надъ лоун-теннисомъ, гдѣ въ былые дни онъ такъ часто игралъ съ Кларисой. Несторіусъ ушелъ обратно въ домъ. Она стояла, устало опершись на античную вазу, и глядѣла въ ночную темноту.

Онъ не могъ сдержать своего гнѣва; то жгучее чувство, которое горѣло въ его груди, должно было найти себѣ выходъ. Молчаніе, спокойствіе были немислимы. Бываетъ безпричинный гнѣвъ, которому нужно удовлетвореніе, хотя бы съ потерей самоуваженія, самой дорогой цѣной, какую только человекъ можетъ заплатить за поблажку себѣ.

Онъ быстро подошелъ къ мѣсту, гдѣ стояла Стелла, сталъ рядомъ съ ней, но не могъ видѣть ея лица, которое было отъ него отвернуто.

— Ну, что-жъ, — началъ онъ грубѣйшимъ голосомъ, — вы хорошо изучили слабыя стороны нашего государственнаго человека, миссъ Бولدвудъ. Онъ особенно чувствителенъ къ лести, и главное къ лести со стороны женщины, и мелодрама, только-что разыгранная вами, вѣроятно его восхитила.

Она быстро повернула въ нему лицо, блѣдное какъ смерть, — какъ ему показалось при тускломъ свѣтѣ. Ея лицо казалось лицомъ призрака, и только большіе черные глаза, на которыхъ сверкали слезы, казались живыми.

— Вы подслушивали и подглядывали за нами изъ-за угла, лордъ Лашмеръ? — спросила она презрительно.

Она давно убѣдилась, что этотъ человекъ ненавидитъ и презираетъ ее, и что она обязана передъ самой собой его презирать. Въ ея характерѣ было доводить всѣ чувства до крайности. Какъ она любила своего благодѣтеля всѣмъ сердцемъ, такъ ненавидѣла всѣмъ сердцемъ его брата. Она готова была грубить ему при первомъ вызовѣ.

— Я не подслушивалъ и не подглядывалъ, но подошелъ въ окно, чтобы видѣть, кто прогуливается на террасѣ, и какъ разъ въ ту минуту, какъ вы бросились къ ногамъ нашего государственнаго человека и поцѣловали у него руку. Это было очень мило продѣлано, и я не сомнѣваюсь, что произвело желанное дѣйствіе.

— Въ самомъ дѣлѣ? Скажите, пожалуйста, какого рода дѣйствіе я желала произвести, по вашему?

— Дорогая миссъ Бولدвудъ, когда молодая лѣди бросается къ ногамъ джентльмена, то ясно, что она желаетъ привести его къ своимъ собственнымъ. А въ томъ случаѣ, когда молодая лѣди

болѣе красива, нежели богата, и имѣть дѣло съ богатымъ вдовцомъ, впечатлительнымъ, но нерѣшительнымъ, нельзя придумать лучшаго *coup de main*, какъ то, которымъ вы сейчасъ поразили нашего друга Несторіуса.

— Вы думаете, что я хочу поймать м-ра Несторіуса въ мужья?

— Что другое могу я думать послѣ того, что сейчасъ видѣлъ?

— Вы очень скоры на заключенія, лордъ Ламмеръ.

— Когда заключеніе такъ очевидно, то оно неизбѣжно. Неужели вы думаете, что я не разобралъ вашей игры въ послѣднія три недѣли? что я не замѣтилъ вашихъ уловокъ? вашихъ одинокихъ прогулокъ по парку и случайныхъ встрѣчъ съ мистромъ Несторіусомъ? вашихъ жалостныхъ признаній, слезъ по отцѣ, котораго вы потеряли такъ давно, что не можете больше жалѣть о немъ, тѣмъ болѣе, что смерть его была для васъ выгодна?

— Выгодна!—вскричала она: — ѣсть хлѣбъ зависимости въ домѣ вашей матери! Вы это называете выгодой!

— Во всякомъ случаѣ, это лучше, чѣмъ быть фабричною дѣвушкой, какою вы были бы, будь вашъ отецъ живъ.

— Будь онъ живъ! Вы навѣрное знаете, что онъ умеръ?

— Я знаю то, что всякій знаетъ, что онъ погибъ, пытаюсь спасти вашу жизнь,—отвѣчалъ Ламмеръ, забывая обо всемъ въ своемъ безумномъ гнѣвѣ: — и я знаю, что мой братъ, стоившій дюжины демагоговъ, рискнулъ жизнью, чтобы спасти ребенка, котораго никогда не видалъ въ лицо. Да! вы въ неоплатномъ долгу передъ братомъ.

— Умеръ!—пролепетала она: — вашъ братъ говорилъ мнѣ, что онъ уѣхалъ въ дальнюю страну. Я думала, когда стала старше, что онъ оставилъ Англію, гдѣ ему было слишкомъ тяжело жить; что онъ оставилъ меня пока здѣсь, рассчитывая прислать за мной, когда составитъ себѣ состояніе въ новомъ мѣстѣ. И, затѣмъ, думала, что судьба все еще противъ него, и что онъ ждетъ болѣе счастливаго времени, чтобы прислать за своимъ единственнымъ ребенкомъ, а теперь вы говорите мнѣ, что онъ убитъ въ ночь пожара!.. убитъ, стараясь спасти меня! О! какъ жестоко и безчестно было такъ обмануть меня!—страстно закончила она.

— Вашъ благодѣтель, человѣкъ, который сдѣлалъ для васъ больше отца родного, сказалъ вамъ эту неправду.

— Да, но послѣ его смерти... когда я стала старше, когда я лучше могла переносить горе, когда я вела горькую, тяжелую

жизнь и никто не трогался моими слезами... отчего тогда мнѣ не сказали правды? Ни вы, ни лэди Лашмеръ не настолько боялись огорчать меня, чтобы скрывать мое несчастье. И вы допустили меня предаваться изъ года въ годъ лживой мечтѣ!

— Это была ошибка съ нашей стороны. Но, во всякомъ случаѣ, она послужила вамъ въ пользу, такъ какъ ваша трогательная увѣренность въ томъ, что вашъ отецъ живъ, произвела сильное впечатлѣніе на мистера Несторіуса, можно сказать, вскружила ему голову.

— Мистеръ Несторіусъ былъ очень добръ ко мнѣ, и я ему глубоко благодарна; но если вы думаете, что я хитрила, чтобы привлечь его симпатію...

— Я думаю, что вы такъ хитрили, что почти достигли своей цѣли; вашъ послѣдній ходъ былъ превосходенъ, и я предвижу удовольствіе поздравить васъ съ женихомъ, прежде нежели Несторіусъ оставитъ замокъ.

— Это все, что вы имѣете мнѣ сказать, лордъ Лашмеръ?

— Да, все; если только не пора васъ поздравить.

— Благодарю васъ за доброту и уваженіе. Оно почти равно тѣмъ, съ какими вы выгнали меня изъ библіотеки семь лѣтъ тому назадъ.

— О! тогда вы были дитя и, съ сожалѣніемъ долженъ замѣтить, очень дурно воспитанное дитя. Я надѣюсь, что вы не питаете противъ меня зла за то, что я былъ съ вами въ тотъ день немножко рѣзокъ.

— Я не питаю зла. Я слишкомъ презираю васъ, чтобы питать зло за ваше поведеніе со мной, даже за жестокость, съ какою вы старались убить въ моей душѣ всякую надежду, всякую мечту, всякое стремленіе къ знанію, послѣ того, какъ смерть вашего брата опечалила мою жизнь. Я слишкомъ презираю васъ, чтобы питать зло.

— Вы презираете меня? Сильно сказано!

— Я не знаю достаточно сильнаго слова, чтобы выразить то, что я чувствую, когда сравню ваше обращеніе со мной съ обращеніемъ вашего брата.

— О! да, въ немъ есть разница, не правда ли? Но вѣдь Губертъ былъ совсѣмъ другого рода человѣкъ. Ему слѣдовало быть женщиной. Я же—мужчина.

— Я бы не хвалилась этимъ на вашемъ мѣстѣ, послѣ того какъ вы оскорбили беззащитную дѣвушку.

— Беззащитную! какъ! когда у васъ другомъ Несторіусъ, вашъ поклонникъ, вашъ будущій мужъ, если вы доиграете до

конца свою игру? Не говорите о беззащитности. Калипсо никогда не бываетъ беззащитна.

Она отвернулась отъ него и быстро направилась къ дому; онъ поспѣшно пошелъ за нею и отворилъ передъ ней дверь въ библіотеку. Поступокъ былъ вѣжливый, но напомнилъ ему тотъ день, когда, семь лѣтъ тому назадъ, онъ также раскрылъ передъ нею дверь и велѣлъ ей „уходить“.

Она тоже не забыла, и на порогѣ обернулась къ нему, сверкая глазами.

— Что же вы не велите мнѣ „уходить“, — сказала она, — какъ тогда? Но на этотъ разъ нѣтъ надобности приказывать мнѣ. Я и сама уйду.

И съ короткимъ, гнѣвнымъ смѣхомъ она оставила его.

— Вотъ чертовка! — пробормоталъ онъ. — Это въ ней, должно быть, испанская кровь говорить, да и кровь Больдвуда тоже! Прекрасная смѣсь. Да! вланусъ честью, прекрасная порода!

Онъ вернулся на террасу и ходилъ взадъ и впередъ до тѣхъ поръ, пока не прозвучалъ гонгъ. Тогда онъ побѣжалъ со всѣхъ ногъ въ уборную и переодѣлся, сбѣгавъ изъ всѣхъ силъ. А торопливо совершать свой туалетъ — было для него ненавистной вещью.

„Что, къ чорту, хотѣла сказать эта тварь, говоря, что собирается: уходить?“ — спрашивалъ онъ самого себя, завязывая галстухъ.

VII.

Никогда еще лордъ Лапмеръ не чувствовалъ себя менѣе расположеннымъ разыгрывать любезнаго хозяина, какъ въ этотъ вечеръ. Онъ былъ до такой степени не въ духѣ, что долженъ былъ дѣлать невѣроятныя усилія, чтобы быть вѣжливымъ съ гостями. Голоса ихъ рѣзали ему уши, пошлости и глупости выводили изъ себя, а болтовня мистриссъ Мольчиберъ о благодѣтельности общества изящныхъ бездѣлушекъ и о пробуждающейся въ душѣ рабочаго любви къ изящному возбуждала въ немъ желаніе придушить ее.

Одно утѣшеніе, единственное только — ждало его.

— Извѣстно ли тебѣ, что мистеръ Несторіусъ уѣхалъ? — спросила его мать за пять минутъ до обѣда.

— Нѣтъ. Развѣ онъ уѣхалъ?

— Да, онъ уѣхалъ съ часъ тому назадъ, чтобы поспѣть къ поѣзду, отходящему изъ Брумма въ 8 ч. 15 м. Онъ прислалъ

мнѣ записку, въ которой объяснялъ свой отъѣздъ государственными причинами... какими-то обстоятельствами, связанными съ выборами.

— О! онъ, вѣроятно, получилъ телеграмму. Нѣтъ, я и не подозрѣвалъ, что онъ собирается насъ покинуть.

— Я ужасно огорчена, — вздохнула лэди Кэрмино. — Онъ былъ немножко *distract* въ послѣднее время, но когда онъ захочетъ, то это самый очаровательный человѣкъ въ Европѣ.

— Сильно сказано, — замѣтилъ Лашмеръ. — Неужели вы знаете всѣхъ очаровательныхъ европейцевъ?

— Я встрѣчала типическихъ изъ нихъ, — возразила Клариса съ упрекомъ, — всѣхъ, кого приводили въ примѣръ любезности: парижанъ, вѣнцевъ, бельгийцевъ, итальянцевъ, испанцевъ; въ дипломатическихъ кружкахъ встрѣчаешь, какъ вамъ извѣстно, самое лучшее общество. Я думаю, что знаю всѣхъ людей, пользующихся репутаціей любезныхъ кавалеровъ, и ни одинъ не можетъ сравниться съ Несторіусомъ. Онъ просто чародѣй.

— Какое удачное выраженіе! — воскликнула мистриссъ Мольчиберъ. — Да, онъ именно чародѣй.

Всѣ согласились, что это выраженіе идетъ къ мистеру Несторіусу, какъ перчатка. Чарами привлекалъ онъ на свою сторону большинство, выпутывался изъ затрудненій и водилъ британскую націю за носъ. И, затѣмъ, всѣ они пошли обѣдать и веселились такъ, какъ еслибы чародѣй былъ между ними.

Лэди Кэрмино сидѣла по правую руку Лашмера и никогда еще не находила его такимъ скучнымъ собесѣдникомъ.

— Какой у васъ утомленный видъ! — замѣтила она. — Я боюсь, что осмотръ завода васъ утомилъ.

— Нисколько; заводъ восхитительный. Я завидую сознанію власти и могущества, какое вы должны ощущать, когда видите эту армію черномазыхъ лицъ. Вы должны чувствовать себя какъ Зиновія, прежде чѣмъ ее побѣдили.

— Зиновію никогда не побѣждали, — откликнулась черезъ столъ лэди Софія.

Она не могла слышать никакого классическаго имени, не цитируя календаря скаковыхъ лошадей.

— Зиновія — одна изъ прекраснѣйшихъ двухгодовалыхъ кобылъ, какія только были у лорда Зитлэнда. Онъ продалъ ее графу Лагранжу за горшокъ съ деньгами, послѣ ея ньюмаркетскихъ побѣдъ, и годъ спустя она выиграла *grand prix*.

Лэди Лашмеръ удалилась къ себѣ вскорѣ послѣ того, какъ дамы ушли изъ столовой, и было около десяти часовъ вечера, когда лордъ Лашмеръ, направлявшійся въ гостиную, услышалъ

отчаянный звонокъ въ комнатѣ милэди, и такъ испугался, что побѣжалъ къ ней, ожидая найти ее въ болѣзненномъ припадкѣ.

Но она была не больна, а въ дикой ярости и, какъ тигрица, накинулась на своего сына.

— Гдѣ Стелла?—спросила она.

— Не имѣю ни малѣйшаго понятія. Развѣ ее не нашли, что вы съ такой запальчивостью спрашиваете меня про нее?

— Ее нигдѣ не могутъ отыскать. Она должна была придти ко мнѣ читать въ половинѣ десятаго. Въ первый разъ въ жизни осмѣлилась она не исполнить мое приказаніе.

— Она стала слишкомъ важной дамой, чтобы слушаться приказаній. Можетъ быть, она уѣхала съ мистеромъ Несторіусомъ.

— Что ты хочешь сказать?

— Неужели же вы не видѣли того, что происходило на вашихъ глазахъ? Этотъ джентльменъ впечатлителенъ, а дѣвица себѣ на умѣ. Она постаралась найти себѣ богатаго мужа. Быть можетъ, она достигла цѣли, и теперь уѣхала съ нимъ. Они завтра же утромъ обвиняются въ Брумми или въ Лондонѣ.

— Несторіусъ не можетъ быть такимъ безумцемъ!

— Кто знаетъ? Онъ былъ бы не первымъ погибшимъ отъ любви. Если она ушла, то вы можете быть увѣрены, что онъ участвовалъ въ ея бѣгствѣ. Она бы не посмѣла уйти одна-одиношенька изъ замка, не зная ничего о томъ, что дѣлается за стѣнами замка, безъ друзей и безъ денегъ. Но увѣрены ли вы, что она убѣжала? можетъ быть, она только замѣшкалась у старика Вернера, слушая его стариковскую болтовню.

— Мы сейчасъ удостоверимся въ этомъ,—сказала милэди и позвонила.

Но прежде нежели на звонокъ могъ прибѣжать кто-нибудь, изъ прислуги вошла Баркеръ съ послѣдними вѣстями.

Стеллу видѣли уходившей изъ замка съ маленькимъ ковровымъ мѣшкомъ въ рукахъ; одна изъ служанокъ встрѣтила ее на черной лѣстницѣ и спросила: куда она идетъ?

— Совсѣмъ уйду,—отвѣчала Стелла.

— На время праздниковъ?

— Навсегда.

Служанка заключила, что милэди уволитъ миссъ Больдвудъ отъ должности, и не сочла нужнымъ сообщить объ этомъ фактѣ до тѣхъ поръ, пока Баркеръ не стала спрашивать про Стеллу.

— Мои служанки дуры,—сказала лэди Лашмеръ.— А въ которомъ часу встрѣтила служанка эту дѣвушку?

— Около девяти часовъ.

— Хорошо, Баркеръ.

И терпѣливая Баркеръ исчезла.

— Несторіусъ уѣхалъ въ семь часовъ, и его отвезли прямо на станцію. Онъ не участвуетъ въ побѣгѣ этой дѣвушки,—сказала милэди.

— Онъ могъ задумать его и условиться встрѣтиться съ ней въ Лондонѣ.

— Нѣтъ, Лашмеръ, Несторіусъ прежде всего джентльменъ; онъ бы не обидѣлъ эту дѣвушку даже въ мысляхъ. Онъ бы не скомпрометировалъ ее скандальнымъ увозомъ и не воспользовался бы низко своимъ пребываніемъ въ моемъ домѣ. Если тутъ кто и замѣшанъ, то другой кто-нибудь.

— Никого другого нѣтъ. Но страшно подумать объ этой дѣвушкѣ: одна, безъ друзей, въ полномъ невѣденіи свѣта и людей, безъ денегъ, не зная, гдѣ приклонить голову.

Онъ безумно сердился на Стеллу сегодня вечеромъ, не находилъ достаточно злобныхъ и горькихъ для нея словъ; считалъ ее хитрой авантюристкой самаго презрѣннаго типа, и вотъ теперь, когда она ушла, быть можетъ, навсегда, скрылась съ глазъ его, онъ думалъ объ ея безпомощномъ положеніи съ странной, нѣжной жалостью; думалъ о ней какъ мать, которая прогнѣвалась бы на свою неповорную дочь и затѣмъ представила бы себѣ ее жертвой неопытности, готовой попасть въ разставленные со всѣхъ сторонъ сѣти.

— Должно быть, мы были адски жестоки съ ней,—вскричалъ онъ,—что довели ее до побѣга.

— Не понимаю, чтѣ ты подразумѣваешь подъ словомъ жестокость. Въ послѣдніе два года, какъ она была моей чтицей и секретаремъ, она вела жизнь лэди. Она не портила себѣ нѣжныхъ ручекъ работой. У нея была своя комната и она обѣдала одна, какъ какая-нибудь благовоспитанная дѣвица. Ей нието не мѣшало продолжать свое образованіе.

— Согласенъ; но развѣ вы обращались съ нею съ добротой? Въ сущности говоря, вѣдь дочь Болдвуда тоже человѣкъ, со всѣми человѣческими инстинктами и чувствами, способная радоваться и печалиться. Быть можетъ, она злоупотребила бы нашей добротой. Но не думаете ли вы, что мы были слишкомъ недобры?

— Я не знаю, чѣмъ бы мы могли выразить нашу доброту. Я, по крайней мѣрѣ, была съ нею всегда вѣжлива.

— Вѣжливы? да, это вѣрно. Но я думаю, что есть натуры, которыя не могутъ довольствоваться одной вѣжливостью. Есть души, которыя возмущаются даже роскошью, если пользуются

ею среди страданій. Развѣ вы старались скрасить ей жизнь? Она обратилась къ книгамъ за утѣшеніемъ, а для молодого существа трудно удовлетвориться только тѣми радостями, какія могутъ дать книги. Вы не баловали ее нарядами, и развѣ хоть когда-нибудь вы подумали о томъ, что въ ея годы пріятно хорошо одѣваться. Я думаю, вѣчное черное платье опротивѣло ей хуже горькой рѣдки.

— Ты съ ума сошелъ, Лашмеръ, что читаешь мнѣ эти наставленія!

— Нѣтъ, я не съ ума сошелъ, а меня мучить совѣсть. Великій Боже! ну, если изъ-за насъ она подвергнется какой-нибудь опасности? Она столько же знаетъ свѣтъ и людей, какъ ребенокъ. Но, можетъ быть, она воспользовалась ближайшимъ пріютомъ и находится въ коттеджѣ старика Вернера. Я пойду и приведу ее сюда.

— Ты пойдемъ?

— Да; лучше я самъ пойду. Я не успокоюсь, пока не найду ее. Я былъ грубъ съ нею какъ скотина, холодно, ненавистнически грубъ. Я систематически былъ съ нею невѣжливъ; я—который зналъ, какъ любить ее мой бѣдный братъ, и ради него долженъ былъ бы быть въ ней добръ. Но она имѣла дурное вліяніе на меня; она будила во мнѣ все скверное, что есть у меня въ характерѣ. Я надѣюсь, что найду ее у Вернера.

— Надѣюсь, и вскружишь ей голову тѣмъ, что самъ пришелъ за ней. Совѣтую тебѣ послать лучше грума.

— Нѣтъ. Я хочу пройти по воздуху. Я пойду самъ.

Онъ ушелъ, будучи молодымъ человѣкомъ, привыкшимъ поступать какъ ему вздумается. И, кромѣ того, ему хотѣлось уйти отъ холоднаго вопросительнаго взгляда матери и освѣжиться на свѣжемъ воздухѣ. Никогда еще не былъ онъ такъ разстроенъ, какъ теперь бѣгствомъ этой дѣвушки. Она была для него нисколько не интересна, сама по себѣ, — повторялъ онъ. — Его мучила только совѣсть. Онъ допустилъ предубѣжденію, антипатіи зайти слишкомъ далеко. Онъ видѣлъ, что она страдаетъ отъ ледяной тиранніи матери, и не вступился за нее: онъ—счастливый, богатый и молодой—ничѣмъ не помогъ беззащитной и угнетенной молодости. А сегодня зашелъ еще дальше и неопозволительно оскорбилъ беззащитную дѣвушку. Онъ былъ грубъ, дерзокъ, велъ себя и говорилъ недостойно джентльмена. Какое ему дѣло, если она подцѣпила себѣ богатаго мужа, стремилась найти семейный очагъ и положеніе въ свѣтѣ, какихъ у нея не было? Съ какой стати онъ разозлился на нее за это?

Если онъ найдетъ ее у стараго гувернера своего брата, то извинится за свое непростительное поведеніе и пообѣщаетъ ей на будущее время болѣе мягкое обращеніе и болѣе счастливую обстановку; онъ обяжется словомъ, что ея жизнь огненный будетъ веселѣе.

Лампа горѣла въ приѣмной стараго буквѣда, но онъ былъ одинъ съ Аристотелемъ и остальными учеными покойниками. Онъ ничего не слышалъ про бѣгство Стеллы, и пришелъ въ страшное разстройство, узнавъ о немъ. Нѣтъ, она никогда не жаловалась ему, но онъ зналъ, что она несчастлива, никогда не была счастлива въ замкѣ со времени смерти своего благодѣтеля.

— Милэди—превосходная женщина, — сказалъ онъ, какъ бы извиняясь, — но она никогда не понимала Стеллу. Дѣвушка эта—совсѣмъ выходящая изъ ряда вонъ. Это талантъ, оригинальный талантъ, лордъ Лашмеръ; единственный человѣкъ, который оцѣнилъ ее по достоинству, кромѣ меня—это мистеръ Несторіусъ.

— Мистеръ Несторіусъ влюбленъ въ нее, — сказалъ Лашмеръ рѣзко. — Вотъ чѣмъ объясняется его оцѣнка.

— Можетъ быть, — отвѣчалъ ученый задумчиво. — Онъ, во всякомъ случаѣ, сильно ею заинтересованъ. Онъ находилъ большое удовольствіе въ ея обществѣ, не могъ достаточно наслушаться ея. Можетъ быть, онъ ради нея приходилъ ко мнѣ такъ часто.

— Разумѣется. Говорю вамъ, Вернеръ, что онъ по уши влюбленъ въ нее.

— Онъ по годамъ годится ей въ отцы.

— Что-жъ такое? Человѣкъ его темперамента никогда не старится настолько, чтобы быть не въ состояніи влюбиться. Чтѣ намъ теперь дѣлать, Вернеръ? какъ разыскать эту дѣвушку?

Онъ могъ бы съ такимъ же успѣхомъ обратиться къ тѣни Аристотеля. Старика страшно огорчило бѣгство его любимицы, но онъ не могъ ничего присоветовать.

— Я бы готовъ босикомъ идти въ Лондонъ, еслибы только это могло къ чему-нибудь привести, — пробормоталъ онъ. — Но это ни къ чему не приведетъ. Намъ нуженъ хорошій совѣтъ. Я телеграфирую Несторіусу завтра утромъ. Если онъ не участвовалъ въ ея бѣгствѣ, онъ поможетъ намъ найти ее.

VIII.

Она ушла, она отрясла прахъ негостепріимнаго дома отъ ногъ и ушла въ еще болѣе негостепріимный міръ, безъ денегъ, хотя бы столько, чтобы купить кусокъ хлѣба. Она оставила домъ, ставшій для нея нестерпимымъ послѣ сцены на террасѣ. Грубые слова Лапмера жалили ее точно скорпіоны. Она не была настолько опытна и хитра, чтобы понять, что такой безразсудный гнѣвъ со стороны мужчины—величайшая дань, какую только онъ можетъ уплатить женщинѣ,—дань страстной, безумной ревности, говорящей о такой же страстной любви. Она чувствовала только его презрѣніе, его несправедливость, и ея преобладающей мыслью было уйти отъ него навсегда, никогда больше не видѣть этого смуглаго повелительнаго лица.

Какое то было лицо! Она представляла себѣ Ахиллеса съ такими точно глазами, такимъ смуглымъ широкимъ лбомъ, презрительными губами и раздувающимися отъ ярости ноздрями—настоящее воплощеніе гнѣва; а Ахиллесъ, хотя она и считала его человѣкомъ безразсуднымъ, былъ ея идеальнымъ героемъ. Гекторъ, со всѣми его добродѣтелями, никогда такъ глубоко не трогалъ ее. Въ то время, какъ Лапмеръ бесѣдовалъ съ Вернеромъ, бѣглянка была далеко по дорогѣ въ Брумъ, неся свой маленькій мѣшокъ съ одной перемѣной бѣлья и полудюжиной любимыхъ книгъ: Гомера, Виргилія и Шекспира. Книги дѣлали мѣшокъ довольно тяжелымъ бременемъ для такого далекаго разстоянія. Она перевлаживала его изъ руки въ руку и по временамъ почти стонала отъ его тяжести. Она шла въ Брумъ, сама не зная, что она тамъ будетъ дѣлать. Но Брумъ былъ городомъ, гдѣ жилъ и умеръ ея отецъ. Его тамъ знали и любили въ низшихъ классахъ. Быть можетъ, въ такомъ большомъ городѣ она найдетъ кого-нибудь, кто помнилъ демагога, и ради него будетъ добръ къ его дочери. Губертъ говорилъ ей, что отецъ ея былъ великимъ ораторомъ, и еслибы не его крайнія мнѣнія, то могъ бы быть великимъ политикомъ.

Ей не приходило въ голову, что за ней кто-нибудь погонится изъ замка. Она считала себя слишкомъ ничтожной и, вслѣдствіе этого самаго, вполне безопасной. Никому не было до нея дѣла послѣ смерти лорда Лапмера. Она была полезна милэди, какъ читальная машина, вотъ и все.

Она оставила замокъ въ порывѣ гнѣва, безъ всякихъ плановъ о будущемъ, безъ всякой мысли о томъ, что она будетъ

дѣлать, когда очутится внѣ его стѣнъ; она бѣжала, какъ плѣнный орелъ, безъ мысли и безъ думы; но во время длинной и утомительной дороги въ Брумъ, подъ темнымъ октябрьскимъ небомъ и одна-одинешенька, она успѣла обсудить свое положеніе.

Оно было невеселое. У нея никого не было въ мірѣ, къ кому бы она могла обратиться, кромѣ мистера Несторіуса, а къ нему она ни за что не хотѣла обращаться. Онъ просилъ ее быть его женой, готовъ былъ посвятить ей жизнь, но она отвергла его; она не могла послѣ того обращаться къ нему за помощью. Ея добрый старый другъ Вернеръ былъ также безпомощенъ какъ ребенокъ; она не могла обременять его собой и ни за что не согласилась бы поселиться у него подъ сѣнью лашмерскаго замка. Ея сильнѣйшимъ желаніемъ было уйти совсѣмъ отъ прежней жизни съ ея воспоминаніями, скрыться, затеряться въ толпѣ, если можно.

Ея главная надежда въ будущемъ была на свое перо. Если Несторіусъ не былъ введенъ въ заблужденіе своей къ ней симпатіей, то она написала книгу, которая, рано или поздно, должна была доставить ей славу и деньги. Она чувствовала въ себѣ способность написать много такихъ книгъ—написать на разные сюжеты. Перо было ея другомъ и повѣреннымъ въ послѣднія семь лѣтъ. Ей было такъ же естественно писать, какъ дышать.

Увѣренная поэтому, что рано или поздно будетъ зарабатывать тѣ небольшія деньги, о которыхъ она мечтала съ Бетси Баркеръ, она считала, что ей стоитъ только пережить трудности настоящаго времени, заработать или выпросить кровъ и кусокъ хлѣба. Лашмеръ говорилъ ей, что еслибы не милосердіе его матери, то она была бы, по всей вѣроятности, фабричной дѣвушкой. Но даже и эта мысль ее не пугала. Она готова была работать на фабрикѣ, если только ее возьмутъ въ работницы. А вечера будетъ посвящать литературнымъ занятіямъ. Жизнь будетъ тяжелая, но не безрадостнѣе, чѣмъ въ лашмерскомъ замкѣ.

Но вотъ душистый деревенскій воздухъ, запахъ дикихъ цвѣтовъ смѣшался съ запахомъ дыма и копоти. Огни Брумъ замелькали желтымъ пламенемъ на голубомъ фонѣ ночного неба—городъ былъ неподалеку. Некрасивыя окраины большого города, незастроенные пустыри, пространства, заваленныя разнымъ мусоромъ, поля, переставшія быть полями и еще не превратившіяся въ улицы, затѣмъ жалкія предмѣстья съ узкими, грязными переулками, отмѣченныя печатью бѣдности и безысходнаго труда, драныя лавчонки, ярко освѣщенные трактиры, фабрики, громадныя и черныя, съ воротами, запертыми на ночь, и погашенными огнями,

группы мужчинъ и женщинъ, утомленныхъ послѣ рабочаго дня— все это поразило Стеллу.

Видъ былъ невеселый для глазъ, привыкшихъ къ деревнѣ и отдыхавшихъ на поляхъ, лѣсахъ и рѣкѣ. Здѣсь текла та же рѣка, но грязная, подъ стариннымъ закоптѣлымъ мостомъ, чрезъ который Стеллѣ пришлось перейти, прежде нежели попасть въ центръ города. Какая гадкая была та самая рѣка, которую она такъ любила за десять верстъ отсюда! Неужели десять верстъ могли произвести такую разницу?

Ей было всего четыре года, когда случился пожаръ, однако какой-то инстинктъ подсказалъ ей, въ какомъ направленіи стояло то громадное зданіе, — изъ окна его, которое, какъ ей тогда казалось, находилось подъ самымъ небомъ, она глядѣла на солнце и на звѣзды. Она любила глядѣть изъ окна въ долгіе, одинокіе дни. Это было ея единственной радостью, когда отецъ отсутствовалъ.

Она смутно помнила мѣстность, гдѣ протекло ея младенчество. Она помнила видъ, открывавшійся изъ окна подъ небомъ. Она знала, что большой домъ, походившій на казарму, находился на той же сторонѣ города, какъ и кладбище, которое было видно изъ ея окна, съ его бѣлыми могильными плитами, погребальными урнами и рыдающими фигурами изъ бѣлаго мрамора—привидѣніями, какъ ей казалось въ сумеркахъ. Ее иногда пугали эти бѣлые призраки, и она отходила отъ окна съ дрожью.

Поэтому она направилась къ кладбищу. Былъ уже двѣнадцатый часъ, и большинство лавокъ уже заперто; но на углу небольшого переулка она нашла одну лавку открытой и свѣтъ лился изъ нея на улицу. Она робко заглянула въ нее и увидѣла двухъ женщинъ: одну пожилую и толстую, другую худую и того неопредѣленнаго вида, когда женщинѣ можно дать отъ двадцати-восьми до тридцати-восьми лѣтъ. Лавка была скромнѣйшаго разбора, извѣстная подъ названіемъ мелочной, гдѣ почти все можно достать, что нужно для бѣдняковъ, за исключеніемъ развѣ только мяса.

Стелла поглядѣла на худую дочь и на толстую мать и обратилась съ вопросомъ къ послѣдней.

— Здѣсь былъ когда-то большой жилой домъ около кладбища, для рабочихъ людей. Онъ сгорѣлъ много лѣтъ тому назадъ. Что, его отстроили послѣ пожара?

— Конечно, отстроили, — отвѣчала рѣзко младшая женщина. — Еслибы вы прошли еще сажень двадцать, то увидѣли бы его передъ собой. Его отстроили заново и вдвое больше прежняго.

— А что, эта лавка существовала до пожара? — спросила Стелла.

— Да, двадцать лѣтъ до пожара, — отвѣтила мать. — Моя дочь родилась въ этой лавкѣ. Я прожила въ ней почти сорокъ лѣтъ. Домъ былъ новый, когда мой мужъ поселился въ немъ, и съ тѣхъ поръ мы въ немъ торгуемъ.

— Если вы такъ долго живете здѣсь, то, можетъ быть, помните человѣка, котораго звали Больдвудъ, — проговорила Стелла дрожащимъ голосомъ.

Впервые ей приходилось произносить это имя передъ посторонними. И ей это казалось почти святотатствомъ, но она чувствовала, что единственный шансъ ея найти друзей въ этомъ большомъ, страшномъ городѣ было только имя ея отца.

— Больдвудъ — Джонатанъ Больдвудъ! да! еще бы не помнить, чортъ бы его побралъ! Мужъ былъ безъ памяти отъ этого человѣка, и бѣгалъ на всѣ митинги за нимъ, и возвращался домой съ головой, набитой всякою чепухой. Я ненавижу вашихъ радикаловъ, вѣчно все ниспровергающихъ и ничего не устраивающихъ. Радикалы отвадили всю сельскую джентри отъ Брумма, и теперь не видишь половины каретъ противъ того, какъ было, когда я была молода. Радикалы сочинили артельные магазины и разорили мелкихъ торговцевъ. Радикалы принудили англійское дворянство тратить деньги за границей, потому что дома имъ не оказываютъ достаточно почтенія.

— Это что еще за политика? никогда не слыхивалъ, чтобы старуха толковала про политику, когда столько же въ ней смысловъ, сколько младенцевъ, — произнесъ добродушный голосъ за стѣной, и въ лавочку вошелъ изъ задней комнаты добродушнаго вида круглолицый человѣкъ, безъ сюртука, въ чистой рубашкѣ и холщевомъ фартукѣ.

— Что это мать твоя завела такую канитель на ночь? — спросилъ онъ дочь.

— Вотъ молодая особа спрашиваетъ про Джонатана Больдвуда.

— Вотъ какъ! Что вамъ такое Джонатанъ Больдвудъ, милая дѣвушка?

— Онъ былъ мой отецъ.

— Вашъ отецъ! Какъ! вы дитя Больдвуда, которое онъ хотѣлъ вынести изъ горѣвшаго дома, за что и поплатился, бѣднота, жизнью?

— Да, — зарыдала Стелла.

— А затѣмъ горбунъ-лордъ спасъ васъ и отвезъ въ лаш-

мерскій замокъ и усыновилъ. Я помню, что въ то время не было конца разговорамъ объ этомъ.

— Да; но онъ умеръ много лѣтъ тому назадъ, и съ тѣхъ поръ я была очень несчастна, находясь въ зависимости отъ аристократовъ.

— Ахъ! вотъ заговорила кровь Больдвуда. Онъ не терпѣлъ зависимости. Онъ былъ свободный и благородный умъ. Боже благослови его! Говорятъ, что только паписты молятся за умершихъ. Я не папистъ и не хожу въ церковь, но всегда скажу: гдѣ бы ни былъ теперь Больдвудъ, Боже благослови его! Итакъ, вамъ опротивѣлъ богатый домъ, милая дѣвушка, и вы пришли повидаться съ старинными друзьями вашего отца въ Брумми.

— У него были здѣсь друзья, много друзей?

— Да, много друзей; не было ни одного рабочаго въ Брумми, который бы не звалъ его другомъ; но эти друзья не могли бы ему оказать большой помощи; большинство изъ нихъ было бѣднѣе его самого. Онъ былъ, къ тому же, и гордъ, и не принялъ бы милости ни отъ кого изъ насъ. Мы всѣ знали, что онъ былъ природный джентльменъ. Дайте-ка взглянуть на себя, милая дѣвушка!—и онъ зорко оглядѣлъ ее при свѣтѣ неприкрытаго стекломъ газоваго рожка:—Нѣтъ, вы на него не похожи; такъ развѣ что-то фамиліное есть, но сходства настоящаго нѣтъ. Бѣдный Больдвудъ! да, онъ былъ великимъ ораторомъ. Еслибы онъ остался живъ, мы бы провели его въ парламентъ. Ужъ онъ бы удивилъ господъ, которые занимаются пустомельствомъ на этой мельницѣ. А что же вы дѣлаете въ Брумми, въ такой поздній часъ, милая дѣвушка?

— Я пришла искать работы.

— Какого рода работы?

— Всякой, какая только дастъ мнѣ хлѣбъ и кровь до того времени, какъ я принцу себѣ подходящія занятія.

— А какого они рода?

— Литературныя. Я хочу быть писательницей.

Она отвѣчала этому незнакому лавочнику такъ же откровенно, какъ старинному другу. Человѣкъ этотъ зналъ и уважалъ ея отца, и въ его прямомъ, безхитростномъ дружелюбіи было что-то такое, что внушало ей довѣріе. Быть можетъ, во всемъ этомъ огромномъ городѣ она переступила какъ разъ за тотъ порогъ, гдѣ было всего безопаснѣе. Дочь лавочника глядѣла на нее нѣсколько сурово и подозрительно, но у жены былъ добрый, материнскій видъ, обѣщавшій помощь и опору.

— Писательницей! Эге, Больдвудъ тоже былъ писатель. Онъ

писалъ письма въ „Independent“. Такія письма! Ими онъ бичевалъ консерваторовъ, какъ копейками. Итакъ, вы можете писать, милая дѣвушка. Романы, должно быть, и все такое?

— Да; я написала романъ, но, пока мнѣ можно будетъ зарабатывать хлѣбъ перомъ, я хочу найти работу на фабрикѣ.

— Ахъ, милая дѣвушка, по наружности судя, фабричная работа не по васъ. Вы кажетесь такой слабенькой, что васъ можно пальцемъ сбить съ ногъ. Вы слишкомъ похожи на леди. Вамъ бы лучше оставаться въ лашмерскомъ замкѣ, нежели идти на фабрику.

— Я не могла оставаться тамъ.

— Они, быть можетъ, прогнали васъ?

— Нѣтъ, но мнѣ стало нестерпимо жить у нихъ. Пожалуйста, не разспрашивайте меня; я ничего не сдѣлала худого, если только уйти изъ мѣста, гдѣ чувствуешь себя несчастнымъ, не значить поступить худо.

— Ну, признайтесь, милая дѣвушка: они обижали васъ, били, морили голодомъ?

— Нѣтъ, но дурно обращались со мной. Я терпѣливо выносила это много лѣтъ сряду; переносила отсутствіе всякой любви и симпатіи, но пришло, наконецъ, время, когда я рѣшила, что долѣе терпѣть мнѣ не подъ силу; лучше ѣсть хлѣбъ съ водой на чердакѣ, нежели вкусныя кушанья въ большомъ домѣ, гдѣ меня никто не любитъ. Я никого не знаю въ этомъ большомъ городѣ и буду въ немъ совсѣмъ одна, но буду зарабатывать свой хлѣбъ и буду независима; я перестану пользоваться милостыней.

— Я вижу, что у васъ гордый духъ. Ну, чтожъ, можно найти фабричную работу полегче, хотя вся она трудная. Я погляжу, не найду ли вамъ завтра работу. Это не будетъ очень трудно, потому что нѣтъ ни единого радикала въ Брумми, который бы оттолкнулъ дочь Больдвуда.

— Я буду вамъ очень благодарна,—сказала Стелла, и, повернувшись къ его женѣ, прибавила: — еслибы вы были такъ добры и сказали мнѣ, гдѣ я могу найти приличную квартиру. Она не должна быть дорога, такъ какъ у меня нѣтъ денегъ, кромѣ тѣхъ, которыя я заработаю.

— Квартиру! развѣ у васъ нѣтъ квартиры въ Брумми?

— Нѣтъ; я только сегодня вечеромъ оставила лашмерскій замокъ. Я пришла сюда пѣшкомъ. У меня нѣтъ денегъ, и если мнѣ не окажутъ довѣрія, то я должна буду всю ночь бродить по улицамъ.

— Или же идти въ ночлежный домъ. Я не допущу ни того,

ни другого для дочери Джонатана Больдвуда, — сказалъ лавочникъ. — Слушай-ка, мать, вѣдь комната Билля свободна. Отведи эту молодую особу въ комнату Билля. Для нея слишкомъ поздно искать квартиру теперь вечеромъ. Успѣемъ подумать объ этомъ завтра утромъ.

— Вы очень добры! — пролепетала Стелла.

Она до этой минуты все время стояла, переминаясь на ногахъ, которыя болѣли послѣ долгой ходьбы; руки ея ныли отъ тяжести маленькаго ковроваго мѣшка. Въ лавочкѣ былъ стулъ, и теперь она рѣшилась на него сѣсть, чувствуя, что она дѣйствительно среди друзей.

Чапманъ, ея новый покровитель, заперъ дверь лавочки и заложилъ ее засовомъ. То была совсѣмъ крошечная мелочная лавочка, заваленная разнымъ товаромъ: въ ней пахло сыромъ, свинымъ саломъ, селедками и даже лукомъ, связка котораго висѣла въ углу въ дружескомъ сосѣдствѣ съ сырмъ мыломъ. Банки съ пикюлями, дешевое варенье и всякіе консервы въ жестянкахъ съ блестящими этикетками наполняли полки. Все вокругъ говорило о бойкой торговлѣ, малыхъ барышахъ и частомъ оборотѣ капитала.

Но въ этому времени дочь, старая дѣвица, приняла дружескій видъ.

— Пойдемте въ пріемную и отдохните, — сказала она. — Мы уже поужинали, но, можетъ быть, вы скушаете кусокъ хлѣба съ сыромъ.

— Само собой разумѣется, — отвѣчалъ Чапманъ за Стеллу: — развѣ вы не видите, какъ она блѣдна и утомлена, бѣдное дитя; совсѣмъ изъ силъ выбилась. Принеси хлѣбъ, Полли, и также пикюлей и пива.

— Не надо пива, благодарю васъ; кусочка хлѣба съ сыромъ будетъ достаточно.

Маленькая пріемная содержалась чисто. Въ ней стояли гераніумы на окошкѣ, а надъ нимъ висѣла клѣтка съ птицей. Комната показалась Стеллѣ бѣдной, послѣ великолѣпныхъ апартаментовъ лашмерскаго замка, но она была уютнѣе, и Чапманы нравились ей больше, чѣмъ горничныя и подгорничныя, съ которыми она проводила тягостный періодъ своей жизни.

Сердце Полли смягчилось въ то время, какъ она глядѣла на Стеллу, блѣдную, слабую и безпомощную, совсѣмъ непохожую на здоровыхъ молодыхъ женщинъ и жирныхъ матроновъ, покровительствовавшихъ лавкѣ мистера Чапмана. Она походила на блѣдный, чахлый цвѣточекъ, выросшій въ нѣдрахъ лѣса, вдали отъ

солнечныхъ лучей. Полли была рьяной читательницей легкой литературы, и уже успѣла придумать романтическую исторію для дочери Больдвуда, появившейся между ними такъ внезапно и таинственно. Имя и исторія Джонатана Больдвуда не были незнакомы миссъ Чапманъ. Она ходила съ отцомъ слушать демагога на митинги подъ открытымъ небомъ, когда была молодой дѣвушкой. Ее трогалъ восторгъ толпы, и она чувствовала, что этотъ сильный, энергическаго вида человѣкъ, съ густымъ, громкимъ голосомъ, былъ въ нѣкоторомъ родѣ герой, и восхищалась имъ, сама не зная почему. И теперь она съ интересомъ глядѣла на дѣвушку съ большими черными глазами и маленькимъ блѣднымъ личикомъ, которое въ своемъ родѣ было привлекательнѣе простой, чувственной красоты. Она усѣлась на небольшой диванчикъ, обитый волосной матеріей, около Стеллы, и ближе придвинулась къ ней въ то время, какъ мистриссъ Чапманъ хлопотливо бѣгала между столомъ и буфетомъ, гдѣ хранилась провизія.

— Въ лашмерскомъ замкѣ, должно быть, очень весело жить, — сказала она, пожирая Стеллу острыми, любопытными глазками. — Я видѣла разъ замокъ снаружи и его сады со статуями и фонтанами, когда мы катались цѣлой компаніей въ брикѣ и пили чай въ деревенскомъ трактирѣ. Какой чудный, старинный домъ! Мнѣ кажется, что я бы никогда не убѣжала изъ такого дома.

— Не думаю, чтобы вы были счастливы въ домѣ, гдѣ никому до васъ не было бы дѣла.

— Ахъ! но будто бы ужъ никому не было до васъ дѣла... Можетъ быть, кто-нибудь и очень интересовался вами... кто-нибудь выше васъ по положенію... какой-нибудь лордъ, котораго бы вы могли полюбить отъ души, да не смѣли.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, — отвѣчала Стелла, гордо выпрямляясь и начиная думать, что миссъ Чапманъ хуже даже, чѣмъ горничныя. — Единственное лицо, которое я любила въ этомъ домѣ — это покойный лордъ Лашмеръ, который умеръ, когда я была ребенкомъ.

— Ахъ! онъ былъ добрѣ съ вами? Я слышала эту исторію много разъ... Настоящій романъ, но только сильнѣе дѣйствуетъ, потому что взятъ изъ жизни. Но теперешній лордъ Лашмеръ? Развѣ онъ не былъ добрѣ съ вами? Какой красавецъ мужчина! Я видѣла его, когда онъ проѣзжалъ въ шарабанѣ по Брумму и самъ правилъ. Ахъ, какой красавецъ! настоящій лордъ! Онъ развѣ не такъ добрѣ, какъ его братъ?

— Онъ совершенная противоположность брату во всѣхъ отношеніяхъ. Пожалуйста, не говорите со мной о немъ.

— Не приставай къ ней, Полли!—замѣтила мать, отрѣзывая ломоть хлѣба и намазывая его масломъ. — Развѣ ты не видишь, какъ она устала, бѣдняжка, ей не до разспросовъ. Ну, моя душа, поужинайте, а я пока пойду и приготовлю вамъ комнату. Она чиста,—за это, по крайней мѣрѣ, отвѣчаю.

Маленькая спальня подъ чердакомъ, бывшая комната сына, который въ настоящее время отсутствовалъ, участвуя въ какомъ-то крупномъ инженерномъ предпріятіи на Средиземномъ морѣ, была настолько чиста, насколько этого можно было достичь посредствомъ мыла и воды. Стелла легла на узкую постель, утомленная до послѣдней степени, и почувствовала себя точно на колѣняхъ у матери, безпомощной и равнодушной почти ко всему на свѣтѣ, кромѣ сладкаго чувства отдохновенія, не заботясь о завтрашнемъ днѣ и предоставляя себя въ руки Провидѣнія, которое было такъ милостиво къ ней нынѣшнимъ вечеромъ. Комната была очень мала: Стеллѣ она казалась ящикомъ, стѣны котораго были такъ близко отъ нея, что она могла дотрогиваться до нихъ руками; но это былъ гостепріимный кровъ, и она слишкомъ устала, чтобы дивиться, что попала въ такое странное мѣсто.

Она крѣпко проспала до семи часовъ утра, когда ее разбудило движеніе въ домѣ. Она встала, одѣлась и сошла съ лѣстницы, гдѣ нашла всю семью Чапмановъ за завтракомъ въ маленькой чистенькой кухнѣ, съ оштукатуренными стѣнами и множествомъ дешевой посуды на полкахъ. Стеллу пригласили сѣсть за столъ и представили семейному вѣту, важной особѣ въ домѣ, милостиво отнесшейся къ новой жилищѣ.

— Кошки знаютъ, кто имъ другъ,—замѣтилъ добродушный Чапманъ.—Я видѣлъ, какъ эта кошка щетинилась при видѣ постороннихъ и шипѣла на нихъ точно змѣя. Такъ вѣдь, Томъ?

Томъ потерялся объ ноги своего хозяина, какъ бы признаваясь въ своей особенностяхъ. Онъ былъ черенъ, великъ и тонокъ и въ бѣлыхъ чулкахъ изумительной чистоты, если принять во вниманіе, что онъ всю жизнь проводилъ подъ рѣшеткой очага.

— Знаете ли, миссъ Бولدвудъ, — началъ лавочникъ добродушнымъ тономъ, — что мы съ женой и Полли только-что говорили про васъ, и рѣшили, что вамъ незачѣмъ мучить себя фабричною работою. Эта работа не по васъ и вы для нея не годитесь. Ну, чтѣ бы такое вы могли дѣлать? стальные перья? булавки? или сѣрные спички? Ну, представить только, что эти

хорошенькіе пальчики будутъ дѣлать сѣрныя спички! Вамъ никогда не угнаться за дѣвушками Брумма, которыя всю жизнь только это и дѣлали. Вы бы увидѣли, что вы работаете хуже всѣхъ, и это бы васъ унижало и обезкураживало.

— Я должна это перенести, — съ твердостью произнесла Стелла. — Я должна чѣмъ-нибудь зарабатывать хлѣбъ.

— Чѣмъ-нибудь, но не этимъ. Васъ ничто не обязываетъ зарабатывать хлѣбъ на фабрикѣ. Если вы умѣете писать хорошенькія повѣсти и можете составить себѣ имя, какъ писательница, то почему не займетесь вы этимъ сразу?

Стелла вздохнула и покачала головой.

— Я столько читала о трудности составить себѣ литературное имя. Нѣтъ никакой почти возможности заработать что-либо въ этой профессіи сразу. Приходится годы потратить на различныя попытки, за которыми неизбѣжно слѣдуетъ разочарованіе. А у меня нѣтъ никого, кто бы помогъ мнѣ. Я должна зарабатывать хлѣбъ и въ то же время писать, съ надеждой получить за это вознагражденіе впоследствии.

— Ахъ, но вы не можете писать и работать въ то же время на фабрикѣ, — сказалъ Чапманъ, — выкиньте эту фантазію изъ головы. Это невозможно. Фабрика съѣстъ васъ безъ остатка. Вамъ не будетъ времени писать повѣсти. Вотъ еслибы вамъ достать переписку, это другое дѣло.

У людей, вообще, существуетъ весьма распространенное мнѣніе, что можно всегда заработать деньги перепиской или переводами. Люди воображаютъ, что всегда можно найти, что переписывать или переводить. Никто не спрашиваетъ себя, откуда возьмутся эти потоки французскихъ романовъ или юридическихъ документовъ, и куда они дѣнутся; но преобладаетъ мысль, что женщина, умѣющая передѣлывать французскія фразы въ англійскія, или переписывать рукопись четкимъ, красивымъ почеркомъ, всегда найдетъ барское занятіе.

— Да, я могла бы переписывать или переводить, — отвѣчала Стелла. — Я знаю два или три языка: французскій, нѣмецкій, итальянскій, латинскій и греческій!

— Господи помилуй!

— Одинъ языкъ помогаетъ узнать другой тому, кто любитъ заниматься языками, — скромно отвѣчала Стелла. — Лордъ Лашмеръ училъ меня сначала, а затѣмъ, когда онъ умеръ, я сама училась. Книжки были моими единственными друзьями.

— Да вѣдь вы можете найти цѣлое состояніе.

— И вы писали романы?—спросила Полли, глубоко заинтересованная, — настоящіе романы?

— Не такіе длинные, какъ обыкновенные романы: повѣсти, которыя займутъ не болѣе одного тома обыкновенныхъ романовъ. Онѣ, думается мнѣ, плохи, но я была счастлива, когда писала ихъ. Онѣ отвлекали меня отъ моей собственной жизни.

— Да, я понимаю это,—сказала Полли:—онѣ уносили васъ въ иной міръ, гдѣ все было прекрасно. Я часто испытывала это, когда читала, сидя здѣсь, въ этой маленькой кухнѣ. Я воображала себя въ прекрасной гостиной съ портъерами изъ бархата и кружевъ и толпой лэди, оставившихъ, проходя, благоухающій слѣдъ въ воздухѣ, а по близости журчалъ фонтанъ въ теплицѣ, гдѣ стояли пальмы. Я такъ люблю пальмы! Я никогда ихъ не видала, но самое слово мнѣ нравится. А когда, затѣмъ, я оглянусь и увижу нашу кухню и часы съ кукушкой, и жаровню съ углями, мнѣ все покажется такимъ простымъ и обыкновеннымъ, и я точно проснусь отъ очаровательнаго сна.

— Да, и вотъ почему ты пренебрегаешь домашней работой и заставляешь покупателей ждать въ лавкѣ, пока имъ не надобѣтъ, — замѣтила практическая мистриссъ Чапманъ.—Я считаю, что чтеніе романовъ приноситъ величайшій вредъ молодымъ женщинамъ.

— На все есть свое время; и романы не повредятъ, если ихъ читать въ свободные часы, — перебилъ болѣе либеральный супругъ.—Вечеромъ, напримѣръ, когда дневная работа окончена, мнѣ пріятнѣе видѣть, чтобы дочь утонула носъ въ книгу, чѣмъ точила язычокъ насчетъ сосѣдей или толковала о вещахъ, которыхъ ей не слѣдуетъ знать, не только-что говорить про нихъ. Въ наше время читать романъ полезнѣе для приличной молодой особы, чѣмъ газету.

— Вы захватили съ собой ваши повѣсти?—спросила Полли. Стелла покраснѣла при этомъ вопросѣ.

— Да, я уложила всѣ свои рукописи въ этотъ маленькій кодовый мѣшечекъ.

— Позвольте мнѣ прочесть которую-нибудь изъ нихъ. Я, конечно, не судья, но читала много романовъ, которые беру изъ библіотеки, — попросила Полли.

— Если вамъ угодно...

— Вы доставите мнѣ величайшее удовольствіе; и знаете ли, папа, какъ вы думаете, не можетъ ли Джимъ Барсби оказать содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ миссъ Больдвудъ? Онъ умный

молодой человек и о немъ очень высокаго мнѣнія въ его конторѣ.

Джимъ Барсби былъ поклонникъ Полли, хотя еще не возведенный на степень жениха, но получившій разрѣшеніе иногда прогуливаться съ нею, въ качествѣ достойнаго молодого человека, который зналъ свое мѣсто и заслуживалъ довѣрія; принимая во вниманіе, что онъ былъ на семь лѣтъ ея моложе, это довѣріе было вполне заслуженное.

Джимъ былъ корректоръ и факторъ въ конторѣ „Independent“, и считался литературнымъ человекомъ Чапманами и ихъ кружкомъ.

Полли казалось, что вліяніе Джима могло облегчить путь каждому начинающему литератору.

— Дайте мнѣ прочесть одну изъ вашихъ повѣстей,—просила Полли.

— Знаете, что я вамъ скажу, миссъ Больдвудъ, поживите съ нами недѣлку или двѣ, — сказалъ честный Чапманъ. — Дочь Джонатана Больдвуда не будетъ нуждаться въ кровѣ, пока у меня есть свой домъ. Мы простые люди, жена моя и я, но Полли образовала себя немножко, и она будетъ вамъ компаніей. Поживите съ нами столько, сколько хотите, душа моя.

Мистриссъ Чапманъ тоже, съ своей стороны, повторила приглашеніе, а Полли схватила рукой шею Стеллы и поцѣловала ее.

— Мнѣ рѣдко кто нравится, а вы мнѣ понравились,—сказала она,—и я думаю, что это потому, что вы умны. Я обожаю умныхъ людей.

Глаза Стеллы наполнились слезами.

— Вы все такъ добры ко мнѣ, — пролепетала она, — и я тѣмъ болѣе цѣню вашу доброту, что она оказывается мнѣ въ память моего отца... моего дорогаго отца, лицо котораго я едва помню. До вчерашняго дня я все надѣялась и мечтала, что увижу его, что онъ придетъ освободить меня изъ-за моря, а вчера мнѣ сказали, что онъ умеръ, пытаюсь спасти меня.

Она зарыдала и долго не могла успокоиться, несмотря на ласки Полли.

— Да, я останусь съ вами, добрейшіе друзья,—сказала она, наконецъ: — съ вами я буду счастливѣе и спокойнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было.

Спокойнѣе, да! Спокойствія жаждала она всего болѣе. Въ замкѣ она не была спокойна. Тамъ въ ней вѣчно кипѣло возмущеніе противъ неволи, въ которой она пребывала, чувство оскорбленной гордости, какъ у какой-нибудь принцессы коро-

левской крови. И никогда она такъ сильно не страдала отъ этого чувства жгучаго стыда, какъ въ то время, какъ Викторіанъ находился въ замкѣ. Его присутствіе подъ одной съ нею кровлей бунтовало ей всю душу.

Такимъ образомъ закрѣплено было дружеское знакомство между дочерью демагога и честнымъ и мягкимъ радикаломъ, мистеромъ Чапманомъ. Стелла заняла комнатку подъ чердакомъ на неопредѣленное время и получила разрѣшеніе брать столько пузырьковъ съ чернилами изъ лавки, сколько ей понадобится, и столько же стальныхъ перьевъ, которые мистеръ Чапманъ покупалъ за семь пенсовъ двѣнадцать дюжины и продавалъ четыре штуки за пенни. Она была свободна отъ бремени мелочныхъ житейскихъ заботъ, и могла писать сколько душѣ угодно, наполняя комнату присутствіемъ духовъ, такихъ же гигантскихъ и удивительныхъ, какъ тотъ, что выпелъ изъ запечатанной бутылки передъ глазами удивленнаго рыбака.

Полли провела цѣлый день, пожирая рукописную повѣсть, вся поглощенная фикціей, порою принося автору въ дань слезы.

Джимъ Барсби пришелъ къ чаю—не элегантному пятичасовому чаю свѣтскихъ людей, но къ солидной семичасовой трапезѣ, обозначавшей окончаніе трудового дня и служившей заразъ и чаепитіемъ, и ужиномъ. Въ эту осеннюю пору сосиски были въ большой чести, и семейный ужинъ въ маленькой кухнѣ былъ вкусенъ и радушенъ. Семья обыкновенно совершала всѣ свои трапезы въ кухнѣ, за исключеніемъ воскреснаго чаепитія, происходившаго всегда въ пріемной.

Джимъ внимательно выслушалъ рассказъ о литературныхъ талантахъ миссъ Болдвудъ и восторженные похвалы Полли только-что прочитанной ею повѣсти.

— Мы постараемся найти для васъ что-нибудь подходящее въ нашемъ городѣ, — величественно объявилъ Джимъ съ видомъ по меньшей мѣрѣ помощника редактора. — Какъ вы думаете, можете вы писать письма изъ Лондона?

— Боже мой, Джимъ! она въ жизнь свою не бывала въ Лондонѣ.

— Ахъ!—вдохнулъ мистеръ Барсби:—вотъ въ этомъ-то и бѣда; иначе она могла бы отлично пройти въ журналъ статейкой о какихъ-нибудь новостяхъ или скандалахъ.

Чапманы считали, что это было бы возможно только въ томъ случаѣ, еслибы Стелла была совсѣмъ другой человекъ.

— Или еслибы она писала о театрахъ. Полъ-столбца всякихъ театральныхъ сплетенъ въ недѣлю будутъ для нашихъ

подписчиковъ такимъ же лакомымъ кусочкомъ, какъ хлѣбъ съ масломъ.

— Но, милый Джимъ,—упрекнула Полли, раздосадованная тупостью своего поклонника:—миссъ Больдвудъ романистка—прирожденная романистка. Она написала прекраснѣйшій романъ, какой я только читала въ жизни.

— Ахъ! но это трудная штука. Я не вижу никакого шанса для нея въ этомъ направленіи. Наши издатели платятъ тысячи за фельетоны, но требуютъ знаменитыхъ именъ. Еслибы она прославилась, они бы завтра же пригласили ее. Быть можетъ, она смастеритъ разсказецъ для рождественскаго нумера, и тогда я уговорю нашего principala прочесть его. И если онъ ему понравится, то онъ напечатаетъ, и въ карманъ миссъ Больдвудъ попадетъ фунтовъ пять.

— Я попробую,—отвѣчала Стелла. — Вы очень добры, что интересуетесь мною.

XI.

На телеграмму лорда Лашмера, посланную имъ мистеру Несторіусу какъ только-что отперлось почтовое отдѣленіе въ селѣ на другое утро послѣ побѣга Стеллы, отвѣтъ пришелъ уже подъ вечеръ изъ одной герцогской резиденціи по сосѣдству съ Единбургомъ и гласилъ, что мистеръ Несторіусъ прибудетъ въ Лашмеръ на слѣдующее утро.

— Онъ не боится свидѣться съ нами, — сказалъ Лашмеръ, успокоенный этимъ отвѣтомъ, такъ какъ, несмотря на убѣжденія мизэди, его всю ночь и весь день мучило подозрѣніе, что Несторіусъ уговорилъ Стеллу бѣжать съ нимъ и что его намѣренія были не вполне честныя.

Лэди Кэрмино не пыталась скрыть негодованія, какое возбуждала въ ней сенсація, произведенная бѣгствомъ Стеллы.

— Я не подозрѣвала, что чтица лэди Лашмеръ—самая важная персона въ домѣ,—сказала она за полдникомъ, когда Лашмеръ, который не умѣлъ скрывать своихъ чувствъ, рвалъ и металъ, не получая отвѣта на свою телеграмму и потерпѣвъ полную неудачу въ своихъ личныхъ розыскахъ въ Брумми, принятыхъ вмѣстѣ съ сыщикомъ тайной полиціи.

— Она очень важная персона для моей матери, — мрачно отвѣчалъ Лашмеръ:—никто другой не умѣетъ такъ хорошо читать, а хорошее чтеніе—единственное лекарство отъ нервныхъ страданій для матушки.

— Вамъ стоитъ только написать мистриссъ Далласъ и попросить ее прислать хорошую чтницу. Я увѣрена, что въ классахъ декламации у нея найдутся десятки дѣвушекъ, которыя лучше читаютъ, чѣмъ миссъ Больдвудъ.

— Я сомнѣваюсь въ этомъ: у нея чтеніе—природный даръ; голосъ, произношеніе—совершенство. Слушать, какъ она читаетъ Мильтона, все равно, что слушать церковную музыку. Я какъ-то нечаянно вошелъ въ комнату милэди, когда она читала „Lucidas“, и остановился на порогѣ, очарованный, пока поэма не была окончена.

— Какая жалость, что вы не связали ее болѣе крѣпкими узами!—иронизировала Клариса:—вамъ бы слѣдовало сдѣлать ее лэди Лашмеръ, и тогда она всегда была бы у васъ подъ руками, чтобы читать вамъ и вашей матушкѣ.

Женскій инстинктъ подсказалъ лэди Кэрмино истину насчетъ чувствъ Лашмера, въ которыхъ онъ самъ не разобрался. До сегодня она была не безъ подозрѣній на этотъ счетъ. Въ его манерѣ говорить о Стеллѣ было что-то, намекавшее на скрытое пламя. А сегодня она окончательно убѣдилась, что онъ влюбился въ эту тварь, находится подъ тѣмъ же пагубнымъ вліяніемъ, какъ и Несторіусъ, подпалъ очарованію блѣднаго страннаго лица и глазъ, черныхъ и непроглядныхъ какъ ночь.

Лашмеръ сердито покраснѣлъ, но ничего не отвѣтилъ.

— Почему вы не посоветуетесь съ ясновидящей?—пролепетала мистриссъ Вавасуръ.—Вамъ стоитъ только отвезти обрывокъ отъ платья этой молодой особы къ хорошей ясновидящей, и она скажетъ вамъ, гдѣ находится эта молодая особа и что она дѣлаетъ.

— Къ несчастію, у меня нѣтъ ясновидящей подъ руками,—отвѣчалъ сухо Лашмеръ.

— О! но въ Бруммѣ онѣ, вѣроятно, есть; теперь вы вездѣ найдете ясновидящихъ. Въмѣсто того, чтобы ѣхать въ этотъ большой, безтолковый городъ съ глупымъ сыщикомъ, вамъ бы лучше разыскать ясновидящую,—женщины — лучшія ясновидящія, — и разспросить ее, когда она придетъ въ месмерическій трансъ.

— Ваша идея мнѣ нравится, мистриссъ Вавасуръ, — отвѣчалъ Лашмеръ болѣе любезно.—Я поѣду сегодня въ Бруммъ и поищу современную эндорскую волшебницу. Если меня обманутъ, то я только потеряю время. Но мои розыски съ сыщикомъ были вполне безнадежны.

— Не могу не подивиться наивности, съ какой вы воображаете, что эта молодая особа уѣхала не далѣе ближайшаго го-

рода! — воскликнула Клариса съ открытой досадой. — Не достоинъ ли, что она направилась въ Лондонъ и въ Парижъ?

— Еслибы вы потрудились вникнуть въ то обстоятельство, что у нея не было рѣшительно никакихъ денегъ, когда она оставила замокъ... — началъ Лашмеръ сердито.

— Но я этого не понимаю. Она могла не имѣть денегъ отъ васъ или отъ милэди, но увѣрены ли вы, что она не получила ихъ отъ кого другого? Я увѣрена, судя по виду мистера Несториуса, когда я встрѣтила ихъ вдвоемъ гуляющими въ паркѣ, что еслибы она сказала ему: „Дайте мнѣ пожалуйста взаймы пятьдесятъ фунтовъ“ — онъ бы въ ту же минуту схватился за чеповую книжку.

— Не думаю — какъ ни мало я ее знаю — чтобы она попросила у мистера Несториуса пятьдесятъ фунтовъ или пять фунтовъ.

Однако предположеніе это поразило его, когда онъ припомнилъ сцену на террасѣ, повидимому намекавшую на горячее чувство, какъ, напримѣръ, благодарности, со стороны Стеллы. Можетъ быть, она приняла денежный подарокъ отъ мистера Несториуса, чтобы спастись отъ ненавистнаго порабощенія.

„Все дурное, что она сдѣлаетъ, и все худое, что можетъ съ ней случиться, падетъ на нашу голову“, думалъ онъ, разумѣя себя и мать.

Лэди Лашмеръ не появлялась въ этотъ день. Она была слишкомъ разстроена бѣгствомъ Стеллы и очень больно чувствовала отсутствіе ея спокойныхъ услугъ; но всего болѣе смущало ее отношеніе Викторіана къ этому событію. Почему онъ такъ огорченъ, такъ разсерженъ? Онъ, всегда увѣрявшій, что презираетъ и ненавидитъ protégée своего брата!

Предположеніе прибѣгнуть къ месмеризму было сдѣлано весьма безразсудной особой, и было, безъ сомнѣнія, вполне безразсудно само по себѣ; но Лашмеръ дошелъ до того состоянія духа, что чувствовалъ потребность дѣлать хоть что-нибудь, въ смыслѣ разыскиванія пропавшей дѣвушки. Да, онъ отправится и разыщетъ ясновидящую, если только такую особу дѣйствительно можно найти въ Брумфѣ. Такъ какъ естественные пути не удались, онъ прибѣгнетъ къ сверхъестественнымъ. Онъ приказалъ заперчь фазтонъ и пошелъ за обрывкомъ платья, который, какъ сказала ему мистриссъ Вавасуръ, необходимо доставить ясновидящей.

Размышляя о прошломъ, о томъ далекомъ времени, когда умеръ его братъ и онъ внезапно возведенъ былъ съ спортсменскихъ ипподромовъ Итона на степень владѣльца Лашмера и всего, съ нимъ связаннаго, онъ припомнилъ опасную болѣзнь

дѣвочки-сиротки и преданную любовь въ ней Бетси. Онъ видалъ Бетси время отъ времени, и ея появленіе всегда напоминало ему тотъ покой въ башнѣ и разговоръ между нимъ и матерью въ одно пенастное утро, когда ребенокъ лежалъ въ сосѣдней комнатѣ жертвой воспаленія въ мозгу. Припоминая этотъ разговоръ, онъ припоминалъ свое собственное жестокосердіе, безусловное отсутствіе всякой симпатіи къ несчастному ребенку, неспособному понять всю великость ея потери. Онъ помнилъ, что убѣждалъ мать отдать ее въ какой-нибудь дѣтскій пріютъ или школу, содержащуюся на счетъ общественной благотворительности, и ему казалось вполне достаточнымъ для нея, если она будетъ сыта и прилично одѣта въ школьное форменное платье и обучена простѣйшему ремеслу, которое дастъ ей возможность зарабатывать свое пропитаніе.

Да, онъ былъ жестокъ, безсердеченъ, той прирожденной жестокостью, какая свойственна себялюбивымъ мальчикамъ. Какъ отличается его натура отъ нѣжнаго характера брата, котораго онъ когда-то презиралъ, а теперь научился уважать!

Онъ пошелъ въ корридоръ, примыкавшій къ аппаратамъ милэди, и постучалъ въ дверь небольшой комнаты, отведенной для Баркеръ.

— Мнѣ надо видѣть вашу племянницу, Баркеръ, ту молодую женщину, которая ходила за Стеллой.

Бетси призвали, и она появилась съ распухшими отъ слезъ глазами.

— О чемъ вы плакали?—спросилъ милордъ сурово.

— Я не могу не плакать, милордъ: для меня это такой ударъ. Если она утопилась....

— Утопилась!—закричалъ Лашмеръ страшнымъ голосомъ.— Какъ смѣете вы говорить такія вещи!

Утопилась! Сердце его замерло при мысли о такомъ бѣдствіи. Дѣвушка, выжитая изъ дому длиннымъ рядомъ недобрыхъ поступковъ со стороны его матери и грубою жестокостью съ его стороны, обидными словами и позорными попреками, вынужденная исцѣять въ самоубійствѣ ближайшаго и легчайшаго убѣжища! Рѣка была такъ близко и она такъ любила рѣку, проводила на ней многіе тихіе лѣтніе дни! Онъ помнилъ, какъ видалъ маленькую дѣтскую фигурку на персидскомъ коврѣ, растянутаго на берегу, и возлѣ Губерта, окруженнаго книгами. Викторіанъ не разъ проходилъ мимо съ удочкой на плечѣ, удивляясь, какое удовольствіе могъ находить его братъ въ обществѣ ребенка и двухъ или трехъ собакъ.

Утопилась! Онъ припоминалъ страшную блѣдность ея лица, гнѣвный блескъ въ глазахъ, когда она объявила ему, что собирается „уходить“. Ну что, если этотъ взглядъ означалъ отчаянное рѣшеніе? И память, уносясь далеко назадъ, рисовала сцену, происшедшую семь лѣтъ тому назадъ, когда онъ прогналъ ее изъ библіотеки за то, что она была груба съ Кларисой. Какъ зогъ онъ былъ съ ней съ самаго начала! Теперь онъ понималъ, что она оттолкнула лицемѣрную ласку Кларисы, и сочувствовалъ этому. Дѣтскимъ чутьемъ она разобрала неискренность характера молодой красавицы и не обольстилась притворной улыбкой.

Утопилась! Нѣтъ, онъ не могъ повѣрить этой мрачной мысли. А между тѣмъ воображеніе рисовало ему ее лежащей въ тростникахъ рѣки, съ волосами, запутавшимися въ водяныхъ растеніяхъ, и неподвижными глазами, мертвымъ, стекляннымъ взглядомъ, глядѣвшимъ на звѣзды! О, Боже! если она сдѣлала это, доведенная до отчаянія его злыми рѣчами, то онъ долженъ будетъ считать себя ея убійцей, безумцемъ, которому довѣрена была драгоценная жемчужина и которую онъ растопталъ ногами и бросилъ.

„Я велю сегодня обыскать дно рѣки, — думалъ онъ, — секретно, когда наступитъ ночь. Я самъ пойду съ работниками, во избѣжаніе разговоровъ и скандала“.

И, пройдясь два или три раза по корридору, онъ вернулся въ тому мѣсту, гдѣ стояла Бетси, которая все время тихо плакала и утирала свои раскраснѣвшіеся, воспаленные глаза.

— Дайте мнѣ что-нибудь изъ вещей миссъ Больдвудъ, — сказалъ онъ: — что-нибудь, что она носила.

Бетси глядѣла на него въ неописанномъ удивленіи. Какой мотивъ имѣлъ онъ просить объ этомъ, когда никогда не выказывалъ ни малѣйшаго участія въ ея бѣдняжкѣ барышнѣ?

Но Бетси принадлежала къ такой расѣ людей, у которой повиновеніе высшимъ обратилось въ инстинктъ, и она поспѣшила исполнить странное желаніе милорда.

— Быть можетъ, вамъ угодно взглянуть на ея бывшія комнаты? — пролепетала она. — Тамъ пропасть вещей, принадлежавшихъ ей.

— Да, покажите мнѣ ея комнаты.

Онъ побѣжалъ въ башню, и запыхавшаяся Бетси едва поспѣвала за нимъ. Комнаты оставались нетронутыми. Въ лашмерскій замокъ не пріѣзжало столько гостей, чтобы явилась необходимость занять башню. Гостиная и спальня оставались въ томъ самомъ

видѣ, въ какомъ были во время дѣтства Стеллы. Хорошенькая маленькая постелька Стеллы съ бѣлымъ кисейнымъ пологомъ стояла въ одномъ углу, точно привидѣніе, а въ другомъ—простая желѣзная кровать Бетси. Въ гостиной находились всѣ игрушки и вещички, которыми Губертъ осыпалъ свою пріемную дочь: павлиньи перья, индійскія опахала, китайскія туфли и шахматы изъ слоновой кости, а также серебряная шкатулочка съ скромной коллекціей украшеній.

— Ничто не трогалось со времени смерти милорда,—сказала Бетси.

— Вы хотите сказать, что Стелла не пользовалась больше этими вещами послѣ смерти брата?—спросилъ Лашмеръ.

— Точно такъ, милордъ. Милэди приказала ей спать въ дортуарѣ горничныхъ, на другомъ концѣ замка, а эта комната съ тѣхъ поръ держалась на запорѣ. Милэди полагала, что комнаты могутъ понадобится со временемъ для гостей, и тогда ихъ передѣлають; но пока милэди не прикажетъ, пускай онѣ остаются какъ были.

— Но вѣдь эти вещи принадлежать миссъ Больдвудъ, онѣ ея личная собственность,—настаивалъ Лашмеръ.

— Онѣ, конечно, были подарены ей,—скромно отвѣчала Бетси,—но вѣдь она была совсѣмъ ребенокъ, и потому это ровно ничего не значить.

— Нѣтъ, значить,—пробормоталъ Лашмеръ:—никто не имѣетъ права нарушать права ребенка. Если братъ подарилъ ей эти вещи, то онѣ ей принадлежали.

— Милэди угодно было, чтобы ничто изъ этихъ комнатъ не было взято, и вещи такъ и оставались здѣсь по смерти милэди. Я взяла на себя смѣлость принести Стеллѣ нѣсколько книгъ: она такъ тосковала по нимъ, бѣдное дитя, и книги были единственнымъ удовольствіемъ, какое у нея оставалось. Такого ребенка, пристрастнаго къ чтенію и ученью, я никогда не видывала. Она всѣ ночи просиживала напролетъ съ огарками свѣчей, которые выбрасываются, милордъ, какъ вамъ извѣстно, и которые получала отъ буфетчицы, надъ своими грамматиками и лексиконами, такъ что я боялась, что она испортитъ себѣ глаза. И въ то же самое время она занималась шитьемъ и послушно исполняла всѣ приказанія главной горничной. Такая жизнь была тяжка для ребенка, милордъ.

— Да, жизнь ея была тяжелая. Жаль, что милэди не помѣстила ее въ школу. Здѣсь ей было не мѣсто,—коротко отвѣтилъ Лашмеръ.

Онъ не желать осуждать поведенія матери, тѣмъ менѣе при служанкѣ. Но чувствовалъ, что поведеніе это было жестоко. Онъ припоминалъ то ненастное утро, когда въ послѣдній и единственный разъ онъ посѣтилъ эту комнату и превзошелъ въ жестокости самого Ирода. Онъ оказался даже болѣе жестокимъ, чѣмъ его мать; онъ совѣтовалъ отослать ребенка въ пріютъ, гдѣ его ждала грубая пища и жалкое рубище, ежедневный трудъ и унижительное положеніе. Ему все казалось хорошо для этой дѣвочки, которой онъ никогда не симпатизировалъ. Ему никогда и въ голову не приходило, что это существо, которое онъ хотѣлъ сбыть съ рукъ такъ безцеремонно, одарено исключительнымъ умомъ, богатыми способностями и силой противостоятъ незаслуженному несчастью. Онъ припоминалъ высокую, стройную фигуру, гордо сидящую на плечахъ головку, грацію и достоинство всѣхъ движеній. Униженія и дурное обращеніе не могли исказить естественныхъ даровъ. Изъ дѣвушки вышла леди, несмотря на обстановку. Тираннія не смогла унижить ее.

„Нѣтъ, она не убила себя, — подумалъ онъ. — Онъ не можетъ такъ низко о ней думать. Такая богатая молодая жизнь не можетъ сломиться при первомъ ударѣ судьбы. Дѣвушка, терпѣвшая годы подчиненности и стѣснѣнная, несмотря на угнетенія, стать выше той среды, куда ее насильственно загоняли, не утопится въ припадкѣ досады“.

— Миссъ Болдвудъ взяла съ собой мѣшокъ, — сказалъ онъ послѣ долгаго молчанія, во время котораго праздно разглядывалъ игрушки и вещи, забавлявшія ее въ дѣтствѣ. — Вы знаете, что въ немъ было?

— Только книги, милордъ, какъ разъ тѣ, которыя она всего больше любила; я не нашла ихъ на полкахъ въ ея комнатѣ, и, можетъ быть, еще одну перемѣну бѣлья. Мѣшечекъ вѣдь небольшой.

— Кажется, что платьевъ у нея было немного, — сказалъ Лашмеръ. — Она постоянно носила одно и то же платье.

— Столько, сколько и у всѣхъ насъ, милордъ: три платья въ годъ — два будничныхъ и одно праздничное.

— Дайте мнѣ обрывокъ отъ какого-нибудь изъ ея будничныхъ платьевъ, что-нибудь, обшлагъ отъ рукава, на примѣръ.

— Извольте, милордъ, — отвѣчала Бетси, точно онъ просилъ стаканъ воды.

— Ступайте и принесите мнѣ, а я пока тутъ побуду.

Онъ радъ былъ побыть одинъ въ башнѣ.

Бетси ушла и вернулась съ обшлагомъ отъ чернаго меринового рукава, заколотымъ въ бумажку.

— Вотъ этотъ обшлагъ я отпоролъ отъ самаго стараго изъ ея платьевъ,—объявила она.—матерія почти насквозь проносилась.

— Хорошо.

Онъ положилъ себѣ въ карманъ поданный лоскутокъ, дивясь что-то подумаетъ про себя скромная Бетси, сохранявшая все время серьезную фізіономію. Фэтонъ стоялъ уже у дверей, когда онъ вышелъ въ сѣни. Онъ остановился только спросить, нѣтъ ли телеграммы, и, не найдя извѣстій отъ подозрѣваемаго Несториуса, уѣхалъ въ Брумъ.

Прибывъ въ этотъ коммерческій центръ, лордъ Лашмеръ отправился прямо въ полицейское управленіе. Не слышали ли чего о пропавшей дѣвушкѣ? Нѣтъ, ничего не слышали про молодую особу, отвѣчающую даннымъ примѣтамъ. Отсутствіе фотографической карточки сочтено было за чудовищную глупость. Полицейскій очевидно находилъ страннымъ и даже скандальнымъ дѣломъ, чтобы въ христіанской землѣ какая-нибудь молодая женщина выросла, ни разу не снявъ своего портрета.

Лашмеръ спросилъ, нѣтъ ли въ Брумѣ особы, занимающейся профессіею ясновидѣнія.

Сержантъ полагалъ, что нѣтъ. Ясновидѣніе вышло изъ моды. Медіумы и джентльмены, читающіе мысли и пишущіе ихъ на грифельныхъ доскахъ, дѣлають фуроръ въ настоящее время. На ясновидѣніе нѣтъ никакого спроса. Этой профессіей не зарабатываешь куска хлѣба.

Раздосадованный этими отвѣтами, лордъ Лашмеръ поѣхалъ въ госпиталь, гдѣ спросилъ главнаго врача. Этотъ джентльменъ не былъ восторженнымъ поклонникомъ месмеризма и никакого другого *изма* не рѣзко научнаго характера. Онъ давно уже не слыхалъ — и слава тебѣ Господи! — про месмеристовъ или ясновидящихъ въ этихъ мѣстахъ.

Лашмеръ уѣхалъ еще болѣе раздосадованный: онъ ожидалъ болѣе широкихъ взглядовъ отъ медицинскаго факультета. Черный лоскутокъ отъ платья лежалъ въ карманѣ его жилета, около сердца, но гдѣ та даровитая личность, которая подастъ ему вѣсточку о той, кто его носилъ?

Ему ничего больше не оставалось какъ вернуться въ замокъ, когда лошади отдохнутъ.

Онъ оставилъ фэтонъ на дворѣ гостиницы и пошелъ бродить по улицамъ, заглядывая въ окна лавокъ и читая объявленія, и въ этомъ безпорядочномъ состояніи ума почти наткнулся на

старого знакомого, мистера Стокса из Эвонделя, фамильного врача, пользовавшего лэди Лашмеръ во всѣхъ ея легчайшихъ недугахъ. Стоксъ былъ восторженный рыболовъ, и Викторіанъ часто удилъ вмѣстѣ съ нимъ, въ былые дни, когда прїѣзжалъ на каникулы изъ Итона.

— Васъ-то мнѣ и нужно, — сказалъ Стоксъ. — Я слышалъ, что вы спрашивали сейчасъ въ госпиталѣ про месмеризмъ. Я ходилъ туда навѣстить одного изъ своихъ односельчанъ, который сломилъ себѣ руку... очень сложный переломъ... весьма интересный случай... и старикъ Петтиферъ сказалъ мнѣ, что вы просили рекомендовать вамъ ясновидящую. Что за чудеса?

— Никакихъ чудесъ! — отвѣчалъ Лашмеръ съ раздраженіемъ. — У меня есть свои причины обратиться къ ясновидѣнію, и я считаю доктора Петтифера старымъ дуракомъ съ предразсудками.

— Онъ именно таковъ, — отвѣчалъ Стоксъ съ удовольствіемъ. — Въ этомъ вы совершенно правы. Я ничего не знаю про месмеризмъ. Мы, кажется, пережили эту стадію. Но если вамъ можетъ быть полезенъ медиумъ, то я думаю, что могу рекомендовать вамъ лучшаго въ Англіи. Я шелъ за вами въ гостинницу „Льва“, когда вы налетѣли на меня, какъ буря.

— Какъ вы добры, Стоксъ! Медиума? Вы хотите сказать: челоуѣка, вызывающаго духовъ или въ этомъ родѣ?

— Я полагаю, въ этомъ родѣ... Я никогда не видѣлъ эту молодую особу въ дѣлѣ, но мнѣ говорятъ, что она дѣлаетъ удивительныя вещи.

— Что она показываетъ свое искусство публично, за деньги?

— Вовсе нѣтъ. Она — молодая особа и живетъ съ очень эксцентрической старухой на окраинѣ этого города; старуха эта прежде жила близъ Эвонделя, и я знаю ее съ дѣтства. Она лечилась у моего отца, лечится и у меня, и она совсѣмъ полоумная, но безвредная женщина. Ея послѣдній пунктъ помѣшательства, овладѣвшій ею лѣтъ двадцать тому назадъ — спиритизмъ. Она открыла замѣчательную способность у одной маленькой дѣвочки, бывшей на побѣгушкахъ у ея модистки, — круглой сироты, о родныхъ которой никто ничего не знаетъ. Старуха мистриссъ Минчинъ была такъ восхищена этимъ ребенкомъ, которому было въ тѣ поры около девяти лѣтъ, что усыновила ее, и съ тѣхъ поръ онѣ обѣ занимаются спиритизмомъ. Старуха крѣпка какъ кожа крокодила, и, вѣроятно, проживетъ слишкомъ сто лѣтъ; но боюсь, что дни дѣвушки сочтены. Она истеричная и отчасти страдаетъ эпилепсіей, и, я думаю, сгубила свое здоровье, вызы-

вая духовъ для старухи мистриссъ Минчинъ. Если вамъ угодно ее видѣть...

— Мнѣ это будетъ необыкновенно интересно, — перебилъ Лашмеръ.

— Я думаю, что могу это устроить. У васъ есть время, чтобы проѣхать въ Торли?

Торли было одно изъ благородныхъ предмѣстій Брумма, на сельской его окраинѣ. Есть ли время, вотъ еще! Лашмеръ на- ходилъ, что у него хватило бы времени съѣздить на луну.

Онъ пошелъ съ докторомъ назадъ въ гостинницу, и оба сѣли въ фэтонъ и отправились въ Торли, чтобы повидаться съ мистриссъ Минчинъ и узнать, согласна ли она помочь имъ, такъ какъ эта дама не всегда бывала любезна и сообщительна. Ея расположеніе духа зависѣло, какъ говорили, отъ духовъ. Если они бывали милы, то и она очаровывала любезностью.

Лашмеръ всегда насмѣхался надъ всякими спиритическими сеансами и претензіями. Что касается месмеризма или ясновидѣнія, онъ не то вѣрилъ въ него, не то нѣтъ; но столоверченіе и всяческіе стукіи внушали ему безграничное недовѣріе. И однако, человѣкъ такъ слабъ, что, съ доскутомъ чернаго платя въ карманѣ, онъ горѣлъ нетерпѣніемъ увидѣть и разспросить сверхъестественно-одаренную protégée мистриссъ Минчинъ.

За чертой современнаго предмѣстья Торли, съ красивыми виллами, принадлежавшими торговцамъ, удалившимся отъ дѣлъ, находилась старая деревенька изъ жалкихъ хижинъ, а за деревенькой былъ пустырь, и по одну его сторону, поодаль отъ большой дороги, стоялъ домъ мистриссъ Минчинъ и къ нему вела грязная тропинка.

Домъ былъ старый и на видъ заброшенный, съ большимъ, тоже заброшеннымъ садомъ, и казался вполне пригоднымъ святилищемъ для появленія и исчезновенія духовъ. Лашмера и Стокса ввели въ мрачнѣйшую гостиную, какую когда-либо первому доводилось видѣть, съ торжественною мебелью, достаточно старой, чтобы быть неудобной, и недостаточно старой, чтобы быть интересной. Огня въ каминѣ не было, и въ комнатѣ пахло сыростью.

Они прождали съ четверть часа въ надеждѣ увидѣть мистриссъ Минчинъ, если не медиума; но старшая горничная, докладывавшая своей госпожѣ о просьбѣ мистера Стокса, вернулась по прошествіи нѣкотораго времени и сообщила, что мистриссъ Минчинъ занята сеансомъ и не можетъ никого видѣть сегодня вечеромъ.

— Я рисковала потерять мѣсто уже за то, что постучалась къ ней въ дверь,—говорила она доктору,—но мнѣ хотѣлось угодить вамъ. Она проситъ лорда Лашмера пріѣхать завтра въ четыре часа по-полудни, если ему угодно ее видѣть.

Лашмеръ просилъ горничную передать мистриссъ Минчинъ, что онъ будетъ у нея ровно въ четыре часа, но что еслибы ей заблагоразсудилось увидѣться съ нимъ раньше, то онъ проситъ ее увѣдомить его объ этомъ телеграммой.

— И скажите вашей госпожѣ, что милордъ безусловно вѣрить въ спиритизмъ,—прибавилъ мистеръ Стоксъ.

— Она бы ни за что не согласилась принять его, еслибы думала, что онъ не вѣритъ,—отвѣчала горничная.—Мы всѣ здѣсь вѣримъ.

— Какъ? неужели кухарка и вся остальная прислуга?—спросилъ Лашмеръ, которому невольно показалась забавной мысль о цѣломъ хозяйствѣ спиритовъ.

— О, да, милордъ, и кухарка тоже. Но стряпня въ этомъ домѣ не мудрая, и ни одна кухарка не уживется здѣсь, которая не захочетъ разучиться своему ремеслу. Барыня даже не замѣчаетъ, что кушаетъ.

Больше дѣлать было нечего. Лордъ Лашмеръ оставилъ свою карточку, которая наполнила бы счастьемъ и гордостью всѣхъ обитательницъ этихъ маленькихъ коттеджей, но которая была ничто въ глазахъ лэди, находившейся въ интимныхъ сношеніяхъ съ болѣе замѣчательными англійскими пэрами: лордомъ Бэкономъ, лордомъ Байрономъ и лордомъ Брумомъ, съ которыми она вела длинные разговоры касательно знаменитаго процесса королевы Каролины, между тѣмъ какъ поэтъ извинялся передъ нею за нечестивыя мѣста въ „Донъ-Жуанѣ“, а философъ сообщалъ новыя свои теоріи, въ которыхъ онъ шагнулъ гораздо дальше, тѣмъ во всѣхъ своихъ печатныхъ сочиненіяхъ.

Лашмеръ отвезъ мистера Стокса назадъ въ Эвондель осенними сумерками, среди запаха сырыхъ палыхъ листьевъ, вспаханной земли и дыма овиновъ.

— Какъ поживаетъ *protégée* вашего бѣднаго брата, которую я лечилъ маленькой дѣвочкой отъ воспаления мозга?—спросилъ Стоксъ, чтобы что-нибудь сказать.—Я удивился, когда увидѣлъ ее недавно въ парѣ: какая изъ нея выросла красивая молодая женщина!

Лашмеръ былъ радъ, что въ потемкахъ не видно его лица. Онъ отвѣчалъ:

— По правдѣ сказать, мы въ большой тревогѣ по ея поводу. Она вздумала оставить насъ совсѣмъ внезапно, безъ всякаго объясненія или извиненія, и... и... мы чортъ знаетъ какъ беспокоимся о ней!—прибавилъ Лапмеръ, забывшись.

— О! я не вижу причины, почему бы вамъ такъ тревожиться. Если она поступила неблагодарно, то тѣмъ хуже для нея. Я полагаю, что она нашла себѣ мѣсто болѣе по праву. Дѣвушки такъ суетны. Но я разочаровался въ ней: я всегда считалъ, что она цѣлой головой выше обыкновенныхъ дѣвушекъ.

А. Э.



НАКАНУНЪ ПУШКИНА

— Сочиненія К. Н. Батюшкова. Изданы П. Н. Батюшковымъ. Со статей о жизни и сочиненіяхъ К. Н. Батюшкова, написанною Л. Н. Майковымъ, и примѣчаніями, составленными имъ же и В. И. Сантовымъ. Спб. 1885—87. Три тома, больш. 8°.

Въ нынѣшнемъ году исполнилось столѣтіе со дня рожденія писателя, сочиненія котораго вышли теперь въ первомъ полномъ собраніи, обставленномъ всею роскошью обширной біографіи и комментарія и роскошью изданія. Книга становится юбилейною. Появленіе ея будетъ пріятно всѣмъ любителямъ нашей литературы: мимо юбилея давно было желательно изданіе поэта, стоявшаго нѣкогда въ первыхъ рядахъ предъ-пушкинской литературы, той литературы, изученіе которой существенно необходимо для полной оцѣнки дѣла, совершеннаго Пушкинымъ. Если Пушкинъ привлекаетъ теперь усиленное вниманіе историковъ литературы, то изданіе Батюшкова является тѣмъ болѣе кстати: это—одинъ изъ ближайшихъ предшественниковъ пушкинской эпохи, вмѣстѣ съ Карамзинымъ, Жуковскимъ, кн. Вяземскимъ, „Арзамасомъ“ и пр., и пр.

Судьба несчастнаго поэта извѣстна. Рано, съ юношескихъ лѣтъ, начавши свою литературную дѣятельность, оцущью отыскивая новую дорогу поэтическаго творчества, среди мало благопріятныхъ условій литературы, рано пріобрѣвши себѣ имя въ кругу сверстниковъ и лучшихъ людей прежняго поколѣнія, несчастный поэтъ въ пору зрѣлаго мужества впалъ въ неизлечимую душевную болѣзнь, которая наполнила цѣлую вторую половину его долгой жизни (род. въ май 1787, умеръ въ іюль 1855 года). Такимъ образомъ, можно судить только о началѣ его поприща; думаемъ, впрочемъ, по примѣру писателей современнаго ему поколѣнія,

работавшихъ болѣе долго и счастливо, что существенное въ его талантѣ и содержаніи было уже высказано; еслибы дѣятельность его продолжалась, мы имѣли бы, можетъ быть, болѣе широкій рядъ его зрѣлыхъ произведеній, но не истрѣтили бы новой поэтической идеи, — когда на литературной аренѣ стали совершаться блестящіе явленія пушкинской поэзіи.

Намъ случалось говорить по другому поводу, какъ несправедливы бывали упреки, какіе дѣлались новымъ поколѣніемъ общества со стороны ветерановъ этой прежней поры — въ равнодушіи къ преданіямъ стараго, предъ-пушкинскаго и пушкинскаго времени. Если преданій было немного, то первая вина этого лежала на самихъ современникахъ той эпохи, которые сами слишкомъ мало сдѣлали для того, чтобы основать это преданіе. Въ самомъ дѣлѣ, никто, напр., изъ современниковъ Карамзина, его ревностныхъ, иногда даже черезъ мѣру, поклонниковъ не оставилъ намъ сколько-нибудь полной характеристики этого замѣчательнаго лица; никто изъ современниковъ Пушкина, упрекавшихъ потомъ позднюю литературу въ невниманіи къ пушкинскому преданію, не далъ въ свое время ни біографіи, ни сколько-нибудь обстоятельныхъ воспоминаній о великомъ поэтѣ. Біографія Пушкина начата была впервые писателемъ именно слѣдующаго поколѣнія, который не имѣлъ счастливой для біографа выгоды непосредственно видѣть, имѣть живое впечатлѣніе изучаемаго дѣятеля, и который притомъ долженъ былъ работать въ самыхъ неблагоприятныхъ внѣшнихъ обстоятельствахъ. Величайшій поэтъ, какого имѣла русская литература, былъ изслѣдуемъ его первымъ біографомъ, какъ изслѣдуются лица, давно отошедшія въ область исторіи, о которыхъ не осталось близкой, живо чувствуемой памяти, которыя изучаются по архивнымъ документамъ, по рѣдкимъ и свѣднымъ преданіямъ и памятникамъ ихъ собственной дѣятельности. Въ послѣднее время этотъ біографическій матеріалъ о пушкинской эпохѣ былъ значительно обогащенъ усиліями новѣйшихъ собирателей, между прочимъ, изъ внимательно подбираемыхъ остатковъ старой переписки того времени и отрывочныхъ упоминаній въ разсказахъ современниковъ. Біографія Пушкина состоитъ, такимъ образомъ, не изъ широкой обработки обильнаго матеріала, оставленнаго современниками, а изъ мозаичной работы, очень мелкой, очень сложной, но оставляющей тѣмъ не менѣе чувствительные пробѣлы иногда о весьма важныхъ пунктахъ въ жизни писателя.

Біографія Батюшкова есть также мозаичная работа. Изъ современниковъ никто не оставилъ о немъ даже краткаго біогра-

фическаго очерка; извѣстны были только главные даты его біографіи, его гражданская и военная служба. Новѣйшему біографу пришлось собирать жизнеописаніе Батюшкова по отрывочнымъ подробностямъ изъ семейныхъ преданій, изъ остатковъ переписки, изъ официального формуляра, изъ немногихъ отрывковъ дневника, изъ сочиненій; весьма немногое дали біографическія показанія лицъ, которыя нѣкогда были друзьями поэта. Внѣшняя біографія была, правда, не очень сложная: жизнь дома въ дѣтствѣ, въ деревенской помѣщичьей обстановкѣ; обученіе въ французскомъ пансіонѣ; родственныя связи съ М. Н. Муравьевымъ, которыя помогли его сближенію съ литературными кругами; поступленіе въ военную службу и два похода въ 1807 и 1809 г.; жизнь въ деревнѣ, вынуждаемая необходимостью; пребываніе въ Москвѣ въ 1811 и 1812 году; новое вступленіе въ военную службу, участіе въ походѣ въ Германію и во Францію, и, наконецъ, служба при посольствѣ въ Неаполѣ, въ теченіе которой обнаружались признаки нервнаго расстройства, дошедшаго въ два-три года до степени буйнаго сумасшествія. Болѣе интересны, конечно, факты внутренняго развитія, и для ихъ объясненія осталось, къ сожалѣнію, мало ясныхъ и точныхъ данныхъ. Авторъ біографіи, приложенной къ настоящему изданію, старался собрать отрывочныя подробности, которыя освѣтили бы эту сторону вопроса, старался сколько возможно характеризовать обстановку, въ которой проходила внѣшняя и внутренняя жизнь Батюшкова, и выяснитъ содержаніе его идей, но, при всей старательности его работы, недостаточность источниковъ тѣмъ не менѣе даетъ себя чувствовать.

Въ самомъ дѣлѣ, остается неясной, напримѣръ, пора перваго школьнаго образованія, полученнаго Батюшковымъ во французскихъ пансіонахъ.

Онъ овладѣлъ здѣсь, по обычаю времени, французскимъ языкомъ, читалъ уже и по-нѣмецки. Въ письмѣ, писанномъ къ отцу изъ пансіона, Батюшковъ (ему было тогда 14 лѣтъ) проситъ прислать ему книгъ—ему нуженъ Ломоносовъ и Сумароковъ, сочиненія Мерсье, „Кандидъ“ Вольтера, изъ нѣмцевъ Геллертъ; но его руководилъ его литературными вкусами и въ какомъ смыслѣ—неизвѣстно. Ему было уже, кажется, лѣтъ 15, когда сталъ оказывать на него вліяніе извѣстный Михайлъ Никитичъ Муравьевъ, который приходился ему родственникомъ. Муравьевъ (умершій уже въ первые годы царствованія Александра I-го) былъ человекъ старыхъ литературныхъ вкусовъ, но достаточно образованный, чтобы не раздѣлять узкихъ взглядовъ тогдашняго

нашего псевдо-классицизма; онъ самъ близко зналъ и любилъ классическую литературу и направилъ Батюшкова на ея изученіе. Въ своихъ пансіонахъ Батюшковъ не учился по-латыни; теперь онъ занялся латинскимъ языкомъ и овладѣлъ имъ настолько, что могъ читать латинскихъ писателей болѣе или менѣе свободно; изъ его послѣдующихъ сочиненій видно, что латинскіе поэты были ему довольно хорошо знакомы—онъ любилъ ихъ цитировать; онъ читаетъ (вѣроятно, во французскихъ переводахъ) также писателей греческихъ и вообще любитъ вращаться въ философіи и поэзіи древнихъ. Его особенными любимцами надолго остаются Гораций и Тибуллъ: въ ихъ духъ складывается его собственная поэзія и философія. Впослѣдствіи за Батюшковымъ осталась слава лучшаго въ нашей тогдашней литературѣ истолкователя классической лирики и антологическаго поэта.

Еще со времени своего пансіонскаго ученія, Батюшковъ началъ заниматься итальянскимъ языкомъ и литературой, въ которой Аріостъ и Тассъ стали потомъ его особенными любимцами. Наконецъ, его привлекла французская литература, начинающая съ Вольтера и Руссо и кончающая новыми поэтами, въ которыхъ пробивалась новая, романтическая струя.

Авторъ біографіи, какъ мы сказали, внимательно слѣдитъ за тѣми литературными вліяніями, которыя опредѣляли складъ мысли и направленія поэзіи Батюшкова. Однимъ изъ первыхъ было здѣсь вліяніе Вольтера, знакомаго Батюшкову еще въ пансіонѣ и къ которому онъ надолго сохранилъ сочувствіе. Въ чемъ же заключалось это вліяніе? На Батюшкова дѣйствовали только нѣкоторыя стороны этого писателя: „Вольтеръ, которому поклонялся Батюшковъ,—разсказываетъ его біографъ,—былъ не совсѣмъ настоящій, съ его достоинствами и недостатками, а тотъ легендарный, такъ сказать, Фернейскій мудрецъ, который болѣе полувѣка восхищалъ собою Европу. Уже давно стоустая молва и всемірная слава идеализировали его личность, а уровень общественнаго пониманія сдѣлалъ выборъ между его сочиненіями, превознося одни, болѣе общедоступныя, и не понимая, не цѣня другихъ, болѣе глубокихъ по своему смыслу. И Батюшкову, конечно, не были знакомы въ своей полнотѣ всѣ сочиненія Вольтера; въ общей оцѣнкѣ ихъ онъ подчинялся господствовавшему мнѣнію; но тѣ произведенія Вольтера, которыя пользовались наибольшою популярностью, принадлежавшія преимущественно къ области изящной словесности, онъ зналъ хорошо; онъ часто приводитъ цитаты изъ нихъ, любитъ остроуміемъ ихъ автора, восхищается мѣткостью его сужденій, выражаетъ негодованіе про-

тивъ его враговъ и критиковъ, вообще относится къ нему, какъ къ непрерываемому авторитету“. Биографъ находитъ, что въ образѣ мыслей Батюшкова — до той перемѣны, какая произошла въ немъ въ эпоху послѣ отечественной войны — несомнѣнно отражаются идеи Вольтера. „Сочиненія Фернейскаго мудреца подѣйствовали на нашего поэта, главнымъ образомъ, своею культурною силою; на нихъ воспиталась въ Батюшковѣ глубокая любовь къ просвѣщенію и неразрывно связанной съ нею свободѣ мысли; изъ нихъ почерпнулъ онъ уваженіе къ достоинству человѣка, къ благородному умственному труду и къ званію писателя, отвращеніе отъ недаантизма, помрачающаго умъ и ожесточающаго сердце; они же внушили ему общую гуманность понятій и терпимость къ чужимъ убѣжденіямъ. вмѣстѣ съ этими истинами, которыя составляютъ основныя и вѣчныя начала образованности, Батюшковъ позаимствовалъ у Вольтера и такія идеи, въ которыхъ послѣдній является только сыномъ своего вѣка. Вслѣдъ за Вольтеромъ (и Кондильякомъ) Батюшковъ высказываетъ сенсуалистическія понятія о неразрывности души отъ тѣла; подъ его влияніемъ берется онъ за чтеніе Локка и вооружается противъ метафизики, которую и Вольтеръ любилъ сводить къ морали. Наконецъ, и религіозныя идеи Вольтера отразились на Батюшковѣ. Противникъ положительной религіи, Вольтеръ оставался, однако, деистомъ и защищалъ идею Божества противъ Гольбаха. Батюшковъ, безъ сомнѣнія, зналъ эти возраженія Вольтера противъ атеизма; когда онъ прочелъ Гольбаха „Систему природы“, онъ въ слѣдующихъ словахъ высказалъ Гнѣдичу свое впечатлѣніе: „Сочинитель въ концѣ книги, разрушивъ все, призываетъ природу и дѣлаетъ ее всему началомъ... Невозможно никому отвергнуть и не познать какое-либо начало; назови его, какъ хочешь, все одно; но оно существуетъ, т.-е. существуетъ Богъ“¹⁾). Наконецъ, авторъ указываетъ, что Вольтеръ подѣйствовалъ на Батюшкова и собственно въ литературномъ смыслѣ, не столько какъ теоретикъ, — потому что при всей смѣлости своихъ взглядовъ Вольтеръ не рѣшался измѣнять установленнымъ псевдо-классическимъ правиламъ, — сколько какъ лирический поэтъ. Специальностью Батюшкова была такъ-называвшаяся въ то время „легкая поэзія“, то-есть собственно лирика личнаго чувства. Здѣсь образцами Батюшкова были вообще два классическіе поэта — Гораций и Тибуллъ, которыхъ, между прочимъ, онъ могъ ближе изучить по

¹⁾ Томъ I, стр. 89—90, въ биографіи.

указаніямъ и при помощи Муравьева, и два новѣйшіе поэта, которыхъ изучалъ онъ самъ—Вольтеръ и Парни.

Старый литературный обычай снисходительно относился къ заимствованіямъ; этимъ не стѣснялись даже крупныя литературныя величины; въ нашей литературной практикѣ прошлаго вѣка, для начинающихъ писателей считалось даже необходимою, для приобрѣтенія опытности, „подражать“ какому-нибудь избранному „образцу“. Для писателя молодого было бы вообще естественно увлечься на первыхъ порахъ какимъ-нибудь авторитетнымъ поэтомъ и невольно подчиняться его манерѣ; но въ старое время „подражаніе“ было систематическимъ требованіемъ. То же было и съ Батюшковымъ. „Онъ любилъ *свѣрять* свое вдохновеніе съ чужимъ,—говоритъ его биографъ:—не рѣдко бралъ онъ у того или другого поэта ту или иную черту и усваивалъ ее своему произведенію; онъ самъ говоритъ объ этомъ въ своихъ письмахъ и притомъ, какъ о дѣлѣ художественнаго выбора, а не простого заимствованія. Таковъ былъ старый литературный обычай, быть можетъ, завѣщанный молодому поэту Муравьевымъ, и если обычай этотъ стѣснялъ иногда свободные порывы творчества, зато служилъ къ выработкѣ точности въ поэтической рѣчи“¹⁾.

Этотъ обычай, какъ извѣстно, долго держался въ нашей литературѣ прошлаго вѣка, и Батюшковъ въ этомъ отношеніи сближается съ писателями старой школы, противъ которыхъ пострелялъ. Въ господствовавшемъ у насъ образцѣ, во французской литературѣ, большую роль игралъ вопросъ стиля, счастливаго выраженія, красивой фразы. Французская литература XVII—XVIII в. гордилась созданіемъ изящнаго языка, который и дѣйствительно достигъ въ то время высокаго совершенства въ извѣстномъ направленіи—это была красивая выложенная фраза, вполне отвѣчавшая выработанному манерному тону придворной и свѣтской жизни, но вмѣстѣ точная и строгая въ предметахъ научнаго изслѣдованія. Это выработанное изящество рѣчи, кромѣ самаго содержанія литературы, создало то господство французскаго языка, которое распространялось тогда на всю образованную Европу. Вопросъ стиля сталъ существенной заботой и русскихъ писателей съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ имъ представился въ западныхъ литературахъ образецъ литературнаго развитія; объ этомъ постоянно напоминала трудность передачи на русскомъ языкѣ тѣхъ идей, какія увлекали въ литературахъ иностранныхъ и какія

¹⁾ Т. I, стр. 92, въ биографіи.

хотѣлось передать по-русски. Въ половинѣ прошлаго вѣка именно вопросъ языка, удачнаго или неудачнаго выраженія, былъ предметомъ споровъ Ломоносова и Сумарокова и всякихъ мелкихъ писателей; примѣръ французской литературы усиливалъ эту заботу о формѣ.

Но этотъ вопросъ о „подражаніи“ и выработкѣ литературной рѣчи сводится къ цѣлому состоянію нашей литературы XVIII-го столѣтія. Батюшковъ, какъ и его другъ и современникъ Жуковский и цѣлый рядъ другихъ писателей того же поколѣнія, еще завершали тотъ періодъ первой формации нашей новой литературы, который начать былъ петровской реформой или даже еще концомъ XVII-го вѣка. Это былъ тотъ самый періодъ, который столько старались обезславить, какъ періодъ слѣпое подражаніе и оторванности отъ народа и народныхъ началъ.—Въ чемъ дѣло? Имѣютъ ли какое-нибудь значеніе дѣятели этого обезславленнаго времени, — были ли они только представителями въ литературѣ этой жалкой оторванности отъ своего народа, или ихъ трудъ, напротивъ, велъ къ чему-нибудь благотворному для цѣлаго русскаго просвѣщенія и для самого народа? Мы имѣемъ теперь возможность, ближе присматриваясь къ фактамъ, проще и справедливѣе взглянуть на это время, исполненное крайностей и противорѣчій, какъ всякая переходная эпоха, разстающаяся съ прежнимъ складомъ жизни и невѣрными шагами идущая къ неизвѣстному и только указываемому будущему. Русскому обществу, раньше ли, позже ли, неизбежна была встрѣча съ обществомъ западнымъ, въ рукахъ котораго была и большая степень научнаго образованія (у насъ до тѣхъ поръ совсѣмъ неизвѣстнаго), и большая степень внѣшней бытовой культуры. Отнестись къ этому новому открывавшемуся міру совершенно отрицательно было невозможно, потому что представляемое имъ содержаніе научной мысли, намъ ранѣе чуждой, отвѣчало неодолимой потребности человѣческой природы — потребности знанія и работы мысли. Такой же неодолимой потребности отвѣчала открывавшаяся вновь область поэтической фантазіи и тонкаго выраженія чувства. Наконецъ, трудно было бы отталкивать ту новизну, которая представлялась въ утилитарномъ практическомъ знаніи, которое могло удовлетворить все болѣе настоятельнымъ потребностямъ реальной государственной жизни, и новомъ обычаѣ, который имѣлъ свои привлекательныя стороны или удобства. Всѣ эти стороны западной жизни еще гораздо ранѣе Петра стали привлекать русскихъ людей стараго времени; когда Петръ Великій начиналъ свое преобра-

зованіе въ цѣляхъ государственной пользы, передъ нимъ отрывались, конечно, и эти общія стороны западной образованности; но хотя бы онъ думалъ только о чисто практическихъ нововведеніяхъ, эти стороны тѣмъ не менѣе неминуемо оказали бы свое дѣйствіе, потому что нельзя было брать однихъ чисто практическихъ примѣненій знанія безъ его теоретическихъ основаній, и потому что въ самомъ обществѣ разъ возбужденная любознательность сама должна была искать этихъ основаній. Известно, что преемники Петра до Екатерины II не имѣли никакой ясной мысли о потребностяхъ русскаго образованія и никакого желанія принимать широкія мѣры для его развитія; сама Екатерина, послѣ первыхъ свободномыслящихъ увлеченій, очень заботилась о томъ, чтобы поставить предѣлы притязаніямъ общественной мысли, но дѣло въ томъ, что, несмотря на тѣсныя практическія цѣли петровской реформы, несмотря на равнодушіе его преемниковъ къ дѣлу просвѣщенія, несмотря на всѣ помѣхи, которыя уже вскорѣ стали представляться для его успѣховъ, въ самомъ обществѣ уже начался и все болѣе развивался этотъ свободный процессъ мысли, въ который завлечены были всѣ живые умы и дарованія, пробужденные для новыхъ потребностей знанія, фантазіи и чувства. Екатерина II, отличавшаяся сильнымъ, но холоднымъ и трезвымъ умомъ, поддавалась сама этой внутренней потребности, и въ первые годы своего правленія дѣлила общественное увлеченіе въ область свободной мысли. Наша литература прошлаго вѣка отражаетъ на себѣ разные отбѣнки состоянія общества: въ теченіе всего столѣтія она даетъ образчики того служебнаго положенія, какое указывалось ей политическимъ состояніемъ общества. Безчисленные оды на всякіе торжественные случаи, похвальные слова и т. п. идутъ съ первой половины прошлаго вѣка и до первой половины нынѣшняго, свидѣтельствуя, конечно, не только о личномъ вкусѣ ихъ авторовъ, но и о цѣломъ общественномъ настроеніи; въ этомъ послѣднемъ еще не было ни самостоятельнаго критическаго сознанія, ни достаточнаго интереса къ болѣе широкому литературному содержанію. Мало-по-малу „ода“ начинаетъ падать; она становится уже только официальной повзвѣй, появляется все рѣже, наконецъ дѣлается предметомъ насмѣшекъ: повидимому, въ этомъ упадкѣ ея и въ насмѣшкахъ надъ ней была только устарѣлость этой литературной формы, но въ сущности смѣнилось общественное настроеніе, выросло сознаніе, что литература не есть только форма казенной или придворной службы, но есть независимая дѣятельность, свободное выраженіе общественной

мсли. Мыслящій писатель, какъ и мыслящій образованный чело-
вѣкъ XVIII-го вѣка, поставленъ былъ въ положеніе, о которомъ
мы уже съ нѣкоторымъ трудомъ составляемъ себѣ понятіе те-
перь, когда наша литература, хотя все еще далекая отъ своего
настоящаго достоинства, достигла, однако, многихъ существен-
ныхъ результатовъ. Люди XVIII-го вѣка были еще тяжелы на
подъемъ въ умственной работѣ; ихъ знанія бывали обыкновенно
довольно ограниченныя, тѣмъ болѣе, что и тогдашнія средства
къ образованію были очень невелики, но, видимо, новое знаніе,
новыя литературныя формы, новыя поэтическія удовольствія на-
чинали сильно привлекать ихъ. Сумароковъ, напр., былъ чело-
вѣкъ вовсе не глухой, хотя съ образованіемъ очень ограничен-
нымъ: онъ наивно гордился своими произведеніями, но видимо
способенъ былъ понимать поэтическія красоты или вѣйшее изъ-
щество, какія находилъ во французской литературѣ. Въ ту пору,
въ самой серединѣ XVIII-го вѣка, полагались первыя основанія
тѣхъ псевдо-классическихъ вкусовъ, которые дожили и до нашего
столѣтія, и если перенестись въ тѣ времена, то это увлеченіе
будетъ весьма понятно. Французская литература являлась къ намъ
во всеоружіи своей европейской, по тогдашнему почти всемір-
ной славы, обремененная рядомъ первостепенныхъ талантовъ,
говорившая языкомъ, который всюду господствовалъ и который
выработанъ былъ до рѣдкаго совершенства въ томъ стилѣ, какой
однѣ казался тогда возможнымъ. Если вліяніе французской
литературы распространялось тогда и у народовъ съ несравненно
болѣе широкимъ и давнимъ развитіемъ просвѣщенія, какъ въ
Германіи, Англіи, Италіи, то тѣмъ болѣе оно могло быть сильно
тамъ, гдѣ для него отрывалась почва совсѣмъ неразработанная;
и тѣмъ прочнѣе могло быть это вліяніе, что французская лите-
ратура являлась съ цѣлымъ, точно выработаннымъ кодексомъ
теоретическихъ законовъ и правилъ. Господство псевдо-класси-
цизма было подготовлено у насъ той церковной школой, ко-
торая еще съ XVII-го вѣка вводила изученіе реторики и пи-
тики по классическимъ образцамъ; теперь тѣ же теоріи являлись
въ подновленномъ видѣ, приновленные къ новѣйшей лите-
турѣ свѣтскаго общества. Восемнадцатый вѣкъ былъ въ особен-
ности вѣкомъ аристократизма; псевдо-классическій тонъ былъ
тонъ придворный и свѣтскій; это опять сходилось съ условіями
нашей литературы, которая находила первую опору въ образо-
ваннѣйшемъ кругу, при дворѣ, нуждалась въ меценатахъ, и
первую драму могла видѣть только на придворномъ театрѣ; сво-
ихъ меценатовъ она находила въ людяхъ, знакомыхъ съ фран-

цузской литературой и не знавшихъ иной формы литературной дѣятельности, кромѣ той, какую видѣли тамъ. Національное самолюбіе высказывалось желаніемъ имѣть своихъ Корнелей и Расиновъ, своихъ Мольеровъ и Вольтеровъ... Упомянутая бѣдность знаній дѣлала то, что къ намъ обыкновенно запаздывали тѣ явленія, какія совершались въ европейской литературѣ. Чистый псевдо-классицизмъ былъ въ сущности уже подорванъ критикою Лессинга, распространеніемъ Шекспира, зачатками романтическаго движенія, когда у насъ онъ еще продолжалъ господствовать почти безраздѣльно.

Мало-по-малу, однако, до нашей литературы доходили новыя явленія европейской мысли и поэзіи, когда на мѣстѣ они приобрѣтали значеніе господствовавшаго факта, бросавшагося въ глаза. Такъ достигла къ намъ та французская „мѣщанская“ комедія, которая впервые нарушила условную торжественность французской драмы и сводила ее изъ придворно-классической сферы въ буржуазную дѣйствительность. У насъ узнали потомъ и Бомарше, и англійскихъ сатирическихъ журналистовъ, и драму Лессинга, и Макферсонова „Оссіана“ и т. д., обыкновенно послѣ того, какъ эти явленія приобрѣтали уже великую славу. Съ теченіемъ времени знакомство съ европейской литературой все болѣе расширялось; конецъ XVIII-го вѣка наводненъ у насъ массой переводовъ преимущественно съ французскаго и нѣмецкаго, но при всей пестротѣ этихъ заимствованій въ нихъ была своя мысль, было логическое стремленіе удовлетворить нарастающимъ умственнымъ потребностямъ.

Передъ русскимъ образованнымъ человѣкомъ XVIII-го вѣка открывалась едва обозримая масса научныхъ и поэтическихъ явленій, которыя не могли не привлекать къ себѣ, какъ скоро мысль стала способна ихъ усваивать. Старые зачатки знанія, передаваемые прежней литературой, были слишкомъ ничтожны, чтобы удовлетворять умъ сколько-нибудь требовательный. Знаніе историческое и знаніе природы приобрѣтаютъ великій интересъ для первыхъ нашихъ образованныхъ людей прошлаго столѣтія. Извѣстно, что, прежде чѣмъ печатная литература стала удовлетворять этой потребности, создавалась весьма значительная литература рукописныхъ переводовъ историческихъ и политическихъ книгъ, исполнявшихся по особымъ заказамъ, — какова, напр., извѣстная и замѣчательная коллекція архангельской бібліотеки князя Голицына, временъ имп. Анны Іоанновны. Людей ученыхъ, которымъ удалось получить основательное по времени образованіе въ академіи кievской или московской, или послѣ въ академіи наукъ

въ Петербургѣ, или за границей, или даже разными случайными путями самоучкой, занимала и классическая древность, и славнѣйшія произведенія новѣйшей литературы. Кружокъ ихъ былъ невеликъ; въ петровское и первое послѣ-петровское время такихъ людей можно пересчитать по пальцамъ: они знаютъ другъ друга и отчасти держатся вмѣстѣ, какъ Теофанъ, Кантемиръ, Татищевъ, нѣкоторые ученые нѣмцы изъ академіи—они составляютъ нашу первую интеллигенцію начала XVIII-го вѣка. Имъ близки „греки и латины“, имъ извѣстны наиболѣе крупныя произведенія литературы исторической, политической, богословской; возникаетъ мысль прилагать новое знаніе къ явленіямъ русской жизни, къ русской исторіи. Начитавшись римскихъ сатириковъ и Буало, Кантемиръ задумываетъ русскую сатиру; Ломоносовъ, по нѣмецкимъ образцамъ, пишетъ оду; Сумароковъ, восхищаясь французскими драматургами, задумываетъ русскія трагедіи и комедіи. Первые приступы трудны, внѣшняя форма и языкъ мало поддаются благимъ намѣреніямъ,—но основной планъ будущихъ работъ засѣлъ крѣпко, и дальнѣйшее развитіе литературы на новомъ пути уже обезпечено первыми грубыми попытками. Онѣ по-неволѣ были грубы: та среда, которою живетъ литература, была слишкомъ тѣсная; старина представляла еще болѣе грубые antecedенты, какими были, напр., нескладное syllabическое стихотворство, какъ драматическіе опыты конца XVII вѣка, какъ рукописные опыты переводовъ иностранныхъ повѣстей и романовъ въ началѣ столѣтія. Общество, въ громадномъ большинствѣ чуждое новому образованію, не имѣло еще языка для выраженія тѣхъ болѣе тонкихъ мыслей и ощущеній, которыя возникали съ новымъ просвѣщеніемъ, которыя хотѣлось усвоить изъ иноземной литературы. Въ первомъ литературномъ языкѣ была большая примѣсь церковно-славянскаго элемента, и это было естественно: прежде это былъ обычный книжный языкъ, и извѣстные выработанные обороты для передачи возвышенной мысли и чувства можно было найти готовыми только въ языкѣ библіи и церковныхъ писателей. Какъ извѣстно, наклонность къ этому стилю удержалась до первой четверти нашего столѣтія, когда еще велся споръ „о старомъ и новомъ слогѣ“. Писатели того періода и круга, которые обвиняются въ оторванности отъ народа, стремятся именно къ тому, чтобы дать въ книжномъ языкѣ мѣсто русскому народному элементу. Очевидно, что винить ихъ за это очень мудро.

То образовательное содержаніе, какое почерпалось теперь въ литературахъ классической и новой европейской, съ теченіемъ

времени, съ размноженіемъ школъ, съ расширеніемъ самой литературы, съ одной стороны, распространяется все на большую массу общества, съ другой воспринимается все въ болѣе серьезномъ смыслѣ и въ болѣе тонкихъ отгѣнкахъ. Изученіе того, какъ совершенствовалось самое *пониманіе* европейской и классической литературы, составило бы любопытную страницу въ исторіи нашей образованности. Такъ, первый классицизмъ является у насъ на славянско-русскомъ языкѣ XVII-го вѣка въ произведеніяхъ южно-русскихъ и западно-русскихъ ученыхъ и церковныхъ проповѣдниковъ. Это былъ классицизмъ старой католической церковной школы, формы которой были перенесены въ наши духовныя академіи и семинаріи. Это была на первыхъ порахъ чисто школьная рутина, гдѣ знаніе классическихъ литературъ, особливо римской, доставляло запасъ реторическихъ украшеній, которыя чисто внѣшнимъ образомъ приставлялись, напр., къ церковной проповѣди: въ особенности пошла въ ходъ греко-римская міеологія, изъ которой извлекалось множество реторическихъ сравненій, примѣровъ и т. п. Южно-русскій и западно-русскій писатель не задумывался приводить имена греческихъ божествъ въ своихъ православныхъ писаніяхъ (онъ слишкомъ привыкъ къ этому въ латино-польской школѣ и литературѣ), и Москва XVII-го вѣка очень скандализировалась, встрѣчая въ богословскомъ сочиненіи имена Зевеса, Меркурія или самой Афродиты: это казалось непозволительнымъ язычествомъ — видѣли формальное язычество тамъ, гдѣ была только реторика. Такъ какъ французскій псевдо-классицизмъ видѣлъ свое основаніе въ той же античной литературѣ, то и впоследствии этотъ классическій литературный орнаментъ продолжаетъ господствовать въ свѣтской литературѣ, гдѣ онъ уже нивого не пугаетъ: стихотворческая фантазія не можетъ обойтись безъ пособія музъ, Олимпа и Иппокрены. Странно сказать, что этотъ приѣмъ господствуетъ не только у Тредьяковскаго и у Сумарокова, но даже у ближайшихъ предшественниковъ Пушкина, наконецъ, даже у самого Пушкина, съ которымъ и кончается. Поэты первой четверти нашего столѣтія еще не могутъ обойтись безъ Музы, безъ Кастальскихъ источниковъ, безъ харитъ и грацій, безъ Аполлона, Вакха и Киприды; но былъ, впрочемъ, и большой шагъ впередъ противъ классиковъ XVIII-го вѣка. То внѣшнее подражаніе, какое господствовало прежде, замѣняется все болѣе живымъ и глубокимъ пониманіемъ стараго классицизма: если, съ одной стороны, классическія воспоминанія остаются изящнымъ украшеніемъ для совсѣмъ новой поэзіи, то, съ другой — является гораздо большее

умѣнье понять дѣйствительныя красоты античныхъ писателей, войти въ ихъ міровоззрѣніе, оцѣнить изящныя подробности. Все тѣ же классики занимаютъ русскую литературу и во времена Кантемира, и во времена Батюшкова, но на пространствѣ почти ста лѣтъ сдѣланы были большіе успѣхи: Батюшковъ, безъ сомнѣнія, глубже чувствуетъ тѣхъ Горация и Тибулла, которыхъ онъ такъ внимательно изучалъ, умѣетъ войти въ ихъ міросозерцаніе, съ которымъ сливается его собственное. Историки нашей литературы считаютъ особенной заслугой Батюшкова его антологическую поэзію, его искусство передать духъ древнихъ поэтовъ этого стиля. Раньше этого сдѣлано не было; но это художественное усвоеніе возможно было теперь только послѣ ряда прежнихъ работъ, послѣ того, какъ русская литература приобрѣла большую степень поэтической восприимчивости, болѣе выработанный языкъ и форму.

Для цѣлаго достоинства литературы усвоеніе классическаго и много поэтическаго матеріала было необходимо. Чтобы развить собственное и національное, чтобы дать ему подобающее мѣсто среди дѣятельности другихъ народовъ, нужно было усвоить то, что сдѣлано было другими, усвоить не виѣшнимъ образомъ, а путемъ внутренняго пониманія и свободно настроеннаго творчества. На первыхъ шагахъ литературы это было умственно и нравственно невозможно: антологическая дѣятельность Батюшкова, представленная многими, дѣйствительно прекрасными и искренними произведеніями, была возможна только какъ результатъ продолжительныхъ прежнихъ опытовъ и закрѣпляла въ литературѣ извѣстную долю пониманія классическаго міра. Такимъ образомъ, въ его дѣятельности сдѣланъ былъ извѣстный шагъ, за которымъ стали возможны дальнѣйшія ступени. Подобнымъ образомъ совершались и вообще приобрѣтенія нашей литературы со стороны содержанія, а вмѣстѣ и языка. Одинъ и тотъ же писатель инوземной литературы, одно и то же произведение встрѣчаются въ русскихъ истолкованіяхъ на пространствѣ XVIII-го вѣка и начала нынѣшняго столѣтія, но чѣмъ дальше, тѣмъ пониманіе ихъ становится серьезнѣе, и наконецъ они провѣряются уже собственной критикой. Наша литература слѣдуетъ, обыкновенно болѣе или менѣе опаздывая, за основными явленіями европейской литературы и болѣе или менѣе переживаетъ ихъ собственной мыслію; и когда они такимъ образомъ усвоивались, то тѣмъ самымъ расширялось содержаніе нашей собственной литературы, тѣмъ свободнѣе становились ея собственные приемы и смѣлѣе обработка матеріала русской жизни.

Батюшковъ въ этомъ отношеніи представляетъ особенно любопытный типъ писателя стараго вѣка, именно, первой четверти столѣтія. Это была натура несомнѣнно талантливая, хотя, повидимому, съ самаго начала болѣзненная и, быть можетъ; оттого нѣсколько неустойчивая. Его школьное образованіе было весьма неполное, но счастливыя личныя условія, собственная восприимчивость и талантъ помогли ему пополнить недостатки школы, — хотя въ извѣстныхъ пунктахъ, какъ увидимъ, ему недоставало очень многого. Средствомъ его дальнѣйшаго образованія осталась, конечно, литература — отчасти классики, къ которымъ приводилъ его Муравьевъ, а главнымъ образомъ владычествовавшая тогда литература французская. Выше упомянуто, что уже 14-ти лѣтъ онъ собирается читать „Кандида“, и Вольтеръ надолго остался для него источникомъ восхищенія и поученія. Чтеніе наводитъ его на поэтическіе мотивы и на философскія размышленія, но поэзія удается ему лучше философіи. Обстановка, въ которой онъ жилъ, была спокойно консервативная, и то, что онъ вычитывалъ у Вольтера, складывалось въ весьма мирное свободолюбіе, извѣстнаго рода либеральный идеализмъ. Такъ какъ его вольтеріанская философія была въ сущности мало опытнымъ дилеттантствомъ, то немудрено, что онъ послѣ въ значительной степени отказался отъ нея.

За классической лирикой и Вольтеромъ слѣдовалъ рядъ другихъ литературныхъ увлеченій и пристрастій: онъ заинтересованъ Оссіаномъ, скандинавской поэзіей, отголоски которой доходятъ до него черезъ французскія книги; еще въ пансіонѣ онъ сталъ заниматься итальянскимъ языкомъ и увлекается теперь Петраркой, Аріостомъ и Тассомъ — послѣдняго много переводитъ и воспѣваетъ въ собственныхъ элегіяхъ; англичане извѣстны ему мало; нѣсколько ближе онъ знаетъ нѣмцевъ, но въ первый разъ почувствовалъ настоящую силу нѣмецкой литературы только послѣ того, когда самъ былъ въ Германіи въ 1813 году; наконецъ, онъ знаетъ новую французскую лирику въ лицѣ Парни, и французскій романтизмъ въ лицѣ Шатобріана.

Всѣ эти литературныя стихіи отразились болѣе или менѣе въ его поэтической дѣятельности. Нельзя не видѣть, что въ его увлеченіяхъ было много случайнаго: его литературныя стремленія не складывались въ какомъ-нибудь ясно опредѣленномъ направленіи; это — страстный любитель, который въ разныхъ областяхъ европейской литературы ищетъ новыхъ впечатлѣній и отзывается на сочувственные мотивы. Нѣкоторыя изъ этихъ его литературныхъ знакомствъ, хотя для него весьма привлекательныхъ, были,

однако, очень поверхностны, какъ, напр., знакомство съ поэзіей скандинавской и даже съ нѣмецкой литературой; литературу французскую онъ зналъ всего ближе, но и здѣсь многія основныя черты отъ него ускользали... Этотъ, всего чаще неглубокій, электизмъ характеризуетъ не одного Батюшкова, но и весь лучший литературный кругъ того времени. Литературныя явленія, какъ и политическія событія, съ конца прошлаго вѣка быстро слѣдовали одни за другими, исполненныя часто глубокаго значенія. Въ содержаніи литературы и въ ея формахъ совершался, какъ и въ политическомъ строѣ Европы, могущественный переворотъ: старый аристократическій псевдо-классицизмъ, съ его натянутой манерой, съ его условными или отвлеченными темами, падалъ безвозвратно; его смѣнялъ въ романтизмъ свободный полетъ фантазій, выбиравшій новыя капризныя формы; вступала въ свои права интимная жизнь чувства съ тѣмъ внутреннимъ разладомъ, въ которомъ отражалось тогдашнее броженіе началъ нравственныхъ и общественныхъ; наконецъ, взаимныя условнаго классическаго единообразія выступали разнообразнѣйшіе элементы національности, съ ихъ романтикой стараго преданія и современной народной поэзіи. Въ то же время въ другой области литература преисполнена была борьбой разнородныхъ ученій религиозныхъ, политическихъ, историческихъ; возникала новая критика и новая теорія искусства...

Трудно было овладѣть одному человѣку всѣмъ этимъ богатымъ многообразіемъ европейской мысли, когда между самими литературами Европы далеко не было того общенія, какое прочно устанавливается между ними теперь. Многія однородныя явленія совершались въ разныхъ литературахъ безъ взаимной связи, почти не зная одно о другомъ, — между тѣмъ какъ во многихъ случаяхъ они могли бы поддержать другъ друга... Не мудрено, что и въ намъ новыя литературныя результаты приходили съ тою случайностью, какую видимъ у Батюшкова. Она восполнялась тѣмъ, что трудъ изученія былъ раздѣленъ. Батюшковъ былъ одинъ изъ цѣлаго кружка солидарныхъ дѣятелей, соединенныхъ однимъ общимъ стремленіемъ обогащать содержаніе нашей литературы, и, дѣйствительно, изъ ихъ вкладовъ собиралась нѣчто общее, что давало литературѣ новый тонъ и новый видъ.

То новое литературное содержаніе, какое отличаетъ послѣдніе годы прошлаго вѣка и начало нынѣшняго, означаютъ обыкновенно именемъ школы сентиментальной, связываемой съ именемъ Карамзина, и романтической, гдѣ первое мѣсто отдается Жуковскому. Эти названія болѣе или менѣе вѣрны. Вступленіе новыхъ

элементовъ въ литературную жизнь было замѣтно, между прочимъ, по той ожесточенной враждѣ, какую новыя направленія встрѣтили въ представителяхъ старомоднаго классицизма. Это была извѣстная борьба Шишкова и его партизановъ противъ послѣдователей Карамзина. Борьба была довольно смутная. Послѣдователи Шишкова не совсѣмъ понимали, чего хотѣли, и тѣмъ легче была защита, которую связываютъ обыкновенно съ именемъ такъ-называемаго „Арзамаса“. — Вопросъ „о старомъ и новомъ слоgѣ“, поднятый Шишковымъ, обозначалъ, въ сущности, не одну только вражду къ Карамзинскимъ нововведеніямъ въ языкѣ, но и сидѣвшую въ людяхъ стараго вѣка антипатію ко всякимъ новымъ идеямъ, заходившимъ въ литературу: Карамзинъ, въ послѣдніе годы прошлаго столѣтія и въ первые годы нынѣшняго имѣлъ, въ глазахъ этихъ людей репутацію большого либерала. Относительно Шишкова высказывалась мысль, что онъ былъ именно защитникомъ здравыхъ русскихъ народныхъ началъ противъ иноземныхъ нововведеній; новый біографъ Батюшкова, кажется, не раздѣляетъ этого взгляда и видитъ въ нападеніяхъ Шишкова на его противниковъ только „простодушіе невѣжды и откровенность ограниченаго человѣка“¹⁾. Какъ извѣстно, въ 1812 году Шишковъ высказывался, что писатели, искавшие образцовъ во французской литературѣ, были виновниками не только „французской заразы“, но и самаго нашествія Наполеона и пожара Москвы. Отсюда виденъ смыслъ его борьбы противъ „новаго слога“; но онъ понималъ вещи такъ смутно и защищалъ свои взгляды такъ нескладно, что въ результатѣ оставалось неизвѣстно, въ чемъ же долженъ былъ состоять русскій народный интересъ, въ виду тѣхъ заимствованій, которыя наполняли литературу. Его нападенія встрѣтили достаточный отвѣтъ отъ приверженцевъ Карамзина и новой литературы. Для многихъ и въ томъ числѣ лучшихъ представителей новаго направленія весь вопросъ сталъ только предметомъ остроумнаго шутовства: такъ казались нелѣпы и такъ дѣйствительно бывали нелѣпы обвиненія и провлятія Шишкова. Батюшковъ, по связямъ съ Муравьевымъ и по характеру своихъ произведеній скоро применившій къ новому литературному кругу, во главу котораго ставился Карамзинъ (хотя, отдавши своею историческому труду, послѣдній давно покинулъ прежнія литературныя занятія), — не могъ быть иного мнѣнія о дѣятельности Шишкова и отозвался на литературный споръ только шутливыми стихотвореніями: „Видѣніе на берегахъ

¹⁾ Т. I, стр. 185, въ біографіи.

Леты“ (1809) и „Пѣвецъ въ Бесѣдѣ славянороссовъ“ (1813). По поводу рѣчи, произнесенной Шишковымъ при открытіи извѣстной Бесѣды, Батюшковъ высказался очень рѣзко: „Иные смѣялись, читая его слово,—писалъ онъ Гнѣдичу,—а я плакалъ. Вотъ образецъ нашего жалкаго просвѣщенія! Ни мыслей, ни ума, ни соли, ни языка, ни гармоніи въ періодахъ: une stérile abondance de mots, и все тутъ, а о ходѣ и планѣ не скажу ни слова. Это — академическая рѣчь? Гдѣ мы?.. И этотъ человѣкъ, и эти люди бранятъ Карамзина за мелкія ошибки и строки, написанныя въ молодости, но въ которыхъ дышитъ дарованіе! И эти люди хотятъ сдѣлать революцію въ словесности не образцовыми произведеніями, нѣтъ, а системою новою, глупою!“ ¹⁾ Батюшковъ былъ достаточно образованъ, чтобы понимать нелѣпость шишковскихъ нападеній и на новое направленіе, не представлявшее ничего зловреднаго, но способствовавшее успѣхамъ литературы въ обществѣ и развитію литературнаго вкуса, и на новый языкъ, относительно котораго онъ справедливо разсуждалъ, что языкъ не можетъ оставаться неподвижнымъ и, напротивъ, идетъ вмѣстѣ съ развитіемъ самого общества и государства. Батюшковъ понималъ также, что не однажды разражавшіеся тогда нападки на галломанію представляютъ ту опасность, что, защищая патріотическій интересъ, они рядомъ проповѣдуютъ злостную вражду къ образованію, котораго и безъ того было слишкомъ мало.

Въ этомъ столкновеніи Батюшковъ стоялъ, безъ сомнѣнія, на лучшей сторонѣ общественнаго мнѣнія. Литературному дѣлу онъ оказалъ несомнѣнныя услуги расширеніемъ поэтическихъ интересовъ, вводя новые мотивы, расширяя знакомство съ произведеніями старой и новой иноземной поэзіи и такимъ образомъ расширяя опытъ, который былъ необходимъ для того, чтобы русская поэзія могла, наконецъ, выдвинуть свое собственное содержаніе на томъ же уровнѣ, какой давали современныя литературы Европы и который былъ нуженъ для ея самобытнаго достоинства. Но въ этой дѣятельности Батюшкова были, однако, существенныя пробѣлы: одна доля ихъ, вѣроятно, должна быть отнесена на счетъ болѣзненности, которая издавна надъ нимъ тяготѣла и окончилась его послѣднимъ прискорбнымъ недугомъ; съ другой стороны, эти пробѣлы принадлежатъ цѣлому поколѣнію. Въ данный моментъ историческое развитіе не можетъ дать больше того, что возможно для общества по его общему умственному и нравственному состоянію: для каждаго дальнѣйшаго приобрѣтенія на

¹⁾ Т. I, стр. 135—136, въ біографіи.

историческомъ поприщѣ требуется новый запасъ силъ, которыя, воспользовавшись предыдущимъ, ведутъ дѣло дальше къ новой ступени развитія. Поколѣніе, къ которому принадлежалъ Батюшковъ, сдѣлало свое дѣло въ десятихъ и двадцатыхъ годахъ столѣтія. Поколѣніе, съ лучшими представителями котораго онъ былъ связанъ близкой и искренней дружбой, были—Жуковский, князь П. А. Вяземскій, А. И. Тургеневъ, Уваровъ, Гнѣдичъ, Блудовъ и вообще такъ-называемый „Арзамасъ“. Многие изъ сверстниковъ и друзей Батюшкова продолжали дѣйствовать долго послѣ того, какъ прекратилась его собственная дѣятельность; но никто изъ нихъ уже не пошелъ дальше тѣхъ идей, какія были содержаніемъ ихъ кружка въ первой четверти столѣтія. Такова была, напр., дѣятельность Жуковского: онъ много работалъ и послѣ, далъ нашей литературѣ много прекрасныхъ произведеній, только расширявшихъ ту самую область, которая была уже имъ выбрана раньше; точно такъ же и другіе. Этотъ кружокъ, и Батюшковъ въ томъ числѣ, привѣтствовалъ Пушкина, но литературный подвигъ Пушкина затмилъ ихъ не только силой могущественнаго дарованія, но глубиной и новостью содержанія, котораго они не могли не признать, но которое было выше ихъ собственныхъ средствъ. Сличая идеи этого кружка съ идеями пушкинской дѣятельности, бросается въ глаза, что первыя составляли именно только приготовительную ступень, которая, будучи для нихъ дѣломъ ихъ зрѣлаго труда, для Пушкина стала только юношескимъ урокомъ и ученическимъ опытомъ.

Нѣсколько примѣровъ объяснять это различіе двухъ поколѣній. Разница двухъ историческихъ ступеней, на которыхъ онѣ стояли, обнаруживается въ особенности въ отношеніи каждаго изъ нихъ къ явленіямъ русской жизни. Какъ ни странно сказать о писателяхъ, занимающихъ такое видное мѣсто въ исторіи русской литературы, какъ Батюшковъ и даже Жуковский, но ихъ отношеніе къ русской жизни было очень далекое. Ихъ мысль и фантазія витали въ области идеальныхъ представленій, навѣянныхъ европейской литературой, въ области внутреннего чувства, и здѣсь ихъ поэтическая работа была большимъ успѣхомъ литературы, какъ новый матеріалъ для образовательно-художественнаго и нравственнаго воспитанія; но они были далеки отъ простой русской дѣйствительности и ея историческаго преданія. Какъ мы выше упоминали, мы узнаемъ внутреннее развитіе того поколѣнія, и Батюшкова въ томъ числѣ, лишь по отрывочнымъ біографическимъ даннымъ, случайно оставшимся въ иномъ письмѣ, въ иномъ позднемъ воспоминаніи другого лица, въ намекѣ стихотворенія

и т. п.; но при всей неполнотѣ этихъ показаній они даютъ видѣть взгляды этихъ лицъ на разные отношенія русской жизни. Обращимъ, напр., вниманіе на отношеніе Батюшкова къ русской давней и недавней старинѣ. Извѣстно, въ какой степени эта старина интересовала Пушкина: онъ читалъ ея старыя памятники, онъ съ жадностью собиралъ преданія о людяхъ и нравахъ недавняго прошлаго, прислушивался къ народной поэзіи, старался представить себѣ внутренній ходъ политической жизни русскаго общества, думалъ, наконецъ, что самъ можетъ стать историкомъ; правда, онъ не пускался въ археологическія подробности, но у него была перѣдко замѣчательная отгадка смысла событій и живой стороны прошедшаго. Ничего подобнаго мы не найдемъ у Батюшкова. Его отношеніе къ старинѣ и народности есть отношеніе свѣтскаго человѣка, который занимается литературой какъ дилеттантъ, пугается „учености“, даже самой умѣренной, и имѣетъ слабое понятіе о русской исторіи. Г. Майковъ, объясняя, что во время упомянутого шишковско-карамзинскаго спора „справедливая идея (т.-е. защита національности въ литературѣ) въ неумѣлыхъ и невѣжественныхъ рукахъ получила смѣшной и нелѣпый видъ“, находитъ понятнымъ, что Батюшковъ могъ уклониться въ противоположную крайность ¹⁾. Но мысли Батюшкова о русской исторіи, какія біографъ здѣсь указываетъ, очевидно не были вызваны однимъ разгаромъ спора: этотъ споръ далъ писателю только поводъ высказать взглядъ, который былъ его обычнымъ взглядомъ. Вотъ что именно пишетъ Батюшковъ въ 1809 г. къ своему другу Гнѣдичу: „Нѣтъ, невозможно читать русской исторіи *хладнокровно*, то-есть, съ разсужденіемъ. Я сто разъ принимался: все равно. Она дѣлается интересною *только со временъ Петра Великаго*. Подивись, подивимся *мелкимъ людямъ*, которые роются въ этой *пыли*. Читай римскую, читай греческую исторію, и сердце чувствуетъ, и разумъ находитъ пищу. Читай исторію средних вѣковъ, читай басни, ложь, невѣжество нашихъ праотцовъ, читай набѣги половцевъ, татаръ, литвы и проч., и если книга не выпадетъ изъ рукъ твоихъ, то я скажу: или ты великій, или мелкій человѣкъ! Нѣтъ середины! Великій, ибо видишь, чувствуешь то, чего я не вижу; мелкій, ибо занимаешься пустяками. Жанъ-Жакъ говоритъ: *Car ne vous laissez pas éblouir par ceux qui disent, que l'histoire la plus intéressante pour chacun est celle de son pays. Cela n'est pas vrai. Il y a des pays dont l'histoire ne peut pas être même lue, à moins qu'on ne soit imbécile ou*

¹⁾ Т. I, стр. 99, въ біографіи.

négociateur“ ¹⁾. Батюшковъ нападаетъ при этомъ на одного изъ сторонниковъ шишковской школы, Писарева, который покушался писать о русской исторіи и напомнилъ Батюшкову Тредьяковскаго... „Отъ одного слова *русское*, не встати употребленнаго, у меня сердце не на мѣстѣ“. Далѣе онъ говоритъ въ томъ же письмѣ: „Еще два слова: любить отечество должно. Кто не любитъ его, тотъ извергъ. Но можно ли любить невѣжество? Можно ли любить нравы, обычаи, отъ которыхъ мы отдалены вѣками и, что еще болѣе, цѣлымъ вѣкомъ просвѣщенія? Зачѣмъ же эти усердные маратели выхваляютъ все старое? Я умѣю разрѣшить эту задачу, знаю, что и ты умѣешь, — и такъ, ни слова. Но повѣрь мнѣ, что эти патріоты, жаркіе декламаторы, не любятъ или не умѣютъ любить русской земли. Имѣю право сказать это, и всякій пусть скажетъ, кто добровольно хотѣлъ принести жизнь на жертву... Да дѣло не о томъ: Глинка называетъ *Вѣстникъ* свой *Русскимъ*, какъ будто пишетъ въ Китаѣ для миссіонеровъ или пекинскаго архимандрита. Другіе, а ихъ тысячи, жужжатъ, напештываютъ: русское, русское, русское... а я потерялъ вовсе терпѣніе!“ ²⁾

Въ приведенныхъ словахъ, вызванныхъ крайностями шишковской школы, была доля правды, но было и простое непониманіе русской исторіи. Мы видимъ здѣсь пока только инстинктъ, который вѣрно подсказывалъ антипатію къ злоупотребленію патріотической терминологіи, когда подъ ней не было здраваго содержанія. Литературный тактъ, выработанный Батюшковымъ въ его школѣ, помогать ему видѣть, что было нескладнаго и фальшиваго въ томъ отношеніи къ русской старинѣ и національности, какимъ отличались Шишковъ и его приверженцы; но онъ не въ состояніи былъ замѣнить ихъ чѣмъ-нибудь положительнымъ. Онъ искалъ въ исторіи литературной красоты или философскихъ сентенцій, съ какими понималъ исторіографію XVIII вѣка; ему какъ будто не приходило на мысль, что первая задача исторіи — установить достовѣрные факты, разыскать ихъ соотношенія и найти связь прошедшаго съ настоящимъ; что для этой первой задачи необходимо переислѣдовать всѣ разнородные сохранившіеся памятники древности — безъ чего исторія даже въ рукахъ талантливаго че-

¹⁾ Любопытно сличить этотъ отзывъ съ мнѣніями людей стараго (и для Батюшкова) вѣка, какъ, напр., Завадовскій, слова котораго приводятся, между прочимъ, въ статьѣ г. Брикнера объ „Архивѣ кн. Воронцова“. Завадовскій точно также совсѣмъ не понималъ русской старины, и интересъ въ русской исторіи видѣлъ именно только со времени Петра Великаго.

²⁾ Т. III, стр. 56—58.

ловѣка, не Писарева, была бы однимъ пустословіемъ. Онъ дивится людямъ, которые „роются въ пыли“ русской старины, догадывается только, что въ этомъ есть что-то нужное ¹⁾, но забываетъ или не думаетъ, что въ это самое время точно такъ же „рылся въ пыли“ Карамзинъ.

Подобное неясное отношеніе къ старинѣ и народности повторяется въ разсужденіяхъ Батюшкова о русскомъ языкѣ, литературномъ и народномъ. Онъ опять съ вѣрнымъ инстинктомъ чувствуетъ, что было фальшиваго, неизячнаго и даже противонароднаго въ стремленіяхъ Шишкова наполнить русскій книжный языкъ славянциной. Въ 1816 году онъ пишетъ Гнѣдичу, по поводу разсужденія Каченовскаго о славянскихъ діалектахъ. „Я не кричу, — говоритъ онъ, — я невѣжда, но, кажется, онъ рѣжетъ истину“. Каченовскій придерживался того мнѣнія, что библія была переведена первоначально на сербское нарѣчіе, а „славянский“ языкъ вовсе исчезъ и, можетъ быть, чистый и не существовалъ, потому что „подъ именемъ славянъ мы разумѣли всѣ поколѣнія славенскія, говорившія разными нарѣчіями, весьма отличными одно отъ другого“. Батюшковъ радовался этой ученой новости. „Онъ разбудитъ славянофиловъ. Если правду говорить Каченовскій, то каковъ Шишковъ съ партіей! Они влюблены были въ Дульцинею, которая никогда не существовала. Варвары, они исказили языкъ нашъ славенщиною! Нѣтъ, никогда я не имѣлъ такой ненависти къ этому мандаринному, рабскому, татарско-славенскому языку, какъ теперь! Чѣмъ болѣе вникаю въ языкъ нашъ, чѣмъ болѣе пишу и размышляю, тѣмъ болѣе удостоиваюсь, что языкъ нашъ не терпитъ славенизмовъ, что верхъ искусства — похищать древнія слова и давать имъ мѣсто въ нашемъ языкѣ, котораго грамматика, синтаксисъ, однимъ словомъ, все — противно сербскому нарѣчію. Когда переведутъ священное писаніе на языкъ человѣческій? Дай Боже! Желая этого!“ ²⁾

Опять инстинктъ Батюшкова былъ вѣренъ, потому что въ шишковскомъ языкѣ дѣйствительно было нѣчто „мандаринное“, какъ выражается Батюшковъ, нѣчто условно-казенное и въ концѣ концовъ даже противонародное; но несмотря на то, что Батюшковъ самъ много сдѣлалъ для усовершенствованія нашей литературной рѣчи, онъ еще не чувствовалъ всей силы, на какую способенъ русскій языкъ. По поводу своего итальянскаго

¹⁾ Напр., въ 1816 году въ письмѣ къ Гнѣдичу онъ отказывается напечатать „Видѣніе на берегахъ Леты“, между прочимъ, чтобы не огорчить Дмитрія Языкова, который „питается пылью“. Сочин. т. III, стр. 389.

²⁾ Т. III, стр. 409—410.

чтенія и затѣмъ по поводу знаменитой своей элегіи на тему смерти Тасса, Батюшковъ, увлекавшійся красотою и звучностію итальянскаго языка, не разъ находилъ русскій грубымъ и варварскимъ. Въ 1811 году онъ пишетъ Гнѣдичу: „Отгадайте, на что я начинаю сердиться? На что? На русскій языкъ и на нашихъ писателей, которые съ нимъ немилосердно поступаютъ. И языкъ-то по себѣ плоховать, грубенекъ, пахнетъ татарщиной. Что за *ы*? Что за *и*, что за *ш*, *шій*, *шій*, *пры*, *тры*? О варвары! А писатели? Но Богъ съ ними! Извини, что я сержусь на русскій народъ и на его нарѣчіе. Я сію минуту читалъ Аріоста, дыпалъ чистымъ воздухомъ Флоренціи, наслаждался музыкальными звуками авзонійскаго языка и говорилъ съ тѣнями Данта, Тасса и сладостнаго Петрарка, изъ устъ котораго что слово, то блаженство“. Позднѣе, въ статьѣ объ Аріостѣ и Тассѣ, онъ говоритъ объ итальянскомъ языкѣ, въ сравненіи съ языками сѣверными: „Языкъ гибкій, звучный, сладостный языкъ, воспитанный подъ счастливымъ небомъ Рима, Неаполя и Сициліи, среди бурь политическихъ и потомъ при блестящемъ дворѣ Медичи-совъ, языкъ, образованный великими писателями, лучшими поэтами, мужами учеными, политиками глубокомысленными,—этотъ языкъ сдѣлался способнымъ принимать всѣ виды и всѣ формы. Онъ имѣетъ характеръ, отличный отъ другихъ новѣйшихъ нарѣчій и коренныхъ языковъ, въ которыхъ менѣе или болѣе примѣтна суровость, глухіе или дикіе звуки, медленность въ выговорѣ и нѣчто принадлежащее Сѣверу“. „Умирающій Тассъ“ (1816) внушаетъ Батюшкову такое размышленіе: „Я смѣшнень, по совѣсти. Не похожъ ли я на слѣпного нищаго, который, услышавъ прекраснаго виртуоза на арфѣ, вдругъ вздумалъ воспѣвать ему хвалу на волынкѣ или балалайкѣ? Виртуозъ—Тассъ, арфа—языкъ Италіи его, нищій—я, а балалайка—языкъ нашъ, жестокій языкъ, что ни говори“. Но около того же времени онъ вноситъ въ свою записную книжку слѣдующія замѣчанія. „Каждый языкъ имѣетъ свое словотеченіе, свою гармонію, и странно было бы русскому, или итальянцу, или англичанину писать для французскаго уха, и наоборотъ. Гармонія, мужественная гармонія не всегда прибѣгаетъ къ плавности. Я не знаю плавнѣе этихъ стиховъ:

На свѣтло-голубомъ зѣнрѣ
Златая плавала луна, и пр.

и оды „Соловей“ Державина. Но какая гармонія въ „Водопадѣ“ и въ одѣ на смерть Мещерскаго:

Глаголь времянь, металла звонъ“¹⁾).

И это предубѣжденіе противъ русскаго языка высказывалось писателемъ, которому принадлежить въ до-пушкинское время великая заслуга въ образованіи нашей поэтической рѣчи, гдѣ ему приписывается даже большее мастерство, чѣмъ у Жуковскаго. Надо думать, что при всемъ художественномъ настроеніи онъ не имѣлъ того глубокаго чутія народнаго языка, какое послѣ отличало Пушкина—хотя, впрочемъ, и нашъ великій поэтъ сказалъ однажды, что французскій языкъ ему болѣе привыченъ, нежели русскій.

Батюшкову чужда была и область народно-поэтическаго преданія. Мы упоминали, что романтическая струя затронула и Батюшкова, какъ показываютъ его эскурсии въ скандинавскую поэзію и въ Оссіана; но онъ подшучивалъ надъ мистическимъ романтизмомъ Жуковскаго, надъ его пристрастіемъ къ исторіямъ о чертяхъ, вѣдьмахъ, мертвецахъ и т. п., и, кажется, въ самомъ дѣлѣ не имѣлъ вкуса къ народно-поэтическому сказанію и не имѣлъ предчувствія того, какой скрывается въ немъ обильный матеріалъ для развитія національной поэзіи. Въ одномъ письмѣ къ Гнѣдичу 1811 года онъ говоритъ: „Жуковскій написалъ балладу, въ которой стихи прекрасны, а сюжетъ взятъ на Спасскомъ мосту“²⁾. На Спасскомъ мосту, о которомъ поминали еще сатирики конца прошлаго вѣка, смѣявшіеся надъ простонародной поэзіей, шла, повидимому, и теперь торговля незамысловатыми произведеніями народной повѣсти и сказки, и въ шуточнѣйшій ссылкѣ Батюшкова свозить это же старое нерасположеніе къ простонародной музѣ. Но въ литературахъ европейскихъ, гдѣ Батюшковъ и его друзья еще искали образцовъ и руководства, народное преданіе приобрѣтало все большую роль, и даже въ литературѣ французской, которая осталась всего дальше отъ народно-поэческаго романтизма, Батюшковъ находилъ у своего любимца Парни скандинавскій сюжетъ, которымъ воспользовался для своего стихотворенія. Слѣдовало ли оставлять безъ вниманія русскую историческую старину? Дружескій кружокъ, повидимому, согласно находилъ, что не слѣдовало, тѣмъ болѣе, что первыя пробы этого рода были давно сдѣланы Карамзинымъ, Радищевымъ и другими. Жуковскій, уже обращавшійся къ источнику народныхъ сказаній, задумывалъ, какъ извѣстно, цѣлую поэму изъ древне-русской исторіи; но этотъ „Владиміръ“, къ которому

¹⁾ Т. I, стр. 234—236; т. II, стр. 149, 340; т. III, стр. 164, 457.

²⁾ Т. III, стр. 111.

поощрялъ его и Батюшковъ, остался неисполненнымъ. Самъ Батюшковъ попробовалъ свои силы въ повѣсти изъ русской древности подъ заглавіемъ: „Предслава и Добрыня“ (1810). Повѣсть не была, впрочемъ, напечатана самимъ Батюшковымъ и появилась уже въ 1832 году, когда дѣятельность Батюшкова давно прекратилась. Повѣсть относится къ временамъ кievскаго князя Владимира. Нечего и говорить, что въ ней, кромѣ именъ Владимира и Добрыни, кромѣ двухъ-трехъ археологическихъ подробностей, найденныхъ въ двухъ-трехъ книгахъ, нѣтъ ровно ничего ни историческаго, ни народнаго. Батюшковъ видимо подражалъ здѣсь повѣсти Муравьева, также изъ древне-кievской эпохи („Оскольд“): та же неестественная высокопарная манера, то же притязаніе рисовать величественныя картины и нѣжныя чувства. Для сохраненія колорита времени Батюшковъ счелъ нужнымъ сдѣлать историческія справки—съ лѣтописью Нестора, съ книгой Кайсарова о славяно-русской миеологіи; но они мало помогли ему, и къ ошибкамъ Кайсарова онъ прибавилъ еще весь фальшивый тонъ своего разсказа, патянутаго и слащаваго. Очень возможно, что Батюшковъ въ свое время не отдавалъ въ печать этого разсказа потому именно, что самъ чувствовалъ его недостатки.

Отношеніе Батюшкова къ ближайшей исторіи несовсѣмъ ясно. Онъ мало касается нашего XVIII вѣка, и только къ петровской реформѣ онъ не разъ возвращается въ своихъ разсужденіяхъ. Взглядъ на Петра есть общій тогда взглядъ образованныхъ людей, какъ онъ былъ изложенъ, напр., Карамзинымъ въ „Письмахъ русскаго путешественника“. Петръ Великій создалъ Россію, впервые выведя ее изъ невѣжества къ просвѣщенію, далъ ей славу оружія, высоко поставилъ государство. Петровское преобразование есть для Батюшкова настоящее начало русской исторіи,—старинны до-петровской онъ не любитъ и не знаетъ, и даже мало интересуется знать. Подобнымъ образомъ, Ломоносовъ есть первый основатель русской литературы. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ Батюшковъ довольствуется однимъ панегирикомъ: повидимому, подробности петровскаго дѣла, какъ и подробности ломоносовской реформы, занимали его мало.

Если исторія представлялась ему лишь въ общихъ, неопредѣленныхъ очертаніяхъ (а древность была и совсѣмъ непонятна, облекаясь въ чисто произвольныя черты, книжно-выдуманная), если чуждо было ему и народное преданіе, то не мудрено, что и въ его отношеніи къ современной дѣйствительности, насколько она соприкасалась съ исторіей, мы находимъ нѣчто несвободное и искусственное. Возьмемъ одинъ примѣръ. Передъ двѣнадцатымъ

годою Батюшковъ не разъ и по долгу живалъ въ Москвѣ. Москва того времени была, безъ сомнѣнія, очень оригинальна. Заброшенная столица, она сохраняла, однако, разнообразное значеніе стариннаго центральнаго города, гораздо больше богатаго тогда, чѣмъ теперь, памятниками, обычаями и преданіями старины; здѣсь былъ пріютъ стараго боярства, которое отправлялось сюда жить на покой послѣ политическихъ придворныхъ тревоженій, которыми такъ богато было XVIII-ое столѣтіе, и гдѣ, забытое Петербургомъ, не встрѣчало препятствій своему праву и разнообразило свой вѣкъ всякими причудами, средства на которыя давало накопленное въ счастливые годы крѣпостное богатство; здѣсь съ до-петровскихъ временъ хранилась нерушимо бытовая старина, не сломленная реформой; но здѣсь же былъ и пріютъ новыхъ дворянскихъ нравовъ: по словамъ Карамзина, Москва была „столицей руссiйскаго дворянства“, куда охотище, чѣмъ въ Петербургъ, „отцы везуть дѣтей для воспитанія и люди свободные ѣдутъ наслаждаться пріятностями общежитія“. Много дѣлало при этомъ то, что Москва и въ новой имперіи осталась старымъ топографическимъ центромъ, который гораздо ближе Петербурга былъ къ среднимъ губерніямъ, составлявшимъ производительный центръ Россіи и владѣвшимъ наиболѣе многолюднымъ помѣщичьимъ населеніемъ. Словомъ, Москва больше, чѣмъ какой-нибудь другой русскій городъ, совмѣщала въ себѣ все разнообразіе бытовыхъ формъ до-петровскихъ и послѣ-петровскихъ, старинные нравы, вѣрные Домострою, и новѣйшее образованіе на французскій ладъ, всю пестроту жизни, выведенной изъ прежняго однообразнаго покоя и не установившейся въ новомъ бытовомъ складѣ. Двѣнадцатый годъ унесъ безвозвратно многое изъ этой старой Москвы и, можно сказать, вмѣстѣ съ этимъ унесъ многое изъ цѣлаго русскаго быта: погибло много памятниковъ старины и много старыхъ обычаевъ, которые уже не возвратились въ Москву, заново построенную и заново населенную... Эту именно Москву описывалъ Батюшковъ въ статьѣ: „Прогулка по Москвѣ“ (1810). Батюшковъ не былъ москвичъ, и естественно, что его должна была поразить картина жизни, слишкомъ непохожей на ту, какую онъ видалъ въ Петербургѣ. Онъ очень замѣтилъ эту разницу, догадывался о сложномъ историческомъ характерѣ, который представляла Москва; ему бросились въ глаза разнообразіе и противорѣчія московской жизни; онъ былъ достаточно умнымъ наблюдателемъ, — и тѣмъ не менѣе его картина мало удовлетворить наши ожиданія. Передъ нимъ былъ богатый матеріалъ для картины; онъ самъ пересчитываетъ этотъ матеріалъ,

и тѣмъ не менѣе изображеніе остается блѣднымъ. Одну причину онъ указываетъ откровенно самъ. Статья имѣетъ видъ письма къ другу: другъ желалъ отъ него описанія Москвы; авторъ отказывается дать его по двумъ причинамъ. „Первое — потому, что я не въ силахъ удовлетворить твоему любопытству *за немнѣніемъ достаточныхъ свѣденій историческихъ*, и пр. и пр., которыя необходимо нужны; ибо здѣсь на всякомъ шагу мы встрѣчаемъ памятники вѣковъ протекшихъ, но сіи памятники безмолвны для невѣжды, а я притворяться ученымъ не умѣю. Вторая причина — лѣнь, причина весьма важная!“ Дѣйствительно, историческія свѣденія были бы не лишними, чтобы передать сохранившіяся черты старинной Москвы, которыхъ въ то время было очень много, и жалъ, что „лѣнь“ (довольно распространенная тогда модная манера эпикурейскаго, или разочарованнаго, или барскаго бездѣлья) мѣшала писателю. По тогдашней, а также и болѣе поздней поэтической манерѣ онъ, дѣйствительно, даетъ своему описанію характеръ болтовни человѣка, который рассказываетъ только то, что прямо бросается въ глаза, которому лѣнь вникать въ представляющіяся ему картины и черты нравовъ и который небрежно разбрасываетъ свои замѣтки, наблюденія и остроты. Форма была весьма благодарная, потому что ни къ чему не обязывала, но, просматривая статью, думается, что только она и была по силамъ автору. Правда, самъ авторъ былъ еще очень молодъ въ то время, и на этомъ основаніи можно было бы не предъявлять къ статьѣ особыхъ требованій; но думаемъ, что она характерна и для позднѣйшаго Батюшкова. Въ ней сказывается цѣлая точка зрѣнія. Какъ мы сказали, матеріалъ для описанія до-пожарной Москвы представлялся здѣсь богатый и оригинальный. Въ самой статьѣ Батюшкова намѣчены многія, бросавшіяся въ глаза противоположности внѣшняго вида и нравовъ старой Москвы.

„Теперь, на досугѣ, — пишетъ Батюшковъ своему другу, — не хочешь ли со мною прогуляться въ Кремль? Дорогою я невольно восклицать буду на каждомъ шагу: это исполинскій городъ, построенный великанами; башня на башнѣ, стѣна на стѣнѣ, дворецъ возлѣ дворца! Странное смѣшеніе древняго и новѣйшаго зодчества, нищеты и богатства, нравовъ европейскихъ съ нравами и обычаями восточными! Дивное, непостижимое сліяніе суетности, тщеславія и истинной славы и великолѣпія, невѣжества и просвѣщенія, людскости и варварства. Не удивляйся, мой другъ: Москва есть вывѣска или живая картина нашего отечества. Посмотри: здѣсь, противъ зубчатыхъ башенъ древняго

Китай-города, стоитъ прелестный домъ новѣйшей итальянской архитектуры; въ этотъ монастырь, построенный при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, входитъ какой-то человѣкъ въ длинномъ кафтанѣ, съ окладистою бородою, и тамъ къ бульвару кто-то пробирается въ модномъ фракѣ: и я, видя отпечатки древнихъ и новыхъ временъ, вспоминаю прошедшее, сравнивая оное съ настоящимъ, тихонько говорю про себя: Петръ Великій много сдѣлать и ничего не кончилъ“ ¹⁾).

Читатель могъ бы спросить: отчего же нужно было говорить „тихонько про себя“, и худо или хорошо было, что Петръ Великій много сдѣлалъ и ничего не кончилъ, да и можно ли было ему вообще кончить то, что онъ началъ? Притомъ, кое-что онъ и „кончилъ“. Въ болѣе поздней статьѣ: „Вечеръ у Кантемира“ (1816) Батюшковъ, заставляя Кантемира спорить съ Монтескьё, сомнѣвавшимся въ возможности привить въ Россіи просвѣщеніе, и безъ сомнѣнія влагая ему въ уста свои собственные взгляды, находилъ, что Петръ Великій и не могъ достигнуть сразу всего и что за одними успѣхами должны были уже въ послѣдствіи придти другіе.

„Войдемъ теперь въ Кремль, — продолжаетъ авторъ, — направо, налѣво мы увидимъ величественныя зданія, съ блестящими куполами, съ высокими башнями, и все это обнесено твердою стѣною. Здѣсь все дышитъ древностію: все напоминаетъ о царяхъ, о патріархахъ, о важныхъ происшествіяхъ; здѣсь каждое мѣсто ознаменовано печатью вѣковъ протекшихъ. Здѣсь все противное тому, что мы видимъ на Кузнецкомъ мосту, на Тверской, на бульварѣ, и пр. Тамъ книжныя французскія лавки, модныя магазины, которыхъ уродливыя вывѣски заслоняютъ цѣлые дома, часовые мастера, погреба, и словомъ, всѣ снаряды моды и роскоши. Въ Кремлѣ все тихо, все имѣетъ какой-то важный и спокойный видъ; на Кузнецкомъ мосту все въ движеніи:

Корнеты, чепчики, мужья и сундуки.

„А здѣсь одни монахи, богомольцы, должностные люди и нѣсколько часовыхъ“.

Показавъ своему пріятелю картину Москвы и Кремля при закатѣ солнца, авторъ замѣчаетъ: „Здѣсь представляется взорамъ картина, достойная величайшей въ мірѣ столицы, построенной величайшимъ народомъ на пріятнѣйшемъ мѣстѣ. Тотъ, кто, стоя въ Кремлѣ и холодными глазами смотрѣлъ на исполинскія башни,

¹⁾ Т. II, стр. 20.

на древніе монастыри, на величественное Замоскворѣчье, не гордился своимъ отечествомъ и не благословлялъ Россіи, для того (и я скажу это смѣло) чуждо все великое, ибо онъ былъ жалостно ограбленъ природою при самомъ его рожденіи; тотъ поѣзжай въ Германію и живи, и умирай въ маленькомъ городкѣ, подъ тѣнью приходской колокольни съ мирными германцами, которые, углубясь въ мелкіе политическіе расчеты, протянули руки и выи для принятія оковъ гнуснѣйшаго рабства“.

Прибавимъ еще одну подробность. Онъ рисуетъ московскіе типы изъ „образованнаго“ круга. „Зайдемъ въ конфетный магазинъ, гдѣ жидъ или гасконецъ Гоа продаетъ мороженое и всякія сласти. Здѣсь мы видимъ большое стеченіе московскихъ франтовъ въ лакированныхъ сапогахъ, въ широкихъ англійскихъ фракахъ и въ очкахъ и безъ очковъ, и растрепанныхъ, и причесанныхъ. Этотъ, конечно, англичанинъ: онъ, разиня ротъ, смотритъ на восковую куклу. Нѣтъ, онъ русакъ и родился въ Суздаля. Ну, такъ этотъ—французъ: онъ картавитъ и говоритъ съ хозяйкой о знакомомъ ей чревоушчателѣ, который въ прошломъ годѣ забавлялъ весельчаковъ парижскихъ. Нѣтъ, это—старый франтъ, который не ѣзжалъ далѣе Макарья, и промотавъ родовое имѣніе, наживаетъ новое картами. Ну, такъ это—нѣмецъ, этотъ блѣдный высокій мужчина, который вошелъ съ прекрасною дамою? Ошибся! И онъ русскій, а только молодость провелъ въ Германіи. По крайней мѣрѣ жена его иностранка; она насилу говоритъ по-русски. Еще разъ ошибся! Она русская, любезный другъ, родилась въ приходѣ Неопалимой Купины и кончитъ жизнь свою на святой Руси. Отчего же они всѣ хотятъ прослыть иностранцами, картавятъ и кривляются, отчего?“

Повидимому, Батюшковъ подходилъ близко къ существеннымъ чертамъ тогдашнихъ нравовъ помѣщичьяго круга, московскаго высшаго общества, и, однако, эскизъ остается неясенъ. Приведенная картинка мало говоритъ о нравахъ, которые онъ хотѣлъ изображать. Батюшковъ останавливается на одномъ намежѣ, такъ сказать, на общихъ мѣстахъ, въ родѣ того, какъ нѣкогда сатирики XVIII-го вѣка изображали петиметровъ и кокетокъ, имѣвшихъ, въ сущности, только отдаленное сходство съ живою дѣйствительностью. Сатира и картина нравовъ, какія рисовались въ нашей литературѣ XVIII-го вѣка, были, какъ извѣстно, весьма условны, писались съ иностранныхъ образцовъ, ограничивались самыми неопредѣленными, общими человѣческими пороками; чисто и исключительно русскія черты отъ нихъ ускользали. Отголосокъ этой манеры представляютъ и приведенные очерки Батюшкова.

Въ своемъ разсказѣ онъ дѣлаетъ кое-гдѣ и анекдотическіе намеки на извѣстныя лица, но это не увеличиваетъ яркости изображенія. Вспоминается невольно блестящая картина, въ которой немного времени спустя нарисовалъ Москву послѣ-пожарную Грибоѣдовъ; вспоминаются старомодныя, но несомнѣнно рисующія русскую жизнь изображенія Радищева. Не говоримъ о томъ, какая блестящая картина этой самой до-пожарной Москвы дана была въ знаменитомъ произведеніи современнаго намъ писателя. Не говоримъ о различіи степени таланта, но очевидно была глубокая разница въ самомъ тонѣ мысли у нашего писателя и у автора „Горя отъ ума“; наконецъ, подобныя черты несравненно ярче рисовались въ произведеніяхъ ближайшаго современника, какъ Пушкинъ. Какъ мы видѣли, основная черта картины Москвы была довольно понятна и Батюшкову, но въ мысляхъ того поколѣнія и того круга еще недоставало сознательнаго отношенія къ окружавшей его дѣйствительности: его останавливаютъ только внѣшнія черты видѣнной картины.

Въ самомъ дѣлѣ, таковъ былъ не одинъ Батюшковъ: съ нимъ сходенъ былъ весь „Арзамасъ“, къ которому онъ принадлежалъ. Какъ извѣстно, „Арзамасъ“ совмѣщалъ въ себѣ, такъ сказать, сливки тогдашняго литературнаго круга. Со словъ современниковъ, сохранявшихъ о немъ дружественныя воспоминанія, было довольно распространено мнѣніе о большомъ и благотворномъ вліяніи его на успѣхи литературы. Новѣйшій біографъ Батюшкова сомнѣвается въ этомъ. Онъ говоритъ: „Арзамасъ пользуется почетною извѣстностью въ преданіяхъ нашего общества и литературы; было даже высказано мнѣніе, что подъ его вліяніемъ писались въ то время стихи лучшихъ нашихъ поэтовъ, что его вліяніе отразилось, можетъ быть, на иныхъ страницахъ „Исторіи“ Карамзина. Но чѣмъ болѣе накаплиется свѣдѣній объ этомъ пріятельскомъ литературномъ кружкѣ, тѣмъ очевиднѣе выясняется слабое дѣйствіе его на умственное движеніе своего времени. Не подлежитъ, конечно, сомнѣнію, что члены Арзамаса, и въ особенности главные его дѣятели, были люди очень умные, очень даровитые, прекрасно образованные, съ развитымъ вкусомъ, съ искреннею любовью къ словесности и просвѣщенію, съ желаніемъ общей пользы; но случайное происхожденіе этого литературнаго братства и отсутствіе всякой опредѣленной цѣли при его основаніи, а затѣмъ еще болѣе случайное и безцѣльное расширеніе его состава были коренными причинами незначительной дѣятельности кружка и его скорого распадѣнія. Говорятъ, что направленіе Арзамаса было преимущественно критическое, что „лица,

составлявшія его, занимались строгимъ разборомъ литературныхъ произведеній, примѣненіемъ къ языку и словесности отечественной всѣхъ источниковъ древней и иностранныхъ литературъ, изысканіемъ началъ, служащихъ основаніемъ твердой, самостоятельной теоріи языка и пр.“. Быть можетъ,—но къ сожалѣнію, въ нашей литературѣ не осталось слѣдовъ совокупной дѣятельности арзамасцевъ въ этомъ направленіи; они собирались что-то дѣлать, но ничего не сдѣлали сообща; а что сдѣлано нѣкоторыми изъ нихъ порознь, того нельзя ставить въ общую заслугу всему кружку. Попытка предпринять періодическое изданіе отъ имени Арзамаса не состоялась, и совѣщанія объ этомъ предпріятіи всего яснѣе обнаружили, что во взглядахъ членовъ кружка далеко не было единства“¹⁾).

Справедливость замѣчанія подтверждается тѣмъ, что и дальнѣйшая дѣятельность членовъ Арзамаса не представляла особенно живого участія въ спорныхъ вопросахъ литературы и общественной. Отношенія этого кружка, въ которомъ находился и Батюшковъ, къ литературѣ было отвлеченное, идеалистическое, скорѣе любительское; ихъ много занимала борьба съ шишковской бесѣдой, противникомъ, не стоившимъ особаго напряженія силъ, и взаимнѣ они не могли, однако, поставить никакой теоріи, которая совмѣстила бы принципы ихъ дѣятельности и могла служить руководствомъ для общества: они предпочитали невинное шутство. Новый просвѣтъ литературныхъ идей начинается мимо ихъ—съ одной стороны въ дѣятельности Пушкина, съ другой—въ дѣятельности молодого кружка философическихъ критиковъ (Веневитиновъ, Одоевскій и пр.), который былъ ближайшимъ предшественникомъ гегельянскаго кружка тридцатыхъ годовъ.

Одинъ изъ критиковъ настоящаго изданія (г. О. Миллеръ) обратилъ вниманіе на общественное содержаніе идей Батюшкова и указывалъ на то почтеніе, каковымъ въ молодомъ кружкѣ тогдашнихъ писателей (Пнинъ и др.) окружено было имя Радищева. По словамъ біографа, въ этомъ кружкѣ „восхищались пламенными гражданскими чувствами“ этого писателя, и его вліянію онъ приписываетъ распространеніе произведеній, писанныхъ такъ-называемымъ „русскимъ складомъ“; г. Миллеръ считаетъ возможнымъ отнести къ вліянію Радищева и мягкое отношеніе Батюшкова къ своимъ крестьянамъ,—хотя это послѣднее скорѣе надо приписать общему смягченію помѣщичьихъ пріемовъ въ болѣе образованномъ кругу. Но, затѣмъ, трудно найти въ идеяхъ и произведе-

¹⁾ Т. I, стр. 143—244, въ біографіи.

ніяхъ Батюшкова какою-нибудь положительный слѣдъ вліянія Радищева: сочувствіе къ нему было естественнымъ впечатлѣніемъ его дѣятельности и его печальнаго конца, но оставалось отвлеченнымъ и платоническимъ и не имѣло дальнѣйшихъ отголосковъ въ мнѣніяхъ Батюшкова.

Съ Пушкинымъ вступала въ литературу богатая, свѣжая, геніальная сила. Любопытно видѣть, какъ юноша, почти мальчикъ, Пушкинъ уже вскорѣ послѣ появленія его первыхъ опытовъ примыкаетъ къ кругу писателей, тогда уже пользовавшихся славой, примыкаетъ какъ равный, становится въ дружескія отношенія къ старшему поколѣнію, въ которомъ держитъ, однако, себя независимо, поражая его оригинальными произведеніями молодого творчества. Біографъ Батюшкова разыскиваетъ, что первыя отношенія съ нимъ Пушкина относятся еще къ началу 1815 года: въ это время произошло ихъ личное знакомство, и Пушкинъ, кажется, еще раньше пишетъ къ Батюшкову первое посланіе. Понятно, что молодой поэтъ въ первые годы испытывалъ известное вліяніе старшаго поколѣнія, которое господствовало наканунѣ; первые шаги его сдѣланы въ той манерѣ, какая была на лицо у наиболѣе талантливыхъ старшихъ современниковъ. Біографъ рассказываетъ, что въ первыхъ произведеніяхъ Пушкина Батюшковъ могъ нерѣдко узнавать подражаніе себѣ. Въ 1815 г. напечатана была пьеса Пушкина (написанная несомнѣнно еще въ предыдущемъ году), которая была посланіемъ къ Батюшкову. Пушкинъ обращается къ нему съ вопросомъ—почему умоляетъ „философъ рѣзвый“, „радости пѣвецъ“, и вызываетъ его возвратиться снова къ предметамъ его вдохновенія, къ веселому наслажденію, или вмѣстѣ съ Жуковскимъ воспѣвать кровавую брань, или вооружиться „сатирой, съ жаломъ“ противъ бессмысленныхъ поэтовъ. Такимъ образомъ, самъ Пушкинъ былъ тогда въ сферѣ тѣхъ самыхъ поэтическихъ интересовъ, которые передъ тѣмъ наполняли Батюшкова. Старшій поэтъ, въ то время убѣждавшій Жуковскаго писать поэму „Владиміръ“, совѣтовалъ и Пушкину посвятить свой талантъ важной эпопее, но юный поэтъ въ новомъ посланіи отклонилъ совѣтъ и, между прочимъ, говорилъ:

„Дано мнѣ мало Фебомъ:
Охота—скудный даръ;
Пою подъ чуждымъ небомъ,
Вдали домашнихъ Ларь,
И съ дерзостнымъ Икаромъ
Страшась летать, не даромъ
Бреду своимъ путемъ:
Будь всякій при своемъ“.

Но въ выработкѣ формы Пушкинъ не мало былъ обязанъ Батюшкову, котораго и послѣ, въ пору своего зрѣлаго развитія, признавалъ своимъ учителемъ. Біографъ приводитъ любопытную анекдотическую подробность. Въ 1828 году одинъ московскій литераторъ, желая имѣть стихи Пушкина въ своемъ альбомѣ, просилъ его объ этомъ; Пушкинъ вписалъ свою пьесу „Муза“ (1818 г.), и на вопросъ: отчего именно эти стихи пришли ему на память прежде всякихъ другихъ, отвѣчалъ: „Я ихъ люблю: они отзываются стихами Батюшкова“ ¹⁾.

Встрѣча Пушкина съ Жуковскимъ, Батюшковымъ, Вяземскимъ и цѣлымъ ихъ кругомъ была встрѣча двухъ поколѣній, двухъ историческихъ періодовъ литературы. Это значеніе ея отразилось и на личныхъ отношеніяхъ; біографъ Батюшкова собралъ подробности, характеризующія эту встрѣчу.

„По пріѣздѣ въ Петербургъ въ 1817 году,—говоритъ г. Майковъ,—Батюшковъ увидѣлъ Пушкина уже восемнадцатилѣтнимъ молодымъ человѣкомъ, окончившимъ курсъ лицея и принятымъ въ составъ Арзамаса на ряду со своимъ дядей, арзамасскимъ старостой. „Маленькій Пушкинъ“ становился уже величиной среди наиболѣе просвѣщенныхъ дѣятелей словесности и цѣнителей искусства. Въ лицѣ его новое литературное поколѣніе, возросшее подъ впечатлѣніями великой борьбы съ Наполеономъ среди могучаго пробужденія народнаго духа, блестящимъ образомъ выступало на общественное поприще, и выступало прежде, чѣмъ его ближайшіе предшественники успѣли занять безспорно первенствующее положеніе въ современной литературѣ. Самолюбивый Батюшковъ долженъ былъ почувствовать, что на его глазахъ нарождаются новыя художественныя силы, призванныя смѣнить безъ труда или увлечь въ свое теченіе тѣ дарованія, которыя считали себя непосредственными учениками Карамзина и продолжателями его труднаго дѣла въ созданіи русскаго литературнаго языка и художественной словесности. Понятно поэтому, что нѣкоторый отгѣнокъ соревнованія обнаружился въ отношеніяхъ нашего поэта къ тому свѣтлому генію, который появился на горизонтѣ русской словесности и, въ сознаніи своихъ творческихъ силъ, бодро пролагалъ себѣ новый путь, хотя и признавалъ еще себя ученикомъ Батюшкова. На такой характеръ отношеній послѣдняго къ Пушкину намекаютъ нѣкоторыя уцѣлѣвшія о нихъ преданія. Таковъ, напримѣръ, слѣдующій случай, сохраненный воспоминаніями Н. А. Полевого: „Пушкинъ рассказывалъ о себѣ,

¹⁾ Т. I, стр. 152—255, въ Біографіи.

что онъ разъ какъ-то, въ началѣ своего поэтическаго поприща, представилъ Батюшкову стихи одного молодого человѣка, который, по его тогдашнему мнѣнію, оказывать удивительное дарованіе. Батюшковъ прочиталъ піесу и, равнодушно возвращая ее Пушкину, сказалъ, что не находитъ въ ней ничего особеннаго. Это изумило Пушкина: онъ старался защитить своего молодого друга и сталъ превозносить необычайную гладкость стиха его. „Да кто теперь не пишетъ гладкихъ стиховъ!“ — возразилъ Батюшковъ. — Еще характернѣе другое преданіе. Рассказываютъ, что Батюшковъ судорожно сжалъ въ рукахъ листокъ бумаги, на которомъ читалъ (пушкинское) „Посланіе къ Юрьеву“ (1818 года) и проговорилъ: „О, какъ сталъ писать этотъ злодѣй!“ Соревнуя молодому поэту, Батюшковъ, однако, тѣмъ самымъ призналъ одинъ изъ первыхъ его великое дарованіе; онъ уже тогда ссылаясь на „чуткое ухо“ Пушкина... Вскорѣ Батюшкову пришлось познакомиться съ отрывками изъ „Руслана и Людмилы“: молодой Пушкинъ „пишетъ прелестную поэму и зрѣетъ“, отозвался онъ по этому случаю Вяземскому. А между тѣмъ, поэма Пушкина упразднила собою всѣ давно легѣнные Батюшковымъ замыслы о подобномъ же произведеніи съ содержаніемъ, взятымъ изъ народныхъ преданій русской старины“¹⁾).

Припомнимъ другой отзывъ писателя того же старшаго поколѣнія. Въ 1818 г. князь Вяземскій писалъ Жуковскому: „Стихи чертенка-племянника²⁾ чудесно хороши. Этотъ бѣшеный сорванецъ насъ всѣхъ заѣстъ, насъ и отцовъ нашихъ“.

Анненковъ, говоря объ этой первой порѣ Пушкина, замѣчалъ, что во многихъ стихотвореніяхъ этого времени „врожденная сила таланта проявлялась сама собою, замѣняя при случаѣ геніальною отгадкой то, чего не могъ еще дать жизненный опытъ начинающему поэту“. Біографъ Батюшкова прибавляетъ, что эта отгадка была облегчена ему упорнымъ трудомъ его ближайшихъ предшественниковъ, и особливо Батюшкова, въ выработкѣ поэтическаго языка и стиха³⁾.

Біографъ старательно собралъ въ первыхъ стихотвореніяхъ Пушкина подробности языка и выраженія, которыя были отголо-

¹⁾ Т. I, стр. 255—258, въ біографіи.

²⁾ Подразумѣвался при этомъ племянникъ дядинъ-стихотворецъ, Вас. Л. Пушкинъ.

³⁾ Анненковъ, „Матеріалы“, 2-е изд., стр. 50; Соч. Батюшкова, т. I, стр. 257, въ біографіи.

скомъ вліяніи Батюшкова въ ихъ содержаніи и формѣ ¹⁾). Вліяніе не подлежитъ сомнѣнію. Въ первыхъ произведеніяхъ Пушкина еще господствуетъ въ сильной степени то служеніе „легкой поэзіи“, надъ которой въ особенности работалъ Батюшковъ; конечно, Пушкинъ имѣлъ при этомъ свои источники, между прочимъ, въ тѣхъ же французскихъ поэтахъ, какими увлекался Батюшковъ; но большее значеніе имѣлъ и примѣръ предшествующихъ русскихъ поэтовъ и особливо Батюшкова ²⁾).

Но это вліяніе простирается все-таки только на годы молодой дѣятельности Пушкина: съ первыми поэмами поэзія Пушкина упразднила не только какіе-либо частные планы Батюшкова, но отодвигала въ исторію цѣлый предшествовавшій періодъ русской поэзіи. Самолюбіе Батюшкова вѣрно подсказало ему, что въ Пушкинѣ народилась новая сила, съ которой невозможно было соперничать и которая должна была смѣнить ихъ поколѣніе. Любопытно, въ самомъ дѣлѣ, сравнить Пушкина юнаго, начинающаго, съ его непосредственными предшественниками и „учителями“. Его начатки не равняются только съ ихъ зрѣлыми произведеніями, но уже стоятъ выше ихъ по существу содержанія. Быть можетъ, онъ и самъ не вполне сознавалъ свою силу, но таинственное дѣйствіе историческаго развитія передавало ему, какъ готовое наслѣдіе, то, что было предметомъ стремленій предыдущаго поколѣнія, и онъ сразу становился выше его всѣмъ запасомъ своихъ идей и стремленій. То, что у его предшественниковъ было смутнымъ намекомъ, у него является яснымъ принципомъ; та дѣйствительность, къ которой имъ было такъ трудно подступиться, для него была близка и ясна; поэзія, которая для нихъ все еще была какой-то извнѣ являющейся услугой жизни, даромъ немно-

¹⁾ Т. I, стр. 338, 351, 377, 383, 393 и др., въ примѣчаніяхъ къ стихотвореніямъ. Примѣры эти собраны какъ г. Майковимъ, такъ и ранѣе изслѣдователями Пушкина.

²⁾ Это вліяніе, и именно на лицейскія стихотворенія Пушкина, было обстоятельно указано еще Бѣлинскимъ, который основу его видѣлъ въ близости двухъ художественныхъ натуръ. „Вліяніе Батюшкова, — говорилъ Бѣлинскій, — обнаруживается въ лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина не только въ фактурѣ стиха, но и въ складѣ выраженія, и особенно во взглядѣ на жизнь и ея наслажденія. Во всѣхъ ихъ видна нѣга и упоеніе чувствъ, столь свойственныя музѣ Батюшкова; и въ нихъ проглядываютъ мѣстами унылость и веселая шутливость Батюшкова. Пушкинъ заималъ у него даже любимыя имена, и въ особенности Хлоя и Делія, и манеру пересмыкать свои стихотворенія мнѳологическими именами Купидона, Амура, Марса, Аполлона и проч., и любимыя его выраженія: „дитерская сторона, дѣвственная лилея“ и тому подобныя“. Бѣлинскій указываетъ дальше стихотворенія Пушкина, въ которыхъ вліяніе Батюшкова обнаруживается особенно наглядно. См. Сочин. Бѣлинскаго, т. VIII, изд. 2, стр. 322—324.

гихъ избранныхъ, у него становится необходимымъ жизненнымъ дѣломъ, достояніемъ не только поэта, но также общества, не только услугой, но и долгомъ и общественной задачей. Правда, эти новыя идеи и новый тонъ мысли у самого Пушкина явились не вдругъ готовою системою; была постепенность, были отгѣнки, сближавшіе Пушкина съ его предшественниками; но тѣмъ не менѣе между ними съ самаго начала легла глубокая разница — историческое развитіе. То общее различіе Пушкина отъ его предшественниковъ, которое мы указывали и которое было различіемъ двухъ эпохъ, сопровождается кореннымъ различіемъ ихъ частныхъ особенностей, различіемъ литературныхъ взглядовъ, манеры, ихъ отношеній къ старинѣ, къ исторіи, къ народности, къ общественной жизни. Мы видѣли, какъ въ сущности далека была Батюшковъ (и не онъ одинъ, а цѣлый тотъ кружокъ) отъ сколько-нибудь сознательнаго отношенія къ исторіи, и извѣстно, напротивъ, какимъ глубокимъ интересомъ была она для Пушкина; касаясь сюжета изъ древне-русской исторіи, Батюшковъ не можетъ не стать на ходули, не впасть въ натянутую высокопарность — отношеніе Пушкина къ этой старинѣ было всегда проще и реальнѣе. Натянута было отношеніе Батюшкова (и повторимъ опять: не его одного, а цѣлаго круга) и къ ближайшему преданію XVIII вѣка, послѣдніе концы котораго онъ видѣлъ собственными глазами: опять только высокопарно онъ могъ говорить, напр., о Ломоносовѣ, когда, напротивъ, Пушкинъ говорилъ о немъ какъ о живомъ дѣятелѣ, какъ будто трудъ его совершался вчера, — ему не нужно было дѣлать усилій, чтобы возстановить себѣ его личность. Конечно, дѣйствовала здѣсь необычайная сила дарованія, творческая фантазія, возстановлявшая передъ нимъ живую картину прошедшаго, но была просто и другая степень историческаго пониманія. Далѣе, различно было отношеніе къ современной дѣйствительности, къ той общественной средѣ, гдѣ вращался поэтъ и гдѣ дѣйствовала литература: старая поэзія, еще слишкомъ нуждавшаяся въ чужой помощи, искавшая въ чужомъ образцѣ выраженія своего смутно бродившаго чувства, къ которому прилагивала и свое собственное настроеніе — эта поэзія съ трудомъ опредѣляла свое отношеніе къ обществу, въ которомъ какъ будто не ожидала встрѣтить себѣ ни почвы, ни сочувствія: оттого самая попытка изображенія этого общества является не-свободною, натянутою, какъ картина московскаго общества у Батюшкова. Теперь мы встрѣчаемъ нѣчто совсѣмъ иное: у поэта нѣтъ этого недоумѣнія; у него не двойится поэтическій туманъ и дѣйствительность, и картина жизни блещетъ яркими, реальными

красками. И здѣсь, правда, опять были переходныя черты, — въ юношеской поэзіи Пушкина еще держалась та унаслѣдованная отъ предшественниковъ условная поэтическая фразеологія, мѣшавшая языку антологіи съ языкомъ новѣйшей французской поэзіи, но рядомъ съ этимъ уже съ самаго начала были черты, тѣсно примыкавшія къ жизни и составлявшія ея чистый, непосредственный отголосокъ. Наконецъ, яркая разница стараго и новаго поколѣнія сказалась въ отношеніи къ народной поэзіи. Батюшкову она была чужда, какъ и всему его кругу: эта поэзія не вязалась ни съ изысканной эпикурейской манерой, свое выраженіе которой Батюшковъ выработывалъ съ помощію далекихъ образцовъ, ни съ туманнымъ романтизмомъ, который увлекалъ предшественниковъ Пушкина въ формѣ Оссіана, новѣйшей англійской и нѣмецкой баллады: если и встрѣчался иной русскій мотивъ, онъ былъ понимаемъ и излагаетъ въ тонѣ чужеземной баллады ¹⁾. У Пушкина было иначе: онъ такъ высоко ставилъ народно-поэтическую стихію, что, какъ извѣстно, даже приписывалъ ей исправленіе недостатковъ своего воспитанія; ему помогло въ оцѣнкѣ этой стихіи его тонкое художественное чувство, — въ произведеніяхъ народной поэзіи, пѣснѣ и сказкѣ, наконецъ, въ простой народной рѣчи, онъ угадывалъ изящные поэтические мотивы, мѣткія выраженія, оригинальные обороты, словомъ, ту свѣжесть народнаго творчества въ поэзіи и языкѣ, какой не знала тогдашняя ходячая книжность и которую долго спустя объяснила научная филологія и старалась употребить въ дѣло литература.

Такимъ образомъ, сопоставляя Пушкина съ его предшественниками, мы во всѣхъ строгахъ ихъ поэтической дѣятельности — въ содержаніи поэтическихъ идеаловъ, въ отношеніи къ дѣйствительности исторической и современной, въ чувствѣ народности, въ поэтической формѣ и языкѣ, — находимъ на первыхъ порахъ извѣстную преемственность, но затѣмъ и великую разницу. Въ оцѣнкѣ этой разницы представляется прежде всего мысль о необыкновенномъ дарованіи, создававшемъ новыя пріобрѣтенія; но было здѣсь и общее явленіе: великій успѣхъ Пушкина былъ вмѣстѣ результатомъ времени, котораго онъ сталъ великимъ представителемъ; менѣе талантливые современники Пушкина были независимо отъ него настроены иначе, чѣмъ предъидущее поколѣніе; въ ихъ умахъ возникали новыя требованія общественныя и литературныя. Наступала новая историческая

¹⁾ „Муза Батюшкова, — замѣчаетъ опять Вѣлискій, — лично скиталась подъ чужими небесами, не сорвала ни одного цвѣтка на русской почвѣ“. Соч. т. VIII, стр. 516.

эпоха: этимъ, кромѣ высокихъ достоинствъ пушкинскаго творчества, объясняется небывалый успѣхъ его произведеній, въ особенности въ молодыхъ поколѣнιάхъ; какъ извѣстно, люди прежняго литературнаго поколѣнιά, даже образованные и авторитетные (вспомнимъ, напр., Мерзлякова или Каченовскаго), до конца не понимали его.

Старая поэзія была совершенно устранена дѣятельностью Пушкина, и естественно. Она была только предварительнымъ опытомъ, намекомъ, которые забывались, когда на смѣну ихъ являлось цѣльное, широко развившееся исполненіе.

Намъ остается сказать о самомъ изданіи. Мы сказали въ началѣ, что изданіе исполнено съ большою литературною и внѣшнею роскошью. Главное украшеніе его составляетъ біографія, авторъ которой перебралъ всѣ матеріалы, въ которыхъ могли найтись свѣденія о внѣшней жизни писателя и его внутреннемъ развитіи. Матеріалы, собственно говоря, весьма скудны и отрывочны, но, сопоставляя ихъ съ литературными произведеніями Батюшкова, съ характеристикой его друзей, авторъ біографіи сумѣлъ изобразить, сколько было возможно, 'подвижной характеръ писателя, различные источники и ступени его умственнаго и поэтическаго развитія и его литературныя заслуги.

Текстъ сочиненій Батюшкова составленъ съ большою полнотою: къ тому, что собрано въ старомъ изданіи самого Батюшкова, прибавлено все, что появлялось впослѣдствіи изъ его неизданныхъ сочиненій, что нашлось вновь въ немногихъ оставшихся отъ него рукописяхъ, между прочимъ, переписка и отрывки изъ его дневника; всѣ отдѣльныя пьесы сличены по различнымъ прежнимъ изданіямъ и, гдѣ представлялась возможность, по рукописямъ. Къ каждому стихотворенію и къ каждой прозаической статьѣ присоединенъ комментарий, объясняющій какъ содержаніе, такъ и обстоятельства появленія пьесы: наконецъ въ массѣ особыхъ примѣчаній даны біографическія свѣденія о всѣхъ сколько-нибудь замѣчательныхъ лицахъ, которыя играли какую-либо роль въ жизни писателя. Собраніе писемъ является въ первый разъ въ своемъ полномъ объемѣ. Наконецъ, во всѣхъ томахъ изданія и къ разнымъ его отдѣламъ присоединены подробные указатели, дающіе возможность самыхъ обстоятельныхъ справокъ. Полнота изданія не достигнута, однако, и здѣсь, при всѣхъ усиліяхъ. Такъ г. Веневитиновъ напечаталъ теперь стихи, написанные Батюшковымъ въ 1814 г. по случаю торжества

въ честь возвращенія имп. Александра изъ-за границы, — стихи, которые биографъ Батюшкова считалъ затерянными и которые, впрочемъ, ничего не прибавляютъ къ поэтической славѣ писателя ¹⁾).

Одинъ изъ критиковъ изданія (г. Миллеръ) замѣтилъ, что ему кажется излишествомъ помѣщеніе въ изданіи всѣхъ мелочныхъ подробностей, какія могли уцѣлѣть отъ переписки писателя, какъ это встрѣчается въ данномъ случаѣ. Объ этомъ можно думать различно. Дѣло въ томъ, что изданія, подобныя настоящему, вѣроятно надолго останутся единственными (трудно ожидать, чтобы подобное изданіе могло быть скоро повторено), и въ такомъ случаѣ редакторъ изданія можетъ не безъ основанія желать, чтобы оно осталось возможно полнымъ складомъ свѣденій объ изучаемомъ писателѣ. Въ расчетѣ на обыкновеннаго читателя можно бы было сдѣлать одно, — какъ это иногда и дѣлалось, — именно, выдѣлить вполне обработанныя произведенія писателя и наиболѣе важную долю его переписки, какъ основной результатъ его дѣятельности и какъ его исторически важное литературное достоинство, а затѣмъ собрать остальное какъ біографическій и историко-литературный матеріалъ. — Долю излишества мы нашли бы также въ чрезмѣрномъ обилии примѣчаній. Комментарій долженъ имѣть свои предѣлы. Онъ долженъ указать необходимое для пониманія писателя, но въ немъ не должно быть мѣста фактамъ, не имѣющимъ къ писателю ближайшаго отношенія. Въ данномъ случаѣ мы назвали бы излишествомъ цѣлый рядъ болѣе или менѣе обширныхъ біографій писателей и другихъ современниковъ Батюшкова: нѣкоторыя изъ этихъ біографій касаются лицъ, очень достаточно извѣстныхъ въ исторіи литературы. Зачѣмъ, напримѣръ, нужны подробныя біографіи Озерова (II, стр. 467—472), Капниста (II, 492—503), В. Л. Пушкина (II, стр. 512—525), и т. д., и т. д. Эти біографіи (принадлежація большею частью, если не сполна, г. Сайтову) составлены вообще чрезвычайно обстоятельно, съ огромнымъ аппаратомъ историческихъ и бібліографическихъ свѣденій, и представляютъ прекрасный справочный матеріалъ сами по себѣ, но въ такомъ размѣрѣ они совсѣмъ не нужны для Батюшкова. Кто, въ обыкновенномъ порядкѣ вещей, будетъ искать этихъ свѣденій въ изданіи сочиненій Батюшкова, и съ другой стороны не пришлось ли бы повторять ихъ снова, еслибы предпринималось

¹⁾ См. Русскій Архивъ, 1887, № 7, стр. 341—363: „Празднество въ Павловскѣ 27-го іюля 1814 года“.

такое же *комментированное* изданіе, напр., Жуковского, кн. Вяземскаго, Гнѣдича или иного писателя той поры? Между прочимъ особая, богатая фактами біографія посвящена А. И. Тургеневу (I, стр. 355—372, въ прим.), хотя для объясненія его отношеній къ Батюшкову всѣ эти подробности нисколько не требовались. Невольно приходитъ мысль, что еслибы авторъ этихъ біографій, не руководясь случайнымъ поводомъ изданія, прямо остановился на цѣлой эпохѣ и собралъ жизнеописанія ея дѣятелей съ тѣмъ богатствомъ бібліографическихъ данныхъ и справокъ, какія находятся у него подъ руками, его трудъ имѣлъ бы болѣе цѣльный и мотивированный характеръ и больше достигъ бы цѣли—распространенія свѣденій о данной эпохѣ.

Преувеличеніе комментарія въ настоящемъ случаѣ является не въ первый разъ; примѣръ поданъ былъ комментариемъ г. Грота къ Державину. Какъ извѣстно, этотъ комментарий даетъ множество разнообразныхъ подробностей не только о Державинѣ, но по поводу его о множествѣ лицъ и фактовъ того времени. Излишество было и здѣсь, но по крайней мѣрѣ Державинъ былъ господствующимъ лицомъ своей эпохи, чего нельзя сказать о Батюшковѣ. Эта неравномѣрность историко-литературной работы указываетъ вообще на чрезвычайную неровность нашихъ изслѣдованій въ этой области; комментированныя подобнымъ образомъ изданія являются случайностью. Изъ XVIII-го вѣка такого изданія удостоился Державинъ,—но сочиненія Ломоносова, несмотря на его огромное историческое значеніе въ судьбахъ русской литературы и образованія, остаются до сихъ поръ несобранными сколько-нибудь полнымъ и разумнымъ образомъ. Въ нашемъ вѣкѣ мы имѣемъ подробно комментированнаго Батюшкова, но не имѣемъ комментированнаго Жуковского, Пушкина, Гоголя. Но потребность изслѣдованія подробностей уже развилась, и приводитъ къ этому неравномѣрному распредѣленію историко-литературнаго матеріала, собираемаго въ качествѣ комментарія.

А. Пыпинъ.



СТАРЫЙ ДРУГЪ

РОМАНЪ.

I.

По ступенькамъ низенькой террасы съ парусинными занавѣсками, увитой дикимъ виноградомъ, взшелъ Федоръ Игнатьичъ Гранковскій, молодой человѣкъ средняго роста, съ черной бородкой и въ бѣломъ шелковомъ картузѣ. Очень молодая дѣвушка, въ сѣромъ полотняномъ платьѣ, съ удлинненнымъ личиемъ и большими милыми глазами, выбѣжала къ нему и подала обѣ руки. Она покраснѣла и засмѣялась ласковымъ смѣхомъ, какимъ встрѣчаютъ дорогихъ людей, когда хотятъ выразить много радости, по поводу встрѣчи, и не находятъ словъ. Гранковскій поцѣловалъ руку у дѣвушки и произнесъ:

— Кажется, я не опоздалъ!?

— Нѣтъ, нѣтъ!—отвѣчала дѣвушка съ новымъ смѣхомъ.

Потомъ начала шопотомъ:

— Мамап одѣлась, въ высшей степени торжественно; на ней чепчикъ съ лиловыми лентами. Она все посматриваетъ на часы и обмахивается вѣеромъ. Теперь ровно двѣнадцать часовъ. Я увѣрена, она давно догадалась...

— Догадалась и—что?

— Со мной она была сегодня такъ ласкова! Она цѣловала меня и говорила, что жалѣеть... Однимъ словомъ—*c'est si touchant!* У нея дрожала голосъ. Она сказала, что я *trop jeune*.

— Такъ?! Должно быть, ты сообщила ей больше, чѣмъ

было нами рѣшено. Впрочемъ, еще лучше... скорѣй къ раз-
вѣзѣ... Гдѣ же татап? Въ гостиной?

Гранковскій помахалъ себѣ въ лицо платкомъ, прошелъ по
террасѣ и застегнулъ скортукъ.

— Я не думаю,—произнесъ онъ съ улыбкой, которая скры-
вала его волненіе,—чтобы татап отказала подъ тѣмъ предло-
гомъ, что ты trop jeune. Вѣдь тебѣ шестнадцать лѣтъ...

Онъ посмотрѣлъ на нее любящимъ взглядомъ и, скользя по
полкамъ и буфамъ, пышность которыхъ скрываетъ у
молодыхъ особъ бѣдность бюста, подумалъ: „но она дѣйстви-
тельно еще... *pas éclosée*“.

— И такъ, иди?

— Иди, иди!—конфузливо промолвила дѣвушка.

Онъ сдѣлалъ рѣшительное лицо, улыбнулся ей тревожной
улыбкой, подмигнулъ и вошелъ въ раскрытую дверь. Дѣвушка
постояла на террасѣ. Она была увѣрена гораздо больше Федора
Игнатьича въ благопріятномъ исходѣ его сватовства. Татап
спитъ и видитъ, какъ бы сбыть съ рукъ падчерицу, а Гранков-
скій человѣкъ съ независимымъ состояніемъ и съ положеніемъ
въ обществѣ—все-таки онъ докторъ. Но и она не могла совла-
дать съ своимъ волненіемъ. Ей сдѣлалось страшно, безотчетно
страшно. Она вдругъ стала бояться и отрицательнаго, и поло-
жительнаго отвѣта татап. Она сошла со ступенекъ террасы и,
чтобы разсѣяться, рвала настурціи. Руки ея машинально плели
вѣнокъ, а слухъ жадно ловилъ малѣйшій шумъ позади. Она все
удалялась отъ террасы и, наконецъ, очутилась въ самомъ глу-
хомъ мѣстѣ сада. Здѣсь шелестѣли высокія душистые липы надъ
обрывомъ; вдаль, внизу синѣлъ широкій Дунай. Дѣвушка, съ
недоплетеннымъ вѣнкомъ настурцій въ рукѣ, остановилась и за-
думчиво смотрѣла вдаль, хотя всѣ мысли ея были попрежнему
сосредоточены на гостиной, и она все думала о разговорѣ, ко-
торый ведетъ въ настоящее время татап съ Федоромъ Игнатьи-
чемъ.

Она живо обернулась—ей показалось, что ее зовутъ. Но ни-
кого не было. Съ разгорѣвшимся лицомъ пошла она къ дому.
Вотъ акація, подстриженная на манеръ пальмы, вотъ клумбы
съ розами и левкоями. По дорожкѣ, усыпанной пескомъ, бѣжалъ
въ припрыжку Федоръ Игнатьичъ. Онъ выдѣлывалъ смѣшныя па-
сы, и дѣвушкѣ немножко не понравилась эта веселость. Но ея не-
удовольствіе продолжалось мгновеніе. Она разсмѣялась и броси-
лась въ радостномъ испугѣ къ нему на грудь.

— Да?—спросила она.

— Разумѣется, да! О, si tu savais!.. мы поцѣловались съ маман, и она взяла съ меня слово, что я буду съ тобою строгъ, но справедливъ!

Онъ шутилъ и вель подъ руку дѣвушку, у которой такъ же внезапно прошелъ страхъ, какъ и явился. Она любила Гранковскаго. Хорошо идти рядомъ съ нимъ и не таить своего чувства! Хорошо быть невѣстой!

Онъ сталъ разсказывать, какъ просилъ онъ ея руки у маман и что маман при этомъ говорила. Оттянувъ нижнюю губу, онъ сдѣлалъ гримасу, которую дѣлаетъ маман, когда бываетъ растрогана.

— Перестань, Одея!—сказала дѣвушка и слегка толкнула его.—Маман...

— Райса, дитя мое!—взволнованнымъ голосомъ начала Варвара Тихоновна, приближаясь къ нимъ.—Ужъ онъ тебѣ передалъ, конечно? Пойди сюда! Тяжело мнѣ... Охъ, видите Богъ, тяжело мнѣ разставаться съ тобою! Вѣдь я любила тебя, какъ родную дочь, я воспитала тебя! Оедоръ Игнатьичъ, голубчикъ, смотрите, жалѣйте мою дѣвочку, берегите! Такой другой не найдете. Она у меня какъ рѣдкій цѣтовъ!

Полная дама взяла падчерицу обѣими руками за голову и нѣжно поцѣловала въ лобъ.

— Не бойтесь, Варвара Тихоновна! Райсу Николаевну я посажу подъ стеклянный колпакъ...

— Вѣчно шутите—никто не подумаетъ, что вы солидный человѣкъ!—ласково замѣтила Варвара Тихоновна.

Потомъ она стала удивляться, какъ это скоро и незамѣтно для посторонняго глаза влюбились другъ въ друга молодые люди. Она увѣряла, что для нея эта любовь была совершенною неожиданностью.

— Да и для всѣхъ знакомыхъ будетъ удивительно,—сказала она, хитро прищуривая глаза.— Кто могъ бы подумать! Воображаю, что заговорить Никодимъ Павловичъ!

— Маман, слѣдовало бы до поры до времени помолчать...—начала Райса.

— Конечно, конечно! Только вѣдь шила въ мѣшкѣ не утаишь... Правда и то, спѣшить незачѣмъ.

Она вопросительно взглянула на жениха.

— Какъ вы полагаете? Неужто раньше осени?

— Боже мой! Я хоть сейчасъ подъ вѣнецъ!—проговорилъ онъ и счастливыми глазами посмотрѣлъ на невѣсту.

— Нравится тебѣ, что онъ такой шалунъ?—спросила Вар-

вара Тихоновна.—Нѣтъ, раньше осени, по моему, нельзя. Главное—не будетъ готово приданое.

II.

Пріѣхалъ Никодимъ Павловичъ Прягинъ. Никодимъ Павловичъ былъ высокій блондинъ, лѣтъ сорока, въ черныхъ лайковыхъ перчаткахъ и сѣренькой парѣ. У него было спокойное лицо хорошо сохранившагося мужчины, который всю жизнь не испытывалъ угрызений совѣсти и никому не сдѣлалъ зла. Онъ служилъ въ банкирской конторѣ Гольденбаха, Антонова и К^о, и въ его походеѣ, костюмѣ и даже во взглядѣ свѣтлыхъ глазъ чувствовалось что-то опредѣленное, рассчитанное и аккуратное.

Онъ, не спѣша, подавъ руку хозяйкамъ и гостю, положилъ шляпу въ безопасное мѣсто, гдѣ бы никто не могъ на нее сѣсть, и непринужденно развалился на диванѣ, занимавшемъ уголъ террасы.

— Ъхалъ я въ вамъ и размышлялъ о людской безпечности,—началъ онъ съ улыбкой, закуривая сигару. — Дорога ужасная. Каждый годъ, благодаря адскому спуску, который огибаеъ вашу усадьбу, падаетъ, по крайней мѣрѣ, сто лошадей, ломается сто экипажей и теряется прекрасной и непрекрасной половиной рода человѣческаго нѣсколько паръ реберъ, ногъ, рукъ, ключицъ. А, не правда ли? Тѣмъ не менѣе ежедневно подвергаю я риску свою шею и ѣзжу сюда, словно на службу, чтобъ посидѣть часъ на террасѣ и отравить Пчелку дымомъ своихъ сигаръ. Что дѣлать! Привыкъ мучить ее!

— Очень вамъ благодарны!—сказала Варвара Тихоновна.— Вы поступаете какъ истинный другъ.

Прягинъ затаился, посмотрѣлъ на нѣжный профиль молодой дѣвушки и выпустилъ дымъ изо рта.

— Еслибы вы знали, Никодимъ Павловичъ, какъ я цѣню вашу благородную безпечность!—сказала Раиса.

— Пчелка говоритъ что-то влосе. Сегодня она не безъ ада!

Прягинъ улыбнулся и погрозилъ ей пальцемъ. Федоръ Игнатьичъ все время пристально смотрѣлъ на Прягина. Не нравился ему Прягинъ. Варвара Тихоновна между тѣмъ долго боролась съ желаніемъ рассказать гостю о сватовствѣ Гранковскаго. Если не сказать, онъ какъ нибудь узнаеъ—она не подумала, какъ онъ можетъ узнать—и тогда выйдетъ не совсѣмъ красиво: точно она боится Прягина и потихоньку отъ него сама

все устроила. Она понюхала укусуной соли и, опустивъ глаза, сказала:

— А сегодня у насъ новость, Никодимъ Павловичъ...

— Маман!

— Отчего же не сказать?—спросила Варвара Тихоновна, переводя глаза на падчерицу.

— Кажется, я просила васъ!

Варвара Тихоновна замолчала. Никодимъ Павловичъ улыбнулся лѣнивой улыбкой.

— Въ чемъ дѣло? Я другъ дома — я имѣю право знать. Куплено Пчелкѣ новое платье? Да?

— Ну, не совсѣмъ такъ. .

Федоръ Игнатьичъ пытливо смотрѣлъ на Прягина съ веселой усмѣшкой губъ.

— Никодимъ Павловичъ, вы, конечно, всегда желали добра Раисѣ...—начала Варвара Тихоновна.

— Да, да... А что?

— Вообще... я не понимаю, почему не сказать Никодиму Павловичу? Онъ одобритъ; я въ этомъ не сомнѣваюсь!

— Ну, говорите, не мучьте меня! Раиса уѣзжаетъ?

— О, нѣтъ!

— Я женюсь на Раисѣ, Никодимъ Павловичъ! — сказалъ Граневскій.

— На комъ?—переспросилъ Прягинъ сердито.

— Да вотъ на Пчелкѣ, какъ вы ее называете.

— Это шутка,—замѣтилъ Прягинъ и поблѣднѣлъ.

— Нѣтъ, Никодимъ Павловичъ, дѣйствительно, Федоръ Игнатьичъ сдѣлалъ предложеніе; а такъ какъ Раиса его любить, то я дала свое согласіе.

Дѣвушка убѣжала. Ей стало досадно до слезъ, что рассказали ея тайну. Варвара Тихоновна слегка растерянно улыбалась, потомъ достала платокъ и поднесла его къ глазамъ. Прягинъ сидѣлъ все блѣдный и серьезный.

— Вотъ оно что! — промолвилъ онъ. — Конечно, Федоръ Игнатьичъ прекрасный человѣкъ, молодой, образованный, богатый, добрый—полагаю, что слова эти онъ не приметъ за лесть — но все-таки какъ же можно выдавать замужъ бѣдную Пчелку? Она ребенокъ душой и тѣломъ!

— Не говорите такъ, Никодимъ Павловичъ,—возразила полная дама:—душой она совсѣмъ не ребенокъ!

— Раиса Николаевна, можно къ вамъ!? — крикнулъ Граневскій и, не ожидая приглашенія, вошелъ въ комнату дѣвушки.—

Спорять о томъ, ребенокъ ты или нѣтъ? Докажи имъ, что нѣтъ, и перестань дуться!

— Право, мнѣ все кажется, что это мистификація, любезнѣйшая Варвара Тихоновна!—сказалъ между тѣмъ Прягинъ.

— Не мистификація, а любовь! Я вѣдь возражала, уговаривала... Я плакала!..

Варвара Тихоновна оросила слезами платокъ. Прягинъ взглянулъ на нее сквозь синій дымокъ холоднымъ взглядомъ.

— Любовь!—повторилъ онъ.—А можетъ быть это и правда, хоть и похоже на шутку... На приданое онъ не рассчитываетъ?

— Что вы! даже не заикался! Такой-ли онъ человѣкъ!

— Вѣрно, вѣрно!

Еще посидѣлъ Никодимъ Павловичъ, кусая сигару, и вдругъ всталъ.

— Мнѣ въ этомъ домѣ нечего больше дѣлать! — произнесъ онъ, сѣясь улыбнуться.—Пчелка нашла себѣ опекуна по-сердцу, и если это серьезный фактъ, мнѣ остается только уйти и перестать рисковать каждый день сломать себѣ шею. Не правда ли? Вѣдь и то выиграешь?

— Никодимъ Павловичъ! Голубчикъ! Не сердитесь на нее!

— Боже меня сохрани! Мнѣ жаль ее — только. До приятнаго свиданія!

Но выбѣжала Раиса.

— Куда вы? Куда? Это чтѣ значить? Вы уѣзжаете? Не будете у насъ обѣдать? А васъ шляпу!

Она забросила шляпу.

— Разсердились, что выхожу замужъ? Но я буду счастлива! Милый Никодимъ Павловичъ, оставайтесь у насъ, и пусть все будетъ по прежнему! Кромѣ того, я прошу васъ быть моимъ шаферомъ!

Она протянула ему руку. Онъ покраснѣлъ.

— Согласны, Никодимъ Павловичъ?

Вмѣсто отвѣта, онъ поцѣловалъ ее руку.

— Ну вотъ... — сказала она, тоже краснѣя, ибо не ожидала, что такъ скоро и легко сломить упрямство Никодима Павловича и онъ поцѣлуетъ у нея руку.

Онъ сѣлъ на прежнее мѣсто и досталъ новую сигару.

III.

Обѣдъ былъ нѣсколько лучше, чѣмъ обыкновенно; очевидно, Варвара Тихоновна заранее приготовилась къ нему. Но она извинилась предъ дорогими гостями за то, что онъ не отвѣчаетъ сегодняшнему радостному событію.

Когда послѣ жаркого было подано шампанское — эта единственная бутылка, по объясненію Варвары Тихоновны, случайно нашлась въ погребѣ — Никодимъ Павловичъ, держа бокалъ, сказалъ взволнованнымъ голосомъ:

— Когда пьютъ, то всегда чего-нибудь желаютъ. Позволю себѣ выразить слѣдующее пожеланіе Пчелкѣ. Выйдя замужъ, она должна безопасно порхать и летать ровно пять лѣтъ. Ѳеодоръ Игнатьичъ дастъ ей возможность не утруждать себя хозяйственными заботами...

Онъ посмотрѣлъ на жениха.

— Я ужъ общалъ, — прервалъ Гранковскій Прягина, — держать Раису Николаевну подъ стекляннымъ колпакомъ!

— Да, да, совершенно вѣрно — подъ стекляннымъ колпакомъ! — подхватилъ Прягинъ, нахмурившись. — Потому что Пчелка — самое нѣжное растеніе въ цѣлой вселенной, и если подуетъ на нее холодный вѣтеръ, она завянетъ...

— Никодимъ Павловичъ, мнѣ стыдно, что я такое растеніе или такое насѣкомое!

— Розѣ не стыдно быть розой, и Пчелкѣ нечего стыдиться своей тонкой природы... По истеченіи пяти лѣтъ, Пчелка приобрѣтетъ румянецъ во всю щеку, ручки ея сдѣлаются пухлыми, и въ одинъ прекрасный день я увижу ее съ кудрявымъ малюткой...

Ѳеодоръ Игнатьичъ крикнулъ: „ура!“ и сухо засмѣялся. Раиса чокнулась съ нимъ своимъ стаканомъ. Она сказала ему что-то шопотомъ, но такъ тихо, что онъ не слышалъ. Онъ добивался, что именно прошептала она. Но ужъ ей казалось неловкимъ повторить.

— Ничего, ничего, право, ничего! — говорила она, улыбаясь. Варвара Тихоновна подошла и поцѣловала падчерицу.

— О чемъ задумались, Никодимъ Павловичъ? — спросилъ послѣ обѣда Ѳеодоръ Игнатьичъ, глядя на него сытыми глазами. Прягинъ медленно натягивалъ перчатки.

— Я задумался о томъ, Ѳеодоръ Игнатьичъ, что надо ѣхать

домой, а дома у меня скучно, и когда вечеромъ зажигается лампа, она горитъ какъ-то особенно тускло.

— Подвезите меня съ собой, если можно.

— Развѣ вы... не останетесь?

— Нѣтъ... Я тутъ съ утра. Кромѣ того, мнѣ хотѣлось бы сказать вамъ два слова.

— Два слова? Очень пріятно.

Они стали прощаться. Молодая дѣвушка разсердилась на жениха: такъ рано уходить! Но Варвара Тихоновна устала сегодня и радовалась, что гости уѣзжаютъ.

Раиса выбѣжала за ворота и смотрѣла съ обрыва на узкую полукружную дорогу, по которой ѣхалъ Ѳеодоръ Игнатьичъ съ Никодимомъ Павловичемъ. Солнце близилось къ закату, и отъ сосѣдней горы надала на дорогу густая тѣнь. Лошадь упира-лась въ почву передними ногами. Бѣлый шелковый картузь нѣсколько разъ былъ поднимается на воздухъ, и Раиса въ отвѣтъ кивала головой, радостно улыбаясь. Никодимъ Павловичъ держалъ возжи. На поворотѣ онъ обернулся и посмотрѣлъ вверхъ, гдѣ, облитая мягкимъ розовымъ свѣтомъ, стояла молодая дѣвушка и махала платкомъ. Лошадь сдѣлала нѣсколько шаговъ дальше, и свѣтлое видѣніе исчезло; все было заслонено густой листвою придорожнаго орѣшника. Дорога стала ровнѣе. Никодимъ Павловичъ крѣпко ударилъ возжею лошадь, и черезъ пять минутъ начались бѣдные домики предмѣстья.

Очутившись въ пыльной улицѣ, Прягинъ спросилъ:

— Какія два слова хотѣли вы сказать, Ѳеодоръ Игнатьичъ?

— А вотъ какія,—отвѣчалъ Гранковскій, жмурясь на заходящее солнце.—Не называйте Раису Николаевну Пчелкой. Мнѣ это непріятно.

Никодимъ Павловичъ сказалъ:

— Вамъ извѣстно, какъ близко я былъ съ покойнымъ отцомъ вашей невѣсты?

— Я слыхалъ... Но почему это даетъ вамъ право...

— Не это, а сама Раиса позволяла мнѣ... Но — вамъ непріятно — я не буду называть ее Пчелкой... Еслибъ вы знали: вѣдь я держалъ ее на рукахъ, когда ей было всего полтора года! Тогда волосы у нея были совершенно золотые...

— У нея и теперь золотые волосы, но нянчить ее пора уже перестать.

Никодимъ Павловичъ шибко погналъ лошадь и, выѣхавъ на главную улицу города, сказалъ:

— Куда прикажете васъ завести?

— А въ клубъ!

Зданіе клуба возвышалось направо, на пригоркѣ. Ѳеодоръ Игнатьичъ выскочилъ изъ пролетки, снялъ картузь и небрежно поблагодарилъ Никодима Павловича.

IV.

Никодимъ Павловичъ жилъ на самомъ берегу Днѣпра, въ старомъ каменномъ домѣ съ узенькими окнами, въ которыхъ росли вѣтки высокихъ орѣховыхъ деревьевъ и акацій. Домъ былъ двухъ-этажный. Низъ обыкновенно стоялъ ниѣмъ не занятый.

Прягнѣ сдать кучеру лошадь и по каменной лѣстницѣ взошелъ наверхъ. Дощечка, на которой значилась его фамилія, блестѣла подъ послѣдними лучами солнца. Это былъ единственный свѣтлый пунктъ въ цѣлой квартирѣ. Въ комнатахъ царилъ сумракъ. Только тамъ и сямъ на стѣнахъ тускло мерцали золотистыя полосы рамъ. Мебель была темная, дубовая. Средняя комната была вся въ полкахъ съ книгами. У окна стояла здѣсь бархатная качалка. Никодимъ Павловичъ бросился въ нее и приказалъ подать себѣ чаю. Захаровна, безшумно ступая по ковра, принесла стаканъ въ серебряномъ подстаканникѣ и поставила на кругломъ столѣ возлѣ качалки. Чай совершенно простылъ, а Никодимъ Павловичъ все лежалъ въ качалкѣ, погруженный въ тоскливыя размышленія.

— Отчего у насъ такъ мрачно? — спросилъ онъ у старухи. — У всѣхъ людей свѣтло, а у насъ мрачно.

— Я не знаю, Никодимъ Павловичъ, — отвѣчала Захаровна, разводя руками. — Можетъ быть, прикажете зажечь огонь?

— Не надо, Захаровна, не надо! Огонь нисколько не поможетъ! Тускло и мрачно, а при лампѣ станетъ еще тусклѣе и мрачнѣе.

— Люстру можно зажечь.

— Съ какой радости? Праздникъ? Торжество? Уходи, Захаровна!

Но она не ушла. Постоявъ и помолчавъ, она тихо начала:

— Никодимъ Павловичъ, а Никодимъ Павловичъ!

— Что тебѣ?

— Почитали-бъ вы чего-нибудь, чѣмъ такъ скучать! Простите меня, глупую... Вонъ тамъ на столѣ новые журналы — бібліотекаръ прислалъ...

— Журналы?

— Журналы, батюшка! Есть пустые, а есть съ картинками. Установите читать—картинки посмотрите. Все легче на душѣ будетъ!

Прягинъ произнесъ:

— Хорошо, давай сюда журналы и огонь!

Захаровна подала свѣчи, пачеу журналовъ и зажгла лампу. Никодимъ Павловичъ долго разрѣзывалъ большимъ костянымъ ножомъ книжки и тетради журналовъ, но ничего не могъ читать. Второй стаканъ чаю точно такъ же застылъ, какъ и первый. Онъ вздохнулъ, отодвинулъ отъ себя журналы и сталъ смотреть въ окно.

Межъ вѣтвей высокихъ деревьевъ виднѣлось темное, безлунное небо. Рѣка, словно черное зеркало, блестя внизу, тамъ и сямъ отражая въ себѣ погасающіе лучи вечерней зари. Скоро эти лучи совсѣмъ потухли. По ту сторону Днѣпра, далеко, далеко, мерцалъ блѣдный огонекъ костра. Но погаснулъ и онъ.

Никодимъ Павловичъ уронилъ голову на руки. На подоконникѣ тихо капнула слезинка. Онъ вскочилъ, какъ ужаленный. „Этого еще не доставало!“ — подумалъ онъ и сердито закрылъ:

— Захаровна! Уберите этотъ чай, да, пожалуйста, закройте окна! Кажется, все небо въ тучахъ, и будетъ дождь!

V.

Гранковскій встрѣтилъ въ клубѣ знакомыхъ врачей и завелъ съ ними разговоръ о безобразныхъ порядкахъ въ больницѣ, гдѣ онъ состоялъ ординаторомъ. Старшій врачъ беретъ взятки, смотритель воруетъ, больные ходятъ въ лохмотьяхъ, ихъ кормятъ невозможной пищей. Врачи слушали Гранковского, сочувственно улыбались его выходкамъ, хохотали, когда онъ изображалъ въ лицахъ служебный персоналъ богоугоднаго заведенія, измѣняя голосъ и гримасничая, и пили въ угловой гостиной его ликверъ, чай, портеръ.

Распиная взяточниковъ, Федоръ Игнатьичъ часто уносился мыслью въ усадьбу Цариновыхъ, и ему мерещилась молоденькая дѣвушка съ удлинненнымъ личикомъ и милыми глазами. Отъ этого онъ вдругъ останавливался среди разсказа. „Взглядъ его устремлялся на минуту въ неопредѣленное пространство, и онъ, начавъ грознымъ обличеніемъ, кончалъ ничѣмъ—улыбкой и шуткой...

Онъ собирался въ театръ. Было поздно, но все равно, ему

некуда было дѣвать себя, и онъ хотѣлъ посмотрѣть хоть живыя картины, которыми сегодня долженъ былъ кончиться любительскій спектакль. Онъ всталъ и пожалъ товарищамъ руки. Но клубный лакей подаль ему карточку акушера Ворошилина. Федора Игнатьича приглашали на консилиумъ къ трудно больной, въ половинѣ одиннадцатаго.

Лицо Гранковскаго приняло серьезное выраженіе. Всего три года, какъ онъ получилъ право заниматься практикой, и на консилиумы звали его не часто. Ворошининъ былъ знаменитость, и его приглашеніе было лестно для молодого медика. Онъ не поѣхалъ въ театръ, отправился домой, взялъ инструменты, и въ назначенный часъ извозчикъ подвезъ его къ дому извѣстнаго богача Тухолкина.

Въ роскошной темноватой залѣ встрѣтилъ его хозяинъ. Тутъ уже было нѣсколько докторовъ; они улыбались другъ другу севозъ озабоченное выраженіе, которое, какъ маска, лежало на ихъ лицахъ. Ворошининъ былъ средняго роста, блондинъ, съ самодовольнымъ взглядомъ умныхъ глазъ, въ золотыхъ очкахъ. Руки онъ держалъ въ карманахъ брюкъ, которыя были коротки. Увидѣвъ Гранковскаго, онъ сказалъ:

— А, коллега! Очень пріятно! Больная проситъ немного обождать. Случай трудный! Можетъ быть, придется прибѣгнуть къ кесарскому сѣченію. Вы начинающій хирургъ—для васъ операція интересная.

Ворошининъ сказалъ нѣсколько медицинскихъ терминовъ. Гранковскій слегка возразилъ. Акушеръ посмотрѣлъ на него, нахмурившись, и произнесъ:

— Вамъ, должно быть, знакома брошюра Ганлейера? Это вздорная вещь. Ганлейеръ—шарлатанъ.

Федоръ Игнатьичъ замолчалъ. Ворошининъ продолжалъ ругать Ганлейера.

Черезъ нѣсколько минутъ консилиумъ собрался у постели больной. Двѣ акушерки сидѣли въ спальнѣ. Тухолкинъ стоялъ поодаль и ломалъ пальцы. Больная бодро смотрѣла на докторовъ.

... Въ часъ ночи Гранковскій вернулся домой, весь красный отъ стыда.

„За что я получилъ двадцать-пять рублей?“ — спрашивалъ онъ себя. „Ворошининъ разыгралъ комедію, напугалъ кесарскимъ сѣченіемъ... Самъ шарлатанъ! Говорить—осторожность, осторожность! Но вѣдь это не осторожность, а обманъ или невѣжество“.

Онъ ворочался на постели.

„Развѣ я затѣмъ сталъ медикомъ, чтобы надувать? Я не богатъ, но и не нуждаюсь“...

Мало-по-малу мысли его приняли другое направленіе. Невольно центромъ ихъ стала молоденькая дѣвушка съ милыми глазами, и онъ заснулъ.

Но онъ и проснулся съ мыслью о ней. Онъ лежалъ и думалъ о томъ, что она вчера шепнула ему за обѣдомъ. Ему казалось, что во снѣ онъ понималъ этотъ шопотъ, угадывалъ его значеніе; въ немъ былъ скрытъ какой-то глубокой смыслъ. Но какъ только улетѣлъ сонъ, вернулась къ нему прежняя забывчивость и несообразительность.

Онъ хотѣлъ задремать, чтобы увидѣть Раису. Но въ открытое окно спальни вривался широкимъ потокомъ золотисто-матовый свѣтъ яснаго утра. Въ саду, гдѣ-то въ высокой травѣ, кричалъ перепелъ. Тянуло прохладнымъ запахомъ мяты и спѣющихъ яблокъ. Сонъ не повиновался. Ѳедоръ Игнатьичъ подавилъ пружину дорогого хронометра: было ровно семь часовъ. Онъ одѣлся.

Квартира у него была студенческая. Она состояла изъ флигелька о двухъ комнатахъ. Въ первой комнатѣ лежали на столахъ, на диванѣ и по угламъ груды книгъ и рукописей. На подоконникѣ стоялъ неубранный самоваръ, и тутъ же увядалъ пышный букетъ розъ, который былъ вчера приготовленъ для Раисы, но забытъ. Во второй комнатѣ было еще меньше порядка. Двѣ недѣли тому назадъ у Гранковскаго гостилъ товарищъ; стулья, на которыхъ онъ спалъ, до сихъ поръ не были разставлены. Бѣлье какъ-попало было брошено на комодъ. И некому было убрать, потому что лакей неизвѣстно куда ушелъ—должно быть, запьянствовалъ.

Ѳедоръ Игнатьичъ привыкъ къ этому. Но прежде онъ все-таки заводилъ отъ времени до времени порядокъ въ домѣ. Теперь его разсмѣшило, что въ его флигелькѣ такой сумбуръ. Чтобы умыться, ему надо было ѣхать въ купальню. Онъ, посвистывая, сѣлъ на извозчика.

На берегу Днѣпра онъ встрѣтился съ Прягинымъ. Оба они молча поклонились другъ другу.

„Чудакъ!—подумалъ Гранковскій.—Ужъ эти опекуны!“

Выкупавшись, онъ отправился пить чай въ „Бѣлый Ресторанъ“. Довольно красивая официантка, съ большими потупленными, больше по привычкѣ, глазами, поднесла ему на тарелкѣ сдачу съ пяти-рублевой бумажки. Ему опять припомнилось, что онъ получилъ вчера эти деньги отъ Тухолкина.

Онъ помолчалъ, глядя на тарелку со сдачей.

— Возьмите сдачу себѣ, — сказалъ онъ, махнувъ рукой.

Дѣвушка жеманно улыбнулась, быстро сунула деньги въ карманъ подъ бѣлый передникъ и, понявъ щедрость гостя по-своему, подняла на него глаза съ застѣнчивой пытливостью.

Но онъ уже читалъ газету. Служанка вновь подошла и облокотилась на столикъ. Можетъ быть, она ждала продолженія разговора. Но Ѳедоръ Игнатьичъ уже не замѣчалъ ея. Бросивъ газету, онъ разсѣянно вышелъ, по дорогѣ купилъ букетъ бѣлыхъ розъ и отправилъ невѣстѣ, а самъ поѣхалъ въ больницу.

VI.

Райса встала рано; но, услышавъ, что матан уже ходитъ по дому, испугалась. Варвара Тихоновна требовала, чтобы падчерица вставала раньше ея, и еще третьяго дня бранила ее за то, что она соня. Торопливо одѣвшись, она выбѣжала на террасу.

Варвара Тихоновна въ ситцевой блузѣ сидѣла за самоваромъ и перетирала посуду. Она благосклонно посмотрѣла на молодую дѣвушку и подставила ей щеку для утренняго поцѣлуя.

— Тебѣ слѣдуетъ спать дольше, — сказала она. — Надо, чтобы ты поправилась за лѣто. Ты худенькая и похожа еще на дѣвочку. Садись и налей себѣ въ чай побольше сливокъ... Замѣтила ты, какъ Никодимъ Павловичъ все-таки былъ огорченъ? А ты умна, и хорошо сдѣлала, что пригласила его въ шафера. Мы у него въ долгу, и одинъ Богъ знаетъ, когда намъ удастся расплатиться.

— Матан, я не потому пригласила его въ шафера...

Она покраснѣла и остановилась. Варвара Тихоновна смотрѣла на падчерицу съ улыбкой. Теперь, когда дѣвушка стала невѣстой, она считала позволительными нѣкоторые разговоры съ нею. Она спросила:

— Можетъ быть, ты пожалѣла его?

Райса отвѣтила:

— Онъ нашъ другъ.

— Да, онъ нашъ другъ! — задумчиво произнесла Варвара Тихоновна. — Мы ему должны восемнадцать тысячъ. Мнѣ казалось, что онъ тебя, Райса, любилъ и ждалъ только твоего совершеннѣйшаго. Онъ нѣсколько разъ говорилъ мнѣ, что сдѣлаетъ тебѣ сюрпризъ, когда пойдетъ тебѣ двадцать-второй годъ. Бѣдный! Для него самого было сюрпризомъ сватовство Ѳедора Игнатьича.

Молодая дѣвушка перестала пить чай и глядѣла сосредото-

ченно на цвѣтникъ, залитый солнцемъ, своими большими свѣтлыми глазами.

— Мнѣ тоже нравился и нравится Никодимъ Павловичъ,—начала она.—Я даже люблю его. Но любить, это одно, а влюбиться—другое.

— Раиса, ты разсуждаешь совсѣмъ какъ большая... Впрочемъ, я и забыла, ты не только большая—ты выходишь замужъ! Да, онъ хорошій человекъ, Никодимъ Павловичъ!—прибавила она со вздохомъ.—Скажи: у тебя не было разговора о приданомъ съ Федоромъ Игнатьичемъ?

— Матап!

— Что жъ тутъ такого?.. Ну, да, я понимаю, онъ благородный человекъ! Я была въ этомъ увѣрена, и когда Никодимъ Павловичъ спросилъ, не разсчитываетъ ли Федоръ Игнатьичъ на приданое, я просто обидѣлась... „О, какъ можно, онъ на это неспособенъ!“ Но все-таки, Раиса, надо тебѣ знать, на всякій случай, что у тебя, въ сущности, ничего нѣтъ. Покойный отецъ, умирая, выразилъ желаніе, чтобы имѣніе оставалось въ моемъ пожизненномъ владѣніи. А имѣніе такое маленькое, и даже еслибъ ты была въ правѣ, надѣюсь, не отняла бы его у меня... Не правда ли, Раиса?

— Матап! Ради Бога!..

Варвара Тихоновна вынула платокъ, поднесла къ глазамъ и стала тихо плакать. Раиса смотрѣла на полныя трясущіяся плечи матап и не могла понять причины ея слезъ.

— Успокойтесь, матап!—говорила она.—Имѣніе ваше. Я отлично знаю, что у меня ничего своего нѣтъ.

Варвара Тихоновна продолжала плакать. Раиса сидѣла, нахмутивъ бровки. Потомъ она встала изъ-за стола и молча ушла въ садъ.

По уходѣ падчерицы, Царинова спрятала платокъ и, глядя покраснѣвшими глазами на фигуру дѣвушки, мелькавшую вдаль среди темной зелени сада, стала ѣсть и пить.

Дѣвушка сѣла на скамейку подъ липами и думала о томъ, какое будетъ счастье, когда она станетъ свободна. Матап всегда чѣмъ-нибудь сумѣетъ огорчить ее. Къ чему эти слезы? Развѣ матап еще недавно не имѣла обыкновенія подымать рукъ къ небу и кричать: „Господи! когда Ты избавишь меня отъ этой дѣвчонки?“ Теперь матап нѣжничаетъ и дѣлаетъ видъ, что обижена или можетъ быть обижена.

„Разумѣется,—думала дѣвушка,—мнѣ было бы лучше, еслибы у меня было что-нибудь свое. Быть на шеѣ у мужа не хотѣ-

лось бы. Матап чувствуетъ, что она нравственно обязана дать мнѣ приданое не изъ однихъ тряпокъ, и вотъ поэтому, должно быть, плачетъ. Мнѣ и жаль ее, и въ то же время я просто возмущена“.

Она сердилась, но глаза ея были сухи. Она вообще рѣдко плакала. Варвара Тихоновна черезъ нѣкоторое время отыскала ее и сама подошла къ ней. Она поцѣловала падчерицу.

— Раиса, ты ведешь себя какъ будто ты мнѣ чужая... Отчего ты не захотѣла говорить со мною?

— Матап, о чемъ говорить? Я не понимаю вашихъ слезъ.

— Вѣришь ты мнѣ, что я тебя люблю?

Раиса сказала, потупивъ глаза:

— Вѣрю.

— Я тебѣ не родная мать—правда. Я мачиха. Но я заботилась о тебѣ, какъ именно и родная мать не заботится! Заболѣешь ты, бывало—сейчасъ же докторъ, я не сплю отъ тревоги, ухаживаю за тобой... Помнишь, какъ я вытирала тебѣ спиртомъ ноги? Ты ни въ чемъ не нуждалась и три года провела въ лучшемъ французскомъ пансіонѣ. Вѣдь я платила за тебя—шутка сказать—шестьсотъ рублей! Раиса, подумай хорошенько, что, не встрѣчая съ твоей стороны признательности, я могу же иногда придти въ грустное настроеніе... Не смотри такъ, Раиса, не сердись! Ты нашла себѣ друга, а я... Я вѣдь совершенно одинока... Не будемъ ссориться—намъ осталось немного жить вмѣстѣ. Будь умницей, пожалуйста.

— Я и не думаю ссориться. Я признательна вамъ за все. Вы сами завели этотъ несчастный разговоръ о приданомъ.

— Ну, будетъ! Я пришла тебѣ сказать, что намъ слѣдуетъ поѣхать сегодня въ городъ. Придется истратить не мало денегъ... Угадай, на что? Мы купимъ полотна, выберемъ разныхъ матерій и всего, всего! Ступай, одѣнься; я прикажу заложить фаятонъ.

Молодая дѣвушка улыбнулась и побѣжала переодеваться. На террасѣ посыльный подаль ей букетъ бѣлыхъ розъ отъ Федора Игнатьича. Она вся вспыхнула и въ спальнѣ стала цѣловать душистый букетъ, прыгая и радуясь, какъ маленькая дѣвочка.

VII.

Фаятонъ, нагруженный покупками, въ гладкихъ плоскихъ картонкахъ, которыя обѣими руками придерживала Варвара Тихоновна, взбирался въ два часа дня по крутому спуску. Раиса

утомленными глазами смотрѣла на дорогу, прикрываясь отъ солнца краснымъ шелковымъ зонтикомъ.

Впереди она увидѣла бѣлый картузь и чуть не выскочила изъ фэтона.

— Оедоръ Игнатьичъ!

Онъ остановился и, улыбаясь, повернулъ къ ней лицо.

— А!!

— Откуда вы?—спросила Варвара Тихоновна.

— По обыкновенію, изъ больницы! Раиса Николаевна! Не хотите-ли—побѣжимъ? Кто кого догонитъ, тотъ и будетъ первый... Выбѣжайте!

— Стой, Петръ!

Варвара Тихоновна поѣхала дальше, а молодые люди взились за руки и смотрѣли другъ на друга.

— Въ самомъ дѣлѣ, вы хотите бѣгать?—спросила дѣвушка.— Ужасно круто!

Оедоръ Игнатьичъ придавъ глазамъ глубокомысленное выраженіе, голосу отбѣнокъ добродушнаго юмора и заговорилъ какъ Никодимъ Павловичъ:

— Ничего не слѣдуетъ дѣлать проста. Эта крутая дорога пусть будетъ прообразомъ жизни, которую мы сами себѣ избираемъ. Если намъ трудно покажется бѣжать, значить, мы еще не способны быть мужемъ и женой... Поэтому будемъ стараться... А такъ какъ патан уже далеко и мы рѣшительно одни, то, можетъ быть, мы поцѣловались бы?

— Не надо,—сказала она со смѣхомъ.—Но, Боже мой, вылитый Никодимъ Павловичъ! Кому же первому бѣжать? Я хочу испытать свои силы... Разъ, два, три!

Платье зашуршало. Раиса бросилась впередъ. Она бѣжала, наклонивъ голову, и дѣлала мелкіе шажки. Бѣжала она неутомимо, опасаясь остановиться. Гранковскій скоро отсталъ. Она была уже возлѣ усадьбы и, сдѣлавъ, при помощи зонтика, послѣдній шагъ, сѣла на траву. Сердце ея билось такъ, что она не могла сказать ни слова. Она съ торжествомъ глядѣла на жениха, который былъ еще далеко, но уже выбился изъ силъ. Онъ не бѣжалъ, а шелъ, едва передвигая ноги, и снявъ картузь. По его лицу струился потъ крупными каплями.

— Нѣтъ, я не могу такъ бѣгать, рѣшительно не могу!—проговорилъ онъ, подходя и опускаясь на траву возлѣ Раисы.

Она приложила руку къ сердцу и прерывающимся голосомъ сказала:

— А что изъ этого слѣдуетъ?

— Изъ этого слѣдуетъ, что ты будешь главой.

— Неправда, изъ этого слѣдуетъ, что ты берешь на себя непосильное бремя... А главой я не хочу быть... Хочу только, чтобы ты любилъ меня.

Онъ хотѣлъ взять ея руки. Но въ воротахъ появился Петръ. Ѳеодоръ Игнатьичъ помогъ невѣстѣ встать, и они вошли въ домъ, гдѣ Варвара Тихоновна уже разложила на столахъ и диванахъ покупки, и горничная хлопотала около послѣдней нескрытой картонки.

Варвара Тихоновна желала, чтобы женихъ увидѣлъ, какое тонкое полотно купила она для Райсы, а также какія прекрасныя кружева, шелковыя и шерстяныя матеріи и даже вязаныя принадлежности женскаго туалета. Но Райсѣ стало стыдно, что папан хвастается передъ Ѳеодоромъ Игнатьичемъ ея тряпками.

— Мапан, ему вовсе не любопытно, онъ мужчина, и онъ усталъ, онъ хочетъ ѣсть! Ѳеодоръ Игнатьичъ, пойдемте въ буфетъ, я накормлю васъ.

Она потащила его за собой. Въ буфетѣ она сдѣлала ему бутербродъ изъ зеленого сыра и налила рюмку вина.

— Кушайте, Ѳеодоръ Игнатьичъ.

Онъ протянулъ руку къ вину, но она предупредила его и выпила сама. Впрочемъ, она не допила вина: поперхнулась отъ смѣха. Варвара Тихоновна стояла въ дверяхъ и смотрѣла на эту сцену. Первый разъ ея падчерица вела себя такъ свободно.

— Дайте мнѣ допить!—крикнулъ Гранковскій.

Райса подала ему рюмку. Онъ напелъ то мѣсто, котораго касались ея губы, и приложилъ къ своимъ губамъ.

— Дѣти!—произнесла Варвара Тихоновна и оставила ихъ опять вдвоемъ.

— Теперь папан совсѣмъ *charmante*?—спросилъ онъ.

— Да! О, да!

Онъ оглянулся на дверь и взялъ дѣвушку за талию. Она потупила глаза.

— Пойдемъ въ садъ, — сказала она, дотрогиваясь до его руки.

— Пойдемъ. Но дай мнѣ сначала еще одинъ бутербродъ и стаканчикъ вина.

Онъ все продолжалъ держать руку на ея талии. Райса накормила его и поднесла къ его губамъ стаканъ вина. Гранковскій выпилъ все до дна.

Въ саду онъ счастливыми глазами смотрѣлъ на правильный профиль ея лица, и длинныя рѣсницы, и волосы неровнаго зо-

лестистаго цвѣта, то искрающіеся, какъ шерсть, то мягкіе и свѣтлые, какъ паутина, на тонкую шею, покрытую нѣжной кожей, съ легкимъ загаромъ назади, на всю ея гибкую фигуру. Со вздохомъ онъ сказалъ:

— Comme je t'aime!

Она улыбнулась и беззвучно прошептала что-то.

— Что, что? — спросилъ онъ.

— Rien. C'est la même chose, — отвѣчала она. — Тоже, что и вчера.

— А что ты сказала вчера?

Она покраснѣла и разсмѣялась.

— Боже, какъ я рѣшилась сказать это при всѣхъ... Боже!

Они остановились на краю обрыва.

— Я брошу тебя туда, если ты не повторишь. Слышишь?

Глаза его смѣялись, чудные добрые глаза, одинъ темно-карий, другой темно-сѣрый, и румянецъ игралъ на загорѣлыхъ щекахъ.

— Брось! — сказала она шаловливо.

— Хорошо!

Онъ схватилъ ее на руки и приподнялъ на воздухъ.

— Пусти меня! Tu me fais mal!

— Скажи...

— Ахъ, какой любопытный... Ecoute donc!

Коса ея упала и расплелась. Платье касалось земли. Она повернула къ жениху почти пунсовое лицо.

— Ecoute! — повторила она, и опять беззвучно прошептали что-то ея губы, лѣниво раскрывшись до половины.

— Я ничего не слышалъ, — произнесъ онъ, рассказывая дѣвушку на сильныхъ рукахъ. — Вотъ я тебя!

— Laisse moi, Федоръ Игнатьичъ, laisse moi! — закричала она.

Онъ почувствовалъ, что у него кружится голова. Тогда онъ поставилъ дѣвушку на землю и, тяжело дыша, поднесъ къ лбу руку.

— Я усталъ, — сказалъ онъ. — Но когда-нибудь я добьюсь своего... Tu me diras tout!

Она приводила въ порядокъ волосы и смѣялась сконфуженнымъ смѣхомъ, глядя на жениха большими влажными глазами.

— Дѣти, обѣдать! — крикнула издали Варвара Тихоновна, показываясь между деревьевъ.

Федоръ Игнатьичъ и Ранса вздохнули вдругъ разомъ и торопливо пошли на встрѣчу татап.

VIII.

Ждали Никодима Павловича, но онъ не пріѣхалъ. Обѣдъ прошелъ, тѣмъ не менѣе, весело. Гранковскій дѣлалъ замѣчанія и возраженія самому себѣ отъ лица отсутствующаго Прагина, что вызывало у Варвары Тихоновны громкій смѣхъ. Раиса тоже смѣялась, но каждый разъ находила, что неприлично смѣяться надъ другомъ, и старалась сдерживаться. Послѣ обѣда Варвара Тихоновна поручила падчерицѣ сварить кофе. Молодая дѣвушка не справилась съ этой задачей. Кофе выбѣжало и залило скатерть.

— Плохая хозяйка! — молвила матан и принялась сама варить.

Раиса сконфуженно смотрѣла на жениха.

— Ничего, ничего; если только за этимъ остановка — я прощаю.

— Скажите пожалуйста!

Раиса выдернула изъ бувета бѣлую розу и замахнулась на Ѳедора Игнатьича.

Онъ подставилъ лицо и покорно ждалъ удара. Удара не послѣдовало.

— Богъ съ вами! — сказала молодая дѣвушка. — Жаль розу. Лучше я ее посажу вотъ сюда...

Она воткнула ее въ волоса. Ѳедоръ Игнатьичъ подкрался и вытащилъ розу.

Такъ незамѣтно протекло нѣсколько часовъ. Варвара Тихоновна предлагала молодымъ людямъ пойти опять подышать въ саду свѣжимъ воздухомъ.

— Матан, жарко! — возражала молодая дѣвушка, потупляясь.

Ѳедоръ Игнатьичъ тоже говорилъ:

— Да, жарко.

Пока Варвара Тихоновна спала, женихъ и невѣста сидѣли на террасѣ. Оба молчали все время. Варвара Тихоновна отдыхала послѣ обѣда обыкновенно часъ. Но сегодня она проснулась черезъ полчаса. Увидѣвъ Раису и Гранковскаго на террасѣ, она улыбнулась.

— Вы тутъ! Подождите же, я угощу васъ малиной. Въ этомъ году у меня очень удачная малина.

Хотя вдвоемъ Раиса и Ѳедоръ Игнатьичъ передъ этимъ упорно молчали, но имъ тогда не было скучно. Теперь присутствіе Варвары Тихоновны стѣсняло ихъ и нагоняло тоску. По-

ѣвъ варенья, они перекочевали въ гостиную, сѣли за піанино и стали играть въ четыре руки.

Солнце склонялось къ заката, и на стѣнѣ горѣли золотистыя пятна, освѣщая крупные алые цвѣты обоевъ.

— А въ самомъ дѣлѣ, не прогуляться ли намъ?—спросилъ Федоръ Игнатьичъ, барабана по клавишамъ. — Скоро мнѣ надо будетъ уходить...

Раиса нерѣшительно посмотрѣла на жениха.

— Мы проводимъ тебя—съ маманъ?

— Merci bien! Ого! съ маманъ!

Она ласково улыбнулась ему и встала. Онъ кончилъ игру невѣроятнымъ диссонансомъ. Подавъ руку невѣстѣ, Федоръ Игнатьичъ храбро прошелъ съ нею мимо Варвары Тихоновны.

— Sais-tu, Раиса,—началъ онъ,—мнѣ наша свадьба кажется чѣмъ-то неосуществимымъ. Право, ужасно долго ждать!

Они шли по аллеѣ невысокихъ кустовъ смородины. Вдали въ золотисто-розовой пыли тупевались лиловые силуэты зданій большого города. Еще дальше, темной стальной полоской казалась рѣка. Было тихо, и надъ красивымъ необъятнымъ пейзажемъ блѣднымъ воздушнымъ куполомъ висѣло лазурное небо. На фонѣ огненного заката черной массой выступала больница, по ту сторону оврага, окружавшаго усадьбу.

Гранковскій обнялъ невѣсту и продолжалъ:

— Зачѣмъ ждать, Раиса?

— Это надо, Федя... А зачѣмъ спѣшить?

Она посмотрѣла на него и прочитала отвѣтъ въ его глазахъ. Она покраснѣла, прижалась къ нему и прошептала:

— Я люблю тебя, Федя.

Молча шли они дальше. Аллея наклонно вилась по скату горы. Ихъ шаги становились все быстрѣе и быстрѣе.

— Теперь ты, конечно, скажешь, Раиса, о чемъ вчера за обѣдомъ...

— Федя, неужели всѣ мужчины такіе любопытные? Ахъ, Федя, какъ стыдно! Я хотѣла еще дольше помучить тебя—да и слѣдовало бы... Но Богъ съ тобой. Сядемъ здѣсь.

Они сѣли на скамейкѣ, подъ тѣнью стараго шелковичнаго дерева.

— Дай мнѣ ухо, я тебѣ скажу на ухо, Федя.

Она положила ему на плечо обѣ руки и подбородокъ.

— Я сказала, Федя,—шопотомъ начала она,—что меня напрасно принимаютъ за ребенка... что меня обижаютъ...

— Только это?—разочарованно спросилъ Гранковскій.

Она молчала, застыдившись.

Онъ притянулъ ее къ себѣ и произнесъ:

— Я перестану считать тебя ребенкомъ, когда ты станешь дамой... Но, кромѣ шутокъ, ты очень умна, Раиса, и меня самого обидѣло, когда вчера Никодимъ Павловичъ сказалъ, что ты еще дитя душой... Признайся, Раиса—имѣлъ на тебя какіе-нибудь виды Никодимъ Павловичъ?

— Я не знаю.

— Ты такая проникательная! Какъ мышка въ норѣ, сидишь, а все видишь... Можетъ быть, онъ, на правахъ друга дома, шутилъ, что ты станешь со временемъ его *petite femme*... Нѣтъ, Раиса?

— Зачѣмъ ты это спрашиваешь?

Молодая дѣвушка сдѣлала серьезное лицо и старалась смотрѣть жениху прямо въ глаза. Потомъ она засмѣялась и сказала, покраснѣвши:

— Боже, *es-tu jaloux*!

Онъ схватилъ ея руки и покрылъ поцѣлуями.

— Да, да! Мнѣ все-таки кажется, что ты отъ меня что-то скрываешь. Вчера тебѣ было неловко въ присутствіи Никодима Павловича. Ты даже боялась его.

Раиса сѣла къ нему на колѣни и стала цѣловать его, хоча ему въ лицо, такъ, что онъ слышалъ свѣжесть ея дыханія.

— Сумасшедшій Оеда, сумасшедшій!

— Какая ты змѣйка!—сказалъ онъ, съ блаженной улыбкой глядя на нее.

Онъ крѣпко держалъ ее обѣими руками и любовался ея красотой и молодостью. Онъ чувствовалъ, что безмѣрно счастливъ. Вдругъ забылъ онъ Прягина, забылъ, что пора уходить, потому что зайдетъ солнце и будетъ темно, забылъ обо всемъ на свѣтѣ. Онъ молчалъ, и молчала его невѣста. Сердце его горѣло, и онъ слышалъ, какъ, согласно съ его упругими біеніями, билось сердечко Раисы.

Тѣмъ временемъ погасло солнце, и сѣро-лиловый прозрачный сумракъ обступилъ молодыхъ людей. Гранковскій увидѣлъ, какъ поблѣднѣла Раиса и потупила рѣсницы, отъ которыхъ тѣни упали на щеки.

— Отчего у тебя потемнѣли глаза?—спросилъ онъ тихо.

Она не отвѣтила; удлинненное личико ея хранило странную неподвижность, и только высоко и часто вздымалась ея грудь.

— Господа, а куда вы забрались?—послышался голосъ паша. — Ждала васъ, ждала—чай простыль!

Молодая дѣвушка вскочила и побѣжала внизъ по дорожкѣ, сдѣлавъ знакъ Гранковскому слѣдовать за нею. Въ самомъ низу стояли высокія ветлы на берегу небольшого пруда. Теперь этотъ прудъ казался чернымъ, и въ немъ отражалась бѣлая палатка купальни. Раиса остановилась, обняла Федора Игнатьича такъ крѣпко, что у него занялось дыханіе, и потомъ сказала вполголоса!

— Побѣжимъ скорѣй по этой дорожкѣ. Пока патап будетъ искать, мы успѣемъ прибѣжать и напиться чаю.

Свѣтлое платье Раисы замелькало впереди, среди темныхъ, молчаливыхъ кустовъ и деревьевъ. Иногда она останавливалась, чтобъ подождать отставшаго Федора Игнатьича. Когда онъ приближался, она торопливо цѣловала его и бѣжала дальше—все съ тѣмъ же блѣднымъ, неподвижнымъ лицомъ.

Но на террасѣ она стала смѣяться, держа руку у сердца. Она сѣла за столъ и выпила однимъ духомъ стаканъ холоднаго молока. При свѣтѣ стеариновой свѣчи, горѣвшей въ узкомъ стеклянномъ колпакѣ, какъ двѣ звѣздочки блестяли ея глаза и на оживившемся лицѣ играть румянецъ.

Пришла Варвара Тихоновна и была недовольна. Молча налила она стаканъ чаю и подала Федору Игнатьичу.

— Поздно мнѣ будетъ, Варвара Тихоновна, идти,—сказалъ Федоръ Игнатьичъ.—Не совсѣмъ темно, но надо спѣшить! Благодарю васъ за чай... не хочу. Раиса Николаевна, гдѣ вашъ стаканъ? Дайте, я тоже выпью молока.

— Какъ у васъ дрожать руки, Федоръ Игнатьичъ!—замѣтила Варвара Тихоновна:—вы, вѣрно, бѣгали, господа?.. Право, я и не знаю. Оставила бы я васъ ночевать... Слава Богу, у насъ есть гдѣ. Гм?

— Нѣтъ,—сказалъ Федоръ Игнатьичъ,—я привыкъ ночевать у себя и пользуюсь дома рѣдкимъ комфортомъ...

Ему хотѣлось пошкольничать, но шутка не удалась. Въ самомъ дѣлѣ, отчего бы не заночевать у Цариновыхъ? Однако, что-то заставило его отказаться отъ этого предложенія. Онъ всталъ, чтобы уходить.

— Нѣтъ! въ такомъ случаѣ, Петръ заложитъ вамъ лошадь и отвезетъ васъ!

— Я провожу!—вскричала Раиса и посмотрѣла на мачиху.

— Поздно, дитя мое,—кратко сказала Варвара Тихоновна, уходя.

Раиса вздохнула и подумала: „Федя правъ, что долго ждать...

Какъ скучно будетъ безъ него!“ Она протянула ему руку, и онъ поцѣловалъ ее въ ладонь.

Пока запрягали лошадей, молодые люди чинно ходили подъ руку передъ террасой. Раиса слегка склоняла голову въ плечу жениха; онъ держалъ бѣлый картузъ въ свободной рукѣ, потому что ему было жарко.

IX.

Дома Гранковскій нашелъ маленькое письмо, которое было воткнуто въ дверную щель. Онъ зажегъ свѣчу и, не снимая пальто и картуза, сорвалъ конвертъ и сталъ читать. Анна Николаевна Ворошилина приглашала его завтра на обѣдъ по случаю семейнаго праздника. Онъ пожалъ плечами и подумалъ: „не успѣешь наплевать на человѣка, смотришь, онъ уже спѣшитъ тебѣ дать взятку... Хорошо, надо будетъ пообѣдать. Къ тому же, у Ворошилиныхъ бываетъ много народу, а я люблю наблюдать людей. Преинтересныя дѣлаютъ иногда рожи“. Онъ расхохотался, вспомнивъ самого Ворошилина и его короткія панталоны.

Онъ раздѣлся и сѣлъ у открытаго окна, выходившаго въ садъ. Было темно. Кое-гдѣ надъ низкими верхушками фруктовыхъ деревьевъ мерцали звѣзды. Ему было досадно, зачѣмъ не оставила его ночевать Варвара Тихоновна и не настояла на этомъ, когда онъ отказался. На свой флигелекъ онъ смотрѣлъ такъ, какъ смотрять на нумера люди, которые не сегодня-завтра должны переѣхать въ просторную квартиру. Лакей упорно не появлялся, и въ головѣ Ѳедора Игнатьича начинала мелькать мысль, что онъ его обокралъ. Но барину противно было провѣрять подозрѣніе. Все равно, съ полиціей онъ возиться не станетъ. Поскорѣй бы уже, поскорѣй новая жизнь, Господи!

Спать ему не хотѣлось. Было едва одиннадцать часовъ. Откуда-то издали доносилось задушевное пѣніе тенора. Въ этой мѣстности все сады. И ему представилась картина счастливой четы, которая сидитъ теперь гдѣ-нибудь подъ тѣнью стараго дерева, и никто не мѣшаетъ ей цѣловаться. Онъ съ завистью думалъ объ этой воображаемой четѣ.

На другой день онъ послалъ, по обыкновенію, букетъ розъ невѣстѣ, сдѣлалъ въ больницѣ нѣсколько операций и нѣкоторое время колебался—ѣхать ему къ Ворошилинымъ или Цариновымъ. Легкое раздраженіе противъ Варвары Тихоновны рѣшило дѣло въ пользу Ворошилиныхъ. Онъ надѣлъ черный сюртукъ и отправился на званый обѣдъ.

Хозяйка, черноглазая, смуглая барынька въ красныхъ лентахъ, громко привѣтствовала его, когда онъ вошелъ въ гостиную.

— А, вы таки пришли! А я думала, что написала невѣрный адресъ. Сегодня мы празднуемъ съ Филиппомъ Проклычемъ двадцатилѣтіе... Кто подумалъ бы, что мы уже такъ стары!.. Вы незнакомы? Позвольте васъ познакомить.

Она представила его какимъ-то отцѣвшимъ дамамъ и пожилымъ профессорамъ. Въ числѣ гостей былъ Никодимъ Павловичъ. Онъ сухо раскланялся съ Гранковскимъ.

— А Филиппъ Проклычъ, — продолжала Анна Николаевна съ довольной усмѣшкой: — до сихъ поръ никакъ не можетъ освободиться отъ больныхъ. Представьте: толпы больныхъ! Буквально, толпы! Въ этомъ году нѣтъ отбоя. Замѣтили вы — просто ярмарка какая-то возлѣ нашего дома!

Федоръ Игнатьичъ улыбнулся Аннѣ Николаевнѣ и бросилъ косой взглядъ направо. Большой малиновый коверъ лежалъ передъ диваномъ; кресла были раздвинуты, и вокругъ ковра сидѣли дамы, распустивъ шлейфы. Онъ бесѣдовали между собой.

„Ни одной хорошенькой“, — подумалъ Федоръ Игнатьичъ.

Потомъ онъ спросилъ:

— Кто эта дѣвушка въ голубомъ платьѣ?

— Это? Я васъ не познакомила? Дочь генерала Платонова. Бѣдняжка, она прелестной души... Вотъ ужъ не отъ міра сего! Чистая, чистая! Она глуха и косноязычна... Знаете что — поухаживайте за нею!

Федоръ Игнатьичъ не успѣлъ отвѣтить, какъ она сдѣлала жестъ, и дѣвушка въ голубомъ платьѣ подошла къ нимъ. Молодой человѣкъ поднялся съ мѣста. Анна Николаевна крикнула на ухо дѣвушкѣ:

— Федоръ Игнатьичъ Гранковскій... Займите его, душечка!

Бросивъ ему благодарный взглядъ, хозяйка ушла къ другимъ гостямъ. Онъ сѣлъ возлѣ дочери генерала Платонова. Она улыбалась и что-то говорила — онъ ничего не понималъ.

Въ дверяхъ раздался возгласъ Анны Николаевны.

— Вотъ ужъ кого не ожидала! А гдѣ же Рачка? Вы безъ Рачки?

— Она осталась дома, — отвѣчала Варвара Тихоновна любезно.

— Я сама виновата! Поздно вспомнила о васъ! Милая! Всѣхъ знакомыхъ столько, столько! Вѣроятно, она думаетъ, что у меня особый парадъ? Эти подлѣтки всегда съ претензіями. Прошу васъ...

Гранковскій покраснѣлъ отъ досады. Понесло его къ Воро-

пилинымъ! Теперь онъ былъ бы вдвоемъ съ Райсой. Онъ, нахмурившись, взглянулъ на свою косноязычную собесѣдницу. Та оробѣла и растерянно улыбулась ему. Онъ всталъ.

— Здравствуйте, Варвара Тихоновна. Чтѣ Райса?

— Здорова. Кажется, Никодимъ Павловичъ здѣсь? Надо будетъ его пожурить, чтѣ это онъ насъ забылъ. Съ кѣмъ вы разговаривали? Хорошенькая барышня. Одѣта очень хорошо. Брюнеткѣ идетъ... Ахъ, Ѳеодоръ Игнатьичъ, смотрите, не измѣните Райсѣ!

Варвара Тихоновна лукаво засмѣялась. Гранковскому и съ нею стало скучно. Онъ отошелъ и разсѣянно глядѣлъ на нарядную толпу гостей, думая о томъ, какъ тихо и хорошо въ это время въ усадьбѣ Цариновыхъ, въ прохладномъ саду, на днѣ оврага, гдѣ блеститъ прудъ и надъ нимъ склоняются сѣдыя ветлы.

Дамы ворковали другъ съ дружкой, съ усиленною любезностью разспрашивая: „ну, какъ же вы поживаете?“ Или: „какъ зубки вашего малютки?“ Въ дѣйствительности, имъ было мало дѣла до зубковъ чужого малютки, и отъ времени до времени онѣ поглядывали на широкія, плотно запертыя двери, которыя вели въ столовую.

Мужчины совсѣмъ не интересовались дамами. Они сидѣли почти всѣ поодаль, въ другомъ углу гостиной, или стояли на балконѣ и спорили, по временамъ заливаясь смѣхомъ. Тогда дамы ревниво смотрѣли на нихъ.

Вошелъ Филиппъ Проклычъ, распространяя тяжелый запахъ іодоформа. Онъ былъ въ темносѣрой парѣ, палевомъ атласномъ галстухѣ и съ розаномъ въ петлицѣ.

— Здравствуйте! здравствуйте! — произнесъ онъ, поклонившись направо и налево, и подаль всѣмъ руку. — Благодарю за честь! Благодарю!

Его окружили дамы и мужчины и поздравляли. Онъ самодовольно кивалъ своей русой головой.

— Филиппъ Проклычъ, вотъ подарки, смотри! — сказала Анна Николаевна, беря его за руку и подводя къ отдѣльно стоявшему у печки круглому столу.

Онъ подошелъ, взглянулъ на серебряную чарку съ римской цифрой XX и развернулъ шелковый платокъ, расшитый бисеромъ съ вензелемъ Ф. В., пожалъ плечами и промолвилъ:

— Отъ кого?

Жена отвѣтила съ сконфуженнымъ выраженіемъ:

— Это вышивала тебѣ дочь генерала Платонова... вотъ она стоитъ и смотреть... Жюли!..

— А! Дочь! Жули!

Онъ поклонился въ сторону восточнѣйшей дѣвушки, которая зардѣлась отъ удовольствія. Прочіе подарки состояли изъ чайнаго сервиза, альбомовъ, серебрянаго колокольчика.

— Хорошій звонъ!— сказалъ онъ, позвонивъ, и отвернулся.

Дамы льстили ему и находили, что онъ пополнѣлъ и смотритъ молодцомъ. Мужчины ласково глядѣли на него, и каждый хотѣлъ заговорить съ нимъ. Онъ увидѣлъ Прягина, который только-что пересталъ бесѣдовать съ Варварой Тихоновной, и сказалъ:

— Какъ ваши банкиры? Загребаютъ деньги лопатой? А?

Другому гостю, отставному учителю гимназіи, онъ молвилъ:

— Кажется, вы получили пенсію? Девятьсотъ рублей? Завидный удѣлъ! Хотѣлъ бы я получать пенсію!

Федора Игнатьича онъ потрепалъ по плечу.

— Ну, что, коллега, умираютъ паціенты?

Двери распахнулись, и гости увидѣли длинный столъ, покрытый бѣлоснѣжной скатертью и весь въ хрусталѣ и серебрѣ.

— Милости просимъ! Милости просимъ!

Х.

Кто-то изъ гостей занялъ-было обычное мѣсто Филиппа Проклыча.

— Извините, пожалуйста, я привыкъ сидѣть всегда здѣсь,— сказалъ хозяинъ.

Онъ завязалъ вокругъ шеи салфетку, взялъ въ руку другую и по временамъ съ увлеченіемъ чистилъ себѣ бороду и усы. Замѣтивши, что Федоръ Игнатьичъ не пьетъ, онъ сказалъ, ткнувъ пальцемъ въ бутылку:

— Попробуйте! Вы молодой человѣкъ, вамъ нужна поззія. Умрете—на томъ свѣтѣ такой наливки не будетъ.

Нѣсколько разъ поднимали тостъ за здоровье его и Анны Николаевны. Онъ кланялся. Обѣдъ былъ роскошный и оживленный. Разговоръ не умолкалъ ни на минуту, и голоса становились все громче. Дамы раскраснѣлись и ухаживали за мужчинами. Передавались городскія новости, и вполголоса хвалили искусство хозяина дома.

Онъ слышалъ, что говорятъ о немъ. Улыбнувшись въ салфетку и сдѣлавъ довольную гримасу, онъ сказалъ:

— Помилуйте! Куда же мнѣ! Я рутинеръ, я слѣдую ста-

ринѣ. Вотъ теперь прїѣхалъ къ намъ Ганлейеръ... Это звѣзда... Модникъ!

Раздался смѣхъ. Гости хохотали надъ Ганлейеромъ, соперникомъ Ворошила. Въ особенности усердствовали дамы. Анна Николаевна рассказала, какъ недавно отличился Ганлейеръ. Его пригласили въ бѣдный домъ и дали за визитъ десять рублей. Кажется, довольно? Но онъ наткнулъ бумажку на гвоздь въ передней.

— Это цинизмъ!—пояснила Анна Николаевна.

Гости негодовали. Филиппъ Провлчъ хитро смотрѣлъ на нихъ и пилъ вино.

— Вотъ профессоръ Дерингъ, такъ тотъ, сломя голову, за шестьдесятъ копѣекъ летитъ къ кому угодно!

Послѣдовалъ новый взрывъ хохота. Кто-то возразилъ:

— Однако же, онъ добрый человѣкъ.

— Да, нажилъ миллионъ!—произнесъ Филиппъ Провлчъ, прихлебнувъ изъ стакана.

Стали разбирать дѣятельность медиковъ, наиболѣе извѣстныхъ въ городѣ. Оказалось, что всѣ шарлатаны, рѣжутъ и травятъ людей безъ зазрѣнія совѣсти и заботятся только о своемъ карманѣ. Подъ шумокъ, Анной Николаевной было сообщено, что Ганлейеръ занимается секретной практикой. Гости качали головами.

Подали огромное блюдо жаренныхъ цыплятъ. Филиппу Провлчу поднесли первому.

Поѣдая цыплятъ, онъ съ какимъ-то сладострастіемъ прислушивался къ треску ихъ косточекъ.

— Это изъ моего имѣнія,—сказалъ онъ съ улыбкой.

— Вы купили?

— Купилъ. Теперь я вашъ сосѣдъ. Моя Гонтовка рядомъ съ вашей Будой.

Шампанское еще больше развязало языки. Профессора игриво вели себя и масляными глазами стали смотрѣть, наконецъ, на своихъ некрасивыхъ дамъ. Всѣ шутки казались верхомъ остроумія. Хозяину и хозяйкѣ громко прокричали „ура!“. И было предложеніе качать Филиппа Провлчу на рукахъ, но вскорѣ отвергнуто изъ гигиеническихъ видовъ.

Шумно встали изъ-за стола. Филиппъ Провлчъ сѣлъ на диванъ, подложилъ подъ бокъ гарусную подушку и довольнымъ взглядомъ смотрѣлъ кругомъ. Увидѣвъ Ѳедора Игнатьича, онъ пригласилъ его сѣсть возлѣ себя.

Малодой человѣкъ сдѣлалъ это съ тѣмъ болѣею охотою,

что замѣтилъ дочь генерала Платонова, которая стремилась къ нему—занимать.

— Вотъ поѣли, и день прошелъ,—началъ Ворошилинъ. — Еще впереди около двадцати лѣтъ, а тамъ конецъ. Поминай человека, какъ звали! Мы поѣдаемъ дыплятъ,—онъ придалъ голосу юмористическій отгѣноу,—а что, если есть какое-нибудь волосальное, невидимое нами существо, которое неожиданно хватается насъ и, по мѣрѣ надобности, тоже удовлетворяетъ свой аппетитъ?

Улыбаясь, онъ предался глубокой задумчивости.

Гости между тѣмъ стали одинъ за другимъ уходить. Измученная Анна Николаевна провожала ихъ въ переднюю. Ѳедоръ Игнатьичъ долженъ былъ отвезти домой восновычную барышню. Съ нѣкоторымъ ожесточеніемъ исполнилъ онъ эту обязанность. Онъ видѣлъ, какъ Варвара Тихоновна и Никодимъ Павловичъ сѣли въ фаэтонъ и покатили. Трясаясь на извозникѣ возлѣ бѣдной дѣвушки, онъ слѣдилъ за фаэтономъ тоскующимъ взглядомъ, пока экипажъ не исчезъ на поворотѣ.

Вечерѣло.

XI.

Когда на другой день Гранковскій явился обѣдать къ Цариновымъ, Раиса замѣтила, что онъ немного печаленъ. Она пристально посмотрѣла ему въ глаза.

— Ѳедя, qu'as-tu?

— Ничего, mon enfant. Ты на меня не сердисься?

Она пожала плечомъ.

— За что? Вчера не былъ? Но я была занята—меня терзали портнихи. Мамап будетъ, можетъ быть, недовольна нѣкоторыми распоряженіями моими, но, по крайней мѣрѣ, я буду одѣта comme une grande dame!

— Ты не скучала?

Она улыбнулась и сказала:

— Не было весело, не было и скучно. А ты веселился?

Она пылливо глядѣла на него.

— Я вчера проклиналъ день своего рожденія.

— Говорятъ, тамъ была очень хорошенькая барышня въ голубомъ платьѣ?

— Пощади меня, Раиса! Убогое созданіе, глухая и нѣмая... почти нѣмая. Представь, я долженъ былъ...

— Знаю, знаю! Ты поѣхалъ провожать ее. Ты сострадателенъ,

Оеда! А у насъ былъ вечеромъ Никодимъ Павловичъ, и я была очень рада ему. Мы ходили съ нимъ гулять по тѣмъ самымъ дорожкамъ, по которымъ бѣгали съ тобой. Онъ говорилъ, разумѣется, говорилъ, говорилъ... Ахъ, какой онъ хорошій человѣкъ!

— Конечно, тебѣ не было скучно—теперь я вижу.

Онъ замолчалъ и сталъ бить тросточкой по травѣ. Молодая дѣвушка погрузилась въ вязанье, изрѣдка бросая на жениха косой, лукавый взглядъ.

— Меня обокрали вчера,—началъ Оедоръ Игнатьичъ.—Лавей тащилъ сначала понемножку, а потомъ видѣть, что сходить съ рукъ, и я не обращаю вниманія, пропалъ на нѣсколько дней и, наконецъ, обработалъ...

Раиса съ испугомъ выслушала Оедора Игнатьича.

— Бѣдненькій! — произнесла она.—Что жъ ты будешь дѣлать?

Онъ засмѣялся.

— Все это произошло отъ того, что безпорядокъ. Когда мы обвѣнчаемся...

— О, порядокъ у насъ будетъ образцовый! Но какъ же ты будешь безъ вещей?

— Куплю все новое.

— Это очень жаль, это большой расходъ,—замѣтила Раиса, наморщивъ брови.—И мнѣ немножко не нравится, что ты смѣешься надъ своимъ несчастьемъ. Ты очень богатъ?

— Мое богатство исчерпывается тремя тысячами дохода съ имѣнія.

Раиса подумала и сказала:

— Ты знаешь, что я безприданница?

Онъ сдѣлалъ гримасу.

— Раиса, сегодня ты не въ духѣ. Какіе ты разговоры ведешь со мной! Даже татап этого не говорила. Ну, нѣтъ приданаго, такъ и слава Богу! Не сердись за вчерашнее, Раиса. Дай мнѣ твою руку.

Она улыбнулась, покраснѣла и поцѣловала его.

Кража была предметомъ разговора у Цариновыхъ весь день, и молодой человѣкъ жалѣлъ, что рассказалъ о ней.

Черезъ недѣлю онъ получилъ въ подарокъ отъ Раисы дюжину шелковыхъ рубахъ съ затѣйливыми мѣтками, которыя вышила гладью сама невѣста.

ХП.

Прягинъ купилъ себѣ большого породистаго щенка, которому далъ кличку Витязь. Утромъ въ воскресный день проснулся Никодимъ Павловичъ, разбуженный возней Витязя. Щенокъ игралъ съ комкомъ бумаги. Онъ то пристально смотрѣлъ на шуршащій предметъ, настороживъ лохматое ухо, то вдругъ билъ комокъ ногой, праядая влѣво и вправо. Никодимъ Павловичъ подозвалъ молодого пса и положилъ руку на его шелковистую курчавую спину. Но Витязь не могъ долго стоять въ спокойной позѣ. Онъ сталъ кусать руку хозяина, вспрыгнувъ къ нему на постель и громко залааялъ. Потомъ вцѣпился въ подушку и радостно тербилъ ее острыми бѣлыми зубами.

Пришлось ударить Витязя. Накинувъ халатъ, Никодимъ Павловичъ вышелъ на балконъ. Захаровна принесла туда лохань молока, и, сидя въ спокойномъ креслѣ, Никодимъ Павловичъ, улыбаясь, смотрѣлъ, съ какимъ чисто собачьимъ аппетитомъ лакаетъ Витязь свою порцію. Вылизавъ лохань, Витязь легъ у ногъ хозяина.

Утро было ясное. Прозрачный воздухъ позволялъ видѣть далекіе предметы. Блѣдножелтыми пятнами рисовались пески по ту сторону темносизаго Днѣпра, который слегка волновался и сверкалъ мириадами искръ, то загоравшихся, то потухавшихъ. Плыла барка, распустивъ бѣлый парусъ; бѣжали пароходы. Барабаны пальцами по чугуну балкона, глядѣлъ Никодимъ Павловичъ на эту картину, давно ему знакомую и оттого милую.

„Надо сегодня уйти куда-нибудь отъ своего одиночества. Праздникъ. Афиши сулятъ невиданныя и неслыханныя удовольствія. Акробаты, цыгане, карлики, плѣнительныя сестры Аткинсъ... Когда посидишь надъ цифрами шесть дней, на седьмой одурѣешь, и тянетъ тебя на просторъ, гдѣ пахнетъ весельемъ и шумитъ праздничная толпа. Хорошо будетъ, когда разведутъ садъ на томъ берегу Днѣпра. Можно будетъ уѣхать на цѣлый день туда! Съѣсть на этакій пароходъ и поплыть. Приятная и безопасная прогулка, и въ тоже время отдыхъ“...

— Захаровна!—крикнулъ онъ.—Дайте мнѣ, голубушка, бинокль! Хочу разобрать, какъ называется этотъ пароходъ съ бѣлой трубой. Я вижу его въ первый разъ. Какой онъ хорошенькій и какъ легокъ на ходу!

Старуха подала бинокль. Никодимъ Павловичъ приставилъ его къ глазамъ. На сверкающей глади рѣки граціознымъ, быстро

движущимся силуэтомъ выдѣлился небольшой пароходъ новой конструкции—безъ колесъ. На борту его, по голубому полю, было написано что-то серебряными буквами. Прягинъ старался прочитать: „Ра... Ра... Раиса“! Какъ это хорошо, что есть пароходъ „Раиса“! Пароходъ приблизился. Нѣтъ! Это не „Раиса“! Это „Висла“.

Никодимъ Павловичъ пересталъ смотрѣть въ бинокль. Мысли его перемѣнились. Онъ больше не думалъ о томъ, какія удовольствія обѣщаны на сегодня афишами скучающимъ горожанамъ.

— Раиса, Раиса!—произнесъ онъ.—Какъ очаровалъ ее этотъ легкомысленный докторъ!.. Чтожъ, въ порядкѣ вещей!.. Захаровна! дайте мнѣ, пожалуйста, сигару покрѣпче! Самую крѣпкую сигару—изъ плоскаго ящика!

Онъ закурилъ сигару и долго смотрѣлъ, какъ расплывается синій дымокъ въ блестящемъ утреннемъ воздухѣ. Захаровна принесла чай на балконъ. Онъ выпилъ чай и покинулъ балконъ, когда стало тревожить солнце. Пробѣжавъ наскоро газету и биржевой листокъ, онъ тщательно одѣлся.

„Разумѣется, Гранковскій крѣпко любитъ Пчелку, и, можетъ быть, съ нимъ она будетъ счастлива... Нѣтъ, я давно былъ у Цариновыхъ! Къ чорту цыганъ и сестеръ Аткинсъ! Поѣду къ Пчелѣ—хоть посмотрю!“

Въ два часа Никодимъ Павловичъ былъ у Цариновыхъ. Его встрѣтилъ Ѳеодоръ Игнатьичъ и крѣпко пожалъ ему руку, какъ счастливый и великодушный человѣкъ.

ХІІІ.

Августъ мѣсяцъ прошелъ. Наступалъ сентябрь. Стояла дождливая погода, и по сѣрому небу бѣжали, клубясь, чуть замѣтныя, сѣрыя же тучки. Никодимъ Павловичъ сидѣлъ въ конторѣ, окруженный мѣдными проволочными стѣнками, и сквозь эту сѣтку разсѣянно посматривалъ на публику, которая переходила отъ одного отдѣленія конторы къ другому. Онъ только-что заключилъ кассовую книгу и подвелъ остатокъ къ первому числу. Гроссъ-бухъ — въ совершенной исправности. Прягинъ сдѣлалъ порядокъ на письменномъ столѣ и, натакнувъ перчатки, ждалъ четырехъ часовъ, когда кончается служба. Часы пробили четыре красивымъ, сочнымъ звономъ, и всѣ конторщики встрепенулись. Никодимъ Павловичъ заперъ конторку, досталъ шляпу, которую

всегда клалъ на несгораемый шкафъ, и вышелъ изъ своей проволочной кѣтки, отвѣчая на поклоны, которыми его провожали служащіе. Въ боковомъ карманѣ у него лежала тысяча рублей.

Эти деньги онъ вынулъ сегодня изъ своего вклада съ тѣмъ, чтобы купить какой-нибудь роскошный подарокъ Райсѣ на именины. Онъ поѣхалъ на Почаевскій проспектъ. Ему хотѣлось, чтобы подарокъ былъ не только цѣнный, но и необыкновенный. Онъ ѣздитъ два часа и побывалъ почти у всѣхъ ювелировъ. Драгоценные камни казались ему недостойными украшать собою Пчелку. Нужно что-нибудь простое, но высокой цѣны. У ювелира Семенова онъ нашелъ, наконецъ, старинный золотой браслетъ съ большимъ рѣзнымъ рубиномъ. Ему очень понравилась эта вещь, и онъ сталъ торговаться. Семеновъ дорожился. Никодимъ Павловичъ ушелъ, разсердившись. Онъ пообедалъ въ Бѣломъ Ресторанѣ, гдѣ ему прислуживала красавица Людмила. Эта дѣвушка въ короткое время сдѣлалась любимицей богатой молодежи. Она перестала потуплять глаза, и во взглядѣ ея читалось что-то наглое. Она была въ браслетахъ и серьгахъ, пальцы ея были въ кольцахъ. Прагинъ смотрѣлъ на нее и еще больше убѣждался, что обыкновенныя ювелирныя украшения должны оскорблять нѣжную красоту Райсы и что ей больше всего будетъ идти старинный браслетъ съ рѣзнымъ рубиномъ. Онъ вскочилъ и поѣхалъ къ Семенову.

Вечеромъ онъ показалъ Захаровнѣ покупку съ таинственнымъ видомъ. Она вскричала:

— Да ужъ вы не собираетесь ли жениться, Никодимъ Павловичъ?

— Что ты, что ты! Я и не думаю жениться.

— А для кого-жъ вы купили?

— Вотъ хочу въ день ангела подарить одной барышнѣ...

Захаровна покачала головой.

— Барышня можетъ подумать Богъ знаетъ что. Вещь цѣнная—рублей сто заплочена.

— Сто! Поднимай выше! Нѣтъ, Захаровна, цѣлая тысяча заплочена.

— Господи! За такую-то дрянъ! Ну, что-жъ. Тѣмъ для барышни хуже: даромъ его взять нельзя.

— Барышня замужъ выходить—тамъ за одного... вотъ что третьяго дня былъ и мороженое съ ромомъ ѣлъ.

— Такъ, такъ! Это вы Райсѣ Николаевнѣ купили! Нашли кому! Я бы ей за пять копѣекъ сережекъ не купила!

Старуха съ гнѣвомъ вышла изъ комнаты.

— Дура!—обругалъ ее баринъ.

Витязь, на котораго не обращалъ вниманія Прягинъ, занятый разсматриваніемъ драгоценнаго подарка, ревниво глядѣлъ на него изъ-подъ лохматаго уха и, наконецъ, сталъ лаять отрывистымъ недовольнымъ лаемъ.

— Молчи, осель!—крикнулъ на него хозяинъ и топнулъ ногой..

Онъ спряталъ браслетъ, швырнувъ его въ глубину письменнаго стола.

„Глупецъ я, глупецъ!“ повторялъ онъ, сидя затѣмъ въ библіотекѣ съ неразрѣзанной книжкой журнала въ рукахъ и глядя въ окно на темную, дождливую осеннюю ночь. „Изъ-за чего я кисну? Развѣ мало въ городѣ прелестныхъ дѣвушекъ, которыя ждуть жениховъ съ тоскою и раздраженіемъ? Сорокъ лѣтъ—еще не старый возрастъ. Я былъ бы нѣжнымъ мужемъ и любящимъ отцомъ. Къ чему непременно пламенная любовь? Молодое и пригожее существо, съ мягкимъ сердцемъ и жаркими губами, заставить себя полюбить... Любовь пришла бы... Можетъ быть, я былъ бы счастливъ—дождался бы дѣтей и взростилъ бы ихъ. Вотъ у моего помощника дочь гимназію окончила. Милое личико, и все улыбается, когда встрѣчаетъ меня. Отчего она улыбается?... Нѣтъ, совѣстно... Ужъ если вводить въ домъ, то вдову. Напримѣръ, за меня сейчасъ вышла бы Анна Ивановна. Бѣлая, какъ молоко, румяная, черные глаза, богачка, и одною рукою не обнимешь. Во! Сейчасъ завела бы новый порядокъ у меня. По клубамъ стала бы возить меня, играла бы въ карты. Крупичатая купчиха! И это послѣ грезъ, которыми я убаюкивалъ себя столько лѣтъ! Чортъ знаетъ, что такое! Это странно, неблагородно, эгоистично думать, что нѣтъ для меня женщины; но чтѣ подѣлаешь! Какой-нибудь бухгалтеръ, и какъ привередничаетъ! Добро бы стихи писалъ, а то никогда двухъ строчекъ не могъ сочинить. Чего мнѣ надо? Да, да, чего мнѣ надо?! Тряпка, грусь! Даже наединѣ съ самимъ собою не могу сказать всего!“

Онъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ, заложивъ руки назадъ.

Ему мерещился сумрачный зимній вечеръ. Варвара Тихоновна ушла спать и оставила его вдвоемъ съ Пчелкой. Это было не такъ давно—прошедшей зимой. Стонали деревья отъ вѣтра, злилась вьюга, а въ комнатѣ было тепло и уютно, и тихо горѣла свѣча. Молодая дѣвушка шалила, и когда онъ рассказывалъ ей вполголоса содержаніе послѣдней повѣсти графа Тол-

стого, она, плохо слушая, смотрѣла на него какими-то особенными горячими глазами, такъ что ему стало неловко. Онъ помнить мельчайшія подробности той сцены. Раиса была въ черномъ шерстяномъ платьѣ и кисейномъ передникѣ, и на ея тоненькой рукѣ блестѣлъ обручѣкъ изъ серебряной проволоки. Прягинъ смутился отъ взгляда молодой дѣвушки и пересталъ рассказывать. Она слегка улыбалась.—Что такое съ Пчелкой?—спросилъ онъ. Она молчала, между тѣмъ какъ взглядъ ея все былъ устремленъ на него, невинный и знойный.—Знаешь ли Пчелка, что на мнѣ лежитъ обязанность найти ей жениха?—сказалъ онъ чуть слышно.—Нѣтъ.—Ей рано еще выходить замужъ.—Но у меня уже имѣется въ виду женихъ.—Не хочу я, не хочу вашего жениха!—прошептала Раиса.—Я знаю, за кого выйду.—Сказавши это, она покраснѣла, закрыла лицо руками и тихо вскричала:—Боже! какая я неприличная!—Уходя, онъ хотѣлъ поцѣловать ея по обыкновенію, но она отказала ему въ поцѣлуѣ, еще разъ покраснѣвъ густымъ румянцемъ...

— Ахъ, это прошло!—вскричалъ Никодимъ Павловичъ, оставиваясь передъ портретомъ Раисы, который глядѣлъ изъ полусумрака комнаты свѣтлымъ четырехъ-угольникомъ, выдѣляясь на фонѣ малиноваго суконнаго щита, который висѣлъ надъ каминомъ.

— Дай Богъ ей счастья... Бѣдное, милое дитя!..

XIV.

Черезъ нѣсколько дней, утромъ, Прягинъ, отправляясь на службу, заѣхалъ на полчаса къ Цариновымъ. Былъ свѣренкій денекъ; дождь накрапывалъ по временамъ, но такой скудный, что земля едва отсырѣвала. Раисы въ комнатахъ онъ не засталъ и пошелъ отыскивать ее въ садъ. Онъ узналъ слѣды ея ногъ на мокромъ пескѣ и по слѣдамъ пришелъ къ купальнѣ. Онъ услышалъ робкій плескъ воды и вернулся назадъ. Скоро Раиса догнала его, раскраснѣвшаяся и съ влажными волосами.

— Здравствуйте, Никодимъ Павловичъ! Я была убѣждена, что вы прїѣдете. Сегодня вы снились мнѣ.

Онъ взялъ ее за руку и посмотрѣлъ на нее вдумчивымъ взглядомъ, который молодая дѣвушка приняла за равнодушный.

— Вы очень поправились за послѣднее время, — сказалъ онъ.—Но все-таки вамъ еще нѣтъ семнадцати... Сегодня вы

именинница... Я прїѣхалъ къ вамъ... Да! А какъ я вамъ снился?

— Ужасно страшно и смѣшно! Будто вы поступили въ солдаты, и у васъ револьверъ...

Никодимъ Павловичъ спросилъ:

— Не снилось ли вамъ, что я намѣренъ подарить вамъ браслетъ?

Онъ покраснѣлъ, вынулъ изъ кармана футляръ и подаль дѣвушка. Она сконфузилась и произнесла:

— Зачѣмъ вы это сдѣлали? Я не справляю именинъ!

Ей хотѣлось раскрыть футляръ, но подъ мышкой она держала мохнатую турецкую простыню, свернутую въ трубку, и руки ея были несвободны.

— Дайте, я подержу,—сказалъ Прягинъ и взялъ простыню.

— О, какая прелесть!—радостно вскричала Раиса, любуясь браслетомъ.

Она остановилась и, откинувъ по локоть рукавъ, стала надѣвать браслетъ на свою худенькую бѣленькую руку.

— Зачѣмъ вы это сдѣлали?—повторила она, не сводя глазъ съ браслета. — Какой большой рубинъ! Какъ! Онъ рѣзной? Въ первый разъ вижу рѣзной рубинъ.

Никодимъ Павловичъ держалъ простыню. Перчатка была снята съ правой руки его, и ему доставляло удовольствіе дотрогиваться ладонью до влажной ворсы простыни.

— Когда я буду вѣнчаться съ Оедей, надѣну вашъ браслетъ... Благодарю васъ, Никодимъ Павловичъ!

Она пожала ему руку.

— Пойдемте, я напою васъ чаемъ. Можетъ быть, вы у насъ завтракать будете? Теперь я сама хожу на кухню—приготавлиюсь къ роли хозяйки и учусь стряпать, чтобъ кормить Оедю... Пирогъ все-таки будетъ. Ахъ, развѣ можно покупать такіе браслеты!

— Когда свадьба?—спросилъ Прягинъ съ тѣмъ выраженіемъ глазъ, которое дѣвушка казалось равнодушнымъ.

— Оедя собирался побывать у васъ сегодня или завтра и предупредить. Священникъ уже два раза сдѣлалъ оглашеніе. Должно быть, мы будемъ вѣнчаться десятого сентября. Оедя хочетъ послѣ вѣнца увезти меня къ себѣ въ деревню, и тамъ мы проживемъ осень вдвоемъ. А потомъ вернемся въ городъ... Знаете, Никодимъ Павловичъ, я до того привыкла къ Оедѣ, что ужъ нисколько не стѣсняюсь и при всѣхъ называю его Оедей. А еще не такъ давно мнѣ было стыдно, что я невѣста.

— Ко всему можно привыкнуть,—замѣтилъ Прягинъ.

— Пройдемся еще такъ—вотъ по этой аллеѣ. Мнѣ хочется вамъ что-то сказать, чтобъ татап не знала. Послушайте, Никодимъ Павловичъ...

Она понизила голосъ и, играя браслетомъ, — то спуская его до кисти, то поднимая въ локтю,—стала говорить:

— Моя покойная мать была богата, и хотя отецъ пострадалъ и почти разорился, однако мы никогда не были нищими. Умирая, онъ завѣщалъ татап въ пожизненное владѣніе эту усадьбу и земли. Но развѣ, Никодимъ Павловичъ, онъ имѣлъ право распоряжаться тѣмъ, что принадлежало матери моей? Конечно, конечно, татап не должна ни въ чемъ нуждаться, и то, что она получила отъ отца, принадлежитъ ей. А только зачѣмъ же меня обижать? Теперь я выхожу замужъ, и мнѣ вовсе не хочется быть на шеѣ у Ѳеди. Къ тому же, Ѳедя совсѣмъ не богатъ—по моему. Ѳедя не хочетъ приданого, это правда. Но онъ такой непрактичный! И татап все плачетъ, догадываясь, что я недовольна, что выхожу безъ всего... Еслибъ татап отдала мнѣ только половину, я была бы счастлива. Мнѣ съ татап неловко говорить; поговорите вы, Никодимъ Павловичъ. А такъ какъ вы были всегда нашимъ другомъ и знаете всѣ наши дѣла...

— Да, да, мнѣ извѣстны ваши дѣла,—перебилъ ее Прягинъ и, остановившись, глядѣлъ на молодую дѣвушку пытливымъ взглядомъ, между тѣмъ какъ съ его языка чуть не сорвалась фраза: „пальца въ ротъ не клади!“—Я непремѣнно это устрою!—сказалъ онъ,—непремѣнно! А чаю вашего и пирога я не хочу,—прибавилъ онъ:—надо уѣзжать въ контору. Такъ вотъ какая вы! Хорошая жена вы будете. Къ Варварѣ Тихоновнѣ я навѣдаюсь послѣ-завтра, и вы не беспокойтесь!

Онъ провелъ ее до крыльца и все несъ простыню. Выбѣжала комнатная дѣвочка и отобрала простыню. Никодимъ Павловичъ простился съ молодой дѣвушкой. Потомъ онъ обернулся и увидѣлъ ее стоящую на крыльцѣ съ засученнымъ рукавомъ, съ браслетомъ, который сіялъ на ея голой хорошенькой ручкѣ. Раиса улыбнулась Прягину.

XV.

Ѳедоръ Игнатьичъ пріѣхалъ въ Прягину черезъ два дня. Это было вечеромъ. На столѣ пыхтѣлъ самоваръ и стояла бутылка. Никодимъ Павловичъ, стараясь быть любезнымъ, произнесъ:

— Я ждалъ васъ. Мнѣ общала Раиса Николаевна, что вы будете. Кстати у меня отличный коньякъ, есть шведскій пуншъ...

— А я не дуракъ выпить, что ли? Но, впрочемъ, это хорошо...

Онъ подошелъ къ столу, взялъ бутылку и посмотрѣлъ на этикетъ. Улыбаясь, онъ сказалъ:

— Въ ожиданіи перемѣны образа жизни, не знаешь, какъ себя вести. Не то весело, не то страшно. По-неволѣ станешь пить!

— Затѣмъ вы такъ шутите? — промолвилъ Никодимъ Павловичъ.

Онъ сѣлъ къ самовару и сталъ разливать чай.

— Видали сегодня Раису Николаевну? — спросилъ онъ.

— Представьте, не былъ сегодня. Дѣла мои, правду сказать, запутаны. Я ищу три тысячи и сулю анаемскіе проценты... Векселя, нотаріусъ, а тутъ еще больница — всевозможные безпорядки и борьба...

Прагинъ бросилъ на гостя взглядъ.

— Нашли три тысячи?

— Почти нашель... Завтра...

— Я могъ бы... если...

— Нѣтъ, у васъ не возьму. Не знаю, почему. Не предлагайте. Я къ вамъ пріѣхалъ не по этому дѣлу.

— Знаю... Ну, извините! Не хотите ли еще коньяку? Коньякъ настраиваетъ на дружбу.

Гранковскій долилъ чай коньякомъ. Прагинъ хлопнулъ цѣлый стаканчикъ.

— Я предпочитаю коньякъ голымъ, — проговорилъ Никодимъ Павловичъ и опять наполнилъ стаканчикъ.

Выпивши, онъ почувствовалъ, что злится.

— Значить, срокъ свадьбы зависить отъ трехъ тысячъ — такъ?

Онъ былъ красенъ, и глаза его блестѣли.

— Отчасти да, вы не ошибаетесь. Я вотъ и пріѣхалъ сказать вамъ, чтобъ вы не готовились къ опредѣленному сроку.

— Помилуйте, мнѣ что же!

— Во всякомъ случаѣ, завтра я еще разъ заѣду къ вамъ.

— Затѣмъ?

— Или извѣщу васъ... Какъ затѣмъ? Надо же вамъ знать, когда свадьба.

— Пожалуйста, выпейте этого пунша. Захаровна, подайте

намъ вонъ ту бутылочку на окнѣ... Оедоръ Игнатъичъ, мнѣ хочется, чтобы между нами была дружба!

Онъ больно пожалъ руку Оедору Игнатъичу. Возбужденіе его росло и казалось страннымъ. Гость не захотѣлъ пить шведскаго пуншу.

Я сейчасъ ѣду...

Но Никодимъ Павловичъ удерживалъ его и все жалъ ему руку. Онъ сказалъ нѣсколько дерзостей Оедору Игнатъичу съ улыбочкой и прищуриваніемъ лѣваго глаза.

„Пьянъ“, — подумалъ Гранковскій.

На другой день Прягинъ очень рано явился къ нему. Онъ былъ сконфуженъ.

— Дорогой Оедоръ Игнатъичъ, я пріѣхалъ къ вамъ такъ рано на основаніи слѣдующихъ соображеній. Прежде всего, мнѣ было желательно застать васъ дома. Потомъ — предупредить вашу визитъ ко мнѣ. Я настоятельно требую, въ качествѣ стараго друга и нѣкоторымъ образомъ опекуна Раисы Николаевны, чтобы свадьба была непременно десятаго сентября, какъ того и ждетъ Раиса Николаевна. Если свадьба будетъ отложена хоть на нѣсколько дней, это огорчитъ ее. Полагаю, что вы ни въ какомъ случаѣ не отвергнете моихъ услугъ относительно трехъ тысячъ, которыя вамъ нужны. Пожалуйста, пожалуйста! Я буду жестоко оскорбленъ... Вы можете, своимъ порядкомъ, достать денегъ, и тогда вы возвратите. Безъ всякихъ отговорокъ!

Онъ сѣлъ на кровать. Оедоръ Игнатъичъ стоялъ противъ него въ халатѣ и чистилъ ногти круглой костяной щеткой.

— Чтожъ я, конечно, очень вамъ благодаренъ, — процѣдилъ онъ сквозъ зубы. — Хорошо, на день, на два я возьму у васъ три тысячи — и то въ случаѣ, если еврей надуетъ меня сегодня. Благодарю васъ.

— Надуетъ, можете быть впередъ увѣрены! Зачѣмъ вамъ ждать? Вы лучше одѣньтесь, да поѣдемъ вмѣстѣ въ контору. Тамъ вы получите деньги.

— Спасибо, — произнесъ Гранковскій. — Я пріѣду къ вамъ въ контору въ часъ. А сейчасъ зоветъ Ворошилинъ на консилиумъ. Не хотите ли кофе? Я живо сварю на машинкѣ. Ахъ! Колпакъ лопнулъ... Вотъ, знаете, у меня порядокъ.

Прягинъ посмотрѣлъ кругомъ и ничего не сказалъ.

— Такъ хорошо — я васъ буду ждать и все приготовлю. Вы не повѣрите, какъ мнѣ будетъ пріятно оказать вамъ эту ничтожную услугу. До свиданья, Оедоръ Игнатъичъ, я васъ жду!

Онъ всталъ и простился. Вмѣстѣ съ нимъ вышелъ, бракам ошейникомъ, Витязь. Гранковскій подумалъ:

— Право, онъ, дѣйствительно, недурной человекъ.

Тѣмъ не менѣе, ему доставило большое удовольствіе, когда еврей, который обѣщалъ ему принести три тысячи, сдержалъ свое слово. Съ облегченнымъ сердцемъ заѣхалъ Ѳеодоръ Игнатьичъ въ контору, и уже по тому, какъ сіяло его лицо, Прягинъ догадался, что денегъ не надо.

— Очень жаль, — сухо сказалъ онъ, выслушавъ Гранковского. — Итакъ, десятаго?

XVI.

Десятаго сентября Раиса встала поздно и, взглянувъ на часы, испугалась и застыдилась: сегодня она вѣнчается, и такъ долго спать! Она вскочила со своей узенькой желѣзной кровати и увидѣла, что на туалетѣ уже лежатъ атласные башмачки. Подвѣнечное платье висѣло въ углу. Глазъ вездѣ встрѣчалъ новые предметы — большой дорожный сундукъ, оклеенный сѣро-голубой парусиной и стянутый черными желѣзными скрѣпками, кожаный несессеръ съ духами, кашемировый халатъ, отдѣланный кружевомъ, который былъ принесенъ портнихой вчера, чтобы быть надѣтымъ послѣ того, какъ Раиса Николаевна станетъ дамой. Былъ приготовленъ полный ящикъ булавокъ и ипплекъ. Букеты въ изобиліи стояли на подоконникахъ, комодахъ и столикахъ.

„Вотъ я недобрая, — подумала дѣвушка: — дюсю на маман, а она какъ заботится обо мнѣ! Всего купила мнѣ. По крайней мѣрѣ, три года не буду ни въ чемъ нуждаться“.

Она оторвала лепестокъ отъ розы и поднесла ко рту. Варвара Тихоновна пріотворила дверь.

— Встала?

— Представьте, уже девять часовъ. Боже, такъ заспать!

— Ничего, ничего, Раиса! Тебѣ надо хорошенько выспаться. Еслибъ ты знала, какъ бьется мое сердце! Только не бойся, Раиса... я...

— Чего жъ мнѣ бояться?

Раиса сидѣла, спустивъ съ кровати босыя ноги, и грызла лепестокъ. Она улыбалась, и глаза ея сонно и шаловливо смотрѣли на Варвару Тихоновну. Полная дама развела руками и соединила на груди пальцы. Она хотѣла что-то сказать, и вдругъ поднесла платокъ къ глазамъ. Молодая дѣвушка съ тревогой взгля-

нула на нее и нахмурилась. Она быстро натянула чулки и стала одѣваться. „Слава Богу,—думала она,—это ужъ послѣдній разъ“.

— Прости меня, Раиса!—сказала Варвара Тихоновна, дѣлая надъ собою усиліе:—мнѣ жаль, ты такъ молода, и...

— Вы хотѣли бы, чтобы я вышла замужъ старухой?

— Нѣтъ, Раиса... Богъ съ тобой! Я исполнила свой долгъ.

— Маман, милочка, я не знаю, какъ васъ благодарить!— вскричала дѣвушка и горячо поцѣловала Варвару Тихоновну.— Но зачѣмъ вы плачете?

— Ты не любишь меня! Чужой человекъ тебѣ ближе... Конечно, ты не родная дочь, и нельзя отъ тебя требовать довѣрія. Но...

— Какъ это некстати, маман!—произнесла молодая дѣвушка.

Тогда Варвара Тихоновна съ рѣшительнымъ видомъ заговорила:

— Кажется, ты не понимаешь меня, Раиса. Я ли не желаю тебѣ счастья! Я согласилась на этотъ бракъ въ надеждѣ... я думала... однимъ словомъ, я исполнила долгъ матери. Я ничего не пощадила. Ты выходишь... тебѣ нужно бѣлье, нужна постель...

— Маман!

— Не перебивай меня, Раиса... Видить Богъ, я на послѣднія средства... Развѣ я могла подозрѣвать?.. Какъ ни малы оказываются источники твоего будущаго мужа, но мои гораздо меньше... Раиса, я спрашиваю тебя, какъ дочь, хотя и не родную—скажи: что побудило тебя обратиться къ чужому человеку съ жалобой на меня?.. Молчи! Не отвѣчай! Не надо! Ты не искренна!

Дѣвушка смотрѣла на мачиху, поблѣднѣвъ. Она сама готова была заплакать. Но, призвавши на помощь свою твердость, она ждала, чѣмъ кончится бесѣда маман.

Подержавъ снова платокъ возлѣ глазъ, Варвара Тихоновна продолжала:

— Главное, я говорила съ тобой и предупреждала тебя... По совѣсти, ты не имѣешь никакихъ правъ!

— А, вотъ что! Вы не хотите дать приданаго!—сказала Раиса.

Варвара Тихоновна послѣ паузы молвила:

— Да, я могла бы ничего не дать, и тебѣ пришлось бы ждать моей смерти. Я такъ и Никодиму Павловичу отрѣзала. Конечно, я не дура, и сейчасъ поняла, откуда вѣтеръ. Самое большое, что я могу—пять тысячъ... Послѣднюю фразу она произнесла шопотомъ.

Раиса покраснѣла и опустила глаза.

— Въ концѣ концовъ, у васъ доброе сердце, — сказала она. — Мнѣ эти пять тысячъ очень дороги. Благодарю васъ, шатап.

Она поцѣловала руку у Варвары Тихоновны.

— Отчего только вы не объявили объ этомъ просто, а со слезами? Такъ весело и хорошо на душѣ, а вы чуть было не разстроили меня! Простите меня, не сердитесь.

Стараясь смѣяться, она обняла Варвару Тихоновну и гладѣла ей въ глаза.

— Съ тобой слѣдуетъ вести себя осторожно, Раиса, — произнесла матица и вздохнула. — Я всегда желала тебѣ добра... Иди, прими ванну. Цвѣтовъ прислалъ Ѳеодоръ Игнатьичъ. Пожалуйста, будь ласковѣе съ Никодимомъ Павловичемъ. Вчера онъ какъ убитый... Да, вотъ солидный человекъ!.. Не забудь, въ этой коробкѣ чепчики. Видѣла? А въ этой — батистовые платки. Впрочемъ, я все сама уложу.

Она увела Раису изъ комнаты. Но Раиса хотѣла быть одна и настояла на томъ, чтобъ Варвара Тихоновна ушла изъ ванной.

Одѣвшись, Раиса выбѣжала въ садъ. На ней было легкое платье, и холодный вѣтеръ кружилъ желтые листья по дорожкамъ. Она могла простудиться, однако мысль объ этомъ не приходила ей въ голову. Ей было пріятно, что въ лицо и грудь бьетъ упругій влажный воздухъ и играетъ ея волосами.

„Послѣдній день, послѣдній день!“ шептала она, подставляя лицо вѣтру.

Радость ожиданія волновала ее: казалось, душа ея спокойна, но тихимъ трепетомъ она охвачена вся, и ей легко, и весело, и не стыдно, что она схитрила съ шатап и заставила ее дать приданое; и только хочется быть одной, совсѣмъ одной, чтобы никто не видѣлъ, какъ счастливо смотреть ея глаза и какъ безъ сожалѣнія, безъ вдоха прощается она съ этимъ садомъ, уныло шумящими деревьями и поздними цвѣтами. Она почти бѣжала по дорожкамъ, вдыхая всею грудью свѣжій осенній воздухъ, и на щекахъ ея горѣлъ румянецъ. Не плакать ей хотѣлось, а смѣяться.

„Послѣдній день, послѣдній день!“

XVI.

Послѣ обѣда, который былъ съѣденъ наскоро, во дворъ стали въѣзжать одинъ за другимъ экипажи. Никодимъ Павловичъ пріѣхалъ въ элегантномъ фэтонѣ. Новенькая двумѣстная карета, запряженная парой бѣлыхъ лошадей, была нанята еще съ утра. Шаферовъ было нѣсколько человекъ. Всѣ мужчины были въ цилиндрахъ и свѣжихъ перчаткахъ. Нѣкоторые привезли невѣстѣ большіе букеты цвѣтовъ. Пріѣхали дѣвицы и также дамы, и въ ихъ числѣ Анна Николаевна Воронилина, которая должна была быть посаженой матерью жениха.

Никодимъ Павловичъ вываживалъ несвойственную ему торопливость; цилиндръ онъ поставилъ на стулъ въ темномъ углу и чуть было не сѣлъ на него. Онъ поглядывалъ на дверь, откуда должна была выйти Раиса, и поминутно справлялся съ часами. Какая-то барышня прикалывала шаферамъ букетики среди сдержаннаго шума дамскихъ восклицаній и разговоровъ.

Наконецъ, невѣста вышла въ залу, но не черезъ ту дверь, откуда ожидали ее, а изъ сада, черезъ балконъ. Она была въ бѣломъ шелковомъ платьѣ, и шлейфъ несла на рукѣ. Голова ея была убрана цвѣтами; на плечи спускалась легкая, какъ дымъ, длинная фата.

Раиса поздоровалась со всѣми, кто былъ въ залѣ. Барышни съ восторгомъ, молча, смотрѣли на ея платье, и у каждой крѣпко билось сердце. Анна Николаевна сказала:

— Душечка, Раиса! Вы очень эффектны! Но, Боже мой, какой вы еще ребенокъ!

Невѣста покраснѣла и потупила глаза.

Кто-то спросилъ:

— Какой часъ? Не пора ли ѣхать?

— Пора, пора!—глухимъ голосомъ отвѣчалъ Прятинъ и заторопился.—Я поѣду впередъ съ этой иконой. Иванъ Ивановичъ возьметъ ту. Иванъ Ивановичъ! Оберните икону вонъ тѣмъ шелковымъ платкомъ. Только ликъ зачѣмъ же закрывать—ликъ пусть будетъ открытъ. Степанъ Михайловичъ повезетъ свѣчи...

Прятинъ суетился. Раиса смотрѣла на его безкровное лицо и думала: „Отчего онъ такой блѣдный?“

— Раиса! Вотъ Федоръ Игнатьичъ прислалъ подарокъ, — сказала Варвара Тихоновна.

Она раскрыла футляръ и, взявъ невѣсту за руку, надѣла ей тоненькій браслетъ съ двумя крупными, посаженными наизявь,

бриллиантами. Дамы обступили невѣсту—было любопытно посмотреть на свадебный подарокъ. Слышались похвалы. Прагнѣть мелькомъ взглянуть на руки Раисы: браслета съ рѣзнымъ рубиномъ не было. Онъ отвернулся и поспѣшно ушелъ изъ залы съ своей иконой.

Вслѣдъ за нимъ стали выходить и садиться въ экипажи. Невѣста сѣла въ фаянтъ вмѣстѣ съ дочерью генерала Платонова. Она познакомилась съ этой дѣвушкой не задолго передъ тѣмъ у Воропилиныхъ.

Тихій осенній вечеръ разливалъ въ воздухъ свой мягкій, прозрачный полусвѣтъ. Крутомъ высились деревья съ пожелтѣвшими тамъ-и-сямъ и совсѣмъ красными листьями. Налѣво заходило солнце. Его блѣдно-розовый дискъ до половины погруженъ былъ за черту горизонта, и не больно было глядѣть на закатъ: онъ былъ холодный, ни одной искры огня.

— Вотъ я знаю, что эта картина вѣжется мнѣ въ мозгъ, и я никогда не забуду ея...—сказала Раиса косноязычной дѣвушкѣ.

Экипажи потянулись одинъ за другимъ. Кортѣжъ медленно спускался съ крутой горы, и сумрачную тишину вечера тревожили веселые голоса.

Когда всѣ уѣхали, Варвара Тихоновна прошлась торопливой походкой по опустѣлымъ комнатамъ, осмотрѣла замки и, поправивши передъ зеркаломъ прическу и чепчикъ, велѣла вести себя на вокзалъ. Платформа ломового извозчика уже доставила туда чемоданы съ приданнымъ Раисы.

XVIII.

Новенькая кирпичная церковь была ярко освѣщена. Узкія и высокія полукруглыя окна лили цѣлые снопы оранжевыхъ лучей, и на фонѣ еще свѣтлаго вечера это сіяніе придавало церкви праздничный видъ. Прохожіе останавливались и глядѣли на церковь, изъ раскрытыхъ дверей которой свѣтъ струился особенно торжественный и радостный; тамъ сверкала позолота иконостаса и искрилось серебро паникадилъ. Толпа любопытныхъ расположилась на паперти. Женихъ и шафера пріѣхали, но невѣсты не было, и всѣмъ хотѣлось увидѣть ее. Фыркали лошади, и два верховыхъ жандарма стояли, какъ изваянія, по обѣимъ сторонамъ широкаго каменнаго крыльца.

— Ъдетъ! Ъдетъ!

Фэтонъ, въ которомъ сидѣла Раиса, подвѣтилъ къ церкви. Шафера бросились высаживать невѣсту. Она посмотрѣла впередъ, и взглядъ ея вдругъ привало въ себѣ сіяніе, исходившее изъ глубины церкви. Она быстро пошла съ неподвижнымъ и серьезнымъ лицомъ. Сердце ея учащенно билось. Изъ знакомыхъ она никого не замѣтила. Подошелъ блѣдный, блѣдный женихъ, сказалъ нѣсколько словъ, грянулъ хоръ пѣвчихъ, и вотъ уже она стоитъ налѣво Ѳеодора Игнатьича. Ей немножко странно это, но ей некогда думать и критически относиться къ своему положенію... Какая-то сладкая ужасающая новизна... Восковые свѣчи льютъ яркій свѣтъ, и платье ея блистаетъ непорочной бѣлизной. Священникъ въ золотой ризѣ и фіолетовой камлавѣ что-то говорить и о чемъ-то молится; но она чувствуетъ, что не это сближаетъ ее съ Ѳеодоромъ Игнатьичемъ, а то, что она стоитъ съ нимъ въ фатѣ и цвѣтахъ, на виду у всѣхъ. Взглядъ ея опущенъ; ей тяжело и неловко поднять рѣсницы, но она, тѣмъ не менѣе, видитъ, что всѣ, рѣшительно всѣ, смотрятъ на нее, и всѣ согласны, чтобы она была женой Ѳеодора Игнатьича, и всѣ радуются этому и вполголоса хвалятъ ея молодость, красоту и ея непорочный нарядъ. Потихоньку поднимается въ ея душѣ какое-то сладостное чувство. Вотъ оно растетъ и растетъ. Она боится, что сейчасъ расплечется. Вся сила ея воли, всѣ помыслы направлены къ тому, чтобы сдержать счастливыя слезы...

Она преодолѣла себя: только туманъ заволокъ ей глаза, когда на пальцѣ она почувствовала обручальное кольцо.

Никодимъ Павловичъ мужественно держалъ надъ Раисой вѣнецъ. Между тѣмъ какъ шафера то-и-дѣло мѣнялись у Ѳеодора Игнатьича, Пригинъ никого не пустилъ на свое мѣсто. Докторъ Бояриновъ надѣлъ вѣнецъ совсѣмъ на голову Ѳеодору Игнатьичу—онъ думалъ, что это остроумно, и сдержанно смѣялся, потрясая богатырскими плечами. Другіе шафера и знакомые вторили ему, закрывая ротъ платкомъ или цилиндромъ. Жениха коробилъ этотъ глухой смѣхъ. Онъ хмурилъ брови. Блѣдность не проходила; онъ дрожалъ какъ въ лихорадкѣ. „Теперь ужъ кончено,—думалъ онъ,—возврата нѣтъ!“

Священникъ повелъ чету вокругъ анаоя. Молодые выпили вина изъ золотой чарки и поцѣловались. Губы у Ѳеодора Игнатьича были холодны какъ ледъ. Наконецъ, священникъ поздравилъ молодыхъ, и такъ какъ онъ зналъ, что получить за вѣнецъ хорошія деньги, то нашелъ нужнымъ сказать имъ маленькую рѣчь.

Кончилась церемонія. Церковь огласилась громкими поздравленіями знакомыхъ и поцѣлуями. Всѣ были рады, и, глядя на эти

дружескія и пріятельскія лица, улыбалась Раиса Николаевна и до половины обнажала два ряда своихъ жемчужныхъ зубовъ. Но тутъ же заботливая мысль, какъ облачко, пробѣжала по ея гладкому, красивому лбу: она вспомнила, что надо ѣхать на вокзалъ, и поспѣше, чтобы не опоздать, хотя до поѣзда оставалось еще около часа.

— Пожалуйте сюда!

Шафера повали новобрачныхъ въ придѣлгъ; тамъ стоялъ столъ, и надо было расписаться въ книгѣ.

— Конечно, Никодимъ Павловичъ, мы на вокзалѣ увидимся?..

Раиса пожала руку своему шаферу.

Когда новобрачные сѣли въ карету, въ окно просунулся огромный букетъ азалій. Крутомъ было столько народу, что нельзя было угадать, кто подалъ букетъ. Но Раиса сказала мужу:

— Кто же, какъ не Никодимъ Павловичъ!

Карета тронулась. Уже совсѣмъ смерклося. По обѣимъ сторонамъ улицъ горѣли фонари, и вырисовывались на темномъ фонѣ стѣнъ тусклые красные четырехъ-угольники оконъ. Люди шли и ѣхали... Все это были чужіе, чужіе! Одинъ только Федоръ Игнатьичъ былъ свой. Раиса съ любовью смотрѣла на мужа и ждала, что онъ отыщетъ ея руку.

XVIII.

На вокзалѣ молодыхъ встрѣтили Варвара Тихоновна и Воробилинъ. Посторонней публики еще не было. Гости и гостыи сѣли и раздѣлились на группы; невеста ушла въ дамскую уборную вмѣстѣ съ своей новой горничной, Варей. Тамъ отцѣпила она шлейфъ, сняла фату и цѣпты и возвратилась въ залъ въ дорожномъ пардессю.

Это общество, одушевленное радостью событія и странностью обстановки, веселилось и разговаривало, точно собираясь въ далекій счастливый путь. Шафера, въ разстегнутыхъ пальто и съ букетиками въ петлицахъ, суетились около барышень, на которыхъ были модныя шляпки.

Никодимъ Павловичъ сидѣлъ возлѣ Раисы. Все время блѣдный, онъ былъ теперь красенъ отъ вина, которое пилъ за здоровье новобрачныхъ.

— Послушайте, Раиса Николаевна, — началъ онъ вполголоса: — я не знаю, въ какой степени мое поведеніе могло показаться вамъ дружескимъ. Очень часто случается, что добиваешься

одного, а получаешь совсѣмъ другое. По этому поводу я вамъ могъ бы разсказать анекдотъ...

Ранса провела рукой по лбу.

— Вы всегда такъ милы, Никодимъ Павловичъ, и добры, — сказала она разсѣянно. — Отчего не принимаютъ багажа? Еще рано?.. Никодимъ Павловичъ, вамъ ничего не говорила сегодня маман? Маман обѣщала утромъ дать мнѣ пять тысячъ... Да, а зачѣмъ вы сказали, что я вамъ жаловалась? Нѣтъ, не говорила? Она, значитъ, сама... Но, Боже мой, развѣ я жаловалась? Не напомяните ли вы ей теперь? Нѣтъ, впрочемъ, нѣтъ! Но не забудьте сказать ей завтра и сейчасъ же напишите мнѣ. Хорошо?

Она встала, подошла къ Федору Игнатьичу. Притинъ налилъ полный стаканъ вина и выпилъ. Онъ молча сидѣлъ за столомъ и смотрѣлъ на все сосредоточеннымъ взглядомъ.

— Что говорилъ тебѣ Никодимъ Павловичъ? — спросилъ у жены Гранковскій.

— Я, право, хорошенько не поняла, — съ улыбкой отвѣчала Ранса, издали бросивъ взглядъ на своего шафера. — Хотѣлъ разсказать какой-то анекдотъ... Знаешь, онъ ужасно добрый...

Она стала смотрѣть мужу въ глаза, и румянецъ разлился на ея лицѣ.

— Хорошо себя чувствуешь?

— Лучше не надо, — отвѣчалъ онъ и вышелъ изъ залы распорядиться насчетъ багажа. А она вернулась къ Никодиму Павловичу.

— Кажется, вы боитесь за меня? — тихо спросила она у своего стараго друга. — Совсѣмъ напрасно! Вы должны говорить мнѣ, что я буду счастлива! Давайте, выпьемъ съ вами, Никодимъ Павловичъ!

Глаза его засвѣтились лаской, и онъ сказалъ, наливая два бокала:

— Разумѣется, вы будете счастливы. У васъ всѣ данныя: вы молоды, хороши собой, умны... Сколько капель въ этомъ бокалѣ, столько лѣтъ безмятежной жизни!

Онъ выпилъ вино и продолжалъ:

— Увѣряю васъ, Ранса Николаевна, что я душевно радъ... И мужъ вашъ — прекрасный молодой человѣкъ, съ душою весьма благороднаго тина. Прощу васъ объ одномъ: чутьчку, немножечко помяните обо мнѣ и безъ церемоніи обращайтесь ко мнѣ, если понадобится какая-либо услуга — большая или маленькая, все равно. Дружба, существовавшая между нами до сихъ поръ,

не должна... оттого, что вы замужемъ... А пять тысячъ вы получите—это какъ дважды-два. Не выжить ли мнѣ еще боважъ?

Не ожидая отвѣта, онъ протянулъ руку къ бутылкѣ.

Въ залу стали входить пассажиры съ саквояжами черезъ плечо и узлами. Раздался первый звонокъ. Швейцаръ прокричалъ, куда идетъ поѣздъ. Раиса вскочила.

— Еще двадцать минутъ, дитя мое, не торопись! — замѣтила Варвара Тихоновна, подошла и поцѣловала падчерицу.

Между тѣмъ Ѳедоръ Игнатьичъ, переговоривъ съ артельщикомъ, возвращался по платформѣ въ залъ. Было темно, и фонари освѣщали платформу. Дымился паровозъ, стоялъ небольшой курьерскій поѣздъ. Первый отъ машины вагонъ былъ страннаго вида, и Гранковскій невольно обратилъ на него вниманіе. Въ его окнахъ были тюремныя рѣшетки, и оттуда лился тусклый свѣтъ. Гробовое молчаніе царило въ вагонѣ. У входа неподвижно стоялъ часовой. А передъ вагономъ по пустынной платформѣ, ходила ровной походкой молодая женщина или дѣвушка въ длинномъ пальто на-распашку и въ шляпкѣ. Лицо ея неизмѣнно было обращено къ зловѣщему вагону. Лучъ свѣта упалъ на лицо, и Ѳедоръ Игнатьичъ мелькомъ увидѣлъ его: красивое, блѣлое, съ тревожнымъ взглядомъ блестящихъ глазъ и крупнымъ энергичнымъ подбородкомъ. Ѳедоръ Игнатьичъ прошелъ мимо и подумалъ: „У этой особы загадочный видъ... Однако, неприятно, что въ одномъ поѣздѣ съ нами везутъ какихъ-то преступниковъ. А можетъ быть, политическихъ?“

Онъ вошелъ въ залъ. „Какъ мила моя Раиса! Какой прелестный, благоухающій цвѣтокъ!“ подумалъ онъ и, подходя къ ней, произнесъ:

— Не безпокойся, все будетъ хорошо. Чемодановъ не перепутають. Не правда ли, ты очень устала?

Друзья и знакомые обратились къ нему съ разными вопросами и замѣчаніями и разлучили съ женой. Чѣмъ ближе былъ срокъ отъѣзда, тѣмъ оживленнѣе поднимались разговоры, отрывочные и пустыне, тѣ разговоры, которые возникаютъ сами собой и сейчасъ же пропадаютъ, какъ мыльные пузыри, потому-что никто не придаетъ имъ значенія и всѣ говорятъ, чтобы слушать самихъ себя. Новобрачные, однако, должны были каждому что-нибудь отвѣтить. Общество перешло изъ залы на платформу и расположилось возлѣ окна вагона перваго класса, гдѣ въ отдѣльномъ купѣ сѣли Гранковскіе. Никодимъ Павловичъ, Анна Николаевна, дочь генерала Платонова, Варвара Тихоновна съ

своимъ другомъ и докторъ Бояриновъ вошли въ купé; было тяжело дышать отъ духовъ и дыма сигаръ и папиросъ.

— Господи! когда же звонокъ? — спрашивалъ себя Федоръ Игнатьичъ, въ то же время любезно отвѣчая на чью-то просьбу не забывать:—А какъ же! безпамятный я, что ли? Буду писать! Да вѣдь къ зимѣ вернемся!... Что, былъ уже второй звонокъ?

— Нѣтъ, еще не давали.

Но тутъ раздался возжелѣнный звонокъ: бимъ-бимъ-бимъ-бимъ... бамъ, бамъ!

Федоръ Игнатьичъ вздохнулъ съ облегченіемъ, и всѣ гости стали еще любезнѣе и говорливѣе; всѣ привѣтливо и радостно въ одинъ голосъ желали молодымъ счастливаго пути и всего, всего хорошаго. Начались безконечныя сочныя поцѣлуи. Руки лѣзли въ окно, въ двери, дружескія, горячія, большія и маленькія руки.

Продолжалось это до тѣхъ поръ, пока оберъ-вондукторъ не далъ сигнала; рѣзко засвистѣлъ его свистокъ — поѣздъ качнулся и тронулся. Граневскіе смотрѣли изъ окна. На платформѣ стояли шафера, дамы въ модныхъ пальто, и махали платками. Раиса взяла свой букетъ азалій и хотѣла помахать имъ въ отвѣтъ. Но его неудобно было держать, и она уронила его въ темноту. Никодимъ Павловичъ стоялъ впереди всѣхъ и видѣлъ, какъ погибъ букетъ. Поѣздъ шелъ все скорѣе и скорѣе. Вотъ уже скрылась платформа. Съ сердечнымъ сокрушеніемъ повинула Раиса окно и сѣла на диванъ.

Было тихо. Свѣтъ струился сверху изъ овальнаго фонаря въ потолокъ вагона. Въ большомъ, шестимѣстномъ купé царилъ какой-то дрожащій, нѣжный полусумракъ. Они были одни, совершенно одни.

XIX.

Дрожь опять овладѣла Федоромъ Игнатьичемъ. Но ужъ ему не было страшно. Онъ пережилъ подъ вѣнцомъ этотъ холодный непонятный страхъ. Онъ вдругъ почувствовалъ — вотъ сейчасъ, при взглядѣ на тонкую, граціозную фигуру своей невинной жены, — что все сдѣлалось по его желанію, и что еслибы Раиса бросила его сію минуту или по какимъ-нибудь другимъ причинамъ могъ быть разстроенъ этотъ бракъ, онъ не перенесъ бы несчастья. Онъ дрожалъ отъ полноты души, оттого, что сердце его билось страстью, оттого, что онъ крѣпко и горячо любилъ.

— Да, мнѣ теперь ничего больше и не остается дѣлать,

какъ любить Раису!—сказать онъ себѣ и улыбнулся. Онъ сталъ веселъ, и ему хотѣлось шутить и смѣяться.

— Мужъ! Вотъ я теперь мужъ! Еще годъ тому назадъ я и не думалъ и не гадалъ, что женюсь. Господи, какая сладкая обуза! Буду нѣжить это милое дитя, буду ловить каждый ея взглядъ, буду ея заступникомъ, и такъ устрою жизнь, чтобъ ни-что никогда не обидѣло ея сердца! Чтобы она ни въ чемъ, ни въ чемъ не нуждалась. Всюду вмѣстѣ, ни на минуту не расста-ваться!

Съ какимъ-то молитвеннымъ восторгомъ посмотрѣлъ онъ на жену. Обнять ее было бы несказаннымъ блаженствомъ. Но новое чувство, уваженіе, побуждало его протянуть руки къ Раисѣ. Это купе, гдѣ ежедневно перемѣняются пассажиры, хранило въ себѣ что-то неопытное. Онъ откинулся на спинку дивана и от-туда влюбленными глазами смотрѣлъ на жену.

Тихо ровотали и лязгали колеса поезда. Ѳедору Игнатьичу показалось, что Раису укачиваетъ это равномерное содроганіе вагона. Къ тому же, бѣдняжка устала, да и не мудрено. „Если я трепеталъ какъ осиновый листъ, то воображаю, какъ она волновалась!“

— Раиса, *veux-tu dormir*?

— Нѣтъ, Ѳедя.

— Отчего-жъ ты молчишь?

— Я все думаю, Ѳедя.

— О чемъ?

— О, *cher* Ѳедя!

Она закрыла рукой глаза и улыбнулась. Онъ не посмѣлъ больше разспрашивать ее. А она все сидѣла, почти неподвижная, на своемъ диванѣ, и глубоко погруженная въ свои думы, словно дремля въ самомъ дѣлѣ.

Все время она была *своя*; правда, она зависѣла отъ тапан, но зависимость была временная; теперь она вдругъ стала не своя—она принадлежала милому, дорогому Ѳедѣ, и притомъ на всю жизнь. Это чувство принадлежности любимому мужчине по-мгновенно сказывалось въ ней: то прихлынетъ кровь къ щекамъ, то сердце застучитъ и сладко завоетъ. „Я буду его рабой“,—говорила она себѣ. „Вуду заботиться о немъ, чтобы у него все было въ исправности. Въ время завтракъ и обѣдъ, нигдѣ ни пылинки... У насъ будетъ все хорошо, хорошо!..“ — Она думала, какъ они придутъ въ его домъ, и она сейчасъ же заведетъ свой порядокъ, станетъ хозяйничать и сдѣлаетъ какія-то невѣроятныя чудеса, такъ что Ѳедя придетъ въ восторгъ и расцѣ-

луетъ ей всѣ руки. Потомъ она представляла себѣ, какъ онъ будетъ рекомендовать ее гостямъ: „Жена моя“... Мысленно она подписывала письма подругамъ фамиліей: „Граневская“, и находила, что это удивительно звучная и красивая фамилія. Поживъ въ деревнѣ, они переѣзжали въ городъ. Она дѣлала визиты съ мужемъ, сидѣла съ нимъ въ ложѣ, каталась съ нимъ по городу въ фязтонѣ, заѣзжала съ нимъ въ магазины...

Она встала, сѣла подлѣ Ѳедора Игнатьича и обняла его шею своими тонкими, гибкими руками. Ей хотѣлось поцѣловать его. Робко молчала она, смѣшавшись. Зато Ѳедоръ Игнатьичъ оказался храбрѣе. Онъ крѣпко принялъ своими губами въ полураскрытыхъ губахъ жены. Но паровозъ прорѣзалъ ночное безмолвіе хриплымъ, точно простуженнымъ свистомъ. Тогда они испугались, словно это заглянуло въ окно и сказали: „А вы что тутъ дѣлаете?“ и отскочили другъ отъ друга.

Онъ разсмѣялся, она пересѣла на свой диванъ и старалась не смотрѣть на мужа. Поездъ сталъ идти медленнѣе. Вскорѣ онъ остановился. Мимо промчался другой поездъ; окна его мелькали одно за другимъ желтыми пятнами на темномъ фонѣ ночи, и въ каждомъ окнѣ виднѣлись силуэты людей. Ѳедоръ Игнатьичъ подумалъ: „Вѣдь вотъ какая масса народу. Никому нѣтъ дѣла до насъ, и намъ, въ свою очередь, нѣтъ никакого дѣла до нихъ. Проваливайте, господа, проваливайте! О, счастье—эгоизмъ!“

— Ракса,—началъ онъ, когда поездъ тронулся съ мѣста и тотъ, что встрѣтился, шумѣлъ уже гдѣ-то далеко: — я увѣренъ, что ты утомлена. Положительно, тебѣ надо лечь. Домой мы приѣдемъ только утромъ.

— Нѣтъ, Ѳедя, не безпокойся.

— Въ такомъ случаѣ, я подсаду къ тебѣ,—сказалъ онъ.— Помнишь, какъ мы познакомились съ тобой? Это было тоже въ вагонѣ. Оттуда ты ѣхала тогда? Ахъ, да, съ гулянья!

— Нѣтъ, не съ гулянья, а мы были въ гостяхъ съ татап.

— Были въ гостяхъ съ татап... Вхожу въ вагонъ, и вдругъ вижу—не то еще дѣвочка, не то уже дѣвушка. Все на ней такъ мило, и сама она милочка съ чудесными глазами. Дай-ка, думаю, сяду поближе. Помнишь, какъ я сидѣлъ и смотрѣлъ на тебя? Вотъ такъ.

Она засмѣялась.

— Какое счастье, что у Варвары Тихоновны закружилась тогда голова, и ты стала кричать: „доктора, доктора!“ Сударыня, а докторъ—къ вашимъ услугамъ.

— Ахъ, Ѳедя!

— Говорятъ, надо много времени, чтобъ влюбиться... А я влюбился сразу. Приѣхалъ домой и — что за оказія? — буда ни гляну, все вижу милочку съ чудесными глазами. Плохо, думаю.

— Неужели подумалъ, что „плохо“?

— Тысячу разъ подумалъ... Вѣдь я же не зналъ, что и ты меня... А нераздѣленная любовь — избави Богъ!

Раиса невольно вспомнила о погибшемъ букетѣ азалій.

— Скажи, а ты скоро меня полюбила?

Она улыбнулась и покраснѣла.

— Нѣтъ, Одея.

— Неужели?

— Чтожъ, за то любовь моя прочтѣе твоей.

— Какъ? ты думаешь, что я тебя меньше люблю, чѣмъ ты меня?

Начались взаимныя увѣренія въ любви. Новобрачные клялись, что никогда не ослабѣетъ ихъ любовь. Ихъ губы горѣли отъ жажды поцѣлуевъ, и они смотрѣли другъ другу въ глаза. Но сумракъ, царившій въ вагонѣ, казался имъ яркимъ свѣтомъ — они стыдились, что такъ свѣтло, и не смѣли цѣловаться.

Разговоры стихали по временамъ и смѣнялись продолжительнымъ молчаніемъ, во время котораго Оедоръ Игнатьичъ гладилъ руку жены, а она склоняла ему на плечо голову. Потомъ опять начиналась бесѣда, и купе оглашалъ смѣхъ молодыхъ людей. Оедоръ Игнатьичъ, по обыкновенію, изображалъ въ лицахъ знакомыхъ; досталось и Варварѣ Тихоновнѣ, и Аннѣ Николаевнѣ, и ея мужу, и Никодиму Павловичу. Когда дошло до косноязычной дочери генерала Платонова, Раиса залилась истерическимъ хохотомъ.

Въ часъ ночи имъ захотѣлось ѣсть. Оедоръ Игнатьичъ приказалъ подать въ купе чаю и пирожковъ.

Передъ свѣтомъ ихъ стало клонить ко сну. Оедоръ Игнатьичъ задернулъ синей ширмочкой овальный фонарь въ потолокъ. Онъ легъ первый. Раиса приготовила постель на своемъ диванѣ и сказала вполголоса:

— Ты же не смотри, Оедя.

Она хотѣла ослабить шнуровку, но не рѣшилась на это. Она заснула, прикрывъ пледомъ ноги.

Когда новобрачные проснулись, было ясное солнечное утро. Поѣздъ стоялъ. Какая это станція? Оедоръ Игнатьичъ высунулся изъ окна.

— Это Сосновка... Раиса, ты не спишь? Черезъ полчаса мы будемъ дома.

— Bonjour, Оедя... Нѣтъ, я не сплю. Слава Богу, что черезъ полчаса.

Она ушла въ уборную освѣжить лицо холодной водой. Минутъ пять употребила она на туалетъ, но Оедоръ Игнатьичъ успѣлъ за это время соскучиться по ней.

— Послушай, Раиса,—улыбаясь, сказалъ онъ, когда она вернулась:—je suis amoureux de toi... я не знаю, до чего!

XX.

Станція осталась позади. На козлахъ помѣстилась рядомъ съ кучеромъ горничная. Въ тарантасѣ сидѣли новобрачные. Лошади бодро бѣжали, потряхивая сбруей, мѣстами связанной бичевками. По обѣимъ сторонамъ тянулись голыя поля, вдали синѣлъ лѣсокъ.

— Наши земли,—сказалъ Оедоръ Игнатьичъ.

— Наши?—повторила Раиса и засмѣялась. Ей было пріятно слышать это слово.

Но Оедоръ Игнатьичъ былъ пасмуренъ. Когда онъ вышелъ на послѣдней станціи и проводилъ жену въ дамскую комнату, а самъ отправился получать багажъ, онъ снова увидѣлъ вагонъ съ тюремными рѣшетками, хранившій, какъ и вчера, зловѣщее молчаніе. Сердце его сжалось при мысли, что онъ въ теченіе цѣлой ночи ни разу не вспомнилъ объ этомъ вагонѣ. „Да мнѣ вовсе не обязательно вспоминать!—оправдывался онъ:—некогда мнѣ думать о другихъ. У меня свое огромное счастье и огромная забота!“ Онъ нетвердымъ шагомъ прошелъ по платформѣ, послалъ артельщика къ тарантасу съ вещами и не хотѣлъ глядѣть больше на зловѣщій вагонъ; потомъ взялъ подъ руку жену и посадилъ въ тарантасъ. Теперь его преслѣдовала мысль, что онъ такъ холодно поступилъ. Но чтѣ же было сдѣлать? „Ничего отъ тебя никто и не требовалъ,—говорилъ онъ себѣ,—не надо было только злиться. Разсердившись на чужое несчастье, ты поступилъ цинично!“ Онъ сидѣлъ и все копался въ душѣ своей. Онъ заговаривалъ съ женой, но вплоть до самой Буда бесѣда шла вало, и онъ поминутно умолялъ и задумывался.

Деревня Буда пріютилась на днѣ глубокаго оврага. Ее вдругъ видишь, когда уже въѣзжаешь въ околицу. Вся она въ сѣдой зелени ивъ; хаты бѣлѣютъ, безпорядочно разбросанныя по откосамъ. Церковь съ зеленымъ куполомъ и золотымъ крестомъ стоитъ по срединѣ селенія. А барская усадьба сейчасъ направо, на

краю оврага. Тополы окружаютъ ее и издали напоминаютъ собою зубцы и башенки какой-то цитадели.

— Давненько я не былъ здѣсь! — началъ Гранковскій, глядя на соломенные крыши покосившихся хатъ и отвѣчая на поклонны вѣстрѣчныхъ мужиковъ. Мрачныя мысли его разогнала родная картина. — Вотъ сейчасъ направо будетъ домъ попа. Дальше живетъ казакъ Перець, который стрѣлялъ когда-то въ моего отца. Теперь ужъ онъ страшно старъ, а и до сихъ поръ ненавидитъ насъ.

— За что?

— Темная исторія... Трудно быть судьей въ этомъ дѣлѣ. Но, кажется, отецъ былъ неправъ. Посмотри, какой чудесный мальчуганъ бѣжитъ! волосы, какъ ленъ!

Тарантасъ двигался по узкимъ улицамъ и, наконецъ, вѣхалъ въ огромный, пустынный дворъ, обсаженный тополями; въ глубинѣ видѣлся длинный каменный домъ подъ черной крышей, съ двумя стеклянными галереями. Господъ вѣстрѣтилъ арендаторъ, перекрещенецъ, и снялъ шапку съ плѣшивой головы.

— Здравствуйте. У насъ все въ порядкѣ? — спросилъ у него Ѳедоръ Игнатьевичъ.

— Зачѣмъ же будетъ безпорядокъ? — съ поклономъ отвѣчалъ арендаторъ и стремглавъ побѣжалъ отворять двери въ домъ.

Раиса Николаевна выѣзла изъ тарантаса и смотрѣла на домъ и высокія деревья, которыя, словно съ какой-то затаенной лаской, протягивали надъ нимъ свои громадныя вѣтви изъ сада. Эти деревья, съ нѣжной пожелтѣвшей и побагровѣвшей листвою, очень понравились молодой женщинѣ.

„И деревья наши“, подумала она съ улыбкой, подавая мужу руку.

Они вошли на крыльцо.

Громадная передняя, зала въ два свѣта, комнаты безъ мебели и комнаты съ мебелью устарѣлаго фасона, отжившія свой вѣкъ люстры, спускавшіяся тамъ-и-сямъ съ потолокъ, стѣнники, диваны съ огромными деревянными спинками, шкафы съ книгами въ старомодныхъ переплетахъ, все это влоло на домъ какую-то особенную печать.

Сердце молодой женщины сжалось; она невольно крѣпче оперлась на руку мужа.

— Отчего снаружи домъ такой уютный, а войдешь — совсѣмъ не то? — спросила она. — Комнаты гораздо больше, чѣмъ думаешь...

— Оттого, что въ этомъ домѣ со смерти брата Ефима никто не жилъ... семь лѣтъ! Вотъ, видишь, корридоръ. Тутъ была комната матери, и здѣсь, за этой перегородкой, я родился...

Ранса съ любознательствомъ посмотрѣла за перегородку. Тамъ стояла двуспальная, краснаго дерева кровать. Ѳеодоръ Игнатьичъ продолжалъ:

— А вотъ тутъ, противъ спальни матери, былъ кабинетъ отца. Отецъ былъ честный, но суровый, почти жестокий человѣкъ... Каждый шагъ свой онъ записывалъ, и у него было десять томовъ дневниковъ. Передъ смертью онъ велѣлъ ихъ сжечь. Пойдемъ дальше. Смотри, здѣсь жилъ я съ гувернеромъ, а вотъ тамъ братъ Ефимъ. Чудакъ былъ человѣкъ! Представь, онъ безнадёжно влюбился въ княжну Мери Козловскую. Была она ужасная матеріалистка, гордая красавица и, бывало, все глядитъ на звѣзды и спрашиваетъ. „Въ чемъ же высшій смыслъ жизни?“ А Ефимъ таеъ и носитъ ей букеты. Носилъ, носилъ, а она и вышла замужъ за другого. Онъ бросилъ службу, приѣхалъ сюда и сталъ дурить. Два года безвыѣздно прожилъ въ пустомъ домѣ, кричалъ: „Мери! Мери!“ Сталъ худъ, какъ скелетъ, и, наконецъ, умеръ.

Ѳеодоръ Игнатьичъ, рассказывая, улыбался, но слезинка скатилась по его щекѣ.

— Ѳеда, милый! — произнесла Ранса и отерла ему щеку своимъ платкомъ. Помолчавъ, она сказала:—Какъ же мы расположимся?

— Надѣюсь, что спальня у насъ будетъ общая?

— О, нѣтъ, сгег Ѳеда!—возразила молодая женщина, сильно покраснѣвъ:—у насъ будутъ разныя комнаты.

— Какъ тебѣ угодно.

— А братъ былъ похожъ на тебя?

— Нѣтъ, онъ былъ очень высокъ и тонокъ. Писалъ стихи — ихъ даже печатали. Теперь онъ, какъ поэтъ, забыть... Я думаю, лучше всего тебѣ будетъ въ этой комнатѣ... Отчего ты такъ встревожена? Не пугайся—въ концѣ концовъ, тутъ можно жить съ большимъ комфортомъ.

Смѣясь, отворилъ онъ дверь въ комнату, которую рекомендовалъ женѣ, и она увидѣла двѣ красивыя желѣзныя кровати, низенькія модныя ширмы съ картинками около мягкой будуарной мебели, трюмо и большой ящикъ, схваченный желѣзными обручами. Все это было прислано Ѳеодоромъ Игнатьичемъ изъ города незадолго до свадьбы.

— Ну, у нашего почтеннаго арендатора нѣтъ яснаго представленія, что такое спальня новобрачныхъ, — сказалъ Ѳеодоръ Игнатьичъ и сталъ перебирать мебель. — Другая кровать будетъ вынесена, не бойся! А я устроюсь рядомъ, сейчасъ за стѣнной.

Петръ Абрамовичъ!—обратился онъ къ арендатору, который вошелъ и стоялъ у порога: — отчего вы не распаковали ящика? Теперь лишняя возня! Тутъ, Раиса, разные мелочи—гардины, туалетныя принадлежности и все, все... Не правда ли, у тебя отлегло отъ сердца?

Раиса улыбнулась и посмотрѣла на мужа тѣмъ милымъ взглядомъ, который означаетъ: „я бы тебя поцѣловала, но мѣшаетъ посторонній человѣкъ“.

Черезъ полчаса были привезены со станціи чемоданы. Все было раскупорено. Съ помощью горничной Вари, Ѳеодоръ Игнатьичъ быстро привелъ въ порядокъ спальню жены. Петръ Абрамовичъ тоже хлопоталъ и стучалъ молоткомъ. Раисѣ непременно хотѣлось сварить кофе, чтобъ угостить мужа. Былъ накрытъ салфеткой столикъ, и молодая женщина стала наливать кофе изъ серебрянаго кофейника въ бѣлыя плоскія чашки. Кофе оказался сырой. Ѳеодоръ Игнатьичъ выпилъ и еще попросилъ, но Раиса была огорчена.

XXII.

Арендаторъ ждалъ Гранковскаго съ молодой женой и приготовилъ для нихъ обѣдъ. Въ два часа въ столовой пообѣдали молодые супруги, и Раиса рѣшила съ завтрашняго дня непременно имѣть свой столъ.

— Надо, сегодѣня; иначе мы заболѣемъ отъ такихъ блюдъ.

Она достала изъ своего сака поваренную книжку. Мужъ видѣлъ, какъ она хмурить бровки и перелистываетъ страницы.

— Если здѣсь не найдется повара или хорошей кухарки, мы справимся вдвоемъ съ Варей.

— Да, вотъ, Раиса, недоставало еще, чтобъ ты на кухнѣ сидѣла! Авось, кухарку можно найти, хотя, правду сказать, я ничего не имѣю противъ Петра Абрамовича. Я полагалъ, что онъ будетъ нашимъ хлѣбодаромъ.

— Боже, какіе эти мужчины!—съ улыбкой сказала Раиса. Потомъ прибавила съ новой улыбкой: — Какъ захочу, такъ и будетъ.

Онъ поцѣловалъ у нея руку.

— Пойдемъ въ садъ. Посмотри, какая погода!

Садъ былъ разбитъ еще дѣдомъ Гранковскаго. Онъ лежалъ на плоскомъ пригорѣ и имѣлъ форму квадрата. Крутомъ росли тополи, изъ которыхъ иные усохли. Липовая аллея раздѣляла садъ на двѣ совершенно равныя половины. Въ концѣ аллеи была

бесѣдка, увитая дивнымъ виноградомъ; листья его приняли теперь красивый пурпуровый оттѣнокъ. Изъ этой бесѣдки можно было видѣть балконъ, приходившійся какъ разъ по срединѣ дома: съ одной стороны семь оконъ и съ другой столько же. Аллея давно не была чищена. Ѳеодоръ Игнатьичъ и Раиса шли по тропинкѣ. Подъ ногами шуршали желтые листья; желтые листья падали сверху; желтая листва пропускала сквозь себя солнечный свѣтъ, и на всемъ играли желтые, нѣжные, золотистые лучи въ перемежку съ прозрачными желтыми тѣнями. На синей бархатной кофточкѣ Раисы повисли два-три сухихъ листа. Въ воздухѣ чувствовалась послѣдняя ласка уходящаго лѣта и былъ разлитъ какой-то неуволнимый бодрящій, благовонный запахъ.

— Дѣдъ насадилъ эти липы, какъ только женился, а женился онъ восемнадцати лѣтъ, — началъ Гранковскій. — Съ тѣхъ поръ прошло семьдесятъ-два года. Почти столѣтнія деревья.

— Посадимъ, Ѳеда, по деревцу! — сказала молодая женщина.

— Хорошо, я попрошу Петра Абрамовича. Не правда ли, Раиса, вашъ садъ гораздо поэтичнѣе этого? Нашъ какой-то печальный.

— Да, но мнѣ онъ больше нравится.

Они шли; листья однообразно шуршали подъ ихъ ногами.

Этотъ унылый шорохъ, простота сада, скучная прямолинейность его плана, роскошныя старыя деревья, заглушная одинокая бесѣдка будили въ душѣ рой какихъ-то смутныхъ чувствъ. Три поколѣнія выросли на этомъ небольшомъ четырехъ-угольномъ землѣ. Сколько дѣтскихъ ножекъ топтали эту почву; сколько разъ дѣдъ и отецъ Ѳеодоръ Игнатьича съ пилой въ рукѣ и большими ножницами обходили этотъ садъ! Сколько разговоровъ, веселыхъ и грустныхъ, велось подъ этими липами или въ этой бесѣдкѣ! Разбѣжались по бѣлу-свѣту рѣзвыя дѣтскія ножки и стали неуклюжими, солидно ступающими ногами, или спокорно лежать, вытянувъ носки, гдѣ-нибудь на тѣнистомъ кладбищѣ. Навѣки исчезли образы ворчливыхъ, во все вникающихъ стариковъ, строителей семьи и хранителей домашнего очага. Давнымъ-давно смолкли раздававшіеся здѣсь голоса. Лишь вверху, надъ опустѣвшими гнѣздами, кружатъ вороны и по прежнему протяжнымъ крикомъ наполняютъ меланхолическій садъ, который точно усталъ отъ своего одиночества, дремлетъ и тихо готовится въ тяжелому долгому зимнему сну.

Молодые люди вошли въ бесѣдку и оттуда смотрѣли на садъ. Пурпурные лапчатые листья винограда мягко и красиво выдѣлялись на ясномъ фонѣ блѣдно-золотистыхъ липъ; вдали бѣлѣла

штукатурка дома, сверкали на солнцѣ стекла балкона. Раиса прижалась къ мужу. Имъ было хорошо, имъ нечего было говорить другъ другу. Страсть внезапно прилила къ ихъ сердцу. И садъ, собиравшійся дремать, былъ разбуженъ звукомъ молодого поцѣлуя.

— Мери! Смотри, здѣсь написано: „Мери!“ — отстраняясь, вскричала Раиса. — Здѣсь тоже!

Федоръ Игнатьичъ взглянулъ на столъ и на скамейку.

— Это все братъ, — сказалъ онъ. — Нѣтъ дерева, на которомъ бы не было вырѣзано „Мери“.

— Въ самомъ дѣлѣ? Я побѣгу, посмотрю.

Она вскочила и подбѣжала къ деревьямъ. Вездѣ читала она имя, на которомъ помѣшался покойный. Кора вздулась, и мѣстами надписи были ужъ изуродованы.

— Какъ онъ былъ влюбленъ, бѣдняжка! — произнесла она задумчиво.

— Липовая аллея была его любимымъ мѣстомъ, — пояснилъ Федоръ Игнатьичъ. — Въ ней отличный резонансъ, какъ въ сводчатомъ корридорѣ. Бывало, какъ крикнетъ: „Мери!“ — Вотъ я покажу какъ: Мери!

Это повторило: „Мери!“ Потомъ — слабѣе: „Мери!“ Раиса испугалась и, бросившись къ мужу, схватила его за руку.

— Пожалуйста, не кричи такъ! — сказала она съ смущенной улыбкой.

XXIII.

Вечеромъ домъ былъ ярко освѣщенъ. Были зажжены лампы и свѣчи въ старыхъ люстрахъ.

— Балъ! — сказала Раиса.

Она разливала чай. Федоръ Игнатьичъ рассказывалъ ей случаи изъ своей жизни, какъ онъ учился, какіе у него были гувернеры, кто бывалъ въ домѣ, какіе чудачи были сосѣди. Раиса слушала, не спуская съ мужа глазъ.

Послѣ чая онъ подъ-руку прошелся съ нею по комнатамъ.

— Право, у насъ съ тобой на всякій случай недурной уголокъ. Только зимою здѣсь скучно и, должно быть, холодно. Мы будемъ прѣзжать сюда на лѣтніе мѣсяцы.

Они останавливались передъ старыми гравюрами и литографіями, передъ картинами и портретами.

— Тебѣ любопытно, Раиса? Этихъ евангелистовъ написала моя тетка, Прасковья Павловна. Она была старая дѣва, и въ

лицъ четырехъ апостоловъ увѣковѣчила четырехъ вѣрностныхъ мужиковъ. Все это ужасно уродливо, но жаль было бы выбросить. Эту птичку склеила изъ перышекъ покойная матушка и подарила Ефиму на именины... Вещи смѣшныя, съ посторонней точки зрѣнія, но для меня...

— Ты любишь свой домъ?

— Да, Раиса.

— Я тоже люблю его, — сказала молодая женщина. — Все люблю, что твое. И эти евангелисты мнѣ нравятся, и эту птичку люблю... Чей портретъ? Неужели брата?

— Да, брата. Какъ ты угадала? Раскрашенная фотографія, а все-таки жизни много. Какіе глаза! Смотрять!

— Онъ былъ некрасивъ?!..

— Товарищи называли его ушаномъ.

— Но у него добрыя губы.

— Его губы — цѣлый міръ! — вскричалъ Ѳеодоръ Игнатьичъ. — Славныя губы...

Онъ выпятилъ свои губы, чтобъ придать имъ выраженіе, какое было у брата. Черезъ минуту онъ подавилъ вздохъ и, уводя Раису дальше, — сказалъ:

— Однако намъ пора спать — мы дурно провели ночь. Не правда ли?

Молодая женщина, не глядя на мужа, кивнула головой.

Ѳеодоръ Игнатьичъ пришелъ съ женой въ ея спальню. Розовый шаръ спускался съ потолка и наполнялъ комнату таинственнымъ сумракомъ. Въ цѣломъ домѣ эта комната казалась единственнымъ угломъ, гдѣ не было прошлаго, гдѣ притаилось только грядущее. Какой-то милый и нѣжный призывъ шепталъ отовсюду: „Не бойтесь меня! Что было, то умерло! Я — счастье, я — ваше будущее!“ Молодые люди застѣнчиво смотрѣли другъ другу въ глаза, и сами стали говорить шопотомъ, точно ихъ добрый духъ, дѣйствительно, былъ гдѣ-то здѣсь, въ этой счастливой комнатѣ, и громкая бесѣда заглушила бы его тихія, какъ мысли, рѣчи.

— Такъ ты, Раиса, будешь спать... одна? *Quelle petite bouche* сдѣлала ты! Прости меня! Я ухожу...

— Уходишь?

Она посмотрѣла на него ласковымъ виноватымъ взглядомъ. Онъ пошелъ къ дверямъ, стараясь придать лицу веселое выраженіе и по пути оборачиваясь.

Когда Раиса осталась одна, раздѣвшись и отославши Варю, она вдругъ почувствовала, что ни за что не заснетъ. Сначала

ее беспокоилъ свѣтъ фонаря, потомъ стало страшно въ темнотѣ. Ставни были закрыты, но поднялся вѣтеръ, вѣтки деревь стучали по стѣнѣ, и казалось, будто кто-то собирается влѣзть въ окно. Молодая женщина закуталась въ одѣяло съ головой Сонъ бѣжалъ отъ глазъ. На новомъ мѣстѣ, должно быть, плохо спится. Она стала думать о томъ, что дома, въ ея маленькой дѣвчечьей спальнѣ, было уютнѣе, а тутъ одиноко, и сердце бьется, спираетъ дыханіе. Кто это ходить по дому? Ей чудятся шаги... Господи! неужели сумасшедшій братъ Ѳедора Игнатьича по ночамъ кричалъ: „Мери! Мери!“? Вотъ ужасъ! Еслибы она услышала—умерла бы на мѣстѣ. Однако же что это за шаги? Вотъ одинъ шагъ, два, три, десять шаговъ... двадцать шаговъ... Бываютъ ли привидѣнія? Ужъ если говорятъ о привидѣніяхъ, то, значить, что-то есть. И не даромъ же такъ страшно. Шаги становились слышнѣе... Привидѣніе ходить, сейчасъ войдетъ въ спальню, сейчасъ закричитъ: „Мери!“ Раиса вскочила и стала кулаками стучать въ стѣнку къ мужу.

— Сегѣ Ѳедя!

Гранговскій со свѣчей торопливо вошелъ. Онъ не раздѣвался и все время читалъ, хотя ничего не понималъ изъ прочитаннаго. Встревоженное лицо его улыбалось. Увидавъ мужа, Раиса забижалась въ уголокъ постели и закуталась въ одѣяло до подбородка.

— Кто-то ходилъ,—жалобно сказала она.

— Дитя мое, это я ходилъ.. Развѣ такъ слышно?

Она сконфуженно засмѣялась.

— Почему ты не спишь?

— Я не знаю. А ты?

— Я тоже не знаю. Мнѣ страшно. Пойди ко мнѣ, Ѳедя! Онъ подошелъ. Молодая женщина протянула къ нему руки.

І. Ясинскій.



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 сентября 1887 г.

Ограниченіе приѣма въ гимназіи и прогимназіи: министерское распоряженіе 18-го іюня и циркуляръ попечителя одесскаго учебнаго округа.—Тѣсная связь между этими мѣрами и новыми университетскими правилами.—Вопросъ о сосредоточеніи первоначальнаго народнаго образованія въ рукахъ одного вѣдомства.—Сельская медицина въ западныхъ губерніяхъ.—Новая желѣзно-дорожная политика.

Съ весны нынѣшняго года въ обществѣ упорно держались слухи о предстоящемъ ограниченіи доступа въ среднія учебныя заведенія. Газеты извѣстнаго лагеря съ торжествомъ пускали въ оборотъ „радостную“ вѣсть о готовящемся сокращеніи числа гимназій и прогимназій; официальное опроверженіе этой вѣсти не мѣшало дальнѣйшимъ варіаціямъ на тему: „всякъ сверчокъ знай свой шестокъ“ или „не въ свои сани не садись“. „Шесткомъ“ или „саними“, специально предназначенными для „низшаго рода людей“, выставлялись будущія промышленныя школы; туда, по мысли ревнителей сословной замкнутости, должны были направиться всѣ тѣ, передъ которыми закроются двери гимназій и прогимназій. Промышленныя школы остаются, покажѣть, дѣломъ будущаго; проектъ организаціи промышленнаго образованія еще не утвержденъ, но приѣмъ въ гимназіи уже регулированъ закономъ, регулированъ простымъ распоряженіемъ министерства народнаго просвѣщенія. Для насъ не совсѣмъ понятно, какимъ образомъ вопросъ столь первостепенной важности могъ быть разрѣшенъ не въ законодательномъ порядкѣ. „Въ гимназіи и прогимназіи, — читаемъ мы въ ст. 23-й дѣйствующаго гимназическаго устава, —обучаются дѣти всѣхъ состояній, безъ различія званія и вѣроисповѣданія“. Смыслъ этихъ словъ совершенно ясенъ; нельзя было выразить точнѣе, что доступъ въ гимназіи открытъ для всѣхъ и cadaго, лишь бы только имѣлись на лицо условія, предусмотрѣнныя слѣдующими статьями устава (24, 25, 26)—достиженіе извѣст-

наго возраста, обладаніе извѣстными знаніями, удовлетворительное состояніе здоровья. Присоединеніе къ этимъ условіямъ новыхъ, коренящихся въ *званіи и состояніи* — т.-е. именно въ томъ, чему нами жѣнно не придаетъ никакого значенія уставъ — является существеннымъ измѣненіемъ закона, а измѣненіе закона совершается тѣмъ же путемъ, съ соблюденіемъ тѣхъ же формальностей, какъ и первоначальное его установленіе. Правда, категоріи лицъ, для которыхъ закрывается доступъ въ гимназію, намѣчены министерскимъ распоряженіемъ лишь въ общихъ чертахъ, оставляющихъ, въ каждомъ данномъ случаѣ, широкій просторъ усмотрѣнію директора гимназіи; но это нисколько не уменьшаетъ значенія перемѣны, произведенной, *de facto*, въ дѣйствующемъ законѣ. Законъ уполномочиваетъ начальство гимназіи отказать въ приѣмъ только въ трехъ случаяхъ, упомянутыхъ нами выше; министерское распоряженіе расширяетъ это полномочіе далеко за предѣлы устава. Есть еще одна сторона распоряженія, которую трудно согласить съ гимназическимъ уставомъ. Еслибы между принятыми уже учениками оказались такіе, которые, „вслѣдствіе домашней обстановки своихъ родителей или родственниковъ, имѣютъ вредное вліяніе на товарищей“, то, при дѣйствіи новаго порядка, они могутъ быть увольняемы изъ гимназіи, „не стѣсняясь двухлѣтнимъ срокомъ, указаннымъ въ ст. 34-й устава, или формальными правилами о взысканіяхъ“. Правила о взысканіяхъ заимствуютъ свою силу изъ ст. 35-й устава; вмѣстѣ съ ст. 34-й, требующей увольнения ученика, два года сряду прожившаго въ одномъ и томъ же классѣ (и не перешедшаго затѣмъ въ слѣдующій классъ), они составляютъ единственное законное основаніе къ исключенію учениковъ, однажды внесенныхъ въ гимназическій списокъ. Министерское распоряженіе создаетъ новый къ тому поводъ, не предусмотрѣнный закономъ.

Отъ формальной стороны распоряженія переходимъ къ его внутреннему содержанію. Оно направлено къ тому, чтобы „въ гимназіи и прогимназіи допускались только такіа дѣти, которыя находятся на попеченіи лицъ, представляющихъ достаточное ручательство въ нравственномъ надъ ними домашнемъ надзорѣ и въ предоставленіи имъ необходимаго для учебныхъ занятій удобства“. „При неуклонномъ соблюденіи этого правила,—говорится дальше въ министерскомъ циркулярѣ,—гимназіи и прогимназіи освободятся отъ поступленія въ нихъ дѣтей кучеровъ, лакеевъ, поваровъ, прачекъ, мелкихъ лабочниковъ и тому подобныхъ людей, дѣтей коихъ, за исключеніемъ развѣ одаренныхъ необыкновенными способностями, вовсе не слѣдуетъ выводить изъ среды, къ коей они принадлежатъ. Допущенію дѣтей къ приѣмному испытанію долженъ предшествовать разспросъ

родителей или родственниковъ объ условіяхъ ихъ матеріальнаго и семейнаго быта, о томъ, какъ они вѣли и ведутъ воспитаніе дѣтей; о всемъ этомъ должны быть также наводимы надлежащія справки". Если „житейская обстановка" родителей или родственниковъ окажется неудовлетворяющею вышеприведеннымъ условіямъ, начальство гимназій и прогимназій обязано „рѣшительно отклонять прошенія, указывая на учебныя заведенія съ менѣе продолжительнымъ и болѣе соответствующимъ данной средѣ курсомъ, въ которыя съ болѣею пользою могли бы быть помѣщены дѣти". Увольненіе учениковъ уже принятыхъ, но не подходящихъ подъ новую норму, мотивируется тѣмъ, что „въ прогимназіяхъ и гимназіяхъ, какъ учебныхъ заведеній, открывающихъ доступъ въ университеты и къ высшимъ поприщамъ государственнаго и общественнаго служенія, должны обучаться лишь такія лица, которыя, при надлежащей успѣшности своего ученія, отличаются благопріемъ и могутъ стать вполне благовоспитанными молодыми людьми, и за благонадежность которыхъ во всѣхъ отношеніяхъ начальники прогимназій и гимназій могутъ и впослѣдствіи принять на себя отвѣтственность передъ высшимъ начальствомъ и передъ своею совѣстью". Комментаріемъ къ министерскому распоряженію можетъ служить основанный на немъ циркуляръ попечителя одесскаго учебнаго округа—циркуляръ, оглашеніе котораго въ „Одесскомъ Вѣстникѣ" въ первый разъ довело до всеобщаго свѣденія самый фактъ существованія новыхъ правилъ. „Гимназіи и прогимназіи,—сказано въ этомъ циркулярѣ,—переполнены дѣтьми, явно неспособными ни матеріально, ни нравственно вынести продолжительный и нелегкій путь классическаго образованія. Неизбѣжными послѣдствіями такого порядка вещей являются пониженіе успѣшности, обусловливаемое присутствіемъ многихъ учащихся, встрѣчающихъ въ условіяхъ своей домашней обстановки не поддержку, а всякія препятствія къ правильному теченію обученія; упадокъ дисциплины, отъ недостаточности или совершеннаго отсутствія надзора въ семьѣ и отъ пагубнаго вліянія такихъ дѣтей на своихъ товарищей въ заведеніи; масса учениковъ, выбывающихъ изъ прогимназій и особенно гимназій до окончанія курса, съ тяжелымъ сознаніемъ потери времени и невознаградивости этого ущерба".

Итакъ, ограниченіемъ пріема въ гимназіи и прогимназіи предполагается, прежде всего, достигнуть устраненія золъ, безспорно свойственныхъ нашей средней школѣ. Доказана ли, однако, причинная связь между ними и дѣйствовавшимъ до сихъ поръ порядкомъ пріема? Можно ли считать несомнѣннымъ, что главный источникъ болѣзни коренится во всесословности гимназій и прогимназій, въ разношерстномъ ихъ составѣ, обнимающемъ собою всѣ общественныя

классы, отъ высшаго до низшаго? Ключъ къ разрѣшенію этихъ вопросовъ могли бы дать только статистическія данныя, относящіяся къ послѣднимъ 10—15 годамъ,—но отчеты министерства народнаго просвѣщенія давно уже недоступны для публики и печати. Не имѣя въ виду установленныхъ ими цифръ и фактовъ, нельзя опредѣлить, какой процентъ учениковъ, увольняемыхъ за дурное поведение или неуспѣшность въ ученѣ, приходится на бѣднѣйшіе и наименѣе образованные классы населенія, и каково, съ этой точки зрѣнія, сравнительное отношеніе различныхъ сословно-ученическихъ категорій. Каждому изъ насъ, по всей вѣроятности, извѣстны случаи, въ которыхъ сыновья кучеровъ, прачекъ „и тому подобныхъ людей“ становились впереди всѣхъ своихъ товарищей, а сыновья достаточныхъ и „благовоспитанныхъ“ родителей попадали въ число худшихъ учениковъ и оставляли гимназію задолго до окончанія гимназическаго курса; но изъ отдѣльныхъ случаевъ нельзя выводить общихъ заключеній—нельзя выводить ихъ ни въ ту сторону, ни въ другую. Произведено ли было систематическое изслѣдованіе причинъ, вызывающихъ неудачи, опредѣлена ли была съ точностью роль, принадлежащая здѣсь происхожденію и состоянію учениковъ—не знаемъ; ни о чемъ подобномъ до сихъ поръ не было слышно. Скажемъ болѣе: еслибы даже и можно было признать достовѣрнымъ, что успѣшность гимназическаго ученія прямо пропорціональна обезпеченности учениковъ и удовлетворительности ихъ домашней обстановки, то этимъ однимъ не была бы еще оправдана необходимость радикальныхъ перемѣнъ въ способѣ пополненія гимназій. Нужно было бы привести въ ясность, насколько констатированный результатъ зависитъ отъ случайныхъ, легко устранимыхъ, обстоятельствъ—отъ излишней требовательности учебныхъ плановъ, отъ ошибочнаго выбора педагогическихъ приемовъ, отъ неправильной постановки всего учебнаго дѣла. Чѣмъ больше, напримѣръ, ученики обременены внѣ-классными работами, тѣмъ сильнѣе вліяніе „домашней обстановки“, тѣмъ чувствительнѣе отсутствіе „удобствъ, необходимыхъ для занятій“. Еслибы въ нашихъ гимназіяхъ такъ же мало задавалось на домъ, какъ въ нѣмецкихъ, справляться съ заданнымъ было бы одинаково легко и въ полу-темномъ углу прихожей или кухни, и въ образцово-устроенной учебной комнатѣ. Пониженіе числа домашнихъ рабочихъ часовъ было бы благодѣяніемъ не для однихъ бѣдняковъ-гимназистовъ; оно способствовало бы нормальному развитію, физическому и умственному, всей учащейся въ гимназіяхъ молодежи. То же самое слѣдуетъ сказать и о смягченіи требованій, предъявляемыхъ къ ученикамъ въ стѣнахъ гимназій. Если теперь многіе гимназисты нуждаются въ посторонней помощи, легко доступной только въ достаточныхъ семействахъ, то не свидѣ-

тельствуетъ ли это о нѣкоторой несоразмѣрности между силами большинства и трудностями возлагаемой на него задачи? Что лучше — удалять изъ гимназій учениковъ, не имѣющихъ возможности пользоваться услугами репетитора, или поставить дѣло такъ, чтобы никто или почти никто не нуждался въ этихъ услугахъ?.. Намъ говорить о массѣ учениковъ, выбывающихъ изъ гимназій съ тяжелымъ сознаниемъ вознагражденно потеряннаго времени; но развѣ нельзя уменьшить эту массу, не уменьшая числа поступающихъ въ гимназій? Неужели бѣдность большинства — единственная или главная причина переполненія низшихъ и опустѣнія высшихъ классовъ гимназій? Неужели потеря времени, сопряженная съ оставленіемъ школы до окончанія курса, представляется чѣмъ-то неизбѣжнымъ, неотвратимымъ? Неужели нельзя организовать гимназическое преподаваніе такъ, чтобы оно было полезно и для останавливающихся на пол-дорогѣ? Мы говорили еще недавно о необходимости большаго объединенія нашихъ учебныхъ заведеній, о вредѣ преждевременной специализаціи ученія. Стоить только сообщить болѣе общій характеръ первымъ годамъ гимназическаго курса, уменьшить, по отношенію къ нимъ, преобладающую роль древнихъ языковъ — и ученики, выходящіе изъ третьяго или четвертаго класса гимназій, не будутъ больше уносить съ собою сознаніе безплодной, непоправимой утраты. Напрасной потерей времени признается, впрочемъ, не только посѣщеніе гимназій, не доведенное до конца, но даже прохожденіе полного гимназическаго курса, если за нимъ не слѣдуетъ поступленіе въ университетъ. „Классическое образованіе, — читаемъ мы въ упомянутомъ уже циркулярѣ попечителя одесскаго учебнаго округа, — не увѣнчанное университетскимъ курсомъ, не представляетъ достаточной подготовки къ практической дѣятельности“; оно можетъ быть, слѣдовательно, рекомендуемо только тѣмъ, для кого несомнѣнно открыта дорога къ высшему образованію. Защищать такое положеніе, значитъ отречься отъ цѣлой серіи аргументовъ, занимавшихъ видное мѣсто въ апологіяхъ классицизма. Намъ увѣрили много разъ, что классическое образованіе драгоценно само по себѣ, хотя бы оно и не служило преддверіемъ къ дальнѣйшимъ научнымъ занятіямъ; намъ говорили, что нѣтъ дѣятельности, для которой не могло бы пригодиться — если не прямо, то косвенно — основательное знаніе древнихъ языковъ. Одно изъ двухъ: или это справедливо — въ такомъ случаѣ незачѣмъ закрывать двери въ гимназій передъ тѣми, для кого можетъ оказаться недоступнымъ университетъ; или классическое образованіе дѣйствительно имѣетъ смыслъ только какъ ступень къ университету — въ такомъ случаѣ оно страдаетъ существенно важнымъ недостаткомъ, потому что всякая правильно устроенная средняя школа должна имѣть зна-

ченіе и цѣнность, независимыя отъ дальнѣйшей судьбы ея учениковъ. Другими словами, организація образованія должна быть такова, чтобы не допускать „сознанія бесплодной потери“, въ какой бы моментъ ученикомъ ни было прервано ученіе.

Подъ именемъ „житейской обстановки“, не благопріятствующей правильному ходу гимназическаго ученія, понимается преимущественно бѣдность и невысокое социальное положеніе семьи, къ которой принадлежитъ гимназистъ или кандидатъ въ гимназисты. Намъ кажется, что здѣсь принята въ соображеніе только одна сторона вопроса. Безспорно, могутъ быть случаи, въ которыхъ бѣдность мѣшаетъ ученію,—но столь же возможно и обратное отношеніе условий. Отдавая своего сына въ гимназію, недостаточные родители приносятъ жертву, самая тяжесть которой является, сплошь и рядомъ, источникомъ усиленной энергіи. Сознаніе лишеній, оплачивающихъ его ученіе, заставляетъ мальчика напрягать всѣ свои силы, трудиться, насколько хватаетъ способностей и умѣнья; родители, съ своей стороны, постоянно заботятся о томъ, чтобы ихъ пожертвованія не пропадали понапрасну. Отсутствіе удовольствій, отвлекающихъ отъ ученія, уравновѣшиваетъ собою неудобства, сопряженные съ недостаткомъ свѣта, тишины, простора, учебныхъ пособій. Черезъ нѣсколько лѣтъ гимназистъ часто ничего уже не стоитъ своимъ родителямъ или даже становится ихъ помощникомъ. Изъ среды бѣднѣйшихъ гимназистовъ пополняется многочисленный классъ репетиторовъ—и уже это одно даетъ право утверждать, что бѣдность не только не составляетъ абсолютной помѣхи ученію, но позволяетъ даже соединять школьныя занятія съ посторонней работой, облегчающей положеніе семьи. Упорный, добросовѣстный трудъ—лучшая гарантія противъ нравственной порчи, лучший суррогатъ недостающаго „домашняго надзора“; вотъ почему мы никакъ не можемъ допустить, чтобы худшіе, въ нравственномъ отношеніи, ученики гимназій выходили исключительно изъ семействъ прачекъ, кучеровъ „и тому подобныхъ людей“. Еслибы это было такъ, то нравственность процвѣтала бы всего больше въ учебныхъ заведеніяхъ, открытыхъ только для высшихъ сословій; а развѣ то мы видимъ на самомъ дѣлѣ? Развѣ между семьями достаточными и относительно высоко-поставленными мало такихъ, въ которыхъ дурныя вліянія преобладаютъ надъ хорошими? Здѣсь меньше грубости, за то больше праздности; меньше разгула, за то больше утонченныхъ пороковъ. Шумъ и безпорядокъ въ тѣсной лакейской или кухнѣ—не болѣе серьезное препятствіе для занятій, чѣмъ безпрестанные выѣзды, масса посѣтителей, карточные столы, танцы, театральныя представленія. Разница здѣсь только та, что первое бросается въ глаза даже при поверхностномъ наблюденіи, а второе легко

оставляется безъ вниманія, въ особенности когда оно не идетъ въ разрѣзъ съ привычками самого наблюдателя. Еслибы министерское распоряженіе и не указывало дѣльных категорій, устраняемыхъ отъ общенія съ гимназическимъ міромъ, исполнители распоряженія невольно оказались бы наиболѣе строгими именно къ этимъ категоріямъ. Гораздо легче установить—или предположить—недостатокъ „домашняго надзора“ въ семьѣ кучера или прачки, чѣмъ въ семьѣ болѣе или менѣе крупнаго чиновника, хотя на самомъ дѣлѣ послѣдняя не имѣетъ, быть можетъ, никакого преимущества передъ первой. Допустимъ, наконецъ, что „вредное вліяніе“ на товарищѣ возможно всего скорѣе со стороны учениковъ, принадлежащихъ къ одному изъ низшихъ классовъ общества; неужели нельзя противоудѣствовать этому вліянію, неужели нельзя ни излечить больныхъ, ни предупредить распространеніе болѣзни? Мы не такого дурнаго мнѣнія о воспитательномъ значеніи гимназій. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что огромное большинство гимназій—заведенія открытыя, въ которыхъ ученики проводятъ ежедневно менѣе шести часовъ; рекреаций, въ теченіе которыхъ ученики свободно разговариваютъ другъ съ другомъ, продолжаются не болѣе часу. Уберечь, въ это время, овецъ отъ козлищъ—дѣло вполне осуществимое и даже не особенно трудное. Въ начальной народной школѣ учатся дѣти, изъ которыхъ почти никто не испыталъ на себѣ, до вступленія въ школу, никакихъ цивилизующихъ вліяній; они остаются въ школѣ не болѣе 3-4 лѣтъ—и все-таки выходятъ изъ нея нравственно лучшими, если только учитель или учительница стояли на высотѣ своего призванія. Это справедливо не только по отношенію къ сельской начальной школѣ, но и къ городской, поставленной въ особенно неблагопріятныя условія. Неужели задача, съ которою справляется начальная школа, непосильна для гимназій, располагающей и вдвое болѣшимъ срокомъ, и несравненно болѣе обширными средствами?

Дѣти кучеровъ, прачекъ и „тому подобныхъ людей“ не должны быть „выводимы изъ среды, къ которой они принадлежатъ“, развѣ если они „одарены необыкновенными способностями“. Какъ же удостовериться, однако, въ наличности такихъ способностей, если отказъ, основанный на изслѣдованіи „матеріальнаго быта“, долженъ предшествовать допущенію къ пріемнымъ испытаніямъ? „Необыкновенныя способности“. притомъ, часто обнаруживаются уже впоследствии, именно благодаря гимназическому обученію. Обуславливать пріемъ въ гимназію принадлежностью къ извѣстному общественному классу или обладаніемъ извѣстными средствами. значитъ закрывать доступъ къ гимназическому, а слѣдовательно и къ университетскому образованію для цѣлой массы дѣтей. безъ различія между способными и неспо-

собными, даровитыми и безталанными. Пускай родится въ крестьянской средѣ новый Ломоносовъ, въ рядахъ низшаго духовенства—новый Сперанскій: для нихъ не окажется мѣста въ преобразованныхъ гимназіяхъ и университетахъ. „Собственныхъ Платоновъ и твердыхъ разумомъ Невтоновъ“ Россійская земля можетъ рождать отнынѣ впредь лишь подъ условіемъ принадлежности ихъ къ привилегированнымъ сословіямъ. Изъ общей суммы умственныхъ богатствъ, составляющихъ лучшее достояніе народа, устраняется цѣлый рядъ вкладовъ, цѣнность которыхъ не подлежитъ даже приблизительному вычисленію¹⁾. Силы, достаточныя, быть можетъ, для достиженія самыхъ высокихъ цѣлей, прикрѣпляются къ обстановкѣ, не дающей имъ никакого простора; судьба человѣка предрѣшается разъ навсегда его происхожденіемъ. А между тѣмъ „выходъ изъ среды“, для предупрежденія котораго принимаются столь крутыя мѣры, остается все-таки возможнымъ. Родителямъ, желающимъ отдать своихъ дѣтей въ гимназію, но не подходящимъ подъ дѣйствіе новыхъ правилъ, будутъ обязательно указываемы другія учебныя заведенія, „съ менѣе продолжительнымъ и болѣе соответствующимъ ихъ средѣ курсомъ“. Какія же это учебныя заведенія? Реальныя училища? Сыновей прачки или кучера они „отдалятъ отъ среды“ ничуть не меньше, чѣмъ гимназіи. Городскія училища, организованныя на основаніи устава 1872 г., или старыя уѣздныя училища? Кто окончилъ курсъ въ одномъ изъ этихъ училищъ, тотъ едва ли пойдетъ въ услуженіе или сядетъ торговать въ мелочной лавочкѣ; въ огромномъ большинствѣ случаевъ, онъ окажется не только „оторваннымъ отъ среды“, но и расположеннымъ пренебрегать ею. Фальшивая гордость всего чаще идетъ рука объ руку съ полу-образованіемъ. Промышленныхъ или ремесленныхъ школъ у насъ еще почти не существуетъ. На самомъ дѣлѣ, такимъ образомъ, единеніе съ „средой“ останется неприкосновеннымъ лишь по отношенію къ тѣмъ, для которыхъ недопущеніе въ гимназію будетъ равносильно совершенному отказу въ образованіи. А подобныхъ случаевъ, по всей вѣроятности, будетъ не мало. Въ Ярославлѣ, напримѣръ, нѣтъ реальнаго училища, нѣтъ частныхъ учебныхъ заведеній; есть, кромѣ гимназіи, только пять или шесть начальныхъ школъ и одно трехклассное городское училище. „Многіе родители,—пишутъ по этому поводу „Современныя Извѣстія“,—и сами понимаютъ, что гимназія—не совсѣмъ подходящее заведеніе для ихъ дѣтей; но кромѣ гимназіи сунуться некуда. Очень многіе отдаютъ сыновей въ гимназію съ тѣмъ, что дальше пятаго класса учить ихъ тамъ не будутъ. Такой полу-

¹⁾ Нѣкоторое понятіе о предстоящей потерѣ можно получить по любопытной статьѣ В. В. Стасова („Новости“, № 220), перечисляющей массу русскихъ художниковъ, вышедшихъ изъ среды „низшихъ сословій“.

гимназическій курсъ не считаютъ хуже винегретныхъ курсовъ городского училища, гдѣ, при плохомъ надзорѣ, сѣется всякаго жита по одной лопатѣ. Почему не принимать всѣхъ для образованія въ гимназіи, т.-е. въ первые четыре класса гимназій? Пусть дальше идутъ лишь тѣ, которые окажутъ для продолженія образованія вполне удовлетворительныя способности, прилежаніе, вниманіе и поведеніе. Оказавшемуся въ этихъ отношеніяхъ отличнымъ за чтó преграждать дорогу къ дальнѣйшему образованію? Неужели всѣ нынѣшніе учителя, инспекторы и директоры вышли изъ аристократическихъ или богатыхъ семей? Бѣдные дѣти нисколько не виноваты, что въ Ярославлѣ нѣтъ школъ для нихъ". Въ такомъ критическомъ положеніи находится, безъ сомнѣнія, не одинъ Ярославль ¹⁾, и нужно обладать большимъ запасомъ... безцеремонности, чтобы утверждать,—какъ это дѣлаетъ одна петербургская газета,—что новыя правила встрѣчены ликованіемъ „русскихъ отцовъ и матерей“, къ которымъ присоединились всѣ „благомыслящіе люди“.

Управленіе одесскимъ учебнымъ округомъ идетъ, въ одномъ отношеніи, еще дальше, чѣмъ министерство народнаго просвѣщенія; оно заботится и о томъ, чтобы дѣйствіе новыхъ правилъ не было „ослабляемо путемъ благотворительности, общественной или частной“. Благотворительность, по словамъ одесскаго циркуляра, „должна имѣть цѣлью устраненіе затрудненій въ полученіи образованія тѣмъ молодымъ людямъ, которымъ, *по положенію ихъ родителей* или по выдающимся личнымъ дарованіямъ, *свойственно достигать извѣстныхъ степеней образованія*. Такъ, умѣстно воспитаніе въ гимназіи на благотворительные источники дѣтей родителей, которые сами получили высшее образованіе, но, вслѣдствіе неблагоприятнаго стеченія обстоятельствъ, лишены возможности дать такое же образованіе своимъ дѣтямъ. Но оторвать отъ хорошей крестьянской или мѣщанской семьи мальчика, для того, чтобы воспитаніемъ въ гимназіи дать ему сомнительную возможность карьеры по государственной службѣ, было бы не всегда разумной услугой. Если при заведеніи имѣется общество для пособія учащимся, то должно быть приложено попеченіе, чтобы это общество дѣйствовало въ направленіи, соотвѣтственномъ видамъ учебнаго управленія. *Въ противномъ случаѣ, должно принять указываемыя обстоятельствами мѣры*“. Итакъ, регулированію подвер-

¹⁾ Изъ Бердянска пишутъ „Недѣль“, что мѣстная городская дума ходатайствуетъ о непримѣненіи къ бердянской гимназіи министерскаго распоряженія 18-го іюня. Ходатайство это вызвано тѣмъ, что при открытіи гимназіи дума, вмѣстѣ съ земствомъ, заботилась именно о небогатыхъ семьяхъ какъ городского, такъ и сельскаго населенія; зданіе гимназіи было сооружено на счетъ думы и земства, а на содержаніе ея они расходуютъ ежегодно около 20 тысячъ рублей.

гается даже то, что всего больше требуетъ свободы и простора. Представимъ себѣ, что достаточная, высоко образованная семья взяла къ себѣ на воспитаніе крестьянскаго мальчика и намѣрена помѣстить его въ гимназію. Его „житейская обстановка“ не оставляетъ желать ничего лучшаго, „домашній надзоръ“ за нимъ самый бдительный, онъ имѣетъ всѣ „удобства для занятій“—и все-таки его не принимаютъ въ гимназію, чтобы не отрывать его отъ „среды“, къ которой онъ принадлежитъ по рожденію. Благотворительность—одно изъ самыхъ могучихъ средствъ къ сближенію сословій, къ смягченію контрастовъ, пронтекающихъ изъ неравенства состояній; чѣмъ больше она достигаетъ этой цѣли, тѣмъ выше ея общественное значеніе. Опредѣлять ея границы, стѣснять ея инициативу, значитъ идти въ разрѣзъ съ истиннымъ ея призваніемъ—и вмѣстѣ съ тѣмъ парализовать ея внутреннюю силу. Благотворить согласно съ указаніями начальства способны только тѣ, которые преслѣдуютъ при этомъ свои личные виды. Ошибочно было бы ожидать, что средства, предназначенныя частнымъ лицомъ на обученіе въ гимназіи крестьянскаго сына, пойдутъ—за непринятіемъ послѣдняго въ гимназію—на воспитаніе сына „бѣдныхъ, но благородныхъ родителей“; въ огромномъ большинствѣ случаевъ они получаютъ совершенно иное употребленіе, съ соответственнымъ уменьшеніемъ общаго, если можно такъ выразиться, учебно-благотворительнаго фонда. Весьма прискорбно было бы уже искусственное ограниченіе дѣятельности благотворительныхъ обществъ, существующихъ при гимназіяхъ,—но еще менѣе справедливой, еще болѣе неудобной представляется регламентація частной благотворительности. Отсюда, быть можетъ, нѣкоторая нерѣшительность въ тонѣ разбираемаго нами циркуляра. Нежелательнымъ признается здѣсь оторваніе мальчика отъ *хорошей* крестьянской или мѣщанской семьи; отъ семьи дурной или не совсѣмъ хорошей онъ, слѣдовательно, можетъ быть оторванъ? Но кто же будетъ судить о доброкачественности семьи? Неужели свѣденіямъ, собраннымъ на скорую руку гимназическимъ начальствомъ, будетъ дано предпочтеніе передъ убѣжденіемъ благотворителя, основаннымъ на многолѣтнемъ опытѣ? Не странно ли, съ другой стороны, обуславливать пріемъ не личными свойствами мальчика, а свойствами его родителей или родственниковъ?.. Къ числу молодыхъ людей, которымъ „свойственно достиженіе извѣстныхъ степеней образованія“, циркуляръ относитъ тѣхъ, которые отличаются „выдающимися личными дарованіями“. И здѣсь опять возникаетъ тотъ же вопросъ: кто будетъ судить о наличности такихъ дарованій? Благотворитель, давно знакомый съ способностями мальчика, или гимназическое начальство, въ первый разъ его ви-

дащее и затрудняющееся даже допустить его къ приѣмному испытанію?

Громадная роль, отводимая „усмотрѣнію“ гимназическаго начальства, составляетъ вообще чуть ли не самую слабую сторону новыхъ правилъ. Мы можемъ сослаться, въ этомъ отношеніи, на мнѣніе газеты, которую никто не заподозритъ въ систематическомъ недоброжелательствѣ къ учебному вѣдомству. „Нельзя уберечься,—говорять „С.-Петербургскія Вѣдомости“,—отъ весьма естественнаго опасенія, что широкія полномочія, предоставляемыя начальству заведенія, поведутъ къ нареканіямъ въ произволъ. По настоящее время отказъ въ приѣмъ ученика мотивировался слабыми отмѣтками, полученными имъ на вступительномъ экзаменѣ; увольненіе оправдывалось такими же отмѣтками или предосудительнымъ поведеніемъ. Въ томъ и другомъ случаѣ, начальство заведенія опиралось на свое личное знакомство съ ученикомъ, имѣло передъ глазами данныя собственнаго опыта. Отнынѣ оно будетъ заранѣе предрѣшать, годенъ ли негоденъ ученикъ, еще не появившійся въ стѣнахъ заведенія, и увольнять тѣхъ, домашняя обстановка которыхъ окажется въ послѣдствіи несоотвѣтствующею педагогическимъ требованіямъ и желаніямъ. Ясно, что учебныя заведенія становятся въ новое, весьма щекотливое положеніе передъ мѣстнымъ обществомъ, которое въ массѣ даже плохо понимаетъ, какія могутъ быть разумныя педагогическія требованія отъ домашней обстановки ученика. Легко предвидѣть случаи, когда щекотливость положенія, создаваемого для гимназій и прогимназій, особенно въ провинціальныхъ городахъ, причинитъ учебному вѣдомству прискорбныя затрудненія и, быть можетъ, обнаружить, что учебно-административная система наша еще не стоитъ на такой идеальной высотѣ, чтобы можно было, не смущаясь, обременять ее идеальными задачами“. Мы расходимся съ „С.-Петербургскими Вѣдомостями“ только въ томъ, что не видимъ въ новой задачѣ „учебно-административной системы“ ровно ничего идеальнаго; во всемъ другомъ намъ остается лишь согласиться съ газетой, съ которой мы обыкновенно ни въ чемъ не согласны. Если гимназическое начальство будетъ отказывать въ приѣмѣ всѣмъ безъ исключенія дѣтямъ, не удовлетворяющимъ извѣстному сословному и имущественному цензу, то не проще ли было бы прямо установить этотъ цензъ, ничего не предоставляя произволу? Если, наоборотъ, изъ общаго правила будутъ допускаться исключенія, то не предвидится конца подозрѣніямъ, неудовольствіямъ и жалобамъ. Отношеніе гимназій къ обществу, къ семьѣ, и теперь уже оставляющее желать слишкомъ многого, сдѣлается еще болѣе ненормальнымъ. Этого мало: произволъ, однажды разрѣшенный, можетъ проникнуть и въ такую область, которая прямо

и открыто не затронута циркуляромъ. Доступъ въ гимназіи можетъ оказаться закрытымъ или до крайности затрудненнымъ не только для дѣтей, принадлежащихъ къ бѣднѣйшимъ классамъ общества, но и для дѣтей, родители которыхъ, по мнѣнію гимназическаго начальства, недостаточно благонамѣренны или благонадежны. Вооруженное своего рода слѣдственной властью, начальство можетъ признать, что „семейный бытъ“ родителей, желающихъ опредѣлить своего сына въ гимназію или прогимназію, не представляетъ достаточной гарантіи въ „благонавіи“ мальчика, и безапелляціонно отказать въ его приѣмѣ. Основаніемъ къ такому выводу будутъ служить данныя, одному начальству извѣстныя и имъ однимъ проводимыя; отсюда невозможность защиты, немислимой безъ точнаго, опредѣленнаго обвиненія. Отказъ въ приѣмѣ, конечно, не останется тайной, особенно въ провинціи, и послужитъ поводомъ къ толкамъ, почти всегда обоюдострымъ, т.-е. невыгоднымъ и для лица, получившаго отказъ, и для гимназическаго начальства. Допустимъ, наконецъ, что семья, къ которой принадлежитъ мальчикъ, дѣйствительно учить его скорѣе дурному, чѣмъ хорошему; и этимъ не оправдывается еще отказъ въ приѣмѣ. Правильно устроенная школа должна не только продолжать дѣло, удачно начатое семьей — она должна пополнять пробѣлы, поправлять ошибки семейнаго воспитанія. Справедливо ли отказывать въ ея помощи именно тѣмъ, кто нуждается въ ней всего больше? Если дурное вліяніе семьи, въ концѣ концовъ, побѣдитъ хорошее вліяніе школы, послѣдняя въ правѣ удалить ученика; но зачѣмъ же предрѣшать результаты опыта, зачѣмъ предполагать заранѣе его неудачу? Не значить ли это выдавать школъ *testimonium paupertatis*? Еслибы передъ мальчикомъ, дурно воспитываемымъ въ семьѣ, закрывались двери *въсѣхъ* казенныхъ учебныхъ заведеній, это было бы до крайности жестоко, но, по меньшей мѣрѣ, логично; но гдѣ же основаніе закрывать передъ нимъ *только* двери гимназій и прогимназій? Развѣ реальнымъ, городскимъ, ремесленнымъ училищамъ легче бороться съ дурными наклонностями своихъ учениковъ? Не отъ гимназій ли, наоборотъ, слѣдуетъ ожидать наибольшаго и наилучшаго воздѣйствія на умственное и нравственное развитіе учениковъ?

Произволъ въ приѣмѣ учениковъ, несмотря на всѣ его неудобства, все-таки менѣе опасенъ, чѣмъ произволъ въ ихъ увольненіи. Убѣдившись въ недоступности гимназій, родители могутъ своевременно направить своихъ дѣтей на другую, менѣе широкую дорогу; разочарованіе и утрата будутъ при этомъ все же не столь велики, какъ при перерывѣ начатаго уже гимназическаго ученія. Если ученикъ, выходящій изъ гимназій до окончанія курса, долженъ уносить съ собою „сознаніе безплодно потеряннаго времени“, то справедливо

ли присуждать его къ этой потерѣ только потому, что измѣнились взгляды, господствовавшіе при допущеніи его въ гимназію? Явно дурное поведеніе, безнадежно неуспѣшное ученіе безъ того уже служить поводомъ къ увольненію изъ гимназій; но если нѣтъ на лицо ни того, ни другого, гдѣ же основаніе торопиться исключеніемъ ученика? Не ясно ли, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ однимъ изъ тѣхъ случаевъ, къ которымъ особенно приложимо правило о неприсвоеніи закону обратнаго дѣйствія, обратной силы?.. Чтò можетъ выйти на практикѣ изъ примѣненія новыхъ правилъ, объ этомъ можно судить по толкованіямъ, уже теперь появляющимся въ извѣстныхъ органахъ печати. Вопреки тексту министерскаго циркуляра, обуславливающаго увольненіе изъ гимназій „вреднымъ вліяніемъ на товарищей“, достаточнымъ поводомъ къ этой мѣрѣ признается перемѣна къ худшему въ семейномъ положеніи ученика (напримѣръ, смерть его отца), хотя бы дѣйствіе ея на самого ученика и оставалось еще въ области предположеній. И дѣйствительно, для такого пониманія новыхъ правилъ требуется только одно условіе, слишкомъ часто встрѣчающееся въ нашей жизни — избытокъ усердія, готовность пересолить, чтобы не быть обвиненнымъ въ недосолѣ. Опасность пересола усиливается тѣмъ, что на начальство гимназій и прогимназій возлагается отвѣтственность за „благонадежность“ учениковъ не только во время бытности ихъ въ заведеніи, но и *впослѣдствіи*. Какимъ бы вліяніемъ ни подвергся, по выходѣ изъ гимназій, бывший гимназистъ, его грѣхи всегда могутъ быть поставлены въ пассивъ его бывшаго начальства. Понятно, насколько этимъ затруднено соблюденіе должной мѣры въ осторожности и предусмотрительности.

Мы упомянули въ началѣ нашихъ замѣтокъ объ официальномъ опроверженіи слуховъ, касавшихся предстоящаго уменьшенія числа гимназій и прогимназій. Не знаемъ, какъ совмѣстить съ этимъ опроверженіемъ слѣдующее мѣсто въ циркулярѣ попечителя одесскаго учебнаго округа: „еслибы, за точнымъ примѣненіемъ новыхъ правилъ, дѣйствіе коихъ не должно быть ослабляемо даже и въ виду особыхъ условій, въ какихъ находятся нѣкоторыя заведенія, оказалось, что учебное заведеніе не можетъ представлять достаточнаго контингента учащихся, директора должны немедленно представить свои соображенія о закрытіи параллельныхъ отдѣленій и даже *объ умѣстности преобразованія заведенія въ училище иного типа, болѣе отвечающее потребностямъ мѣстной жизни*“. Итакъ, исполнители министерскаго распоряженія прямо усматриваютъ въ немъ возможный поводъ къ уменьшенію числа гимназій и прогимназій. И дѣйствительно, значительное суженіе сферы, изъ которой пополнялись до сихъ поръ гимназій и прогимназій, не можетъ не привести къ закрытію нѣко-

торыхъ изъ нихъ, что, въ свою очередь, еще болѣе затруднить доступъ къ гимназическому образованію. Съ какой бы точки зрѣнія, слѣдовательно, мы ни разсматривали министерское распоряженіе, оно представляется такимъ существеннымъ измѣненіемъ прежняго законнаго порядка, которое едва ли можетъ вступить въ окончательную силу безъ передѣлки гимназическаго устава. Правила 18-го іюня имѣютъ, по всей вѣроятности, только временной характеръ; нужно надѣяться, что законодательному ихъ пересмотру будетъ предшествовать повѣрка, основанная на указаніяхъ опыта. Въ противномъ случаѣ, придется согласиться съ выводомъ, къ которому министерское распоряженіе привело „Недѣлю“: „существовавшее прежде стремленіе сдѣлать общее образованіе доступнымъ всѣмъ замѣняется стремленіемъ прямо противоположнымъ“.

Уменьшеніе числа лицъ, для которыхъ открыты гимназіи и прогимназіи, а вслѣдъ затѣмъ и уменьшеніе числа самихъ гимназій и прогимназій, неизбѣжно приведетъ къ уменьшенію числа учащихся въ университетахъ. Уравновѣсить или смягчить, въ этомъ отношеніи, дѣйствіе новыхъ порядковъ можно было бы развѣ однимъ путемъ: облегченіемъ трудностей гимназическаго ученія. Тогда убыль поступающихъ въ гимназіи вознаграждалась бы, до нѣкоторой степени, болѣе, сравнительно, процентомъ оканчивающихъ гимназическій курсъ и получающихъ доступъ къ высшему образованію. Ничто, къ сожалѣнію, не указываетъ на близость или возможность подобной перемены—а между тѣмъ на пути къ высшему образованію воздвигаются добавочныя преграды, непосредственнымъ результатомъ которыхъ теперь же должно явиться значительное сокращеніе числа студентовъ. Съ содержаніемъ новыхъ правилъ, регулирующихъ пріемъ въ университеты, наши читатели уже знакомы¹⁾; мы хотимъ только подчеркнуть тѣсную связь, соединяющую ихъ съ министерскимъ распоряженіемъ 18-го іюня. Преодолевъ всѣ затрудненія, сопряженныя съ вступленіемъ въ гимназію и съ прохожденіемъ полного гимназическаго курса, молодой человѣкъ все-таки не будетъ увѣренъ въ томъ, что для него откроются двери университета; онъ встрѣтится съ новымъ препятствіемъ, достаточнымъ для уничтоженія всего достигнутаго цѣною многолѣтнихъ усилій. И до сихъ поръ взносъ платы за ученіе оказывался, сплошь и рядомъ, непосильнымъ для студентовъ; что же будетъ теперь, когда она увеличена почти вдвое? На помощь бѣднымъ студентамъ приходили до сихъ поръ благо-

¹⁾ См. Общественную Хроникку въ предыдущей книжкѣ „Вѣстника Европы“.

творительныя общества, существующія при университетахъ; что, если дѣятельность послѣднихъ подвергнется такой же регламентаціи, какая введена, въ одесскомъ учебномъ округѣ, для благотворительныхъ обществъ, учрежденныхъ при гимназіяхъ? Чтб, если достойнымъ объектомъ поддержки будутъ признаны и здѣсь исключительно лица, имѣющія, такъ сказать, наслѣдственное право на образованіе? Многимъ ли молодымъ людямъ, не принадлежащимъ къ верхнимъ слоямъ общества, удастся пройти, въ такомъ случаѣ, сѣвось двойной фильтръ сословности и зажиточности?.. Намъ невольно приходитъ на память, по этому поводу, все написанное въ послѣдніа 5—6 лѣтъ противъ „форсированнаго, оранжерейнаго, парниковаго просвѣщенія“, противъ „казеннаго подстегиванія прогресса“, т.-е. противъ дарового или дешеваго высшаго образованія ¹⁾. Погрѣшили, въ этомъ отношеніи, въ особенности И. С. Аксаковъ, погрѣшили и нѣкоторые изъ такъ-называемыхъ „народниковъ“. Не однимъ сѣменамъ, брошеннымъ ихъ руками, принадлежать, безъ сомнѣнія, созерцаемые нами теперь всходы; но едва ли можно отрицать внутреннее родство между тѣми и другими. Высшее образованіе у насъ въ Россіи—растеніе нѣжное, съ которымъ нужно обращаться до крайности бережно; повредить ему не трудно—трудно, зато, поправить вредъ, однажды причиненный. Изъ какихъ бы мотивовъ ни исходили нападенія на излишнюю доступность университетскаго образованія, они слишкомъ легко могли найти отголосокъ, слишкомъ легко могли пасть на благодарную почву и усилить грозу, всегда готовую разразиться надъ вершинами нашей умственной жизни. Такъ, къ несчастію, и случилось; изъ нѣсколькихъ теченій, во многомъ различныхъ и даже противоположныхъ между собою, сложилась совокупность мѣръ, вполне благопріятныхъ только для одного изъ нихъ. „Народничество“ и сословность въ теоріи исключаютъ другъ друга—но въ данномъ случаѣ первое, само того не желая, сослужило службу послѣдней.

Если газетныя слухи о предстоящей организаціи высшаго женскаго образованія, какъ общаго, такъ и спеціально-медицинскаго, не лишены фактической подкладки, то весьма любопытно было бы знать, въ какой степени отразится и здѣсь стремленіе къ привилегированности высшаго образованія, къ сосредоточенію его въ средѣ небольшого меньшинства. Однимъ изъ средствъ къ достиженію этой цѣли должно служить, повидимому, требованіе аттестата зрѣлости, которымъ будетъ, какъ говорятъ, обусловлено вступленіе на высшіе женскіе курсы. Знаніе древнихъ языковъ, въ размѣрѣ гимназической программы, является уже само по себѣ не легко достижимымъ для

¹⁾ См. Общественную Хронику въ № 9-мъ „Вѣстн. Евр.“ за 1883 годъ.

большинства дѣвицъ, желающихъ получить высшее образованіе; но этимъ едва ли ограничатся помѣхи, съ которыми имъ придется считаться. Весьма можетъ быть, что путь къ образованію для женщинъ, какъ и для мужчинъ, будетъ ограниченъ уже въ самомъ началѣ, правилами въ родѣ тѣхъ, которыми регулированъ пріемъ въ мужскія гимназіи. Система „неотрыванія отъ среды“ получить, по всей вѣроятности, распространительное толкованіе, и высшее женское образованіе сдѣлается удѣломъ немногихъ избранныхъ. Какъ бы то ни было, уравниеніе условій, опредѣляющихъ доступъ къ высшему образованію, можетъ быть признано справедливымъ лишь при уравниеніи правъ, предоставляемыхъ образованіемъ. Если дѣвицы, вступающія на высшіе женскіе курсы, должны владѣть древними языками наравнѣ съ молодыми людьми, вступающими въ университетъ, то съ окончаніемъ ученія должны быть сопряжены, и тамъ, и тутъ, одни и тѣ же преимущества — а такъ какъ это мыслимо, въ настоящее время, лишь по отношенію къ врачебнымъ курсамъ, то къ нимъ однимъ, кажется, и слѣдовало бы примѣнить требованіе аттестата зрѣлости. Само собою разумѣется, что вступить въ силу это требованіе должно только тогда, когда изученіе древнихъ языковъ будетъ облегчено для дѣвицъ соотвѣтственной реформой женскихъ гимназій.

Менѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ правила о пріемѣ въ гимназіи и университеты, произвела другая, существенно важная, новость — можетъ быть потому, что она касается только предположенія, а не совершившагося факта. Мнѣніемъ государственнаго совѣта, Высочайше утвержденнымъ 12-го мая и опубликованнымъ въ концѣ іюля, оберъ-прокурору св. синода и министру народнаго просвѣщенія предоставлено внести въ государственный совѣтъ свои соображенія о томъ, „не представится ли болѣе удобнымъ сосредоточить дѣло развитія первоначальнаго народнаго образованія въ одномъ вѣдомствѣ, какъ для наилучшаго направленія сего дѣла по существу, такъ и въ видахъ наиболѣе цѣлесообразнаго и бережливаго употребленія средствъ государственнаго казначейства, могущихъ быть назначенными на потребности первоначальнаго народнаго образованія“. Въ нашемъ ближайшемъ прошедшемъ не трудно найти доказательства тому, что единство управленія и направленія — вовсе не *conditio sine qua non* для успѣшнаго хода учебнаго дѣла. Отсутствіе единства не помѣшало, въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ, широкому распространенію начальныхъ школъ и быстрому подъему уровня начального обученія. Было время, когда оно способствовало пополненію пробѣловъ средняго образованія; въ области высшаго образованія оно служило

до сихъ поръ охраной корпоративнаго устройства петербургской медицинской академіи. Затрудняя безусловное торжество той или другой крайней системы, предупреждая подведеніе всего и всѣхъ подъ одинъ произвольно выбранный знаменатель, оно поддерживаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, соревнованіе между различными силами, трудящимися на одномъ и томъ же поприщѣ, противодѣйствуетъ рутинѣ и застою. Тѣмъ не менѣе, сосредоточеніе начальнаго обученія въ рукахъ одного вѣдомства не могло бы вызвать особенно серьезныхъ возраженій, еслибы такимъ вѣдомствомъ должно было явиться министерство народнаго просвѣщенія. Прямое назначеніе этого министерства, какъ видно уже изъ самаго его названія—забота объ образованіи *народа*, *всего народа*, а не одного ничтожнаго меньшинства, для котораго доступно среднее и высшее образованіе. Изъять начальное обученіе *народа* изъ вѣденія министерства *народнаго* просвѣщенія, значило бы допустить явную *contradictio in adjecto*. Двадцатилѣтній опытъ доказалъ съ полной ясностью возможность совмѣстной дѣятельности министерства народнаго просвѣщенія и земства въ области начальной школы; именно этой дѣятельности, и только ей одной, начальная школа обязана расцвѣтомъ, до тѣхъ поръ небывалымъ. Весьма вѣроятно, однако, что инициатива въ возбужденіи вопроса о „сосредоточеніи“ принадлежитъ не министерству народнаго просвѣщенія, а духовному вѣдомству, и что рѣчь идетъ не о передачѣ церковно-приходскихъ училищъ въ вѣденіе инспекціи начальныхъ школъ, а, наоборотъ, о передачѣ министерскихъ и земскихъ начальныхъ школъ въ вѣденіе духовенства. Къ этому убѣжденію насъ приводитъ какъ общій ходъ событій, такъ и въ особенности исторія возобновленныхъ церковно-приходскихъ школъ. Онѣ были созданы внѣ обычнаго законодательнаго порядка, безъ всякаго участія свѣтскихъ учреждений; отличительной ихъ чертой служила и служить полнѣйшая замѣнотость, обособленность отъ свѣтской школы. Добровольнаго отреченія отъ этой замѣнотости, въ настоящую минуту, ожидать нельзя; возможнымъ остается только другой исходъ, прямо противоположный—т.-е. обращеніе всѣхъ свѣтскихъ начальныхъ школъ въ церковно-приходскія. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что это было бы крайне неблагоприятно для дѣла начальнаго обученія. Какъ *одно изъ орудій* народнаго образованія, церковно-приходская школа представляется весьма полезной и даже необходимой; какъ *единственный его носитель*, она не можетъ справиться съ своей задачей. Совершенно непримѣнима она вездѣ, гдѣ масса населенія или хотя бы нѣкоторая часть его не принадлежитъ къ православной церкви. Можно было бы, правда, поставить рядомъ съ православной церковно-приходской школой церковно-приходскую школу другихъ

исповѣдавій; но это, безъ сомнѣнія, не будетъ допущено ни по отношенію къ католикамъ, ни по отношенію къ лютеранамъ, ни, тѣмъ менѣе, по отношенію къ раскольникамъ, у которыхъ вовсе даже нѣтъ признаннаго правительствомъ духовенства. Въ православную церковную школу иновѣрное населеніе, за рѣдкими исключеніями, посылать своихъ дѣтей не станетъ; нужно будетъ учредить для него свѣтскую школу — и въ такомъ случаѣ единство направленія и управленія, изъ-за котораго предпринимается реформа, останется недостигнутымъ и недостижимымъ. Нѣтъ ничего опаснѣе раздвоенія политики, рѣзкаго различія между образомъ дѣйствій въ центрѣ и на окраинахъ государства — а такое различіе, при господствѣ церковно-приходской школы, при сосредоточеніи начальнаго обученія въ рукахъ духовенства, было бы неизбежно. Яснымъ доказательствомъ этому служатъ утвержденныя 17-го мая временныя правила управленія начальными училищами въ губерніяхъ остзейскихъ. Инспекціи и дирекціи народныхъ училищъ, т.-е. министерству народнаго просвѣщенія, подчинены здѣсь не только свѣтскія, но и церковныя школы, какъ православныя, такъ и евангелическо-лютеранскія. Въ такомъ подчиненіи нѣтъ ничего аномальнаго, пока министерству народнаго просвѣщенія принадлежитъ, во всей имперіи, главная руководящая роль по отношенію къ начальной школѣ; но оно сдѣлалось бы крайне страннымъ, разъ что свѣтская власть была бы совершенно устранена отъ заведенія народной школы въ центральныхъ губерніяхъ Россіи. Мы говорили, до сихъ поръ, о мѣстностяхъ, населенныхъ преимущественно не-православными; еще сложнѣе вопросъ объ иновѣрцахъ, проживающихъ среди православнаго населенія, и въ особенности вопросъ о раскольникахъ. Свѣтскихъ школъ, рядомъ съ церковно-приходскими, здѣсь не было бы вовсе, и не-православнымъ родителямъ оставался бы выборъ между полнымъ невѣжествомъ дѣтей и посылкою ихъ въ школу, гдѣ все располагало бы ихъ противъ отцовской вѣры. Такой порядокъ вещей не соответствовалъ бы самымъ элементарнымъ требованіямъ справедливости и государственной пользы.

„Наилучшее направленіе“ начальной школы обезпечивается гораздо больше раздѣленіемъ ея между нѣсколькими вѣдомствами, нежели сосредоточеніемъ ея въ одномъ изъ нихъ. Каждая категорія школъ старается теперь не отстать отъ другихъ, пользуется ихъ примѣромъ, заимствуетъ отъ нихъ все хорошее и цѣлесообразное. Въ церковно-приходской школѣ обращено особое вниманіе на преподаваніе церковно-славянскаго языка; если ей удастся создать, въ этомъ отношеніи, отлично выработанные приемы, свѣтская школа не затруднится усвоить ихъ себѣ, тѣмъ болѣе, что и она давно уже убѣдилась въ важности церковно-славянскаго чтенія. Церковно-приходская школа, съ своей

стороны, можетъ многому научиться у свѣтской, имѣющей преимущество опыта, сравнительной свободы въ выборѣ методовъ и учебныхъ пособій, а также болѣе продолжительнаго курса. Свѣтская школа болѣе доступна для наблюденія и контроля, а слѣдовательно и для усовершенствованія. Учителя и наблюдатели не образуютъ здѣсь одной корпораціи, всѣ члены которой болѣе или менѣе солидарны между собою и болѣе или менѣе убѣждены въ своей непогрѣшимости. Для инспекціи нѣтъ никакого повода все видѣть и все выставять въ розовомъ свѣтѣ, тѣмъ болѣе, что недостатки, ею не замѣченные или скрытые, могутъ быть обнаружены другими членами училищнаго совѣта. Какъ ни ограничено вліяніе земства и городовъ на начальную школу, оно достаточно велико, чтобы внушать имъ горячій интересъ къ дѣлу начального обученія и побуждать ихъ къ матеріальнымъ пожертвованіямъ въ его пользу. Ничего подобнаго нельзя сказать о церковно-приходскихъ школахъ. Съ городскимъ и земскимъ самоуправленіемъ онѣ совершенно разобщены; завѣдывающіе школами и надзирающіе за ними—товарищи, равноправные во всемъ остальномъ и принадлежащіе къ одному и тому же сословію. Слабыя стороны такого порядка сдѣлаются еще болѣе замѣтными, если церковно-приходскія школы поглотятъ собою всѣ другія и утратится возможность сравненія между школами различнаго типа и различныхъ вѣдомствъ.

Преобразование всѣхъ начальныхъ школъ въ церковно-приходскія было бы нежелательно даже въ такомъ случаѣ, еслибы внутреннее превосходство церковно-приходской школы передъ министерской и земской не подлежало никакому сомнѣнію. На самомъ дѣлѣ оно рѣшительно ничѣмъ не доказано; нѣтъ на лицо даже того, что французскіе юристы называютъ *un commencement de preuve*. Церковно-приходскія школы существуютъ слишкомъ недавно, чтобы могли выясниться вполне ихъ достоинства и недостатки; свѣденій о нихъ до крайности мало, достовѣрныхъ данныхъ—еще меньше. Для постороннихъ, безпристрастныхъ наблюдателей онѣ почти совершенно недоступны. Гораздо болѣе изслѣдована и гораздо болѣе открыта для изслѣдованія свѣтская начальная школа—но здѣсь мы встрѣчаемся съ препятствіемъ другого рода. Ея не хотятъ знать, не хотятъ видѣть въ настоящемъ ея свѣтѣ; ея случайныя погрѣшности возводятся на степень общаго правила, ея громадныя заслуги замалчиваются или подвергаются рѣшительному отрицанію. Намъ извѣстно множество случаевъ, въ которыхъ противники земской школы становились ревностными ея защитниками, какъ только знакомились съ нею поближе; но въ томъ-то и бѣда, что немногіе берутъ на себя трудъ такого знакомства. Оно сплошь и рядомъ признается излишнимъ;

предубѣжденіе заступаетъ мѣсто изученія, общее мѣсто или громкая фраза замѣняетъ собою точно провѣренные факты. Порицаніе свѣтской школы сдѣлалось модой, а слѣдовать модѣ весьма легко и удобно; она освобождаетъ отъ необходимости составить себѣ собственное мнѣніе. Вліяніе господствующихъ предразсудковъ проникаетъ даже въ такія сферы, отъ которыхъ можно было бы ожидать болѣе сдержанности. Вотъ чтѣ мы читаемъ въ отчетѣ о московскомъ съѣздѣ противораскольническихъ миссіонеровъ („Московскія Вѣдомости“, № 188): „Существовавшія и существующія доселѣ школы, чуждыя духа церковности и религіозно-просвѣтительнаго характера, отталкиваютъ отъ себя православный народъ, справедливо опасующійся отдавать своихъ дѣтей туда, гдѣ учатъ не церковной грамотѣ и не правиламъ христіанской нравственности, а заставляютъ выучивать разныя пѣсни и побасенки“. Возможны ли были бы такія огульныя сужденія о свѣтской школѣ, еслибы она была болѣе извѣстна ея судьямъ? Можно ли было бы увѣрять, что „народъ“ *опасается* отдавать дѣтей въ свѣтскую школу, еслибы наведена была, въ любой мѣстности, справка о переполненіи земскихъ школъ, о громадномъ наплывѣ учениковъ, объ усердіи крестьянскихъ обществъ, приходящихъ, въ дѣлѣ начального обученія, на помощь земству? Можно ли было бы говорить, что въ школѣ не учатъ церковной грамотѣ, еслибы не игнорировались всѣ официальные и неофициальные данныя о сдѣланномъ и дѣлаемомъ земскою школою для успѣшнаго изученія церковно-славянскаго языка? Въ каждой свѣтской школѣ есть законоучитель; какимъ же образомъ можно утверждать, что въ ней не учатъ правиламъ христіанской нравственности?.. *Ab uno disce omnes*; взгляды противораскольническихъ миссіонеровъ на свѣтскую школу могутъ служить образцомъ предубѣжденій, угрожающихъ ея самостоятельной жизни... Ужъ если вопросъ о „сосредоточеніи“ начального обученія поставленъ на очередь, то разрѣшенію его, во всякомъ случаѣ, необходимо было бы предпослать самое всестороннее изслѣдованіе начальной школы, какъ свѣтской, такъ и духовной—изслѣдованіе, къ участию въ которомъ были бы призваны и представители общества. Мы вполне убѣждены, что результаты такой *enquête*, произведенной спокойно, неторопливо, безъ предвзятой мысли, были бы какъ нельзя болѣе благопріятны для свѣтской начальной школы и устранили бы всякую мысль о поглощеніи ея школою церковно-приходской. „Сосредоточеніе“, можетъ быть, и оказалось бы желательнымъ, но только въ смыслѣ включенія церковно-приходскихъ школъ—и тѣмъ болѣе школъ грамотности—въ вѣдомство министерства народнаго просвѣщенія.

Еслибы можно еще было сомнѣваться въ томъ, насколько полезень вкладъ, внесенный земствомъ въ народную жизнь, насколько опасны перемѣны, направленные къ ограниченію дѣятельности земства, то всякое сомнѣніе по этому предмету было бы устранено закономъ 24-го апрѣля 1887 г., преобразовавшимъ сельскую медицинскую часть въ губерніяхъ витебской, минской, кіевской, волынской, подольской, виленской, ковенской и гродненской. Это—первый шагъ къ распространенію на губерніи не-земскія тѣхъ заботъ по охраненію народнаго здоровья, которыми уже около двадцати лѣтъ пользуется, въ большей или меньшей степени, земская Россія. Не будь у насъ земства, не была бы признана и до сихъ поръ необходимость правильнаго устройства сельской или народной медицины, не было бы указаній опыта насчетъ наилучшихъ средствъ къ достиженію этой цѣли. Подобно тому какъ основная мысль закона 24-го апрѣля почерпнута изъ земской дѣятельности, изъ того же источника неизбѣжно будутъ заимствованы и подробности исполненія. Ближайшее будущее покажетъ, найдется ли въ официально-организованной сельской медицинѣ столько живыхъ силъ, сколько обнаружила ихъ земская народная медицина. Утвердительно можно сказать только одно: еслибы положеніе о земскихъ учрежденіяхъ было введено въ сѣверо-западномъ и юго-западномъ краѣ одновременно съ центральными губерніями Россіи, западная полоса имперіи тратила бы уже теперь на народную медицину гораздо больше, чѣмъ сколько ассигнуется на то новымъ закономъ. Стоимость сельской медицины ни въ одной изъ западныхъ губерній не будетъ превышать 134 тысячъ рублей (минимумъ—66 тысячъ), между тѣмъ какъ въ губерніяхъ саратовской и самарской—вовсе не принадлежащихъ къ числу передовыхъ по устройству медицинской части — на эту часть расходовалось еще въ концѣ семидесятыхъ годовъ по 300 тысячъ рублей... Любопытно было бы знать, почему дѣйствіе новаго закона не распространено на губернію могилевскую? Ужъ не слѣдуетъ ли заключить отсюда, что въ этой губерніи предположено ввести, въ видѣ опыта, земскія учрежденія? Это былъ бы признакъ въ высшей степени утѣшительный.

Изъ числа другихъ законодательныхъ мѣръ, относящихся къ концу истекшаго законодательнаго періода, отмѣтимъ, прежде всего, повышеніе пошлины на заграничные паспорта съ пяти рублей до десяти (мнѣніе госуд. совѣта, Высочайше утвержденное 2-го іюня). Нельзя не порадоваться столь счастливому разрѣшенію вопроса, долго висѣвшаго черной тучей надъ нашимъ общественнымъ горизонтомъ¹⁾;

¹⁾ См. Внутреннее Обозрѣніе въ № 4 „Вѣстн. Европы“ за 1888 г. и въ № 5 за текущій годъ.

гора, въ данномъ случаѣ, родила мышь. Не меньшаго сочувствія заслуживаетъ другая мѣра, обновляющая нашу желѣзно-дорожную политику. Мнѣніемъ государственнаго совѣта, Высочайше утвержденнымъ 15-го іюня, признано, что правительству принадлежитъ руководительство дѣйствіями желѣзно-дорожныхъ обществъ по установленію тарифовъ на перевозку пассажировъ и грузовъ, съ цѣлью огражденія отъ ущерба казеннаго интереса, потребностей населенія и нуждъ промышленности и торговли. Вопросъ о правѣ законодательной власти регулировать желѣзно-дорожные тарифы принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые возникли еще въ такъ-называемой Барановской коммисіи и были главнымъ предметомъ полемики во время составленія и обсужденія проекта общаго желѣзно-дорожнаго устава. Тогдашнія усилія желѣзно-дорожныхъ обществъ не остались тщетными; постановленія проекта, вооружавшія правительство нѣкоторою властью по отношенію къ желѣзно-дорожнымъ тарифамъ, не вошли въ составъ устава, утвержденного 12-го іюня 1885 года. Только теперь истиннѣ удалось, наконецъ, восторжествовать надъ софизмами одностороннихъ защитниковъ желѣзно-дорожнаго полновластія. Центръ тяжести спора заключался въ томъ, что такое желѣзно-дорожные уставы: исключительно частные договоры, подлежащіе измѣненію не иначе какъ съ согласія обѣихъ договорившихся сторонъ (т.-е. правительства и общества), или — по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ своихъ отдѣлахъ — сепаратные законы, подлежащіе измѣненію по усмотрѣнію законодателя. Мы высказывались много разъ за послѣднее рѣшеніе вопроса, т.-е. за то, которое принято теперь законодательною властью, и можемъ, поэтому, ограничиться ссылкой на длинный рядъ обзрѣній, посвященныхъ этой темѣ ¹⁾. „Частные уставы, — говорили мы еще въ 1883 г., именно по поводу тарифнаго вопроса, — не могли облечь желѣзно-дорожныя общества правомъ *utendi et abutendi*, все болѣе и болѣе ограничиваемымъ, въ наше время, даже по отношенію къ частной собственности. Если съ самаго начала не было создано гарантіи противъ злоупотребленій, еще не обнаруженныхъ и не предусмотрѣнныхъ, то это не можетъ служить препятствіемъ къ установленію ея въ настоящее время, согласно съ указаніями опыта. Тарифныя нормы, опредѣленныя отдѣльными уставами, обезпечиваютъ общества лишь противъ произвольнаго, при нормальныхъ условіяхъ, пониженія провозной платы, но не освобождаютъ ихъ отъ правительственнаго контроля, направленнаго къ огражденію государственныхъ и частныхъ интересовъ“. Готовымъ органомъ для наблюденія за желѣзно-дорожными тарифами является учрежденный въ 1885 г. совѣтъ

¹⁾ „Вѣстникъ Европы“ 1883, №№ 5, 8, 9 и 10; 1885, № 9.

по желѣзно-дорожнымъ дѣламъ. Второй пунктъ закона 15-го іюня, предоставляющій министрамъ путей сообщенія и государственныхъ имуществъ, управляющему министерствомъ финансовъ и государственному контролеру войти въ ближайшее соображеніе вопроса о способахъ осуществленія правительственнаго надзора за желѣзно-дорожными тарифами, вовсе не упоминаетъ о желѣзно-дорожномъ совѣтѣ; но отсюда едва ли можно заключить, что онъ будетъ устраненъ отъ предварительнаго обсужденія вопроса и отъ дѣятельнаго участія въ проектируемомъ правительственномъ надзорѣ.



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го сентября 1887.

Австро-германскій союзъ и его значеніе. — Свиданіе императоровъ въ Гаштейнѣ. — Восточная политика Австріи, въ связи съ условіями союза двухъ имперій. — Причины разногласій между Вѣною и Берлиномъ по поводу балканскихъ дѣлъ. — Предпріятіе принца Кобургскаго въ Болгаріи. — Отношенія великихъ державъ къ болгарскимъ событіямъ. — Трудность практическихъ мѣръ для охраны берлинскаго трактата. — Проекты вышательства безъ оккупации. — Дѣло внутренняго примиренія во Франціи и въ Италіи.

Общее политическое положеніе замѣтно улучшилось въ послѣднее время, несмотря на то, что болгарскій вопросъ запутался еще больше. Не видно призрака войны между Германією и Францією; русско-германскія отношенія получили болѣе мягкій оттѣнокъ, и берлинскіе офиціозы обнаруживаютъ уже опять готовность поддерживать требованія Россіи на Востокѣ. Свиданіе императоровъ Франца-Иосифа и Вильгельма, состоявшееся въ Гаштейнѣ 6-го августа (25-го іюля), имѣло на этотъ разъ характеръ чисто-личной встрѣчи; политическіе переговоры не могли имѣть мѣста при отсутствіи руководящихъ министровъ обѣихъ имперій. Въ газетахъ повторялись старыя разсужденія о тѣсномъ австро-германскомъ союзѣ, который служитъ будто бы надежнымъ оплотомъ европейскаго мира; но очень немногіе придаютъ дѣйствительную важность этимъ обычнымъ дипломатическимъ фразамъ. Формальный союзъ Германіи съ Австро-Венгрією существуетъ ровно восемь лѣтъ (съ 15-го октября 1879 года), и однако нельзя сказать, чтобы въ этотъ періодъ времени Европа пользовалась

особеннымъ спокойствіемъ. Никогда еще натянутость международнаго положенія не чувствовалась въ такой степени, какъ съ конца прошлаго года, послѣ окончательнаго отдѣленія Россіи отъ союза двухъ сосѣднихъ державъ. Съ тѣхъ поръ какъ австро-германскій союзъ приобрѣлъ самостоятельное значеніе, европейскій миръ не имѣетъ никакихъ прочныхъ гарантій, и Германія находится въ постоянной тревогѣ, которая невольно сообщается другимъ государствамъ. Въ теченіе одного года перспектива войны съ Франціею два раза выступала на первый планъ, а между Россіею и Германіею установилась система глухого взаимнаго недовѣрія. Очевидно, тѣсная дружба между Вѣной и Берлиномъ остается безъ всякаго успокоительнаго вліянія на Европу. Не трудно объяснить причины этого факта. Австро-Венгрія сама по себѣ не можетъ играть дѣятельной роли въ европейской политикѣ; она, по необходимости, должна довольствоваться скромнымъ, но не безвыгоднымъ положеніемъ вѣрнаго спутника Германіи. Поставленная между побѣдоносною нѣмецкою имперіею, съ одной стороны, и двумя непріязненно-расположенными государствами—съ другой, раздѣленная внутри на три враждебные лагеря: мадьяръ, славянъ и нѣмцевъ, Австрія не имѣетъ предъ собою другого выбора, какъ только держаться неуклонно за Германію въ дѣлахъ международныхъ. Политика Берлина не приобрѣтаетъ особенной устойчивости и силы отъ тѣснаго сближенія съ монархіею Габсбурговъ; смыслъ этого союза для нѣмцевъ заключается только въ томъ, что свобода дѣйствій Россіи отчасти парализуется Австро-Венгріею. Но Европу мало беспокоятъ намѣренія и рѣшенія вѣнскаго кабинета; всякій понимаетъ, что Австрія не призвана самостоятельно разрѣшать великіе политическіе вопросы, стоящіе теперь на очереди. Спокойствіе Европы зависитъ отъ отношеній Германіи къ Франціи и Россіи, а вовсе не отъ большей или меньшей близости между Вѣною и Берлиномъ. Вотъ почему періодическія свиданія двухъ союзныхъ монарховъ въ Гаштейнѣ или въ Ишлѣ не могутъ имѣть того значенія, какое приписываютъ имъ офиціозные публицисты. Въ области самыхъ важныхъ европейскихъ интересовъ продолжаетъ господствовать неопредѣленность, которой нисколько не устраняетъ и не ослабляетъ австро-германская дружба.

Въ чемъ могутъ заключаться условія союза между Германіею и Австро-Венгріею? Въ какихъ случаяхъ можетъ вѣнскій кабинетъ рассчитывать на содѣйствіе и помощь Германіи? Входитъ ли, напримеръ, въ программу союза безусловная поддержка австрійскихъ плановъ на Балканскомъ полуостровѣ? Извѣстные всѣмъ факты говорятъ въ пользу отрицательнаго рѣшенія этого вопроса. Вспомнимъ, какъ отнеслись въ Берлинѣ къ болгарскому перевороту 9-го августа и къ

судьбѣ принца Баттенберга, въ паденіи австрофильскаго министерства въ Сербіи и къ попыткѣ австрійскаго кандидата, принца Кобургскаго, въ Болгаріи. Вѣнскія газеты неоднократно упрекали германскую политику въ чрезмѣрномъ пренебреженіи къ интересамъ и желаніямъ Австріи на Востока. Органы князя Бисмарка отвѣчали на эти упреки заявленіемъ, что Германія вовсе не обязана раздѣлять австрійскіе взгляды на балканскія дѣла и не имѣетъ никакого расчета спорить съ Россією изъ-за Болгаріи, тѣмъ болѣе, что послѣдняя не входитъ въ предѣлы законнаго австрійскаго вліянія. Въ томъ же смыслѣ высказался и самъ имперскій канцлеръ въ одной изъ своихъ январскихъ рѣчей по поводу септенната. Подобно тому, — говорилъ онъ, — какъ Германія не станетъ требовать содѣйствія Австріи въ возможныхъ спорахъ съ Францією, такъ же точно и Австрія не можетъ разсчитывать на германское участіе въ специальныхъ видахъ ея на полуостровѣ Балканскомъ. Нѣкоторые изъ берлинскихъ оффиціозовъ утверждали даже, что для Германіи совершенно безразлично, будетъ ли Боснія съ Герцеговиною принадлежать австрійцамъ, или нѣтъ; но по этому поводу сдѣлана была поправка, изъ которой можно было заключить, что нынѣшнія австрійскія владѣнія, въ полномъ ихъ составѣ, гарантируются Австріи въ силу существующаго австро-германскаго союза. Мы видимъ, что въ разное время берлинская дипломатія дѣйствуетъ различно на европейскомъ юго-востока: то она остается въ сторонѣ отъ событій, предоставляя дѣйствовать заинтересованнымъ державамъ — Россіи или Австріи; то она способствуетъ удаленію враждебнаго намъ принца Баттенберга и одобряетъ непріятную для австрійцевъ перемѣну министерства въ Сербіи; то опять возражаетъ противъ русскихъ предложеній въ Константинополѣ; то дѣлаетъ снова поворотъ въ сторону русской политики и выступаетъ рѣшительно противъ излюбленнаго австрійцами принца Кобургскаго. Въ Вѣнѣ не могутъ быть довольны такимъ поведеніемъ князя Бисмарка. „Что насъ наиболѣе огорчаетъ и что намъ приходится отмѣтить съ особеннымъ прискорбіемъ, — говоритъ вѣнская „*Neue Freie Presse*“, отъ 25-го августа, — это тотъ странный фактъ, что Германія и Австрія находятся теперь въ разныхъ лагеряхъ. Какъ тепло и краснорѣчиво превозносилось въ нѣмецкой печати значеніе австро-германскаго союза въ недавніе еще дни пребыванія императоровъ въ Гаштейнѣ; какъ горячо указывалось въ Берлинѣ, что Германія должна обращать вниманіе и на восточные интересы своего союзника! А между тѣмъ, едва только явилось обстоятельство, при которомъ могла бы обнаружиться твердая солидарность обѣихъ имперій на Востока, и онѣ тотчасъ отдѣлились одна отъ другой. Германія идетъ вмѣстѣ со своими естественными врагами — Францією и Россією, а Австрія —

съ Англією и Италією. Зрѣлище весьма неутѣшительное, какъ ни приучили насъ къ этому объясненію Бисмарка и отчасти Кальноки, относительно особыхъ точекъ зрѣнія, которыхъ придерживается каждый изъ союзниковъ въ области восточныхъ дѣлъ. Мы не особенно близко принимаемъ къ сердцу судьбу принца Кобургскаго, и мы были бы послѣдними, которые стали бы требовать вмѣшательства Австріи въ его пользу; но намъ прискорбно, что онъ даетъ поводъ къ тому, что союзная съ нами германская имперія съ полною настойчивостью поддерживаетъ русскую политику на Востокѣ. Чтѣ же означаютъ эти колебанія берлинской дипломатіи то въ ту, то въ другую сторону? Они доказываютъ какъ нельзя яснѣе, что Германія не связана никакими опредѣленными условіями по отношенію къ балканскимъ дѣламъ, и что въ отдѣльных случаяхъ она дѣйствуетъ такъ или иначе, смотря по обстоятельствамъ, независимо отъ соображеній о взглядахъ и желаніяхъ вѣнскаго кабинета. Австро-германскій союзъ, очевидно, не распространяется на восточную политику обѣихъ державъ. Чѣмъ же объяснить смѣлость и предприимчивость Австро-Венгрии въ дѣлахъ Балканскаго полуострова, если за этою монархією не стоитъ могущественная ея союзница, Германія? Такъ какъ трудно допустить, что расшатанная имперія Габсбурговъ дѣйствуетъ на собственный свой страхъ, рискуя даже навлечь на себя войну съ Россією, то невольно возникало подозрѣніе, что скрытая пружина австрійской политики находится все-таки въ Берлинѣ. И въ самомъ дѣлѣ, большинство русскихъ газетъ возлагаетъ на Германію и на князя Бисмарка отвѣтственность за всѣ предпріятія и намѣренія Австро-Венгрии по восточному вопросу; а видимое разногласіе между обоими союзными кабинетами принимается лишь за доказательство того, что насъ желаютъ ввести въ заблужденіе при помощи хитрой и тонкой интриги. Въ этой предполагаемой интригѣ все было условлено будто бы заранѣе: и кажущаяся противоположность дѣйствій, и даже недовольство вѣнской печати, и жалобы нѣмецкихъ либераловъ на дипломатію, поддерживающую русскія требованія, причемъ, въ концѣ концовъ, достигается-де истинная цѣль—усыпить энергію нашихъ государственныхъ дѣателей и патріотовъ, чтобы втихомолку подготовить австро-германское владычество въ балканскихъ земляхъ. Пришлось бы предположить, такимъ образомъ, что въ обширномъ политическомъ заговорѣ, задуманномъ будто бы въ Берлинѣ, участвуютъ не только дипломаты, но и газеты австрійскія и нѣмецкія, офиціозныя и независимыя; а такъ какъ князь Бисмаркъ не имѣетъ обыкновенія посвящать газетныхъ дѣателей въ свои политическіе планы, то остается сдѣлать выводъ, что вся эта грандіозная интрига существуетъ только въ воображеніи черезъ-чуръ проникательныхъ публицистовъ. Нельзя

вѣдь думать серьезно, что множество нѣмецкихъ и австрійскихъ газетъ сговорилось высказываться въ извѣстномъ духѣ и спорить между собою по поводу восточныхъ дѣлъ только для того, чтобы скрыть отъ Россіи дѣйствительное участіе Германіи во всѣхъ враждебныхъ намъ замыслахъ на Балканскомъ полуостровѣ. Никто не скажетъ, что, напримѣръ, „Neue Freie Presse“ жалуется на рѣзкія разногласія между Вѣною и Берлиномъ только для отвода глазъ, или что германская дипломатія, протестующая противъ незаконнаго занятія княжескаго престола принцемъ Кобургскимъ, содѣйствуетъ этимъ успѣху кандидатуры, выдвинутой и поддерживаемой Австро-Венгрією. Австрійская смѣлость объясняется гораздо проще. Австрія чувствуетъ себя обезпеченною отъ враждебныхъ рѣшеній и дѣйствій Россіи, такъ какъ союзъ съ Германією служитъ достаточною гарантією цѣлости и неприкосновенности австрійской территоріи. Полагаясь на сильную защиту отъ нападенія, Австрія можетъ пускаться въ ходъ свои дипломатическія и культурныя средства для мирнаго осуществленія такихъ предпріятій, которыя въ другое время считались бы рискованными; она проводитъ самостоятельную политику тамъ, гдѣ не затронуты прямыя германскіе интересы,—хотя бы эта политика совершенно не согласовалась съ дѣйствіями и заявленіями союзной нѣмецкой имперіи. Австро-германскій союзъ не связываетъ свободы дѣятельности Австріи на Востока, и вѣнскій кабинетъ широко пользуется этой свободой, подъ прикрытіемъ спасительныхъ союзныхъ гарантій. Германія не можетъ стѣснять Австро-Венгрію въ ея стремленіяхъ и замыслахъ на Востока, подобно тому какъ и Австрія не можетъ вѣшиваться въ отношенія Германіи къ Франціи. Обѣ стороны, участвующія въ союзѣ, сохраняютъ по крайней мѣрѣ внѣшнюю равноправность, хотя одной изъ нихъ фактически принадлежитъ безусловное преобладаніе. Что въ Вѣнѣ чрезвычайно дорожатъ мнѣніями Берлина и что каждый шагъ германской дипломатіи производитъ сильное впечатлѣніе въ Австріи—это можно было ясно видѣть изъ тревожныхъ разсужденій австрійскихъ газетъ по поводу неожиданнаго присоединенія Германіи къ протестамъ и требованіямъ Россіи по болгарскому вопросу. Появленіе принца Кобургскаго въ Болгаріи разединило двѣ державы, которыя считались болѣе солидарными и тѣснѣ связанными между собою, чѣмъ это было въ дѣйствительности. Невѣрныя представленія объ австро-германскомъ союзѣ должны были подвергнуться весьма существенной поправкѣ, къ великому разочарованію и неудовольствію австрійской публики и печати.

Роль принца Фердинанда, столь некстати соблазнившагося славою Баттенберга, имѣетъ въ себѣ много комическаго. Послѣ долгихъ колебаній, молодой нѣмецко-венгерскій принцъ рѣшился послѣдовать

призыву болгарскихъ правителей и, устроивъ себѣ придворный штатъ изъ нѣсколькихъ австрійскихъ франтовъ, въ сопровожденіи многочисленной прислуги и обильнаго багажа, отправился 9-го августа „инкогнито“ изъ Вѣны въ Болгарію. Въ вѣнскихъ газетахъ аккуратно сообщались извѣстія о томъ, какіе повара и лакеи наняты для принца, какіе сшиты для него блестящіе мундиры и сколько сундуковъ съ вещами взято имъ съ собою на всякій случай. Что именно побудило его отказаться отъ выраженного прежде желанія выжидать рѣшенія державъ въ замкѣ Эбенталь,—неизвѣстно; мотивъ могъ здѣсь быть самый простой—честолюбивая мечта внести свое имя на страницы исторіи, сдѣлаться распорядителемъ судебъ чужого народа,—мечта, которая не могла бы осуществиться вполне легальнымъ способомъ, въ виду категорическихъ возраженій Россіи и нѣкоторыхъ другихъ могущественныхъ государствъ. Перспектива царствованія, хотя и эфемернаго, увлекла салоннаго героя, и онъ пустился въ путь по направленію къ благодатной странѣ, нуждающейся въ иностранномъ принцѣ. Въ Виддинѣ, 11-го августа, онъ впервые увидѣлъ своихъ будущихъ подданныхъ, и оттуда же послалъ дипломатическое сообщеніе турецкому султану о своей рѣшимости занять вакантный болгарскій престолъ. Прибывъ на болгарскую территорію, онъ отдался въ руки людей, устроившихъ его избраніе, и среди искусственного шума официальныхъ встрѣчъ доѣхалъ 14-го, (2-го) августа, до древней болгарской столицы. Принявъ присягу въ собраніи болгарскихъ представителей, онъ облекся въ новый княжескій мундиръ и обнародовалъ широковъщательное воззваніе, гдѣ именуетъ себя „Фердинандомъ I, Божією милостью и волею народа“, и пр., согласно извѣстной наполеоновской формулѣ. Онъ говоритъ при этомъ и о вѣрности и любви народа, и о великомъ своемъ призваніи распорядиться этимъ народомъ, и о свободѣ и независимости страны,—все старыя и избитыя фразы, какъ будто слисанныя съ прокламаций различныхъ неудавшихся претендентовъ на власть. Принцъ упустилъ только изъ виду, что онъ попалъ въ такое княжество, которое не имѣетъ еще самостоятельнаго политическаго существованія и находится подъ законною опекою постороннихъ великихъ державъ. Два раза было сдѣлано принцу торжественное напоминаніе о специальныхъ обязательствахъ страны и ея правителей: при чтеніи перваго „воззванія къ народу“, 11-го августа, и при встрѣчѣ принца Фердинанда въ Софіи, 22-го числа, митрополитъ Климентъ указывалъ на необходимость сближенія съ Россією, освободившею болгаръ, и слова его не были приняты сочувственно ни приближенными принца, ни туземными патріотами. Заманчивая идея болгарской независимости кажется многимъ несогласною съ мыслью о восстановленіи русскаго

покровительства, и повидимому руссофильская партія мало популярна теперь въ Болгаріи. Принцъ раньше былъ въ Филиппополѣ, чѣмъ въ Софіи,—какъ бы для нагляднаго убѣжденія всѣхъ и каждого въ томъ, что бывшая Восточная Румелія окончательно соединилась съ княжествомъ, и что особое званіе генералъ-губернатора этой автономной провинціи осталось лишь пустымъ звукомъ. Принцъ Фердинандъ исполнялъ свою роль по установленной заранѣ программѣ; только въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ долженъ былъ отвѣчать на пріѣзды и произносить какія-либо рѣчи, онъ обнаруживалъ непониманіе своего положенія и полное незнаніе мѣстныхъ условій; онъ наивно выражалъ желаніе создать „идеальное и сильное, очень сильное государство“, давалъ совѣты благоразумія людямъ, которые въ нихъ не нуждались, и принималъ на себя видъ настоящаго „государя“, относящагося съ отеческою строгостью къ своимъ „подданнымъ“. Простодушный болгарскій народъ долженъ былъ съ недоумѣніемъ поглядывать на этого изнѣженнаго иностраннаго князька, котораго привезли почему-то изъ Вѣны, несмотря на протесты Турціи и другихъ великихъ державъ. Чтѣ онъ болгарамъ и чтѣ ему болгары? Онъ явился въ православную землю, какъ вѣрный и преданный сынъ католической церкви, съ благословенія римскаго папы, которое исходатайствовала ему набожная мать, герцогиня Клементина, дочь короля Луи-Филиппа. Въ Филиппополѣ поднятъ былъ папскій флагъ надъ костеломъ, когда епископъ служилъ молебенъ въ присутствіи принца. Молодой претендентъ считаетъ, вѣроятно, своею задачею приведеніе болгаръ въ лоно католичества; по крайней мѣрѣ, такія надежды высказываются болѣе или менѣе ясно сторонниками его въ австрійской печати. Религіозная цѣль соединялась бы тутъ съ политическою: порвалась бы одна изъ связей, скрѣпляющихъ болгарское населеніе съ Россіею, и княжество пользовалось бы заступничествомъ римскаго престола и покровительствомъ монархіи Габсбурговъ. Католическая пропаганда давно уже ведется въ Болгаріи весьма дѣятельно, при помощи учебныхъ, воспитательныхъ и благотворительныхъ учрежденій, которымъ нѣтъ почти никакого соотвѣтственнаго противовѣса со стороны православныхъ общинъ. Но если эта пропаганда приметъ оффиціальныя черты, если ее напишетъ на своемъ знамени какой-нибудь иноземный „калифъ на часъ“, то въ народѣ неизбѣжно скажется реакція, которая можетъ имѣть печальныя послѣдствія для самонадѣянныхъ реформаторовъ. Кромѣ католичества и знатнаго родства, принцъ Фердинандъ ничего за собою не имѣетъ, и чтѣ онъ можетъ изображать собою въ Болгаріи, во имя какого принципа и въ силу какого права онъ будетъ разыгрывать роль представителя болгарскаго народа передъ Евро-

пою—понять трудно. Чужой для болгаръ, не признанный европейскою дипломатіею, отвергнутый Россіею, Турціею и Германіею, онъ является дѣйствительно какимъ-то самозванцемъ, незаконно присвоившимъ себѣ титулъ болгарскаго князя, ибо этотъ титулъ можетъ принадлежать только лицу, избраніе котораго великимъ народнымъ собраніемъ утверждено Портою и всѣми державами, подписавшими берлинскій трактатъ. Игнорировать эти формальныя условія замѣщенія княжескаго престола могъ бы какой-нибудь болгарскій герой, единодушно поддерживаемый народомъ и имѣющій прочныя корни въ заслуженныхъ симпатіяхъ населенія; но чтобы любой пріѣзжій принцъ попиравъ ногами европейскіе трактаты и устраивался по своему въ вассальной области, недавно еще освобожденной отъ турецкаго владычества — это не имѣло бы просто никакого смысла. Ничто не оправдываетъ нарушенія формальныхъ правъ Европы и Турціи въ пользу принца Фердинанда Кобургскаго: это кандидатъ случайный, ничѣмъ не связанный съ Болгаріею, скорѣе навязанный народу, чѣмъ выбранный имъ сознательно. Болгары не знаютъ этого принца и едва ли могутъ сочувствовать его высocomѣрному аристократизму, его салоннымъ привычкамъ и вкусамъ, его австрійскимъ адъютантамъ и его католическимъ патерамъ. Личныя качества и достоинства его никому неизвѣстны; заслугъ у него еще нѣтъ. Ради чего же стали бы болгары добиваться назначенія именно этого принца, вопреки волѣ Россіи и другихъ великихъ державъ? Зачѣмъ нужно было бы мѣнять испытаннаго, популярнаго и признаннаго Европою князя Александра Баттенберга на какого-то безцвѣтнаго и претенціознаго юношу, если оба они одинаково нежелательны для Россіи? Мы не сомнѣваемся, что принцъ Фердинандъ будетъ вынужденъ въ скоромъ времени покинуть Болгарію, не столько вслѣдствіе протестовъ европейской дипломатіи, сколько въ силу невозможнаго и крайне жалкаго положенія его среди болгарскихъ партій, безъ твердой точки опоры въ народѣ и въ арміи. Это сказывается уже и теперь: регенты и министры, сдавшіе ему власть, уклонялись отъ дальнѣйшаго участія въ управленіи и предоставляли принцу самому выпутываться изъ критическихъ обстоятельствъ, въ какихъ очутился онъ въ незнакомой ему странѣ. Выдающіеся дѣятели княжества не хотѣли компрометировать себя службою при принцѣ, котораго они сами вызвали, но котораго въ душѣ не могутъ считать дѣйствительнымъ княземъ Болгаріи; они думали только помогать своими совѣтами тѣмъ второстепеннымъ лицамъ, которыхъ принцъ выберетъ въ министры. Только послѣ долгихъ и настоятельныхъ просьбъ принца, Стамбуловъ и его товарищи согласились взять въ свои руки бразды правленія. Юный „князь“, мечтающій объ „идеальномъ государствѣ“,

окажется лишь безсильнымъ маневреномъ въ рукахъ туземныхъ заправиль, и обстановка власти при такихъ условіяхъ не будетъ имѣть въ себѣ ничего заманчиваго. Самый строй жизни въ Софіи, скромныя потребности населенія, бѣдность культуры и интересовъ, отсутствіе соблазновъ и развлеченій, въ которыхъ привыкли жители европейскихъ столицъ, — все это можетъ только ускорить удаленіе изъ Болгаріи избалованнаго австрійскаго принца. Состоится ли это удаленіе добровольно или принудительно, во всякомъ случаѣ оно не долго заставитъ себя ждать.

Въ весьма щекотливомъ положеніи находятся теперь кабинеты, заинтересованные въ устраненіи болгарской неурядицы. Къ какимъ способамъ прибѣгнуть для дѣйствительной охраны берлинскаго трактата отъ произвольныхъ нарушеній? На другой же день послѣ отъѣзда принца Фердинанда изъ Вѣны, русское правительство разослало циркулярную ноту, отъ 29-го іюля (10-го августа), текстъ которой напечатанъ въ иностранныхъ газетахъ. Въ этой нотѣ, послѣ энергическаго указанія на незаконность избранія принца Кобургскаго и прибытія его въ Болгарію, выражена надежда, что правительства великихъ державъ „не потерпятъ такого явнаго нарушенія берлинскаго трактата“, и затѣмъ сказано слѣдующее: „Россія не можетъ оставаться единственнымъ стражемъ предписаній этого трактата, служащаго основою существующаго порядка, которому грозитъ совершенное паденіе“. Изъ этихъ словъ можно было заключить, что трактатъ, не охраняемый другими государствами, долженъ утратить обязательную силу и для Россіи. И въ самомъ дѣлѣ, если позволено посылать въ Болгарію князя, не одобреннаго ни Турціею, ни Европою, то мы могли бы съ своей стороны и въ свое время назначить туда русскаго кандидата, не справляясь также съ мнѣніями европейскихъ кабинетовъ. Если же мы воздержались отъ назначенія князя изъ Россіи и требовали возможно бѣльшей свободы выборовъ въ Болгаріи, то мы дѣлали это, конечно, не для того, чтобы князь былъ назначенъ изъ Вѣны и чтобы трактатъ былъ нарушенъ въ пользу Кобургскаго принца. Можно смотрѣть сквозъ пальцы на нарушенія трактатовъ, вызываемыя необходимостью, оправдываемыя естественнымъ ходомъ народной жизни; можно даже привѣтствовать такіе „совершившіеся факты“, въ которыхъ проявляются стремленія къ національному единству и которыми устраняются искусственныя преграды на пути свободнаго развитія страны, какъ это было при воссоединеніи княжества съ Восточною Румеліею въ сентябрѣ 1885 года; но теперь ничего подобнаго нѣтъ, и не было ни малѣйшаго повода предполагать, что нѣмекій принцъ непремѣнно нуженъ болгарамъ и что они не могутъ добыть князя иначе какъ путемъ прямого нару-

шенія трактатовъ. Все это признается вполне справедливымъ и основательнымъ; вопросъ только въ томъ, какія практическія мѣры необходимы для возстановленія нарушеннаго порядка и для защиты правъ заинтересованныхъ державъ. Оказывается, что тѣ мѣры, которыя могутъ быть приняты, ни къ чему не приведутъ, а мѣры дѣйствительныя не могутъ быть приняты при настоящихъ обстоятельствахъ, въ виду разногласій между европейскими кабинетами. На этомъ и строился весь планъ приверженцевъ Кобургской кандидатуры, и поэтому-то принцъ Фердинандъ рѣшился принять избраніе противъ воли Россіи. Принцъ обращался въ Петербургъ съ просьбою позволить ему лично узнать намѣренія русскаго правительства относительно Болгаріи; на это ему отвѣчено заявленіемъ о незаконности его выбора, какъ видно изъ упомянутой выше русской дипломатической ноты. Принцъ обращался съ такою же просьбою къ султану и также получилъ отрицательный отвѣтъ; и, тѣмъ не менѣе, его уговорили возсѣсть на княжескомъ престолѣ, такъ какъ иностраннаго вмѣшательства не будетъ. Многія австрійскія и нѣмецкія газеты доказывали ежедневно, что въ сущности принцу Фердинанду нечего бояться, что дѣло ограничится формальными возраженіями, на которыя можно не обращать вниманія. Вѣнская печать, даже офиціозная, выражала живое сочувствіе къ попыткѣ принца, хотя и не отрицала нѣкоторой неправильности его дѣйствій; но оптимистическое настроеніе тотчасъ исчезло, когда въ Австріи узнали о рѣзкомъ протестѣ Германіи. Въ сообщеніи „Сѣверо-германской Всеобщей Газеты“ отъ 16-го (4-го) августа высказано было весьма категорически, что „германская политика не можетъ одобрить“ того „усиленнаго нарушенія существующаго договорнаго права“, которое позволилъ себѣ принцъ Фердинандъ Кобургскій. „Тотъ фактъ,—добавляла газета,—что теперь ужъ третье лѣто какъ продолжаются незаконныя событія въ Болгаріи, подвергающія сомнѣнію спокойствіе и виды на миръ, поддержаніе которыхъ лежитъ близко къ сердцу всѣмъ великимъ державамъ,— не можетъ ни въ какомъ случаѣ пріобрѣсть болгарскому народу и его вождямъ сочувствія государствъ, озабоченныхъ сохраненіемъ мира“. Въ то же время стало извѣстно, что германскій посланникъ въ Константинополь безусловно поддерживаетъ русскую точку зрѣнія и что представитель имперіи въ княжествѣ, баронъ Тильманъ, получилъ приказаніе выѣхать немедленно изъ Софіи. Такъ же точно дѣйствуетъ и французское правительство, оспаривающее выборъ Кобурга, между прочимъ на томъ основаніи, что депутаты Восточной Румелии не имѣли права участвовать въ выборѣ болгарскаго князя. Австро-Венгрія, соглашаясь въ принципѣ, что принцъ не долженъ былъ принимать званіе князя безъ согласія державъ, не находитъ однако повода къ вмѣшатель-

ству и совѣтуетъ Портѣ предоставить болгаръ самимъ себѣ. Этотъ взглядъ раздѣляется также Англіею и особенно Италіею, во имя уваженія къ принципу національной свободы, который замѣшанъ будто бы въ дѣлѣ принца Кобургскаго. Среди этихъ дипломатическихъ споровъ принцъ Фердинандъ можетъ безнаказанно пребывать въ Софіи, въ качествѣ фактическаго князя Болгаріи. Изъ Константинополя было послано ему официальное извѣщеніе, что пребываніе его въ княжествѣ признается незаконнымъ, и эта депеша (никѣмъ, впрочемъ, не подписанная) не удостоилась даже отвѣта. Съ достойнымъ лучшимъ примѣненіемъ „мужествомъ“ выдерживаетъ принцъ всю эту дипломатическую и газетную бомбардировку; онъ хочетъ удержать въ рукахъ ускользящую отъ него тѣнь княжеской короны, упорно повторяя мажъ-магоновское: „j'y suis, j'y reste“. Такое оригинальное обстоятельство не было предусмотрено берлинскимъ трактатомъ. Какъ же выйти изъ этого страннаго положенія, обиднаго для великихъ державъ?

Теперь у насъ въ модѣ обвинять во всемъ коварныхъ друзей и скрытыхъ недруговъ; мы нападаемъ на Турцію за то, что она не рѣшается дѣйствовать энергично по нашимъ указаніямъ, и мы недовольны Германіею за то, что она ограничивается лишь пассивнымъ присоединеніемъ къ требованіямъ русской дипломатіи. Такъ какъ въ болгарскихъ дѣлахъ починъ долженъ по праву принадлежать Россіи, то естественно спросить: какой именно способъ дѣйствій предлагается нами и чтѣ думаемъ мы предпринять для охраны нашихъ интересовъ? Если вѣрить газетнымъ извѣстіямъ, Портѣ предложено было послать въ Болгарію чрезвычайнаго комиссара, въ сопровожденіи русскаго генерала, для возстановленія законнаго порядка и для устройства выборовъ въ новое народное собраніе, имѣющее выбрать князя. Называли даже генерала, который будто бы имѣлся при этомъ въ виду,—это бывшій военный министръ при князѣ Александрѣ, занимавшій постъ болгарскаго министра-президента въ эпоху упраздненія конституціи, въ маѣ 1881 года. Это газетное предположеніе кажется намъ мало правдоподобнымъ, такъ какъ едва ли было бы цѣлесообразно поручать задачу умиротворенія дѣятелю, заявившему себя противникомъ болгарскихъ народныхъ правъ. Но кто бы ни былъ назначенъ для исполненія этой деликатной миссіи въ Болгаріи, самый планъ долженъ былъ бы неизбѣжно привести къ полнѣйшей неудачѣ. Прибытіе въ княжество нѣсколькихъ сановниковъ—турецкихъ или русскихъ—было бы оставлено безъ вниманія болгарами и ихъ правителями; указанія и распоряженія комиссаровъ не были бы ни для кого обязательны, пока фактическая власть оставалась бы всецѣло въ прежнихъ рукахъ. Миссія генерала Каульбарса состоялась при

обстоятельствахъ несравненно болѣе благопріятныхъ, и однако она не имѣла успѣха. Столь же безрезультатнымъ оказался бы и другой проектъ, который, по слухамъ, предложенъ былъ ранѣе избранію принца Кобургскаго и не былъ тогда принятъ Портою: предполагалось назначить русскаго регента для приведенія въ порядокъ болгарскихъ дѣлъ и для подготовки избранія новаго князя. Подобные проекты имѣютъ смыслъ только въ томъ случаѣ, если исполненіе ихъ будетъ сопровождаться военнымъ занятіемъ княжества; но, насколько извѣстно, оккупация Болгаріи не входитъ въ намѣренія Россіи и еще менѣе можетъ она быть желательна для Турціи. Посылая своихъ комиссаровъ, неудача которыхъ можетъ быть предвидѣна заранѣе, Россія и Турція не могли бы избѣгнуть принудительныхъ военныхъ мѣръ, а Порта не имѣетъ никакого расчета тратиться на воинственныя усилія, отъ которыхъ она ничего выиграть не можетъ и которые возстановили бы противъ нея Австро-Венгрію, Англію и Италію. Болгарія фактически оторвана уже отъ Турціи, и верховныя права султана остаются только номинальными; даже условленная ежегодная дань не уплачивается княжествомъ, и Порта благоразумно не поднимаетъ объ этомъ вопроса, предпочитая жить въ мирѣ съ народомъ, который можетъ еще причинить ей много хлопотъ въ пограничныхъ турецкихъ провинціяхъ. Нѣтъ ничего легче какъ возбудить волненія въ болгарскомъ населеніи Македоніи, и Турція должна заботиться теперь о цѣлости своихъ оставшихся владѣній, а не хлопотать серьезно о какихъ-то номинальныхъ правахъ, не имѣющихъ для нея, въ сущности, никакой цѣны. Понятно поэтому, что Порта уклоняется отъ энергическихъ попытокъ и ограничивается полумѣрами для сохраненія своего дипломатическаго достоинства. Основательно ли при этихъ условіяхъ обвинять въ чемъ-либо Турцію? Еще меньше поводовъ имѣемъ мы для жалобъ на Германію; она одобряетъ рѣшительныя дѣйствія и, вѣроятно, не возражала бы противъ военной эвакуаціи со стороны Россіи. Не можемъ же мы требовать отъ нѣмцевъ, чтобы они взяли на себя задачу, лежащую естественно на насъ; достаточно, что они готовы поддерживать наши предложенія въ Константинополѣ и что они вполне раздѣляютъ нашъ взглядъ на предпріятіе принца Кобургскаго. Трудность практическаго разрѣшенія вопроса зависитъ не отъ доброй или злой воли отдѣльныхъ державъ, а отъ самой сущности дѣла. Нельзя достигнуть цѣли безъ помощи оккупаціи, а оккупация можетъ быть или турецкая, допускаемая берлинскимъ трактатомъ, или русская, не предусмотрѣнная послѣднимъ и могущая привести къ важнымъ европейскимъ замѣшательствамъ. Турецкая оккупация неосуществима потому, что ее ни за что не предпримутъ турки и что она одинаково невыгодна

и для Порты, и для Россіи; русская же оккупация не может состояться потому, что у насъ нѣтъ охоты предпринять ее и что она возбудитъ противодѣйствіе нѣсколькихъ великихъ державъ, съ которыми не стоитъ ссориться изъ-за княжеской кандидатуры въ Болгаріи. Есть полное основаніе думать, что среди самихъ болгаръ найдутся элементы, способные справиться съ наивными притязаніями австро-венгерскаго принца и закончить долгій періодъ внутреннихъ смутъ, давно уже надоѣвшихъ населенію страны и всей миролюбивой Европѣ.

Министерство Рувье серьезно принялось за трудное дѣло упорядоченія французскихъ финансовъ, разстроенныхъ чрезмѣрною щедростью затратъ на общепользныя сооруженія по грандіозному плану Фрейсінгъ и на военныя надобности по широкимъ планамъ генерала Буланжé. Министръ-президентъ, по своимъ прежнимъ занятіямъ и по своему происхожденію, является однимъ изъ лучшихъ представителей того предпримчиваго и трудолюбиваго коммерческаго класса, которому Франція въ значительной мѣрѣ обязана своимъ промышленнымъ богатствомъ и экономическимъ процвѣтаніемъ. Въ недавней рѣчи Рувье, произнесенной на банкетѣ парижскихъ ювелировъ и фабрикантовъ игрушекъ (18-го августа), подробно выяснена чисто-дѣловая программа министерства, которая сводится, главнымъ образомъ, къ соблюденію экономіи въ расходахъ, къ необходимымъ финансовымъ реформамъ и къ устраненію всякихъ ненужныхъ узко-партийныхъ счетовъ. Одинъ изъ распорядителей банкета напомнилъ, что званіе торговца не должно считаться обиднымъ среди республиканскихъ министровъ, такъ какъ многіе изъ нихъ—люди весьма скромнаго происхожденія: Гамбетта былъ сыномъ лавочника въ Кагорѣ, министръ народнаго просвѣщенія Спюллеръ происходитъ отъ ремесленниковъ и самъ министр-президентъ Рувье началъ свою карьеру въ бѣдности. Въ отвѣтъ на это напоминаніе, Рувье съ гордостью заявилъ, что указанные факты свидѣтельствуютъ о демократическомъ характерѣ правительства и служатъ ручательствомъ безусловной вѣрности министровъ республиканскимъ началамъ и традиціямъ. Рувье справедливо отвергаетъ узкую политику радикаловъ, озабоченныхъ исключительно интересами своей партіи и забывающихъ насущныя потребности страны изъ-за отвлеченныхъ доктринъ и безсодержательныхъ устарѣлыхъ формулъ. По замѣчанію Рувье, „отмѣна пошлинъ на съѣстные припасы была бы болѣе полезна для массы населенія, чѣмъ, напр., отдѣленіе церкви отъ государства“, о которомъ такъ много и часто говорится въ радикальной печати. „Республиканское правительство, достигшее зрѣлости,—продолжалъ министр,—

должно быть правительствомъ благосклоннымъ, а не правительствомъ борьбы. Мы должны привлечь обратно тѣхъ избирателей, которые въ 1885 году отдѣлились — если не отъ республики, то отъ республиканскаго большинства. Этихъ избирателей нужно завоевать политикою обдуманною и либеральною. Мы всѣ готовимся праздновать столѣтнюю годовщину 1789 года. Не чувствуете ли вы, какъ величественно и прекрасно было бы зрѣлище, даваемое нашею страной, еслибы мы могли явиться представителями цѣлой націи, всѣхъ французовъ, объединенныхъ на почвѣ республиканскихъ учреждений?”

Полемика по поводу этой министерской рѣчи не прекратилась еще понинѣ въ большинствѣ французскихъ газетъ. Для многихъ кажется чѣмъ-то новымъ и смѣлымъ это обращеніе ко всѣмъ вообще партіямъ, не исключая и консервативныхъ, которыя въ послѣдніе годы держались совершенно въ сторонѣ отъ политической жизни во Франціи. Благодаря примирительному направленію умѣренныхъ республиканцевъ, отъ имени которыхъ говорилъ Рувье, стало замѣчаться оживленіе въ лагерѣ монархистовъ и консерваторовъ; многіе изъ нихъ выступаютъ изъ своей прежней пассивной роли и рѣшаются принять болѣе дѣятельное участіе въ общественныхъ дѣлахъ, примыкая, по крайней мѣрѣ формально, къ республикѣ.

Потребность внутренняго примиренія чувствуется и въ Италіи, гдѣ духовная власть Ватикана все еще составляетъ какое-то государство въ государствѣ. Идея компромисса между церковью и существующимъ политическимъ режимомъ, повидимому, серьезно занимаетъ папу Льва XIII; она ясно выражена имъ въ письмѣ къ новому статсъ-секретарю, кардиналу Рамполла (отъ 15-го іюля), который, въ свою очередь, развилъ эту мысль въ сообщеніи папскимъ нунціямъ отъ 23-го іюля. Ватиканъ готовъ отказаться отъ прежнихъ притязаній на территорію бывшей церковной области; онъ согласенъ довольствоваться сохраненіемъ за собою города Рима, какъ средоточія католической церкви. Еще одинъ шагъ, и можно будетъ ограничиться однимъ Ватиканомъ, съ окружающею его мѣстностью, такъ какъ, очевидно, не можетъ быть и рѣчи объ отказѣ итальянскаго королевства отъ исторической и съ трудомъ вновь завоеванной столицы. Дѣло соглашенія значительно облегчается тѣмъ обстоятельствомъ, что дѣятели національной борьбы, приведшей къ единству Италіи, постепенно сходятъ со сцены, и прежняя непримиримая вражда между папствомъ и Савойскою династіею все болѣе удаляется въ область исторіи. Недавно еще, 29-го (17-го) іюля, скончался одинъ изъ передовыхъ бойцовъ объединенія, бывший до послѣдняго времени первымъ министромъ Италіи, Агостино Депретисъ. Обладая гибкимъ характеромъ и непреклонною настойчивостью, онъ удерживалъ въ

своихъ рукахъ власть при самыхъ трудныхъ условіяхъ; онъ пользовался парламентскими партіями, не разбирая вчерашнихъ противниковъ отъ старыхъ друзей, и съ большою ловкостью и съ безспорнымъ успѣхомъ управлялъ дѣлами страны почти непрерывно, въ теченіе одиннадцати лѣтъ (съ 1876 г.). Послѣ Мингетти, умершаго въ прошломъ году, Депретисъ былъ единственнымъ авторитетнымъ представителемъ стараго поколѣнія государственныхъ людей, создавшихъ единство Италіи. Мѣсто премьера занялъ теперь Криспи, талантливый ораторъ и публицистъ. Новое поколѣніе итальянскихъ политиковъ обнаружить, быть можетъ, больше готовности облегчить Ватикану примиреніе съ государственнымъ *status-quo*, чѣмъ это обнаруживали прежніе дѣятели, сподвижники Гарибальди и Виктора-Эммануила.



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го сентября 1887.

— *Дѣтскія игры, преимущественно русскія* (въ связи съ исторіей, этнографіей, педагогіей и гигиеной). *Е. А. Покровскаго*. Съ 105 рисунками. Москва, 1887.

Нѣсколько лѣтъ назадъ, авторъ настоящей книги издалъ сочиненіе: „Физическое воспитаніе дѣтей у разныхъ народовъ, преимущественно Россіи“, какъ матеріалы для медико-антропологическаго изслѣдованія, — такъ что новый его трудъ есть какъ бы продолженіе его прежней темы. Двѣ книги сходны и въ способѣ изложенія: это не столько самостоятельныя изысканія, сколько сопоставленіе матеріала, частію готоваго въ иностранныхъ изслѣдованіяхъ, частію собраннаго самимъ авторомъ. Въ настоящемъ случаѣ основныя теоретическія и историческія данныя авторъ извлекаетъ изъ иностранныхъ, особливо нѣмецкихъ изслѣдованій, какъ, напр.: „Allgemeines illustriertes Familienspielbuch“ Георгенса; „Das Kind in Brauch und Sitte der Völker“ Плюсса; „Die Seele des Kindes“ Прейера; „Die Jugendspiele“ Шребера; пользуется также указаніями Тэйлора, исторіей педагогики Шмидта, нѣкоторыми русскими изслѣдованіями по физиологіи и т. д. Этотъ общій теоретическій матеріалъ, какъ видимъ, не очень богатый, заключенъ въ сравнительно небольшомъ введеніи, а затѣмъ книга состоитъ въ описаніи игръ по различнымъ разрядамъ ихъ орудій и исполненія. Описаніе захватываетъ, по плану, очень широкую историческую область — отъ дѣтскихъ игръ древнихъ египтянъ до современныхъ игръ калмыцкихъ, грузинскихъ и т. п., причѣмъ всего больше мѣста отдано, конечно, простонароднымъ играмъ русскимъ. Теоретическія соображенія, собранныя авторомъ, представляютъ нѣсколько вѣрныхъ и полезныхъ замѣчаній, на которыя полезно было бы обратить вниманіе господамъ, держащимъ въ рукахъ

воспитаніе юншества. Таковы, напр., тѣ замѣчанія гигиеническія, на которыхъ особенно въ послѣдніе годы настаиваютъ всѣ разумные врачи и которыхъ до сихъ поръ не желаетъ знать господствующая школа. Г. Покровский въ сотый разъ говоритъ объ этомъ предметѣ. „Теперь не остается болѣе сомнѣнія въ томъ, что признаніе важности игръ, изученіе и своевременное приложеніе ихъ въ дѣлѣ воспитанія заслуживаетъ полнѣйшаго вниманія семействъ и общества, равно какъ тѣхъ государственныхъ людей и школъ, которые призваны къ участію въ воспитаніи дѣтей, которымъ дороги блага дѣтей и которые искренно желаютъ добра дѣтямъ своихъ согражданъ. Только всесторонне, сильно и хорошо развитой человѣкъ можетъ вполне исполнять свое назначеніе въ семьѣ и государствѣ, а первое и основное подготовленіе къ такой функціи человѣкъ получаетъ еще въ раннемъ возрастѣ и между прочимъ въ періодъ игръ... Что касается Россіи, то поощреніе развитія дѣтскихъ игръ въ ней особенно важно и желательно, такъ какъ, стремясь къ культурной жизни и для этого рано запирая своихъ дѣтей въ школы, русскіе родители и педагоги, благодаря суровому климату своей страны, по-неволѣ должны держать дѣтей своихъ въ этихъ школахъ слишкомъ подолгу,—а между тѣмъ, воздухъ въ нихъ почти всегда бываетъ нечистъ, особенно при недостаточномъ еще пониманіи у насъ важности вентиляціи и протекающей отсюда любви къ чистому воздуху... Наши городскія школы, особенно гимназіи, по правдѣ сказать, также много противодействуютъ дѣтскимъ играмъ и именно тѣмъ, что обыкновенно почти всецѣло отнимаютъ у ребенка время на школьныя занятія, не оставляя ему ни малѣйшаго досуга для игръ“ (стр. 43—44). Авторъ справедливо замѣчаетъ, что нашимъ городскимъ управленіямъ, тратившимъ иногда не мало денегъ на устройство публичныхъ садовъ, бульваровъ и т. п., слѣдовало бы позаботиться объ устройствѣ площадокъ и приспособленій для дѣтскихъ игръ.

Съ нѣкоторыми замѣчаніями автора можно не соглашаться. Онъ относится, напр., несовсѣмъ одобрительно о фрѣбелевскихъ играхъ и садахъ; но здѣсь весь вопросъ въ руководителяхъ: глупые люди. (а они встрѣчаются и между руководителями), конечно, легко могутъ впадать и впадаютъ въ педантическія безсмыслицы въ исполненіи этихъ игръ и дѣлаютъ ихъ скучными и бесплодными для дѣтей; но въ рукахъ разумныхъ фрѣбелевскій приѣмъ бываетъ и занимателенъ, и полезенъ, тѣмъ больше, что подобныя игры предназначаются для дѣтей такого возраста, гдѣ руководство во всякомъ случаѣ необходимо.

Относительно этнографическаго значенія дѣтскихъ игръ авторъ

замѣчаетъ: „характеръ народа безспорно кладетъ свой замѣтный отпечатокъ на весьма многихъ проявленіяхъ общественной и частной жизни людей. Этотъ характеръ, между прочимъ, сказывается и на дѣтскихъ играхъ, отражаясь въ нихъ тѣмъ рѣзче и отчетливѣе, чѣмъ дѣти играютъ съ болѣшимъ увлеченіемъ и непринужденностію, а вслѣдствіе того съ болѣшею свободою для проявленія своего національнаго характера“ и т. д. Приведа затѣмъ нѣсколько примѣровъ дѣтскихъ игръ, составляющихъ подражаніе дѣйствіямъ взрослыхъ, авторъ прибавляетъ: „на основаніи сказаннаго *позволительно утверждать*, что характеръ и жизнь народа кладутъ свой замѣтный отпечатокъ на дѣтскихъ играхъ“ (стр. 18—19). Не только „позволительно“, но необходимо, и этнографическое изслѣдованіе дѣтскихъ игръ именно должно было бы указать эту связь болѣе, чѣмъ дѣлаетъ это г. Покровский. Многія игры представляютъ только простое развлеченіе въ соединеніи съ физическимъ упражненіемъ, при пособіи тѣхъ средствъ, какія находятся подъ рукою по условіямъ климата и природы, и ихъ чисто этнографическое значеніе можетъ быть иногда безразлично: одно и то же игорное приспособленіе можетъ существовать у разныхъ народовъ безъ всякаго этнографическаго соотношенія, просто въ силу общечеловѣческихъ свойствъ дѣтской природы; но съ другой стороны, вліяніе быта—вочевого, охотничьяго, земледѣльческаго, городскаго, фабричнаго, и т. д., и т. д., сообщаетъ играмъ особенный мѣстный, бытовой, племенной, слѣдовательно этнографическій типъ, и изслѣдованіе ихъ въ этомъ отношеніи могло бы быть исполнено большого интереса. Трудъ г. Покровскаго почти только — описательный, причемъ матеріалъ собранъ довольно случайно (напр., послѣ египтянъ и грековъ, объ играхъ новыхъ европейскихъ народовъ упоминается обыкновенно очень мало). Между тѣмъ этнографическій интересъ вопроса состоялъ бы, кромѣ собранія матеріала, въ указаніи этихъ особенностей, какія являются слѣдствіемъ національнаго характера, народныхъ занятій и даже исторіи: кромѣ сходствъ, обнаружались бы и различія, именно этнографическія. Авторъ видѣлъ эту сторону дѣла (стр. 56), но не провелъ ее въ своемъ изслѣдованіи.

Предположивъ заняться изслѣдованіемъ этого предмета, авторъ, по его словамъ, пересмотрѣлъ, между прочимъ, русскіе сборники дѣтскихъ игръ „и съ ужасомъ убѣдился, что почти во всѣхъ нихъ, лишь за весьма малымъ исключеніемъ, русскихъ національныхъ игръ описано вообще чрезвычайно мало, а вмѣсто того описаны по преимуществу заимствованныя изъ иностранныхъ же книгъ нѣкоторыя, притомъ, какъ на бѣду, далеко не интересныя игры“. Онъ „призналъ

такой фактъ истинно и глубоко досаднымъ и обиднымъ для русскаго чувства“ и предпринялъ свой сборникъ. Для этой цѣли онъ составилъ программу для собиранія свѣденій относительно русскіхъ игръ; при содѣйствіи московскаго Музея прикладныхъ знаній онъ имѣлъ возможность разослать эту программу по разнымъ угламъ Россіи, и вслѣдъ затѣмъ получилъ до двухъ тысячъ отвѣтовъ отъ учителей народныхъ училищъ, сельскихъ священниковъ, земскихъ дѣятелей и другихъ лицъ. Это и составило главнымъ образомъ его работу. Онъ привелъ полученныя такимъ образомъ свѣденія въ извѣстный порядокъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ привелъ для сравненія свѣденія объ играхъ другихъ народовъ, и сборникъ былъ готовъ.

Избранный путь собиранія былъ, конечно, наилучшій при условіи извѣстной полноты мѣстныхъ свѣденій. Сколько намъ казалось при чтеніи книги, эти мѣстныя свѣденія, однако, далеко не равномерны. Изъ многихъ губерній нѣтъ совсѣмъ никакихъ указаній—и губерній важныхъ, именно среднихъ, центрально-великорусскихъ, данныя которыхъ въ настоящемъ случаѣ были бы особенно важны; и слѣдовало бы обратить вниманіе на эту неравномѣрность и пополнить ее. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ надо было бы притомъ ближе указывать племенной характеръ населенія; напр., что значитъ кубанская, терская область, екатеринославская или херсонская губернія? Жители этихъ и подобныхъ краевъ бываютъ разныхъ племенъ. Далѣе, крупнымъ пробѣломъ сборника надо счесть то, что авторъ не указалъ (и, конечно, не воспользовался самымъ матеріаломъ) тѣхъ описаній народныхъ, и въ томъ числѣ дѣтскихъ игръ, какихъ не мало имѣется въ нашей этнографической литературѣ, особливо въ мѣстныхъ изданіяхъ. Сборники подобнаго рода, обнимающіе одинъ спеціальнѣйшій предметъ, должны по возможности исчерпывать свой матеріалъ, а этого далеко нельзя сказать о книгѣ г. Покровскаго. Мы не говоримъ, конечно, объ абсолютной полнотѣ: она бываетъ почти недостижима; но тотъ матеріалъ, какой есть на виду, хотя бы по этнографическимъ указателямъ г. Межова, долженъ былъ присутствовать въ спеціальному сборникѣ. Насколько намъ извѣстна эта литература, книга г. Покровскаго могла бы быть значительно из нея пополнена, точно также какъ могли бы быть пополнены описанія многихъ игръ отсутствующими теперь сообщеніями изъ среднихъ губерній. Напрасно также опущенъ авторомъ отдѣлъ дѣтскихъ пѣсенъ (сборникъ которыхъ сдѣланъ былъ, напр., г. Бессоновымъ), имѣющихъ отношеніе и къ играмъ, и т. д. Отмѣтимъ, наконецъ, нѣкоторыя неправильности языка. Мы не понимаемъ, что такое есть у автора „плѣба“ (стр. 37)? Если это есть извѣстное латинское слово „plebs“,

заимствованное черезъ французское рѣбе, то подобное самоуправство съ иностранными словами довольно ужасно. Мы не понимаемъ также слова „овручъ“ (стр. 84). Надо полагать, что это есть просто обручъ? и т. д.

— *Слово о Полку Игоревѣ*, какъ художественный памятникъ кievской дружинной Руси. Исслѣдованіе Е. Барсова. Москва, 1887, 2 тома.

Ни одинъ изъ памятниковъ древней русской литературы, кромѣ развѣ лѣтописи Нестора, не занималъ въ такой степени ученыхъ изслѣдователей, филологовъ и историковъ литературы, какъ „Слово о Полку Игоревѣ“, и положительно ни одинъ не привлекалъ столько писателей и поэтовъ, желавшихъ усвоить этотъ памятникъ новой русской литературѣ,—тѣмъ больше, что памятникъ былъ единственный въ своемъ родѣ и кромѣ него долго не знали въ старой русской письменности никакихъ иныхъ остатковъ народно-поэтического творчества.

„Слово о Полку Игоревѣ,—говоритъ нынѣшній его истолкователь,—есть памятникъ XII-го вѣка, сколько драгоценный по своему историческому и литературному значенію, столько замѣчательный и по своей странной исторической судьбѣ. Онъ сталъ извѣстенъ намъ съ конца XVIII-го вѣка, въ спискѣ единственномъ и притомъ неисправномъ. „Только необъяснимая случайность,—какъ замѣтилъ одинъ ученый,—выбросила намъ изъ бездны забвенія эту думу о походѣ Игоря“. Но скоро погибъ и этотъ единственный списокъ въ московскомъ пожарницѣ 1812 года, оставивъ насъ лишь при печатномъ изданіи, съ бездною недоразумѣній. Не лучшая судьба постигла и первыя работы по его изученію. Изучалъ его графъ Мусинъ-Пушкинъ, явившій его свѣту, но изъ его бумагъ едва уцѣлѣлъ до насъ одинъ небольшой листокъ. Изучалъ его одинъ изъ главныхъ редакторовъ 1-го изданія, А. Ѳ. Малиновскій, но и отъ его работъ найдены лишь незначительныя остатки. Изучалъ его профессоръ Тимковскій, и извѣстно даже, что только три слова въ текстѣ затрудняли его, но и его работы пропали также безслѣдно. Наконецъ даже и самые оттиски перваго изданія, въ большинствѣ своихъ экземпляровъ, сгорѣли вмѣстѣ съ своимъ оригиналомъ и въ настоящее время представляютъ большую библиографическую рѣдкость. Не даромъ Вальтеръ Скоттъ, прочитавъ этотъ памятникъ, въ одномъ изъ писемъ къ графу Орлову выражалъ удивленіе, что русскіе такъ мало умѣютъ понимать и цѣнить свои

лучшія произведенія".—Зато, когда самый памятникъ погибъ безвозвратно, онъ сталъ предметомъ самаго внимательнаго и любящаго изученія; масса изданій, комментаріевъ, переводовъ тянется длиннымъ рядомъ съ первыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія и продолжается до нынѣ. Фатально было то, что первые издатели, въ рукахъ которыхъ оказался памятникъ, были по времени слишкомъ плохіе археологи не только для того, чтобы понять этотъ памятникъ, но даже чтобы сѣмъ правильно прочесть его. До новѣйшихъ изыскателей, которые способны были подвергнуть его правильному изслѣдованію, памятникъ дошелъ только въ первомъ неумѣломъ изданіи, въ которомъ въ сущности нельзя было ручаться ни за одну правильно прочитанную фразу, — и неизвѣстно было, на комъ лежитъ вина множества темныхъ мѣстъ этого текста, на самой ли рукописи, которая была его плохой копіей древняго оригинала, или на первыхъ издателяхъ, которые не сѣмъ прочесть ее. Множество комментаторовъ, болѣе или менѣе знающихъ или не знающихъ, принялось за истолкованіе текста, и до сихъ поръ накопилась масса разнорѣчивыхъ объясненій съ цѣлью добиться правильнаго чтенія и перевода памятника, котораго отдѣльныя, повидимому правильно сохранившіяся, мѣста поражали дѣйствительно необычайной архаической красотою.

Г. Барсовъ, извѣстный множествомъ своихъ работъ по русской старинѣ и народной поэзіи, уже нѣсколько лѣтъ назадъ предпринялъ свои изслѣдованія объ этомъ памятникѣ, которыя появлялись въ журналахъ (между прочимъ и въ „Вѣстникѣ Европы“) и въ специальныхъ ученыхъ изданіяхъ. Мы имѣемъ теперь передъ собой систематическій сводъ его изысканій, гдѣ онъ предположилъ исчерпать все до нынѣ сдѣланныя толкованія текста и подвергнуть его новому критическому осмотру. Въ первомъ томѣ, послѣ общаго введенія объ идеѣ и формѣ „Слова“, г. Барсовъ даетъ обширную библиографію изданій, переводовъ, замѣчаній о памятникѣ на русскомъ языкѣ, на разныхъ славянскихъ нарѣчіяхъ и на языкахъ иностранныхъ; затѣмъ очередь литературы „Слова“ научно-критической, переводной, педагогической, популярной и т. д. Далѣе, идетъ рядъ отдѣльныхъ трактатовъ, гдѣ г. Барсовъ разбираетъ „Слово о Полку Игоревѣ“ какъ выраженіе поэтической школы кievской дружинной Руси, какъ историческую повѣсть, разбираетъ его въ отношеніи къ предполагаемымъ иѣсиямъ Бояновымъ, къ „богатырскимъ словамъ“, къ позднѣйшимъ повѣстямъ; указываетъ воспроизведенія Слова въ новѣйшемъ искусствѣ—въ гравюрѣ, въ живописи и музыкѣ. Во второмъ томѣ помѣщено три отдѣльныхъ трактата. Первый посвященъ обзору „Слова“ въ его цѣломъ и въ частяхъ: это—подробное изложеніе памятника съ непрерывнымъ ком-

ментаріемъ ко всѣмъ чертамъ его содержанія. Второй трактатъ: „новѣйшій скептицизмъ въ отношеніи къ тексту Слова“, говоритъ о новѣйшихъ теоріяхъ, которыя для объясненія памятника находили нужнымъ предположить въ немъ существованіе постороннихъ вставокъ или пропусковъ и т. п.; начинателемъ этихъ теорій былъ въ особенности г. Потебня, за которымъ послѣдовали и другіе. Наконецъ третій обширный трактатъ посвященъ палеографической критикѣ „Слова“, причемъ г. Барсовъ пересматриваетъ всѣ тѣ мѣста памятника, которыя представляются испорченными или недостаточно ясными и которымъ онъ даетъ свое толкованіе, приводя потомъ всѣ другія, сдѣланныя до сихъ поръ, гипотезы для ихъ объясненія. Въ настоящемъ изданіи недостаетъ еще подробной лексикологіи „Слова“, на которую авторъ уже дѣлаетъ ссылки въ палеографической критикѣ памятника.

Таково содержаніе книги г. Барсова. Этотъ трудъ исполняется имъ съ такою любовью, какую рѣдко можно встрѣтить у самыхъ ревностныхъ любителей нашей старины; авторъ не только цѣнитъ въ „Словѣ“ замѣчательный остатокъ нашей древности,—онъ восторгается имъ такъ, какъ могъ бы восторгаться читатель какимъ-нибудь возвышеннымъ произведеніемъ современнаго художества, въ которомъ находилъ бы выраженными свои самыя душевныя мысли и идеалы; отношеніе г. Барсова къ древнему памятнику можно бы сравнить развѣ съ преклоненіемъ англичанина передъ Шекспиромъ, нѣмца передъ Гёте или француза передъ Викторомъ Гюго. Приступая во второй части своего изслѣдованія къ изложенію „Слова“, авторъ говоритъ, напримѣръ: „сдѣлать это тѣмъ необходимѣе, что „Слово“ слишкомъ глубоко по своему смыслу и въ высшей степени художественно по своей образности. Это то же, что живописная картина гениальнаго художника: чѣмъ больше ее изучаешь, тѣмъ больше ею плѣняешься“. По его мнѣнію, гдѣ является недостатокъ пониманія, тамъ недостаетъ только должнаго изученія. Всѣ существующіе переводы, по мнѣнію г. Барсова, крайне безцвѣтны, всѣ комментаріи безхарактерны; такимъ образомъ памятникъ, составляющій „гениальное и глубокое творческое произведеніе кievской Руси“, остается въ сущности до сихъ поръ мало понятъ, и главною причиною этого непониманія было, по мнѣнію автора, то, что до сихъ поръ не умѣли, какъ должно, уразумѣть его цѣльнаго художественнаго смысла. Правда, въ той формѣ, въ какой онъ дошелъ до насъ, есть отдѣльныя мѣста испорченныя, но успѣхи филологіи и палеографіи все больше помогаютъ разяснять эти темныя мѣста, и нужны только еще большія усилія критики, чтобы достигнуть возможно полнаго уразумѣнія памятника.

Величайшее негодованіе г. Барсова возбуждаютъ мнѣнія тѣхъ изъ новѣйшихъ критиковъ, которые считаютъ испорченной самую послѣдовательность текста и предполагаютъ, что онъ былъ различнымъ образомъ искаженъ переписчиками, сдѣлавшими пропуски или внесенными постороннія вставки, или даже переплетчиками, спутавшими самыя листы. Г. Барсовъ возстаетъ противъ подобнаго предположенія какъ противъ настоящаго оскорбленія святыни: думать такъ могутъ только тѣ, кто не умѣетъ выникнуть въ художественное строеніе этого гениальнаго произведенія и прилагаетъ къ нему только узкія требованія прозаической послѣдовательности; но „Слово“ не есть лѣтописный разсказъ,—авторъ его писалъ о событіяхъ, слишкомъ близкихъ современникамъ, и полетъ его фантазіи не былъ связанъ тѣми соображеніями, какія представляются позднему читателю. „Слово“ надо понимать въ условіяхъ времени и въ условіяхъ тогдашняго поэтическаго творчества и надо помнить, что мы имѣемъ передъ собой художественное созданіе, и тогда оно представится именно цѣльнымъ и законченнымъ, не нуждающимся ни въ какихъ прибавкахъ, перестановкахъ и исключеніяхъ. Въ этомъ взглядѣ, проходящемъ черезъ все изслѣдованіе г. Барсова, можетъ быть большая доля правды. Къ сожалѣнію, порча памятника, оставшагося единственнымъ въ своемъ родѣ, не подлежитъ никакому сомнѣнію. Самъ г. Барсовъ, положившій много труда на истолкованіе его темныхъ мѣстъ, долженъ былъ не разъ сознаваться въ трудности добиться смысла въ нѣкоторыхъ подобныхъ мѣстахъ, и напр. замѣчаетъ однажды съ отчаяніемъ: „мѣсто это одно изъ самыхъ труднѣйшихъ; оно всегда было крестомъ для умовъ и до нынѣ служить поношеніемъ для толковниковъ“ (II, стр. 290). Если такъ, то возможно ли слишкомъ сурово относиться къ тѣмъ толкователямъ, которымъ приходила мысль о порчѣ текста или вставками глоссаторовъ, или пропусками невнимательныхъ переписчиковъ. Что и то и другое было совершенно возможно, это извѣстно всѣмъ, кто имѣлъ дѣло со старыми рукописями: нѣтъ произведенія, существующаго въ нѣсколькихъ спискахъ, гдѣ бы эти списки не представляли болѣе или менѣе важныхъ варіантовъ; и если эти произведенія ходили по рукописямъ нѣсколько столѣтій, то варіанты иной разъ такъ далеко отступаютъ отъ перваго оригинала, что изслѣдователямъ памятника приходится принимать для него нѣсколько такъ-называемыхъ „редакцій“. Списокъ, по которому извѣстно „Слово о Полку Игоревѣ“, относятъ съ большими вѣроятіями къ XVI-му вѣку: вѣроятно ли, чтобы съ конца XII-го вѣка, къ которому надо отнести возникновеніе памятника, и до XVI-го столѣтія онъ имѣлъ привилегію остаться неприкосновеннымъ въ своемъ

первоначальномъ видѣ?—Но понятно, конечно, что такіе эксперименты, какіе стали совершать надъ „Словомъ“ гг. Прозоровскій и Андреевскій, не заслуживаютъ названія критики и составляютъ произвольную, безплодную и безвкусную фантазію.

Г. Барсовъ негодуешь и на мысль г. Всеволода Миллера—искать родства той русской школы, въ которой возникло „Слово“, съ болгарскимъ литературнымъ преданіемъ; но опять исключительность нашего памятника такова, что историкъ литературы по-неволѣ ищетъ въ условіяхъ старой письменности какихъ-либо опоръ для истолкованія произведенія, которое не имѣетъ ни впереди себя какихъ-нибудь antecedentовъ, ни послѣ, какихъ-нибудь литературныхъ отголосковъ. Кіевскій періодъ нашей древней литературы, безъ всякаго сомнѣнія, утратилъ очень многое изъ своихъ памятниковъ: трудно думать, чтобы открылось впредь что-нибудь новое и важное изъ этой эпохи, что разъяснило бы намъ ея полный объемъ и развитіе,—слѣдовательно, гипотезѣ все еще остается много мѣста. По всей вѣроятности, такимъ гипотезамъ не положить конца и настоящее изслѣдованіе; но трудъ г. Барсова во всякомъ случаѣ займетъ почетное мѣсто въ ряду изслѣдованій знаменитаго памятника, какъ по своей основной мысли, такъ и по критикѣ предшествующей литературы предмета и наконецъ по многимъ счастливымъ объясненіямъ текста, которыя дались, конечно, только вслѣдствіе упорныхъ и внимательныхъ поисковъ. Между изслѣдованіями нашей старой литературы найдется не много трудовъ, исполненныхъ съ такимъ вниманіемъ и съ такою любовью.—А. П.

— *К. Головинъ*, Сельская община въ литературѣ и дѣйствительности. С.-Петербургъ, 1887.

Вмѣстѣ съ книгой г. Головина передъ нами лежитъ другая, посвященная тому же предмету, но во многихъ отношеніяхъ прямо противоположная первой. Мы имѣемъ въ виду заключительную часть обширнаго изслѣдованія г. Кейслера („Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Russland“), о которомъ скоро будетъ представленъ подробный отчетъ въ нашемъ журналѣ. Г. Кейслеръ—нелицепріятный свидѣтель, не принадлежащій ни къ какой партіи; г. Головинъ—сторона, направляющая всѣ свои усилія къ заранѣе намѣченному рѣшенію. Основательное, глубокое изученіе предмета, одинаковое освѣще-

ніе всѣхъ его составныхъ частей, осторожное взвѣшиваніе чужихъ мнѣній, тщательная мотивировка собственныхъ выводовъ—во всемъ этомъ г. Кейслеръ далеко превосходитъ г. Головина. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. Установивъ, съ помощью немногихъ, наскоро подобранныхъ фактовъ, „полное отсутствіе у крестьянъ заботливости, рассчитанной на болѣе или менѣе продолжительное время“, полное, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, отсутствіе улучшеній, даже такихъ, которыя требовали бы только физическаго труда, г. Головинъ, ни мало не колеблясь, приписываетъ это явленіе „поземельной неустойчивости“, свойственной общинному землевладѣнію. Не такъ поступаетъ г. Кейслеръ. Онъ перечисляетъ пять главныхъ условий, отъ которыхъ зависитъ производство сельско-хозяйственныхъ улучшеній: объективную необходимость лучшаго хозяйства; пониманіе этой необходимости; знаніе способовъ и путей, ведущихъ къ цѣли; рѣшимость разстаться съ рутинной; обладаніе потребными для того средствами,—и, разбирая отдѣльно каждое изъ этихъ условий, приходитъ къ заключенію, что въ нашей крестьянской средѣ соединеніе ихъ встрѣчается до сихъ поръ крайне рѣдко. За симъ, очевидно, не можетъ быть и рѣчи о причинной связи между общиннымъ землевладѣніемъ и отсутствіемъ улучшеній. Сравнивая хозяйство крестьянъ-общинниковъ и крестьянъ-подворныхъ владѣльцевъ, г. Головинъ упускаетъ изъ виду цѣлую массу характеристическихъ данныхъ, какъ нельзя лучше разработанныхъ г. Кейслеромъ. Мы говоримъ о земско-статистическихъ изслѣдованіяхъ губерній черниговской и полтавской, обнаружившихъ такое положеніе крестьянскаго подворнаго хозяйства, которое не всегда доходитъ даже до средняго уровня мѣстностей съ общиннымъ землевладѣніемъ. Подъ паромъ остается здѣсь сплошь и рядомъ не одна треть пахатной земли, а только одна четверть; одно и то же поле два года сряду засѣвается яровымъ хлѣбомъ, т.-е. допускается такое истощеніе почвы, которому, при общинномъ землевладѣніи, легко могла бы воспротивиться община. Ссылаясь на западныя губерніи, г. Головинъ совершенно игнорируетъ выгодныя условія, отличающія ихъ отъ губерній великорусскихъ; достаточно указать на то, что въ литовской области, по официальнымъ даннымъ, выкупные платежи составляютъ 3 руб. 93 к. съ душевого участка, въ бѣлорусской (не считая смоленской губерніи)—3 р. 90 к., между тѣмъ какъ въ центральной земледѣльческой полосѣ они доходятъ (при меньшемъ количествѣ земли)—до 6 руб. 41 коп., въ московской промышленной—до 6 руб. 88 коп. Еще менѣе удачно указаніе г. Головина на препятствія, встрѣчаемыя, при общинномъ землевладѣніи, развитіемъ садоводства. Въ „Трудахъ Вольно-Экономическаго Общества“ можно найти подробныя свѣдѣнія о томъ, насколько садоводство совмѣ-

стимо съ общиннымъ землевладѣніемъ ¹⁾. Изъ того же источника г. Головинъ могъ бы узнать, что распространенію травосѣянія мѣшаютъ не общинные порядки, а многія другія, существенно-важныя обстоятельства, изъ которыхъ главное—уменьшеніе, на первое время, хлѣбныхъ запасовъ—было подробно разобрано покойнымъ К. Д. Кавелинымъ еще въ 1880 г., при составленіи имъ проекта перехода отъ трехполья къ многополью. Произвольные выводы, поспѣшныя обобщенія попадаютъ у г. Головина весьма часто. Признавая затруднительность вывоза удобренья на дальнія десятины, онъ все-таки рѣшается утверждать, что болѣе правильному распредѣленію удобренья мѣшаетъ *единственно* желаніе крестьянъ избѣжать лишняго труда. Ему не случилось видѣть, чтобы школа содержалась на счетъ волости; ergo—крестьянскія школы всегда содержатся на счетъ общества. Ему случилось слышать, какъ гласные изъ крестьянъ ходатайствуютъ въ земскомъ собраніи о пособіи школѣ, открытой на крестьянскія средства; ergo—„сваливаніе расходовъ на земство служить, конечно, главнымъ стимуломъ къ размноженію школъ грамотности“. Разсуждая такимъ образомъ, можно доказать все что угодно — но доказать, безъ сомнѣнія, только самому себѣ и своимъ единомышленникамъ. Немало у г. Головина и противорѣчій, иногда совершенно очевидныхъ. На стр. 153-ой онъ относится иронически къ „просвѣщенному содѣйствію волостныхъ писарей“, безъ котораго не обходится не только правительственная, но и земская (будто бы?) статистика — а на стр. 163 онъ подчеркиваетъ авторитетность официальныхъ свѣдѣній, идущихъ, между прочимъ, отъ волостныхъ старшинъ, т.-е. отъ тѣхъ же „просвѣщенныхъ“ волостныхъ писарей. На стр. 211 мы читаемъ, что „крестьянскій міръ часто приходится оберегать отъ него самого, или, по крайней мѣрѣ, отъ самозванныхъ его представителей“—а на страницѣ 214-й насъ увѣряютъ, что „если мірскіе порядки будутъ упразднены самими крестьянами“, то это докажетъ „несоотвѣтствіе ихъ потребностямъ народной жизни“. Въ этомъ случаѣ, значить, незачѣмъ „оберегать міръ отъ него самого“, незачѣмъ опасаться давленія со стороны „самозванныхъ его представителей“?.. На стр. 22-ой авторъ признаетъ, что почти всѣ дѣла, которыя вѣдаетъ сельскій сходъ, имѣютъ самую тѣсную связь съ общиннымъ хозяйствомъ, и что тождество интересовъ крестьянъ-домохозяевъ возникаетъ не изъ одной только совмѣстной жизни, но, главнымъ образомъ, изъ общаго владѣнія мірскою землею,—а на стр. 33-ей онъ утверждаетъ, что крестьянское самоуправленіе можетъ одинаково

¹⁾ См., напр., сельско-хозяйственное обозрѣніе въ № 9 „Трудовъ“ за 1886 г. и статью г. Соболевскаго въ № 5 того же года.

хорошо или дурно идти какъ при общинномъ, такъ и при подворномъ владѣніи... До крайности странно встрѣчать въ книгѣ, претендующей на серьезность, положенія въ родѣ слѣдующаго (стр. 182): „какъ бы распространенъ ни былъ сервитутъ, онъ всегда носитъ на себѣ исключительный характеръ, является не въ качествѣ общаго юридическаго института, а какъ частный случай, ограничивающій коренное право владѣнія“. Почему сервитутъ, установленный закономъ, какъ необходимое послѣдствіе данныхъ условій (напр. право проѣзда или водопоя, предусмотрѣнное ст. 449, 450 и 451 нашего свода), не можетъ считаться „общимъ юридическимъ институтомъ“ — это остается тайной г. Головина.

Посмотримъ теперь, къ какимъ результатамъ приходитъ авторъ. Общія выводы г. Головина мало гармонируютъ съ содержаніемъ и направлениемъ его книги. Ее можно сравнить съ обвинительной рѣчью, которая начиналась бы взведеніемъ на подсудимаго самыхъ тяжкихъ преступленій, а заканчивалась бы предложеніемъ подвергнуть его краткосрочному тюремному заключенію. Общинное владѣніе является у г. Головина главнымъ источникомъ золь, отъ которыхъ страдаетъ наше крестьянство. Отсюда только одинъ шагъ до рекомендаціи крайнихъ мѣръ, искореняющихъ зло — но передъ этимъ шагомъ авторъ отступаетъ. Неумѣренный въ критикѣ, онъ является осторожнымъ и сдержаннымъ, какъ только переходитъ въ область практическихъ мѣропріятій. Это его безспорная заслуга, и г. Кейслеръ совершенно правъ, называя г. Головина самымъ *разсудительнымъ* (besonnenste) противникомъ общиннаго землевладѣнія — но заслуга не такъ велика, какъ кажется съ перваго взгляда. Логическая послѣдовательность, отъ которой освободилъ себя г. Головинъ, можетъ быть соблюдена другими. Несоразмѣрность между преступленіемъ и наказаніемъ, допущенная прокуроромъ, можетъ быть устранена судьями; они могутъ принять послышки обвинительной рѣчи и безтрепетно вывести изъ нихъ заключеніе, устранившее прокурора и заставившее его впасть въ противорѣчіе съ самимъ собою. Прокуроръ отвѣчаетъ не только за требованіе, окончательно имъ предъявленное, но и за соображенія, на которыхъ оно построено; то же самое слѣдуетъ сказать и объ авторѣ. „Разсудительность“ послѣднихъ страницъ книги г. Головина не уравниваетъ „увлеченій“, допущенныхъ имъ въ остальныхъ частяхъ изслѣдованія.

Совокупность мѣръ, предлагаемыхъ г. Головинымъ, имѣетъ цѣлью „облегчить переходъ къ новому экономическому строю“, т.-е. къ личному землевладѣнію, воздвигаемому на развалинахъ общины. Круговая порука должна быть уничтожена; крестьянамъ должна быть дана свобода передвиженія, причемъ полученіе паспортовъ младшими

(совершеннолѣтними) членами семьи не должно зависѣть отъ согласія главы семейства; крестьянскіе дворы, во владѣніи которыхъ состоятъ не больше извѣстнаго минимальнаго количества земли (около 8 десятинъ), должны быть объявлены нераздѣльными; продажа крестьянскихъ дворовъ лицамъ крестьянскаго сословія должна быть разрѣшена, но подъ условіемъ согласія на то всѣхъ взрослыхъ членовъ семьи; каждому домохозяину или нѣсколькимъ домохозяевамъ въ совокупности должно быть предоставлено право требовать отвода надѣла къ однимъ мѣстамъ безъ предварительной очистки текущихъ повинностей и выкупной суммы, но съ тѣмъ, чтобы надѣлы отводились близъ окружной межи селенія, въ отдаленнѣйшей части его дачи. Раньше (стр. 49) г. Головинъ высказывается, повидимому, за недопущеніе отвода надѣловъ изъ мірской земли, когда нѣтъ свободныхъ душевыхъ участковъ, т.-е. за отмѣну „права на землю“ и за прекращеніе передѣловъ—но въ заключительной части книги онъ не повторяетъ этого требованія, котораго мы и не включаемъ въ его программу. Несмотря на сравнительную ея умѣренность, полное осуществленіе ея было бы настоящимъ бѣдствіемъ для Россіи. Выдѣлъ къ однимъ мѣстамъ, обязательный даже при невнесеніи выкупной суммы, подрывалъ бы самыя основанія общиннаго владѣнія, а разрѣшеніе продажи надѣловъ, безъ ограниченій относительно количества земли, могущей сосредоточиться. такимъ образомъ, въ однихъ рукахъ, повело бы къ быстрому обезземеленію однихъ, къ быстрому обогащенію другихъ, къ неправильному распредѣленію поземельной собственности. Въ связи съ ударами, наносимыми общинному землевладѣнію, въ связи съ новымъ ограниченіемъ семейныхъ раздѣловъ, предлагаемымъ въ послѣдней главѣ разбираемой нами книги, извратилось бы значеніе даже такой „либеральной“, повидимому, мѣры, какъ расширеніе личной свободы младшихъ членовъ семьи. Лишенные возможности получить земельный надѣлъ, но снабженные правомъ идти на всѣ четыре стороны, они увеличили бы собою массу пролетаріевъ... и дешевыхъ работниковъ въ помѣщичьихъ хозяйствахъ.—К. К.

— Древніе и современные софисты. Сочиненіе Т. Ф.-Брентано. Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. Спб. 1886.

Книга Функ-Брентано „Les sophistes grecs et les sophistes contemporains“ вышла еще въ 1879 году, а теперь изданъ авторомъ и второй томъ, посвященный почему-то „русскому читателю“ и озаглавленный: „Les sophistes allemands et les nihilistes russes“. Насколько авторъ подготовленъ къ обсужденію предмета, затронутого

въ послѣднемъ томѣ, особенно для насъ любопытномъ,—можно видѣть, напримѣръ, изъ упоминанія его о знаменитомъ російскомъ писателѣ Ширановѣ (Chirano), прозванномъ будто бы „русскимъ Расиномъ“ (стр. 272). Авторъ готовъ признать, что русская художественная литература доросла во многомъ до французской: „Достоевскій, Тургеневъ, Толстой не отличаются ни въ чемъ (?) отъ нашихъ писателей-реалистовъ... У Толстого и Достоевскаго есть страницы, которыя можно бы перенести въ произведенія Балзакъ или Золя: у Тургенева встрѣчаются главы, которыя могли бы быть подписаны его другомъ Флоберомъ“ (стр. 274). Оцѣнка нашихъ литературныхъ и общественныхъ движеній въ книгѣ Функъ-Брентано, а особенно разборъ „нигилизма“, его причинъ и послѣдствій—свидѣтельствуютъ о нѣкоторомъ легкомысліи ученаго автора и о маломъ знакомствѣ его съ тѣми вопросами, о которыхъ онъ взялся разсуждать. Эта же легкость мысли обнаруживается и въ книгѣ, переведенной г. Новицкимъ на русскій языкъ.

Функъ-Брентано разбираетъ ученія главныхъ греческихъ софистовъ для доказательства того, что эти философы далеко не заслуживаютъ пренебрежительной репутаціи, утвердившейся за ними въ позднѣйшей литературѣ, благодаря невѣрной оцѣнкѣ ихъ со стороны Платона и Аристотеля. Критическіе этюды, посвященные софистамъ и занимающіе почти половину книги (стр. 19—114), представляютъ мало самостоятельнаго; но они написаны бойко и легко. Основная мысль автора выражена въ началѣ сочиненія; она подкрѣпляется подробнымъ, хотя и поверхностнымъ и черезъ-чуръ придирчивымъ критическимъ изложеніемъ теорій „современныхъ англійскихъ софистовъ“—Милля и Спенсера, во второй части книги (стр. 124—252). Оказывается, что настоящую софистику надо искать въ современной философской наукѣ, претендующей на позитивный характеръ, и что научное мышленіе находится теперь вообще въ крайнемъ упадкѣ. „Дошло до того,—увѣряетъ Функъ-Брентано,—что мы усвоимъ громкій титулъ философскаго ученія первому встрѣчному, съ кропотливымъ трудомъ написанному сочиненію, лишь бы оно имѣло предметъ Бога, матерію, душу или человѣчество; мы поступаемъ какъ дѣти, воображающія, что путешествія Жюль Верна представляютъ настоящую, истинную науку. Это самый ясный признакъ нашего умственнаго изнеможенія“ (стр. 4). По мнѣнію автора, отдѣльные умы двигаютъ человѣческую мысль по непосредственному вдохновенію, независимо отъ тѣхъ или другихъ научныхъ методовъ, а большинству философовъ остается только усвоить и разработать великія ученія. „Уже послѣ того какъ великія ученія прослѣжены до самыхъ крайнихъ выводовъ, до разнообразнѣйшихъ ихъ примѣненій, съ не-

умолимою логикою и непоколебимою добросовѣстностью, изслѣдованіе этихъ ученій заканчивается, и мы открываемъ необходимыя данныя для новыхъ успѣховъ; таковъ смыслъ философскаго опыта“. Если на этомъ пути встрѣчаются намъ неясности, то это зависитъ отчасти „отъ нашего безсилія овладѣть произведеніями и открытіями величайшихъ гениевъ человѣчества“ (стр. 10). Въ числѣ „учениковъ-философовъ“ авторъ называетъ Локка, Спинозу и Лейбница, на томъ основаніи, что они видоизмѣнили ученіе Декарта. Но съ этой точки зрѣнія и Платонъ, и Аристотель были только „учениками-философами“, ибо первый пользовался теоріями Сократа, а второй — Платона; нѣтъ такого мыслителя, который не имѣлъ бы предшественниковъ и создавалъ бы свои идеи изъ самого себя, такъ что классификація автора является ни на чемъ не основанною. Функъ-Брентано одновременно вѣрить въ непогрѣшимость гениевъ и въ безсиліе средняго человѣческаго ума. „Если намъ кажется, что въ ихъ системахъ есть противорѣчія,—объясняетъ онъ,—то въ этомъ отношеніи мы ошибаемся, это зависитъ отъ нашего неумѣнія понимать ихъ; сила и единство ихъ мысли ускользаютъ отъ нашего пониманія“. Затѣмъ берутся за работу софисты, которые ставятъ себѣ цѣлью—провѣрить ученія и выводы великихъ философовъ; эти-то истолкователи и критики порождаютъ умственный упадокъ и социальное зло. Софисты—носители того скептицизма, который, по общему убѣжденію, служитъ источникомъ всякихъ научныхъ успѣховъ, а по взгляду Брентано, подрываетъ основы человѣческаго мышленія, нарушая необходимую вѣру въ безошибочность гениальныхъ творцовъ. Софисты сами по себѣ—люди выдающіеся и заслуженные. „Чтобы преодолѣть трудности, разсѣять туманъ, пополнить пробѣлы, надо безпристрастно отнестись къ заблужденію, не довѣрять иллюзіямъ и въ то же время позволить себѣ увлекаться ими, утверждать и сомнѣваться, быть ученикомъ и идти противъ учителя на каждомъ шагѣ. Софистъ не ищетъ новаго начала, но пытается устранить затрудненія, представляемыя тѣмъ началомъ, которое онъ допускаетъ; не стремится къ новому рѣшенію, но желаетъ найти самыя твердыя основанія для рѣшенія, заимствуемаго имъ у того или другого философа... Большинство софистовъ были люди возвышеннаго ума; всѣ они избирали исходною для себя точкою величайшія открытія, важнѣйшіе успѣхи въ наукѣ мышленія и разрабатывали ихъ почти всегда съ глубокимъ убѣжденіемъ, часто увлекаясь до энтузіазма. Порипаніе не смущаетъ ихъ, опасность не останавливаетъ... Тѣмъ болѣе печальны послѣдствія ихъ дѣятельности. „Ужасно это могущество мышленія,—по словамъ Брентано,—которое поведетъ софистовъ... къ заблужденіямъ еще болѣе большимъ и низвергнетъ ихъ въ пропасть, край-

нимъ предѣломъ которой будетъ нигилизмъ, если только мракъ безразсуднаго мистицизма не поглотитъ послѣднихъ проблесковъ ихъ ума“ (стр. 13). Говоря проще, духъ критики и анализа приводитъ къ пропасти нигилизма; а потому для устраненія этой опасности нужно возстановить безраздѣльное владычество великихъ ученій и доктринъ, унаслѣдованныхъ отъ прошлаго. Какъ искоренить присущій намъ духъ скептицизма и анализа—этого не поясняетъ авторъ; онъ не указываетъ также, въ чемъ заключается критерій для правильной оцѣнки различныхъ философскихъ системъ, для отличія великихъ учителей отъ софистовъ, истинныхъ ученій отъ ложныхъ.. До сихъ поръ принято, напр., считать Канта геніальнымъ мыслителемъ; а нашъ смѣлый авторъ доказываетъ во второмъ томѣ, что и Кантъ—только софистъ. „Умъ поверхностный,—замѣчаетъ Brentano въ одномъ мѣстѣ,—считаетъ всѣхъ французовъ легкомысленными, потому что нѣкоторые, извѣстные ему, таковы“; но у насъ невольно является предположеніе, что онъ самъ только потому ставитъ Декарта неизмѣримо выше Канта, что тотъ былъ французъ, а послѣдній—нѣмецъ. Не по этой ли національной причинѣ онъ отыскиваетъ софистику въ Германіи и Англіи, обходя молчаніемъ философію и литературу Франціи? Такъ какъ французская философія находится не въ лучшемъ состояніи, чѣмъ англійская и нѣмецкая, то остается сдѣлать выводъ, что повсюду господствуетъ софистика и что она вполне завладѣла научнымъ мышленіемъ въ Европѣ; одинъ лишь Функъ-Brentano составляетъ исключеніе и, какъ трезвый мыслитель, бичуетъ недуги современной науки, не предлагая ничего замѣна. Авторъ то превозноситъ великую роль софистовъ, то приписываетъ имъ самое пагубное вліяніе на судьбы народовъ. Съ одной стороны, „самыя блестящія эпохи философскаго умозрѣнія стоятъ въ связи съ долговременными работами софистовъ“... „Софисты играли здѣсь часто болѣе важную роль (въ частной исторіи народовъ), чѣмъ сами творцы славнѣйшихъ ученій... Системы ихъ обнимали собою нравственность, исторію, политику, всю совокупность фактовъ и знаній“. А между тѣмъ „понятія о добрѣ и злѣ расплывались ими; обязанности семьи и государства, права гражданина, судьбы рода человѣческаго истолковывались иногда въ критическомъ духѣ, тѣмъ болѣе страстнымъ, чѣмъ онъ искреннѣе. Традиціонная мораль потрясена въ ея основахъ, древнія вѣрованія подверглись осмѣянію, гражданскія и государственныя обязанности разсѣчены (?), и новыя ученія, по мѣрѣ ихъ развитія, распространяются въ образованныхъ классахъ, проникаютъ въ массы. Сужденія становятся смутными, правота побужденій исчезаетъ, умственные и нравственныя связи народа ослабляются, зло принимаетъ размѣры умственной эпидеміи.

Умственное разстройство Греціи восходитъ ко временамъ софистовъ... Средневѣковые софисты своими диспутами подготавливаютъ возмущенія и войны реформаціи. Правда, вліяніе ихъ было не настолько сильно, чтобы могло помѣшать возвращенію болѣе здравыхъ преданій (т.-е. господства римской церкви и свѣтскихъ ея ревнителей?); зато софисты нашего времени, кажется, снова приобрѣли такое же вліяніе, какое имѣли софисты Греціи. Ихъ доктринами наполняются наши газеты, оглашаются наши парламенты, вдохновляются наши историки; наши школы и университеты повторяютъ ихъ, не сознавая того; они рѣшаютъ будущее юношества и славу нашихъ ученыхъ; народъ по-своему толкуетъ ихъ и примѣняетъ къ дѣлу“ (стр. 15—16). Какъ же примирить съ этою мрачною картиною приведенное выше утвержденіе, что работы софистовъ совпадаютъ съ „самыми блестящими эпохами философскаго умозрѣнія“?

Нападая на софистику, какъ на „простую игру ума“, Функъ-Брентано въ то же время смѣшиваетъ вліяніе идей съ господствомъ словъ, и разсуждаетъ какъ настоящій софистъ. „Какихъ ужасныхъ волненій, — спрашиваетъ онъ, — не вызывало въ наше время одно слово о правахъ человѣка? Одни видятъ въ немъ абсолютныя принципы человѣческаго духа, источникъ всякаго добра и всякой правды; другіе истолковываютъ его съ точки зрѣнія своихъ матеріальныхъ потребностей... Не только наука, но и счастье народовъ зависитъ гораздо болѣе, чѣмъ мы думаемъ, отъ хорошо обработаннаго языка“. Нечего и объяснять, что люди увлекались идеями и интересами, выражаемыми въ извѣстныхъ словахъ, а не самими этими словами; различное же пониманіе данной идеи нисколько не зависитъ отъ болѣе или менѣе „обработанности языка“. Сравнивая новѣйшую софистику съ греческою, авторъ находитъ, что „мысленіе грековъ было яснѣе, ихъ рѣчь лучше обработана, ихъ книги лучше написаны; понятія же нашихъ антиномистовъ менѣе ясны, рѣчь ихъ высокопарна, книги темны“ (стр. 85). Замѣчаніе это, быть можетъ, и справедливо; но оно касается больше формы, чѣмъ содержанія.

Критикуя такихъ мыслителей, какъ Джонъ Стюартъ Милль и Гербертъ Спенсеръ, авторъ относится къ нимъ съ забавною самонадѣянностью; онъ отыскиваетъ у нихъ одни лишь противорѣчія и софизмы, не замѣчая положительной стороны ихъ ученій. Онъ хочетъ увѣрить насъ, что „Милль не понялъ ни индукціи, ни правилъ ея“ (стр. 158), что онъ „имѣетъ лишь темное представленіе о важномъ значеніи метода въ философіи и не знаетъ истинныхъ свойствъ умозрѣнія великихъ писателей“ (стр. 183). Авторъ объясняетъ свою строгость тѣмъ, что онъ „изучаетъ Милля съ точки зрѣнія истинны, и прила-

гаетъ къ нему его собственную мѣрку"; но совсѣмъ другой выводъ получился бы, „если бы мы изучали его съ точки зрѣнія нашей эпохи, примѣняя къ нему общепринятую мѣрку": тогда „онъ оказался бы величайшимъ изъ современныхъ мыслителей" (стр. 180). Откуда же взялась у автора „точка зрѣнія истины", если она не соответствуетъ доктринамъ „нашей эпохи"? Почему мы должны вѣрить, что Brentano обладаетъ „истиною", а Stuart Millъ былъ только посредственнымъ софистомъ? Слава Милля имѣетъ свое объясненіе будто бы въ томъ, что „въ темную ночь третьестепенныя звѣзды кажутся звѣздами первой величины" (стр. 187). Милль даетъ будто бы „многочисленные примѣры фокусничества" въ дѣлѣ научнаго разсужденія (стр. 201). Еще сильнѣе достается Спенсеру; его теоріи напоминаютъ фантастическія сказки, которыя „принимаютъ видъ полной истины, и дѣти въ простотѣ сердца вѣрятъ имъ" (стр. 209). Впрочемъ, „теорія эволюціи не имѣетъ даже достоинствъ хорошей сказки. Данныя измѣняются въ ней безъ всякаго повода, эпизоды слѣдуютъ одинъ за другимъ безъ связи, основанія за нее менѣе вѣроятны, чѣмъ противъ нея. Отъ начала до конца она носитъ характеръ сновидѣнія, мечты... Сновидѣнія эти называются кошмарами. Нашлись люди, повѣрившіе сказкѣ Герберта Спенсера, подобно тому, какъ нынѣ есть люди, вѣрящіе всякимъ сказкамъ и вымысламъ, или какъ въ старину вѣрили въ алхімію и астрологию" (стр. 219). Доктрина Спенсера „не имѣетъ для себя иной опоры, кромѣ произвола, злоупотребленія смысломъ словъ и значеніемъ выраженій"; у него „ошибки, противорѣчія и софизмы становятся до такой степени очевидными, что указаніе ихъ также легко, какъ дѣтская игра" (!) (стр. 244). Авторъ открываетъ „пагубныя пропасти" въ ученіи Спенсера, разрушающемъ будто бы въ самомъ корнѣ силу умственныхъ и нравственныхъ традицій. „Великія вѣрованія народовъ, — говоритъ Brentano въ назиданіе англійскому соціологу, — имѣютъ своимъ источникомъ мощь народныхъ преданій, скрѣпляютъ нравственное состояніе народовъ и служатъ основой величія націй; наоборотъ, ничтожныя вѣрованія школъ проистекаютъ всегда только изъ призраковъ данной минуты, изобличаютъ безсиліе духа и подготавливаютъ умственную анархію" (стр. 251). Очевидно, авторъ боится, что народныя вѣрованія и традиціи пострадаютъ отъ теорій Милля и Спенсера; онъ связываетъ упадокъ націй съ господствомъ тѣхъ или другихъ научныхъ системъ, забывая при этомъ одно маленькое, но весьма существенное обстоятельство: народы, вообще, не читаютъ философскихъ трактатовъ и не могутъ поэтому ни въ какомъ случаѣ увлечься „пагубными пропастями" Спенсера и Милля; а люди, подготовленные къ пониманію этихъ тяжеловѣсныхъ док-

тринъ, стоятъ уже далеко отъ непосредственныхъ народныхъ традицій, и имъ уже не грозитъ развращеніе подъ вліяніемъ научныхъ софизмовъ, особенно такихъ, которые разоблачаются сами собою, какъ „дѣтская игра“. Теоріи Милля и Спенсера не разъ разбирались въ литературѣ; многіе выводы того и другого могутъ считаться уже опровергнутыми, такъ что въ этомъ отношеніи Brentano не сказалъ ничего новаго. Но именно строгая научная критика, проверяющая всякія философскія ученія, мѣшаетъ установленію той односторонней софистики, которой опасается авторъ. Между тѣмъ авторъ, вставая противъ дѣйствительныхъ или мнимыхъ софистовъ, отвергаетъ и критику, дающую противъ нихъ единственное и могущественное оружіе. Осуждая духъ скептицизма, онъ осуждаетъ самого себя и всѣ свои возраженія противъ признанныхъ авторитетовъ, имѣющихъ за собою силу традиціи; онъ не могъ бы, напр., такъ легко отдѣлываться отъ Канта, еслибы оставался вѣренъ своей охранительной точкѣ зрѣнія.

Книга Brentano имѣетъ и свои достоинства: она даетъ читателю рядъ критическихъ этюдовъ, написанныхъ весьма занимательно и заключающихъ въ себѣ не мало дѣльныхъ замѣчаній. Русскій переводчикъ исполнилъ свою работу добросовѣстно и съ знаніемъ дѣла.

Л. С.



ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1-го сентября 1887.

Свобода сужденій объ умершихъ; ея необходимость, ея границы. — Обзоръ журнальной дѣятельности М. Н. Каткова. — Его нетерпимость; неопредѣленность его политической программы, недостатки его отрицанія. — Настроение, созданное „Московскими Вѣдомостями“. — Отношеніе ихъ къ вопросу объ окраинахъ. — Значеніе Каткова для русской печати. — Преемники Каткова. — Церковно-приходскія школы въ петербургской губерніи.

„Умираетъ человѣкъ, — говорили мы полтора года тому назадъ, по поводу смерти И. С. Аксакова, — постоянно бывший борцомъ и раздѣлявшій участь, общую всѣмъ борцамъ: нападавшій и подвергавшійся нападеніямъ, ни къ чему не относившійся индифферентно и ни съ чьей стороны не встрѣчавшій такого отношенія. Какъ должно отразиться извѣстіе о его смерти въ средѣ его противниковъ? Могутъ ли, должны ли они забыть все прошедшее и применить къ хору

друзей покойнаго, на всѣ лады восхваляющихъ его заслуги? Нѣтъ, это невозможно, да и не нужно. Слѣдуетъ ли имъ молчать, на основаніи стараго правила: *de mortuis nil nisi bene*? Это правило примѣнимо развѣ къ частной, домашней жизни. Въ области общественной жизни для умершаго тотчасъ же, по выраженію Пушкина, *настаетъ потомство*, начинается исторія... Печать *должна* говорить объ умершемъ общественномъ дѣятелѣ, со всею откровенностью, которая для нея возможна, но и съ тою сдержанностью, которой требуетъ свѣжесть недавней потери“. Этому убѣжденію мы остаемся вѣрными и теперь, рѣшаясь сказать нѣсколько словъ о публичной дѣятельности М. Н. Каткова. Измѣниться, въ виду его смерти, можетъ лишь тонъ нашего отзыва, но не сущность нашего мнѣнія о покойномъ. Не понимаютъ или не хотятъ понять этого только тѣ органы печати, которые *требовали*, во что бы то ни стало, плача по Катковѣ. И на этотъ разъ, какъ послѣ смерти Скобелева, какъ послѣ смерти Аксакова, мы видѣли печальное зрѣлище людей, не столько изливающихъ свою скорбь, сколько наблюдающихъ за тѣмъ, въ достаточной ли мѣрѣ выказываютъ себя огорченными другіе. „Увеличилось ли бы, — спрашивали мы по поводу криковъ, раздававшихся надъ могилой Аксакова, — увеличилось ли бы благочиніе похоронъ, еслибы самозванные блюстители порядка стали сбивать шляпы съ прохожихъ, не обнажившихъ головы, еслибы плакальщики, идущіе за погребальной колесницей, стали громко бранить всѣхъ тѣхъ, кто не заливается слезами?“ Теперь этотъ вопросъ могъ бы быть повторенъ съ еще большимъ основаніемъ, съ еще большей силой.

Есть люди, всю жизнь остающіеся вѣрными однажды избранному пути, непрерывно служащіе одной и той же идеѣ; есть другіе, много разъ мѣнявшіе свое знамя. Безусловнаго преимущества надъ послѣдними первые не имѣютъ; нѣтъ ничего постыднаго въ сознаніи ошибки, въ постепенномъ или даже внезапномъ переходѣ отъ одного образа мыслей къ другому, лишь бы только въ основаніи перехода лежало убѣжденіе, чуждое расцѣта. Между политическими и литературными дѣятелями, сжегшими то, чему поклонялись, и поклонившимися тому, что сжигали, насчитываются такіа звѣзды первой величины, какъ Гладстонъ, В. Гюго, какъ нашъ Вѣлинскій. Неудивительно и то, что неофитъ извѣстнаго ученія часто оказывается болѣе ревностнымъ, болѣе пламеннымъ его защитникомъ, чѣмъ давнишній его приверженецъ, никогда не молившійся другимъ богамъ. Кто отрѣшился, *bona fide*, отъ своихъ прежнихъ идеаловъ, тотъ потерялъ, въ большинствѣ случаевъ, способность относиться къ нимъ спокойно и безпристрастно; доказавъ ихъ несостоятельность самому себѣ, онъ невольно стремится доказать ее другимъ — и чѣмъ тяжелѣе была вну-

тренняя борьба, предшествовавшая разрыву съ старымъ, тѣмъ больше страсти вносится въ защиту новаго. Попытка самооправданія почти неизбѣжно принимаетъ характеръ пропаганды. Одно только, какъ намъ кажется, обязательно для cadaго, перешедшаго справа налѣво или слѣва направо: это—терпимости къ своимъ прежнимъ единомышленникамъ, готовность вѣрить въ ихъ добросовѣстность и честность. Въ самомъ дѣлѣ, кто принадлежалъ однажды, и принадлежалъ всей душой, къ извѣстной партіи или группѣ, кто держался однажды извѣстныхъ мнѣній, тотъ не можетъ настолько забыть свое прошлое, чтобы отрицать возможность искренней вѣры въ эти мнѣнія, искренней преданности цѣлямъ, преслѣдуемымъ этою группой. Онъ долженъ знать, что въ покинутомъ имъ лагерѣ есть правдивые, убѣжденные люди; онъ можетъ считать ихъ заблуждающимися, но не имѣетъ права обвинять ихъ всѣхъ поголовно въ преступномъ упорствѣ, въ сознательномъ игнорированіи истины. Онъ долженъ помнить, при какихъ обстоятельствахъ начался и продолжался процессъ, отдалившій его отъ прежнихъ убѣжденій—и долженъ понимать, что не для всѣхъ наступаетъ, не на всѣхъ одинаково дѣйствуетъ такое стеченіе обстоятельствъ.

Ничего подобнаго не хотѣлъ знать покойный редакторъ „Московскихъ Вѣдомостей“. История его метаморфозы не написана еще никѣмъ, да едва ли и можетъ быть написана въ ближайшемъ будущемъ; она слишкомъ тѣсно связана съ такимъ моментомъ нашей общественной жизни, который еще недостаточно отошелъ въ прошлое. Допустимъ, однако, что, переставая быть либераломъ и сторонникомъ западно-европейскихъ порядковъ, Катковъ руководствовался исключительно самыми лучшими побужденіями; тяжелымъ упрекомъ его памяти во всякомъ случаѣ остается та роль, которую онъ игралъ съ тѣхъ поръ по отношенію къ своимъ прежнимъ вѣрованіямъ, къ своимъ прежнимъ союзникамъ. Позади его лежали не юношескія увлеченія, не мимолетныя вспышки Основывая „Русскій Вѣстникъ“, онъ былъ человѣкомъ зрѣлыхъ лѣтъ, очень хорошо сознававшимъ, чего онъ желаетъ и къ чему стремится. Этимъ желаніямъ и стремленіямъ онъ былъ вѣренъ болѣе пяти лѣтъ, настойчиво и успѣшно распространяя ихъ въ средѣ русскаго общества. Событія могли переубѣдить его, могли привести его къ заключенію, что онъ ошибался въ выборѣ пути, даже въ выборѣ цѣли: но ему не слѣдовало упускать изъ виду, что на другихъ тѣ же самыя событія могли подѣйствовать совершенно иначе. Онъ измѣнился самъ—этого было довольно, чтобы *требовать* отъ всѣхъ такой же перемѣны. Уже въ началѣ шестидесятыхъ годовъ врагами отечества и государства оказываются даже тѣ, кто занимаетъ позицію, только-что оставленную Катковымъ. „С.-Петербургскія Вѣ-

домости", подъ редакціей В. О. Корша, не шли ни на одинъ шагъ дальше, чѣмъ „Русскій Вѣстникъ“ конца пятидесятихъ годовъ,—а между тѣмъ онѣ сразу навлекаютъ на себя со стороны „Московскихъ Вѣдомостей“¹⁾ обвиненія самаго рѣзкаго свойства. Подъ ударами московской газеты погибаетъ, весной 1863 г., такой журналъ, какъ „Время“, за такую статью, какъ „Роковой вопросъ“ г. Страхова. Съ тѣхъ поръ обвинительное усердіе Каткова уже не оскудѣваетъ, постоянно вызывая къ репрессіи, постоянно вторгаясь въ сферу дѣйствій полицейской и карательной власти. Нельзя не вспомнить, по этому поводу, о покойномъ редакторѣ „Руси“. Никогда не отступавшій отъ своей наслѣдственной доктрины, съ самаго начала до самаго конца безповоротно остававшійся правовѣрнымъ славянофиломъ, Аксаковъ имѣлъ гораздо больше правъ на исключительность и нетерпимость—и далеко не былъ отъ нихъ свободенъ; но онъ весьма рѣдко доводилъ ихъ до крайностей. на каждомъ шагу встрѣчающихся у Каткова. Заподозриваніе противниковъ пускалось въ ходъ и Аксаковымъ, но только въ критическіе моменты, когда онъ терялъ самообладаніе и чувство мѣры; въ рукахъ Каткова оно было орудіемъ будничнымъ, зауряднымъ. Аксаковъ могъ думать, что истина одна для всѣхъ и для всѣхъ очевидна, потому что онъ всегда считалъ за истину одно и то же; для Каткова правда пятидесятихъ годовъ была неправдой въ шестидесятихъ—и все-таки онъ хотѣлъ, чтобы эта новая правда тотчасъ же стала правдой для всѣхъ и каждого... За главнымъ поворотомъ въ образѣ мыслей Каткова послѣдовалъ цѣлый рядъ второстепенныхъ — второстепенныхъ по важности, но отнюдь не по стремительности и рѣзости. Изъ рядовъ фритредеровъ онъ переходилъ въ ряды протекціонистовъ, изъ защитниковъ суда присяжныхъ и земскаго самоуправленія становился панегиристомъ старыхъ судебныхъ и административныхъ порядковъ; сегодня онъ отстаивалъ союзъ съ Германіей, завтра — сближеніе съ Франціей. Въ этомъ послѣднемъ фазисѣ внѣшней политики его застигла смерть; отсюда странное зрѣлище французовъ, преклоняющихся передъ памятью Каткова — французовъ, которыхъ еще такъ недавно систематически топтали въ грязь „Русскій Вѣстникъ“. Само собою разумѣется, что въ основаніи этого недоразумѣнія лежало просто недостаточное знакомство съ дѣятельностью Каткова. Теперь серьезные органы французской печати, — напр. „Journal des Débats“ — говорятъ о немъ уже совершенно иначе.

¹⁾ Переходъ „Московскихъ Вѣдомостей“ подъ редакцію Каткова совершился въ одно время съ переходомъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ подъ редакцію Корша, т.-е. 1-го января 1863 г.

Не будучи дѣломъ убѣжденія, незыблемаго въ своихъ основахъ и неизмѣнно равнаго самому себѣ, нетерпимость Каткова была не чѣмъ инымъ, какъ проявленіемъ властолюбивой натуры, не выносящей спора и противорѣчій. Стремленіе уничтожить противника было свойственно редактору „Русскаго Вѣстника“ даже въ лучшее время его дѣятельности; припомнимъ, напримѣръ, знаменитую въ свое время травлю профессора Крылова или объявленіе о книгѣ Гнейста, пропавшей изъ редакціоннаго кабинета. Параллельно съ вліяніемъ обвинителя возрастало число, возрастало и значеніе обвиняемыхъ. Удары направлялись все выше и выше, выходя изъ прежняго источника и сохраняя прежній характеръ. Ихъ жертвой становились, рядомъ съ отдѣльными лицами, цѣлыя народности, цѣлыя корпораціи, цѣлыя учрежденія. *Прочь съ дороги!*—таковъ былъ, особенно въ послѣднее время, девизъ „Московскихъ Вѣдомостей“. Не раздѣляло ихъ программы какое-либо періодическое изданіе — оно провозглашалось опаснымъ и зловреднымъ; не нравился имъ государственный человѣкъ, виновный только въ томъ, что продолжалъ вѣрить кое-чему изъ прежней ихъ доктрины — ему приписывались тенденціи, несогласныя съ намѣреніями правительственной власти; замедлялось разсмотрѣніе одобренныхъ ими проектовъ—это объяснялось происками *партии*, стремленіемъ къ парламентаризму. Это была настоящая мономанія, непрерывно выбрасывавшая цѣлый потокъ инсинуаций, подозрѣній, обвинительныхъ пунктовъ. Старинное „слово и дѣло“ вышло изъ своей могилы и стало ходить по улицамъ Москвы, выкликаемое газетными листами. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ имя Каткова занимало одно изъ первыхъ мѣстъ въ спискѣ „подозрительныхъ людей“, составленномъ по распоряженію графа Закревскаго; четверть вѣка спустя такой же списокъ ведется газетой, во главѣ которой стоитъ Катковъ. Нельзя сказать, чтобы превращеніе изъ преслѣдуемаго въ преслѣдователя было большою рѣдкостью—но почетнымъ для превратившагося оно ни въ какомъ случаѣ названо быть не можетъ.

Во имя чего, однако, Катковъ выступалъ обвинителемъ и судьей, въ чемъ заключалась *положительная* подкладка его нетерпимости? Въ первое время его журнальной дѣятельности его программа была довольно опредѣленна — опредѣленна и въ томъ, противъ чего онъ боролся, и въ томъ, чего онъ домогался. Позже, начиная съ половины шестидесятыхъ годовъ, сторона борьбы рѣшительно беретъ верхъ надъ стороною созиданія. Совершенно правы тѣ, кто называетъ Каткова отрицателемъ по преимуществу. А между тѣмъ, единственнымъ возможнымъ извиненіемъ нетерпимости служить именно творческая идея. Только она можетъ оправдать, до извѣстной сте-

пени, страстное отношеніе къ препятствіямъ, встрѣчающимся на ея пути, горячую вражду къ лицамъ, противоудѣствующимъ ея успѣху; только она можетъ примирить, хотя отчасти, съ односторонностью и упорствомъ, возведенными въ систему. Такой творческой идеи у Каткова не было вовсе. Не былъ ею его взглядъ на русскій государственный строй, не только потому, что въ этомъ взглядѣ нѣтъ ничего новаго, но и потому, что его значеніе—чисто формальное. Единство государства, единство и всемогущество управляющей имъ воли, безусловная подчиненность органовъ управленія—все это совмѣстимо съ самымъ разнороднымъ содержаніемъ, съ самыми различными задачами государственной дѣятельности. Одна и та же власть можетъ сосредоточить свою заботливость на внѣшнемъ могуществѣ народа или на внутреннемъ его ростѣ, на матеріальномъ его благосостояніи или на умственномъ его развитіи, на интересѣ всѣхъ или на интересѣ немногихъ. Недостаточно, слѣдовательно, провозгласить извѣстный тезисъ государственнаго права—нужно еще показать отношеніе этого тезиса къ народной жизни, нужно одухотворить мертвую формулу и примѣнить ее къ дѣйствительности, къ данной минутѣ. Здѣсь-то и обнаруживается громадный пробѣлъ, для пополненія котораго напрасно было бы искать матеріала въ передовыхъ статьяхъ „Московскихъ Вѣдомостей“. Что подлежитъ устраненію, ломкѣ, изувѣченію—это онѣ намъ скажутъ; что должно быть поставлено на мѣсто уничтожаемаго — это почти всегда остается въ туманѣ. Слѣдуетъ упразднить судъ присяжныхъ—но слѣдуетъ ли возвратиться къ старымъ формамъ судопроизводства? Слѣдуетъ положить конецъ земскому и городскому самоуправленію—но какія функціи его должны быть сохранены и кому онѣ должны быть переданы? Слѣдуетъ усилить мѣстную администрацію — но какъ это сдѣлать, какое установить отношеніе между властью судебной и административной, какую роль отвести сословному элементу? Особенно замѣтны недомолвки, свойственныя „Московскимъ Вѣдомостямъ“ и обусловливаемыя переѣсомъ отрицанія надъ творчествомъ, именно по вопросу административной реформы. Онъ стоитъ на очереди уже болѣе пяти лѣтъ, его важность признается и даже преувеличивается представителями тѣхъ мнѣній, выраженіемъ которыхъ служили „Московскія Вѣдомости“ — и все-таки Катковъ сошелъ въ могилу, не договорившись здѣсь ни до чего опредѣленнаго. Какъ смотрѣлъ Катковъ на будущность общиннаго владѣнія — этого главнаго яблока раздора между нашими экономистами и публицистами? Какъ относился онъ къ крестьянскимъ переселеніямъ, къ участию въ нихъ государственной власти?.. Такихъ вопросовъ можно было бы сдѣлать еще много — и наоборотъ, весьма мало найдется пунктовъ, по которымъ взгляды

покойнаго писателя обрисовались бы такъ рельефно, какъ по организаціи гимназій или университетовъ. И у Аксакова не все освѣщено одинаково яркимъ свѣтомъ, и онъ во многомъ какъ бы не отдавалъ яснаго отчета самому себѣ; но какъ велика, все-таки, и въ этомъ отношеніи разница между Аксаковымъ и Катковымъ! У перваго несомнѣнно былъ запасъ идей, могущихъ служить источникомъ истиннаго воодушевленія. Онъ увлекался самъ и увлекалъ другихъ не однѣми только громкими фразами о самобытности русскаго народа, о его великомъ прошедшемъ и еще болѣе великомъ будущемъ. Онъ стоялъ за бытовые черты, дѣйствительно составляющія народное богатство; онъ защищалъ свободу совѣсти, свободу печатнаго слова; онъ помнилъ, что такое старый судъ и старая администрація, и не хотѣлъ возврата къ до-реформенной эпохѣ. Онъ обращался не къ одному только страху и меньше всего рассчитывалъ на принужденіе.

Если Катковъ былъ преимущественно отрицателемъ, то это еще не значитъ, чтобы въ отричаніи заключалась его сила. Отрицаніе могущественно только тогда, когда оно подкапывается подъ самыя основанія отрицаемаго, когда оно раскрываетъ противорѣчіе между идеей и ея осуществленіемъ, между дѣйствительностью и идеаломъ. Не таково было, болѣею частью, отрицаніе Каткова. Онъ исходилъ почти всегда отъ какого-нибудь отдѣльнаго случая, отъ какого-нибудь частнаго недостатка—и строилъ на немъ общій выводъ, заравѣе предвзятый. Постановятъ ли присяжные оправдательный приговоръ, когда, по мнѣнію газеты, подсудимый былъ виновенъ и заслуживалъ наказанія—этотъ приговоръ становится орудіемъ противъ цѣлой системы, доказательствомъ нецѣлесообразности и непригодности цѣлаго учрежденія. Обнаружится ли гдѣ-нибудь растрата земскихъ или городскихъ суммъ, отличится ли какое-нибудь земское собраніе или городская дума непониманіемъ своихъ обязанностей, стремленіемъ выйти за предѣлы своего права—по этому поводу пишется обвинительный актъ противъ всего земскаго или городского положенія. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что будущій историкъ „Московскихъ Вѣдомостей“ будетъ пораженъ однообразіемъ, скудостью ихъ содержанія. Ему придется встрѣчаться съ безконечнымъ рядомъ однородныхъ, почти тождественныхъ нападеній, въ которыхъ измѣняется только фактическая подкладка, но отнюдь не аргументація. Сегодня—дѣло Пейчъ или Островлевоу, завтра—дѣло волчанскаго исправника или Мельницкихъ, сегодня—крушеніе скопинскаго или орловскаго банка, завтра—исторія московскихъ водопроводовъ,—но всегда и вездѣ длинная канитель фактиковъ и фактовъ, заключаемая обычнымъ *ceterum censeo*: да погибнетъ „судебная республика“ и „земское самоуправство“. Съ помощью такого приѣма можно доказать все

что угодно. Нѣтъ учрежденія, которое бы не ошибалось, нѣтъ власти, которая бы не употреблялась во зло—нѣтъ, слѣдовательно, ни учрежденія, ни власти, къ которымъ была бы непримѣнима критика по шаблону „Московскихъ Вѣдомостей“. Всякому судебному порядку могутъ быть противопоставлены явно-неправильные приговоры, всякой формѣ общественнаго хозяйства—явныя нарушенія общественнаго интереса. Правда, у Каткова есть еще одинъ критерій для оцѣнки учреждений: сличеніе ихъ съ основными началами русскаго государственнаго строя. Пользованіе этимъ критеріемъ заключено, однако, въ довольно тѣсныя границы, да и здѣсь онъ служитъ плохой гарантіей противъ ошибокъ. Онъ не обнимаетъ собою всѣхъ сторонъ вопроса—не говоритъ, напримѣръ, ни въ пользу, ни противъ гласности суда или состязательной формы процесса; онъ допускаетъ возможность противоположныхъ рѣшеній, въ подтвержденіе которыхъ нетрудно привести и теоретическіе мотивы, и историческія данныя. Такъ, напримѣръ, исторія Пруссіи въ XVIII-мъ и первой половинѣ XIX-го вѣка доказываетъ совмѣстимость самостоятельнаго суда и неограниченной монархіи, мѣстнаго самоуправленія и строгой централизаціи—доказываетъ все это съ убѣдительною, перевѣшивающею тысячи софизмовъ. Критика Каткова стоитъ, такимъ образомъ, развѣ немногимъ выше его положительнаго ученія; его отрицаніе не только безплодно—оно безсильно. Оно можетъ угрожать фактическому существованію отрицаемаго, но не можетъ поколебать его внутренней *raison d'être*; оно даетъ только предлогъ, но не разумный поводъ къ разрушительной работѣ, въ „преобразованіяхъ наоборотъ“.

Какова бы ни была критика, какова бы ни была доктрина проповѣдника, многолѣтняя и безспорно талантливая проповѣдь не можетъ не создать, въ средѣ слушателей, известнаго настроенія, не можетъ не распространить между ними известной суммы чувствъ и взглядовъ. Въ чемъ же заключается настроеніе, вызванное „Московскими Вѣдомостями“? Способствуетъ ли оно уваженію къ закону и законности, столь мало еще свойственному русскимъ людямъ? Наоборотъ; съ точки зрѣнія Каткова, въ Россіи нѣтъ и не должно быть закона, который не могъ бы быть, въ каждую данную минуту, отложенъ въ сторону, нѣтъ общаго правила, изъ котораго не могло бы быть допущено сколько угодно и какихъ угодно исключеній. А уваженіе къ судебному рѣшенію—этотъ *respect de la chose jugée*, могущій служить мѣриломъ умственной культуры? И его Катковъ подрывалъ въ самомъ корнѣ, когда возставалъ противъ безапелляціонныхъ судебныхъ рѣшеній, противъ безусловной силы послѣдняго судебного слова. А уваженіе къ чужому мнѣнію, къ самостоятельной мысли, къ искреннему ея выраженію? Искусственное единодушіе, вынужденное

согласіе, организованное лицемѣріе — вотъ чего хотѣлъ Катковъ, подводя подъ эту норму даже высшее совѣщательное учрежденіе имперіи. Неодобреніе проекта, составленнаго министромъ (если министр, конечно, принадлежалъ къ числу сочувственныхъ Каткову), выставлялось тенденціозной оппозиціей, хотя бы оно исходило именно отъ тѣхъ, кто призванъ къ всесторонней повѣркѣ министерскихъ предначертаній. Не трудно представить себѣ, какая доля свободы оставлялась, затѣмъ, на долю обыкновенныхъ смертныхъ... Равенство передъ закономъ отрицалось во всѣхъ его видахъ. Отъ судебной власти требовалось особенное вниманіе къ лицамъ, входящимъ въ составъ „порядочнаго общества“; финансовое управленіе порицалось за отмѣну подушной подати, за введеніе налога на процентныя бумаги. Вѣдѣніе правительства въ экономическую жизнь являлось зломъ, когда оно было направлено въ пользу массы (учрежденіе крестьянскаго поземельнаго банка), благомъ — когда оно имѣло въ виду интересы привилегированнаго меньшинства (учрежденіе дворянскаго земельнаго банка, льготный кредитъ для землевладѣльцевъ и хлѣботорговцевъ). Право на помощь со стороны государства признавалось даже за разорившимися вкладчиками скупинскаго банка — и еслибы „Московскимъ Вѣдомостямъ“ удалось настоять на своемъ, изъ народной мощи было бы взято нѣсколько милліоновъ на покрытіе убытковъ, понесенныхъ любителями высокаго процента. Вънѣшнѣе настроеніе является вражда къ реформамъ прошедшаго царствованія — да и къ позднѣйшимъ преобразованіямъ, насколько они были продолженіемъ прежнихъ, а не возвращеніемъ къ до-реформенному времени.

Величайшей заслугой Каткова считается обыкновенно отношеніе его къ вопросу объ окраинахъ. Сложилась цѣлая легенда, приписывающая ему честь удержанія царства польскаго за Россіей, честь распоряженія западнаго края и предстоящаго раздѣленія прибалтійскихъ губерній. Какъ и всякая другая легенда, она не устоитъ передъ судомъ исторіи. Политика 1863 года имѣетъ двѣ стороны и два источника. Насколько она была направлена къ охраненію неприкосновенности имперіи, она коренилась въ преданіи, въ совокупности прочно сложившихся воззрѣній, едва ли допускавшихъ какое-либо колебаніе; насколько она была приспособлена къ интересамъ массы, насколько она имѣла въ виду сломить шляхетство, опираясь на крестьянство, — она находилась въ самой тѣсной связи съ эпохой реформъ, наступившей тогда для Россіи. И въ томъ, и въ другомъ она была прежде всего и больше всего продуктомъ обстоятельствъ. Ее никто не внушалъ, никто не диктовалъ, она обуславливалась естественнымъ совпаденіемъ двухъ теченій — стараго и новаго, госу-

дарственного и народнаго. Другое дѣло—подробности ея примѣненія; здѣсь можетъ идти рѣчь о личномъ вліяніи, между прочимъ—и о вліяніи Каткова. Въ чемъ же оно выразилось всего ярче, всего сильнѣе? „Московскія Вѣдомости“—этого мы не отрицаемъ—стояли, вмѣстѣ съ Милютинимъ, Самаринимъ и кн. Черкасскимъ, за возможно лучшее обезпеченіе массы въ западномъ краѣ и царствѣ польскомъ, за поднятіе и укрѣпленіе крестьянскаго элемента; но не слѣдуетъ упускать изъ виду, что онѣ держались совершенно иныхъ началъ по отношенію къ коренной Россіи. Двойственность въ политикѣ—явленіе слишкомъ ненормальное, чтобы быть продолжительнымъ. Примѣнять къ окраинамъ систему, признаваемую непригодною для центра, можно только до тѣхъ поръ, пока не закончилась открытая борьба, пока не миновала опасность; когда все вошло въ обычную колею, одно изъ двухъ несомнѣстныхъ началъ непремѣнно должно восторжествовать надъ другимъ—и шансы побѣды принадлежать, безъ сомнѣнія, не тому изъ нихъ, которое было употребляемо лишь какъ оружіе во время боя. Такимъ именно оружіемъ служилъ, для „Московскихъ Вѣдомостей“, крестьянскій вопросъ на западѣ Россіи—и если вторая половина шестидесятыхъ годовъ быстро отодвинула его на задній планъ, то доля отвѣтственности за это упадаетъ на газету, постоянно стоявшую за политику двухъ мѣръ и двухъ вѣсовъ. Остается, затѣмъ, проповѣдь обрусѣнія, непрерывно раздававшаяся съ трибуны Страстного бульвара. Считать ли ее заслугой или ошибкой—это вопросъ, каждымъ разрѣшаемый по-своему; нашъ отвѣтъ заранѣе извѣстенъ нашимъ читателямъ. Замѣтимъ только, что въ безчисленныхъ варіаціяхъ на главную тему московская газета обращалась, очевидно, не къ лучшимъ чувствамъ русскаго общества. Она сѣяла недовѣріе, раздраженіе, вражду—и жатва соотвѣтствовала посѣву. Чего стоятъ одни нападенія на украинофильство, однѣ попытки заподозрить любовь къ родному нарѣчію, къ родному краю! Достаточно припомнить, что свободнымъ отъ этихъ подозрѣній не оставался даже такой человѣкъ, какъ Костомаровъ.

Говорятъ, что Катковъ много сдѣлалъ для русской печати, что онъ поднялъ ее на небывалую высоту, далъ ей небывалое значеніе. Богѣе ошибочнаго мнѣнія нельзя себѣ и представить. Поднять значеніе печати можетъ только свобода—свобода для всѣхъ равная, всѣмъ одинаково обезпеченная,—а не привилегія откровенности, фактически предоставленная одной газетѣ. Свободѣ печати, даже самой умѣренной, Катковъ былъ безусловно враждебенъ—враждебенъ въ теоріи, признавая, что никакихъ правъ и гарантій для русской печати не нужно, что положеніе ея уже теперь не оставляетъ желать ничего лучшаго,—враждебенъ на практикѣ, прямо обвиняя ненавистные ему

газеты и журналы то въ сочувствіи анархистамъ, то въ потворствѣ иностраннымъ „интригамъ“, то въ стремленіи къ „упраздненію правительства“. Намъ могутъ указать на вниманіе, которымъ передовыя статьи „Московскихъ Вѣдомостей“ часто пользовались за границей; но главнымъ источникомъ этого вниманія служило предположеніе, что „Московскія Вѣдомости“ отражаютъ собою настроеніе высшихъ сферъ, бросаютъ, по извѣстному англійскому выраженію, „тѣнь грядущихъ событій“. Нѣтъ, независимая русская печать не можетъ помянуть добромъ журналиста, предлагавшаго нѣчто въ родѣ монополіи печатнаго слова, возстававшего противъ порядка, при которомъ „ежедневно раздаются по всей странѣ голоса *неизвѣстныхъ правительстwu людей*“. Логическій выводъ изъ такихъ положеній—обязательная „оффиціозность“ всѣхъ газетъ и журналовъ. Послѣдователи Каткова и не останавливаются передъ этимъ выводомъ. „Мыслимо ли,—воскликаетъ одинъ изъ нихъ, въ виду возраженій, вызванныхъ новыми правилами о приѣмѣ въ гимназін,—мыслимо ли, чтобы въ Россіи были, такъ сказать, признаны нормальными два противоположныя теченія: одно—правительственное, въ видѣ принимаемыхъ мѣръ, а другое—газетное, въ видѣ толкованія и критикованія этихъ мѣръ, нѣрѣдко въ духѣ, совершенно противоположномъ намѣреніямъ и цѣлямъ правительственныхъ мѣропріятій?“ Предлагается, поэтому, слѣдующее: передъ обнародованіемъ извѣстной мѣры сообщать органамъ печати ея мотивы, а затѣмъ *призывать* ихъ къ ея поддержкѣ и разъясненію, „въ ея простой и ясной практической пользѣ“. А если ея польза неясна, а если ясно, наоборотъ, что она далеко не полезна?.. Говорить противъ убѣжденія органы печати не были обязаны даже въ эпоху ея полнѣйшаго порабощенія. Самая мысль о чемъ-либо подобномъ могла возникнуть только теперь, подъ вліяніемъ идей, пущенныхъ въ ходъ „Московскими Вѣдомостями“. И здѣсь, еще разъ, нельзя не вспомнить объ Аксаковѣ, никогда не перестававшемъ стоять за истинную свободу слова.

Катковъ, какъ и Аксаковъ, не имѣлъ сотрудниковъ, сколько-нибудь къ нему близкихъ по вліянію и таланту; но если смерть Аксакова положила конецъ изданію „Руси“, то это еще не значитъ, чтобы такова должна была быть и судьба „Московскихъ Вѣдомостей“. Наслѣдовать Каткову гораздо легче, по двумъ причинамъ. „Русь“ имѣла положительныя идеалы; она была одушевлена глубокой вѣрой, пронизана горячимъ чувствомъ, составлявшимъ главную ея силу. Продолжать изданіе „Руси“ могъ только убѣжденный или, лучше сказать, вѣрующій славянофилъ, способный поддержать пламя, зажженное Аксаковымъ. Заменить увлеченіе резонерствомъ, образную рѣчь поэта—резвымъ словомъ критика или публициста, значило бы, мо-

желъ быть, создать новый органъ печати, но не воскресить умершій. Славянофильство, вдобавокъ, сказало, съ Аксаковымъ, свое послѣднее слово; славянофиловъ чистой воды не было больше ни одного—оставались на лицо только болѣе или менѣе славянофильствующие эпигоны. Совсѣмъ другое дѣло—„Московскія Вѣдомости“ подъ редакціей Каткова. Чуждыя энтузіазма, хладнокровныя даже въ минуты кажущагося восторга или гнѣва, онѣ говорили такимъ тономъ, которому легко подражать, проводили такія мѣтвія, которыя можно повторять *usque ad infinitum*. Борьба противъ реформъ, восхваленіе старыхъ порядковъ, подогрѣваніе старыхъ подозрѣній—все это не представляетъ никакихъ затрудненій, для всего этого всегда найдутся охотники, особенно въ наше время. Мы касаемся здѣсь второго различія между „Русью“ и „Московскими Вѣдомостями“. Во многомъ плившая по теченію, „Русь“ расходилась съ нимъ, однако, по нѣсколькимъ существенно-важнымъ пунетамъ. Заявлять свое разногласіе и Аксакову не всегда было возможно; положеніе его преемника—еслибы послѣдній захотѣлъ принять *ее* наслѣдство, усвоить себѣ *ею* программу „Руси“,—было бы еще гораздо болѣе затруднительно. Что сходило съ рукъ Аксакову (въ послѣдніе годы его дѣятельности), то не прошло бы даромъ „новому человѣку“, поднявшему его знамя. Даже Аксаковъ, за два мѣсяца до смерти, навелъ на себя официальное обвиненіе въ недостаткѣ „истиннаго патриотизма“; чего же могъ ожидать „патріотъ“ менѣе испытанный и менѣе извѣстный? Преемникамъ Каткова, наоборотъ, все благопріятствуетъ и ровно ничего не угрожаетъ; имъ остается только идти пробитой дорогой, удобной и гладкой какъ паркетъ. Само собою разумѣется, что подражатели окажутся ниже своего образца; но, судя по началу, они во всякомъ случаѣ останутся вѣрными его духу и даже его приемамъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только припомнить вылазку противъ Т. И. Филиппова („Московскія Вѣдомости“, № 209), позволявшая себѣ найти, что и на солнцѣ есть пятна.

Немедленно послѣ смерти Аксакова было предпринято—и теперь уже доведено до конца—изданіе всѣхъ его сочиненій; нужно надѣяться, что то же самое будетъ сдѣлано и по отношенію къ Каткову. Только тогда можно будетъ приступить къ всесторонней оцѣнѣ дѣятельности, обнимающей собою болѣе трехъ десятилѣтій—и какихъ десятилѣтій! Само собою разумѣется, что для полноты картины статьямъ, помѣщеннымъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, должны быть предпосланы статьи, помѣщенные въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1856-62 г.г.

Выше, во Внутреннемъ Обзорѣніи, у насъ идетъ рѣчь о предполагаемомъ сліяніи церковно-приходскихъ и свѣтскихъ начальныхъ школъ. Возбужденіе этого вопроса увеличиваетъ интересъ ко всему тому, что можетъ пролить нѣкоторый свѣтъ на дѣйствительное положеніе церковно-приходскихъ школъ. Передъ нами лежитъ отчетъ с.-петербургскаго братства во имя Пресвятой Богородицы (замѣняющаго для петербургской губерніи епархіальный училищный совѣтъ), за третій годъ его дѣятельности, съ 4-го мая 1886 по 4-е мая 1887 г. Число церковно-приходскихъ школъ въ петербургской губерніи растетъ довольно быстро; въ началу отчетнаго года ихъ было 47, открыто вновь—30, закрыто—4, осталось къ концу отчетнаго года—73; число учащихся увеличилось съ 1.600 до 2.600. Священники состоятъ преподавателями только въ четырехъ школахъ; въ двѣнадцати преподаютъ другіе члены причта (большою частью псаломщики), въ четырехъ—священники вмѣстѣ съ женами, въ пяти—священники вмѣстѣ съ наемными помощниками, въ семи—дѣти священниковъ (изъ нихъ четыре окончили курсъ въ учительской семинаріи или епархіальномъ духовномъ училищѣ). Изъ числа остальныхъ преподавателей девять—окончившихъ курсъ въ духовной семинаріи, шесть—въ учительской семинаріи, двѣнадцать—въ епархіальномъ духовномъ училищѣ, шесть—учившихся въ духовной семинаріи, но не окончившихъ курсъ, пять—имѣющихъ свидѣтельство на званіе начальнаго учителя, три—не имѣющихъ, повидимому, и такого свидѣтельства. Если допустить, что въ школахъ, гдѣ преподавателями числятся священники съ женами или „съ наемными помощниками“, преподаваніе ведется, *de facto*, исключительно или преимущественно послѣдними, то учителей, специально подготовленныхъ къ своему призванію, окажется тридцать-пять, т.-е. менѣе половины. Это отношеніе никакъ не можетъ быть названо благопріятнымъ. Въ лужскомъ уѣздѣ, напримѣръ, изъ 45 учителей и учительницъ земскихъ школъ специальную подготовку имѣли (въ 1885—6 учебномъ году) тридцать-два, т.-е. цѣлыхъ три четверти, а изъ остальныхъ тринадцати—девять окончили курсъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Постановка церковно-приходскихъ школъ далеко не вездѣ представляется обеспеченной и прочной; для закрытія ихъ достаточно иногда одного перемѣщенія учителя (псаломщика) въ другой приходъ. Восемь школъ помѣщаются въ квартирахъ причта, четыре—въ церковныхъ сторожкахъ. Поразителенъ, въ нашихъ глазахъ, тотъ фактъ, что члены епархіальнаго совѣта, по истеченіи трехъ лѣтъ, все еще судятъ о церковно-приходскихъ школахъ только по бумагамъ, а не по личному опыту; это видно изъ того мѣста отчета, гдѣ выражается сожалѣніе о несостоявшемся открытіи церковно-приходской школы

въ Петербургѣ, такъ какъ при существованіи ея совѣтъ имѣлъ бы возможность непосредственно ознакомиться съ ходомъ ученія въ церковно-приходской школѣ. Примѣру совѣта слѣдуютъ, повидимому, и священники; въ большинствѣ случаевъ они не берутъ на себя труда лично собирать свѣденія о школахъ грамотности, находящихся въ ихъ приходѣ, а заносятъ въ списокъ только тѣ, о существованіи которыхъ узнаютъ случайно—и ограничиваются занесеніемъ ихъ въ списокъ. Доказательствомъ этому служатъ слѣдующія слова отчета: „Школы грамотности не могли быть предметомъ особенной заботливости совѣта, такъ какъ у него имѣлись лишь самыя краткія свѣденія о нихъ—о мѣстѣ ихъ нахожденія, времени учрежденія и числѣ учащихся“. Если у совѣта не было болѣе подробныхъ и точныхъ свѣдѣній о школахъ грамотности, то это зависитъ, очевидно, отъ недостаточнаго попеченія о нихъ со стороны мѣстныхъ священниковъ. Еще яснѣе этотъ недостатокъ обнаруживается цифрами. Отчетъ насчитываетъ, для *всей губерніи*, 820 учащихся въ школахъ грамотности (въ 1885-6 г. — 620), а изъ отчета лужскаго уѣзднаго училищнаго совѣта за 1885-6 г. видно, что въ *одномъ мужскомъ уѣздѣ* ихъ было 984. По отчету епархіальнаго совѣта въ лужскомъ уѣздѣ, въ 1886-7 г., числится 27 школъ грамотности, а по отчету лужскаго училищнаго совѣта ихъ уже въ 1885-6 г. было *семьдесятъ-девять*. Число школъ грамотности постоянно растетъ—слѣдовательно большая ихъ часть игнорируется священниками и остается неизвѣстной епархіальному совѣту. Отсюда и крайняя незначительность помощи, оказываемой съ его стороны этимъ школамъ; для всей губерніи она едва превышаетъ, въ отчетномъ году, триста рублей. Не правы ли мы были, выражая столько разъ сожалѣніе о переходѣ школъ грамотности въ вѣденіе духовенства?

Въ разбираемомъ нами отчетѣ есть и симпатичныя черты. Сюда относится, прежде всего, признаніе того безспорнаго факта, что двухъ лѣтъ—мало для прохожденія курса начальной школы, что продолжительность ученія въ церковно-приходской школѣ должна быть увеличена, по примѣру земской школы, до трехъ или даже до четырехъ лѣтъ. Утѣшительно видѣть, далѣе, что совѣтъ не вступаетъ въ соперничество съ другими вѣдомствами и не спѣшитъ увеличить, во что бы то ни стало, кругъ своего вѣдомства. Въ царскосельскомъ уѣздѣ предполагалось открыть новую церковно-приходскую школу, но учредители ея измѣнили первоначальное свое намѣреніе и передали ее въ вѣденіе уѣзднаго училищнаго совѣта. Епархіальный совѣтъ, „для сохраненія требуемаго правилами единодушія между всѣми лицами и учрежденіями, призванными къ служенію просвѣщенію народа“, тотчасъ же исключилъ эту школу изъ списка цер-

ковно-приходскихъ. Новоладожское земство предложило епархіальному совѣту принять въ свое завѣдываніе всѣ земскія школы уѣзда, съ платою отъ земства по 150 и отъ крестьянскихъ обществъ по 100 рублей на каждую школу; но совѣтъ, прежде чѣмъ согласиться на это предложеніе, рѣшилъ собрать подробныя свѣденія о положеніи земскихъ школъ въ новоладожскомъ уѣздѣ. Всего больше сочувствія внушаетъ скромность, съ которою совѣтъ говоритъ, на этотъ разъ, о результатѣ своихъ усилій. Онъ признаетъ „скудость и неопредѣленность“ свѣденій, имѣющихся у него, о „качествахъ преподаванія“ въ церковно-приходскихъ школахъ ¹⁾, и приходитъ къ слѣдующему заключенію: „остается только съ терпѣніемъ ожидать плодовъ отъ церковно-приходскихъ школъ, и хотя бы эти плоды, въ настоящее время, были менѣе зерна горчичнаго, остается твердо надѣяться, что дѣло христіанскаго просвѣщенія русскаго народа, начатое подъ покровомъ церкви, возрастетъ и станетъ величественнымъ зданіемъ во славу и благодѣйствіе нашего отечества“. Конечно, здѣсь упущено изъ виду, что „дѣло христіанскаго просвѣщенія русскаго народа“ начато гораздо раньше изданія правилъ о церковно-приходскихъ школахъ; но совершенно правильнымъ представляется указаніе на необходимость терпѣнія и выжиданія, на отсутствіе плодовъ, которые позволяли бы судить о деревѣ—другими словами, на преждевременность мѣръ, направленныхъ къ единовластію церковно-приходской школы.

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.

¹⁾ Этому признанію не вполне соответствуетъ, однако, число лицъ (54), представленныхъ совѣтомъ къ пособію или наградѣ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ.

Стихотворения С. Я. Надсона, съ портретомъ, факсимиле и биографическими очерками. Изданіе шестое (посмертное), К. Т. Солдатовъ. Собственность общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ. Москва, 1887. Стр. LXXV и 456. Цѣна 2 р. 50 коп.

Это прекрасное въ типографскомъ отношеніи изданіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ первое полное собраніе стихотвореній С. Я. Надсона. Къ стихотвореніямъ, напечатаннымъ при жизни поэта (числомъ 81), прибавлено сравнительно явное большее число посмертныхъ стихотвореній. И тѣ, и другія расцѣплены во времени ихъ написанія, такъ что теперь можно составить себѣ полное понятіе объ исторіи дарованія автора. Много интересныя подробности заключаетъ въ себѣ біографія Надсона; онъ является здѣсь такимъ же симпатичнымъ человекомъ, какимъ мы его знали симпатичнымъ поэтомъ.

Физиономія и выраженіе чувствъ, П. Мантеггачи. Переводъ Н. Грота и Е. Вербицкаго. Кіевъ. XXIX и 303. Съ 8 таблицами рисунковъ.

Главное, если не единственное достоинство этой книги, написанной въ фельетонномъ стилѣ, составляютъ предположенное ей объясненіе "отъ редакціи" о задачахъ и будущемъ значеніи психологіи и приложения къ ней статьи Е. Вербицкаго "о цвѣтѣ глазъ и волосъ у населенія некоторыхъ мѣстностей Россіи". Послѣ глубокихъ и серьезныхъ выводовъ Дарвина изъ его "Выраженія ощущеній у человека и животныхъ", послѣ трудовъ Пидерита, наблюденій Грасіоло, русскаго утешнаго Лесгафта, блестящихъ, остроумныхъ замѣтокъ, разсѣпанныхъ въ "Paverga et Pavapromena" у Шопенгауера—книга Мантеггачи едва ли можетъ представлять серьезный интересъ. Неточность и неясность опредѣленій автора тоже не служатъ къ облегченію пониманія этимъ сборомъ цитатъ самыхъ разнообразныхъ и лирическихъ отступленій, довольно неожиданныхъ въ серьезномъ научномъ трудѣ. Вообще книга могла бы быть сокращена, безъ ущерба ей достоинству, освобожденіемъ ея отъ многословныхъ тирадъ, въ родѣ слѣдующей: "поцѣлуй игралъ видную роль на страницахъ исторіи человечества: перфидо поцѣлуй смывался кровью, возбуждалъ войны между племенами и народами. И это естественно: какъ источникъ безконечнаго наслажденія, онъ могъ возбуждать безконечную зависть; онъ могъ открывать измѣну или сулить блаженство. Хотя губы и покрыты кожей, но они уже имѣютъ свойства внутренностей. На этой розовой границѣ, гдѣ нѣтъ ни національныхъ гербовъ, ни таможенъ, сходятся внутренняя и внѣшняя природа человека, причемъ тысячи очень чувствительныхъ нервовъ раздѣляютъ и получаютъ вновь впечатлѣнія нашихъ ощущеній, нашего сердца и мысли. Поэты правы, говоря, что здѣсь встрѣчаются двѣ души; влюбленные всѣхъ временъ были тоже правы, когда въ страстномъ томленіи восклицали: только одинъ поцѣлуй или смерть!" и т. д., и т. д.—Иллюстрація исполнена недурно, но между ними попадаются изображенія нѣсколько странныя, напр. изображеніе лица съ выраженіемъ амальорія (?).

Артюръ Шопенгауеръ. Личи святаго философа. Переводъ Н. Маркуева. Москва, 1887. In 16°. 317 стр. Съ портретомъ Шопенгауера.

Всобщее признаніе глубины философіи одного изъ величайшихъ мыслителей XIX вѣка выразилось и у насъ многословными трудами съ цѣлью ознакомить русское общество съ главнѣйшими изъ его сочиненій. Въ ряду этихъ трудовъ безспорно первое мѣсто занимаетъ превосходный переводъ капитальнаго сочиненія Шопенгауера: "Міръ, какъ воля и представленіе", сдѣланный г. Фетомъ. Книга эта, однако, едва ли доступна большинству читателей, какъ по своему объему, такъ и по строго-научному лизку сочиненія, требующаго для своего полного уразумѣнія предварительной философской подготовки. Поэтому весьма кстати появляется изданіе г-на Маркуева, гдѣ въ святой формѣ, въ видѣ отрывныхъ положеній и афоризмовъ, развертываются оригинальные взгляды Шопенгауера на вопросы знанія, вѣры, нравственности и общественаго устройства. Общедоступное изложеніе этихъ взглядовъ не можетъ не производить отрезвляющаго впечатлѣнія на читателя, который подъ покровомъ внѣшней прони, столь пугающей панихъ въ Шопенгауерѣ, легко усмотритъ широкую гуманность и доброту умѣвшаго возвыситься надъ "злобою дня" мыслителя. Противъ этой желательной общедоступности нѣсколько грѣшитъ, однако, переводъ г. Маркуева, въ которомъ трудно узнается легкій, лисий и изобразительный лизку автора и его любимаго ученика Фраунштедта. Съ этой точки зрѣнія превосходные переводы г. Ф. Черниговца—"Свобода воли и основы морали" и "Афоризмы"—стоятъ неизмѣримо выше. Укажемъ для примѣра на такое мѣсто у г. Маркуева: "Но, подобно тому, какъ не все, что мы съѣдаемъ, усваивается организмомъ, но постылку, поскольку съѣденное переварено, причеъ на дѣлѣ ассимилируется лишь небольшая часть нищи, остальное же выбрасывается, такъ что вѣтъ больше того, что можетъ быть усвоено организмомъ, бесполезно и даже вредно; совершенно тоже самое бываетъ и съ тѣмъ, что мы читаемъ: лишь поскольку чтеніе даетъ нищу нашему мышленію, постылку оно и увеличиваетъ наше знаніе и истинное наше знаніе". Подобный слогъ, надобно признаться, можетъ сдѣлать неудобоарной самую ясную и простую мысль.

Вл. Михневичъ. Петербургское лето. Очерки дѣтнаго сезона. Литія складки. Дачный романъ. Спб. 1887. 12°. 350 стр. Ц. 1 р. 25 к.

Книжка г. Михневича состоитъ изъ газетныхъ фельетонныхъ, относящихся къ одному сюжету—петербургской дачной жизни. Авторъ достаточно извѣстенъ, какъ занимательный разсказчикъ, и настоящая книжка прочтется съ удовольствіемъ. Фельетонный стилъ предполагаетъ, конечно, свою особенную точку зрѣнія и манеру разсказа, и въ очеркахъ г. Михневича есть немалая доля повѣствовательной фантазіи; но есть и сакія подлинныя черты подгороднаго быта. Укажемъ, напримѣръ, главу: "Дачные пейзажи"; тѣ, кому случалось видѣвать, а особенно (Боже упаси) нѣтъ дѣло съ этой разновидностью русскаго "парода", согласится, что изображеніе очень близко къ подлиннику; точность его почти этнографическая.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКѢ

НА 1888 Г.

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРИИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ.

Годъ:	Полгода:	Четверть:	Годъ:	Полгода:	Четверть:
Внѣ доставки 16 р. 50 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	Съ пересылкою 17 р.	8 р. 50 к.	4 р. 25 к.
Съ доставкой 16 „ — „	8 „ — „	4 „ — „	За границей „	10 „ — „	5 „ — „

Нумеръ журнала, съ доставкой и пересылкою въ Россіи и за границей — 1 р. 50 к.

Книжные магазины пользуются при подпискѣ обычною уступкою.

ПОДПИСКА принимается — въ Петербургѣ: 1) въ Главной Конторѣ журнала „Вѣстникъ Европы“ въ С.-Петербургѣ, на Вас. Остр., 2-я лин., 7; 2) въ ея Отдѣленіи, при книжномъ магазинѣ Э. Мелле, на Невскомъ проспектѣ; — въ Москвѣ: 1) при книжныхъ магазинахъ Н. Н. Мамонтова, на Кузнецкомъ Мосту; 2) Н. П. Карбасникова, на Моховой, д. Коха, и 3) въ Конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи. — Иногородные обращаются по почтѣ въ Редакцію журнала: Спб., Галерная, 20, а лично — въ Главную Контору. Тамъ же принимаются частныя извѣщенія и ОБЪЯВЛЕНІЯ для напечатанія въ журналѣ.

О Т Ъ Р Е Д А К Ц І И.

Редакція отвѣчаетъ вполнѣ за точную и своевременную доставку городскихъ подписчикамъ Главной Конторы и ея Отдѣленій, и тѣмъ изъ иногороднихъ и иностранныхъ, которые высылаютъ подписную сумму по почтѣ въ Редакцію „Вѣстника Европы“, въ Спб., Галерная, 20, съ сообщеніемъ подробнаго адреса: имя, отчество, фамилія, губернія и уѣздъ, почтовое учрежденіе, гдѣ (или) кому должна выдача журналовъ.

О перемѣнѣ адреса просить извѣщать своевременно и съ указаніемъ прежняго мѣстожительства; при перемѣнѣ адреса изъ городскихъ въ иногородние доплачивается 1 р. 50 к.; изъ иногороднихъ въ городскіе — 40 коп.; и изъ городскихъ или иногороднихъ въ иностранные — недостающее до вышеуказанныхъ цѣнъ за границей.

Жалобы высылаются исключительно въ Редакцію, если подписка была сдѣлана въ указанныя мѣстахъ, и, согласно объявленію отъ Почтозав. Департамента, не позже какъ до получения слѣдующаго номера журнала.

Вслѣдствіе на получение журнала высылаются особо тѣмъ изъ иногороднихъ, которые приложить къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюленичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:

Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., 2 л., 7.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., Академ. пер., 7.

Digitized by Google

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРИИ-ПОЛИТИКИ.

ИЗДАЮЩІЙСЯ

OCT 26 1887

LIBRARY

ДВАДЦАТЬ-ВТОРОЙ ГОДЪ.—КНИГА 10-я.

213 ОКТЯБРЬ, 1887.

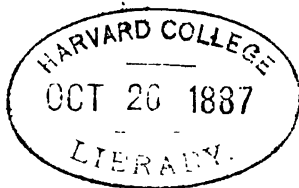
ПЕТЕРБУРГЪ.

КНИГА 10-я. — ОКТЯБРЬ, 1887.

Стр.

I.—ИЗЪ АВТОБІОГРАФІИ.—II.—Окончаніе.—М. М. Антокольскаго.	441
II.—ТИПЪ ФАУСТА ВЪ МІРОВОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.—Очерки.—IV.—Окончаніе.— М. Я. Фринштутъ.	470
III.—ТЮРЬМА.—Повѣсть.—XII-XXI.—Окончаніе.—В. И. Дмитріевой.	502
IV.—П. Н. КУДРЯВЦЕВЪ, ВЪ ЕГО УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ТРУДАХЪ.— II.—Окончаніе.—В. И. Герье.	564
V.—ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА. Жизнь и приключенія Никанора Затрапезнаго.— I.—Гриздо.—II.—Мое рожденіе и раннее дѣтство. Воспитаніе физическое.— III.—Воспитаніе нравственное.—И. Щедринъ.	599
VI.—НОВЫЯ ОБЪЯСНЕНІЯ ПУШКИНА.—I.—А. В. Пыпина.	632
VII.—СТАРЫЙ ДРУГЪ.—Романъ.—XXII-XXXIX.—I. I. Яенискаго.	676
VIII.—ЧЕТЫРЕ ЛЕКЦІИ ГЕОРГА БРАНДЕСА, въ Петербургѣ и въ Москвѣ.—I.— Художественный реализмъ у Эмиля Золя.—II.—О литературной критикѣ.	733
IX.—СТЕЛЛА.—Романъ въ двухъ частяхъ, являясь Броддонъ.—Съ англійскаго.— Часть вторая.—X-XIII.—Окончаніе.—А. Э.	768
X.—ВИКТОРЪ ГЮГО и НОВѢЙШАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ КРИТИКА.—К. К. Ар- сеньева.	802
XI.—ХРОНИКА.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Отчетъ министра народнаго про- свѣщенія за 1884 годъ.—Наши университеты, въ сравненіи съ нѣмецкими; гимназіи, прогимназіи, реальныя училища. — Правила объ цензурѣ и испытательныхъ коммисіяхъ; отличительныя черты историко-филологиче- ской коммисіи. — Случаи объ отягчѣ или ограниченіи служебныхъ при- вилегій, обусловливаемыхъ образованіемъ.—Одинъ юридическій вопросъ.	818
XII.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Безсиліе дипломатическихъ проектовъ по болгарскому вопросу.—Турція въ роли представительницы порядка и закон- ности. — Необходимость политики невмѣшательства. — Нѣмецко-болгарскій инцидентъ и ошибочное его толкованіе. — Положеніе дѣлъ въ Болгаріи и способы борьбы съ оппозиціею.—Англія и ирландскій вопросъ.—Политиче- скія дѣла Франціи. — Новое пограничное столкновеніе и манифестъ графа Парнаксаго.	844
XIII.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—М. Н. Катковъ, 1863 годъ. Вып. I.—Лес- сингъ, какъ драматургъ, Ф. Андерсона. — Искусство устнаго изложенія, М. Бродовскаго.—К. К.—О естественныхъ предѣлахъ народовъ и государствъ.— Платонизмъ, А. М. Гилярова.—Публичныя лекціи и рѣчи, И. Тарасова.— Принципы отѣтственности желѣзныхъ дорогъ, А. Гордона.—Судьбы Ирландіи, Г. Авапасьева.—Наслѣдственность болѣзней, перев. М. Тумновскаго.— Письма изъ Персіи, Е. Вѣлосерскаго.—Современная Персія, Уильяма.—Д. С.— Гигіена нервовъ и нейропатіи, д-ра Кюллера.—А. К.	856
XIV.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.—Защитительная рѣчь профессора Вла- димірова, по дѣлу подираніоннаго Шмидта. — Давно забытый споръ, какъ иллюстрація къ недавнему проищю.—Еще два слова о продолжателяхъ и подражателяхъ въ "Московскихъ Вѣдомостяхъ"	879
XV.—БІОБІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.—Мелочи жизни, М. Е. Салтыкова.— Двадцатипятилѣтіе Пермскаго края, Е. Красноперева.—Опытъ статистиче- скаго изслѣдованія о дѣятельности кооперативныхъ товариществъ, Н. Осипова.—Свойства матеріи, Дж. Тата.—Учебникъ акушерства для акушеровъ, д-ра Шинета.—Иллюстрированный словарь практическихъ свѣ- дѣній, Л. Симонина, вып. 9.	

ОБЪЯВЛЕНІЯ см. ниже: XVI стр.



ИЗЪ АВТОБІОГРАФІИ

II *).

Моя жизнь, послѣ смерти проф. Реймерса, въ академіи стала еще непригляднѣе, и я задумалъ совсѣмъ оставить академію и уѣхать куда-нибудь доучиваться. Но куда? Даль всегда заманчива, въ особенности для молодыхъ людей. Мое воображеніе сильно работало: мнѣ казалось, что тамъ всѣ такіе ученые, такъ хорошо понимаютъ искусство... О, тамъ не дадутъ мнѣ упасть... и я рѣшился ѣхать въ Берлинъ,—ну, хоть посмотрѣть... Остановека была за малымъ: не хватало денегъ. Я обратился къ барону, который раньше еще, при вступленіи въ академію, снабдилъ меня нужнымъ. Онъ и теперь не отказалъ. Получивъ на дорогу нѣсколько десятковъ рублей, я собрался ѣхать, тѣмъ болѣе, что каникулы уже наступили. Начались формальности. Получивъ нужныя бумаги, я отправился въ иностранное паспортное отдѣленіе. Тамъ встрѣтилъ чиновника, на видъ очень симпатичнаго, который объяснилъ мнѣ, что заграничный паспортъ могу получить только въ Вильнѣ, но если желаю, чтобы выдали мнѣ его здѣсь, то надо по телеграфу снестись съ Вильной. Оказалось, что телеграмма должна стоить ровно столько, сколько билетъ третьяго класса, и я, конечно, предпочелъ ѣхать самъ, тѣмъ болѣе, что моя родина ле-

*) См. выше: сентябрь, 68 стр.

жала какъ разъ по дорогѣ за границу. Я думалъ, что одновременно со мною будутъ отправлены нужныя бумаги, но немного ошибся. Приѣхавъ въ Вильну, сталъ каждый день посѣщать канцелярію губернатора, и каждый день получалъ одинъ отвѣтъ: — „еще нѣтъ“. Наконецъ бумаги пришли; я обрадовался, подумалъ: „значить, получу паспортъ“; но не тутъ-то было; понадобилось навести справки: „нѣтъ ли какихъ-нибудь препятствій“. Запросъ объ этомъ долженъ идти къ полиціймейстеру, отъ полиціймейстера къ частному приставу, отъ частнаго пристава къ надзирателю и потомъ обратно тѣмъ же чередомъ вернуться въ губернаторскую канцелярію. Сталъ я ходить по канцеляріямъ — занятіе, по правдѣ, не совсѣмъ пріятное. То главнаго нѣтъ, то главный занятъ, то онъ велитъ ждать, то придти въ другой разъ, а тамъ воскресенье, праздникъ, табельный день, и т. д. Три недѣли прошло, и дѣло мое подвинулось только на половину — оно находилось въ рукахъ надзирателя. Разъ встрѣчаю стараго знакомаго; увидавъ мое кислое лицо, онъ спросилъ: — „Ты нездоровъ?“ — „Вовсе не то, а вотъ досада...“ и я рассказавъ ему, въ чемъ дѣло. — „Самъ виноватъ, — отвѣчалъ онъ: — еще понянчишься! не подмажешь — не поѣдешь“. — „Что ты хочешь этимъ сказать: надо взятку дать?“ — „Это по-вашему, а по-нашему: на чай, на водку...“ отвѣчалъ онъ съ насмѣшкою. — „Да, помилуй, какъ дать?“ — „Очень просто; бывалъ ты у доктора? Такъ и тутъ. Помни, и не будь дуракомъ“.

На завтра я пошелъ въ канцелярію къ надзирателю. Въ сѣняхъ, въ чуланѣ, кричалъ благимъ матомъ какой-то пьяный; онъ ругался и просился вонъ. Въ канцеляріи обыскивали только что приведеннаго вора, который, между тѣмъ, нахально разговаривалъ, точно это не его касалось. Я подошелъ къ столу писаря и сказалъ ему, зачѣмъ пришелъ. Тотъ началъ цѣлый допросъ: „сколько вамъ лѣтъ? гдѣ родились? откуда ѣдете?“... Я понялъ, что онъ собирается затануть дѣло, и предупредилъ его: сунулъ руку въ карманъ, вынулъ нѣсколько серебряныхъ монетъ и положилъ ихъ на столъ. Писарь посмотрѣлъ на меня, быстро закрылъ монеты бумагами и торопливо проговорилъ: „хорошо, хорошо“... Я не менѣе торопливо выбѣжалъ вонъ...

Докончу рассказъ о моемъ пребываніи въ Вильнѣ однимъ трагико-комическимъ эпизодомъ. Помнишь, я въ прошломъ году привезъ сюда мой эскизъ „Нападенія инквизиціи на евреевъ“ и оставилъ его у своихъ родителей. Представь мой ужасъ, когда я увидѣлъ, что старуха-кухарка распорядилась съ нимъ по-своему: она сдѣлала изъ него курятникъ! Я былъ внѣ себя, а

она спокойно и флегматично отвѣчала мнѣ: „Чего кричите? вѣдь не съѣли же его, можно вычистить“...

Я уже въ Берлинѣ. Не могу сказать, чтобы онъ поразилъ меня послѣ Петербурга; напротивъ, я первымъ дѣломъ сталъ все бранить. Впрочемъ, это свойственно всѣмъ намъ, куда бы мы ни заѣхали. Я замѣтилъ, что нашъ братъ, пріѣхавши за границу, сейчасъ начинаетъ одно изъ двухъ: или браниться, или же таетъ, не то, что нѣмецъ, тащущій свой „фатерландъ“ всюду съ собою, или же англичанинъ, отстаивающій свою индивидуальность до того, что заставляетъ своего сына говорить по-французски „какъ настоящій англичанинъ“.

Раньше всего я посѣтилъ, конечно, музей: онъ показался мнѣ гораздо бѣднѣе нашего эрмитажа. Правда, тамъ были нѣкоторыя картины эпохи „до-возрожденія“, чего я не видалъ у насъ, но въ то время я не понималъ еще ихъ прелести; только многіе годы спустя полюбилъ это искусство, полюбилъ потому, что тутъ нашелъ то, чего такъ тщетно искалъ повсюду, именно, выраженіе души. У художниковъ времени „до-возрожденія“ палитра бѣдна красками, рисунокъ сухъ, кисть не смѣла, а жидка, но зато сколько души! Сколько сердечной теплоты сказывается у нихъ вездѣ, а главное, сколько искренности! Вся ихъ сила, все ихъ вниманіе концентрировались на томъ, какъ бы вѣрнѣе передать идеалъ, который они носили въ себѣ, которому вѣрили и который любили со всею горячностью своей гениальной души.

Послѣ „возрожденія“, искусство стало пышнѣе, кисть смѣлѣе, рисунокъ свободнѣе, краски блестящѣе, композиція раскинулась въ широкихъ размѣрахъ, на огромныхъ холстахъ, на стѣнахъ — однимъ словомъ, сила виртуозности развилась во всю свою мощь... Но то, что у первыхъ художниковъ было въ избыткѣ, того уже недоставало у ихъ преемниковъ. Художники уже не молились и не постились передъ тѣмъ, какъ начинали изображать свой идеалъ, какъ это часто дѣлалось прежде; нѣтъ, мы уже видимъ, что даже первоклассные художники съ одинаковымъ увлеченіемъ работаютъ вакханокъ и мадоннъ—форма начинаетъ замѣнять духъ. Какъ ни высока была эпоха возрожденія, въ ней уже чувствуется риторика, которая привела впоследствии къ упадку, къ бароку. Повидимому, двѣ одинаковыя силы не совмѣстимы даже у гениальныхъ людей, какъ двѣ души не совмѣстимы въ одномъ тѣлѣ.

Пожалуйста, не выведи изъ этого заключеніе, что я забраковываю великихъ художниковъ, передъ которыми преклоняется весь свѣтъ. Нисколько! Я не такъ одностороненъ. Я глубоко

что и уважаю ихъ. Только изъ двухъ великихъ проявленій чело-вѣческаго духа предпочитаю первое, потому что оно цѣльнѣе, искреннѣе и представляетъ собою полное и законченное выраженіе христіанскаго міросозерцанія безъ постороннихъ примѣсей.

Однако я отвлекся совершенно въ сторону, и потому спѣшу возвратиться. Мнѣ особенно понравилось устройство скульптурнаго музея; правда, тамъ было еще мало оригиналовъ, зато было сдѣлано все возможное, чтобы музей былъ доступенъ для массы, нуждающейся въ художественномъ воспитаніи. Гипсовые снимки съ лучшихъ твореній были разставлены согласно ходу развитія искусства; конечно, тутъ многого недоставало; но все-таки собраніе было довольно полное и соответствовало величинѣ помѣщенія.

Я остановился передъ фресками Каульбаха, въ которому уже успѣлъ охладѣть, вслѣдствіе его реторичности. Лучшая изъ четырехъ громадныхъ фресокъ—это Hunnen-Schlacht. Тутъ Каульбахъ является болѣе самимъ собою.

Пошелъ я и въ академію художествъ, и былъ крайне удивленъ, увидѣвъ тамъ все то же, что и въ нашей академіи: у натурщиковъ тѣ же позы, въ искусствѣ та же манера, композиціи на тѣ же заданныя темы, та же условность... Нѣсколько лѣтъ спустя, я былъ не менѣе пораженъ, когда въ флорентинской академіи художествъ увидѣлъ опять то же самое... Точно международный заговоръ противъ родного искусства!

Осмотрѣвъ все то, что главнымъ образомъ меня интересовало, пошелъ взглянуть на городъ. Берлинъ теперь не то, чѣмъ былъ восемнадцать лѣтъ тому назадъ. Теперь сколько прелести въ его архитектурѣ, какое разнообразіе! Какія чудеса теперь дѣлаютъ изъ терракоты, перемѣшивая ее то съ гранитомъ, то съ позолотой, а то просто съ какою-нибудь легкою окраской. Но тогда было не то. Я помню мой тогдашній въѣздъ въ Берлинъ. Извозчикъ везъ меня долго и медленно все мимо какихъ-то заборовъ. Это меня удивило, и я спросилъ извозчика:— „Это Берлинъ?“— „Nei“, неохотно отвѣчалъ онъ.— „А что это?“— „Langenstrasse“.— „Гдѣ же находится Langenstrasse?“— „In Berlin“.

Не стану описывать тебѣ самого города—это будетъ одинаково утомительно какъ для тебя, такъ и для меня. Скажу только, что тогда онъ носилъ вполнѣ заслуженное названіе „казармы“. Монументъ Фридриха II хорошъ, но на половину, а именно, сама конная статуя; къ трехъ-этажному пьедесталу съ условными барельефами я уже тогда питалъ инстинктивное отвращеніе. Тутъ выходитъ, что не пьедесталъ для статуи, а статуя для пьедестала.

Окончивъ мой бѣглый осмотръ, я пошелъ къ одному ученому теологу; я имѣлъ къ нему визитную карточку съ рекомендаціей отъ такого же ученаго доктора, какъ онъ. Надо сказать, что это была единственная рекомендація, которую я имѣлъ изъ Россіи; я ни за что не хотѣлъ брать ничего подобнаго. Мнѣ казалось, что моя работа будетъ мнѣ лучшею и вѣрнѣйшею рекомендаціею. Но, увы, скоро я увидѣлъ, какъ жестоко ошибался, какъ мало еще зналъ жизнь.

Ученый теологъ былъ тогда въ отсутствіи, приходилось порядочно долго ждать его. Я пошелъ по городу съ работою подмышкой искать заработка, точь-въ-точь какъ сдѣлалъ, пріѣхавши въ первый разъ въ Петербургъ; но только въ Берлинѣ я ходилъ не по токарнымъ мастерскимъ, а по художественнымъ магазинамъ. Въ одномъ получилъ лаконическій отвѣтъ: „Hier ist kein Platz“; въ другомъ приблизительно то же самое; въ третьемъ со мной обошлись еще проще и грубѣе, — осмотрѣвъ мою работу и меня, хозяинъ сказалъ: „Да, но кто васъ знаетъ, вы, можетъ быть, это украли!“ Я почувствовалъ, что краска стыда бросается мнѣ въ лицо. Мнѣ было досадно, но чѣмъ я могъ доказать, что онъ не правъ? Больше всего досадовало я на свою невзрачность, давнюю поводъ думать обо мнѣ Богъ знаетъ что. Дѣйствительно, до сихъ поръ я не обращалъ никакого особеннаго вниманія на свой костюмъ, но тутъ разсердился, изъ послѣднихъ денегъ купилъ себѣ новое платье и шляпу, и сдѣлался берлинцемъ хоть куда. Это немного успокоило мое самолюбіе, но дѣло отъ этого не выиграло. — Не лучший исходъ имѣла и рекомендація въ ученому теологу, котораго я, наконецъ, дождался. Выслушавъ меня, онъ написалъ письмо, къ другому, по его словамъ, извѣстному художнику. Я остался этимъ очень доволенъ и пошелъ по данному адресу; ходилъ много разъ, и каждый разъ получалъ тотъ же отвѣтъ: „дома нѣтъ“. Наконецъ, услышалъ лаконическое слово: „дома“, безъ всякихъ постороннихъ прибавленій. „Извѣстный художникъ“ велѣлъ просить меня къ себѣ въ „бюро“. — „Странно, — подумалъ я: — что есть общаго между бюро и художникомъ?“ Послѣ нѣсколькихъ довольно комическихъ объясненій оказалось, что извѣстный теологъ проситъ у извѣстнаго художника работы для меня, но это не могло состояться просто потому, что я стоялъ передъ маляромъ, занимавшимся окраской крышъ и т. под. — Что мнѣ оставалось дѣлать? куда ѣхать? Съ досады я заперся и съ увлеченіемъ взялся за новый эскизъ „Назиданія инквизиціи на евреевъ“. На этотъ разъ я сдѣлалъ его

въ гораздо меньшемъ видѣ изъ воска и дерева. Впослѣдствіи онъ и былъ выставленъ вмѣстѣ съ „Иваномъ Грознымъ“.

Въ занятіяхъ время быстро прошло, но не менѣе быстро изсякъ мой кошелекъ. Жилъ я тогда, конечно, не въ гостинницѣ, а у людей небогатыхъ, но честныхъ, по крайней мѣрѣ, по отношенію ко мнѣ. Не стану тебѣ рассказывать многихъ курьезовъ, случавшихся со мною и другими,—это не касается дѣла, — расскажу объ одномъ, самомъ незначительномъ изъ всѣхъ, и то только потому, что онъ можетъ позабавить тебя, какъ русскаго. Разъ моя хозяйшка захотѣла сдѣлать мнѣ особенное удовольствіе. Придя какъ-то вечеромъ домой, я по обыкновенію нашелъ свой „Abendbrodt“ и тутъ же какой-то бокалъ съ жидкостью; цвѣтъ ея напоминалъ пиво съ пѣною; пахла она гвоздикою; я поднялъ бокалъ и посмотрѣлъ на свѣтъ — мутно, попробовалъ пить — мнестура... — „Что это такое?“ спрашиваю у хозяйки. Изумленная и сконфуженная, она отвѣтила мнѣ также вопросомъ: — „Ахъ, развѣ вы не знаете?“ и, помолчавъ минуту, прибавила: „Вѣдь это чай, вашъ русскій чай!“ — „Гдѣ же вы его взяли?“ — „Въ аптекѣ“.

Кончивъ эскизъ, я думалъ-было сходить къ скульптору, который славился тамъ, какъ реалистъ. Но именно тогда открылась выставка, и я пошелъ раньше туда, познакомиться съ его работами. Я тогда не понималъ и до сихъ поръ не понимаю, почему его называютъ реалистомъ. На выставкѣ былъ его „Фавнъ“ съ козлиными ногами, безъ сомнѣнія талантливый, но весь реализмъ состоялъ въ томъ, что внѣшняя отдѣлка была болѣе морщиниста — вотъ и все. Подобныя произведенія принадлежатъ псевдо-реализму, существующему наряду съ псевдо-классицизмомъ; оба заимствуютъ свои сюжеты изъ греческой мифологіи, оба заботятся исключительно о внѣшней отдѣлкѣ, оба утрируютъ, и потому не достигаютъ цѣли... оба одинъ другого стѣбятъ. Осматривая выставку, я думалъ: „Нѣтъ, видно хорошо тамъ, гдѣ насъ нѣтъ... Дома не хорошо и на чужбинѣ не лучше, въ особенности мнѣ, одинокому, бродячему здѣсь какъ въ лѣсу“...

Я оставилъ Берлинъ и съ величайшими трудностями и лишениями добрался до Вильны, а затѣмъ и до Петербурга. Въ академію немного опоздалъ, но къ этому я относился равнодушно; что мнѣ учиться? Пожалуй, учиться никогда не поздно, весь вѣкъ приходится учиться, но только для того, чтобы идти впередъ, а не такъ, какъ бѣдный К., повторять все одно и то же. Нѣкоторые изъ друзей моихъ стали уже конкуррентами — для нихъ было сдѣлано исключеніе; мнѣ оставалось только смотрѣть на нихъ съ

досадою. Мое положеніе съ каждымъ днемъ становилось все хуже и хуже; моя бодрость была надломлена, по временамъ я падалъ духомъ; у меня не было ни настоящаго, ни будущаго—оставаться въ академіи было невозможно и добиться отъ нея я ничего не могъ. Единственной моею матеріальною поддержкой оставалась стипендія, но могъ ли я этимъ довольствоваться? Да пора было и „честь знать“, и уступить ее другимъ.

Трудно мнѣ описать тогдашнее мое состояніе, трудно по двумъ причинамъ: не слѣбю, да и тяжело вспоминать. Бывали минуты, когда я самъ себя не узнавалъ. Я иногда блуждалъ какъ тѣнь или сидѣлъ по цѣлымъ вечерамъ дома и думалъ въ потьмахъ, а думы мои были темнѣе ночи... При этомъ извѣстія изъ дому были печальны и самъ я чувствовалъ себя нездоровымъ. Ходилъ къ доктору: онъ далъ мнѣ пилюли, посоветовалъ пить молоко, ѣсть нежирное мясо, и т. д. Я принялъ эти совѣты съ улыбкою, поблагодарилъ доктора и, конечно, совѣтовъ его не исполнилъ. Къ тому же комната моя оказалась сырою; я переѣхалъ ее и попалъ въ худшую, еще разъ переѣхалъ, но было то же самое. Къ довершенію всего я сталъ замѣчать, что старые товарищи относятся ко мнѣ какъ-то странно, не попрежнему. Одинъ изъ близкихъ друзей высказалъ это довольно рѣзко и именно вотъ какимъ образомъ. Я постучался разъ въ его мастерскую; онъ открылъ дверь, не отнимая руки отъ замка, сталъ на порогъ и началъ увѣщевать меня:—„Ну, чего ты шляешься?“ Я вспыхнулъ, но онъ вспыхнулъ не менѣе меня и закричалъ:—„Нѣтъ, довольно за тебя распинаться... Мнѣ приходится вездѣ спорить за тебя... Я краснѣю... тебя всѣ считаютъ пропащимъ!“... Съ его стороны это было искренно, дружески, братски сказано, но все-таки для меня очень и очень больно. Нашъ прежній кружокъ мало-по-малу разбрелся: кто оставилъ академію, кто умеръ, кому дѣло мѣшало, а кому и просто надобно; у насъ вообще никто не можетъ похвастаться выдержкою. Было у меня много и другихъ товарищей, уже возмужалыхъ, съ серьезнымъ образованіемъ и съ большимъ или меньшимъ матеріальнымъ обезпеченіемъ. Мы очень часто сходились и много спорили, тѣмъ больше, что я держался мнѣній противоположныхъ ихъ взглядамъ. Конечно, искусство было для всѣхъ насъ самымъ жгучимъ вопросомъ; но сытый голодному не пара—ихъ жизнь была весела и беззаботна, моя—печальна. Они смотрѣли на меня какъ на обиженнаго, охотно сочувствовали мнѣ, возмущались... но все-таки не было полного равенства, и это скоро высказалось. Между товарищами былъ одинъ, самый талантливый. Въ академіи ему

все удавалось, все улыбалось, начальство всегда щедро награждало его. Разъ, послѣ подобнаго успѣха, онъ спросилъ у меня: — „Ну, Антикъ, скажи откровенно твое мнѣніе обо мнѣ“. — „А знаешь, — отвѣчалъ я: — ты представляешься мнѣ на высокой скалѣ, на краю пропасти; будь остороженъ, еще одинъ шагъ, и ты упадешь“... Товарищъ мой былъ возмущенъ, всталъ, подошелъ ко мнѣ и спросилъ, почему я такъ думаю. — „Надо сказать тебѣ, — началъ я опять: — что я говорю это потому, что ты талантъ, и другъ, и умный человѣкъ... и въ такомъ случаѣ предостереженіе не мѣшаетъ принять къ свѣденію. Вотъ недавно одинъ мой товарищъ захлопнулъ передъ моимъ носомъ дверь и не выпустилъ меня къ себѣ просто изъ дружбы... Я не обидѣлся, хотя было чѣмъ обидѣться, и принялъ только къ свѣденію. Можетъ быть, онъ правъ на половину, на четверть, въ чемъ-нибудь, наконецъ“... — „Все это хорошо, но объясни мнѣ, почему мое положеніе такъ опасно?“ — „Потому, что у тебя нѣтъ художественной правды“... — „А по твоему искусство должно быть правдой?“ — „Вовсе нѣтъ; я хорошо знаю, что правда не есть искусство, а искусство не есть правда—потому-то я и говорю о художественной правдѣ“.

И пошелъ споръ о реализмѣ и идеализмѣ, тотъ нескончаемый споръ, который продолжается и донинѣ.

Надо сказать тебѣ, что къ сожалѣнію искусство не особенно богато терминами; ихъ всего три: идеализмъ, реализмъ и натурализмъ. Зато какое разнообразіе мыслей и понятій! Совѣтую, другъ, если тебѣ когда-нибудь придется спорить объ идеализмѣ и реализмѣ, непременно раньше освѣдомься, чтѣ подъ ними понимаетъ твой оппонентъ, — иначе рискуешь докричаться до хрипоты и все-таки ни до чего не договориться. За одно спроси у твоего противника: допускаетъ ли онъ идеальное содержаніе въ реальныхъ формахъ, какъ это дѣлалось въ первой половинѣ среднихъ вѣковъ и какъ теперь это дѣлаетъ твой покорнѣйшій слуга. И если это допускается, то какъ это назвать и подъ какую рубрику подвести?

И нашъ споръ съ товарищемъ окончился ничѣмъ, но послѣ него я почувствовалъ, что между нами обнаруживается, такъ сказать, трещина, которая вначалѣ была почти незамѣтна, но потомъ стала видѣе.

Подшли экзамены. Я опять выставилъ свой эскизъ: „Нападеніе инквизиціи на евреевъ“, выставилъ просто потому, что „нагой разбой не боится“ — будь чтѣ будетъ, хуже быть не можетъ... И представь мое удивленіе, когда я узналъ, что за этотъ эскизъ

я получилъ третью премію — награду въ 25 рублей. Молодежь встрѣчала меня уже не съ хохотомъ, а молчаливо и съ удивленіемъ; иные были рады за меня, иные остались недовольны... Между послѣдними оказался и тотъ пріятель, съ которымъ у меня былъ споръ о художествѣ; онъ на этотъ разъ получилъ первую премію, а затѣмъ мы окончательно разошлись, и не безъ шума. Чѣмъ я дольше живу, тѣмъ болѣе убѣждаюсь, что очень многіе не теряютъ около себя равной величины — убѣждаюсь и сожалею, что это такъ.

Счастье стало мнѣ улыбаться. Послѣ названнаго маленькаго удовольствія, я испыталъ большее — случайно познакомился съ В. В. Стасовымъ. Его всѣ знаютъ; рѣдко кто имѣетъ столько враговъ, какъ онъ, потому что рѣдко кто говоритъ такъ рѣзко и откровенно другимъ то, что думаетъ и чувствуетъ. Онъ высокъ ростомъ; лицо его, окаймленное густою бородою, энергично-выразительно; движенія быстры и полны жизни. Онъ не терпитъ сантиментальности и въ особенности фальши, и высказываетъ это всѣмъ, не обращая вниманія на послѣдствія. Часто увлекается со всею горячностью своей натуры, и самъ сознаетъ это, но прибавляетъ: „иначе нельзя, не разбудишь“... Недавно еще, кажется, въ день его рожденія, Ропетъ поднесъ ему что-то въ родѣ эмблемы, изображавшей шпоры и спички. И дѣйствительно, рѣдко кто можетъ такъ пламенно возбуждать художественный интересъ. Можетъ быть, многіе съ нимъ не согласны, но, безъ сомнѣнія, онъ будитъ. Когда личные страсти улягутся, когда явится судъ безпристрастный и увидитъ, что было сдѣлано въ его время въ русской школѣ и какое живое участіе онъ принималъ во всемъ томъ, что просыпалось, тогда у него будетъ болѣе друзей, чѣмъ теперь враговъ.

Въ библіотекѣ, гдѣ я встрѣтилъ въ первый разъ Стасова, былъ въ то же время и нашъ лекторъ Горностаевъ, который высказался противъ моего эскиза: „Нападеніе инквизиціи на евреевъ“. Какъ только В. В. узналъ, въ чемъ дѣло, онъ сталъ доказывать противное, и завязался споръ, одинъ изъ тѣхъ споровъ, которые потомъ такъ часто повторялись между нами письменно и словесно. Послѣ перваго знакомства, я побывалъ у него на дому и, конечно, поспорилъ съ увлеченіемъ, такъ что когда, прощаясь, я случайно увидалъ себя въ зеркалѣ, то себя не узналъ: лицо мое было краснѣе красной рубахи Стасова. Мнѣ стало стыдно, я далъ себѣ слово болѣе не спорить, и не сдержалъ его.

Въ эту зиму я былъ приглашенъ къ одной почтенной дамѣ, пожелавшей имѣть деревянное распятіе моей работы. По этому

поводу между нами начался теологическій споръ, и такъ какъ мы оба были не сильны въ этомъ, то споръ кончился съ ея стороны вздохомъ, съ моею — молчаніемъ. Она удивлялась, что я еврей, а я удивлялся ея удивленію. Она стала говорить о чемъ-то возвышенномъ; я просилъ повторить. Она повторила, и я все-таки ничего не понялъ. На первый разъ тѣмъ и кончилось. Затѣмъ она сама пришла ко мнѣ, начала уговаривать, увѣщевать, просить, чтобы я, чуть ли не въ видѣ одолженія ей, перешелъ въ христіанство. Я давалъ ей уклончивые отвѣты, что это Богу, видно, было не угодно, иначе онъ не далъ бы мнѣ родиться евреемъ, и т. п. Она ушла, но черезъ нѣсколько дней опять пришла, согласилась дать мнѣ работу, съ условіемъ, однако, чтобы я прочиталъ какую-то молитву, которую тутъ же начала диктовать мнѣ: „ну, хоть на нѣмецкомъ языкѣ“, такъ заключила она свою просьбу и кончила тѣмъ, что сама помолилась и вручила мнѣ работу. Черезъ нѣсколько недѣль работа была окончена. Дама была въ восторгѣ, и я не менѣе, получивъ за свой трудъ сто рублей. Она осталась до того довольна, что угостила меня чаемъ и сама усѣлась тутъ же рядомъ; въ это время звонокъ!—она сконфузилась и велѣла поскорѣе убрать чай.

Мнѣ просто везло. Получилъ еще одинъ заказъ: сдѣлать четырехъ купидоновъ для часовъ и канделябровъ. Помню и сюжетъ: герой его—мальчикъ, похожій на дѣвушку, которая сидитъ тутъ же рядомъ; онъ держитъ въ рукахъ птичье гнѣздо и не даетъ его своей дамѣ, выпрашивающей его. Впрочемъ, это не мое творчество; мнѣ дали что-то въ этомъ родѣ въ стилѣ Пуссена—хотѣли только, чтобы было немного лучше. Мнѣ кажется, я сдѣлалъ немного похуже, но остались довольны; я тоже, получивъ сто рублей. Ты, пожалуйста, не смѣйся. Что мнѣ твои милліоны! Видишь, можно быть счастливымъ немного мѣньшимъ. Все это относительно. Я и теперь очень люблю деньги, когда ихъ нѣтъ; но имѣю ли рубль или десять—разницы въ радости не ощущаю. Прежде всего я расплатился съ долгами, это въ своемъ родѣ освобожденіе отъ комаровъ; затѣмъ заказалъ себѣ теплое пальто, ибо до сихъ поръ носилъ пладъ, сдѣлавшійся потомъ „историческимъ“—я отдалъ его своему наслѣднику по профессіи... И послѣ всего этого у меня еще осталось сто рублей съ тѣмъ-то!! Но это чтѣ!.. Академія, наконецъ, переложила свой гнѣвъ на милость и стала заботиться о моей будущности: порѣшили дать мнѣ званіе; какъ хочешь—дурно ли, хорошо ли—но я шесть лѣтъ проучился въ академіи художествъ... За мою оригинальность выдумали и оригинальную награду: именно, дать мнѣ почетное гражданство

за отличныя познанія въ скульптурѣ. Впрочемъ, общали только похлопотать объ этомъ, а пока мнѣ опять оставалось ждать.

Въ жизни моей начинался новый періодъ, и печальнѣе, и радостнѣе прежняго. То была послѣдняя брешь, которую оставалось пробить, чтобы завладѣть жизнью, свободой, творчествомъ, независимостью — всѣмъ, чѣмъ я теперь владѣю, что мнѣ дорого... Другого исхода не было; я шелъ не останавливаясь, не чувствуя своей усталости, бросаясь впередъ, борясь на жизнь и на смерть.. Побѣдилъ! а самъ встать не могъ...

Теперь я уже не былъ прежнимъ юношей, блуждавшимъ по ночамъ вдоль набережной и умолявшимъ звѣзды вразумить его, сказать ему, что такое искусство, научить, куда и какъ идти... Теперь я зналъ себя, зналъ и свою дорогу. Пусть сто тысячъ разъ скажутъ, что я заблуждаюсь, я всегда отвѣчу, что всѣ ошибаются... что всѣ — слѣпцы, а я — зрячій. Кто отрицаетъ искусство, тотъ заклоняетъ отъ себя солнце, того жизнь холоднѣе Ледовитаго океана, тотъ никогда не бросался на шею матери и никогда ни передъ кѣмъ не изливалъ своихъ чувствъ горя или радости. Еслибы меня спросили, кто я, я отвѣчалъ бы: „художникъ; живу одною жизнью, но она наполнена другими жизнями, я чувствую чувства другихъ людей, всѣхъ ихъ одинаково люблю, всѣ они мнѣ дороги; я радуюсь ихъ радости, но еще ближе мнѣ ихъ печаль... Люди — это мои арфы, нервы ихъ для меня — струны; своимъ прикосновеніемъ я хочу пробуждать въ нихъ любовь, чувство добра“... Слабъ я былъ тогда тѣломъ, но духъ мой бодрствовалъ. Я былъ тогда въ томъ переходномъ возрастѣ, когда кажется, что весь міръ можно объять, когда нѣтъ пространства, нѣтъ препятствій. Подобное состояніе бываетъ только разъ въ жизни и никогда больше не повторяется. Но къ дѣлу.

Я давно задумалъ создать „Ивана Грознаго“. Образъ его сразу врѣзался въ мое воображеніе. Затѣмъ я задумалъ „Петра I“. Потомъ сталъ думать объ обоихъ вмѣстѣ. Мнѣ хотѣлось олицетворить двѣ совершенно-противоположныя черты русской исторіи. Мнѣ казалось, что эти столь чуждые одинъ другому образы въ исторіи дополняютъ другъ друга и составляютъ нѣчто цѣльное. Я бросился изучать ихъ по книгамъ. Къ сожалѣнію, литература, касающаяся ихъ, такъ сказать, адвокатурная, въ особенности по отношенію къ Петру I. Одни нападаютъ, другіе защищаютъ; — объективнаго, безпристрастнаго сужденія и до сихъ поръ нѣтъ. Оставалось только вдумываться, разспрашивать, спорить и самому вывести заключеніе. Оба образа сильно преслѣдовали меня. Я готовъ былъ начать ихъ обоихъ, но какъ? Мое положеніе было

таково, что даже одно желаніе было съ моей стороны дерзостью. Гдѣ работать, какъ взяться за дѣло, когда нѣтъ средствъ для самаго необходимаго? Но, проработавъ теперь нѣсколько мѣсяцевъ и имѣя сто рублей, я рѣшился начать во что бы то ни стало; остановился на „Иванѣ Грозномъ“, и хорошо сдѣлалъ: выборъ былъ удаченъ, иначе дѣло мое было бы проиграно навсегда.

Я опять началъ хлопотать и всѣмъ надоѣдать — занятіе тяжелое и противное, но что же дѣлать? Иногда по-неволѣ заставляешь замолчать сердце, когда оно сильно бьется. Получить мастерскую въ академіи — объ этомъ и рѣчи не могло быть, но мнѣ пришла счастливая мысль попросить позволенія работать въ скульптурномъ классѣ во время каникулъ; признаться, и на это не надѣялся; за то тѣмъ сильнѣе обрадовался я, когда просьба моя была уважена. Правда, я предварительно долженъ былъ исполнить маленькую обязанность: реставрировать нѣкоторые академическіе барельефы, получившіе когда-то первыя золотыя медали. Эти барельефы были до сихъ поръ запрятаны, и теперь они вновь появились на свѣтъ божій, только не совсѣмъ въ благополучномъ видѣ: у кого не хватало головы, у кого руки, а у кого ни того, ни другого. Я выбралъ барельефъ покойнаго профессора Пименова, бывший не въ лучшемъ положеніи. Онъ видѣлся среди другихъ своею пластичностью, чистотою линий и энергичностью. Пока я доканчивалъ реставрацію, настали каникулы, всѣ разъѣхались, классы закрылись, и я остался одинъ, царемъ среди массы гипсовыхъ фигуръ.

Я принялся за работу со всею энергіей, которою обладалъ: подъ напѣвъ гнулъ желѣзо, устроивалъ каркасъ, началъ обкладывать фигуру съ лихорадочною торопливостью... Работалъ, не чувствуя ни усталости, ни голода, сердился, волновался, гримасничалъ: то сжималъ ротъ, то раскрывалъ его, удерживая дыханіе... Такъ продолжалось дѣло часъ, два, шесть... Мнѣ хотѣлось передать все то, что я чувствую, все что пережилъ, вложить свою душу въ эту глину, вдохнуть въ нее жизнь... Каждый штрихъ, каждый мазокъ я дѣлалъ съ трепетомъ... Такъ проходилъ день и наступалъ вечеръ; идя по набережной, я машинально смотрѣлъ на кипучую ея жизнь, на корабли, на цѣлый лѣсъ мачтъ, на здоровыхъ носильщиковъ... а передо мной — все онъ, недовершенный образъ... Я уносилъ его домой и засыпалъ съ нимъ, нетерпѣливо ожидая завтрашняго дня.

Прошло шесть недѣль. Работа быстро подвинулась, почти на половину; передо мною уже сидѣлъ манекенъ; складки клялись удачно, и я продолжалъ работать съ жаромъ. Знакомые замѣтили

мою худощавость, черноту подъ глазами... но я смѣлся, говорилъ, что у меня теперь масленица, что чернота подъ глазами пожалуй есть, но худобы никонимъ образомъ быть не можетъ.

Но знаешь ли ты грозный образъ мой? Въ немъ духъ могучій, сила больного человѣка, — сила, передъ которой вся русская земля трепетала. Онъ былъ грознымъ; отъ одного движенія его пальца падали тысячи головъ; онъ былъ похожъ на высохшую губку, съ жадностью впивавшую — кровь... и чѣмъ больше жадать. День онъ проводилъ, смотря на пытки и казни; а по ночамъ, когда усталая душа и тѣло требовали покоя, когда все кругомъ спало, у него пробуждались совѣсть, сознаніе и воображеніе; они терзали его, и эти терзанія были страшнѣе пытокъ... Тѣни убитыхъ имъ подступаютъ, онъ наполняютъ весь покой — ему страшно, душно, онъ хватается за псалтырь, падаетъ ницъ, бьетъ себя въ грудь, вается и падаетъ въ изнеможеніи... На завтра онъ весь разбитъ, нервно потрясенъ, раздражителенъ... Онъ старается найти себѣ оправданіе, и находитъ его въ поступкахъ людей, его окружающихъ... Подозрѣнія превращаются въ обвиненія, и сегодняшний день становится похожимъ на вчерашній... Онъ мучилъ и самъ страдалъ. Таковъ „Иванъ Грозный“. Но вотъ вопросъ: почему онъ остался у народа такимъ легендарнымъ? Почему воспѣваютъ его? Почему его ликъ до сихъ поръ заманивъ для насъ? Почему мое изображеніе его такъ понравилось и приковало всѣхъ? Не потому ли, что мы любимъ сумерки?..

Два года спустя, я создалъ другой образъ, образъ Петра Великаго, совершенно противоположный Ивану Грозному. Мнѣ хотѣлось въ немъ выразить могучую силу русскаго самодержавія. Необыкновенный во всѣхъ отношеніяхъ, это былъ не одинъ человѣкъ, а „отливокъ“ изъ нѣсколькихъ вмѣстѣ; у него все было необыкновенно: ростъ — необыкновенный, сила — необыкновенная, умъ — необыкновенный. Какъ администраторъ, какъ полководецъ — онъ тоже былъ изъ ряду вонъ. И страсти, и жестокость его были необыкновенны. То былъ отецъ своего времени: семействомъ его была вся Россія; ее одну онъ любилъ, и любилъ какъ герой; онъ защищалъ ее, какъ орелъ, несущій птенцовъ своихъ на крыльяхъ и выставляющій свою грудь противъ опасности. Онъ былъ бдительнымъ стражемъ, готовъ былъ защищать, но готовъ былъ и нападать на враговъ, при малѣйшей ихъ угрозы. Петръ I былъ однимъ изъ тѣхъ рѣдкихъ людей, которые стараются предупредить опасность, а не бороться съ нею, когда она уже наступила. Дурно ли, хорошо ли я понимаю подобные характеры —

это другой вопросъ, но, безъ сомнѣнія, Петръ у насъ единственный. Когда я привезъ статую его изъ Рима и выставилъ ее въ академіи художествъ, она прошла незамѣченной большинствомъ, а многіе на нее даже и нападали. Нѣсколько лѣтъ спустя, я выписалъ остатки попорченнаго гипса въ Парижъ, и то совершенно случайно, по капризу одного лица, которое, впрочемъ, статуи потомъ не взяло. Я реставрировалъ ее, выставилъ въ „Salon“, имѣлъ успѣхъ, и только тогда наша публика болѣе благосклонно отнеслась къ ней. Опять спрошу: почему? Почему Иванъ Грозный намъ болѣе по душѣ, чѣмъ Петръ I? Прямого отвѣта не могу дать, да и вообще не хочу ничего разбирать. Я высказываю только свои наблюденія, то, что самъ испыталъ. Впрочемъ я слишкомъ близко стою къ моимъ работамъ, чтобы по нимъ судить о настроеніи общества; предоставляю это будущему, теперь же могу только сказать съ увѣренностью, что наше искусство богато мыслью, въ немъ есть совершенные типы и характеры, есть и положенія, но нѣтъ идеала... притомъ мы вообще меланхоличны и предпочитаемъ грусть веселю. — Но я совсѣмъ отклонился въ сторону. Боюсь, что мои записки похожи на Баховскія фуги — фуги безъ музыки, а то и того хуже, на нашъ родной, русскій споръ, начинающійся однимъ и кончающійся совершенно другимъ. Возвращаюсь къ дѣлу...

Итакъ, меня предостерегали, а я смѣялся. Кто чувствуетъ себя здоровымъ, тотъ не принимаетъ въ соображеніе, когда ему говорятъ: „ты нездоровъ, будь остороженъ“. Я былъ увлеченъ. Главнымъ для меня былъ онъ, — онъ, Иванъ Грозный; главнѣе, чѣмъ я самъ для себя. Вспоминались мнѣ голландскіе мастера, особенно, кажется, Жераръ Доу, который съ такою любовью и тщательностью отдѣлывалъ не только главное, но и всѣ детали. Я вспомнилъ, какъ мы смѣялись, что онъ по цѣлымъ годамъ не позволялъ убирать въ своей мастерской. „А вѣдь онъ былъ правъ, — говорилъ я самъ себѣ: — передвинуть какой-нибудь предметъ, съ котораго пишешь, переиначуть драпировку — и все пропало, хоть вновь начинай“. Не думалось мнѣ, что именно это и со мною случится, и очень скоро. Разъ прихожу въ мастерскую и вижу, что шуба съ манекена сброшена — вся работа пропала! Я схватился за голову и закричалъ не своимъ голосомъ отъ ярости, а сторожъ съ недоумѣніемъ замѣтилъ: „А что-жъ? ужъ больно грязна была“... Я хотѣлъ-было кинуться на него съ кулаками, но заикался и залилъ полъ кровью... холодный потъ выступилъ у меня. Сторожъ поблѣднѣлъ и побѣжалъ за водой. Успокоившись немного, я тихо ушелъ домой, а потомъ къ доктору. Выслушавъ

онъ, въ чемъ дѣло, посадилъ меня противъ себя и, устремивъ свой взоръ на меня сквозь золотыя очки, началъ: „Сколько вамъ лѣтъ? чѣмъ занимаетесь? здоровы ли родители? живы ли? чѣмъ питались?“ На всѣ вопросы отвѣтъ былъ удовлетворительный, за исключеніемъ послѣдняго. Затѣмъ началось выстукиванье груди, прикладыванье уха къ ней, искусственный кашель и т. д. Предписавъ режимъ, докторъ запретилъ мнѣ работать и посоветовалъ уѣхать куда-нибудь за городъ для отдыха. Я поѣхалъ домой, пилъ тамъ парное молоко, часто ходилъ въ свой любимый сосновый лѣсъ, опять увлеклся всѣмъ видѣннымъ тамъ... Сталъ бодрѣе по прежнему и, повидимому, совсѣмъ поправился.—Время прошло быстро; шесть недѣль пролетѣли какъ одинъ часъ... За то, что было съ моимъ карманомъ... хотъ выворачивай его! Но родные—не чужіе: съ ихъ помощью я вернулся въ Петербургъ, захвативъ съ собою красавца ребенка, у котораго замѣтилъ талантъ. Скоро Эліасъ сталъ любимъ всѣми и мнѣ помогать уже въ барельефахъ на креслѣ Ивана Грознаго. Теперь онъ находится въ академіи художествъ, почти въ такомъ же періодѣ своей жизни, какой описываю по отношенію къ себѣ, только въ болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Я пріѣхалъ въ Петербургъ опять не на радость. Въ это время классы уже должны были начаться; начальство академіи гнало меня вонъ съ моею работою—но куда? Да хоть на улицу. Опять хлопоты, умаливанья, упрашиванья... Но, слава Богу, сердца тронуты. Мнѣ дали маленькую мастерскую на самомъ верху. Чего лучше! Я въ восторгѣ, но какъ перетащить туда „Ивана Грознаго“? Были у меня еще золотыя часы; снесъ ихъ въ ломбардъ, — дорога знакомая, тамъ они часто гостили. Получивъ двадцать рублей, нанялъ шестнадцать академическихъ служителей —каждому по рублю—отрѣзаль отъ статуи самыя тяжелыя части глины (ужасно непріятная работа!), и „Ивана Грознаго“ понесли на рукахъ вверхъ по винтовой лѣстницѣ; правда, ему немного помали бока, но что же дѣлать: гдѣ лѣсъ рубятъ, тамъ и щепки летятъ. Я былъ радъ, что онъ уже стоитъ на мѣстѣ и что могу опять работать.

Вначалѣ все шло хорошо, работа двигалась впередъ; правда, въ карманѣ дулъ еще сквозной вѣтеръ, но это было мнѣ привычно; гораздо вреднѣе былъ вѣтеръ, продувшій меня разъ ночью, когда я перебирался черезъ Неву. Пальто мое было не длинно, воротникъ не высокъ, я былъ плохо защищенъ отъ холода—на утро у меня захватило горло, потомъ начался жаръ, потомъ явился докторъ, компрессы и все, что этому сопутствуетъ. Про-

студа была сильная и держалась долго; я не выходилъ изъ дому, тѣмъ болѣе, что начались сильные морозы. Разъ утромъ приходитъ сторожъ (уже другой): — „Ой, М. М., бѣда!“ — Что такое случилось? — „Рука отвалилась“. — Какъ? какимъ образомъ? — „Да такъ, какъ бы вамъ сказать, сама собой. Прихожу, смотрю, а руки нѣтъ“... Я не выдержалъ. Говорятъ: дай Богъ только бѣду, и бѣдныя становятся богатыми, а больные здоровыми. Закутавшись, я побѣжалъ въ мастерскую. Оказалось, что сторожъ до того старательно мочилъ статую, что глина превратилась въ жидкую кашу. Кое-какъ поправилъ я дѣло и пошелъ доканчивать хворать.

Время шло медленно: днемъ я не могъ дожидаться ночи, а ночью — дня. Моими посѣтителями были докторъ и старушка-хозяйка, которая при выходѣ говорила со вздохомъ: „Der gute Antokolsky!“ — точно оплакивала меня. Комната моя была уютная, свѣтлая; около оконъ стояла деревянная лѣсенка, вся обставленная любимую мною зеленью. Иногда и солнце заглядывало: погрѣетъ меня и поскорѣе спрячется, будто стыдась, что пришло не въ-время. Сожителемъ моимъ былъ Элиасъ; онъ былъ еще ребенкомъ тогда, но въ одиночествѣ чувствовать около себя живое существо — большая отрада. Кой-какъ оправился я, по крайней мѣрѣ настолько, что могъ продолжать работу.

Кажется, около этого времени я познакомился съ семействомъ Сѣрова. Обо мнѣ говорилъ имъ скульпторъ Каменскій; съ нимъ я познакомился годъ тому назадъ, и онъ мнѣ показался симпатичнымъ, добрымъ; онъ досталъ мнѣ урокъ рисованія, продолжавшійся, правда, не долго; онъ же свезъ меня къ Сѣрову на музыкальный вечеръ. Скоро Каменскій уѣхалъ, а я къ Сѣрову болѣе не ходилъ. Теперь Сѣровы пожелали видѣть мой эскизъ: „Нападеніе инквизиціи на евреевъ“. Пришли они въ мастерскую веселые, повидимому, въ хорошемъ расположеніи духа. Я ушелъ устраивать эскизъ — онъ находился не у меня, — вернувшись, не узналъ своихъ посѣтителей: они стояли серьезные и задумчивые. Оказалось, что въ мое отсутствіе они познакомились съ „Иваномъ Грознымъ“, сдѣлавшимъ на нихъ сильное впечатлѣніе. Мое авторское самолюбіе было польщено.

Послѣ этого знакомства я часто бывалъ у Сѣровыхъ. Они привлекали меня не только какъ хорошіе люди, но и какъ музыканты. Музыка поднимала, обогрѣвала и поддерживала мое существованіе; я страстно любилъ это искусство еще въ дѣтствѣ. Мнѣ вспоминается, какъ я по цѣлымъ вечерамъ осенью сидѣлъ у окна чужого дома, слушая пѣніе кантора; его мягкій, мелодич-

ный голосъ глубоко западалъ въ мою дѣтскую душу; я повторялъ его мотивы вездѣ и во всякое время; я имъ бредилъ, его пѣніе предпочиталъ пищѣ, всему на свѣтѣ. Съ тѣхъ поръ прошло много, много тяжелыхъ годовъ, похожихъ на ненастную петербургскую погоду; пришлось многое пережить, бороться за существованіе, за искусство, бороться съ самимъ собою, завладѣвать знаніемъ... Наконецъ, я достигъ всего, чего могъ достигнуть, и природа брала свое. Мои впалыя щеки и глаза, блѣдность моего лица зеркало не могло скрыть отъ меня; моя сила была истощена; я сдѣлался нервнымъ, всякая мелочь волновала меня — и вдругъ я опять слышу музыку, и именно ту, которая такъ сильно влечетъ меня къ себѣ, которую я такъ страстно люблю, и притомъ я могу слушать ее, сколько хочу и когда хочу, могу упиваться ею до самозабвенія. Иногда я посѣщалъ оперу, но нѣтъ, это было не то... Я люблю музыку во всей ея чистотѣ, когда она говоритъ моей душѣ своимъ чистымъ, мелодичнымъ, самостоятельнымъ языкомъ. Мнѣ всегда хочется быть съ нею наединѣ и только съ ней одной.

Бывало, придешь угрюмый, усталый... но чудные звуки наполняютъ весь домъ; они охватываютъ тебя, уносятъ куда-то далеко и высоко, въ среду стихійныхъ грозныхъ силъ, враждующихъ между собою: вотъ онѣ схватились — стемнѣло, поднялась буря, вѣтеръ... хоръ злыхъ духовъ примчался быстрѣе молніи съ дикимъ хохотомъ, подобнымъ раскатамъ грома... поднялся вихрь, море заколыхалось, забушевало, заревѣло... волны поднимаются грозныя, словно гранитныя скалы, и съ яростью падаютъ въ глубь пропастей, и опять поднимаются, желая затопить весь міръ... Вдали раздается глухой ударъ, трескъ... изъ нѣдръ земли слышны стоны, подобные человѣческимъ... земля разверзается и изливаетъ огненные потоки... Вдругъ—ничего...

Я сидѣлъ и не могъ опомниться. Что это: хаосъ? страшный судъ? — „Какъ вамъ нравится?“ — спрашиваетъ у меня музыкантъ. Но отъ прикосновенія дѣйствительности я вздрагиваю и могу только произнести: „Бога ради, продолжайте“... Гибкіе пальцы опять ударяютъ по клавишамъ, и мнѣ чудятся цѣлые легіоны диварей... Ряды идутъ, идутъ, бренча оружіемъ... копыта и щиты сверкаютъ молніей, земля подается подъ ихъ ногами, пыль поднимается облакомъ... вдругъ они останавливаются и съ яростью дикихъ звѣрей бросаются впередъ на враговъ... Слышны крики, визгъ, удары оружія... идетъ бой, кровавый, отчаянный, на жизнь и смерть... цѣлые ряды падаютъ, какъ скошенная трава... раздаются стоны умирающихъ, земля пропитана кровью... Но удары

слабѣютъ, бой затихаетъ, пыль разсѣялась, а поле, широкое поле покрыто трупами... враги лежатъ обнявшись, точно примиренные, звуки затихли, кругомъ мертвая тишина... И струны опять заговорили, тихо, словно уставшія... Я чувствую себя гдѣ-то далеко, внѣ дѣйствительности... Я несусь куда-то, а надо мною, высоко въ небесномъ пространствѣ, вьется цѣлый рой бѣлыхъ голубей, спускающійся все ниже и ниже... Но это не голуби, а дѣтскія души, поющія хоромъ... Годы спустя, я слышалъ тѣ же пѣсни въ Римѣ, въ монастырѣ Trinita di Monti... ихъ пѣли чистые голоса; они трогали, вызывали слезы умиленія и раскаянія... Я воображалъ себѣ, что они молятся за человѣческіе грѣхи, выпрашиваютъ прощеніе, молятъ о мирѣ, любви и братствѣ.

Я не забуду послѣдняго вечера, проведеннаго вмѣстѣ съ А. А. Сѣровымъ. У рояля сидѣли его жена и умная, талантливая Эритъ Віардо. Играли страстно, съ увлеченіемъ, съ знаніемъ дѣла; да и сама пѣска представляла нѣчто необыкновенно грандіозное; въ ней чувствовался широкій размахъ, свойственный только гению. То была девятая симфонія Бетховена. Я попросилъ Сѣрова объяснить ее мнѣ. Онъ сталъ говорить, и самъ увлекся; я слушалъ съ напряженнымъ вниманіемъ... Я понялъ могучіе образы Бетховена, на которые онъ лишь нанизывалъ свои чудные перлы. Великъ, безсмертенъ Бетховенъ!

Не долго гулялъ я на свободѣ. Докторъ опять заперъ меня дома, и на столѣ опять появились сельтерская вода, молоко, бертолетова соль и другія прелести. Я аккуратно исполнялъ докторскія предписанія, надѣясь скоро поправиться... Прошла недѣля, другая, и я былъ все въ томъ же положеніи. Наконецъ, поѣхалъ къ самому Боткину. Вечеръ былъ морозный; пальто и плащъ оказались недостаточными; на дорогѣ продрогъ и насилу доѣхалъ обратно домой, но за то съ спасительнымъ рецептомъ въ рукахъ. Прошла еще недѣля и больше. Мнѣ сильно нездоровилось, я все не выходилъ изъ дому. Отъ Сѣрова ко мнѣ не приходили, онъ самъ тоже былъ нездоровъ. Добрый М. В. Праховъ не оставлялъ меня, заходилъ по возможности; къ сожалѣнію, въ это время онъ былъ занятъ. Чтобы усадить мое долгое, безвыходное одиночество, онъ устраивалъ у меня нѣчто въ родѣ литературныхъ вечеровъ. Разъ у насъ былъ даже совсѣмъ литературный вечеръ; М. В. пригласилъ ко мнѣ Аполлона Майкова, только-что кончившаго свои „Два міра“. Я зналъ эту вещь раньше по отрывкамъ, а теперь онъ пожелалъ, чтобы я прослушалъ ее цѣликомъ. Пригласили нѣсколькихъ другихъ еще. Какъ только мы усѣлись и чтеніе началось, дѣвушка подала мнѣ записку.

Прочитавъ ее, я остолбенѣлъ — тамъ было лаконически сказано: „Приходите скорѣе, Сѣровъ умеръ“... Мы знали, что онъ боленъ, но никто не ожидалъ такого трагическаго исхода: онъ умеръ скоропостижно. Идти туда меня не пустили, а вмѣсто меня отправились А. Майковъ и Висковатовъ.

На завтра я стоялъ среди многочисленнаго народа, собравшагося на квартирѣ Сѣрова, и слушалъ печальный напѣвъ панихиды. Пѣлъ хоръ пѣвчихъ изъ Исааіевскаго собора; они пришли отдать послѣдній поклонъ тому, кто лежалъ передъ ними молча, спокойно, величаво, но уже безъ дыханія...

Смерть ужасна, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней есть что-то притягивающее. Точно силишься заглянуть сквозь непроницаемый мракъ, откуда никто никогда не возвратился... Послѣ мучительной борьбы напряженнаго страданія, лицо умирающаго вдругъ принимаетъ тихій, спокойный и задумчивый видъ, какъ будто говорить тебѣ: „всю жизнь я искалъ то, что теперь нашелъ; теперь я все знаю“...

Подъ стройный напѣвъ душу особенно щемило; хотѣлось плакать, рыдать, но я не могъ, и потому моя внутренняя боль была еще сильнѣе... Тронулась печальная похоронная процессія къ Невской лаврѣ, откуда возвращаются одни только провожающіе. Мы всѣ искренно пожалѣли Сѣрова и съ грустью вернулись домой.

Говоря объ отшедшихъ, какъ-то странно сейчасъ затѣмъ заговорить о себѣ, но такова моя теперешняя задача. — Я все не поправлялся. Что мнѣ было дѣлать? Положеніе было незавидное, финансы такіе же, какъ и здоровье, не лучше и не хуже. Все, что я могъ сдѣлать, это было: не думать. Я читалъ, чинилъ свое бѣлье... но болѣзнь давала знать о себѣ. Обрадовался, когда ко мнѣ зашелъ Крамской; я всегда былъ радъ видѣть этого серьезнаго человѣка, горячо относившагося ко всему хорошему. Освѣдомившись о моемъ здоровьѣ, онъ сказалъ прямо и рѣшительно: — Вамъ необходимо убраться отсюда.

Я смотрѣлъ на него съ удивленіемъ: — Куда? затѣмъ? какъ оставить работу?

— Вамъ надо ѣхать, — повторилъ онъ внушительно.

— Ёхать?.. Ни за что! — отвѣчалъ я.

— Ну, въ такомъ случаѣ вы здѣсь протянете ноги; прощайте!

— Ну, что-жъ дѣлать, — отвѣчалъ я ему вслѣдъ обидчиво, точно тутъ рѣчь шла только о моемъ самолюбіи.

Онъ ушелъ, я остался въ недоумѣніи. „Чего они отъ меня хотятъ?“ думалось мнѣ: „Въ самомъ ли дѣлѣ моя болѣзнь такъ

опасна? Да вздоръ! И сами доктора врутъ, сами хорошенько не знаютъ... Что дѣлать?...

„Дойду или упаду, выбора нѣтъ!“ — сказалъ я вслухъ и при этомъ быстро сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ: „вѣдь отлично хожу и, пожалуй, работать можно“... Я сжималъ кулаки, напрягалъ мышцы... Можно, положительно можно, и мѣшкать нечего... Непремѣнно надо дойти, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, а то въ самомъ дѣлѣ упаду. Это рѣшеніе дало мнѣ бодрость и увѣренность. „Hast den Muth verloren, hast alles verloren!“ сказалъ я себѣ опять вслухъ: „впередъ!“

Первая моя месть обратилась на лекарство: я взялъ стелъанку, высоко поднялъ ее, нагнулъ и злорадно любовался на длинную струю жидкости, медленно спускавшуюся въ тазъ грязной воды. „Теперь пойду спать... Воображаю, какъ завтра будетъ удивленъ докторъ, когда увидить, что паціентъ его сбѣжалъ“. На другое утро я закутался и пошелъ работать, тѣмъ болѣе, что жилъ почти рядомъ съ академіей.

Я сталъ заниматься, но мнѣ было трудно; за все это время я очень ослабѣлъ. Нечего и говорить, что напрягалъ всѣ свои силы, — конечно, относительно, — чтобы кончить „Ивана Грознаго“. Инстинктивно чего-то ждалъ отъ него, надѣялся, что, въ концѣ концовъ, академія признаетъ за мною званіе не почетнаго гражданина, а художника. Я чувствовалъ за собою право на это — всѣ получаютъ, отчего же мнѣ не получить? Неужто въ самомъ дѣлѣ я не художникъ?... Мое самолюбіе сильно страдало: семь лѣтъ проработать и получить званіе почетнаго гражданина! Можетъ быть, это что-нибудь и очень важное, но вѣдь я знаю одного поставщика дровъ для казны, который получилъ даже потомственное почетное гражданство. Безъ сомнѣнія, онъ принесъ пользу своему отечеству, и пользу гораздо большую, чѣмъ я. Но если мнѣ дали подобную награду, то отчего же не дать ему званіе художника за отличное исполненіе обязанностей?

Кажется, около этого времени пріѣхала въ Петербургъ Великая Княгиня Марія Николаевна, бывшая тогда президентомъ академіи художествъ. — Академическая выставка кончилась, раздавались награды: одинъ мой знакомый получилъ то-то, другой то-то, и т. д. Не скрываю, что я смотрѣлъ на нихъ съ нѣкоторою завистью и досадой. Мнѣ было досадно, что я не кончилъ „Ивана Грознаго“, авось и я бы получилъ что-нибудь. Вдругъ у меня явилась счастливая мысль: пойду къ начальству, скажу, что у меня есть большая просьба, но что раньше, чѣмъ я выскажу, въ чемъ дѣло, прошу, чтобы осмотрѣли мою работу... неужто мнѣ и въ этомъ

отказуть? Вѣдь профессора должны же знать, что дѣлають ученики, да еще въ академіи; а они не знаютъ, что я дѣлаю, ни разу даже не заглянули ко мнѣ. Мои аргументы казались мнѣ очень убѣдительными, и я, не долго думая, пошелъ и сказалъ все, что считалъ нужнымъ. Меня выслушали и даже обѣщали придти сегодня или завтра. Долго дились для меня эти два дня, въ особенности второй... и никто не пришелъ. Я подождать еще день понапрасну, а потомъ еще, и еще, все напрасно... Такъ продолжалось двѣнадцать дней. „Должно быть, позабыли обо мнѣ“, подумалъ я и пошелъ напомнить. Дѣйствительно позабыли, и обѣщали придти сейчасъ. Я побѣжалъ въ мастерскую и сталъ ждать; прождалъ до вечера, потомъ еще три дня, и все напрасно.

Рядомъ со мною занималъ мастерскую художникъ ***. Тихій, скромный, онъ работалъ образа и какъ будто стыдился этого, точно это не есть настоящее искусство, точно въ немъ нельзя передать чувства души во всей его полнотѣ, точно древніе мастера не доказали этого. Мнѣ и тогда нравились въ немъ та религіозная тихость и покорность, которыя невольно трогаютъ васъ. Когда я высказывалъ ему свое одобреніе, онъ перебивалъ меня и говорилъ: „Ахъ, нѣтъ, я богомазъ“, и со вздохомъ прибавлялъ: „что дѣлать!“ Какъ сосѣди, мы часто видались; я передавалъ ему мои думы и горе; онъ слушалъ меня и повидимому сочувствовалъ какъ мнѣ, такъ и работѣ моей. Послѣ моихъ долгихъ, утомительныхъ ожиданій, я пошелъ передать ему мое новое горе и спросилъ: „Что мнѣ дѣлать?“ Въ такихъ случаяхъ непременно спрашиваешь чужого совѣта, хотя хорошо знаешь, что дѣлать нечего и что совѣтъ, который получишь, совсѣмъ не будетъ тебѣ по сердцу.

— А знаете, — сказалъ онъ: — сходите еще разъ; ну, что дѣлать? вы теперь въ такомъ положеніи, что необходимо надѣть желѣзную маску. — „Ни за что въ свѣтъ!“ крикнулъ я: „довольно цѣловать палку, которая бьетъ... Будь, что будетъ, я сдѣлалъ все, что могъ“. Въ это время у меня мелькнула новая мысль. — „Да, пойду“, — сказалъ я съ живостью: „но не туда!“ — и быстрыми шагами отправился къ князю Г. Г. Гагарину. Онъ былъ нашимъ вице-президентомъ и жилъ тутъ же въ академіи. Это было съ моей стороны смѣлостью; формалисты называли это даже „дерзостью“ и „окольнымъ путемъ“. Но я не обращалъ вниманія на моихъ противниковъ; я тогда уже зналъ, что значить идти снизу вверхъ. Храни меня Богъ и впередъ отъ подобнаго путешествія.

Было около полудня. Князь былъ дома и сейчасъ принималъ

меня. Я отрекомендовался, какъ могъ, и сказать, зачѣмъ пришелъ. Онъ выслушалъ меня и отвѣтилъ: „Какъ же, я васъ знаю; помню валпу работу изъ дерева. Куда же вы пропали?“ Я пробормоталъ что-то въ отвѣтъ. — „Когда мнѣ придти? — спросилъ князь: — сейчасъ?“

И дѣйствительно, не прошло и десяти минутъ, какъ добрый князь уже былъ въ моей мастерской. Работа моя, повидимому, поразила его, и онъ это высказалъ искренно, тутъ же. — „Чего же вы желаете?“ спросилъ онъ послѣ осмотра „Ивана Грознаго“. Я ему рассказалъ мое положеніе вообще и теперешнее въ особенности, и просилъ его сдѣлать для меня исключеніе: либо позволить мнѣ конкурировать, либо дать мнѣ званіе художника. — „Хорошо, — сказалъ онъ: — я постараюсь, сдѣлаю, что можно. Это чудная вещь, замѣчательная. Непремѣнно постараюсь“... Онъ ушелъ, а я предался мечтамъ. „Вотъ къ кому я долженъ былъ давно обратиться — къ этому доброму человеку. Я бы не испыталъ столько горя и не дошелъ бы до такого положенія. Какую крупную и непростительную ошибку я сдѣлалъ!.. Зато теперь у меня есть искра надежды... Ахъ, лишь бы она не погасла! Какъ бы мнѣ хотѣлось, чтобы она воспламенилась, и освѣтила мой дальнѣйшій путь, и обогрѣла мою усталую душу. Вѣдь я стою у дверей жизни, вѣдь я еще не жилъ, какъ люди живутъ, вѣдь должно же когда-нибудь улыбнуться мнѣ счастье. Что, если въ самомъ дѣлѣ всѣмъ такъ понравится „Иванъ Грозный“, какъ доброму князю?“

Надежда на минуту воскресила меня: я опять почувствовалъ бодрость духа, нервно потиралъ руки отъ удовольствія и вдругъ остановился, точно испугавшись своихъ мечтаній. „Преждевременная радость часто отравляетъ жизнь, — сказалъ я себѣ: — судьба не жалуетъ меня; она научила меня надѣяться на все лучшее и приготовляться ко всему худшему; буду ждать фактовъ, а пока никому, даже себѣ, ни слова!“

Спустя нѣсколько дней, въ понедѣльникъ утромъ мнѣ пришли сказать, что Великая Княгиня Марія Николаевна будетъ у меня сегодня же. Передали мнѣ это сухо, недовольнымъ тономъ, и даже прибавили: „увидимъ!“ Извѣстіе это было для меня неожиданно, и въ академіи, кажется, не было слыхано, чтобы Великая Княгиня когда-либо посѣтила мастерскую ученика. Можешь себѣ представить, какъ это меня обрадовало: сердце мое сильно билось, но я по возможности старался умирить свой восторгъ, повторяя себѣ: „надѣйся на все лучшее и приготовься ко всему худшему!“ (Повторяю это и теперь.) Къ радости моей примѣ-

пивался и страхъ; я хорошо зналъ, что сегодня рѣшится моя судьба: быть или не быть.

Наконецъ настала счастливая минута: Великая Княгиня пришла. Моя работа сильно понравилась ей; она хвалила ее, три раза подала мнѣ руку, много разъ поздравляла, и заказала для себя эскизъ „Нападенія инквизиціи на евреевъ“. — Ты навѣрное хочешь знать, что я тогда перечувствовалъ. Нервные люди при сильномъ потрясеніи, горестномъ или радостномъ, ничего не чувствуютъ: на нихъ находить, такъ сказать, столбнякъ. Такъ было тогда и со мною; только нѣкоторое время спустя, когда я остался одинъ, я предался своей радости и слезы мои хлынули неудержимо... Думаю, что ты, мой другъ, не удивишься этому; ты слѣдишь за моимъ рассказомъ шагъ за шагомъ, ты видишь, что я пережилъ и до какого безвыходнаго положенія дошелъ... Я тонуть, я молилъ всѣхъ о спасеніи, но меня не слушали... Кому было какое дѣло до дерзкаго, капризнаго, своевольнаго ученика! Теперь я спасенъ и спасенъ женщиною! Она подарила мнѣ жизнь и создала мою славу, и все такъ скоро, такъ неожиданно:

Послѣ посѣщенія Великой Княгини объявили мнѣ, что самъ Государь Императоръ желаетъ посмотрѣть „Ивана Грознаго“. Можешь себѣ представить, какой переполохъ извѣстіе это произвело въ академіи. Потребовали, чтобы статуя была снесена внизъ, куда-нибудь въ парадную залу, но я заупрямился. Дѣлать было нечего, торопливо стали чистить и бѣлить корридоры, въ темныя мѣста провели газъ, выстлали коврами дорожку и къ вечеру, въ четыре часа, объявили, что Государь Императоръ пріѣхалъ. Я стоялъ у раскрытыхъ дверей своей мастерской. Изъ глубины темнаго корридора, мѣстами освѣщеннаго газомъ, показался Государь. Его величавая фигура съ гордою, благородною осанкою особенно выдавалась на темномъ фонѣ. Блѣдно-мерцающій газъ освѣщалъ его лицо и золото мундира, блестящее искрами при энергическихъ и стройныхъ движеніяхъ. Государь шелъ ровнымъ и увѣреннымъ шагомъ; онъ приблизился ко мнѣ; я поклонился и пошелъ за нимъ въ мастерскую, а весь академическій штатъ за нами.

— „Хорошо, очень хорошо!“ — произнесъ Государь, затѣмъ осѣдомился, откуда я родомъ, еще разъ осмотрѣлъ статую и оставилъ мастерскую. Я бросился внизъ сообщить мою радость, мое счастье; мнѣ хотѣлось всѣхъ обнять и расцѣловать, но ни одного знакомаго я не встрѣтилъ. На улицѣ шла своя жизнь, не касавшаяся меня; сторожа академіи стояли кучкой, одолевая другъ

другу табачку, нюхали его и флегматично разговаривали. Я подошелъ къ нимъ, сунулъ руку въ карманъ и отдалъ имъ все, что у меня было; они поглядѣли на меня съ недоумѣніемъ, точно хотѣли спросить, въ чемъ дѣло, но я предупредилъ ихъ и произнесъ весело и внушительно: „Государь былъ у меня!“ — „А-а!“ — отвѣчали они протяжно, точно только-что просыпаясь; но, секунду спустя, они хоромъ зашѣли: „Покорно васъ благодаримъ... дай вамъ Богъ здоровья!“ Поднимаясь по лѣстницѣ, встрѣчаю профессора ***, кланяюсь ему и думаю: „онъ-то навѣрное скажетъ мнѣ что-нибудь пріятное“. — „А скажите, пожалуйста, — говоритъ онъ: — что вы тамъ такое сдѣлали?“ — И вѣдь только-что былъ у меня съ Государемъ. Положимъ, онъ оставался сзади, благодаря узкости помѣщенія, но могъ же подойти потомъ, какъ это дѣлали другіе. Что мнѣ было отвѣчать? Ничего! Я такъ и сдѣлалъ.

Кстати расскажу нѣсколько курьезовъ, касающихся „Ивана Грознаго“. — Я имѣлъ столъ у портного. Хозяйка сильно заинтересовалась „Иваномъ Грознымъ“, въ особенности послѣ посѣщенія Государя. Всякій разъ на мой привѣтъ: „здравствуйте!“ она отвѣчала: „что, готовъ?“ Подразумѣвался „Иванъ Грозный“. Конечно, я давалъ ей отрицательные отвѣты; она недоумѣвала и рѣшилась серьезно поговорить со мною.

— „Слушайте, — начала она: — чего тамъ еще недостаетъ? Цѣлый годъ какъ работаете, самъ Государь видѣлъ, сказалъ „хорошо“ — чего вамъ еще?“ — „Ахъ ты дурочка! — заступился за меня хозяинъ: — вотъ, понимаешь, я шью сюртукъ, кончилъ, пуговицы пришилъ, наметку вытащилъ, а онъ все-таки неготовъ, потому что еще не выутюженъ. А вотъ, напримѣръ, мѣдникъ: сдѣлалъ онъ кастрюльку, и ручку придѣлалъ, и отшлифовалъ, и все-таки неготово, надо еще вылудить, и тогда только...“ — „А-а... — протянула хозяйка, понявъ наконецъ: — значитъ, надо еще „Ивана Грознаго“ вылудить“...

Мужъ засмѣялся, махнулъ рукой, и она опять осталась въ недоумѣніи.

А вотъ и второй курьезъ. Когда въ мастерской былъ выставленъ „Иванъ Грозный“ изъ глины, входитъ разъ молодой франтъ въ наброшенной на плечи шинели съ бобровымъ воротникомъ, въ цилиндръ и со стеклышкомъ въ глазъ.

— „А гдѣ же господинъ художникъ?“ спросилъ онъ громко, среди общей тишины. Ему указали на меня. — „А скажите пожалуйста, — спросилъ меня франтъ: — что онъ выражаетъ?“ Я не желалъ вступать съ нимъ въ бесѣду и лаконически отвѣчалъ: —

„Читайте“. — „Да тутъ ничего не написано, — возразилъ франтъ: — есть только: „покорно прошу руками не трогать“. — „Чего же вамъ больше?“ сказать я.

Наконецъ, вотъ тебѣ третій курьезъ. Я выставилъ все того же „Грознаго“ изъ гипса, назначивъ двадцать копѣекъ за входъ. Рано утромъ приходитъ посѣтитель, на видъ хоть куда, и съ билетомъ въ рукахъ. Онъ смотритъ кругомъ, затѣмъ на поилокъ и, наконецъ, обращается къ сторожу: — „А гдѣ же выставка?“ — „Вотъ“. — „Гдѣ?“ — „Вотъ эта статуя“. Посѣтитель посмотрѣлъ на статую съ недоумѣніемъ и съ презрѣніемъ сказалъ: — „И за это двадцать копѣекъ?!“ Сдѣлавъ на каблучкахъ поворотъ и, разсерженный, ушелъ.

Я долженъ сказать тебѣ, другъ, что статуя далеко еще не была кончена: „Иванъ Грозный“ сидѣлъ даже босой, безъ сапоговъ. Прошло еще мѣсяца два, если не больше, пока я его кончилъ. Причиною этого было опять мое нездоровье. — Отъ в. к. Маріи Николаевны и отъ в. к. Владиміра Александровича, который только-что принималъ бразды правленія въ академіи художествъ, я получилъ пособіе; къ сожалѣнію не могъ имъ воспользоваться, такъ какъ одолжилъ эти деньги знакомому, а тотъ позабылъ мнѣ ихъ возвратить; я напоминалъ и просилъ, онъ обѣщалъ принести и все забывалъ. Благодаря этому, мнѣ было плохо по прежнему, но ты знаешь, что есть двоякаго рода посты, рѣзко различающіеся между собою. Послѣ утомительнаго дня идти спать съ голоднымъ желудкомъ и съ мыслью, что завтра будетъ то же самое и что одинъ Богъ знаетъ, что еще дальше будетъ — это ужасно! Но поститься, зная хорошо, что къ вечеру ждетъ тебя отличный ужинъ — это не страшно нисколько. Теперь я переживалъ второго рода постъ. Я ожидалъ будущаго съ спокойствіемъ и съ увѣренностью.

Наконецъ дождался великаго дня, когда бросилъ стекъ и сказалъ: „довольно“. Въ этотъ день, первый, кто пришелъ въ мастерскую, былъ И. С. Тургеневъ. Я сейчасъ узналъ его по фотографической карточкѣ, имѣвшейся у меня въ альбомѣ. „Юпитеръ!“ — было первое мое впечатлѣніе. Его величественная фигура, полная и красивая, его мягкое лицо, окаймленное густыми серебристыми волосами, его добрый взглядъ имѣли что-то ласкающее, но вмѣстѣ съ тѣмъ и что-то необыкновенное; онъ напоминалъ дремлющаго льва... однимъ словомъ, Юпитеръ.

Я глазамъ своимъ не вѣрилъ, что передо мною стоитъ — нѣтъ, вѣрнѣе, что я стою передъ Иваномъ Сергѣевичемъ Тургеневымъ. Я боготворилъ его, да не я одинъ, а мы всѣ. Сколько

разъ онъ заставлялъ трепетать наши молодые сердца, сколько думъ навѣялъ намъ!.. Мы читали его и перечитывали, читали до поздней ночи, и засыпали съ его думами, и на завтра онъ же будили насъ, нѣжно лаская... Да, онъ будили наши чувства, наше сознаніе...

— „Ты знаешь?—закричалъ я Рѣпину, вбѣгая въ его мастерскую и задыхаясь отъ волненія:—знаешь, кто у меня сейчасъ былъ? Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ!!!“

— „Что-о ты?“ кричалъ, въ свою очередь, Рѣпинъ, и глаза его отъ изумленія сдѣлались совершенно круглые, а ротъ широко раскрылся:— „Вотъ, братъ! Но гдѣ? когда?“

И пошли у насъ толпы о Тургеневѣ; мы еще долго говорили и радовались.

Скоро пришелъ ко мнѣ В. В. Стасовъ, и не разъ, а нѣсколько; затѣмъ пришли и другіе знакомые. На другой день послѣ посѣщенія И. С. Тургенева появилась его сочувственная замѣтка, возбуждавшая не мало интереса. В. В. Стасовъ тоже горячо откликнулся, и затѣмъ народъ хлынулъ въ мою мастерскую. Я совсѣмъ растерялся, былъ точно въ угарѣ, говорилъ, смѣялся, всѣмъ отвѣчалъ. Какое впечатлѣніе произвела моя работа, ты знаешь навѣрное лучше меня. Ты тогда былъ въ публикѣ, а я въ мастерской, куда народъ шелъ массами. Вся царская фамилія перебивалась. Публика удивлялась, ахала, поздравляла, сожалѣла. Сколько доброжелателей появилось у меня, какіе настойчивые совѣты мнѣ давали — куда ѣхать, что дѣлать... Однимъ словомъ, я сталъ моднымъ... Сколько знакомыхъ очутилось около меня, какъ они гордились мною! Одинъ важный магнатъ даже поручилъ передать мнѣ, что онъ убѣдительно и настойчиво просить меня пожаловать къ нему. Я думалъ, что это навѣрно по дѣлу, надѣлъ фракъ, нанялъ извозчика, поѣхалъ. Магнатъ принималъ меня хорошо, очень былъ радъ меня видѣть, разспрашивалъ: какія идеи у меня теперь? почему я сдѣлалъ „Ивана Грознаго“? что навело меня на эту мысль? Все было очень умно и хорошо. Потомъ онъ повелъ меня посмотреть его галерею, потомъ бильярдную, наконецъ мы очутились въ передней—онъ съ чувствомъ пожалъ мнѣ руку и еще разъ повторилъ, что былъ очень радъ видѣть меня... И все? А вѣдь я извозчику отдалъ послѣднія сорокъ копѣекъ и назадъ приходилось идти порядочную даль.

Спасибо художнику Ге, онъ выручилъ меня: взявъ меня разъ подъ руку, онъ отвелъ меня въ сторону и началъ со слѣдующаго предисловія: — „Послушайте, артисту X недавно задавали

обѣдѣ въ Москвѣ на шестьсотъ человекъ, а знаете, что тогда у самого артиста не было на извозчика? Не то же ли самое теперь съ вами? Всѣ обступаютъ васъ, и никто не спрашиваетъ васъ объ этомъ. Я хорошо знаю, что завтра вы будете богаты, но „завтра“ хорошо для надежды, а не для желудка. Возьмите у меня двадцать-пять рублей, вѣдь завтра вы мнѣ ихъ возвратите“... Оно такъ и случилось; скоро объявили мнѣ, что Государь Императоръ приобрѣлъ статую „Ивана Грознаго“, затѣмъ самъ совѣтъ академіи художествъ пришелъ ко мнѣ въ мастерскую и при мнѣ присудили мнѣ званіе „академика“.

Чувствуешь ли ты, другъ мой, мое торжество!? Я заснулъ бѣднымъ—всталъ богатымъ; вчера былъ неизвѣстнымъ—сегодня сталъ моднымъ, знаменитымъ; былъ ничѣмъ и сразу сдѣлался академикомъ. Но нѣтъ розы безъ шиповъ. Меня не огорчали сплетни и навѣты, которые, къ сожалѣнію, въ подобныхъ случаяхъ никогда не отсутствуютъ... Сплетня, какъ фальшивая монета, имѣетъ свою сомнительную цѣнность только у тѣхъ, кто ее сбываетъ—народъ же сначала вѣритъ и обманывается, но, въ концѣ концовъ, какъ фальшивая монета, такъ и сплетня излавливаются и исчезаютъ изъ обращенія... Мое торжество было омрачено тѣмъ, что я узналъ, въ какомъ опасномъ положеніи находится мое здоровье; говорили даже, что я боленъ безнадежно. По словамъ Боткина, я остался живъ только по причинѣ расовой выносливости.

Бывали у меня минуты отчаянія. Мрачныя думы, подеравшись, охватывали меня всего и терзали мою душу. „Зачѣмъ я боленъ именно теперь?—говорилъ я себѣ, ломая пальцы:—теперь, когда достигъ предѣловъ своихъ желаній? Зачѣмъ раньше не хворалъ? Можетъ быть, тогда я принялъ бы смерть съ радостью, какъ избавительницу отъ моихъ страданій, а теперь я жить хочу! Теперь я всего достигъ, все имѣю, не хочу умирать! Неужто я долженъ былъ купить свое торжество цѣной смерти?.. Зачѣмъ раньше не признавали за мною того, что признали сегодня? Зачѣмъ они раньше изранили меня, а потомъ дали то, чѣмъ я уже пользоваться не могу?“

Но эти мрачныя мысли приходили мнѣ только по временамъ; по возможности я ихъ гналъ отъ себя прочь. Старался не думать, не оставаться наединѣ съ самимъ собою, искалъ людей, говора, веселья... Мой успѣхъ, мое положеніе все-таки ободряли меня, и какъ еще! Меня стали немного баловать, я охотно поддавался этому, мнѣ это было пріятно, и я опять воскресалъ. Я надѣялся, вѣрилъ, и вѣра моя была крѣпка. Меня манила даль,

теплая чудная Италія, о которой я много читалъ и еще больше слышалъ. Я часто напѣвалъ: „Kennst du das Land?“ Туда!.. Туда и Ботвинъ посылаетъ меня—въ уголочекъ рая, спавшій съ неба. Что можетъ быть большею наградою для кончающаго художника? Я сгоралъ отъ нетерпѣнія скорѣе туда ѣхать, стремился туда душою и тѣломъ. Наконецъ, третій звонокъ, прощанье, маханье шапками и платками...

Поездъ мчался, точно зналъ, что везетъ счастливца, полного надеждъ на лучшую будущность... Еслибы ты зналъ, какія думы я тогда думалъ, какую будущность себѣ создавалъ, какіе идеалы, какіе образы тѣснились въ моемъ воображеніи — но объ этомъ въ другой разъ... Не стану также теперь описывать тебѣ все мое путешествіе вплоть до Сорренто; скажу только, что оно было полно курьезовъ.

Оставилъ я Петербургъ, занесенный снѣгомъ, а тутъ сижу на террасѣ надъ высокой обрывистой скалой, прямо спускающейся въ море, сижу въ тѣни виноградной лозы; передо мной Неаполитанскій заливъ, играющій чудными отливами, а на дальнемъ горизонтѣ, какъ разъ тамъ, гдѣ глазъ нуждается въ отдыхѣ, раскинутъ чудный видъ — видъ Неаполя и Позилиппо, плавно спускающійся къ горизонту, потомъ море и затѣмъ опять плавный и гордый подъемъ до самаго кратера Везувія. Чтò это за гармонически-математическая линія, точно гигантскій канатъ, колеблющійся надъ океаномъ! А Везувій, живой Везувій, отливающий изумрудными красками, въ особенности при закатѣ солнца! Его дыханіе поднимается ровной струей высоко, высоко въ чистомъ лазурномъ небѣ, не помраченномъ ни единымъ облачкомъ... Бывало, сидишь, любишься — проходитъ часъ, два... но затѣмъ отиѣчатъ время... я созерцаю величіе природы, я спокоенъ духомъ и счастливъ... А знаешь, другъ, человѣкъ можетъ возмущать, музыка волновать, природа же всегда успокоиваетъ.

Доканчиваю свои записки уже далеко отъ родины, среди культурной жизни, полной прелести... но чужда она мнѣ, моему внутреннему настроенію... Я люблю ея, какъ античную статую, которая ласкаетъ мой глазъ, но не трогаетъ чувства. Поневолѣ переносюсь я мысленно къ тебѣ, туда на сѣверъ, въ родной пчельникъ, и сладокъ для меня его медъ, только иногда пчелы больно кусаются; но все-таки боль проходитъ, и я опять стремлюсь къ тебѣ на сѣверъ. Еслибы ты зналъ, чѣмъ владѣешь... какъ богатъ этотъ сѣверъ, какъ грандіозна и стройна его природа, какое въ ней разнообразіе, что за широта, что за типы,

какіе костюмы, нарѣчія и понятія! и какою поэзіею все это окутано!

Вспомнилась мнѣ величавая Волга со своими гористыми и лѣсистыми берегами. Я плылъ по ней въ одну изъ теплыхъ лѣтнихъ ночей; безконечное небо было все усыяно звѣздами; кругомъ все безмолствовало, только внизу на пароходѣ раздавалось тихое пѣніе хора въ нѣсколько голосовъ... Это пѣніе было до того уныло, печально и вмѣстѣ съ тѣмъ стройно, задумчиво и трогательно, что мнѣ поневолѣ подумалось: „и вѣрится, и плачется, и такъ легко, легко“... А степь? Тоже, что море... тѣ же разгульныя, буйныя силы стихій, только жизненнѣе.

Помнишь ли ты, другъ, какъ разъ зимой мы забрались въ глубь густого, стараго лѣса? Что за причудливыя формы приняла тамъ природа!.. Все голо, неподвижно, бѣло, точно мраморное. Всѣ вѣтки деревьевъ густо обвѣшаны ледяными кристаллами, какъ бы застывшими небесными слезами... И вдругъ яркій лучъ солнца ворвался туда... какая радость! Какъ зажглись, засверкали и задрожали эти миллиарды висячихъ кристалловъ, точно лучшіе брилліанты при яркомъ свѣтѣ! Что за богатая, волшебная природа!!

И помнишь ли еще, когда мы очутились разъ около какого-то болота, гдѣ торчали цѣлыя ряды старыхъ, голыхъ пней? Свинцовыя тучи носились надъ нами; кругомъ не было живой души; все было пусто и мертво, точно въ проклятомъ мѣстѣ... Только иногда прилетали вороны, перекликаясь между собою, и опять улетали. Страшно, жутко становилось; сердце билось сильнѣе и поневолѣ повторялись слова: „проклятое мѣсто“... Гдѣ могучая кисть, которая могла бы передать все это? Мы любимъ природу? Если бы мы побольше любили и изучали ее, то меньше любили бы пейзажи; мы отстраняли бы ихъ, какъ несовершенный портретъ любимого нами лица; мы стали бы требовательнѣе и разборчивѣе. Да любимъ ли мы вообще искусство? Понимаемъ ли его? Идетъ ли оно впередъ? идутъ ли къ нему на встрѣчу? Да въ самомъ ли дѣлѣ искусство такъ необходимо? способно ли оно пробудить чувство добра?—Отвѣчай мнѣ, другъ.

М. Антокольскій.



ТИПЪ ФАУСТА

ВЪ

МІРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЪ

ОЧЕРКИ.

Окончаніе.

IV.¹⁾

Какъ предшествовающіе вѣка въ жизни и въ поэзіи были отмѣчены однимъ господствующимъ направленіемъ, такъ и произведенія ихъ, которыя представляютъ какъ бы цвѣтъ духовной жизни эпохи, пронизаны одною мыслью, замкнуты въ извѣстныхъ поэтическихъ цѣляхъ. Не таковъ XIX-ый вѣкъ, не таковъ и „Фаустъ“, въ которомъ принято видѣть анализъ и синтезъ духовной жизни современнаго человѣка.

На XIX-й мы привыкли смотрѣть какъ на вѣкъ пытливости и изслѣдованія по преимуществу. Ему служить хвалой, что онъ ввелъ знаніе въ жизнь, но и упрекомъ, что дѣйствительность поглощаетъ его силы въ ущербъ идеалу; о немъ же говорятъ, что онъ одержимъ „болѣзнью идеала“. Какъ примирить эти противорѣчія? Развѣ прежде не искали знанія и не старались примѣнять его къ жизни? Въ извѣстной мѣрѣ, да. Но, за-

¹⁾ См. выше: сент., 199 стр.

мкнутые въ условныхъ понятіяхъ, предшествующія литературныя и историческія эпохи были болѣе отмѣчены единствомъ и несложностью направленія. Искусственный, офиціальныи характеръ литературы XVII-го вѣка достаточно извѣстенъ. XVIII-й, вслѣдствіе естественной реакціи, односторонне вдается въ изслѣдованіе истинъ болѣе конкретныхъ, примѣнимыхъ къ общественной жизни, а литература, главнымъ образомъ, служитъ проводникомъ этихъ истинъ въ обществѣ. Это начало публицистики. Во Франціи и въ Англіи это вѣкъ скептицизма и невѣрія, возникшаго на основаніи знакомства съ естественными законами въ связи съ отрѣшеніемъ отъ тяжелыхъ многовѣковыхъ традицій. И тутъ, и тамъ, это скорѣй вѣкъ разума и прозы, чѣмъ поэзіи, т.-е. единственной области, въ которой традиціи удержались даже тогда, когда кругомъ все рухнуло. Въ Германіи преобладаетъ дидактика и рабское подражаніе иноземнымъ образцамъ, и только во второй половинѣ вѣка начинается сказываться тотъ переворотъ, наслѣдіе котораго Европа воспріяла отъ Франціи въ общественной жизни, отъ Германіи въ области духовныхъ интересовъ. „Фаустъ“, крупнѣйшее произведеніе германскихъ литературъ и самый яркій цвѣтъ этого переворота, выражая извѣстныя потребности времени, сознательно созрѣвшія въ душѣ автора или вложенныя въ произведеніе интуитивно, этимъ самымъ обозначаетъ и новый фазисъ развитія. Такъ какъ замыселъ его принадлежитъ области мысли, то и аналогію слѣдуетъ искать въ сферѣ современной умственной жизни вѣка.

Едва ли возможно исчерпать характеръ XIX-го вѣка краткимъ опредѣленіемъ. Онъ не только даетъ ростъ наслѣдію предыдущихъ вѣковъ и полнѣйшее выраженіе всѣмъ требованіямъ новаго времени, но проявляетъ и тѣ противорѣчія, которыя затрудняютъ характеристику его. Въ XIX-мъ вѣкѣ мы находимъ не одно широкое теченіе, которымъ опредѣляется господствующій характеръ вѣка,—ихъ нѣсколько, не говоря о многихъ мелкихъ притокахъ, у каждаго изъ которыхъ своя область, своя живописность. Не всѣ можемъ назвать и современными въ строгомъ смыслѣ слова, такъ какъ нѣкоторые являются остатками прошлаго, и только слились съ современностью. Не было эпохи болѣе сложной, многосторонней и представляющей болѣе яркія противорѣчія. Анализъ и мечтательность, позитивизмъ и мистическая „тоска по родинѣ“, субъективность и космополитизмъ, пессимизмъ и самыя бойкія и несбыточныя утопіи; широкія обобщенія и мельчайшая детальность, — всѣ эти противорѣчія, дѣйствительныя или кажущіяся, соединяются подъ знаменемъ „про-

гресса". Если справедливо, что вѣрная оцѣнка современности требуетъ ясновидѣнія въ будущемъ, то все-таки теперь, въ концѣ XIX-го, не трудно свести главные задачи, намѣченные въ произведеніи Гёте, и въ которыхъ заключается интересъ его для нашего времени еще болѣе чѣмъ для современниковъ автора, къ слѣдующимъ положеніямъ: исцѣленіе непреложной истины въ различныхъ сферахъ знанія; многосторонность знанія и опыта, какъ путь къ абсолютному, и безграничное совершенствованіе на основаніи универсальнаго знанія; согласованіе науки и жизни, т.-е. примѣненіе знанія и опыта къ дѣйствительности; сліяніе науки и поэзіи, примиреніе путемъ науки дѣйствительности и идеала, требованій разума и потребностей души; наконецъ, служеніе человечеству, какъ окончательное, единственно возможное рѣшеніе задачи, т.-е. общепользная дѣятельность, какъ высшее проявленіе разума. Въ этихъ чертахъ XIX-й вѣкъ узнаетъ себя; на нихъ указываетъ новая литература; онѣ дали произведенію Гёте то каноническое значеніе, котораго не могли бы упрочить за нимъ одни его художественныя достоинства. Но только въ широкомъ примѣненіи этихъ философскихъ основъ, въ самой сущности этихъ положеній, которыя, преимущественно во 2-ой части драмы, то облачаются въ символы, то стоятъ только въ зародышѣ, найдемъ мы удовлетворительное объясненіе существующаго взгляда на „Фауста“, не въ тѣхъ натяжкахъ и мелочно-произвольныхъ толкованіяхъ, которыя, доходя до абсурда, неоднократно осмѣивались нѣмецкой критикой.

Если неутомимая пытливость составляетъ главный признакъ современной жизни, то и „Фаустъ“ долженъ находить отголосокъ въ душѣ cadaго, живущаго современною мыслью. Подобно „Фаусту“, XIX-й вѣкъ предался изслѣдованію самыхъ разнообразныхъ областей, но потерялъ тѣ несложныя основныя истины, которыя однѣ даютъ *успокоеніе души и цѣну пріобрѣтеніямъ*. Недостатокъ окончательнаго вывода и въ немъ вызвалъ тотъ кризисъ, который сказывается въ болѣзненномъ колебаніи между самыми противорѣчивыми взглядами, сильнымъ возбужденіи мысли и глубокой тоскѣ. Если XIX в. и является преемникомъ скептицизма XVIII в., то скептицизмъ этотъ осложняется новыми оттѣнками и клонится къ тому компромиссу, который находитъ обычное свое выраженіе въ пантеизмѣ. Если характеръ каждой исторической эпохи опредѣляется преобладаніемъ одного интереса, то идеаломъ XIX-го в. служить тотъ универсализмъ, который наложилъ печать свою на драму Гёте. Отрѣшившись отъ прежнихъ формулъ, XIX-ый в. въ каждой области провозглашаетъ свободу-

мыслие, открываетъ новые пути и стремится дать нѣчто положительное и примѣнимое. Онъ понялъ тѣсную связь между различными областями духовныхъ интересовъ и стремится къ слиянію ихъ въ виду высшаго единства. Дидро говорилъ: „Расширьте понятіе о божествѣ! (Elargissez Dieu!)“; XIX-й вѣкъ прибавляетъ: „Расширьте понятіе объ искусствѣ, о нравственности, раздвиньте границы духовнаго царства вашего!“; а Гёте говорить въ „Фаустѣ“: „Старайтесь все понять“. Никогда знаніе не было такой силой. XIX-й вѣкъ понимаетъ, что разумъ и наука — величайшая сила человѣка, и съ ней онъ связываетъ надежды на свѣтлое будущее. Онъ вѣруетъ, что совершенствованіе человѣчества тѣсно связано съ увеличеніемъ знанія, что знаніе должно дать истинѣ и правосудію торжество на землѣ; что прогрессъ совершается хотя медленно, но постоянно, несмотря на временныя пертурбаціи, препятствія и замедленія. Въ знаніи онъ ищетъ рѣшенія тѣхъ вопросовъ, которые озадачиваютъ и волнуютъ человѣчество. И XIX-й вѣкъ, волнуемый широкими желаніями, но въ то же время и горькимъ сознаніемъ несбыточности ихъ, — живетъ тою интенсивною умственною жизнью, которая нерѣдко переходитъ въ состояніе патологическое. XIX вѣкъ безмѣренъ въ своихъ требованіяхъ. Подобно Фаусту, онъ чародѣй, которому повинуются стихіи; и онъ вопрошаетъ духъ земли и подслушиваетъ тайны природы, надѣясь, что природа скажетъ ему великую тайну, долженствующую пролить свѣтъ на міръ явленій и на бытіе человѣчества. И природа сказала ему многое, но послѣдняго слова своего не говоритъ. „Подобенъ ты Тому, Кого понять ты можешь“, — отвѣчаетъ ему духъ земли, указывая готовому мириться человѣку на область необъятнаго. Гдѣ-жъ искать слова примиренія? Гдѣ найти пріютъ для души? Въ прежніе вѣка человѣкъ находилъ несложный отвѣтъ въ вѣрованіи, въ наукѣ, въ искусствѣ. Теперь онъ знаетъ, что въ каждой области можно почерпнуть нѣсколько рѣшеній, что человѣческая мысль, узнавши многообразную сложность всякаго вопроса, должна сдѣлать выводъ и примирить всѣ противорѣчія. Потому вѣкъ богатъ утопіями и попытками всякаго рода, борьбой и усиліями примиренія. Никогда человѣкъ не смотрѣлъ такъ прямо и неустрашимо въ глаза сфинксу, никогда не подходилъ такъ близко и упорно къ рѣшенію загадки; никогда и сфинксъ не задавалъ такихъ трудныхъ загадокъ... Наука показала ему безконечное, но онъ потерялъ путеводную нить по лабиринту современной мысли; дорогъ много, но которая ведетъ къ цѣли, и достижима ли эта цѣль? И вотъ XIX-й вѣкъ посылаетъ піонеровъ по разнымъ путямъ. Піонеры собираютъ

все, что встрѣчаютъ: обломки прежнихъ цивилизацій и останки юности земли; отмѣчаютъ слѣды прежде проложенныхъ путей, проникаются взглядами отжившихъ поколѣній, узнаютъ, чѣмъ они жили и на чемъ успокоивались. Одни, увлекаемые собираніемъ, комментаріями, выводами и гипотезами, одинаково забываютъ исходную точку и цѣль предпріятія. Другіе возвращаются богаче и безнадежнѣе прежняго... Каждое поколѣніе начинаетъ трудъ свой съизнова, надѣясь соорудить для себя и братьевъ ту хижину мира, которая не боится бурь. Напрасно! сомнѣнія не оставляютъ человѣка, и онъ ни успокоиться, ни оставить своего труда не можетъ; не можетъ и отказаться отъ надежды, что есть такія вершины, съ которыхъ возможно человѣку охватить взоромъ весь необъятный міръ явленій и въ совокупности ихъ найти ключъ къ разгадкѣ. Подобно Фаусту, онъ горестно восклицаетъ: „собрать всѣ сокровища знанія... я къ Безконечному не ближе!“, но знаетъ также, что, презирая знаніе и науку, онъ откажется отъ величайшей силы человѣка. И онъ возвращается къ тому, что обмануло его; хочетъ досказать недосказанное, думаетъ и ищетъ. Въ каждомъ новомъ открытіи видитъ онъ новую букву іероглифической надписи, скрывающей священный смыслъ. Каждый новый выводъ привѣтствуетъ онъ какъ слово истины. Наука удовлетворила многостороннимъ требованіямъ его, но душевной жажды утолить не можетъ. „Пергаментъ нѣмъ. Въ душѣ твоей источникъ утѣшенія“. Словами Гёте: „Воображеніе было бы очень ограничено, еслибы не умѣло вызывать такихъ предметовъ, которые всегда останутся загадкой для ума“, признается то духовное начало, которое не поддается научному объясненію; онъ даетъ субъективной дѣятельности тотъ просторъ, которымъ объясняются многія явленія современной жизни, какъ и своеобразность многихъ произведеній поэзіи и искусства. Извѣстное изреченіе: „зрѣлице зависить отъ зрителя“, вполне характеризуетъ субъективное отношеніе современнаго человѣка къ предмету его наблюденія. Субъективность нашего времени коренится въ равной мѣрѣ въ признанныхъ правахъ личности, какъ и въ болѣе интенсивной умственной жизни. Въ прежнія времена личность сказывалась преимущественно въ дѣйствіи, а духовное проявленіе ея сдерживалось традиціями или входило въ колею, установленную этими традиціями. Новая культура перенесла личность въ область духовныхъ явленій. Эпосъ XIX-го вѣка, „Фаустъ“, перенесъ дѣйствіе изъ міра внѣшняго въ область идеи.

Современный итальянскій мыслитель, Сицилиани, не только исторію философіи уподобляетъ драмѣ, въ которой человѣческая

мысль въ то же время дѣйствующее лицо и зритель, но и въ исторіи каждаго мыслителя, каждаго пытливаго ума человѣка видѣть драму, въ которой разумъ борется самъ съ собой; божественная сила, развязывающая узелъ, исходитъ не съ небесъ, а возникаетъ изъ глубины мышленія, питаемаго научными изслѣдованіями, исторіей и жизненнымъ опытомъ. Въ XIX-мъ в. преобладающая борьба — борьба изъ-за идей, и перевороты являются только конкретными результатами этихъ идей. Въ подобной борьбѣ пробуждается всякая индивидуальность. По словамъ того же Сицилиани, на воспитаніи лежитъ высокая миссія сдѣлать человѣка „его собственнымъ царемъ и священнослужителемъ“; но этотъ трудно-достижимый идеалъ возлагаетъ на личность ту ответственность и подвергаетъ ее тѣмъ нравственнымъ колебаніямъ, которыхъ не знали предыдущія поколѣнія, бросая руль вѣковыхъ традицій, признавая только критеріумъ собственного разума; личности приходится бороться съ бурями въ величавомъ, но тяжеломъ одиночествѣ; руководящей силой остается только „неясное стремленіе, таящееся въ глубинѣ души“, которое указываетъ ему путь къ добру.

На основаніи чрезмѣрной субъективности встрѣчаемъ въ XIX-мъ в. цѣлый рядъ типовъ, чуждыхъ прежнимъ вѣкамъ; если нѣкоторые изъ нихъ и возникли въ концѣ XVIII вѣка, времени сильнаго броженія и умственной подготовки, то XIX-й вѣкъ пріютилъ ихъ, далъ имъ права гражданства и полный расцвѣтъ. Это не только вѣкъ героевъ мысли и борцовъ за идею; вѣкъ, въ которомъ личность громко заявила о себѣ, породилъ и массу характеровъ неудовлетворенныхъ, стремящихся къ такому строю общественной или личной жизни, который лежитъ за чертой ихъ могущества; натуръ „загадочныхъ“, страдающихъ недугомъ вѣка: неясными, но страстными стремленіями въ неизвѣданныя дали, — натуръ, къ которымъ примѣнимы слова Мефистофеля о Фаустѣ:

Всегда куда-то въ даль стремится,
Всегда въ желанья погружень,
То съ неба ввѣздъ желаетъ онъ,
То хочетъ счастьемъ насладиться;..

наконецъ разочарованныхъ и больныхъ душъ, которыхъ раздражала несоотвѣтствующая ихъ внутреннему міру дѣйствительность, и силы которыхъ, не находя исхода, подтачиваютъ сами себя въ болѣзненномъ самосозерцаніи.

Эти типы, составлявшіе богатую категорію въ началѣ вѣка, не совсѣмъ вымершіе и до сихъ поръ, не умѣютъ приноровиться къ жизни или вслѣдствіе неспособности отвѣчать на многосто-

роннія требованія вѣка, чаще же вслѣдствіе чрезмѣрныхъ личныхъ требованій.

Личность, стараясь занять возможно широкое мѣсто, должна была измѣнить сущность и формы искусства. „Благородные“ роды поэзіи исчезаютъ; преобладаютъ тѣ, въ которыхъ легче сказаться личности; возникли новые жанры, служащіе проводниками для личнаго міровоззрѣнія. Мы интересуемся извѣстными предметами только тогда, когда видимъ ихъ сквозь призму субъективности. Современный романъ, богатая лирика, дневники, записки, воспоминанія и т. д., критическіе этюды, даже научныя изслѣдованія, свидѣлствуютъ о томъ. Романъ поддается самымъ разнообразнымъ попыткамъ писателей, служить всевозможнымъ тенденціямъ и цѣлямъ. Для лирики характеристичны слова Гейне: „Изъ моихъ большихъ страданій слагаю я маленькія пѣсни“. При интенсивности современной умственной жизни, какъ глубоко долженъ чувствовать поэтъ, какая сумма личнаго опыта нужна ему для немногихъ строкъ, западающихъ въ душу, въ наше время, такъ много переживавшее, столько прочувствовавшее!

И въ наукѣ просторъ для гипотезъ и парадоксовъ, нерѣдко для симпатій и антипатій. Литературная критика потеряла характеръ доктрины и, идя съ вѣкомъ, стремится къ пониманію временныхъ потребностей; но нерѣдко, увлекаясь личными взглядами, забываетъ высокое назначеніе свое: служить коррективомъ для общественнаго мнѣнія, хранить въ чистотѣ общечеловѣческіе идеалы. Прежняя мѣрка эстетической критики непримѣнима къ произведеніямъ, вышедшимъ, какъ и личность, изъ условной рамки. Современная англійская писательница Вернокъ Ли, цѣлительница прошлаго, остроумно говоритъ объ отсутствіи въ наше время господствующаго стиля: „Люди легко усваиваютъ себѣ любой слогъ, если между ними и способомъ выраженія ихъ мысли нѣтъ нравственной связи“. Но какъ личность—врагъ традиціи, такъ и привычка анализа, которою проникнуть нашъ вѣкъ, врагъ всякой условности. Къ тому же умъ современнаго человѣка приобрѣлъ ту гибкость, ту способность ассимиляціи, которая заимствуетъ оттѣнки отъ самаго предмета, какъ и отъ временныхъ вліяній, или подчиняетъ ихъ себѣ, чтобы дать имъ своеобразное выраженіе. Какъ Гёте въ „Фаустѣ“, крупнѣйшіе писатели нашего времени дерзнули имѣть „индивидуальность“ въ литературѣ и громко заявить ее. Сама даровитая писательница отдала дань современному направленію въ искусствѣ, избравъ для своихъ сочиненій форму импрессионизма, одно изъ многочисленныхъ проявленій субъективности, а именно, видъ компромисса между зна-

нѣмъ и мимолетнымъ впечатлѣнїемъ, рефлексїей и творчествомъ, въ союзѣ которыхъ Гёте видѣлъ идеалъ художника и на основанїи которыхъ возникъ „Фаустъ“.

Но личность не только агентъ притязательный и самобытный, она и явленіе сложное, отсюда—богатство въ современной литературѣ психическаго анализа, образцомъ котораго въ началѣ вѣка служилъ Шекспиръ; отсюда и богатое многообразіе произведеній искусства.

Преобладаніе нѣкоторыхъ искусствъ въ извѣстныхъ эпохи соотвѣтствуетъ состоянію въ нихъ человѣческой души. Какое изъ нихъ можетъ передать душевное состояніе лучше, чѣмъ музыка, по словамъ Т. А. Гофмана, „самое романтическое изъ искусствъ, потому что область его—безпредѣльность“? Музыка, область неопредѣленныхъ и безграничныхъ мечтаній, соотвѣтствуетъ по характеру своему той интенсивности духовной жизни, но и тѣмъ колебаніямъ ея въ современномъ обществѣ, которыя находятъ себѣ выраженіе и исходъ въ звукахъ. Зыбкимъ чередомъ передаютъ они смутную тоску, и страстный порывъ, и свѣтлую надежду. Ничто конкретное не можетъ воплотить ни глубокаго лиризма, ни стремительности и безпредѣльной шири, ни интимнѣйшихъ, тончайшихъ оттѣнковъ психической жизни, ни всѣхъ тревожныхъ движеній души, которыя коренятся въ постоянномъ колебаніи ищущей и неудовлетворенной мысли.

Невидимые духи, подъ пѣснь Аріеля, убаюкиваютъ утомленнаго мыслью и внутренней борьбой Фауста, и „смиряютъ страсть душевную“; они же будятъ дремлющія въ немъ силы и ободряютъ его направить ихъ къ дѣятельности...

Современная музыка, давая просторъ индивидуальности, служить могучей возбуждающей силой, и, отражая сложность и многосторонность времени, будить сумму духовныхъ способностей и дѣйствуетъ силой наведенія; но со свойственною ей зыбкостью ничего не исчерпываетъ, рѣдко заканчивается... Это не безмятежные звуки предшествующихъ вѣковъ: и здѣсь борьба и мятель, мысль и наука; отъ прозрачныхъ, какъ кристаллъ, рѣчмическихъ формъ музыка перешла къ драматизму и идейному объему. XIX-й вѣкъ отъ художниковъ требуетъ убѣжденій, а отъ звуковъ глубокомыслія. Среди разнорѣчивыхъ личныхъ теорій, новая музыка ищетъ примирительной, общей теоріи, коренящейся въ глубокомъ объединяющемъ пониманіи средствъ и цѣлей искусства. Это уже не прежняя вражда партій изъ-за формъ: коренное пониманіе мѣняется. Новая школа старается вложить въ звуки глубокое значеніе, согласно съ умственными требованіями вѣка; подчасъ раз-

сказать и личную повѣсть. Прежнюю музыку мы чувствуемъ; новую мы передумываемъ.

Несложная цѣльность древней мысли находила обычное выраженіе въ пластикѣ; сложность новой мысли не могла найти соотвѣтствующаго выраженія въ законченныхъ формахъ ваянія, а въ живописи преимущественно разработала тѣ роды, въ которыхъ сказывается характеръ вѣка. То, что французы называютъ „la grande peinture“, уступило мѣсто жанрамъ второстепеннымъ. Субъективность художника находить широкое поприще въ *пейзажѣ*; мало того: самый пейзажъ у импрессионистовъ является подъ угломъ мимолетнаго впечатлѣнія. Художникъ старается передать богатое многообразіе типовъ въ *портретѣ*; провозглашаетъ равноправность личности и возбуждаетъ интересъ ко всему человѣческому *въ жанрѣ*. — Личность не только явленіе сложное, но она богата контрастами, какъ вѣкъ, воспитавшій ее и заявляющій многостороннія требованія. Потому и въ духовной жизни современнаго человѣка нѣтъ того единства, которое придавало жизни прежнихъ поколѣній характеръ духовной безмятежности или по крайней мѣрѣ цѣльности. Самыя знаменательныя произведенія текущаго вѣка носятъ, какъ и онъ, характеръ борьбы, мятежа и двойственности. Борьба, начавшаяся въ области историческаго факта, обострилась въ сферѣ нравственныхъ вопросовъ; не только требованія жизни осложнились, но эманципация личности осложнила и нравственныя обязанности; развитіе настоятельныѣ требуетъ рѣшенія и выбора; уступки болѣе сознательны и жгучи. Въ исторіи мы видѣли времена разлада и умственной подготовки; но тогда человѣкъ, будучи ближе къ природѣ, болѣе повиновался темпераменту, да и самый разладъ сказывался болѣе въ отдѣльных личностяхъ. Теперь же сознаніе этого разлада коснулось массъ; водоворотъ современной мысли отзывается даже на такихъ умахъ, которымъ совершенно чуждо умозрѣніе. Потому и замкнутыя, безмятежныя существованія все болѣе становятся явленіями единичными. Человѣкъ XIX-го вѣка можетъ сказать съ Фаустомъ:

„Ахъ, двѣ души живутъ въ груди моей,
Другъ другу чуждыя—и жаждутъ раздѣленья!
Изъ нихъ одной мила земля—
И здѣсь ей люблю, въ этомъ мірѣ,
Другой—небесныя поля,
Гдѣ духи носятся въ эфирѣ“.

На этомъ антагонизмѣ между міромъ реальнымъ и областью идеаловъ, чувственностью и спиритуализмомъ живетъ драма Гёте. Наше время подъ знаменемъ идеализма или реализма обоб-

шило тѣ противорѣчія, которыми богатъ вѣкъ нашъ во всѣхъ проявленіяхъ духовной жизни своей. Научный позитивизмъ становится со слонностью къ мистицизму; матеріализмъ не исключаетъ высокой умственной культуры; мы встрѣчаемъ страстное служеніе идеѣ, но проникнуты и сознаниемъ безсилія предъ неизмѣнными законами. XVIII-й вѣкъ во Франціи представляетъ общество скептическое, безъ вѣры, безъ идеаловъ, и провозглашаетъ новое сredo на основаніи знанія; нѣмецкая романтика въ концѣ вѣка пытается отвергнуть знаніе во имя вѣры; XIX-й вѣкъ стремится согласовать знаніе съ тою вѣрой въ духовное начало, котораго требуетъ нравственная жизнь человѣчества. Самый пессимизмъ современнаго общества во многихъ случаяхъ не что иное, какъ проявленіе идеализма: стремясь къ идеальному порядку вещей, мы преувеличиваемъ существующее зло.

XIX-му вѣку ставятъ въ упрекъ грубый реализмъ, преобладаніе матеріальныхъ интересовъ, торжество факта: явное противорѣчіе съ той „болѣзью идеала“, на которую такъ часто указываетъ литература. Объясненіе находимъ въ громадныхъ успѣхахъ естествознанія, сопровождаемыхъ изобрѣтеніями и открытіями, которыя еще недавно казались несбыточными химерами; XIX-й вѣкъ позналъ міръ и богатство его явленій; природа, прежде книга за семью печатами, предметъ суевѣрной боязни, нѣмого поклоненія или произвольныхъ догадокъ, теперь открываетъ ему неисчерпаемое содержаніе свое. Сознаніе тѣсной связи своей съ естествомъ и торжество надъ стихійными силами увлекаютъ его до отрѣшенія отъ всего, чему не находитъ вѣрнаго залога на землѣ, и онъ съ Фаустомъ восклицаетъ:

„Здѣсь, на землѣ, живутъ мои стремленья,
Здѣсь солнце свѣтитъ на мои мученья;
Когда-жъ придетъ послѣднее мгновенье,
Мнѣ до того, что будетъ—дѣла нѣтъ“.

Въ поэзіи и искусствѣ реализмъ обличаетъ желаніе ближе слить искусство съ жизнью, дать ему ту твердую основу въ дѣйствительности, которою опредѣляется значеніе произведенія для современниковъ. Большинству крупныхъ произведеній предшествовало наблюденіе дѣйствительности; всѣ они коренятся въ жизненной правдѣ. Грубость современнаго реализма искупается отзывчивостью; литература, сокровищница человѣческихъ идеаловъ, въ силу этой отзывчивости, сдѣлалась отголоскомъ общественныхъ потребностей и нуждъ; низведенная до степени натурализма — картиной общественныхъ немощей и язвъ; въ этомъ послѣднемъ видѣ она обличаетъ сбивчивость понятій, смѣшивающихъ цѣли

и средства искусства; стараясь тщательно воспроизводить одну изъ сторонъ жизни, натурализмъ получаетъ значеніе подготовительныхъ этюдовъ, пытающихся жить своею, самостоятельной жизнью.

Тщательно изслѣдуя міръ видимый, познавая могущество независящаго отъ него факта, современный человѣкъ отводитъ ему широкое мѣсто въ области духовныхъ интересовъ. Къ факту же привелъ его и доведенный до крайности анализъ, и шаткость спекулятивныхъ теорій, и жажда положительнаго знанія. Потому текущій вѣкъ привѣтствовалъ позитивизмъ, такъ часто прикрывающій громкимъ именемъ философіи и доктрины отсутствіе глубины, послѣдовательной доказательности и силы умозрѣнія. Захватывающее значеніе естественныхъ наукъ повліяло на историческія науки и на художественную критику. Приемы естествоиспытателя перенесены и въ эти области. На основаніи историческаго факта и естественнаго закона, новый методъ, въ лицѣ крупнѣйшихъ представителей своихъ, установилъ между духовнымъ міромъ человѣка и явленіями конкретными ту тѣсную связь, которая лишаетъ проявленія человѣческаго духа присущей имъ грандіозности. „Теорія среды“ уничтожаетъ свободную дѣятельность личности, ведетъ къ фатализму; индивидуальность подавляется естественными законами, и великіе люди какъ будто выходятъ изъ реторты, а произведенія ихъ являются неизбѣжнымъ, математически-вычисленнымъ результатомъ извѣстныхъ условій, произведеніемъ извѣстныхъ множителей. Фатализмомъ отмѣчено и вліяніе естественныхъ законовъ, незначительныхъ внѣшнихъ агентовъ на историческія судьбы народовъ. Этотъ методъ, сначала ослѣпившій бойкостью и мѣткостью выводовъ, благодаря громадной учености и яркой даровитости представителей своихъ, методъ, давшій широкія обобщенія, помогшій разобратся въ массѣ явленій, болѣе не удовлетворяетъ насъ, тѣснить наше пониманіе. Простота приѣма повела къ той односторонности, узости пониманія, которую современная мысль ставитъ въ упрекъ позитивизму. Мы различаемъ между вліяніемъ среды и роковой зависимостью отъ нея. Мы и здѣсь требуемъ того духовнаго начала, плохо поддающагося анализу, независимаго отъ тѣхъ мѣстныхъ и временныхъ условій, которыя не порождаютъ геніевъ, а создаютъ только тѣ формы, въ которыя выливается мысль, и во имя этого духовнаго начала пытаемся ограничить могущество видимыхъ агентовъ. Спиритуализмъ, присущій человѣку и воспитанный въ немъ тысячелѣтіями, находится въ антагонизмъ съ позитивизмомъ вѣка, возстаетъ противъ него и громко требуетъ своихъ правъ. „Подобенъ ты Тому,

Кого постичь ты можешь!" Краснорѣчивымъ органомъ этого требованія, осложненнаго опытнымъ знаніемъ, является Фаустъ. Опираясь на зданіе науки, Фаустъ XIX-го вѣка хочетъ познать всю истину жизни, но въ тоже время стремится къ заоблачнымъ высямъ, чтобъ завоевать міръ идеаловъ. Но текущій вѣкъ—вѣкъ анализа, и анализа безпощаднаго, профанирующаго священнѣйшія традиции, и тѣ сокровенные тайники души, гдѣ человѣкъ жертвуетъ смутно сознаваемому, таинственному „нумену". Какъ часто вздыхаетъ онъ съ Фаустомъ: „Мгновенье радости почую ли душой,—вмигъ жизни критика его мнѣ разрушаетъ — и образы, желанныя мной, гримасою ужасной искажаетъ".

Въ какой сферѣ реальнаго или идеальнаго найти удовлетвореніе? Гдѣ свобода и откровеніе? Въ природѣ? Но онъ потерялъ способность воспринимать непосредственно; рефлексія замѣнила непосредственность, и въ природѣ онъ ищетъ символа, но и какъ символъ она ставитъ грань пылливому уму.—Въ наукѣ и исторіи человѣчества? Но онъ знаетъ, что наука шатка и часто роняетъ сегодня то, въ чемъ видѣла истину вчера.—Въ философіи? Но и тутъ возрѣнія и системы смѣняются, и все онъ „къ безконечному не ближе". Мыслители, по словамъ Шиллера, „хотѣли заковать истину въ звучное слово, но, могучая и свободная, она пронеслась мимо нихъ, подобно вихрю". Гдѣ же „недвижный полюсъ", центръ скоротечныхъ явленій? Онъ хотѣлъ проникнуть въ сущность предметовъ и въ ней найти ключъ къ всепониманію, но убѣдился, что можетъ только констатировать законъ; причина его остается неизвѣстна. Загадочное *почему* всѣхъ явленій должно было уступить мѣсто болѣе доказательному *какъ*.

Реальное не удовлетворяетъ его вполне, а отвлеченное начало ускользаетъ отъ него, не поддается доказательству. Или ему отказаться отъ опыта, чтобъ вернуться къ простой, апіористической истинѣ, предшествовавшей знанію? Но этотъ возвратъ не есть дѣло разума.

Фаустъ измѣняетъ отношеніе свое къ знанію. Онъ хочетъ приобщиться богатой жизни человѣчества, воплотить въ себѣ всѣ противорѣчія. Микровосмъ пусть послужитъ ключомъ къ макровосму.

Подобно ему и XIX-й вѣкъ хочетъ захватить въ ширь то, чего не можетъ достигнуть въ глубь. Совокупность знанія должна дать ему нѣчто цѣльное. Въ объединеніи всѣхъ явленій онъ, можетъ быть, найдетъ тотъ высшій синтезъ, который замѣнить ему утраченный въ анализѣ первоначальный синтезъ. XIX-й вѣкъ „вопрошаетъ всѣхъ боговъ", чтобы понять и почтить тѣ думы, которыя

загадка міра внушила предшественнымъ поколѣніямъ и на которыхъ они успокоивались. Гёте является примѣромъ этого пониманія всѣхъ религій; древніе міфы, средневѣковъ мистицизмъ, современное умозрѣніе и восточный пантеизмъ послужили вкладомъ въ его произведеніе. И въ XIX-му вѣку примѣнимы слова поэта о Гёте, прорицатель этого вѣка: „Ты мыслью крылатой весь міръ облетѣлъ — и лишь въ безконечномъ нашелъ ты предѣлъ“. Воображеніе, окрыленное знаніемъ и опытомъ многихъ вѣковъ, безгранично въ своихъ требованіяхъ. Универсальность — идеаль и задача новаго времени; въ международномъ общеніи космополитизмъ занялъ мѣсто прежней замкнутости. Міровая литература, — вотъ та почва, на которой нѣтъ партій, нѣтъ національности; общечеловѣческое, вѣчное начало въ поэзіи связываетъ всѣхъ людей братскими узами. Отпечатокъ этого убѣжденія лежитъ на драмѣ Гёте; имъ все болѣе проникается и современное общество, и если оно иногда оспаривается въ принципѣ, то ему, тѣмъ не менѣе, отдають широкую дань въ литературѣ и наукѣ, т.-е. въ той области, которая составляетъ сущность жизненныхъ явленій. Въ этикѣ признаемъ за высшій идеаль — гуманизмъ, какъ дань общечеловѣческому, т.-е. при всестороннемъ пониманіи и всестороннее сочувствіе. „Только въ цѣломъ человѣчествѣ человѣкъ находитъ полное свое выраженіе“. То, въ чемъ Гёте видѣлъ высшую задачу человѣческаго совершенствованія: сочетаніе элемента личнаго и общечеловѣческаго, и равновѣсіе между ними — соотвѣтствуетъ не только свойству нѣмецкаго ума, субъективнаго и въ то же время постоянно ищущаго обобщеній, но и господствующимъ тенденціямъ вѣка. Необходимость общаго образованія при специальномъ знаніи обуславливается современнымъ пониманіемъ тѣсной связи между всѣми сферами мысли. Въ литературѣ и искусствѣ мы видимъ то богатое разнообразіе, которое коренится и въ свободѣ художника, и въ попыткѣ воплотить въ нихъ результаты многосторонняго знанія; какъ искусство черпаетъ изъ общечеловѣческаго вклада мысли, такъ и въ поэзіи преобладають тѣ виды, которые отзывчивѣе другихъ на современныя требованія и принимаютъ наибольшій умственный вкладъ. — Народная поэзія становится предметомъ изученія; подражанія ей свидѣлствуютъ о желаніи согласовать непосредственное съ искусствомъ. — Нѣтъ той области науки, которая не популяризировалась бы, чтобъ сдѣлаться достояніемъ всѣхъ. Вклады прежнихъ вѣковъ воскресаютъ, одухотворенные геніемъ вѣка. Если вѣкъ этотъ не носитъ характера единства и законченности убѣжденій, то взаимнѣе — это вѣкъ всесторонняго пониманія, универсальныхъ изслѣдованій, мирового сочувствія.

Поставивъ себѣ задачей все понять, все объять, онъ отрѣшается отъ положительныхъ доктринъ, осторожно даетъ общія положенія, не исчерпываетъ предмета въ краткихъ опредѣленіяхъ. Современная мысль признаетъ поэтическую красоту независимо отъ теорій, какъ и независимость религіознаго чувства отъ неприкосновенности догмата. Подобно широкому потоку, современная жизнь выступила изъ вѣкового русла, разрушая, что обветшало, захватывая и сливаясь, оплодотворяя и пролагая новые пути.

Потому сложность содержанія и многосторонность цѣлей составляютъ преобладающую черту литературныхъ и художественныхъ произведеній. „Фаустъ“ служитъ прототипомъ этого направленія и представляетъ то сліяніе между наукой и творчествомъ, котораго искалъ Гёте. Но анализъ—врагъ творчества, а знаніе является противникомъ той доли непосредственности, которая должна участвовать въ искусствѣ. Вторая часть драмы носитъ слѣды этой вражды: будучи скорѣе продуктомъ мысли, чѣмъ свободного творчества, она есть больше сводъ извѣстныхъ задачъ автора и его вѣка, чѣмъ поэтическое произведеніе въ строгомъ смыслѣ слова. XIX-й вѣкъ ищетъ этого сліянія и возводитъ его въ теорію. Бальзакъ, глава цѣлой школы романистовъ, руководится принципомъ, заимствованнымъ у естественныхъ наукъ: „человѣкъ, подобно животному, всегда находится подъ вліяніемъ среды и приспосабливается къ ней“. Извѣстно, что Зола основываетъ свои литературные взгляды на методъ изслѣдованія фізіолога Клода Бернара: по его мнѣнію, поэтъ долженъ быть наблюдателемъ и экспериментаторомъ. Такимъ образомъ, поэзія задается различными проблемами, между которыми упомяну только тенденціозныя произведенія современной литературы, давшія такъ много замѣчательнаго, хотъ иногда и въ ущербъ поэтическимъ цѣлямъ.

Какъ трудно совершается сліяніе между наукой и поэзіей, выражено въ прекрасномъ символѣ однимъ изъ главныхъ представителей направленія: я разумѣю Флобера и одну изъ послѣднихъ картинъ его романа: „Искушеніе св. Антонія“, романа, носящаго слѣды усилій самого автора слить поэтическія цѣли съ научными, и потому не нашедшаго той оцѣнки, которой въ правѣ былъ ожидать авторъ.

„На жгучемъ пескѣ пустыни лежитъ сфинксъ; онъ думаетъ и вычисляетъ, устремивъ глаза на горизонтъ. Вокругъ него порхаетъ и вьется ширококрылая химера, то приближаясь и задѣвая крыломъ его чело, то высоко взвиваясь надъ нимъ.

Сфинксъ. — Остановись, химера, куда несешься ты такъ быстро?

Химера.—Я рвю надъ горами, несусь по лабиринтамъ, спускаюсь въ бездны, крыльями задѣваю облака. Ты же, сфинксъ, всегда неподвиженъ, или чертишь іероглифы на пескѣ пустыни.

С.—У меня своя тайна. Я думаю и вычисляю. Караваны проходятъ, пыль взвивается и вѣтеръ разноситъ ее; города рушатся, вѣка идутъ; взоръ мой устремленъ на горизонтъ, котораго ты не видишь.

Х.—Посмотри на меня: я весела и свободна. Я открываю людямъ ослѣпительныя дали, полныя радужныхъ надеждъ и несказаннаго счастья. Я создала чудеса искусства; я внушаю великія предпріятія. Я ищу прекраснѣйшихъ цвѣтовъ, новыхъ ароматовъ, неизвѣданныхъ радостей. Когда я вижу человѣка, умъ котораго отдыхаетъ въ найденной имъ мудрости, я душу его.

С.—Я пожралъ всѣхъ тѣхъ, кого томило исканіе Божества. Сильнѣйшіе изъ нихъ, желая подняться до царственнаго чела моего, утомленные, падали и разбивались. Самъ я столько передумалъ, что у меня болѣе нѣтъ словъ. Остановись, химера, не ускользай болѣе отъ меня; остановись и подними меня на крыльяхъ своихъ; тоска гложетъ меня на землѣ.

Химера вѣтся около него, смотритъ ему въ глаза и говорить, исполненная горячаго желанія:—Ты всегда зовешь и всегда отрекаешься отъ меня. Но я люблю тебя за строгіе, задумчивые глаза твои, за глубину твоего взора. Поднимись, обоими меня и сольемся съ тобой въ одно существованіе.

Сфинксъ силится приподняться. — Я отяжелѣлъ, ноги мои будто прикованы къ землѣ; не улетай отъ меня, химера!—Но химера, испуганная громадностью поднимающагося колосса, взвилась и отлетѣла отъ него.

— Напрасно!—вздыхаетъ сфинксъ и, тяжело опускаясь, зарывается въ песокъ пустыни“.

Флоберъ въ этой картинѣ далъ выраженіе тѣмъ поэтическимъ цѣлямъ, которыя онъ съ мучительнымъ напряженіемъ преслѣдовалъ всю свою жизнь. Онъ искалъ безусловной правды въ поэзіи, опираясь на тщательныя изслѣдованія, и если въ другихъ романахъ болѣе или менѣе достигалъ этого, то послѣдняя, недоконченная повѣсть его останется примѣромъ безплодной попытки примирить науку съ требованіями фантазіи. Между поэтическимъ замысломъ автора и описаніемъ научныхъ занятій и опытовъ его героевъ разладъ очевиденъ. Сфинксъ задавилъ химеру. Современная литература полна примѣровъ этого антагонизма двухъ противоположныхъ началъ, попытокъ примиренія, часто и полнаго творческаго сліянія. То психологическая истина произве-

денія сводится къ фізіологическому наблюденію, то прибѣгаютъ къ символамъ, чтобы вылить отвлеченную мысль въ поэтическую форму. Желаніе согласовать требованія ума и фантазіи вызвало въ поэзіи, какъ и въ живописи, контрасты импрессионизма, съ одной стороны, т.-е. выраженіе непосредственнаго впечатлѣнія, которому предшествуетъ знаніе, и съ другой—точную до вычурности детальность въ описаніяхъ. Такимъ образомъ, границы искусства и поэзіи раздвигаются; одна область вторгается въ другую, ради широкаго захвата, но нерѣдко въ ущербъ художественнымъ требованіямъ. Наука облачается въ поэтическую форму; искусство служитъ отвлеченной мысли. Музыка живописуетъ, стремится воспроизвести конкретное, вылить въ звуки опредѣленную мысль, богатое идейное содержаніе. Въ живописи ищутъ отзывчивости; тщательное изученіе дѣйствительности выходитъ изъ границъ, въ которыхъ прежде держались пластическія искусства. Тутъ одновременно находимъ и грубый реализмъ, и символизмъ до-рафаэлевской школы, сочетающій таинственность содержанія съ реализмомъ выраженія, и пластическій идеалъ древности, воплощающій современную мысль и эмоцію, и мельчайшую детальность, и мимолетное субъективное впечатлѣніе. Въ образахъ художника, какъ и въ мечтаніяхъ поэта, находимъ отголосокъ современныхъ тревогъ и современной пытливости; и для художника знаніе есть источникъ вдохновенія, и онъ ищетъ перехода отъ идеи къ творчеству, отъ анализа къ поэзіи, старается согласовать духъ критики и творческое вдохновеніе.

Что при такихъ разнородныхъ цѣляхъ, при такой сложности замысла, прежнія опредѣленія прекраснаго и цѣлей поэзіи должны были оказаться недостаточными—вполнѣ очевидно. Различіе возрѣній породило множество партій, но ни одна до сихъ поръ не нашла удовлетворительнаго, исчерпывающаго опредѣленія. Какъ далеки мы отъ узкихъ опредѣленій прекраснаго въ XVIII-мъ вѣкѣ: „то, что нравится“; у Дидро: „пріятное“; у другихъ: „украшенная истина“. Устарѣло и слѣдующее опредѣленіе поэзіи, хотя принадлежитъ недалекому прошлому: „прекрасное содержаніе въ прекрасной формѣ“ и т. д. Поэтическія требованія возрастаютъ, опредѣленія становятся шире и указываютъ на высшія цѣли; потому находимъ далѣе: „единство въ сложности“, „общее въ частномъ“, „идея въ конкретной формѣ“, „бесконечное въ конечномъ“, и т. д. Французская романтика избираетъ девизомъ: „истинное равняется прекрасному“. Идеализмъ и реализмъ, романтика и ложный классицизмъ одинаково создавали свои опредѣленія, которые не разъ служили знаменемъ для новой школы

или, по крайней мѣрѣ, литературной группы. Не столько различіе толкованій, какъ широта современныхъ требованій затрудняютъ исчерпывающее опредѣленіе. Мы упоминали о естественно-научной постановкѣ вопроса о поэзіи; но ни попытка объяснить возникновеніе произведенія путемъ внѣшнихъ агентовъ, ни стараніе свести дѣйствіе прекраснаго къ дѣйствію чисто физическому, ни современный опытъ указать въ поэзіи физическіе законы — въ односторонней цѣльности своей не общаются быть долговѣчными даже среди тѣхъ литературныхъ партій, гдѣ эти взгляды держатся теперь. У теоретиковъ же, стоящихъ внѣ школы, все чаще находимъ указаніе на древнее опредѣленіе: „Прекраснымъ называется то, что возбуждаетъ наибольшее число представленій въ наименьшемъ пространствѣ“, какъ ближе соответствующее тому идейному объему, котораго требуетъ современность. Поэзія, какъ ширь воображенія, отодвигается на второй планъ; но доходившіе до крайности нападки на „искусство ради искусства“ уступаютъ мѣсто болѣе глубокому пониманію того, что „показать“ уже значитъ „доказать“. Можетъ статься, именно въ чистомъ искусствѣ легче примирить науку съ поэзіей, тѣмъ въ тенденціозныхъ произведеніяхъ. Наука формулируетъ явленіе и объясняетъ законъ его; ясновидѣніе поэта даетъ живой образъ этого явленія, одухотворяетъ представленія науки. Въ этомъ взглядѣ можетъ найти оправданіе и историческій романъ, такъ часто подвергающійся въ наше время нападкамъ. Истина субъективная увлекаетъ насъ искренностью убѣжденій; истина объективная, основанная на знаніи и наблюденіи, поучаетъ безъ дидактическихъ пріемовъ и безъ тенденцій, даетъ намъ жизненную правду, не подверженную личнымъ заблужденіямъ.

Согласно съ широкими, многосторонними цѣлями искусства, литературная и художественная критика измѣнилась; критикъ уже не подходитъ къ произведенію съ готовой мѣркой опредѣленныхъ теорій; отъ него требуется и болѣе той отзывчивости и восприимчивости, какія дѣлаютъ его посредникомъ между художникомъ и обществомъ; отъ него ждутъ той обширности пониманія, которая является цвѣтомъ и плодомъ многосторонняго духовнаго развитія. Потому критика, въ лучшемъ и самомъ широкомъ значеніи слова, критика, нашедшая только въ концѣ XVIII-го вѣка въ Германіи немногихъ представителей — новаторовъ, есть, по преимуществу, продуктъ XIX-го вѣка, аналитическому характеру котораго она соответствуетъ. Такъ какъ произведенія сильнѣе всего трогаютъ насъ тѣмъ, что трудно поддается анализу, то едва ли возможно найти удовлетворительное опредѣленіе поэти-

ческой красоты, которая въ высшемъ проявленіи своемъ говорить не одному какому-нибудь чувству, но всему существу нашему, затрогивая въ богатомъ резонансѣ всѣ наши духовныя силы. Чѣмъ сильнѣй это совершается, тѣмъ выше произведение.

XIX-й вѣкъ ищетъ единства въ сложности; онъ въ то же время разграничилъ области духовной дѣятельности и нашелъ связь между ними; всѣ категоріи объединяются, подчиняясь общему началу; силою этой связи каждой отдѣльной функціи предоставляется болѣе обширный и плодотворный кругъ дѣйствія. Посредствомъ тщательнаго знакомства и изученія всѣхъ сферъ конкретнаго и объединенія всѣхъ данныхъ онъ надѣется приблизиться къ той безусловной истинѣ, которую онъ ищетъ въ наукѣ и въ жизни, въ искусствѣ, въ поэзіи и въ вѣрованіи. Эта горячая любовь къ истинѣ, эта неутомимая пытливость даютъ XIX-му вѣку отличающій его характеръ грандіозности, но и мучительнаго напряженія.

Въ искусствѣ каждая школа ищетъ лозунга для своего знамени. Въ поэзіи романтики, избравшіе истину девизомъ и предметомъ поэтическаго культа, все еще ищутъ истиннаго примѣненія провозглашаемаго ими принципа. Человѣкъ ждалъ появленія абсолютной истины въ философіи, но, обманутый, отказывается отъ нея во имя положительнаго знанія, и она удаляется, увлекая за собой вѣрованіе, оставляя за собой сомнѣнія и отрицанія.

Нѣкогда въ древности, когда старыя вѣрованія рушились, наканунѣ замѣны ихъ другими, слышались голоса, возвѣщавшіе объ окончательномъ упадкѣ существовавшаго дотошъ общественнаго строя: „Умеръ Панъ!“ раздалось у берега цвѣтущей Греціи. „Уходятъ боги!“ послышалось въ храмѣ разлагающагося Рима. И языческій міръ, неясно сознавая, что совершается что-то великое, но разрушительное, со скорбью повторялъ: „умеръ Панъ! уходятъ боги!“, прощаясь съ вѣрованіями предковъ.

Нѣчто подобное совершается и въ наше время. И XIX-й вѣкъ не разъ говорилъ обществу подобное, и многіе, желая идти съ вѣкомъ, не понимая, что переживаютъ время кризиса, повторяли слышанное.

Но вѣрованія не умираютъ; символы мѣняются, но начало, одухотворяющее ихъ, остается. Не умираютъ идеалы человѣческіе, но видоизмѣняются и временно затемняются. Не умираютъ боги. Но не въ однихъ храмахъ живутъ они, гдѣ величавость обрядовъ служитъ одеждой и выраженіемъ тому, что живетъ въ сознаніи человѣка и коренится въ вѣчныхъ требованіяхъ его духа. XIX-й вѣкъ признаетъ возможность вѣры внѣ догмата, ищетъ ея

не въ одномъ только смутномъ сознаніи, вѣковѣчномъ источникѣ этой вѣры.

Съ горячей надеждой, со страстной любовью человѣкъ принимаетъ къ матери-землѣ; на лонѣ природы надѣется онъ найти то, въ чемъ отказалъ ему разумъ; природу сдѣлалъ онъ не только источникомъ знанія, но и вдохновенія. Космосъ сдѣлался символомъ для таинственнаго „нумена“; нѣкоторымъ онъ замѣнилъ его:

„Могучій духъ! ты не напрасно
Явилъ мнѣ ликъ свой въ пламенномъ сіяньи,
Ты далъ мнѣ въ царство чудную природу,
Обнять ее, вкусить мнѣ силы далъ;
Не хладное познанье далъ ты мнѣ—
Дозволилъ ты въ ея святую грудь,
Какъ въ сердце друга, бросить взглядъ глубокій“.

Фаустъ видитъ что-то родное въ явленіяхъ природы; въ другихъ существахъ позналъ онъ братьевъ; самыя стихіи говорятъ голосомъ, близкимъ ему.

Не это ли Панъ, умершій на окраинѣ языческаго міра, лежавшій въ могилѣ во время среднихъ вѣковъ? не это ли вѣчно-юное божество, воскресшее въ XIX-мъ вѣкѣ для новой, полной жизни? Поэзія и наука свидѣтельствуютъ о немъ. Пантеизмъ, къ которому клонится современная мысль, служить выраженіемъ поклоненія ему.

Современное отношеніе къ природѣ было чуждо предшествующимъ вѣкамъ. Въ XVIII-мъ вѣкѣ во Франціи природа была предметомъ изученія преимущественно у матеріалистовъ; въ XVII-мъ в. она отсутствуетъ въ поэзіи. Въ Германіи это была смѣсь слезливаго благочестія и сухой дидактики. И тутъ, и тамъ въ рѣдкихъ случаяхъ искренность замѣняетъ условность чувства. Въ средніе вѣка, постоянно старавшіеся въ аскетической односторонности побороть естество въ пользу духовнаго начала, любовь къ природѣ допускается въ немногихъ, и то условныхъ, проявленіяхъ. Только XIX-й вѣкъ узналъ въ ней нѣчто родное, понялъ тѣсную связь съ ней, проникся величавыми взглядами пантеистическаго Востока, предшественниками новой науки. Но можетъ ли вѣкъ, давшій такой просторъ индивидуальности, успокоиться на пантеизмѣ, уничтожающемъ ее? Можетъ ли герой, которому „ложе покоя“ кажется духовной смертью, довольствоваться созерцаніемъ?

Подобно Фаусту, XIX-й вѣкъ убѣдился, что быть зрителемъ явленій недостаточно; нужно сдѣлаться звеномъ цѣлаго, чтобъ стать ближе къ нему; *знаніе* есть ключъ къ пониманію жизни человѣчества, но только дѣятельность есть живая связь съ нимъ;

знаніе вводитъ насъ въ міръ явленій, чрезъ дѣятельность мы становимся сознательною частью цѣлаго. Предшественныя вѣка были замѣнены въ тѣсной сферѣ личныхъ или сословныхъ интересовъ; для насъ общеніе съ человѣчествомъ является насущной потребностью. Знаніе налагаетъ обязанности. Подобно путнику, который возвращается на родину, обогащенный знаніемъ и опытомъ, и старается примѣнить ихъ къ родному краю, — XIX-й вѣкъ обращается съ духовными приобрѣтеніями къ дѣйствительности съ тѣмъ, чтобы лучше ютиться въ ней. Бесплодная наука изсушаетъ; наука, служащая общему благу, питаетъ и обновляетъ. Противоположные взгляды идеализма и реализма сходятся въ области этики.

Вѣка, отличавшіеся отвлеченностью идеаловъ, утратили окружавшій ихъ нимбъ; болѣе близкое знакомство съ ними показало язвы, скрывавшіяся подъ внѣшнимъ блескомъ; поученія исторіи не прошли даромъ; метафизику замѣнила этика, которая отвернулась отъ умозрѣнія и сошла долу ради изученія хотя бы и некрасивой дѣйствительности. Практическія и гуманитарныя цѣли замѣняютъ отвлеченныя теоріи. Сознаніе общечеловѣческой солидарности порождаетъ новые взгляды на общественныя отношенія: и гуманитарный мистицизмъ Леру въ 40-хъ годахъ, и всѣ крайности и заблужденія социалистическихъ утопій, создаютъ, наконецъ, и новую науку — социологію. Гуманитарный мистицизмъ и современный секуляризмъ пытаются принципомъ человѣческой солидарности замѣнить догматъ. Секуляризмъ провозглашаетъ, что земная жизнь всецѣло должна поглощать человѣка, та жизнь, которая приковываетъ его къ себѣ насущнымъ трудомъ, постоянно новыми приобрѣтеніями, страданіями и жаждой счастья. Этого счастья человѣкъ долженъ искать на основаніи знанія и опыта. XVIII-й вѣкъ, провозглашавшій права человѣка, служилъ отвлеченному понятію; идея человѣчества подавляла понятіе о человѣкѣ; уваженія личности онъ не зналъ; человѣкъ, какъ индивидуумъ, личность, какъ зародышъ социальнаго знанія, выступаетъ со всѣми своими требованіями и правами, со всѣмъ своимъ душевнымъ міромъ, — безъ различія сословій и національностей — только въ XIX-мъ вѣкѣ.

XIX-й вѣкъ стремится не только къ всемірному пониманію, но и къ всемірному сочувствію. Міровая симпатія — вотъ та связь, которая приобщаетъ отдѣльнаго человѣка къ жизни всѣхъ и составляетъ толпу внимать голосу отдѣльнаго лица, и этотъ голосъ дорогъ ей даже въ своихъ ошибкахъ, лишь бы слышалось въ немъ живое общеніе. Не знали этого общенія прежніе вѣка;

заключенные въ тѣсномъ кругу эстетическихъ или сословныхъ интересовъ, они въ рѣдкихъ представителяхъ могли сообщаться съ массой, и эти представители опережали свой вѣкъ.

Всепониманіе и всемірная симпатія ведутъ къ всепрощенію. Наука дѣлается сообщницей современныхъ гуманнхъ взглядовъ, указывая на вліяніе среды, провозглашая детерминизмъ. Или это признакъ ослабѣвшихъ нравственныхъ убѣжденій? Величайшіе дѣятели вѣка, крупнѣйшіе представители современной литературы являются и самыми яркими представителями всемірнаго состраданія, и энергичными борцами за нее.

Когда въ такой мѣрѣ литература служила идеѣ человѣчества и общественнымъ интересамъ, какъ въ наше время? Матеріалъ для поэтическихъ произведеній берется изъ нѣдръ общества. Никогда сильнѣй не звучала личная нота, но никогда личная скорбь не была въ такой мѣрѣ отголоскомъ скорби общечеловѣческой, потому что никогда такъ сильно не сознавалась солидарность человѣческихъ интересовъ. Поэзія перестаетъ быть искусствомъ, чтобы сдѣлаться самой жизнью. Если Гейне „изъ великихъ страданій своихъ слагалъ краткія пѣсни“, то величайшіе поэты и писатели вѣка, словомъ, тѣ, которымъ внимаетъ толпа, слагаютъ ихъ не изъ личныхъ только страданій и не изъ поклоненія отвлеченному идеалу красоты; величіе ихъ коренится въ чуткости и отзывчивости на „всю глубь и всю высь жизни“; а гдѣ найти ихъ, если не въ человѣчествѣ? Поэтъ долженъ, подобно Фаусту, пріобщиться богатой жизни человѣчества для того, чтобы служить ему и быть его истолкователемъ.

И каждая отдѣльная личность, удрученная скорбью или сомнѣніями, можетъ нести ихъ въ общественную жизнь, органомъ которой служить печать. А недугами и сомнѣніями богатъ вѣкъ, исполненный той борьбы, которая нераздѣльна съ прогрессомъ, съ той „неуспѣшной дѣятельностью, въ которой сказывается человѣкъ“.

Колеблясь между крайностями, жаждой идеала и увлеченіемъ насущными практическими цѣлями, между матеріализмомъ и мистицизмомъ, интенсивною жизнью духа и научнымъ позитивизмомъ, мы переживаемъ то время броженія и умственного напряженія, которое неизбежно связано съ усиленной работой мысли. Напряжение это, сопровождаемое нравственными колебаніями и нравственною неустойчивостью, какъ будто достигло крайняго предѣла и указываетъ на необходимость поворота. Въ какую сторону будетъ поворотъ? Чтѣ принесетъ будущность? Черезъ какіе фазисы мысли мы еще пройдемъ и на чемъ остановимся?

Это напряженное состояніе нашло отзывъ въ современной литературѣ и въ самыхъ вожакахъ мысли. Новое всегда вырабатывается медленно и съ усиленіемъ, какъ плодъ общаго сознанія и общей потребности. Лучшіе умы предугадываютъ идеалъ будущаго, стараются формулировать его; они проходили черезъ этотъ разладъ и совершили въ сферѣ мысли то, что послѣ нихъ должно осуществиться въ обществѣ. Но рѣдко удается имъ вылить въ законченную форму идеалъ свой, въ большинствѣ случаевъ еще не принявшій ясныхъ очертаній.

Здоровая литература говоритъ обществу: идите, вы немощные, здѣсь найдете во всей чистотѣ свои идеалы. Литература временъ броженія могла бы сказать многимъ изъ представителей своихъ: идите, здѣсь пріютъ для личныхъ недуговъ и сомнѣній вашихъ, сюда несите и скорбь толпы, которая говоритъ вашимъ голосомъ. Но не въ однихъ недугахъ дня говоритъ этотъ голосъ. Наше время преслѣдуетъ ту достойную цѣль, которая даетъ ему нѣкоторое равновѣсіе среди колебаній современной мысли.

Состарѣвшійся Фаустъ, обозрѣвая свое прошлое, говоритъ: „Я достаточно позналъ этотъ міръ, а въ заоблачныя выси дороги вѣтъ. Безумецъ, кто мнитъ на тѣхъ высяхъ найти равныхъ себѣ! Пусть станетъ твердой ногой на землѣ и обинетъ взоромъ отведенную ему область. Обширное поле откроется тому, кто мудръ и ищетъ дѣла... Пусть твердой стопой идетъ по пути жизни и въ стремленіи впередъ находитъ борьбу и счастье тотъ, котораго скоротечная минута удовлетворить не можетъ!“

Подобно ему, вѣкъ созналъ, что „въ стремленіи впередъ“, въ прогрессѣ—самое достойное примѣненіе энергіи, знанія, мудрости.

XIX вѣкъ признаетъ въ принципѣ прогресса не только нравственный законъ, но и законъ естествознанія и преслѣдуетъ идеалъ его подъ различными знаменами; признаетъ необходимость образованія отдѣльной личности и для массъ, и видитъ въ школѣ и въ наукѣ средство къ этому прогрессу; государство преслѣдуетъ его въ общественныхъ учрежденіяхъ; наука констатируетъ его въ явленіяхъ природы, и находитъ въ теоріи эволюціи, соединяющей простоту принципа съ безграничностью его примѣненія, самое широкое обобщеніе, научное и философское. Исторія измѣняетъ прежнимъ задачамъ своимъ и принимаетъ новый видъ, для того, чтобы прослѣдить его въ жизни народовъ. Философія исторіи начинаетъ уступать мѣсто исторіи культуры. Въ области умозрѣнія современная мысль ставитъ совершенство, какъ конечную цѣль всего сущаго; прежде въ совершенствѣ видѣли исходную точку. Въ литературѣ съ особенной горячностью принимаются про-

изведенія, которыя выражаютъ идею прогресса. Прогрессъ—лозунгъ времени; вездѣ онъ—руководящее начало: въ жизни, въ наукѣ, въ искусствѣ. Самое слово: *развитіе*, недавно замѣнившее другіе термины, выражающіе высшую ступень въ умственной жизни, указываетъ на ширь современныхъ взглядовъ. Этимъ взглядомъ соотвѣтствуетъ опредѣленіе Спенсера: „Развитіе есть переходъ отъ простаго къ сложному, отъ однороднаго къ разнородному“. Въ области духовныхъ интересовъ этому опредѣленію соотвѣтствуетъ многосторонность, стремленіе къ совокупности, ассимиляція. Соглашаясь съ этимъ опредѣленіемъ, нужно признать за современностью значительный моментъ человѣческаго прогресса; въ различныхъ областяхъ искусства мы въ правѣ ожидать новыхъ формъ, а въ сферѣ мысли новыхъ пріобрѣтеній, а можетъ статься, и того равновѣсія духовныхъ силъ, въ которомъ общество найдетъ окончательный выводъ разностороннихъ изслѣдованій, а мыслитель—то примиреніе спиритуализма и матеріализма, которое кажется неосуществимымъ въ смыслѣ системы, но на пути человѣческаго прогресса мыслимо, какъ полное разграниченіе двухъ областей или какъ дружный союзъ между ними.

До сихъ поръ XIX-й вѣкъ постоянно восходилъ отъ закона къ закону, отъ частнаго къ общему; границы знанія раздвигаются; горизонты становятся шире. Теоріи смѣняются теоріями; мыслитель продолжаетъ изслѣдованіе подъ новымъ именемъ, поклоняется новой идеѣ, которую считаетъ окончательнымъ пріобрѣтеніемъ. Каждая метафизическая школа начинала трудъ свой съизнова, возвращаясь къ тѣмъ же вопросамъ, разрабатывая ихъ на новыхъ началахъ. Этимъ постояннымъ исканіемъ объясняются въ современной жизни страстные, но кратковременныя увлеченія новыми теоріями, взглядами и выводами. И наука, и метафизика приходятъ къ тому же результату: послѣдняя, высшая аксіома остается недостижимой. Умозрѣніе, не давши ничего положительнаго, приготовило путь позитивизму, приведшему его въ упадокъ. Такимъ образомъ, прежнія столкновенія между разумомъ и вѣрой осложнились несогласіемъ между разумомъ и опытной наукой. Какъ въ Фаустѣ, такъ и въ XIX-мъ вѣкѣ, метафизика, все болѣе теряя почву, переходитъ въ область науки и этики. Эти двѣ области представляютъ ту возможность прогресса, въ которой современность видитъ свой идеаль.

Слѣдуетъ ли изъ этого, что таинственный „нумень“ потерялъ смыслъ жгучей, вѣковѣчной загадки и отведенъ въ область умершихъ иллюзій?

Этическая мысль, принятая какъ догматъ, всегда порождаетъ

величавыя явленія; прогрессъ, т.-е. совершенствованіе личное и всеобщее, представляетъ человѣку необозримое поприще дѣятельности; оба эти принципа, по достойности задачи, по безграничности примѣненія, представляютъ собой такія абсолютныя величины, въ которыхъ человѣкъ всегда найдетъ точку опоры, не измѣняющую ему. Но можетъ ли онъ найти полное удовлетвореніе въ соціологическихъ взглядахъ и гуманитарныхъ цѣляхъ? Можетъ ли онъ ограничить личное совершенствованіе мірскими цѣлями и успокоиться въ узости этого кругозора? Отдохнулъ ли на этихъ взглядахъ самъ Гёте?

Не могутъ дѣла мірскія вполне поглотить человѣка; не заглушить имъ присущей человѣчеству потребности. Отдаться всецѣло обществу онъ не можетъ. Успокоеніе въ гуманитарныхъ цѣляхъ требовало бы доли отвлеченности, далеко превосходящей способность большинства. Человѣка всегда будетъ отвлекать собственный мірокъ, тотъ, который онъ таитъ въ груди своей; а отъ устройства этого мірка будетъ зависѣть и дѣятельность его извнѣ. *Личность* вопіетъ противъ гуманитарнаго мистицизма, также какъ противъ сліянія съ природой въ духѣ пантеизма. Привывши, по словамъ Спинозы и согласно съ великими мыслителями всѣхъ временъ, „смотрѣть на вещи съ точки зрѣнія вѣчности“, мы постоянно тревожимся мыслью: что послѣ? Какъ Фаустъ, мы ищемъ отвѣта въ хартіяхъ, и, какъ Фаустъ, мы обмануты; мы ищемъ замѣны въ общеніи съ міромъ—гдѣ лучше найти полноту жизни, какъ въ общеніи съ суммой человѣческихъ жизней?—но ничто не можетъ выполнить пробѣла. Это даетъ литературѣ и мышленію, и общественному настроенію тотъ элегическій отгѣнокъ, который въ началѣ вѣка породилъ мировую скорбь; въ наше время созерцаніе скоротечности всего земного сдѣлалось источникомъ пессимизма.

Анализъ преслѣдуетъ насъ даже среди радостей жизни. Человѣкъ мысли не можетъ вполне жить въ настоящемъ. Привычка обобщать отвлекаетъ насъ отъ отдѣльнаго факта, какъ и отъ текущей минуты. Мы стараемся опредѣлить мѣсто отдѣльнаго факта въ совокупности явленій, временное существованіе связать съ вѣчностью.

Нѣтъ, вѣрованія не умираютъ. Они только мѣняются свое выраженіе, согласно съ эволюціей мысли. Религія, какъ чувство связи между скоротечными явленіями жизни и вѣчнымъ началомъ, присуща человѣку. Не умираетъ и философія, ищущая этой связи путемъ разума, хотя въ наше время человѣкъ, утомленный и обманутый, сомнѣвается въ ней. Вѣкъ только созналъ съ боль-

шей ясностью невозможность доказать то, что стоитъ внѣ чело-
вѣческаго разумѣнія.

Нѣкоторые современные мыслители предсказываютъ фило-
софіи новое будущее на основаніи союза съ позитивной наукой;
вооруженная новымъ запасомъ истинъ, можетъ стать, она по-
строить свой духовный космосъ съ помощью фактовъ, а не от-
влеченностей. Во всякомъ случаѣ, роль ея въ современной мысли
измѣнилась: уже не откровенія ждутъ отъ нея, а пониманія дѣй-
ствительности; она должна обнимать совокупность всего сущаго,
но отъ нея не ждутъ, чтобы она руководила наукой, а чтобы
слѣдовала за нею и озаряла свѣтомъ своимъ ту мысль, которая
составляетъ сущность ея открытій. Мыслью объясняется явленіе;
разумъ одухотворяетъ область конкретнаго.

Можетъ стать, этотъ союзъ будетъ тѣмъ вторымъ синте-
зомъ, который слѣдуетъ послѣ долгаго, тщательнаго и томитель-
наго анализа. Богатая жизнь вѣка, въ многосторонности которой
трудно разобраться уму, должна повести къ единству, вслѣдствіе
естественнаго закона, по которому между противорѣчащими функ-
ціями перевѣсъ остается за той, въ которой болѣе жизненности,
которая глубже коренится въ организмѣ; такъ и въ области ду-
ховныхъ интересовъ преобладаніе должно остаться за тѣмъ, кото-
рый болѣе соответствуетъ требованіямъ челоѣческаго духа.

Но какъ явится истина? Или гдѣ та категорія истинъ, овла-
дѣвъ которыми, онъ откроетъ себѣ новые пути въ умозрѣніи?
Гдѣ послѣдняя завѣса, отдернувъ которую, глазъ, „застилаемый
мракомъ“, схватитъ хотя бы въ неясныхъ очертаніяхъ сіяющій
ликъ неизмѣнной истины, источника всѣхъ истинъ, въ кото-
ромъ, какъ въ океанѣ, всѣ онѣ сливаются въ вѣчномъ обмѣнѣ,
въ вѣчномъ движеніи, „чтобы ткать живыя ризы божества“. Что
послѣднее слово поэта, который исканію абсолютнаго отвелъ
самое видное мѣсто въ драмѣ, построилъ ее на метафизической
задачѣ?

Послѣднее слово дѣятельнаго Фауста посвящено неусыпному
труду, личному совершенствованію и всеобщему преуспѣянію,
хотя вопль неудовлетворенной души звучитъ въ заключительныхъ
словахъ. Но когда мракъ спускается на очи его, онъ говоритъ
о томъ свѣтѣ, который озаряетъ внутренній міръ его:

„Въ очахъ моихъ весь свѣтъ покрылся мглой,
Но тамъ, въ душѣ, тѣмъ ярче свѣтъ горитъ“.

Произведеніе, возникшее на основаніи спекулятивнаго мыш-
ленія, знаменательно оканчивается мистической картиной, имѣю-

щей мало общаго съ этикой и ничего общаго съ спекулятивной философiей или какимъ-либо преуспѣванiемъ человѣческой мудрости. Такимъ образомъ, вся драма, несмотря на многообъемлющее содержанiе и на просторъ, который она даетъ фантазiи, будто замкнута между двумя родственными моментами. Въ первой сценѣ Фаустъ, замученный мыслью, въ роковую минуту умирается, услышавъ давно знакомые ему звуки священнаго напѣва о смерти и воскресенiи, о безсмертiи и неизмѣнной любви. Послѣ жизни, богатой сомнѣнiями и надеждами, борьбой и трудами, Фаустъ въ послѣдней сценѣ является намъ въ таинственномъ полусвѣтѣ загробнаго существованiя, въ который фантазiя облачается „тѣ страны, изъ которыхъ путникамъ нѣтъ возврата“; мистическiй ореолъ окружаетъ человѣка, который хотѣлъ завоевать разумомъ мiръ невидимый и стать властелиномъ на землѣ, опираясь на науку. Такимъ образомъ, поэтическая правда въ главныхъ моментахъ одержала верхъ надъ трудами ученаго и мыслителя во второй части драмы, или вѣрнѣе: совпала съ ними, можетъ быть, и безсознательно. Конецъ „Фауста“ указываетъ на простое, дѣтское отношенiе къ вѣчно-неразрѣшимымъ вопросамъ. И наука, и внутреннiй голосъ одинаково указывали на рѣшенiе въ области этики; но душа его возносится къ тѣмъ высямъ, которыя онъ предчувствовалъ, и надъ нимъ раздается та пѣснь, которая звучитъ и въ человѣчествѣ изъ рода въ родъ: „Все скоротечное есть только символъ“. И поэзiя, и искусства суть только отрывки и отголоски той вѣчной пѣсни, въ какiе бы символы она ни облакалась. Пониманiе этихъ символовъ, связь между тѣмъ, что проходитъ, и тѣмъ, что вѣчно, между относительнымъ и абсолютнымъ во всѣхъ проявленiяхъ человѣческаго духа, вотъ та задача, которую сознательно или безсознательно преслѣдуетъ человѣчество. Если вѣрно, что изъ союза науки, разсматривающей совокупность фактовъ, и философiи, стремящейся подвести многостороннюю сложность явленiй подъ высшее единство, возникаетъ новая эра въ исторiи мышленiя, то пророческiй смыслъ получаютъ и для науки послѣднiя слова Гётевой драмы.

Но мы въ современной литературѣ находимъ указанiя на регрессивную эволюцiю, совершающуюся въ области мысли, какъ послѣдствiе того крайняго отрицанiя, которое должно найти равновѣсiе въ возвратѣ къ осужденной метафизикѣ. Вѣкъ нашъ дошелъ до того кризиса мысли, когда, при трудности союза двухъ началъ, занимающихъ враждебное положенiе, — разрывъ между ними долженъ быть окончательнымъ, и наука должна, относительно спиритуализма, занять (какъ она пыталась это сдѣлать во

время Канта) нейтральное положеніе, хотя, въ виду прежнихъ захватовъ спиритуализма, какъ и нѣкоторыхъ современныхъ aberrаций его, нейтралитетъ науки и долженъ, по выраженію современнаго мыслителя, быть „вооруженнымъ нейтралитетомъ“. Уступки, сдѣланныя спиритуализму нѣкоторыми изъ крупнѣйшихъ представителей современной науки, свидѣлствуютъ объ этомъ. Изъ самаго лагеря позитивистовъ слышатся голоса, которые допускаютъ возможность для мыслящаго человѣка ютиться въ той области, которая стоитъ внѣ науки и умозрѣнія. Неоднократно указывали на слова Литтре: „Прежде, чѣмъ мы отнесемъ извѣстный вопросъ къ категоріи тѣхъ вопросовъ, на которые можно отвѣчать отрицательно, слѣдуетъ разсмотрѣть, принадлежитъ ли онъ къ категоріи тѣхъ, которые подлежатъ доказательству“. Такимъ образомъ, у него, какъ и у Канта, то, что подлежитъ изслѣдованію, строго отдѣляется отъ того, что не поддается ему. И у Спенсера неизвѣстное противопоставляется извѣстному. И онъ видитъ въ этомъ неизвѣстномъ—грань, положенную каждой наукой. Современный агностицизмъ выразилъ наименованіемъ своимъ человеческое безсиліе передъ вѣчной тайной, оставляя абсолютное начало открытымъ вопросомъ.

На окраинѣ науки человѣка ждетъ тайна. Тамъ, гдѣ начинается область неизвѣданнаго, мистицизмъ ждетъ безпокойнаго, болѣзненно-пытливаго сына нашего времени. Отъ анализа человѣка переходитъ къ интуитивному ясновидѣнію, отъ позитивной науки къ символу, облающему въ туманный образъ то, что не подлежитъ опредѣленному изслѣдованію. Современное мышленіе указываетъ на эту истину въ нѣсколькихъ изъ лучшихъ представителей своихъ; научное изслѣдованіе и интенсивное мышленіе идутъ рука объ руку съ мистицизмомъ и различными современными aberrациями спиритуализма, которые служатъ яркимъ доказательствомъ присущей человѣку потребности спиритуалистическихъ убѣжденій, потребности, которой не могутъ заглушить сухія данныя позитивной науки. Самое зданіе позитивной науки напоминаетъ того механика, о которомъ рассказываетъ К. Фохтъ: не сомнѣваясь въ возможности открыть *perpetuum mobile*, онъ соорудилъ сложный механизмъ, который все-таки оставался безъ движенія; „*perpetuum* готовъ,—говорилъ ученый,—у меня недостаетъ только маленькаго колеса, которое бы постоянно вращалось“. Мысль современнаго человѣка не менѣе теряется въ безмѣрности космическихъ представленій, принадлежащихъ наукамъ, чѣмъ въ той области неизвѣстнаго, которая лежитъ внѣ ея, но всегда будетъ имѣть для него могучую притягательную силу, и отъ изслѣдо-

ванія которой ему трудно отказаться, хотя это изслѣдованіе и ведетъ къ заблужденіямъ. Такимъ образомъ, спиритуализмъ въ наше время болѣе чѣмъ когда-либо можетъ заимствовать оружіе изъ лагеря противниковъ. Безмѣрность и неисповѣдимость конкретного равняются отвлеченности. Потому субъективное мышленіе и объективное изслѣдованіе одинаково могутъ вести къ идеализму, какъ они ведутъ къ интуитивному ясновидѣнію. Замѣну тому, что давалъ догматъ, человѣкъ находитъ теперь въ себѣ, въ силѣ и утонченности внутренней жизни. Сознаніе тайны и возможность сочетать это сознаніе съ изслѣдованіями науки болѣе смутны въ тѣхъ, которые останавливаются на полупутѣ, и растутъ по мѣрѣ того, какъ силою мышленія человѣкъ приближается къ той окраинѣ, гдѣ она ждетъ его. Мудрые предъ великою тайной равняются младенчествующимъ.

Отъ чего бы ни пришлось ждать мыслящему обновленія: отъ союза ли науки съ философіей, или отъ строгаго разграниченія двухъ областей; или исканіе истины только останется тѣмъ стимуломъ, который, по мнѣнію Лессинга, для человѣческаго совершенствованія цѣннѣе обладанія истиной; что бы ни принесла будущность, лишь бы человѣкъ не терялъ точки опоры въ этикѣ, въ области которой совпадаютъ результаты отвлеченнаго мышленія и положительнаго знанія, и которая всегда останется положительной величиной,—и духовныя потребности его будутъ находить полное удовлетвореніе въ признаніи высшаго начала и въ поклоненіи ему; и поклоненіе это будетъ источникомъ самыхъ чистыхъ, самыхъ высокихъ вдохновеній; о немъ свидѣтельствуетъ обаятельное на насъ дѣйствіе всего прекраснаго духовной красотой въ жизни и въ искусствѣ. Въ сокровеннѣйшихъ тайникахъ человѣческой души горитъ то живительное пламя, которое то вспыхиваетъ, озаряя міръ видимый, проливая свѣтъ и на таинственное „тамъ“, то потухаетъ, оставляя въ душѣ мракъ и безнадежность. Пока не измѣнитъ человѣкъ своимъ вѣчнымъ идеаламъ, которые временно затемняются, но, питаемые чистымъ стремленіемъ къ добру, сіяютъ въ вѣчно-юной красѣ, — и священное пламя въ душѣ его погаснуть не можетъ.

Какъ надъ измученнымъ мыслію Фаустомъ, въ 1-ой части драмы, хоръ невидимыхъ духовъ поетъ:

„Горе, горе, ты разрушилъ мощной дланью міръ прекрасный!

Развалины въ бездну забвенья унесли мы съ душевной тоской, плача
надъ разрушеніемъ“...

И эта пѣснь находитъ отголосокъ въ душѣ каждого мыслящаго, страждущаго, борющагося человѣка: такъ и въ глубинѣ

души находить онъ залогъ духовнаго мира и возможность духовнаго обновленія, и будто съ мистическихъ высотъ звучать въ ней слова: „Въ сердцахъ своемъ земной полубогъ, вновь создай этотъ міръ, создай его въ свѣжей красѣ! И новыя пѣсни, цвѣтъ новыхъ надеждъ и юныхъ стремленій, пусть снова звучать!“

Полубоги, герои, титаны—переносятъ мысль въ сферу античныхъ представленій. Предо мной воскресаютъ дивные образы, обломки древней культуры. Пергамская гигантомахія тянется длиннымъ рядомъ величавыхъ, хотя и отрывочныхъ изваяній. Античный міръ любилъ изображать сильныхъ земли въ борьбѣ съ богами. Онъ неоднократно возвращался къ образу этой борьбы, видоизмѣняя его въ различныхъ представленіяхъ. Или здѣсь не простое вѣрованіе древняго человѣка, а манившій его, по глубинѣ своей, многозначительный символъ, воплощенный въ законченныхъ формахъ пластики, въ суровомъ величіи древней трагедіи? Прометей, похищающій огонь съ неба, титаны, громоздящіе скалы, гиганты, мощные сыны земли, въ рукопашномъ бою съ вѣчно-юными жителями Олимпа. Вездѣ мятежъ и борьба, кара и паденіе, паденіе болѣе величавое, чѣмъ побѣда, окружающее побѣжденнаго ореоломъ.

Что въ жизни новаго человѣка совершается въ сферѣ мысли, тутъ заключается въ кругу конкретныхъ представленій. Если представленія эти — символы, то сильные земли олицетворяли въ себѣ борьбу всего человѣчества съ высшими силами, были представителями мятежа отъ всего народа. На высяхъ человѣчества ведется борьба эта. Для того чтобы бороться съ богами, надо приблизиться къ нимъ. И въ новое время видимо для всѣхъ ведутъ ее только герои мысли. Но „жизнь каждаго мыслящаго человѣка есть драма; а божественная сила, развязывающая узелъ, возникаетъ изъ глубины мышленія“. И въ библейскихъ образахъ Востока находимъ представителя народа въ борьбѣ съ Иеговой, и праотецъ борется съ Господомъ до зари, „дабы Онъ благословилъ его“.

Въ красотѣ и силѣ воплотилась мысль древности. Посмотрите на осанку этого всадника: онъ покоенъ, но это мощь отдыхающаго льва. Лица не видно, но вамъ не трудно угадать его выраженіе. Въ полуоборотѣ сидитъ женщина на лошади; какая энергія въ позѣ, какая сила и естественная грація въ поворотѣ головы; но увы! лицо изуродовано. Нужды нѣтъ; вы угадываете, какъ должны смотрѣть эти глаза; вы понимаете, что она куда-то

мчится, или, вѣрнѣе, мчится лошадь; она же остается въ полной и неспѣшной увѣренности въ побѣдѣ; профиль ея тутъ ни-примечать. Вонъ поднятая рука, но гдѣ кисть? Она оторвана и лежитъ гдѣ-то въ сторонѣ, а можетъ быть ея и вовсе нѣтъ,—все равно; эта рука, если опустится, сокрушитъ врага. Смотрите этотъ мощный торсъ: да это Прометей по мышцамъ и энергіи; вы чувствуете въ немъ силу и сдержанное движеніе; поднимись эти гиганты, они взгромоздятъ горы и встревожатъ отца боговъ въ его царствѣ. Вонъ старый гигантъ въ самомъ паденіи своемъ бросаетъ еще косвенный взглядъ на бога, который сразилъ его; взглядъ этотъ исполненъ мрачнаго достоинства, несокрушимой гордыни.

Эта борьба—свидѣтельство безсилія земнородныхъ передъ богами; но это и апофеозъ человѣческаго величія, дерзновенности его духа. И тутъ борьба конечнаго съ безконечнымъ; и тутъ благородство, твердость, сила нравственнаго убѣжденія; гигантъ и въ паденіи сохраняетъ свое высокомысліе. И тутъ встрѣчаемъ ту полноту, ту драматическую страстность, которыя вообще были чужды произведеніямъ эллинской древности и являются здѣсь, какъ и въ нѣкоторыхъ одновременныхъ произведеніяхъ, послѣдствіемъ и выраженіемъ той эволюціи, черезъ которую неизбѣжно проходитъ человѣческая мысль.

Греческое искусство сначала тщательно вырабатывало только фигуру; лица были холодны, безжизненны. Потомъ стали трудиться и надъ лицомъ статуи, какъ надъ высшимъ выраженіемъ красоты и духовной жизни; наконецъ, увидѣли главную задачу въ выраженіи этой жизни. Такъ и въ древности границы искусства раздвигались, произведенія одухотворялись, теряли спокойную простоту и несложность очертаній. Жизнь осложнялась, задачи искусства росли.

Сначала воспроизводились спокойныя состоянія души; потомъ страстныя движенія, душевный паѳосъ. Наибольшая сила заключается въ тѣхъ произведеніяхъ, паѳосъ которыхъ коренится въ постоянномъ состояніи души.

Таковы пергамскія изваянія; таковъ „Фаустъ“, представитель новой поэзіи. Немошна кажется современная мысль въ „Фаустѣ“; сознаніе и вопль безсилія наполняютъ его, но царство этой мысли безгранично и безсмертно. И тутъ, и тамъ захватывающая сила лежитъ въ намека на что-то общее, постоянное, и этотъ намекъ служитъ символомъ. Не въ союзѣ ли этого общаго съ той страстностью выраженія, которая свойственна моментальному и случай-

ному, кроется захватывающее значеніе художественныхъ символовъ?

Въ смежныхъ залахъ предъ вами мелькаютъ гармоничныя, законченныя произведенія, которыя давно дороги вамъ; вы столько разъ въ созерцаніи ихъ находили высокое наслажденіе, и временно успокоивались въ ихъ олимпійскомъ спокойствіи. Но пока вы проходите мимо нихъ, вмѣстѣ съ вами идутъ видѣнные вами обломки; они преслѣдуютъ и волнуютъ васъ. Вы мысленно пытаетесь закончить ихъ. Чтѣ говорилъ тотъ отрывокъ, котораго нѣтъ? Чтѣ прочли бы мы на томъ лицѣ, которому не суждено было дойти до насъ? Какъ велась борьба между сильными земли и безсмертными Олимпа?.. Вамъ уже трудно строго отдѣлать видѣнное отъ восполненныхъ вашимъ воображеніемъ пробѣловъ, и приведенная въ сознаніе мысль художника начинаетъ быть продолжительнымъ источникомъ энтузіазма и будить всѣ духовныя силы ваши въ высшей гармоніи. Въ рукѣ художника—ключъ къ этому богатому резонансу, волшебный жезлъ, по мановенію котораго звучитъ эта богатая симфонія.

Глыбы мрамора подчинились невидимой мысли художника; упорное вещество воплотило духовное величіе человѣка. Вѣка проходятъ, и обломки творенія вызываютъ восторгъ и будятъ духовныя силы позднихъ поколѣній. И всякій наслаждается ими по мѣрѣ своего разумѣнія и черпаетъ изъ нихъ по личному отношенію своему къ мысли художника. Мысль многихъ находитъ пищу въ великомъ твореніи и предается истолкованію его. Ибо „когда строить цари, у поденщиковъ много дѣла“. И обломки эти говорятъ намъ о томъ, чтѣ думали многодумные, чтѣ чувствовали люди съ высокой душой; мы привѣтствуемъ въ нихъ представителей идеаловъ человѣчества.

И древнимъ мудрецамъ, и художникамъ, идеалы которыхъ были замкнуты въ кругу земной жизни, являлось божественное, потому что они искали его. То Фидій, которому явилась Паллада-Аѣина, чтобы онъ воплотилъ въ ея образъ красоту и мудрость, силу и небесную благодать; то Сократъ, воплотившій красоту въ жизни своей; то, наконецъ, Зевсъ пергамскихъ раскопокъ, появленіе котораго на свѣтъ изъ-подъ гнета скрывавшихъ его глыбъ ученый археологъ, руководившій раскопками, привѣтствовалъ трепетно вдохновеннымъ: „Ессе Deus!“ — всѣмъ имъ являлась та духовная красота, источникъ которой лежитъ внѣ конкретныхъ представленій. Произведенія ихъ возникли изъ глубины интуитивныхъ видѣній, изъ свѣтлаго созерцанія безмятежныхъ высей, неувядаемыхъ красотъ. Во времена возрожденія, когда Рафаэля

спросили, откуда почерпнулъ онъ свѣтлый образъ Сикстинской Мадонны, онъ задумчиво отвѣтилъ: „Изъ какой-то идеи“. И каждый изъ толпы приближается къ великому произведенію творчества, чтобъ почтить его теплымъ чувствомъ, благоговѣйнымъ словомъ, лептой мысли. Нѣкогда Винкельманъ, открывшій современникамъ чудный міръ античнаго искусства, закончилъ вдохновенную оцѣнку Бельведерскаго Аполлона словами: „Кладу понятие, которое я пытался дать о богѣ, въ ногамъ его, какъ вѣнки складываются у подножія статуи, чела которой достать не могутъ“.

Но не только тѣ, кому дано быть истолкователями творческой мысли, не только тѣ, которые подходятъ къ божеству съ роскошными вѣнками: каждый, кто „выпрямляетъ станъ, чтобъ удостоиться зрѣть его“, имѣетъ право читать на ликѣ его мысль художника, угадывать оттѣнки ея; дерзаетъ сложить у подножія статуи скудное приношеніе свое: зеленую вѣтвь, зерно оиміама.

Ибо великія произведенія суть достояніе всѣхъ.

М. Фришмутъ.



ТЮРЬМА

ПОВѢСТЬ.

„Людей губить тѣснота, неестественная жизнь, праздность, преступное отчужденіе отъ всеобщихъ интересовъ, преступный холодъ ко всему человѣческому“...

Г--нъ.

Окончаніе.

ХІІ *).

Батюшка проснулся на слѣдующій день очень рано и, потягиваясь въ постели, съ удовольствіемъ вспоминалъ вчерашнія событія, разыгравшіяся на маевѣѣ. Онъ то начиналъ восхищаться Володей, котораго мысленно называлъ „молодцомъ“, то корчился отъ смѣха, представляя себѣ комическое положеніе Щепоткина въ роли отвергнутаго любовника. Наконецъ, онъ не вытерпѣлъ: ему захотѣлось подѣлиться своими мыслями съ Зюзей, и батюшка громогласно позвалъ сожителя. Никто не отозвался. Батюшка позвалъ опять, но, не получая отвѣта, вскочилъ съ постели и заглянулъ за перегородку. Никого не было, и даже Зюзино ложе было не смято.

— Нну! Зарядилъ!—съ досадой произнесъ батюшка и сталъ одѣваться.

Наскоро напившись чаю, собраннаго кое-какъ неумѣлымъ рябымъ работникомъ, батюшка въ тоскливомъ настроеніи принялся ходить по комнатѣ. Одиночество его томило, и онъ безпрестанно

*) См. выше: сент., 5 стр.

глядѣлъ въ окно, поджидая Зюсю. Но Зюзя не являлся, и батюшку окончательно взорвало.

— Что же это такое?—рѣшилъ онъ.—Не сидѣть же мнѣ цѣлый день одному. Поѣду-ко я къ этому... къ донъ-Жуану-то... ха-ха...

И батюшка снова беззвучно расхохотался.

Между, чѣмъ черезъ полчаса, знакомый намъ плетеный шарбанчикъ, запряженный сытымъ меренкомъ, трусилъ по дорогѣ къ винокуренному заводу Щепоткина. Утро было прелестное. Въ полѣ царила утренняя тишина, нарушаемая только отдаленными трелями жаворонка, стрекотомъ кузнечиковъ и шелестомъ благоухающихъ травъ. Даль была прозрачна и ясна, и на безоблачномъ небѣ съ особенной отчетливостью рисовались волнистыя очертанія горъ и узорчатая кайма деревьевъ, увѣнчивавшихъ ихъ молчаливыя, дремлющія вершины.

На перекресткѣ двухъ дорогъ, изъ которыхъ одна вела на Панику, а другая на заводъ, батюшкѣ на встрѣчу попался щегольской экипажъ на резиновыхъ шинахъ, запряженный хорошею парой вороныхъ. Въ экипажѣ съ томной граціей сидѣла Марья Ивановна Фирсова, утопая въ волнахъ розоваго баржега и лентъ; рядомъ съ нею неуклюже торчала длинная фигура Жоржа. Оба они съ любезностью раскланялись съ батюшкою, и экипажъ, беззвучно подпрыгивая по кочкамъ, пронесся мимо. Эта встрѣча еще болѣе оживила о. Пароена.

— Вѣдь это она къ Володьѣ собралась спозаранку!—воскликнулъ онъ весело.—Ай-да инженеръ! Онъ всѣмъ вамъ носъ-то натянеть. А этотъ, верста коломенская, туда же взгромоздился. Да нѣтъ, братъ, не туда глядишь! Ха-ха-ха...

Батюшка представилъ себѣ, какъ онъ сейчасъ раздражить Щепоткина, и еще энергичнѣе дернулъ возжами. Меренокъ приложилъ уши, вытянулся и заторопился мелкой веселой рысью. А кругомъ стояла все та же умиротворяющая тишь и юной красотою цвѣла безучастная къ мелкимъ людскимъ заботамъ природа.

Но вотъ, среди темно-зеленыхъ ольховыхъ кущъ, показались заводскія трубы и разбросанныя тамъ-и-самъ постройки. Батюшка проѣхалъ дребезжащій мостикъ, перекинутый чрезъ неглубокій оврагъ, на днѣ котораго журчалъ чистый, какъ слеза, ручей, и очутился въ усадьбѣ. У дверей „очистой“ онъ увидѣлъ самого Щепоткина, который, стоя на крылечкѣ въ одной рубахѣ и въ галошахъ на босу ногу, рассчитывался съ подгоринскимъ кабатчикомъ, пріѣхавшимъ за виномъ. Между ними шелъ довольно крупный разговоръ. Кабатчикъ не хотѣлъ отдавать какого-то

„намеднишняго“ пятачка, а Щепоткинъ горячо требовалъ его, уснащая свою рѣчь крупными ругательствами. Батюшка, не желая мѣшать объясненіямъ, пріостановилъ лошадь и, не слѣзая съ телѣжки, сталъ прислушиваться.

— Ишь ты вѣдь торгуется-то! Какъ жидъ! Ахъ ты кремневая душа! Вчерась миллионы прозѣвалъ, а нонче изъ-за пятачка готовъ удавиться. Народецъ! — размышлялъ батюшка про себя, рассматривая коричневое, жесткое лицо Щепоткина.

Наконецъ, объясненія кончились, и Щепоткинъ замѣтилъ батюшку.

— А! Здравствуй! За винцомъ, что ли, пріѣхалъ?

— Нѣту... на посѣвъ свой ѣздилъ, да вотъ и вздумалъ къ тебѣ заѣхать,—придумалъ о. Пареевъ.

— Такъ выѣзжай. Чего же ты сидишь?—пригласилъ Щепоткинъ, сходя съ крыльца.

Батюшка поспѣшно снялся съ телѣжки, привязалъ лошадь къ столбу крыльца и послѣдовалъ за Щепоткинымъ. Щепоткинъ обиталъ въ крошечномъ флигелькѣ, лѣпившемся рядомъ съ какими-то темными, зловонными сараями. Узенькія темныя сѣни, заваленныя разнымъ хламомъ и заставленныя винными бочками, вели во внутренніе апартаменты, состоявшіе изъ трехъ небольшихъ комнатокъ. И здѣсь царствовалъ такой же беспорядокъ, грязь и вонь, какъ и при входѣ. Преобладающимъ запахомъ, впрочемъ, былъ и здѣсь винный. На полу стояли ящики, наполненные ярлыками, и валялось сѣно; углы всѣ были заплесаны и затерты слѣдами чьихъ-то грязныхъ ногъ; на столахъ и на стульяхъ топорной работы въ беспорядкѣ были разбросаны принадлежности одежды, полотенце, клочки бумагъ и веревокъ. Батюшка съ отвращеніемъ оглядывалъ эту неказистую, неуютную обстановку, не находя даже мѣста, гдѣ бы сѣсть. „Чистая свинья!“ — думалъ онъ.

Между тѣмъ Щепоткинъ, нисколько не смущаясь окружающимъ беспорядкомъ, прошелъ за перегородку и, швырнувъ мимоходомъ попавшіеся ему подъ ноги сапоги, крикнулъ громогласно:

— Катька!

На зовъ немедленно явилась растрепанная, грязная дѣвка съ тупымъ веснушчатымъ лицомъ и огромными красными руками.

— Ты что-же, чортъ, не идешь, когда тебя зовутъ? — свирѣпо обратился къ ней Щепоткинъ.

— Пришла вѣдь,—грубо отвѣчала Катька, придерживаясь за притолоку.

— Ну, не разговаривай! Подай водки, да закусить чего-нибудь. Живо!

Съ этими словами Щепоткинъ вернулся къ батюшкѣ и, сморщившись, принялся ходить по комнатѣ, изрѣдка отплеиваясь. Очевидно, онъ былъ не въ духѣ.

— Что, аль голова трещить?—спросилъ батюшка.

— Смерть!

— Урѣзалъ вчера. Помнишь, какъ куралесиль-то?

Батюшка захохоталъ, а Щепоткинъ нахмурился, но ничего не отвѣчалъ.

— Прозѣвалъ, братъ, барыню-то!—продолжалъ батюшка не безъ злорадства.—Сейчасъ ѣду, а она на встрѣчу катить. Вся въ кружевахъ, въ лентахъ, платье не платье, зонтикъ не зонтикъ... къ инженеру поѣхала! А тебѣ—шишъ!

Щепоткинъ еще больше нахмурился, но опять промолчалъ.

Принесли водку и сухую воблу на закуску. Щепоткинъ одну за другою сразу выпилъ три рюмки и опять заходилъ по комнатѣ. Но вдругъ глаза его свергнули, лицо налилось кровью, и онъ изо всѣхъ силъ ударилъ кулакомъ по столу.

— Не бывать этому! Не дамъ! Всѣ ноги обломаю!—крикнулъ онъ злобно.

— Руки коротки!

Вмѣсто отвѣта, Щепоткинъ засучилъ рукавъ и показалъ батюшкѣ свой жилистый, словно изъ желѣза сбитый, кулакъ. Потомъ опять выпилъ водки.

— И на кого промѣняла?—заговорилъ онъ, впадая въ слезливый тонъ.—На мальчишку, на франта голоногаго? Вѣдь ему что нужно? Денежки, больше ничего.

— А тебѣ-то развѣ не денежки тоже?—возразилъ батюшка.

— Это статья другая. Я съ деньгами обращаться умѣю. А вѣдь онъ миллионамъ-то живо глаза протретъ. Объ этомъ-то я и скорблю. Денегъ жалко!

— То-то! А на что тебѣ, спрашивается, деньги? Своихъ-то мало, что ли?

— Это не твое дѣло, много ли, мало ли у меня денегъ. Ихъ еще никто не считалъ, моихъ денегъ-то. А объ Фирсиныхъ деньгахъ я скорблю потому, что зря онѣ пойдутъ.

— Почему такъ зря? Инженеръ-то, думаешь, хуже тебя счумѣетъ распорядиться? Онъ парень, гляди, умный! Получше тебя найдется, куда деньги опредѣлить!

— Это почему же онъ лучше, а я нѣтъ?—спросилъ Щепоткинъ, начиная свирѣпѣть.

— Да потому... Ты погляди-ко на себя, какъ ты живешь-то! Грязь, мерзость, вонь! А туда же миллиончика захотѣлъ! Только бы тебѣ хапать; ишь, давеча изъ-за пятака цѣлый часъ торговался... А Владиміръ Антонычъ настоящій баринъ! Онъ миллиончикъ-то возьметъ, да не запрячетъ его въ землю, какъ ты, а себѣ удовольствіе доставить, и другимъ почувствовать дать...

— Батька, молчи!—предостерегъ Щепоткинъ, ударя кулакомъ по столу.

— Чего мнѣ молчать-то? Я правду говорю. Мужикъ ты, — мужикъ и есть. А тоже: я-ста, да мы-ста!..

Батюшка не договорилъ. Страшный ударъ кулака потрясъ столъ; посуда, стоявшая на немъ, со звономъ полетѣла на полъ, и грубая мужицкая брань огласила стѣны домика.

Черезъ минуту батюшка, весь блѣдный, выбѣжалъ на дворъ и поспѣшно сталъ отвязывать свою лошадь, безпрестанно оглядываясь на крыльцо.

Батюшка уѣлся, сердито хлестнулъ меренка возжей и тронулся обратно. Его сопровождала громкая брань и крики несчастной Катьки, на которой Щепоткинъ вымещалъ свои неудачи.

ХІІІ.

„Теперь я отлично поняла Володькину игру,—писала Леночка нѣсколько дней спустя послѣ знаменитаго пикника, сидя у окна въ дядиной комнатѣ.—Онъ ухаживаетъ за Фирсовой съ цѣлью. Она, говорятъ, страшная богачка, и Володька хочетъ на ней жениться, несмотря на то, что она лѣтъ на 20 старше его. Изъ-за этого-то они и подрались съ этимъ купцомъ на Крутой Шишкѣ. Не могу забыть этой отвратительной сцены! Оба оцѣтинились и оскалились, словно голодные волки около куска мяса. Какъ это подло и гнусно! И Володька—мой братъ!..

„Вчера она опять у насъ была. Со мною она почему-то особенно ласкова и добра. Увела меня въ садъ, усадила около себя, разспрашивала, чтѣ я дѣлаю, и цѣловала. Много говорила о Володѣ, и все увѣрала, что я на него похожа лицомъ. И еще крѣпче начнетъ цѣловать... Должно быть, она его очень любитъ, бѣдная. И не подозреваетъ, что надъ нею всѣ смѣются и обманываютъ ее кругомъ. Особенно это было противно вчера у насъ. Когда она тутъ сидѣла, и отецъ, и мама такъ передъ нею и разсыпались и лебезили, а Володька все ручки ей цѣловалъ и называлъ ее „ангеломъ“. Но когда она уѣхала—всѣ наперерывъ

начали надъ нею насмѣхаться и осуждать ея. И брови-то она красить, и кокетничаетъ какъ молоденькая, и глупа-то она какъ пробка. А на самомъ дѣлѣ она очень добра, и душа у нея хорошая. Она много помогаетъ бѣднымъ. Правда, она немного смѣшна, но вѣдь въ каждомъ человѣкѣ есть недостатки. И тогда лучше же прямо сказать ему это въ глаза, чѣмъ насмѣхаться надъ нимъ въ его отсутствіи.

„Нѣтъ, съ каждымъ днемъ мнѣ становится все тяжелѣе и тяжелѣе здѣсь жить. Все меня мучить и тяготитъ. Въ своей семьѣ я точно чужая. А Володьку я положительно ненавижу. Особенно меня возмущаетъ его обращеніе съ дядей. Онъ съ нимъ почти ничего не говоритъ, а если и случается заговорить, то смотреть на дядю высокомерно и презрительно. Этого я не могу выносить; во мнѣ такъ все и загорится. По совѣту Демида, я молюсь, но молитва мнѣ уже не помогаетъ. Что это за молитва,—сухая, холодная, неискренняя? И развѣ поможетъ молитва не видѣть окружающей меня лжи и фальши? Чтобы быть спокойнымъ, надо уйти отъ міра, какъ это сдѣлалъ Демида. А вѣдь я стою съ этимъ міромъ лицомъ къ лицу. Во мнѣ даже какая-то особая проницательность развилась въ послѣднее время: я вижу всѣхъ людей точно насквозь. И какъ они мнѣ противны бываютъ подчасъ! Говорятъ, передъ смертью человѣкъ отличается проницательностью: не умру ли и я скоро? А если и не умру, то на вѣрное со мною случится какое-нибудь страшное несчастье. По временамъ на меня нападаетъ страхъ: я начинаю бояться себя, людей, будущаго... Что это такое?“

„А можетъ быть, это только я такая странная, всѣ люди — самые обыкновенные, и въ жизни ничего страшнаго нѣту. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь нѣтъ у меня ни друзей, ни знакомыхъ. Я ко всѣмъ боюсь подойти; мнѣ кажется, что я всѣмъ буду въ тягость. Вотъ, на Крутой Шишкѣ были же дѣвушки, такія же, какъ и я, но я не могла съ ними познакомиться и заговорить. Онѣ такія веселыя, а я не могу также, по ихнему, смѣяться, разговаривать, веселиться. Меня всегда что-то гложетъ. Зачѣмъ же я буду нарушать ихъ веселье своей печальной фигурой? Я такая необразованная, деревенская, простая дѣвчонка. Вотъ и дядя Додя... Онъ тоже меня избѣгаетъ. Гуляетъ одинъ, читаетъ одинъ; а когда я прохожу мимо него, онъ смотреть на меня такимъ страннымъ печальнымъ взглядомъ. А бывало“...

Леночка не докончила, потому что въ окно вдругъ влетѣлъ огромный букетъ ландышей, еще обрызганныхъ утреннею росой, и упалъ прямо на недописанную страницу. Лена вздрогнула и

подняла голову. Передъ окномъ стоялъ Діодоръ, съ ружьемъ за плечами, съ двумя утками за поясомъ, и смѣялся.

— Что, испугалась?—проговорилъ онъ весело.—Ну, однако, я здѣсь стоять не намѣренъ и сейчасъ влѣзу. Тамъ на дворѣ суматоха идетъ страшная: провожаютъ Вольдемара къ Фирсигѣ. Духами прыскаютъ, плѣдами окутываютъ... Я сунулся-было туда, да и назадъ скорѣе.

Съ этими словами Діодоръ вспрыгнулъ черезъ окно въ комнату и, сбросивъ съ себя шляпу, принялся осторожно снимать ружье.

— Усталъ страшно...—говорилъ онъ.—Всю ночь съ Зюзей по бодотамъ лазили. Не трогай, Лена, ружья: оно заряжено. Уфъ, и усталъ же я!

И Діодоръ повалился на кушетку. Леночка встала съ мѣста и, молча, убирала свои тетради. Діодоръ взглянулъ на нее, и оживленіе его разомъ исчезло. Онъ нахмурился.

— Ахъ, извини, Лена! — вымолвилъ онъ другимъ, сухимъ и холоднымъ тономъ.—Я ужасно неловокъ: все забываю, что ты—взрослая барышня (онъ сдѣлалъ удареніе на этихъ словахъ), и обращаюсь съ тобою по прежнему, когда, можетъ быть, тебѣ это не нравится. Прощу прощенія.

Яркій румянецъ залилъ щеки Леночки. Она положила тетради на столъ и подняла на Діодора свои большіе, печальные глаза.

— Дядя... — произнесла она, но тутъ голосъ ея задрожалъ и оборвался.

Діодоръ весь вздрогнулъ отъ этого взгляда и отъ этого простого слова. Онъ въ волненіи вскочилъ и подбѣжалъ къ Леночкѣ.

— Леночка, прости меня! Я тебя обидѣлъ. Но мнѣ, право, показалось, что ты на меня сердишься. Здѣсь теперь такъ все перепуталось, что не разберешь, кто тебѣ врагъ, кто другъ. .

— Опять не то! — проговорила Леночка съ тоскою.

— А что же такое?—быстро спросилъ Діодоръ.

— А то, что мы съ тобою совершенно перестали понимать другъ друга, вотъ что!—горячо сказала Леночка.

— О да, это правда! — проговорилъ Діодоръ задумчиво. — Правда, Леночка, какая-то черная кошка пробѣжала между нами съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ я пріѣхалъ сюда. Но повѣрь, — продолжалъ онъ необыкновенно мягко и задушевно, — не я тому причиною. Мнѣ также, какъ и въ старину, хочется иногда посадить тебя на колѣни и рассказать тебѣ какую-нибудь хорошень-

кую сказочку. Но ты хмуришься, молчишь и уходишь от меня прочь, а у меня на душѣ становится такъ тяжело, такъ грустно, и я начинаю мучиться, стараюсь объяснить себѣ: что такое произошло въ душѣ твоей, отчего ты прячешься отъ меня, за что сердилъ? И тогда скверныя мысли приходятъ мнѣ въ голову...

— Какія же?—почему-то попоротомъ спросила Лена, облокотиваясь на столъ и пристально глядя въ лицо Дюдора.

— Какія?—въ раздумѣ проговорилъ онъ.—Ты хочешь знать это? Ну, хорошо, я расскажу тебѣ все. Пора намъ съ тобою объясниться напрямикъ; такъ давно ждалъ я этой минуты. Вотъ видишь ли, Лена, кажется мнѣ, что ты разлюбила меня за то, что я здѣсь сижу и ничего не дѣлаю. Ты думаешь: какой онъ лежебока, лѣнтяй и ни на что негодный человѣкъ! Всю жизнь свою онъ скитался, чего-то искалъ, пьянствовалъ, ничего не дѣлалъ, и теперь тоже: сидитъ на чужой шеѣ, ѣстъ чужой хлѣбъ, молчитъ и ничего не дѣлаетъ... Постой, постой!.. — воскликнулъ онъ, замѣтивъ, что Лена сдѣлала движеніе, какъ бы желая его перебить.—Постой, дѣвочка, дай мнѣ высказаться, если уже началъ. Да, ты такъ думаешь, и ты права... Мое настоящее положеніе унижительно. Я очень хорошо сознаю, что я здѣсь лишній, что я совершенно бесполезный для вашего семейства человѣкъ, и все-таки сижу здѣсь и ничего не дѣлаю, между тѣмъ какъ въ другомъ мѣстѣ могъ бы пригодиться на что-нибудь... Понятно, все это могло зародить въ твоей доверчивой душѣ сомнѣніе, недоверіе, а потомъ, можетъ быть, даже и презрѣніе ко мнѣ. Ты съ дѣтства привыкла видѣть во мнѣ нѣчто сильное, мужественное, самостоятельное, ты ждала отъ меня подвиговъ, потому что я казался тебѣ непохожимъ на другихъ,—и вдругъ предъ тобою слабый, несчастный, разбитый человѣкъ... Ты возмутилась...

Дюдоръ на минуту смолкъ, горько задумавшись, потомъ продолжалъ страстно, возвышая съ каждымъ словомъ голосъ.

— Да, да, Леночка, ты права! Въ настоящую минуту я самый жалкій, самый безсильный человѣкъ! Когда мнѣ приходилось бороться съ людьми, съ неудачами житейскими,—я былъ силенъ и неуязвимъ, а теперь мнѣ приходится имѣть дѣло съ болѣе страшнымъ врагомъ—съ самимъ собою. Понимаешь ли ты это? Врагъ сидитъ во мнѣ самомъ, и я тщетно стараюсь его побѣдить: онъ меня одолеваетъ. Вотъ это-то и страшно, Леночка... Страшно носить въ себѣ змѣю, которая подтачиваетъ не по днямъ, а по часамъ твои силы. Вотъ почему я молчу, когда надо мною смѣются и меня унижаютъ. Вотъ почему я сижу здѣсь, когда мнѣ надо давно уйти отсюда, когда меня ждутъ.

И знаешь ли ты, отчего все это? Но нѣтъ... Лучше я ничего не скажу больше...

— Нѣтъ, говори, говори...—шопотомъ произнесла Лена, не сводя съ него своего блестящаго взгляда. Лицо ея пылало.

— Ты хочешь этого?—сказалъ Діодоръ взволнованнымъ голосомъ, странно глядя на Леночку. — Ты хочешь? — повторилъ онъ, понижая голосъ. — Ну, хорошо... Но прежде я расскажу тебѣ одно повѣрье, которое я слышалъ отъ бурлака на Волгѣ. Лежали мы разъ на берегу съ нимъ; было уже около полуночи. Ночь была свѣтлая, лѣтняя, хотъ и безлунная, и на той сторонѣ, въ степи, чуть-чуть курганъ виднѣлся. И вотъ не знаю,—почудилось ли намъ, или вправду, только увидѣли мы, что на этомъ курганѣ будто огонекъ бродить. Проползетъ одинъ тихо-тихо—и погаснетъ вдругъ. Потомъ опять и опять... Долго мы глядѣли на это диво; вотъ старикъ и говоритъ: „а вѣдь это здѣсь безпремѣнно кладъ зарытъ“. И разговорились мы про клады. „Много,—говоритъ бурлакъ,—здѣсь кладовъ по степи зарыто. Но только трудно ихъ доставать, потому что всѣ они заклятые. И страшныя заклія на нихъ лежать... Иной кладъ, напримѣръ, на кровь положенъ: кто кровь человѣческую прольетъ, тому и кладъ въ руки дастся. Или, напримѣръ, на сто головъ: кто сто головъ срубитъ, тотъ и иди кладъ добывать. А то и такое закліе бываетъ, и это самое страшное: взять, напримѣръ, того человѣка, который тебѣ больше всего на свѣтѣ любъ... ну, хоша дѣвушку, али друга-пріятеля, али отца-мать родныхъ,—привести на тотъ курганъ и зарѣзать. Вотъ тогда и кладъ тебѣ откроется“...

Діодоръ при этихъ словахъ понизилъ голосъ. Онъ былъ взволнованъ, Леночка вся дрожала. И оба они теперь прямо глядѣли другъ другу въ лицо.

— Вотъ, милая Леночка...—совсѣмъ уже шопотомъ продолжалъ Діодоръ.—И мой кладъ заговоренъ... Чтобы добыть его,—мнѣ нужно перешагнуть черезъ все, чтъ мнѣ дорого и мило. Нужно забыть честь, совѣсть, божескіе и человѣческіе законы... Понимаешь ли, какъ это страшно? А безъ этого клада я—пропацій человѣкъ... Вотъ видишь, и руки у меня ни на какое дѣло не поднимаются, и весь я раскисъ... Мнѣ бѣжать отсюда надо, давно бѣжать, а я сижу. Силъ у меня на это не хватаетъ... тряпка я, больше ничего... Но и клада мнѣ не достать ни за что... Погибни я одинъ,—пустъ бы; этого я не боюсь; но дѣло въ томъ, что я могу погубить другое существо, такое существо, которое мнѣ дороже и милѣе всего на свѣтѣ. Леночка, милая моя, чтъ мнѣ дѣлать, я не знаю... Скажи мнѣ, чтъ дѣлать?..

Діодоръ говорилъ отрывисто, какъ въ бреду. При послѣднихъ словахъ онъ вскочилъ и порывисто схватилъ Лену за руки, но дѣвушка быстро вырвала у него свои руки и убѣжала, закрывая лицо руками.

Діодоръ опомнился, оглядѣлся кругомъ и въ отчаяніи схватилъ себя за голову:

— Сумасшедшій я человѣкъ, что я надѣлалъ! — зашепталъ онъ въ тоскѣ. — Что такое я ей говорилъ? Боже, Боже! этой глупости еще не доставало... Нѣтъ, бѣжать отсюда надо, какъ можно скорѣе бѣжать... Леночка, прости ты меня, безумнаго... Какъ ты меня теперь должна презирать!.. О, сумасшедшій...

Онъ метался по комнатѣ. Потомъ быстро схватилъ свою шляпу, выскочилъ въ окно и скрылся. Комната опустѣла. Только на столѣ все еще лежалъ букетъ ландышей, распространяя въ тишинѣ опьяняющее благоуханіе. Одна капля росы дрожала на широкомъ темнозеленомъ листѣ, точно одинокая слеза.

Батюшка сидѣлъ въ своемъ палисадничкѣ и благодушеествовалъ за вечернимъ чаемъ, когда къ нему явился Діодоръ. Онъ былъ очень блѣденъ и взволнованъ; волосы его въ безпорядкѣ разметались и прилипали къ вспотѣвшему лбу; платье все забрызгано грязью и покрыто сухими листьями.

— Добрый вечеръ! — проговорилъ онъ отрывисто, бросая шляпу на столъ.

— А, здравствуйте! садитесь-ка, чайку чашечку, да вотъ съ коньячкомъ-то. Зюзя, налей чайку Діодору Павлычу. Да что это, батюшка, съ вами? На васъ лица нѣту...

Діодоръ принужденно улыбнулся.

— Усталъ очень. Ходилъ на охоту, шлялся-шлялся, ничего не убилъ, и вотъ...

— Ну вотъ, и садитесь, пейте чай, да коньячку-то побольше...

— Спасибо, пью. А я къ вамъ съ просьбой, о. Пароень.

— Что такое? Какая просьба?

— А вотъ видите, — мнѣ очень нужно въ городъ съѣздить на день, на два. Не свободна ли у васъ лошадь?

— Лошадь? Это можно. Вотъ Зюзя васъ, пожалуй, и отвезетъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ? Я одинъ съѣзжу.

— Гм... гм... Ну, какъ хотите, а то и Зюзя отвезъ бы. Ему дѣлать нечего. А не хотите, не надо.

А самъ думалъ: „Зачѣмъ это ему въ городъ? Любопытно. Ужъ не выпило ли у нихъ чего съ Владиміръ-Антоничемъ? Очень ужъ они другъ дружку-то любятъ“...

Между тѣмъ Діодоръ выпилъ почти залпомъ два стакана чаю, наполовину доливая его коньякомъ, и повеселѣлъ. Глаза его заблестѣли, щеки покраснѣлись.

— Ну, вотъ я и отдохнулъ!—произнесъ онъ и засмѣялся.— Трудно, знаете, о. Пароень, на что-нибудь рѣшиться, ну, а какъ рѣшишься, все сразу какъ по маслу пойдетъ. Такъ что ли?

— Да это вы про чтò, Діодоръ Павлычъ?

Діодоръ опять разсмѣялся.

— Да вотъ про коньякъ. Давно я его не пилъ, зарокъ даже положилъ не пить, ну, а вотъ какъ разрѣшилъ,—и опять выпить тянетъ.

Онъ налилъ еще коньяку въ свой стаканъ и вдругъ впалъ въ задумчивость. А проникательный батюшка думалъ: „Нѣтъ, это что-то не то! Что-то неладное ты, братъ, говоришь! Ужъ вѣрно что-нибудь тамъ у нихъ выпило“. И батюшка началъ:

— Ну, а чтò у васъ тамъ новенькаго слышно? Правда, нѣтъ ли, болтаютъ, свадьба у васъ въ домѣ затѣвается?

— Не знаю, право. Не слыхалъ, — разсѣянно отвѣчалъ Діодоръ.

— Ну, ужъ вѣдь и ловкачъ же вашъ племянничекъ! — въ восхищеніи воскликнулъ батюшка. — Какъ это онъ чудесно свои дѣла обдѣлалъ, право. Оплелъ, совсѣмъ оплелъ бабенку! И вѣдь вѣрить она, вѣрить, что, дескать, онъ ее и взаправду любитъ.

— На то и щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ...

— Истинно! Ну, и молодецъ, одобряю. Вѣдь, помилуйте, — миллионъ. Вѣдь это страшно сказать, а Владиміръ Антоничъ возьметъ и не поморщится. Ну, ужъ тогда онъ раздѣляетъ дѣла! Намедни и то какъ-то разошелся, и началъ, и началъ свои теоріи мнѣ высказывать. „Мнѣ,—говоритъ,—нужно широкое поприще... Я,—говоритъ,—на маломъ помириться не могу... Мнѣ,—говоритъ,—или все, или ничего“... Вотъ онъ какой артистъ!..

— Практическій человѣкъ, — такъ же разсѣянно замѣтилъ Діодоръ.

— Практикъ! Охъ, какой практикъ! А Щепоткинъ-то? Ха-ха-ха! Вѣдь съ носомъ останется, а тоже мѣтилъ на миллиончикъ. И я, признаться, очень радъ. Терпѣть я его не могу! Мужикъ, нахалъ, буянъ! И вѣдь туда же съ грязными лапами лѣзетъ... Ужъ гдѣ ему! Тутъ вонъ научные люди дѣйствуютъ, а

онъ... И притомъ возьмите то,—ну, на что ему, старому шуту, деньги? Вѣдь у него своихъ дѣвать некуда; нѣтъ, еще надо захватить. А вѣдь самъ, каналья, и жить-то по человѣчески не умѣетъ! Былъ я у него на дняхъ, скажу вамъ, въ домѣ-то чистый хлѣвъ! Банки, стеклянки, горшки, черепки, веревки, гвозди, рогожи валяются! Плюшкинъ настоящій. Ну, на что ему послѣ этого деньги? Вѣдь онъ издохнетъ на нихъ, какъ Кащей безсмертный. Ни себѣ, ни людямъ. И опять варваръ какой,—примѣ началъ свою кухарку бить... Ну, можетъ ли онъ сравниться съ Владиміръ-Антоничемъ? Тутъ воспитанность, изящный вкусъ, деликатность манеръ, а тамъ—одна грубость...

Батюшка долго распространялся на эту тему, но, замѣтивъ, что Діодоръ совсѣмъ его не слушаетъ, смолкъ и поглядѣлъ на Зюзя. Зюзя былъ мраченъ и исподлобья глядѣлъ на Діодора. Во взглядѣ его просвѣчивала странная нѣжность и грусть.

— Ну, что же, Діодоръ Павлычъ, когда же вамъ лошадку-то? —спросилъ батюшка послѣ минутнаго молчанія.

— Завтра утромъ пораньше, — отвѣчалъ Діодоръ и сталъ прощаться.

„Нѣтъ, что-то неладное съ нимъ творится. Совсѣмъ парень не въ себѣ. Какъ бы это узнать?“ —думалъ батюшка, провожая Діодора до калитки, и, возвратившись, сказалъ, обращаясь къ Зюзѣ:

— Зюзя, что это съ нимъ, а? Поссорился что-ль съ кѣмъ, не знаешь?

— Увѣжать ему отъ насъ надо поскорѣе, вотъ что! — сказалъ Зюзя рѣшительно и больше ничего говорить не сталъ.

XIV.

„Сегодня утромъ рано дядя Додя уѣхалъ куда-то на поповой лошади. А вчера, послѣ *того* разговора, его цѣлый день не было дома. Онъ пришелъ очень поздно вечеромъ, когда уже коровъ подоили. Я стояла въ палисадникѣ у калитки, но онъ прошелъ мимо и взглянулъ на меня такимъ равнодушнымъ взглядомъ, точно это не я стояла, а какой-нибудь столбъ. Я убѣжала въ свою комнату и всю ночь проплакала. Теперь все между нами кончено,—и все я виновата. Зачѣмъ я отъ него убѣжала вчера, когда онъ спрашивалъ меня, что ему дѣлать? Мнѣ бы нужно было рассказать ему все, все, сказать, чтобы онъ ушелъ отсюда туда, гдѣ его ждутъ, и взять бы меня съ собою, что

мнѣ съ нимъ не страшны ни смерть, ни людская ненависть, ничто... Но я стояла передъ нимъ какъ истуканъ, и ничего этого не сказала. Почему? Я сама не знаю. А потомъ и совсѣмъ ушла. Вотъ онъ теперь на меня и сердится. Теперь онъ уже ничего больше не будетъ мнѣ говорить, потому что видитъ, какая я глупая и неразвитая дѣвчонка. И никогда онъ не узнастъ, какъ я его любила, какъ я на него надѣялась...

„А что, если онъ уйдетъ, и я останусь опять одна? Нѣтъ, этого я уже не вынесу совсѣмъ. Тогда жизнь моя кончена. Здѣсь я оставаться не могу. Чтѣ дѣлать здѣсь? Опять ѣсть, спать, бессмысленно ходить изъ угла въ уголъ, слушать наставленія, видѣть всю эту ложь и чувствовать каждую минуту свое безсиліе... Уйти къ Демиду? Нѣтъ, лучше не думать... Чтѣ будетъ, то пусть и будетъ...

„Володька все что-то косится на меня и на дядю. Сегодня, когда я пришла къ чаю, онъ взглянулъ на мои красные отъ слезъ глаза и на пустой дядинъ стулъ — и усмѣхнулся. Какая пошлая была эта усмѣшка! Ахъ, какъ мнѣ всѣ они надоѣли! Вотъ еще не знаю, зачѣмъ сюда чуть не каждый день сталъ ѣздить сынъ Полянскаго. Какъ пріѣдетъ, такъ сейчасъ разыщетъ меня въ палисадникѣ и начнетъ приставать: чтѣ я читаю? чтѣ дѣлаю? куда хожу гулять? съ кѣмъ знакома? Я просто не знаю, чтѣ и отвѣчать ему на эти вопросы, а мама послѣ начинаетъ меня ругать за дикость, грубость и застѣнчивость, что я не умѣю съ хорошими людьми себя вести, что я глупа и горда. А отецъ сейчасъ начнетъ Володьку въ примѣръ ставить... Ну, что же это за тоска! И зачѣмъ родятся люди, если имъ суждено такъ мучиться? Вѣдь довольны же другіе; отчего я ничѣмъ недовольна, и все меня тянетъ куда-то подальше отсюда? Но вѣдь вездѣ такіе же люди живутъ, и, я думаю, мнѣ врядъ ли будетъ гдѣ-нибудь хорошо. Такая ужъ я несчастная“...

Діодоръ пріѣхалъ изъ города задумчивый, сосредоточенный, но спокойный. Онъ былъ похожъ на человѣка, который окончательно порѣшилъ съ прежнимъ и собирается начать новую жизнь. Похожъ онъ былъ также на человѣка, собирающагося уѣзжать далеко и надолго изъ насижennaго мѣста. Его окружаетъ еще старая обстановка, близкіе люди, съ которыми онъ прожилъ многіе годы, но онъ смотритъ уже на все это равнодушно, и мысль его вся въ будущемъ. Онъ уже простился съ

прошлымъ въ душѣ, и его совершенно перестало интересовать то, что недавно еще наполняло всю его жизнь.

Лены Діодоръ избѣгалъ и теперь все время свое по большей части проводилъ въ лѣсу, на охотѣ или у батюшки, въ душевныхъ разговорахъ съ Зюзей, который къ нему страшно привязался. Въ домѣ стараго управляющаго онъ появлялся изрѣдка и не надолго, но Лена всегда ловила эти минуты и исподтишка наблюдала за дядей. Она смутно догадывалась, что происходитъ въ дядиной душѣ, и сердце ея холодѣло при мысли, что Діодоръ отдаляется отъ нея все больше и больше. Еще труднѣе стало для нея подойти къ нему ближе, а между тѣмъ она рвалась къ Діодору всей душою... Леночка и не подозрѣвала, какъ въ свою очередь рвался къ ней и Діодоръ. И такъ они—наружно холодные, но съ пылающими любовью сердцами—прятались другъ отъ друга, какъ тѣ, въ извѣстномъ стихотвореніи Гейне, „которые любили другъ друга такъ долго и нѣжно“, но какъ-то разошлись, заблудились въ житейскомъ лѣсу, а когда оба умерли и встрѣтились въ нездѣшнемъ мірѣ, то уже „не узнали другъ друга“...

Въ домѣ никто, повидимому, не подозрѣвалъ о сердечной драмѣ, разыгрывавшейся между Діодоромъ и Леной. Одинъ только Володя, кажется, догадывался объ этомъ, хотя и занятъ былъ очень своимъ личнымъ дѣломъ. По крайней мѣрѣ, онъ сталъ внимательнѣе поглядывать на сестру и на дядю и явно слѣдилъ за ними. Когда Діодора долго не было дома, онъ, прежде не обращавшій никакого вниманія на отсутствіе дяди, теперь спрашивалъ мать или отца: „гдѣ дядя?“ И вслѣдъ за этимъ вопросомъ предлагалъ другой: „А гдѣ Лена?“ Діодоръ, погруженный въ себя и отрѣшившійся отъ настоящаго, ничего этого не замѣчалъ; но отъ Лены, нервы которой были напряжены до невозможной чуткости, почти до прозорливости, не скрывалось поведение брата. Она въ свою очередь слѣдила за Володи, — и такъ братъ и сестра, словно два смертельные врага, подстерегали и подкарауливали другъ друга. Часто Лена ловила на себѣ испытующе-насмѣшливый взглядъ Володи, и сама отвѣчала ему взглядомъ, полнымъ ненависти и презрѣнія. Тогда по лицу Володи пробѣгала усмѣшка, а Лена вся обливалась горячимъ румянцемъ и отворачивалась отъ брата.

Наблюдая такимъ образомъ за Володи, Лена вскорѣ съ тревогой убѣдилась въ томъ, что братъ не на шутку слѣдитъ за Діодоромъ. Она видѣла его внимательные взгляды, которыми онъ встрѣчалъ и провожалъ дядю, слышала его расспросы о дядѣ,

а однажды, возвратившись неожиданно съ прогулки, застала Володю въ дядиной комнатѣ, куда онъ раньше не ходилъ. Увидѣвъ Леночку, Володя вышелъ изъ комнаты, какъ ни въ чемъ не бывало, насвистывая маршъ изъ „Фауста“, но смутное безпокойство закралось въ душу Лены.

„Онъ что-то замышляетъ противъ дяди! — подумала она. — Надо бы предупредить“... Но она не рѣшалась подойти къ вѣчно задумчивому и погруженному въ себя Діодору, и онъ по прежнему ничего не замѣчалъ.

Когда пришла первая почта послѣ поѣздки Діодора въ городъ, онъ необычайно оживился. Едва заслушавъ колокольчикъ земской тройки, Діодоръ схватилъ фуражку и побѣжалъ въ волостное правленіе. Но не прошло и пяти минутъ, какъ онъ вернулся обратно, сильно опечаленный и еще болѣе задумчивый. Долго ходилъ онъ взадъ и впередъ по своей комнатѣ, потомъ одѣлся и ушелъ.

Возвратился онъ уже поздно вечеромъ и сильно выпивши: это Лена узнала по его блестящимъ глазамъ и особой полугрустной, полунасмѣшливой улыбкѣ, которая являлась у него всегда въ этихъ случаяхъ. Давно уже онъ не былъ въ такомъ видѣ, и сердце Лены сжалось, предчувствуя что-то недоброе.

Діодоръ между тѣмъ прямо прошелъ въ гостиную, гдѣ въ это время Володя, только-что пріѣхавшій отъ Полянскихъ, съ оживленіемъ рассказывалъ отцу о своей поѣздкѣ. При входѣ Діодора онъ на минуту смолкъ, съ пренебреженіемъ взглянулъ на дядю, и, сейчасъ же отвернувшись, снова продолжалъ прерванный разговоръ. Рѣчь шла о хозяйствѣ Полянскаго.

— „Я, право, не понимаю подобнаго веденія дѣлъ, — говорилъ Володя своимъ мягкимъ, исполненнымъ собственнаго достоинства и не терпящимъ никакихъ возраженій тономъ, который такъ ненавидѣла въ немъ Лена. — Вѣдь съ отчѣны крѣпостного права прошло около 20 лѣтъ; пора бы, кажется, примѣниться къ новымъ порядкамъ, къ новымъ условіямъ жизни. А между тѣмъ у нихъ полнѣйшее непониманіе хода вещей. Они живутъ такъ, какъ жили ихъ дѣды, владѣльцы тысячъ душъ. Къ чему эти пиры, балы, это глупѣйшее хлѣбосоольство? Къ чему это веденіе хозяйства на широкихъ началахъ, эти огромныя запашки, когда еще неизвѣстно, будетъ ли чѣмъ разсчитаться съ рабочими? Не понимаю!“

— Такъ, такъ! Вѣрно! — неожиданно ввернулъ Діодоръ и захохоталъ.

— Я бы на ихъ мѣстѣ сдѣлалъ такъ, — продолжалъ Володя, повидимому, не обращая вниманія на дядю. — Прежде всего сокра-

тилъ бы расходы, разогналъ бы лишнюю и ни на что ненужную дворню, которая только даромъ хлѣбъ ѣстъ, прекратилъ бы эти дорого стоящія и не дающія никакихъ доходовъ запашки и сдалъ бы землю въ аренду крестьянамъ по 20 руб. десятина. Крестьяне теперь сильно нуждаются въ землѣ; надѣлы недостаточны, вотъ и пользоваться случаемъ. Вѣдь это такъ ясно...

— Какъ божій день!—перебилъ его Діодоръ и снова захотѣлъ. — Ужъ на что ясное! Дери шкуру съ ближняго, да и шабашъ. Рѣжь его, коли самъ въ руки дается! Такъ, такъ! Одобрю! Покажи имъ, какъ новые люди съ новой точки зрѣнія, „по науцѣ“ дѣйствуютъ!..

Володя замолчалъ и насмѣшливо глядѣлъ на дядю. Когда Діодоръ кончилъ, онъ обратился къ нему и сказалъ сдержанно:

— Вы, кажется, Діодоръ Павловичъ (онъ никогда не называлъ его дядей), плохо поняли, о чемъ я говорилъ. Впрочемъ, это не мудрено, если принять во вниманіе ваше теперешнее состояніе...

— Это, т.-е., что я пьянъ-то? Ха-ха-ха!—расхохотался Діодоръ. — Это вѣрно, я пьянъ. Но это все-таки не мѣшаетъ мнѣ понимать васъ, Владиміръ Антонычъ. Отлично я васъ понимаю... т.-е. насевозъ! Понимаю и преклоняюсь... Дорогу, дорогу вамъ! Чтò такое предъ вами всѣ мы, отживающіе, съ своими вѣчными идеалами и исканіемъ правды? Сантименталы, юродивые, утописты! Мы привыкли смотрѣть на человѣка какъ на такое существо, которое можетъ страдать, плакать, терзаться, и старались о томъ, чтобы страданій этихъ было какъ можно меньше. Изъ стараній нашихъ ничего не выходило: человѣкъ страдалъ по прежнему, а вмѣстѣ съ нимъ страдали и мы, несчастные маленькіе Фаусты. Что жъ, это правда; я не стыжусь сознаться въ томъ, что мы ничего не сдѣлали, но мы страдали искренно и надѣялись, что хоть будущее поколѣніе пойметъ насъ и не будетъ надъ нами смѣяться. Но пришли вы, люди новаго завѣта... Крѣпкіе, сильные, здоровые люди, и вы осыпали насъ насмѣшками и сказали: прочь съ дороги, негодные мечтатели!..

Въ это время дверь тихо скрипнула, и вошла Лена. Она тихонько прошла чрезъ комнату, отворила балконную дверь и скрылась въ палисадникѣ.

— А вы, вѣроятно, недурно исполняли роль Любима Торцова, когда въ актерахъ состояли?—спросилъ Володя насмѣшливо.

Ленѣ, сидѣвшей въ палисадникѣ, захотѣлось за эти слова дать брату пощечину, но Діодоръ не обратилъ на нихъ никакого вниманія.

— Да, вотъ онѣ, „птицы съ желѣзными носами“, которыя, по толкованію Зюзи, должны налетѣть предъ кончиною міра,— продолжалъ онъ все съ болѣе и болѣе возрастающимъ жаромъ.— Но у васъ не только носы, но и сердца желѣзные. Оттого-то вы такъ спокойны и самодовольны. Плохо, когда сердце изъ мускуловъ и нервовъ состоитъ! Хоть ты каменными стѣнами окружись, хоть въ Эскуріаль какой-нибудь спрячешься, а не дастъ оно тебѣ покою, когда знаешь, что тамъ, за стѣнами этими, слезы и кровь льются. Либо плюнешь на все и сопнешься, чтобы не слышать этихъ стоновъ, либо уйдешь туда же на улицу, вмѣстѣ съ другими погибать. Ну, вотъ вамъ этого дѣлать не нужно. Человѣкъ стонетъ, а вамъ смѣшно. Человѣкъ у васъ передъ глазами отъ боли корчится, а вы его только ногой оттолкнете, чтобы не мѣшалъ идти своей дорогою... Ха-ха-ха! Да, вотъ онѣ, вотъ, птицы съ желѣзными носами! „И налетятъ онѣ... и настанетъ конецъ міра... И возстанетъ братъ на брата, сынъ на отца... И свернется небо въ свитокъ, и звѣзды попадаютъ на землю“...

— Ну, а вы себѣ какую же роль предназначаете въ этой картинѣ?—спросилъ Володя саркастически, отчего сердце Лени снова закипѣло негодованіемъ.—Вѣроятно, ангела на черномъ конѣ, съ карающимъ мечомъ въ десницѣ?

Діодоръ, повидимому, не слышалъ этого замѣчанія и продолжалъ...

— О, вы начертали себѣ великолѣпнѣйшій житейскій катехизисъ! У васъ все тамъ прекрасно, „по наукѣ“, да еще по самой современной, такъ что ни одинъ философъ иголки не подпуститъ. Вы признаете свободу; вы проповѣдуете: свобода должна быть дана каждому человѣку, пусть каждый дѣйствуетъ, какъ ему угодно! Но ужъ если человѣкъ не сумѣлъ воспользоваться своей свободой, если онъ упалъ, вы ему не поможете и преспокойно будете шагать по головамъ этихъ упавшихъ, куда вамъ требуется. Вамъ каждая минута дорога, и вы не жертвуете ни одною для своего ближняго. Зачѣмъ? Каждому отпущена своя доля, и пусть каждый пользуется ею, какъ умѣетъ и какъ хочетъ. Прозѣваль,— виноватъ самъ... Такъ, такъ! это вѣрно! Дѣйствуйте, люди науки! Вы не Щепоткины какіе-нибудь. Чтѣ такое Щепоткинъ? Грязное, грубое животное! Сегодня онъ кого-нибудь ограбитъ, а завтра, кто посильнѣе, у него изо рта кусокъ выхватитъ. Вы—другое дѣло... Вы—люди съ тонкими чувствами, съ изящнымъ вкусомъ. Вы и Венеру Медицейскую, и Мадонну Долорозу понимать можете. И Гёте, и Шиллеромъ восхищаетесь, и Лассала и Маркса штудируете... А Дарвинъ,—его вы прямо въ апостолы свои воз-

вели! Борьба за существование—вотъ вашъ девизъ... Куда же какому-нибудь дураку Щепоткину за вами тягаться?

Діодоръ подошелъ къ Володѣ и остановился передъ нимъ.

— Но смотрите, ужъ не зѣвайте и вы! Не забывайте, что звѣрь, насчетъ котораго вы будете наслаждаться всѣми благами земными,—звѣрь слѣпой и кровожадный, когда его затронуть. Плохо вамъ будетъ, если встряхнетъ своими цѣпами и взбунтуется...

— Спасибо за совѣтъ!—иронически поблагодарилъ его Володя.—Но позвольте узнать, кто же этотъ звѣрь? Не вы ли?

— То-есть, я и мнѣ подобные? О, нѣтъ! Мы не годимся для борьбы, потому что слишкомъ чувствуемъ человѣческія страданія. Нѣтъ! Нѣтъ, мы просто, какъ выразился одинъ мой, такой же безпріютный, какъ я, пріятель,—мы *вагабоны*...

— Празднопатающіеся!—язвительно подхватилъ Володя.

— Да, вагабоны!—повторилъ Діодоръ съ горечью и опять заходилъ по комнатѣ.—Въ своемъ скитаніи по землѣ мы изойдемъ неслышно слезами, а когда ужъ очень невтерпѣжъ станетъ, пойдемъ на улицу и погибнемъ „за идею“, которая, можетъ быть, не осуществится никогда. Бываетъ въ жизни человѣчества такое время, которое требуетъ жертвъ... „козловъ отпущенія“... Вотъ мы такіе же козлы. Да, хорошо, конечно, погибнуть для процвѣтанія человѣчества, но все-таки тамъ въ душѣ что-то живое ронцетъ и жалуется... Погибнуть, когда все живетъ... А если тебя ждетъ „non-existence“—больше ничего? А если отъ твоей гибели никто не будетъ счастливѣе, и еще проклянуть тебя за то, что ты „много возлюбилъ“? Отказаться отъ всего, и исчезнуть—и non-existence! Горько и страшно.

Тутъ голосъ Діодора оборвался, онъ повернулся и поспѣшно вышелъ изъ комнаты.

— Однако, какъ это скучно!—произнесъ Володя, вставая и потягиваясь.—Эдакіе фразеры! Рудиныхъ изъ себя корчатъ. Ну, погибать, такъ и погибалъ бы,—нѣтъ! Надо прежде всему міру оповѣстить: смотрите, молъ, братцы, за васъ погибаю... Да еще и смерть-то выбрать какую покрасивѣе, со знаменами, съ музыкой, съ барабаннымъ боемъ. А кому, спрашивается, нужна эта гибель? Впрочемъ,—*chaque fou a sa marotte*! Мамаша, собирайте ужинать! спать пора...

— Подлецъ!—пронесся вдругъ изъ темной, пахучей глубины палисадника чей-то рыдающій шопотъ.

Это обстоятельство, повидимому, нисколько не смутило Володю. Онъ засмѣялся, но сію же минуту лицо его сдѣлалось серьезнымъ, и онъ подумалъ: „Эта исторія начинается надождать!

Надо покончить съ бреднями глупой дѣвчонки и этого непризнаннаго генія. А то они, чортъ возьми, могутъ скомпрометировать меня ужасно“.

И онъ, напѣвая, отправился въ столовую, гдѣ уже былъ давно накрытъ столъ, и Антонъ Кирилычъ ворчалъ на жену за подготовку яичницу.

XV.

Жоржъ Полянскій не напутку влюбился въ Леночку. Образъ задумчивой и печальной дѣвушки преслѣдовалъ его и днемъ, и ночью. Подъ вліяніемъ пламени любви, жарко разгорѣвшагося въ его слабомъ сердцѣ, онъ уже окончательно потерялъ тѣ жалкіе остатки разсудка, которыми наградила его природа. Цѣлые дни напролетъ просиживалъ онъ въ своемъ кабинетѣ, исписывая бумагу стопу за стопою. Какіе-то смутные образы носились предъ нимъ, но онъ никакъ не могъ уловить ихъ и въ стройной гармоніи уложить на бумагу. То мелькала предъ нимъ нѣжная, блѣдная Офелія съ распущенной золотистой косою, напоминавшая ему Леночку, то, какъ грозный мститель за страдающее чело-вѣчество, вставалъ Карлъ Мооръ, то несчастный изуродованный Гуинплинъ, держа за руку слѣпую Деу, плакалъ и смѣялся изъ темнаго угла комнаты. Но это были все созданія чужой фантазіи; своя же ничего не могла создать, кромѣ уродливыхъ лицъ, безобразныхъ сценъ и бессмысленныхъ разговоровъ. Бѣдный Жоржъ мучился, изнывалъ и даже совершенно позабылъ о своей обязанности ухаживать за вдовою, — обязанности, возложенной на него семейнымъ ареопагомъ.

Наконецъ, ему удалось кое-какъ поймать свои метавпшіяся, какъ въ горячечномъ бреду, мысли, и онъ написалъ цѣлое вступленіе къ роману, для котораго давно уже придумалъ зловѣщее названіе: „Ни пути, ни дороги“. Оно начиналось такъ:

„О, будьте вы прокляты, дремучія дебри, въ которыхъ гибнуть и вяннуть безвременно роскошные цвѣты прекрасной юности! Жадно рвутся къ добру и свѣту молодая силы, но нѣтъ имъ выхода изъ темныхъ чащъ нашихъ дремучихъ лѣсовъ. И падаютъ онѣ, и гибнутъ, изнемогая отъ жажды, и обливаютъ кровью своею алчную землю... Жадно пьетъ земля эту невинную кровь, и еще гуще разрастается на ней пышная, но бездушная растительность, поглотившая тѣ самые добрые соки, которыми жили погибшіе“...

Такъ изливалъ Жоржъ свои жалобы, а въ дверь къ нему уже давно ломилась грозная Агнеса.

— Жоржъ, Жоржъ!—кричала она, барабани кулаками въ дверь.—Да отвори же, тебѣ говорятъ, болванъ эдакой! (Безъ гостей изыщная паникская сирена выражалась иногда очень энергично). Что это такое, въ самомъ дѣлѣ, ничѣмъ не достучишься! Отвори!..

Но, видя, что этимъ Жоржа не проймешь, Агнеса прямо уже навалилась на дверь всѣмъ тѣломъ и закричала не своимъ голосомъ:

— Егорка! Егорка! Если ты не отопрешься, я сейчасъ лакея позову и прикажу дверь выломать... Егорка!

Чего не могли сдѣлать ласковыя воззванія и грубыя слова, то сдѣлало одно магическое слово „Егорка“, котораго не могли выносить Жоржъ. Мечты его сразу разлетѣлись, вздохи замерли, и онъ, какъ ужаленный, бросился къ двери.

— Во-первыхъ, я вовсе не Егорка,—съ достоинствомъ сказалъ онъ, отворяя дверь, въ которую немедленно ворвалась разсвирѣпѣвшая Агнеса. — А во-вторыхъ, что это за свинство не давать мнѣ покою, когда я уединяюсь въ своей комнатѣ и, можетъ быть, занимаюсь рѣшеніемъ важныхъ вопросовъ, отъ которыхъ зависитъ вся моя будущность...

— Рѣшай, рѣшай! — насмѣшливо воскликнула Агнеса, съ презрѣніемъ оглядывая письменный столъ брата, на которомъ были навалены цѣлыя горы исписанной бумаги.—Сиди тутъ, какъ Иванушка-дурачокъ, пока у тебя изъ-подъ носа миллионъ не унесутъ. Вѣдь Владиміръ Антонычъ не нынче-завтра посватается, вотъ ты и останешься съ своими вопросами.

— И пусть сватается!—энергично произнесъ Жоржъ, расхаживая по комнатѣ и ероша волосы.—Я, можетъ быть, вовсе и не желаю жениться на мѣшкѣ съ деньгами. Я не продажный... Въ моей груди пылаетъ болѣе чистая, болѣе святая любовь...

— Ска-ажите, пожалуйста!—перебила его Агнеса.—Это что еще за новости? Какая это такая любовь? А ты лучше оставь свои бредни и иди сейчасъ къ тетушкѣ. Она одна и скучаетъ; поди, развлеки ее, уведи гулять, намекни, что ты...

— Убирайся ты съ своей тетушкой!—закричалъ Жоржъ.—Сказано, не хочу я себя продавать за деньги... Всѣ ваши ухищренія я постигъ, и теперь слова вы отъ меня не добьетесь. Уйди, а то я за себя не ручаюсь... Душа моя мрачна!..

Агнеса грозно нахмурила брови.

— Да ты это не шутишь?

— Нисколько не шучу и разъ навсегда повторяю, что не позволю себя продать за деньги. Слышите? Оставьте меня въ

покой! Что вы меня мучите? Я уйду отсюда... убѣгу... мнѣ душно здѣсь!..

Жоржъ вошелъ въ пакооть и метался по комнатѣ, какъ безумный. Онъ совершенно забылъ, что онъ—Жоржъ Полянский, и воображалъ себя какимъ-то необычайнымъ героемъ.

Агнеса смотрѣла на него и блѣднѣла отъ злости. Ей хотѣлось ударить брата, вцѣпиться ему въ волосы, но чувство приличія сдерживало ее. Наконецъ, и она не выдержала.

— Идіотъ! кретинъ!—закричала она и, бросившись къ столу, принялась рвать на малѣе кусочки плоды вдохновеній Жоржа.—Такъ вотъ же тебѣ, вотъ, вотъ!

И она разбрасывала по комнатѣ клочки несчастнаго романа.

Жоржъ остолбенѣлъ, глядя, какъ разлетались по угламъ, точно испуганныя бабочки, бѣлые и пестрые клочки бумаги. Вотъ промелькнула предъ нимъ половина заглавія его романа, такъ красиво выведеннаго золотистыми чернилами; вотъ буква О съ восклицательнымъ знакомъ медленно проплыла въ воздухѣ, завертѣлась и вылетѣла въ окно... Жоржъ вдругъ заплакалъ и бросился вонъ, какъ сумасшедшій, оставивъ Агнесу въ злобномъ недоумѣніи стоять среди груды изорванной бумаги.

Онъ побѣжалъ прямо въ конюшню, приказалъ запретъ лошадей въ бѣговыя дрожки и помчался въ Подгорное. Вѣтеръ, пропитанный запахомъ цвѣтущихъ травъ, неся ему прямо въ лицо, колосья пшеницы били его по ногамъ, высоко надъ нимъ разсыпались трели жаворонка; но онъ ничего этого не замѣчалъ и гналъ лошадь во весь опоръ. Въ его разстроенномъ мозгу вертѣлись обрывки мыслей, фразы изъ романовъ, какіе-то образы и лица. То онъ шепталъ: „Я васъ люблю... люблю больше жизни“... шепталъ такъ, какъ это могъ дѣлать только какой-нибудь эlegantный виконтъ предъ благоухающей маркизой. То дико вскрикивалъ на мотивъ изъ „Птичекъ Пѣвчихъ“: „о, другъ мой, тебя до могилы я буду любить всей душой“... То, наконецъ, распустивъ возжи и понизнувъ головой на грудь, произносилъ въ горькомъ безсиліи: „умереть—уснуть, не болѣе“...

Въ такомъ настроеніи онъ, какъ бомба, ворвался въ мирное жилище стараго управителя и предсталъ предъ Ольгой Ивановной, которая въ это время, засучивъ рукава и подтыкая платье, занималась кормленіемъ поросятъ. Взглянувъ на Жоржа, Ольга Ивановна даже мысленно ахнула, испуганная его дикимъ видомъ, и постѣшно принялась оправлять рукава и опускать подтыканныя юбки.

— Дома Володя?—въ изнеможеніи спросилъ ее Жоржъ.

— Володя?—растерянно повторила Ольга Ивановна, распи- хивая ногою немилосердно визжавшихъ поросятъ, совавшихся къ ней.—Нѣтъ, его нѣту-съ. Они съ отцомъ давеча уѣхали къ Пфейферу мельницу осматривать.

— А Офелія Антоновна... то бишь, Елена Антоновна дома?

— Она—дома. Извините ужъ, что я такъ невѣждо... по- трудитесь сами пройти въ палисадничекъ; она, кажется, тамъ...

Жоржъ помчался въ палисадникъ.

Лена сидѣла въ самомъ глухомъ уголку палисадника и тоско- вала. На колѣняхъ ея лежала книга, но она не читала ея, а думала о томъ, гдѣ теперь и что дѣлаетъ дядя Додя? Его уже второй день не было дома. Деревья тихо шептались надъ нею, роняя ей на колѣни блѣднорозовые лепестки своихъ цвѣтовъ, словно желая ее утѣшить, но она не замѣчала этихъ нѣмыхъ ласкъ, не замѣчала золотыхъ зайчиковъ, бѣгавшихъ у нея по платю, и тихо предавалась своему горю. Въ эту самую минуту и предсталъ предъ нею Жоржъ.

Все его одушевленіе, въ которомъ онъ находился за секунду предъ тѣмъ, разомъ исчезло при видѣ задумчиво-строгаго лица дѣвушки. Онъ сразу весь осунулся, и странная робость овла- дѣла имъ.

— Здравствуйте, Елена Антоновна, — робко началъ онъ.

Леночка вздрогнула и подняла на него опущенные глаза.

— Здравствуйте,—отвѣчала она послѣ нѣкотораго молчанія и снова опустила голову на грудь.

Жоржъ въ смущеніи стоялъ предъ нею, теребя въ рукахъ свою фуражку, и то снимая, то надѣвая ее. Наконецъ, онъ, по- видимому, рѣшился на что-то, надѣлъ фуражку и сѣлъ рядомъ съ Леночкой.

— Что это вы читаете?

Лена молча перевернула книгу и показала ему заглавіе.

— „Мертвыя Души“,—прочелъ Жоржъ вслухъ.—Читалъ. Но, признаться, я не люблю Гоголя. Мелочность такая и сюжеты все мизерабельные. Вотъ еще „Тарась Бульба“—пожалуй... Но это все не то! Вотъ Викторъ Гюго, вотъ грандіозный писатель! Напримѣръ, „Notre Dame de Paris“... Эсмеральда, Квазимодо... Или „Труженики моря“... Какая величественная эпопея! Борьба со спрутомъ... Вотъ я вамъ привезу. Вамъ надо это прочесть. Отчего вы какъ будто грустны?—ни съ того, ни съ сего спро- силъ онъ, перемѣняя тонъ.

— Я всегда такая,—тихо отвѣчала Лена, не поднимая глазъ отъ книги.

— Но все-таки... Такъ привезти вамъ Виктора Гюго?

— Пожалуй, привезите.

— Непремѣнно! Я бы и теперь привезъ, но я потрясенъ ужасно нѣкоторыми событіями!—заклучилъ онъ въ волненіи.

Лена молчала, внимательно рассматривая тоненькія розовыя жилки на бѣломъ цвѣтѣ яблоки.

— Какіе есть эгоистичные люди, Елена Антоновна! — продолжалъ Жоржъ, не дождавшись отвѣта. — Для нихъ все составляютъ деньги; ради денегъ, они эксплуатируютъ чужое счастье... можетъ быть, самыя святыя чувства... Вы какъ объ этомъ думаете, Елена Антоновна?

— Я, право, не знаю... Вы привезите, я сама прочту...

Вся кровь хлынула Жоржу въ лицо. Ему вдругъ стало душно. Онъ снялъ фуражку и, неизвѣстно для чего, сталъ ерошить волосы.

— Я про себя теперь говорю, Елена Антоновна! — заговорилъ онъ. — Вотъ видите ли... они хотятъ меня женить на Фирсовой... Но я вовсе не хочу. Пусть на ней женится вашъ братъ, — а я люблю другую. Встрѣтивъ однажды на своемъ пути одного прекраснаго ангела, я всю душу свою желаю отдать въ его бѣлоснѣжныя крылья... т.-е. нѣтъ... Ну да, разумѣется! И... однимъ словомъ, „я васъ люблю, — къ чему лукавить?“... совершенно неожиданно заключилъ Жоржъ и, самъ испугавшись своихъ словъ, поспѣшно вскочилъ съ скамейки.

Лена подняла глаза и въ удивленіи глядѣла на него, какъ бы плохо понимая, о чемъ онъ говоритъ.

— Ну, такъ что же, Елена Антоновна? — задыхаясь, продолжалъ Жоржъ. — Какъ же теперь... Что вы мнѣ отвѣтите? Согласны ли вы будете раздѣлить со мною жизненный путь? Я люблю васъ такъ, какъ сорокъ тысячъ братьевъ любить не могутъ. Обопритесь же на мою руку—и...

Тутъ только Лена поняла, наконецъ, въ чемъ дѣло. Яркій румянецъ залилъ ея лицо; въ испугѣ вскочила она съ мѣста и, оставивъ книгу на скамейкѣ, бросилась въ кусты.

Жоржъ стоялъ ошеломленный. Онъ никакъ не ожидалъ этого; ему почему-то казалось, что Лена непременно должна принять его предложеніе. Тысячу разъ на тысячу ладовъ онъ варьировалъ въ мечтахъ своихъ сцену объясненія въ любви, но никогда не представлялъ себѣ, что сцена эта кончится отказомъ или бѣгствомъ Лены. Напротивъ, онъ неизмѣнно представлялъ себѣ, какъ Лена робко скажетъ „да“ и протянетъ ему руку, а онъ, по-рыцарски, опустится предъ нею на колѣни и покроетъ жаркими поцѣлуями эту милую ручку...

Долго глядѣлъ Жоржъ на зеленую, движущуюся чащу, въ которой скрылась Леночка. Потомъ трагически произнесъ:

— Все кончено!..—и въ голосѣ его сквозь обычную напыщенность слышалось настоящее горе.—Все кончено! Прощай, Офелія... будь счастлива!.. а бѣдный Гамлетъ,—онъ пойдетъ молиться...

И Жоржъ тихонько побрѣлъ изъ сада.

XVI.

Май прошелъ. Отцвѣли яблони, вишни и терновникъ; ландыши завяли, но за то въ лѣсахъ зацвѣталъ шиповникъ, а въ поляхъ рожь и пшеница стали покрываться красноватою пылью. Приближался сѣнокосъ. Сочныя зеленныя травы поднялись чуть не въ ростъ человѣка; солнце начало припекать жарче.

Опять было чудное, благоухающее утро, и опять Володя ѣхалъ по панинской дорогѣ, между двумя движущимися стѣнами высокой пшеницы, уже начавшей пускать свои длинныя цѣпкіе усики. Среди ея густой зеленой чащи стрекоталъ невидимый хоръ кузнечиковъ, жучковъ и букашекъ, опьянѣвшихъ отъ благоуханій. Въ ближайшей березовой рощѣ куковала запоздалая кукушка. Но Володя не замѣчалъ этой, окружавшей его, красоты. Онъ весь ушелъ въ свои думы. Сегодня предстояло ему очень важное дѣло: онъ ѣхалъ дѣлать предложеніе Фирсикъ, и поэтому чувствовалъ себя въ очень приподнятомъ настроеніи духа. Онъ чувствовалъ себя, какъ полководецъ наканунѣ рѣшительнаго сраженія, — но полководецъ, вполне увѣренный въ томъ, что сраженіе будетъ выиграно. Въ этомъ Володя нисколько не сомнѣвался, и если чувствовалъ себя возбужденнымъ болѣе обыкновеннаго, то вовсе не потому, что боялся пораженія, а потому что, наконецъ, очутился на порогѣ къ осуществленію своихъ давнишнихъ и страстныхъ мечтаній. Да, вотъ сбылись, наконецъ, эти туманныя грезы, которыя тревожили его и тогда, когда онъ еще въ гимназическомъ мундирчикѣ танцевалъ на директорскомъ балу, и когда онъ, уже будучи студентомъ, сидѣлъ за лекціями въ своей убогой *chambre garnie*, прислушиваясь къ отдаленному грохоту широкой, праздною и блестящей столичной жизни. Великолѣпныя картины, одна за другою, развертывались предъ его мысленными очами. Чудились ему огромныя залы, золоченая мебель, блестящая толпа гостей, и онъ одинъ — центръ всей этой толпы. Предъ нимъ преклоняются, въ немъ заискиваютъ, его желанія исполняютъ

наперерывъ... Чего бы только онъ ни захотѣлъ, все къ его услугамъ...

И вотъ, все это сбылось на яву. Не сегодня-завтра онъ явится обладателемъ цѣлаго милліона. Отнынѣ его желанія не будутъ находиться въ зависимости отъ какого-нибудь жалкаго лишняго рубля; теперь онъ не будетъ терзаться и мучиться отъ того, что ему не хватаетъ денегъ купить бѣлыя перчатки на балъ, поднести букетъ или бонбоньерку дамѣ, отъ которой „много зависитъ“, угостить товарищей въ лучшемъ ресторанѣ. А сколько онъ нѣкогда изъ-за этого вынесъ мелкихъ укуловъ самолюбія, униженій, обидъ!.. Володя съ краской стыда до сихъ поръ вспоминаетъ, какъ онъ однажды занялъ сто рублей у одного товарища по курсу, богатаго сибиряка, и какъ тотъ, подавая ему ихъ, сказалъ пренебрежительно: „не торопитесь отдавать,—это такіе пустяки; отдадите, когда разбогачите“... Теперь все это кончено. Тутъ Володя гордо поднялъ голову и усмѣхнулся.—Теперь наступитъ новая жизнь. Какая широкая дорога предъ нимъ откроется! Съ своимъ умомъ, удвоеннымъ удачей, съ своей смѣлостью и изворотливостью, наконецъ съ золотымъ жезломъ въ рукахъ — онъ завоюетъ цѣлый міръ!.. Богатство поможетъ ему обставить свою жизнь съ небывалымъ изяществомъ и роскошью, а его умъ и знанія доставятъ ему, быть можетъ, высокій постъ, извѣстность и—кто знаетъ?—даже откроютъ ему двери въ тотъ заколдованный міръ, который называютъ „Дворомъ“... И вотъ онъ, сынъ бѣднаго разночинца, добывшаго деньгу „своимъ горбомъ“ — на высотѣ могущества и славы. Онъ осыпанъ почестями и облеченъ властью. Въ домъ его стекаются лучшіе люди страны,—представители наукъ и искусствъ; имя его съ трепетомъ произносится всюду, начиная отъ пышныхъ княжескихъ дворцовъ и кончая бѣдными лачугами, въ которыхъ ютится сѣрая, жалкая толпа. Его слова повторяются тысячею газетъ и разносятся по всѣмъ закоулкамъ земного шара; за его дѣйствіями слѣдитъ съ замирающимъ сердцемъ весь міръ...

Голова Володи закружилась и духъ захватило. Его обычно блѣдное лицо покрылось румянцемъ; губы полуоткрылись, глаза подернулись туманомъ. По тѣлу его пробѣгала медленная дрожь.

Боже, какая жизнь! Ради ея, можно пожертвовать всѣмъ, — даже родными и близкими людьми. Совѣсть? Тьфу, глупость! Общее благо? Пустое слово, выдуманное такими сумасшедшими, какъ дядя Діодоръ. Да и кто слушаетъ эти слова?.. Только такіа экзальтированные, неразвитыя дѣвчонки, какъ Лена, или недоучившіеся мальчишки... Этихъ сумасбродовъ — крошечная кучка, а за Володей—цѣлый міръ. Всѣ поступаютъ такъ, какъ

онъ; каждый заботится прежде всего самъ о себѣ; это въ порядкѣ вещей и это вполне нормально. Идеалы будущаго... что за идеалы, когда жизнь такъ коротка и когда потомъ, рано или поздно, для всѣхъ наступитъ „non-existence“, какъ выражается дядя! Человѣкъ живетъ во времени и въ пространствѣ, и какое ему дѣло до того, что лежитъ за предѣлами его личнаго существованія? Умная баба была Помпадуръ, сказавшая: *après nous le déluge*. И еще умнѣе былъ Базаровъ, который сказалъ: „какое мнѣ дѣло до того, въ какой избѣ будетъ Федоръ жить, когда изъ меня лопухъ будетъ расти?“ Вотъ она, настоящая философія, въ которой кроется настоящий жизненный смыслъ. И правъ былъ знаменитый энциклопедистъ Дидро, сказавшій, что у человѣка есть одинъ долгъ—это быть счастливымъ. Вотъ истина; все остальное—болѣзненные фантазіи невропатовъ, съ ненормальной мозговой дѣятельностью, съ усиленнымъ приливомъ крови въ головѣ. И развѣ не всѣ эти люди, которыхъ невѣжественная и суевѣрная толпа возвела въ гении, а наука называетъ маттоидами и психопатами,—не всѣ они кончали жизнь сумасшествіемъ, самоубійствомъ, если не хуже?..

Но тутъ нить мыслей Володи порвалась. Вдали забылись колонны „замка Монъ-Реаль“, какъ называлъ романическій батюшка домъ Полянскихъ, и Володя, усмѣхнувшись, проговорилъ: „однако я, чертъ возьми, замечтался!“ Эти слова возвратили его немедленно къ дѣйствительности. Онъ поправился на дрожкахъ, крѣпче подтянулъ возжи и, принявъ свой обычный сдержанный видъ, съ спокойной увѣренностью направилъ лошадь въ ворота усадьбы.

Въ домѣ царила томительная утренняя тишина. *Самого* не было; онъ уѣхалъ съ Гладкимъ въ поле; Жоржъ послѣ своего пораженія скитался по лѣсамъ, какъ Нейстовый Орландо; мадамъ Полянская, по обыкновенію, хлопотала по хозяйству и только Агнеса, сидя въ одинокой залѣ, оглашала домъ лѣнивыми звуками немножко разстроеннаго рояля. Около нея на кушеткѣ, съ какою-то рабочей въ рукахъ, полу-лежала вдова. Обѣ дамы страшно томилась отъ жары и отъ скуки.

Появленіе Володи произвело немедленную реакцію въ случавшихъ дамахъ. Послышались радостные ахи и охи, восклицанія, оживленные разспросы и рассказы. Фирсова вся зааѣла, словно пѣица и, спутавъ узоръ своей работы, бросила ее отъ себя на этажерку.

— Вы къ намъ на цѣлый день? — спросила она, обращая на Володю свои томные, добрые глаза.

— Если позволите—да.

— Ахъ, какъ это мило! Merci! А мы съ Агнесой только-что говорили: какъ это скучно, что никого нѣтъ; всѣ насъ забыли. И вдругъ такой скорпризъ!

— Очень радъ, что доставилъ вамъ удовольствіе,—отвѣчалъ Володя, улыбаясь и подсаживаясь ближе къ Марѣ Ивановнѣ.

Агнеса съ свойственной ея проницательностью подмѣтила на лицѣ Володи что-то особенное и сейчасъ же догадалась о причинѣ его ранняго визита. „Предложеніе пріѣхать дѣлать!“ — подумала она, и тутъ же рѣшила ни на минуту не оставлять влюбленныхъ однихъ. Но это было невозможно. Нужно было идти распорядиться насчетъ кофе, а тутъ еще эта „старая дура“ (такъ, не стѣсняясь, называла въ своихъ мысляхъ Агнеса мамашу) затѣяла дѣлать ванильное мороженое и постоянно призывала ее въ свою комнату для разныхъ совѣщаній: сколько положить ванили? не много ли положено сахару? и т. д. Агнеса бѣсилась и блѣднѣла отъ злости, прислушиваясь къ нѣжному воркованію влюбленныхъ, уединившихся на балконѣ.

„Ахъ, и гдѣ этотъ идіотъ-Жоржъ пляется?“ думала она, волнуясь. Ей казалось, что если она сегодня помѣшаетъ состояться объясненію, то потомъ какъ-нибудь ей удастся и вовсе разстроить это дѣло. И она подсаживалась къ уединившейся парочкѣ, вмѣшивалась въ ихъ разговоры и всячески старалась нарушить ихъ tête-à-tête.

Но Володя былъ проницателенъ не менѣе Агнесы. Онъ давно понималъ всѣ планы и комбинаціи старой дѣвы, не терявшей еще надежды выйти замужъ, и заранѣе все предрасполагалъ въ свою пользу. Ему вдругъ понадобилось рассказать какой-то секретъ Марѣ Ивановнѣ, и онъ чуть не передъ самымъ носомъ взбѣшенной Агнесы увелъ ее въ самыя уединенныя аллеи сада.

Прошелъ часъ... и другой... и третій. Марья Ивановна съ Володей все не было. Агнеса въ безсильной ярости ходила по террасѣ, безжалостно обрывая съ кустовъ полураспустившіяся розы и топчя ихъ ногами. Время приближалось уже къ обѣду и мороженое было давно готово. Пріѣхалъ Полянский въ сумрачномъ настроеніи: съ поля онъ заѣзжалъ къ Пфейферу, въ надеждѣ занять у него денегъ для предстоящей уборки сѣна, но хитрый нѣмецъ отказалъ ему на-отрѣзъ, жалуюсь на плохія времена и на застой въ хлѣбной торговлѣ. Поэтому-то Левъ Егорычъ и былъ не въ духѣ. Пріѣхавъ, онъ выругалъ Гладкаго за то, что паниескія лошади ходили по ржамъ, общалъ всѣхъ

паниескихъ мужиковъ унечъ въ Сибирь и, мрачный, прошелъ на террасу. Тутъ онъ нѣсколько успокоился, рѣшивъ попросить опять у Фирсовой тысячи двѣ, и выкуривалъ уже десятую сигару, когда по ступенямъ террасы поднялась влюбленная чета. У вдовы глаза были заплаканы, и она усиленно обмахивала свое пылающее лицо великолѣпнымъ букетомъ изъ розъ и резеды, а лицо Володи имѣло свой обычно-спокойный, но съ отбѣнкомъ нѣкоторой торжественности, видъ.

Поднявшись на террасу, Фирсова оставила руку Володи и, какъ юная институтка, подбѣжала къ Полянскому.

— Ахъ, Левъ Егорычъ! — прошептала она замирающимъ голосомъ, высовывая свое лицо въ букетъ. — Поздравьте меня... я невѣста... Владиміръ Антонычъ сейчасъ сдѣлалъ мнѣ предложеніе, и... я... со-гла-си-лась...

И она разрыдалась.

— Вотъ тебѣ и на! — воскликнулъ Полянский озадаченно, но сейчасъ же спохватился, сдѣлалъ веселое лицо и протянулъ обѣ руки — одну Володѣ, другую Марѣ Ивановнѣ.

— Нну... очень радъ. Поздравляю... Поздравляю! Эй, люди! Шампанскаго!

А самъ думалъ: — „Вотъ, чортъ возьми, нехстати! Теперь вѣдь не дастъ, старая вѣдьма! Ахъ, дуракъ-Егорка, прозѣвалъ!“ ...

На террасу выплыла мамаша Полянская, и добродушно поздравила чету. За нею явилась и Агнеса. Все лицо ея покрылось багровыми пятнами, и когда она цѣловала „тетушку“ — со стороны казалось, что она хочетъ ее укусить. Володѣ она протянула свою холодную сухую ручку, и въ изящныхъ французскихъ выраженіяхъ пожелала ему счастья. Но въ тонѣ ея чулась иронія, а голосокъ дрожалъ и обрывался... Ея послѣднія надежды на личное счастье были разбиты и разбѣяны въ прахъ.

Володя сдержанно улыбался и вѣжливо отвѣчалъ на поздравленія, а Фирсова бросала на него долгіе нѣжные взоры и, закрываясь букетомъ, снова принималась истерически рыдать.

XVII.

Вѣсть о помолвкѣ Володи и миллионерши Фирсовой быстро разнеслась по всему округу и породила множество самыхъ разнообразныхъ толковъ. И тутъ обнаружилось странное явленіе, свидѣтельствовавшее о нѣкоторой путаницѣ въ нравственныхъ понятіяхъ обитателей Тюрмы. Всѣ въ одинъ голосъ восхищались

Володей, хвалили его за ловкость и завидовали его удачѣ, и наоборотъ — надъ Фирсовой всѣ смѣялись, называли ее „старой душой“ и ругали ее.

Антонъ Кирилычъ, когда Володя объявилъ ему, что женится на Марьѣ Ивановнѣ, самъ на нѣкоторое время какъ бы помолодѣлъ. Ему вспомнились прежнія блаженные времена, когда онъ служилъ у князя Почечуева и повелѣвалъ сотнями безотвѣтныхъ людей. Сгорбленный станъ его распрямился; стариковскій, полупотухшій взоръ ожилъ и заблестѣлъ былымъ огнемъ, голова поднялась гордо и повелительно. Онъ сталъ еще ворчливѣе и требовательнѣе въ отношеніи своихъ домашнихъ, а батюшка, пришедшій къ нему поздравить его съ радостью, встрѣтилъ такой приемъ, что долго послѣ того отплевывался, жалуясь Зюзя.

— Ишь ты, поднялъ опять носъ, старый шутъ! — говорилъ онъ, въ волненіи шагая по комнатѣ. — Прихожу къ нему, по-сосѣдски, изъяснить свое удовольствіе, а онъ мнѣ даже руки не подаетъ... „Поздравляю, говорю, Антонъ Кирилычъ, — очень радъ, что все такъ устроилось“... — А онъ что же, какъ ты думаешь, Зюзя? — „Чего вамъ, говоритъ, радоваться? Вѣдь не вы женитесь на ней, а мой сынъ?“ — „Какъ же, говорю, Антонъ Кирилычъ, я по знакомству“... — А онъ опять: — „Что вы усердствуете? Или рассчитываете гонораръ въ будущемъ за поздравленія-то получить?“ — Да еще смѣется! Каково, Зюзя? Я такъ и обомлѣлъ, — не помню, какъ и вышелъ отсюда...

— Вѣдь говорилъ — не ходите! — укорялъ его Зюзя. — И охота вамъ къ этимъ свиньямъ бѣсноватымъ ходить? Не нужно было. А теперь сами виноваты...

Зато Ольга Ивановна отнеслась къ будущей женьбѣ сына на богатѣй совершенно по-бабьи. Сначала она запричитала, завывала, приговаривая: „родненькій мой, да какъ же ты съ эдакой старой, да страшной, жить будешь?“ Потомъ спросила, гдѣ будутъ вѣнчаться, — и успокоилась, неустанно рассказывая сосѣдкамъ о богатствѣ своей будущей неvěстки, о ея великолѣпныхъ имѣніяхъ, домахъ, платьяхъ и брилліантахъ, которыхъ она даже и въ глаза никогда не видала.

Нельзя также умолчать о томъ, какъ подѣйствовала эта новость на Щепоткина. Прежде всего онъ напился пьянъ и страшно исколотилъ свою сожительницу, Катюку; потомъ велѣлъ запречь тройку и уватилъ въ городъ. Цѣлую недѣлю онъ пропадалъ тамъ, такъ что на заводѣ стали уже за него опасаться, — не случилось ли съ нимъ чего-нибудь дурного? Но онъ вернулся изъ города цѣлъ и невредимъ, только, къ великому соблазну всего

оболотка, не одинъ... Съ нимъ прѣхала какая-то бойкая, вертлявая, нарумяненная дѣвица, — какъ оказалось потомъ, арфистка, подвизавшаяся въ одномъ увеселительномъ приволжскомъ саду. Щепоткинъ поселилъ ее съ собою во флигелъ, на мѣсто Катьки, изгнанной въ людскую, нашилъ ей великолѣпныхъ нарядовъ, шелковыхъ сарафановъ, бархатныхъ душегрѣекъ и строго-на-строго приказалъ дворнѣ величать ее „хозяйюшкой“. Счастливыя времена настали для бывшей трактирной пѣвицы. Въ будни она съ утра до вечера спала и ѣла, по праздникамъ наряжалась и на лихой тройкѣ, въ лентахъ и бубенчикахъ, выѣзжала въ церковь, и скоро совершенно забрала въ руки строитиваго Астафія Ивановича. Онъ пересталъ пить, началъ прилично одѣваться, привелъ въ порядокъ свой „хлѣвъ“ и наглядѣться не могъ на свою „хозяйюшку“, не зная чѣмъ ей угодить. Иногда онъ, по ея желанію, даже наряжался кучеромъ и, собственноручно управляя тройкой, каталъ пѣвицу по окрестностямъ... А она за это по вечерамъ тѣшила его забубенными напѣвами, подъ аккомпаниментъ великолѣпной гармоникки, на которой она артистически играла. Такимъ образомъ, Щепоткинъ совершенно примирился съ потерей миллионной невѣсты и вполне былъ доволенъ своей настоящей участію.

— Эхъ вы, соколики! — приговаривалъ онъ, проносясь на тройкѣ мимо панинской усадьбы. — Эхъ вы, не робѣйте! На нашъ вѣкъ денегъ хватить... Охъ, хватить! Не робѣй, Любашка, хватить!..

Онъ приподнимался на облучкѣ, помахивая кнутомъ надъ лошадьми; лошади вытягивались въ струнку, едва касаясь ногами земли; яркія ленты вились въ воздухѣ, захлебывался колокольчикъ и „Любашка“ заливалась громкимъ смѣхомъ. А Щепоткинъ все приговаривалъ: — Ой, хватить, соколики! Охъ, голубчики, хватить...

Мимо панинской усадьбы Щепоткинъ ѣздилъ нарочно: онъ дѣлалъ это въ пику вдовѣ, промѣнявшей его на „голомогата молокососа“. И дѣйствительно, — его выходы производили впечатлѣніе въ „замкѣ Монтъ-Реаль“. Обыкновенно это происходило во время вечерняго чая, за которымъ собиралось все семейство Полянскихъ, не исключая и Володи, который безотлучно сидѣлъ на Паникѣ. Какъ только со стороны завода раздавались прерывистые звуки колокольчика и дикое гиканье, Полянскій приваивалъ принести себѣ подзорную трубу и, облокотившись на перила террасы, принимался слѣдить за бѣшеной скачкой Щепоткина. Вслѣдъ за нимъ поднималась и вдова. Въ концѣ концовъ,

за столомъ оставались только Агнеса и Володя. Агнеса презрительно сжимала свои тонкія губы и опускала глаза въ чашку, а Володя равнодушно курилъ папиросу и перелистывалъ газету.

— Такъ и жарить, такъ и жарить! — говорилъ Полянский, когда тройка исчезала за горою въ облакъ пыли. — Эдакъ онъ и лошадей когда-нибудь загонить, — право! Вотъ чудакъ-то!

— Сумасшедшій! — восклицала Марья Ивановна со смѣхомъ. Въ душѣ она была польщена такимъ поведеніемъ Щепоткина; до нея доносились слухи о его пьянствѣ, и въ простотѣ сердечной она приписывала это не тому, что Щепоткинъ горюетъ о ея приданомъ, а тому, что онъ непремѣнно былъ въ нее влюбленъ и — бѣдный! — очень огорченъ ея помолвкою съ другимъ...

— Да, настоящій Петръ Петровичъ Каратаевъ, — вставлялъ Жоржъ.

— Самодуръ! — прибавлялъ Володя иронически и заговаривать о другомъ.

Ему теперь некогда было думать о какомъ-нибудь Щепоткинѣ: онъ былъ всецѣло погруженъ въ свои мысли о будущемъ устройствѣ. Въ первыя минуты, получивъ согласіе Фирсовой быть его женой, Володя совсѣмъ закружился... Тысячи плановъ заронились въ его возбужденномъ удачею мозгу... Но мало-по-малу онъ пришелъ въ себя и съ свойственной ему холодной расчетливостью сталъ спокойно обдумывать свои будущія дѣйствія. Онъ избѣгалъ заглядывать далеко, и шагъ за шагомъ подвигался впередъ. Прежде всего рѣшенъ былъ вопросъ о свадьбѣ. Ее было рѣшено сыграть послѣ Петровокъ, и, по возможности, самымъ скромнымъ образомъ, безъ блестящихъ баловъ, фейерверковъ и гуляній, какъ мечталъ Поленскій, надѣявшійся этой помпой оживить свою умирающую усадьбу. Стѣснили такъ потому, что Володѣ въ концѣ августа предстояло являться въ Петербургъ; іюль же они съ Марьей Ивановной хотѣли, на заграничный манеръ, провести въ какомъ-нибудь райскомъ уголку Италіи или Швейцаріи. Затѣмъ... Но о дальнѣйшемъ Володя пока умалчивалъ; извѣстно было только то, что онъ намѣренъ былъ непремѣнно служить, несмотря на огромное богатство своей будущей супруги.

— Затѣмъ вамъ служить? — вкрадчиво спрашивалъ его Полянский, надѣявшійся, что Володя проговорится какъ-нибудь о своихъ планахъ на будущее. — Что вамъ за охота теперь становиться въ зависимость, когда вы можете повести совершенно самостоятельный образъ жизни? Денегъ, слава Богу, будетъ довольно...

— Это деньги не мои, а Марьи Ивановны, — холодно возра-

жалъ Володя. — Я вовсе не намѣренъ жить на чужой счетъ; я къ этому не привыкъ. Марья Ивановна останется при своемъ, а я при своемъ...

„Охъ ты бестія!“ — думалъ Полянский, и ему иной разъ становилось даже неловко съ глазу на глазъ съ этимъ юношей, котораго онъ зналъ чуть не съ пеленокъ, и который теперь опередилъ ихъ всѣхъ, стариковъ, своею житейской опытностью, дѣловитостью и какою-то желѣзною настойчивостью.

Иногда при этихъ разговорахъ присутствовала Марья Ивановна. Сначала она очень мило обижалась, когда Володя съ благородной гордостью говорилъ при ней о своей денежной независимости, но съ тѣхъ поръ, какъ женихъ, наединѣ, съ холодной любезностью попросилъ ее не вмѣшиваться въ его дѣла — она больше не принимала участія въ разговорахъ Володи съ Полянскимъ, и только думала, любуясь на красивое лицо жениха: — „Милый, милый!“... — Вообще Володя приобрѣлъ надъ нею такое вліяніе, что Марья Ивановна по временамъ стала даже его побаиваться... Такъ, она, по его желанію, перестала носить пестрые цвѣта, перестала пудриться и подводить брови съ тѣхъ поръ, какъ онъ сказалъ при ней, что терпѣть не можетъ „раскрашенныхъ женщинъ“, — однимъ словомъ, вполне подчинилась ему. Его настроеніе отражалось немедленно и на ней; стоило только Володѣ нахмурить брови или сдѣлать недовольную мину, — Марья Ивановна тотчасъ же раскисала и начинала мучиться въ душѣ: не обидѣлся ли онъ на нее? Не сдѣлала ли она ему что-нибудь непріятное? и т. д., и т. д. Но чуть только Володя улыбнется, — и Марья Ивановна просіяетъ, начнетъ шалить, какъ дѣвочка, смѣется, прыгаетъ...

Впрочемъ Володя былъ съ нею неизмѣнно любезенъ и внимателенъ. На Панику онъ ѣздилъ обязательно каждый день и каждый разъ привозилъ невѣстѣ подарки. То букетъ цвѣтовъ, то фруктовъ, то какую-нибудь женскую бездѣлушку. Для этихъ подарковъ Антонъ Кирилычъ даже тронулъ свои сбереженія... но что такое были эти несчастные гроши въ сравненіи съ будущимъ богатствомъ его сына? Антону Кирилычу на-яву грезились золотыя горы. Онъ многого ждалъ отъ сына, — и вотъ ожиданія его сбылись. И старикъ еще выше поднималъ свою сѣдую голову, еще нѣжнѣе посматривалъ на Володю, котораго теперь положительно боготворилъ.

— Что, старуха? — говорилъ онъ каждый вечеръ, ложась спать. — Каковъ у насъ Володька-то? Думала ли ты, старая дура, что онъ будетъ миллионеромъ?

— Слава тебѣ, Господи! — отвѣчала ему Ольга Ивановна.

Антонъ Кирилычъ молился, раздѣвался и, потушивъ огонь, долго лежалъ, улыбаясь счастливою улыбкой. Такъ онъ и засыпалъ, улыбаясь; будущее представлялось ему однимъ сплошнымъ праздникомъ.

XVIII.

Одна Лена не принимала участія въ общей семейной радости. Она рѣшительно не сочувствовала женитьбѣ брата. Раньше ей все еще не вѣрилось, что Володя рѣшится на такую подлость — такъ называла она женитьбу брата на Фирсовой, — но когда все дѣло было уже кончено, Лена, во что бы то ни стало, рѣшила разстроить этотъ бракъ. Ей было жаль добрую, глуповатую Марью Ивановну, надъ которой всѣ смѣялись, но которую никто не хотѣлъ предостеречь отъ опрометчиваго шага. Зная Володю и ежедневно слыша вокругъ себя разговоры на тему о миллионѣ, Лена предвидѣла, что бѣдной женщинѣ плохо придется въ замужествѣ съ Володей, и хотѣла ее спасти. Какъ это сдѣлать, — она еще не знала и, сидя въ своей комнатѣ, обдумывала этотъ сложный вопросъ. Ходила она къ Демиду; но старикъ объявилъ ей, что это дѣло божье, что она не имѣетъ права вмѣшиваться въ него, что лучше оставить все такъ, какъ есть, и Лена ушла отъ него недовольная, съ тяжелымъ чувствомъ досады въ душѣ.

„Нѣтъ, Демидъ совсѣмъ отвыкъ отъ жизни, — думала она. — Конечно, онъ во всемъ поступаетъ по евангелію и не велитъ сопротивляться злу тоже по евангельскому ученію. Но это хорошо ему говорить, когда онъ сидитъ въ своей землянкѣ и не видитъ, что около него дѣлается. А когда тутъ, на глазахъ, дѣлаютъ подлости, обижаютъ людей, — какъ утерпѣть, чтобы не вмѣшаться? Какъ не заступиться за того, кого бьютъ? Нѣтъ, не послушаюсь я Демиду! Не могу я видѣть равнодушно, какъ мой родной братъ дѣлаетъ подлости“...

Сначала у Лены мелькнула мысль — обратиться къ самому Володѣ и отговорить его отъ свадьбы. Но, подумавъ, она рѣшила, что ничего изъ этого не выйдетъ, что Володя надсмѣется надъ нею, какъ надъ дѣвчонкой, пожалуй скажетъ отцу, предупредитъ Марью Ивановну, и тогда все пропало. — Ахъ, еслибы можно было поговорить съ дядей объ этомъ? Но у него свои заботы, свои дѣла, и нечего къ нему обращаться...

Цѣлую недѣлю Лена мучилась и тосковала, придумывая,

какъ бы ей спасти наивную вдовицу отъ разставленныхъ ей сѣтей. Но бѣдная дѣвочка сама была настолько наивна, что не могла придумать ни одного дѣйствительнаго средства, и воображала одной только своей задушевной дѣтской искренностью разбить непроницаемую стѣну человѣческаго самообольщенія, человѣческой глупости и хитрости.

Подъ конецъ, послѣ долгихъ безсонныхъ ночей, Леночка рѣшилась написать Фирсовой письмо. Съ жаромъ, почти со слезами, она исписывала цѣлыя страницы, рвала и опять начинала писать. Но взволнованныя мысли никакъ не хотѣли стройно улечься на бумагѣ. Словно рѣзвые птички, выскакивали онѣ изъ-подъ пера и въ беспорядкѣ разсыпались въ разные стороны.

Послѣ нѣсколькихъ часовъ работы, среди ливня слезъ, Лена, наконецъ, написала слѣдующее:

„Дорогая Марья Ивановна! Вы называли меня сестрой своей. и я, какъ сестра, хочу предостеречь васъ отъ страшнаго несчастія. Вы такъ добры и великодушны, что не подозреваете, какіе мелкіе и подлые люди бываютъ на свѣтѣ. Они лстятъ вамъ въ глаза, а за глаза смѣются и бранятъ васъ. Одинъ изъ такихъ людей—мой братъ. Мнѣ стыдно и больно говорить это, но, жалѣя и любя васъ, я рѣшилась на это. Марья Ивановна, не выходите замужъ за Володю, откажите ему! Онъ—низкій человѣкъ, онъ не любитъ васъ и женится потому, что вы богаты. Еслибы вы знали, что онъ говоритъ, когда васъ нѣтъ съ нимъ! Онъ имѣетъ въ виду только одно ваше богатство. Простите меня, что я, глупая дѣвочка, дѣлаю вамъ совѣты, но я не могу иначе поступить. Я мучаюсь, когда вижу, что люди дѣлаютъ подлости, и никто не мѣшаетъ этому. Мнѣ васъ жаль; вы будете очень несчастны, когда выйдете замужъ за Володю. Онъ любитъ только одного себя.

Ваша Елена“.

Написавъ и запечатавъ записку, Елена вручила ее кучеру Терехѣ, который обыкновенно возилъ Володю къ Полянскимъ, и взяла съ него чуть не клятвенное обѣщаніе отдать ее прямо въ руки Марьѣ Ивановнѣ и непременно потихоньку ото всѣхъ.

— Хорошо-съ! Безпремѣнно-съ! Будьте покойны-съ!—твердилъ Тереха, потряхивая самоуверенно своей мѣдной серьгой, вдѣтой въ правое ухо „отъ глаза“.

— Да нѣтъ, ты забудешь? Ей-Богу, забудешь!

— Что вы-съ!—обиженно возражалъ Тереха.—Да развѣ я

не понимаю? Да провалиться мнѣ сквозь землю, ежели я забуду...

Эти увѣренія, подкрѣпленныя божбой, подѣйствовали на Леночку. Она отдала записку кучеру и успокоилась.

Но легкомысленный парень, выѣхавъ за ворота, немедленно забылъ не только объ обѣщаніи сохранять въ великой тайнѣ данное ему порученіе, но даже и о самомъ порученіи. Только возвращаясь изъ Паники, онъ вспомнилъ о письмѣ и крикнулъ: — Э-эхъ!

— Ты что? — спросилъ Володя.

— Да вотъ барышня приказывали письмецо передать, а я запаматовалъ.

— Какое письмецо?

— Да, вотъ, къ Марьѣ Ивановнѣ. Ужъ такъ-то просили, такъ просили, а я и позабылъ. Эка память дѣвичья!

Володей овладѣло неприятное волненіе. Онъ почувалъ что-то недоброе: недаромъ Лена, когда онъ сегодня утромъ уѣзжалъ, бросила на него такой странный, вызывающій взглядъ.

— Давай сюда, я его самъ завтра отдамъ, — сказалъ Володя.

Тереха отдалъ Леночкино посланіе, стоившее ей столько мученій и слезъ, и Володя немедленно распечаталъ его и прочелъ. Хорошо, что Тереха въ этотъ моментъ не оглядывался назадъ: иначе онъ испугался бы выраженія лица своего молодого барина. Оно все исказилось отъ неимовернаго бѣшенства, овладѣвшаго имъ. Онъ готовъ былъ крикнуть Терехѣ, чтобы тотъ бѣжалъ скорѣе, — ворваться въ домъ съ обличительнымъ документомъ въ рукахъ и избить Лену, какъ собачонку... У него даже въ глазахъ потемнѣло и духъ захватило...

— Дѣвчонка! — прошипѣлъ онъ съ злобой, комкая письмо. — Дрянь!.. Идіотка! А все этотъ пропившійся актеръ съ радикальнымъ образомъ мыслей... Подождите, я доберусь до васъ обоихъ... Радикалы-черти!..

Но мало-по-малу онъ припелъ въ себя и успокоился. Ему даже стало смѣшно, что онъ такъ разсердился. Очень нужно волноваться изъ-за этихъ идіотовъ. Эдакая дура, эта Ленка! Однако все-таки хорошо, что письмо не попало въ руки Марьѣ Ивановнѣ. Эти бабы — глупый и сантиментальный народъ... Конечно, онъ бы ее скоро успокоилъ, но все-таки неприятно... Скандаль!.. Нѣтъ, очень хорошо, что записка у него.

Онъ спряталъ письмо въ карманъ, предварительно еще перечитавъ его, и уже совершенно спокойно закурилъ папиросу.

Леночка, какъ только братъ прѣхалъ и вошелъ въ комнаты, бросилась въ конюшню, гдѣ Тереха распрягалъ лошадь.

— Ну что? Отдать?—тревожно спросила она.

— Отдать-сь, будьте покойны, — солгалъ Тереха, не желая огорчить барышню своимъ нерадѣніемъ.

— Самой отдать? Ну, чтѣ же она сказала?

— Ничего-сь; приказала кланяться и благодарить.

Лена, довольная, вернулась въ комнаты. За ужиномъ она нѣсколько разъ взглядывала на Володю, но встрѣчала его обычный, равнодушно-насмѣшливый взглядъ.

— Вѣрно, она еще ничего ему не сказала, — подумала Леночка. — А то онъ не былъ бы такой...

Она стала прислушиваться къ разговорамъ. Рѣчь шла на тему, сдѣлавшуюся излюбленной со времени Володиной помолвки, — о доходахъ съ имѣній будущей жены Володи и объ употребленіи этихъ доходовъ.

— Необходимо будетъ вамъ имѣть собственный домъ въ Петербургѣ, — говорилъ старикъ. — Жить по квартирамъ съ такимъ состояніемъ не стоитъ. Вы будете на виду; гораздо лучше свой домъ.

— Да, и кромѣ того домъ въ Петербургѣ—доходная вещь, — соглашался сынъ.

— А я думаю, Володя, намъ-то свой домъ продать, а? — продолжалъ старикъ заискивающимъ тономъ. — Вѣдь у нея три имѣнья; ты бы къ одному изъ нихъ-то меня и пристроилъ. Вѣдь я, когда у Почечуева, у князя, служилъ, дѣло свое хорошо зналъ. Всегда довольны оставались... А тутъ все-таки свой челоуѣкъ, лучше. И на чтѣ намъ тогда свой домъ? Только связа одна.

— Ну, это мы тогда посмотримъ, — уклончиво отвѣчалъ Володя, вообще плохо довѣрявшій административнымъ способностямъ своего отца. — А домъ здѣшній зачѣмъ продавать? Подождать надо. А то подумаютъ, — вотъ, не успѣлъ жениться, всѣхъ на шею женѣ посадилъ.

— Ну, ну, такъ, такъ! — поспѣшилъ согласиться Антонъ Кирилъчъ. — Ты лучше знаешь все; какъ хочешь, такъ и дѣлай. А я, Володя, вотъ чтѣ еще хотѣлъ тебѣ предложить: вѣдь Полянскіе у нея тысячъ до 20 уже забрали, — это неразсчетливо. Ты бы какъ-нибудь намекнулъ ей, чтобы она съ нихъ росписку взяла. А то вѣдь пропадутъ денежки ни за что, ни про что. Въ родѣ дячковскихъ. Они на отдачу-то плохи...

— Это послѣ все устроится. Деньги эти не пропадутъ.

— То-то. Да чтобы она впередъ имъ не давала, по родственному, безъ росписки. Она женщина расточительная...

„Фу ты, мерзость какая!—подумала Лена.—Все о деньгахъ, все о деньгахъ, какъ это противно! А о ней словно о вещи какой-нибудь разсуждаютъ. Господи, когда же это я уйду отсюда!“

И ей вдругъ такъ показались противны самодовольныя жующія лица отца, брата, матери, что она не вытерпѣла и, не дождавшись конца ужина, вышла изъ-за стола.

— Ты куда?—крикнулъ ей Антонъ Кирилычъ.

— Голова болитъ, не хочу ѣсть,—отрывисто отвѣчала Лена, не поворачиваясь.

— Экая невѣжа! могла хоть бы для приличія посидѣть,—напустился на нее отецъ. — Это что еще за порядки свои завела? Выходить изъ-за стола, когда всѣ сидятъ? Что здѣсь, свинной хлѣвъ, что ли? У меня чтобы въ другой разъ этого не было. Не хочешь ѣсть—и не садись. Никто не просить...

Лена не дослушала и вышла.

— Совсѣмъ дѣвка отъ рукъ отбилась,—обратился Антонъ Кирилычъ къ Володѣ. — Просто глядѣть на нее не могу. Косится на всѣхъ, молчитъ, дуется. Чего ей недостаетъ? не знаю. Хотъ бы дуракъ какой за нее посватался,—съ радостью бы отдалъ.

Володя ничего на это не сказалъ, только какъ-то загадочно усмѣхнулся, но послѣ ужина, когда со стола все было убрано и Антонъ Кирилычъ докуривалъ свою послѣднюю трубку передъ сномъ, Володя обратился къ нему съ серьезнымъ лицомъ.

— Папаша, останьтесь на минуту со мною; мнѣ нужно съ вами поговорить. Подождите, я затворю двери...

Володя тщательно заглянулъ за двери, на балконъ и, удостовѣрившись, что никого нѣтъ по близости, вернулся къ отцу.

— Вотъ видите, я хотѣлъ поговорить съ вами насчетъ Лены,—началъ онъ. —Вы вотъ замѣчаете, что характеръ ея съ каждымъ днемъ портится: она груба, безтактна и способна на самыя безумныя выходки... Но мнѣ кажется, что она заимствуетъ все это отъ другихъ. Она еще дѣвочка; съ ней, съ одной, можно бы еще сладить и повернуть ее по своему; но въ томъ-то и дѣло, что за спиной ея дѣйствуетъ другой, болѣе сильный и взрослый человекъ. Ну вотъ, я договорился; вы, я думаю, догадываетесь, на кого я намекаю...

— Діодоръ?—быстро спросилъ Антонъ Кирилычъ, усиленно пыхтя трубкой и начиная чувствовать приливъ гнѣва.

— Ну да, конечно,—пониживъ голосъ, продолжалъ Володя. — Разумѣется, это онъ. Я долженъ вамъ сказать, что онъ очень

вредный человек... и может повредить всем нам. Вот видите, я давно уже слѣжу за нимъ. Несмотря на то, что онъ уже, кажется, въ лѣтахъ солидныхъ,—эти слова Володя произнесъ насмѣшливо,—но продолжаетъ дѣйствовать какъ самый сумасбродный мальчишка. Онъ принадлежитъ къ числу людей, которые, какъ глупые бараны, стремятся лбомъ расшибить стѣну... Ну, и пусть бы себѣ расшибали,—я ничего противъ этого не имѣю,—но дѣло въ томъ, что они въ своемъ ослѣпленіи и другихъ тащатъ за собою въ пропасть, особенно такихъ дѣвочекъ, какъ наша Лена...

— Ахъ, негодай!—вырвалось у Антона Кирилыча.

— Позвольте, папаша,—строго остановилъ его Володя.—Горячиться тутъ совсѣмъ не нужно, надо дѣйствовать осмотрительно и осторожно. Выслушайте внимательно: Намъ, во что бы то ни стало, нужно удалить отъ себя Діодора Павлыча, и какъ можно скорѣе; иначе для всего нашего семейства могутъ выйти непріятности. Вы знаете, какое теперь безпокойное время. Не дагѣе, какъ вчера, въ Осиновкѣ, вы знаете, 30 верстъ отсюда, арестовали какихъ-то господъ съ книжками. Почему мы знаемъ, какъ бы и у насъ не случилось того же. Тогда вѣдь вся моя карьера испорчена.

— Я завтра же выгоню его вонъ!—проговорилъ Антонъ Кирилычъ, въ волненіи шагая по комнатѣ.—Компрометтировать мое семейство—не позволю!

— Ахъ нѣтъ, папаша!—съ нѣкоторымъ раздраженіемъ вымолвилъ Володя.—Это опять выйдетъ шумъ, скандалъ. Да онъ можетъ и не пойти; эти господа—порядочные нахалы. Не лучше ли вамъ, чтобы заранѣе оградить себя отъ подозрѣній, сдѣлать заявление о Діодорѣ Павлычѣ, какъ о человекѣ крайне вредномъ. Заявите о его подозрительномъ поведеніи, о его знакомствахъ съ крестьянами... Тогда его уберутъ отъ насъ безъ шума, а наше семейство останется внѣ всякихъ подозрѣній... Впрочемъ, конечно, какъ хотите. Я васъ предупредилъ, остальное ваше дѣло, какъ хозяина дома и главы семейства.

Антонъ Кирилычъ успокоился и уже внимательно слушалъ сына. Долго они говорили и разошлись далеко за полночь.

XIX.

Съ тѣхъ поръ какъ Фирсова дала Володѣ согласіе быть его женою, страшный инстинктъ самосохраненія и безумная жажда счастья овладѣли Володею. Будучи такъ близокъ къ осуществленію самыхъ завѣтныхъ своихъ мечтаній, онъ сдѣлался страшно боязливъ и подозрителенъ въ отношеніи ко всѣмъ людямъ. Ему казалось, что всѣ завидуютъ ему и каждую минуту готовы похитить у него сокровище. И онъ ревностно охранялъ его отъ всѣхъ. Когда же въ руки ему попала записка Лены, и онъ во-очію убѣдился въ томъ, что дѣйствительно его счастію можетъ угрожать опасность, онъ всей душою возненавидѣлъ сестру, а вмѣстѣ съ нею и дядю, котораго считалъ ея прямымъ совѣтникомъ и подстрекателемъ, и рѣшился во что бы то ни стало устроить съ своей дороги этихъ людей, такъ непрощенно вмѣшавшихся въ его личныя дѣла.

Поговоривъ съ отцомъ, онъ нѣсколько успокоился, но, придя въ свою комнату и оставшись наединѣ съ самимъ собою, Володя снова ощутилъ въ душѣ своей тревогу. Онъ раздѣлся-было и легъ, но ему не спалось. Было душно, и сумракъ лѣтней ночи, со всѣми ея странными переливами свѣта, его раздражалъ. Онъ снова всталъ, зажегъ лампу и принялся ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Волненіе, пережитое имъ сегодня по поводу Леночкиной записки, разстроило его нервы и породило бессонницу. Странныя мысли рождались въ его головѣ. То ему казалось, что онъ глупо сдѣлалъ, высказавъ отцу свои мысли, и онъ начиналъ раскаиваться въ этомъ. До сихъ поръ онъ никогда не дѣлился съ другими своими соображеніями, и всегда выходило хорошо. Зачѣмъ же онъ сдѣлалъ это теперь?.. То онъ начиналъ желать, чтобы скорѣе насталъ день... Немедленно же запречь лошадей и летѣть къ Фирсовой... То вдругъ страхъ его совершенно исчезалъ и смѣнялся радостной тревогой. Лучезарныя картины будущаго мелькали въ его воображеніи; сердце его билось усиленно; хотѣлось, чтобы какъ можно скорѣе прошло это время томительнаго ожиданія. „Ахъ, скорѣе бы сыграть свадьбу и уѣхать отсюда!“ — думалъ онъ и, улыбаясь, представлялъ себѣ, какъ онъ будетъ мчаться на курьерскомъ поѣздѣ, окруженный всѣми удобствами, какъ въ окнахъ вагона будутъ мелькать предъ нимъ чудные виды заграничной природы, какъ прислуга отелей будетъ склоняться предъ нимъ, богатымъ русскимъ бариниомъ... „Ахъ, скорѣе бы, скорѣе!“ — повторялъ онъ, и какія-нибудь двѣ-три

недѣли, отдѣлявшія его отъ предстоявшаго блаженства, казались ему длинными и безконечными. И какъ долго тянется эта ночь!

Онъ быстро подошелъ къ окну и нетерпѣливо распахнулъ его. Темныя узорчатыя вѣтви деревъ съ таинственнымъ шопотомъ заглянули въ его комнату; сквозь нихъ искрились звѣзды. Ночь была безмолвно-торжественна; даже собаки не лаяли. Все село спало мертвымъ сномъ. Володя высунулъ голову и оглянулся по сторонамъ. Узкая полоса свѣта лежала влѣво отъ него, на дорожкѣ садика. „Это у дяди“, подумалъ Володя, и ему захотѣлось пойти посмотрѣть, что онъ дѣлаетъ. Тихо уперся онъ руками въ подоконникъ и спрыгнулъ въ садъ. Пахучая влажность ночи охватила его. На травѣ, на деревьяхъ лежала роса; весь садикъ былъ наполненъ ея серебристой пылью. И тутъ торжественное молчаніе ночи показалось Володѣ еще болѣе торжественнымъ. Стараясь ступать какъ можно тише, Володя подошелъ къ окну дядиной комнаты и остановился въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него. Тутъ ему все было хорошо видно. Лампа, подъ матовымъ абажуромъ, ярко освѣщала комнату и отбрасывала большой конусъ свѣта въ садъ. Дядя лежалъ на диванѣ и читалъ книгу; шуршаніе листовъ явственно доносилось до Володи. Володя узналъ эту книгу въ красномъ переплетѣ,—это былъ Шекспиръ. Лицо Діодора было сповойно и внимательно. Изрѣдка онъ останавливался на нѣкоторыхъ мѣстахъ и вполголоса ихъ повторялъ, дѣлая легкіе жесты свободною рукою. „Актеръ!“—подумалъ Володя, и вдругъ его кольнуло какое-то непріятное чувство. Эта безматерная тишина, окружавшая его, это привѣтливое сіяніе безчисленныхъ звѣздъ, наконецъ эта мирная картина—подѣйствовали умиротворяющимъ образомъ на его взбаламученную житейскими разсчетами душу. Все это такъ далеко стояло отъ него, всецѣло поглощенного своею личною жизнью; все это тоже жило, трепетало, дышало, а онъ никогда не думалъ объ этомъ. Ему всегда было только до себя, а остальное его не интересовало. И Володя съ какою-то жадною внимательностью оглядѣлся вокругъ себя, взглянулъ на трепещущія росистыя деревья, на звѣзды, ласково мерцающія въ вышинѣ, и опять перевелъ глаза на красивое, спокойное лицо Діодора. Въ эту минуту дядя опустилъ книгу на столъ и задумался. О чемъ онъ думаетъ? Носятся ли предъ нимъ величавые шекспировскіе образы, или тишина ночи навѣяла на него тоже грустное раздумье о собственной жизни?

Тутъ Володѣ снова стало неловко и непріятно. Ему во всѣхъ деталяхъ вспомнился сегоднешній разговоръ съ отцомъ, по поводу дяди. Подозрѣваетъ ли Діодоръ, что тутъ, рядомъ съ нимъ, за

стѣною, подъ родной кровлей, замышляютъ противъ него недоброе? Вѣдь это нехорошо, что они съ отцомъ сегодня придумали. Исподтишка, изъ-за угла насолить человѣку... Володя вдругъ весь вспыхнулъ въ темнотѣ ночи. Да, это сѣверно, но не былъ ли онъ вынужденъ поступить такъ? А противъ него развѣ не дѣйствовали изъ-за угла? Развѣ не вмѣшались въ его дѣла нагло и безстыдно? Нѣтъ, онъ правъ, тысячу разъ правъ. Онъ защищался, когда на него нападали, и если поступокъ его некрасивъ, то вѣдь онъ былъ вызванъ такимъ же некрасивымъ поступкомъ со стороны другихъ. Нѣтъ, ужъ если вражда, такъ вражда, и нечего тутъ сантиментальничать, когда на карту поставлена вся его будущность...

Огонь въ дядиной комнатѣ потухъ. Володя еще разъ прошелся по саду и тѣмъ же порядкомъ вернулся къ себѣ. Небосвѣтлѣло; на селѣ запѣли пѣтухи. Голова Володи теперь была совершенно свѣжа; онъ чувствовалъ въ себѣ бодрость и силу. Отъ сомнѣній и недавняго волненія не оставалось и слѣда. Володя спокойно раздѣлся, легъ и заснулъ, уже не думая больше о будущемъ.

На другой день онъ всталъ поздно, но веселый, оживленный и бодрый. Напившись чаю, онъ приказалъ закладывать лошадей, а самъ пошелъ пройтись въ палисадникъ. День былъ немножко пасмурный, но тихій, прохладный. Проходя мимо дядина окна, Володя вспомнилъ свои ночныя тревоги и усмѣхнулся. „Какъ-бессонница разстроиваетъ нервы!“ — подумалъ онъ и, посвистывая, вернулся домой.

На дорогѣ онъ столкнулся лицомъ въ лицу съ дядей. Оба бросили другъ на друга быстрый враждебный взглядъ и, не кланяясь, разошлись.

Подали лошадей. Володя наскоро простился съ Антономъ Кирилlichemъ, который глубокомысленно писалъ что-то въ своемъ кабинетѣ, и поѣхалъ на Панику. И цѣлый день онъ былъ необычайно веселъ и оживленъ. Льву Егорычу разсказалъ въ его кабинетѣ два пикантныхъ петербургскихъ анекдота, къ Агнесѣ относился съ почтительной внимательностью, а съ невѣстой былъ такъ нѣженъ, что Марья Ивановна почувствовала себя чуть не на седьмомъ небѣ.

Прошло нѣсколько дней. Въ домѣ управителя царяла все та же натянутость и томительная скука. Володя, по большей части, пребывалъ на Паникѣ; Діодоръ тоже рѣдко показывался въ домѣ, или уходя въ лѣсъ, или просиживая у батюшки. Антонъ Кири-

лечь раскладывалъ свой неизмѣнный пасьянсъ—Наполеонъ, наполняя свое одиночество мечтами о будущемъ богатомъ житіѣ, а Ольга Ивановна то спала, то возилась съ поросятами и индюками, которыхъ развела безчисленное множество. Каждый сидѣлъ въ своемъ углу и занятъ былъ собственнымъ дѣломъ.

Всѣ эти дни Лена провела въ безпокойствѣ. Она все ждала результатовъ своего поступка. Но Володя былъ по прежнему спокоенъ и самоувѣренъ, и Лена стала сомнѣваться—дошло ли ея письмо по адресу? Нѣсколько разъ она принималась допрашивать Терентія, отдалъ ли онъ письмо? И каждый разъ получала неизмѣнный отвѣтъ: „будьте покойны!“—„Нѣтъ, что-то не то!“—думала Лена.—Неужели она не обратила никакого вниманія? Не можетъ быть! Вѣрно, Володя замѣтилъ у нея письмо раньше, чѣмъ она прочла, и какъ-нибудь уничтожилъ его. Ахъ, что бы ей пріѣхать сюда самой, я бы все ей рассказала! Гдѣ бы ее увидѣть? Если она будетъ въ воскресенье въ церкви, непременно постараюсь съ ней поговорить, и тогда все узнаю“...

И Лена съ нетерпѣніемъ стала ждать воскресенья.

Наступило воскресенье. Леночка, одѣтая по праздничному, стояла у палисадника, дожидаясь, когда ударятъ къ обѣднѣ. Сердце ея усиленно билось, но не оттого, что ей предстояло неприятное объясненіе, а отъ боязни, что Марья Ивановна не пріѣдетъ. И она съ безпокойствомъ всматривалась въ ту сторону, откуда должна была пріѣхать Фирсова.

Вдругъ все лицо ея облилось яркимъ румянцемъ и сердце замерло. Изъ калитки вышелъ Діодоръ и, въ свою очередь, сильно смѣшался, увидѣвъ Лену. Онъ хотѣлъ-было пройти мимо, но потомъ раздумалъ и остановился.

— Куда это ты разрядилась?—спросилъ онъ, но, несмотря на такой обыкновенный вопросъ, голосъ его дрожалъ.

Съ того самаго рокового дня, когда имъ показалось, что они понимаютъ другъ друга, они ни разу не разговаривали.

— Къ обѣднѣ,—отвѣчала Лена тихо, и голосъ ея тоже дрожалъ.

И оба замолчали, взволнованные стоя другъ противъ друга. Лена сломала вѣтку акаціи и судорожно ошипывала ее, разбрасывая листья кругомъ, а Діодоръ на мелкіе кусочки ломалъ въ рукахъ какую-то палочку.

„Сказать или не сказать?—неотступно вертѣлось въ его головѣ.—Сказать или нѣтъ? Нѣтъ, скажу, это слишкомъ жестоко... Скажу“...

Онъ осмотрѣлся кругомъ—и весь вспыхнулъ. У окна стоялъ

Володя и, язвительно улыбаясь, глядѣлъ на нихъ. Діодоръ понялъ этотъ взглядъ.

— Леночка, — шепнулъ онъ торопливо, перегибаясь черезъ ограду. — Приходи нынче послѣ ужина въ палисадникъ; мнѣ нужно тебѣ кое-что сказать. А теперь уходи скорѣе отсюда...

Лена отошла, а Діодоръ рѣшительно подошелъ къ окну.

— Вы чего улыбаетесь? — спросилъ онъ Володю, едва сдерживаясь отъ гнѣва.

— Ничего. Любовался живой картиной: Фаустъ и Маргарита, — спокойно отвѣчалъ Володя, продолжая улыбаться.

— Чтѣ вы хотите этимъ сказать?

— Ровно ничего. Группа была очень красивая, и я не безъ удовольствія смотрѣлъ на нее. Особенно хороши были вы; къ вамъ очень идетъ роль философа-соблазнительа...

— Владиміръ Антонычъ! Вы забываетесь... — глухо проговорилъ Діодоръ.

— Я? — съ удивленіемъ спросилъ Володя. — Нисколько! Напротивъ, это вы, увлекшись вашей ролью, забыли, кажется, что моя сестра — не Маргарита, и что я — не Валентинъ. Если вамъ доставляетъ удовольствіе разыгрывать изъ себя возрожденнаго Фауста, то, предупреждаю васъ, я вовсе не намѣренъ фигурировать въ жалкой роли обманутаго брата...

Діодоръ поблѣднѣлъ и стиснулъ зубы.

— Смотрите! — вымолвилъ онъ съ угрозой. — Вы мнѣ заплатите за это оскорбленіе...

— Посмотримъ! — хладнокровно произнесъ Володя, закуривая папиросу.

Оба обмѣнялись угрожающими взглядами и разошлись.

„Боже, до чего я дожилъ! — думалъ Діодоръ, быстро шагая по улицѣ. — Дерзкій мальчишка осмѣливается бросать мнѣ въ лицо грязью, и я долженъ молчать, потому что дѣйствительно во всей этой исторіи играю самую несчастную роль... Да, я Фаустъ, — онъ правъ. Но какой жалкій Фаустъ! Но скоро все это кончится... Пора перестать быть игрушкой судьбы. Довольно“...

А Володя въ это время стоялъ передъ зеркаломъ и, расчесывая свои великолѣпные волосы, самодовольно улыбался. „Славно я отдѣлалъ васъ, милѣйшій дядюшка! — размышлялъ онъ. — Бѣдный рыцарь Печальнаго Образа, какъ вы растерялись! Какъ вы блѣднѣли и краснѣли, храбрый защитникъ всѣхъ слабыхъ и угнетенныхъ! Куда дѣвался вашъ импонирующий видъ, вашъ заносчивый тонъ обличительнаго проповѣдника!.. Да, не повезло нашему

непризнанному артисту; всё его художества вывели на свѣжую воду“...

Торжественный ударъ колокола прервалъ его игривыя мысли. Володя надѣлъ фуражку, еще разъ глянулъ въ зеркало и тихонько пошелъ въ церковь.

Обѣдня уже началась; церковь была полна народомъ. Пестрое море головъ волновалось у подножія алтаря, откуда съ какою-то таинственностью раздавались торжественныя возгласы о. Пареена. Но молитвенное настроеніе толпы вскорѣ было нарушено вновь прибывшими въ церковь богомольцами. Сначала, на своей взмыленной тройкѣ, убранной лентами и бубенцами, вихремъ принеся Щеноткина и, расталкивая толпу, ввелъ въ церковь разряженную въ пухъ и прахъ Любашу. Онъ былъ одѣтъ въ новую суконную поддевку и шелковую расшитую рубашу, и имѣлъ гордый и торжественный видъ; а Любаша все улыбалась и охорашивалась, шумя своимъ тяжелымъ шелковымъ платьемъ и горделиво, вздергивая головою, на которой возвышалась роскошная, украшенная яркими перьями и цвѣтами, модная шляпка. Потомъ пріѣхала Фирсова, въ сопровожденіи Льва Егорыча, и скромно помѣстилась въ лѣвомъ придѣлѣ. Она была одѣта въ темное кружевное платье и испанскую мантилью, приколотую на плечѣ темнопунцовою розой. Нарядъ этотъ къ ней очень шелъ, и она не безъ удовольствія посматривала вокругъ. Настроеніе ея было самое радужное. День былъ прекрасный, одѣта она была къ лицу, всё на нее смотрѣли, красавецъ-женихъ улыбнулся ей издали — и Марья Ивановна чувствовала себя вполне счастливой.

Мало-по-малу волненіе, вызванное въ народѣ появленіемъ Щеноткина съ Любашей и Фирсовой съ Львомъ Егорычемъ, улеглось, и молитвенное настроеніе снова охватило толпу. Слышались вздохи, умиленный шопотъ молитвы, глухіе земные поклонны. Кадильный дымъ синими волнами тяжело расплзался по храму; тусклые огоньки свѣчей слабо колыхались въ нагрѣтомъ дыханьемъ толпы воздухѣ.

Лена стояла въ самомъ дальнемъ углу церкви, но не молилась. Она была страшно взволнована словами дяди. О чемъ онъ хотѣлъ съ нею говорить? Чтѣ такое случилось? И сердце Лены то начинало усиленно биться, то замирало въ предчувствіи какой-то новой и страшной бѣды. Хорошаго давно уже перестала ждать Лена...

Только пріѣздъ Фирсовой немножко привелъ ее въ себя и возвратилъ къ дѣйствительности. Она вспомнила, что ей предстоитъ разговоръ со вдовой, и стала придумывать выраженія для

этого разговора. Это заняло ее, и она совсѣмъ не замѣтила, какъ обѣдня приблизилась къ концу.

Прогѣли „Достойно“, потомъ „Побѣды на супротивныя да-руй“, и о. Пареевъ съ крестомъ вышелъ на амвонъ. Народъ, тѣсняясь и толкаясь, хлынулъ къ кресту. Фирсова была совершенно притиснута къ стѣнѣ и, съ трудомъ выбравшись на боковую па-перть, стояла, обмахивая свое разгорѣвшееся лицо платкомъ. Лена, все время не выпуская ея изъ виду, стремительно расталки-вая народъ, бросилась къ ней, а съ другой стороны, улыбаясь и на ходу поправляя волосы, приближался Володя. И Марья Ивановна счастливо улыбалась имъ обоимъ.

— Здравствуйте, Леночка! Бон-журъ, Вольдемаръ!—привѣтствовала она ихъ, когда они къ ней подошли. И, крѣпко поцѣловавъ Лену, она ласково протянула руку Володѣ.

Володя поцѣловалъ надушенные пальчики и, выпрямившись, взглянулъ на Лену. Она стояла блѣдная, смущенная; всѣ слова, придуманныя ею во время обѣдни, вылетѣли у нея изъ головы, и она не знала, съ чего ей начать...

— Какая духота была сегодня у обѣдни!—продолжала вдова.—У меня ужасно разболѣлась голова! Леночка, ангелъ мой, вы что-то похудѣли и поблѣднѣли, моя милочка? Чтѣ съ вами?

— Ничего...—едва слышно отвѣчала Лена, опуская голову.

— Позвольте вашу руку, Марья Ивановна!—предложилъ Володя.—Я васъ провожу. Надѣюсь, вы посѣтите насъ? Отецъ очень желаетъ васъ видѣть...

— Я съ удовольствіемъ... Но я рассчитывала похитить васъ на цѣлый день... и Леночку тоже...

— О, нѣтъ! Мама ее врядъ ли отпуститъ!—съ принужденнымъ смѣхомъ сказалъ Володя.—Она очень нужна въ домѣ...

— Какой вы деспотъ, Вольдемаръ!—воскликнула Марья Ивановна, опираясь на руку Володи.—Вы держите взаперти свою обѣдную сестру. Эдакъ вы и меня, пожалуй, не будете пускать изъ дома...

И она засмѣялась, нѣжно сжимая руку жениха. Володя отвѣчалъ ей такимъ же пожатіемъ, но въ душѣ у него происходила страшная буря. Онъ боялся скандала.

— Но вѣдь это не отъ меня зависитъ, Мари!—сказалъ онъ, стараясь быть спокойнымъ.—Спросите маму...

— Ну, хорошо, вотъ на зло вамъ, возьму и увезу Леночку съ собою...—шутила Марья Ивановна, кокетничая.

Лена стояла и ничего не понимала. Въ головѣ ея страшно

шумѣло. „Что же это такое? Она сейчасъ уйдетъ—и тогда все кончено“ ...

— Марья Ивановна!—начала она вдругъ срывающимся голосомъ.—Получили ли вы мою записку, которую... которая...

Володя весь поблѣднѣлъ и на минуту растерялся. Марья Ивановна съ удивленіемъ глядѣла на Леночку.

— Какую записку? Не получала никакой записки,—сказала она.

— А, такъ, значитъ, Володя...

Лена не договорила. Володя оставилъ руку вдовы, бросился къ сестрѣ и оттащилъ ее въ сторону.

— Молчи, дѣвчонка!—прошепталъ онъ, сжимая ее руку.— Или я...

Потомъ онъ подбѣжалъ къ Марьѣ Ивановнѣ и, взявъ ее руку, поспѣшно отвелъ вдову въ сторону.

— Не обращайтесь вниманія на эту сумасшедшую, Мари! — заговорилъ онъ торопливо.—Я вамъ сейчасъ все расскажу... Ахъ, я такъ разстроенъ этой исторіей... Представьте, эта дѣвочка противъ нашего брака... Несмотря на то, что вы всегда были такъ ласковы съ нею, она васъ ненавидитъ и во что бы то ни стало хочетъ разстроить нашу свадьбу. Сколько уже у насъ изъ-за этого было сценъ!

— Боже, да что же я ей сдѣлала! — воскликнула Марья Ивановна и приложила платокъ къ глазамъ.

— Вотъ почему я всегда протестовалъ, когда вы ее къ себѣ приглашали. Она совершенно невоспитанная дѣвушка, и всегда я опасался какой-нибудь сцены. Я давно хотѣлъ вамъ все это рассказать, но не рѣшался... я зналъ, что это васъ огорчитъ. Да, Марья Ивановна, сознаюсь, я стыдился и стыжусь своей родной сестры. Сумасбродная дѣвчонка, начитавшаяся романовъ... отъ нея можно было ожидать всего...

— Боже, Боже, что я ей сдѣлала! — взывала между тѣмъ Марья Ивановна, распускаясь въ слезахъ. Она совершенно искренно была огорчена...

— Марья Ивановна, дорогая моя! — шепталъ Володя, уже вполне овладѣвъ собою.—Успокойтесь! на насъ смотреть; кругомъ народъ... Пойдемте къ намъ...

— Ахъ, нѣтъ, Вольдемаръ! Я слишкомъ разстроена... Когда-нибудь въ другой разъ. И какъ я пойду въ домъ, гдѣ меня ненавидятъ?

— Только не я... — прошепталъ Володя, цѣлуя ее руку.—

Успокойтесь же и пойдѣте. Я васъ провожу до экипажа, а самъ вслѣдъ за вами приѣду.

Онъ проводилъ ее за ограду, усадилъ въ коляску и приказалъ кучеру ѣхать, не дожидаясь Льва Егорыча, который еще не выходилъ изъ церкви.

— Барыня въ церкви сдѣлалось дурно, — объяснялъ онъ. — Побѣжай скорѣе, а мы съ бариномъ приѣдемъ послѣ.

Онъ еще разъ поцѣловалъ руку Марьи Ивановны, и коляска тронулась. Проводивъ ее глазами, Володя вернулся въ ограду.

Ему хотѣлось какъ можно скорѣе увидеть Лену. Теперь онъ далъ полную волю своему бѣшенству. Все въ немъ кипѣло и елокатало; руки его дрожали. Ему хотѣлось растоптать, раздавить дерзкую дѣвчонку, осмѣлившуюся становиться ему поперекъ дороги. И онъ шепталъ про себя страшныя угрозы.

Но Лены уже не было въ оградѣ. Когда Володя оттолкнулъ ее отъ Марьи Ивановны, она нѣсколько времени стояла ошеломленная, не зная, что ей предпринять. Потомъ ею снова овладѣла злобная рѣшимость поставить на своемъ, и она бросилась-было за ними... Но, увидѣвъ, что Марья Ивановна плачетъ, что народъ начинаетъ выходить изъ церкви, и нѣсколько любопытныхъ глазъ уже устремились на нихъ, — она остановилась. И вдругъ ея поступокъ показался ей глупымъ и нелѣпымъ. Она поняла, что все испортила своей поспѣшностью и необдуманностью. Въ безсильномъ отчаяніи смотрѣла она, какъ Володя цѣловалъ руки Марьи Ивановны, усаживалъ ее въ коляску, говорилъ ей что-то... „Ложь, ложь, — не вѣрьте ему, онъ все лжетъ“... хотѣлось ей крикнуть, но спазмы сжимали ей горло, и ни одинъ звукъ не вылеталъ изъ стѣсненной груди. Она постояла-постояла и выбѣжала изъ ограды...

Не найдя Лены, Володя моментально пришелъ въ себя и даже обрадовался, что Лена ушла. Однимъ скандаломъ меньше. Слава Богу, что все такъ вышло и никто ничего не видалъ. А то пошли бы разныя толки и слухи... Однако, надо все это кончить какъ можно скорѣе, иначе взбалмошная дѣвчонка выкинетъ еще какую-нибудь штуку. Разсказать все отцу сейчасъ же... Дядю выпроводить, а Ленку запереть. А та еще разнюнилась... Охъ, ужъ эти сантиментальныя барыни! Хорошую, однако, штуку онъ придумалъ ей разсказать. И вѣдь сейчасъ же повѣрила. Какая дура эта Ленка, — воображаетъ, что можетъ что-нибудь сдѣлать своими записками! Только скандалить — это непріятно... Хорошо, что не было Агнесы!

И Володя уже улыбался на встрѣчу выходившему изъ церкви Льву Егорычу. На вопросъ его: — гдѣ Марья Ивановна? — Володя

рассказалъ ему выдуманную исторію о дурнотѣ и пригласилъ Полянскаго въ домъ пить чай. За чаемъ шли самые обыкновенные разговоры — о посѣвахъ, объ урожаѣ, о социалистахъ и о Бисмаркѣ, который тревожилъ умы даже мирныхъ обитателей Тюрмы. Володя былъ оживленъ и остроуменъ болѣе обыкновеннаго, только передъ отъѣздомъ вышелъ съ отцомъ въ другую комнату и долго о чемъ-то бесѣдовалъ...

Когда Володя съ Львомъ Егорычемъ уѣхали, Антонъ Кирилъчъ нахмуренный вышелъ изъ своего кабинета.

— Гдѣ Ленка?—свирѣпо обратился онъ къ Ольгѣ Ивановнѣ.

Ольга Ивановна съ испугомъ посмотрѣла на мужа.

— Я не знаю... въ своей комнатѣ, должно быть..., — робко отвѣчала она.

— Позови ее ко мнѣ!...—приказалъ грозно старый управитель, и заходить по комнатѣ.—Я ей покажу, какъ скандалы устраивать! Да еще гдѣ? Въ церкви, въ Божьемъ храмѣ! Ахъ ты! гадина... Ахъ ты... мерзавка эдакая!.. Я изъ тебя эти идеи-то выпишу! Я вамъ съ дяденькой-то пропишу социализмъ... Вонъ! Обоихъ вонъ!

Въ это время Ольга Ивановна металась по всему дому, разыскивая дочь. Ея нигдѣ не было. Ольга Ивановна не знала, что дѣлать, и готова была сама запрятаться въ самый дальній уголокъ отъ разгнѣваннаго главы семейства.

— Лена, Лена! — беспомощно взывала она, заглядывая во всѣ уголки.

— Да гдѣ же она?—кричалъ Антонъ Кирилъчъ, шагая по залѣ. — Гдѣ она у тебя шляется? Распустила весь домъ, старая чертовка!.. Выпороть васъ всѣхъ!

Весь домъ притихъ, подавленный этими грозными возгласами. Въ кухнѣ, подъ сараями, на дворѣ, воцарилась тишина; всѣ ходили на цыпочкахъ и старались говорить шопотомъ.

Наконецъ Лена явилась, блѣдная и печальная. Она была у Демида и все еще находилась подъ впечатлѣніемъ его кроткихъ поученій. Ольга Ивановна встрѣтила ее на порогѣ и замахала на нее руками.

— И гдѣ это ты ходишь? Ступай, тебя отецъ зоветъ!—зашептала она. — Чтò это ты еще надѣлала? Весь домъ изъ-за тебя подняли...

— Отецъ зоветъ? — машинально повторила Лена. — Зачѣмъ?

— Поди, поди, я развѣ знаю, зачѣмъ? Ступай скорѣе! Слышишь?

И Ольга Ивановна въ испугѣ указала Ленѣ на дверь въ залу, изъ которой раздавались тяжелые шаги Антона Кирилыча...

Лена догадалась, въ чемъ дѣло. Она стала еще блѣднѣе и смѣло вошла въ залу.

— Вы затѣмъ спрашивали меня, папаша? — тихо спросила она, останавливаясь у двери.

Увидѣвъ ее, Антонъ Кирилычъ прекратилъ свою бѣшеную прогулку по залѣ и остановился передъ дочерью.

— А, явилась! Гдѣ изволила пропадать? Новыя каверзы придумывала? Это ты что такое въ церкви-то надѣлала, а? Кто тебя этому научилъ, а?

— Никто не училъ, я сама...

— Ага, сама! И записки сама писала? Такъ я же тебѣ покажу, неучъ эдакой, какъ записки писать... Вотъ тебѣ!..

Антонъ Кирилычъ замахнулся и ударилъ Лену по щекѣ. Леночка вскрикнула, закрыла лицо руками и бросилась бѣжать.

— Постой, постой! куда? — кричалъ ей вслѣдъ расходившійся отецъ. — Это тебѣ еще мало! Тебя выдрать надо, негодяйку эдакую! Ишь ты, что затѣяла? Для этого тебя грамотѣ-то учили, чтобы каверзы разныя сочинять?.. За это тебя поить, кормить и одѣваютъ, чтобы ты пакости своему семейству дѣлала? Да я тебя въ порошокъ сотру, — вотъ тебѣ что! Дубина!

Долго кричалъ Антонъ Кирилычъ, наконецъ его злость немного улеглась, и онъ отправился въ свой кабинетъ спать.

Лена убѣжала въ самый дальній уголъ палисадника и, забравшись въ кусты шиповника, бросилась на траву. Лицо ея все горѣло отъ пощечины, грудь высоко подымалась. Она уткнулась лицомъ въ душистую, мягкую, прохладную траву и долго пролежала такъ, безъ движенія. Потомъ встала и заплакала. Сознаніе горькой, незаслуженной обиды поднялось въ ней. — „Вотъ вся моя жизнь! — подумала она, и слезы ручьемъ хлынули изъ глазъ. — Бьютъ, бранятъ, скоро будутъ привязывать на цѣпь, какъ собаку... Что же дѣлать? Значить, надо молчать и всему покоряться? Пусть они все подличаютъ, душатъ другъ друга, грызутся, — молчать и не вмѣшиваться? Но въ чему же тогда все эти слова: любите людей, помогайте имъ... Неужели вездѣ такъ? Стоить ли послѣ этого жить, мучиться? Нѣтъ! Не могу больше такъ жить! Или умру, или уйду. Умру или уйду... Уйду... умру...“ — шептала Леночка бессмысленно, выдергивая изъ земли траву и разбрасывая ее кругомъ.

А надъ нею неподвижно разстилалось небо ясное и безоблачное. Глубокая синева его нѣжила глазъ, успокаивала нервы.

Густая зелень кустарника, пронизанная солнечнымъ свѣтомъ, тихо лепетала, окружая Леночку со всѣхъ сторонъ своею непроницаемою сѣтью. Тихо и прохладно было въ этомъ уединенномъ уголкѣ.

Леночка просидѣла здѣсь до вечера въ странномъ оцѣпенѣннѣи. Она слышала, какъ ее искали, звали ее обѣдать, потомъ пить чай, — и не могла отделинуться. Она не спала, но и не бодрствовала. Въ головѣ не было мыслей, двигаться не хотѣлось. Надъ головою ея чирикала какая-то птичка, и это однообразное чириканье убаюкивало Леночку. Подъ-конецъ она дѣйствительно заснула.

XX.

Стемнѣло. И на небѣ, и на землѣ зажглись огни. Внизу, у рѣки запылали костры, и высокіе столбы дыма, освѣщенные пламенемъ, протянулись къ небу. Это сельскіе парни и дѣвки варили уху. Оттуда слышались звуки гармоникъ и переливы хорожденной пѣсни. А съ той стороны этимъ пѣснямъ вторили дергачи и перепела.

Діодоръ съ батюшкой возвращались отъ Щепоткина. Меренко бодро бѣжалъ по дорогѣ, и стукъ его копытъ гулко отдавался среди вечерней тишины. Надъ полями волновался молочно-бѣлый туманъ, принимая причудливыя формы; горы смутно чернѣли на горизонтѣ. Батюшка, немножко развеселившійся, безъ умолку болталъ, предаваясь воспоминаніямъ прошедшаго дня. Онъ то въ сотый разъ принимался рассказывать, какъ Щепоткинъ въ церкви подошелъ къ нему и просилъ прощенья, то начиналъ восхищаться Любашей и ея голосомъ, то ударялся въ жалобы на свою судьбу, обрекшую его жить среди „закоснѣлыхъ фанатиковъ-калугуровъ“. Рѣчь его была безсвязна, перескакивала съ предмета на предметъ и изобиловала повтореніями. Діодоръ его совсѣмъ не слушалъ: онъ былъ погруженъ въ свои думы. Глухая тоска и недовольство грызли его душу. Онъ жалѣлъ, зачѣмъ поѣхалъ; жалѣлъ безсмысленно и безобразно проведеннаго дня. Въ его глазахъ металось красное, пьяное лицо Щепоткина; въ ушахъ еще раздавались пьяные выкрики: „пой, Любашка, чортъ твою душу! Пой, — у насъ съ тобой денегъ хватить!“ — А Любашка, тоже пьяная, съ красными пятнами на щекахъ и безсмысленною улыбкой, хрипя и надрываясь, запѣвала: — „Запрягу я тройку борзыхъ, темно-карихъ лошадей“... — Свистъ, визгъ, ги-

канье, топотъ и звонъ бутылокъ дополняли эту вакхическую картину.

Діодору, глядя на все это, тоже хотѣлось напиться до безчувствія, но онъ удержался отъ искушенія и до конца стойко выдержалъ эту пытку, которой подвергается всякій трезвый человѣкъ, нечаянно затесавшійся въ пьяную компанію. И теперь онъ только жалѣлъ о томъ, что поѣхалъ. Но давеча ему было такъ скверно, что онъ готовъ былъ на все, чтобы только забыться и уйти куда-нибудь отъ самого себя. Поэтому онъ даже съ удовольствіемъ принялъ предложеніе поѣхать къ Щепоткину. Все-таки новыя лица, новыя впечатлѣнія,—все это сулило ему нѣсколько минутъ забвенія. Но зрѣлище по истинѣ звѣриной жизни разбогатѣвшаго торгаша и его жалкой любовницы еще болѣе разбредило его наболѣвшіе нервы.

„Вотъ какъ у насъ въ Тюрьмѣ-то живутъ!“—крикнулъ имъ на прощанье Щепоткинъ, и это восклицаніе, въ которомъ хозяинъ хотѣлъ высказать полное довольство своей жизнью, болѣзненно стояло въ ушахъ Діодора.

„Звѣри, звѣри!—думалъ Діодоръ.—Жалкіе, несчастные звѣри, вполне довольные той грязью, въ которой обитаютъ. Сколько надо времени и сколько силъ, чтобы хоть только заставить ихъ понять, что ихъ жизнь—грязь. Да и будетъ ли это когда-нибудь, наступитъ ли для нихъ минута горькаго сознанія? Прежде вѣрилось... но какъ давно это было! Когда еще я мальчишкой убѣгалъ въ дебри Тюрьмы отъ стонровъ и воплей истязуемыхъ рабовъ. И все-таки вѣрилось, а теперь—смѣшно сказать!—теперь, когда рабы свободны,—не вѣрится. Правда, рабство духа страшнѣе рабства тѣла. А теперь вѣдь только тѣло свободно,—духъ по прежнему закованъ въ цѣпи“...

Въ эту минуту они спустились въ долину и окунулись въ мягкія влажныя волны тумана. Мысли Діодора приняли другой оборотъ.

„А вотъ и моя жизнь!—подумалъ онъ, глядя на причудливые извивы тумана.—Призрачная, измѣнчивая, непостоянная, какъ фата-моргана. Вотъ, кажется, мелькнетъ что-то впереди... Сады, деревья, дворцы, воды—но мигъ—и все исчезло, и опять одна знойная степь разстилается кругомъ. Сначала было-повезло. Университетъ, книги, лекціи и гордыя мечты перевернуть весь міръ по-своему. И вдругъ какая-то глупая исторія—и все рухнуло, и опять Тюрьма и глушь... Потомъ опять что-то блеснуло. Артистическая карьера, вѣнки, рукоплесканія, слезы растроганной толпы... И опять все рухнуло. Смокли рукоплесканія,

завяли лавры, погасли огни... Чуткое ухо ловить беззаботный смѣхъ натѣпившейся толпы и червякъ сомнѣнія гложетъ недовольную душу. Полинялые лохмотья костюма маркиза Позы валяются въ углу, олицетворяя собою скоропреходящую славу артиста. Кончено и это... А Роза? А скитанія по Сибири, по Волгѣ, на прискахъ, въ лямѣхъ бурлака—что они мнѣ дали? Ничего... Правда, я нашелъ то, что искалъ, —я нашелъ народную душу; но она, какъ тотъ владъ, заговоренный на сто головъ, глубоко лежала подъ спудомъ и не давалась мнѣ. И не дается она ни мнѣ, ни всѣмъ намъ, русскимъ мечтателямъ и Донъ-Кихотамъ“.

Лошадь взобралась на пригорокъ, и туманное море осталось позади. Батюшка, видя, что спутникъ его молчаливъ и ничего не отвѣчаетъ на его болтовню, затянулъ дребезжащимъ голосомъ какой-то кантъ. А Діодоръ все думаль...

„А чего бы, кажется, недостаетъ, напрімѣръ, мнѣ? И умъ есть, и талантъ, и смѣлость, и желаніе работать, и жажда самопожертвованія — а вотъ, ничего не выходитъ. Таковы всѣ мы, сыны земли русской. Горы золота лежатъ у насъ въ горныхъ вряжахъ и дремлютъ въ черноземѣ полей, а мы ходимъ въ лохмотьяхъ и ѣдимъ посконные щи. „Вотъ какъ у насъ въ Тюрьмѣ-то живутъ!“... Да, нѣтъ выхода... Очень ужъ все это надоѣло, запуталось, завязалось узломъ. Ну, и пусть, и все равно—пропадать, такъ пропадать... Стыдно, наконецъ, сидѣть такъ, сложа ручки, и все чего-то ждать. Чего? Благопріятной минуты? Жалкіе трусы!—вѣдь это все обманъ. Благопріятная минута никогда не наступитъ. Человѣкъ всегда будетъ тѣмъ, что онъ есть теперь. Лучше же сказать прямо, что стало больно жить,—и пойти, расшибить лобъ объ стѣну... Вотъ и я, наконецъ, рѣшился на это. Черезъ день меня здѣсь не будетъ“...

Мучительная тоска сжала грудь Діодора. Гдѣ онъ будетъ черезъ нѣсколько дней?.. И ему до боли стало жалъ этихъ тихихъ полей, этой благоухающей ночи, этихъ угрюмыхъ горъ, одѣтыхъ дремлющимъ лѣсомъ. Блѣдное личико Лены мелькнуло передъ нимъ... Что-то ее ждетъ! Діодоръ тряхнулъ головою, стараясь заглушить нестерпимую душевную боль. „Прощай навсегда, родная глушь! Сколько разъ провожала ты меня этимъ таинственнымъ туманомъ, наполнявшимъ твои лѣса, поля, горы... Но тогда я былъ молодъ и тѣломъ, и духомъ, и много надеждъ было у меня впереди... Теперь я ухожу отъ тебя, разбитый, измученный, больной, и нѣтъ у меня ничего, кромѣ любви къ тебѣ и къ твоимъ несчастнымъ дѣтямъ“...

Вдали замелькали огоньки Пригорнаго. Потянуло дымомъ и

тепломъ. Мереновъ зафыркалъ и побѣждалъ быстрѣе, потряхивая ушами, а батюшка пересталъ пѣть и крякнулъ.

— Ну, слава Богу, вотъ и земля Ханаанская!—сказалъ онъ весело.

Діодоръ вздрогнулъ и очнулся. „Господи, вѣдь мнѣ еще съ Леной надо говорить!“ вспомнилъ онъ со страхомъ, и сердце его усиленно забилося.

Леночка проснулась поздно; пошатываясь, встала и пошла въ домъ. Изъ растворенныхъ оконъ до нея доносились голоса Антона Кириллыча и Володи. Значить, Володя уже пріѣхалъ, и они поужинали. Леночка тихонько заглянула въ окно. Дѣйствительно, ужинъ уже кончился; кухарка собирала со стола, а Антонъ Кириллычъ съ Володей сидѣли у стола, курили и вели оживленный разговоръ. Ненависть закипѣла въ душѣ Лены. Она вспомнила сцену въ церкви, брань отца и пощечину и машинально схватилась за щеку. „Радуйтесь, радуйтесь!“—прошептала она злобно. „Прощайте своимъ врагамъ!“—пришли ей на память давнишнія слова Демида. Слезы навернулись у нея на глазахъ. „Нѣтъ, не могу... Господи, прости мнѣ! За что же они меня обидѣли?“

Она подошла къ крыльцу. На крыльцѣ уже стоялъ Діодоръ и очевидно ее поджидалъ. Онъ пріѣхалъ нѣсколько минутъ тому назадъ и отъ кухарки успѣлъ уже узнать, что у Лены съ отцомъ что-то вышло.

— А, вотъ и ты!—воскликнулъ онъ, сходя ей на встрѣчу. Гдѣ ты была? Я тебя вездѣ искалъ. Что же, придешь въ палисадникъ?

— Приду, — сказала Лена, торопливо проходя мимо него.

Ей вдругъ стало стыдно; по встревоженному тону дяди она догадалась, что онъ уже все знаетъ.

Долго ходила она въ волненіи по своей комнатѣ. Ей чего-то было страшно. То она бралась за ручку двери, чтобы идти, то опять останавливалась. Наконецъ, рѣшилась и пошла.

Діодоръ ждалъ уже ее въ палисадникѣ и въ раздумьѣ рассказывалъ взадъ и впередъ по той самой дорожкѣ, гдѣ паникій Гамлетъ нѣсколько дней тому назадъ объяснялся въ любви своей Офеліи. Огонекъ его папиросы то вспыхивалъ, то погасалъ въ темнотѣ.

— А, пришла!—сказалъ онъ, увидѣвъ Леночку.—А я уже думалъ, что ты не придешь совсѣмъ. Ну, спасибо... Давно вѣдь мы съ тобою не говорили!

Грустные ноты задрожали въ его голосѣ. Лена хотѣла что-то

сказать, но спазмы сдавили ей горло, и она чуть не расплакалась.

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе. Только слышалось усиленное бѣненіе двухъ взволнованныхъ сердецъ, да по прежнему таинственно и дремотно шептались деревья. Леночка сѣла на скамью и глядѣла, какъ огонь папиросы освѣщаль лицо дяди. „О чемъ онъ хочетъ со мною говорить?“ думала она.

Но вотъ папироса потухла. Діодоръ остановился передъ Леной.

— Леночка, что у васъ вышло съ отцомъ?—спросилъ онъ.

— Такъ... долго рассказывать...—отвѣчала Лена, вспыхивая.

— Онъ тебя ударилъ?..

— Ударилъ...

Діодоръ хрустнулъ пальцами, и снова воцарилось молчаніе. Голоса въ домѣ стихли; въ комнатѣ Володи стукнуло окно.

— А знаешь ли что?—вымолвилъ, наконецъ, Діодоръ.—Вѣдь еще не очень поздно, пойдѣмъ прокатиться на лодкѣ. Здѣсь братецъ твой все за мною шпионить... А тамъ мы поговоримъ на свободѣ... въ послѣдній разъ,—добавилъ онъ тише.—Ну... поѣдешь?..

— Поѣду.

— Не бойшися, что тебя хватятся?

— Не боюсь... все равно!—рѣшительно сказала Леночка и встала.

— Ну, такъ пойдѣмъ. Давай сюда ручку. А не холодно тебѣ будетъ въ одномъ платьѣ?

— Нѣтъ, ничего.

— Смотри! Впрочемъ, если озябнешь, я тебѣ пальто свое отдамъ. Пойдѣмъ.

По дорожкѣ слышались шаги; кусты зашелестѣли. Діодоръ поспѣшно схватилъ Лену за руку, и оба быстро сбѣжали внизъ, къ рѣкѣ. За ними вслѣдъ гулко посыпалась земля.

Вскорѣ плескъ веселъ показалъ, что они отплыли. А на берегу вырисовалась чья-то темная фигура и долго смотрѣла имъ вслѣдъ.

Нѣмая и сырая типъ рѣки обняла пловцовъ. Во мглѣ безлунной теплой ночи деревья казались какими-то гигантами, которые, обступивъ лодку со всѣхъ сторонъ, словно шептали ей съ угрозой: „подожди! не торопись!—вѣдь никуда не уйдешь отъ насъ“... Но лодка плыла все впередъ и впередъ, могучими ударами веселъ будя заснувшую гладь рѣки. Сонныя волны съ журчаніемъ разбивались о ея борты. Берега бѣжали. Вотъ уже послѣдніе огоньки пригоринскихъ избъ погасли за поворотомъ рѣки.

Теперь только надъ головами пловцовъ стало безмолвное небо, усыянное звѣздами; внизу сонно лепетала рѣка, а по бокамъ толпились деревья.

Пловцы молчали. Леночка глядѣла на сыпавшіяся кругомъ ея звѣзды, и ей вспоминалось далекое дѣтство; а Діодоръ, налегая всей грудью на весла, томился мучительнымъ безпокойствомъ. Онъ думалъ, какъ объявить Леночкѣ о своемъ отъѣздѣ, и боялся начать разговоръ. Онъ зналъ, что это ее убьетъ. Когда минута объясненія была еще далеко, онъ старался гнать отъ себя всякую мысль объ этомъ, а теперь, очутившись съ Леночкой лицомъ къ лицу, оказался совершенно неподготовленнымъ, и языкъ его не могъ вымолвить ни одного слова.

„Что же дѣлать? И какъ все это случилось?—въ сотый разъ спрашивалъ себя Діодоръ.—Дѣвочка, дѣвочка, что ты надѣлала!... Зачѣмъ ты полюбила меня больше, чѣмъ наставника и друга? Ну, пусть бы я одинъ мучился, но зачѣмъ ты?“...

И онъ въ отчаяніи поникалъ головою. Теперь поздно раскаиваться и сожалѣть о случившемся, надо дѣйствовать. Онъ виновать во всемъ, онъ долженъ былъ и исходъ найти. Зачѣмъ онъ ждалъ и бездѣйствовалъ, когда давно нужно было бѣжать? Но онъ думалъ только о себѣ; онъ надѣялся силою воли побѣдить загорѣвшуюся въ немъ преступную любовь, и совершенно забылъ, что съ Леночкою можетъ случиться то же. Вотъ и случилось... Онъ понялъ это въ тотъ несчастный день, когда онъ, подавшись своей слабости, высказалъ предъ нею больше, чѣмъ хотѣлъ. Онъ понялъ, почему она пряталась отъ него и дичилась его: вѣдь и онъ тоже бѣгалъ отъ нея въ то время, когда его къ ней наиболѣе влекло. Понялъ и ужаснулся... Съ сердцемъ ребенка труднѣе сладить; оно не подчиняется требованіямъ разсудка, не понимаетъ препятствій.

Діодоръ былъ въ страшномъ волненіи; въ мысляхъ его царилъ хаосъ; голова горѣла отъ напряженія. Мысленно онъ проклиналъ свою жизнь, неудовлетворенную, изломанную роковыми сцѣпленіями; проклиналъ тотъ день, въ который онъ пришелъ сюда и смутилъ покой юной души, возбудивъ въ немъ несбыточные мечты и порывы. Что дѣлать?..

— Леночка!—произнесъ онъ, наконецъ, опуская весла.

Леночка даже вздрогнула, — такъ странно прозвучалъ его голосъ среди обнимавшей ихъ тишины.

— Что, дядя?—нетвердо проговорила она, пожимая плечами.

— А вѣдь ты озябла...—сказалъ Діодоръ и, снявъ съ себя пальто, заботливо накиннулъ его на плечи Лены.

„Ну, что я скажу этому ребенку?“ подумалъ онъ..

— О, нѣтъ, нисколько не озябла, дядя!—отвѣчала Леночка. — Мнѣ хорошо.

— Хорошо?—переспросилъ Діодоръ, и сердце его сжалось. — Скажи, о чемъ ты думала сейчасъ?

— Я вспоминала прошлое... Помнишь, какъ мы, бывало, возвращались съ бабушкой отъ Полубаровыхъ, и я засыпала у нея на колѣняхъ, а ты меня убаюкивалъ? Такъ же вотъ были звѣзды, и деревья шумѣли... Помнишь, какъ я испугалась? мнѣ почудилось, что русалка выплыла изъ воды и глядитъ на меня зелеными глазами... А ты смѣялся надо мною! Какъ давно это было!...

— Да, давно...—съ горечью сказалъ Діодоръ.—Тебѣ жаль прошлаго?

— Нѣтъ, не жаль,—отвѣчала дѣвушка, подумавъ.—Вѣдь ты опять со мною, только бабушки нѣтъ...

Діодоръ собрался съ силами.

— А если, Леночка, меня здѣсь не будетъ?

— Что? Развѣ ты уѣзжаешь?—быстро спросила Лена.

— Да... уѣзжаю...—съ трудомъ вымолвилъ Діодоръ. — Для этого-то я и звалъ тебя... чтобы проститься съ тобою. Ты одна здѣсь была для меня родная; ты одна любила и жалѣла меня...

— Когда же ты вернешься?

— Я... навсегда уѣзжаю, Леночка.

Леночка выпустила руль изъ рукъ. На мгновеніе ей показалось, что она падаетъ въ бездну вмѣстѣ съ искрающимися вокругъ нея звѣздами. Но она скоро пришла въ себя и взглянула на Діодора. Онъ сидѣлъ, сгорбившись и опустивъ руки на колѣни.

— Навсегда!..—прозвучалъ ея полный отчаянія голосъ.—Но куда же ты уѣзжаешь?

— Самъ еще не знаю, куда...—мрачно отвѣчалъ Діодоръ.— Здѣсь я не нуженъ и бесполезенъ, а тамъ... гдѣ-нибудь... можетъ быть, на что-нибудь и понадобится остатокъ моихъ силъ. Помнишь, Леночка, нашъ послѣдній разговоръ съ тобою? Съ того дня я осудилъ себя за постыдное ничегонедѣланіе и рѣшилъ искать дѣла.

Леночка замолчала. Она старалась представить себѣ, какъ это она будетъ жить безъ дяди Доди. Прежде, какъ ей ни тяжело жилось, она на что-то надѣялась, чего-то ждала. Прежде, въ самыя горькія минуты отчаянія, когда даже мысль о смерти, какъ о желанномъ концѣ, закрадывалась ей въ голову, стоило ей

увидѣть дядю, и душа просвѣтлялась, горе забывалось. И вотъ дяди Доди не будетъ... Никогда, никогда не будетъ... Все сердце ея перевернулось...

Лодка вдругъ стремительно закачалась. Лена порывисто вско-чила съ мѣста и упала передъ Діодоромъ на колѣни.

— Дядя, дядя! — закричала она, рыдая. — Возьми меня съ собою!... Безъ тебя я не буду жить! Возьми же, возьми меня! пусть лучше я погибну съ тобою... Я готова на все, я ничего не боюсь... возьми меня съ собою...

Діодоръ съ усиліемъ поднималъ ее и посадилъ на скамью около себя. Онъ былъ страшно блѣденъ и руки его дрожали.

— Успокойся, Леночка... успокойся! — уговаривалъ онъ ее, какъ бывало, когда ей приснится что-нибудь страшное. — Не плачь... подожди; мы поговоримъ серьезно обо всемъ.

И онъ гладилъ ея золотистую голову, бывшую у него на плечѣ.

— Слушай, Леночка! — началъ онъ, когда она немного успокоилась. — То, о чемъ ты меня просишь, невозможно. Понимаешь ли, я не могу взять тебя съ собою. Леночка, жизнь, это омутъ. Ты еще ничего не знаешь, ты не окрѣпла духомъ, и трудно тебѣ придется... Когда ты все поймешь и узнаешь, ты сама проклянешь меня за то, что я безумно увлекъ тебя за собою...

— Никогда! — рѣшительно перебила его Лена.

— Ребенокъ! — прошепталъ Діодоръ, въ отчаяніи хватаясь за голову. — Ты не понимаешь, что говоришь. Будь ты человѣкъ вполне сознательный, я бы сказалъ тебѣ все. Но ты дитя, Леночка, и я... не могу...

Эти слова больно кольнули Леночку. „Онъ меня не понимаетъ!“ подумала она съ горечью. „О, какъ бы ей все растолковать и объяснить!“ — въ свою очередь думалъ Діодоръ. Какъ много хотѣли бы они сказать другъ другу, но одного удерживалъ ужасъ и благоговѣніе передъ дѣтскимъ невѣденіемъ; другую — застѣнчивость, стыдъ и неумѣнье выразить словами то, что давнымъ-давно сложилось въ головѣ.

— Нѣтъ, не могу... не могу! — повторилъ Діодоръ.

Леночка быстро отъ него отшатнулась.

— Ну... какъ хочешь, — съ усиліемъ сказала она. — Если такъ, — мнѣ остается одинъ конецъ. Жить безъ тебя я не могу и не буду.

— Леночка, Леночка! Зачѣмъ ты такъ говоришь? Это страшно! — воскликнулъ Діодоръ.

— Еще страшнѣе оставаться здѣсь... безъ тебя.

Діодоръ опустилъ голову. Онъ почувствовалъ, что эта дѣвочка сильнѣе его, опытнаго, пожившаго человѣка. А онъ-то считалъ себя сильнымъ!.. Ну, что же теперь дѣлать? Уѣхать? Безъ него она рѣшится на все... Взять ее съ собою? Эта мысль казалась ему дикою, нелѣпою... Остаться здѣсь и еще болѣе разжигать любовь въ сердцѣ невинной дѣвочки? Это было совсѣмъ невозможно... А между тѣмъ онъ долженъ былъ безотлагательно рѣшить вопросъ о томъ, что дѣлать. Бросить ее, безпомощную, возмущенную, одну на произволъ судьбы — онъ не имѣетъ права...

Въ головѣ Діодора мутилось. На мгновение у него мелькнула мысль о самоубійствѣ. Взять и покончить всю эту путаницу однимъ выстрѣломъ изъ револьвера... Но чего онъ достигнетъ этимъ? Правда, онъ покончитъ со своими страданіями, но вѣдь другіе, связанные съ нимъ судьбою, останутся жить и страдать... Нѣтъ, самоубійство, въ данномъ случаѣ, будетъ преступленіемъ, подлостью, постыдной трусостью. А онъ не вынесетъ имени подлеца даже и въ могилѣ...

Лобъ Діодора покрылся холоднымъ потомъ. Онъ поднялъ голову и тусклымъ взглядомъ посмотрѣлъ на Лену. Она уже не плакала, и глаза были сумрачно устремлены куда-то вдаль.

— Леночка! — выговорилъ онъ упавшимъ голосомъ.

Лена молча повернулась къ нему.

— Что ты рѣшила? Скажи мнѣ...

— Уѣзжай! — сказала она, и въ голосѣ ея прозвучало безнадежное уныніе. — Я рѣшила, что стѣсню тебя... Уѣзжай!

— А ты?

Лицо Леночки вспыхнуло.

— Какое тебѣ дѣло до меня? — сухо проговорила она.

Лодка нѣсколько минутъ тихо скользила по рѣкѣ, нигдѣ не управляемая. Кругомъ все молчало; въ небѣ по прежнему безмолвно и таинственно сверкали звѣзды. Мракъ и глушь...

— Ну, слушай! — съ трудомъ произнесъ, наконецъ, Діодоръ. — Будь что будетъ... я не уѣду отсюда до тѣхъ поръ, пока не помогу тебѣ выбраться на свободу...

Лодка опять закачалась. Леночка бросилась къ Діодору, за-сверкавшими глазами посмотрѣла ему въ лицо и, схвативъ его руку, прижала ее къ губамъ.

XXI.

Лена вернулась съ прогулки поздно и всю ночь не могла спать. Она то вскакивала съ постели и принималась ходить по комнатѣ, то ложилась, то снова вставала и садилась къ отворенному окну. Ей было душно; кровь ея страшно волновалась; мысли смѣнялись одна другою съ поразительной быстротой. Въ ушахъ ея все еще слышался ласковый пошопотъ лѣса и рѣки; передъ глазами мелькало блѣдное, взволнованное лицо дяди, безмолвно слушавшаго ея признанія. Она все, все ему рассказала, — все, чтò томило и мучило ее за эти долгіе годы ожиданія и неудовлетворенныхъ мечтаній. И онъ, наконецъ, все понялъ... Теперь онъ знаетъ, что она готова на все, что она не ребенокъ, какъ онъ называлъ ее раньше. Пусть онъ найдетъ ей дѣло, дастъ свободу, — и тогда посмотритъ, на чтò она способна. О, она давно не ребенокъ!.. И Леночка волновалась и трепетала, какъ птичка, почуявшая свободу. Ей на яву грезилась будущая жизнь, не здѣсь, не въ этой душной комнатѣ, нѣтъ! Ее ждетъ иное... Можетъ быть, *тамъ* ей будетъ еще тяжелѣе, еще труднѣе, но, по крайней мѣрѣ, она будетъ съ нимъ.

А ночь между тѣмъ проходила. Звѣзды гасли; утренній вѣтерокъ пронесся въ воздухѣ. Въ палисадникѣ проснулись птицы и встрѣчали солнце обычнымъ, пѣвучимъ хоромъ. Тереха повелѣ лошадей поить, и лошади фыркали отъ сырости, а онъ ихъ ругалъ съ просонья. Кухарка съ подоиномъ пошла доить коровъ, и запахъ парного молока защекоталъ ноздри. Потомъ встала Ольга Ивановна, и ея туфли зашлепали по корридору.

Леночка одѣлась и тихонько вышла въ палисадникъ. Проходя мимо дядина окна, она заглянула туда, — Діодора не было. Леночкѣ опять вспомнилось вчерашнее. „Боже, какъ я его люблю!“ — подумала она, чувствуя душевную полноту. „И совсѣмъ теперь его не боюсь“...

Леночка засмѣялась и сбѣжала внизъ. Сіяющее утро приветствовало ее. Солнце еще не высоко поднялось, и его жгучіе лучи не успѣли разсѣять ласкающую свѣжесть зари. Деревья стояли тихія, зеленныя, осыпанныя росой. Леночка взяла лодку и переправилась на тотъ берегъ. Долго бродила она по росистымъ чащамъ, отыскала цѣлый кустъ шиповника, на которомъ едва распустились пахучія розовыя чашечки цвѣтовъ, и нарвала огромный букетъ. Ей хотѣлось пѣть, смѣяться, бѣгать...

Солнце было уже высоко, когда она возвратилась домой.

— И гдѣ это ты спозаранку пропадаешь?—сказала ей мать, встрѣчая ее въ снѣгахъ.—Отецъ сердится, а она бѣгаетъ бо-звать гдѣ. Мало еще вчера досталось? Чай мы отпили.

— Я не хочу, — крѣтко сказала Лена, проходя въ дядину комнату.

Его все еще не было. Да врядъ ли онъ и ночевалъ дома. Подушки на его диванѣ не были смяты. Онъ, вѣрно, у батюшки. Вотъ его ружье виситъ на стѣнѣ. Тутъ же на этажеркѣ лежитъ заряженный револьверъ.

Леночка, напѣвая, принялась устанавливать букетъ въ стаканъ съ водою.

Дверь тихо скрипнула. Леночка вздрогнула и порывисто обернулась, ожидая увидѣть дядю. Передъ нею стоялъ Володя. Онъ поглядѣлъ сначала на букетъ, потомъ перевелъ глаза на покраснѣвшее лицо Леночки—и усмѣхнулся.

Долго стояли они молча, глядя въ лицо другъ другу. Володя первый прервалъ молчаніе.

— Ну-съ, — началъ онъ серьезно, плотно притворяя дверь за собою. — Я пришелъ объясниться съ тобою по поводу всѣхъ твоихъ безумныхъ выходовъ.

— Какихъ выходовъ?

— Какихъ? Будто ты не знаешь! — насмѣшливо спросилъ Володя. — А твоя записка къ Марѣ Ивановнѣ? А вчерашняя сцена въ церкви? Я тебя серьезно спрашиваю: къ чему ты затѣяла всю эту ерунду?

— Это не ерунда!—возразила Лена, вспыхивая.—Я писала ей правду... и вчера хотѣла сказать то же самое. Ты подло поступаешь, Володя! Ты женишься на ней изъ-за денегъ, а мнѣ ее жалъ...

— Какая ты... дура! — презрительно вымолвилъ Володя. — Неужели ты воображаешь, что тебѣ могутъ повѣрить? И какое ты имѣешь право вмѣшиваться въ мои дѣла? Я тебѣ этого не позволю. „Мнѣ ее жалъ!“ Повѣрь, пожалуйста, что въ твоей жалости никто не нуждается. Ты гораздо болѣе жалка... Слушай, Елена, ужъ если говорить, то говорить все. Неужелиты воображаешь, что я ничего не вижу и не замѣчаю? Эти букетики, эти взгляды, эти таинственные свиданія при звѣздахъ и при лунѣ,—кому они не ясны? Дура! Вѣдь я все знаю,—слышишь? все. И то, что ты дѣлаешь, гораздо хуже и грязнѣе моей женитьбы на Фирсовой. Ну, что же, — ну, я женюсь на деньгахъ. А твой идеалъ что дѣлаетъ? Онъ совращаетъ съ пути истиннаго дѣвчонку, которая влюбилась въ него, какъ кошка, и, польтуясь

родственными отношеніями, заводить въ домъ грязь... Это что? Это какъ называется?

Лена вся помертвѣла, не будучи въ состояніи вымолвить ни одного слова. Могла ли она возражать, когда такъ грубо, такъ пошло насмѣхались надъ ея святынней, надъ ея чистою любовью и уваженіемъ къ лучшему человѣку, котораго она знала? Нѣтъ, для этого не было у нея словъ.

А Володя продолжалъ еще неумолимѣе и насмѣшливѣе.

— Что? Ты молчишь? Неужели ты думала, что все это тайна? О, наивность! Меня не проведешь. Давно я все это вижу—всѣ ваши амурь, шушуканья, прогулки на лодкѣ во тѣмъ ночной... Но я все молчалъ, надѣялся, что вы опомнитесь. Однако, нѣтъ. Романъ начинается заходить далеко. Глупая! понимаешь ли ты, что тебя ведутъ на погибель? Знаешь ли ты, какой низкій и грязный человѣкъ Діодоръ Павлычъ? Вѣдь онъ тебѣ дядя родной, а между тѣмъ безчестно завлекаетъ тебя, пользуясь твоей глупостью и наивностью...

— Ты лжешь!—крикнула Лена сдавленнымъ голосомъ, вся дрожа отъ негодованія.—Ты лжешь, негодяй!..

Володя вспыхнулъ и ближе подошелъ къ Леночкѣ.

— Я лгу? А это что? — онъ вынулъ изъ кармана смятые листы исписанной бумаги и показалъ ихъ сестрѣ. Лена узнала свой дневникъ.—Это что? Тутъ всѣ твои признанія и нелѣпныя мечты бѣжать съ дядюшкой въ невѣдомыя страны, текуція медомъ и млеко. Противъ этого ты ничего не можешь возразить... Ха-ха-ха! Сумасшедшая дѣвчонка! Вотъ онъ, всѣ твои мечты...

Лена простионала и чуть-было не упала... Она бросилась къ Володѣ, чтобы вырвать у него свой дневникъ, но онъ, злобно смѣясь, оттолкнулъ ее отъ себя и спряталъ листки въ карманъ.

— Вотъ тебѣ за всѣ твои записки! Называй теперь меня злодѣемъ, подлецомъ, — какъ хочешь, мнѣ все равно. Послѣ, когда ты опомнишься, ты поймешь, что я былъ правъ. А теперь пора кончить эту комедію. Нигуда ты не убѣжишь. Завтра твой возлюбленный дядюшка покинетъ наши прекрасныя мѣста и очутится вмѣсто Аркадіи въ острогъ. А ты... тебя запрутъ до тѣхъ поръ, пока ты не отрезвишься и не оставишь своихъ глупыхъ фантазій...

Туманъ застлалъ глаза Лены; все закружилось предъ нею. Ненависть, отчаяніе нахлынули на нее огромною волною, и она захлебнулась въ ней. Не помня, что дѣлаетъ, она схватила револьверъ, лежавшій на этажеркѣ, и бросилась впередъ.

— Предатель!...—прохрипѣла она.

Выстрѣлъ грануль, комната наполнилась дымомъ.

Въ эту минуту дверь настежь распахнулась. Вбѣжалъ блѣдный, какъ мертвецъ, Діодоръ; за нимъ мелькнули встревоженные, испуганные лица Антона Кирилыча, Ольги Ивановны и прочихъ домочадцевъ.

Дымъ уже разсѣвался. Володя лежалъ на полу, облитомъ кровью; Лена стояла надъ нимъ еще съ дымящимся револьверомъ въ рукахъ и безмысленно смотрѣла на брата.

— Леночка! Чтò ты надѣлала!—въ отчаяніи крикнулъ Діодоръ, бросаясь къ ней.

— Дядя Додя!—прошептала Лена испуганно, и все лицо ея освѣтилось дѣтской улыбкой, какой она, бывало, смѣялась въ дѣтствѣ.—Дядя Додя... Я за тебя... Онъ тебя выдалъ...

И съ этими словами она сама свалилась на полъ, въ лужу крови.

Тѣмъ же вечеромъ Зюзя, чуть живой пьяный, кричалъ въ кабацкѣ собравшимся около него слушателямъ: „Бдите, говорю вамъ, бдите, ибо не знаете ни дня, ни часа, въ онъ же придетъ страшный Судія! Близокъ день судный,—страшное знаменіе было намъ сегодня... Возстаетъ родъ на родъ, братъ на брата, сынъ на отца. Истинно говорю вамъ, бдите!“...

И онъ заливался слезами. Слушатели благоговѣнно глядѣли на него.

В. ДМИТРІЕВА.



П. Н. КУДРЯВЦЕВЪ

ВЪ

ЕГО УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ТРУДАХЪ

II ¹⁾.

Читатель можетъ судить по предшествовавшимъ замѣткамъ, какъ разнообразно содержаніе перваго тома статей Кудрявцева. Статьи втораго тома значительнѣе по объему и ближе другъ къ другу по содержанію—по крайней мѣрѣ, всѣ относятся къ исторіи новаго времени. Между ними прежде всего привлекаетъ къ себѣ наше вниманіе—„Карлъ V“; это—цѣлая книга въ 260 стр., почти полная біографія знаменитаго императора, съ котораго, можно сказать, начинается Новая Исторія Европы. Много писано про Карла V; чрезвычайно много издано архивнаго матеріала, къ нему относящагося, но,—можетъ быть отчасти и поэтому,—со времени сочиненія извѣстнаго Робертсона не появилось еще ни одной цѣльной біографіи его. Только три года тому назадъ вышелъ первый томъ обширной біографіи Карла V, принятой страсбургскимъ профессоромъ Баумгартеномъ. Она достигла теперь втораго тома и еще не вышла изъ предѣловъ первыхъ лѣтъ царствованія императора. Поэтому біографія, составленная Кудрявцевымъ, и теперь еще, по прошествіи 30 лѣтъ, не утратила своего значенія въ русской литературѣ; она его и не утратитъ, какъ своеобразная попытка разгадать и изобразить

¹⁾ См. выше: сентябрь, стр. 146.

личность знаменитаго дѣателя, игравшаго такую роль въ судьбахъ Европы.

Карлъ V давно долженъ былъ возбуждать къ себѣ интересъ Кудрявцева. „Кто хоть разъ, — говоритъ Кудрявцевъ, — проходилъ съ мыслию разныя перемѣны въ судьбахъ Карла, тотъ никогда не можетъ изгладить изъ своей памяти этого величественнаго печальнаго образа, заживо скоронившаго въ монастырѣ свое царственное величіе и свои колоссальныя замыслы. Чувство, возбуждаемое его судьбою, нельзя назвать симпатіею, но оно почти равняется ей своимъ постоянствомъ и неизмѣнностью. Карла нельзя приравнять ни къ одному изъ великихъ дѣателей стараго и новаго времени; онъ стоитъ отдѣльно, самъ по себѣ, поражая обращенную къ нему мысль не столько величавымъ видомъ, сколько таинственностью своего выраженія. Дивисься его неослабной душевной силѣ при постоянной физической болѣзненности; съ изумленіемъ взвѣшиваешь міровыя средства, отданныя судьбою въ его распоряженіе, и, зная притомъ его неутомимую дѣятельность, не знаешь, чему приписать недостатокъ великихъ результатовъ... Кто болѣе его беспокоился всю жизнь и кто менѣе пожалъ истинной славы отъ трудовъ своихъ?.. Не оттого ли ужъ вѣнецъ истинно великаго человѣка миновалъ его голову, что онъ имѣлъ противъ себя таинственную силу рока, съ которою ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть равной борьбы? Но такой фатализмъ былъ бы очень страннымъ явленіемъ среди другихъ весьма разумныхъ движеній въ исторіи того времени“.

„А это добровольное и вмѣстѣ таинственное отреченіе Карла V отъ власти, которымъ такъ неожиданно для всѣхъ разрѣшилась его многолѣтняя государственная дѣятельность? Было ли оно естественнымъ слѣдствіемъ усталости послѣ многихъ лѣтъ самаго напряженнаго вниманія къ дѣламъ, или, можетъ быть, источникомъ его было не столько отвращеніе къ дѣламъ, сколько накопившееся презрѣніе къ лицамъ и утрата всякой вѣры въ достоинство ихъ дѣйствій? Во всякомъ случаѣ, дѣло непринужденнаго и соединеннаго съ торжественностью отреченія Карла V стоитъ одиноко въ исторіи и всегда останется привлекательнымъ для мысли, хотя бы только ради своей оригинальности“.

Вниманіе Кудрявцева къ Карлу V было еще болѣе возбуждено почти одновременнымъ появленіемъ въ началѣ пятидесятихъ годовъ трехъ монографій о Карлѣ V, на англійскомъ и французскомъ языкахъ, которыя всѣ касались его пребыванія въ монастырѣ и изображали этотъ періодъ его жизни съ помощью новыхъ матеріаловъ. Особенное значеніе имѣла для Кудрявцева

книга Минье, который понималъ, что безъ связи съ прежнею жизнью императора разсказъ объ его отшельничествѣ имѣлъ бы только связочный интересъ въ глазахъ читателя, и потому началъ не съ отреченія, но сдѣлалъ попытку объяснить этотъ фактъ изъ всей предшествующей жизни Карла V. При этомъ Минье особенно настаивалъ на физическихъ причинахъ, на природныхъ свойствахъ и организаціи Карла V; Минье придавалъ большое значеніе извѣстному недугу матери Карла, и изъ наслѣдственнаго пораженія организма выводилъ постепенно усиливавшееся меланхолическое расположеніе императора, которое, наконецъ, овладѣло имъ совершенно и, въ связи съ крайнимъ утомленіемъ отъ напряженной политической дѣятельности, *понудило* Карла отказаться отъ власти и отъ свѣта. Хорошо знакомый съ политическими событіями царствованія Карла V, Минье не могъ, конечно, не принять и ихъ во вниманіе; но онъ, по замѣчанію Кудрявцева, слишкомъ мало отгѣнялъ дѣйствіе ихъ на духъ Карла V, не довольно давалъ чувствовать читателю, что они могли имѣть сильное вліяніе на его послѣднее рѣшеніе; притомъ Минье, признавая крупныя неудачи въ жизни Карла V, представлялъ положеніе его дѣлъ, въ послѣдніе три года передъ отреченіемъ, въ слишкомъ благопріятномъ для него свѣтѣ и утверждалъ, что императоръ пришелъ къ рѣшенію отречься не прежде, какъ исправивъ свое невыгодное положеніе и возвративъ своему авторитету прежнее его достоинство и величіе. Читатель книги Минье выносилъ, такимъ образомъ, впечатлѣніе, что вліяніе политическихъ событій выразилось развѣ лишь въ томъ, что они потребовали отъ Карла болѣе усилій, чѣмъ сколько могла вынести его природа, и что еслибы даже событія расположились гораздо благопріятнѣе для императора, онъ все бы, рано или поздно, поддался болѣзненной наклонности, которую носилъ въ себѣ.

Кудрявцевъ не могъ примириться съ такимъ рѣшеніемъ вопроса. Онъ вообще, какъ мы видѣли, не былъ склоненъ преувеличивать въ жизни человѣческой и въ исторіи вліяніе физическихъ причинъ; а здѣсь, при анализѣ этихъ причинъ, при разборѣ доказательствъ Минье, все болѣе и болѣе росли сомнѣнія Кудрявцева. Онъ допускалъ наслѣдственное вліяніе материнскаго недуга и признавалъ въ немъ „корень, отъ котораго время отъ времени могли нарождаться въ душѣ Карла разныя болѣзненные расположенія“, но не видѣлъ причины думать, чтобы они имѣли прямое вліяніе на его практическую дѣятельность. Кудрявцевъ указывалъ на то, что физическое наслѣдство Карла отъ матери было вовсе не такъ значительно; онъ, напр., совсѣмъ не наслѣ-

довалъ ея горячаго, страстнаго темперамента, и его природа была скорѣе фламандская, чѣмъ испанская. Русскій историкъ далѣе доказываетъ, что появлявшіеся иногда у Карла признаки меланхолическаго настроенія имѣли только мимолетное значеніе, что тяжелая болѣзнь, двукратно посѣтившая императора, была слѣдствіемъ усиленныхъ трудовъ на войнѣ и не вызывала никакого мрачнаго душевнаго настроенія или отвращенія отъ свѣтской дѣятельности; съ другой стороны, Кудрявцевъ показываетъ, какъ недостаточно Минье взвѣсилъ значеніе, которое имѣли въ жизни Карла извѣстныя неблагоприятныя для него событія, и въ результатъ приходитъ къ слѣдующей формулѣ, выражающей его, противоположное Минье, мнѣніе: внѣшнія событія играли гораздо болѣе значительную роль въ жизни Карла V, чѣмъ думаютъ. Ошибочно полагать, что изъ однихъ природныхъ свойствъ и недостатковъ его организаціи объясняется все теченіе его жизни и важнѣйшіе въ ней повороты. Въ Карлѣ V болѣе, чѣмъ въ комъ-нибудь изъ его современниковъ, не надобно ни на минуту забывать по преимуществу—*политическаго дѣятеля*. Если онъ хотѣлъ класть свою печать на событія и давать имъ направленіе по своей волѣ, то они, въ свою очередь, еще сильнѣе, можетъ быть, отражались на его собственной судьбѣ. „Скажемъ прямо,—воскликаетъ Кудрявцевъ:—на нашъ взглядъ, отреченіе Карла V скорѣе вытекало изъ его положенія и хода внѣшнихъ обстоятельствъ, чѣмъ изъ его душевныхъ расположеній. Какое бы развитіе ни получилъ крившійся въ немъ зародышъ болѣзни, едва ли бы когда онъ взялъ совершенный верхъ надъ его привычкою властвовать“.

Такая формула возлагала на историка обязанность обстоятельнаго внѣшняго обзорѣнія политической дѣятельности Карла V и оцѣнки нравственнаго вліянія, которое она имѣла на императора. Если отреченіе Карла V отъ престола было слѣдствіемъ его недовольства результатами этой политической дѣятельности, то нужно было знать, чего же именно ждалъ для себя Карлъ V отъ нея, нужно было выяснить *идею* знаменитаго царствованія. Приходилось установить *идеалы* и планы Карла V, „чтобы стали понятны тѣ глубокія противорѣчія, въ которыхъ запутался императоръ, думая подчинить ходъ великихъ всемірныхъ событій своего вѣка своей личной политикѣ“, чтобы постигнуть *тайну того безплодія*, которымъ, по мнѣнію Кудрявцева, несмотря на могущественныя средства императора, поражена почти вся его политическая дѣятельность и сознаніе котораго привело его, наконецъ, къ отреченію отъ власти. Такимъ образомъ, Кудрявцевъ возвысилъ инте-

рестъ и значеніе исторической проблемы, которую пытался разрѣшить Минье. Задача объяснить удаленіе Карла V въ монастырь изъ темы чисто психологической, почти, можно сказать, патологической, становится *исторической*; на первый планъ, вмѣсто признаковъ меланхолическаго недуга Карла V, становятся его политическіе и религіозные идеалы и тѣ міровыя задачи, которыя были поставлены XVI вѣкомъ и разрѣшить которыя Карлъ V задумалъ, сообразно съ своими убѣжденіями, въ извѣстномъ именно направленіи. Какіе же убѣжденія и идеалы приписываетъ Кудрявцевъ Карлу V? какъ понимаетъ онъ, на основаніи этихъ данныхъ, личность императора? Въ этой характеристикѣ и въ оцѣнѣ или окраскѣ идеаловъ Карла V историкомъ заключается, помимо повѣствовательнаго интереса, главное значеніе біографіи Кудрявцева, которое и насъ побуждаетъ остановиться на ней подробнѣе.

Совершенно цѣлесообразно Кудрявцевъ пытается объяснить воспитаніемъ и средой происхожденіе политическихъ идеаловъ Карла V; онъ указываетъ на то, что въ воспитаніи Карла мало было дано мѣста кровнымъ родственнымъ чувствамъ, и потому въ немъ прежде всего чувствуется недостатокъ первыхъ привязанностей; по странному стеченію обстоятельствъ, у него „было только мѣсто рожденія, но не оказывалось истиннаго отечества“. Начала семейныя и національныя рано замѣнены были для Карла болѣе отвлеченными началами политическими. Въ Карлѣ, посредствомъ искусственнаго воспитанія, развита была преимущественно, насчетъ другихъ душевныхъ способностей, государственная и политическая воспріимчивость; но его учили дорожить формой безъ отношенія къ ея содержанію; народонаселеніе края и его истинные интересы были для него понятія отвлеченныя, поэтому онъ преслѣдовалъ свои государственные идеалы, мало думая о тѣхъ, къ кому они были прилагаемы на практикѣ.

Кудрявцевъ подробно проводитъ эти мысли, описывая воспитаніе Карла V въ Нидерландахъ и первую дѣятельность его въ Испаніи. Здѣсь историкъ всего болѣе пришлось бы сдѣлать примѣчанія, еслибы ему суждено было дожить до появленія труда Баумгартена, который, пользуясь новыми данными, особенно хорошо освѣтилъ этотъ періодъ въ жизни Карла. Не входя въ подробности, мы скажемъ только, что пора самостоятельной дѣятельности молодого Карла, какъ теперь оказалось, наступила гораздо позднѣе, а потому и отвѣтственность его за многое, что было совершено въ Испаніи, уменьшается.

„Изъ одной политики никогда, впрочемъ, нельзя надѣяться объяснить себѣ всего человѣка“. Воспитаніе дало извѣстное на-

правление не только политическому, но и религиозному идеалу Карла V; *католическія* понятія легли въ основу всего будущаго образа мыслей его и служили ему мѣркой для оцѣнки людей и явленій. Оттого, что Карлъ былъ воспитанъ въ Нидерландахъ, говорить Кудрявцевъ, а не въ Испаніи, католицизмъ не развился въ немъ до испанскаго фанатизма, но все же проникъ въ его политику и большею частью составлялъ въ ней самую душу. Католицизмъ былъ почти единственною живою связью, привязывавшею Карла V къ его подданнымъ въ Испаніи и Италіи; на католическомъ воззрѣніи основаны были и самые ранніе его политическіе планы. „Оно же потомъ служило главнымъ возбуждающимъ средствомъ для его *фантазіи*, которая, не довольствуясь дѣйствительнымъ положеніемъ вещей, строила въ томъ же самомъ духѣ новыя обширныя предпріятія *мечтательнаго* ¹⁾ свойства. Однимъ словомъ, „въ то самое время, когда цѣлый вѣкъ, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, неудержимо рвался впередъ, мысль Карла V все больше и больше погружалась въ *туманное средневѣковое* созерцаніе, почерпая изъ него не только силу для своихъ личныхъ убѣжденій, но и побужденіе для своей политической дѣятельности въ самомъ обширномъ смыслѣ слова“. Эту католическую основу Кудрявцевъ видитъ прежде всего въ „потребности общаго мира между христіанскими народами“, которая выражена въ нѣкоторыхъ раннихъ дипломатическихъ актахъ Карла V. Объясняя это направленіе уроками епископа Адріана, Кудрявцевъ замѣчаетъ, что они слились въ душѣ воспитанника съ политическими наставленіями другого его воспитателя. Тогда опредѣлилась для Карла отдаленная цѣль всѣхъ его усилій соблюдать миръ между христіанскими государствами. „Минуя всѣ современныя отношенія и какъ будто ничего не зная о нихъ, тогда уже Карлъ указывалъ своимъ настоящимъ и будущимъ союзникамъ на походъ соединенными силами противъ невѣрныхъ, противъ турокъ, какъ на вѣнецъ всей миролюбивой политики, основанной на христіанскихъ началахъ“.

Въ такомъ настроеніи былъ 19-лѣтній Карлъ, когда дипломатическое состязаніе между нимъ и Францискомъ I изъ-за императорскаго вѣнца рѣшилось въ его пользу. Вступленіе на императорскій престолъ Германіи еще болѣе укрѣпило въ Карлѣ идею общаго похода противъ турокъ. Кудрявцевъ оспариваетъ, чтобы „необходимость борьбы съ турками вытекала для Карла изъ самаго

¹⁾ Излагая мнѣнія Кудрявцева о Карлѣ V, мы будемъ подчеркивать тѣ выраженія, на которыя считаемъ особенно нужнымъ обратить вниманіе читателей.

положенія Германіи“, хотя признаетъ, что этой странѣ дѣйствительно угрожалъ тогда разливъ мусульманскаго завоеванія, что если Испанія уже кончила свою борьбу съ мусульманами, то для Германіи она только начиналась. Несмотря, однако, на это, Кудрявцевъ какъ бы упрекаетъ Карла V въ томъ, что онъ вступилъ на нѣмецкій престолъ съ *готовой мыслью* о войнѣ съ турками. Если эта мысль получила здѣсь новое развитіе, то причина, по мнѣнію Кудрявцева, лежала не въ дѣйствительномъ положеніи Германіи. „Политическіе виды и идеи выросли для Карла *не изъ самой почвы*, на которой онъ стоялъ, а нарождались въ его головѣ, сообразно съ высотой его *личнаго* положенія. Перемѣны въ положеніяхъ Карла можно сравнить съ постепеннымъ восхожденіемъ его съ одной высоты на другую. Чѣмъ больше онъ самъ поднимался впередъ, тѣмъ шире, правда, раскрывался передъ нимъ горизонтъ, но тѣмъ болѣе терялъ онъ самъ чувство дѣйствительной почвы, и взглядъ его на предметы становился все отвлеченнѣе и отвлеченнѣе. Съ той высоты особенно, на которую поставило его нѣмецкое избраніе, исчезали для него частныя или народныя отличія, столь, впрочемъ, существенныя, и выдавалась рѣзко развѣ только самая видная противоположность двухъ міровъ — христіанскаго и мусульманскаго“.

Но вступленіе на императорскій престолъ, по мнѣнію Кудрявцева, развило еще въ другую сторону *мечтательность* Карла V. Возлазая на себя корону, Карлъ не только принималъ власть надъ Германіей, но и самую идею имперіи, какъ она была выработана въ прежнее время. „Чего не могла дать ему дѣйствительность, то онъ дополнялъ своимъ воображеніемъ“. Его имперія была та священная римская имперія, которая считала своимъ основателемъ Карла V., а возстановителемъ — Оттона I, также Великаго. Карлъ хотѣлъ для себя имперіи въ ея *старомъ* смыслѣ, со всѣми ея отличительными признаками и особенностями. „Онъ не иначе воображалъ ее себѣ, какъ въ видѣ огромнаго зданія съ двумя отдѣльными вершинами, подобно тому, какъ обыкновенно заканчивались большія готическія сооруженія, и именно потому, что онъ бралъ имперію на старыхъ основаніяхъ, Карлъ принималъ ее съ *папскою властью*“.

Этой политической мысли Карла, по словамъ Кудрявцева, „нельзя отказать въ величій и даже въ нѣкоторомъ достоинствѣ“. Она обнимала весь католическій міръ того времени и не прежде хотѣла успокоиться, какъ уничтоживъ во всемірной борьбѣ противоположность его съ азіатскимъ міромъ... „Нужно было имѣть орлиный взглядъ и орлиную способность высокаго паренія, чтобы съ

высоты одной мысли окинуть однимъ взоромъ такой обширный театръ дѣйствій "... Изъ современниковъ Карла V, безспорно, никто не парилъ такъ высоко; его истинные предшественники въ этомъ направленіи оставались далеко позади... „Въ XVI в. Карлъ мечталъ осуществить идею, которая составляла главное движущее начало европейской духовной жизни въ XI и XII вѣкахъ“.

Отождествивъ политическій идеалъ Карла V съ цѣлью крестовыхъ походовъ, Кудрявцевъ создалъ себѣ основаніе для осужденія этого идеала. „Но въ томъ-то и лежитъ *осужденіе* этой великой мысли, что, уходя далеко отъ своей современности, она возвращалась къ давно прошедшимъ и почти забытымъ уже идеаламъ. Она была схвачена, такъ сказать, сверху, безъ всякаго почти отношенія къ ближайшимъ жизненнымъ требованіямъ своего вѣка. Она не выросла на современной почвѣ, а была послѣднимъ отголоскомъ того направленія, которое составило главное содержаніе среднихъ вѣковъ и, можно сказать, опредѣлило ихъ характеръ въ отличіе отъ древняго и новаго образованія“. *Мысль мечтательная*, когда-то сильная сочувствіемъ къ ней народныхъ массъ, но давно ими забытая. Оттого „неудивительно, что Карлъ и его современники часто не узнавали или переставали понимать другъ друга. Когда въ нихъ жила неумолкающая потребность обновленія, онъ думалъ только о томъ, чтобы снова вызвать къ жизни духъ среднихъ вѣковъ, и, смотря на все окружающее съ ихъ точки зрѣнія, умѣлъ, однако, быть *еще идеальнѣе*, въ своемъ воззрѣніи на міръ, чѣмъ современники Готфрида Бульонскаго, Фридриха Барбароссы, Людовика Святого“.

Но этимъ еще не ограничивается, по мысли Кудрявцева, мечтательность политическихъ плановъ Карла V и вліяніе императорскаго вѣнца на фантастическое направленіе его стремленій. При громадныхъ средствахъ, собравшихся въ рукахъ Карла, чѣмъ же мѣшало ему осуществить его любимую мысль—походъ противъ турокъ? Почему же прежде, чѣмъ обратить всѣ силы противъ невѣрныхъ, Карлъ завязался въ другія продолжительныя войны? Кудрявцевъ не забываетъ о „современныхъ обстоятельствахъ“, но опять-таки настаиваетъ на вліяніи политическихъ мечтаній. Въ качествѣ главы священной римской имперіи и преимущественно ея средствами хотѣлъ Карлъ совершить свой великій подвигъ, но для того ему необходимо было напередъ подумать о томъ, чтобы *возстановить имперію въ ея полномъ составѣ*. Ибо въ мысли Карла V была имперія Карла V., Оттона I и Гогенштауфеновъ, т.-е. одно большое политическое тѣло, въ которомъ нераздѣльно сливались Германія и Италія, какъ двѣ равныя су-

щественныя ея части. А въ необходимости обладать Италіею присоединялось еще средневѣковое преданіе, требовавшее для императора коронованія въ Римѣ, слѣдовательно добровольное или вынужденное подчиненіе папы политикѣ императора. Эти-то стремленія и вовлекли Карла V въ продолжительныя войны съ Франціей и отдалили для него надолго осуществленіе его главнаго идеала.

Представляя себѣ *такимъ* образомъ политическій идеалъ Карла V, Кудрявцевъ создалъ себѣ мѣрку для провѣрки и оцѣнки его дѣятельности. Съ такой точки зрѣнія вся дѣятельность Карла V должна была представиться историкъ цѣлымъ рядомъ ошибокъ, блужданій и внутреннихъ противорѣчій, которыя имѣли своимъ послѣдствіемъ напрасную трату силъ, бесплодность начинаній и окончательное разочарованіе. Стремленіе обезпечить за собою обладаніе Италіей является, въ глазахъ Кудрявцева, „возобновленіемъ старыхъ и почти забытыхъ (? стр. 273) притязаній“, война съ Франціей — „*ненужною* борьбою“ (295), „дѣйствіемъ неосторожнымъ и слишкомъ самонадѣяннымъ“. Не менѣе рѣзко осуждаетъ Кудрявцевъ политику Карла V относительно Германіи. Эта страна переживала тогда глубокій кризисъ, который былъ вызванъ двумя жизненными потребностями ея, а Карлъ V не удовлетворилъ ни одной изъ нихъ. Германія нуждалась, во-первыхъ, въ политическомъ единствѣ: „Не какъ теорія, а какъ урокъ многихъ столѣтій, вытекала для Германіи, изъ прежней ея политической жизни, необходимость вѣрпкой и сильной государственной власти, которая бы положила конецъ феодальному неустройству и возвратила имперіи ея внутреннее единство и силу... Германіи надо было поспѣшить выходить на эту дорогу, пока не было поздно... для нея наступилъ послѣдній срокъ исправить прежнее ложное направленіе“. Личныя виды Карла V не противорѣчили потребности Германіи въ единствѣ власти, но у него былъ уже принятъ извѣстный намъ общій планъ, и реорганизація Германіи стояла для него на третьемъ планѣ.

Еще болѣе расходились планы Карла V и потребности Германіи въ настоящемъ вопросѣ о религіозной реформѣ. Изъ долгой умственной работы, занимавшей предшествующія поколѣнія, въ Германіи, наконецъ, сложилось вѣрпкое, сильное, непоколебимое убѣжденіе. Нація готовилась сдѣлать рѣшительное усиліе и только „ожидала себѣ вѣрнаго органа, чтобы оторваться отъ Рима и освободиться навсегда отъ его отяготительныхъ притязаній“.

По своимъ средневѣковымъ представленіямъ о двухъ верши-

нахъ міра, Карлъ не могъ стать на сторонѣ этого движенія; въ этомъ раздѣленіи интересовъ между страной и главою государства было что-то роковое для Германіи; но отсюда же вытекала, по крайней мѣрѣ, „извѣстная обязанность для Карла V“. Изъ того, что Карлъ не могъ быть другомъ реформы, Кудрявцевъ дѣлаетъ выводъ, что ему слѣдовало поскорѣе подавить ее, и вмѣняеть ему въ вину его равнодушіе къ распространенію проповѣди Лютера. Это равнодушіе объясняется тѣмъ, что борьба съ реформой нарушила бы принятый Карломъ общій планъ политическихъ дѣйствій и тѣмъ, что онъ съ *высоты* своего положенія не умѣлъ разглядѣть настоящихъ размѣровъ явленія.

Кудрявцевъ по этому поводу примѣняетъ къ Карлу V мѣткое замѣчаніе о свойствѣ ума съ систематическимъ направленіемъ, которому „нерѣдко случается просмотрѣть или не опѣнить по достоинству важность явленія потому только, что оно еще не нашло себѣ мѣста въ заготовленномъ напередъ планѣ или что теоретическое понятіе о немъ предшествовало, такъ сказать, наглядному съ нимъ знакомству“.

Увлекаясь *системою*, Карлъ V оставилъ Германію въ самую критическую минуту послѣ Вормскаго сейма, ничего не сдѣлавъ ни для утвержденія центральной власти, ни для подавленія реформы. Карлъ V не имѣлъ глубокаго и вѣрнаго смысла для требованій времени и хотѣлъ идти своею собственною дорогою. Виды его были широки, но они нисколько не отвѣчали истиннымъ потребностямъ государства. Оттого, когда Германія сгорала жаждою реформы, онъ поворотился къ ней спиною и *принялъ* ~~смыслъ~~ Франциска на войну.

Такимъ образомъ, повинувшись системѣ и неуклонно стремясь къ осуществленію своего мечтательнаго идеала, Карлъ V дѣлалъ все, чтобы отдалить достиженіе цѣли. Съ этой точки зрѣнія разсматриваетъ Кудрявцевъ дальнѣйшую политическую дѣятельность Карла, постоянно подчеркивая безплодность его усилій. Окончаніе первыхъ двухъ войнъ Карла съ Франціею, которыя обезпечили за императоромъ обладаніе Италіей, внушаетъ историку слѣдующее размышленіе: „успѣхи, приобретенные въ войнѣ съ Францискомъ, взяли у Карла слишкомъ много дорогого времени и, однако, не соответствовали его пылкимъ надеждамъ“; а послѣ мира въ Крепи, окончившаго четвертую войну съ Франціей, онъ восклицаетъ: „когда подумаешь, что это была послѣдняя война между Карломъ и Францискомъ, заключавшая навсегда ихъ многолѣтнюю вражду, — то невольно рождается вопросъ: неужели эти выгоды стоили тѣхъ кровопролитныхъ войнъ,

которыми онѣ были куплены, и неужели ради нихъ можно было нѣсколько разъ мѣнять политику и жертвовать другими планами, болѣе существенной важности?"

Успѣхи, достигнутые при отраженіи турецкихъ нашествій, представляются также незначительными. Разсказавъ про походъ Карла въ союзѣ съ протестантскими князьями и во главѣ 80,000 войска, побудившій Солимана безъ боя отступить изъ Штиріи, Кудрявецъ все-таки заключаетъ: „вотъ на какіе скудные и вовсе не блестящіе результаты уходили огромныя средства цѣлой имперіи и нѣсколькихъ королевствъ, соединенныхъ подъ властью одного человѣка!“ Всего же трагичнѣе разыгрался въ жизни Карла реформаціонный вопросъ. Когда Карлъ, 9 лѣтъ спустя послѣ Вормскаго сейма, снова обратился къ Германіи, дѣло протестантизма было почти обезпечено. Чрезвычайно искусно противопоставляетъ историкъ другъ другу два важнѣйшихъ момента въ исторіи реформации—Вормсъ и Аугсбургъ. „Тамъ идея реформации была воплощена въ одномъ человѣкѣ, который почти ничего не имѣлъ за себя, кромѣ своего адамантоваго убѣжденія; здѣсь та же самая идея представлена была цѣлымъ союзомъ протестантскихъ князей и одномыслящихъ съ ними городовъ, которые всѣ приносили на сеймъ — въ одной рукѣ изложеніе своихъ вѣрованій, а въ другой — мечъ, поднятый на защиту новаго ученія“. Въ виду этого единодушія, а также опасеній Турціи, въ Карлѣ V взяло верхъ благоразуміе въ политикѣ, и, забывъ про рѣшительныя намѣренія, съ которыми онъ ѣхалъ въ Аугсбургъ, императоръ заключилъ съ протестантами Нюрнбергскій религіозный миръ— „оборотъ столько же неожиданный, сколько и недостойный величія повелителя нѣсколькихъ странъ въ Европѣ и въ Новомъ Свѣтѣ“. Нюрнбергскій миръ надолго связалъ Карлу руки; своимъ обязательствомъ передъ протестантами—перенести споръ на рѣшеніе всеобщаго собора, Карлъ лишилъ себя свободы дѣйствія во внутренней политикѣ, и въ ожиданіи того времени, когда папа согласится исполнить его желанія, Карлъ долженъ былъ оставить протестантовъ въ покоѣ. Эти отношенія къ протестантамъ Кудрявецъ считаетъ главнымъ *противорѣчіемъ* Карловой политики и называетъ ихъ *противорѣчіемъ* потому, „что они заставили Карла измѣнить для нихъ любимымъ его планамъ и вынудили у него уступки, которыя не согласовались ни съ его матеріальнымъ положеніемъ, ни съ его убѣжденіями“.

Читателямъ извѣстно, что Нюрнбергскій миръ не былъ окончательнымъ рѣшеніемъ реформаціоннаго вопроса и что въ концѣ своего царствованія Карлъ вступилъ въ войну съ протестантами.

Это вооруженное столеновѣніе между императоромъ и Шмаль-кальденскимъ союзомъ Кудрявцевъ обсуждаетъ съ двухъ противоположныхъ точекъ зрѣнія, но каждый разъ представляетъ въ одинаково невыгодномъ свѣтѣ для Карла. Съ одной стороны, онъ видитъ въ этомъ отступленіе отъ главной идеи Карловой политики, видитъ измѣну тому идеалу, который вдохновлялъ императора съ юныхъ лѣтъ. Чтобы воевать съ протестантами, надо было отказаться отъ заветной надежды побѣдить турокъ, „и Карлу V, — говоритъ Кудрявцевъ, — стоило большихъ усилій надъ самимъ собою, чтобъ вдругъ такимъ образомъ перевернуть всю свою политику. Рѣшаясь на открытую войну съ протестантами, онъ приносилъ въ жертву этому новому, вынужденному у него обстоятельствами, предпріятію всѣ свои прежніе замыслы“.

Съ другой стороны, историкъ признаетъ войну неизбежной, видитъ корень ея „въ самой природѣ вещей и существовавшихъ отношеній“. Противорѣчіе между убѣжденіями Карла и протестантовъ или, по выраженію Кудрявцева, — „между двумя направленіями, изъ которыхъ одно было прямымъ выраженіемъ духа времени и его потребностей, а другое служило отголоскомъ прошлаго“ — было такъ глубоко, что столкновенія и рѣшительный разрывъ между ними были *неизбѣжны*. Мало того, Кудрявцевъ дѣлаетъ Карлу упрекъ за то, что, „занятый своими личными планами“, онъ давно не началъ войны съ протестантами, что „своими уступками протестантизму, сдѣланными для постороннихъ цѣлей, онъ воспиталъ въ немъ сознаніе своей силы“, пока, наконецъ, онъ и самъ почувствовалъ необходимость такъ или иначе раздѣлаться навсегда съ протестантами.

И хотя этими словами Кудрявцевъ признаетъ *историческую* необходимость войны, хотя онъ самъ излагаетъ причины, сдѣлавшія войну для Карла неотложной, хотя приводитъ изъ письма императора къ папѣ слова: „пришло время, когда оба они могутъ сказать о себѣ, что Германія не хочетъ ихъ знать болѣе“ — онъ, однако, и въ этомъ случаѣ настаиваетъ на *личныхъ* мотивахъ, руководившихъ Карломъ V. „Важнѣйшія рѣшенія Карла обыкновенно истекали прежде всего изъ личныхъ интересовъ, видовъ, желаній или симпатій; общіе же или государственные, болѣею частью, стояли уже на второмъ планѣ. Такъ было и въ настоящемъ случаѣ“.

Побѣда осталась на сторонѣ Карла; Кудрявцевъ подчеркиваетъ вызванное ею ослѣпленіе императора: „онъ не устоялъ противъ искушенія: онъ обольстился своимъ успѣхомъ и предался самоувѣренности“. Этимъ настроеніемъ историкъ думаетъ объяснить

новую политику Карла V относительно протестантовъ, и извѣстный *интеримъ*—временное установленіе религіознаго вопроса до предполагавшагося въ будущемъ, *свободнаго* (т.-е. съ участіемъ протестантовъ) собора. Хотя Кудрявцевъ вынужденъ признать, что „Карлъ отвергнулъ мысль о безусловной реставраціи“, что императоръ руководился большею умѣренностью или осторожностью въ религіозномъ вопросѣ, тѣмъ католическая партія въ Германіи и папа,—тѣмъ не менѣе, онъ рѣзко осуждаетъ *интеримъ*, видитъ въ немъ одну *рутину*, въ которой выразилось вѣчное противорѣчіе Карла съ духомъ времени, требовавшего раздѣленія, *двойства*; называетъ интеримъ деспотическою мѣрою для достиженія того же идеала, которымъ постоянно одушевлена была политическая дѣятельность Карла отъ самыхъ первыхъ ея началъ. „Не побѣдами надъ мусульманскимъ міромъ, какъ предполагалось сначала, но приведеніемъ въ покорность всей Германіи, Карлъ высоко становился надъ всѣми современными властителями“. Наконецъ Кудрявцевъ находитъ въ интеримѣ и *мечтательную* сторону, объясняя ее тѣмъ, „что власть главы имперіи была, по представленію Карла V, первою властью въ христіанскомъ мірѣ и должна была простираться на всѣ отношенія, не исключая и духовныхъ“.

Успѣхъ Карла былъ непродолжителенъ; его главный союзникъ въ религіозной войнѣ, Морицъ Саксонскій, сталъ во главѣ побѣжденных протестантовъ и, въ союзѣ съ Франціей, вырвалъ изъ рукъ императора плоды его побѣды. Кудрявцевъ въ сильныхъ краскахъ изображаетъ и *позоръ* въ Инспрукѣ, когда „побѣдитель Франциска и другихъ постыдно бѣжалъ передъ какимъ-нибудь Морицемъ Саксонскимъ“, и „какъ больно было императору видѣть успѣхи французовъ на нѣмецкой землѣ и занятіе ими Меца“, и, наконецъ, глубокую *рану*, которую нанесло Карлу Пассауское перемиріе съ протестантами.

„Пораженіе внутреннее, униженіе передъ вѣнскимъ врагомъ... Такъ разбивались одна за другою великолѣпныя мечты Карла, такъ измѣняла ему самая дѣйствительность и каждый годъ уносилъ что-нибудь изъ того ореола, въ которомъ онъ обыкновенно являлся своимъ современникамъ“. А наконецъ, въ довершеніе всего, Карлу пришлось допустить то, чему онъ такъ упорно противился—„постоянный, неизмѣнный, безусловный, другими словами, *стѣнный миръ*“ съ протестантами въ Аугсбургѣ, который онъ предоставилъ подписать своему брату.

„Аугсбургскій миръ былъ развязкою великаго религіознаго спора, нѣсколько десятилѣтій сряду державшаго въ напряженіи

всѣ умственныя и нравственныя силы Германіи“. „И не было ли это развязкою цѣлаго царствованія,—спрашиваетъ Кудрявцевъ:—рѣшеніе Аугсбургскаго сейма не было ли и Карлу послѣднимъ приговоромъ?“

„На протестантскомъ вопросѣ сосредоточены были, въ послѣднее время, всѣ усилія Карла; ему пожертвовалъ онъ другими, болѣе привлекательными, планами... и на немъ онъ потерпѣлъ самое сильное пораженіе. Когда Карлъ надѣялся видѣть вънецъ своихъ усилій въ сохраненіи строгаго единства, вопросъ безвозвратно былъ рѣшенъ въ пользу раздѣленія. Всякая попытка измѣнить его рѣшеніе въ противоположномъ смыслѣ была бы безуспѣшной. Но вмѣстѣ съ тѣмъ для Карла закрывалась почти всякая дѣятельность, ибо только при условіи крѣпкаго единства Германіи онъ могъ возобновить свои мечты о всемірномъ владычествѣ и найти средства для успѣшной борьбы съ Турціей. Ожидать отъ времени переменъ къ лучшему было поздно... жизнь Карла склонялась уже къ закату, и ему оставалось только постоянно питаться горькимъ чувствомъ своего униженія, безъ надежды новыми славными подвигами изгладить его изъ памяти своихъ современниковъ“...

„Но сильная душа, недовольная міромъ, мститъ ему тѣмъ, что отворачивается отъ него“. Этими глубоко вѣрными словами Кудрявцевъ, можно сказать, приводитъ своего героя къ самымъ вратамъ монастыря, скрывшаго за своими стѣнами послѣдніе годы его жизни,—и здѣсь историкъ выражаетъ надежду, что онъ оправдалъ себя передъ читателями и объяснилъ, почему онъ не могъ „приписывать послѣднее рѣшеніе Карла усилившимся его недугамъ и болѣзненной мечтательности, повидимому, доставшейся ему въ наслѣдство“, а предпочелъ мнѣніе нѣмецкаго историка реформации, „котораго проникательный умъ и вѣрное сужденіе давно уже угадали истину“.

Читатель статьи о Карлѣ V, конечно, вынесетъ убѣжденіе, что русскій историкъ дѣйствительно вполне выяснилъ свою критическую точку зрѣнія и даже сдѣлалъ гораздо болѣе, чѣмъ былъ обязанъ, ибо Кудрявцевъ представилъ не только болѣе вѣрное объясненіе удаленія Карла въ монастырь, чѣмъ Минье, но и далъ такую общую его характеристику, что ею ярко освѣщается все царствованіе этого императора, и что изъ нея логично и какъ бы сама собою вытекаетъ вся его политика. Однако вполне ли вѣрна эта характеристика? не могутъ ли важнѣйшія дѣйствія и рѣшенія Карла V быть иначе объяснены? Не слагается ли изъ ихъ разсмотрѣнія и исторической оцѣнки иной образъ знаменитаго императора?

Вопросъ этотъ заслуживаетъ вниманія и по важности самаго предмета, и потому, что бросаетъ свѣтъ на приемы и условія, такъ сказать, портретной живописи въ исторіографіи.

Чрезвычайно любопытно наблюдать, какъ на историческій образъ Карла V, начертанный Кудрявцевымъ, повліялъ прежде всего *уголъ зрѣнія*, подъ которымъ историкъ глядѣлъ на предметъ; затѣмъ самая личность историка, т.-е. его убѣжденія и душевныя свойства; наконецъ, какъ мы постараемся выяснитъ, и не совсѣмъ соотвѣтствовавшее предмету настроеніе. Въ обликѣ Карла V, который мы имѣемъ передъ собою въ статьѣ Кудрявцева, всего ярче выступаютъ слѣдующія черты: мечтательность Карла V, его отчужденность духу времени, его склонность къ устарѣвшимъ, отжившимъ историческимъ идеаламъ. Между этими свойствами несомнѣнно существуетъ тѣсная связь: мечтательность дѣлаетъ возможнымъ непониманіе потребностей времени, преобладаніе отвлеченной жизни надъ жизнью дѣйствительности, служеніе мечтамъ прошлаго, сокрушеннымъ временемъ идоламъ. Мы думаемъ, что эти черты напрасно внесены въ портретъ Карла V, что ими наиболѣе обусловливается нѣкоторое несходство между созданіемъ историка и его историческимъ подлинникомъ. И намъ кажется, что не трудно объяснить, откуда попали въ портретъ эти черты. Онѣ отчасти уже были даны исходной точкой работы: задача, которую взялъ себѣ историкъ, заключалась въ томъ, чтобы объяснить отреченіе Карла V отъ власти и удаленіе въ монастырь. Кудрявцевъ остался недоволенъ предложеннымъ раньше объясненіемъ; по его собственнымъ словамъ, онъ искалъ *формулы*, чтобы короче выразить свое разногласіе съ Минье; формула нашлась, и она была приложена къ фактамъ; между формулой и фактами оказалось сильное соотвѣтствіе, но не потому, чтобы формула была выведена изъ фактовъ, а потому, что факты были рассмотрѣны съ такой точки зрѣнія, съ которой они подтверждали формулу. Карлъ V отрекся отъ престола, — утверждаетъ Кудрявцевъ, — не вслѣдствіе болѣзненнаго настроенія, а потому, что обчелся въ результатахъ своей политической жизни, своихъ многолѣтнихъ, неустанныхъ усилій. Но отчего произошло это банкротство великой жизни, привлекающее къ себѣ вниманіе отдаленныхъ потомковъ? виновата ли въ этомъ судьба? „не была ли, — спрашиваетъ Кудрявцевъ, — судьба въ одно и то же время нѣжною матерью Карлу и злою мачихой? Не оттого ли ужъ вѣнецъ истинно великаго человѣка миновалъ его головы, что онъ имѣлъ противъ себя таинственную силу рока, съ которою ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть равной борьбы?“ Совершенно

справедливо возстаёт историкъ противъ „такого фатализма, который былъ бы очень страннымъ явленіемъ среди другихъ весьма разумныхъ движеній въ исторіи того времени“. А если такъ, если не судьба виновата въ томъ, что Карлъ V, несмотря на громадныя средства многихъ государствъ ему подвластныхъ, несмотря на необыкновенную выносливость, на энергію и цѣпкость воли, потерпѣлъ крушеніе въ жизни, то гдѣ же разгадка, какъ не въ томъ, что онъ не понималъ вѣка, что онъ задался *ложными* идеалами, и думалъ этимъ своимъ мечтамъ подчинить все теченіе современной ему жизни?

При такомъ взглядѣ на дѣло, сюжетъ чрезвычайно выигрышаетъ въ драматизмъ; задача историка расширяется, ему предстоитъ больше чѣмъ объяснить одинъ психологическій моментъ въ жизни своего героя; онъ производитъ оцѣнку цѣлой политической жизни Карла V и вмѣстѣ съ тѣмъ произноситъ свой судъ надъ цѣлыми и идеалами великаго вѣка. Но не терпѣть ли отъ такой постановки вопроса историческая правда? Мы думаемъ, что сужденіе о Карлѣ и объ его вѣкѣ будетъ иное, если историкъ не станетъ уже въ двадцатилѣтнемъ Карлѣ, вѣнчающемся въ Ахенѣ, предвидѣть сокрушеннаго жизнью старика, погребающаго себя въ монастырѣ, если онъ не станетъ всматриваться въ его жизнь какъ бы лишь для того, чтобы отмѣтить въ ней недочеты и разочарованія, если онъ не станетъ изучать XVI вѣкъ съ точки зрѣнія личной судьбы Карла, а, наоборотъ, въ изученіи вѣка будетъ искать объясненія личности и судьбы этого императора.

Характеристика Карла V у Кудрявцева обусловливается такимъ образомъ, какъ намъ кажется, полемикой противъ Минье и желаніемъ болѣе широко и разумно, въ связи съ цѣлою жизнью Карла V, объяснить *развязку* этой жизни. Затѣмъ на эту характеристику повліяла самая личность историка. Это выражается очень ясно въ сужденіяхъ его объ отношеніяхъ Карла V къ задачамъ своего времени. Въ турецкомъ вопросѣ, и во взглядѣ на священную римскую имперію, и по отношенію къ реформации историкъ усвоилъ себѣ очень опредѣленную точку зрѣнія, и во многомъ, можно сказать, противоположную взглядамъ Карла V; какъ легко было при этихъ условіяхъ ввести на него обвиненіе въ непониманіи духа и потребностей своего времени! И не одни убѣжденія историка, самыя чувства и душевныя свойства его отразились въ его сужденіяхъ о Карлѣ V. Благородная натура Кудрявцева, напр., возмущена суровостью условій, которыя были возложены Карломъ V на Франциска при отпущеніи его изъ

плѣна, и онъ поэтому прилагаетъ къ побѣдителю мѣрку несообразную съ временемъ и обстоятельствами; въ другомъ случаѣ историкъ, перенося свои ощущенія на Карла V, представляетъ его себѣ безъ надобности слишкомъ чувствительнымъ. Говоря о впечатлѣніи, которое должно было произвести на отсутствовавшего императора разграбленіе его войсками Рима, взятого приступомъ, Кудрявцевъ замѣчаетъ: „по несчастію, между напечатанными письмами Карла V не сохранилось ни одного, въ которомъ бы онъ выразилъ свои чувствованія по поводу взятія Рима; но можно почти не сомнѣваться, что съ того времени многіе его постоянные и дотошъ твердые замыслы сильно поколебались въ его собственныхъ убѣжденіяхъ“. Такъ, даже впечатлѣнія, вынесенныя Карломъ изъ катастрофы Рима, представляются историкъ новымъ шагомъ къ монастырю св. Хуста, потому что онъ приписываетъ имъ свои нравственные ощущенія. Это напоминаетъ намъ подобное замѣчаніе въ статьяхъ о Ж. Бонапарте, гдѣ историкъ также влагаетъ въ другихъ свою душу. Введенный изъ терпѣнія сопротивленіемъ неаполитанцевъ, Наполеонъ далъ совѣтъ своему брату—предоставить войску на разграбленіе два или три большіе бурга изъ тѣхъ, которые особенно дурно вели себя: „это послужитъ примѣромъ для другихъ и придастъ солдатамъ болѣе веселости и охоты дѣйствовать“. „Хороши ободрительныя средства для дисциплинированной европейской арміи!“—восклицаетъ историкъ. „Нельзя сомнѣваться, что сами французскіе солдаты, къ которымъ относилось это предложеніе, отвергли бы его съ негодованіемъ, еслибы узнали настоящіе его мотивы“,—примѣръ того, какъ историкъ подъ приступомъ сильнаго чувства, можетъ забыть о характерѣ описываемаго имъ явленія, напр. духа наполеоновской арміи.

Такія субъективныя ощущенія историка, переносимыя на героя, измѣняютъ историческій образъ его. Но, конечно, болѣе чѣмъ такими случайными штрихами, сходство историческаго портрета обуславливается вѣрностью фона, на которомъ онъ выделяется. Чтобы достигнуть этого, историкъ долженъ, подобно поэту, настроить себя соотвѣтственно съ предметомъ. Когда Гёте задумалъ написать „Ифигенію“, онъ старался наполнить свое воображеніе образцами греческой пластики, и потому цѣлые дни занимался рисованіемъ античныхъ статуй. Историкъ Карла V долженъ былъ искать соотвѣтствующаго настроенія не въ воспоминаніяхъ о крестовыхъ походахъ и Гогенштауфенахъ, а въ исторической галлерей итальянскихъ династовъ эпохи возрожденія—этихъ виртуозовъ политики—такъ вѣрно и рельефно очерченныхъ Бурк-

гардомъ и въ мемуарахъ Филиппа де-Коминя. Это былъ вѣкъ государственнаго *строения*, вѣкъ, когда искусные политики создавали государство какъ художественный механизмъ, т.-е. съ такимъ же художественнымъ увлеченіемъ, съ какимъ архитекторы трудились надъ разрѣшеніемъ архитектурной проблемы, съ такимъ же глубокимъ расчетомъ, съ какимъ математики задумывались надъ проблемой математической. Въ дѣятельности такихъ политиковъ могло быть много отвлеченнаго и даже искусственнаго, но не было ничего мечтательнаго и романтическаго средневѣковаго. Ихъ мысль питалась не историческими воспоминаніями, а выгодами и интересами, которые представляла дѣйствительность. Они смотрѣли не назадъ, а впередъ, ибо сооруженіе государственнаго порядка на мѣстѣ феодальнаго хаоса было исторической задачей вѣка и условіемъ дальнѣйшаго прогресса. Подобный этимъ государственнымъ строителямъ, Карлъ V не былъ мечтателемъ-идеалистомъ, не внемлющимъ дѣйствительности и устремляющимъ свой взоръ къ заимствованнымъ изъ прошлыхъ вѣковъ мечтамъ; онъ не задавался романтическими идеалами; напротивъ, во всей своей политикѣ онъ руководился чисто *реальными* цѣлями, которыя были ему даны временемъ или вытекали изъ его положенія. Ключъ къ его поведенію нужно искать не въ идеяхъ Готфрида Бульонскаго или нѣмецкихъ Оттоновъ, а въ понятіяхъ и страстяхъ его современниковъ. Не даромъ онъ получилъ чисто дѣловое воспитаніе и сложился подъ влияніемъ людей, ставившихъ выше всего выгоду и успѣхъ; не даромъ онъ былъ современникомъ Макиавеля и не разставался съ политическими трактатами этого писателя. Сложная и сотканная изъ переплетающихся интересовъ политика Карла V была отраженіемъ необыкновенныхъ условій, въ которыя поставила его судьба, и если въ этой политикѣ встрѣчаются планы и стремленія, наполнявшіе исторію предшествовавшихъ вѣковъ, то для Карла V они уже имѣютъ совсѣмъ другой смыслъ; они получаютъ въ его глазахъ то значеніе, которое имъ было дано измѣнившимися обстоятельствами времени. Разсмотрѣніе фактовъ, относящихся къ исторіи Карла V, легко въ этомъ убѣдить каждаго; подробное изученіе ихъ не вмѣстилось бы въ рамки предположеннаго здѣсь очерка, и мы ограничимся нѣсколькими замѣчаніями относительно четырехъ главныхъ задачъ политики Карла V.

Начнемъ съ французскихъ войнъ. Справедливо ли, что столкновеніе съ Францискомъ вытекало изъ отвлеченныхъ представленій Карла о священной римской имперіи? Корни этого столкновенія идутъ глубже и по времени заходятъ далеко за моментъ вѣнчанія въ Ахенѣ. По своему происхожденію, Карлъ V былъ

прежде всего государь Нидерландовъ, затѣмъ—по смерти бабки и дяди—король Испаніи; его политика, слѣдовательно, основана на политическомъ интересѣ этихъ двухъ странъ, а этотъ интересъ одинаково обращенъ противъ Франціи. Только-что сложившаяся Испанія искала выхода для своихъ силъ за предѣлами страны и встрѣтилась съ Франціей въ вопросѣ объ обладаніи южной Италіей и Наваррой. Менѣе сильные по военнымъ средствамъ и по своей недозрѣвшей государственной формациі, Нидерланды должны были еще болѣе, чѣмъ Испанія, противиться завоевательной политикѣ Франціи, какъ по незащищенности своей границы, такъ и вслѣдствіе того, что далеко еще не были окончены расчеты съ Франціей по бургундскому наслѣдству. При такомъ положеніи дѣла Нидерланды искали союза съ Испаніей противъ Франціи, и этотъ общій интересъ двухъ странъ выразился въ родственномъ сближеніи двухъ династій, отъ которыхъ происходилъ Карлъ V. Но по своимъ габсбургскимъ владѣніямъ въ Германіи, которыя дѣлали изъ него сильнѣйшаго князя въ имперіи и естественнаго претендента на императорскую корону, Карлъ V имѣлъ еще третій поводъ къ столкновенію съ Франціей изъ-за обладанія Миланомъ и вообще сѣверной Италіей, въ которой утвердился Францискъ во время его малолѣтства. Не то было важно для Карла, что Миланъ считался леномъ священной римской имперіи, а то, что обладаніе сѣверной Италіей французами разбивало на двѣ части габсбургскія владѣнія, давало Франціи командующее въ южной Европѣ положеніе, дѣлало папу орудіемъ ея политики и лишало императора возможности сообщаться съ южной Италіей и Испаніей, иначе какъ далекимъ и опаснымъ морскимъ путемъ черезъ Атлантическій океанъ.

Итакъ, война съ Франціей не была дѣломъ легкомысленнаго увлеченія или честолюбія; она была слѣдствіемъ естественной группировки трехъ государствъ, Испаніи, Германіи и Нидерландовъ, которыми управлялъ Карлъ, союза трехъ державъ, обращенныхъ противъ Франціи, которая была сильнѣе каждой изъ нихъ и, по своему выгодному положенію, была угрозою для всѣхъ. Побѣда надъ Франціей въ Италіи была для Карла V осуществленіемъ тѣхъ правъ, которыя вытекали для него изъ его наслѣдственнаго положенія и изъ вѣнчанія императорскою короною. А эта корона, конечно, восходила къ временамъ Карла Великаго и Оттона Великаго; это была та самая корона, которую возлагали на себя Генрихъ III и Гогенштауфены; но слѣдуетъ ли отсюда, чтобы Карлъ V понималъ значеніе этой короны именно такъ, какъ эти знаменитые его предшественники, чтобы его представ-

леніе о ней было анахронизмомъ? Если мы прослѣдимъ длинный рядъ императоровъ отъ Карла V. до Максимилиана, дѣда и предшественника Карла V, то мы убѣдимся, что и они всѣ весьма различно понимали значеніе имперіи, и если среди нихъ бывали мечтатели, подобно Оттону III, то большинство понимали это значеніе сообразно съ духомъ своего времени и своими личными интересами; тѣмъ болѣе для Карла V вѣнчаніе не было сновидѣніемъ, побуждавшимъ его вводить въ дѣйствительность призракъ давно отжившаго прошлаго, а великимъ политическимъ средствомъ, чтобы расширить, объединить и упрочить габсбургскіе интересы. Эта корона обезпечивала за нимъ Италію, предоставляла ему высокій авторитетъ въ Германіи и даже въ Римѣ и давала ему возможность соединить разрозненные габсбургскіе владѣнія въ Испаніи Италіи, Германіи и Нидерландахъ въ одной общей, *государственной* идеѣ. Но не внушила ли эта корона Карлу V идею фантастическую, заимствованную изъ далекаго прошлаго, противорѣчившую его реальнымъ интересамъ—идею *крестоваго похода* противъ турокъ? Такое убѣжденіе можно вынести изъ изложенія Кудрявцева, изъ его сопоставленія Карла V съ Готфридомъ Бульонскимъ. Намъ кажется, что на страницахъ, на которыхъ нашъ историкъ говоритъ о замыслахъ Карла V противъ Турціи, отчасти отразились впечатлѣнія, не задолго передъ тѣмъ пережитыя имъ, въ началѣ русско-турецкой войны. Въ слабой политической прессѣ того времени и въ обществѣ часто раздавались тогда голоса, которые, отчасти по убѣжденію, а чаще изъ угодливости, представляли смыслъ и значеніе этой войны въ духѣ крестоваго похода, пользовались этой пропагандой, чтобы заглушить всякое разумное слово, и развивали страсти, которыя могли еще болѣе ухудшить внутреннее положеніе. Какъ бы то ни было, если желаніе Карла побѣдить турокъ и имѣло религіозную основу, то все же это было другое чувство, чѣмъ то, которое въ XI и XII вѣкахъ двинуло столько тысячъ европейцевъ на Палестину; особенно же важно то, что въ изложеніи Кудрявцева недостаточно выставлена политическая и совершенно опущена *историческая* сторона вопроса. Для Габсбурга XVI вѣка война съ турками не была дѣломъ романтизма или только религіознаго убѣжденія, но самаго простаго политическаго разсчета и, наконецъ, необходимости. Карла V побуждали къ войнѣ съ турками самыя разнообразныя интересы.—Испанія страдала отъ турецкихъ васаловъ въ Алжирѣ и Тунисѣ, Италіи грозили высадки мусульманъ, а габсбургскіе владѣнія въ Германіи едѣлались непосредственнымъ поприщемъ турецкихъ нашествій послѣ завоеванія

Венгріи. И не личное только дѣло представлялъ для Карла турецкій вопросъ; историческая сторона его заключается въ томъ, что это былъ вопросъ времени. Еще задолго до завоеванія Константинополя, народы южной и центральной Европы не сводили глазъ съ Балканскаго полуострова; стоитъ только прикоснуться къ историческимъ памятникамъ XV-го и XVI-го вѣковъ, чтобы убѣдиться, до какой степени общее вниманіе было занято тогда турками. Въ турецкій походъ собирались папы и императоры; съ одинаковымъ жаромъ его проповѣдывали монахи и гуманисты; молитвы противъ турокъ слагались какъ католиками, такъ и Лютеромъ; *турецкій проиш*, собираемый съ народа, былъ средствомъ обогащенія папской казны и источникомъ самыхъ горячихъ нареканий противъ куріи; отъ пораженія при Могачѣ и осады Вѣны до побѣды у Лепанто, война съ турками была для народовъ, подвластныхъ Габсбургамъ, самымъ славнымъ и популярнымъ дѣломъ. Усвоенное Кудрявцевымъ представленіе о религіозно-политическомъ идеалѣ Карла V повліяло также на оцѣнку его отношеній въ реформациі. Враждебность Карла V къ дѣлу Лютера выставляется какъ непониманіе духа времени, какъ поклоненіе средневѣковымъ идеаламъ. Если нѣкоторые нѣмецкіе историки дѣлаютъ Карлу V подобный упрекъ, то это объясняется ихъ патріотическимъ сожалѣніемъ, что тогдашній императоръ Германіи не воспользовался проповѣдью виттенбергскаго монаха для культурнаго и политическаго объединенія ихъ отечества; эти критики при этомъ, однако, забываютъ, что Карлъ V былъ прежде всего королемъ *Испаніи* и что отъ преемника *католическихъ* королей нельзя было ожидать содѣйствія протестантизму. Но еще менѣе возможно осуждать Карла V съ точки зрѣнія *духа* времени. Если бы можно было спросить людей XVI-го вѣка о томъ, чего требуетъ духъ ихъ времени, то отвѣтъ былъ бы полученъ очень различный. Католицизмъ сложился, правда, въ средніе вѣка, но онъ заключалъ въ себѣ не одни средневѣковые идеалы; онъ не представлялъ собой системы, которая должна была исчезнуть вмѣстѣ съ средними вѣками; не знаемъ, сбудется ли извѣстное предсказаніе, что католицизмъ будетъ стоять твердо, когда путешественникъ будетъ разыскивать на берегахъ Темзы развалины Лондона, но во всякомъ случаѣ въ XVI вѣкѣ Карлъ V, защищая католицизмъ противъ реформаторовъ, не менѣе ихъ служилъ духу *своего* времени.

Странно также, что Кудрявцевъ, ставящій въ вину Карлу V въ религіозномъ вопросѣ непониманіе духа времени, осуждаетъ его и тогда, когда онъ выходитъ изъ рамокъ папской системы.

Въ *интеримъ* и въ стараніи Карла добиться посредствомъ собора, несмотря на оппозицію папы, примиренія съ протестантами или, по крайней мѣрѣ, такихъ уступокъ, которыя устранили бы открытую вражду, Кудрявцевъ видитъ только самообольщеніе императора, самоувѣренность автократа и упоеніе идеєю единства. Конечно, тридцать лѣтъ спустя, послѣ виттенбергскихъ тезисовъ уже нельзя было удовлетворить протестантовъ формальными уступками, заключавшимися въ *интеримъ*; что же касается до собора, то мы, современники Ватиканскаго собора, вполне знаемъ, чѣмъ долженъ кончиться всякій соборъ, руководимый куріей; но тѣмъ не менѣе и побужденія Карла въ его тогдашней религіозной политикѣ заслуживаютъ, съ нашей стороны, большаго одобренія, и самыя мѣры съ точки зрѣнія того времени имѣютъ глубокий смыслъ. Не слѣдуетъ забывать, что реформація сначала хотѣла быть только реформой церкви; что протестанты долго и настойчиво требовали собора для этой реформы; что многіе католики не менѣе ихъ желали реформъ, и что Базельскій соборъ, состоявшійся противъ желанія папы и посредствомъ уступокъ положившій конецъ гусситскимъ войнамъ, могъ служить образцомъ для Тридентскаго собора, на который рассчитывалъ Карлъ V. Что же касается до временныхъ церковныхъ распоряженій, исходившихъ отъ императора, то и онѣ совершенно соотвѣтствовали взглядамъ и потребностямъ того времени. Многіе изъ лучшихъ людей XVI-го вѣка, не желавшихъ примкнуть къ реформаторамъ и отчаявшихся въ Римѣ, возлагали именно на государей обязанность устройства церкви, и съ ихъ точки зрѣнія Карлъ V, какъ императоръ Германіи, имѣлъ такое же право вводить *интеримъ*, какъ герцогъ Клевскій—реформировать свою страну по программѣ Эразма, а Генрихъ VIII—предписывать Англіи свои церковныя статьи. Однимъ словомъ, чѣмъ болѣе мы будемъ при оцѣнкѣ Карла V отправляться отъ данныхъ его времени, тѣмъ менѣе у насъ будетъ повода усматривать въ немъ мечтательность и слѣпую преданность завѣту отжившаго прошлаго. Да и нѣтъ никакой надобности приписывать ему отрѣшеніе отъ дѣйствительности, несбыточные идеалы, чтобы объяснить изнеможеніе его духа и удаленіе въ монастырь. Задача, возложенная на Карла V его историческимъ положеніемъ, была такъ обширна и сложна, интересы его такъ разнообразны и противорѣчивы, матеріальныя средства такъ незначительны сравнительно съ ожидаемыми отъ него результатами, что послѣ почти сорокалѣтней напряженной государственной дѣятельности Карла V, даже при полномъ отсутствіи романтической подкладки, должно

было оказаться достаточно недочетовъ въ жизни и разрушенныхъ иллюзій, чтобы при полномъ разстройствѣ организма объяснить удаленіе императора отъ дѣлъ. Впрочемъ, не слѣдуетъ преувеличивать эти „тяжелые удары“, которыми судьба „мстила Карлу V за его противорѣчіе духу времени“; не слѣдуетъ слишкомъ подчеркивать *безплодность* неустойчивыхъ и напряженныхъ усилій Карла V съ его точки зрѣнія.

Главная задача Карла V — созданіе великой державы, основанной на обладаніи Испаніей и возвышеніи въ ней королевской власти, а также на прочномъ обладаніи Италіей и Нидерландами—была вполне осуществлена. Въ этомъ отношеніи состязаніе съ Франціей окончилось полнымъ торжествомъ; Франція отказалась отъ Италіи, и бургундское наслѣдство было упрочено за Испаніей. Правда, Франція побѣдила въ послѣдней войнѣ; захватъ Меца былъ ударомъ для самолюбія Карла; но надо помнить, что Мецъ не принадлежалъ къ владѣніямъ Карла; его теряла имперія. Что же касается до войны съ турками, то она, правда, не представляетъ рѣшительныхъ побѣдъ со стороны Карла—слава, добытая въ Тунисѣ затмилась отъ несчастія подъ Алжиромъ; но и тутъ, если сравнить положеніе дѣла въ началѣ царствованія съ его концомъ, надо будетъ признать, что самая тяжелая пора миновала, и Европа могла спокойно относиться къ турецкой грозѣ. Въ одномъ вопросѣ Карлъ V, конечно, понесъ поражение—религіозный расколъ ему не удалось ни устранить, ни подавить; однако и тутъ онъ могъ утѣшать себя тѣмъ, что отнялъ у протестантизма нѣсколько областей и поставилъ преграду его дальнѣйшему распространенію.

Отыскивая въ политическихъ неудачахъ Карла V причину его удаленія отъ дѣлъ, Кудрявцевъ упустилъ изъ виду одно разочарованіе Карла, которое, можетъ быть, перевѣсило всѣ другіе мотивы въ его рѣшеніи. Мы разумѣемъ неудачу его въ упроченіи императорской короны Германіи за его династіей. Историческая роль Карла V заключалась въ томъ, чтобъ подчинить общей политикѣ Испанію и другія земли, которыя, по наслѣственному праву, соединились подъ его властью. Это было, впрочемъ, какъ мы сказали, не одно случайное, династическое соединеніе; въ основаніи этой политической комбинаціи лежали общіе интересы габсбургскихъ владѣній, совпадавшіе въ борьбѣ съ Франціей и съ турками. Самою удобною формой для сплоченія въ прочное цѣлое этихъ разнообразныхъ владѣній была императорская корона; она давала испанскому королю власть надъ Германіей, упрочивала его власть надъ всей Италіей и

давала ему руководство въ борьбѣ съ мусульманами. Отсюда слѣдуетъ, что для основателя габсбургской великой державы было необходимо обезпечить императорскую власть въ своемъ домѣ. Но императорская корона не была наследственна. Постѣ Мюльберга не только протестанты, но и католики стали опасаться въ Германіи испанскихъ дружинъ, и Карлу V не удалось провести своего сына Филиппа на императорскій престолъ. Въ самомъ родѣ Габсбурговъ Карлъ V встрѣтилъ сопротивленіе своему любимому плану. Долго не имѣя прямого наследника и нуждаясь въ вѣрномъ представителѣ габсбургскихъ интересовъ въ Германіи, Карлъ V предоставилъ своему брату Фердинанду большое влияние въ нѣмецкихъ земляхъ, а потомъ—и титулъ римскаго короля. Теперь ни Фердинандъ, ни сынъ его, Максимилианъ, не хотѣли уступить мѣсто Филиппу. Итакъ, еще при жизни Карла V, на его глазахъ, распалась его великая держава, раздвоилась его династія; подъ руководствомъ двухъ габсбургскихъ вѣтвей Испанія и Германія пошли разнымъ путемъ. Карлъ все еще носилъ императорскій титулъ; но обширный механизмъ уже не двигался въ его рукахъ,—а что тогда было ему въ титулѣ, утратившемъ прежнее значеніе?

Разставаясь съ изображеніемъ Карла V у Кудрявцева, мы не можемъ пройти молчаніемъ вопроса о судьбѣ его имени и о посмертной славѣ этого императора. Мы вполне согласны съ Кудрявцевымъ, который, какъ мы видѣли, не хочетъ допустить „таинственной силы рока“ въ жизни Карла V и высказывается противъ всякаго фатализма въ исторіи. Не признавая мечтательныхъ идеаловъ въ жизни Карла V и ихъ вліянія на его отреченіе, мы еще менѣе готовы допускать таинственность въ его судьбѣ. Но есть нѣчто роковое въ этой исторической личности, и сила рока, говоря словами Кудрявцева, обнаруживается не столько въ неудачахъ Карла V и въ драматической развязкѣ его жизни, сколько въ послѣдствіяхъ его дѣятельности и въ памяти, которую онъ оставилъ. Карлъ V добросовѣстно и энергично исполнялъ свою царственную роль, какъ она была возложена на него рожденіемъ; но она не принесла счастья управляемымъ имъ странамъ. Подъ властью испанскихъ вице-королей заглохла жизнь Италіи; союзъ съ Испаніей былъ для Нидерландовъ тяжкимъ бѣдствіемъ, отъ котораго имъ пришлось спасаться цѣною величайшихъ жертвъ и героическихъ усилій; сама Испанія, подъ суровой властью Габсбурговъ, хотя и вышла изъ феодальной неурядицы, но утратила при этомъ всѣ свои жизненные силы, — а въ Германіи могущество Карла V надломило свѣжій

расцвѣтъ протестантскаго движенія. При такихъ условіяхъ историкамъ, выражающимъ собою судъ отдаленнаго потомства надъ стремленіями и дѣяніями прошлаго, трудно быть для Карла V вполне безпристрастными судьями.

Именно въ данномъ случаѣ строгій приговоръ надъ Карломъ V, упрекъ, что онъ задавался мечтательными или отжившими идеалами, что онъ шелъ противъ духа времени и не понималъ дѣйствительности—вытекаетъ особенно изъ живой симпатіи историка къ тому, чтó онъ считалъ воплощеніемъ духа времени—къ реформаци. Это горячее сочувствіе Кудрявцева къ великому религіозному перевороту XVI-го вѣка привело его къ глубокому пониманію его историческаго значенія и главныхъ въ немъ дѣятелей, и внушило страницы, которыя будутъ всегда составлять красу русской исторической литературы. Эти страницы обнаруживаютъ въ Кудрявцевѣ замѣчательную широту и гуманность взгляда, рѣдкую способность переноситься въ отдаленную эпоху и цѣнить великое въ исторіи, даже когда оно проявляется въ чуждыхъ историч. формахъ и требованіяхъ. Оцѣнивая по достоинству эти страницы, мы не только отдаемъ долгъ справедливости историч., но и привѣтствуемъ русскую историческую науку, которая въ его лицѣ доказала свою способность высоко понимать свое назначеніе—служить посредницей между русскимъ народомъ и великими явленіями въ исторіи и культурѣ Запада. И тѣмъ чаще раздавались въ сужденіяхъ о реформаци и теперь раздаются рѣзкіе диссонансы, внушенные недостаточностью образованія или политическимъ отношеніемъ къ дѣлу, тѣмъ выше слѣдуетъ цѣнить слова Кудрявцева, какъ завѣтъ будущимъ историкамъ—не спускаться ниже въ оцѣнѣ явленія, безъ пониманія котораго вся новая исторія Европы остается закрытою книгою.

Сожалѣя о томъ, что мѣсто не позволяетъ намъ подробнѣе познакомить читателя съ сужденіями Кудрявцева о реформаци, мы отмѣтимъ наиболѣе выдающіяся изъ нихъ: какъ прекрасно оцѣненъ моментъ, который переживала Германія передъ выступленіемъ Лютера; какъ справедливъ укоръ историка тѣмъ, которые „напрасно думаютъ заподозрить великое германское движеніе XVI в., приписывая его какому-то своекорыстному побужденію и эгоистическимъ видамъ главныхъ дѣятелей“; и какъ вѣрно его заключеніе: „никогда тотъ судъ не будетъ историческимъ, который составилъ помимо знанія исторіи и ея разумныхъ требованій, какъ не можетъ быть правильной оцѣнки юридическаго факта безъ знанія мѣстнаго закона и обычая. И въ томъ, и въ другомъ смыслѣ отсутствіе знанія есть прямое невѣжество, которое можетъ

повести лишь къ несправедливымъ приговорамъ и самымъ нелогическимъ заключеніямъ“.

Мы не станемъ останавливаться на изображеніи постепенно развивавшагося разлада между Германіей и римскимъ духомъ, развившагося, наконецъ, въ реформаціи (281); на мѣткой характеристикѣ Лютера, объясняющей его успѣхъ и авторитетъ—„нѣмецкая природа какъ будто поработала надъ нимъ съ особенною любовью... Широкая кость его точно выкована была молотомъ рудопона“; не станемъ приводить характеристику Фридриха Мудраго и второго поколѣнія протестантовъ, или описаніе Вормскаго сейма и дальнѣйшаго развитія движенія. Но мы не можемъ не указать съ особымъ удареніемъ на ту страницу, гдѣ Кудрявцевъ съ необыкновеннымъ историческимъ тактомъ и справедливостью выясняетъ и оправдываетъ отношеніе Лютера къ современнымъ ему анархическимъ движеніямъ въ области какъ религіозныхъ вопросовъ, такъ и социальныхъ реформъ; тѣмъ болѣе считаемъ мы нужнымъ на это указать, что въ самомъ отечествѣ Лютера нерѣдко встрѣчаются по этому предмету разсужденія веривъ и вбось, внушенные злобою дня; а у насъ малое знакомство съ истиннымъ характеромъ движеній XVI-го вѣка и привычка сочувствовать социальнымъ реформамъ безъ разбора еще легче могутъ повести къ искаженію исторической истины.

Величіе Лютера, какъ и нѣкоторыхъ другихъ историческихъ лицъ, которымъ пришлось жить въ эпохи великаго кризиса, выразилось не только въ побѣдѣ надъ старымъ порядкомъ, но и въ борьбѣ со страстями и увлеченіями, мѣшавшими установленію *нового*.

Первая сторона въ дѣятельности такихъ историческихъ лицъ легко поддается сочувственной оцѣнкѣ потомства; пониманіе второй гораздо труднѣе и встрѣчается рѣже. Кудрявцевъ понялъ ее въ жизни Лютера. Онъ съ вѣрнымъ чутьемъ изобразилъ тѣ опасности, которыя „грозили реформаціи отъ нея самой“. „Реформація сильно расшатала систему старыхъ воззрѣній на міръ, на природу, на общество, такъ что ни одно изъ прежнихъ началъ не казалось уже довольно твердымъ, все опять стало вопросомъ, и всякій считалъ себя въ правѣ не только произносить свое рѣшеніе, но и навязывать его цѣлому обществу... Опасность была тѣмъ выше, что реформація въ собственномъ смыслѣ не успѣла вполне опредѣлиться, не нашла еще твердыхъ границъ, которыя бы отдѣляли ее съ одной стороны отъ господствовавшихъ прежде направленій, а съ другой—отъ тѣхъ крайностей, которыя вытекали изъ ея же началъ путемъ фантасти-

ческихъ выводовъ; но обстоятельство, которое всею болѣе грозило ей гибелью, обратилось въ ея пользу. Тотъ, кто былъ главнымъ виновникомъ реформаціи, носилъ въ душѣ своей и настоящую ея мѣру. Подъ оболочкою, часто мистическою, его рѣчей скрывался глубокій практическій смыслъ. Въ обступавшихъ его крайнихъ направленіяхъ онъ отыскалъ разумные предѣлы, которыхъ до того времени недоставало его ученію. Онъ тотчасъ замѣтилъ тонкую черту, гдѣ началось раздѣленіе, и поспѣшилъ обозначить ее по своему обычаю такими рѣзкими признаками, что никто не могъ смѣшать двухъ смежныхъ, но противоположныхъ между собой лагерей“.

Здѣсь вѣрно подмѣчено вліяніе въ исторіи реформаціи тѣхъ религиозныхъ увлеченій, которыя заставили Лютера выйти изъ его выжидательнаго положенія, и изъ области *протеста* перейти на догматическую, *конфессіональную* почву. Но блужданіе умовъ, вызванное протестомъ Лютера, имѣло еще другую, опасную для общества, сторону. Изъ сферы религиозной споръ былъ перенесенъ въ соціальную. „Мечтатели, одинъ необузданный другого, безпрестанно выходили изъ толпы и, подъ предлогомъ необходимости перестроить общественный порядокъ, готовы были совершенно ниспровергнуть его“. И тутъ Лютеръ, несмотря на то, что его крестьянское происхожденіе предрасполагало его признать справедливость нѣкоторыхъ требованій возставшихъ крестьянъ, быстро понималъ, куда клонять дѣло вожаки. „Не только онъ не хотѣлъ поддерживать неумѣренныхъ нововводителей, но при всякомъ случаѣ старался энергически имъ противодействовать. Чѣмъ больше они раздували фанатизмъ въ народѣ, тѣмъ настоятельнѣе былъ реформаторъ въ своихъ мирныхъ внушеніяхъ. Когда они проповѣдывали буйство и насиліе, онъ требовалъ отъ своихъ послѣдователей покорности и терпѣнія. Наконецъ, когда въ общемъ возстаніи они задумали ниспровергнуть существующія отношенія между властью и подданными, Лютеръ открыто принялъ сторону князей“... „Вѣрный инстинктъ, христіанское чувство, практическій смыслъ,—такъ справедливо резюмируетъ Кудрявцевъ свое сужденіе о политической роли Лютера,—все указывало реформатору на тѣсный союзъ съ князьями въ борьбѣ ихъ съ возставшими сословіями (рыцарями, потомъ городами и крестьянами), и онъ ни минуты не колебался въ выборѣ“.

Кудрявцевъ не ограничивается объясненіемъ образа дѣйствія Лютера, онъ прямо его защищаетъ. „Нѣтъ ничего несправедливѣе,—говоритъ онъ,—тѣхъ упрековъ, которые дѣлаетъ иногда нѣмец-

кому реформатору новая историографія ¹⁾, поставляя ему въ вину то, что онъ ограничился чисто религіозною реформою и рѣшительно отвергъ отъ себя всѣ другія попытки преобразованій. По нашему мнѣнію, напротивъ того, ничто столько не свидѣтельствуєтъ въ пользу его мудрости и великаго практическаго смысла, какъ это умѣнье его удержаться въ предѣлахъ *одной задачи*, когда такъ легко было увлечься другими направленіями, не имѣвшими съ нею ничего общаго, кромѣ современности. Въ томъ и состоитъ его величіе, что среди всеобщаго волненія и смѣшенія всѣхъ понятій онъ остался вполнѣ вѣренъ своему истинному призванію и не хотѣлъ допустить въ него ничего посторонняго. Онъ понялъ, сначала инстинктомъ, а потомъ разумомъ, въ чемъ была величайшая, не терпящая никакого отлагательства, потребность времени, — и, посвятивъ на удовлетвореніе ей всѣ силы своей души и всю ея энергію, исключилъ изъ своей дѣятельности все, что было въ современныхъ направленіяхъ мечтательнаго и потому несбыточнаго и обманчиваго“.

Вслѣдъ за „Карломъ V“ идетъ статья, относящаяся къ тому же времени. Она носитъ двойное заглавіе: „Юность Катерины Медичи“, а также „Эпизодъ изъ послѣднихъ временъ флорентинской республики“. Это указываетъ на двойной интересъ предмета для историка, но и на отсутствіе цѣльности въ исполненіи. Для историка могла быть заманчива задача объяснить условія и вліянія, подготовившія образованіе „исторической роли, которая, на разстояніи почти трехъ вѣковъ, нерѣдко еще приводитъ читателя въ ужасъ своими страшными чертами“. Это и побудило Реймонта, извѣстнаго специалиста по итальянской исторіи, заняться предметомъ. Но на самомъ дѣлѣ мы узнаемъ такъ мало о томъ, какъ слагался характеръ „маленькой дукессины“, рано осиротѣвшей и проведеншей свои дѣтскіе годы въ флорентинскихъ монастыряхъ, что повѣствованіе о ея юности превращается въ отрывокъ изъ исторіи ея родного города, изъ которой особенно выдается осада Флоренціи въ 1530 году, отмѣченная храброю рѣшимостью и обычными ошибками и увлеченіями предоставленной себѣ демократіи.

„Осада Лейдена“ относится къ эпохѣ слѣдующаго за Карломъ V поколѣнія, когда выступаютъ лица, воспитавшіяся при немъ, и назрѣваютъ вопросы, подъ его вліяніемъ подготовленные.

¹⁾ Кудрявцевъ, вѣроятно, имѣетъ тутъ въ виду извѣстное сочиненіе Циммермана о „Крестьянской войнѣ“, которое тогда было ново, теперь устарѣло, благодаря историческимъ его приемамъ, заимствованнымъ изъ карманныхъ книжекъ сороковыхъ годовъ.

Кудрявцевъ имѣлъ въ виду участвовать въ празднованіи столѣтней годовщины московскаго университета своимъ разсказомъ о событіи, подавшемъ поводъ къ основанію одного изъ славнѣйшихъ западныхъ университетовъ — объ одномъ изъ самыхъ потрясающихъ и отрадныхъ эпизодовъ въ борьбѣ за религіозную свободу. Но чтобы не представлять читателямъ отрывочнаго разсказа, чтобы сильнѣе изобразить страшную грозу, висѣвшую надъ Лейденомъ, Кудрявцевъ далъ въ своей статьѣ общую характеристику дѣятельности Альбы и описалъ ужасную участь, постигшую города Цютеренъ, Наарденъ и Гарлемъ на глазахъ у лейденцевъ. Статья отъ этого получила болѣе общее значеніе, а самая осада Лейдена заняла въ ней незначительное мѣсто. Это нужно имѣть въ виду, если сравнить это описаніе осады съ соотвѣствующимъ описаніемъ у Мотлея, которымъ Кудрявцевъ еще не могъ пользоваться. Знаменитый авторъ исторіи основанія голландской республики имѣлъ возможность на мѣстѣ изучать историческіе документы и самую сцену событій. Его описаніе осады поэтому много полнѣе и нагляднѣе; оно отличается, кромѣ того, вполне художественнымъ построеніемъ (*mise-en-scène*). Авторъ не долго заставляетъ страдать читателя въ удушливой атмосферѣ осажденнаго города съ раздирающими сценами смерти отъ голода и чумы, но ведетъ его въ среду храбрецовъ, которые задумали съ помощью океана вторгнуться на сушу на своихъ корабляхъ и овладѣть плотинами и непріятельскими укрѣпленіями, чтобы освободить изнемогающій городъ. Вмѣстѣ съ ними читатель испытываетъ возрастающее радостное чувство по мѣрѣ того, какъ съ поднимающеюся волною корабли прорѣзываютъ одну плотину за другою и приближаются къ нетерпѣливо ожидающему ихъ городу; вмѣстѣ съ ними у читателя ноетъ сердце, когда замираетъ вѣтеръ, вода падаетъ и корабли остаются неподвижны; вмѣстѣ съ ними, наконецъ, читатель начинаетъ дышать свободно и торжествуетъ, когда поднимается буря и несетъ корабли къ стѣнамъ спасеннаго въ послѣднюю минуту города. Взаимнѣ такихъ достоинствъ описаніе Кудрявцева вызываетъ участіе читателя патетическимъ разсказомъ и горячимъ сочувствіемъ историка къ предмету своего описанія.

Къ исторіи нашего вѣка относится статья: „Жозефъ Бонапартъ въ Италіи“. Трудъ этотъ былъ вызванъ появившимися въ то время въ свѣтъ „Мемуарами и перепиской короля Жозефа“. Кудрявцевъ имѣлъ въ виду разсказать по нимъ и съ помощью другихъ матеріаловъ исторію наполеоновскаго владычества въ Неаполѣ и Испаніи, но успѣлъ только окончить военную исторію

этого владычества въ одномъ Неаполѣ. Несмотря на кажущееся несоотвѣтствіе объема статьи и сравнительной маловажности предмета, она даетъ читателямъ гораздо больше, чѣмъ обѣщаетъ заглавіе. Читатель постепенно увлекается живостью изложенія и уже съ большимъ интересомъ слѣдитъ за мастерскимъ изложеніемъ нѣкоторыхъ эпизодовъ, особенно осады Газты, сраженія при Майдѣ и борьбы съ возставшими калабрійцами. Кудрявцевъ, кромѣ того, умѣетъ внушить читателю участіе къ Жозефу, то съ добродушной ироніей выставляя на видъ его слабыя стороны: „какъ у него, по примѣру Наполеона, начинала проявляться манія переставлять династіи съ мѣста на мѣсто, чтобы при общей пересадкѣ солиности свои собственные интересы“, или указывая, „какъ долженъ былъ позабавиться Наполеонъ надъ нечаяннымъ припадкомъ героизма въ неаполитанскомъ королѣ“; то осуждая Жозефа за то, что онъ, несмотря на свое доброе сердце, начиналъ понемногу входить въ духъ наполеоновской системы; наконецъ, все-таки отдавая справедливость брату Наполеона за „честность его собственныхъ побужденій“ — „здѣсь особенно чувствуется глубокое различіе между двумя братьями, и геніальность одного и посредственность другого нѣкоторымъ образомъ уравниваются между собою различною мѣрой ихъ нравственныхъ качествъ“.

Главный же интересъ придаетъ очерку стоящій вдали, но живо ощущаемый въ событіяхъ величественный образъ Наполеона, котораго читатель можетъ изучать и въ геніальныхъ его свойствахъ, и въ его слабостяхъ — по его письмамъ и внушеніямъ брату. Послѣ извѣстной мастерской характеристики Наполеона у Тэна, русскимъ читателямъ будетъ пріятно знать, что уже Кудрявцевъ подыскивалъ тотъ же ключъ къ объясненію этой поразительной личности. И для Кудрявцева онъ прежде всего „величайшій кондотьеръ своего времени“. Въ интимной его перепискѣ, по замѣчанію Кудрявцева, преимущественно выказывалась „особенность его породы, образовавшейся еще прежде его самого, подъ вліяніемъ исключительныхъ историческихъ обстоятельствъ“. Порода эта итальянская. „Итальянскую кровь въ Наполеонѣ не убило ни воспитаніе, ни долгое пребываніе на иной почвѣ, среди другого народа“. По письмамъ Наполеона къ брату читатель видитъ его безъ прикрасъ, знакомится съ его грабительскими и беспощадными инстинктами, съ его презрѣніемъ къ толпѣ и равнодушію къ крови, которыя были условіями его кондотьеровскихъ успѣховъ и его историческаго призванія — положить предѣлы революціи. Наполеонъ глумится надъ жалобами

брата въ недостатѣ денегъ и съ самодовольствомъ сообщаетъ ему, какъ въ Вѣнѣ, „гдѣ не было ни копѣйки денегъ, онъ взялъ сто милліоновъ черезъ нѣсколько дней послѣ своего прибытія, и какъ всѣ нашли, что это очень умно съ его стороны“. На настоятельныя просьбы брата о деньгахъ Наполеонъ отвѣчаетъ, что онъ не дорожитъ какими-нибудь тремя или четырьмя милліонами, но не дастъ денегъ *по принципу*, чтобы армія кормилась на счетъ покоренной страны. Наполеонъ выходитъ изъ себя, что Жозефъ не можетъ справиться съ заговорщиками и инсургентами, и хвастливо сообщаетъ ему о различныхъ своихъ подвигахъ въ этомъ смыслѣ. „Піаченца вздумала бунтовать, когда я оставилъ армію. Я послалъ туда Жюно. Онъ вздумалъ убѣдить меня разными умствованіями à la française. Въмѣсто отвѣта, я послалъ ему приказъ сжечь двѣ деревни и разстрѣлять зачинщиковъ мятежа, между которыми было шесть духовныхъ лицъ. Приказъ былъ исполненъ, и страна возвратилась къ покорности и долго уже впередъ не измѣнитъ ей“. Когда Жозефъ высказываетъ свои опасенія, что въ самой столицѣ можетъ произойти возстаніе, Наполеонъ радуется этой мысли и пишетъ: „Какъ бы желалъ я, чтобы неапольская сволочь взбунтовалась противъ васъ. Вы до тѣхъ поръ не будете располагать ею, пока не проучите ее хотя разъ какъ слѣдуетъ. У cadaго завоеваннаго народа надобно желать возстанія. На бунтъ въ Неаполѣ я бы смотрѣлъ съ тѣмъ же самымъ чувствомъ, съ какимъ отецъ семейства долженъ видѣть оспу на своихъ дѣтяхъ: это спасительный кризисъ, если только больной въ состояніи его выдержать“. Но за то читатель совершенно охваченъ военнымъ гениемъ Наполеона. Занятый европейскими дѣлами, а потомъ и войной съ Пруссіей, онъ слѣдитъ за движеніемъ cadaго отряда въ Калабрійскихъ горахъ, и то, что нужно дѣлать, видитъ лучше находящихся на мѣстѣ опытныхъ генераловъ. Подъ Газтою онъ видитъ изъ Парижа всѣ ошибки осаждающихъ, и направляетъ ихъ своими увазаніями. Письма передъ разрывомъ съ Пруссіей показываютъ, „какъ и въ огромныхъ предпріятіяхъ расчетъ Наполеона выходилъ вѣренъ математически“. Но особенно поразительно выступаетъ въ перепискѣ та необузданность воображенія, подъ вліяніемъ которой предъ Наполеономъ тотчасъ разгорались самыя широкія завоевательныя перспективы и при малѣйшемъ препятствіи воспламенялись страсти, способныя заглушить его холодный расчетъ. Когда онъ задумалъ завоевать Сицилію, маленькое калабрійское укрѣпленіе у Мессинскаго пролива — Шыла, въ которомъ упорно держались англичане, становится для него

„проклятой скалой, которая мѣшаегь всѣмъ его начинаніямъ“, — „важнѣйшимъ пунктомъ въ мирѣ“.

Когда, по Тильзитскому миру, Наполеонъ выговорилъ себѣ право занять Ионическіе острова, то на другой уже день полетѣлъ въ Неаполь приказъ о взятіи острова Корфу. Этотъ островъ сдѣлался для Наполеона тотчасъ исходнымъ пунктомъ новыхъ завоевательныхъ мечтаній. „Не только Сицилія, но и берега Греціи, Македоніи, Фракіи, можетъ быть, даже и отдаленный Египетъ казались уже гораздо доступнѣе глазу завоевателя. Почувствовавъ передъ собою просторъ, воображеніе Наполеона съ быстротою молніи пробѣгало одно пространство за другимъ и выработывало планы за планами“. Съ тѣхъ поръ не приходило ни одного письма, въ которомъ не было бы рѣчи о Корфу. Только что завоеванный Неаполь и всѣ его военныя средства существуютъ лишь для того, чтобы упрочить за Наполеономъ обладаніе захваченнымъ островомъ. „Корфу, — пишетъ Наполеонъ брату, — такъ важенъ для меня, что потеря его была бы роковымъ ударомъ для моихъ плановъ“. Въ слѣдующемъ письмѣ онъ пишетъ Жозефу: „Корфу долженъ имѣть въ вашихъ глазахъ болѣе важности, чѣмъ Сицилія. При настоящемъ состояніи Европы потеря Корфу была бы величайшимъ несчастіемъ, какое только можетъ случиться со мною“.

Заклѣчается второй томъ Кудрявцева двумя статьями о Грановскомъ. Въ „Воспоминаніяхъ“, написанныхъ тотчасъ послѣ смерти Грановскаго, отразилась вся горечь понесенной утраты и полное сознаніе цѣны того, что было утрачено. „Дѣтство и юность Грановскаго“ написаны Кудрявцевымъ въ самыя тяжелыя минуты его жизни, вскорѣ послѣ потери жены. Тамъ въ Италіи онъ встрѣтился съ вдовой Грановскаго, и трогательно было видѣть, какъ онъ заглушалъ свое собственное горе въ заботѣ о памяти покойнаго друга; съ какимъ тщаніемъ и преданностью онъ собиралъ малѣйшія черты изъ дѣтской жизни Грановскаго, стараясь объяснить и дать почувствовать въ этихъ подробностяхъ будущее развитіе и значеніе лица; съ какимъ жаромъ онъ защищаетъ студента Грановскаго отъ недоброжелательнаго самовосхваленія его университетскаго товарища, ориенталиста Григорьева. Воспроизведеніе этихъ двухъ очерковъ, можно сказать, появилось очень кстати, въ виду недавно напечатанныхъ неуклюжихъ выходовъ противъ Грановскаго ¹⁾.

¹⁾ Мы разумѣемъ напечатанныя въ прошломъ году въ „Русской Старинѣ“ университетскія воспоминанія Аванасьева. Читателей, мало знакомыхъ съ дѣломъ, они могли привести въ недоумѣніе; лицъ, знавшихъ Грановскаго и покойнаго Аванасьева, и особенно знавшихъ тѣсныя отношенія послѣдняго къ кругу друзей и по-

Если кто нуждается для оцѣнки Грановскаго въ чужомъ свидѣтельствѣ, то онъ не можетъ найти въ этомъ дѣлѣ болѣе вѣрнаго свидѣтеля, чѣмъ его ученикъ и товарищъ по каедрѣ. Что же касается самого Кудрявцева, то ни въ чемъ, можетъ быть, такъ не обнаруживаются чистота и благородство его натуры, какъ въ его поклоненіи Грановскому. Въ ихъ индивидуальности было много несходнаго, и особенно въ характерѣ умственнаго труда и производительности. У Грановскаго было непосредственное творчество, подготовлявшееся продолжительнымъ скрытымъ трудомъ, а потомъ сразу выливавшееся въ художественномъ образѣ. Но за то это творчество обуславливалось необходимымъ личнымъ настроеніемъ и, такъ сказать, извѣстной температурой среды, въ которой должно было проявляться. Вотъ почему многіе учено-литературные планы Грановскаго, уже созрѣвшіе въ замыслѣ, не могли осуществиться; очень характеренъ въ этомъ отношеніи слѣдующій примѣръ. Грановскій чрезвычайно дорожилъ памятью Фролова и уже задумалъ статью о немъ. „Жду только, — писалъ онъ вдовѣ, — чтобы на меня сошла хорошая, свѣтлая минута, чтобы тотчасъ взяться за работу и кончить ее сразу, безъ промежутковъ, охлаждающихъ мысль“. И несмотря на это, онъ не успѣлъ написать задуманнаго. Вотъ почему для ученой дѣятельности Грановскаго были такъ важны и плодотворны публичные чтенія. Этимъ же самымъ обуславливаются характеръ и значеніе его университетскихъ лекцій; онъ самъ говорилъ, что лучшія мысли приходили ему на самой каедрѣ. При такихъ условіяхъ лекціи не могли быть одинаковы и систематичны, и не всѣ первокурсники были въ состояніи правильно оцѣнить ихъ въ своихъ воспоминаніяхъ.

При иныхъ условіяхъ совершалась ученая дѣятельность Кудрявцева. Его мысль получала законченность и зрѣлость посредствомъ литературной работы. Во время самой работы и при помощи ея онъ лучше ориентировался въ фактахъ и, вникая въ нихъ умомъ и чувствомъ, извлекалъ заключающійся въ нихъ смыслъ. Оттого онъ писалъ свои университетскіе курсы, по крайней мѣрѣ лучшіе изъ нихъ, и даже давалъ имъ литературную отдѣлку. Этому же свойству мы обязаны многочисленными лите-

клонниковъ Грановскаго, — его желчныя изліянія могли только изумить. Намъ приходилось слышать вопросъ: почему никто не возражаетъ противъ этихъ нареканій; но онъ давно уже опровергнутъ отвѣтами на подобныя же нападки Григорьева, а дальнѣйшее опроверженіе было бы недостойно памяти Грановскаго; а затѣмъ лицамъ, дѣявшимъ заслуги и хорошимъ свойствамъ Аванасьева, даже неудобно разбирать сужденія, авторъ которыхъ не думалъ, что прежде всего онъ можетъ бросить тѣнь на него самого.

ратурными трудами, о которыхъ здѣсь шла рѣчь. У Кудрявцева была какъ бы потребность распахать своимъ трудомъ какъ можно больше участковъ въ самыхъ различныхъ направленіяхъ на великомъ полѣ человѣческой исторіи, чтобы лучше и вѣрнѣе его обозрѣть. Одаренный въ известной степени беллетристическимъ талантомъ, какъ видно изъ его повѣстей, съ живымъ чутьемъ красоты по отношенію къ художественнымъ произведеніямъ, онъ могъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, съ совершенно бенедиктинскимъ терпѣніемъ углубиться въ изученіе самыхъ мелкихъ фактовъ, самыхъ скудныхъ эпохъ и вопросовъ. Съ такою же добросовѣстностью и почти *преданностью* дѣлу, съ какою онъ боялся упустить изъ виду малѣйшую подробность въ дѣтствѣ и юности Грановскаго, онъ собиралъ и разбиралъ мельчайшіе факты въ другихъ своихъ трудахъ, касались ли они Каролинговъ, Данте или Катерины Медичи. Казалось, что Кудрявцеву нужно было, чтобы *все* факты были на-лицо, всѣ до одного и каждый на своемъ мѣстѣ, для того, чтобы произнести надъ ними безпристрастный судъ и прочесть печать, наложенную на нихъ великимъ движеніемъ исторіи. И, разумѣется, самые факты были конечнымъ предметомъ его мысли. Медленно развертывая „полный жизненный свитокъ“ отдѣльнаго лица „во всю его длину“, онъ искалъ въ немъ черты созидающаго духа, выразившагося въ этой жизни; перебирая безконечную вереницу событій въ исторіи народа, онъ искалъ въ нихъ свойствъ народнаго духа, направлявшаго событія и отражавшагося въ нихъ; занимаясь общими судьбами человѣчества, Кудрявцевъ искалъ въ нихъ залога для великой его будущности и осуществленія его идеаловъ. Эти идеалы онъ могъ понимать въ самомъ широкомъ и благородномъ смыслѣ въ силу разносторонности своего развитія. Онъ былъ въ состояніи оцѣнить важность естествознанія для исторіи и вмѣстѣ съ тѣмъ значеніе великихъ философскихъ теорій для мысли историка. Въ факультетѣ его обвиняли въ непатріотическомъ сочувствіи къ папству, и тѣ же голоса, прочитавши его статью о Карлѣ V, вѣроятно, возвели бы на него противоположное обвиненіе—въ излишнемъ сочувствіи къ реформаціи; но онъ былъ только справедливъ къ великимъ историческимъ теченіямъ, потому что не отождествлялъ части съ цѣлымъ и ставилъ цѣлое—исторію человѣчества—выше части. Точно также онъ допускалъ субъективное творчество въ исторіографіи, но не смѣшивалъ его съ наукой и держался убѣжденія, что наука исторіи состоитъ именно изъ совокупности субъективныхъ усилій разгадать тайну человѣческихъ судебъ. Но для этого онъ требовалъ полной свободы для науки—и свободы внут-

ренней, отъ факультетскихъ и кружковыхъ стѣсненій, и свободы внѣшней. Въ этой высокой оцѣнкѣ науки и полной преданности ей заключается его связь и его сходство съ Грановскимъ. Такимъ образомъ, память ихъ тѣсно соединена, и оба они останутся незабвенными и свѣтлыми представителями эпохи въ исторіи русскаго общества, когда лучшіе его люди ожидали близкаго и полнаго осуществленія общечеловѣческихъ идеаловъ, когда они жили идеями, которыя примиряютъ народы и объединяютъ классы, когда не было разногласія между политическими идеалами націй и социальными идеалами не противорѣчили культурнымъ,—и когда всеобщая исторія могла быть отраженіемъ и проводникомъ этого идеальнаго настроенія.

В. ГЕРЬЕ.



ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА

Жизнь и приключенія Никанора Затрапезнаго ¹⁾.

Я, Никаноръ Затрапезный, принадлежу къ старинному пошехонскому дворянскому роду. Но предки мои были люди смиренные и уклончивые. Въ пограничныхъ городахъ и крѣпостяхъ не сидѣли побѣдъ и одолжній не одерживали, кресты цѣловали по чистой совѣсти, кому прикажутъ, безпрекословно. Вообще, не покрыли себя ни славою, ни позоромъ. Но зато ни одинъ изъ нихъ не былъ битъ вѣнцомъ, ни одному не выпинали по волоску бороды, не урѣзали языка и не вырвали ноздрей. Это были настоящіе помѣстные дворяне, которые забились въ самую глушь Пошехонья, безъ шума собирали дани съ кабалныхъ людей и скромно плодились. Иногда ихъ распложалось множество, и они становились въ ряды захудалыхъ; но, по временамъ, словно моръ настигалъ Затрапезныхъ, и въ рукахъ одной какой-нибудь пощаженной отрасли сосредоточивались имѣнія и маетности остальныхъ. Тогда Затрапезные вновь расцвѣтали и играли въ своемъ мѣстѣ видную роль.

Дѣдъ мой, гвардіи сержантъ Порфирій Затрапезный, былъ однимъ изъ взысканныхъ фортуною, и владѣлъ значительными помѣстьями. Но такъ какъ отъ него родилось много дѣтей—два

¹⁾ Прошу читателя не принимать Пошехонья буквально. Я разумѣю подъ этимъ названіемъ вообще мѣстность, аборигены которой, по мѣткому выраженію русскихъ присловій, въ трехъ соснахъ заблудиться способны. Прошу также не смѣшивать мою личность съ личностью Затрапезнаго, отъ имени котораго ведется разсказъ. Автобіографическаго элемента въ моемъ настоящемъ трудѣ очень мало; онъ представляетъ собой просто-на-просто сводъ жизненныхъ наблюденій, гдѣ чужое перекрѣплено съ своимъ, а въ то же время дано мѣсто и вымыслу.—*Авт.*

сына и девять дочерей,—то отецъ мой, Василій Порфирычъ, за выдѣломъ брата и сестеръ, вновь спустился на степень дворянина средней руки. Это заставило его подумать о выгодномъ бракѣ, и, будучи уже сорока лѣтъ, онъ женился на пятнадцати-лѣтней купеческой дочери Аннѣ Павловнѣ Глуховой, въ чаяніи получить за нею богатое приданое.

Но расчетъ на богатое приданое не оправдался; по купеческому обыкновенію, его обманули, а онъ, въ свою очередь, выказалъ при этомъ непростительную слабость характера. Напрасно сестры уговаривали его не ѣхать въ церковь для вѣнчанія, покуда не отдадутъ договоренной суммы полностью; онъ довѣрился льстивымъ обѣщаніямъ и обвѣнчался. Вышелъ такъ-называемый неравный бракъ, который, въ послѣдствіи, сдѣлался источникомъ безконечныхъ укоровъ и семейныхъ сценъ самаго грубого свойства.

Бракъ этотъ былъ неровенъ во всѣхъ отношеніяхъ. Отецъ былъ, по тогдашнему времени, порядочно образованъ; мать — круглая невѣжда; отецъ вовсе не имѣлъ практическаго смысла и любилъ разводить на бобахъ; мать, напротивъ того, необыкновенно цѣпко хваталась за дѣловую сторону жизни, никогда вслухъ не загадывала, и дѣйствовала молча и навѣрняка; наконецъ, отецъ женился уже почти старикомъ и притомъ никогда не обладалъ хорошимъ здоровьемъ, тогда какъ мать долгое время сохраняла свѣжесть, силу и красоту. Понятно, какое должно было оказаться, при такихъ условіяхъ, совмѣстное житъе.

Тѣмъ не менѣе, благодаря необыкновеннымъ пріобрѣтательнымъ способностямъ матери, семья наша начала быстро богатѣть, такъ что въ ту минуту, когда я увидалъ свѣтъ, Затрапезные считались чуть не самыми богатыми помѣщиками въ нашей мѣстности. О матери моей всѣ сосѣди въ одинъ голосъ говорили, что Богъ послалъ въ ней Василю Порфирычу не жену, а кладъ. Самъ отецъ, видя возрастаніе семейнаго благосостоянія, примирился съ неудачнымъ бракомъ и, хотя жилъ съ женой несогласно, но, въ концѣ концовъ, вполне подчинился ей. Я, по крайней мѣрѣ, не помню, чтобы онъ когда-нибудь въ чемъ-нибудь проявилъ въ домѣ свою самостоятельность.

Затѣмъ, приступая къ пересказу моего прошлаго, я считаю не лишнимъ предупредить читателя, что въ настоящемъ трудѣ онъ не найдетъ сплошнаго изложенія *всѣхъ* событій моего житія, а только рядъ эпизодовъ, имѣющихъ между собою связь, но въ то же время представляющихъ и отдѣльное цѣлое. Главнымъ образомъ, я предпринялъ мой трудъ для того, чтобы возстановить характеристическія черты такъ-называемаго добраго старого

времени, память о которомъ, благодаря рѣзкой чертѣ, проведенной упраздненіемъ крѣпостного права, все больше и больше сглаживается. Поэтому, я и въ формѣ веденія моего разсказа не намѣренъ стѣсняться. Иногда буду вести его лично отъ себя, иногда—въ третьемъ лицѣ, какъ будетъ для меня удобнѣе.

I.—Гнѣздо.

Дѣтство и молодые годы мои были свидѣтелями самаго разгара крѣпостного права. Оно проникало не только въ отношенія между помѣстнымъ дворянствомъ и подневольною массою — къ нимъ, въ тѣсномъ смыслѣ, и прилагался этотъ терминъ — но и во всѣ вообще формы общежитія, одинаково втягивая всѣ сословія (привилегированныя и непривилегированныя) въ омутъ унижительнаго безправія, всевозможныхъ изворотовъ лукавства и страха передъ перспективою быть ежечасно раздавленнымъ. Съ недоумѣніемъ спрашиваешь себя: какъ могли жить люди, не имѣя ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ иныхъ воспоминаній и перспективъ, кромѣ мучительнаго безправія, безконечныхъ терзаній поруганнаго и ни откуда не защищеннаго существованія? — и, къ удивленію, отвѣчаешь: однакожъ, жили! И, чтѣ еще удивительнѣе, объ руку съ этимъ сплошнымъ мучительствомъ шло и таѣе-называемое попехонское „раздолье“, къ которому и понынѣ не безъ тихой грусти обращаютъ свои взоры старички. И крѣпостное право, и попехонское раздолье были связаны такими неразрывными узами, что когда рушилось первое, то, вслѣдъ за нимъ, въ судорогахъ покончило свое постыдное существованіе и другое. И то, и другое одновременно заколотили въ гробъ и снесли на погостъ, а какое иное право и какое иное раздолье выросли на этой общей могилѣ—это вопросъ особый. Говорятъ, однакожъ, что выросло нѣчто—не особенно важное.

Ибо хотя старая злоба дня и исчезла, но нѣкоторые признаки убѣждаютъ, что, издыхая, она отравила своимъ ядомъ новую злобу дня, и что, несмотря на измѣнившіяся формы общественныхъ отношеній, сущность ихъ остается нетронутою. Конечно, свидѣтели и современники старыхъ порядковъ могутъ, до извѣстной степени, и въ одномъ упраздненіи формъ усматривать существенный прогрессъ, но молодые поколѣнія, видя, что исконныя жизненныя основы стоятъ, по прежнему, неизбежно, не легко примираются съ однимъ измѣненіемъ формъ и обнаруживаютъ нетерпѣніе, которое получаетъ тѣмъ болѣе мучительный характеръ, что въ него уже въ значительной мѣрѣ входитъ элементъ сознательности...

Мѣстность, въ которой я родился и въ которой протекло мое дѣтство, даже въ захолустной пошехонской сторонѣ, считалось захолустьемъ. Какъ будто она самой природой предназначена была для мистерій крѣпостного права. Совсѣмъ гдѣ-то въ углу, среди болотъ и лѣсовъ, вслѣдствіе чего жители ея, по простонародному, назывались „заугольниками“ и „лягушатниками“. Тѣмъ не меньше, по части помѣщиковъ и здѣсь было людно (селеній, въ которыхъ жили такъ-называемые экономическіе крестьяне, почти совсѣмъ не было). Изстари, болѣе сильные люди захватывали мѣстности по берегамъ большихъ рѣкъ, куда ихъ влекла цѣнность угодій: лѣсовъ, луговъ и проч. Мелкая сошка забивалась въ глубь, гдѣ природа представляла, относительно, очень мало льготъ, но за то никакой глазъ туда не заглядывалъ, а слѣдовательно, крѣпостныя мистеріи могли совершаться вполне безпрепятственно. Мужичья спина съ избыткомъ вознаграждала за отсутствіе цѣнныхъ угодій. Во всѣ стороны отъ нашей усадьбы было разбросано достаточное количество дворянскихъ гнѣздъ, и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, отдѣльными подгнѣздами ютилось по нѣскольку помѣщичьихъ семей. Это были семьи, по преимуществу, захудалыя, и потому около нихъ замѣчалось особенное крѣпостное оживленіе. Часто четыре-пять мелкопомѣстныхъ усадебъ стояли о-бокъ или черезъ дорогу; поэтому круговое посѣщеніе сосѣдей сосѣдами вошло почти въ ежедневный обиходъ. Появилось раздолье, хлѣбосолецтво, веселая жизнь. Каждый день гдѣ-нибудь гости; а гдѣ гости, тамъ вино, пѣсни, угощеніе. На все это требовались ежели не деньги, то даровой припасъ. Поэтому, ради удовлетворенія цѣлямъ раздолья, неустанно выжимался послѣдній мужицкій сокъ, и мужики, разумѣется, не сидѣли сложа руки, а кипѣли, какъ муравьи, въ окрестныхъ поляхъ. Вслѣдствіе этого оживлялся и сельскій пейзажъ.

Равнина, покрытая хвойнымъ лѣсомъ и болотами — таковъ былъ общій видъ нашего захолустья. Всякій, сколько-нибудь предусмотрительный, помѣщикъ-аборигенъ захватилъ столько земли, что не въ состояніи былъ ее обрабатывать, несмотря на крайнюю растяжимость крѣпостного труда. Лѣса горѣли, гнили на корню и загромождались валежникомъ и буреломомъ; болота заражали окрестность міазмами, дороги не просыхали въ самые сильные лѣтніе жары; деревни ютились около самыхъ помѣщичьихъ усадебъ, а особнякомъ просекаивали рѣдко на разстояніи пяти-шести верстъ другъ отъ друга. Только около мелкихъ усадебъ прорывались свѣженькія прогалины, только тутъ всю землю старались обработать подъ пашню и луга. За то непосильною барщиной

мелкопомѣстный крестьянинъ до того изнурялся, что даже по наружному виду можно было сразу отличить его въ толпѣ другихъ крестьянъ. Онъ былъ и испуганнѣе, и тощѣе, и слабосильнѣе, и малоростѣе. Однимъ словомъ, въ общей массѣ измученныхъ людей былъ самымъ измученнымъ. У многихъ мелкопомѣстныхъ, мужикъ работалъ на себя только по праздникамъ, а въ будни—въ ночное время. Такъ что лѣтняя страда этихъ людей просто-на-просто превращалась въ сплошную каторгу.

Лѣса, какъ я уже сказалъ выше, стояли нетронутыми, и лишь у немногихъ помѣщиковъ представляли не то чтобы доходную статью, а скорѣе средство добыть большую сумму денегъ (этотъ порядокъ вещей, впрочемъ, сохранился и доселѣ). Вблизи отъ нашей усадьбы было устроено два стеклянныхъ завода, которые, въ немного лѣтъ, безъ толку истребили громадную площадь лѣсовъ. Но на болота никто еще не простиралъ алчной руки, и они тянулись безъ перерыва на многіе десятки верстъ. Зимой по нимъ пролагали дороги, а лѣтомъ объѣзжали, что удлиняло разстоянія почти вдвое. А такъ какъ, несмотря на объѣзды, все-таки приходилось захватить хоть краешекъ болота, то въ такихъ мѣстахъ настигались безконечные мостовники, память о которыхъ не изгладилась во мнѣ и до-днесь. Въ самое жаркое лѣто воздухъ былъ насыщенъ влажными испареніями и наполненъ тучами насѣкомыхъ, которыя не давали покою ни людямъ, ни скотинѣ.

Текучей воды было мало. Только одна рѣка Перла, да и та не важная, и еще двѣ рѣченки: Юла и Вопля ¹⁾. Послѣднія еле-еле брели среди топкихъ болотъ, по мѣстамъ образуя стоячіе бочаги, а по мѣстамъ и совсѣмъ пропадая подъ густой пеленой водяной заросли. Тамъ-и-сямъ виднѣлись небольшія озера, въ которыхъ водилась немудреная рыбешка, но къ которымъ, въ лѣтнее время, невозможно было ни подъѣхать, ни подойти.

По вечерамъ, надъ болотами поднимался густой туманъ, который всю окрестность окружалъ сизою, клубящеюся пеленой. Однаковъ, на вредное вліяніе болотныхъ испареній, въ гигиеническомъ отношеніи, никто не жаловался, да и вообще, сколько мнѣ помнится, повальные болѣзни въ нашемъ краю составляли рѣдкое исключеніе.

И лѣса, и болота изобиловали птицей и звѣремъ, но по части ружейной охоты было скудно, и тонкой красной дичи, въ родѣ вальдшнеповъ и дупелей, я положительно не припомню. Помню

¹⁾ Само собой разумѣется, названія эти вымышленныя.

только большихъ кряковныхъ утокъ, которыми, отъ времени до времени, чуть не задаромъ, одѣлялъ всю округу единственный въ этой мѣстности ружейный охотникъ, экономическій крестьянинъ Лука. Псовыхъ охотниковъ (конечно, помѣщиковъ), впрочемъ, было достаточно, и такъ какъ отъ охоты этого рода очень часто страдали озими, то онѣ служили источникомъ непрерывныхъ раздоровъ и даже тяжбъ между сосѣдями.

Помѣщичьи усадьбы того времени (я говорю о помѣщикахъ средней руки) не отличались ни изяществомъ, ни удобствами. Обыкновенно, онѣ устраивались среди деревни, чтобъ было сподручнѣе наблюдать за крестьянами. Сверхъ того, мѣсто для постройки выбиралось непременно въ лоцинкѣ, чтобъ было теплѣе зимой. Дома почти у всѣхъ были одного типа: одноэтажные, продолговатые, на манеръ длинныхъ комодовъ; ни стѣны, ни крыши не красились; окна имѣли старинную форму, при которой нижнія рамы поднимались вверхъ и подпирались подставками. Въ шести-семи комнатахъ такого четырехугольника, съ колеблющимися полами и нештукатуренными стѣнами, жила дворянская семья, иногда очень многочисленная, съ цѣлымъ штатомъ дворовыхъ людей, преимущественно дѣвокъ, и съ наѣзжавшими, отъ времени до времени, гостями. О паркахъ и садахъ не было и въ поминѣ; впереди дома раскидывался крохотный палисадникъ, обсаженный стриженными акаціями, и наполненный, по части цвѣтовъ, барскою спѣсью, царскими кудрями и бурожелтыми бураками. Сбоку, поближе къ скотнымъ дворамъ, выкапывался небольшой прудъ, который служилъ скотскимъ водопоемъ и поражалъ своею неопрятностью и вонью. Сзади дома устраивался незатѣливый огорождъ, съ ягодными кустами и наиболѣе цѣнными овощами: рѣпой, русскими бобами, сахарнымъ горохомъ и проч., которые, еще на моей памяти, подавались въ небогатыхъ домахъ послѣ обѣда въ видѣ десерта. Разумѣется, у помѣщиковъ болѣе зажиточныхъ (между прочимъ, и у насъ) усадьбы были обширнѣе. Но общій типъ для всѣхъ существовалъ одинъ и тотъ же. Не о красотѣ, не о комфортѣ и даже не о просторѣ тогда думали, а о томъ, чтобъ имѣть теплый уголь и въ немъ достаточную степень сытости.

Только одна усадьба сохранилась въ моей памяти, какъ исключеніе изъ общаго правила. Она стояла на высокомъ берегу рѣки Перлы, и изъ большого каменнаго господскаго дома, утопавшаго въ зелени обширнаго парка, открывался единственный въ нашемъ захолустѣ красивый видъ на поѣмные луга и на дальнія сѣла. Владѣлецъ этой усадьбы (называлась она, какъ и

слѣдуетъ, „Отрадой“), былъ выродившійся, совсѣмъ разслабленный представитель стариннаго барскаго рода, который по зимамъ жилъ въ Петербургѣ, а на лѣто прїѣзжалъ въ усадьбу, но съ сосѣдами не являлся (таково ужъ исконное свойство попехонскаго дворянства, что бѣдный дворянинъ отъ богатаго никогда ничего не видитъ, кромѣ пренебреженія и притѣсненія). Объ отрадинскихъ цвѣтникахъ, оранжереяхъ и прочей роскоши ходили между обитателями нашего захолустя почти фантастическіе рассказы. Были тамъ пруды съ каскадами, гротами и чугунными мостами; были бесѣдки съ гипсовыми статуями; былъ конскій заводъ съ манежемъ и обширнымъ обгороженнымъ кругомъ, на которомъ происходили скачки и бѣга; былъ свой театръ, оркестръ, лѣвчье. И всѣмъ этимъ выродившійся аристократъ пользовался самъ-другъ съ второстепенной французской актрисой Селиной Архиповой Бульмишъ, которая особенныхъ талантовъ по драматической части не предъявила, но за то безошибочно могла отличать *la grande cochonnerie* отъ *la petite cochonnerie*. Самъ-другъ съ нею, онъ слушалъ домашнюю музыку, созерцалъ лошадиную случку, наслаждался конскими ристалищами, ѣлъ фрукты и нюхалъ цвѣты. Съ теченіемъ времени, онъ женился на Селинѣ, и, по смерти его, имѣніе перешло къ ней.

Не знаю, жила ли она теперь, но, послѣ смерти мужа, она долгое время каждое лѣто появлялась въ Отрадѣ, въ сопровожденіи француза съ крутыми бедрами и дугообразными, словно писанными, бровями. Жила она, какъ и при покойномъ мужѣ, изолированно, съ сосѣдами не знакомилась, и преимущественно занималась тѣмъ, что придумывала, вмѣстѣ съ крутобедрымъ французомъ, какую-нибудь новую ѣду, которую они и проглатывали съ глазу на глазъ. Но и ее, и крутобедраго француза крестьяне очень любили за то, что они вели себя по-дворянски. Не шильничали, сами по грибы въ лѣсъ не ходили, а другимъ собирать въ своихъ лѣсахъ не препятствовали. И на деньги были чивы, за все платили безъ торга; принесутъ имъ лукошко ягодъ или грибовъ, спросятъ двугривенный—слова не скажутъ, отдадутъ, точно двугривенный и не деньги. А дѣвкѣ такъ и ленту, сверхъ того, подарятъ. И когда объявлено было крестьянамъ освобожденіе, то и съ уставной грамотой Селина первая въ уѣздѣ покончила, безъ жалобъ, безъ гвалта, безъ судоговореній: что слѣдуетъ отдала, да и себя не обидѣла. Дворовыхъ тоже не забыла: молодыхъ распустила, не выжидая срока, старикамъ—выстроила избы, отвела огороды и назначила пенсіи.

Въ сентябрѣ, съ отѣздомъ господъ, сосѣдніе помѣщики на-

ѣзжали въ Отраду, и за ничтожную мзду садовнику и его подручнымъ запасались тамъ сѣменами, корнями и прививками. Такимъ образомъ, появились въ нашемъ уѣздѣ первыя георгины, штокровы и проч., а матушка даже нѣкоторыя куртины въ нашемъ саду распланировала на манеръ отрадинскихъ.

Что касается до усадьбы, въ которой я родился и почти безвыѣздно прожить до десятилѣтняго возраста (называлась она „Малиновецъ“), то она, не отличаясь ни красотою, ни удобствами, уже представляла нѣкоторыя претензіи на то и другое. Господскій домъ былъ трехъ-этажный (третьимъ этажемъ считался большой мезонинъ), просторный и теплый. Въ нижнемъ этажѣ, каменномъ, помѣщались мастерскія, кладовыя и нѣкоторыя дворовыя сѣмьи; остальные два этажа занимала господская сѣмья и комнатная прислуга, которой было множество. Кромѣ того, было нѣсколько флигелей, въ которыхъ помѣщались застольная, приказчикъ, ключникъ, кучера, садовники и другая прислуга, которая въ горницахъ не служила. При домѣ былъ разбитъ большой садъ, вдоль и поперекъ раздѣленный дорожками на равныя куртинки, въ которыхъ были насажены вишневые деревья. Дорожки были окаймлены кустами мелкой сирени и цвѣточными рабатками, наполненными большимъ количествомъ розъ, изъ которыхъ гнали воду и варили варенья. Такъ какъ въ то время существовала мода подстригать деревья (мода эта проникла въ Пошехонье... изъ Версаля!), то тѣни въ саду почти не существовало, и весь онъ раскинулся на солнечномъ припекѣ, такъ что и гулять въ немъ охоты не было.

Еще въ большемъ размѣрѣ были разведены огороды и фруктовый садъ съ оранжереями, теплицами и грунтовыми сараями. Обиліе фруктовъ и въ особенности ягодъ—было такое, что съ конца іюня до половины августа господскій домъ положительно превращался въ фабрику, въ которой съ утра до вечера производилась ягодная эксплуатація. Даже въ парадныхъ комнатахъ всѣ столы были нагружены вѣрами ягодъ, вокругъ которыхъ сидѣли группами сѣнныя дѣвушки, чистили, отбирали ягоду по сортамъ, и едва успѣвали справиться съ одной грудой, какъ на смѣну ей появлялась другая. Нынче одна эта операція стоила бы большихъ денегъ. Въ это же время, въ тѣни громадной старой липы, подъ личнымъ надзоромъ матушки, на разложенныхъ, въ видѣ четырехугольниковъ, кирпичахъ, варилось варенье, для котораго выбирались самыя лучшія ягоды и самый крупный фруктъ. Остальное утилизировалось для наливокъ, настоекъ, водицъ и проч. Замѣчательно, что въ свѣжемъ видѣ ягоды и фрукты

даже господами употреблялись умеренно: какъ будто опасались, что вотъ-вотъ неостанетъ въ прокъ. А „хамкамъ“ и совсѣмъ ничего не давали (я помню, какъ матушка безпокоилась, во время сбора ягодъ, что вотъ-вотъ подлянки ее объѣдятъ); развѣ ужъ когда, что называется, ягодѣ обору нѣтъ, но и тутъ непремѣнно дождутся, что она, отъ долговременнаго стоянія на погребѣ, начнетъ плѣсневѣть. Эта масса лакомства привлекала въ комнаты такія несмѣтныя полчища мухъ, что онѣ положительно отравляли существованіе.

Для чего требовалась такая масса заготовокъ — этого я никогда не могъ понять. Можно назвать это явленіе особымъ терминомъ: „алчностью будущаго“. Благодаря ей, хоть цѣлая гора съѣдобнаго матеріала лежитъ передъ глазами человѣка, а все ему кажется мало. Утроба человѣческая ограничена, а жадное воображеніе приписываетъ ей размѣры несокрушимые, и въ то же время рисуется въ будущемъ грозная перспектива. Въ самомъ расходованіи заготовленныхъ припасовъ, въ теченіе года, наблюдалась экономія, почти скупость. Думалось, что хотя „часть“ еще и не наступилъ, но непременно наступитъ, и тогда развернется таинственная прорва, въ которую придется валить, валить и валить. Отъ времени до времени, производилась ревизія погребовъ и кладовыхъ, и всегда оказывалось порченнаго запаса почти на половину. Но даже и это не убѣждало: жаль было и испорченнаго. Его подваривали, подправляли, и только уже совсѣмъ негодное рѣшались отдать въ застольную, гдѣ, послѣ такой подачи, нѣсколько дней сряду „валялись животами“. Строгое было время, хотя нельзя сказать, чтобы особенно умное.

И вотъ, когда все было поварено, насолено, настѣдено и наквашено, когда, въдобавокъ къ лѣтнему запасу, присоединялся запасъ мороженой домашней птицы, когда болота застывали и устанавливался санный путь — тогда начиналось пошехонское раздолье, то раздолье, о которомъ нынче знаютъ только по устнымъ преданіямъ и рассказамъ.

Къ этому предмету я возвращусь впослѣдствіи, а теперь познакомлю читателя съ первыми шагами моими на жизненномъ пути и той обстановкой, которая дѣлала изъ нашего дома нѣчто типичное. Думаю, что многіе изъ моихъ сверстниковъ, вышедшихъ изъ рядовъ осѣдлаго дворянства (въ отличіе отъ дворянства служебнаго, кочующаго) и видѣвшихъ описываемыя времена, найдутъ въ моемъ рассказѣ черты и образы, отъ которыхъ на нихъ повѣетъ чѣмъ-то знакомымъ. Ибо общій укладъ пошехонской дворянской жизни былъ вездѣ одинаковъ, и разницу обу-

словливали лишь нѣкоторыя частныя особенности, зависѣвшія отъ интимныхъ качествъ тѣхъ или другихъ личностей. Но и тутъ главное отличіе заключалось въ томъ, что одни жили „въ свое удовольствіе“, то-есть слаще ѣли, буйнѣе пили и проводили время въ безусловной праздности, другіе, напротивъ, сжимались, ѣли съ осторожностью, учитывали себя, ухищивали, скопидомствовали. Первые обыкновенно страдали тоской по предводительствѣ, достигнувъ котораго, разорялись въ прахъ; вторые держались въ сторонѣ отъ почестей, подстерегали разорявшихся, издалека опутывая ихъ, и, при помощи темныхъ оборотовъ, оказывались, въ концѣ концовъ, людьми не только состоятельными, но даже богатыми.

II. — МОЕ РОЖДЕНІЕ И РАННЕЕ ДѢТСТВО. — ВОСПИТАНІЕ ФИЗИЧЕСКОЕ.

Родился я, судя по рассказамъ, самымъ обыкновеннымъ пошехонскимъ образомъ. Въ то время барыни наши (по нынѣшнему, представительницы правящихъ классовъ) не ѣздили, въ предвидѣніи родовъ, ни въ столицы, ни даже въ губернскіе города, а довольствовались мѣстными, подручными средствами. При помощи этихъ средствъ, увидѣли свѣтъ всѣ мои братья и сестры; не составилъ исключенія и я.

Недѣли за три передъ тѣмъ, какъ матушкѣ приходилось родить, послали въ городъ за бабушкой-повитухой, Ульяной Ивановной, которая привезла съ собой мыльца отъ раки преподобнаго (въ городскомъ соборѣ почивали мощи) да банку моренковской мази. Въ этомъ состоялъ весь ея родовспомогательный снарядъ, ежели не считать усердія, опытности и „легкой руки“. Въ крайнемъ случаѣ, во время родовъ, отворяли въ церкви царскія двери, а домъ нѣсколько разъ обходили кругомъ съ иконой. Помощь Ульяны Ивановны обходилась баснословно дешево. А именно: все время, покуда она жила въ домѣ (иногда мѣсяца два-три) ее кормили и поили за барскимъ столомъ; кровать ея ставили въ той же комнатѣ, гдѣ спала роженица, и, слѣдовательно, ея кровью питали приписанныхъ къ этой комнатѣ клоповъ; затѣмъ, по благополучномъ разрѣшеніи, ей уплачивали деньгами десять рублей на ассигнаціи и посылали зимой въ ея городской домъ возъ или два разной провизіи, разумѣется, со всячинкой. Иногда, сверхъ того, отпускали къ ней на полгода или на годъ въ безвозмездное услуженіе дворовую дѣвку, которую она, впрочемъ, обязана была, въ теченіе этого времени, кормить, поить, обувать и одѣвать на собственный счетъ.

Тѣмъ не менѣе, когда въ ней больше ужъ не нуждались, то и этотъ ничтожный расходъ не проходилъ ей даромъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, практиковалось въ нашемъ домѣ. Обыкновенно ее называли „подлянкой и прорвой“, до слѣдующихъ родовъ, когда она вновь превращалась въ „голубушку Ульяну Ивановну“.

— Это ты подлянкѣ индюшекъ-то послать собралась? — негодовала матушка на ключницу, видя приготовленныхъ къ отправкѣ въ сѣняхъ пару или двѣ замороженныхъ индеекъ: — будетъ съ нея, и старыми курами прорву себѣ заткнетъ.

Добрая была эта Ульяна Ивановна, бойкая, веселая, словоохотливая. И хотя я узналъ ее, уже будучи восьми лѣтъ, когда родные мои были съ ней въ ссорѣ (думали, что услугъ отъ нея не потребуется), но она такъ тепло меня приласкала и такъ привѣтливо назвала умницей и погладила по головѣ, что я невольно расчувствовался. Въ нашемъ семействѣ не было въ обычаѣ по головѣ гладить — можетъ быть, поэтому ласка чужого человѣка такъ живо на меня и подѣйствовала. И не на меня одного она производила пріятное впечатлѣніе, а на всѣхъ восемь нашихъ дѣвушекъ — по числу матушкиныхъ родовъ — бывшихъ у нея въ услуженіи. Всѣ онѣ отзывались о ней съ восторгомъ и возвращались тучныя (одна даже съ приплодомъ). Щи у нея ѣли такія, что не продуешь, въ кашу лили масло коровье, а не льняное. Называла она всѣхъ именами ласкательными, а не ругательными, и никогда ни изъ кого господамъ не пожаловалась.

Жила она въ собственномъ ветхомъ домикѣ на краю города, одиноко, и питалась плодами своей профессіи. Былъ у нея и мужъ, но въ то время, какъ я зазналъ ее, онъ ужъ лѣтъ десять какъ пропадалъ безъ вѣсти. Впрочемъ, кажется, она знала, что онъ куда-то усланъ, и по этому случаю въ каждый большой праздникъ возила въ тюрьму калачи.

— Благой у меня былъ мужъ, говорила она: — не было промежъ насъ согласія. Портнымъ ремесломъ занимался и хорошія деньги зарабатывалъ, а въ домъ копѣечки щербатой никогда не принесъ — все въ кабакъ. Были у насъ и дѣти, да такъ и перемерли ангельскія душеньки, и всѣ не настоящей смертью, а либо съ лавки свалится, либо выпяткомъ себя ошпарить. Мое дѣло такое, что все въ уѣздѣ да въ уѣздѣ, а мужъ — день въ кабацѣ, ночь — либо въ канавѣ, либо на стѣзжей. Прислуга тоже съ бору да съ сдсенки. Присмотрѣть-то за дѣточками и некому. А наконецъ, возвращаюсь я однажды съ родовъ домой, а меня прислуга встрѣчаетъ: „вѣдь Прохоръ-то Семенычъ — это мужъ-то

мой—ужь съ недѣлю дома не бываль"! Не бываль да не бываль, да такъ съ тѣхъ поръ словно въ воду и канулъ. Осталась я одна; по началу жутко сдѣлалось, думаю: ну, теперь пропала! А вышло, напротивъ того, еще лучше прежняго зажила.

И вотъ, какъ разъ въ такое время, когда въ нашемъ домѣ за Ульяной Ивановной окончательно утвердилась кличка „подлинки“, матушка (она ужь лѣтъ пять не рожала), сверхъ ожиданія, сдѣлалась въ девятый разъ тяжела, и такъ какъ годы ея были уже серьезныя, то она задумала ѣхать родить въ Москву. Пришлось звать Ульяну Ивановну для сопровожденія. Послали въ городъ меня—тутъ-то я съ нею и познакомился. И добрая женщина не только не попомнила зла, но когда, по приѣздѣ въ Москву, былъ призванъ ученый акушеръ и явился „съ щипцами, ножами и долотами“, то Ульяна Ивановна просто не допустила его до роженицы, и съ помощью мыльца въ девятый разъ вызволила свою пациентку и поставила на ноги. Но эта послуга обошлась ужь роднымъ моимъ „въ копѣечку“. Повитушекъ, вмѣсто красной, дали бѣленькую деньгами, да одинъ возъ провизіи послали по первопутѣ, а другой къ масляницѣ. А дѣвка въ услуженіе — сама по себѣ.

Итакъ, появленіе мое на свѣтъ обошлось дешево и благополучно. Столь же благополучно совершилось и крещеніе. Въ это время у насъ въ домѣ гостилъ мѣщанинъ — богомоль Дмитрій Никоничъ Бархатовъ, котораго въ уѣздѣ считали за прозорливаго.

Между прочимъ, и по моему поводу, на вопросъ матушки, чтѣ у нея родится, сынъ или дочь, онъ запѣлъ пѣтухомъ и сказать: „пѣтушокъ, пѣтушокъ, востѣрь ноготокъ"! А когда его спросили, скоро ли совершатся роды, то онъ началъ черпать ложечкой медъ—дѣло было за чаемъ, который онъ пилъ съ медомъ, потому что сахаръ скоромный — и, остановившись на седьмой ложкѣ, молвилъ: „вотъ теперь въ самый разъ"! „Такъ по его и случилось: какъ разъ на седьмой день маменька распросталась“, —разсказывала мнѣ впослѣдствіи Ульяна Ивановна. Кромѣ того, онъ предсказалъ и будущую судьбу мою,—что я многихъ супостатовъ покорю, и буду дѣвичьимъ разгонникомъ. Вслѣдствіе этого, когда матушка бывала на меня сердита, то, давая шлепка, всегда приговаривала: „а вотъ я тебя высѣку, супостатовъ покоритель"!

Вотъ этого-то Дмитрія Никонича и пригласили быть моимъ восприемникомъ вмѣстѣ съ одною изъ тѣтенокъ-сестрицъ, о которыхъ рѣчь будетъ впереди.

Кстати скажу: не разъ я видалъ въ послѣдствіи моего крестнаго отца, идущаго, съ посохомъ въ рукахъ, въ толпѣ народа, за крестнымъ ходомъ. Онъ одѣвался въ своеобразный костюмъ, въ родѣ поповскаго подрясника, подпоясывался широкимъ, вышитымъ шерстями, поясомъ и ходилъ съ распущенными по плечамъ волосами. Но познакомиться мнѣ съ нимъ не удалось, потому что родители мои уже разошлись съ нимъ и называли его шалыганомъ. Вообще, по мѣрѣ того, какъ семейство мое богатѣло, старые фавориты незамѣтно исчезали изъ нашего дома. Но, сверхъ того, надо сказать правду, что Бархатовъ, несмотря на прозорливость и званіе „богомолъ“, черезъ-чуръ часто заглядывалъ въ дѣвичью, а матушка этого не долюбливала и неукоснительно блюла за нравственностью „подлянокъ“.

Кормилица у меня была своя, крѣпостная, Домна, въ которой я въ послѣдствіи любилъ бѣгать украдкой въ деревню. Она готовила для меня яичницу и подливала сливками; и тѣмъ, и другимъ я съ жадностью насыщался, потому что дома насъ держали въпроголодь. Въ кормилицы бабы шли охотно, потому что это, во-первыхъ, освобождало ихъ на время отъ барщины, во-вторыхъ, исправная выкормка барченка или барышни обыкновенно сопровождалась отпускомъ на волю кого-нибудь изъ кормилкиныхъ дѣтей. Впрочемъ, отпускали исключительно дѣвочекъ, такъ какъ увольненіе мальчика (будущаго тягльца) считалось убыточнымъ; дѣвка же, и по достиженіи совершенныхъ лѣтъ, продавалась на выводъ не дороже пятидесяти рублей ассигнаціями. Моей кормилицѣ не повезло въ этомъ случаѣ. Домъ ея былъ изъ бѣдныхъ, и „вольную“ ея дочь Дашутку не удалось выдать за мужъ на-сторону за вольнаго человѣка. Поэтому, она вошла въ семью своего же однодеревенца, и такимъ образомъ закрѣпстилась вновь.

Нянекъ я помню очень смутно. Онъ мѣнялся почти непрерывно, потому что матушка была вообще гнѣвлива и, сверхъ того, держалась своеобразной системы, въ силу которой крѣпостные, не изнывавшіе съ утра до ночи на работѣ, считались дармоѣдами.

— Зажирѣла въ нянькахъ, шпъ мясищи-то нагуляла!—говорила она, и, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, опредѣляла няньку въ прачки, въ тѣачихи, или засаживала за пальцы и пряжу.

Замѣчательно, что между многочисленными няньками, которыя пѣствовали мое дѣтство, не было ни одной сказочницы. Вообще, весь нашъ домашній обиходъ стоялъ на вполне реальной

почвъ, и сказочный элементъ отсутствовалъ въ немъ. Дѣтскому воображенію приходилось искать пищи самостоятельно, создавать свой собственный сказочный міръ, не имѣвшій никакого соотношенія съ народной жизнью и ея преданіями, но за то наполненный всевозможными фантазмагоріями, содержаніемъ для которыхъ служило богатство, а еще болѣе—генеральство. Последнее представлялось высшимъ жизненнымъ идеаломъ, такъ какъ всѣ въ домѣ говорили о генералахъ, даже объ отставныхъ, не только съ почтеніемъ, но и съ боязнью.

Я помню, однажды отецъ получилъ отъ предводителя письмо съ приглашеніемъ на выборы, и на конвертѣ было написано: „его превосходительству“ (отецъ въ молодости служилъ въ Петербургѣ и дослужился до коллежскаго совѣтника, но многіе изъ его бывшихъ товарищей пошли далеко и занимали видныя мѣста). Догадать и удивленію конца не было. Отецъ съ недѣлю носилъ конвертъ въ карманѣ и всѣмъ показывалъ.

— А кто знаетъ, взяли да въ превосходительные и произвели!—говорилъ онъ.—Бывали же прежде такіе случаи—отчего жъ не случится и теперь? Сижу я въ своемъ Малиновцѣ, ничего не знаю, а тамъ, можетъ быть, кто-нибудь изъ старыхъ товарищей взялъ да и шепнулъ...

Впрочемъ, я не могу сказать, чтобы фактическая сторона моихъ дѣтскихъ воспоминаній была особенно богата. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ у меня было много старшихъ сестеръ и братьевъ, которые уже учились въ то время, когда я ничего не дѣлалъ, а только прислушивался и приглядывался, то память моя все-таки сохранила нѣкоторые достаточно яркія впечатлѣнія. Припоминается непрерывный дѣтскій плачь, раздававшійся за класснымъ столомъ; припоминается цѣлая свита гувернантокъ, слѣдовавшихъ одна за другой и съ непонятною для нынѣшняго времени жестокостью сыпавшихъ золотушками направо и налево. Помнится родительское равнодушіе. Какъ во снѣ проходятъ передо мной и Каролина Карловна, и Генріетта Карловна, и Марья Андреевна, и французенка Даламберша, которая ничему учить не могла, но пила ерофенчъ и ѣздила верхомъ по-мужски. Всѣ онѣ безчеловѣчно дрались, а Марью Андреевну (дочь московскаго нѣмца-сапожника) даже строгая наша мать называла фуріей. Такъ что во все время ея пребыванія уши у дѣтей постоянно бывали покрыты болячками.

Внѣшней обстановкой моего дѣтства, въ смыслѣ гигиены, опрятности и питанія, я похвалиться не могу. Хотя въ нашемъ домѣ было достаточно комнатъ, большихъ, свѣтлыхъ и съ обиль-

нымъ содержаніемъ воздуха, но это были комнаты парадныя; дѣти же постоянно тѣснились: днемъ — въ небольшой классной комнатѣ, а ночью — въ общей дѣтской, тоже маленькой, съ низкимъ потолкомъ и въ зимнее время, вдобавокъ, жарко натопленной. Тутъ было поставлено четыре-пять дѣтскихъ кроватей, а на полу, на войлокахъ, спали няньки. Само собой разумѣется, не было недостатка ни въ клопахъ; ни въ тараканахъ, ни въ блохахъ. Эти насѣкомыя были какъ бы домашними друзьями. Когда клопы уже черезъ-чуръ донимали, то кровати выносили и обваривали кипяткомъ, а таракановъ по зимамъ морозили.

Лѣтомъ мы еще сколько-нибудь оживлялись подъ вліяніемъ свѣжаго воздуха, но зимой насъ положительно закупоривали въ четырехъ стѣнахъ. Ни единой струи свѣжаго воздуха не доходило до насъ, потому что форточекъ въ домѣ не водилось, и комнатная атмосфера освѣжалась только при помощи топки печей. Катанье въ санихъ не было въ обычаѣ, и только по воскресеньямъ насъ вывозили въ закрытомъ возкѣ къ обѣднѣ въ церковь, отстоявшую отъ дома саженьяхъ въ пятидесяти, но и тутъ закутывали до того, что трудно было дышать. Это называлось *муженнымъ* воспитаніемъ. Очень возможно, что, вслѣдствіе такихъ бессмысленныхъ гигиеническихъ условій, всѣ мы, впоследствии, оказались хилыми, болѣзненными и не особенно устойчивыми въ борьбѣ съ жизненными случайностями. Печально существованіе, въ которомъ жизненный процессъ равносильнъ непрерывающейсѣ невзгодѣ, но еще печальнѣе жизнь, въ которой сами живущіе какъ бы не принимаютъ никакого участія. Съ больною душою, съ тоскующимъ сердцемъ, съ неокрѣпшимъ организмомъ, человекъ всецѣло погружается въ призрачный міръ имъ самимъ созданныхъ фантазмагорій, а жизнь проходитъ мимо, не прикасаясь къ нему ни одной изъ своихъ реальныхъ усладъ. Что такое блаженство? въ чемъ состоитъ душевное равновѣсіе? почему оно наполняетъ жизнь отрадой? въ силу какого злого волшебства міръ живыхъ, полный чудесъ, для него одного превратился въ пустыню? — вотъ вопросы, которые ежеминутно мечутся передъ нимъ, и на которые онъ тщетно будетъ искать отвѣта...

Объ опрятности не было и помина. Дѣтскія комнаты, какъ я уже сейчасъ упоминалъ, были переполнены насѣкомыми и нерѣдко оставались по нѣскольку дней неметенными, потому что ничей глазъ туда не заглядывалъ; одежда на дѣтяхъ была плохая и чаще всего перешивалась изъ разнаго старья или переходила отъ старшихъ къ младшимъ; бѣлье перемѣнялось рѣдко. Прибавьте къ этому прислугу, одѣтую въ какую-то вонючую, за-

платанную рвань, распространявшую запахъ, и вы получите ту невзрачную обстановку, среди которой копошились съ утра до вечера дворянскія дѣти.

То же можно сказать и о питаніи: оно было очень скудное. Въ семействѣ нашемъ царствовали не то чтобы скупость, а какое-то непонятное скопидомство. Всегда казалось мало, и всего было жалъ. Грошъ прикладывался къ грошу и когда образовался гривенникъ, то помыслы устремлялись къ пѣлковому. „Ты думаешь, какъ состоянія-то наживаются?“ — эта фраза раздавалась во всѣхъ углахъ съ утра до вечера, оживляла всѣ сердца, давала тонъ и содержаніе всему обиходу. Это было своего рода исповѣданіе вѣры, которому всѣ безусловно подчинялись. Даже дворовые, насчетъ которыхъ собственно и происходилъ процессъ прижиманія гроша къ грошу — и тѣ внимали афоризмамъ стяжанія не только безъ ненависти, но даже съ какимъ-то благоговѣніемъ.

Утромъ намъ обыкновенно давали по чашкѣ чая, приправленнаго молокомъ, непременно снятымъ (синеватымъ), несмотря на то, что на скотномъ дворѣ стояло болѣе трехсотъ коровъ. Къ чаю полагался крохотный ломоть домашняго бѣлаго хлѣба; затѣмъ завтрака не было, такъ что съ осьми часовъ до двухъ (время обѣда) дѣти буквально оставались безъ пищи. За обѣдомъ подавались кушанья, въ которыхъ главную роль играли вчерашніе остатки. Иногда чувствовался и запахъ лежалаго. Въ особенности ненавистны намъ были соленые полотки изъ домашней живности, которыми въ лѣтнее время, изъ опасенія, чтобы совсѣмъ не испортились, насъ кормили чуть не ежедневно. Кушанье раздавала дѣтямъ матушка, но при этомъ (за исключеніемъ любимцевъ) одѣляла такими микроскопическими порціями, что сѣнныя дѣвушки, которыхъ семьи содержались на мѣсячинѣ¹⁾, перѣдко изъ жалости приносили подъ фартуками ватрушекъ и лепешекъ, и тайкомъ давали намъ поѣсть. Какъ сейчасъ помню процедуру *приказыванья* кушанья. Въ дѣвичьей, на обѣденномъ столѣ, красовались вчерашніе остатки, не исключая похлебки, и

¹⁾ Существовало два способа продовольствовать дворовыхъ людей. Однимъ (исключительно, впрочемъ, семейнымъ и служившимъ во дворѣ, а не въ горницахъ) дозволяли держать корову и пару овецъ на барскомъ корму, отводили крошечный огородъ подъ овощи и отсылали на каждую душу известную пропорцію муки и крупъ. Это и называлось мѣсячиной. Другихъ кормили въ застольной. Первые считали себя, относительно, счастливыми. Я еще помню мѣсячину; но такъ какъ этотъ способъ продовольствія считался менѣе выгоднымъ, то съ теченіемъ времени онъ былъ въ нашемъ домѣ окончательно упраздненъ, и всѣ дворовые были поверстаны въ застольную. Я помню рохотъ и даже слезы по этому поводу.

матушкой, совместно съ поваромъ, обсуждался вопросъ, что и какъ „подправить“ къ предстоящему обѣду. Затѣмъ, если вчерашнихъ остатковъ оказывалось недостаточно, то прибавлялась свѣжая провизія, которой предстояла завтра та же участь, то-есть быть подправленной на завтрашній обѣдъ. Такимъ образомъ дѣло шло изодня въ день, такъ что совсѣмъ свѣжій обѣдъ готовился лишь по большимъ праздникамъ да въ тѣ дни, когда наѣзжали гости. На случай нечаянныхъ пріѣздовъ нѣсколько кушаньевъ *получше* готовились особо и хранились на погребѣ. Пріѣдетъ нечаянный гость — бѣгутъ на погребъ и несутъ оттуда какое-нибудь заливное или легко разогрѣваемое: вотъ, дескать, мы каждый день такъ ѣдимъ!

Но даже мы, не избалованные сытнымъ и вкуснымъ столомъ, приходили въ недоумѣніе при видѣ пирога, который по воскресеньямъ подавался на закуску попу съ причтомъ. Начинка этого пирога представляла смѣшеніе всевозможныхъ отбросковъ, накопившихся въ теченіе недѣли, и наполняла столовую своеобразнымъ запахомъ лежалой солонины. Пирогъ этотъ такъ и назывался „поповскимъ“, да и посуда къ закускѣ подавалась особенная, поповская: сѣрые, прыщеватые тарелки, ножи съ сточенными лезвиями, поломанныя вилки, ставаны и рюмки зеленого стекла. Впрочемъ, надо сказать правду, что и попъ у насъ былъ совсѣмъ особенный, *таковскій*, какъ тогда выражались.

Однако-жъ, при матушѣ ѣда все-таки была сносна; но когда она уѣзжала, на болѣе или менѣе продолжительное время, въ Москву или въ другія вотчины, и домовничать оставался отецъ, тогда наступало сущее бѣдствіе. Обыкновенно, въ такихъ случаяхъ отцу оставлялась сторублевая ассигнація, на все про все, а затѣмъ призывался церковный староста, которому наказывалось, чтобы, въ случаѣ ежели оставленныхъ барину денегъ будетъ недостаточно, то давать ему заимообразно изъ церковныхъ суммъ. Отецъ не былъ жаденъ, но, желая угодить матушѣ, старался изъ всѣхъ силъ сохранить довѣренную ему ассигнацію въ цѣлости. Поэтому, онъ доводилъ экономію до самыхъ безобразныхъ размѣровъ. Даже сосѣди это знали, и никогда къ намъ, въ отсутствіи матушки, не ѣздили. Результаты такихъ экономическихъ усилій почти всегда сопровождались блестящимъ успѣхомъ: отцу удавалось возратить оставленный капиталъ неприкосновеннымъ, ибо ежели и случался неотложный расходъ, то онъ скорѣе рѣшался занять малость изъ церковныхъ суммъ, нежели размѣнять сторублевую. Тѣмъ не менѣе, хотя мы и голодали, но у насъ оставалось утѣшеніе: при отцѣ мы могли роптать, тогда какъ при

матушкѣ малѣйшее слово неудовольствія сопровождалось немедленнымъ и жестокимъ возмездіемъ.

Какъ ни вредно отражалось на дѣтскихъ организмахъ недостаточное питаніе, но въ нравственномъ смыслѣ еще болѣе вредное вліяніе оказывалъ самый способъ распредѣленія пищи. Въ этомъ отношеніи господствовало совершенное неравенство и пристрастіе. Дѣти въ нашей семьѣ (впрочемъ, тутъ я разумѣю, по преимуществу, матушку, которая давала тонъ всему семейству) раздѣлялись на двѣ категоріи: на любимыхъ и постылыхъ, и такъ какъ высшее счастье жизни полагалось въ ѣдѣ, то и преимущества любимыхъ надъ постылыми проявлялись главнымъ образомъ за обѣдомъ. Матушка, раздавая кушанья, выбирала для любимчика кусокъ и побольше, и посвѣжѣе, а для постылаго — непременно какую-нибудь разогрѣтую и выѣтрившуюся чурку. Иногда, одѣливъ любимчиковъ, она говорила постылымъ: „а вы сами возьмите“! И тогда происходило постыдное зрѣлище борьбы, которой предавались голодные постылые.

Матушка исподлобья взглядывала, наклонившись надъ тарелкой и выжидая, что будетъ. Постылый, въ большинствѣ случаевъ, чувствуя устремленный на него ея пристальный взглядъ и сознавая, что предоставленіе выбора куска есть не что иное, какъ игра въ кошку и мышку, самоотверженно бралъ самый дурной кусокъ.

— Что же ты лучше куска не выбралъ? вонъ сбоку, смотри, жирный какой! — заговаривала матушка притворно ласковымъ голосомъ, обращаясь къ несчастному постылому, у котораго глаза были полны слезъ.

— Я, маменька, сытъ-съ! — отвѣчалъ постылый, стараясь быть развязнымъ и нервно хихикая.

— То-то сытъ! а губы зачѣмъ надулъ? смотри ты у меня! я вѣдь насквозь тебя, тихоня, вижу!

Но иногда постылому приходила несчастная мысль побравировать, и онъ начиналъ тыкать вилкой по блюду, выбирая кусокъ лучше. Какъ вдругъ раздавался окрикъ:

— Ты что это разыгрался, мерзавецъ! ишь новую моду завелъ, вилкой по блюду тыкать! Подавай сюда тарелку!

И постылому накладывалась на тарелку уже дѣйствительно совсѣмъ подоженная и неимѣвшая ни малѣйшей питательности щепка.

Вообще, весь процессъ насыщенія сопровождался тоскливыми заглядываніями въ тарелки любимчиковъ, и очень часто разрѣшался долго сдерживаемыми слезами. А за слезами неизбѣжно

слѣдовали шлепки по затылку, приказанія продолжать обѣдъ стоя, лишеніе блюда, и непремѣнно любимаго, и т. д.

То же самое происходило и съ лакомствомъ. Зимой намъ давали полакомиться очень рѣдко; по лѣту ягодъ и фруктовъ было такое изобиліе, что и дѣтей ежедневно одѣляли ими. Обыкновенно, для вида всѣхъ вообще одѣляли поровну, но любимчикамъ клали особо въ потаенное мѣсто двойную порцію фруктовъ и ягодъ, и, конечно, посвяще, чѣмъ постылымъ. Происходило шушуканье между матушкой и любимчиками, и постылые легко догадывались, что ихъ настигла обида...

Существовалъ и еще приѣмъ, который чувствительно отзывался на постылыхъ. Обыкновенно матушка сама собирала фрукты, т.-е. персики, абрикосы, пшанскія вишни, сливы и т. п. Уходя въ оранжерею, она очень часто брала съ собой кого-нибудь изъ любимчиковъ, и давала ему тамъ фрукты *прямо съ дерева*. Можете себѣ представить, какія картины рисовало воображеніе постылыхъ, покуда происходила процедура сбора фруктовъ, и въ воротахъ сада показывалась процессія съ лотками, горшками и мисками, наполненными массою спѣлыхъ персиковъ, вишенъ и проч.! И въ этой процессіи, слѣдомъ за матушкой, рѣзвясь и играя, возвращался любимчикъ...

Да, мнѣ и теперь становится неловко, когда я вспоминаю объ этихъ дѣлежахъ, тѣмъ больше, что раздѣленіе на любимыхъ и постылыхъ не остановилось на рубежѣ дѣтства, но прошло, впоследствии, черезъ всю жизнь и отразилось въ очень существенныхъ несправедливостяхъ...

— Но вы описываете не дѣйствительность, а какой-то вымышленный адъ!—могутъ сказать мнѣ. Что описываемое мною похоже на адъ—объ этомъ я не спорю; но въ то же время утверждаю, что этотъ адъ не вымышленъ мною. Это „попехонская старина“—и ничего больше. И, воспроизводя ее, я могу, положиа руку на сердце, подписаться: съ подлиннымъ вѣрно.

Я не отрицаю, впрочемъ, что встрѣчалась и тогда другого рода дѣйствительность, мягкая и даже сочувственная. Я и ея, впоследствии, не обойду. Въ настоящемъ „житіи“ найдется мѣсто для всего разнообразія стихій и фактовъ, изъ которыхъ составлялся порядокъ вещей, называемый „стариною“

III.—ВОСПИТАНІЕ ПРАВСТВЕННОЕ.

Вообще, весь тонъ воспитательной обстановки былъ необыкновенно суровый, и, что всего хуже, въ высшей степени низменный. Но нравственно-педагогическій элементъ былъ даже ниже физическаго. Начну съ взаимныхъ отношеній родителей.

Какъ я уже упоминалъ, отецъ мой женился сорока лѣтъ на дѣвушкѣ, еще не вышедшей изъ ребяческаго состоянія. Это былъ первый и главный исходный пунктъ будущихъ несогласій. Затѣмъ, отецъ принадлежалъ къ старинному дворянскому роду (Затрапезный—шутка сказать!), а мать было по рожденію купчиха, при выдѣлѣ которой замужъ, вдобавокъ, не отдала полностью договореннаго приданаго. Ни въ характерахъ, ни въ воспитаніи, ни въ привычкахъ супруговъ не было ничего общаго, и такъ какъ матушка была изъ Москвы привезена въ деревню, въ совершенно чуждую ей семью, то въ первое время послѣ женитьбы положеніе ея было до крайности безпомощное и приниженное. И ей съ необыкновенною грубостью и даже жестокостью давали чувствовать эту приниженность.

Въ особенности донимали ее на первыхъ порахъ золовки, которыя всѣ жили неподалеку отъ отцовской родовой усадьбы, и которыя встрѣтили молодую хозяйку въ высшей степени враждебно. А такъ какъ всѣ онѣ были „чудихи“, то приставанія ихъ имѣли удивительно нелѣпыя и досадныя формы. Примутся, напримеръ, безъ всякой причины, хохотать между собой, и при этомъ искоса взглядывать на матушку. Или, при появленіи ея, шепчутъ: „купчиха! купчиха! купчиха!“—и при этомъ опять такъ и покатываются со смѣха. Или обращаются къ отцу съ вопросомъ: „а скоро ли вы, братецъ, имѣніе на приданое молодой хозяйки купите?“ Такъ что даже отецъ, несмотря на свою вялость, по временамъ гнѣвался и кричалъ: „язвы вы, язвы! какъ у васъ языкъ не отсохнетъ!“ Что же касается матушки, то она, натурально, возненавидѣла золовокъ, и впослѣдствіи доказала, не безъ жестокости, что память у нея относительно обидъ не короткая.

Впрочемъ, въ то время, какъ я началъ себя помнить, роли уже перемѣнились. Командиршею въ домѣ была матушка; золовки были доведены до безмолвія и играли роль приживалокъ. Отецъ тоже ступевался; однакожъ, сознавалъ свою приниженность и отплачивалъ за нее тѣмъ, что при всякомъ случаѣ осыпалъ матушку безсильною руганью и укоризнами. Въ теченіе цѣлаго

дня, они почти никогда не видались; отецъ сидѣлъ безвыходно въ своемъ кабинетѣ и перечитывалъ старыя газеты; мать, въ своей спальнѣ, писала дѣловыя письма, считала деньги, совѣщалась съ должностными людьми и т. д. Сходились только за обѣдомъ и вечернимъ чаемъ, и тутъ начинался настоящій погромъ. Къ несчастію, свидѣтелями этихъ сценъ были и дѣти. Инициатива брани шла всегда отъ отца, который, какъ человекъ слабохарактерный, не могъ выдержать, и первый, безъ всякой наглядной причины, начиналъ семейную баталію. Раздавалась брань, приноминалось прошлое, слышались намеки, непристойныя слова. Матушка почти всегда выслушивала молча, только верхняя губа у нея сильно дрожала. Все притихало; люди ходили на цыпочкахъ; дѣти опускали глаза въ тарелки; одні гувернантки не смущались. Онѣ открыто принимали сторону матушки и какъ будто про себя (не такъ, чтобы матушка слышала) шептали: „страдалица“!

Такия сцены повторялись почти каждый день. Мы ничего не понимали въ нихъ, но видѣли, что сила на сторонѣ матушки, и что, въ то же время, она чѣмъ-то кровно обидѣла отца. Но, вообще, мы хладнокровно выслушивали возмутительныя выраженія семейной свары, и она не вызывала въ насъ никакого чувства, кромѣ безотчетнаго страха передъ матерью и полного безучастія къ отцу, который не только кому-нибудь изъ насъ, но даже себѣ никакой защиты дать не могъ. Скажу больше: мы только по имени были дѣтьми нашихъ родителей, и сердца наши оставались вполнѣ равнодушными ко всему, что касалось ихъ взаимныхъ отношеній.

Да оно и не могло быть иначе, потому что отношенія къ намъ родителей были совсѣмъ неестественныя. Ни отецъ, ни мать не занимались дѣтьми, почти не знали ихъ. Отецъ — потому что былъ устраненъ отъ всякаго дѣятельнаго участія въ семейномъ обиходѣ; мать — потому что всецѣло была погружена въ процессъ благопріобрѣтенія. Она являлась между нами только тогда, когда, по жалобѣ гувернантки, ей приходилось карать. Являлась гнѣвная, неумолимая, съ закушенною нижнею губою, рѣшительная на руку, злая. Родительской ласки мы не знали, ежели не считать лаской тѣ безнравственныя подачи, которыя кидались любимчикамъ, на зависть постылымъ. Былъ, впрочемъ, и еще одинъ видъ родительской ласки, о которомъ стоитъ упомянуть. Когда матушка занималась „дѣлами“, то всегда затворялась въ своей спальнѣ. Тутъ она выслушивала старость и бурмистровъ, тутъ принимала оброчную сумму, запродавала хлѣбъ,

талыи, полотна и прочія произведенія; тутъ же происходило и ежедневное подсчитыванье денежной кассы. Матушка не любила производить свои денежные операціи при свидѣтеляхъ, но любимчики составляли въ этомъ случаѣ исключеніе. Замѣтивъ, что матушка „затворилась“, они тихонько бродили около ея спальни, и материнское сердце, почуявъ ихъ робкіе шаги, растворялось.

— Кто тамъ?—раздавался голосъ изъ спальни.

— Это я, маменька, Гриша...

— Ну, войди. Войди, посмотри, какъ мать-старуха хлопотеть. Возь сколько денегъ Максимушка (бурмистръ изъ ближней вотчины) матери привезъ. А мы ихъ въ ящикъ уложимъ, а потомъ, вмѣстѣ съ другими, въ дѣло пустимъ. Посиди, дружокъ, посмотри, поучись. Только сиди смирно, не мѣшай.

Гриша садился и застывалъ на мѣстѣ. Онъ былъ безконечно счастливъ, ибо понималъ, что маменькино сердце раскрылось и маменька любить его.

Разумѣется, любимчикъ передавалъ о слышанномъ и видѣнномъ прочимъ братьямъ и сестрамъ, и тогда между дѣтьми происходили своеобразныя собесѣдованія.

— И куда она такую прорву деньжищъ копять!—восклицалъ кто-нибудь изъ постылыхъ.

— Все для нихъ вотъ, для любимчиковъ этихъ, для Гришки да для Надьки!—отъзывался другой постылый.

— Ты бы, Гришка, сказалъ матери: вы, маменька, не все для насъ копите, у васъ и другія дѣти есть...

— Да,—скажетъ онъ!

И т. д., и т. д.

Таковы были единственныя выраженія, въ которыхъ родительская ласка исчерпывалась вполне.

Такимъ образомъ, къ отцу мы, дѣти, были совершенно равнодушны, какъ и всѣ вообще домочадцы, за исключеніемъ, быть можетъ, старыхъ слугъ, помнявшихъ еще холостыя отцовскіе годы; матушку, напротивъ, боялись какъ огня, потому что она являлась послѣднею карательною инстанціей, и притомъ не смягчала, а, наоборотъ, всегда усиливала мѣру наказанія.

Вообще, тѣлесныя наказанія во всѣхъ видахъ и формахъ являлись главнымъ педагогическимъ приемомъ. Къ сѣченію прибѣгали не часто, но холотушки, какъ болѣе сподручныя, сыпались со всѣхъ сторонъ, такъ что „постылымъ“ совсѣмъ житья не было. Я, лично, росъ отдѣльно отъ большинства братьевъ и сестеръ (старше меня было три брата и четыре сестры, причемъ между

мною и моею предшественницей-сестрой было три года разницы), и потому менѣ другихъ участвовалъ въ общей оргіи битья; но, впрочемъ, когда и для меня подошла пора ученія, то, на мое несчастіе, пріѣхала вышедшая изъ института старшая сестра, которая дралась съ такимъ ожесточеніемъ, какъ будто мстила за прежде вытерпѣнные побои. Благодаря этому педагогическому приему, во время классовъ раздавались неумолкаемые дѣтскіе стоны; за то въ неклассное время дѣти сидѣли смирно, не шевелились, и весь домъ погружался въ такую тишину, какъ будто вымиралъ. Словомъ сказать, это былъ подлинный дѣтскій мартирологъ, и въ настоящее время, когда я пишу эти строки и когда многое въ отношеніяхъ между родителями и дѣтьми настолько измѣнилось, что малѣйшая боль, ощущаемая ребенкомъ, заставляетъ тоскливо сжиматься родительскія сердца, подобное мучительство покажется чудовищнымъ вымысломъ. Но сами создатели этого мартиролога отнюдь не сознавали себя извергами—да и въ глазахъ постороннихъ не слыли за таковыхъ. Просто говорилося: „съ дѣтьми безъ этого нельзя“. И допускалось въ этомъ смыслѣ только одно ограниченіе: какъ бы не застывать совсѣмъ! Но кто можетъ сказать, сколько „не до конца застывавшихъ“ безвременно снесено на кладбище? кто можетъ опредѣлить, сколькимъ изъ этихъ юныхъ страстотерпцевъ была застывана и изуродована вся послѣдующая жизнь?

Но ежели несправедливыя и суровыя наказанія ожесточали дѣтскія сердца, то поступки и разговоры, которыхъ дѣти были свидѣтелями, развращали ихъ. Къ сожалѣнію, старшіе даже на короткое время не считали нужнымъ сдерживаться передъ нами, и безъ малѣйшаго стѣсненія выворачивали ту интимную подкладку, которая давала ключъ къ уразумѣнію цѣлаго жизненнаго строя.

Нормальныя отношенія помѣщиковъ того времени къ окружающей крѣпостной средѣ опредѣлялись словомъ „гнѣваться“. Это было какъ бы естественное право, которое нынче совсѣмъ пришло въ забвеніе. Нынче, всякій такъ-называемый „господинъ“ отлично понимаетъ, что, гнѣвается ли онъ, или нѣтъ, результатъ все одинъ и тотъ же: „наплевать“! но при крѣпостномъ правѣ выраженіе это было обильно и содержательнымъ, и практическими послѣдствіями. Господа „гнѣвались“; прислуга имѣла свойство „прогнѣвлять“. Это было, такъ сказать, волшебный кругъ, въ которомъ обязательно вращались всѣ тогдашнія несложныя отношенія. По крайней мѣрѣ, всякій разъ, когда намъ, дѣтямъ, приходилось сталкиваться съ прислугой, всякій разъ мы

видѣли испуганныя лица и слышали одно и то же шушуканье: „барыня изволятъ гнѣваться“, „баринъ гнѣваются...“

За обѣдомъ, прежде всего гнѣвались на повара. Поваръ у насъ былъ старый (были и молодые, но ихъ отпускали по оброку), полустѣпой и довольно нечистоплотный. Ежели кушанье оказывалось черезъ-чуръ посоленнымъ, то его призывали, и объявляли что недосоль на столѣ, а пересоль на спинѣ; если въ супѣ отыскивали таракана—повара опять призывали и заставляли таракана разжевать. Иногда матушка не доискивалась куска, который утронъ, заказывая обѣдъ, собственными глазами видѣла—опять повара за бока: куда дѣвалъ кусокъ? любовницѣ отдать? Словомъ сказать, рѣдкій обѣдъ проходилъ, чтобы несчастный старикъ чѣмъ-нибудь да не прогнѣвилъ господъ.

Кромѣ повара, гнѣвались и на лакеевъ, прислуживавшихъ за столомъ. Мотивы были самые разнообразныя: не такъ ступилъ, не такъ подаль, не такъ взглянулъ. „Что фордыбакой-то смотришь, или ужъ намеднешнюю баню позабылъ?“ „Что словно во снѣ веревки въешь—или по намеднешнему напомнить надо?“ Такіе вопросы и ссылки на недавнее прошлое сыпались непрерывно. Дратъся во время ѣды было неудобно; поэтому, отецъ, какъ человѣкъ набожный, нерѣдко прибѣгалъ къ наложенію эпитиміи. Прогнѣвается на какого-нибудь „не такъ ступившаго“ верзилу, да и поставить его возлѣ себя на колѣни, а не то такъ прикажетъ до конца обѣда земные поклоны отбивать.

Однако, не всегда же домашнія встрѣчи ознаменовывались семейными сварами, не всегда господа гнѣвались, а прислуга прогнѣвляла. Отъ времени до времени выпадали дни, когда воюющія стороны встрѣчались мирно, и свара уступала мѣсто обыкновенному разговору. Увы! разговоры эти своимъ пошлымъ содержаніемъ и формой засоряли дѣтскіе мозги едва ли не хуже, нежели самая жестокая брань. Обыкновенно они вращались или около средствъ наживы и сопряженныхъ съ нею разнообразнѣйшихъ формъ обьегориванія, или около половыхъ проказъ родныхъ и сосѣдей.

— Ты знаешь ли, какъ онъ состояніе-то приобрѣлъ? — вопрошалъ одинъ (или одна), и тутъ же объяснялись всѣ подробности стяжанія, въ которыхъ торжествующую сторону представлялъ человѣкъ, пользовавшійся кличкой не то „шельмъ“, не то „умницы“, а угнетенную сторону—„простофиля“ и „дуракъ“.

Или:

— Ты что глаза-то вытаращилъ? — обращалась иногда матушка къ кому-нибудь изъ дѣтей:—Чай, думаешь, скоро отецъ

съ матерью умрутъ, такъ мы, дескать, живо спустимъ, что они хребтомъ да потомъ, да кровью нажили! Успокойся, мерзавецъ! Уйреть, все вамъ оставимъ, ничего въ могилу съ собой не унесемъ!

А иногда въ этому прибавлялась и угроза:

— А хочешь, я тебя, балбесъ, въ Суздаль-монастырь соплю да, возьму и соплю! И никто меня за это не осудитъ, потому! что я мать: что хочу, то надъ дѣтьми и дѣлаю! Сиди тамъ да и жди, пока мать съ отцомъ умрутъ, да имѣніе свое тебѣ, шельмецу, предоставятъ!

Что касается до оцѣнки дѣйствій родныхъ и сосѣдей, то она почти исключительно исчерпывалась фразами:

— И легъ, и всталъ у своей любезной!

Или:

— Любовники-то настоящіе бросили, такъ она за попа принялась...

И все это говорилось безъ малѣйшей тѣни негодованія, безъ малѣйшей попытки скрыть гнусный смыслъ словъ, какъ будто рѣчь шла о самомъ обыденномъ фактѣ. Въ словѣ „шельма“ слышалась не укоризна, а скорѣе что-то ласкательное, въ родѣ „молодца“. Напротивъ, „простофиля“ не только не встрѣчалъ ни въ комъ сочувствія, но возбуждалъ нелѣпое злорадство, которое и формулировалось въ своеобразномъ афоризмѣ: „такъ и надо учить дураковъ“!

Но судаченіемъ сосѣдей дѣло ограничивалось очень рѣдко; въ большинствѣ случаевъ оно перерождалось въ взаимную семейную перестрѣлку. Начинали съ сосѣдей, а потомъ постепенно переходили къ самимъ себѣ. Возникали бурныя сцены, сыпались упреки, выступали на сцену откровенія...

Впрочемъ, виноваты: кромѣ такихъ разговоровъ, иногда (преимущественно по праздникамъ) возникали и богословскіе споры. Такъ, напримѣръ, я помню въ Преображенъевъ день (нашъ престольный праздникъ), по поводу словъ тропаря: *Показавъи ученикомъ своимъ славу твою, яко же можашу*,—спорили о томъ, что такое „жеможаха“? сіяніе, что ли, особенное? А однажды помѣщица-сосѣдка, изъ самыхъ почетныхъ въ уѣздѣ, интересовалась узнать: „что это за „жезаны“ такіе?—И когда отецъ замѣтилъ ей: — Какъ же вы, сударыня, Богу молитесь, а не понимаете, что тутъ не одно, а три слова: же, за, ны... „за насъ“ го-есть...

То она очень развязно отвѣчала:

— Толкуй, троесловъ! Еще неизвѣстно, чья молитва Богу

угоднѣе. Я вотъ и однимъ словомъ молюсь, а моя молитва доходить, а ты и тремя словами молишься, анъ Богъ-то тебя не слышитъ, и проч. и проч.

Разговоры старшихъ, конечно, полагались въ основу и нашихъ дѣтскихъ интимныхъ бесѣдъ, любимую темою для которыхъ служили маменькины благопріобрѣтенія, и наши предположенія, кому чтò по смерти ея достанется. Объ отцовскомъ имѣніи мы не поминали, потому что оно, сравнительно, представляло небольшую часть общаго достоянія, и притомъ всецѣло предназначалось старшему брату Порфирію (я въ дѣтствѣ его почти не зналъ, потому что онъ въ это время воспитывался въ московскомъ университетскомъ пансіонѣ, а оттуда прямо поступилъ на службу); прочія же дѣти должны были ждать награды отъ матушки. Въ этомъ пунктѣ матушка вынуждена была уступить отцу, хотя Порфирій и не былъ изъ числа любимчиковъ. Тѣмъ не менѣе, не всѣ изъ насъ находили это распоряженіе справедливымъ, и не совсѣмъ охотно отдавались на милость матушки.

— Малиновецъ-то вѣдь золотое дно, даромъ-что въ немъ только триста-шестьдесятъ-одна душа! -- претендовалъ братъ Степанъ, самый постылый изъ всѣхъ: — въ прошломъ году одного хлѣба на десять тысячъ продали, да пустоша въ кортому отдавали, да масло, да яйца, да тальки. Лѣсу-то сколько, лѣсу! Тамъ она дастъ или не дастъ, а тутъ *свое, законное*. Нельзя изъ родового законной части не выдѣлить. Вотъ Заболотье—и велика Ѳедора, да дура,—чтò въ немъ!

— Ну, нѣтъ, и Заболотье недурно, — резонно возражалъ ему любимчикъ Гриша:—а притомъ папенькино желанье такое, чтобъ Малиновецъ въ цѣломъ составѣ перешелъ къ старшему въ родѣ Затрапезныхъ. Надо же уважить старика.

— Чтò отецъ! только слава, что отецъ! Вотъ мнѣ, небось, Малиновца не подумалъ оставить, а вѣдь и я чѣмъ не Затрапезный? Вотъ увидите: отвалить она мнѣ вологодскую деревнюшку въ сто душъ, и скажетъ: пей, ѣшь и веселись! И манже, и буаръ, и сортиръ — все тутъ!

— А мнѣ въ Меленкахъ деревнюшку выбросить! — задумчиво отзывалась сестра Вѣра:—съ такимъ приданымъ кто меня замужь возьметъ?

— Нѣтъ, Меленковская деревушка—Любкѣ, а съ тебя и въ ветлужскомъ уѣздѣ сорока душъ будетъ!

— А можетъ, вдругъ, расщедрится — скажетъ: и Меленковскую, и Ветлужскую деревни Любкѣ отдать! Вѣдь это ужъ въ своемъ родѣ кусъ!

— Кому-то она Бубново съ деревнями отдасть! вотъ это такъ кусъ! Намеднись мы ѣхали мимо: смирдовъ-то, смирдовъ-то наставлено! Кучеръ Алѣмпій говорить: „точно Украина“!

— Разумѣется, Бубново — Гришеѣ! Недаромъ онъ матери на насъ шпионить. Тебѣ, что ли, Гришева-шпионъ?

— Я всѣмъ буду доволенъ, что милость маменьки назначить мнѣ, — кротно отвѣчаетъ Гриша, потупивъ глазки.

— Намеднись, мы съ Вѣркой считали, что она доходовъ съ имѣній получаетъ. Считали-считали, до пятидесяти тысячъ насчитали... ей Богу!

— И куда она экую прорву деньжищъ копить!

— Намеднись, Петръ Дормидонтовъ изъ города пріѣзжалъ. Заперлись, завѣщанье писали. Я, было, у двери подслушать хотѣлъ, да только и успѣлъ услышать: „а ея за неповиновение“... Въ это время, слышу: потихоньку кресло отодвигаютъ — я какъ дамъ стрекача, только пятки засверкали. Да, чтожъ, впрочемъ, подслушивай не подслушивай, а ея — это непременно означаетъ меня! Уплетъ она меня къ тотемскимъ чудотворцамъ, какъ пить дастъ!

— Кому-то она Заболотье отдѣлить! — беспокоится сестра Софья.

— Тебѣ, Сонька, тебѣ, кроткая дѣвочка... дожидайся! — острить Степанъ.

— Да вѣдь не унесетъ же она его, въ самомъ дѣлѣ, въ могилу!

— Нѣтъ, господа! этого дѣла нельзя оставлять! надо у Петра Дормидонтыча досконально выпытать!

— Я и то спрашивалъ: что, молъ, кому и какъ? Смѣется, каналья: „все, говоритъ, вамъ, Степанъ Васильичъ! ни братцамъ, ни сестрицамъ ничего — все вамъ“!

И т. д.

Иногда Стѣпка-балбесъ поднимался на хитрости. Доставалъ у дворовыхъ ладанки съ бессмысленными заговорами и подолгу носилъ ихъ, въ чайнѣ приворожить сердце маменьки. А одинъ разъ поймалъ лягушку, подрѣзалъ ей лапки и еще живую зарылъ въ муравейникъ. И потомъ всѣмъ показывалъ бѣленькую восточку, увѣряя, что она принадлежитъ той самой лягушкѣ, которую объѣли муравьи.

— Мнѣ этотъ секретъ Ванька-портной открылъ. „Сдѣлайте, — говорить: — вотъ увидите, что маменька совсѣмъ другія къ вамъ будутъ“! А что ежели она вдругъ... „Стѣпа, — скажетъ, — поди ко мнѣ, сынъ мой, любезный! вотъ тебѣ Бубново съ деревнями“... Да деньжищъ малую толику отсыплетъ: катайся, каналья, какъ сыръ въ маслѣ!

— Дожидайся!—огорчался Гриша, слушая эти похвалы, и даже принимался плакать съ досады, какъ будто у него и въ самомъ дѣлѣ отнимали Бубново.

Матушка, благодаря наушникамъ, знала объ этихъ *оттскихъ* разговорахъ, и хотя не часто (у нея было слишкомъ мало на это досуга), но временами обрушивалась на брата Степана.¹⁾

— Ты опять, балбесъ безчувственный, надъ матерью надругаешься!—кричала она на него:—мало тебѣ, постылому сыну, намеднешней потасовки!—И вслѣдъ за этими словами происходила новая жестокая потасовка, которая даже у мало чувствительнаго „балбеса“ извлекала изъ глазъ потоки слезъ.

Вообще, нужно сказать, что система шпионства и наушничества была въ полномъ ходу въ нашемъ домѣ. Наушничала прислуга, въ особенности должностная; наушничали дѣти. И не только любимчики, но и постылые, желавшіе хоть на нѣсколько часовъ выслужиться.

— Марья Андреевна! она васъ кобылой называтъ!—слышалось во время классовъ, и, разумѣется, доносъ не оставался безъ послѣдствій для „виноватаго“. Марья Андреевна, съ истинно адскою хищностью, впивалась въ ея уши и острыми ногтями до крови ковыряла ушную мочку, приговаривая:

— Это тебѣ за кобылу! это тебѣ за кобылу! Гриша, поди сюда, поцѣлуй меня, добрый мальчижъ! Вотъ такъ. И впередъ мнѣ говори, коли что дурное про меня будутъ братцы или сестрицы болтать.

Выше я упоминалъ о формахъ, въ которыхъ обрушивался барскій гнѣвъ на прогнѣвлявшую господъ прислугу, но все сказанное по этому поводу касается исключительно мужского персонала, который подвергивался подъ руку, сравнительно, довольно рѣдко. Несравненно въ болѣе горькомъ положеніи была женская прислуга, и въ особенности сѣнныя дѣвушки, которыя на тогдашнемъ циническомъ языкѣ назывались „дѣвками“¹⁾.

„Дѣвка“ была существо не только безотвѣтное, но и дешевое, что въ значительной степени увеличивало ея безотвѣтность. О „дѣвкѣ“ говорили: „дешевле пареной рѣпы“ или „по грошу“.

¹⁾ Выраженіе это напоминаетъ мнѣ довольно оригинальный случай. Въ половинѣ семидесятыхъ годовъ мнѣ привелось провести зиму въ одной изъ такъ-называемыхъ *stations d'hiver* на берегу Средиземнаго моря. Узнавъ, что въ городѣ имѣется пансіонъ, содержимый русской старушкой—барыней изъ Бронницъ, я, конечно, поспѣшилъ туда. И какъ же я былъ обрадованъ, когда на мой вопросъ о прислугѣ, милая старушка отвѣтила: „да съличьте дѣвку, вотъ я прислуга!“ Такъ на меня и пахнуло словно въ печки.

пара" — и соответственно съ этимъ цѣнили ея услуги. Дворовымъ челоуѣкомъ до извѣстной степени дорожили. Во-первыхъ, въ большинствѣ случаевъ, это былъ мастеровой или искусникъ, котораго не такъ-то легко замѣнить. Во-вторыхъ, если за нимъ и не водились ремесла, то онъ зналъ барскія привычки, умѣлъ подавать брюки, обладалъ споровкой, разговоромъ и т. д. Въ-третьихъ, двороваго челоуѣка можно было отдать въ солдаты въ зачетъ будущихъ наборовъ; и квитанцію съ выгодою продать. Ничего подобнаго „дѣвки“ не представляли. Изъ нихъ былъ поводъ дорожить только ключницей, барыниной горничной, да, можетъ быть, какой-нибудь особенно искусной мастерицей, обученной въ Москвѣ на Кузнецкомъ Мосту. Всѣ прочія составляли безразличную массу, каждый членъ которой могъ быть безъ труда замѣненъ другимъ. Всѣ пряли, всѣ вязали чулки, вышивали въ пальцахъ, плели кружева. И изъ-за взрослыхъ всегда выглядывалъ на смѣну контингентъ подростковъ.

Поэтому, ихъ плохо кормили, одѣвали въ затрапезъ и мало давали спать, изнурая почти непрерывной работой ¹⁾. И было ихъ у всѣхъ помѣщиковъ великое множество.

Въ нашемъ домѣ ихъ тоже было не меньше тридцати штукъ. Всѣ онѣ занимались разнаго рода шитьемъ и плетениемъ, повуда свѣтло, а съ наступленіемъ сумерекъ ихъ загоняли въ небольшую дѣвичью, гдѣ онѣ пряли, при свѣтѣ сальнаго огарка, часовъ до одиннадцати ночи. Тутъ же онѣ обѣдали, ужинали и спали на полу, въ-повалку, на войлокахъ.

Вслѣдствіе непосильной работы и худого питанія, дѣвушки очень часто недомогали, и всѣ имѣли уныло-заспанный видъ и землистый цвѣтъ лица. Красивыхъ не было. Многія были удивительно терпѣливы, кротки и горячо вѣрили, что смерть возвѣститъ имъ тѣ радости и улады, въ которыхъ такъ сурово отказала жизнь. Въ послѣдніе дни страстной недѣли, подъ вліяніемъ ежедневныхъ службъ, эта вѣра въ особенности оживлялась, такъ что вся дѣвичья наполнялась тихими, сосредоточенными вздохами. Затѣмъ, наступившій Свѣтлый праздникъ былъ едва ли не единственнымъ днемъ, когда лица рабовъ и рабынь расцвѣтали и крѣпостное право какъ бы упразднялось.

Но чтѣ было всего циничнѣе и возмутительнѣе—это необыкновенно настойчивое выслѣживаніе „дѣвокъ“.

У большинства помѣщиковъ было принято за правило не

¹⁾ Разумѣется, встрѣчались помѣщичьи дома, гдѣ и дворовымъ дѣвкамъ жилось порядко, но въ большей части случаевъ тутъ примѣнялся гаремный отлѣнокъ.

допускать браковъ между дворовыми людьми. Говорилось прямо: разъ вышла дѣвка замужъ — она ужъ не слуга; ей вѣнцу дѣтей родить, а не господамъ служить. А иные къ этому цинично прибавляли: на нихъ, кобылъ, и жеребцовъ не напасешься. Съ дѣвками всегда спрашивалось больше, нежели съ замужней женщины; и лишняя талка пряжи, и лишній вершокъ кружева и т. д. Поэтому, былъ прямой расчетъ, чтобы дѣвичье цѣломудріе не нарушалось.

Процедура выслѣживанья была омерзительна до послѣдней степени. Устраивали засады, подстерегали по ночамъ, рылись въ грязномъ бѣльѣ и проч. И когда, наконецъ, улики были на лицо, начинался цѣлый адъ. Иногда, не дождавшись разрѣшенія отъ бремени, виновную (какъ тогда говорили: „съ кузовомъ“) выдавали за крестьянина дальней деревни, непременно за бѣднаго и притомъ вдовца съ большимъ семействомъ. Словомъ сказать, трагедіи самыя несомнѣнныя совершались на каждомъ шагу, и никто и не подозрѣвалъ, что это трагедія, а говорили резонно, что съ „подлянками“ иначе поступать нельзя.

И мы, дѣти, были свидѣтелями этихъ трагедій, и глядѣли на нихъ не только безъ ужаса, но совершенно равнодушными глазами. Кажется, и мы не прочь были думать, что съ „подлянками“ иначе нельзя...

Были, впрочемъ, и либеральные помѣщики. Эти не выслѣживали дѣвичьихъ беременностей, но замужъ выходить все-таки не позволяли, такъ что, сколько бы ни было у „дѣвки“ дѣтей, ее продолжали считать „дѣвкою“, до смерти, а дѣти ея отдавались въ дальнія деревни, ~~отъ дѣтокъ~~ крестьянамъ. И все это хитро-сплетеніе допускалось ради лишней талки пряжи, ради лишняго вершка кружева.

Люди позднѣйшаго времени скажутъ мнѣ, что все это было и быльемъ поросло, и, что, стало быть, вспоминать объ этомъ не особенно полезно. Знаю я и самъ, что фабула этой были дѣйствительно поросла быльемъ; но почему же, однако, она и до сихъ поръ такъ ярко выступаетъ передъ глазами отъ времени до времени? Не потому ли, что, кромѣ фабулы, въ этомъ трагическомъ прошломъ было нѣчто еще, что далеко не поросло быльемъ, а продолжаетъ и до-днесь тяготѣть надъ жизнію? Фабула исчезла, но въ характерахъ образовалась извѣстная складка, въ жизни вкривились извѣстныя привычки... Спрашивается: исчезли ли, вмѣстѣ съ фабулою, эти привычки, эта складка?

Въ заключеніе, не могу не упомянуть здѣсь и еще объ одномъ существующемъ недостаткѣ, которымъ страдало наше нравствен-

ное воспитаніе. Я разумѣю здѣсь совершенное отсутствіе общенія съ природой.

Бываютъ счастливыя дѣти, которыя съ пеленокъ ощущаютъ на себѣ прикосновеніе тѣхъ безконечно разнообразныхъ сокровищъ, которыя мать-природа на всякомъ мѣстѣ расточаетъ передъ каждымъ, имѣющимъ очи, чтобы видѣть, и уши, чтобы слышать. Мнѣ было уже за тридцать лѣтъ, когда я прочиталъ „Дѣтскіе годы Багрова внука“, и, признаюсь откровенно, прочиталъ почти съ завистью. Правда, что природа, лелѣвшая дѣтство Багрова, была богаче и свѣтомъ, и тепломъ, и разнообразіемъ содержанія, нежели бѣдная природа нашего сѣраго захолустя; но вѣдь для того, чтобы и богатая природа осіяла душу ребенка своимъ свѣтомъ, необходимо, чтобы съ самыхъ раннихъ лѣтъ создавалось то стихійное общеніе, которое, захвативъ человека въ колыбели, наполняетъ все его существо и проходитъ потомъ черезъ всю его жизнь. Если этого общенія не существуетъ, если между ребенкомъ и природою нѣтъ никакой непосредственной и живой связи, которая помогла бы первому заинтересоваться великою тайною вселенской жизни, то и самыя яркія и разнообразныя картины не разбудятъ его равнодушія. Напротивъ того, при наличности общенія, ежели дѣти не закупорены наглухо отъ вторженія воздуха и свѣта, то и скудная природа можетъ пролить радость и умиленіе въ дѣтскія сердца.

Что касается до насъ, то мы знакомились съ природою случайно и урывками—только во время переѣздовъ на долгихъ въ Москву или изъ одного имѣнія въ другое. Остальное время все кругомъ насъ было темно и безмолвно. Ни о какой охотѣ никто и понятія не имѣлъ, даже ружья, кажется, въ цѣломъ домѣ не было. Раза два-три въ годъ матушка позволяла себѣ нѣчто въ родѣ *partie de plaisir* и отправлялась всей семьей въ лѣсъ по грибы или въ сосѣднюю деревню, гдѣ былъ большой прудъ, и происходила ловля карасей.

Караси были диковинные и по вкусу, и по величинѣ, но ловля эта имѣла характеръ чисто хозяйственный и съ природой не имѣла ничего общаго. А кромѣ того, мы даже въ смыслѣ лавомства черезъ-чуръ мало пользовались плодами ея, потому что почти все наловленное немедленно солилось, вялилось и сушилось въ прокъ, и потомъ неизвѣстно куда исчезало. Затѣмъ, ни звѣрей, ни птицъ въ живомъ видѣ въ нашежъ домѣ не водилось; вообще ничего сверхштатнаго, что потребовало бы лишняго куска на прокормъ. И звѣрей, и птицъ мы знали только въ соленомъ, вареномъ и жареномъ видѣ. Исключеніе составлялъ рыжій Васька-

есть, котораго, впрочемъ, очень встати плохо кормили, чтобы онъ усерднѣе ловилъ мышей. Да еще я помню двухъ собакъ: Плутонку и Трезорку, которыхъ держали на цѣпи около застойной, а въ домъ не пускали.

Вообще, въ нашемъ домѣ избѣгалось все, что могло давать пищу воображенію и любознательности. Не допускалось ни одного слова лишняго, всѣ были на счету. Даже предразсудки и примѣты были въ пренебреженіи, но не вслѣдствіе свободомыслія, а потому что слѣдованіе имъ требовало возни и безплодной траты времени. Такъ что ежели, напримѣръ, староста докладывалъ, что хорошо было бы съ понедѣльника рожь жать начать, да день-то тяжелый, то матушка ему неизмѣнно отвѣчала: „начинай-ка, начинай! тамъ что будетъ, а коли, чего добраго, съ понедѣльника рожь сыпаться начнетъ, такъ кто намъ за убытки заплатитъ“? Только чорта боялись, о немъ говорили: „кто его знаетъ, не то онъ есть, не то его нѣтъ—а ну, какъ есть“?! Да о домовомъ достовѣрно знали, что онъ живетъ на чердакѣ. Эти два предразсудка допускались, потому что отъ нихъ нибакое дѣло не страдало.

Религіозный элементъ тоже сведенъ былъ на степень простой обрядности. Ходили въ обѣднѣ аккуратно каждое воскресенье, а наканунѣ большихъ праздниковъ служили въ домѣ всенощныя и молебны съ водосвятиемъ, причемъ строго слѣдили, чтобы дѣти усердно крестились и клали земные поклоны. Отецъ каждое утро закирался въ кабинетъ и, выходя оттуда, раздавалъ намъ по кусочку зачерствѣлой просвиры. Но во всемъ этомъ царствовала полная машинальность, и не чувствовалось ничего, что напоминало бы возгласъ: „горѣ имѣемъ сердца“! Колѣни пригибались, лбы стучались объ полъ, но сердца оставались нѣмы. Только въ Свѣтлый праздникъ домъ своей тишиной нѣсколько напоминалъ объ умиротвореніи и умиленіи сердець...

Попы въ то время находились въ полномъ повиновеніи у помѣщиковъ, и обхожденіе съ ними было полупрезрительное. Церковь, какъ и все остальное, была крѣпостная, и попъ при ней—крѣпостной. Захочетъ помѣщикъ—у попа будетъ хлѣбъ, не захочетъ—попъ безъ хлѣба насидится. Нашъ попъ былъ полуграмотный, выслужившійся изъ дьячковъ; это былъ домовитый и честный старикъ, который пахалъ, косилъ, жалъ и молотилъ на ряду со всѣми крестьянами. Обыкновенно, онъ велъ трезвую жизнь, но въ большіе праздники напивался до безобразія. Обращались съ нимъ нехорошо (даже въ глаза называли Ваньбой). Я помню, что нерѣдко, во время чтенія евангелія, отецъ черезъ всю церковь поправлялъ его ошибки. Помню также ежегодно

повторившійся скандалъ на вечернѣ Свѣтлаго праздника. Попъ порывался затворить царскія врата, а отецъ не допускалъ его, такъ что дѣло доходило между ними до борьбы. А по окончаніи службы, попъ выходилъ на амвонъ, становился на колѣни и кланялся отцу въ ноги, прося прощенія. Разумѣется, соотвѣтственно съ такимъ обращеніемъ соразмѣрялась и плата за требы. За все-нощную платили двугривенный, за молебенъ съ водосвятіемъ — гривенникъ. Самыя монеты, назначавшіяся въ вознагражденіе причту, выбирались до того слѣпныя, что даже „пятнышекъ“ не было видно.

Тѣмъ не менѣе, несмотря на почти совершенное отсутствіе религіозной подготовки, я помню, что когда я въ первый разъ прочиталъ евангеліе, то оно произвело на меня потрясающее дѣйствіе. Но объ этомъ я расскажу впослѣдствіи, когда пойдетъ рѣчь объ ученіи.

Н. Щедринъ.

НОВЫЯ ОБЪЯСНЕНІЯ ПУШКИНА

I.

Нынѣшній годъ, какъ это давно ожидалось, снова чрезвычайно оживилъ интересъ къ Пушкину. Съ 29-го января сочиненія Пушкина должны были стать общественнымъ достояніемъ; ожидалось много новыхъ изданій; предполагалось, что новая эпоха въ литературной судьбѣ произведеній Пушкина отзовется новыми изслѣдованіями, какъ это было въ 1880 году. Ожиданія оправдались только отчасти ¹⁾). Правда, Пушкинъ явился въ

¹⁾ „Бесѣда преосвященнаго Никанора, архіепископа херсонскаго и одесскаго, къ нещлѣ блуднаго сына, при поминовеніи раба—божія Александра (поэта Пушкина) по истеченіи пятидесятилѣтія по смерти его. Изложена въ общихъ сокращенныхъ чертахъ въ церкви новороссійскаго университета“ (1-го февраля 1887 г.). Одесса, 1887. 41 стр.

— „Евгеній Онѣгинъ и его предки“, В. Ключевского“. Читано съ сокращеніями въ публичномъ засѣданіи Общества любителей росс. словесности 1-го февраля 1887 г. „Р. Мысль“, 1887, февраль, 291—306.

— „Пушкинъ, какъ европейскій поэтъ“. А. Кирпичникова. Рѣчь, читанная въ публичномъ собраніи Импер. Новороссійскаго университета 1-го февраля 1887 г. Одесса, 1887.

— Рѣчь о Пушкинѣ, произнесенная въ Импер. Сиб. университетѣ 29-го января 1887 года А. И. Незеленовымъ. Сиб. 1887.

— Пушкинъ въ русской критикѣ. Рѣчь, произнесенная на актѣ Сиб. университета 8-го февраля 1887 года приватъ-доцентомъ П. О. Морозовымъ. Сиб. 1887; — „Пушкинъ въ русской литературѣ“, его же, „Дѣло“, 1887, январь и февраль.

— „Пушкинъ и современная ему критика“. Сергія Тимофеева. „Дѣло“, 1887, январь.

— „Пушкинъ и Мицкевичъ у памятника Петра Великаго“. В. Славовича. „Вѣстн. Евр.“, 1887, апрѣль.

— Біографія Пушкина, составл. А. М. Скабичевскимъ, при изданіи Сочиненій Пушкина, Сиб. 1887, Павленкова.

цѣломъ рядъ новыхъ, болѣе или менѣе „полныхъ“ изданій, иногда доведенныхъ до чрезвычайной, на первый взглядъ мало понятной дешевизны; но оказалось, что только въ изданіи Литературнаго Фонда и въ изданіи нѣсколькихъ отдѣльныхъ произведеній Пушкина, которое сдѣлано было въ московскомъ Обществѣ любителей словесности, текстъ Пушкина исправленъ былъ—болѣе или менѣе—по рукописямъ Румянцовскаго музея, которыя недавно сдѣлались впервые общедоступными; и оказалось также, что Пушкинъ все еще нуждается въ изданіи, которое вполнѣ обработало бы текстъ и доставило бы полный обстоятельный комментарий. Нынѣшній годъ не принесть, съ другой стороны, и такихъ обширныхъ біографическихъ работъ, какія вызваны были 1880-мъ годомъ, какъ біографія г. Стоюнина и „Альбома Пушкинской выставки“. При всемъ томъ, историко-литературная жатва нынѣшняго года относительно Пушкина была немаловажна. Во-первыхъ, Пушкинъ сталъ дѣйствительно общедоступенъ: дешевыя изданія разошлись въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ, и это внѣшнее распространіе Пушкина, вмѣстѣ съ многочисленными торжествами въ его память въ столицахъ и главнѣйшихъ городахъ провинціи, безъ сомнѣнія сопровождалось, хотя и трудно уловимымъ, распространіемъ образовательныхъ идей и литературныхъ вкусовъ въ большой массѣ общества. Едва ли и теперь, черезъ полъ-столѣтія по смерти поэта, исполнилось ожиданіе Пушкина, что будетъ онъ извѣстенъ всѣмъ племенамъ нашего отечества; къ сожалѣнію, наша собственная русская народная школа переживаетъ въ послѣднее время давно небывалый трудный кризисъ и мало можетъ служить народному просвѣщенію, но въ той мѣрѣ, какую вообще мы должны прилагать къ успѣхамъ нашего просвѣщенія, упомянутое обшир-

— Петръ Устиновичъ. Памяти 29-го января 1837 г. Кончина А. С. Пушкина. Варшава, 1887.

— Отзывъ о Пушкинѣ съ юга Россіи. Въ воспоминаніе пятидесятилѣтія со дня смерти поэта 29-го января 1887, собралъ В. А. Яковлевъ. Одесса, 1887.

— Идеалы Пушкина. В. Н. (Влад. Никольскаго). Спб. 1882. 2-е изд. Спб. 1887.

— „Очеркъ исторіи печатнаго пушкинскаго текста съ 1814 по 1887 годъ“ В. Якушкина. „Р. Вѣдомости“, 1887, № 34, 38, 40;—„Радищевъ и Пушкинъ“, его же, „Чтенія моск. Общества исторіи и древностей“. 1887;—„Новыя изданія сочиненій Пушкина“, его же, „Р. Вѣдомости“, 1887, № 115.

— 29-го января 1887 года. Въ память пятидесятилѣтія кончины А. С. Пушкина. Изданіе Импер. Александровскаго лицея. Спб. 1887. (Рѣчи Я. К. Грота, И. Н. Жданова, В. П. Гаевского; стихотвореніе В. Зотова).

— Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-біографическихъ статей. Составилъ В. Зелинский. Двѣ части. Москва, 1887,—и друг.

ное распространіе Пушкина есть фактъ, не лишенный значенія. Съ другой стороны, есть успѣхъ и въ критическомъ истолкованіи Пушкина. Юбилей памяти поэта не вызвалъ, къ сожалѣнію, ни одной цѣльной обширной работы ни по его біографіи, ни по комментарію; но въ тѣхъ отдѣльныхъ эпизодическихъ изслѣдованіяхъ и нѣсколькихъ общихъ оцѣнкахъ, какія теперь явились и на которыхъ мы здѣсь остановимся, выступаютъ новыя подробности, мало прежде объясненныя, высказываются новыя точки зрѣнія, которыя надо будетъ переработать будущему біографу и истолкователю Пушкина; наконецъ, кажется намъ, общее пониманіе значенія Пушкина становится все болѣе многостороннимъ, и его роль историческая болѣе ясной. Утрата Пушкина пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ вызвала не вполнѣ заглушенные тогдашней цензурой взрывы глубокой горести и пламенной любви къ погибшему поэту, въ которомъ современное ему поколѣніе видѣло гордость русской литературы и въ произведеніяхъ его предчувствовало несокрушимый залогъ ея будущаго развитія. Теперь, обновленное воспоминаніе объ этой утратѣ сопровождалось такимъ же потокомъ выраженій горячаго сочувствія къ личности поэта, но и сознаніемъ, что предчувствія стараго поколѣнія дѣйствительно исполнились въ успѣхахъ нашей литературы за послѣдніе полъ-вѣка: мы имѣли передъ собой историческій опытъ, и въ его обстановкѣ дѣло Пушкина представляется уже какъ законченный историческій фактъ съ его antecedentes и послѣдствіями. Къ нынѣшнему выраженію сочувствій должна присоединиться поэтому спокойная критическая оцѣнка: мнѣнія иногда раздѣляются, и ихъ объединить, рано или поздно, всестороннее историческое рѣшеніе.

Содержаніе произведеній Пушкина такъ разнообразно, самая біографія поэта исполнена такими тревоженіями, что возможно было находить въ томъ и другомъ почву для выводовъ весьма различныхъ. При жизни, Пушкинъ началъ репутаціей вольнодумца, довольно заслуженной, хотя вольнодумство его юности нерѣдко бывало поверхностно, а впослѣдствіи онъ самъ желалъ быть истолкователемъ правительственной мысли и бывалъ выразителемъ ея идей; отъ временнаго „аѳеизма“ онъ переходилъ къ религіознымъ гнѣснощніямъ, и отъ легкаго эпикуреизма — къ серьезнымъ думамъ объ обязанностяхъ гражданина въ союзѣ съ существовавшими тогда условіями, и т. д. Немудрено, что въ современныхъ сужденіяхъ о его личности и дѣятельности мы встрѣчаемся съ опредѣленіями весьма несходными: одни изображаютъ поэта представителемъ идей, которыя можно назвать

официальной народностью николаевской эпохи; другіе, напротивъ, видятъ у него яркія и возвышенныя выраженія того общественнаго настроенія, которое искало выхода изъ тогдашняго положенія вещей, стремилось къ преобразованіямъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ много позднѣе шла нѣкоторое время русская жизнь въ послѣдующее царствованіе. Словомъ, въ Пушкинѣ искали, и находили, весьма несходные элементы общественной мысли, такъ что обыкновенный читатель можетъ впасть въ сильное недоумѣніе, если прочтетъ и сопоставитъ эти разногласящія, иногда прямо противорѣчащія, оцѣнки.

Когда въ началѣ года наша литература преисполнена была воспоминаніями о Пушкинѣ и опытами опредѣленія его личности и поэзіи, особенное вниманіе и недоумѣніе произвела оцѣнка, высказанная въ „Бесѣдѣ“ архіепископа херсонскаго и одесскаго, Никанора, которая изложена была въ сокращеніи въ церкви новороссійскаго университета 1-го февраля 1887 года, а потомъ явилась вполне въ печати. Поминовеніе раба божія Александра пришлось въ недѣлю блуднаго сына, и авторъ бесѣды нашель: „и прекрасно, что въ день блуднаго сына. Это наводитъ на знаменательнѣйшія сближенія“. Авторъ бесѣды проводитъ цѣлую картину личной жизни и поэтической дѣятельности Пушкина, и она возбуждаетъ въ немъ только горькое прискорбіе. Правда, сурово осуждая Пушкина съ точки зрѣнія нравственно-церковной, авторъ вспоминаетъ, что и въ жизни многихъ святыхъ мужей встрѣчались грѣховныя уклоненія, которыми не наносится оскорбленія ихъ святой памяти: онъ называетъ апостоловъ Петра и Павла, царей и писателей Давида и Соломона, — „по этой почетной аналогіи не нанесемъ оскорбленія памяти и поминаемаго великаго поэта, если коснемся его заблужденій“; но это не уменьшаетъ суровости осужденія. Пересматривая поэтическія произведенія Пушкина, авторъ находитъ въ нихъ постоянное и упорное служеніе всякимъ грѣховнымъ уклоненіямъ человѣческой природы, начиная съ пѣсень „въ честь извѣстной богини Киприды“, и такъ какъ „грѣхи въ одиночку по міру не ходятъ“, то „поклоненіе Киприды не могло не вести за собой поклоненія и Вакху и всѣмъ языческимъ божествамъ“, причемъ, кромѣ того, Пушкинъ о своихъ собственныхъ дѣяніяхъ на этомъ служеніи считалъ нужнымъ „разблаговѣстить“ на весь свѣтъ. „Это не игра словъ, — замѣчаетъ проповѣдникъ. — Въ самомъ дѣлѣ, у нашего поэта это было настоящее душевное идолопоклонство, дѣйстви-

тельное поклоненіе божествамъ классическаго язычества, постоянное призываніе ихъ, посвященіе имъ мыслей и чувствъ, дѣлъ и словъ. Это было поэтическое провозглашеніе худшаго и въ язычествѣ культа, эпикурейскаго. Это была не только проповѣдь и исповѣдь, было не только опасеніе, но чуть не сладкая надежда, чуть не молитвенное чаяніе, что по смерти мы очутимся въ области блѣдныхъ безличныхъ тѣней, лишь бы заснуть подъ маніемъ самыхъ игривыхъ языческихъ божествъ Вакха и Аполлона, музъ и харитъ, Киприды и Купидона. Было въ этой поэзіи, не скажу, мысленно-словесное отрицаніе христіанства, но хуже того, было кощунственное сопоставленіе его съ идолопоклонствомъ, кощунственное приурочиванье его къ низшему культу низшихъ языческихъ божествъ, причемъ необузданность ума и словъ играла сопоставленіями священныхъ изреченій съ непристойными образами и влеченіями. Куда, наконецъ, дальше идти?.. И все это прощалось, всему этому рукоплескали, и не даромъ, потому что на всемъ этомъ, на всякомъ самомъ мелкомъ образѣ лежала печать безпредѣльно богатаго, остраго, огневого дарованія“.

„Этого мало, — продолжаетъ проповѣдникъ: — вслѣдъ за пѣснями языческаго культа, нашъ поэтъ воспѣваетъ и всѣ страсти въ самомъ дикомъ ихъ проявленіи: половую ревность, убійство, самоубійство, игру чужою и своею жизнію... И чего, чего онъ не воспѣваетъ?! Воспѣваетъ кровожадность Наполеона, также какъ и революціонеровъ XVIII-го вѣка. Особенно революціонная свобода была его кумирь... У гиганта поэта всякая страсть, рисуемая гигантскою кистью, выходитъ какимъ-то также исполиномъ, выходитъ предметомъ, привлекающимъ сочувствіе и жалость, чуть не жертвоприношеніемъ исполненію долга. Его полудобродѣтельная Татьяна возбуждаетъ такую же жалость, какъ и безнравственный Онѣгинъ, какъ и пустой, легкомысленный Ленскій; удалой самозванецъ Пугачевъ также, какъ и жертва его звѣрства, безстрашный, самоотверженный капитанъ съ своей душевнопривлекательною дочерью; мудрый, но преступный и злосчастный Борисъ, также какъ и отважный до дерзости, изворотливый лже-Дмитрій. Это оттого, что всѣ они — милыя сердцу его дѣти его воображенія; оттого, что у него всякое страстное влеченіе есть идеаль, есть культъ, есть идолъ, которому человѣческое сердце призывается приносить себя въ жертву до конца“.

Такимъ образомъ, нашъ поэтъ всѣ свои силы и великое дарованіе посвящалъ на служеніе грѣховнымъ страстямъ, былъ угодникомъ и рабомъ всего свободолюбиваго, мятежнаго, чувственно

прекраснаго, вольнодумнаго, отрицающаго, врагомъ и отрицателемъ всего этому противоположнаго; его стремленія направлялись „отъ центра духовной жизни къ противоположному полюсу бытія, во власть темной силы или темныхъ силъ“... Авторъ бесѣды не считаетъ точнымъ выраженіе Достоевскаго о Пушкинѣ, какъ о „всечеловѣкѣ“. Онъ считаетъ его человѣкомъ двойственнымъ, плотскимъ и духовнымъ, безнравственнымъ и возвышеннымъ, безбожникомъ и вѣрующимъ. Жизнь его, по взгляду автора, именно была жизнью библейскаго блуднаго сына. Стихотвореніе „Безвѣріе“ представляетъ глубоко трагическую картину, списанную съ него самого; онъ знаетъ священное писаніе, но злоупотребляетъ этимъ знаніемъ. Изъ стихотвореній Пушкина авторъ „бесѣды“ собираетъ сводное изображеніе тѣхъ колебаній, которыя наполняли внутреннюю жизнь поэта, когда, напр., онъ обращался воспоминаніемъ къ увлеченіямъ своей юности, „утраченной въ безплодныхъ испытаніяхъ“, къ „самолюбивымъ мечтамъ“, къ „утѣхамъ юности безумной“; когда сознавалъ, что „въ часы забавъ или празднои скуки“, онъ вѣрялъ своей лири изнѣженные звуки безумства, лѣни и страстей,—хоть и тогда уже „струны лукавой невольно звукъ онъ прерывалъ“, и „лилъ потоки слезъ нежданныхъ“, и искалъ агълебнаго елея ранамъ своей совѣсти... Авторъ „бесѣды“ припоминаетъ, что, спасаясь отъ „обидъ хладнаго свѣта“, а главнымъ образомъ отъ „пустоты собственнаго сердца и отъ безцѣльности жизни“, онъ не разъ призывалъ къ себѣ и смерть, обсуждалъ намѣреніе самоубійства, три раза дрался на поединкахъ,—въ послѣдніе дни жизни „давно призываемая имъ смерть стала у него за плечами... Глухая пуля, пущенная не особенно мудрою, и потому не дрогнувшею рукою, нашла виноватаго и свалила гордаго, и въ эту минуту, своимъ упорствомъ мудреца. Да, и въ эту роковую минуту ему мало стало самому быть убитымъ; ему непременно хотѣлось быть еще и убійцею“... „Да, грѣхъ гнался за нимъ по пятамъ его, какъ левъ, и растерзалъ его своими когтями. Осталось только испустить духъ, предавъ его въ руки ли Божіи или же врага Божіа, исконнаго человѣкоубійцы“.

Пушкинъ, по словамъ проповѣдника, принадлежитъ къ числу величайшихъ людей россійской исторіи. Вліяніе народныхъ вождей или вовсе не простиралось на все человѣчество, или давно кончилось; но вліяніе поэтовъ, ораторовъ, философовъ простирается во всѣ концы земли, переживаетъ тысячелѣтія. „Таковъ и нашъ Пушкинъ, величайшая слава нашего отечества, настоящее и будущее всемірное вліяніе русскаго гения и русскаго духа“. —

„Стоить ли намъ помолиться за него?“ — Проповѣдникъ дѣлаетъ другой вопросъ: „имѣемъ ли мы право молиться за него?“

Онъ находитъ, что имѣемъ, потому что „родился онъ христіаниномъ; жилъ хотя и полу-христіаниномъ, но умеръ христіаниномъ, примиреннымъ съ Богомъ и совѣстью, и Христовою церковью, умеръ кающимся сыномъ Отца небеснаго“. Но молиться надо не только о самомъ почившемъ и даже не столько о немъ, сколько о насъ самихъ. О немъ надо молиться, „чтобъ не отяготѣлъ надъ нимъ небесный приговоръ, напророченный подобнымъ ему еще при жизни на землѣ народнымъ же нашимъ поэтомъ Крыловымъ“, причемъ приводится басня Крылова „Сочинитель и разбойникъ“, которая кажется автору даже и не баснею, а „высоко обличительною и пророчественною притчею“. О себѣ намъ надо молиться, чтобы „съ примѣра Пушкина не разливался между нами языческій культъ. Посмотрите: до него всѣ наши лучшіе писатели, Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ, Жуковский были истинные христіане. Съ него же, наоборотъ, лучшіе писатели стали прямо и открыто совращаться въ язычество, каковы Бѣлинскій, Тургеневъ, графъ Левъ Толстой. Литература и такъ-называемая наука во многомъ, въ конечныхъ выводахъ, становятся языческими; нравы также. Развратъ становится догматомъ и принципомъ. Религія въ интеллигентномъ кругѣ изъ житейскаго обихода исключается. Даровитѣйшіе, самые модные изъ писателей взываютъ къ общественному перевороту“. Подражатели великаго поэта въ слѣдованіи языческому культу, по вѣрѣ и правамъ, должны бы послѣдовать за нимъ и въ его усилияхъ передѣлать свой нравственный строй по высочайшему идеалу Христова евангелія... Историческую роль Пушкина проповѣдникъ высказываетъ въ слѣдующихъ словахъ: „Въ отношеніи къ народу русскому онъ былъ величайшимъ выразителемъ обще-народныхъ нашихъ и доблестей, и недостатковъ, и стремленій. Стоя на грани исполнившагося тысячелѣтія русской исторіи, онъ былъ произведеніемъ всего прошедшаго Россіи, какъ и своего времени, и своего круга; а въ отношеніи къ будущему нашего народа былъ не только предвѣстіемъ, но и предначаломъ теперь уже наступившаго и развивающагося, и грядущаго наклона русскаго народнаго духа, особенно въ высшей интеллигентной сферѣ, которая дѣлаетъ нашу народную исторію“...

Мы ограничимся указаніемъ содержанія „бесѣды“; разборъ ея былъ бы здѣсь не у мѣста: — съ абсолютной церковной точки зрѣнія взглядъ на личность и дѣятельность Пушкина не могъ быть иной... Но съ подобной точки зрѣнія думали нѣкоторые опре-

дѣлать историческое значеніе Пушкина; и въ такомъ случаѣ если кромѣ абсолютнаго нравственно-христіанскаго взгляда вводятся и соображенія историческія,—то, очевидно, выводъ уже не можетъ оставаться столько безусловнымъ и исключительнымъ. Абсолютная христіанская нравственность должна была осудить Пушкина,—и кого бы она не осудила? Нѣтъ человѣка безъ грѣха; но, съ исторической точки зрѣнія, которая тотчасъ предполагаетъ условія мѣста и времени, обстановки и примѣра, личность дѣятеля перестаетъ быть одинокой: рядомъ съ нимъ явится его эпоха, съ ея одолюющими вліяніями—среда, семья, сословіе, и т. д. и историкъ долженъ смягчить суровыя осужденія, и откроетъ достоинства, о которыхъ можетъ забыть абсолютный моралистъ. Самъ авторъ „бесѣды“ призналъ, что Пушкинъ былъ „произведеніемъ всего прошедшаго въ Россіи, какъ и своего времени, и своего круга“; и дѣйствительно, чѣмъ больше историческая критика всматривается въ великаго поэта, тѣмъ больше открываетъ въ немъ тѣснѣйшихъ связей съ историческимъ прошедшимъ русскаго общества, съ чертами его времени и его круга: время и почва его дѣятельности были даны; воспитаніе, которое онъ получилъ, какъ и всякое воспитаніе, не было его личнымъ выборомъ,—въ дѣтствѣ и въ юношествѣ, когда сознаніе слабо, за человѣка думаютъ, имъ руководятъ другіе по ихъ собственнымъ соображеніямъ; обстановка жизни дается характеромъ общества, какъ имъ же даются первыя жизненныя стремленія и цѣли. Такимъ образомъ, въ обыкновенныхъ историческихъ условіяхъ личная отвѣтственность сокращается и, напротивъ, вырастаетъ заслуга человѣка, когда среди мало-благопріятныхъ условій, среди общественной пустоты, онъ успѣваетъ возвышаться до идей несравненно большей цѣнности, до поэтическихъ созданій, проникнутыхъ высокимъ нравственнымъ содержаніемъ. Если вспомнить ту обстановку конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка, подъ внушеніями которой развивался Пушкинъ, то намъ не только будутъ понятны его недостатки, осуждаемые моралистами, но понятно будетъ, что, быть можетъ, осужденіе гораздо прежде должно пасть на иныхъ людей и на инныя идеи. Съ исторической точки зрѣнія, нельзя судить человѣка, вырвавъ его изъ его среды; напротивъ, надо именно вспомнить эту среду, и готовое осужденіе съ гораздо болѣею силою можетъ пасть на тѣхъ, кто былъ особенно виновенъ въ томъ или другомъ ненормальномъ явленіи жизни. Вспомнимъ вѣкъ Екатерины, его нравы, понятія и учрежденія: моралистъ нашелъ бы здѣсь очень много матеріала для обличенія... Между прочимъ, въ уворъ Пушкину ставится нетвер-

доть его религіознаго чувства, его даже прямо обвиняють въ „язычествѣ“; но можно спросить: въ то время, когда развивался этотъ языческій культъ, было ли на него обращено достаточное вниманіе моралистами той эпохи? Какъ извѣстно, церковная литература, съ самаго начала восемнадцатаго вѣка, расходится съ литературой свѣтской и остается вдалекѣ не только отъ этой литературы, но и отъ самаго движенія новой общественной жизни. Заклучившись въ старыя формы поученія и упорно держась даже архаическаго языка, эта литература—за очень рѣдкими исключеніями—не отозвалась совсѣмъ на тѣ волненія, какія тѣмъ временемъ охватывали умы и нравы русскаго общества. Тѣ вліянія иноземной литературы, какія осуждаются современными моралистами, напр., въ произведеніяхъ Пушкина, въ свое время остались едва замѣченными въ старой церковной литературѣ, и если встрѣчали иногда отпоръ, то слишкомъ скудный и слишкомъ схоластическій, чтобы получить вліяніе на умы. „Языческій культъ“ распространялся безпрепятственно... Въ другомъ мѣстѣ, говоря о литературной дѣятельности Батюшкова, мы упоминали, что то настроеніе мысли, которое называютъ „языческимъ“, является уже очень издавна, какъ результатъ вліянія классическихъ литературъ, вліянія, которому долго оставалась чужда старая русская письменность и которое должно было, наконецъ, прорваться въ намъ съ ходомъ литературнаго образованія: греко-римская, т.-е. языческая мифологія, еще съ конца XVII-го вѣка, отъ кievскихъ и западно-русскихъ писателей и затѣмъ до Ломоносова, Державина, Карамзина, Батюшкова, становится литературной манерой, привычнымъ поэтическимъ оборотомъ, которые распространялись вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ въ новой нашей литературѣ расширялся запасъ литературныхъ идей и поэтическихъ образовъ. Въ легкихъ, игривыхъ, „прелестныхъ“, по признанію самихъ моралистовъ, произведеніяхъ Пушкина (какъ раньше его въ произведеніяхъ другихъ поэтовъ), посвященныхъ Эроту, Вакху и Кипридѣ, было, конечно, вовсе не язычество, а простой обычный разгулъ молодыхъ страстей, который могъ бы обойтись точно также и безъ мифологическихъ обозначеній и не измѣнился бы отъ этого въ своей сущности—онъ и дѣйствительно существовалъ въ жизни и безъ всякихъ мифологическихъ наименованій. Къ сожалѣнію, моралисты того времени не обращали на него особеннаго вниманія. Дальше, къ этому присоединялось въ новой поэзіи и нѣчто другое — извѣстное вольнолюбивое и вольнодумное направленіе, которое было внушено уже никакъ не мифологическими боже-ствами, а тогдашнимъ настроеніемъ умовъ въ обществѣ европей-

скомъ, проникавшимъ и въ намъ,—и здѣсь опять никакъ не было личной особенностью одного Пушкина. Моралистъ съ извѣстной точки зрѣнія можетъ не одобрить и не долженъ одобрить этихъ проявленій вольномыслія, но историкъ не можетъ дѣлать одно лицо козломъ отпущенія за цѣлое историческое явленіе или осуждать самое вольномысліе, не трудясь отыскать его основаній, причинъ его появленія. Въ этомъ новомъ направленіи высказывались, хорошо или худо, прямо или косвенно, вѣрно или невѣрно, попытки общественнаго сознанія опредѣлить для себя положеніе вещей, невольное критическое отношеніе къ нѣкоторымъ его сторонамъ, неправильность которыхъ вызывала, наконецъ, протесты общественной *совѣсти*. Тѣ вспышки отрицанія, которыя вызываютъ осужденіе моралистовъ, въ своихъ корняхъ, имѣли большую или меньшую долю основанія, и если отрицаніе принимало иногда слишкомъ рѣзкую, угловатую, раздражающую форму, то виной тому бывала не только личная необузданность отрицателя, но и то, что не было иныхъ выраженій упомянутой общественной *совѣсти*, что потребности мысли и зарождавшагося общественнаго мнѣнія не находили себѣ мѣста, не имѣли иныхъ органовъ въ нравственной жизни общества. Крайности мнѣній развивались, между прочимъ, и потому, что къ этимъ тревожнымъ вопросамъ внѣшней и внутренней жизни общества пассивно относились тѣ, кто поставленъ былъ въ положеніе учителей... Какъ рѣдки были въ нашей жизни учителя, обладавшіе, напр., доблестію знаменитаго Тихона Задонскаго,—извѣстно. Въ екатерининское и александровское время въ умахъ общества началось сильное движеніе религіозно-нравственнаго характера (Новиковъ и мартинисты, дѣятели библейскаго общества, мистики, сектанты), распространеніе котораго, между прочимъ, именно обязано было недостатку правильной постановки учительства. Если на сторонѣ новыхъ запросовъ религіознаго сознанія стояли одно время такіе люди, какъ Филаретъ, знаменитый въслѣдствіи митрополитъ московскій, а на сторонѣ охранителей такіе, какъ извѣстный архимандритъ Фотій, то положеніе рисуется довольно ясно... Не лишено значительности и то, что въ наше время обвиненію въ язычествѣ подпалъ гр. Л. Н. Толстой.

Тѣмъ историческимъ выводамъ, на которыхъ мы здѣсь останавливались и гдѣ Пушкину достается только роль блуднаго сына, едва искупившаго свою гибель раскаяніемъ въ послѣднюю минуту, можно противопоставить другую оцѣнку Пушкина въ статьѣ В. Никольскаго, которая вышла въ нынѣшнемъ году вторымъ

изданіемъ. Никольскій изслѣдуетъ Пушкина именно со стороны его идей нравственныхъ, гражданскихъ и религіозныхъ, и приходитъ въ сущности къ противоположному заключенію. Ему ясны всѣ тѣ увлоненія Пушкина съ истиннаго пути, которыя навлекли на него упомянутый суровый судъ; но, обнимая всю дѣятельность Пушкина, Никольскій увидѣлъ въ его заблужденіяхъ только временное увлоненіе и, напротивъ, настоящій смыслъ пушкинской дѣятельности находилъ именно въ глубокомъ и строгомъ пониманіи нравственнаго долга, въ полномъ преклоненіи предъ существующимъ порядкомъ, въ искреннемъ религіозномъ чувствѣ. Мало того: тѣ раннія увлеченія, которыя представляли иное направленіе его ума и чувства, Никольскій объясняетъ характеромъ вѣка и общества, среди котораго жилъ поэтъ, а болѣе высокое направленіе его мысли и поэзіи считаетъ именно его личнымъ дѣломъ, его собственной великой нравственной заслугой. То служеніе страсти, въ которомъ видѣлся законъ человѣческой природы, то байроническое отрицаніе, которымъ исполнены раннія произведенія Пушкина, то политическое вольнодумство, какому онъ отдавался иногда въ тѣ годы, были, по мнѣнію критика, только юношескимъ броженіемъ, которое совершенно отпадаетъ и исчезаетъ въ произведеніяхъ зрѣлой поры и смѣняется служеніемъ тѣмъ началамъ, которыя составляютъ существо русской народности.

Извѣстно, что съ самаго перваго появленія Пушкина на литературномъ поприщѣ, особенно благодаря его мелкимъ непечатавшимся произведеніямъ, за нимъ установилась репутація не только вольнодумца, но безбожника, репутація, долго державшаяся потомъ, поддерживаемая неосторожными выраженіями самого Пушкина; въ справедливости этой репутаціи былъ, повидимому, убѣжденъ генералъ Бенкендорфъ, много сдѣлавшій для того, чтобы отравить жизнь Пушкина; по смерти поэта, воспоминанія нѣкоторыхъ лицейскихъ товарищей еще укрѣпляли эту репутацію „свидѣтельствами очевидцевъ“. Въ сороковыхъ годахъ, извѣстный журналъ „Маякъ“ въ этомъ смыслѣ трактовалъ поэзію Пушкина, которая оказывалась чуть не національнымъ бѣдствіемъ. Для этой точки зрѣнія книжка Никольскаго даетъ весьма убѣдительныя толкованія.

Но сужденія Никольскаго, въ разныхъ подробностяхъ, требуютъ поправокъ. Онъ исходитъ изъ положенія, несомнѣнно справедливаго, что произведенія Пушкина не были игрой и произвольнымъ созданіемъ его поэтической фантазіи, не выразившимъ

никакихъ личныхъ убѣжденій самого поэта ¹⁾, а, напротивъ, были выраженіемъ его личной жизни, выраженіемъ чувствъ, дѣйствительно имъ пережитыхъ, и мыслей, дѣйствительно имъ пережитыхъ. Пересматривая художественные образы, созданные Пушкинымъ, Никольскій (довольно искусно) слѣдитъ въ нихъ собственныя представленія Пушкина, отъ „Кавказскаго Пльнника“ и Алеко въ „Цыганахъ“ до „Онѣгина“, „Полтавы“ и „Бориса Годунова“, и рисуетъ исторію внутренняго развитія Пушкина, въ теченіе которой Пушкинъ очищался отъ всего чуждаго, наноснаго и, наконецъ, являлся тѣмъ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ — „прямымъ русскимъ человѣкомъ, противнущимъ всѣмъ русскими идеалами“.

Общій выводъ Никольскаго таковъ: „Пушкинъ умеръ не только въ цвѣтѣ лѣтъ, не только въ полной силѣ таланта, но, можно смѣло сказать, какъ ни велики оставшіяся намъ отъ него произведенія, онъ умеръ, только приготовляясь къ еще высшимъ созданіямъ, въ которыхъ въ величественныхъ размѣрахъ, во всей полнотѣ и ясности, выразились бы его идеалы. Этимъ произведеніямъ не суждено было осуществиться, но и то, что осталось намъ отъ великаго поэта, достаточно ясно показываетъ, какъ понималъ онъ заветныя вѣрованія русскаго народа. Семья, общество, жизнь наложили на его свѣтлую, чистую душу свой рисунокъ незаконный, но, силою упорнаго труда, могучею дѣятельностью своего духа, онъ сбросилъ ветхую чешую чужихъ красокъ и блеснулъ красотой первоначальныхъ чистыхъ видѣній въ созданіяхъ своего гения. Цѣной глубокаго раскаянія и горькихъ слезъ искупилъ онъ заблужденія своей юности, и, выйдя на царскій путь, куда звало его Божье велѣніе, онъ въ дивныхъ поэтическихъ глаголахъ высказалъ заветныя вѣрованія русскаго народа, его глубокую привязанность къ своимъ вѣковымъ учрежденіямъ, его высокую вѣру въ идеалъ царя, отмстителя неправдамъ, защитника угнетенныхъ, милосердаго къ падшимъ. Онъ выразилъ свое убѣжденіе въ значеніи православія, какъ отличительной черты нашей національности. Онъ вѣрилъ въ высокое историческое предназначеніе страны своей родной, онъ честно и нелице-

¹⁾ Никольскій приписываетъ другую, имъ отрицаемую, точку зрѣнія эстетической критикѣ, т. е. Бѣлинскому, что не совсѣмъ справедливо, потому что Бѣлинскій, напротивъ, видѣлъ въ поэзіи Пушкина не мало біографическихъ отраженій. Въ другихъ случаяхъ Никольскій также дѣлаетъ не разъ несправедливыя нападенія на эту критику, которая въ ту пору частію не владела еще тѣмъ біографическимъ матеріаломъ, какой имѣется теперь, частію не имѣла физической возможности воспользоваться и тѣмъ, что было тогда извѣстно.

мѣрно принесть ей на служеніе свой талантъ, свои силы, свой трудъ. Онъ призывалъ милость къ падшимъ, онъ пробуждалъ добрыя чувства; всегда правдивый, независимый, онъ имѣлъ право сказать о своихъ стихахъ:

И неподкупный голосъ мой
Былъ эхо русскаго народа.

„Вотъ почему и русскій народъ найдетъ и всегда будетъ находить въ поэзіи Пушкина свободное выраженіе своихъ думъ, чаяній, упованій, и, на ней воспитываемый, ею вдохновляемый, будетъ въ надеждѣ славы и добра безъ боязни глядѣть впередъ и идти на встрѣчу будущему во исполненіе своего историческаго призванія“.

Этотъ выводъ даетъ слишкомъ обобщенную и потому не совсемъ точную картину дѣятельности Пушкина: какъ будто юность его была занята одними заблужденіями, и только зрѣлая пора доставила единственно цѣнные произведенія его поэзіи. Вопросъ о двухъ эпохахъ жизни поэта не разъ поднималъ былъ его критиками и биографами. Была ли молодая пора Пушкина наполнена однѣми ошибками? Не остались ли, напротивъ, многія мечты его юности до конца его мечтами и не стояли ли онѣ въ противорѣчій съ тѣмъ исключительно консервативнымъ идеаломъ, который здѣсь приписывается Пушкину? Въ самомъ дѣлѣ, то, что Пушкинъ думалъ и создавалъ въ молодости, не было однимъ капризомъ своевольной мысли, и среди увлеченій, отъ которыхъ онъ впоследствии искренно, и часто совершенно основательно, отказывался, эта пора приносила также серьезныя мысли объ общественныхъ, историческихъ вопросахъ, и критическое отношеніе къ современной дѣйствительности. По мнѣнію Никольскаго, александровское время съ его либеральными предпріятіями было сплошнымъ заблужденіемъ ¹⁾. Исторія говоритъ иное: тѣ идеи, кото-

¹⁾ „Время Александра I-го было временемъ вѣснаго господства европейца (?) въ русской жизни. Восторженный поклонникъ Запада, ученикъ республиканца Лагарпа, окруженный министрами, иногда даже не умѣвшими говорить по-русски, императоръ Александръ I-й въ самомъ началѣ своего царствованія сталъ во главѣ такъ называемаго либеральнаго движенія, стремившагося къ пересадкѣ на русскую почву западныхъ идей и учрежденій, несомнѣнно напичканныхъ, благородныхъ и гуманныхъ, но не связанныхъ ни съ исторіей, ни съ устройствомъ, ни съ бытомъ, ни съ задачами Россіи. Не трудно представить себѣ, какой безграничный (?) просторъ получило распространеніе этихъ идей въ нашемъ обществѣ. Ихъ несогласіе съ русскою жизнью уже давало себя чувствовать довольно рѣзкими и жесткими противорѣчіями. Самъ императоръ Александръ вынужденъ былъ, наконецъ, остановиться передъ этими противорѣчіями. Но общество, и особенно молодежь, не могло остановиться такъ скоро,

рыя, по взгляду самого Никольскаго, „были несомнѣнно изящными, благородными и гуманными“, имѣли свою долю вліянія среди увлеченій Пушкина, которыя, съ другой стороны, именно со стороны его стремленій въ кругъ золотой молодежи, дѣйствительно нерѣдко бывали не весьма симпатичны. Въ эту эпоху броженія идей, и въ другомъ кругу, возникали въ его умѣ и поэтической фантазіи тѣ запросы, которые именно не мало помогли ему сохранить идеальныя стремленія въ наступившій потомъ періодъ подавляющей консервативной прозы и рутины, которыя стали господствовать со второй четверти столѣтія. Какъ въ исторіи самого русскаго общества не безслѣдно прошли увлеченія людей двадцатыхъ годовъ, при всей ихъ фантастичности, — потому что, за исключеніемъ крайностей, они оставались напоминаніемъ жизненного, общественнаго и народнаго интереса, который былъ обязателенъ для людей мыслящихъ (вспомнимъ, какъ примѣръ, убѣжденіе о необходимости освобожденія крестьянъ, впервые твердо развитое этими людьми двадцатыхъ годовъ), — такъ это время и связи съ тогдашними людьми не прошли безслѣдно для самого Пушкина. Его сильному уму скоро стала ясна невозможность какихъ-нибудь политическихъ затѣй, но съ нимъ навсегда остались идеальныя представленія о служеніи обществу, — представленія, которыхъ никакъ не могла бы дать ему упомянутая консервативная рутина (которой хотятъ сдѣлать его выразителемъ!) и которыя принадлежатъ порѣ его увлеченій въ началѣ двадцатыхъ годовъ. Говоря недавно ¹⁾ объ эпохѣ и людяхъ, непосредственно предшествовавшихъ Пушкину, мы видѣли, до какой степени даже въ лучшихъ талантахъ того времени (Жуковский, Батюшковъ и др.) мало развито было и чувство общности, и чувство народности, и тотчасъ послѣ нихъ въ ихъ ближайшемъ преемникѣ находимъ глубоко развитымъ то и другое; и если мы встрѣчаемъ Пушкина двадцатыхъ годовъ въ средѣ энтузіастовъ того времени, съ которыми онъ дѣлитъ свои мечты о будущемъ русскаго народа, то, очевидно, нѣтъ возможности отрицать его солидарность съ этими людьми. Въ послѣдующіе годы, до конца его жизни, когда изображаютъ намъ Пушкина освобожденнымъ отъ „шелухи“ его старыхъ либеральныхъ заблужденій, мы находимъ къ удивленію, что онъ, напротивъ, хранитъ о тѣхъ временахъ и людяхъ самую теплую память, вы-

и броженіе шло далѣе и далѣе, пока, наконецъ, не разразилось роковымъ кризисомъ 14-го декабря“.

¹⁾ См. „Вѣсти. Евр.“, сентябрь: „Наканунѣ Пушкина“.

зывается, очевидно, сочувствіемъ къ ихъ идеальнымъ стремленіямъ. Можно ли, въ самомъ дѣлѣ, объяснить идеями второй четверти столѣтія то высокое понятіе о достоинствѣ литературы, какое одушевляло Пушкина, то упорное желаніе служить обществу путемъ историческаго сознанія, путемъ воспитанія возвышенными идеалами искусства, когда вторая четверть столѣтія съ презрѣніемъ отвергала всякую частную инициативу, какъ смѣшное и недозволительное притязаніе, и допускала только чисто служебную роль литературы подъ канцелярскимъ штемпелемъ?

Переходимъ къ рѣчи г. Ключевскаго, прочитанной съ сокращеніями въ московскомъ Обществѣ любителей россійской словесности и въ полномъ составѣ напечатанной въ журналѣ „Русская Мысль“. Г. Ключевскій взялъ любопытную тему: „Онѣгинъ и его предки“. Вопросъ естественно представлялся ему какъ историкъ: чтѣ такое Онѣгинъ, съ которымъ такъ долго носился самъ Пушкинъ, котораго такъ долго толковала критика со времени его перваго появленія и донныѣ; чтѣ такое этотъ Онѣгинъ въ дѣйствительной исторіи русскаго общества? Если Онѣгинъ — типъ, какъ понималъ его самъ Пушкинъ и какъ вообще разумѣла его современная и послѣдующая критика, то въ самомъ дѣлѣ чрезвычайно любопытно прослѣдить его генеалогію: откуда онъ взялся, какова была среда, его воспитавшая? Въ отвѣтъ г. Ключевскій, съ его извѣстной манерой метафорическаго образнаго разсказа, нарисовалъ намъ цѣлую историческую родословную пушкинскаго героя, которая заслуживаетъ вниманія. Авторъ начинаетъ съ того, какъ нѣкогда онъ, еще на школьной скамьѣ, впервые знакомился съ „Онѣгинымъ“, когда поэма Пушкина овладѣвала имъ и его сверстниками своей чисто поэтической силой, не давая пока мѣста никакой критикѣ, никакому комментарию. Но затѣмъ, послѣ „Онѣгина“ пришла очередь сознательныхъ вопросовъ, прочитаны были „Дворянское гнѣздо“ и „Обломовъ“. Эти произведенія показались г. Ключевскому и его сверстникамъ похоронными пѣснями: „въ одной отпѣвался извѣстный житейскій порядокъ, въ другой — общественный типъ“. Возникъ вопросъ, почему герои Тургенева не уживались въ окружающей средѣ; чувствовалось, что это — лица отживающія, и затѣмъ казалось почему-то, что къ тому же порядку явленій принадлежитъ и герой пушкинскій. Романъ Пушкина началъ представляться въ другомъ свѣтѣ. „Мы разбирали не романъ, — говоритъ авторъ, — а только его героя, и съ удивленіемъ замѣтили, что это

вовсе не герой своего времени, и самъ поэтъ не думалъ изобразить его такимъ. Онъ былъ чужой для общества, въ которомъ ему пришлось вращаться, и все у него выходило какъ-то нескладно, не въ-время и не встати. „Забавъ и роскоши дитя“ и сынъ промотавшагося отца, 18-лѣтній философъ съ охлажденнымъ умомъ и угасшимъ сердцемъ, онъ началъ жить, т.-е. жечь жизнь, когда слѣдовало учиться, принимался учиться, когда другіе начинали дѣйствовать, усталъ прежде, чѣмъ принялся за работу, суетливо бездѣлничалъ въ столицѣ, лѣнливо бездѣлничалъ и въ деревнѣ, изъ чванства не умѣлъ влюбиться, когда это было нужно, изъ чванства же поспѣшилъ влюбиться, когда это стало преступно, мимоходомъ, безъ цѣли и даже безъ злости убилъ своего пріятеля, безъ цѣли поѣздилъ по Россіи, отъ дѣлать-нечего вернулся въ столицу донашивать истощенныя разнообразнымъ бездѣльемъ силы, и здѣсь, наконецъ, самъ поэтъ, не кончивъ поѣсти, бросилъ его на одной изъ его житейскихъ глупостей, недоумѣвая, какъ поступить дальше съ такимъ безтолковымъ существованіемъ. Добрые люди въ деревенской глуши смиренно сидѣли по мѣстамъ, досиживая или только насиживая свои гнѣзда; налетѣлъ праздный пришлецъ изъ столицы, возмущилъ ихъ покой, сбилъ ихъ съ гнѣздъ, и потомъ съ отвращеніемъ и досадой на самого себя отвернулся отъ того, что надѣлалъ. Словомъ, изъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ романа самое лишнее—это его герой“. Критикъ сталъ задумываться надъ извѣстнымъ вопросомъ, поставленнымъ въ романѣ не то отъ лица самого поэта, не то отъ лица Татьяны:

Что-жъ онъ, ужели подражанье,
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ?...

Критикъ сталъ изучать Онѣгина. „Методъ изученія былъ намъ подсказанъ самой Татьяной. Мы старались пробраться укладкой въ кабинеты людей того времени, разобрать книги, которыя они читали и которыя читали ихъ отцы, съ оставленными на поляхъ отмѣтками, крестами и вопросительными крючками. Изучая такъ Онѣгина, мы все болѣе убѣждались, что это очень любопытное явленіе и прежде всего — явленіе вымирающее. Припомните, что онъ — „наслѣдникъ всѣхъ своихъ родныхъ“, а такой наслѣдникъ — обыкновенно послѣдній въ родѣ. У него есть и черты подражанія въ манерахъ, и Гарольдовъ плащъ на плечахъ, и полный лексиконъ модныхъ словъ на языкѣ; но все это—не существен-

ныя черты, а накладныя прикрасы, бѣлила и румяна, которыми прикрывались и замазывались значки безпотомственной смерти. Далѣе, мы увидѣли, что это не столько типъ, сколько гримаса, не столько характеръ, сколько поза, и притомъ чрезвычайно неловкая и фальшивая, созданная цѣлымъ рядомъ предшествовавшихъ позъ, все такихъ же неловкихъ и фальшивыхъ. Да, Онѣгинъ не былъ печальною случайностью, нечаянною ошибкой: у него была своя генеалогія, свои предки, которые настѣдственно, изъ рода въ родъ, передавали приобретаемые ими умственные и нравственные вывихи и искривленія". И авторъ хочетъ перелистовать родословную Онѣгина. Онъ предупреждаетъ, что тѣ преемственно смѣнявшіяся положенія, какія онъ отмѣчаетъ, онъ вовсе не думаетъ выдавать за моменты нашей жизни, соответствующіе извѣстнымъ поколѣніямъ. „Нѣтъ, я разумѣю болѣе исключительныя явленія. Это были неестественныя позы, нервныя, судорожныя жесты, вызывавшіеся мѣстными неловкостями общихъ положеній. Эти неловкости чувствовались далеко не всѣми; но жесты и мины тѣхъ, кто ихъ чувствовалъ, были всѣмъ замѣтны, бросались всѣмъ въ глаза, запоминались надолго, становились предметомъ художественнаго воспроизведенія. Люди, которые испытывали эти неловкости, не были какіе-либо особые люди, — были какъ и всѣ; но ихъ фizioноміи и манеры не были похожи на общепринятые. Это были не горюи времени, а только сильно подчеркнутые отдѣльные нумера, стоявшіе въ ряду другихъ, общія мѣста, напечатанныя курсивомъ. Такъ какъ масса современниковъ, утѣвлявшихся болѣе или менѣе удобно, рѣдко догадывалась о причинѣ этихъ ненормальностей и считала ихъ капризами отдѣльныхъ лицъ, не хотѣвшихъ сидѣть, какъ сидѣли всѣ, то эти несчастныя жертвы неудобныхъ позицій слыли за чудаконъ, даже иногда „печальныхъ и опасныхъ". Между тѣмъ жизнь текла своимъ чередомъ; среда, изъ которой выдѣлялись эти чудачки, сидѣла прямо и спокойно, какъ ее усаживала исторія. Поэтому я не введу васъ въ недоумѣніе, когда буду говорить объ отцѣ, дѣдѣ и прадѣдѣ Онѣгина. Онѣгинъ — образъ, въ которомъ художественно воспроизведена мѣстная неловкость одного изъ положеній русскаго общества. Это не общій или господствующій типъ времени, а типическое исключеніе. Разумѣется, у такого образа могутъ быть только историко-генетическіе, а не генеалогическіе предки".

Предки Онѣгина очевидно принадлежали всѣ къ старому русскому дворянству. Неловкости тѣхъ положеній, о которыхъ было сейчасъ помнано, происходили, по объясненію автора, „отъ не-

досмотровъ и увлеченій, какіе допускались при постановкѣ новаго образованія, водворявшагося у насъ приблизительно съ половины XVII-го вѣка“. Это новое образованіе приходило къ намъ съ Запада, когда прежнее шло изъ Византіи. Проводникомъ стараго было духовенство; проводникомъ новаго стало въ особенности дворянство. „Поспѣшность и нетерпѣливость“, съ которыми вводилось новое образованіе, и были причиною упомянутыхъ неловкостей.

Прадѣда Онѣгина, которому г. Ключевскій даетъ имя какого-нибудь Нелюба-Злобина, авторъ ищетъ во второй половинѣ XVII-го вѣка, къ концу царствованія Алексѣя Михайловича. Онъ былъ изъ зауряднаго дворянскаго рода, справлялъ разныя службы, бывалъ мелкимъ воеводой и грамотѣ не умѣлъ. Сынъ его, парень бойкій, зачисленъ былъ съ 15-ти лѣтъ въ солдатскій полкъ новаго иноземнаго строя; за понятливость его взяли въ подьячіе, а потомъ отдали въ Спасскій монастырь къ кievскому старцу учиться „по латинямъ“. Ученіе шло съ грѣхомъ пополамъ, по польско-русскимъ книгамъ; иногда на ученика нападали сомнѣнія объ опасности латинскаго ученія для спасенія души, но сомнѣнія прогонялись батогами. Между тѣмъ подоспѣли петровскія преобразованія, и чиновнаго латиниста сдѣлали комиссаромъ для приѣма и отправки въ армію солдатскихъ сапоговъ. Дѣти этого комиссара подпадали уже подъ дѣйствіе закона 1714 года, объ обязательномъ ученіи дворянства. Извѣстно, какъ они учились. Они, иной разъ женатые, являлись на царскій смотръ, отдавались въ какую-нибудь науку, навигацкую или сухопутную, посылались за границу для обученія разнымъ спеціальнымъ наукамъ, посѣщали тамъ австеріи и редуты, т.-е. игорные дома, впадали въ долги; въ письмахъ домой жаловались на нищету, а иной разъ бѣжали со службы. Вернувшись домой, сынъ комиссара сдалъ, какъ слѣдуетъ, экзаменъ, но времена между тѣмъ перемѣнились, — Петра уже не было въ-живыхъ, и пріѣзжій навигаторъ очутился между двухъ огней: люди стараго вѣка, которые теперь стали смѣлѣе, бранили его за иноземный обычай, а новые молодые люди называли его неучемъ за то, что онъ упустилъ обучиться танцевальному искусству. При Биронѣ за неосторожное слово онъ попалъ въ пытку, и искалѣченный вернулся въ деревню; привезенныя имъ изъ Голландіи науки остались безъ употребленія. Жизнь его г. Ключевскій рисуетъ такимъ образомъ: „Впрочемъ, онъ былъ добрый баринъ, рѣдко наказывалъ своихъ вѣрноподанныхъ, читалъ вслухъ себѣ самому Квинта Курція Жизнь Александра Македонскаго въ подлинникѣ, занимался астрономіей,

водилъ комнатную прислугу въ красныхъ ливреяхъ и напудренныхъ волосахъ; страдая бессонницей, съ гусинымъ крыломъ въ рукѣ, самъ изгонялъ по ночамъ сатану изъ своего дома, окуривая ладаномъ и кропя святою водою нечистыя мѣста, гдѣ онъ могъ пріютиться, пѣлъ и читалъ въ церкви на клиросѣ, дома ежедневно держалъ монашеское келейное правило, но дружно жилъ съ женой, которая подарила ему 18 человѣкъ дѣтей, и, наконецъ, на 86-мъ году умеръ отъ апоплексическаго удара... Къ русской дѣйствительности этотъ ученый русскій служака сталъ какъ-то криво, нечаянно и больно ушибся головой объ ея уголъ и безъ особенной пользы, хотя и безъ вреда, всю остальную жизнь коптилъ небо".

Отцы Онѣгинныхъ, — рассказываетъ дальше г. Ключевскій, — начинали воспитаніе при Елизаветѣ, кончали его при Екатеринѣ и доживали свой вѣкъ при Александрѣ. Нравы опять были другіе: послѣ ужасовъ бироновщины началъ развиваться въ обществѣ „тонкій вкусъ во всемъ; и самая нѣжная любовь, подкрѣпляемая нѣжными и въ порядочныхъ стихахъ сочиненными пѣсенками, тогда получила первое надъ молодыми людьми свое господствіе". Молодые дворяне 5—6 лѣтъ записывались въ военную службу, лѣтъ 15-ти производились въ офицеры и вступали въ общество, гдѣ господствовали пріятные французскіе обычаи. Законъ 1714 г. сохранялъ свою силу, и хотя ученіе не давало большихъ результатовъ, но становилось сословной привычкой и иногда прививало интересъ въ знанію. Въ домашнемъ воспитаніи все больше распространялся французскій языкъ, которому обучали французы гувернеры и гувернантки; воспитаніе завершалось путешествіемъ за границу, гдѣ русскій гвардейскій офицеръ, по желанію самой императрицы, посѣщалъ фернейскаго философа. Вернувшись въ Россію и бросивъ службу, онъ поселялся въ деревнѣ и предпочиталъ вести веселую жизнь, пока не приходилось думать о томъ, чтобы уберечься отъ окончательнаго разоренія. Съ русскою жизнью такой человѣкъ не имѣлъ ничего общаго; воспитанный подъ чужими вліяніями, онъ полагалъ себя европейцемъ, считалъ необходимымъ строго держаться усвоенныхъ нѣкогда европейскихъ обычаевъ и, принадлежа къ сословію, владѣвшему большою долею производительныхъ силъ государства, не находилъ интереса въ русскихъ дѣлахъ, собственное хозяйство отдавалъ въ руки приказчика или иностранца въ видѣ управляющаго. „Съ дѣтства, какъ только онъ сталъ себя помнить, онъ дышалъ атмосферою, пропитанною развлеченіемъ, изъ которой обаяніями забавы и пріличія былъ выкуренъ самый запахъ труда и долга. Всю жизнь помышляя объ „европейскомъ обычаѣ“, о просвѣщенномъ обществѣ,

онъ старался стать своимъ между чужими и только становился чужимъ между своими. Въ Европѣ видѣли въ немъ переодѣтаго по-европейски татарина, а въ глазахъ своихъ онъ казался родившимся въ Россіи французомъ. Въ этомъ положеніи культурнаго межеумка, исторической ненужности, было много трагизма, и мы готовы жалѣть о немъ, предполагая, что ему самому подчасъ становилось невыразимо тяжело чувствовать себя въ такомъ положеніи... Когда наступала пора серьезно подумать объ окружающемъ, они начинали размышлять о немъ на чужомъ языкѣ, перевода туземныя русскія понятія на иностранныя рѣченія, съ оговоркой, что хоть это не то же самое, но похоже на то, нѣчто въ томъ же родѣ. Когда всѣ русскія понятія съ такою оговоркой и съ большею или меньшею филологическою удачей были переложены на иностранныя рѣченія, въ головѣ переводчика получался кругъ представленій, не соотвѣтствовавшихъ ни русскимъ, ни иностраннымъ явленіямъ. Русскій мыслитель не только не достигалъ пониманія родной дѣйствительности, но и терялъ самую способность понимать ее". Въ представленіяхъ такихъ людей русскій житейскій порядокъ являлся безотрадною безсмыслицей; люди этого рода оказывались въ какомъ-то пустомъ пространствѣ, оставались людьми безъ отечества; убѣждаясь, что порядокъ въ Россіи есть *assez immorale*, они были къ нему равнодушны и отъ равнодушія переходили къ пренебреженію. Выѣстъ съ тѣмъ, „вольныя мысли, которыя онъ черпалъ изъ привозныхъ книгъ, разсѣвали его житейскія огорченія, сообщали блескъ его уму, украшали его рѣчь, даже порой потрясали его нервы... Быть можетъ, никогда культурный русскій человѣкъ не плакалъ такъ легко и охотно даже отъ хорошихъ словъ, какъ во второй половинѣ прошлаго вѣка,—плакалъ и только. Эстетическіе восторги и стереотипныя философическія слезы были только патологическими развлеченіями, нервнымъ моціономъ, но не отражались на волю, не становились нравственными мотивами. Вольно-мыслящій тульскій космополитъ съ увлеченіемъ читалъ и перечитывалъ страницы о правахъ человѣка рядомъ съ русскою крѣпостною дѣвичьей и, оставаясь гуманистомъ въ душѣ, шелъ въ конюшню расправляться съ досадившимъ ему холопомъ". Дѣти этихъ отцовъ воспитались въ ихъ преданіяхъ, но подъ другими вліяніями. Съ конца правленія Екатерины, Россія переполнилась эмигрантами, кавалерами, аббатами, даже иезуитами, которые стали воспитателями русскаго юношества, обратили его къ забытымъ прежде вопросамъ вѣры и нравственности и къ предметамъ политическимъ. Наполеоновскія войны произвели на это поволеніе

сильное дѣйствіе; они узнали, что Россія—единственная страна, гдѣ образованнѣйшій и руководящій классъ пренебрегаетъ роднымъ языкомъ и интересами народа, и что, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этомъ народѣ скрыты могучія силы, нуждающіяся въ разработкѣ; эти люди обратились лицомъ къ народу, къ которому стояли спиной ихъ отцы, но затѣмъ пошли разными путями. Одни изъ нихъ рѣшили, что надо думать объ измѣненіи существующаго порядка и потерпѣли крушеніе на этомъ пути; другіе рано замѣтили, что преобразование не поддается ничьей личной волѣ, что для того, чтобы дѣйствовать на движеніе народной массы, нужны не тѣ знанія и привычки, какими владѣли ихъ отцы и они сами, что надо переучиваться и перевоспитаться. Это было также крушеніе—не самой силы, а вѣры, поддерживавшей ее дѣятельность. „Причиной крушенія было открытіе, что не во всемъ можно извернуться чужимъ умомъ и опытомъ, что если глупо вновь изобрѣтать машину, уже изобрѣтенную, то еще глупѣе жителю сѣвера заимствовать костюмъ южанина, что нужно примѣняться къ средѣ, а для этого необходимо изучать ее и потомъ уже преобразовать, если она въ чемъ окажется неудобной. Этимъ открытіемъ разрушалось цѣлое міросозерцаніе, воспитанное рядомъ поколѣній, привыкшихъ сибаритски смотрѣть на западную Европу, какъ на русскую мастерскую, обязательную поставщицу машинъ, модъ, увеселеній, вкусовъ, приличій, знаній, идей, нужныхъ Россіи, и даже отвѣтовъ на политическіе вопросы, въ ней возникающіе. Тогда люди, сдѣлавшіе это открытіе, впали въ уныніе или нравственное оцѣпенѣніе и опустили руки“. Впрочемъ, въ послѣдствіи, оправившись отъ „столбняка“, одни изъ нихъ стали кой-какъ прилаживаться къ русской жизни и даже стали дѣльцами въ николаевское время; другіе исключили ее изъ цивилизованнаго міра; третьи принялись изучать ее.

Особую категорію составили младшіе братья этого поколѣнія—настоящіе Онѣгины. По молодости лѣтъ, они не участвовали въ военныхъ дѣлахъ двѣнадцатаго года и, послѣ, не были увлечены въ политическое броженіе, кончившееся 14-го декабря; они воспитались въ тогдашнемъ свѣтѣ, съ его показнымъ умомъ, отъ старшихъ братьевъ перенимали патріотическую скорбь, въ свѣтѣ научились „насмѣшкѣ съ желчью пополамъ“, но не научились труду, и изъ смѣшенія этихъ разнородныхъ впечатлѣній получилось даже то, что называется разочарованіемъ. „Здѣсь были и запасъ схваченныхъ на-лету идей съ приправой мысли о ихъ ненужности, и унаслѣдованное отъ вольнодумныхъ отцовъ брюзжанье съ примѣсью скуки жизнью, преждевременно и

безтолково отвѣданной, и презрѣніе къ большому свѣту съ неуѣиѣемъ обойтисъ безъ него, и стыдъ бездѣля съ непривычкой къ труду и недостаткомъ подготовки къ дѣлу, и скорбь о родинѣ, и досада на себя, и лѣнь, и уныніе—весь умственный и нравственный скарбъ, унаслѣдованный отъ отцовъ и дѣдовъ и прикрытый слоемъ острыхъ или гнетущихъ чувствъ, внушенныхъ старшими братьями. Это была полная нравственная растерянность, выражавшаяся въ одномъ правилѣ: ничего сдѣлать нельзя и не нужно дѣлать“. Пушкинъ, начавши „Онѣгина“ въ 1822 году, первый подмѣтилъ этотъ типъ, державшійся въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, послѣ чего это настроеніе и умерло, по словамъ критика.

Такова генеалогія пушкинскаго героя, реставрированная г. Ключевскимъ. Избранный имъ пріемъ объясненія пушкинскаго героя не только остроуменъ, но и весьма пригоденъ исторически. По даннымъ выпискамъ и изложенію, читатель могъ видѣть, что почтенный историкъ съумѣлъ очень ловко воспользоваться фактами нашей бытовой исторіи, чтобы построить рядъ преемственныхъ біографій, рисующихъ характеръ образованія и нравы разныхъ эпохъ, отъ царя Алексѣя до императора Николая. Историческая смѣна общественныхъ и личныхъ настроеній искусно доведена до пушкинскаго героя и объяснить въ немъ многое, что до сихъ поръ еще не было такъ рельефно указано критикой пушкинскаго романа. Самый пріемъ заслуживаетъ вниманія. Дѣйствительно, многія типическія лица, изображенныя русской поэзіей, романомъ, драмой, могутъ быть вполне поняты только при помощи подобнаго генетическаго изслѣдованія, которое одно можетъ раскрыть ихъ реальную связь съ обществомъ и ихъ antecedentes въ его прошедшемъ. Нельзя сказать, чтобы до сихъ поръ наша критика цѣнила важность подобнаго пріема... Въ данномъ случаѣ чувствуется, однако, какая-то односторонность. Правда, критикъ оговаривается въ самомъ началѣ, что имѣетъ въ виду не настоящіе моменты нашей жизни, а явленія исключительныя, тѣмъ не менѣе рядъ нарисованныхъ картинъ походитъ именно на изображеніе настоящихъ историческихъ моментовъ жизни русскаго общества, явленій не столько исключительныхъ, сколько, напротивъ, весьма общихъ, потому что они именно тѣсно связаны были съ ходомъ русскаго общественнаго образованія и охватывали цѣлый обширный классъ людей въ томъ кругѣ, которому почти исключительно принадлежала обязанность и привилегія высшаго образованія. Неужели же дѣйствительно исторія образованія въ этомъ кругѣ есть только исторія нравственныхъ и умственныхъ

членовредительствъ, „вывиховъ и искривленій“, какъ выражается авторъ? Что вывихнутыя личности въ изобилии существовали, да и доннынѣ существуютъ въ русскомъ обществѣ, это не подлежитъ никакому сомнѣнію, но первая обязанность историческаго изслѣдованія должна заключаться въ томъ, чтобы опредѣлить истинное происхожденіе этихъ вывиховъ. Авторъ находитъ, что главная ихъ причина была въ поспѣшности и нетерпѣливости, съ какою вводилось новое образованіе; но, просматривая исторію русскаго образованія, довольно мудрено увидѣть особенную поспѣшность. Единственное время, которое можно упрекнуть этимъ, было время Петра Великаго; но его поспѣшность, во-первыхъ, ограничивалась образованіемъ техническимъ, въ концѣ концовъ положительно необходимымъ, а во-вторыхъ, была вызвана чрезвычайъ большою медлительностью его предшественниковъ и, вѣроятно, также—сомнѣніемъ въ преемникахъ, которое исторія вполне подтвердила. Петру Великому, повидимому, было досадно смотрѣть, что его предшественники, очевидно нуждавшіеся въ помощи иноземнаго знанія (напр., военнаго, инженернаго, горнаго, мануфактурнаго и т. д.), предпочитали забирать его, такъ сказать, натурой, въ видѣ иноземныхъ офицеровъ, инженеровъ, заводчиковъ и т. д., и жили чужимъ наемнымъ умомъ вмѣсто того, чтобы позаботиться о приобрѣтеніи знаній и ума самими русскими людьми,—и въ этомъ онъ былъ совершенно правъ: если раньше государство объ этомъ не заботилось, нужно было принять къ этому сильныя мѣры. Но, затѣмъ, для высшаго образованія сдѣлано было очень немного. Самъ Петръ не успѣлъ открыть академіи, и въ теченіе XVIII-го вѣка изъ высшихъ ученыхъ учрежденій его преемниками устроены были только очень плохая, въ національномъ смыслѣ, академія наукъ и московскій университетъ; уже только черезъ сто лѣтъ послѣ Петра открыто было при Александрѣ нѣсколько университетовъ, вначалѣ также очень плохихъ. Императрица Екатерина, блиставшая просвѣщеніемъ XVIII-го вѣка, не основала ни одного высшаго ученаго учрежденія („Россійской академіи“ можно, пожалуй, не считать) и только собиралась основать университетъ гдѣ-то въ Екатеринославѣ, причемъ главнымъ побужденіемъ былъ едва ли не театральнѣйшій эффектъ. Далѣе, самый вопросъ объ образованіи поставленъ былъ очень двусмысленно. Въ теченіе XVIII-го вѣка, послѣ Петра, о немъ, собственно говоря, вовсе не заботились; при Екатеринѣ II, рядомъ съ поклоненіемъ фернейскому мудрецу и съ сочиненіемъ „Наказа“, принимались весьма дѣйствительныя мѣры къ тому, чтобы образованіе знало мѣру, не осмѣливалось стать

настоящею, сколько-нибудь свободною мыслью. Извѣстно, какъ подобная двусмысленность отличала потомъ александровскую эпоху, гдѣ, рядомъ съ заботами о просвѣщеніи, подготавливалась въ типѣ арапчеевская система и достопамятная дѣятельность Магницкаго ¹⁾. При строжайшемъ, недоувѣрчивомъ надзорѣ общество относительно средствъ образованія часто бывало предоставлено на произволъ судьбы, и на свой страхъ, разъединенными силами, искало того образованія, какое считалось нужнымъ высшими сферами и для котораго, однако, эти сферы не доставляли правильныхъ способовъ. Такова была именно погоня за французскимъ образованіемъ въ высшемъ и среднемъ кругу дворянства. Было, разумѣется, при этомъ много неудачнаго, поверхностнаго и карикатурнаго; но, съ одной стороны, едва ли виноваты въ этомъ одни искатели образованія, а съ другой, образованіе, приобретаемое изъ французской литературы, когда оно было нѣсколько правильно, вовсе не было такими пустяками, какъ это можетъ многимъ теперь казаться. Французская литература не даромъ господствовала надъ умами всей тогдашней Европы. Кромѣ того, что могло быть и бывало въ ней непригоднаго для прямого примѣненія къ русской дѣйствительности, въ ней было много интересовъ общечеловѣческаго знанія и общечеловѣческой нравственности. На лучшіе умы эта доля чужеземнаго образованія могла дѣйствовать благотворно: здѣсь почерпалась пища, которой не давала русская литература и русская жизнь; нѣтъ сомнѣнія, что отсюда почерпнуто было не мало гуманныхъ идей, которыя не были излишни въ обиходѣ русскаго быта и приводили наконецъ и въ успѣхамъ образованія, и къ смягченію нравовъ. Присутствіе этой благотворной стихіи, какая заимствовалась въ напемъ XVIII вѣка изъ европейскаго источника, сказалось наконецъ во всемъ развитіи нашей литературы прошлаго вѣка, гдѣ рядъ заимствованій въ области поэзіи и науки (напр., особенно исторіи) сопровождался самостоятельными опытами и подготовилъ нашу новѣйшую литературу съ прочными проявленіями національности въ поэзіи и національнаго самосознанія въ историче-

¹⁾ Айненковъ, указывая, какъ рядомъ съ либерализмомъ, господствовавшимъ тогда въ передовыхъ людяхъ военнаго сословія, процвѣтали на той же почвѣ страстные ревнители тогдашней дисциплины и суровой военной практики, замѣчаетъ: „въ покровительствѣ, какое они находили свыше, сказывалась основная черта этого періода нашей исторіи, *сознательно допускавшая* одновременное существованіе зачатковъ новаго развитія съ дикими порядками старой эпохи. Надо прибавить, что именно эта черта и дѣйствовала на горячія натуры особенно бодренно и раздражительно“. „А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху“, стр. 61—62.

ской наукѣ. Такимъ образомъ, не все была здѣсь уродливость или ненужность; напротивъ, была большая доля положительно необходимаго для цѣлой экономіи національнаго развитія. И, вспоминая судьбу русскаго образованія въ прошломъ вѣкѣ, мы найдемъ тамъ не только предковъ Онѣгина, какъ ихъ изобразилъ г. Ключевскій, но и предковъ благороднѣйшихъ дѣателей русской литературы и просвѣщенія въ нашемъ вѣкѣ. Эти предки (это исторически извѣстно) также бывали въ разладѣ съ порядками русской жизни; въ ихъ положеніи также бывалъ несомнѣнный трагизмъ, потому что ихъ мысль и чувство, воспитанныя въ болѣе высокомъ уровнѣ идей, часто не могли мириться съ окружающей обстановкой, и у нихъ безсильно опускались руки за невозможностью измѣнить эту печальную обстановку. Но исторія едва ли можетъ осудить ихъ за этотъ разладъ, потому что онъ говорилъ не о безплодномъ отчужденіи этихъ людей отъ своего народа, но свидѣтельствовалъ о зародившемся идеалѣ, которому предстояло развиваться все далѣе, распространяться все на большее число людей въ обществѣ, съ надеждой осуществиться нѣкогда для блага этого самаго народа. Не эти люди были уродливостью, но имъ самимъ приходилось страдать отъ болѣе обширныхъ вывиховъ и искривленій, которыхъ, къ сожалѣнію, произошло не мало въ теченіе нашей исторіи...

Мы, впрочемъ, говоримъ это не въ примѣненіи именно къ Онѣгину, а для того, чтобы устранить ту односторонность, которую генеалогія, построенная г. Ключевскимъ, можетъ бросить вообще на людей первой четверти столѣтія и частію на Онѣгина.

Что касается пушкинскаго героя, то, намъ кажется, онъ еще нуждается въ окончательномъ изслѣдованіи. При всѣхъ оговоркахъ, какія дѣлаетъ г. Ключевскій о прелестныхъ подробностяхъ романа, самый герой видимо представляется ему большой пошлостью и ничтожествомъ. Нѣкогда въ этомъ смыслѣ воспользовался именемъ Онѣгина Костомаровъ, когда, характеризуя Константина Аксакова, противопоставлялъ его народныя увлеченія отступничеству отъ народности, которое обозначилъ именемъ пушкинскаго героя. Нѣчто совершенно иное, въ отношеніи къ Онѣгину, мы встрѣтимъ у Бѣлинскаго, до котораго, вѣроятно, доходили отголоски первыхъ впечатлѣній, произведенныхъ этимъ романомъ. То отрицаніе, которое кажется г. Ключевскому и казалось Костомарову столь поверхностнымъ и даже пошлымъ, въ глазахъ Бѣлинскаго и вообще прежней критики, видимо, не было столь безсодержательно и неосновательно. Онѣгинъ представлялся Бѣлинскому типомъ свѣтскаго человѣка съ тѣми чертами, какія

свойственны свѣтскимъ понятіямъ и нравамъ; не ставя слишкомъ высоко этихъ понятій, онъ не ставилъ ихъ и слишкомъ низко, и находилъ возможнымъ оправдывать Онѣгина отъ тѣхъ обвиненій, какихъ много дѣлалось противъ него и тогда во имя простой нравственности; его отрицательное отношеніе къ обычному строю мелкаго быта Бѣлинскій находилъ естественнымъ. Въ чемъ же дѣло?

Онѣгинъ писался Пушкинымъ очень долго, и ближайшее изслѣдованіе этого произведенія, вѣроятно, покажетъ, что отношеніе Пушкина къ своему герою съ теченіемъ времени измѣнялось: онъ то нѣсколько сочувствовалъ ему, то относился къ нему болѣе холодно и объективно; герой его то былъ ясенъ для него, то становился загадочнымъ. Противорѣчіе замѣтно въ самой первой главѣ романа, гдѣ, вслѣдъ за разсказомъ о его странномъ французскомъ воспитаніи и свѣтской полуобразованности, которая давали ему возможность блистать въ извѣстныхъ кругахъ, хотя „не могъ онъ ямба отъ хорея, какъ мы ни бились, отличить“. Поэтъ признается, однако, что его герой производилъ на него большое впечатлѣніе:

Условій свѣта свергнувъ бремя,
Какъ онъ, отставъ отъ суеты,
Съ нимъ *подружился* я въ то время.
Мнѣ *нравились* его черты,
Мечтамъ невольная *преданность*,
Неподражательная странность
И *рѣжій охлажденный умъ*.
Я былъ овлбленъ, онъ угрюмъ;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоихъ насъ;
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ;
Обоихъ ожидала злоба
Слѣпой Фортуны и людей
На самомъ утрѣ нашихъ дней....
Кто жилъ и *мыслилъ*, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей;
Кто *чувствовалъ*, того тревожитъ
Призракъ невозвратимыхъ дней—
Тому ужъ нѣтъ очарованій....
Сперва Онѣгина языкъ
Меня смущалъ, но я привыкъ
Къ его язвительному спору,
И къ шуткѣ, съ желчью пополамъ,
И къ злости *мрачныхъ эпиграммъ*.

Какъ соединились свѣтская пустота, отсутствіе всякаго серьезнаго умственнаго интереса (Онѣгинъ не могъ дочитать никакой

серьезной книги, имѣлъ слабыя понятія объ исторіи и т. п.) съ другими чертами—съ преданностію мечтамъ, съ рѣзкимъ охлажденнымъ умомъ и т. п., которыя были такъ сильны и оригинальны, что производили впечатлѣніе на самого Пушкина, — остается не совсѣмъ ясно. Впослѣдствіи эта неясность давала поводъ юной реалистической критикѣ 60-хъ годовъ усомниться не только въ Онѣгинѣ, но и во взглядахъ самого поэта. Въ самомъ дѣлѣ, какимъ же „мечтамъ“ предавался этотъ рано пресытившійся, пустой и безсердечный свѣтскій сибаритъ? что могло занимать этотъ рѣзкій охлажденный умъ, на что направлялась злость мрачныхъ эпиграммъ? Надо думать, что предметы мечтаній, размышлений, эпиграммъ не были совершенными пустяками, если все это производило на Пушкина впечатлѣніе; но эти предметы остаются неизвѣстны. Къ содержанію мыслей Онѣгина Пушкинъ возвращается въ другой разъ, въ VII главѣ поэмы, гдѣ дѣлаетъ описаніе кабинета Онѣгина. По мнѣнію Бѣлинскаго, „весь Онѣгинъ въ этомъ описаніи“, хотя, собственно говоря, кромѣ предметовъ, принадлежащихъ къ обиходу жизни балованнаго барича, Онѣгинъ характеризуется здѣсь только немногими словами о книгахъ, составлявшихъ его чтеніе. Онѣгинъ давно разлюбилъ чтеніе,—

Однакожъ нѣсколько твореній
Онъ изъ опалы исключилъ:
Пѣвца Гяура и Жуана
Да съ нимъ еще два-три романа,
Въ которыхъ отразился вѣкъ,
И современный человекъ
Изображенъ довольно вѣрно
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствиіи пустомъ....
Хранили многія страницы
Отмѣтку рѣзкую ногтей...

Что было отмѣчено ногтями, опять неизвѣстно... Вслѣдъ за тѣмъ, идетъ извѣстный вопросъ:

Чудакъ печальный и опасный,
Созданье ада иль небесъ,
Сей ангель, сей надменный бѣсъ,
Что-жь онъ?

Не ясно, кѣмъ сдѣланъ этотъ вопросъ: одной ли Татьяной, или вмѣстѣ съ нею и поэтомъ. По словамъ Пушкина, Татьяна теперь „начинаетъ понемногу яснѣе понимать“ его героя, но

какъ именно она поняла („ужели слово найдено?“) опять неизвѣстно. Впослѣдствіи мы узнаемъ, что Татьяна, уже замужемъ, продолжаетъ любить Онегина и даже говорить ему объ этомъ: что же она любила? — „созданье ада“ или „созданье небесъ“, „ничтожный призракъ“, „москвича въ Гарольдовомъ плащѣ“, „пародію“? Характеристика оставалась дѣйствительно столь обоюдною, что для читателей и самихъ критиковъ Пушкина Онегинъ такъ и остался образомъ двойственнымъ, противорѣчивымъ. Для однихъ онъ былъ именно москвичемъ въ Гарольдовомъ плащѣ, т.-е. гороховымъ шутомъ; для другихъ онъ сохранялъ черты глубокаго отрицанія, подъ которое (чтобы оно имѣло какой-нибудь смыслъ) надо было подложить общественное значеніе. Ни для того, ни для другого поэтъ не далъ достаточнаго основанія. Онъ не даетъ понять, въ чемъ заключались черты, которыя дѣлали для него интересной бесѣду съ Онегинымъ; но что онъ находилъ въ немъ многое сочувственное—это не подлежитъ сомнѣнію. Надо полагать, что сочувственное заключалось въ томъ настроеніи, съ какимъ носился тогда самъ Пушкинъ, тѣ молодыя сомнѣнія, какія заставляли его увлекаться Байрономъ, рисовать образы отрицателей, въ родѣ Алеко, изображать коварнаго Демона, и т. п. Чистый байронизмъ, какъ извѣстно, не присталъ къ Пушкину; его сомнѣнія нашли потомъ исходъ въ немногосложныхъ положительныхъ началахъ, которыя дали ему потомъ извѣстное успокоеніе, но старыя сомнѣнія остались безплодными: какъ сами они были плодомъ пытливой мысли, такъ послѣ они поддерживали его воспримчивость къ явленіямъ жизни, укрѣпили навсегда мысль о необходимости умственнаго труда для общества, и, въ концѣ концовъ, сочувствія Пушкина къ Онегину требуютъ отъ критики большаго вниманія къ пушкинскому герою. За нимъ Пушкину представлялась, вѣроятно, генеалогія, состоящая не изъ однихъ вывиховъ.

Г. Морозовъ въ статьяхъ, кажется, еще неконченныхъ, предпринялъ опредѣлить положеніе Пушкина въ нашей литературѣ и отношеній къ нему критики. Это послѣднее намѣчено имъ только въ общихъ чертахъ. По изложенію г. Морозова, первое мѣсто въ критикѣ Пушкина принадлежитъ Бѣлинскому, какъ по цѣльности его обширнаго труда, такъ и по тому вліянію, какое онъ надолго сохранилъ на позднѣйшее пониманіе поэта. Критика Бѣлинскаго была исключительно эстетическая: онъ считалъ Пушкина поэтомъ-художникомъ и въ этомъ по-

ставлялъ его основную, почти единственную заслугу; онъ видѣлъ, правда, другую сторону его значенія,—сторону нравственную, такъ какъ Пушкинъ являлся также и проповѣдникомъ добра и человѣчности, но Бѣлинскій не остановился на этой сторонѣ предмета, такъ что, въ чисто поэтической заслуги, роль Пушкина какъ общественнаго дѣятеля осталась невыясненной. Этотъ пробѣлъ старался пополнить Аполлонъ Григорьевъ, но и онъ бросилъ лишь общую мысль, не развивъ вполнѣ своего взгляда. Односторонность Бѣлинскаго отзывалась въ 1860-хъ годахъ, когда, подъ вліяніемъ тогдашняго увлеченія общественными вопросами, къ поэзіи Пушкина предъявлены были новыя требованія, и такъ какъ по прежнему убѣжденію сторона общественная въ немъ отсутствовала, то критика отнеслась къ Пушкину отрицательно: за нимъ оставлено было формальное эстетическое значеніе, но въ другомъ смыслѣ онъ сочтенъ индифферентнымъ и неинтереснымъ въ ту эпоху, когда поднимались животрепещущіе вопросы народной и общественной жизни. Истинное достоинство Пушкина оказалось однако, когда прошла пора легкомысленнаго самообольщенія и послѣдніе годы были свидѣтелями энтузіазма, который и составляетъ настоящее и правильное отношеніе общества къ великому поэту. Такова въ немногихъ словахъ мысль г. Морозова объ отношеніи критики къ Пушкину,—причемъ онъ забылъ опредѣлить точку зрѣнія Анненкова и критици 50-хъ годовъ. Затѣмъ г. Морозовъ собираетъ именно общественныя черты пушкинской поэзіи.

Очень жаль, что этотъ интересный предметъ—исторія отношенія русскаго общества и литературной критики къ Пушкину—не вызвалъ до сихъ поръ обстоятельнаго и безпристрастнаго изслѣдованія. Такое изслѣдованіе представило бы очень любопытный эпизодъ изъ исторіи внутреннихъ интересовъ нашего общества. И при жизни, и послѣ, когда поприще его уже было кончено, Пушкинъ вызывалъ самыя разнообразныя сужденія, которыя, исходя изъ различныхъ слоевъ русскаго общества, отражали самыя различныя степени литературнаго и общественнаго пониманія.—У насъ до сихъ поръ нѣтъ привычки, даже въ научной критикѣ, всматриваться въ основы тѣхъ или другихъ прозвненій общественнаго мнѣнія и литературныхъ вкусовъ. Мы склонны скорѣе рѣшать подобные вопросы огуломъ: одобряемъ то, что совпадаетъ съ нашими нынѣшними воззрѣніями, и не колеблясь предаемъ осужденію то, что съ ними не совпадаетъ или имъ противорѣчитъ. Такъ говорятъ, напримѣръ, о первыхъ литературныхъ отношеніяхъ Пушкина: намъ понятенъ восторгъ, съ

какимъ его встрѣчали его первые поклонники, но мы уже не совсѣмъ умѣемъ понять его первыхъ противниковъ двадцатыхъ годовъ; между тѣмъ въ томъ, что говорилось послѣдними, былъ не одинъ обскурантизмъ или неспособность понимать изящество его созданий. Намъ не трудно также осудить Бѣлинскаго за „односторонность“ или 60-ые годы за легкомысліе. Историческое явленіе должно быть осмотрено въ условіяхъ своего времени и въ своихъ мотивахъ, и тогда оно представится, можетъ быть, не совсѣмъ въ томъ видѣ, какъ покажется на первый взглядъ.

Осудить Бѣлинскаго за односторонность очень легко. Въ самомъ дѣлѣ, его изслѣдованіе Пушкина далеко не полно: въ наше время мы считаемъ необходимымъ прежде всего изложить біографію писателя, нарисовать его общественныя отношенія, среду, въ которой онъ дѣйствовалъ, и затѣмъ уже приступать къ тому, что сдѣлано было имъ новаго въ области поэтическаго творчества, въ кругѣ общественныхъ идей и т. п. Но для Бѣлинскаго многія изъ этихъ предварительныхъ изученій были совершенно закрыты. Смѣшно было бы требовать, чтобы онъ, начиная свой знаменитый рядъ статей о Пушкинѣ не далѣе какъ черезъ шесть лѣтъ по смерти поэта, могъ дать его біографію; чтобы онъ могъ, на подобіе нынѣшнихъ критиковъ, свободно говорить о роли Пушкина въ Александровскую эпоху, объ его тогдашнихъ связяхъ и либеральныхъ затѣяхъ, могъ указывать отношенія Пушкина къ императору Николаю, тогда еще здравствовавшему, развязно говорить о генералѣ Бенкендорфѣ, тогда также еще здравствовавшемъ (ум. 1844); рассказывать о великосвѣтскихъ врагахъ Пушкина, когда они были на лицо, и т. д. Столь же невозможны были изображенія среды, изложеніе общественныхъ теорій Пушкина, которыхъ Бѣлинскій могъ коснуться лишь въ той степени, насколько онъ высказались въ его произведеніяхъ. Далѣе, у Бѣлинскаго не было и не могло быть въ распоряженіи того матеріала пушкинскихъ бумагъ, который въ изданіи Анненкова впервые раскрывалъ неясными намеками интимныя мысли Пушкина о русскомъ обществѣ, о русской исторіи, его планы будущихъ поэтическихъ работъ и т. д., — намеками, которыхъ самъ Анненковъ въ свое время не осмѣливался развивать и къ которымъ возвратился потомъ уже только въ 1870-хъ годахъ.

Такимъ образомъ, Бѣлинскій былъ физически лишенъ возможности затронуть существенныя черты личности и дѣятельности поэта, которыя, безъ сомнѣнія, много освѣтили бы ему и чисто художественныя свойства этой дѣятельности. Съ другой стороны и цѣль критики была иная. Въ началѣ столѣтія наша литература

еще проходила свою ученическую стадію, которую засталъ и испыталъ еще Пушкинъ; когда онъ кончалъ свое поприще, а Бѣлинскій приступалъ къ своему критическому труду, общество и даже многіе въ кругу писателей еще не успѣли освоиться съ понятіями искусства и національнаго характера литературы. Пушкинъ первый оканчивалъ упомянутый ученическій періодъ и былъ первымъ писателемъ, съ которымъ устанавливается поэтическая самостоятельность и національная окраска. Бѣлинскій созналъ дѣйствительное положеніе литературы въ первые же годы своего критическаго труда. Чрезвычайно характерно, что свое поприще, исполненное потомъ борьбы и пламеннаго воодушевленія, онъ началъ еще при жизни Пушкина извѣстными словами, что у насъ „нѣтъ литературы“; онъ съ торжествомъ говорилъ эти слова,—потому что только съ этого убѣжденія и могла начаться дѣйствительная, самобытная и жизненная литература. Слова Бѣлинскаго означали, что ученичество кончилось; въ Пушкинѣ и Гоголѣ онъ увидѣлъ твердую надежду будущаго широкаго развитія русской литературы и не обманулся въ этомъ: его поклоненіе Пушкину и особенно Гоголю съ первыхъ же произведеній послѣдняго свидѣтельствовали о глубокомъ пониманіи всего существа дѣла. Въ тогдашнемъ положеніи понятій огромнаго большинства дѣломъ первой необходимости было установить критеріумъ художественности, чтобы стало понятно все ребячество старыхъ самообольщеній о богатствахъ нашей литературы, и все великое значеніе писателей, по его почти пророческому убѣжденію, начинавшихъ новую будущую русскую литературу. Надо припомнить хаосъ тогдашнихъ литературныхъ понятій, вслѣдствіе котораго многіе совершенно искренно не понимали Пушкина и Гоголя, а тѣ, которые восхищались ими, часто не могли себѣ отдать отчета въ своихъ впечатлѣніяхъ,—чтобы видѣть необходимость именно той критики Бѣлинскаго, какою она была. Если и по словамъ г. Морозова, Бѣлинскій указалъ, однако, и нравственную сторону пушкинской поэзіи, то критика новѣйшая едва ли прибавила много существеннаго къ его общему замѣчанію, хотя несомнѣнно прибавляла много спорнаго.

Отношеніе г. Морозова къ критикѣ 60-хъ годовъ намъ не представляется совершенно точнымъ. По словамъ его, эта критика совершенно отвергала Пушкина. Извѣстныя слова, которыми Пушкинъ отгоняетъ отъ себя чернь, мѣшающую мирному поэту, эти слова, говоритъ г. Морозовъ, „были приняты за безусловную profession de foi чистаго искусства и послужили исходнымъ пунктомъ для отрицательнаго взгляда на Пушкина. Въ ту эпоху

общаго напряженнаго оживленія, чисто юношескаго увлеченія насущными интересами дня,—въ эпоху, про которую сложились знаменитая фраза: „въ настоящее время, когда“... поэтъ, повидимому, чуждый этой злобѣ дня, все поглотившей, долженъ былъ казаться отжившимъ свое время, архивнымъ. Если поэтъ отвернулся отъ общественныхъ, житейскихъ тревоженій, то и обществу считаетъ себя въ правѣ отвернуться отъ него, и съ своей стороны сказать ему: „Иди прочь, ты намъ не нуженъ, твоя пѣсня бесплодна, какъ вѣтеръ, — иди въ свою могилу, и чѣмъ скорѣе поростетъ она травой забвенья, вмѣстѣ со всѣмъ твоимъ временемъ,—тѣмъ лучше. Наше время рѣшаетъ основныя задачи жизни практической,—наслажденіе созданіями чистаго искусства для него не нужно, и даже вредно“... И вотъ, посреди общаго развѣнчиванья старыхъ боговъ, посреди торопливаго низверженія прежнихъ бумировъ, которымъ еще недавно всѣ поклонялись, на долю Пушкина выпадаютъ самые жестокіе удары. У него, да и вообще у всей области искусства, представителемъ котораго онъ былъ признанъ, стараются отнять всякое значеніе для современности; его имя вызываетъ даже враждебныя чувства; за нимъ не хотятъ признать никакихъ заслугъ, хотя бы даже чисто-литературныхъ; словомъ, Пушкинъ „упраздняется“ изъ литературы точно такъ же, какъ въ 1837 году онъ былъ упраздненъ изъ жизни, за ненужностью“... Г. Морозовъ находитъ даже, что по пословицѣ: „крайности сходятся“, передовые представители нашей отрицательной критики 60-хъ годовъ „могли бы подать руку тѣмъ гонителямъ поэта, которые, надъ незакрывшейся еще его могилой, не скупились на слова отрицанія и осужденія“ (!). Хотя онъ соглашается дальше, что „въ усиленномъ отрицаніи выразилось горячее желаніе какъ можно скорѣе, окончательно и безповоротно отрѣшиться отъ всякихъ преданій этой эпохи, навсегда уничтожить вѣчную связь современности съ тяжелымъ, недавно отжитымъ прошлымъ“, и что въ заблужденіи этой критики, которое онъ считаетъ совершенно искреннимъ, „выразилась только черезъ-чуръ наивная, черезъ-чуръ пылкая и молодая самоувѣренность, вѣра въ свѣжія силы новаго времени, которыя создаютъ для общества новую жизнь, совсѣмъ несхожую съ прошлымъ; эта новая жизнь—казалось—тогда не должна имѣть съ прошлымъ ничего общаго, должна безъ оглядки и навсегда отъ него отвернуться, и отказаться—во имя будущаго—даже и отъ того, что было дорого прежнему поколѣнію“...

Та пора, послѣдніе 50-е и 60-е года, не обрѣтается теперь въ авантажъ; она съ такимъ усердіемъ отвергается и опровер-

гается въ наше время, даже прямо практическими мѣрами, что людямъ, задача которыхъ есть исторія, можно было бы относиться къ той эпохѣ съ большимъ спокойствіемъ и безпристрастіемъ. Кто такіе передовые представители нашихъ 60-хъ годовъ? Собственно говоря, здѣсь подразумѣвается одинъ Писаревъ, роль котораго была, во всякомъ случаѣ, довольно исключительная и въ которомъ — слишкомъ рѣшительно обобщать 60-е года. Начало прошлаго царствованія дѣйствительно исполнено было большихъ ожиданій и надеждъ; то отрицаніе прошлаго, которое стало раздаваться въ то время, было вовсе не такъ легкомысленно, какъ хотятъ представлять теперь люди извѣстнаго взгляда на вещи, къ какимъ напрасно было бы присоединяться г. Морозову. Та пора наступила послѣ долгаго періода реакціи, кончившагося настоящимъ обскурантизмомъ и, наконецъ, политическимъ бѣдствіемъ; испытаніе было слишкомъ тяжелое, и когда съ новымъ царствованіемъ блеснула надежда на лучшій порядокъ вещей, и когда, вмѣстѣ съ тѣмъ, общество получило нѣкоторую возможность высказаться, то литература преисполнилась шумными заявленіями, гдѣ сливались и серьезныя указанія необходимыхъ преобразованій, и простодушныя мечты, и обличенія старыхъ общественныхъ золъ, а наконецъ и оправдавшееся потомъ недоувѣріе къ поднявшемуся шуму... Всего больше тогда заняты были недавнимъ прошлымъ общественной и народной жизни и планами будущаго; чисто-литературные, эстетическіе вопросы отступали на второй планъ, и весьма естественно: старая литература, искони несвободная въ выраженіи задушевныхъ мыслей общества, говорила слишкомъ отвлеченно и туманно о тѣхъ интересахъ, которые теперь могли быть названы собственнымъ ихъ именемъ, и объ этой литературѣ говорили меньше, чѣмъ говорятъ теперь, и относились къ ней съ большими критическими требованіями. Критика того времени, изображаемая г. Морозовымъ, не исощается однимъ Писаревымъ. Въ новыхъ поколѣніяхъ, вступившихъ тогда въ литературу въ 50-хъ годахъ, изданіе Анненкова встрѣчено было какъ настоящее событіе; напомнимъ рядъ статей, явившихся тогда по поводу этого изданія; это было, въ сущности, началомъ тѣхъ ближайшихъ детальныхъ изученій Пушкина, какими мы хотимъ гордиться въ настоящее время и которыя, однако, далеко не довели до конца того, что начато было въ концѣ 50-хъ годовъ. Если г. Морозовъ хотѣлъ характеризовать то время, ему слѣдовало бы ближе вспомнить его подробности и точнѣе указать, что внушало тогда недоумѣнія относительно Пушкина. Что касается извѣстнаго недоувѣрчиваго отношенія къ общественному содержанію идей Пуш-

кина, то эта недовѣрчивость возникла тогда не въ первый разъ. Новый критикъ могъ бы найти выраженіе его у самого Бѣлинскаго, въ его статьяхъ и въ томъ, что извѣстно теперь изъ его біографіи... Мы указывали въ началѣ настоящей статьи, какъ разнообразны, иногда почти діаметрально противоположны впечатлѣнія исторической роли Пушкина даже въ глазахъ современныхъ критиковъ; въ то время какъ однимъ Пушкинъ представляется водителемъ націи къ свободному развитію и просвѣщенію въ лучшемъ будущемъ, для другихъ—это чистый консерваторъ, какъ будто поэтический выразитель Уваровскаго символа 1830-хъ годовъ. Поэзія Пушкина отразила сложную біографію, въ ней остались отголоски цѣлаго развитія его идей съ различными его фазисами. Не мудрено, что въ его произведеніяхъ можетъ найти опору и та, и другая точка зрѣнія: не удивительно и то, что тѣ же точки зрѣнія представлялись и въ 60-хъ годахъ, и нѣкоторыя стороны пушкинскихъ мнѣній и идеаловъ вызывали отношеніе отрицательное.

Сдѣлаемъ еще замѣчаніе. Мы сказали, что въ ту пору интересы литературные отступали на второй планъ передъ реальными заботами минуты. Нѣтъ ли въ нашемъ нынѣшнемъ интересѣ къ прошедшей литературѣ обратнаго явленія? не бросаемся ли мы въ прошедшее и ищемъ въ немъ нравственной пищи, потому что намъ недостаетъ ея въ реальной дѣйствительности? Не преувеличиваемъ ли и мы въ другую сторону, также какъ преувеличивали 25 лѣтъ тому назадъ?

Мы не будемъ подробно останавливаться на статьѣ г. Спасовича: „Пушкинъ и Мицкевичъ у памятника Петра Великаго“,—она извѣстна читателямъ „Вѣстника Европы“. Статья имѣетъ двѣ темы: указаніе личныхъ отношеній, установившихся въ кратковременное знакомство между двумя величайшими поэтами славянскаго міра, и изслѣдованіе развитія поэмы „Мѣднѣй Всадникъ“. Обѣ темы тѣсно связаны, такъ какъ Петръ Великій былъ предметомъ бесѣдъ между двумя поэтами, между прочимъ, когда однажды на дождѣ они стояли у памятника Петра, прикрытые однимъ плащомъ; оба говорили о Петрѣ въ своихъ произведеніяхъ. Свѣденія о сближеніи Пушкина съ Мицкевичемъ (во время пребыванія послѣдняго въ Петербургѣ) довольно скудны. Авторъ старался выяснитъ ихъ, насколько возможно, изъ того немногаго, что осталось слѣдомъ этого сближенія въ стихотвореніяхъ обоихъ поэтовъ, въ позднѣйшихъ лекціяхъ Мицкевича въ Collège de

Франсе и въ его некрологѣ Пушкина. Послѣ перваго сближенія, въ концѣ двадцатыхъ годовъ, поэты были откинуты событіями въ два враждебные лагера, но г. Спасовичъ старается отмѣтить ту черту, что „въ памяти Мицкевича Пушкинъ навсегда остался такимъ, какимъ онъ былъ въ 1828 г., безъ малѣйшаго измѣненія“. Мицкевичъ всегда созерцалъ Пушкина съ точки зрѣнія тѣхъ „душъ, возвышающихся надъ земными препятствіями, которыя парятъ въ эфирной вышинѣ и не ниспускаются на землю безъ крайней къ тому необходимости, вытекающей изъ понятія долга—народнаго или общественнаго. Съ политикомъ-Пушкинымъ Мицкевичъ не хотѣлъ примириться, но онъ не хотѣлъ Пушкина судить, и дѣйствовалъ, какъ будто бы совсѣмъ не зналъ, что Пушкинъ писалъ когда-нибудь какъ политикъ“.

Со стороны Пушкина взаимность была не столь совершенная: событія 1830—1831 года „вырыли между обоими поэтами бездонную пропасть и поставили ихъ на двухъ противоположныхъ полюсахъ въ жгучемъ вопросѣ. Событія подѣйствовали скорѣе на Пушкина, чѣмъ на Мицкевича... Пушкинъ измѣнился, но не хотѣлъ признать въ себѣ этой перемѣны, и укорялъ Мицкевича въ непоследовательности, въ безпричинной ненависти, вмѣсто прежней любви. Впрочемъ, такъ какъ перемѣна въ Мицкевичѣ, о которой сожалѣлъ Пушкинъ, касалась только политики, во всемъ же остальномъ Пушкинъ не пересталъ цѣнить и высоко уважать въ Мицкевичѣ человѣка и великаго поэта, то въ исторіи сохранился навсегда красивый слѣдъ ихъ кратковременнаго сближенія“. Два характера величайшихъ поэтовъ славянскаго міра представляются г. Спасовичу такъ: „Поразительно противоположны были ихъ темпераменты, двѣ разныя стихіи, столь же мало похожія, какъ, напримѣръ, гранитная скала (поэтъ Красинскій любитъ сравнивать Мицкевича со скалою) и зыбкая, на глазахъ моментально измѣняющаяся, волна морская, играющая всѣми цвѣтами радуги. Каждый изъ нихъ былъ превосходнымъ представителемъ самыхъ характерныхъ свойствъ своего племени и народа, оба они были поэты-романтики, оба оказали громадное, донинѣ продолжающееся, вліяніе на потомство, оба считали себя людьми дѣла и политиками, хотя не были вовсе таковыми, а только, и исключительно, художниками“. Упомянутое сравненіе, быть можетъ, не совсѣмъ точно: скала окончила безпомощностью, которая сказалась печальнымъ мистицизмомъ, какъ другія обстоятельства отразились на Пушкинѣ колебаніемъ его общественныхъ убѣжденій. Образчикъ этихъ колебаній оказался и на созданіи „Мѣднаго Всадника“. Г. Спасовичъ сдѣлалъ любо-

пытныя сопоставленія, указывающія, что поэма, какъ мы знаемъ ее теперь, сначала имѣла какъ будто въ основаніи иной поэтической замысль, оставшійся невыполненнымъ. Анненковъ уже дѣлалъ предположенія объ этомъ, сличая „Мѣднаго Всадника“ съ „Родословной моего героя“ и „Моей родословной“. Очевидно, что безымянный герой поэмы есть тотъ же Езерскій и даже болѣе, тотъ же Пушкинъ: „родовъ униженныхъ обломовъ... бояръ старинныхъ я потомковъ“. Г. Спасовичъ прибавляетъ сюда напечатанное позднѣе (1884) извѣстіе князя П. П. Вяземскаго, что существовалъ, кромѣ того, цѣлый монологъ героя, уже не находящійся въ нынѣшней формѣ поэмы: „неизгладимое впечатлѣніе произвелъ монологъ обезумѣвшаго чиновника передъ Мѣднымъ Всадникомъ, содержащій около тридцати стиховъ. Не вѣрится, чтобы онъ не сохранился въ цѣлости. Въ бумагахъ моего отца монолога не сохранилось, весьма можетъ быть, потому, что въ немъ слишкомъ энергически звучала *ненависть къ европейской цивилизации*. Мнѣ все кажется, что великолѣпный монологъ таятся, вслѣдствіе какихъ-либо тенденціозныхъ соображеній, ибо трудно допустить, чтобы изъ всѣхъ людей, слышавшихъ проклятыя, никто не попросилъ Пушкина дать списать эти тридцать—сорокъ стиховъ“. Свидѣтельство, точность котораго не возбуждаетъ никакихъ сомнѣній, чрезвычайно любопытно. Оно еще разъ показываетъ, что въ идеяхъ Пушкина историческихъ и общественныхъ плло сильное броженіе, далеко не сходное съ тѣмъ какъ бы единообразнымъ тономъ, какой хотятъ видѣть у него новѣйшіе біографы и критики. Извѣстно, что идеи Пушкина о значеніи петровской реформы, составляющей первостепенный вопросъ нашей исторіи за послѣдніе два вѣка, въ послѣдніе годы его жизни значительно измѣнились, между прочимъ подъ вліяніемъ его архивныхъ занятій, когда онъ готовился быть исторіографомъ Петра Великаго. Съ историческими мнѣніями измѣнялись и общественные взгляды Пушкина, между прочимъ на то сословіе, къ которому онъ принадлежалъ, на значеніе тѣхъ старыхъ дворянскихъ и боярскихъ родовъ, которые, по его мнѣнію, подорваны были Петромъ Великимъ или еще Θεодоромъ къ ущербу русской общественной свободы. Пушкинъ впадалъ въ противорѣчіе со своими прежними взглядами и, какъ думаетъ г. Спасовичъ, не одолѣлъ этого противорѣчія.

Мы остановимся еще на рѣчи г. Кирпичникова. Послѣ нѣсколькихъ вводныхъ словъ о значеніи Пушкина и различномъ

отношеніи къ нему въ русскомъ обществѣ, — словъ не всегда точныхъ, но слишкомъ мимолетныхъ, чтобы можно было съ ними спорить, — авторъ переходитъ къ краткому изложенію путей литературнаго развитія, пройденныхъ Пушкинымъ, и даетъ картину, которая хотя состоитъ изъ фактовъ общезвѣстныхъ, но въ своемъ цѣльномъ составѣ любопытнымъ образомъ рисуетъ отношеніе Пушкина къ европейской литературѣ, съ одной стороны, и къ русской дѣйствительности, съ другой; авторъ старается затѣмъ указать общій характеръ творчества Пушкина и то, чѣмъ еще могъ онъ стать въ нашей литературѣ, еслибы трагическая случайность не прервала его дѣятельности. Пересматривая литературныя понятія Пушкина съ его первыхъ шаговъ, авторъ указываетъ, что Пушкинъ испыталъ и пережилъ цѣлый рядъ разнообразныхъ вліяній, отъ стараго псевдо-классицизма XVIII-го вѣка до различныхъ романтическихъ оттѣнковъ начала нынѣшняго столѣтія, и, не покоряясь этимъ вліяніямъ, извлекалъ изъ разныхъ литературныхъ теченій то, что было въ нихъ живого, здравого и полезнаго. Пушкинъ уже на школьной скамьѣ успѣлъ отдѣлаться отъ псевдо-классицизма, но онъ „воспользовался уроками ложныхъ классиковъ такъ, — говоритъ авторъ, — какъ не сумѣли ими воспользоваться болѣе его образованные нѣмецкіе романтики: отъ классиковъ Пушкинъ унаслѣдовалъ глубокое уваженіе къ силѣ, чистотѣ и правильности языка, только его критерій былъ гораздо шире и разумнѣе; его творческая дѣятельность и въ этомъ отношеніи была плодотворнѣе“.

Видѣвъ съ тѣмъ, онъ пережилъ ту полувѣковую борьбу, какая велась въ европейской литературѣ противъ ложнаго классицизма и отголоски которой, болѣе или менѣе отчетливые, повторились и у насъ. Пушкинъ уже рано перечиталъ многое изъ европейской литературы конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка, и это чтеніе осталось для него важнымъ опытомъ, который онъ перерабатывалъ самостоятельно. „Пришлось бы разбирать всѣ лицейскія стихотворенія Пушкина, — говоритъ г. Кирпичниковъ, — еслибъ я задумалъ опредѣлять литературныя вліянія, имъ за это время пережитыя. Я только укажу два-три примѣра того, какъ впоследствии, въ пору зрѣлости своего генія, Пушкинъ претворялъ въ себѣ эти школьныя вліянія, возводя ихъ односторонность въ перлы художественности.“

„Я уже сказалъ, что ложный классицизмъ оставилъ въ немъ наклонность къ изученію роднаго языка; но онъ пошелъ въ этомъ отношеніи по лучшей дорогѣ и дальше, нежели академики много-

численныхъ академій Европы, вмѣстѣ взятые; онъ обратился къ исторіи языка и къ языку народному.

„Сентиментализмъ Бернардэна, Карамзина и Ричардсона далъ возможность Пушкину, въ жизни поклоннику свѣтскихъ дамъ, создать такіе плѣнительные образы простодушныхъ и любящихъ дикарокъ, какъ черкешенка въ „Кавказскомъ Пльнникѣ“, Марья Ивановна въ „Капитанской Дочкѣ“. Нужно ли говорить, насколько эти образы живѣе Лизы и Виргиніи?

„Баллады Бюргера и Жуковскаго, поэмы Вальтера Скотта воодушевили Пушкина къ созданію „Вѣщаго Олега“, „Утопленника“, „Русалки“. Нужно ли доказывать, что фантастика Пушкина здоровѣе и художественнѣе, нежели у его образцовъ?

„Поклоненіе среднимъ вѣкамъ и рыцарству у Пушкина явилось какъ пониманіе ихъ и художественное воспроизведеніе въ „Скупомъ Рыцарѣ“ и „Сценахъ изъ рыцарскихъ временъ“.

„Критическія положенія Лессинга, хотя бы и узанныя черезъ третьи руки, обратили его впослѣдствіи къ Шекспиру, дали ему вѣрное понятіе о драмѣ и были косвенною причиною появленія „Бориса Годунова“.

„Апофеозъ поэзіи и отвращеніе отъ прозы практической, филистерской жизни, такъ сильно выраженные въ „Вертерѣ“ и доведенные до абсурда Шлегелемъ, у Пушкина выразились твердымъ убѣжденіемъ въ независимости искусства отъ какихъ бы то ни было извѣтъ наложенныхъ цѣлей и въ его высоко гуманномъ значеніи“.

Относительно „Руслана и Людмилы“ новый критикъ не соглашается съ мнѣніемъ Бѣлинскаго, который не находилъ здѣсь ни тѣни „романтизма“ и ничего народнаго, кромѣ именъ. Г. Кирпичниковъ соглашается, что „Руслана“ нельзя сравнить въ этомъ послѣднемъ отношеніи съ пѣснями Кольцова, съ пѣсней о „Кушцѣ Калашниковѣ“ Лермонтова, даже съ позднѣйшими сказками самого Пушкина; но историко-литературныя явленія надо сравнивать не съ послѣдующими, а съ предыдущими и современными явленіями, и въ этомъ случаѣ „Русланъ“ былъ несомнѣннымъ успѣхомъ; можно ли поставить рядомъ съ нимъ „Громобоя“ Жуковскаго, не говоря объ „Ильѣ Муромцѣ“ Карамзина? Положимъ, что извѣстное введеніе явилось только въ изданіи 1828 года; но цѣлый рядъ сказочныхъ подробностей взять дѣйствительно изъ русской сказочной старины, хотя и переплетенъ съ позднѣйшей фантастикой романской поэзіи; самый языкъ пересыпанъ народными выраженіями. И затѣмъ Пушкинъ не остановился на этомъ: онъ продолжалъ изучать народную поэзію, сознательно чувствуя

ея значеніе, какъ воспитательной поэтической стихіи; въ его дѣйствительнѣйшихъ произведеніяхъ это чувство народнаго сказазлось и въ тонѣ, и въ подробностяхъ его сказокъ, баллады „Женихъ“, и т. д.

„Плодотворны были послѣдствія этого обращенія Пушкина къ народности: именно въ это время выработались его художественныя взгляды, ставшіе теперь общимъ убѣжденіемъ; именно въ это время созналъ и объяснилъ онъ, насколько Шекспиръ выше Байрона; съ этого времени начинается періодъ полной силы его творчества, въ которомъ эту струю животворной народности замѣчаетъ и самъ поэтъ, и умнѣйшіе изъ его современниковъ; въ это время создается „Борисъ Годуновъ“, въ которомъ Пушкинъ сознательно хочетъ дать образецъ русской народной драмы и, наконецъ, въ это время стихъ Пушкина достигаетъ своей вѣчно неуывдаемой классической красоты и силы“.

Г. Кирпичниковъ замѣчаетъ далѣе: „Какъ ни странно можетъ это показаться съ перваго взгляда, но я твердо убѣжденъ, что Пушкинъ сталъ вполне европейскимъ писателемъ именно съ той поры, какъ сдѣлался русскимъ народнымъ поэтомъ“. Намъ кажется, напротивъ, тутъ нѣтъ ничего страннаго; понятно, что съ тѣхъ только поръ, какъ писатель овладѣваетъ своимъ народнымъ содержаніемъ, онъ получаетъ интересъ для литературъ иностранныхъ, потому что повторенія чужого и извѣстнаго не могутъ быть ни любопытны, ни привлекательны. Важнѣе другое замѣчаніе автора, понимаемое не всѣми почитателями Пушкина. Сказавъ, что Пушкинъ былъ первымъ вліятельнымъ проводникомъ русской народности въ Европѣ, онъ говоритъ: „Пушкинъ могъ исполнить это высокое назначеніе и дѣйствительно исполнилъ его не только потому, что онъ любилъ свою родину—были и до него и при немъ люди, проникнутые не менѣе искреннимъ чувствомъ и даже засвидѣтельствовавшіе свой патріотизмъ мученичествомъ, но и потому, что онъ съ громаднымъ поэтическимъ талантомъ соединялъ почти небывалое у насъ, по широтѣ своей, литературное образованіе, безъ котораго для младшихъ сыновей цивилизаціи нѣтъ доступа въ Европу; только знаніе ея прошлаго открываетъ намъ дорогу къ ея настоящему“.

Г. Кирпичниковъ опять оспариваетъ извѣстный взглядъ на Пушкина, какъ исключительно поэта-художника и, въ частности, оспариваетъ этотъ взглядъ, какъ онъ былъ высказанъ Бѣлинскимъ ¹⁾. Авторъ находитъ, что въ этомъ мнѣніи есть доля осно-

¹⁾ Слова Бѣлинскаго: „Пушкинъ, по своему воззрѣнію, принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ, и которая

вательности, потому что оно утверждается на многихъ значительныхъ произведеніяхъ Пушкина, на его собственныхъ словахъ, на извѣстномъ стихотвореніи „Чернь“, но, тѣмъ не менѣе, авторъ считаетъ этотъ взглядъ въ сущности ложнымъ, и главнымъ аргументомъ противъ него онъ выставляетъ „неопровержимый фактъ“, именно московскій праздникъ 1880 года и нынѣшнее чествованіе памяти Пушкина. Этотъ фактъ, по мнѣнію г. Кирпичникова, указываетъ именно, что Пушкинъ былъ не только поэтъ-художникъ, но и поэтъ-гражданинъ: еслибы Пушкинъ былъ только представителемъ устарѣвшей поэтической школы, воспоминаніе о немъ было бы только академическимъ торжествомъ, а не русскимъ народнымъ праздникомъ; отчего же происходило это всеобщее увлеченіе, спрашиваетъ г. Кирпичниковъ,—и „неужели рѣчь Достоевскаго была только блестящей софистикой“?

Что она была софистикой—это многое думали тогда же. И, принимая взглядъ Бѣлинскаго, можно было отдать всѣ свои сочувствія обновленному воспоминанію о Пушкинѣ, потому что Пушкинъ, даже какъ исключительный художникъ, былъ великой созидающей силой нашей литературы; никогда не было сомнѣнія и въ томъ, что Пушкинъ былъ страстнымъ патріотомъ, но уже одни споры о томъ, въ какой степени онъ могъ стать писателемъ того социальнаго характера, о какомъ говоритъ Бѣлинскій въ приведенной цитатѣ, указываютъ, что въ свое время онъ имъ не былъ, не былъ настолько, чтобы это было всѣми прочувствовано, чтобы это стало исторической чертой его личности. Дѣлать предположенія о томъ, тѣмъ бы онъ сталъ въ будущемъ, разумѣется, бесполезно... Повторимъ опять, что тѣхъ общихъ свойствъ его нравственнаго содержанія, какія были нѣкогда указаны Бѣлинскимъ, въ соединеніи съ художественной геніальностью, было достаточно, какъ для того, чтобы сдѣлать Пушкина могущественнымъ двигателемъ литературы, такъ и для того, чтобы привлечь къ нему глубокую привязанность далекихъ поколѣній. Но геніальный поэтъ, Пушкинъ по своимъ общественнымъ взглядамъ былъ человекъ своего времени и своего круга, и этихъ частныхъ его идей могли и могутъ не раздѣлять и люди, при-

даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное любви и вражды мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные болѣзненные вопросы настоящаго“.

знающіе великую историческую заслугу его художественной дѣятельности для установленія нашей литературы.

Г. Зелинскій хотѣлъ облегчить изученіе литературнаго значенія и судьбы Пушкина систематическимъ собраніемъ критическихъ отзывовъ, появившихся съ самаго начала его поэтической дѣятельности. Намѣреніе полезное; къ сожалѣнію, исполненіе мало удовлетворительно. Работа г. Зелинскаго совершенно сырая. Онъ просто перебираетъ старыя журналы и выписываетъ оттуда, что относится къ Пушкину, безъ всякихъ дальнѣйшихъ объясненій: между тѣмъ въ объясненіяхъ настояла бы самая существенная надобность. Подробности движенія, возбужденнаго въ нашей литературѣ появленіемъ Пушкина и его послѣдующими шумными успѣхами, изучены еще далеко не вполнѣ, но, тѣмъ не менѣе, эта исторія не однажды затрогивалась историками тогдашней литературы, и для сколько-нибудь серьезнаго изслѣдователя, который взялся бы за собраніе критической литературы о Пушкинѣ, сама собой представилась бы необходимость сопроводить этотъ матеріалъ біографическими и бібліографическими справками, которыя помогли бы читателю оріентироваться въ этой старой литературѣ.

Наполнивъ предисловіе высокопарными фразами о великомъ значеніи Пушкина, который есть „предметъ русской національной гордости“, „основатель и неизсякаемый поэтический источникъ той нашей литературы, которая въ настоящее время пробиваетъ многовѣковую китайскую стѣну, духовно разобщавшую насъ съ просвѣщенною семьей европейскихъ народовъ“, „реформаторъ-обновитель и краеугольный камень“, и пр., издатель увѣренъ, что это великое значеніе Пушкина послужитъ и краеугольнымъ камнемъ для успѣха его новѣйшаго предпріятія. „По моему убѣжденію, — продолжаетъ онъ, — эта книга должна быть полезна *тщательно для всѣхъ*, такъ или иначе соприкасающихся съ русской литературой, начиная отъ ученаго историка — критика литературы и кончая тѣми, *которые вовсе незнакомы* (!!!) ни съ исторіей и критикой русской литературы вообще, ни съ величайшимъ представителемъ послѣдней, Пушкинымъ въ частности“. Читатель, вѣроятно, не мало изумится этой рекомендаціи для собственнаго изданія. Но г. Зелинскій не довольствуется этими увѣреніями о необходимости своей книги для тѣхъ даже, кто не знаетъ и самого Пушкина: нѣтъ! „Скажу еще болѣе: еслибы даже и совсѣмъ исключить предполагаемую

широкую практическую пользу настоящаго сборника, то и тогда осталось бы еще за этой книгой неоспоримое право на существованіе ея въ русской литературѣ, и именно по своей *особо-спеціальной* (?) цѣли—служить своего рода памятникомъ Пушкину“. „Мнѣ кажется, что этотъ послѣдній мотивъ долженъ вытекать изъ чувства уваженія достоинства (къ достоинству?) отечественной литературы, а слѣдовательно — достоинства и памяти величайшаго ея творца. Это тотъ самый *нравственный мотивъ* (!), который въ сердцѣ истиннаго любителя русской литературы и почитателя памяти великаго нашего поэта возбуждаетъ *грусть* (!) при мысли, что вотъ прошло уже полвѣка, какъ Россія лишилась Пушкина, а между тѣмъ, и до сихъ поръ еще не появилась у насъ ни одна настоящая, *полная* (!!) книга о немъ, которая рельефно и всесторонне очерчивала бы эту замѣчательную личность. Правда, есть у насъ два, болѣе или менѣе выдающихся изслѣдованія о Пушкинѣ—Анненкова и Незеленова (г. Зелинскій могъ бы снизить еще къ г. Стоюнину, а изъ старыхъ писателей къ Бѣлинскому), но они сравнительно такъ *неполны* (!)—одно даже не законченное,—что личность великаго поэта такъ и до сихъ поръ еще остается въ таинственномъ полумракѣ“... Г. Зелинскій хочетъ увѣрить „публику“, что этотъ недостатокъ „полныхъ“ сочиненій о Пушкинѣ можно замѣнить тѣмъ сборомъ стараго хлама, который онъ ей предлагаетъ.

Какъ объясняетъ г. Зелинскій поводъ къ своему изданію?—„Быть можетъ,—говоритъ онъ,—нѣкоторые спросятъ меня, съ какой цѣлью я дѣлаю это (изданіе) и какую особенную пользу для читателей полагаю въ предпринятомъ объемистомъ сборникѣ критикъ о (sic) сочиненіяхъ Пушкина? На этотъ вопросъ я не берусь отвѣчать съ полною опредѣленностію (!), потому, во-первыхъ, что нѣсколькими фразами невозможно удовлетворительно отвѣтить на данный вопросъ (!), да едва ли хватило бы и возможности предвидѣть и исчерпать въ частностяхъ всю ту сумму многочисленныхъ мотивовъ съ разнообразными оттѣнками ихъ (!), которая наглядно выражала бы цѣль и значеніе настоящаго сборника въ русской литературѣ; во-вторыхъ, я вполне увѣренъ, что кому понадобится эта книга, тотъ гораздо лучше всякихъ предупреждающихъ разъясненій пойметъ ея цѣль и оцѣнитъ ея пользу“. Изумительно! Но дальше издатель говоритъ опять: „А что книга эта не лишней будетъ у насъ—въ этомъ я *непоколебимо убѣжденъ*. Кому же она понадобится?—Многимъ: и тому, кто, искренно любя свою отечественную литературу, пожелаетъ сродниться съ ней, такъ сказать, проникнуть во всѣ мельчайшіе изгибы ея

историческаго странствія и развитія; и тому, кто ясно сознаетъ смыслъ и питаетъ въ сердцѣ чувства, которыя заставляютъ русское общество воздвигать на многолюдныхъ площадяхъ памятники Пушкину, этому великому нашему соотечественнику“, и т. д. Слѣдуютъ фразы, образчикъ которыхъ приведенъ выше.

Эти выписки достаточно показываютъ, съ кѣмъ мы имѣемъ дѣло. Несмотря на громкія фразы, этотъ сборникъ „критикъ о Пушкинѣ“, въ томъ видѣ, какъ онъ есть, совсѣмъ не нуженъ обыкновенному читателю, какъ бы непоколебимо ни былъ убѣжденъ г. Зелинскій, что онъ нуженъ для всѣхъ. Собраніе старыхъ статей о Пушкинѣ можетъ быть интересно только для небольшого круга лицъ, которыя сдѣлали бы Пушкина предметомъ спеціального изученія; такихъ людей во всякомъ случаѣ немного. Но для кого бы ни назначался этотъ сборникъ, составленіе такой книги имѣетъ свои условія, безъ соблюденія которыхъ она можетъ дѣйствительно стать хламомъ. Составителю подобной книги надо быть историкомъ литературы или, по крайней мѣрѣ, понимать требованія исторіи литературы. Не довольно перебрать старые журналы и выписать изъ нихъ, что относится къ Пушкину; надо дать этимъ выпискамъ систему, надо передать ихъ со всею библіографическою точностью, обставить необходимыми историко-литературными указаніями для того, чтобы читатель, нуждающійся въ историческомъ матеріалѣ, имѣлъ необходимыя библіографическія справки: кто былъ издателемъ даннаго журнала; въ какихъ отношеніяхъ стоялъ къ Пушкину и пушкинской поэзіи; кто былъ въ немъ критикомъ произведеній Пушкина; чѣмъ отозвалась та или другая статья въ лагерь друзей или враговъ Пушкина; какъ встрѣтилъ ее самъ поэтъ; не осталось ли его собственнаго отзыва въ его произведеніяхъ или перепискѣ, и т. п. Окруженные подобнымъ комментариемъ, статьи старыхъ журналовъ дѣйствительно явились бы передъ нынѣшнимъ читателемъ живой и болѣе или менѣе интересной страничкой изъ литературной исторіи Пушкина; безъ этого онѣ становятся сырымъ, кое-какъ набраннымъ матеріаломъ—скучнымъ для обыкновеннаго читателя и недостаточнымъ для спеціалиста; послѣднему все-таки придется обращаться къ старымъ журналамъ, чтобы увидѣть настоящую форму статьи, сличить подписи, объяснить псевдонимы, и т. д. Г. Зелинскій печатаетъ свои выписки по собственной, очень странной, системѣ: одна статья подъ рядъ за другой; заглавіе и указаніе журнала онъ прячетъ въ сноску, когда имъ слѣдуетъ стоять впереди, и въ самой сноскѣ даетъ эти указанія очень смутно, не то приводя подлинное названіе статьи, не то передавая эти свѣденія „своими словами“.

Выписки онъ располагаетъ въ хронологическомъ порядкѣ, и гдѣ являются статьи, трактующія о разныхъ произведеніяхъ Пушкина, онъ даетъ (во второмъ выпускѣ) маленький указатель страницъ, гдѣ говорится о той или другой пьесѣ, но не даетъ указателя ни журналовъ, ни именъ авторовъ. Еслибы читатель захотѣлъ, напримѣръ, прослѣдить отзывы „Сына Отечества“, „Благонамѣреннаго“, „Вѣстника Европы“ и т. д., ему пришлось бы каждый разъ сначала перерывать оба выпуска и самому составлять себѣ указатель, о которомъ не подумалъ г. Зелинскій; точно также ему самому пришлось бы распутывать ходъ происходившей тогда полемики, присккивать относящіяся въ ней факты, которыхъ множество представляютъ произведенія самого Пушкина, его переписка и позднѣйшія изслѣдованія біографовъ и историковъ литературы. Единственное, чѣмъ можетъ быть полезна книжка г. Зелинскаго, это выписки изъ старыхъ книгъ, имѣющихся только въ большихъ библіотекахъ, которыя не всѣмъ могутъ быть доступны; но, въ смыслѣ историко-литературномъ, книжка не имѣетъ никакого значенія ¹⁾.

А. Пыпинъ.



¹⁾ Какъ мы видѣли, г. Зелинскій не говоритъ собственно ничего о планѣ своего изданія. Второй выпускъ кончается 1829-мъ годомъ, и такъ какъ г. З. намѣревается сдѣлать свою книгу самой „полной“, то, надо думать, что онъ будетъ собирать все, что писалось о Пушкинѣ; до сихъ поръ это было не трудно,—но мы недоумѣваемъ, что сдѣлаетъ г. З., когда дойдетъ до 40-хъ, 50-хъ годовъ и далѣе. „Полная“ книга не можетъ обойтись безъ самаго существеннаго, что писалось о Пушкинѣ,—неужели г. З. перепечатаетъ все написанное о немъ Вѣлинскимъ (это составитъ хорошихъ два тома), Анненковымъ (тоже тома два) и т. д. и т. д. до нашихъ временъ? Но съ 40-хъ годовъ и до нашихъ дней г. З. придется вѣдаться съ правомъ литературной собственности, которое, вѣроятно, многими писателями или ихъ наследниками будетъ заявлено. Какъ думаетъ поступить здѣсь г. З.—изъ его предисловія не видно.

СТАРЫЙ ДРУГЪ

РОМАНЪ.

XXIII *).

Поѣздъ ушелъ, и платформа опустѣла. На ней оставался еще нѣкоторое время только Никодимъ Павловичъ.

Странное чувство испытывалъ онъ, всматриваясь въ черную мглу сентябрьскаго вечера (поѣздъ гремѣлъ вдали, красный фонарь его быстро потухалъ, превращаясь постепенно въ точку): точно кто взялъ Никодима Павловича за плечи, надавилъ колѣномъ въ грудь и любитъ его безсиліемъ. (Наконецъ, поѣздъ совсѣмъ исчезъ.)

Никодимъ Павловичъ нахлобучилъ шляпу и вошелъ въ залъ. Лакеи тушили огни. Онъ подошелъ къ буфету и выпилъ водки („для храбрости“, машинально сказалъ онъ себѣ).

„Зачѣмъ она бросила мои азалии?—думалъ онъ.—Конечно, это могло случиться нечаянно, но почему же именно случилось?“

Онъ вернулся домой. Пока онъ звонилъ, онъ, съ тѣмъ преувеличеннымъ сожалѣніемъ къ себѣ, какое по временамъ пробуждается у пожилыхъ холостяковъ, думалъ о своей квартирѣ, о своемъ одиночествѣ, о томъ, что онъ никому не нуженъ и всѣми забытъ.

Захаровна, со свѣчей въ рукѣ, отворила дверь и пугливыми старыми глазами глянула на барина,—онъ ли это?

— Съ вѣнчанья, Никодимъ Павловичъ?

— Молчи, Захаровна! Дай мнѣ пить, матушка!

*) См. выше: сент., 312 стр.

— Чего же вамъ?

— Всего давай. Самоваръ давай. Рому, пуншу, водки давай...

Опять съ испугомъ посмотрѣла старуха на Прягина и отправилась хлопотать на кухню. Когда она вернулась съ подносомъ, Никодимъ Павловичъ сказалъ:

— Я дуракъ, Захаровна!

— Да что вы, какъ это можно!

— Дуракъ! — крикнулъ Прягинъ.

Прислуживая съ потупленными глазами и заваривая чай, старуха произнесла:

— Не осердились бы вы, батюшка, Никодимъ Павловичъ!

— А что?

— Витязъ пропалъ... Съ утра пропалъ. Нигдѣ найти не могли. Кто-то сманилъ, должно быть.

— Даже Витязъ! — съ упрекомъ промолвилъ Никодимъ Павловичъ, глотая крѣпкій пуншъ.

Захаровна остановилась. Ей стало жаль барина, и она сказала:

— Ахъ, Никодимъ Павловичъ! Ну, что въ ей? Ни божи, ни рожи! Да вы себя такую найдете, что можно сказать смѣло...

— Молчи, Захаровна. Самъ знаю, что дуракъ. Молчи. Прочь!

Оставшись одинъ, онъ долго и много пилъ. Но чѣмъ больше онъ пилъ, тѣмъ тяжеле было на душѣ, тѣмъ яснѣе представлялось ему его безсиліе. Онъ тусклымъ взглядомъ смотрѣлъ вокругъ себя. Еще никогда не было такъ мрачно въ его домѣ.

„Нѣтъ, мнѣ это все ненавистно!“ прошепталъ онъ, всталъ, вынулъ изъ письменнаго стола пачку ассигнацій и остановился въ нерѣшительности. „Куда? Туда, гдѣ веселѣе! А гдѣ веселѣе?“

Прягинъ надѣлъ пальто и вышелъ на улицу. Во мракѣ выдѣлялись черныя громады домовъ и церквей, и отъ рѣки вѣяло сыростью.

„Вотъ они-то, гдѣ они теперь? А ужъ далеко! Счастливые, блаженные! Что-жъ, слава Богу!..“

Онъ услышалъ, что къ нему подъѣзжаетъ извозчикъ.

— Въ „Бѣлый ресторанъ“!

Взобравшись на дрожки, Прягинъ успокоился: въ перспективѣ рисовалась ему облегчающая душу выпивка. Съ нѣкоторыхъ поръ онъ сталъ часто прибѣгать къ этому средству.

„Бѣлый ресторанъ“ былъ открытъ до четырехъ часовъ ночи. Онъ бросалъ изъ своихъ зеркальныхъ оконъ широкія полосы свѣта на черную улицу. Войдя въ него, Никодимъ Павловичъ потеръ руки и выпилъ, одну за другой, нѣсколько маленькихъ

рюмокъ очищенной. Онъ не захотѣлъ закусывать и, отдуваясь, спросилъ:

— Гдѣ Людмила? Отоприте зеленый кабинетъ, и пусть Людмила принесетъ мнѣ туда карту...

Ему торопливо отперли кабинетъ, украшенный бархатной мебелью и массивными бронзовыми канделябрами. Воздухъ застоялся—Никодимъ Павловичъ сдѣлалъ гримасу.

Вошла Людмила въ красномъ платьѣ и бѣломъ передникѣ съ плойкой. Она заспанными глазами посмотрѣла на гостя и спросила:

— Что вамъ угодно?

— Хотите шампанскаго?

— Я еще не ужинала, я ѣсть хочу,—отвѣчала она.

— Такъ закажите себѣ ужинъ и велите дать абсенту.

— А шампанское я прикажу заморозить,—промолвила она и лѣниво вышла изъ кабинета.

„Вотъ сейчасъ станетъ веселѣе“,—подумалъ Прягинъ, бросаясь на диванъ.

Людмила скоро вернулась и сѣла на стулъ противъ гостя. Было тихо. Лакей принесъ бутылки, рюмки и бокалы. Никодимъ Павловичъ смотрѣлъ на красивую плотную фигуру Людмилы со свѣжимъ, бѣлымъ какъ алебастръ, лицомъ, на ея платьѣ, ярко освѣщенное боковымъ свѣтомъ, падавшимъ отъ канделябръ, на ея праздныя руки въ кольцахъ, и пилъ абсентъ.

— Гдѣ вы веселитесь?—спросилъ онъ.

Она улыбнулась тою улыбкой, которую считала наиболѣе любезной.

— Вотъ въ театрѣ была. Мнѣ театръ нравится: по крайности, тамъ я у всѣхъ на виду. Какъ сяду, то всѣ бинокли на меня. А тутъ скучно. Ни слуга, ни барыня. Я очень бы хотѣла въ хористки. Говорятъ, пѣть не надо. Если хорошенькая, то выйди и показывайся.

— Вы грамотны? Читали „Нана“? Чокнемся! Скажите еще что-нибудь!

Она закрыла глаза рукой и засмѣялась.

— Что смѣтеть?

— Надъ диваномъ козья голова съ рогами. Какой гость сидеть, сейчасъ надъ нимъ рога. Такъ мнѣ смѣшно!

Никодимъ Павловичъ обернулся, посмотрѣлъ на стѣнку и ничего не сказалъ. Въ рукѣ у него была пустая рюмка. Онъ протянулъ рюмку. Людмила наполнила ее абсентомъ.

Подали ужинъ и шампанское. Людмила ткнула вилкой въ рибчика, налила бокалъ и не захотѣла ни ѣсть, ни пить.

— Ужъ не хочется,—сказала она съ лѣнивой усмѣшкой.

Никодимъ Павловичъ молчалъ. Онъ охмѣлѣлъ. Но вмѣсто облегченія, котораго онъ искалъ, новый приливъ тоски овладѣлъ имъ. Онъ бросилъ деньги Людмилѣ и, не глядя на нее, ушелъ.

„Скучно, очень скучно въ „Бѣломъ ресторанѣ“!—подумалъ онъ, широко шагая по гранитной панели главной улицы города.— „Но куда же мнѣ дѣться? Я не могу спать... Какъ мнѣ забыться? Вотъ шумить въ головѣ — это пріятно. Но мнѣ надо, чтобы мыслей не было, чтобы исчезла душевная боль. Простой сиволдай, кажется, будетъ дѣйствительнѣе“.—Извозчикъ! вези меня!

— Куда прикажете?

— Не разсуждай.

Онъ сѣлъ. Извозчикъ помчалъ его по темнымъ улицамъ. Фонари мигали, казалось, насмѣшливо. Никодимъ Павловичъ былъ увѣренъ, что и извозчикъ смѣется надъ нимъ. Этотъ подлый, жестокій смѣхъ изподтишка мучительно терзалъ его. Онъ вспомнилъ, что Людмила тоже смѣялась. Но, Боже, какъ смѣется теперь Ѳедоръ Игнатьичъ!

Онъ закрылъ лицо руками. Никодимъ Павловичъ находился въ полу-бессознательномъ состояніи и одно время не могъ рѣшить, ѣдетъ онъ, или взбирается по какой-то узкой, плохо освѣщенной лѣстницѣ...

XXIV.

Медленно падалъ снѣгъ. Рыхлые хлопья беспорядочно кружились въ воздухѣ и исчезали въ лужахъ. Небольшая площадь, съ одной стороны ограниченная полукружною оградой старинной церкви, а съ другой низенькими домишками и лавками съ овсомъ, дегтемъ, полшубками, скобянымъ товаромъ и красными поясами, хранила печальный видъ. У церковнаго подъѣзда стояли черныя дроги съ балдахиномъ въ серебряной мишурѣ. Лошади, покрытыя черными попонами, понурили головы. Краснолицыя лѣнтяи въ траурной отрепанной ливреѣ и трехуголкахъ сидѣли на ступенькахъ и зѣвали. Жалобный звонъ колоколовъ одинъ нарушалъ тоскливое молчаніе, въ которое погружена была сонная площадь заброшенной части города. Но этотъ звонъ только прибавлялъ тоски. Казалось, что здѣсь царство какого-то безграничнаго унынія и мертвящаго отчаянія. Никодимъ Павловичъ смотрѣлъ изъ окна питейнаго дома на площадь неподвижнымъ слезящимся взглядомъ. Лицо у него распухло, костюмъ весь былъ въ грязи.

Изъ дверей храма показались люди, послышалось апатичное пѣніе дьячка и попа въ порывѣлыхъ ризахъ. Носильщики несли гробъ. Въ небольшой кучкѣ родныхъ и знакомыхъ покойника плакала безсильными слезами какая-то старушка. Прочія лица молча подвигались за гробомъ.

Тронулись дроги; лошади, мотая головами, потащили гробъ. Балдахинъ наклонялся то въ одну сторону, то въ другую; процессія траурныхъ трехуголовъ шла кругомъ съ факелами; ихъ пламя краснѣлось сквозь закопченное стекло фонарей. Скоро опустѣла площадь. Только все падалъ вялый снѣгъ, да замиралъ вдали безсильный плачъ старушки.

Прягинъ схватилъ себя за голову и зарыдалъ. Мѣсяцъ безпутной жизни, безобразныхъ оргій, бессмысленнаго скотства! Дальше некуда идти.

Онъ рыдалъ, утомленный своимъ ужаснымъ забвеніемъ, которое представлялось ему теперь непроглядной ночью, полной отвратительныхъ видѣній, мерзкихъ страданій, гнусныхъ образовъ... Не забвенія надо!

Мальчикъ, сынъ кабатчика, подошелъ къ Прягину и смотрѣлъ на него своими большими глазами. Прягинъ обернулся, увидѣлъ мальчугана и торопливо вышелъ изъ кабака.

XXV.

Черезъ нѣсколько дней Никодимъ Павловичъ позвонилъ у подъѣзда одноэтажнаго каменнаго дома, стоявшаго на одной изъ второстепенныхъ улицъ города. Окна, несмотря на морозъ, были прозрачны, и сквозь стекла виднѣлись занавѣски съ цвѣтами и купидонами. Было что-то необыкновенно милое въ этомъ хорошенькомъ, уютномъ, безукоризненно бѣломъ домѣ, съ лѣпными украшеніями въ современномъ вкусѣ. По крайней мѣрѣ, Прягину казалось, что въ цѣломъ городѣ нѣтъ такого другого домика. На дубовой двери была прибита, вмѣсто дощечки, карточка Гранковскаго безъ обозначенія, что онъ докторъ.

Вара, въ бѣломъ передникѣ, отворила дверь и, увидѣвъ господина въ шикарномъ цилиндрѣ и медвѣжьей шубкѣ, вѣжливо улынулась.

— Барина нѣтъ дома, — сообщила она.

— А барыня дома? — спросилъ Никодимъ Павловичъ, со страхомъ ожидая, что и барыни нѣтъ дома.

— Раиса Николаевна у себя. Пожалуйста-съ.

Она побѣжала впередъ по корридору, поворачивая лицо къ Прягину. Въ передней она спросила, все съ той же вѣжливой улыбкой:

— Какъ о васъ доложить?

— Никакъ. Просто скажите, душечка: пришелъ и желаетъ видѣть. Потому что если барыня некогда, то ей легче будетъ отказать...

Раздѣвшись, онъ вошелъ въ залу. Онъ нарочно придумалъ не докладывать о себѣ, чтобы имѣть время оправиться. Сердце его крѣпко билось. Онъ смотрѣлъ на цвѣты, должно быть, только-что купленные въ оранжереѣ, на новенькую сіяющую мебель, на книгу, брошенную корешкомъ вверхъ, и думалъ, что какъ это все вдругъ приняло печать домовитости и какъ на всемъ чувствуется прикосновеніе чьей-то заботливой руки.

Вошла Варя и сказала:

— Барыня проситъ фамилію.

Онъ назвалъ себя и думалъ, что Райса Николаевна теперь сейчасъ же выйдетъ къ нему. Однако молодая женщина заставила еще подождать себя. Когда же она явилась, то Прягину показалось, что она переодѣвалась: на ней было сѣренькое шелковое платье съ кружевами, волоса ея были зачесаны вверхъ по послѣдней модѣ, и на рукѣ ея онъ увидѣлъ свой подарокъ — браслетъ съ рѣзнымъ рубиномъ.

— Ахъ, Никодимъ Павловичъ! — нѣжно сказала молодая женщина, подавая ему руку. — А мы ужъ двѣ недѣли, какъ въ городѣ. Спрашиваемъ у тата, что съ вами — не знаетъ. Федоръ Игнатьичъ два раза былъ у васъ — не засталъ. Вы куда-нибудь уѣзжали?

Прягинъ потупился и молвилъ:

— Былъ занятъ... Но какъ вы измѣнились! Очень радъ, что вижу васъ въ добромъ здоровьѣ. Сколько счастья въ вашихъ глазахъ!

— Я счастлива, — сказала она.

Они молча глядѣли другъ на друга: Никодимъ Павловичъ — съ восторгомъ и завистью; она — съ тѣмъ самодовольнымъ и яснымъ выраженіемъ, которое бываетъ у очень молодыхъ людей, узнавшихъ уже прелесть жизни, но не успѣвшихъ еще ни въ чемъ разочароваться.

— Что жъ вы не сядете? Пойдемте сюда въ гостиную. Видите, какъ мы устроились! Я сама все покупала... Всѣ удивляются, что дешево...

Она ввела гостя въ другую комнату поменьше, гдѣ стояла

мягкая бархатная мебель, обои были темненькіе въ золотыхъ цвѣтахъ, а на кругломъ преддиванномъ столѣ блестяла, вся въ завиткахъ, въ видѣ урны, лампа подъ пышнымъ бумажнымъ абажуромъ. Никодимъ Павловичъ сѣлъ и молчалъ. Раиса Николаевна продолжала:

—хлопотъ, знаете, было много, но вѣдь это разъ навсегда. Правда, хорошіе цвѣты? Хотите, Никодимъ Павловичъ, я покажу вамъ кабинетъ Ѳеи?

Она вскочила. Никодимъ Павловичъ пошелъ за нею. Кабинетъ былъ за передней. Это была длинная зеленая комната съ письменнымъ столомъ, съ большимъ фотографическимъ портретомъ Раисы въ дубовой рамѣ, съ маленькимъ книжнымъ шкафомъ, съ улыбающимся въ темномъ углу скелетомъ на ясеновой желтой подставкѣ.

—Въ этомъ креслѣ очень удобно сидѣть!—сказала молодая женщина и сѣла въ кресло, но сейчасъ же встала, какъ бы приглашая и гостя тоже посидѣть въ удобномъ креслѣ и сказать о немъ свое мнѣніе.

—Да, кресло хорошее,—произнесъ Прягинъ, съ вѣжливымъ сочувствіемъ глядя на кресло.—Такъ вы, однимъ словомъ, счастливы, Раиса Николаевна?—спросилъ онъ, помолчавъ.

—Счастлива,—повторила Раиса и опять улыбнулась своей милой самодовольной улыбкой.—Пойдемте отсюда! Вы, конечно, у насъ обѣдаете? У насъ, у насъ! Мы вѣдь рано обѣдаемъ: въ два часа! Это я завела. Ѳедоръ Игнатьичъ сейчасъ вернется изъ больницы. Онъ будетъ вамъ радъ, право!

Они около получаса просидѣли въ гостиной. Хотя Раиса сердечно принимала гостя, но онъ чувствовалъ, что это совсѣмъ не то, что было еще такъ недавно: что-то оборвалось, воздвигнулась какая-то преграда. Страхивая пепель, Прягинъ хватался за пепельницу; Раиса по этому движенію замѣтила, что ему какъ-будто неловко чего-то. Тогда она сдѣлалась еще любезнѣе съ нимъ.

—Ахъ,—говорила она:—а я думала, вы на насъ сердитесь за что! Знаете, Никодимъ Павловичъ, вы очень за это время поправились...

—Поправился?

—Да, очень. Просто похорошѣли,—сказала она и засмѣялась.—Ну, а еслибъ вы знали, какъ Ѳедоръ Игнатьичъ измѣнился! Такой сдѣлался серьезный. Совсѣмъ старикъ. Представьте, ходитъ въ черномъ бархатномъ жилетѣ.

Она расхохоталась. Никодимъ Павловичъ посмотрѣлъ на нее и подумалъ: „хочетъ отъ счастья“. Она продолжала:

— Ѳедоръ Игнатьичъ теперь погруженъ въ науку. Онъ изобрѣлъ новую операцію и хочетъ быть докторомъ хирургіи и профессоромъ. Никодимъ Павловичъ, послушайте! Вѣдь вы ничего не говорили маманъ?

— О чемъ?

— Все о томъ же!—отвѣчала она съ улыбкой.—Маманъ общала пять тысячъ—помните, я просила васъ?..

— Я говорилъ, какъ же!—сказалъ Прягинъ, сильно краснѣя.—Я даже видѣлъ у Варвары Тихоновны цѣнныхъ бумагъ на пять тысячъ. Неужели не получили? Меня это очень тревожить, т.-е. я... да хотите, я сейчасъ поѣду къ Варварѣ Тихоновнѣ?

Ранса посмотрѣла на Прягина.

— Послѣ обѣда, Никодимъ Павловичъ. Маманъ, конечно, ждетъ, что я сама напомню ей. Мы съ вами поѣдемъ къ ней вмѣстѣ. Хорошо?

— Очень хорошо,—произнесъ Прягинъ, вытирая платкомъ свой большой красный лобъ.—Все это надо выяснитъ.

— Мнѣ потому нужны деньги, Никодимъ Павловичъ,—дружескимъ тономъ заговорила молодая женщина, слегка понизивъ голосъ:—что вѣдь у насъ дѣла не въ блестящемъ положеніи. У Ѳеди есть долги, надо платить проценты, и, согласитесь, Никодимъ Павловичъ, мои пять тысячъ были бы встать. Вотъ два часа. Сейчасъ онъ придетъ.

Она вскочила, подбѣжала къ окну, посмотрѣла на улицу, по которой никто не ѣхалъ и не шелъ, и, извинившись, ушла въ столовую. Варя накрывала столъ.

Ранса Николаевна велѣла вынуть свѣжее, лучшее столовое бѣлье и принести изъ погреба винъ и солений. Хозяйничать и кормить гостей доставляло ей еще такое же удовольствіе, какое на первыхъ порахъ доставляетъ молоденькой дѣвушкѣ ношеніе длиннаго платья.

— Не забудьте, Варя, поставить зеленныя рюмки... Сложите салфетки лучше, да сбѣгайте на кухню и скажите Кузьмичу, чтобъ онъ влилъ въ супъ полъ-стакана мадеры.

Распорядившись въ столовой, Ранса Николаевна вернулась къ гостю. Онъ стоялъ, заложивъ руки назадъ, и смотрѣлъ въ окно.

— Что, нѣтъ Ѳедора Игнатьича?—спросила Ранса и сама безпокойно глянула въ окно.

Улица по прежнему была пустынна.

— Посидимъ немножко — онъ сейчасъ. Вы не знаете, до чего онъ аккуратенъ. Онъ совсѣмъ перемѣнился. Такой пунктуальный. Уже я его нѣмцемъ даже прозвала!

Чтобы гость не скучалъ, она стала рассказывать, какъ хорошо было осенью въ Будѣ. Погода стояла отличная, домъ большой, старинный, полный фамилльныхъ воспоминаній. И она передавала Никодиму Павловичу разныя подробности изъ жизни предковъ и родныхъ Ѳедора Игнатьича. Но, рассказывая, она все прислушивалась, не звонить ли Ѳедоръ Игнатьичъ, не ѣдетъ ли по улицѣ. Часы пробили полчаса и, наконецъ, три.

— Что это значитъ?—произнесла она съ тревогой.—Что задержало его? Вы, можетъ, хотите ѣсть?

— Нѣтъ, не хочу. Я поздно обѣдаю.

— Въ самомъ дѣлѣ? Въ такомъ случаѣ подождемъ еще немного. Быть можетъ, его пригласили изъ больницы на консилиумъ. Доктора относятся къ нему съ уваженіемъ. У него практики нѣтъ, и онъ не хочетъ практики, но его очень уважаютъ. Онъ такой свѣдущій...

Она вспомнила, какъ Ѳедоръ Игнатьичъ, рассчитывая однажды опоздать, потому что у него было много дѣла, прислать извозчика съ запиской, въ которой предупреждалъ, что не будетъ въ два часа дома, и все-таки не опоздалъ. Почему онъ теперь не могъ предупредить ее? Кромѣ того, ей становилось досадно, что свидѣтелемъ перваго неудовольствія ея на мужа былъ посторонній человѣкъ. Но не случилось ли съ Ѳедей несчастья?

Она поблѣднѣла и опять подбѣжала къ окну. Она не скрывала своего безпокойства, и Никодимъ Павловичъ сталъ утѣшать ее. Но она покачала головой.

-- Мы его накажемъ,—сказала она, сѣясь улыбнуться.—Мы пообѣдаемъ безъ него. Пойдемте! Богъ съ нимъ! Уже скоро четыре часа.

Они пообѣдали при свѣчахъ, и это былъ самый скверный обѣдъ: Раиса Николаевна то-и-дѣло оборачивалась на дверь и не могла проглотить ни кусочка. Никодимъ Павловичъ, несмотря на принужденно-любезныя приглашенія хозяйки, чувствовалъ себя какъ бы виноватымъ, и тоже едва прикасался къ блюдамъ. Онъ понималъ, что ему не слѣдовало быть свидѣтелемъ безпокойства Раисы Николаевны.

Обжигаясь горячимъ кофе, Никодимъ Павловичъ напрягалъ,

послѣ обѣда, все свое остроуміе, чтобы какъ-нибудь разсѣять тоску молодой женщины.

— Право,—говорилъ онъ съ добродушной улыбкой:—безъ этого нельзя; мужъ долженъ иногда опаздывать. Поведеніе мужа въ первыя недѣли вовсе необязательно разсматривать какъ образецъ его же поведенія въ остальное время супружеской жизни. Нѣтъ, я безъ шутокъ: быть вѣчно пунктуальнымъ нельзя. Ужъ на что я—бухгалтеръ, двадцать лѣтъ сижу въ проволочной кѣлѣткѣ, а и то, случается, согрѣшишь.

— То вы, а то Одея!—сухо сказала Раиса Николаевна.

Прягинъ замолчалъ. Молодая женщина вздыхала. Она подошла къ роялю, открыла и закрыла его, машинально посмотрѣла въ темноту окна. Когда она обернулась, Прягину показалось, что на глазахъ у нея слезы.

— Полноте!—произнесъ онъ.—Повѣрьте мнѣ, какъ старому другу, что съ Оедоромъ Игнатьичемъ ничего дурного не случилось.

— Да? Такъ вотъ что, Никодимъ Павловичъ, поѣдемъ сейчасъ къ папан! Пусть Одея прійдетъ, а меня нѣтъ дома...

— Не поздно ли сегодня?...

— Нѣтъ, нѣтъ! Я такъ хочу. Варя, подите сюда. Шубку и шляпку! Стойте. Какъ прійдетъ Оедоръ Игнатьичъ, скажите ему, что я уѣхала вотъ съ ними, а куда — не знаете, и когда вернусь, тоже не знаете. Да! не забудьте сейчасъ же подать обѣдъ. Чтобъ Кузьмичъ сдѣлалъ свѣжую котлетку. А барину еще скажите, что я поѣхала въ холодной шубкѣ и что въ лѣтней шляпкѣ и, можетъ быть, простужусь. Такъ и скажите. Ну-те, Никодимъ Павловичъ, поѣдемъ.

XXVI.

Гранковскій ѣхалъ на извозчикѣ и уже издали смотрѣлъ на окна своего дома: можетъ быть, тамъ рисуется милый силуэтъ на бѣлой освѣщенной занавѣсѣ... Что дѣлать, опоздалъ, и безъ всякаго серьезнаго повода! Былъ у Воропилиныхъ, встрѣтилъ у нихъ стараго, еще гимназическаго товарища, Васю Рѣзникова, остался по этому поводу обѣдать у Воропилиныхъ, заговорился, заболтался, а тутъ, откуда ни возмись, восноязычная дочь генерала Платонова; пришлось провожать ее домой. Предлагалъ исполнить эту святую обязанность Васѣ Рѣзникову, но онъ—ни за что, да и барышня объявила по секрету Аннѣ Николаевнѣ, что боится „чужихъ мужчинъ“. Оедоръ Игнатьичъ захохоталъ, все

глядя на окна. Но что это значитъ — тамъ было совершенно темно! Онъ торопливо остановилъ извозчика, выскочилъ изъ саноу и сильно дернулъ за звонокъ.

— Варя! Здорова барыня?

— Какъ же, онѣ изволили уѣхать.

— Уѣхать? куда?

— Не могу знать.

— Кто-нибудь былъ?

— Были-съ. Г-нъ Прягинъ.

— А!

— Съ ними изволили уѣхать. Говорятъ: „скажите, Варя, барину, что я очень не скоро вернусь, что я, говорятъ, простужусь“...

Федоръ Игнатьичъ искоса посмотрѣлъ на горничную смѣшнымъ взглядомъ.

— Вотъ отдай извозчику деньги, и потомъ, — чтобы никогда не было темноты. Я не люблю, когда въ домѣ темно. А когда барыня возвратится, ты скажи, что баринъ тебѣ не повѣрилъ и зналъ, что барыня скоро вернется и не простудится.

Оставшись одинъ въ кабинетѣ, Федоръ Игнатьичъ долго ходилъ изъ угла въ уголъ и насвистывалъ.

— Велика важность, что я не пріѣхалъ въ обѣду! Изъ-за этого говорить такія вещи горничной! Уѣзжать ночью съ челобкомъ, который — она должна знать — мнѣ, въ сущности, не пріятенъ! Грозить, что простудится! Дитя! Я считалъ ее серьезнѣе! Нехорошо. Но я не подамъ вида. Я не буду огорченъ, нѣтъ, я буду шутить и смѣяться, а для этого мнѣ достаточно только вспомнить моего милаго Васю Рѣзникова!

Вошла Варя и сказала, что поданъ обѣдъ.

— Что ты, я ужъ давно обѣдалъ. Я хочу теперь чаю.

Онъ продолжалъ одинъ ходить по кабинету.

— Женщины — это ужасные деспоты. Не смѣй дыхнуть по своему. Я обожаю Раису, но я никому не позволю командовать...

Посвистывая, онъ сѣлъ въ свое удобное кресло, которое купилъ ему Раиса, и хотѣлъ читать. Но книга оказалась ему скучной. Онъ смотрѣлъ на рисунокъ голеностопнаго сочлененія, и губы его высвистывали арію, а мысли были далеко — въ томъ неопредѣленномъ мѣстѣ, гдѣ была теперь Раиса.

— Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ она? Нѣтъ, она тысячу разъ не права! — воскликнулъ онъ и швырнулъ отъ себя книгу. — Кажется, пустяки, что ея нѣтъ, — разумѣется, она вотъ сейчасъ вернется и

будетъ здорова,—а между тѣмъ, чортъ меня поberi, я ужъ начинаю тосковать!.. Варя, эй, Варя!

Вбѣжала Варя.

— Такъ, что ты говоришь, что тебѣ говорила барыня?

— Барыня надѣялись, что вы будете кушать...

— Да нѣтъ, я не про то! Ты говоришь, барыня была не въ духѣ?

Варя повторила уже сказанное ею о Раисѣ Николаевнѣ.

— Такъ, такъ! Уходи теперь. Не надо мнѣ чаю. Я ничего не хочу.

„Въ самомъ дѣлѣ, она можетъ простудиться,—подумалъ онъ.— Поднялся вѣтеръ. Вотъ взбалмошная! Но я выдержу характеръ. Надо будетъ показать ей, что это на меня не дѣйствуетъ“.

И онъ опять заходилъ по комнатѣ, хмура брови и съ ожесточеніемъ насвистывая все одно и то же колѣно какой-то нелѣпой, имъ самимъ, можетъ быть, вдругъ придуманной аріи.

Такъ продолжалось до десяти часовъ. Тоска его разрослась до неожиданныхъ размѣровъ. Онъ былъ блѣденъ и все ходилъ, все ходилъ.

Наконецъ, раздался звонокъ. Ѳедоръ Игнатьичъ вздрогнулъ отъ радости и съ улыбкою произнесъ:

— А, вотъ, сама мадамъ.

Но онъ не вышелъ въ переднюю. Торопливо взявъ книгу, онъ раскрылъ ее и погрузился въ созерцаніе голеностопнаго сочлененія. Было слышно, какъ Раиса прошуршала своимъ платьемъ, какъ сняла шубку (изъ передней потянуло холодекомъ) и о чемъ-то въ полголоса говорила съ Варей. Потомъ она ушла изъ передней.

Ѳедоръ Игнатьичъ посидѣлъ нѣкоторое время въ позѣ глубокомысленнаго ученаго, который считаетъ голеностопныя жилы и кости гораздо важнѣе жены; но внезапно почувствовалъ ко всей этой анатоміи нестерпимую ненависть и, вскочивъ, отправился—стараясь, впрочемъ, не торопиться—на половину Раисы Николаевны.

— Дружочекъ! можно въ тебѣ? Куда ты ѣздила?

Онъ стоялъ передъ дверью и слегка стучалъ въ нее согнутымъ пальцемъ. Отвѣта не было.

— Раиса! Ты здорова?

Опять молчаніе.

— Я серьезно спрашиваю тебя, Раиса!

Вышла Варя и сказала, что барыня проситъ ее не безпо-

коить. Вслѣдъ затѣмъ раздался кашель Райсы Николаевны. Оедоръ Игнатъичъ нахмурился и сталъ ходить по залѣ.

— Райса, qu'as tu, mon ange? Неужели ты больна? Неужели простудилась на самомъ дѣлѣ? Отопри же, Райса! Я умоляю тебя! Райса, если ты не отопрешь... je ferai des bêtises... et tu ne me reverras qu'à demain... Это невыносимо, Райса! Слышишь, что я говорю?

За дверью послышался стукъ легкихъ туфельекъ. Райса подошла и спросила:

— Кто тамъ?

— Я, Райса.

— Кто? Затѣмъ?

— Здорова ты?

— Я здорова... Только ужасный кашель... Кхи—кхи—кхи...

Молодая женщина закашлялась. Вдругъ дверь отворилась, и Райса со смѣхомъ бросилась мужу на шею, цѣлуя его.

— О, Оедя, гадкій, гадкій!

Они помирились.

XXVII.

Послѣ обѣда слѣдующаго дня между Варварой Тихоновной и Никодимомъ Павловичемъ происходилъ слѣдующій разговоръ.

— Мой уважаемый другъ, вы поставили меня вчера въ неловкое положеніе передъ Райсой,—говорила полная дама, нюхая изъ плоскаго флакончика уксусную соль.—Здоровье мое не позволяетъ мнѣ волноваться. Нѣтъ, нѣтъ, жаль этихъ денегъ!

— Варвара Тихоновна, какъ же вамъ жаль этихъ денегъ, когда вы не можете назвать ихъ своими? — съ легкимъ раздраженіемъ сказалъ Прягинъ.

— Я не говорю, что своихъ денегъ, а этихъ денегъ... Не понимаю вашей доброты!

— Варвара Тихоновна, вѣдь мы съ вами считались бы!

— Знаю, голубчикъ, Никодимъ Павловичъ, а все-таки... Да и Райса не станетъ притязать на эти деньги, когда ей будетъ извѣстно, какія это деньги.—Варвара Тихоновна съ достоинствомъ посмотрѣла на Прягина и опять понюхала уксусной соли. Никодимъ Павловичъ покраснѣлъ.

— Меня-съ это удивляетъ,—произнесъ онъ, вспыхнувъ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, затѣмъ имъ деньги!—заговорила Варвара Тихоновна, волнуясь.—Они богаче меня. Что имъ пять тысячъ! Это алчность! О, эта Райса!

— Для меня крайне странно, что может быть вопросъ объ этихъ несчастныхъ пяти тысячахъ, — сказалъ Никодимъ Павловичъ, и сигара дрожала въ его пальцахъ. — Впрочемъ, если вы измѣнили ваше намѣреніе дать Райсѣ Николаевнѣ пять тысячъ, въ такомъ случаѣ, Варвара Тихоновна, слѣдовало бы...

— Возвратить ихъ вамъ? — подхватила полная дама съ оживленіемъ и съ блескомъ въ глазахъ. И, Никодимъ Павловичъ, мнѣ самой нужны! У васъ куры денегъ не вкдюютъ, а мнѣ нужны. Мнѣ вотъ конюшню нужно покрыть, мужики овинъ съ хлѣбомъ сожгли, привазчикъ надулъ... Ужъ развѣ въ томъ году. Мы свои люди... Не обижайте меня! Мнѣ жить, Никодимъ Павловичъ, можетъ, осталось немного. Вотъ голова болить...

Она протянула руку и взяла своими бѣлыми короткими пальцами пахучій мигреневый кристаллъ, поднесла его ко лбу и стала имъ нажимать кожу съ видомъ глубокаго страданія. Прягинъ машинально смотрѣлъ на ея пальцы съ крошечными мягкими ногтями, и въ душѣ его поднялось злобное чувство къ этой женщинѣ. Она была эгоистка и чуть не воровка. Однако онъ сдержалъ себя и, вставъ съ мѣста, взявъ свою шляпу, натянулъ перчатки и промолвилъ, глядя прямо въ глаза Варварѣ Тихоновнѣ своимъ сѣрымъ, тусклымъ взглядомъ:

— Такъ друзья не поступаютъ. Вы поставили меня еще въ болѣе неловкое положеніе. Это эксплуатація, Варвара Тихоновна, это злоупотребленіе, это... Имѣю честь кланяться.

Варвара Тихоновна вскочила и бросилась за Прягинымъ.

— Никодимъ Павловичъ, а Никодимъ Павловичъ! Да что же это вы! Ужъ никакъ разсердились? Послушайте!

Онъ остановился въ передней и повернулъ къ Варварѣ Тихоновнѣ лицо.

— Какіе могутъ быть еще между нами разговоры? — спросилъ онъ.

— Нѣтъ, вернитесь, Никодимъ Павловичъ, и выслушайте, что я скажу вамъ, — увѣренно произнесла она, становясь между нимъ и платяною вѣшалкой. — Я не могу не объяснить вамъ. Я мать, хоть и не родная, но мать. Мнѣ больно. Позвольте, Никодимъ Павловичъ, я сдѣлала Райсѣ шесть платьевъ, не считая ситцевыхъ блузъ, три дюжины разнаго бѣлья, постель... Нѣтъ, вы выслушайте меня, Никодимъ Павловичъ! Шубку на чернобурыхъ лисицахъ съ собольимъ воротникомъ; простую шубку. Я не говорю уже, что два пальто, а также разныя тамъ мелочи — ботинки, перчатки... Позвольте, позвольте, Никодимъ Павловичъ! Я хотѣла бы знать, гдѣ теперь даютъ столько серебра даже за род-

ными дочерьми? Раиса получила отъ меня полтора пуда! Правда, это еще ея материнское, но я могла бы ничего не дать. Я безотчетная опекуниша. Да ужъ если на то пошло, я вамъ скажу вотъ что: я на приданое для Раисы истратила больше пяти тысячъ. Никодимъ Павловичъ, я кругомъ въ долгу. Меня продадутъ съ аукціона, если я возвращу вамъ деньги... Наконецъ, будьте же другомъ!

Она протянула Никодиму Павловичу обѣ руки и старалась улыбнуться. Онъ пристально глянулъ на Варвару Тихоновну, и ему показалось, что она говоритъ правду.

— Отчего раньше не сказали всего? — угрюмо произнесъ онъ.

Потомъ, вдругъ, онъ сказалъ:

— Ну, да ничего. А то, знаете, мнѣ стало жутко. А только вы напрасно думаете, что Гранковскимъ не нужно денегъ. Они люди молодые — имъ надо. Они теперь учатся, какъ жить, и за каждый урокъ должны дорого платить. Что же до Раисы Николаевны, то какъ же вамъ, Варвара Тихоновна, не стыдно: она, естественно, заботится о домашнемъ очагѣ. Какая тутъ алчность!

— Никодимъ Павловичъ, зачѣмъ же съ меня тянутъ послѣднее? Я умру — ея будетъ, съ собой въ могилу ничего не возьму!

Варвара Тихоновна при этомъ горестномъ соображеніи растаяла губы и поспѣшила приложить платокъ къ глазамъ. Никодимъ Павловичъ стоялъ и смотрѣлъ, какъ трясутся отъ тихихъ рыданій ея полныя плечи.

— Я одинока, — произнесла сквозь слезы Варвара Тихоновна.

Никодимъ Павловичъ вспомнилъ о своемъ одиночествѣ. Но ему казалось, что его одиночество совсѣмъ другое — особенное, настоящее одиночество, котораго Варвара Тихоновна и понять не можетъ. Несмотря на слезы Варвары Тихоновны, онъ не пожалѣлъ ея и даже сдѣлалъ гримасу.

— Успокойлись бы вы, Варвара Тихоновна, — произнесъ онъ, надѣвая въ рукава медвѣжью шубку.

Когда онъ очутился на свѣжемъ воздухѣ, то вздохнулъ всею грудью. Камышевыя санки, запряженныя красивой, толстой лошадыю, осторожно спускались по крутой дорогѣ; бѣлый снѣжный день уже начиналъ потухать, и по небу тянулись наискось прямые, какъ ленты, розовыя тучки. Деревья стояли, покрытыя серебристымъ инеемъ. Никодимъ Павловичъ ѣхалъ и думалъ о томъ, какъ онъ въ прошломъ году часто бывалъ въ усадьбѣ Цариныхъ; какъ тогда ему было пріятно здѣсь бывать, и какъ все съ тѣхъ поръ измѣнилось... Отчего такъ особенно сдѣлалась противна Варвара Тихоновна?

XXVIII.

Гранковскіе собирались въ театрѣ. Раиса Николаевна стояла передъ трюмо и старалась увидѣть, хорошо ли сидитъ на ней сзади черное шелковое платье. Она уже была въ перчаткахъ. Въ комнатѣ пахло духами. Варя глядѣла на барыню, мысленно примѣряла ея платье на себя и была въ восторгѣ. Ѳедоръ Игнатьичъ, въ черномъ сюртукѣ, ходилъ по залѣ въ ожиданіи жены и волновался: ему было пріятно, что Раиса, или Раекъ, какъ онъ сталъ называть ее послѣ вчерашняго примиренія, услышитъ знаменитую французскую пѣвицу, пріѣхавшую въ городъ на гастроль. Сегодня онъ дорого далъ за ѳоужу и купилъ ее изъ третьихъ рукъ. Всѣ мѣста въ театрѣ были разобраны. Раиса же мало еще бывала въ театрѣ, потому что Варвара Тихоновна скупилась и рѣдко вывозила падчерицу куда бы то ни было. Но, несмотря на малое знакомство съ театромъ, Раиса очень любила его, и ей даже казалось, что у нея самой талантъ. Впрочемъ объ этомъ она никому не говорила.

Ѳедоръ Игнатьичъ все ходилъ взадъ и впередъ. Вдругъ Варя выбѣжала и черезъ минуту явилась съ докладомъ:

— Г-нъ Прягинъ.

Гранковскій нахмурился и проворчалъ:

— Нелегкая носить его! Спроси у барыни, желаетъ ли она принять?

Горничная, сѣменя ногами, слетала къ барынѣ и вернулась съ отвѣтомъ:—принять.

— Ну, такъ проси.

Прягинъ вошелъ и молча пожалъ руку Ѳедору Игнатьичу. Ѳедоръ Игнатьичъ пригласилъ его сѣсть.

— Мы собираемся въ театръ,—сказалъ онъ.

— Мнѣ только два слова Раисѣ Николаевнѣ.

— Вотъ она сейчасъ. А вы—не въ театръ?

— А развѣ сегодня что?

— А какъ-же—Ляуръ Менаръ.

— А!.. Нѣтъ, некогда. У меня много работы. Я и по вечерамъ занимаюсь.

Гранковскій сталъ барабанить по столу и увидѣлъ портфель, который держалъ на колѣняхъ Прягинъ.

— Неужели это на службу?—спросилъ онъ.

— Да, я отъ васъ поѣду въ контору, но портфель для Раисы Николаевны... по порученію Варвары Тихоновны. Вчера мы были

съ Раисой Николаевной у Варвары Тихоновны, и вотъ это результатъ нашихъ переговоровъ.

Никодимъ Павловичъ не могъ смотрѣть прямо въ глаза Ѳедору Игнатьичу; Ѳедоръ Игнатьичъ подумалъ: „Ужъ не деньги ли?“

Торопливой походкой, шума шелковымъ платьемъ, вошла Раиса.

— Никодимъ Павловичъ, здравствуйте! Отъ татапа?—спросила она, подходя къ гостю.

Въ ея голосѣ, рядомъ съ любезностью, слышалось что-то холодное: ей хотѣлось поскорѣе узнать, что сдѣлалъ Никодимъ Павловичъ относительно пяти тысячъ, а также ее очень занимало, какое впечатлѣнiе на другихъ произведетъ ея прекрасное платье и не опоздаетъ ли она съ мужемъ въ театръ.

— Отъ Варвары Тихоновны, — сказалъ Прягинъ и сталъ, путаясь, что-то объяснять: какъ Варвара Тихоновна вчера не могла отдать денегъ, потому что положила бумаги на храненiе въ банкъ, но ей почему-то не хотѣлось въ этомъ признаться, и т. д., а теперь оказалось, что бумаги можно взять изъ банка, и, по ея просьбѣ, это было сдѣлано сегодня, и проч.

Раиса перебила его:

— Такъ вы привезли деньги?

— Да, бумагъ на пять тысячъ, по порученiю Варвары Тихоновны.

Онъ подаль портфель молодой женщинѣ.

— Какiя деньги? — спросилъ Гранковскiй, приближаясь къ женѣ и съ вопросительной улыбкой глядя на нее.

— Отъ татапа!—сказала она, довольнымъ, сияющимъ взглядомъ осматривая портфель.—Такъ очень вамъ благодарна, Никодимъ Павловичъ! Безъ вашего внимательства татапа не скоро бы...—На, Ѳедя, возьми деньги, спрячь—это мои. Мое приданое, cher Ѳедя.

Она, смѣясь, обернулась къ Никодиму Павловичу и пожала ему руку, какъ бы въ знакъ того, что сидѣть больше нечего—пора уходить, ему по своимъ дѣламъ, а имъ въ театръ. Онъ сталъ прощаться.

— Пожалуйста, не забывайте насъ! — мило сказала ему Раиса, вспоминая въ то же время, что забыла взять бинокль.—Варя, бинокль! Мы всегда вамъ будемъ рады, Никодимъ Павловичъ! А извозчикъ есть уже? Послушайте, Никодимъ Павловичъ, вамъ не хочется съ нами въ ложу?

— Я говорилъ съ Никодимомъ Павловичемъ о театрѣ, но

онъ такъ занятъ... — началъ Ѳеодоръ Игнатьичъ, въ упоръ глядя на Прягина.

— Некогда, дѣйствительно, благодарю васъ! — произнесъ Прягинъ. — Да и не поклонникъ я французскаго...

— Жаль. До свиданія, Никодимъ Павловичъ!

Молодые супруги отправились въ театръ. Имъ было пріятно, что они будутъ въ ложѣ только вдвоемъ. Всю дорогу они болтали и смѣялись. Легкая задумчивость, которая посѣщала Гранковскаго въ послѣдніе дни по поводу его долговъ и нѣкоторой необеспеченности существованія, теперь вдругъ исчезла, благодаря пяти тысячамъ, присланнымъ Раисѣ Николаевнѣ, какъ молодые супруги думали, Варварой Тихоновной. „Расщедрилась!“ — говорилъ онъ себѣ и, обнимая правой рукой жену поверхъ ея бархатной шубки, крѣпко прижималъ къ себѣ тонкій станъ Раисы.

XXIX.

Вскорѣ послѣ этого — въ концѣ той же недѣли — Ѳеодоръ Игнатьичъ долженъ былъ дежурить въ больницѣ. Онъ такъ прощался съ женой, какъ будто собирался въ дальнюю дорогу и хотѣлъ всласть нацѣловаться. Но какъ онъ ни цѣловалъ Раису, все еще хотѣлось цѣловать ее. Онъ уѣхалъ на дежурство, проклиная службу, и долго смотрѣлъ назадъ, на чистенькія, прозрачныя окна своего дома, кивая головой, въ полной увѣренности, что Раиса смотритъ на него изъ-за цвѣтовъ и занавѣсокъ.

Вечеромъ пришелъ Никодимъ Павловичъ. Раиса пила чай и приняла гостя въ столовой.

— Вотъ я рада, что вы не забываете насъ, — сказала она съ пріятливой улыбкой. — Ѳедя сегодня, бѣдняжка, на дежурствѣ...

— Ахъ, онъ на дежурствѣ? — спросилъ Прягинъ, потирая красное отъ мороза ухо.

— На дежурствѣ. Онъ такой исправный. Садитесь, пожалуйста, и пейте чай. Мнѣ было скучно одной...

Она взяла чайникъ. Никодимъ Павловичъ видѣлъ предъ собою Раису Николаевну, молоденькую изящную даму, въ сѣромъ шерстяномъ платьѣ, отдѣланномъ шелковыми, тоже сѣрыми, лентами. Нарядъ этотъ придавалъ ей солидный видъ. Ея руки поблѣднѣли за это время, стали дамскими ручками. Она разливала чай съ большимъ искусствомъ, какъ казалось Прягину. Куда дѣ-

валась прежняя Пчелка? Вдругъ такъ необыкновенно похорошѣть и развиться! Онъ сказалъ:

— Помните, вы тогда были въ театрѣ? Понравилось?—а самъ въ это время думалъ: „И какая у нея красивая томность въ движеніяхъ... Выросла, полнота въ плечахъ позвилась, подбородочекъ слегка двоится“.

— Да, мы наслаждались этой Менаръ...—отвѣчала Раиса.— Совсѣмъ соловей! Но она не хороша собой. Толста, ротъ огромный; туалетъ—роскошь, что такое! А, Никодимъ Павловичъ, хорошо, что вспомнила! Это были такіе пустяки... Тогда Оеда не опоздалъ, а его задержали Ворошилины, потому что у него есть товарищъ, Рѣзниковъ. Онъ съ нимъ встрѣтился у Ворошилиныхъ. Я понимаю—нельзя. Не правда ли?—Она покраснѣла и, не ожидая, что скажетъ Прягинъ, продолжала: — Не хотите ли рому? Оеда всегда съ ромомъ. Онъ льетъ ложечки двѣ... Масло свѣжее... Это наше, т.-е. арендаторъ привезъ.

— Гдѣ вы бываете? — спросилъ Прягинъ, набирая на ножъ масла. — Познакомились съ кѣмъ?

— Почти ни съ кѣмъ,—отвѣчала Раиса. — Были съ визитомъ у тѣхъ... у...

Она назвала нѣсколько фамилій.

— Все старики!—произнесъ Прягинъ.—Впрочемъ, аристократія. Родственники, да? Кажется, такъ?

— Родственники, какъ же. У Оедора Игнатьича много родныхъ, вѣдь онъ Гранковскій.

Прягинъ посмотрѣлъ на нее своимъ мягкимъ, тусклымъ взглядомъ.—„У нея ужъ есть фамиліная гордость,—подумалъ онъ.— А кто такіе Гранковскіе? Обрусѣвшая шляхта какая-нибудь“.— Ему хотѣлось пройти на этотъ счетъ, но онъ побоялся оскорбить Раису. Онъ только замѣтилъ:

— Это, впрочемъ, все пустое, Раиса Николаевна. Вотъ позвольте мнѣ еще стаканчикъ чаю.

— Нѣтъ, не пустое,—возразила Раиса, ловя его улыбку и сама улыбаясь.— „Какъ ему сказать,—думала она, — что я все Оедино люблю? Люблю, кромѣ самого Оеди, его домъ, его вещи, его родныхъ, люблю то, что онъ Гранковскій, люблю его мнѣнія“... — Она не нашла словъ, чтобъ все это выразить, и, раскраснѣвшаяся, молча подала Никодиму Павловичу новый стаканъ чаю.

— Я ѣхалъ по улицѣ мимо васъ, и вдругъ такъ захотѣлось къ вамъ!—началъ Никодимъ Павловичъ довольно поздно объяснять причину своего визита. — У меня дома непонятная тоска.

Это какое-то облако, мгла. Сядешь — и вдруг поплыветъ на тебя, и давитъ, и давить. А тутъ Захаровна — оиъ засмѣялся — „отчего, батюшка, не женитесь?“ — Надоѣла мнѣ, страхъ! Даже если не говорить, а только смотреть на меня, то и во взглядѣ ея я съ ужасомъ читаю: „такъ, батюшка, нельзя одному, да одному!“

Раиса весело посмотрѣла на Прягина и сказала:

— Захаровна, быть можетъ, права.

Никодимъ Павловичъ грустно улыбнулся и ничего не возразилъ.

— Васъ надобно женить, — продолжала Раиса. — Какъ бы мнѣ хотѣлось, чтобы вы женились, Боже! Вы были моимъ шаферомъ, а я буду вашей свахой, хорошо?

— Должно быть, это очень пріятно жениться, — промолвилъ Прягинъ. — Я думаю, это гораздо пріятнѣе, чѣмъ выиграть двѣсти тысячъ.

— Пріятнѣе, а между тѣмъ легче, — замѣтила Раиса.

— На комъ же жениться?

— На дѣвушкѣ.

— На какой дѣвушкѣ? — уныло спросилъ Прягинъ.

— На хорошенькой, на миленкой, на умненькой, а главное, на той, у которой доброе сердце. Ахъ, Никодимъ Павловичъ! — произнесла Раиса тономъ опытной особы, точно она уже давно, давно живетъ на свѣтѣ: — въ супружествѣ самое главное — доброе сердце. Красота пройдетъ, но доброе сердце...

Никодимъ Павловичъ улыбнулся.

— Еслибъ была на свѣтѣ дѣвушка, похожая на васъ, и еслибъ она хоть чуточку полюбила меня — я бы женился. Но нѣтъ такой другой дѣвушки.

Молодая женщина потупила глаза и сдѣлала серьезное, нѣсколько недовольное лицо, хотя въ душѣ ей было пріятно, что этотъ солидный человѣкъ говорить ей это.

— Такая дѣвушка есть, — сказала она. — Кажется, вы даже знакомы съ нею. Ее только нужно узнать. Это душа, это въ полномъ смыслѣ слова душа... Ее всѣ хвалятъ. Можетъ быть, вы не найдете, что она похожа на меня, но какъ бы я хотѣла походить на нее! Я эгоистка, а она такая самоотверженная. Анна Николаевна Ворошилина рассказывала, что эта дѣвушка, чтобы заохотить больную тетку свою принимать лекарство, сама при ней ложками пила горькую микстуру. Вотъ она какая!

— Я ужъ начинаю за себя бояться, — сказалъ Прягинъ съ усмѣшкой. — А какъ ее зовутъ?

Раиса не успѣла отвѣтить: послышался звонокъ въ передней, и она вскочила. „Вѣрно, прискакалъ изъ больницы взглянуть, что жена дѣлаетъ“, — подумалъ Прягинъ, представляя себѣ Гранковскаго ужаснымъ ревнивцемъ. Онъ усердно сталъ прихлебывать чай. Но въ столовую вошла вмѣстѣ съ хозяйкой высокая дѣвушка съ черными робкими глазами и красивыми чертами худого лица, въ которой Никодимъ Павловичъ узналъ дочь генерала Платонова. Онъ встрѣчался съ нею въ обществѣ, у Ворошилиныхъ и еще гдѣ-то, но не былъ ей представленъ. Онъ всталъ и смотрѣлъ на застѣнчиво улыбающуюся дѣвушку съ пунцовыми, отъ морознаго вѣтра, щеками.

— Развѣ вы не знакомы? — спросила Раиса и познакомила Никодима Павловича съ дочерью генерала Платонова, назвавши ее по имени и отчеству. Никодимъ Павловичъ, однако, не разобралъ ни ея имени, ни отчества.

— Теперь мнѣ не будетъ страшно почевать одной въ домѣ, — громко сказала Раиса, подвигая чай дѣвушкѣ... — Я такъ благодарна вамъ, Жюли, что вы пришли. Кто провожалъ васъ?

Дочь генерала Платонова отвѣтила неопредѣленнымъ, косноязычнымъ звукомъ. Раиса поняла, что Жюли провожалъ ея младшій братъ, гимназистъ перваго класса, Коля. Она стала жалѣть, почему Коля не зашелъ напиться чаю. На лицѣ Жюли выразилась живѣйшая благодарность за брата, и новымъ косноязычнымъ звукомъ она дала понять, что Колѣ некогда — у него большіе уроки.

Послѣ чаю она сказала:

— Ma chère Раиса, — и затѣмъ Раиса, послѣ нѣкотораго усилія, поняла, что Жюли проситъ ее сыграть что-нибудь.

— Что же? — спросила Раиса. — Вы, кажется, любите Бетховена?

Раиса сыграла *marche funèbre*. Когда загудѣли мрачныя, похоронныя аккорды, Жюли поблѣднѣла; она крѣпко скрестила на груди кисти рукъ и глядѣла куда-то впередъ скорбнымъ взглядомъ. Не всѣ ноты уловляло ея ухо; но она дополняла воображеніемъ то, чего не слышала, и ей казалось, что Раиса превосходно играетъ. По окончаніи игры, она встала и нѣкоторое время тихо ходила по залѣ, погруженная въ міръ представленій, поднятыхъ въ ея душѣ воображаемыми звуками.

— Ужасно интересная дѣвушка! — вполголоса сказала Раиса Никодиму Павловичу.

Онъ вопросительно глянулъ на молодую женщину.

— Сначала она казалась мнѣ смѣшной, и Федоръ Игнатьичъ

такъ умѣть искусно представлять ее! Но вотъ я облизилась съ нею, и, знаете, она много читаетъ. Надъ такими вопросами задумывается... пространство, время, субстанція и, кажется эквивалентъ, и ужъ я не знаю чтѣ—потому что ее трудно понять. Она какъ пойдетъ о разумѣ говорить! Она все глубоко принимаетъ... къ сердцу.

Жюли вдругъ подошла, обняла Раису и стала съ увлеченіемъ цѣловать ее за наслажденіе, доставленное ей игрою. Лицо ея сіяло радостью, и она по-французски сказала чтѣ-то Раисѣ. Та пожала плечами. Жюли повторила свои слова.

— Ахъ, ей пришли новыя мысли, благодаря музыкѣ!—перевела Раиса, обращаясь къ Никодиму Павловичу.

Она, въ свою очередь, поцѣловала Жюли и сказала:

— Вотъ вы, Никодимъ Павловичъ, поговорите съ нею о философіи.

„Какъ же я буду съ ней говорить?“ — съ недоумѣніемъ подумалъ Прагинъ.

— Julie, voilà un esprit philosophique и Никодимъ Павловичъ!—крикнула Раиса въ ухо косноязычной дѣвушкѣ и указала ей на мѣсто возлѣ Прагина.

Жюли сѣла и, несимметрично нахмуривъ свои красивыя темныя брови, спросила:

— Вы любите мыслить?

— Мыслить? Когда-то я часто резонировать, нѣкоторымъ образомъ по обязанности, какъ старый другъ, и вотъ Раиса Николаевна выдумала, что я философъ. Былъ грѣхъ, впрочемъ: взялъ я Канта въ руки, но ничего не понималъ. Давно ужъ!

Жюли не слышала, чтѣ говорить Никодимъ Павловичъ, потому что онъ говорилъ недостаточно громко. Она старалась угадать смыслъ его рѣчи по движенію губъ. Потомъ Жюли показалось, что она поняла: онъ говоритъ о томъ, чтѣ разумѣлъ Кантъ подъ музыкальными звуками. Она сдѣлала большіе глаза, такъ какъ нигдѣ объ этомъ не читала. Ей было любопытно, и она еще сильнѣе изогнула свои брови, внимательно слушая Никодима Павловича даже тогда, когда онъ замолчалъ.

— Гдѣ это?—спросила она.

— Что гдѣ?

— Въ „Критикѣ чистаго разума“? — продолжала интересоваться Жюли мнѣніемъ Канта о музыкальных звукахъ.

— Говорите съ нею громче! Кричите!—посоветовала Раиса, которой очень хотѣлось, чтобы Никодимъ Павловичъ убѣдился, какъ философски образована Жюли.

— Я не читалъ „Критики чистаго разума!“ — крикнулъ Никодимъ Павловичъ.

— А!

Помолчавъ, Жюли спросила, что Никодимъ Павловичъ читалъ новаго въ послѣднее время по философіи.

— Да вотъ въ „Славянскомъ Ручьѣ“ появилась статья: „Философія прекраснаго“. Много очень дѣльнаго. Авторъ говоритъ, что прекрасное не вѣсьмъ доступно и что оно условно.

Жюли съ мучительнымъ вниманіемъ выслушала Прягина и замѣтила, что тутъ есть какое-то противорѣчіе. Воодушевившись, она стала говорить на своемъ языкѣ, что если красота условна, то она вѣсьмъ доступна уже по своей условности, ибо условность значить растяжимость. По ея же мнѣнію, красота есть нѣчто безусловное. Она спросила, какъ думаетъ Никодимъ Павловичъ.

Онъ вынулъ платокъ, вытеръ свой красный, вспотѣвшій лобъ и крикнулъ:

— Не берусь рѣшать!

Жюли тревожно, почти испуганно посмотрѣла на него и замолчала. Никодимъ Павловичъ встрѣтился глазами съ молодой хозяйкой. Она въ это время думала: „Отчего бы, въ самомъ дѣлѣ, не жениться Никодиму Павловичу на Жюли? Мнѣ кажется, онъ былъ бы съ нею счастливъ. Тѣмъ болѣе, что я для него теперь уже не представляю интереса. Оедѣ было бы пріятно, еслибы Никодимъ Павловичъ женился“. Глаза Прягина говорили: „Покорно благодарю за эту философію. У васъ очень мило, вы сами прелесть что такое, но я сейчасъ уйду, мнѣ хочется пойти поскучать дома“. Онъ, дѣйствительно, всталъ, простился съ хозяйкой и съ ея гостьей и уѣхалъ домой.

XXX.

Оедоръ Игнатьичъ долго не говорилъ съ женой о Никодимѣ Павловичѣ. Наконецъ, ему показалось, что это молчаніе походить на ревность. Онъ рѣшилъ сказать при Раисѣ что-нибудь ласковое о Никодимѣ Павловичѣ. Но и это было неловко; онъ былъ недоволенъ собой и слегка Раисой.

Въ воскресенье утромъ онъ стоялъ у окна и смотрѣлъ на бѣлую, сверкающую на солнцѣ, улицу. По ней весело скользили извозчичьи санки. Богатыя сани съ медвѣжьей полюстью тяжело

пронесли мимо, запряженные парю толстых бѣлыхъ лошадей, которыя были подъ синей сѣткой.

— Раекъ, ты хотѣла бы покататься? — спросилъ Федоръ Игнатьичъ, оборачиваясь къ женѣ, сидѣвшей за роялемъ и трудившейся надъ какимъ-то все неудачнымъ пассажемъ изъ „Карменъ“.

Она бросила музыку и, улыбаясь, подпоркнула къ Федору Игнатьичу.

— Конечно, ты это отлично выдумалъ, если только серьезно, и чтобы недорого обошлось... а?

— Чтожъ, въ самомъ дѣлѣ, серьезно, — отвѣчалъ Федоръ Игнатьичъ, обнимая жену за талію. Раиса тоже стала смотрѣть на улицу. — Мы засидѣлись, *chère* Раекъ. Сейчасъ поплемъ за тройкой и до обѣда облетимъ полъ-міра.

Раиса прижалась къ мужу и, взглянувъ въ его добрые, веселые глаза, засмѣялась довольнымъ смѣхомъ.

— Хорошо, — произнесла она. — Такъ посылай за тройкой...

— А можетъ быть, мы заѣхали бы къ Никодиму Павловичу? — вдругъ сказала Гранковскій и сталъ пристально смотрѣть на улицу.

— Ахъ, ты все отлично придумываешь! — вскричала Раиса. — Заѣдемъ къ пустыннику и возьмемъ его съ собой.

— Съ собой?

— Ну, конечно. А впрочемъ какъ знаешь. Можно не брать съ собой. Но хорошо; что мы къ нему заѣдемъ. Я его очень уважаю, а между тѣмъ мы у всѣхъ были съ визитомъ, а у него не были. Это ничего, что онъ холостой — онъ почтенный и, право же, онъ старый.

Она засмѣялась застѣнчивымъ смѣхомъ, глядя мужу въ глаза и точно прося у него прощенія за то, что она не считаетъ Прягина молодымъ человѣкомъ. Потомъ она стала на ципочки, поцѣловала своего Федю въ румяныя, влажныя губы, сказала радостно, взявши его за плечо: „у, ты! милый!“ и убѣжала въ свою комнату одѣваться.

Федоръ Игнатьичъ послалъ дворника за тройкой и, продолжая стоять у окна, сказалъ вполголоса самому себѣ:

„Конечно, мы заѣдемъ къ нему. Этотъ Прягинъ очень почтенный человѣкъ, не спорю. Но, чортъ его знаетъ, почему онъ мнѣ не нравится“...

Черезъ полчаса Федоръ Игнатьичъ и Раиса въ шубахъ полулежали въ широкихъ саняхъ, покрытыхъ яркимъ ковромъ, и мчались по прямой улицѣ, густо обсаженной тополями въ два ряда. Эта улица уходила съ своими тополями за городъ. Пристѣжныя, въ наборной сбруѣ, мѣрно кидали задними ногами, летѣла снѣж-

ная пыль, отъ которой все, что было въ саняхъ, побѣлѣло, и толстый, приземистый извозчикъ въ четырехугольной ваточной шапкѣ, обшитой мѣхомъ, солидно кричалъ на прохожихъ и на встрѣчныя санки: „Гисъ!“ „О!“

— Это очень хорошо,—сказалъ Ѳеодоръ Игнатьичъ.—А ну-ка шибче, братъ!

— Шибче!—крикнула Раиса и засмѣялась. Она увидѣла, что мужъ любитъ ее.—Шибче!—крикнула она еще громче, съ дѣтской рѣзвостью.

Извозчикъ слегка мотнулъ головой, натянулъ возжи, произнесъ что-то отрывистое, звѣрскимъ голосомъ, и сани понеслись шибче, стуча по ухабамъ и пугая прохожихъ.

— Шибче, шибче, шибче!—повторяла Раиса, а самой было и хорошо, и страшно.

Дома по обѣимъ сторонамъ улицы становились все меньше и рѣже; вотъ уже одни только тополи, и, наконецъ, потянулось поле, бѣлое и необозримое, на которое больно было смотрѣть.

— Возьми, братъ, низомъ... налѣво! — скомандовалъ Гранковскій.

Сани повернули; рѣзкій вѣтеръ сталъ дуть въ лицо. Вдали показалась замерзшая рѣка съ бѣлымъ, легкимъ, какъ кружево, мостомъ желѣзной дороги. Свѣтлосизныя полосы на горизонтѣ лѣса сливались съ свѣтлымъ, безоблачнымъ небомъ. Подъ гору лошади пошли тише.

— Ты не озябла, Раекъ?

— Нѣтъ... то-есть, да... Мнѣ холодно лицу...

— Холодно, спрячься за меня... Направо, направо, извозчикъ!

Теперь сани ѣхали по берегу Днѣпра и вскорѣ очутились въ предмѣстьѣ города.

— Кажется, Никодимъ Павловичъ гдѣ-то здѣсь живетъ,—сказала Раиса, высовывая голову изъ-за спины мужа.

— Да, здѣсь. Только дальше. Вотъ за той церковью.

— Ну-ка, извозчикъ!

Сани ухарски подкатили къ дому, гдѣ квартировалъ Прягинъ. Ѳеодоръ Игнатьичъ вышелъ изъ саней первый и пошелъ узнать, дома ли Никодимъ Павловичъ. Черезъ нѣкоторое время Раиса увидѣла Прягина, который въ одномъ пиджакѣ и безъ шапки выбѣжалъ на улицу. Онъ почти схватилъ на руки Раису Николаетну и почти внесъ ее въ домъ. Тамъ, войдя въ библиотеку въ шубѣ (Прягинъ не позволилъ ей раздѣться въ передней), она увидѣла мужа, который стоялъ передъ ея портретомъ и вытиралъ платкомъ свое раскраснѣвшееся нахолодѣвшее лицо.

— Вотъ хорошій портретъ, — сказалъ онъ, обращаясь къ ней:—у меня такого нѣтъ.

— Да, это единственный,—промолвилъ Плягинъ, — помогая Раису сбросить шубу.

— Прежде я не видѣлъ его у васъ,—замѣтилъ Гранковскій.

— Нѣтъ; онъ тутъ ужъ второй годъ!

— Давайте помѣняемся! — шутливо предложилъ Ѳеодоръ Игнатьичъ, указавъ на портретъ.—Я вамъ дамъ другой...

— Ни за что на свѣтъ! — постѣшилъ сказать Плягинъ и взглянулъ на Раису, и хотъ онъ улыбался, но было видно, что онъ не разстанется съ портретомъ.

— Чѣмъ, Никодимъ Павловичъ, вы будете насъ угощать?— сказала Раиса, бросаясь въ качалку.

— А чѣмъ хотите. Черезъ двѣ минуты Захаровна подастъ завтракъ.

— Давайте самоваръ! вотъ что!

— Захаровна, самоваръ, живо!—крикнулъ Плягинъ, выйдя изъ комнаты.

Раиса лежала въ качалкѣ, вытянувъ ножки, обутыя въ теплыя ботинки съ множествомъ пуговокъ, и была ими другъ о дружкѣ. Декабрьское солнце широкимъ потокомъ вливалось въ замерзлыя окна свой нежаркій, зимній свѣтъ. Раиса улыбалась и слегка раскачивала себя. Ѳеодоръ Игнатьичъ смотрѣлъ на жену.

— Мы долго здѣсь пробудемъ?—спросилъ онъ.

— Погоди, снес Ѳеда! Надо поѣсть! И мнѣ надо еще сказать что-то по секрету Никодиму Павловичу.

— По секрету, Раекъ?

— А! А ты думаешь, у меня нѣтъ отъ тебя секретовъ?

Вернулся Никодимъ Павловичъ и сталъ занимать гостей, показывая имъ альбомы съ фотографическими видами, рѣдкія изданія, гравюры въ папкахъ.

— Вамъ Раиса хочетъ что-то сказать по секрету,—промолвилъ Гранковскій, глядя на плотную свѣрую фигуру высокаго хозяина.

— Чтò такое?

— Ѳеда, я на тебя сердита! Вы думаете, Никодимъ Павловичъ, онъ знаетъ, чтò я хочу вамъ сказать! Онъ, клянусь вамъ, не знаетъ. Ахъ, Ѳеда! Ну, хорошо же! Теперь я ничего не скажу Никодиму Павловичу. Но и ты ничего, ничего не будешь знать. А вы пріѣзжайте, Никодимъ Павловичъ, ко мнѣ, когда его не будетъ дома, днемъ—я вамъ тогда скажу все. Это знаете чтò? Не догадываетесь? Ну, и не нужно!

Послѣ завтрака Гранковскіе уѣхали.

— Какой секретъ?

— Хочется знать?

— Да.

— Нѣтъ, не скажу, сего Оеда. Ни за что не скажу!

Онъ откинулся на спинку саней, поднялъ воротникъ шубы и замолчалъ, дѣлая видъ, что не слышитъ, когда Раиса съ тѣмъ-нибудь обращалась къ нему. Такъ, молча, проѣхали они по всему городу.

„Отчего нѣтъ полного счастья? — думалъ Гранковскій. — Отчего нѣтъ, нѣтъ, да и набѣжить облако? Смѣшно сказать, меня мучить неотвязная мысль о Прятинѣ — объ этомъ почтенномъ и неприятномъ мнѣ человѣкѣ. Что за тайны съ нимъ у Раисы Николаевны?“

Въ столовой уже накрытъ былъ столъ, когда Гранковскіе пріѣхали домой. Въ кабинетѣ сидѣлъ толстый молодой человѣкъ, съ курчавыми, сильными волосами и круглымъ заросшимъ румянымъ лицомъ. Это былъ Вася Рѣзниковъ.

Пріятель расцѣловался, и Оеодоръ Игнатьичъ представилъ друга своей женѣ. За обѣдомъ Вася Рѣзниковъ пристально смотрѣлъ на Раису, и каждый разъ, когда Раиса поднимала на него глаза, встрѣчалась съ его взглядомъ, онъ опускалъ рѣсницы. Раисѣ это не понравилось, и не понравилось, что онъ такой румяный. Когда Рѣзниковъ отправлялъ въ блюдо свою вилку, не замѣчая, что при блюдѣ имѣется особая вилка, она чуточку хмурилась и переставала ѣсть. Послѣ обѣда она оскорбилась, что Оеда засѣлъ съ своимъ другомъ въ кабинетѣ, пробылъ съ нимъ тамъ до вечера и потомъ весь вечеръ до поздней ночи, не выходя къ Раисѣ. Молодая женщина слышала, какъ о чемъ-то, должно быть, веселомъ оживленно бесѣдовали пріятель и часто хохотали громкимъ непринужденнымъ и слишкомъ безцеремоннымъ, какъ ей казалось, смѣхомъ (въ особенности безцеремонно смѣялся Рѣзниковъ). Туда имъ носили кофе, ликеры, чай, пуншъ и оттуда шелъ табачный угаръ. Раиса вспомнила, что изъ-за Рѣзникова она ужъ разъ плакала и даже поссорилась съ Оедей. „Должно быть, это дурной человѣкъ, — подумала она, прислушиваясь къ отдаленному гулу мужскихъ голосовъ въ кабинетѣ. — Неужели Оеда, ради этого Рѣзникова, способенъ забыть меня? У меня тоже были и есть подруги, но я ни съ кѣмъ не близка. У, эти мужчины!“ Она стала читать книгу и не могла.

— Мнѣ скучно! — сказала она почти со слезами, съ сердцемъ, переполненнымъ ревностью, и бросила книжку.

XXXI.

А пріятели говорили между собою о слѣдующемъ:

— Помнишь, Вася, какъ мы жили съ тобой у Бордоносики и какъ нашу квартиру называли часовней—столько было вконѣ! Помнишь, какъ ты подъ праздникъ лампадку потушилъ, и Бордоносиха пошла жаловаться инспектору?

— А помнишь, Федюха, какъ мы за директорской дочкой ухаживали?

— А помнишь, какъ мы изъ класса удрали—уже взрослыми балбесами были — и махнули въ Троицкое? Странно: мнѣ все кажется, что тогда деревья вообще были зеленѣе и небо синѣе! Помнишь, сколько мы тогда утокъ настрѣляли?

— А гдѣ теперь, интересно, Анна Дмитриевна? Замужъ вышла или еще просвѣщаетъ какихъ-нибудь гимназистовъ? Въ то время она была прелесть какая! Теперь я признаюсь тебѣ, дружище. Ты пылалъ къ ней безумной страстью и ходилъ съ нею любоваться луной и не смѣлъ даже поцѣловать ея мизинчика, а я... Ну, знаешь, я на этотъ счетъ всегда былъ матеріалистомъ.

— Ахъ ты Васька плутъ! Я догадывался. Что-жъ, очень радъ. А помнишь Мерцуа, какъ мы дразнили его колбасный патриотизмъ? Умеръ нѣмчура!

— Умеръ? Недавно я встрѣтилъ Златопольцева. Женился на урождѣ, но зато—хорошенькія свояченицы и большое приданое. Да! Кирилскій женился!

— А какъ мы, Вася, пріѣхали съ тобой въ университетъ? Помнишь нашу квартиру въ сутеренѣ и наши экономическіе вечера? Откуда мы вдругъ мудрости набрались? Сапоги до этихъ поръ, суконныя блузы, вотъ такіе воротнички и вотъ такія дубинки! „Я этого не одобряю“. „Правительство на ложной дорогѣ“. „Черезъ два года революція!“ И потомъ Милль, Лавровъ, Прудонъ... Помнишь мой дурацкій проектъ? Помнишь, какъ Лаврушенко пригрозилъ мнѣ сѣрной кислотой? Кстати — онъ теперь частнымъ приставомъ. Сколько погибло народу! Ахъ, Боже мой! А все-таки мы хорошее время пережили.

— Помнишь, Федюха, Радову, она же Сквильская? Хорошенькая была дѣвушка! Бывало, сядетъ на стулъ, и вотъ этакъ ногу на стулъ же поставитъ, и глаза горятъ, кулачками машетъ, а я сижу противъ нея и все думаю: „Гм!“

— Ахъ, Васька, Васька, бабникъ! Радова жила граждан-

скимъ бракомъ съ Ароновымъ. Я ее встрѣчалъ. Помнишь Бухарцева? Умеръ въ больницѣ. Мы его тогда считали гениемъ, а вышелъ пьянчужка. Послушай, помнишь ты нашу послѣднюю сходку и разгромъ? Отчего такъ много пили и мужчины, и даже барышни? И вѣдь много было, дѣйствительно, недурныхъ людей! Должно быть, угаръ нуженъ былъ!

— Оедюха, помнишь нашу коммуну?

— Не напоминай! Вотъ комическая жизнь! „Мамаша“-то наша какова была! Гдѣ-то онъ теперь?

— Ивановъ? Служить судебнымъ слѣдователемъ, дружище.

— А помнишь, Вася, какъ мы съ тобой потихоньку отъ товарищей Пушкина читали? Какъ было стыдно, что Пушкинъ намъ нравится! Какъ мы не смѣли нападать на Писарева! Ходили въ сапогахъ до этихъ поръ — чуть не до подбородка — и приносили на сходки затаенный восторгъ передъ Пушкинымъ. Тутъ разрушеніе семьи, статьи, подольщающіяся къ молодежи, тутъ народъ, слезы сѣраго люда, овчина, а мы шепчемъ: „Ненастный день потухъ“... или: „На берегу пустынныхъ волнъ“... Чортъ возьми, я этого никогда не забуду!

— А помнишь Зиночку? Ты къ ней былъ равнодушенъ!

— Вовсе нѣтъ, Вася. Ты за нею ухаживалъ, да и вся коммуна. А я только пожалѣлъ ее. Благодаря мнѣ, она бросила коммуны. У меня на совѣсти нѣтъ пятенъ... Вотъ одно: пьянствовалъ и плохо штудировалъ анатомію. Теперь приходится работать. Не понимаю, какъ мы уцѣляли съ тобой, Вася. Знаешь что, Вася, устроимъ мы жженку сейчасъ!

Оедоръ Игнатьичъ сдѣлалъ смѣсъ, зажегъ стаканы и потушилъ свѣчи.

— Право, Оедюха, ты такой же милый, какъ и всегда былъ! Помнишь....

— Помню, помню!

Эти воспоминанія были безконечны. Друзья припоминали разные мелочи, они перебывали одинъ другого, смѣялись, забывая обо всемъ прочемъ на свѣтѣ. Потомъ блѣдное пламя стало гаснуть въ стаканахъ, Гранковскій опять зажегъ свѣчи, и пріатели чокнулись въ десятый разъ.

— Я потому сдѣлалъ жженку, Вася, и мы сидѣли въ темнотѣ, что мнѣ хотѣлось, чтобы опять такъ было, какъ тогда... при переходѣ въ шестой классъ. Ахъ, милое, блаженное время!

— Блаженное время! — повторилъ Вася Рѣзниковъ, хлебавъ жженку своимъ усатымъ сластолюбивымъ ртомъ.

Пробить часъ. Но пріятели все говорили. Въ два часа Гранковскій сказалъ:

— Пожалуйста, Вася, заночуй у меня. Вотъ тебѣ, другъ, купетка. Сейчасъ тебѣ доставлю постель.

— Да я не хочу еще спать!

— Ну, посидимъ. Скажи мнѣ, Вася: были уже рецензіи на твою диссертацию?

— Были. Ругаютъ. Но все равно—я буду профессоромъ. Я въ женскихъ болѣзняхъ собаку съѣлъ.

— А Воропилинъ какъ къ тебѣ?..

— Да что Воропилинъ! Лишь бы я съ Ганлейеромъ не связывался, Воропилинъ вывезетъ. Я нуженъ факультету... Правда, Оедюха, Воропилинъ струна?

Оедоръ Игнатьичъ не зналъ, что разумѣетъ Рѣзниковъ подъ словомъ „струна“. Но онъ сказалъ:

— Да, братъ, струна! И еще какая!

Въ три часа Оедоръ Игнатьичъ вдругъ сообразилъ: „Ну, что если Раекъ не спитъ и ждетъ меня?“ Онъ торопливо, улыбаясь, попрощался съ другомъ, послалъ къ нему заспанную Варю съ постелью, а самъ пошелъ въ спальню. Раиса, дѣйствительно, не спала. Она, сидя на кровати, большими глазами смотрѣла на него. Отъ него сильно пахло табакомъ и пуншемъ. У него было смѣшное виноватое лицо.

— Поздно, Раекъ. Отчего ты не спишь?—сказалъ онъ шопотомъ.

— Ложись уже!—промолвила она, хотѣла разсердиться и не разсердилась. — Пьяненькій мужъ!

Она обвила его шею руками, и оттого, что дулась на него все это время, а онъ пришелъ, виновато улыбаясь, она теперь почувствовала къ нему особенно нѣжную любовь. — Мой гадкій, пьяненькій! Охъ, дрянной! Спи!

XXXII.

Воропилинъ былъ въ томъ періодѣ дѣятельности, когда всякій врачъ начинаетъ усиленно заботиться объ обезпеченіи своей приближающейся старости. Онъ приобрѣлъ уже большое имѣніе и теперь хотѣлъ купить другое, гдѣ-нибудь недалеко отъ своей Гонтовки. „Было бы очень хорошо,—разсуждалъ онъ, сидя, въ легкой енотовой шубѣ, на своемъ рысакѣ и направляясь съ визитомъ къ Гранковскимъ, — еслибы этотъ путь уступилъ мнѣ

свою Буду. Я никого не обижаю, напротивъ, всё стараются надуть меня, и ужъ такъ и быть, я бы далъ ему по двадцать пять рублей лишнихъ за десятину. Онъ, кажется, нуждается въ деньгахъ". Съ этими мыслями позвонилъ Воропилинъ у подъезда квартиры Граневскихъ, и съ этими же мыслями вошелъ онъ въ гостиную и сталъ осматривать мебель, цѣнты и гардины.

— Что, коллега, клюетъ практика?—спросилъ онъ, дружески пожимая руку Федору Игнатьичу.

— Практики много—даровой,—проговорилъ съ улыбкой молодой врачъ и рассказалъ встать, какъ вчера и третьего дня онъ лечилъ отъ скарлатины жидовскихъ дѣтей и какъ отрубалъ палецъ старой еврейки, потому что начиналась гангрена.

— Сначала трудно,—снисходительно произнесъ гость.—Сначала всегда такъ. А потомъ рубли, рубли, рубли...

Онъ запустилъ руку въ карманъ и вытащилъ пачку смятыхъ рублевыхъ бумажекъ, отъ которыхъ пахло іодоформомъ.

— Вотъ рубли!—повторилъ онъ и опять спряталъ деньги.

Федоръ Игнатьичъ усмѣхнулся отъ предвкушенія удовольствія, съ какимъ онъ расскажетъ объ этой сценѣ Раисѣ (Раисы не было дома: она уѣхала въ Жюли) и промолвилъ:

— Хорошо вамъ: вы благую часть избрали—специалистъ по прекрасному полу. Тутъ чѣмъ моложе врачъ, тѣмъ успешнѣе практика. А мнѣ надо ждать, чтобы зубы выпали, волосы вылезали—иначе нѣтъ довѣрія.

— Коллега, можно съ вами прямо говорить?—началъ Воропилинъ, который дорожилъ временемъ и не любилъ долгихъ подходовъ.

— Пожалуйста, Филиппъ Проклычъ.

— Ничего не имѣете противъ меня?

Граневскій вспомнилъ комическій конемлюмъ у Тухолкина. „Ну, да это ничего,—подумалъ онъ,—а вообще онъ все же порядочный человекъ, хоть и струна“.

— Я ничего не имѣю противъ васъ. Чтò я могу имѣть противъ васъ?

— Должно быть, вы теперь поиздержались.

— Нельзя сказать, чтобы очень. Но, конечно... А что?

— Мѣсто у васъ ничтожное, практика нулевая... м-да... рублями не пахнетъ. Простите, что я по-товарищески, посовѣтовавшись съ Анной Николаевной, рѣшилъ предложить вамъ взаимны сколько вамъ будетъ угодно. Пять тысячъ, восемь тысячъ?

Федоръ Игнатьичъ вопросительно посмотрѣлъ на гостя и въ то же время подумалъ: „Мнѣ очень хотѣлось бы поѣхать за

границу, поработать у тамошнихъ хирурговъ и повезти Раису — показать ей Парижъ и Римъ. На деньги Раисы я не хочу. Отчего бы не занять? Потомъ у меня будетъ практика, должно быть, добьюсь профессорства, когда разработаю голеностопное сочлененіе, и, конечно, будетъ чѣмъ отдать. Ужъ если надо, то лучше взять у него, чѣмъ у Прягина“.

— Ваше предложеніе такъ неожиданно, Филиппъ Проклычъ, — сказалъ Гранковскій, краснѣя, — что я прежде всего могу только отъ души поблагодарить васъ. Вотъ, право, какой вы добрый человекъ! Весною я, можетъ быть, обращусь къ вамъ. Мнѣ чертовски надоѣла моя больница. Эти дразги, это воровство крохъ... Давно пора ее бросить, и если до сихъ поръ не бросилъ, то ради клиническихъ цѣлей. Весной хочу за границу.

— Отчего же не теперь? Теперь именно... Вамъ, какъ молодому хирургу, нужно посмотрѣть работу лучшихъ ножей тамъ, въ Вѣнѣ, въ Берлинѣ. Я дамъ письма.

— А что-жъ, можно поѣхать и теперь, — сказалъ Федоръ Игнатьичъ, все больше и больше убѣждаясь, что его гость добрый человѣкъ. „Вотъ я его не любилъ, а между тѣмъ какое благородное сердце!“

— Смотрите, коллега, какъ рѣшитесь, не церемоньтесь. Мои рубли къ вашимъ услугамъ.

Гранковскій посмотрѣлъ на его руки, запущенныя въ карманы брюкъ и погруженныя въ вороха грязныхъ, смятыхъ бумажекъ.

— Спасибо вамъ, — сказалъ онъ, — это, дѣйствительно, дружеское предложеніе. Находишь тамъ, гдѣ не ищешь!

Филиппъ Проклычъ улыбнулся въ бороду самодовольной, солидной улыбкой и, помолчавъ, поднялся съ мѣста.

— Простите, у меня теперь полна улица народу. Я разъ въ годъ дѣлаю визиты. Для васъ исключеніе. Не забывайте насъ. Привозите жену. Что она, здорова?.. Здорова, хорошо. Здоровая женщина — лучший дипломъ акушера.

Высказавши этотъ афоризмъ съ тѣмъ глубокимъ видомъ, съ какимъ онъ всегда высказывалъ свои лучшія мысли, Воропилинъ накинулъ на плечи енотовую шубу и уѣхалъ домой на новую жатву рублей.

Сейчасъ послѣ его отъѣзда вернулась Раиса Николаевна. Федоръ Игнатьичъ разсказалъ ей о предложеніи Филиппа Проклыча. Онъ сталъ развѣивать планъ поѣздки за границу. Раиса слухала и сама увлекалась.

— Ахъ, Боже мой, Одея, какъ это хорошо все на свѣтѣ повидать! Какіе счастливыцы богатые люди! Когда я была въ пан-

сионѣ, то прочитала книгу какого-то французскаго туриста... кажется, Готье.. объ Италиі, и три ночи бредила Римомъ. Но только вотъ что, Оеда, денегъ займы не бери никогда. Боже сохрани. У насъ есть маленькія средства, съ насъ довольно. Вотъ поѣдемъ когда-нибудь въ Петербургъ. Нѣтъ, нѣтъ, Оеда, мнѣ страшно! Ты не любишь Ворошилина, и какъ можно брать у него деньги! Самъ смѣшешься надъ нимъ, а берешь деньги! И за что онъ тебѣ дастъ? Pour vos beaux yeux! Нѣтъ, не знаю почему, мнѣ страшно...

— Да почему же?

— Ахъ, потому!

Въ глазахъ ея выразилось столько тоски, что мечты Оедора Игнатьича о за-границѣ такъ же быстро улетѣли, какъ и прилетѣли. Онъ согласился съ женой, что дѣйствительно не слѣдуетъ брать денегъ займы. Вдругъ у него нашлось множество возраженій противъ займа, и онъ удивлялся, почему ни одно изъ нихъ раньше не пришло ему въ голову. Онъ сталъ ихъ высказывать, Раиса одобряла ихъ.

— Ну вотъ, ну вотъ!—говорила она.

Оедоръ Игнатьичъ прижалъ ея руку къ своей груди.

— Отчего ты умнѣ меня?—спросилъ онъ.

— Какія ты глупости говоришь! — сказала Раиса, обиженнымъ тономъ.—Еслибы это было на самомъ дѣлѣ такъ, развѣ я могла бы тебя любить?

— Нѣтъ, Ракъ, не за умъ любятъ.

— А за что же?

— А вотъ за что! — сказалъ онъ и поцѣловалъ жену въ губы.

XXXIII.

Прошли святки. Погода испортилась, и нельзя было кататься. Вѣтряный январь смѣнился болѣе спокойнымъ и теплымъ февралемъ. Стоялъ туманъ; тополи, разубранные инеемъ, бѣлѣлись сквозь эту мглу, точно сквозь кисею, и было такъ тихо, что Раисѣ казалось, будто каждый звукъ ея голоса особенно слышенъ, и она старалась говорить почти шопотомъ.

Она шла по бульвару, который былъ недалеко отъ дома; возлѣ нея шелъ Рѣзниковъ, повернувшись къ ней лицомъ, и смѣялся, показывая свои бѣлые счастливые зубы.

— Ну, да,—говорила она,— мнѣ очень непріятны эти ежедневныя встрѣчи, Василій Ивановичъ. Я гуляю не для васъ.

— О, простите меня... А я даю крѣкъ, чтобы только встрѣтиться съ вами. Знаю, дерзость, но не могу. Мнѣ надо видѣть васъ.

Въ немъ было соединеніе наглости и застѣнчивости; и черные глаза его такъ блестя, что хотѣлось посмотрѣть въ эти блестящіе самоувѣренные глаза. Раиса посмотрѣла, и краска разлилась по ея удлиненному, въ послѣднее время слегка поблѣднѣвшему личику.

Она медленно ступала бархатными сапожками по рыхлому снѣгу и молча глядѣла теперь вдаль, въ туманъ, думая о томъ, что Оедѣ не слѣдуетъ говорить про его прелестнаго Васю, но что лучше всего отдѣлаться отъ этого нахала упорнымъ молчаніемъ.

Она не выдержала и пол-минуты молчанія и сказала:

— Вамъ, кажется, направо?

— Да, мнѣ направо. Что-жъ, я сейчасъ... Мнѣ нужно немного взглянуть на васъ и пожать вамъ руку... До завтра!

Онъ, смѣясь, протанулъ ей руку; она хотѣла не замѣтить его руки, но невольно подала ему руку, слышала сквозъ лайку, какъ горяча у него рука, и когда онъ удалился, она сердито сказала себѣ:

— Я не понимаю Оеди!

Взглянувъ черезъ нѣкоторое время на свои часы, она ускорила шагъ. Ей хотѣлось зайти къ Жюли, она общалась бытъ у нея въ часъ, чтобы вмѣстѣ поѣхать въ монастырь въ скимнику Евонію, по секрету отъ Оедора Игнатьича.

Жюли сидѣла въ своей комнатѣ и читала критику на „философію безсознательнаго“. На Жюли была красная шаль; черныя косы ея красиво были сложены на затылкѣ.

„Ну, право же она хорошенькая!“ подумала Раиса, цѣлуя Жюли съ умиленіемъ.

— Какая вы милочка, съ какимъ восторгомъ я васъ встрѣчаю! Вы мнѣ нравитесь ужасно! — проговорила дочь генерала Платонова на своемъ косноязычномъ нарѣчій. — А я читаю Гартмана. Онъ большой умъ. Я подавлена. Но я не знаю, кому вѣрить: ему или критику.

Раиса взяла въ руки нѣмецкую книжку, прочитала заглавіе и, внутренне удивляясь учености Жюли, положила обратно на столѣкъ.

— Etes-vous prête, ma chère Julie?.. Пора! — озабоченно проговорила она, садясь на диванъ, на которомъ лежало нѣсколько гарусныхъ подушекъ, очевидно работы Жюли.

— Я хотѣла, чтобы вы напились у меня кофе, — сказала Жюли. — Но если нельзя ждать, мы поѣдемъ. Вы увидите, Раиса, что Евѣимій — знатокъ человѣческаго сердца, и онъ скажетъ все. Онъ проникательный. Его душа — море благодати. Побесѣдуешь съ нимъ, и такъ легко. Его молитва всегда доходить.

Она вторично поцѣловалась съ гостей, нѣжно взявъ ее за располнѣвшую талию. Раиса, вслѣдствіе частаго обращенія съ Жюли, привыкла къ ея языку и почти все понимала. Если же чего не разбирала, то это перетолковывала къ выгодѣ Жюли и видѣла въ неопредѣленности шепелявящихъ звуковъ рѣчи Жюли какую-то особенную значительность.

Схимникъ Евѣимій былъ полный, приземистый старикъ, съ сѣдой огромной бородой и простымъ русскимъ лицомъ. Слава о его прозорливости и силѣ распространилась только недавно, но къ нему уже ѣздило и ходило множество народа. Раиса и Жюли застали цѣлую толпу людей на тѣсномъ монастырскомъ задворкѣ, гдѣ стояла келія Евѣимія. Хорошенькій черноволосый мальчикъ, въ подрясникѣ, ввелъ дамъ къ схимнику.

Раиса увидѣла столъ, на которомъ стоялъ самоваръ и выпускалъ изъ себя струи пара. Подъ образами сидѣлъ полный монахъ и что-то говорилъ молодому армейскому офицеру съ худыми щеками и съ русой бородой.

Хотя Жюли предупреждала Раису, что Евѣимій чрезвычайно простъ, но ей все казалось, что надо, войдя въ келію, сдѣлать что-нибудь религіозное, и она, краснѣя и думая, что, можетъ, это неловко, перекрестилась на иконы.

Евѣимій какъ разъ кончилъ разговоръ съ офицеромъ и отпустилъ его, дотронувшись чуть-чуть до его головы, когда офицеръ нагнулся къ его рукѣ.

По уходѣ офицера, Евѣимій, поблагословивъ дамъ, предложилъ имъ сѣсть и, если угодно, напиться чаю.

— Только ужъ не взывайте, — сказалъ онъ пѣвучимъ, старческимъ голосомъ: — изъ стакановъ не люблю пить — чашки. Это вотъ княгиня Козловская подарила мнѣ сервизикъ. Говорить, что высокой цѣны, что саксонскій фарфоръ. Триста рублей заплаченъ! Ну, пусть его служить службу! Вѣдь ужъ если заплаченъ, денегъ не вернешь!

Онъ налилъ двѣ чашки чаю, и мальчикъ въ подрясникѣ поднесъ ихъ дамамъ.

— Неужели, — продолжалъ схимникъ: — чай вкуснѣе дѣлается, если фарфоръ? А если простая глина?

Онъ вопросительно и проникновенно посмотрѣлъ на Жюли.

Она не слыхала вопроса, и въ отвѣтъ только скорбно изогнула брови.

„Къ чему это онъ?“ — подумала Раиса.

— Оттепель, такъ что тепло и безъ чаю. Вообще можно прожить безъ чаю. Святые отцы не вкушали. Крестьяне не вкушаютъ.

Онъ сложилъ на животъ руки и съ улыбкой посмотрѣлъ на обѣихъ дамъ. Онъ глядѣлъ прямо въ глаза своимъ голубымъ бархатнымъ взглядомъ, и, несмотря на то, что въ сказанномъ имъ до сихъ поръ не было ничего интереснаго, Раиса ждала, что сейчасъ будетъ интересное и что все это только предисловіе.

— Вы барышня? — спросилъ Евѣимій у Раисы.

— Нѣтъ, — отвѣчала она, покраснѣвши. „Вотъ, должно быть, начинается“.

— Мужъ васъ любить?

— Да...

— Служить или такъ?

— Онъ докторъ.

— А! Людей анатомить! — Что-жъ, все нужно. Въ Бога вѣрить?

— Я не знаю, — отвѣчала Раиса и почувствовала, что у нея покраснѣлъ даже лобъ.

Схимникъ задумчиво посмотрѣлъ въ пространство.

— Теперь многіе не вѣрятъ, — произнесъ онъ. — Надѣетесь имѣть дѣтей?

Раиса промолчала.

— Отчего не пьете чаю? Это хорошій чай. Мы отъ Перлова выписываемъ. Лучшій сортъ.

Раиса не могла пить, потому что не привыкла пить чай въ эту пору и, кромѣ того, не было сахара. Но послѣ вопроса Евѣимія она торопливо схватила за чашку и стала насильно пить прѣсный чай. Чашка дрожала у нея въ рукѣ.

— Не бойтесь, — звѣнувъ, сказалъ Евѣимій: — а-а! Спать чего-то хочется. Вы не бойтесь. Дѣти у васъ будутъ, мужъ вамъ никогда не измѣнитъ, и если будете ходить въ церковь, молиться утромъ и вечеромъ, предъ обѣдомъ и послѣ обѣда, бѣднымъ помогать, чѣмъ можете, ну, и, значить, вести себя хорошо, то васъ Богъ благословитъ. А мужу посоветуйте вѣрить. Оно, конечно, можно и безъ вѣры прожить, да только трудно, все равно, что безъ провожатаго въ лѣсу. Хозяйничать умѣете?

— Да, я умѣю...

— Ну, вотъ и отлично. Надо, чтобъ мужу нравился домъ.

На первыхъ порахъ трудно, понятно. Тутъ надо въ тѣсто положить столько дрожжей, а вы положите больше. Пироги не удадутся—кислые или горькіе. Мужъ изъяснить неудовольствіе, пойдетъ въ гостинницу, тамъ соблазнѣ, а жена дома плачетъ. Ну, вы постарайтесь. Пироги съ вашей очень хорошо, или, напримеръ, съ сигомъ...

Схиминиѣ остановился и задумчиво вертѣлъ межъ пальцевъ какую-то крошку, какъ бы соображая, что еще сказать въ назиданіе молодой женщинѣ. Однако, больше ничего не придумалъ и махнулъ рукой мальчику. Тотъ исчезъ и черезъ минуту ввелъ мѣщанина въ синемъ кафтанѣ. Раиса и Жюли поднялись и подошли за благословеніемъ къ Евонію. Молодая женщина слышала, какъ по ея лицу ласково скользнула большая, пахнущая ладаномъ рука. И она не понимала, почему у нея такъ сильно бьется сердце и такъ тяжело, тяжело дышать.

Очутившись на свѣжемъ воздухѣ, Раиса взяла Жюли за руку и, склонивъ къ ней на плечо голову, нѣкоторое время стояла, преодолая волненіе.

— Что онъ вамъ сказалъ, Раиса? Что онъ вамъ говорилъ? Онъ, кажется, вамъ предсказывалъ?

Счастливыми и радостными глазами смотрѣла Жюли на Раису.

— Ma chère, онъ ничего не предсказалъ, но я не знаю, почему я такъ испугалась! Мнѣ, голубчикъ, дурно, поѣдемъ скорѣй домой.

Федоръ Игнатьичъ былъ уже дома, когда вернулась Раиса.

— Я ѣдила, cher Одея, — начала она, стараясь глядѣть мужу прямо въ глаза:—Одея, я ѣдила... ѣдила...

Вдругъ слезы подступили къ ея горлу, и она истерически разрыдалась.

XXXIV.

— Что съ тобою, Раекъ? — сказалъ Федоръ Игнатьичъ, бросаясь къ женѣ и обнимая ее.

— Ахъ, Одея, еслибъ ты зналъ... я нехорошая, нехорошая!

— Успокойся, дитя мое. Ты испугала меня, прошу тебя, успокойся!

Раиса рыдала, схвативъ себя за голову обѣими руками. Слезы ручьями текли изъ ея глазъ. Мужъ побѣждалъ въ свой кабинетъ за спиртомъ.

— Cher Одея! я виновата предъ тобою!—вскричала Раиса, когда Федоръ Игнатьичъ вернулся изъ кабинета.

— Ну, вотъ и отлично, мое дитя... очень радъ... мы потомъ поговоримъ... Дай-ка твой носикъ—понюхай!

Раиса глубоко вздохнула.

— Довольно, Одея... Отчего, Одея, я такая гадкая? Я обманываю тебя!

Она опять стала плакать.

— Да успокойся же, Раекъ... Ахъ, ужъ это мнѣ не нравится!.. Куда ты ѣздила, Раекъ?

— Одея, не сердись только: я была у Евѳиміа.

— У Евѳиміа? Кто этотъ Евѳимій?

— Онъ схимникъ, въ лаврѣ... Ахъ, не сердись!

— Нѣтъ, нѣтъ, Раекъ. Посмотри, я даже улыбаюсь. Но сначала перестань плавать, Бога ради!

— Одея, я ужъ не плачу... но все-таки я гадкая. Ты думаешь, что я хорошая, а я чувствую, что обо мнѣ этого нельзя думать! Ну, да, я чувствую. У меня злое сердце. Я эгоистка. Мнѣ досадно, что ты ошибаешься, воображая, будто я какое-то совершенство. А я грѣшная, Одея. И мнѣ хотѣлось, Одея, узнать, что мнѣ дѣлать, чтобы не мучиться, и что со мной будетъ. Но схимникъ ничего не сказалъ мнѣ, а только говорилъ, что ты хорошій, потому что ты никогда не измѣнишь мнѣ, Одея, если я буду печь тебѣ пироги. Ты улыбаешься, и мнѣ самой хочется улыбнуться. Но это иносказательно, Одея...

Она обняла мужа и поцѣловала.

— Ну, будетъ, Раекъ, будетъ! Pleurnicheuse!

Замѣтивъ, что женѣ лучше, Оедоръ Игнатьичъ сталъ смѣяться и цѣловать у нея руки. Раиса мало-по-малу успокоилась.

— Пойдемъ обѣдать, Раекъ. Послѣ слезъ у тебя долженъ быть аппетитъ.

Онъ помогъ Раисѣ встать съ дивана и, поддерживая ее, бережно повелъ въ столовую. Онъ самъ налилъ ей въ тарелку супу и съ удовольствіемъ видѣлъ, что она много и охотно ѣстъ. Отъ всей ея тревоги осталась только томность глазъ да по временамъ слегка подергивались губы. Когда же она совсѣмъ успокоилась, Оедоръ Игнатьичъ, все время наблюдавшій ее съ ласковой пытливостью, сказалъ, улыбаясь:

— Такъ ты меня обманываешь, моя милая?

Раиса покраснѣла и посмотрѣла мужу прямо въ глаза.

— Я не хочу тебя огорчать, Одея. Не сердись, я скрытная. Но если ты думаешь что-нибудь особенное, то ты меня обижаетъ. А вотъ, дѣйствительно, я хотѣла, чтобы ты не зналъ, что я была у схимника. Представь, я зашла къ Жюли и вижу,

она читаетъ философію. А надо тебѣ замѣтить, мы съ ней давно сговаривались побывать у схимника Евимія. Вотъ только приходимъ въ келью...

Раиса подробно затѣмъ рассказала, какъ она посѣтила схимника. Она была возбуждена и, сверхъ обыкновенія, болтлива. Щеки ея разгорѣлись, она опять чуть не расплакалась; потомъ вдругъ стала смѣяться, схватила Ѳедину руку и осыпала ее поцѣлуями.

Ѳедоръ Игнатьичъ съ безпокойствомъ поглядывалъ на жену. Онъ заставилъ ее принять лавро-вишневыхъ капель.

— Не надо было, другъ мой, обставлять свой визитъ къ Евимію такой таинственностью,—сказалъ Ѳедоръ Игнатьичъ, ведя жену послѣ обѣда въ спальню, чтобъ она прилегла и отдохнула:—еслибъ ты мнѣ сказала, мы могли бы вмѣстѣ поѣхать въ лавру.

— Ахъ, нѣтъ, Ѳедя,—возразила молодая женщина,—вмѣстѣ съ тобой нельзя было! Ты поѣзжай къ нему одинъ и побесѣдуй съ нимъ, если хочешь. А при тебѣ я не была бы религіозна.

Ѳедоръ Игнатьичъ разсмѣялся.

— О чемъ же мнѣ съ нимъ бесѣдовать?

— О томъ, Ѳедя... Слышишь, я ему сказала, что я не знаю, вѣришь ли ты въ Бога. Отчего я не знаю? Отчего ты ни разу не говорилъ со мной о Богѣ?

— Оставимъ, Раекъ, этотъ вопросъ.

— Нѣтъ, скажи мнѣ: вѣришь ты въ Бога?

Вмѣсто отвѣта, Ѳедоръ Игнатьичъ крѣпко поцѣловалъ жену и уложилъ ее въ постель.

— Сядь возлѣ меня, Ѳедя. Не уходи отъ меня! Еслибъ ты зналъ, какъ пріятно быть любимой! Ты за мною ухаживаешь, ласкаешь меня, какъ ребеночка, а я капризничаю, а я нехорошая, а я тебя обманываю...

У нея блестяли глаза и дрожали губы. Свѣтъ падалъ изъ полузавѣшеннаго окна блѣднымъ лучомъ на золотистую головку Раисы, покоившуюся на бѣлой подушкѣ. Ѳедоръ Игнатьичъ глядѣлъ на жену и думалъ: „Какъ она прелестна! Отчего я до сихъ поръ не могу привыкнуть къ мысли, что она моя? Я до сихъ поръ дрожу возлѣ Раисы и загораюсь, какъ въ первый день моей любви къ ней“. Онъ взялъ ее за руку и взглянулъ ей въ глаза застѣнчивымъ, тихимъ взглядомъ.

— Ахъ, мой милый Ѳедя! Какая я несносная! Вотъ я наговорила тебѣ, что я тебя обманываю, и ты мучаешься, потому

что ты ревнивъ, а между тѣмъ я тебѣ не сказала, какъ именно я тебя обманываю... И ты не жди, не скажу!

Она стала хохотать.

— Раекъ, тебѣ вредно такъ смѣяться! Того и гляди, опять заплачешь. Милая, прошу тебя никогда не ходи одна безъ меня въ такія мѣста, гдѣ ты можешь наткнуться на непріятности, взволноваться, и вообще, Раекъ, надо же беречься. Ты же не забывай своего положенія! *Потомъ*, когда *все* пройдетъ, ну, тогда другое дѣло. Ты ужъ не дѣвочка, ша petite, и тебѣ опека не нужна. Ты умная головка у меня. Но теперь ты *пока* подъ моей опекой. Ты вѣдь не одна. Ты п'ес раз seule, Раекъ. Малѣйшее волненіе твое дурно отражается и на немъ...

— Неужели, Одея, дурно отражается?

Раиса обняла мужа за шею и смотрѣла ему въ глаза.

— А какъ же! Разумѣется, дурно! Мнѣ хотѣлось бы, Раекъ, чтобъ онъ былъ крѣпкій, яблочко наливное, чтобъ у него нервы были въ порядкѣ и чтобъ ко мнѣ обращались съ вопросомъ: „позвольте узнать, докторъ, какой это съ вами геркулесъ гуляетъ?“—А это мой сынъ, Оедоръ Оедоровичъ. „А позвольте, узнать, докторъ, ему лѣтъ пять будетъ?“—Что вы, Иванъ Ивановичъ, помилуйте! Оедору Оедоровичу всего полтора года.

Раиса спрятала голову на груди мужа и притянула его къ себѣ.

— Ты развѣ хочешь, чтобы былъ сынъ?—спросила она.

— А ты, Раекъ?

— Пускай будетъ дочь,—сказала Раиса.

— Ну, пускай,—нѣхотя согласился Оедоръ Игнатьичъ.

— Мы назовемъ ее Софьей.

— Хорошо.

— Знаешь, Одея, я уже обдумала всѣ наряды, какіе я сдѣлаю ей. Она будетъ брюнетка, и должна родиться съ длинными волосами. А глаза у нея будутъ голубые, bleu de ciel. Я ее постоянно буду водить во всемъ бѣломъ, но только будутъ ленты, самыя лучшія, шелковыя—сегодня красныя, завтра синія, но только не яркія. Надо, чтобы со вкусомъ... А кого мы позовемъ крестить?

— Надо мамашу.

Раиса помолчала и спросила:

— А кто будетъ кумомъ?

— Я хотѣлъ пригласить Рѣзникова.

— Ни за что, ни за что!

— Онъ славный малый.

Раиса оттолкнула отъ себя мужа и уткнулась лицомъ въ подушки.

— Ахъ, капризница! Послушай, Раякъ, ну хорошо; кого же ты хочешь?

Не поднимая головы, Раиса сказала:

— Никодима Павловича.

Федоръ Игнатьичъ улыбнулся. Онъ долго не отвѣчалъ; наконецъ, произнесъ:

— Хорошо, мы попросимъ Никодима Павловича. Но это еще не скоро будетъ, и, можетъ быть, тебѣ придетъ въ голову совсѣмъ другая комбинація. А теперь тебѣ надо соснуть. Спи, ма снѣге, и во всякомъ случаѣ пробудь въ постели часа два.

Онъ хотѣлъ встать; но Раиса вдругъ обернулась и, снова обнявъ его за шею, прошептала:

— Не уходи, милый, не уходи. Хорошо, я засну, но только ты сиди такъ, или вотъ что лучше: лягъ такъ.

Онъ повиновался. Она, не выпуская его изъ своихъ объятій, закрыла глаза, стала дышать все ровнѣе и ровнѣе и скоро забылась спокойнымъ, сладкимъ сномъ. Тогда онъ тихо высвободилъ свою голову изъ-подъ ея руки и на ципочкахъ вышелъ изъ спальни.

XXXV.

Гранковскій бывалъ иногда на карточныхъ вечерахъ у своихъ сослуживцевъ и коллегъ. На масляной недѣлѣ, возвращаясь съ завтрака отъ больничнаго эконома, онъ почувствовалъ, что ему тоже необходимо созвать къ себѣ больничныхъ врачей, если онъ не хочетъ прослыть скрягой и аристократишкой. Онъ подѣлился этой мыслью съ женою, и въ субботу Гранковскіе пригласили къ себѣ гостей.

Звонки начались съ восьми часовъ. Гости входили, громко и развязно разговаривая и дымя папиросами, которые вынимали изъ массивныхъ серебряныхъ портсигаровъ. Портсигары эти были въ модѣ въ той больницѣ, гдѣ служилъ Федоръ Игнатьичъ. Хозяинъ радушно жалъ товарищамъ руки и говорилъ имъ:

— Ну, какъ поживаете? — Или: — ну, какъ поживаете? — А къ нѣкоторымъ обращался почему-то по-нѣмецки: — Wie befinden Sie sich, коллега?

Въ залѣ и гостиной горѣли лишнія лампы и было свѣтло и нарядно. Раиса сидѣла на диванѣ въ темномъ платьѣ и вела бесѣду съ докторскими женами. Жюли сидѣла возлѣ Раисы.

Бояриновъ недавно женился. Его молоденькая черноглазая жена смѣялась и рассказывала анекдотъ, который казался ей смѣшнымъ и занимательнымъ:

— Вотъ, знаете, приходитъ барышня въ домъ и говорить... позвольте, что же она сказала? Ахъ, это такъ смѣшно! А тутъ былъ молодой человѣкъ, и онъ такъ ей превосходно отвѣтилъ, что, я вамъ скажу, смѣшно, смѣшно!

Бояринова въ заключеніе опять смѣялась, и всѣ глядѣли на нее съ улыбкой и съ сочувствіемъ къ ея молодости и милой ограниченности.

Потомъ жена старшаго врача, считавшая себя генеральшей, пожилая и некрасивая особа съ тусклыми глазами, стала рассказывать о томъ, какъ ее обсчитали въ гастрономическомъ магазинѣ на двадцать-три копейки.

— Раиса Николаевна, тутъ не деньги важны, а вы подумайте, какая это безсовѣстность! И еще я говорю имъ, что вотъ какъ это нехорошо, а они съ такими оскорбительными лицами смотреть на меня, и старшій приказчикъ подаль мнѣ двадцать-три копейки мѣдью и этакъ язвительно сказалъ: „получите!“ Я вѣдь не кто-нибудь — я не позволю!!

Раиса Николаевна старалась сочувственно улыбнуться обиженной дамѣ. Пожилой врачъ съ сѣдеными бачками и бритой губой слушалъ однимъ ухомъ рассказъ жены начальника и качалъ въ благородномъ негодованіи головой — „скажите!“ — а другимъ прислушивался къ шуму въ залѣ, гдѣ разставлялись ломберные столы. Молодой врачъ въ золотыхъ очкахъ весело влетѣлъ въ гостиную и подаль ему карту. Старикъ взялъ карту и ушелъ, не дослушавъ рассказа и продолжая по дорогѣ сочувственно пожимать плечами и съ изумленіемъ предъ человѣческою испорченностью поднимать къ потолку глаза.

Въ залѣ на трехъ ломберныхъ столахъ горѣли свѣчи. Игроки усаживались на мѣста, одушевленные желаніемъ выиграть нѣсколько рублей и скоротать время. Самъ Гранковскій, въ качествѣ хозяина, не сѣлъ за карты, да онъ и не любилъ картъ. Постоявъ въ залѣ и видя, что все идетъ, какъ должно идти и какъ оно бываетъ у старшаго врача, у зрителя, эконома и у каждаго ординатора, онъ съ облегченной совѣстью удался въ кабинетъ, гдѣ тоже сидѣли гости. Тутъ былъ Вася Рѣзниковъ и разговаривалъ съ Никодимомъ Павловичемъ.

— Я забылъ тебѣ сказать, Федюха, — началъ Рѣзниковъ: — интересная и важная для меня новость: сегодня изъ министерства получена бумага. Поздравь, я утвержденъ экстра-ординарнымъ.

— Душевно поздравляю!—сказалъ Ѳеодоръ Игнатьичъ и поцѣловалъ Васю. — Скажи, пожалуйста, какой ты счастливеецъ! Обогналъ же ты меня! Мнѣ еще, пожалуй, лѣтъ пять придется биться. Докторскій экзаменъ отниметъ годъ.

— Я со скамьи держалъ на доктора медицины,—съ улыбкой произнесъ Рѣзниковъ, обращаясь къ Никодиму Павловичу. — Жизнь коротка; чтѣ дѣлать, надо сгѣшнить! Вотъ теперь слѣдуетъ обстановку завести. Нашъ братъ, гинекологъ, долженъ быть обставленъ, что называется, скюперъ-шикъ.

— У тебя, Вася, будетъ огромная практика. Ты бабникъ. Рѣзниковъ засмѣялся.

— Надѣюсь, что Ворошилинъ и Ганлейеръ не поблагодарятъ министерство, хотъ Ворошилинъ и хлопоталъ за меня. Чтѣ, докторскія дамы, которыя тамъ сидятъ, уроды?

— Поди посмотри.

— Нѣтъ, кромѣ шутокъ?

— Да пойдѣмъ, я тебя представлю. А вы, Никодимъ Павловичъ?

— А я сейчасъ выкурю сигару.

Никодимъ Павловичъ остался одинъ въ кабинетѣ. На его лицѣ застыло неудовольствіе, которое возбуждалъ въ немъ видъ счастливаго, волосатаго, краснощекаго и безцеремоннаго Васи Рѣзникова. Онъ вспомнилъ, что нѣсколько дней тому назадъ, когда везъ изъ своей конторы бумаги въ отдѣленіе государственнаго банка, онъ видѣлъ Раису Николаевну на бульварѣ съ Рѣзниковымъ. Гримаса неудовольствія еще рѣзче обозначилась на большомъ бритомъ лицѣ Никодима Павловича.

Кончивъ курить, Никодимъ Павловичъ отправился въ гостиную.

— Никодимъ Павловичъ, вотъ Жюли скучаетъ безъ васъ,—тихо сказала ему Раиса и такъ хорошо улыбнулась, что Никодимъ Павловичъ почувствовалъ себя обязаннымъ развлечь Жюли.

Рѣзниковъ застѣнчиво смотрѣлъ на молоденькую Бояринову. Ѳеодоръ Игнатьичъ шопотомъ разговаривалъ съ Варварой Тихоновной, которая только-что пріѣхала изъ своей усадьбы, и раскраснѣвшееся отъ холода лицо ея еще не успѣло поблѣднѣть. Она не долго была въ гостинной и ушла хозяйничать вмѣсто падчерицы. Раиса согласилась утромъ, что въ ея положеніи было бы вредно хлопотать и суетиться. Но теперь, при видѣ шашап, она ревниво подумала о своей столовой и проводила Варвару Тихоновну тревожнымъ взглядомъ. Ѳеодоръ Игнатьичъ понялъ этотъ взглядъ и прошепталъ изъ другого угла гостиной, чуть слышно

шевели улыбающимися губами: „ничего, Раекъ!“ Онъ всталъ и перешелъ въ залу.

Рѣзниковъ догналъ его. Взявъ пріятеля подъ руку, онъ тихо спросилъ:

— А что Раиса Николаевна?.. кажется?..

— Да, да. Это ужъ несомнѣнно.

Подводя Рѣзникова къ окну, за круглую горку съ цвѣтами, Ѳедоръ Игнатьичъ продолжалъ:

— Меня, Вася, это и радуетъ, и тревожить. Матери всего восемнадцатый годъ!

— Тебѣ слѣдуетъ посоветоваться съ Ворошилинымъ. Впрочемъ и я кое-что смеаю.

Ѳедоръ Игнатьичъ вѣжливо пожалъ руку пріятелю.

Отъ времени до времени докторъ, играющіе въ карты, разражались смѣхомъ по поводу ремиза или шлема. Молоденькій врачъ въ золотыхъ очкахъ, получивъ чудесныя карты, радостно затопалъ ногами и вскричалъ:

— Вотъ я васъ!

Онъ объявилъ большую игру и остался безъ двухъ. Это несчастье было встрѣчено оглушительнымъ ржаніемъ партнеровъ, откинувшихъ назадъ головы съ раскрытыми счастливыми ртами.

Въ гостиной дамы ѣли фрукты и варенья. Никодимъ Павловичъ внимательно смотрѣлъ на Жюли, которая допрашивала его, почему Бэконъ былъ взятчикомъ, и можетъ ли уживаться въ душѣ высокое рядомъ съ низкимъ.

— Я не постигаю этого! — говорила она съ искреннимъ огорченіемъ и почти со слезами на глазахъ.

Рѣзниковъ вернулся въ гостиную, и черноглазая Бояринова стала рассказывать ему анекдотъ. Это былъ новый анекдотъ. Но память опять измѣнила ей, и такъ какъ анекдотъ долженъ былъ быть въ высшей степени смѣшной, то она расхохоталась. Рѣзниковъ вторилъ ей, любуясь ея свѣжимъ лицомъ и въ то же время думая: „Ну, козочка, ты глупа, съ тобой разговаривать долго не придется“.

Въ двѣнадцать часовъ гости были приглашены въ столовую. Длинный столъ сверкалъ граненымъ хрусталемъ и серебромъ, которое получила Раиса въ приданое. Нѣкоторые доктора посмотрѣли съ полузавистливой улыбкой на эту обстановку и подумали: „Ишь, у него и серебро“.

Жена старшаго врача стала ѣсть съ такимъ выраженіемъ, какъ будто хотѣла сказать: „Ну, попробуемъ, какъ ѣдятъ мои подчиненные. А вѣдь, право, не дурно. А между тѣмъ Гран-

ковскій взяткъ не беретъ". Это выраженіе нѣкотораго изумленія не сходило съ лица больничной генеральши до конца ужина. Другіе гости относились къ ужину непосредственнѣе. Они много ѣли, пили, хохотали, спорили, съ какой карты надо было идти, и передавали другъ другу закуски и вина. Хохотунья Бояринова сидѣла между мужемъ и Рѣзниковымъ. Всѣ уже узнали, что Рѣзниковъ назначенъ профессоромъ, и Бояринову было пріятно, что молодой профессоръ оказываетъ вниманіе его супругѣ.

Раиса была сегодня блѣдна. Она устала и хранила молчаніе, иногда только любезно улыбаясь и приглашая гостей побольше кушать. Ѳеодоръ Игнатьичъ наблюдалъ гостей и посматривалъ на блѣдную жену свою, душевно желая, чтобы скорѣй кончился этотъ надоѣвшій ему пиръ.

Но послѣ ужина врачи уѣхали не сейчасъ. На двухъ столахъ доканчивали игру, на третьемъ рассчитывались. Ѳеодору Игнатьичу за шесть талій картъ положили на подсвѣчникъ двѣнадцать рублей.

— Вотъ, коллега, получите.

Онъ покраснѣлъ, но вспомнилъ, что эти деньги составляютъ во всѣхъ докторскихъ домахъ, гдѣ онъ бывалъ на карточныхъ вечерахъ, доходъ хозяина. Больничный экономъ ухитрился даже извлекать порядочную прибыль изъ своихъ карточныхъ вечеровъ. Чтобы не обидѣть товарищей, Гранковскій взялъ деньги, но отнесъ ихъ въ столовую и торопливо отдалъ Варѣ.

XXXVI.

По уходѣ гостей, Ѳеодоръ Игнатьичъ сказалъ себѣ:

„Все это ужасно пошло. Есть вещи, которыя обязательны, а воротятъ душу. Бѣдная Раиса какъ устала! Слушать глупости нашихъ дамъ цѣлый вечеръ, воля ваша! Она заснула, какъ ребенокъ, едва успѣвъ раздѣться. А вотъ я не могу спать... Неужели пройдетъ нѣсколько лѣтъ, и я превращусь въ одного изъ коллегъ? Милая перспектива! Нѣтъ, поскорѣй надо вырваться изъ этой среды!“

Гранковскій въ мягкихъ туфляхъ прошелся по кабинету, заложивъ руки за спину.

„Вѣдь, въ сущности же, ни одинъ изъ моихъ коллегъ не можетъ назваться въ полномъ смыслѣ человекомъ,—брезгливо продолжалъ Ѳеодоръ Игнатьичъ.—Жабровскій беретъ съ больныхъ взятки; а когда его уличили въ этомъ, никто, кромѣ меня, не

отвернулся отъ Жабровскаго. Доктора отапливаются больничными дровами, а больнымъ не хватаетъ дровъ, и они забнутъ. Да всѣ воруютъ—можетъ быть, одинъ Бояриновъ чистъ. Эхъ, омерзительная бѣдность!”

Было уже два часа. Оедоръ Игнатьичъ долго еще разсуждалъ въ этомъ направленіи. Онъ перебиралъ въ своемъ умѣ способы избавиться отъ больницы и ея дрызгъ, и отъ этихъ товарищескихъ отношеній съ людьми, которыхъ онъ почти всѣхъ презираетъ. Онъ чувствовалъ, что его унижаетъ якшаніе съ этими людьми, и онъ радъ былъ, что Раиса скоро заснула, и онъ не видѣлъ укора въ ея взглядѣ. А завтра утромъ Раиса, навѣрно, если не укоризненно, то насмѣшливо посмотритъ на него.

— А я баклушничаяю!—громко сказалъ онъ.—Вася Рѣзниковъ уже профессоромъ, а я едва ординаторомъ въ богоугодномъ заведеніи!

Еще разъ пройдясь по кабинету, онъ сказалъ себѣ:

„Нѣтъ, рѣшено! не буду тратить золотого времени! За границу потомъ, а теперь — Раиса хорошо совѣтуетъ — въ Петербургъ! Тамъ докторскій экзаменъ, диссертация о резекціи голеностопнаго сочлененія, рядъ блестящихъ операцій, вступительная лекція—*pro venia legendi*—и хоть приватъ-доцентура на первыхъ порахъ... будутъ другіе интересы и не будетъ этой... *cochonerie*“.

Онъ улыбнулся, вспомнивъ о двѣнадцати рубляхъ, и, взявъ свѣчу, пошелъ въ спальню.

Раиса спала въ той же позѣ, въ какой и заснула—на лѣвомъ боку. Пряди свѣтлыхъ волосъ упали на ея розовое, слегка вспотѣвшее лицо. Она чуть-чуть улыбалась. Видъ красивой, молодой, беременной жены внезапно отогналъ отъ Гранковскаго всѣ непріятныя мысли, навѣяанныя пошлымъ вечеромъ.

„Вотъ родится сынъ, пойдутъ новыя заботы и радости, жизнь наполнится еще больше... какой мнѣ среды еще надо!“

Онъ осторожно легъ въ постель и затушилъ свѣчу.

„Среда, четвергъ,—думалъ онъ.—Четвергъ, засѣданіе общества врачей. Сдѣлаю докладъ о неудовлетворительности способа Гютера. Можно иначе перерѣзывать нервы... Раиса тонкая. Она тонкая... тонкая... вотъ она дышетъ... грудь подымается и опускается... разъ, два, три, четыре“...

Онъ сталъ считать число ея дыханій въ минуту, и скоро ему показалось, что онъ чувствуетъ подъ пальцами бѣніе пульса

ея нѣжной теплой руки, и будто сама Раиса смотритъ на него и улыбается своей милой улыбкой.

Когда онъ проснулся, было уже позднее утро. Раиса давно встала и ожидала мужа съ чаемъ въ столовой.

XXXVII.

Прягинъ серьезно поссорился на службѣ. Его патроны ограничили шутивымъ замѣчаніемъ, когда онъ осенью загулялъ и нѣкоторое время не являлся въ контору. Уважали его бухгалтерскія способности и, кромѣ того, онъ былъ вкладчикомъ, и банкирскаго дома, какъ громко называла себя контора Гольденбаха, Антонова и К^о, былъ долженъ своему бухгалтеру до сорока тысячъ. Ссора произошла оттого, что Никодимъ Павловичъ не записалъ въ главную книгу процентныхъ бумагъ, общая сумма которыхъ показалась ему преувеличенною.

— Въ конторѣ никогда не было столько бумагъ, и я боялся сдѣлать ошибку, — проговорилъ Никодимъ Павловичъ въ отвѣтъ на упрекъ Гольденбаха.

— Какъ не было? — закричалъ Гольденбахъ. — Есть! Я вамъ говорю, есть! Вы подозреваете меня — это новость, Никодимъ Павловичъ!

Гольденбахъ былъ худой, съ длиннымъ еврейскимъ носомъ, человѣкъ, съ блѣлой нѣжной кожей, огромными рыжими волосами и воспаленнымъ взглядомъ узенькихъ карихъ глазъ. Онъ былъ одѣтъ по модѣ, и его нервные, съ крючковатыми пальцами, руки перебирали листы главной книги.

— Я не могу, я отказываюсь понимать ваши поступки! — продолжалъ горячиться Гольденбахъ. — Вы работали у папаша, вы столько лѣтъ работаете у меня, и вдругъ я вижу, что вы — мой врагъ. Какъ это случилось, я не могу, я отказываюсь понимать! — повторилъ Гольденбахъ и заломилъ руки. — Хорошо, вамъ не угодно занести въ книгу?

— Въ свою очередь, я тоже отказываюсь понимать... — сказалъ Прягинъ: — я сейчасъ же занесу въ книгу желательную вамъ цифру, если вы позволите мнѣ только взглянуть на оправдательные документы.

— Этого никогда не будетъ! — вскричалъ Гольденбахъ.

— Не изъ каприза я такъ остороженъ, а по долгу службы.

— Да у кого же вы служите, батенька?

— У васъ, и вы можете уволить меня. Другой бухгалтеръ будетъ сговорчивѣе.

— Послушайте, Никодимъ Павловичъ, скажите мнѣ откровенно: вы оттого мнѣ врагъ, что нашли себѣ другое мѣсто? Васъ приглашаютъ на болѣе выгодныя условія?

— Ну, что за слова! Врагъ! Какой я врагъ! Въ конторѣ имѣются вѣдь и мои деньги. Думаю, что вы рискуете, и такъ какъ, въ случаѣ неудачи, за этотъ рискъ придется отвѣчать и мнѣ, какъ бухгалтеру, то согласитесь сами...

— Я самъ впишу въ книгу!

— Нѣтъ, я этого не позволю.

— Вы?

— Да, я.

Гольденбахъ покраснѣлъ и нѣсколько мгновений съ ненавистью смотрѣлъ на Прягина, потомъ молча повернулся и ушелъ. Явился Антоновъ.

— Что это, Никодимъ Павловичъ, вы ссоритесь съ Самуиломъ Аванасьевичемъ? — началъ съ улыбкой другой хозяинъ конторы.

Прягинъ объяснилъ, въ чемъ дѣло.

— Отчего же, Никодимъ Павловичъ, и не поступить по его желанію? У него есть на этотъ счетъ свои соображенія, Никодимъ Павловичъ. Онъ человѣкъ горячій, но толковый, и напрасно ничего не дѣлаетъ. Такъ надо, и, слѣдовательно, нечего разсуждать. Зачѣмъ тормозить машину?

— Андрей Егоровичъ, помните, какую путаницу завелъ Самуиль Аванасьевичъ въ фондовомъ отдѣленіи? Кто тогда спасъ контору? По моему, теперь грозить опасность еще худшая...

— Ахъ, Никодимъ Павловичъ, Никодимъ Павловичъ, много вы берете на себя!

— Какъ вамъ угодно, Андрей Егоровичъ. Если не будетъ въ дѣлахъ аккуратности, то легко дойти до скамьи подсудимыхъ.

— Не ссорьтесь, Никодимъ Павловичъ, помиритесь съ Самуиломъ Аванасьевичемъ!

— Самуиль Аванасьевичъ щенокъ, и ему слѣдовало бы слушаться меня и не говорить мнѣ дерзостей.

— Темпераментъ, Никодимъ Павловичъ...

— Вотъ то-то и есть, что темпераментъ. Ему все мало. Его обуздывать надо, а вы ему потворствуете... Нѣтъ, ужъ найдите себѣ, господа, другого бухгалтера.

Антоновъ ушелъ отъ бухгалтера ни съ чѣмъ. Никодимъ Павловичъ получилъ черезъ два часа предложеніе оставить бан-

кирскій домъ. Онъ сдалъ помощнику дѣла и книги и, подавъ заявленіе о выдачѣ ему его велада, поѣхалъ домой. Вечеромъ къ нему пріѣхалъ Антоновъ.

Благодушно улыбаясь, Антоновъ протянулъ обѣ руки Никодиму Павловичу и началъ своимъ мягкимъ голосомъ:

— Ну, вотъ, ну, къ чему это, Никодимъ Павловичъ? Столько лѣтъ! Намъ не подобаешь ссориться! Время теперь трудное и горячее. Начнется подписка на новый заемъ... Нѣтъ, мы цѣнимъ васъ, цѣнимъ, Никодимъ Павловичъ. Вѣдь вы не только бухгалтеръ, Никодимъ Павловичъ, но и нашъ совѣтникъ, нашъ другъ. Полноте, Никодимъ Павловичъ, полноте, Никодимъ Павловичъ!

— Да я чтѣ... — отвѣчалъ Прягинъ. — Очень радъ. Слѣдовало бы только обдуманнѣе удалить меня. Вотъ вы говорите, что я другъ, а Самуилъ Аванасьевичъ увѣрялъ, что я врагъ. А я, Андрей Егоровичъ, дѣйствительно, опять могу быть полезенъ конторѣ, но съ однимъ условіемъ: никакихъ тайнъ.

— Никодимъ Павловичъ, ахъ, Никодимъ Павловичъ! Что же это... вы хотите быть компаньономъ?

Прягинъ потупилъ глаза, прошелся по комнатѣ и сказалъ:

— Да, я желаю быть компаньономъ.

— Фактически вы, Никодимъ Павловичъ, компаньонъ.

— Хорошъ компаньонъ, котораго прогоняютъ, какъ лакея!

— Нѣтъ, Никодимъ Павловичъ, на это Самуилъ Аванасьевичъ не согласится. Онъ и безъ того тяготеетъ участіемъ зятя, да и я ему тяжелъ.

— Хорошо, мы заключимъ условіе, въ которомъ будутъ оговорены мои права, какъ бухгалтера.

— Никодимъ Павловичъ, не раздражайте Самуила Аванасьевича.

— А Богъ съ нимъ. Если это его раздражить, такъ я со всѣмъ не хочу.

— Никодимъ Павловичъ! Нашъ безцѣнный Никодимъ Павловичъ! Подумайте, Никодимъ Павловичъ!

— Не хочу!

Наступило молчаніе. Прягинъ ходилъ по своей библіотекѣ. Антоновъ, просительно улыбаясь, грѣлъ возлѣ камина свои толстыя руки и смотрѣлъ на Прягина.

— Я привезъ вамъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ, — началъ Антоновъ. — Онѣ у меня въ портфелѣ. Прикажете?

Онъ пошелъ за портфелемъ, открылъ его и положилъ облигаціи на столъ. Никодимъ Павловичъ посмотрѣлъ на расчетный листокъ и внимательно пересчиталъ бумаги.

На другой день, часовъ въ двѣнадцать, громкій звонокъ огласилъ квартиру Прягина. Вошелъ или, вѣрнѣе, вбѣжалъ Гольденбахъ, худой и вертлявый, и бросился къ Никодиму Павловичу.

— Ну, какъ же можно! Батенька, что вы со мною дѣлаете!?

Онъ весело смотрѣлъ въ глаза своему бухгалтеру, откинувши худенькое тѣло и протянувъ впередъ цѣпкія руки.

— Отчего давно не сказали вы мнѣ этого? — продолжалъ Гольденбахъ: — отчего умалчивали вы объ этомъ вашемъ желаніи? Никодимъ Павловичъ, такъ друзья, такъ порядочные люди не поступаютъ. Вы, значить, давно задумывали вашу мысль, а?

— О чемъ вы говорите, Самуилъ Аванасьевичъ, какую мысль?

— Какую мысль! Онъ еще спрашиваетъ! Нѣтъ, вы серьезно уже забыли, что вы именно говорили вчера Антонову?

— Насчетъ товарищества?

— Ну да! Наконецъ, вспомнили! Послушайте, Никодимъ Павловичъ, это все можно будетъ сдѣлать. Я спрошу компаньоновъ, и тогда останется исполнить только формальную сторону. Забудьте же, прошу васъ, всѣ мои горячія слова, и поѣдемъ сейчасъ въ контору! Я прошу у васъ извиненія! Слышите, я!

Никодимъ Павловичъ поклонился.

— Кажется, этого довольно, — продолжалъ Гольденбахъ.

— Сказать вамъ, Самуилъ Аванасьевичъ, правду? — произнесъ Никодимъ Павловичъ, надѣвая шубу и выходя съ патрономъ изъ квартиры. — Разумѣется, я вамъ это скажу въ полголоса... Мнѣ думается, что дѣла нашей конторы вовсе не такъ блестящи, и, пожалуй, мы наканунѣ серьезныхъ затрудненій.

Гольденбахъ отпрануль отъ Никодима Павловича на площадку лѣстницы и въ профиль, однимъ глазомъ, по-птичьи смотрѣлъ на него. Лицо Гольденбаха было блѣдно.

— Вы не могли ничего услышать, — сердито сказалъ онъ.

— Слава Богу, до слуховъ еще далеко.

Они сошли по лѣстницѣ и сѣли въ экипажъ.

— Захватили вы съ собой ваши облигаціи? — небрежно спросилъ по дорогѣ Гольденбахъ.

— Да, захватилъ.

Прошло двѣ недѣли, и на вывѣсѣ, которая была прибита на домѣ банкирской конторы, появилась видоизмѣненная надпись: „Гольденбахъ, Антоновъ, Прягинъ и К^о“. Ссора бухгалтера съ патронами послужила къ его возвышенію. Но онъ долго не зналъ, хорошо ли это, или худо: цѣлый мѣсяцъ дѣла фирмы висѣли на

волосѣхъ. Въ особенности сѣверны стали они послѣ краха одного провинціального банка.

Никодимъ Павловичъ работалъ въ конторѣ день и ночь, посылалъ и получалъ телеграммы и, наконецъ, добился ссуды изъ центрального учетнаго банка.

Фирма вздохнула свободнѣе, ей вдругъ повезло съ сахарными авціями, и репутація Никодима Павловича, какъ свѣтлой головы и дѣльца, навсегда упрочилась въ томъ особомъ мірѣ, въ которомъ вращались разныя Гольденбахи.

XXXVIII.

— Милый, какъ быстро летитъ время! Давно ли снѣгъ еще лежалъ на улицахъ, а посмотри теперь: снѣгъ сошелъ, земля высохла, и скоро зазеленѣютъ деревья. Отчего мнѣ грустно, Одея?

— Тебѣ нечего беспокоиться, Райса. Это бываетъ со всякой женщиной, и онѣ выходятъ замужъ для того, чтобы... *pour être mère!*

Отедоръ Игнатьичъ тихонько пожалъ руку женѣ, а самъ отвернулся, чтобы скрыть безотчетную тревогу, которая, онъ зналъ, все это время выражается въ его глазахъ.

— Что, если, Одея, я умру? Знаешь, я стала бояться смерти! Право, Одея, вчера и сегодня мысль о смерти не даетъ мнѣ покоя. Вѣдь я еще молода, чего-жъ я боюсь смерти? Прежде я никогда не думала о смерти. А то, представь, вхожу вечеромъ въ спальню и безъ всякой причины стала дрожать. Смотрю, Одея, а въ углу что-то дымчатое. Мнѣ показалось, что оно съ лицомъ, и манить меня къ себѣ, и говорить. Я чуть не закричала. Но подошла — ничего нѣтъ. А страшно все-таки было невыразимо, и я боялась оглянуться. Все казалось, будто стоитъ кто-то за спиной и тихо дышетъ. Одея, согласишься самъ, вѣдь что-то есть. Что, если это не къ добру, cher Одея?

Она улыбнулась, и слезы текли изъ ея глазъ. Отедоръ Игнатьичъ сталъ цѣловать ея руки и голову и смѣяться надъ ея дѣтскимъ страхомъ, хотя рассказъ жены тронулъ какую-то больную струну въ его душѣ, и его добрые глаза еще безпокойнѣе забѣгали при видѣ слезъ жены.

Этотъ разговоръ происходилъ въ половинѣ апрѣля мѣсяца, наканунѣ Свѣтлаго праздника. Солнечный свѣтъ весело вливался въ окна докторскаго домика, и въ раскрытыя форточки влеталъ свѣжій весенній воздухъ, навѣвая мысль о просторѣ полей, о

половодьѣ, о жизни, которая проснулась тамъ, гдѣ-то, за городомъ, и бьетъ крылами, и ликуеть, и поетъ, и звенить, новая, радостная, торжествующая.

— Одея, ты вотъ не позволилъ мнѣ ничего особеннаго дѣлать въ праздникъ, и, можетъ быть, отъ этого мнѣ скучно. Но глупыя слезы прошли. Я не умру! Я буду еще долго жить и мучить тебя. Сколько разъ я говорила тебѣ, что я несносная!

— Повѣрь, Раекъ, что Кузьмичъ устроить все, чтò нужно къ столу и безъ тебя, а ты бы только помѣшала ему. А чтобы ты не скучала, поѣдемъ вмѣстѣ на Почаевскій проспектъ. Надо купить людямъ подарѣи.

— Я уже купила,—сказала Раиса.

— Въ такомъ случаѣ, просто прокатимся.

— Нѣтъ, не хочется.

Раиса сидѣла въ креслѣ, поставивъ ноги на бархатную скамейку. Она повернула голову и смотрѣла въ окно задумчивымъ и въ то же время разсѣяннымъ, какимъ-то страннымъ, взглядомъ. Въ послѣднее время ея талія сильно располнѣла, и ей трудно было держаться прямо даже въ креслѣ.

— Одея, чтò, если я рожу двоихъ? — спросила она, вдругъ, съ улыбкой.

— Не думай объ этомъ, Раекъ.

— Но это было бы смѣшно, Одея.

Раиса стала смѣяться и потомъ опять задумалась, вся то-и-дѣло инстинктивно уходя въ созерцаніе новой, еще не родившейся жизни, носительницей которой она была теперь. Какъ эта ранняя ясная весна хранила въ себѣ быстро развивающійся зародышъ жизни, и всюду взбухала почка, готовая развернуть пышный, сочный листъ и благоухающій цвѣтокъ, такъ и эта молодая женщина должна была дать жизнь новому существу, которое присоединило бы свой слабый крикъ къ общему ликоваванію и со временемъ развернуло бы свои умственные и физическія силы, и раздуло бы данную ему искру Божію въ красивый и яркій пламень. Душа Раисы сливалась по временамъ съ дремлющею душою будущаго человѣка, котораго она носила подъ своимъ сердцемъ, и вотъ отчего былъ такъ странный взглядъ у Раисы, когда она задумывалась.

— Не почитать ли тебѣ что-нибудь, Раиса? — спросилъ Федоръ Игнатьичъ, желая разсѣять Раису и не понимая хорошенько ея душевнаго состоянія.

— Да,—сказала она, пробуждаясь отъ своей задумчивости и поворачивая къ нему голову.—Почитай.

Онъ взялъ съ этажерки новый французскій романъ, написанный во вкусъ романовъ Золя, однимъ изъ его талантливыхъ учениковъ—Жюлемъ Гримасаномъ. Оедоръ Игнатьичъ купилъ какъ-то нѣсколько книжекъ во французской librairie, потому что ему, какъ медику, понравилось ихъ общее заглавие: „Bibliothèque Naturaliste“. Жюль Гримасанъ писалъ бойко и красиво. Но съ первой же главы Оедоръ Игнатьичъ почувствовалъ, что неловко читать вслухъ чистой женщинѣ о томъ, какъ виконтъ Габріэль заманивалъ въ себѣ хорошенъкихъ мальчиковъ и душилъ ихъ за горло, наслаждаясь видомъ ихъ судорогъ. Романистъ съ наслажденіемъ и въ самыхъ изысканныхъ выраженіяхъ описывалъ, какъ мальчики корчились, „на подобіе обуглившейся бумаги, послѣ того, какъ она сгорѣла на жаровнѣ“. Когда же дошло до описанія мохнатыхъ (velues) ногъ виконта, Оедоръ Игнатьичъ прекратилъ чтеніе и сказалъ:

— Но, однако, мерзость! Вотъ такъ пакостникъ этотъ Жюль Гримасанъ!

Раиса давно не слушала. Она сложила руки на животѣ и смотрѣла вдаль своимъ широко-раскрытымъ взглядомъ.

Оедоръ Игнатьичъ захопнулъ книжку и не оставилъ на этажеркѣ, а вмѣстѣ съ другими такими же книжками отнесъ въ кабинетъ.

„Надо будетъ послать Васѣ Рѣзникову“,—подумалъ онъ.

Изъ кухни доносился стукъ ножей и запахъ пригорѣлаго масла. Въ церквахъ звонили. Оедору Игнатьичу вспомнилось много такихъ страстныхъ субботъ. Мельнули картины дѣтства, когда онъ украдкой отъ гувернера, въ красной шерстяной рубашкѣ, пробирался на кухню и тамъ получалъ отъ повара горсть сладкаго миндаля. Потомъ вспомнилась суббота, когда онъ гимназистомъ пріѣзжалъ домой и, преисполненный дѣтскаго вольномыслія, которымъ заразился въ гимназін, открыто ѣлъ скоромное и пространно доказывалъ, что постная пища вредна. Онъ живо представилъ себѣ свой садъ, по которому онъ бѣгалъ съ братьями и сестрами, когда вотъ точно такъ же ярко свѣтило солнце и пахло весной, а въ воздухѣ разливалась скорбная жалоба деревенскихъ колоколовъ. А та суббота, въ которую онъ пріѣхалъ домой, съ огромной гривой и въ ботфортахъ, и уже не засталъ въ живыхъ отца? Странно, съ того времени прошло не мало лѣтъ, но только теперь онъ понялъ, какъ тогда должно было быть ему грустно и какъ онъ былъ тогда одинокъ. А смерть брата Ефима!..

Онъ торопливо вернулся къ женѣ и, въ порывѣ потребности

заглушить печальныя воспоминанія сознаніемъ, что онъ теперь совсѣмъ, совсѣмъ не одинокъ, упалъ возлѣ нея на колѣни и, глядя ей въ лицо, сталъ цѣловать ея руки.

Она задумчиво улыбалась.

XXXIX.

Федоръ Игнатьичъ заплатилъ губернаторшѣ десять рублей на благотворительность, и имѣлъ право не дѣлать визитовъ. Тѣмъ не менѣе, Раиса Николаевна попросила его побывать кой у кого, и, между прочимъ, у Жюли, у Прягина и, разумѣется, у шашап. Онъ неохотно уѣхалъ изъ дому. Теперь онъ все время проводилъ бы дома; хотя онъ всегда любилъ жену, но съ нѣкоторыхъ поръ его чувство къ ней стало не только глубже, но и эгоистичнѣе. Онъ сидѣлъ на дрожжахъ, встрѣчаясь съ празднично-настроенными и пьяными господами, и думалъ все о Раисѣ, объ ея предчувствіи смерти и о томъ, что онъ не переживетъ... чего или кого, его мысль не досказывала. Онъ вздрагивалъ и старался какъ можно разсѣяннѣе смотрѣть по сторонамъ.

Жюли встрѣтила его веселымъ восклицаніемъ. Она подала ему руку и стала искать на его лицѣ признаковъ радостныхъ или грустныхъ свѣденій о Раисѣ.

— Раиса... malade? — нерѣшительно спросила она, замѣчая на лицѣ Федора Игнатьича какія-то тѣни.

— Нѣтъ, она здорова, — отвѣчалъ Граневскій. — Вѣдь я иначе не побѣжалъ бы къ вамъ. Но это правда, она теперь въ особенномъ настроеніи, которое можно назвать болѣзненнымъ. Она сидитъ по цѣлымъ часамъ и глядитъ, глядитъ... Боится чего-то. Мнѣ кажется, что вы повліяли на нее — напримѣръ, возили Раису къ Евѣимію... а?

Въ отвѣтъ Жюли сказала, что Евѣимій вреда сдѣлать не можетъ, что онъ человѣкъ святой, и что нечего тревожиться за Раису, если только она здорова физически. Но Федору Игнатьичу стало вдругъ казаться, что тяжелое душевное состояніе его жены именно началось съ Евѣимія. Онъ вспомнилъ, какъ тогда плакала Раиса и говорила ему, что обманываетъ его. Онъ невольно враждебно посмотрѣлъ на дочь генерала Платонова, и она испугалась и покраснѣла.

— Федоръ Игнатьичъ! — по-своему заговорила она: — не хорошо, что вы такой атеистъ. Религія не можетъ повліять дурно на вѣрующую душу. Вы читали „Критику чистаго разума“? Кантъ

доказываетъ, что нѣтъ Бога, но онъ доказываетъ и противное... Нѣтъ, Богъ есть, Онъ существуетъ! Ахъ, я въ этомъ такъ увѣрена!

— Но зачѣмъ же Бога смѣшивать съ какимъ-то Евониміемъ? — сказалъ Ѳеодоръ Игнатьичъ и, взглянувъ на столъ, на которомъ стояли куличи и бабы, осыпанные сахарнымъ бисеромъ, — прибавилъ:—Вѣдь неужели и *это* религія?

Жюли не разслышала, что говорить Ѳеодоръ Игнатьичъ; но, по выраженію его засмѣявшихся глазъ, она заключила, что докторъ кощунствуетъ. Жюли въ волненіи встала, посмотрѣла въ уголокъ на иконы, какъ бы прося небеса простить этого хорошаго грѣшника, и молча стала нарѣзывать какого-то особеннаго кулича, чтобы угостить гостя.

А докторъ, предложивъ свои вопросы, сидѣлъ на стулѣ и въ душѣ подтрунивалъ надъ собою. „Это во мнѣ еще гимназическій бѣсъ отрицанія не выдохся. Зачѣмъ я завожу эти разговоры? Но зачѣмъ же эта бѣдная Жюли, косноязычная и глупая, портить мою милую и умную Райсу?“

Онъ сѣлъ ломтикъ особеннаго кулича и сталъ прощаться. Жюли извинялась, что не могла долго, цѣлую недѣлю, быть у Райсы — она говѣла и пекла куличи; а теперь она непременно прійдетъ къ ней и не позволитъ ей скучать и задумываться...

— Ахъ, пожалуйста, какъ можно чаще пріѣзжайте къ Райсѣ! — сказалъ Ѳеодоръ Игнатьичъ и затѣмъ прибавилъ со смѣхомъ:—но только ужъ въ лавру больше не возите.

Ѳеодоръ Игнатьичъ отправился къ Варварѣ Тихоновнѣ. Она холодно поцѣловала Ѳедора Игнатьича.

— Что, Райса здорова?

— Благодарю васъ. А вы, тамап?

— Мнѣ чтѣ! Я каменная.

Гранковскій посмотрѣлъ на тамап. Она какъ-то помолодѣла, у нея ожили глаза, и ихъ выраженіе обличало, что полная дама живетъ счастливою, себялюбивою жизнью: вкусно и много ѣсть, долго спитъ, ни о чемъ не заботится и если грѣшитъ, то безъ всякихъ угрызений совѣсти. Можетъ быть, иногда она и всплакнетъ, но единственно для удовольствія. Щеки у нея были розовыя, подбородокъ изъ двойного превращался уже въ тройной. „Да, каменная“, — подумалъ Гранковскій.

— Скушайте чего-нибудь, Ѳеодоръ Игнатьичъ, — пригласила она зятя. — Чтѣ новаго у васъ въ городѣ? Расскажите.

— Помилуйте, какія новости! Городъ спитъ круглый годъ, а по праздникамъ пьянствуетъ. Къ тому же, меня занимаетъ

теперь только одна новость—съ нетерпѣніемъ и со страхомъ жду появленія на свѣтъ Ѳеодора Ѳеодоровича.

— Жаль Раису,—сказала Варвара Тихоновна.—Поспѣшили, господа.

Ѳеодоръ Игнатьевичъ ничего не отвѣтилъ.

— Пожалуй, доктора прикажутъ въ деревню ѣхать.

— Да, совѣтуютъ. Но опасно ѣхать въ деревню. Вдругъ понадобится помощь хорошаго акушера. Матап, я думалъ, что Раисѣ всего удобнѣе было бы переѣхать на лѣто къ вамъ. Живете вы за городомъ, чудесный воздухъ...

— А мнѣ куда же дѣться?

Вопросъ Варвары Тихоновны исключалъ возможность дальнѣйшей бесѣды въ этомъ направленіи. Ѳеодоръ Игнатьичъ взглянулъ на тройной подбородокъ матап и сказалъ:

— Конечно, конечно, вы привыкли къ своему углу и вамъ хочется покоя.

— Неужели, Ѳеодоръ Игнатьичъ, я не имѣю права на это маленькое счастье? Развѣ я мало потрудилась для Раисы въ своей жизни? Хоть не родная, но я была ей мать, я ничего не щадила для нея! Неужели она забыла, чѣмъ она мнѣ обязана?

— Матап, мнѣ кажется, что объ этомъ можно не распространяться. Раиса ничего не говорила мнѣ о переѣздѣ сюда, и эта мысль пришла мнѣ сейчасъ.

— Да, да, очень жалю, что принуждена отелонить... Всѣ, Ѳеодоръ Игнатьичъ, даже звѣри, имѣютъ свое логовище!..

— Матап, я чувствую себя ужаснѣйшимъ эгоистомъ... Пожалуйста, успокойтесь.

Варвара Тихоновна глубоко вздохнула. Въ сосѣдней комнатѣ послышался басистый кашель.

— Это псаломщикъ, Елисей Ивановичъ,—пояснила Варвара Тихоновна.—Пришелъ поздравить, и я приказала покормить его. Очень хорошій молодой человѣкъ! — заключила она съ новымъ вздохомъ

— Ну, до свиданія, матап. Я передамъ Раисѣ, что вы ее цѣлуете.

— До свиданія, Ѳеодоръ Игнатьичъ. Разумѣется, передайте. Я приѣду къ ней сама... Такъ ужъ пожалуйста, Ѳеодоръ Игнатьичъ, не сердитесь. У васъ у самого есть усадьба. Повѣрьте, что Раиса не чувствовала бы себя хорошо у меня...

— Матап, это весьма возможно.

Выходя, Ѳеодоръ Игнатьичъ посмотрѣлъ на безлистный садъ, по дорожкамъ котораго онъ еще такъ недавно ходилъ и бѣгалъ

съ своей Райсой. Садъ былъ неподвиженъ, и только перепархивали съ вѣтки на вѣтѣу, радостно чирикавъ, задорныя птички, да слышно было, какъ гдѣ-то шумятъ вѣтныя ручки. Сырой вѣтеръ дулъ въ лицо. На спускѣ Ѳеодоръ Игнатьичъ вспомнилъ встрѣчу свою съ невѣстой, когда она возвращалась вмѣстѣ съ мачихой изъ магазиновъ и фэзтонъ былъ нагруженъ покупками. Райса выскочила къ нему изъ экипажа, и они стали, какъ дѣти, обѣжать на гору: Райса обогнала его и повернула къ нему свое раскраснѣвшееся, торжествующее, милое лицо... Ѳеодоръ Игнатьичъ вздохнулъ. Теперь молодая женщина сидитъ въ своемъ креслѣ или, тяжело переваливаясь съ боку на бокъ, ходитъ по комнатѣ, полная тоски...

Никодима Павловича Гранковскій не засталъ дома. Онъ оставилъ ему карточку и поскорѣе возвратился къ себѣ.

І. Ясинскій.



ЧЕТЫРЕ ЛЕКЦІИ ГЕОРГА БРАНДЕСА

ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ И МОСКВѢ *).

I.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕАЛИЗМЪ У ЭМИЛЯ ЗОЛА.

Какъ прозаикъ, Эмиль Зола слѣдуетъ за Тэномъ. Еще юношею 26 лѣтъ, Зола утверждалъ, что новѣйшая наука—онъ разумѣлъ подъ этимъ физиологію и психологію, исторію и фило-софію—достигла въ историкѣ англійской литературы своего высшаго развитія. Съ точки зрѣнія Зола, въ ту эпоху его жизни, Тэнъ „служитъ полнѣйшимъ выраженіемъ нашей жажды познанія и нашего стремленія къ изслѣдованію“. Другими словами,—для Зола, первымъ современнымъ мыслителемъ, котораго онъ самъ прочелъ и усвоилъ себѣ, былъ—Тэнъ.

Между первичными симпатіями и прирожденными склонностями обоихъ писателей, дѣйствительно, существовала нѣкоторая аналогія. И Зола, и Тэнъ—оба они отдавали предпочтеніе всему, въ чемъ обнаруживалась ширь, богатство, мощь и мужественная отвага. У Тэна преобладаетъ массовое движеніе; Зола любитъ упиваться описаніемъ цвѣтовъ, формъ, зрѣлищъ природы, оргій и сильныхъ порывовъ. Но тотъ фактъ, что у Тэна удѣляется мало мѣста чело-

*) Лекціи были читаны, при посѣщеніи г-мъ Брандесомъ Петербурга и Москвы, зимою нынѣшняго года, на французскомъ языкѣ.

вѣческой волѣ, вызывалъ со стороны Зола, еще при началѣ его дѣятельности, самый страстный, юношескій протестъ. Онъ говорилъ: „если Тэнъ желаетъ сохранить въ поэтѣ и въ художникѣ хоть сколько-нибудь человѣчности, свободной воли (!) и личной инициативы—онъ не долженъ низводить ихъ оцѣнку до математическихъ вычисленій“. Зола также не одобрялъ и другого взгляда у Тэна; въ виду такихъ коллективныхъ работъ человѣчества, какъ египетскія пирамиды или великія народныя поэмы, Тэнъ утверждаетъ, будто выступленіе на сцену индивидуальности, личныхъ, свободныхъ и ничѣмъ не обузданныхъ порывовъ, распатало общественный механизмъ, встѣдствіе чего и всѣ его отдѣльныя части заскрипѣли.

Прошло нѣсколько лѣтъ, и Зола внезапно измѣняетъ свои воззрѣнія, вполне усваиваетъ себѣ тотъ же самый взглядъ на общественный механизмъ, овладѣваетъ даже терминологіею Тэна и отдаетъ предпочтеніе самому смѣлому стилю изъ эпохи юности Тэна. „Тереза Ракэнъ“, у Зола, имѣетъ своимъ девизомъ извѣстныя слова, которыя въ свое время надѣлали столько хлопотъ Тэну: „добродѣтель и порокъ — такіе же продукты, какъ сѣрная кислота и сахаръ“. Въ предисловіи къ „Ругонъ-Маккаръ“, у Зола есть мѣсто, которое, повидимому, является снимкомъ со словъ Тэна: „наслѣдственность имѣетъ свои законы, какъ и тяготѣніе“. — Можетъ ли это быть? — Да, это очень возможно, — только возможно при этомъ встрѣтить также и одно возраженіе, а именно: законы тяготѣнія намъ уже извѣстны, а законовъ наслѣдственности мы почти вовсе не знаемъ. Есть еще оборотъ рѣчи у Зола, который даже огорчилъ того, кто служилъ ему моделью. Зола говоритъ въ одномъ мѣстѣ о тѣхъ усиліяхъ, какія онъ дѣлалъ, чтобы прослѣдить нить, приводящую съ математическою точностью отъ одного человѣка къ другому. Вотъ до какой степени Зола самъ сдѣлался послѣдователемъ той теоріи, которую онъ старался ниспровергнуть.

Между всѣми произведеніями Тэна, ни одно не произвело столь глубокаго впечатлѣнія, какъ его этюдъ о Бальзакѣ; въ Бальзакѣ Зола нашелъ для себя второй великій образецъ. Этотъ этюдъ Тэна въ свое время считался однимъ изъ самыхъ смѣлыхъ литературныхъ подвиговъ. Тэнъ перевернулъ тогда вверхъ дномъ всю литературную іерархію, повсемѣстно утвердившуюся въ ту эпоху, и поставилъ, при помощи рѣзкаго и натянутого сравненія, рядомъ съ Шекспиромъ романиста, значеніе котораго оставалось до того времени спорнымъ. Сверхъ того, Тэнъ обогатилъ литературу однимъ новымъ понятіемъ и ввелъ новый способъ оцѣнки литературнаго

производства, названный имъ самимъ: „документы человѣческой природы“—documents sur la nature humaine. Вотъ подлинныя слова Тэна: „Вмѣстѣ съ Шекспиромъ и Сентъ-Симономъ, Бальзакъ является величайшимъ складомъ тѣхъ документовъ, которыми мы пользуемся для ознакомленія съ человѣческой природой“. Отсюда-то Золя и почерпнулъ свое неточное выраженіе: „человѣческіе документы“—documents humains.

Бальзакъ пустилъ глубокіе корни въ Золя именно вслѣдствіе нѣкотораго соотвѣтствія въ природенныхъ предрасположеніяхъ этихъ обоихъ писателей. Неутомимая настойчивость труженика и громадность работъ особенно плѣняли Золя въ Бальзакѣ. Онъ находилъ въ немъ, кромѣ того, тонкое чутье ко всему современному: Бальзакъ, дѣйствительно, былъ поэтомъ своей эпохи. Золя признавалъ въ немъ вкусъ ко всему реальному: Бальзакъ, дѣйствительно, никогда не имѣлъ въ виду украшенія реального міра. Золя встрѣтилъ въ немъ, наконецъ, способность обнимать широкіе горизонты—стремленіе къ соединенію всѣхъ своихъ романовъ, съ отдѣльными сюжетами, въ одно большое цѣлое. У Тэна Бальзакъ является въ первый разъ вполне оцѣненнымъ, и такая оцѣнка, естественно, возбудила въ Золя смѣлость и самонадѣянность.

Наконецъ, у Тэна встрѣтилъ Золя и особую теорію искусства, которая удовлетворяла его вполне. Это была собственно старая теорія нѣмецкой эстетики, но очищенная отъ всякой метафизики—теорія, утверждавшая цѣлью всякаго художественнаго произведенія умѣнье отыскивать въ предметахъ ихъ выдающіяся и существенныя черты, преобладающую идею, и искусство выразить все это болѣе ясно и болѣе полно, нежели то могутъ сами наблюдаемые субъекты. Такое опредѣленіе задачъ искусства удовлетворяло одновременно какъ склонность Золя къ реальному, такъ и его идею о личной инициативѣ въ искусствѣ. Вотъ его собственныя слова: „художественное произведеніе есть частица міротворенія, усмотрѣнная сквозь темпераментъ художника“. Позже, когда Золя увлекся словомъ: „натурализмъ“, онъ замѣнилъ богословскій терминъ: „міротвореніе“—языческимъ словомъ: „природа“.

Такое опредѣленіе, какъ оно ни ново и какъ ни заманчиво по самой своей простотѣ, все-таки не настолько еще позитивно, чтобы можно было при его помощи совсѣмъ изгнать искусство, вовсе отрицаемое приверженцами натурализма. „Темпераментъ“ все-таки обозначаетъ нѣчто въ родѣ природенной своеобразной силы. Такимъ образомъ, вопросъ долженъ быть поставленъ иначе:

въ какой степени эта своеобразность видоизмѣняетъ то, что сначала у Золя было названо „міротвореніемъ“, а позже — „природою“? На слово: „природа“ — Золя налегаль особенно, и впослѣдствіи усвоилъ себѣ названіе натуралиста, по своему объекту, а не „персоналиста“, какъ то слѣдовало бы съ точки зрѣнія „темперамента“.

Оставалось рѣшить еще одинъ вопросъ: объектъ, заимствованный изъ „природы“ и видоизмѣненный „темпераментомъ“ писателя, остается ли этотъ объектъ по прежнему природой, то-есть: такою же природой — для другихъ, и въ какомъ случаѣ такая видоизмѣненная темпераментомъ природа перестаетъ быть природой? Когда я рисую нагого человѣка, я вѣдь рисую природу. Когда я изображаю горный пейзажъ, я рисую также природу. Но когда я рисую Прометея нагимъ и прикованнымъ къ скалѣ, — будетъ ли это природа, или нѣтъ? Когда я рисую скелетъ, я рисую природу, а когда я рисую смерть въ формѣ скелета — будетъ ли это также природа? Въ какомъ же случаѣ видоизмѣненіе природы не можетъ быть допускаемо? Очевидно, что одного шага слишкомъ достаточно для того, чтобы превратить всякую природу въ фантазію. Самъ Золя борется непрерывно противъ историческаго искусства, а между тѣмъ онъ упускаетъ совершенно изъ виду фантастическое искусство.

Вотъ какъ разсуждаетъ самъ Золя. Всѣ старые принципы, какъ принципъ классическій, такъ и принципъ романтическій, — оба они построены на обдѣлѣ природы, на систематическомъ урѣзываніи истины. Обыкновенно всѣ отправлялись изъ такой точки зрѣнія, какъ будто истина, взятая сама по себѣ, недостойна насъ, и достигнуть высоты поэзіи нельзя иначе, какъ подъ условіемъ очищенія, урѣзокъ, дополненій и украшеній природы. Различныя школы боролись между собою, чтобы рѣшить вопросъ: какъ слѣдуетъ облекать истину? Классики предпочитали древній костюмъ; романтики произвели революцію въ поэзіи, введя костюмъ феодальный. Но всѣмъ имъ на смѣну явились натуралисты и объявили, что истина можетъ ходить нагою и не нуждается ни въ какой драпировкѣ.

Но теперь для насъ весьма важно знать — не очищаетъ ли, не урѣзываетъ ли и не дополняетъ ли природу также и то, что нынѣ называютъ „темпераментомъ“, точно такъ, какъ прежде это дѣлалъ вкусъ у классиковъ и воображеніе у романтиковъ; и не приходится ли современному натуралисту, при помощи своего „темперамента“, точно также драпировать истину, подобно классикамъ и романтикамъ?

Спрашивается: можетъ ли самъ натурализмъ обойтись безъ того, чтобы не видоизмѣнять реальнаго? А Золя, благодаря своей собственной природѣ, претендуетъ еще и на то, что онъ, кромѣ того, освѣщаетъ все, о чемъ ни говорить, своимъ личнымъ, яркимъ свѣтомъ.

Превосходство натурализма предъ историческимъ искусствомъ состоитъ развѣ только въ томъ, что натурализмъ, изображающій современную эпоху, имѣетъ тысячи случаевъ пользоваться живыми моделями, между тѣмъ какъ историческій поэтъ осужденъ сдѣлать выборъ между современникомъ и манекеномъ, если бы онъ пожелалъ намъ изобразить героя въ древнемъ костюмѣ. Кто-то изъ поэтовъ весьма справедливо сравнивалъ современнаго художника съ Одиссеемъ, сошедшимъ въ адъ. Встрѣчая тѣни, Одиссей долженъ былъ давать имъ пить кровь, чтобы получить отвѣтъ на свои вопросы. Модель, это—кровь реализма, безъ которой продуктъ воображенія останется безжизненнымъ.

Есть, однако, модель, которую романисты имѣютъ всегда подъ рукою: это—онъ самъ, а потому почти всѣ романисты дебютируютъ, воспроизводя сознательно или безсознательно, въ своихъ произведеніяхъ, самихъ себя въ лицѣ своего героя. Золя не представляетъ исключенія изъ этого правила. Въ его „la Confession de Claude“, модель и герой—одно и то же лицо. Понятно, что при этомъ личность автора даетъ себя чувствовать вполне; литературное и авторское „я“ соприкасаются безпрестанно. Самая дикція не лишена страстности: „братья,—воскликаетъ Клодъ,—мое жалкое существо вѣчно потрясается лихорадкою желаній и сожалѣній“. Но этотъ вѣчный контрастъ есть продуктъ контраста въ жизни самого автора,—между очагомъ его дѣтства и обстановкой юныхъ лѣтъ. Позади его—Провансъ (родина Золя) съ его яркимъ солнцемъ, а вокругъ и около—Парижъ съ его грязью и бѣдная каморка. Золя выражается съ какимъ-то ужасомъ о безобразіи и отвратительности дѣйствительной жизни, но тѣмъ не менѣе въ его словахъ проглядываетъ мысль, что хотя все окружающее его отталкиваетъ въ немъ человека, но оно неудержимо привлекаетъ къ себѣ художника. „Это міръ, котораго вы не знаете,—говоритъ Золя:—онъ ужасенъ; изученіе его тяжело; кружится голова. Но мнѣ хотѣлось бы проникнуть въ душу, въ сердца; можетъ быть, на днѣ я не найду ничего, кромѣ грязи, а все же я желалъ бы дорыться до дна“. Авторъ развиваетъ далѣе предъ нами, съ душевною болью, догматическій пессимизмъ. Онъ обвиняетъ во лжи тѣхъ французскихъ поэтовъ, которые изображали намъ предметы своей юношеской любви чи-

стыми, невинными въ ихъ увлеченіяхъ, нѣсколько легкими, но прелестными: „Такихъ поэтовъ называютъ поэтами юности, а они—лгуны, сами когда-то претерпѣвшіе, проливавшіе слезы, и теперь въ ихъ памяти должны храниться однѣ печальныя улыбки и сожалѣнія... Они окружаютъ ореоломъ свои демоническія „двадцать лѣтъ“ и снабжаютъ ихъ крылышками, а между тѣмъ, въ дѣйствительности, сами они прожили въ страданіяхъ и выросли посреди отчаянія. Предметомъ ихъ страсти были негодницы. Онѣ ихъ обманывали, оскорбляли, забрасывали грязью, а поэты создали изъ всего этого цѣлый міръ лжи, съ юными грѣшницами, дѣвами,—божественными и въ самой ихъ беззаботности и легкомысліи. Вы знаете ихъ всѣхъ, этихъ Мими Пенсонъ, Мюзеттъ... Онѣ щедро расточали предъ ними свою красоту, свою свѣжесть, нѣжность и искренность... Ложь! ложь! ложь!“... Золя вездѣ усиливается, такимъ образомъ, показать намъ оборотную сторону медали, и дѣлается поэтомъ „оборотной стороны“. Но, въ сущности, упомянутое произведеніе Золя—плодъ его личныхъ воспоминаній—выдаетъ съ полнѣйшею очевидностью то направленіе, въ какомъ авторъ желалъ обрабатывать свой предметъ, и свидѣтельствуетъ только о томъ, какъ рано пробудился въ немъ духъ пессимизма. Хотя позже кругозоръ у Золя, какъ и у другихъ писателей, мало-по-малу начинаетъ расширяться, онъ выводитъ на сцену массу фигуръ, существенно отличныхъ отъ него самого,—тутъ встрѣчаются и зданія, и цѣлыя страны, магазины, фабрики, сады и копи, земля и море, все царство растительное и животное,—но мы вынуждены, несмотря на все то, вездѣ встрѣчаться съ лицомъ автора. Какъ Протей въ „Одиссеѣ“, поэтъ—то превращается въ дикое животное, то бѣжитъ какъ ручей, то взлетаетъ какъ птица и садится на дерево.

Сопоставимъ теперь у Золя „темпераментъ“ автора и реальный міръ въ примѣрахъ, извлеченныхъ изъ его же первыхъ романовъ.

Перенесемъ мысленно въ эпоху декабрьскаго переворота 1852 года. Золя желаетъ описать намъ выступленіе инсургентовъ на югѣ Франціи противъ войскъ „переворота“. Инсургенты составляютъ небольшой отрядъ, въ двѣ-три тысячи человекъ, подвижающихся впередъ безъ всякаго плана; при первой встрѣчѣ съ регулярнымъ войскомъ они и были частью изрублены, частью разсѣяны. Не трудно было бы изобразить эту горсть людей съ тѣмъ, чтобы дать понятіе о ихъ дѣйствительномъ ничтожествѣ и безсиліи. Но Золя этого вовсе не желаетъ. Онъ хочетъ, чтобы эта горсть явилась въ глазахъ читателя громадною, мощною, ге-

ройскою, и это ему удастся: онъ изображаетъ эту горсть такъ, какъ она могла представиться восторженному юношѣ. Сильверъ, лѣтъ семнадцать отъ роду, толкуетъ и объясняетъ все, что онъ видитъ, дѣвочѣ Мьеттѣ изъ Банга. И авторъ при этомъ употребляетъ самыя сильныя выраженія, какія только существуютъ въ языкѣ, и изо всѣхъ силъ трудится надъ тѣмъ, чтобы возбудить воображеніе читателя.

Вотъ что мы читаемъ у автора, еще до появленія толпы инсургентовъ: „Вдругъ, на поворотѣ дорѣги, показалась какая-то черная масса; раздалась марсельеза, грозная, пропѣтая съ какою-то фурією мести... Толпа спускалась неудержимо; нѣтъ ничего ужаснѣе и величественнѣе вторженія нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ среди мертвой и леденящей тишины ночной... Марсельеза напоминала собою сводъ небесный, и, какъ дуновение изъ гигантскихъ устъ въ чудовищную трубу, разнесла звуки во всѣ концы долины. Уснувшая деревня проснулась сразу; она вся дрогнула, какъ барабанъ, въ который ударили; до глубины души каждого проникли повторяемые эхомъ горячія ноты національной пѣсни... Деревня, потрясая воздухъ, восклицала: „местъ и свобода!“

Вообще все это мѣсто у Золя—вовсе не простая картина ночи; это—описаніе какого-то человѣческаго существа; долина, луга, скалы, даже малѣйшій кустарникъ—все это соединяется въ одинъ колоссальный хоръ. Мы видимъ тутъ, конечно, не картину природы, а самого автора, который рисуетъ все это; авторскій „темпераментъ“ проникаетъ въ „природу“ и преобразуется—съ цѣлью усилить впечатлѣніе, какое должна произвести на читателя неодолимая мощь и непоколебимая твердость той движущейся толпы. Мужественный юноша Сильверъ описываетъ подробно всю эту массу, по частямъ, какъ она подвигается впередъ мимо группы дѣтей; онъ называетъ каждый ея отдѣлъ и всѣхъ превозноситъ съ энтузіазмомъ: „вотъ лѣсники изъ Сейльскихъ лѣсовъ! изъ нихъ образовали корпусъ саперовъ... Вотъ, отрядъ изъ Палюды!.. у нихъ однѣ кдсы, о! они будутъ косить враговъ, какъ косили траву на своихъ лугахъ!.. Сентъ-Эвтропъ!.. Мазетъ!.. Марзаннъ!.. И по временамъ, Сильверу казалось, что всѣ эти люди не идутъ, а уносятся марсельезой, этой суровой и громозвучной пѣсней“...

Но вѣдь все это прямо изъ Гомера; во второй пѣснѣ Иліады встрѣчается совершенно подобное перечисленіе эллинскихъ кораблей. Золя даже какъ бы усиливается достигнуть полноты въ такомъ сходствѣ: нѣсколько ниже, описавъ жителей Плассана и

ихъ грязныя политическія махинаціи, онъ говоритъ: „толпа инсургентовъ продолжала свой геройскій походъ. Дыханіе эпопей, увлекшее Мьетту и Сильвера, пронеслось съ священнымъ величіемъ далѣе, мимо постыдной комедіи Маккаровъ и Ругоновъ“.

Перечисленіе, какое дѣлаетъ Сильверъ, когда мимо него дефилировали контингенты городовъ, напоминаетъ собою вполне многія мѣста изъ Иліады Гомера: „Вотъ—корабли города Дименіона, а эти изъ Гипереи многоводной; тѣ—отъ города Астеріона и отъ Титаноса, сіяющаго блескомъ своихъ известковыхъ холмовъ. Всѣми ими начальствуетъ Эвритисъ“—и т. д. Провансальскіе рабочіе, освѣщенные лучами героевъ Иліады,—вотъ это-то и составляетъ долю „темперамента“ въ произведеніи Золя; его картину никакъ нельзя принять за исключительное воспроизведеніе „природы“. Тутъ уже не романтизмъ, какимъ украсилъ авторъ предыдущую картину; это чисто-классическій стиль.

Впрочемъ, аналогія между „Ругонами“ и поэзіею древней Эллады не ограничивается однимъ тѣмъ, что нами указано выше. Кровавымъ расправамъ „декабрьскаго переворота“ Золя противопоставляетъ еще идиллію любви. Опираясь на собственныя юношескія воспоминанія, онъ хотѣлъ создать въ новомъ родѣ нѣчто подобное извѣстной древней греческой новеллѣ о Дафнисѣ и Хлоѣ. Ясно видно, какъ эта послѣдняя отражается въ разсказѣ; впрочемъ, и самъ Золя какъ бы сознается, что у него имѣлась въ виду та новелла. Въ самомъ началѣ разсказа онъ говоритъ, что молодые люди переживали ту идиллію, какая встрѣчается теперь въ одномъ рабочемъ классѣ, гдѣ можно еще наблюдать первобытную любовь древнихъ греческихъ новеллъ,—и то же повторяетъ въ концѣ. Едва ли можно, въ самомъ дѣлѣ, назвать подражаніемъ „природѣ“ картинку, изображающую двухъ бѣдныхъ дѣтей Прованса нашего времени въ стилѣ буколическихъ разсказовъ древнихъ грековъ. Личная своеобразность автора, обогащенная и доразвитая школьною образованностью (а вовсе не исключительно „темпераментомъ“), обнаружила во всемъ этомъ сильное влияніе съ своей стороны.

Въ древнихъ греческихъ разсказахъ, всю ихъ прелесть и весь интересъ составляетъ то, что въ нихъ любовь пробуждается въ сердцахъ двухъ дѣтей едва-едва замѣтно. Страсть рождается и овладѣваетъ ими безъ ихъ вѣдома. Хлоя купается въ присутствіи Дафниса; оба они спятъ на одной и той же козьей шкурѣ, не испытывая вовсе какого-нибудь непреодолимаго влеченія другъ къ другу.

Золя придавъ идилліи отъ себя новую прелесть, новый фа-

зись и трагическую развязку. Сильверъ и Мьетта, какъ Хлоя и Дафнисъ, бродятъ повсюду вмѣстѣ. Ночью Мьетта купается и плаваетъ на глазахъ Сильвера, а потомъ одинъ и тотъ же плащъ покрываетъ ихъ обоихъ. Но, чтобы придать реальному новѣйшую окраску, Золя не ограничился обращеніемъ къ классицизму; ему былъ нуженъ символъ—символъ романтическій, съ тѣмъ, однако, чтобы не слишкомъ удалиться отъ реализма. Великій романтикъ Делакруа помѣстилъ въ своей извѣстной картинѣ: „*Sur les barricades*“, молодую дѣвушку, въ красномъ фригійскомъ колпакѣ, съ саблею въ рукѣ. Она нѣсколько напоминаетъ у него богиню Свободы; возлѣ нея мальчикъ изъ народа, вооруженный, со взглядомъ, грозно устремленнымъ вдаль. Можно подумать, что именно эта картина промелькнула въ воображеніи Золя. Мьетта также предлагаетъ инсургентамъ нести ихъ знамя. Но они не считаютъ ее достаточно для того сильной, а она показываетъ имъ тогда свои руки, бѣлыя и мощныя. „Посмотрите, — говоритъ она, и, быстро сбросивъ съ себя козью шкуру, снова накидываетъ ее на себя, выворотивъ предварительно на лицо ея красную подкладку. При блѣдномъ сіяніи луны Мьетта предстала предъ инсургентами какъ бы въ широкой пурпуровой мантии, ниспадавшей къ ея ногамъ... Капшонъ, задержанный косою дѣвушки, накрылъ ей голову на подобіе фригійскаго колпака. Она схватила знамя и крѣпко прижала древко къ своей груди... Въ эту минуту она была настоящею дѣвою Свободы“.

Вотъ гдѣ для насъ удобный случай прослѣдить шагъ за шагомъ, какъ „темпераментъ“ автора можетъ преобразжать наблюденіе надъ „природой“. Золя, очевидно, хотѣлъ всѣмъ этимъ сказать, что тотъ ребенокъ, который впослѣдствіи палъ, накрытый знаменемъ, съ пулею въ груди, и есть сама свобода, пораженная „переворотомъ“. И таковъ всегда бываетъ литературный пріемъ Золя, когда онъ намѣревается произвести эффектъ возвышеннаго и чистаго характера...

Посмотримъ теперь, какъ дѣйствуетъ Золя, когда у него дѣло состоитъ въ томъ, чтобы вызвать впечатлѣніе наивнаго блаженства. Въ своемъ „*l'Assommoir*“, Золя описываетъ пиршество рабочей семьи, а пиршество это состоитъ все изъ одного гуся; бѣднякамъ не откуда было достать для стола еще что-нибудь. Прежде всего, Золя докладываетъ, что этотъ гусь былъ громадный, и дѣйствительно, у него этотъ гусь оказывается какимъ-то колоссомъ, утопающимъ въ соусѣ. Около него сидитъ человѣкъ двадцать, и всѣ они ѣдятъ его съ ожесточеніемъ, какъ будто передъ этимъ постились цѣлую недѣлю; они давятся этимъ един-

ственнымъ гусемъ, до того, что чуть не заболѣваютъ, и вынуждены распустить на себѣ одежду. Но и этого мало: гусь наполняетъ собою всю улицу, весь кварталъ. „Въ дверь, открытую настежь, смотрятъ на пиръ сосѣди, собравшіеся изъ всего квартала, и какъ бы присутствуютъ на свободномъ пиршествѣ... Запахъ гуся обдавалъ и восхищалъ всю улицу. Сидѣльцамъ изъ мелочной лавки казалось, что и они глотаютъ куски жаренаго гуся. На троттуарѣ противоположной стороны торговка овощами ежеминутно подходила къ дверямъ лавки, чтобы понюхать воздухъ — и облизывалась. Рѣшительно вся улица была поражена несвареніемъ желудка“...

Нельзя никакъ не согласиться, что въ настоящемъ случаѣ художественный „темпераментъ“ у Золя порядочно попользовался этимъ единственнымъ гусемъ! Можно подумать, что на блюдѣ былъ поданъ не гусь, а слонъ!..

У Золя замѣчается еще одна слабость — выражать символически мелкія черты реальнаго міра. Напримѣръ, вовсе не случайно вышло у него такъ, что гостиная семьи Ругоновъ въ Пласанѣ вся „приняла какую-то странную желтизну, отчего и была наполнена какимъ-то искусственнымъ и непріятнымъ для глазъ свѣтомъ. Мебель, шпалеры, занавѣски на окнахъ — все было желтое; коверъ, мраморъ на каминѣ и консоли — отдавали также чѣмъ-то желтымъ“. — Откуда же вся эта желтизна? — Желтое служить символомъ зависти!

Вотъ и еще примѣръ. Жервеа и Купо вѣнчаются посреди пѣлаго облака пыли, поднятаго мѣтлами; это опять не случай, а дурной знакъ для нихъ!

Такія мелкія символическія черты представляютъ иногда у Золя даже особенную красоту. Вотъ примѣръ изъ послѣднихъ его романовъ — изъ романа „l'Оеuvre“. Художникъ Клодъ долженъ предстать съ своей работой на выставкѣ въ первый разъ. Золя описываетъ утро въ кабинетѣ Клода, въ самый день выставки: „Лепестки золота на рамѣ облупились; не зная, гдѣ достать денегъ на новую раму, Клодъ заказалъ столяру сколотить четыре планки и позолотилъ ихъ самъ“. На выставкѣ художникъ провалился, вслѣдствіе того, что публика оказалась глупою и дикою... Только одно существо серьезно вѣрило въ него; это — его другъ, Христина. Она ждала его въ рабочей комнатѣ въ то время, когда онъ, совсѣмъ разбитый, вернулся поздно ночью домой. До сихъ поръ она никогда не принадлежала ему; но теперь, тронутая его несчастьемъ, по свойственной женщинѣ потребности утѣшать и награждать, она отдалась ему „съ страстнымъ увлеченіемъ“.

Но Золя не забылъ тѣхъ лепестковъ золота, о которыхъ онъ говорилъ двумя страницами выше; они у него назначались не только для того, чтобы позолотить раму—имъ пришлось теперь служить какъ бы свадебными факелами: „вблизи ихъ, лепестки золота, отлетѣвшіе отъ рамки и разсыянные по полу, одни свѣтились, подобно рою звѣздъ“.

Иногда всѣ такія мелкія черты реальнаго міра преобразуются у Золя въ полный символъ, какъ, напримѣръ, въ романѣ „Нана“. При первомъ своемъ появленіи въ разсказѣ, Нана—не что иное, какъ существо безстыдное, родившееся на заднемъ дворѣ какого-то грязнаго дома. Но по мѣрѣ того, какъ развивается романъ, Нана вырастаетъ въ глазахъ автора и, наконецъ, является какимъ-то духомъ проституціи и распущенности, парящимъ надъ Парижемъ временъ имперіи. На скачкахъ въ Лонпанѣ, какой-то знатный юноша даетъ своей лошади имя „Нана“, и эта-то лошадь одерживаетъ побѣду надъ англійскою лошадыю и выигрываетъ призъ. Такимъ образомъ, прозвище этой побѣдительницы-лошади дѣлается какимъ-то олицетвореніемъ всего французскаго, національнаго, и имя „Нана“ передается изъ устъ въ уста громадною толпою, посреди все болѣе и болѣе возрастающихъ криковъ всеобщей радости. Авторъ говоритъ: „По всему лугу распространился отчаянный энтузіазмъ.—„Да здравствуетъ Нана! да здравствуетъ Франція! долой Англію!“.. Крики долетали до неба, въ сіяніи солнечныхъ лучей, и имя „Нана“, какъ пламя невидимаго костра, торжественно отражалось въ ушахъ сотни тысячъ народа, достигло императорской ложи, гдѣ ему аплодировала сама императрица, такъ что изъ всей долины эхо донесло и до самой Наны ея имя. Ей аплодировалъ ея народъ, а она, гордая, облитая солнечнымъ свѣтомъ, вся сіяла въ бѣломъ съ голубымъ, небеснаго цвѣта, платьѣ“.

Вскорѣ мы встрѣчаемся опять съ символомъ, не менѣе безспорнымъ, когда Нана, посреди нелѣпныхъ восклицаній толпы: „à Berlin! à Berlin!“—появляется на сценѣ романа глубоко падающею, сгнившею за-живо, служа символомъ той имперіи, которой она составляла славу,—и терзается на одрѣ смерти въ послѣднихъ конвульсіяхъ.

Какъ Нана, при помощи лошади, сдѣлалась символомъ имперіи, точно такъ же въ другомъ романѣ: „L'Océanite“—купальщица, въ картинѣ Клода, превратилась въ символъ самого искусства. По мысли художника, эта женская фигура является олицетвореніемъ того Парижа, который онъ желаетъ изобразить и подчинить себѣ; а въ мысляхъ Христины она служитъ символомъ

того всепожирающаго художественнаго видѣнія, которому она отдала себя на жертву, какъ женщина. Въ такой склонности. Клода къ символическому самъ Зола какъ будто хотѣлъ дать понять его собственную несостоятельность въ стремленіи воспроизвести реальное, съ соблюденіемъ условій натурализма, — что онъ проповѣдуетъ въ теоріи и постоянно нарушаетъ на дѣлѣ.

Изъ всѣхъ романовъ Зола, романъ „la Faute de l'abbé Mouret“ всего болѣе обличаетъ слабость автора къ тому, чтобы преобразовывать своихъ главныхъ героевъ въ великіе символы. Мысль къ созданію самаго романа, повидимому, была дана автору деревню Пались, лежащей вблизи его родного города Э (Aix). Его воображеніе, всегда направленное къ широкому простору жизни, было возбуждено этою мѣстностью, — настоящимъ садомъ, гдѣ въ теченіе цѣлаго вѣка растительность развивалась привольно во всѣ стороны. Когда онъ любовался этимъ садомъ, съ впечатлительностью юноши, предъ нимъ рисовались первобытные лѣса, широко разросшіеся, утопающіе въ массѣ солнечныхъ лучей. Я себѣ даже представляю, какъ Зола долженъ былъ въ одинъ прекрасный день вообразить себѣ тамъ гигантское дерево, покрытое стаями птицъ; какъ предъ нимъ развернулся богатый лугъ, заросшій густою растительностью, такъ что весь горизонтъ являлся какъ бы усыяннымъ цвѣтами и былъ пропитанъ ихъ благоуханіемъ. И вотъ, глазамъ автора предсталъ образъ рая; садъ съ его мягкою зеленью казался ему превосходной рамкой для картины юношеской любви, въ минуту ея пробужденія и перваго подъема. Въ 1874 году, посреди жаркаго лѣта, Зола вспомнилъ эти впечатлѣнія восемнадцатилѣтнаго юноши. Въ это время онъ работалъ надъ расовыми наклонностями и предназначеніемъ семьи Ругонъ-Маккаровъ, и вдругъ въ немъ явилась потребность доставить самому себѣ удовольствіе и описать, съ одной стороны, природу во всей ея универсальности, а съ другой — все торжество нарождающейся любви, — что, конечно, не имѣло ничего общаго съ деморализаціею и паденіемъ второй имперіи. Вотъ, такимъ образомъ, Зола и далъ намъ варіантъ преданія о раѣ, какъ прежде, мы видѣли, онъ создалъ параллель античной буколической новеллѣ. Въ древности, для художниковъ рай былъ всегда убѣжищемъ мира и тишины, гдѣ левъ питался травой, рядомъ съ барашкомъ; но для Зола, съ его „темпераментомъ“, такой садъ долженъ былъ служить мѣстомъ свободнаго оплодотворенія, эдемомъ съ безпредѣльною роскошью природы. Его идеаломъ было изобразить вселенную, въ ея вѣчномъ движеніи, преисполненномъ жизненными силами. Чтобы получить возможность

въ новѣйшемъ произведеніи поставить на сцену природу, со всѣмъ ея первобытнымъ обиліемъ и воспроизводительнымъ инстинктомъ, Зола нуждался въ какомъ-нибудь огромномъ контрастѣ. Единственное, что онъ могъ противопоставить „природѣ“, какъ другую силу, это было бы христіанство, если разсматривать его какъ нѣчто враждебное „природѣ“. Что же можетъ быть болѣе противоположно жизни природы, съ ея вѣчнымъ стремленіемъ къ росту, сочетанію,—какъ не суровая и бесплодная дѣвственность, какую налагають на человѣка монашескіе обѣты католичества! Языческая древность создала символъ плодородія земли, въ лицѣ великой Матери Цибелы, которая въ Азіи чествовалась оргіями; средніе же вѣка противопоставили ей символъ небесной чистоты, Мадонну, прославленную въ католической Европѣ аскетизмомъ. Зола и избралъ своимъ героемъ болѣзненнаго почитателя Мадонны, который ненавидѣлъ плодовитость природы и желалъ жить отшельникомъ въ пустынѣ, гдѣ нѣтъ ни живого существа, ни былинки, гдѣ даже журчаніе воды не нарушаетъ покоя его благочестивыхъ созерцаній. Такому культу Мадонны Зола и противопоставляетъ симметрическій контрастъ культа богини Цибелы. У аббата Мурѣ была сестра, душою невинная, какъ младенецъ, но зато физическая сторона въ ней нашла себѣ самое роскошное развитіе. Руки и шея у нея были полныя; она жила и свободно дышала только на дворѣ, гдѣ ее окружала богатая жизнь животнаго царства, — посреди массы кроликовъ, утокъ, куръ, въ горячей атмосферѣ постоянного возрожденія природы, непрерывно множащейся и кипящей. Она-то и превращается у Зола въ Цибелу. Вотъ что о ней сказала служанка патера: „вы не находите, что Деширѣ очень походить на ту большую статую какой-то дамы на хлѣбномъ рынкѣ Плассана?“ И Зола отъ себя прибавляетъ: „это она хотѣла назвать Цибелу, — старую работу ученика Пюжѣ“. Нѣсколько ниже авторъ опять замѣчаетъ, что сестра Сержа Мурѣ „была какимъ-то особымъ созданіемъ,—ни барышня, ни крестьянка,—дѣвушка, какъ бы вскормленная самою землею, съ полными плечами и обликомъ юной богини... Она находила великое удовольствіе чувствовать около себя процессъ размноженія природы... Сама она сохраняла спокойствіе красиваго животнаго... Она до такой степени отождествляла себя со всѣми воспроизводительными силами, окружавшими ее, что являлась какъ бы общею матерью всего нарождавшагося около нея приплода, точно изъ каждаго ея пальца безболѣзненно осаждались и падали каплями испаренія возрожденій“...

Вотъ при помощи какой метаморфозы, напоминающей пре-

вращенія Овидія, Зола очень просто преобразуетъ женщину въ богиню!

Каждый разъ, когда Сержъ встрѣчался съ своей сестрой, онъ чувствовалъ въ ней принципъ враждебный ему; ему было тошно; съ отвращеніемъ и дрожью вдыхалъ онъ въ себя воздухъ, напоенный жизнью и производительностью, окружавшими его сестру; сама она казалась ему какимъ-то сверхъестественнымъ существомъ: „ему все представлялось, что его сестра Дезирé дѣлается громадною, когда она широко шагаетъ, размахивая пухлыми руками; юбки ея, качаясь во всѣ стороны, распространяли около нея какую-то особую атмосферу, въ которой Сержъ задыхался“.

Мало-по-малу и весь городъ, гдѣ жила Дезирé, и вся мѣстность, окружавшая ее, преобразились, какъ и она сама: „Ночью, еще пылающія отъ дневного жара поля, казалось, горѣли страстью“... Очевидно, авторъ ушелъ уже очень далеко въ сторону отъ изображенія реального міра и весь отдался мифологическому творчеству. Въ той главѣ, которая посвящена Сержу и Альбинѣ, превращеніе реального міра въ легендарный міръ еще болѣе доведено до конца во всѣхъ подробностяхъ. Чтобы преобразовать юнаго истерическаго патера въ библейскаго Адама, Зола долженъ былъ сдѣлать изъ него новаго человѣка, и вотъ онъ заставляетъ Сержа перенести для того тяжкую болѣзнь, по всей вѣроятности тифозную горячку; при помощи такого тифа Сержъ получаетъ вторую жизнь и въ то же время совершенно забываетъ свое прошлое. Придя въ себя, онъ видитъ у своего изголовья молодую дѣвушку: „Я твое дѣтище,—говоритъ онъ ей:—ты будешь учить меня ходить“. Такая рѣчь очень оригинальна для больного, послѣ тифа, когда онъ не можетъ еще держаться на ногахъ; но зато слова Сержа носятъ на себѣ символическій характеръ: авторъ хочетъ ими сказать читателю, что Сержъ вступаетъ въ новую жизнь. Самое вступленіе въ новую жизнь описано у Зола шагъ за шагомъ, въ видѣ пролога къ дальнѣйшему существованію Сержа, какъ то могло быть нѣкогда съ первымъ человѣкомъ на землѣ. Первое прикосновеніе съ землею, когда больной, наконецъ, рискнулъ выйти изъ дому, дало ему сильный толчокъ, пробудило въ немъ жизнь и на минуту какъ бы приковало его къ землѣ. Но жизнь проснулась не совсѣмъ, а потому Альбина говоритъ Сержу: „Ты похожъ теперь на дерево, которое вдумало бы ходить“. Подобнымъ же способомъ Зола одухотворяетъ весь паркъ, какъ онъ то сдѣлалъ съ деревомъ. Сержъ оглядывается кругомъ: „Повсюду младенчество; блѣдная

зелень всасываетъ въ себя молоко дѣтства; деревья остаются въ этомъ возрастѣ, цвѣты покрываются нѣжною кожицей“. Авторъ хочетъ всѣмъ этимъ сказать, что утро дней всегда бываетъ таково; Сержъ также это чувствуетъ, ибо онъ самъ рождается, какъ ежедневно рождается каждое утро. „Онъ родился, — говоритъ авторъ, — подъ лучами солнца, родился прямо двадцати-пятилѣтнимъ юношей, и чувства раскрылись въ немъ вдругъ. — Какъ ты прекрасенъ! — восклицаетъ Сержу Альбина, и договариваетъ: — Я тебя никогда не видала такимъ. — Онъ дѣйствительно выросъ.... Здоровье, сила, мощь отпечатлѣвались на его лицѣ. Онъ не улыбался, губы его оставались сжатыми, щеки пополнѣли, носъ очерчивался ясно, сѣрые глаза были совершенно свѣтлы и смотрѣли властно“.

Почему же „властно“? — Потому, что это — Адамъ.

Альбина нашла, что и голосъ Сержа также измѣнился: „Ей казалось, что онъ раздавался въ паркѣ болѣе мягко, чѣмъ пѣніе птичекъ, и въ то же время съ большимъ авторитетомъ, нежели дуновение вѣтра, колеблющаго деревья“.

Почему же голосъ Сержа имѣлъ авторитетъ? — Опять потому, что онъ — Адамъ.

Но Сержъ еще мало воспримчивъ; онъ походитъ на юное божество, безразличное ко всему и безстрастное. И вотъ, онъ засыпаетъ глубоко, въ тѣни розоваго куста въ полномъ цвѣту. Въ ту минуту, когда онъ проснулся отъ брошенныхъ въ него лепестковъ розы рукою Альбины, въ немъ пробуждается инстинктъ его пола, и онъ ей говоритъ: „Я знаю, что ты — моя любовь, плоть отъ моей плоти... Я видѣлъ тебя во снѣ. Ты была въ моей груди, и я тебѣ далъ мою кровь, мои мускулы, мои кости. Ты взяла половину моего сердца, но такъ нѣжно, что подѣлиться съ тобою сердцемъ доставило мнѣ восторгъ... Я проснулся, когда ты вышла изъ меня“.

Все это можетъ быть названо комментариемъ скорѣе къ Библии, чѣмъ къ натурализму. Но вотъ и послѣдующій текстъ: „Альбина распустила тяжелыя косы на головѣ, и пряди волосъ покрыли ей грудь, на подобіе царской одежды“...

Почему именно — „царской“? Но потому, что она теперь — Ева, она — солнце творенія, она — самое солнце. „Сержъ цѣловалъ каждую прядь ея волосъ, жегъ себѣ губы, обдаваемый сіяніемъ заходящаго солнца“.

Надобно думать, что они мало-по-малу должны слиться въ одно существо, — существо высоко-прекрасное. А чтобы мистически объяснить такое сліяніе человѣческой пары воедино и са-

мую власть ея надъ цѣлой природой, Зола говоритъ: „бѣлая кожа Альбины была той же бѣлизны, какую представляла смуглая кожа Сержа. Они медленно выступали, и, облитые лучами солнца, казались сами солнцемъ. Цвѣты, преклоняясь, боготворили ихъ“. И такая аллегорія занимаетъ собою нѣсколько сотъ страницъ, съ тщательнымъ соблюденіемъ точности, такъ что даже патеръ, изгоняющій ихъ изъ рая, носитъ имя „Archangias“.

У Зола, какъ поэта-натуралиста, поражаетъ, впрочемъ, не одна его слабость къ превращенію въ символы героевъ своего романа, хотя и въ этомъ онъ дошелъ до того, что его можно сравнивать съ Мильтономъ и Клопштокомъ. Онъ любитъ еще — и это самая оригинальная черта въ Зола — постоянно одухотворять неодушевленные предметы. Говоритъ ли онъ о землѣ, о постройкѣ, о фабрикѣ, о коммерческомъ предпріятіи, — онъ имъ придаетъ жизнь отдѣльныхъ людей, и тогда они играютъ у него ту роль, какую занимали боги въ древнихъ эпопеяхъ. Такъ, самый центръ сада, въ романѣ аббата Мурѣ, живетъ индивидуальной жизнью, какъ какое-то сверхъестественное существо, съ даромъ слова и чувства: „этотъ уголокъ природы скромно улыбался при видѣ Альбины и Сержа; тронутый ихъ любовью, онъ разстилалъ предъ ними свою самую мягкую траву, сдвигалъ кустарники, чтобы устроить имъ уединенныя тропинки. Если онъ еще не бросилъ ихъ въ объятія другъ къ другу, то только потому, что ему нравилось продолжить ихъ желанія“. Итакъ, этотъ садъ, это — богъ любви. Хотя онъ и находится на югѣ Франціи, — но это библейскій „парадизъ“; Зола самъ прямо называетъ его „восточнымъ“. „Его тѣнь была такова, что въ сравненіи съ нею тѣнь садовъ Европы казалась ничтожною. Благоуханіе восточной любви, благоуханіе устъ Сунамиты — разносилось изъ его пахучихъ лѣсовъ. Парадъ былъ — весь прелесть“. Говоря о деревѣ, росшемъ по срединѣ сада, авторъ называетъ его потому истиннымъ „древомъ жизни“: „его сѣмя имѣло такую силу, что оно текло по его корѣ и дѣлало землю плодосною“...

Роль сада въ романѣ: „la Faute de l'abbé Mouret“, въ другомъ романѣ: „la Fortune des Rougons“ — достается старому владѣищу, запущенному съ незапамятныхъ временъ: оно служитъ мѣстомъ свиданій двухъ влюбленныхъ дѣтей. Въ дѣйствительности, это мѣсто было, какъ и всякое другое подобное, — мѣстомъ запустѣнія; вездѣ валяется мусоръ, оно служитъ складомъ тѣса; для обыкновеннаго глаза тутъ нѣтъ ничего особеннаго. Но личная меланхолія у Зола и его неутолимая жажда „продуктивности“

преобразуютъ и самое кладбище. Автору нужно, для укритія тѣхъ двухъ дѣтей, такое мѣсто, въ глубинѣ котораго гнѣздились бы подземныя страсти и безграничная меланхолія. И что же?! Хотя прежнее названіе кладбища было всѣми забыто и самое мѣсто получило другое назначеніе, но все же „тутъ чувствуется какое-то горячее и неопредѣленное дуновеніе иной страсти — страсти смерти“. Такъ у Золя совершилось сліяніе побужденій любви и смерти. При первомъ горячемъ поцѣлуѣ, которымъ Сильверъ обжегъ уста Мьетты, ему показалось, что она умираетъ. Она сама не знаетъ — почему, но это знаетъ авторъ: того пожелали обитатели могилъ кладбища, чтобы дѣтми овладѣла страсть. „Чье-то теплое дыханье пробѣгало по ихъ челу какой-то шопотъ слышался гдѣ-то въ тѣни—это покойники раздували въ дѣтяхъ потухшія на ихъ собственномъ лицѣ страсти и повѣствовали имъ о своихъ брачныхъ нощахъ... Кости мертвецовъ были полны нѣжности къ нимъ, разбитые черепа согрѣвались пламенемъ юношескихъ страстей. И когда влюбленные удалились, старое кладбище зарыдало. Трава не пускала ихъ уйти,— это были тонкіе пальцы покойниковъ, вышедшіе изъ могилъ и желавшіе ихъ удержать. Мертвецы, давнишніе мертвецы, желали быть свидѣтелями брака Мьетты и Сильвера“.

Въ дѣйствительности, мы имѣемъ тутъ дѣло вовсе не съ Сильверомъ и Мьеттой, — а съ самимъ авторомъ, который все рассказанное имъ слышитъ и чувствуетъ самъ; влюбленные же дѣти продолжаютъ жить въ своей бессознательной любви, на томъ самомъ уголкѣ земли, который требуетъ ихъ соединенія.

Во всемъ этомъ Золя въ такой степени является романтикомъ, что напоминаетъ собою Новалиса. Дѣйствительно, никто, какъ Золя, не совпалъ такъ близко съ извѣстною пѣснью Новалиса, гдѣ мертвецы поютъ:

Süßer Reiz der Mitternächte,
Stiller Kreis geheimer Kräfte,
Wollust räthselhafter Spiele —
Wir nur kennen euch, и т. д.

„Сладкая прелесть полуночи, тихая область силы таинственной, упоенье игрою страстей неразгаданныхъ — мы лишь одни знаемъ васъ“, и т. д.

Чѣмъ является у Золя садъ и кладбище, въ двухъ упомянутыхъ романахъ, тѣмъ же самымъ служатъ ему въ другихъ романахъ—кабакъ (въ „l'Assommoir“), модный магазинъ (въ „le Bonheur des dames“), подземная шахта (въ „Germinal“), домъ съ фасадомъ и лѣстницей (въ „Pot-Bouille“). Въ русскомъ ре-

лизмъ, на примѣръ, нѣтъ и тѣни подобнаго символизма; вообще русскій реализмъ отличается трезвостью.

Всего болѣе поражаетъ подобная манера Золя въ его романѣ „le Ventre de Paris“. Парижскій „центральный рынокъ“ изображенъ тамъ какъ котель, предназначенный для пищеваренія города, или гигантскій желудокъ изъ металла — символъ питанія всѣхъ существъ, отжирѣвшихъ и туго накормленныхъ. Населеніе около рынка, это и есть самый жиръ; отощавшій герой противопоставляется ему какъ контрастъ. Громадный „желудокъ“ изъ металла повторяется у Золя многократно и отражается на всемъ. „Женщины обладаютъ грудью такихъ размѣровъ, что походятъ на желудокъ“... „Самые дома въ этомъ кварталѣ имѣютъ фасады на солнце и благодѣшествуютъ, грѣя свой желудокъ съ первыми его лучами“...

Нигдѣ, какъ въ этомъ примѣрѣ, нельзя лучше наблюдать и характеризовать основную манеру Золя. Прежде всего, какъ поэтъ, онъ — не психологъ, что слѣдуетъ сказать и о его первомъ образцѣ, Тэнѣ. Золя охотно изображаетъ частности предмета, установившіяся и не подверженныя видоизмѣненію, но особенно любитъ онъ давать характеристику цѣлыхъ группъ и массъ. Обрисовать предметъ въ его сущности и всеобщности, въ его неизмѣнномъ характерѣ — составляетъ всегда главную задачу для Золя, и вслѣдствіе того онъ особенно склоненъ къ тому, чтобы изъ описываемой имъ дѣйствительной жизни исключать всякое возвышенное чувство, всякую высокую мысль, какъ нѣчто выходящее изъ его области, и чему онъ, какъ будто, не вѣритъ. Онъ остается при однихъ основныхъ, простыхъ инстинктахъ и ограничивается самыми элементарными состояніями человѣческой души.

Такая склонность у Золя къ обобщенію и типичности привела его къ символизму и яркости красокъ. Въ одномъ рабочемъ онъ стремится изобразить весь рабочій классъ; въ одной парѣ влюбленныхъ — всѣхъ влюбленныхъ; въ одномъ несчастномъ случаѣ родовъ — всѣ ужасы, какіе могутъ только случаться вообще; — и, вотъ, такимъ образомъ Золя достигаетъ типичности. Обладая даромъ обнимать и очерчивать широкіе горизонты, онъ старается произвести эффектъ грандіознаго, массивнаго, гигантскаго. Но такой эффектъ дается ему не манерою импрессиониста, не при помощи нѣсколькихъ рѣзкихъ, выдающихся чертъ, а путемъ перечисленія безконечныхъ подробностей, чисто виѣшнихъ; такъ, онъ приводитъ цѣлые списки названій растений, родовъ сыра, матерій или товара. А чтобы совокупить всѣ эти детали воедино и достигнуть тѣмъ соотвѣтственнаго эффекта единства, къ чему

онъ такъ стремится, Зола прибѣгаетъ къ символу, и притомъ непремѣнно къ какому-нибудь крупному основному символу, на примѣръ, къ городскому рынку, изображая его „желудкомъ“ цѣлаго города Парижа. Затѣмъ онъ отмѣчаетъ всѣ подробности, которыми обставленъ символъ, и уже видитъ желудокъ вездѣ, — и въ груди торговки, и въ фасадѣ домовъ.

Какъ романистъ, Зола — страстный адептъ психологiи чисто-механической. Онъ переноситъ на животное то, что свойственно человѣку, приводитъ къ нулю всѣ самыя возвышенныя проявленiя человѣческой воли, всю самую тонкую игру человѣческаго ума, изображаетъ индивидуумъ, даже наиболѣе одаренный — какою-то машиной, почти бессознательной, приводимой въ движенiе чѣмъ-то въ родѣ рока. Всю же силу, болѣе чѣмъ животную, всю свободу и независимость, всю мощь воли, все то, что Зола отнимаетъ у человѣка, онъ приписываетъ (такова уже особенность его „темперамента“) какимъ-то безличнымъ предметамъ, какъ магазинъ, подземныя шахты, садъ Парадѹ или кладбище св. Митра. Всѣ эти предметы изобилуютъ тѣми самыми силами, которыя Зола отнялъ у индивидуальнаго человѣка. Они воплощаютъ собою непреодолимую судьбу — болѣе могущественную, чѣмъ люди и даже чѣмъ сами боги, какъ то думали древнiе. Такимъ способомъ Зола удовлетворяетъ собственную жажду къ изображенiю только того, что всемогуще, и утоляетъ онъ ее, воспѣвая мощь судьбы, которая сначала избираетъ своимъ орудiемъ недѣлимаго человѣка, а потомъ — дико, свирѣпо и безпощадно истребляетъ его самого.

Обширная эпопея: „les Rougons-Macquart“, можетъ быть потому разсматриваема какъ серiя пѣсенъ, предназначенныхъ у Зола для олицетворенiя различныхъ моментовъ дѣятельности того таинственнаго и грознаго божества, которое называется судьбою.

II.

О ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКѢ.

Новѣйшая критика рѣдко выступаетъ въ роли судьи, — она толкуетъ и объясняетъ. Она даже не особенно заинтересована въ опредѣленіи ранга, мѣста, какое занимаетъ то или другое произведеніе искусства, — уже по одному тому, что она не въ состояніи установить въ этомъ вопросѣ что-нибудь вполнѣ точное. Новѣйшая критика стремится, вообще говоря, только къ тому, чтобы истолковать, объяснить данное произведеніе искусства, — путемъ опредѣленія тѣхъ элементовъ, которые его составляютъ. Критика, обращая на что-нибудь свое вниманіе, тѣмъ самымъ уже признаетъ за тою или другою картиною, за тѣмъ или другимъ литературнымъ произведеніемъ, извѣстную его цѣну.

Основателемъ новѣйшей психологической критики былъ Сентъ-Бёвъ. Онъ всегда пытался восходить отъ произведенія творчества къ его источнику и умѣлъ при этомъ открыть челоуѣка, стоящаго за листомъ писанной бумаги. Онъ выяснилъ нашему времени и будущимъ эпохамъ ту истину, что нельзя ничего понять ни въ художественномъ произведеніи, ни въ литературномъ памятникѣ прошедшаго, если не дать себѣ труда предварительно уразумѣть душевное настроеніе, породившее ихъ, и составить себѣ ясное понятіе о самой личности, создавшей такое художественное произведеніе или литературный памятникъ. Только такимъ способомъ памятникъ оживаетъ, исторія прошлаго одухотворяется, и художественное произведеніе дѣлается какъ бы прозрачнымъ.

Метода, которой слѣдовалъ Сентъ-Бёвъ, можетъ, въ силу своего свойства, быть примѣняема только къ современной эпохѣ или къ предшествующей ей непосредственно и, такъ сказать, еще принадлежащей ей. С.-Бёвъ изучалъ происхожденіе автора, состояніе его здоровья, матеріальныя средства, первичныя идеи, всю исторію его развитія, а также и тѣ откровенія, какія невольно вырывались у него, наприм., въ его письмахъ. Онъ не довольствуется изображеніемъ автора въ свѣтлыя и возвышенныя минуты жизни, и старается застать его врасплохъ; благодаря замѣчательному дару наблюденія, съ которымъ С.-Бёвъ умѣлъ, какъ говорится, „найти иголку въ сѣнѣ“, онъ открывалъ въ авторѣ и то, что онъ тщательно пряталъ отъ посторонняго глаза въ самыхъ далекихъ изгибахъ своего сердца. С.-Бёвъ желаетъ

избѣгнуть всего показного и банальнаго, идетъ прямо къ истинѣ, которую не любятъ говорить, и къ тѣмъ подробностямъ, которыя могутъ выяснитъ ее.

Но, какъ было замѣчено выше, мы вообще знаемъ мало, и особенно мало знаемъ точнаго о великихъ людяхъ прошедшихъ временъ. Тутъ критикѣ всегда приходится встрѣтитъ предъ собою жестокую дилемму: истину можно знать ей только о живыхъ, а сказать истину возможно только объ умершихъ. Къ этому слѣдуетъ еще присоединить одно неудобство, заключающееся въ самой методѣ: мы рѣшительно ничего не знаемъ о той роли, какую играетъ происхожденіе автора по отношенію къ его творчеству. На той степени, на какой находится современное знаніе, всѣ наши предположенія относительно вопроса, отъ кого авторъ наслѣдовалъ свои предрасположенія, должно признать бесполезными гипотезами. Есть еще одно затрудненіе въ самомъ примѣненіи метода С.-Бѣва; оно чувствуется даже у него самого, такъ какъ онъ всегда обходитъ это затрудненіе и никогда не преодолеваетъ его. Дѣло состоитъ въ слѣдующемъ: обыкновенно критикъ читаетъ то произведеніе, которое онъ намѣревается истолковать и судить, — не разъ и въ разные періоды своего собственнаго развитія, и при этомъ онъ всегда бываетъ поражаемъ въ немъ чѣмъ-нибудь новымъ, а потому смотритъ на него съ столь различныхъ точекъ зрѣнія, что ему оказывается рѣшительно невозможнымъ, безъ нѣкотораго внутренняго насилія надъ самимъ собою, установить въ себѣ какое-нибудь одно впечатлѣніе и одну постоянную точку зрѣнія. Затрудненія еще болѣе усиливаются, когда приходится имѣть дѣло не съ однимъ произведеніемъ, а съ цѣлымъ рядомъ произведеній плодовитаго автора или съ цѣлою литературною школою...

Сентъ-Бѣвъ обходитъ это затрудненіе, выдвигая постепенно новыя картины и приводя новыя сужденія о томъ же предметѣ, а затѣмъ предоставляетъ читателю самому вывести свои заключенія. Онъ потому очень вѣрно избралъ девизомъ въ одному изъ сборниковъ его этюдовъ слѣдующія слова: „*Nous sommes mobiles et nous jugeons des êtres mobiles*“, т.-е. „мы сами измѣнчивы и измѣнчивыхъ судимъ“... Изъ этого слѣдуетъ, что С.-Бѣвъ отклонялъ отъ себя обязанность сливать въ одно неизмѣняемое цѣлое всѣ разсѣянные черты постоянно видоизмѣняющагося бытія и оставлялъ насъ при длинномъ рядѣ портретовъ, повидимому, правдивыхъ, но очень часто противорѣчивыхъ...

Тѣмъ не менѣе реформа, произведенная С.-Бѣвомъ въ критикѣ, была весьма замѣчательна. Во-первыхъ, онъ указалъ критикѣ

болѣе прочную основу—въ исторіи и естествознаніи. Во-вторыхъ, онъ все болѣе и болѣе изгонялъ изъ критики ложную идеализацію, и никогда не позволялъ увлечь себя общепринятыми мнѣніями, связанными съ какимъ-нибудь авторитетнымъ именемъ. Въ-третьихъ, С.-Бёвъ совсѣмъ измѣнилъ прежній характеръ критики, разлагавшей и разбивавшей произведение на части; онъ, напротивъ, поставилъ задачею критики—обнять и резюмировать цѣлое (конечно, въ предѣлахъ, свойственныхъ природѣ предмета). Его критика даетъ намъ цѣлый организмъ, указываетъ его внутреннія части, и притомъ на полномъ его ходу: мы видимъ огонь, приводящій его въ движеніе, слышимъ шумъ, производимый имъ, и въ то же время знакомимся съ его конструкціею.

Исторія литературы, которая была чѣмъ-то въ родѣ дополненія исторической науки, у С.-Бёва сдѣлалась руководительною для исторіи политической, самою живою частью всеобщей исторіи, такъ какъ въ ней одной содержались самые интересные и самые богатые матеріалы, каковыми только можетъ располагать исторія.

Вотъ въ чемъ, слѣдовательно, состоитъ вся оригинальность Сентъ-Бёва: это былъ умъ, который постигъ и истолковалъ огромное число другихъ умовъ. Но въ то же время рѣдко кто изъ историковъ и мыслителей представляетъ собою такое отсутствіе окончательно установившихся общихъ взглядовъ и систематики, — какъ именно Сентъ-Бёвъ. Въ этомъ есть, конечно, и хорошая сторона: недостатокъ систематики сохранилъ въ немъ зато прежнюю свѣжесть его мысли и далъ ему возможность постоянно перемѣнять эпидерму и идти впередъ въ такомъ возрастѣ, когда большинство писателей начинаютъ пятиться и идутъ назадъ...

Если же разсматривать теперь Сентъ-Бёва, какъ художника, то нельзя не сказать о немъ, что онъ очень напоминаетъ собою тѣхъ японскихъ артистовъ, искусство которыхъ ставилось очень высоко въ Европѣ, особенно въ послѣднее время; пріятно было именно не встрѣчать у нихъ даже и малѣйшаго слѣда той академической симметричности, которая невольно вытекаетъ изъ всякой системы; но зато никогда японцы не давали никому полного удовлетворенія, потому что они совсѣмъ пренебрегали перспективою.

Какъ критикъ, Тэнъ является великимъ преемникомъ Сентъ-Бёва, но въ то же время онъ представляетъ контрастъ по сравненію съ нимъ: Тэнъ—человѣкъ системы и симметріи до конца. Онъ взялъ на себя наслѣдство Сентъ-Бёва и придалъ ему новую цѣну. Всѣ основныя идеи Сентъ-Бёва получили у него система-

тическое соотношение и научную определенность. Тэнъ ищетъ источникъ художественнаго произведенія въ художникѣ, и всѣ способности и качества художника приводитъ къ одной способности, которая у него называется „господствующею способностью“ — „*faculté maîtresse*“. Всѣ способности человѣка, — говоритъ онъ, — какъ и органы растенія, зависятъ одна отъ другой. Онъ представляетъ себѣ каждаго художника владѣющимъ одною главною способностью, которая и творитъ все. Но Тэну не хватаетъ такихъ преобладающихъ способностей, чтобы снабдить ими массу лицъ, а потому ему приходится, при характеристикѣ различныхъ писателей, одарять ихъ одною и тою же способностью: Шекспиръ, у Тэна, обладаетъ „сильнымъ воображеніемъ“, и Диккенсъ — также; Титъ-Ливій — ораторъ, и Викторъ Кузенъ — тоже, и у обоихъ ихъ ораторская способность должна направлять все. Изъ этого видно, что „господствующая способность“, установленная Тэнотъ, представляетъ собою слишкомъ широкое опредѣленіе, а потому не можетъ еще дать точнаго понятія ни объ индивидуумѣ, ни о его творчествѣ. Въ то же время такое опредѣленіе можно назвать и слишкомъ узкимъ, ибо духъ человѣка вовсе не такъ единообразенъ, какъ то кажется Тэну. Существо человѣческаго духа весьма разнообразно, весьма подвижно и сложно. Сентъ-Бёвъ хорошо выразился по этому поводу: люди, одаренные рѣдкими качествами ума, особенно люди великіе и замѣчательные, обладали не исключительно какою-нибудь одною господствующею способностью, но также и прочими человѣческими качествами, и не только въ какой-нибудь мало обыкновенной, но даже въ чрезвычайной степени; иначе они были бы замѣчательными автоматами или гениальными сумасбродами. Ихъ прочія способности группируются около способности господствующей, какъ деревья тѣснятся около своей колокольни...

Единство духа, какъ его понимаетъ Тэнъ, вовсе неспособно къ разнообразію, и потому никакъ не можетъ объяснить его источника. Ошибается тотъ, кто принимаетъ единство духа за что-то обособленное; единство никогда не состоитъ въ обособленіи. Нѣтъ заблужденія, къ которому былъ бы болѣе склоненъ человѣческій умъ, какъ именно его убѣжденіе въ томъ, будто единство представляетъ собою какое-то вполне простое понятіе. Если философія встрѣчаетъ столько затрудненій для себя въ своихъ усиліяхъ постигнуть начало всего, то именно потому, что человѣкъ съ великимъ трудомъ отрѣшается отъ своей идеи о единствѣ міра, которое стояло бы внѣ этого міра. Если же единство міра не существуетъ обособленно отъ міра, то надобно до-

пустить, что и единство духа не можетъ выражаться какою-нибудь „господствующею способностью“ — „une faculté maîtresse“.

Нѣтъ сомнѣнія, — способности духа должны зависѣть одна отъ другой, уже потому, что нѣтъ ничего ни въ мірѣ духовномъ, ни въ мірѣ матеріальномъ, что имѣло бы безотносительное существованіе. Кто же можетъ намъ доказать, что есть такая способность, то-есть видоизмѣненіе таланта, которая господствовала бы надъ духомъ? То, что даетъ опредѣленіе таланту, можетъ лежать вѣдѣ и позади его.

Благодаря такому предполагаемому „единству“ въ талантѣ, Тэнъ не можетъ выяснитъ источника разнообразія въ творчествѣ, а потому онъ вообще избѣгаетъ какихъ-нибудь выводовъ, — и онъ, съ своей точки зрѣнія, правъ. Какимъ образомъ можемъ мы, не будучи въ состояніи привести къ единству различные химическіе элементы, выполнить такую операцію надъ элементами духовными, которые гораздо менѣе доступны для наблюденія и точныхъ экспериментовъ? Даже и допустивъ, что намъ возможно найти что-нибудь, весьма притомъ отвлеченное, что было бы присуще всѣмъ проявленіямъ духа, мы все-таки не будемъ въ состояніи демонстрировать, какимъ образомъ одна способность вытекаетъ изъ другой?

Предположимъ, что о какомъ-нибудь авторѣ, какъ, напримѣръ, о нѣмецкомъ ученомъ Рюккертѣ, извѣстно, что онъ замѣчательный ориенталистъ. Изъ этого трудно заключить то, что онъ въ то же время превосходный поэтъ. Или предположите, что онъ дѣйствительно поэтъ, и тогда явится вѣроятность (литературная, но не научная), что, какъ поэтъ, Рюккертъ почерпнулъ свою силу главнымъ образомъ въ изученіи языка. Но объ этомъ нельзя ничего утверждать съ достовѣрностью, такъ какъ есть поэты, чуждые вполнѣ филологіи и владѣвшіе превосходно языкомъ; а съ другой стороны, великіе филологи не могли написать ни одного стиха. Припомнимъ примѣръ Паскаля — великаго математика и великаго религіознаго мыслителя; трудно сказать, что было у Паскаля выше — талантъ ли его математическій, или талантъ богословскій?

Ничто не препятствуетъ двумъ химическимъ элементамъ, которые часто уже являлись соединенными, слиться еще съ третьимъ элементомъ; точно также, наоборотъ, мы не видимъ безусловной необходимости сдѣленія трехъ основныхъ способностей въ духѣ, когда сліяніе двухъ было уже достаточно для проявленія какаго-нибудь чрезвычайнаго таланта. Примѣръ — Леонардъ, который

былъ живописцемъ, архитекторомъ, инженеромъ, философомъ и поэтомъ.

Тэнъ часто, для подтвержденія своей теоріи, прибѣгаетъ къ аналогіи, а именно, онъ говоритъ, что сильное развитіе на какой-нибудь одной точкѣ организма влечетъ за собою болѣе слабое развитіе на другихъ — подобно тому какъ у птицъ, которыя не могутъ бѣгать, всегда сильно развиты крылья, и наоборотъ; но такая аналогія не въ состояніи служить намъ руководящею звѣздою. То, что можетъ подавляться у лица менѣе способнаго, — можетъ процвѣтать у другого, болѣе одареннаго, рядомъ съ тою же самою способностью. И это одинаково справедливо можно примѣнить къ цѣлымъ націямъ; на пространствѣ долгой жизни, народы, какъ и лица, могутъ весьма видоизмѣняться; представимъ себѣ, для примѣра, хотя бы Германію — время Гегеля и Бисмарка. Все, что можно извлечь изъ этой теоріи Тэна, ограничивается одною общою мыслью, а именно, что ни одна личность нивогда не была способна развить въ себѣ всевозможные таланты, и что между способностями встрѣчаются противорѣчивыя, искажающія взаимно другъ друга.

Вслѣдствіе своей теоріи Тэнъ довольствуется на практикѣ тѣмъ, что изображаетъ и описываетъ способности великихъ писателей, но не пытается сдѣлать изъ того какой-нибудь выводъ. Характеристика Бальзака у Тэна можетъ служить тому примѣромъ. Тэнъ характеризуетъ особо стиль, умъ и качества самого Бальзака. Это, — говоритъ онъ, — былъ задолжавшій дѣлецъ, чистокровный парижанинъ, одаренный сильнымъ и горячимъ темпераментомъ. Затѣмъ особо слѣдуетъ описаніе ума, одинаково научнаго и художественнаго. Какъ ученый, Бальзакъ былъ прежде всего наблюдатель, потомъ философъ и такъ далѣе.

Въ характеристикѣ Мильтона Тэнъ какъ будто пытается сдѣлать выводъ, но весьма неудачно: обширныя познанія, строгая логика и великая страстность служатъ основами характера Мильтона. Какъ умъ логическій и просвѣщенный, онъ обладаетъ силою, заключающею въ себѣ твердость, самоувѣренность и спокойствіе духа. Мильтонъ соединялъ въ себѣ всѣ эти качества, и онъ былъ герой. Но глубокое убѣжденіе, охраняющее отъ соблазна, можетъ ослѣпить человѣка по отношенію къ фактамъ, и въ героѣ часто скрывается теоретикъ. Мильтонъ и былъ теоретикомъ, и какъ таковой онъ былъ возвышеннаго характера, ибо одна опытность — а ея-то именно ему и недоставало — уничтожаетъ всякое великодушіе — и такъ далѣе, и такъ далѣе.

Изъ всего этого явствуется, что Тэнъ, несмотря на свою

основную идею о математическомъ сдѣлени способностей, былъ вынужденъ всегда разсматривать личность какъ нѣчто устойчивое. Не будучи способенъ уразумѣть исторію развитія таланта, Тэнъ никогда не дѣлалъ къ этому и попытки. Критикъ, который безконечно обязанъ трудамъ Бальзака наслажденіемъ и поученіемъ, все-таки обязанъ попытаться придти къ психологическимъ выводамъ болѣе истиннымъ, и прежде всего въ пониманіи индивидуальнаго ума писателя.

Въ другой литературѣ, гдѣ я владѣю своимъ предметомъ, я сдѣлалъ попытку анализа въ другомъ родѣ. Я говорю: „въ другой литературѣ, гдѣ я владѣю своимъ предметомъ“, — ибо я глубоко убѣжденъ, что критикъ можетъ сдѣлать употребленіе изъ своей настоящей силы, изъ своихъ совокупныхъ средствъ, только по отношенію къ литературѣ собственной страны. Только тогда, когда онъ глубоко изучилъ языкъ — что невозможно по отношенію къ иностраннымъ литературамъ, — когда онъ вполне посвященъ во всѣ общественныя отношенія — что возможно только въ средѣ, гдѣ онъ выросъ, — когда онъ ни отъ кого не зависитъ и не нуждается въ постороннихъ указаніяхъ, — только тогда умственный его глазъ можетъ проникать въ тайники человѣческой души.

Послѣ того какъ самое тщательное изученіе приготовило все, — только тогда появляется возможность обобщенія — *devination* — всегда необходимаго и сосредоточивающаго въ себѣ всѣ расходящіяся нити одного центра. Безъ такого проникновенія въ предметъ, безъ такой „*intuition*“, критика по-неволѣ должна ограничиться одними приблизительными результатами; искусство же начинается только тамъ, гдѣ все „приблизительное“ оканчивается. Съ своей стороны, я, въ концѣ концовъ, вѣрю въ одну „*intuition*“.

Безъ сомнѣнія, критика, до извѣстной степени, есть прикладная наука; но въ то же время она является и искусствомъ; ибо нѣтъ такого изслѣдовательнаго метода, который могъ бы намъ дать ключъ къ человѣческому духу во всемъ его объемѣ. Въ германскихъ университетахъ думаютъ иначе. Но только при помощи одной „*intuition*“, критика можетъ достигнуть полного пониманія духа, дать себѣ точный отчетъ, внѣ всякаго спора, такъ какъ при этомъ она будетъ опираться на опытъ, доступный провѣркѣ самого читателя. Не нужно, однако, воображать и тогда, будто мы очутимся предъ результатами чисто-научнаго изслѣдованія. Даже и послѣ упорной работы, когда критикъ видитъ, что онъ вполне справился со своимъ сюжетомъ, онъ все же не достигъ момента для настоящаго труда, и не садеть писать,

прежде, нежели не почувствуетъ, что въ немъ живетъ то самое лицо, которое онъ предпринимаетъ охарактеризовать — и очень часто ему приходится ждать того цѣлые мѣсяцы... Зато, если критику удастся понять до конца и воспроизвести личность человека во всемъ объемѣ, то онъ можетъ въ такомъ случаѣ иногда совершить нѣчто такое, съ чѣмъ не сравнится даже и поэтическое произведеніе. Даже и тогда, когда поэтическое творчество остается выше критики по своей свѣжести, прелести и красотѣ, — рѣдко мы видимъ, однако, и даже почти никогда, чтобы поэтъ былъ способенъ изобразить намъ духъ человека съ такою ясностью и оригинальностью, какъ то возможно для критика. Поэзія изображаетъ характеры въ дѣйствіи, но не самую жизнь творческаго или философскаго ума, и всего рѣже, и всего труднѣе она рисуетъ вамъ генія. Личности, высоко одаренныя, съ проницательнымъ умомъ, образовавшимися послѣдовательно и независимо отъ общепринятыхъ взглядовъ на міръ, живущія какою-нибудь системою философскою и политическою, вполне самоличною — рѣдко появляются на сценѣ романовъ и драмъ нашего времени.

Покажу теперь на отдѣльныхъ примѣрахъ, до какой степени та теорія „господствующей способности“, о которой мы говорили выше — несостоятельна сама по себѣ.

Данія имѣетъ одного весьма замѣчательнаго писателя, Сѣренъ Кіеркегаарда, — величайшаго изъ прозаиковъ датской литературы нашего времени; онъ умеръ всего 47 лѣтъ отъ роду; писалъ онъ не болѣе десяти лѣтъ и оставилъ послѣ себя цѣлую литературу — томовъ пятьдесятъ, если не больше; его произведенія превосходятъ глубиною мысли все, что представляетъ скандинавская литература. Семнадцатилѣтніе юноши съ жадностью и энтузіазмомъ читаютъ его книги, хотя и понимаютъ въ нихъ немного; его стиль необыкновенно характеренъ и оригиналенъ. Кіеркегаардъ оставилъ послѣ себя труды поэтическіе, критическіе, философскіе — и особенно много религіозныхъ. Читеніемъ ихъ наслаждаются и до сихъ поръ, но нужно ихъ уразумѣть, — уразумѣть ихъ внутреннее значеніе. Всякій, конечно, желалъ бы того, но не всякому это доступно. Всѣ спрашиваютъ: почему онъ писалъ именно объ этомъ, и почему онъ писалъ такъ, а не иначе? — Онъ написалъ трактатъ о Донъ-Жуанѣ; нѣсколько разсужденій о бракѣ; „симпозіонъ“, или трапезу, на подобіе такому же трактату Платона, съ разсужденіями о женщинахъ и о любви; книгу, въ которой выступаетъ на сцену цѣлый хоръ женщинъ, оставленныхъ ихъ возлюбленными; еще книгу, подъ заглавіемъ: „Журналъ

уединенного мыслителя“, прервавшего связи съ молодой дѣвушкой; Антигону, разсорившуюся съ своимъ возлюбленнымъ за то, что она не хотѣла открыть ему тайну брака ея отца Эдипа; обширный религіозный трудъ объ Авраамѣ и Исаакѣ, написанный съ какимъ-то френетическимъ восторгомъ предъ Авраамомъ; наконецъ, массу рѣчей и т. д.

Теорія „господствующей способности“ окажется тутъ ни къ чему непригодною. Найти у Кіеркегаарда „господствующую способность“ — очень легко; можно прямо сказать: это — піэтизмъ, дошедшій до энтузіазма. Но какъ это поможетъ намъ понять писателя? и я самъ долго не понимаю его. Наконецъ, я открылъ, какимъ образомъ одинъ случай изъ его юности, а именно, обѣщаніе вступить въ бракъ, не состоявшійся по причинѣ физическаго и религіознаго характера, опредѣлилъ напередъ цѣлый періодъ жизни писателя. Узелъ во всемъ этомъ происшествіи составляетъ — „благочестивый обманъ“, и вотъ какъ послѣ я объяснилъ себѣ все это дѣло.

То, что Кіеркегаардъ узналъ впоследствии изъ прошедшаго своей невѣсты, внушало опасеніе, чтобы разрывъ между ними не стоилъ ему жизни, и онъ счелъ священною обязанностью умолчать о настоящей причинѣ своего отреченія. Чтобы скрыть это, онъ прибѣгнулъ къ слѣдующему средству: онъ началъ мучить невѣсту и надѣлать ей съ цѣлью сдѣлать себя ненавистнымъ и тѣмъ облегчить ей непріятность разрыва. Кромѣ того, онъ старался представить себя въ самомъ невыгодномъ свѣтѣ, чтобы прослыть вообще за легкомысленнаго негодяя, въ увѣренности, что осужденіе его со стороны всего общества облегчитъ молодой дѣвушкѣ размолвку, — и въ то же время дѣлалъ все возможное къ утвержденію ея въ религіозной вѣрѣ, съ тѣмъ, чтобы такимъ образомъ подкрѣпить ея силы къ перенесенію горя. Комическій элементъ всей этой исторіи состоитъ въ томъ, что дѣвушка такъ мало горѣла желаніемъ выйти за него замужъ, что пятнадцать дней спустя была уже невѣстою одного изъ своихъ кузеновъ. Постараюсь теперь объяснить, какимъ образомъ все пережитое Кіеркегаардомъ отразилось на его произведеніяхъ, которыя, повидимому, не имѣли ничего общаго съ обстоятельствами его жизни, — а между тѣмъ иначе нельзя понять ни источника, ни внутренняго значенія его произведеній. Такое соотношеніе произведеній и жизни автора въ нѣкоторыхъ случаяхъ бросается само собою въ глаза, особенно если обратить на то вниманіе. Такъ, напримѣръ, у Кіеркегаарда непремѣнно является подлѣ Эльвиры Донъ-Жуанъ, подлѣ Маріи Бомарше — Клавиго. Есть

менѣ ясны намеки на то же, когда, напримѣръ, Кьеркегаардъ изображаетъ Антигону и Эдипа. Его Антигона владѣетъ секретомъ, котораго она не можетъ довѣрить никому,—она знаетъ таинственную исторію брака ея отца Эдипа. Кьеркегаардъ не могъ сдѣлать изъ такой Антигоны обманутую и покинутую женщину, какъ Эльвира или Марія; зато онъ воплотилъ самого себя въ Антигонѣ, онъ воплотилъ въ ней любящаго человѣка. Его Антигона любить и разрываетъ свою связь съ тѣмъ, кого она любитъ, только потому, что она не можетъ сообщить тайны своей жизни. Она изъ любви прибѣгаетъ къ обману, ибо иначе ея возлюбленный несправедливо долженъ былъ бы страдать вмѣстѣ съ нею. Итакъ, замѣнивъ только одинъ полю другимъ, мы встречаемъ у Кьеркегаарда ту же самую тему, которую онъ варьируетъ безконечно.

Особенно интересно для меня было открыть тотъ же мотивъ, заимствованный изъ личныхъ отношеній автора, въ одномъ изъ его юношескихъ произведеній, гдѣ вовсе нѣтъ вопроса о любви и замѣчается переходъ къ религіозному творчеству. Эта книга, замѣчательная и по глубинѣ мыслей, и по силѣ чувства, вращается исключительно около исторіи Авраама и Исаака изъ ветхаго заветъа, и въ то же время — дѣло идетъ вовсе не объ Авраамѣ и Исаакѣ. Когда оба они достигли горы Моріа, Авраамъ началъ объяснять Исааку то, что его ожидаетъ. Но Исаакъ никакъ не можетъ понять отца; его душа не въ состояніи подняться до высоты его мысли, и онъ обнимаетъ колѣни Авраама, молить отца о пощадѣ. Тогда Авраамъ (въ рассказѣ Кьеркегаарда) видитъ себя въ необходимости прибѣгнуть къ обману. Онъ хватаетъ сына за грудь и повергаетъ его на землю, со словами: „Несчастный, ты думаешь, что это—божія воля? Нѣтъ! такъ я хочу!“ Въ предсмертномъ страхѣ, Исаакъ обращается къ Богу съ мольбою, а Авраамъ говоритъ про себя:—„Господь небесный, благодарю тебя! пусть лучше онъ считаетъ меня чудовищемъ, нежели потеряетъ вѣру въ тебя“.

Когда по отпечатаніи моей книги о Кьеркегаардѣ, появились на свѣтъ его мемуары, которыхъ я не зналъ, оказалось, что то, что я высказалъ о психологіи его произведеній еще подъ сомнѣніемъ, совершенно совпадало съ дѣйствительностью.

Подобно тому, какъ натуралисты умѣютъ приводить различныя формы организмовъ, каковы: рыба, птица, собака и человѣкъ—къ одному первоначальному типу эмбриона, точно такъ и критика можетъ съ успѣхомъ выяснить, какимъ образомъ одинъ и тотъ же основной сюжетъ варьируется у автора въ цѣлой се-

ріи его произведеній. Дѣйствующее лицо, за которымъ скрывается самъ авторъ, Кіеркегаардъ, — то мужчина, то женщина, то женихъ, то невѣста, иногда—отецъ, иногда—дочь, въ первомъ періодѣ—Донъ-Жуанъ и Эльвира, въ послѣднемъ—Авраамъ и Исаакъ;—и вся перемѣна при этомъ—чисто формальная.

Въ настоящемъ случаѣ мы наблюдали, какъ въ теченіе извѣстнаго времени одно событіе въ жизни автора преобладало надъ всѣми его произведеніями и направляло его талантъ. Но есть много другихъ случаевъ, гдѣ и преобладающее событіе точно также ничего не объясняетъ, какъ ничего не можетъ объяснить „господствующая способность“; однимъ словомъ, формулы, которая вполне обезпечивала бы критика, не существуетъ.

Въ Даніи жилъ, въ началѣ нынѣшняго вѣка, поэтъ, глубокій по мысли, но мало кому теперь извѣстный—Шакъ Стаффельдтъ. Изъ всей лирической поэзіи скандинавской литературы, его поэзія является самою роскошною, но она никогда не была вполне оценена. Масса оригинальнаго поражаетъ въ его поэзіи, наприкладъ, проявленіе величайшей радости по поводу исключительно теплой осени, цѣлыя серіи сонетовъ, воспѣвающихъ сталактитовыя гроты, и въ то же время чрезвычайно рѣдко встрѣчаются у него впечатлѣнія окружающей его природы. Наконецъ, есть у него еще одно феноменальное свойство: онъ вездѣ обнаруживаетъ энтузіазмъ по поводу пѣнія въ католическихъ церквахъ, а самъ онъ лично былъ пронизанъ страстною ненавистью къ римскому католицизму. Его „господствующая способность“ — созерцаніе, на половину метафизическое, на половину лирическое. Господствующаго событія не было никакого въ жизни Стаффельдта, печальной и монотонной. Но за то у него есть своеобразный взглядъ на жизнь, который отражается на всемъ.

Я напелъ, что Стаффельдтъ, врагъ всего фрагментарнаго, отрывочнаго, и ненавистникъ внутренней разногласицы и разъединенія, развивалъ свои мысли вполне свободно и вмѣстѣ первобытно — именно тогда, когда ему приходилось описывать и прославлять вселенную въ ея единствѣ и нераздѣльности. Онъ преклонялся предъ единствомъ съ благочестіемъ пантеиста и выражалъ его въ символахъ, какими до него никто не воспѣвалъ вселенной. Если онъ рѣдко брался за описанія природы въ Даніи, то именно потому, что въ его глазахъ природа, о которой онъ говоритъ и о которой онъ мечтаетъ — это всеобъемлющая природа, вселенная. Теплый сентябрь возбуждаетъ въ немъ энтузіазмъ, такъ какъ онъ въ этомъ видитъ соединеніе красотъ осени и весны. Онъ любитъ воспѣвать сталактитовыя гроты, потому

что въ нихъ онъ усматриваетъ символъ единства вселенной. Въ этихъ гротахъ, гдѣ камень какъ бы преобразовался въ росу и паръ, гдѣ капля окаменѣла и приняла архитектурныя формы,— въ этихъ гротахъ созерцательный поэтъ чувствуетъ себя болѣе дома и духъ его охотнѣе паритъ, нежели въ дубовыхъ лѣсахъ Даніи на берегу Зунда. Его безпредѣльное увлеченіе пѣсногѣніями въ римско-католической церкви, — увлеченіе, доходившее до того, что онъ сравнивалъ службу Кресцентини съ ликомъ Сикстинской Мадонны—объясняется тѣмъ, что ему въ этомъ пѣніи являлась мужеская сила, таинственно сливающаяся съ чарами дѣвственности; то же самое представлялось ему въ фигурѣ Вакха или гермафродитовъ древности. Пластическое соединеніе противоположностей пола восхищало его одинаково, какъ и музыкальное разноречіе. — Почему? — Именно потому, что гермафродитизмъ былъ однимъ изъ символовъ, въ формѣ котораго глазамъ поэта представлялось единство всего существующаго, духъ вселенной, служившій предметомъ его пожеланій и источникомъ, изъ котораго онъ ихъ почерпалъ. Природа, какъ божество, была для него „великимъ гермафродитомъ вселенной“.

Итакъ, въ настоящемъ случаѣ, какъ оказывается, необходимо было постичь философскія и религіозныя воззрѣнія поэта, чтобы получить ключъ къ цѣлой серіи его различныхъ произведеній. Эти воззрѣнія встрѣчаются повсюду, какъ бы ни была обособлена и индивидуализирована ихъ внѣшняя форма, и притомъ съ такою очевидностью, какой Тэнъ никогда не могъ достигнуть при помощи допускаемой имъ „господствующей способности“ — *faculté maitresse*.

Между тѣмъ теорія „господствующей способности“ есть только одна изъ точекъ зрѣнія критики Тэна. Позже, онъ все болѣе и болѣе сталъ объяснять произведенія искусства состояніемъ культуры, взятой во всей ея совокупности, а природу художника—его средой. Геній, въ его глазахъ, есть итогъ, и все то, что онъ порождаетъ—все это итоги. Разсуждая такимъ образомъ, Тэнъ не отходитъ, однако, совсѣмъ отъ своей прежней точки зрѣнія, ибо его новую теорію собственно можно выразить и такимъ образомъ: художникъ представляетъ собою господствующія свойства своего вѣка и преобладающую способность своего народа. Относительную справедливость такого положенія оспаривать нельзя, и всякому извѣстны тѣ великіе результаты, къ какимъ пришелъ Тэнъ, при помощи такого положенія. Но объяснять искусство культурой,—это все равно, что объяснять одинъ членъ организма другимъ, не принимая въ соображеніе его осо-

бренныхъ функцій, — это все равно, что желать объяснить мозгъ сердцемъ, легкія — печенью.

Тэнъ вообще отрицаетъ первоначальную силу великаго индивидуума и приписываетъ всю его дѣятельность — окружающему міру. Онъ можетъ, при этомъ, сказать намъ въ защиту себя, что среда несомнѣнно отражается въ недѣлимыхъ; но такой отвѣтъ нельзя признать удовлетворительнымъ, ибо въ такомъ случаѣ сумма активной силы должна была бы получиться изъ сложения однихъ пассивныхъ силъ. Въ своемъ толкованіи жизни лорда Бэкона Тэнъ не допускаетъ въ немъ даже никакой такой самобытности, которая не могла бы быть разъяснена расою и средою.

Три великія силы, которыя, въ глазахъ Тэна, предопредѣляютъ у писателя все, а именно: раса, среда и моментъ (то есть историческій), — онѣ оказываютъ безспорно великое вліяніе, но при всемъ томъ нельзя никакъ установить прочныхъ соотношеній, т.-е. практическихъ, между произведеніями искусства и другими людьми, а не самимъ авторомъ, уже по одному тому, что вліяніе другихъ бываетъ вообще неясно, сокрыто и измѣнчиво; мы не можемъ сказать ничего точнаго въ этомъ отношеніи.

Хотя, какъ политикъ, Тэнъ далекъ отъ того, чтобы быть демократомъ, но его воззрѣніе на искусство тѣмъ не менѣ демократическое; мое же, напротивъ — аристократическое. У Тэна всѣ идеи и обобщенія исходятъ, въ концѣ концовъ, изъ толпы. Но въ дѣйствительности ни идея, ни художественная форма никогда не зарождаются въ толпѣ; даже народныя пѣсни среднихъ вѣковъ всѣ вышли изъ рыцарскихъ замковъ. Идея беретъ свое начало въ недѣлимомъ, стоящемъ выше толпы и привлекающемъ ее къ себѣ. Такое недѣлимое находитъ себѣ родственные умы — и такимъ образомъ слагается школа. Особый характеръ, какимъ отличаются всѣ адепты школы, безъ всякаго различія между собою, не долженъ быть приписываемъ вліянію общества или цѣлаго народа; онъ является самъ собою, какъ отраженіе, какъ эхо, часто болѣе сильное, чѣмъ самый звукъ, вызвавшій это эхо, и которое пробуждаетъ одинъ художникъ въ другомъ — такомъ же художникѣ. Художники вліяютъ взаимно другъ на друга, взаимно соприкасаются, и изъ школы выдѣляются новыя частности, которыя всегда несутъ на себѣ печать еще болѣе глубокой глубины мысли. Произведенія школы выражаютъ собою способности и идеалы ихъ творцовъ и служатъ, прежде всего, отраженіемъ ихъ собственной интеллектуальной жизни, а уже

затѣмъ—и интеллектуальной жизни всѣхъ тѣхъ, на кого тѣ произведенія произвели извѣстное впечатлѣніе.

Такимъ образомъ, художникъ самъ творить себѣ среду, отыскивая въ обществѣ именно такія лица, которыя, хотя и въ меньшей степени, обладали бы тѣми же предрасположеніями, какъ и онъ самъ. Но починъ принадлежитъ всегда великому индивидууму, и никогда—толпѣ. Избранникъ руководить всѣмъ.

Въ прежнее время, когда расы были болѣе очерчены, а средства къ общенію между ними—самыя ничтожныя, происхождение и среда, данная мѣстомъ рожденія, имѣли громадное значеніе. Теперь мы видимъ не то. Можно съ основательностью утверждать, что литература въ древности отражала на себѣ характеръ народа, по той уже одной простой причинѣ, что она была продуктомъ свойствъ самого народа, сконцентрированныхъ въ лицѣ великихъ людей эпохи. Въ наше время, если литература выражаетъ характеръ народа, то только потому, что данный народъ оказался въ состояніи усвоить ее себѣ и оцѣнить. Въ ближайшія къ намъ эпохи нельзя быть увѣреннымъ даже въ томъ, что великій человѣкъ непременно выражаетъ характеръ своего народа; иногда его сила и состоитъ именно въ томъ, что онъ преобразуетъ народъ по своему образу и подобию.

Великій поэтъ и вмѣстѣ ученый, Гольбергъ, положившій начало литературѣ и театру въ Даніи и Норвегіи,—притомъ какъ литературѣ поэтической, такъ и научной,—служить, въ этомъ отношеніи, поразительнымъ примѣромъ. По своей природѣ и направленію ума, онъ—чистый классикъ, а между тѣмъ—фактъ несомнѣнный—классицизмъ одинаково противорѣчитъ и универсальному характеру германской расы скандинавовъ, и частному характеру, свойственному однимъ народамъ сѣвера. При своей жизни онъ не успѣлъ основать школы, и оставался одинокимъ посреди своихъ современниковъ. Тѣмъ не менѣе имя его теперь—самое популярное въ литературѣ обоихъ народовъ; онъ сдѣлался всѣми признаннымъ наставникомъ. Въ теченіе полутора вѣковъ онъ успѣлъ овладѣть всѣми общеизвѣстными классами и подчинилъ своему вліянію два народа. Національныя особенности въ Даніи и Норвегіи, можно сказать, преобразовались по облику ихъ учителя.

Тѣмъ всегда особенно интересовался еще тѣмъ, чтобы изучать слѣды, указывающіе на единство и устойчивость расы на всемъ пространствѣ исторіи ея литературы. Но меня интересовала бы болѣе всего исторія великихъ движеній жизненной волны, начиная отъ ея зарожденія и далѣе по всему пространству,

пробѣгаемому ею,—отъ одной страны къ другой,—великія теченія литературы нашего вѣка.

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія, отношенія между поэзією и критикою были весьма натянуты. Каждое новое блюдо отсылалось предварительно на пробу критики, и по ея гримасѣ судили о томъ, хорошо ли блюдо, или оно заключаетъ въ себѣ отраву. Вотъ почему сборники поэмъ въ первой половинѣ нынѣшняго вѣка переполнены упреками и укоризнами критикѣ, отравляющей жизнь поэтамъ и художникамъ. Позже, критика и поэзія сближаются другъ съ другомъ. Въ то время, какъ критика сдѣлалась синтетическою, и поэзія испытала на себѣ нѣчто подобное—вслѣдствіе постепенныхъ завоеваній со стороны естественныхъ наукъ въ области новѣйшей интеллектуальной жизни.

Въ началѣ этого вѣка, фантазія считалась способностью собственно поэтической; даръ творчества дѣлалъ поэтомъ писателя, и поэтъ чувствовалъ себя въ сверхъестественномъ мірѣ такъ же хорошо, какъ бы онъ находился въ мірѣ всѣмъ извѣстномъ. Но когда поэзія отказалась отъ витанія въ воздушныхъ пространствахъ и сдѣлала попытку къ тому, чтобы понимать, вмѣсто того чтобы выдумывать,—и поэтъ и критикъ весьма приблизились другъ къ другу. Романъ сдѣлался психологією. Въ наши дни романистъ и критикъ имѣютъ общую точку отправленія—умственную среду данной эпохи. И только въ такой обстановкѣ являются тѣ человѣческія фигуры, которые изображаются въ литературѣ. Романистъ желаетъ обрисовать и объяснить характеръ дѣйствія человѣка; критикъ—письменнаго произведенія. Дѣйствіе человѣка и литературное произведеніе являются такимъ образомъ результатами, которые человѣкъ и писатель, побуждаемые дѣйствительною или кажущеюся необходимостью, производятъ въ моментъ встрѣчи извѣстныхъ внутреннихъ и вѣшнихъ предрасположеній. Изъ наблюдений надъ характеромъ человѣка романистъ заключаетъ о возможныхъ его дѣйствіяхъ; критикъ же изъ наблюдений надъ произведеніемъ заключаетъ о характерѣ лица, создавшаго это произведеніе.

Критика, понимаемая какъ даръ, силою котораго можно преодолѣть первобытную ограниченность нашей природы, была всегда главнымъ свойствомъ всѣхъ великихъ поэтовъ нашего вѣка.

Такая критика весьма справедливо была названа младшею изъ музъ, Сандрильоною, десятою музою.

Взятая съ еще болѣе широкой точки зрѣнія, какъ склонность къ всестороннему изслѣдованію, какъ способность подвер-

гать своему обсужденію все существующее, критика была могущественною вдохновительницею такихъ величайшихъ лириковъ нашего вѣка—какъ Викторъ Гюго, какъ Байронъ.

И съ того момента, когда поэзія перестала выдѣлять себя изъ окружающей жизни и изъ идей своей эпохи, когда романтическіе поэты уступили мѣсто новымъ поэтамъ, критика является въ поэзіи всюду, какъ оживотворяющій принципъ. Она указываетъ дорогу человѣческому духу и разставляетъ по ней столбы и свѣтильники; она расчищаетъ новые пути; она же переступаетъ горы,—горы слѣпой вѣры, предрасудковъ, животной силы и отжившихъ преданій...



СТЕЛЛА

Романъ въ двухъ частяхъ миссисъ Брэддонъ.

Съ англійскаго.

Окончаніе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Х *).

Телеграмма мистера Несторіуса подана была лорду Лашмеру въ сѣняхъ, когда онъ вернулся домой, а самъ Несторіусъ пріѣхалъ въ половинѣ десятаго на слѣдующее утро, удививъ своимъ появленіемъ избранный кружокъ, оставшійся дома, когда другіе отправились на охоту. Ни лэди Кэрмино, ни мистрисъ Вавасуръ не появлялись за завтракомъ, а лэди Софія всегда сопровождала охотниковъ; такимъ образомъ избранный кружокъ состоялъ въ данномъ случаѣ изъ лорда Лашмера, мистрисъ Мольчиберъ и капитана Вавасура, который не поѣхалъ на охоту, чтобы писать новый романъ, гдѣ всѣ его *dramatis personae* постепенно выступаютъ передъ читателемъ послѣ описанія ихъ характеровъ на одиннадцать страницъ.

Къ нимъ влетѣлъ Несторіусъ, блѣдный и растрепанный послѣ безсонной ночи, проведенной въ шотландской почтовой каретѣ.

— Нашли ее?—спросилъ онъ съ волненіемъ.

— Нѣтъ, пропала безъ вѣсти,—отвѣтилъ Лашмеръ, вставая.

*) См. выше: сент., 228 стр.

—Пойдемте въ бібліотеку; я расскажу вамъ о томъ, что я принялъ.

Мистрисъ Мольчиберъ казалась глубоко разочарованной. Она любила совать свой носъ въ фамильныя дѣла и полагала, что лучше чѣмъ кто-нибудь въ замкѣ понимаетъ, какого рода чувства питаетъ мистеръ Несторіусъ къ пропавшей дѣвушкѣ. Ей хотѣлось бы утѣшать и совѣтовать, хотѣлось бы сблизиться съ государственнымъ человѣкомъ въ тяжкую минуту его жизни, какъ ей это удавалось съ другими важными лицами; и вотъ вдругъ Лашмеръ уводитъ отъ нея добычу.

Она встала со стула и поспѣшно направилась къ двери, точно желая перерѣзать путь Несторіусу.

— Не могу ли я быть полезна? — мягко закуковала она: — Стелла и я—мы были большими друзьями. Не думаю, чтобы къ кому-нибудь въ здѣшнемъ домѣ она относилась съ такимъ довѣріемъ, какъ ко мнѣ.

Несторіусъ зорко поглядѣлъ на нее проницательными сѣрыми глазами.

— Вы знаете, куда она ушла и почему ушла?—рѣшительно спросилъ онъ.

Мистрисъ Мольчиберъ замаялась, прискивая дипломатическій отвѣтъ.

— Не знаете,—отвѣтилъ за нее Несторіусъ:—значить вы не можете намъ помочь,—и вышелъ вслѣдъ за Лашмеромъ изъ комнаты.

— Я бы могла дать имъ полезный совѣтъ, — пробормотала мистрисъ Мольчиберъ, возвращаясь къ неоконченному завтраку. — Я столько въ жизни видѣла семейныхъ драмъ и исторій!

— У васъ, должно быть, очень богатый и интересный опытъ, — сказалъ Вавасуръ, доканчивая тетерева. — Поговоримъ по душѣ, пока эти два дурака носятъ съ черноглазой дѣвушкой, въ которую, должно быть, оба влюблены. И я увѣренъ, что она убѣжала затѣмъ, чтобы заставить высказаться того или другого. Расскажите мнѣ всѣ подробности бѣгства лэди Банбери. Ея исторія годится для реалистическаго романа, а подробности тутъ—все. Воображеніе можетъ набросать общія рамки, но детали должны быть всѣ изъ жизни, понимаете? всѣ тѣ мелочи, знаете, которыхъ не придумаешь, въ родѣ исторіи той лэди въ Брайтонѣ, которая, оставивъ домъ мужа, чтобы убѣжать съ любовникомъ, не заперла за собой двери и въ припадкѣ раскаянія хотѣла вернуться назадъ, да только вѣтеръ захлопнулъ дверь передъ самымъ ея носомъ.

Драматично, не правда ли? И однако ни одинъ романистъ не придумалъ бы дверь, запертую вѣтромъ.

— Почему, радѣ самого неба, бросила она вашъ домъ? — вскричалъ Несторіусъ, когда Лапмеръ привелъ его въ бібліотеку. — Что могло побудить ее къ такому поступку? Она, казалось мнѣ, совсѣмъ покорилась судьбѣ и рѣшила жить подъ вашей кровлей до тѣхъ поръ, пока литературный талантъ не дастъ ей независимости. И вотъ черезъ нѣсколько часовъ послѣ того, какъ мы разстались, она убѣгаетъ изъ дому, точно фуріи гнались за ней. Что это значитъ?

— Это значитъ, что я грубая скотина, — отвѣчалъ Лапмеръ, стоя передъ Несторіусомъ съ опущенными глазами и угрюмымъ видомъ: — да, скотина. Я всегда былъ грубъ съ этой дѣвушкой, съ того самаго часа, какъ мой бѣдный братъ впервые привезъ ее въ домъ, и до того, какъ она оставила его, изгнанная моими дерзкими рѣчами. Да, вы вполне вѣрно упомянули о фуріяхъ. Эта дѣвушка была моей Немезидой. Она дразнила во мнѣ всѣ дурныя страсти — гордость своимъ рожденіемъ, преувеличенную вѣру въ касту. Я съ самаго начала не влюбилъ ее, не хотѣлъ видѣть въ ней ничего, кромѣ дурного; я былъ жестокъ, бездушенъ, безжалостенъ; я видѣлъ, какъ ее обижали, и ни разу не вступился за нее. И затѣмъ, когда я пріѣхалъ въ этотъ разъ въ замокъ и увидѣлъ, какая изящная женщина вышла изъ нея, увидѣлъ ее оригинальную, духовную красоту, я бѣсился на себя за то, что не могу не восхищаться ею, бѣсился, что она переросла свое положеніе, осмѣяла мои предрассудки. Чѣмъ сильнѣе поддавался я вліянію ея мистической красоты, тѣмъ рѣзче нападалъ на нее, боролся съ желаніемъ видѣть ее, нарочно уходилъ изъ комнаты, когда она читала матушкѣ, убѣгалъ отъ нея какъ отъ заразы. И все-таки не могъ вырвать ее изъ сердца, и ея образъ преслѣдовалъ меня. Я просыпался внезапно по ночамъ потому, что мнѣ казалось, что я слышу ея голосъ, тѣ низкія, густыя ноты, которыя придавали небывалую мелодичность стихамъ Китса и Мильтона. Я ненавидѣлъ себя за измѣну всѣмъ принципамъ моей жизни, которые заставляли меня искать совершенства только у высокорожденныхъ людей, и прелесть, привлекавшая меня въ ней, была оскорбленіемъ для моей гордости и заставляла меня проклинать ея существованіе. Въ такомъ настроеніи я былъ въ ту ночь, когда увидѣлъ васъ съ нею, вонъ изъ того окна. Я видѣлъ, какъ она бросилась къ вашимъ ногамъ и поцѣловала вашу руку,

и одурѣлъ отъ бѣшенства при этомъ видѣ. Я обвинилъ ее въ томъ, что она старается поймать васъ въ мужья, пуская въ ходъ такія драматическія уловки!

— Вы обвинили ее въ томъ, что она ловить меня въ мужья! —закричалъ Несторіусъ.—Неужели, Лашмеръ? Какъ вы, молодые люди, проникательны и умны! А что вы скажете, если я сообщу вамъ, что самъ просилъ ее быть моей женой, просилъ со всею убѣдительностью, на какую только способенъ мужчина, предлагающій руку любимой женщинѣ? Я просилъ ее, и она отказала мнѣ. Она предлагала мнѣ на колѣняхъ дружбу, благодарность. Но любви дать не могла.

— Она отказалась выйти за васъ замужъ, она... невольница моей матери!

— Да; это странно, не правда ли? Она—не свѣтская дѣвушка и еще не научилась, какъ продавать себя тому, кто даетъ дороже. У нея сохранились курьезныя первобытныя понятія, что женщина можетъ выйти замужъ только за человѣка, котораго любить, а меня она не любитъ.

— Она странное существо,—пробормоталъ Лашмеръ, подходя къ ближайшему окну и глядя въ садъ, отвернувъ лицо отъ Несторіуса.

Онъ бранилъ ее авантюристкой и искательницей богатыхъ жениховъ. Это благородное, рѣшительное созданіе, отвергнувшее такое высокое положеніе, за которое ухватилась бы каждая дѣвушка на ея мѣстѣ,—отвергнувшая богатаго, добраго мужа, высоко поставленнаго, знаменитаго, обладающаго всѣми качествами, которыя могутъ очаровывать женщинъ, за исключеніемъ молодости. Почему отвергла она такую блестящую партію? такого выгоднаго жениха? Просто потому, что не любила его. Любила ли она кого другого, или нѣтъ? Но кого бы могла она полюбить, живя какъ птичка въ клѣткѣ, не видя со смерти его брата никакихъ образованныхъ мужчинъ, кромѣ Несторіуса и старика Вернера? Нѣтъ, ей некого было полюбить; ея сердце еще не пробуждалось.

— Ваше молчаніе весьма великодушно,—сказалъ онъ наконецъ, возвращаясь къ камину, у котораго стоялъ Несторіусъ.— Но никакіе упреки не заставляютъ меня больше чувствовать мое безуміе. Я точно ребенокъ, который убилъ бабочку, разъярясь на ея красоту. Если бы она была здѣсь, я бы на колѣняхъ сталъ молить ее о прощеніи. Я глубоко несчастенъ съ самаго момента ея бѣгства... раскаяніе терзаетъ меня. Всякіе ужасы мерещатся мнѣ... даже самоубійство... Я боюсь, что она бросилась въ воду въ припадкѣ отчаянія...

— Нѣтъ, нѣтъ, — перебилъ Несторіусъ спокойно: — я не боюсь такого грѣха и такой глупости. Ея умъ слишкомъ уравновѣшенъ, она слишкомъ хорошо сознаетъ свою даровитость — а это всегда служить броней противъ ударовъ судьбы. Ея преобладающая идея, это — надежда зарабатывать свое пропитаніе литературнымъ трудомъ; она хочетъ основать свое благосостояніе на произведеніяхъ творческой мысли и фантазіи. Она мечтаетъ о коттеджѣ на Эвонѣ, гдѣ будетъ жить съ старой нянькой вмѣсто экономки и подружки. Она составила планъ своей будущей жизни, и вы можете быть увѣрены, что, оставляя этотъ домъ, она вознамѣрилась приступить къ осуществленію своего плана. Я не боюсь никакого безумнаго поступка съ ея стороны. Я боюсь только опасностей, которымъ подвергнуть ее безусловная неопытность и незнаніе свѣта.

— У нея нѣтъ ни пенни, — замѣтилъ Лашмеръ: — если только — какъ предполагала лэди Кэрмино — она не заняла у васъ денегъ.

— Лэди Кэрмино такъ предполагала? Какъ это похоже на лэди Кэрмино! Нѣтъ, она не занимала у меня денегъ, бѣдное дитя!

— Вы сказали, что у нея есть страсть къ литературѣ и писательскій талантъ?

— У нея замѣчательный талантъ, Лашмеръ, — оригинальное дарованіе, столь рѣдкое въ нашу подражательную эпоху. Дарованіе ея такъ же оригинально и самобытно, какъ дарованіе Шарлотты Бронти. Но я не прошу васъ вѣрить мнѣ на слово. Я докажу это фактами, если вы позволите мнѣ разобрать здѣсь свою корреспонденцію.

Лашмеръ позвонилъ, и письма мистера Несторіуса были принесены, и въ числѣ ихъ оказался свертокъ корректуръ, которыя Несторіусъ развернулъ съ ловкостью человѣка, привычнаго къ нимъ.

— Прочтите сами въ свободную минуту; это — начало романа, написаннаго Стеллой; я его весь прочиталъ въ рукописи.

— Чтѣ можетъ писать она, не выдавъ свѣта?

— Слѣпой Джонъ Мильтонъ никогда не видѣлъ ада, а Джонъ Китсъ никогда не видѣлъ Титана, и однако они ухитрились писать о томъ и о другомъ съ большимъ успѣхомъ, — отвѣчалъ Несторіусъ.

— Какъ видно, она довѣряла вамъ и планы свои, и желанія, и даже рукописи. Вы счастливы, что заслужили такое довѣріе.

— Я — другъ ея стараго учителя, и она знала, что я ей сим-

патизирую. Эти два обстоятельства сблизили насъ. А теперь, Лашмеръ, расскажите, что вы предприняли, чтобы разыскать ее?

Лордъ Лашмеръ подробно описалъ свои похождения въ Брумъ. Онъ покраснѣлъ какъ дѣвушка, когда передавалъ исторію про ясновидящую и свой визитъ къ мистриссъ Минчинъ.

— Конечно, это чистое безуміе, на которое я рѣшился по совѣту глупой женщины.

— Да, безъ сомнѣнія, все это безумно,—задумчиво отвѣчалъ Несторіусъ:—и однако всѣ мы охотно цѣпляемся за таинственное и необъяснимое. Наши стремленія къ сверхъестественному ополнены шарлатанами до того, что трудно уже и различить фокусника отъ сивиллы. Я поѣду съ вами къ сивиллѣ сегодня, если хотите, *pour passer le temps*, послѣ того какъ мы побываемъ въ полиціи и узнаемъ, что они для насъ сдѣлали. А теперь я пойду къ моему старому пріятелю Вернеру; онъ, можетъ быть, пользуется довѣріемъ Стеллы.

— Онъ ничего не зналъ въ ту ночь, когда она убѣжала. Я пошелъ къ нему тотчасъ же, какъ мы хватились ея.

— Быть можетъ, съ тѣхъ поръ онъ что-нибудь узналъ.

— Если онъ узналъ что-нибудь, то ему слѣдовало бы извѣстить меня,—сказалъ Лашмеръ горячо.—Онъ долженъ былъ видѣть, какъ я разстроенъ ея исчезновеніемъ.

— Ваше расстройство, должно быть, очень удивило его, если онъ только его замѣтилъ,—отвѣтилъ Несторіусъ съ легкимъ отѣнкомъ ироніи:—потому что не думаю, чтобы онъ считалъ, что вы особенно заботитесь о его ученицѣ.

— Не лучше ли вамъ позавтракать, прежде чѣмъ мы поѣдемъ?—спросилъ Лашмеръ.

— Нѣтъ, благодарю, я позавтракалъ на станціи; я повидаюсь съ Вернеромъ и затѣмъ вернусь и возьму ванну передъ полдникомъ. Говорятъ, мнѣ приготовили мои прежнія комнаты.

— Разумѣется; онъ всегда къ вашимъ услугамъ.

Несторіусъ печально перебиралъ въ умѣ свой разговоръ съ Лашмеромъ, идя по парку въ это бурное осеннее утро. Какой прихотливой, эгоистичной казалась молодая любовь этому зрѣлому человѣку, любившему съ безкорыстной нѣжностью и самоотверженіемъ, незнакомыми юности! Итакъ, любовь, непобѣдимая, все-сильная любовь подвинула Лашмера на горькія рѣчи и притворное презрѣніе. Онъ тоже подпалъ странному очарованію свѣтлой личности этой дѣвушки, былъ побѣжденъ и боролся съ побѣдительницей.

— Любить ли она его?—спросилъ самого себя Несторіусъ.—

Не ради его ли она отказала мнѣ? быть можетъ, изъ любви къ нему она осталась глуха къ моимъ мольбамъ? Я пыталъ ее, старался проникнуть во всѣ изгибы ея сердца; но женская гордость—прочная броня.

И послѣ долгаго размышленія, онъ сказалъ:

— Да, она любитъ его. Оттого-то ей такъ горька была его дерзость. Она любитъ его, привлеченная его красивымъ, мужественнымъ лицомъ, соколинымъ взглядомъ, гордой осанкой человѣка, незнакомаго съ превратностями судьбы. Да, она любитъ его. Его образъ закрылъ мнѣ доступъ въ ея сердце. Зрѣлый возрастъ лишенъ всякаго очарованія. Она чтитъ мои сѣдины, но, какъ старикъ, я ничего не говорю ей воображенію.

Онъ нашелъ Габріэля Вернера съ открытымъ письмомъ въ рукѣ, полученнымъ имъ съ утренней почтой.

Оно было отъ Стеллы. Въ немъ не было обозначено адреса, но стоялъ почтовый штемпель Брумма.

— Вы можете прочитать это письмо, потому что въ немъ говорится о васъ,—сказалъ Вернеръ, поздоровавшись съ государственнымъ человѣкомъ и удивляясь его возвращенію.—Но, пожалуйста, не говорите о немъ лорду Лапмеру.

— Конечно, не скажу, если она этого не желаетъ.

— Вы сами увидите.

Несторіусъ прочиталъ письмо, написанное знакомымъ ему красивымъ, четкимъ почеркомъ. Она всегда старалась придать внѣшнюю привлекательность своимъ рукописямъ и изощрялась въ чистописаніи, какъ въ искусствѣ.

„Не беспокойтесь обо мнѣ, дорогой другъ и учитель,—писала она.—Я избрала самый счастливый для себя путь. Моя жизнь въ Лапмерѣ была слишкомъ тяжела съ самой смерти моего благодѣтеля, а вчера случилось нѣчто такое, что сдѣлало ее совсѣмъ нестерпимой. Я не могу пробыть въ этомъ домѣ ни одного лишняго часа.

„Провидѣніе очень милостиво ко мнѣ, и я нашла себѣ новыхъ друзей и новый домъ у добрыхъ, честныхъ людей,—домъ, гдѣ я могу заниматься литературой, пока не заработаю себѣ независимости. Какъ только это случится, я немедленно вернусь къ вамъ и осуществлю мечту моей жизни, т.-е. заведу коттеджъ и хорошенькій садикъ на берегу рѣки, которую я такъ люблю—рѣки, на которой я провела столько счастливыхъ дней моего дѣтства и съ которой связано воспоминаніе о дорогомъ, утраченномъ мною другѣ.

„Пожалуйста, скажите мистеру Несторіусу, что я благодарю его

отъ всего сердца за его доброту ко мнѣ и что я счастлива тѣмъ, что судьба моей первой книги находится въ его рукахъ. Если онъ, столь опытный въ литературѣ, продержитъ корректуру моего романа, то это будетъ лишнею милостью, за которую я ему буду глубоко благодарна. Если книга окажется неудачной, то я буду еще болѣе огорчена за моего добраго друга, нежели за самоѣ себя.

„Боже благослови васъ, добрый другъ, и будьте увѣрены, что разлука не уменьшитъ моей привязанности къ учителю, которому я обязана такъ много, что никакой заботой и любовью не въ состояніи буду отплатить. Но я съ надеждой гляжу впередъ, когда вы переселитесь гостемъ въ Волшебный Коттеджъ.

„Какъ вы думаете,—хорошее названіе придумала я для своего дома, если только мнѣ посчастливится приобрѣсти его?

„Ваша навѣки благодарная ученица

„Стелла.

„P. S. Ни подъ какимъ видомъ не сообщайте никому въ замѣѣ, за исключеніемъ мистера Несторіуса, что вы получили вѣсти отъ меня“.

— Благодареніе Богу, она попала не къ дурнымъ людямъ,—сказалъ Несторіусъ, прочитавъ письмо.

И однако, минутою спустя, сердце въ немъ упало, когда онъ спросилъ себя: можно ли быть увѣреннымъ въ томъ, что такая неопытная дѣвушка, какъ Стелла, сумѣетъ отличить хорошихъ людей отъ дурныхъ? Не волеи ли въ овечьей шеурѣ эти новые друзья, найденные съ такою легкостью? Ея молодость и красота и незнаніе свѣта должны грозить многими опасностями. Ну что если добрые люди, такъ охотно пріютившіе ее, принадлежать къ тому разряду, который всего опаснѣе въ такихъ случаяхъ? Кровь застыла въ жилахъ у Несторіуса при мысли о ловушкахъ, разставленныхъ для неопытныхъ существъ въ такомъ городѣ, какъ Брумъ. Но онъ утѣшалъ себя мыслью, что какой-то полубожественный инстинктъ предостерегаетъ невинность отъ порока,—инстинктъ болѣе мудрый, чѣмъ самъ житейскій опытъ. Сильный умъ Стеллы и живое воображеніе послужатъ ей вмѣсто опытности.

Несмотря на эти успокоительныя мысли, мистеръ Несторіусъ рѣшилъ, что исходить всѣ улицы Брума до тѣхъ поръ, пока не найдетъ Стеллу и ея новыхъ друзей.

Онъ вернулся въ замокъ, умылся, переодѣлся, но не остался въ поднику. Онъ написалъ записку лорду Лашмеру, извѣщая, что ему предстоитъ дѣловой визитъ въ Брумъ и что онъ сой-

дется съ нимъ кофейнѣ „Льва и Ягненка“ въ половинѣ четвертаго и они вмѣстѣ отправятся въ пещеру сивиллы.

Но послѣ тщетныхъ поисковъ, на которые онъ убилъ все утро, Несторіусъ, съ уныніемъ въ сердцѣ, пришелъ въ половинѣ четвертаго въ назначенное мѣсто и нашелъ Лашмера, вяло просматривавшаго мѣстную газету.

Полиція не могла ничего ему сказать; земля точно разверзлась и поглотила дѣвушку, которую они разыскивали.

— Она, должно быть, уѣхала въ Лондонъ,—сказалъ Лашмеръ:—это единственное мѣсто, гдѣ женщина можетъ такъ безусловно скрываться.

Несторіусъ зналъ, что она не въ Лондонѣ, но промолчалъ.

Они были одни въ кофейнѣ, гдѣ не было камина и гдѣ зажатый газъ пѣлъ свою унылую пѣсню.

— Я прочиталъ ея романъ,—сказалъ Лашмеръ:—онъ прекрасенъ, такъ оригиналенъ и свѣжъ. Подумать, что у дочери Больдвуда такое дарованіе и что изъ нея вышла не ярая проповѣдница женскихъ правъ, а поэтъ, мечтатель, уносящій читателя въ чудный міръ фантазій! Какъ она будетъ презирать насъ и клѣтку, въ которой мы ее держали! Какъ она насмѣется надъ своими тиранами, когда завоюетъ блестящее положеніе въ свѣтѣ! Такая книга должна произвести фуроръ.

— Издатель говорить то же самое,—машинально отвѣчалъ Несторіусъ.—„Повѣрьте, говорилъ онъ, что публика оцѣнитъ вкусъ и слогъ писателя. Въ цѣлой книгѣ нѣтъ ни одной пошлой фразы“. Зная, какъ воспитывали Стеллу вашъ братъ и бѣдный старикъ Вернеръ, я счелъ, что это сужденіе доказываетъ, что издатель можетъ правильно судить о вещахъ.

— Да, она вскормлена наилучшимъ образомъ. Я смѣялся, когда видѣлъ, что она читаетъ Гомера или Виргилія. Матушка говорила мнѣ, что эта дѣвушка знаетъ Мильтона лучше чѣмъ кто-либо, кого она встрѣчала въ жизни, за исключеніемъ Джона Брайта, и что Шелли и Китса она помнитъ наизусть. У нея необыкновенная память,—говоритъ матушка,—и удивительно тонкое ухо для мелодическихъ сочетаній словъ. Быть можетъ, она не безъ пользы для себя пробыла въ продолженіе двухъ лѣтъ чтицей милэди. Матушка никогда не терпѣла второстепенныхъ писателей, и Стеллѣ приходилось читать ей только первоклассныя произведенія.

— Провидѣніе ведетъ людей неисповѣдимыми путями,—отвѣчалъ Несторіусъ внушительно.—Воспитаніе, основанное на стро-

гой подчиненности, быть можетъ, наилучшее для генія, но это не легкое воспитаніе.

— Нѣтъ, съ нею дурно обращались. Неужели, вы думаете, я стану отрицать это послѣ моей утренней исповѣди? — горько спросилъ Лашмеръ.

— Я думаю, что вы полны великодушныхъ инстинктовъ, искаженныхъ ложною гордостью, — отвѣтилъ Несторіусъ безстрашно. — Я думаю, что вы ужасно обращались съ этой дѣвушкой, что вы заставили ее мучительно страдать и что въ отместку вамъ изъ нея выйдетъ благороднѣйшая жена, какую только можетъ надѣяться приобрѣсти англійскій джентльменъ.

— Вы думаете, она можетъ простить меня? — пролепеталъ Лашмеръ съ волненіемъ.

— Я думаю, что вы оба страстно влюблены другъ въ друга и что достаточно одного вашего взгляда и одного вашего слова, чтобы залечить всѣ раны, нанесенныя вами этому чистому и великодушному сердцу.

— О! вы сами великодушны, вы сами благородны! — вскричалъ Лашмеръ.

— Я на двадцать лѣтъ старше васъ и выучилъ урокъ, преподаваемый временемъ, — отвѣчалъ Несторіусъ внушительно. — Я научился мудрости отреченія. Довольно о чувствахъ, Лашмеръ; я слишкомъ для этого старъ. Пойдемте на свиданіе съ сивиллой и посмотримъ, не просвѣтитъ ли она насъ.

XI.

Фаэтонъ Лашмера дожидался у подъѣзда, и они поѣхали на Торліискій выгонъ и по грязной тропинкѣ, ведущей къ дому мистриссъ Минчинъ, подъѣхали къ ея мрачному жилищу — дому, выстроенному въ царствованіе Георга IV, массивному, некрасивому, плоскому и неинтересному, такому, какой считался вполне комфортабельнымъ и прекраснымъ въ ту не-эстетическую эпоху. Это былъ одинъ изъ тѣхъ домовъ, о которыхъ даже факторъ по продажѣ недвижимыхъ имуществъ ничего бы не сказалъ, кромѣ того, что онъ помѣстителенъ.

Ихъ ввели въ скучную гостиную. Опять въ ней не было огня. Вполнѣ естественно, что духи равнодушны къ температурѣ, но мистриссъ Минчинъ, будучи простой смертной, должна была очень забнуть, если когда-нибудь сидѣла въ этой сырой и холодной комнатѣ.

Они прождали минутъ десять, показавшихся Лашмеру цѣлою вѣчностью, и онъ вздрогнулъ отъ напряженнаго ожиданія, когда дверь, наконецъ, отворилась, пропустивъ двухъ женщинъ самой обыкновенной наружности. Первая была небольшая старушка въ черномъ шелковомъ платьѣ, изъ тѣхъ, какія обыкновенно носятъ старухи изъ года въ годъ, пока эти платья наконецъ не разваливаются. У старушки было сморщенное, какъ печеное яблоко, лицо, слезящіяся глаза съ красными вѣками и большой носъ. Другая была дѣвушка средняго роста, блондинка, съ прямыми безцвѣтными волосами, съ некрасивымъ, не то соннымъ, не то тупымъ, лицомъ и такимъ безучастнымъ выраженіемъ, что Лашмеръ еще и не видѣлъ подобнаго. Оно было не выразительнѣе полѣна. Если это существо сообщается съ духами, то у нихъ очень странный вкусъ.

Лордъ Лашмеръ отрекомендовался и затѣмъ представилъ мистера Несторіуса. Услышавъ это знаменитое имя, старушка ожилилась и расцвѣла, но ничто не дрогнуло на деревянномъ лицѣ дѣвушки.

— Я надѣюсь, что знаменитый другъ высшаго лордства прибылъ сюда не для насмѣшки, — сказала мистриссъ Минчинъ, глядя на знаменитаго друга, а не на Лашмера.

Мистеръ Несторіусъ объяснилъ, что онъ и въ помышленіяхъ не имѣлъ насмѣшки. Онъ готовъ воспринять какія угодно впечатлѣнія и уважаетъ всякія вѣрованія. Если духи проявятъ себя, онъ будетъ очень радъ.

— Я вѣрю вамъ, — отвѣчала старуха, съ восхищеніемъ глядя на него. — Я читаю вѣру и энтузіазмъ на вашемъ лицѣ. Начиная, Гризельда, начинай, — прибавила она, обращаясь къ дѣвушкѣ.

— Вашу молодую пріятельницу зовутъ Гризельда? — спросилъ Несторіусъ.

— Ея настоящее имя Сара-Анна Куртисъ, — отвѣчала мистриссъ Минчинъ. — Гризельдой назвали ее духи, когда она ко мнѣ переселилась. Я думаю, что они назвали ее такъ за терпѣніе, съ какою она просиживаетъ по цѣлымъ часамъ въ безмолвіи и созерцаніи. Подъ этимъ именемъ ее знаетъ міръ духовъ.

Несторіусъ и Лашмеръ оба пристально глядѣли на окрещенную духами дѣвушку. Имъ трудно вѣрилось, чтобы между этимъ тупымъ на видъ существомъ и міромъ безплотныхъ духовъ могло быть общеніе и симпатія. Никогда еще лицо не носило такого земного характера.

— Давно ли вы находитесь въ общеніи съ міромъ духовъ? — спросилъ Лашмеръ.

Легкая, но курьезная судорога пробѣжала по деревянному лицу дѣвушки, въ то время, какъ она сообщила о томъ, что духи мертвыхъ часто посѣщаютъ ее съ тѣхъ поръ, какъ она поселилась у мистриссъ Минчинъ, и о томъ, какъ они съ нею разговариваютъ и отерываютъ ей тайны, которыхъ она не смѣетъ сообщить смертнымъ ушамъ. Она видимо дрожала, говоря объ этихъ откровеніяхъ, и судорожныя подергиванья въ лицѣ стали замѣтнѣе.

— А при этихъ откровеніяхъ случилось вамъ получать какое-нибудь практическое свѣденіе?—спросилъ Несторіусъ.

Но Гризельда, повидимому, не поняла вопроса. Она только вытаращила глаза на вопрошавшаго.

— Объ этихъ сообщеніяхъ нельзя судить съ обиденной точки зрѣнія, — вмѣшалась мистриссъ Минчинъ. — Если вы хотите знать, сообщаютъ ли духи когда-нибудь о томъ, кто выиграетъ, призъ на скачкахъ въ Дерби или какія акціи поднимутся въ цѣнѣ, то нѣтъ — этого они никому никогда не сообщаютъ. Да я бы перестала и вѣрить въ нихъ, еслибы они занимались такими грубыми, пошлыми вещами.

— Если такъ, то я боюсь, что духи не помогутъ мнѣ, — сказалъ Лашмеръ. — Меня беспокоитъ исчезновеніе одной дорогой для меня особы. Какъ вы думаете, помогутъ мнѣ духи найти ее?

— Попробуй, Гризельда, спросить объ этомъ, — приказала мистриссъ Минчинъ, и медіумъ молча приготовился повиноваться.

Прежде всего она придвинула старинный столъ, покрытый зеленою скатертью. Эту скатерть она сняла, затѣмъ принесла съ другого конца комнаты двѣ обыкновенныхъ грифельныхъ доски, небольшой тазъ съ водой и губку, тщательно вытерла обѣ доски на глазахъ у Лашмера и Несторіуса, наблюдавшихъ за тѣмъ, какъ она вытирала доски, съ такимъ вниманіемъ, точно это была самая трудная хирургическая операція.

Когда доски обсохли, Гризельда позволила неофитамъ разсматрѣть ихъ въ то время, какъ сама доставала грифель изъ пеннала.

— Духи будутъ писать на этихъ доскахъ грифелями? — спросилъ Несторіусъ.

— Да, духи будутъ писать. Выберите, какой хотите, изъ грифелей.

— Благодарю; могу я сдѣлать на немъ мѣтку?

— Разумѣется.

Несторіусъ вынулъ изъ кармана перочинный ножикъ и сдѣлалъ замѣтку на концѣ грифеля.

Дѣвушка поставила четыре стула вокругъ стола. Затѣмъ положила одну доску возлѣ другой, и между ними помѣченный грифель. Послѣ того мистриссъ Минчинъ, Несторіусъ, Лашмеръ и Гризельда сѣли вокругъ стола, держа другъ друга за руки; лѣвую руку медиума держалъ Лашмеръ, а правой она держала грифельную доску подъ столомъ, положивъ большой палецъ на край стола.

Затѣмъ Гризельда предложила Лашмеру задать вопросъ.

— Найдется ли у васъ сила отвѣтить на мой вопросъ? — спросилъ онъ.

Отвѣта не воспослѣдовало. Оказалось, духи оскорблены скептическимъ тономъ вопроса.

Они подождали нѣкоторое время, и затѣмъ медиумъ предложилъ Лашмеру помѣняться мѣстами съ Несторіусомъ, который сѣлъ рядомъ съ Гризельдой и взялъ ее за руку.

Двѣ минуты спустя они услышали рѣзкое царапанье по доскѣ. Когда они взглянули на нее, то прочитали слова:

„Между великими умами всѣхъ міровъ существуетъ общеніе.—Нелли“.

Лѣвая рука медиума все время находилась въ рукѣ Несторіуса, а большой палецъ правой руки упирался въ столъ на глазахъ у всѣхъ.

Было или казалось невозможнымъ, чтобы въ этой позѣ рука ея могла писать.

Сообщеніе было лестное для Несторіуса, но слишкомъ незначительное. Подпись показалась Лашмеру вздорной.

— Кто это Нелли? — спросилъ онъ недовольно.

— Одна изъ моихъ руководительницъ, — отвѣчала важно Гризельда. — Духи здѣсь и будутъ отвѣчать. Спрашивайте, что хотите. Вы можете написать свой вопросъ на доскѣ, если хотите, и никто здѣсь не прочитаетъ того, что вы написали.

Она подала Лашмеру другой грифель, и онъ написалъ свой вопросъ.

— Развѣ необходимо, чтобы доски были подъ столомъ? — спросилъ Несторіусъ. — Нельзя ли ихъ положить на столъ?

— Да, — отвѣчала Гризельда: — положите на столъ, если хотите.

По ея приказанію всѣ стали кругомъ стола и держали доски надъ столомъ. Нѣсколько минутъ длилось молчаніе, затѣмъ послышалось то же царапанье, что и прежде, и Лашмеръ почувствовалъ, какъ доска колеблется, точно по ней ходитъ грифель. Затѣмъ

последовалъ троекратный стукъ въ доску, какъ бы возвѣщавшій, что сообщеніе кончено.

Лапмеръ повернулъ доску съ лихорадочною поспѣшностью. Спиритическое посланіе было написано въ углу и шло въ противоположномъ направленіи отъ того мѣста, гдѣ стоялъ медиумъ. Если она написала его, то, значить, ей приходилось писать буками внизъ. Лапмеру и Несторіусу казалось невозможнымъ, чтобы она написала это. Стоя, какъ они стояли, держа доску надъ столомъ, казалось, что никакой фокусникъ, какъ бы ни былъ онъ искусенъ, не могъ бы ничего написать на доскѣ при такихъ условіяхъ.

„Ищи ее среди мертвыхъ“.

Вотъ въ чемъ заключалось сообщеніе. Лапмеръ поблѣлъ какъ смерть и чуть не лишился чувствъ, прочитавъ эти слова. Волшебство, шарлатанство, фокусъ—что бы это ни было, но сердце его упало при чтеніи словъ, отвѣчавшихъ какъ разъ на тайныя опасенія, мучившія его.

Онъ подаль доску Несторіусу, указывая на слова дрожащимъ пальцемъ, и блѣдныя щеки государственнаго человѣка поблѣднѣли еще больше, когда онъ прочиталъ изреченіе.

— Желаете еще что спросить?—освѣдомилась Гризельда съ усталымъ видомъ, тогда какъ мистриссъ Минчинъ казалась въ восторгѣ отъ эффекта, произведеннаго медиумомъ.

— Нѣтъ, не хочу ничего больше спрашивать,—сказалъ Лапмеръ.—Это значить сообщаться съ дьяволомъ.

И, торопливо поблагодаривъ мистриссъ Минчинъ, онъ посмотрѣлъ съ нескрываемымъ ужасомъ въ деревянное лицо медиума, поклонился и поспѣшно вышелъ изъ комнаты.

— Не пугайтесь и не унывайте,—сказалъ Несторіусъ, когда они вышли въ сѣни, дожидаясь, чтобы фэнтонъ милорда подъѣхалъ къ подъѣзду.—Все это можетъ быть пустяки, ловкій фокусъ, котораго мы не съумѣли разоблачить.

— Фокусъ или нѣтъ, но это что-то дьявольское,—пробормоталъ Лапмеръ.—Какъ могъ этотъ проклятый грифель выразить въ словахъ худшія опасенія мои — страхъ, въ которомъ я себѣ не смѣлъ признаваться? Такія вещи должны быть дѣломъ сатаны. Я думаю, что наши предки вовсе не были такъ глупы, какъ мы ихъ считаемъ за то, что они жгли вѣдьмъ. Что касается Урбэна Грандье, то я думаю, что онъ вполне заслуживалъ крота.

XII.

„Ищите ее среди мертвыхъ!“ — эти слова преслѣдовали Лашмера неотступно. Они звенѣли въ его ухахъ во весь вечеръ, которому, казалось, конца не будетъ, и когда онъ сидѣлъ за обѣдомъ, слушая бессмысленную болтовню кругомъ себя, и затѣмъ въ гостиной, гдѣ леди Кэрмино съ неутомимымъ терпѣніемъ играла ноктюрны и мазурки, полонезы и вальсы кружку поклонниковъ, столпившихся вокругъ фортепьяно и восторгавшихся прелестью новаго венгерскаго композитора.

— Такъ оригинально, такъ патетично! — говорилъ одинъ.

— Да, у него есть какая-то тонкая, недоговоренная мелодія, — замѣтилъ капитанъ Вавасуръ.

— Да, недоговоренная музыка, — согласилась мистрисъ Мольчиберъ. — Это какъ разъ подходящее слово. Мелодія скорѣе намѣченная, нежели выраженная.

— Для неопытнаго уха это производитъ такое впечатлѣніе, точно человѣкъ что-то силится сказать и никогда не можетъ выговорить, — замѣтила въ свою очередь леди Софія смѣло.

— Я боюсь, леди Софія, что мы съ вами недостаточно музыкально развиты, чтобы оцѣнить тонкости новѣйшей музыки, — сказалъ Несторіусъ, отходя отъ фортепьяно. — Штрихи слишкомъ неуловимы, тѣни слишкомъ блѣдны. Намъ нуженъ болѣе яркій колоритъ, какъ у старинныхъ мастеровъ, напримѣръ, у Моцарта. У него все понятно.

Лашмеръ повернулся спиной къ группѣ у фортепьяно и спокойно ходилъ по комнатѣ, то беря книгу и снова кладя ее на мѣсто, даже не раскрывая, то засовывая руки въ карманы и разсѣянно глядя на вазу съ пармскими фіалками или розами. Наконецъ болтовня стала для него нестерпима, и онъ ушелъ въ комнату матери.

Онъ не видалъ ея съ утра. Передъ завтракомъ онъ ходилъ къ ней на минуту и нашелъ ее очень слабой и нервной, слишкомъ больной, чтобы выйти къ гостямъ.

— Если я почувствую себя въ силахъ, то сойду къ обѣду, — сказала она; но обѣденный часъ наступилъ, а миледи прислала сказать, что извиняется.

Лашмеръ нашелъ мать у огня въ будуарѣ; около нея стояла этажерка съ книгами и лампа, но она, очевидно, не читала. Она сидѣла въ унылой позѣ, задумчиво глядя въ огонь, и вздрогнула при появленіи сына.

— Ну, что? узналъ ты что-нибудь о ней?—тотчасъ же спросила она.

— Ничего ровно. Она исчезла безслѣдно. Мы съ Несторіусомъ искали ее по всему Брумму. Полиція безсильна помочь намъ.

— Если такъ, то мы должны примириться съ мыслью, что она навсегда ушла отъ насъ. Она очень неблагодарна.

— О, матушка, кому ей быть благодарной, кромѣ брата? Развѣ мы съ вами были добры съ ней?

— Мы дали ей такой пріютъ, какого она не могла имѣть въ другомъ мѣстѣ. Мы доставили ей случай образоваться. Еслибы не мы, она должна была бы зарабатывать свой хлѣбъ въ потѣ лица. Она была бы служанкой или фабричной работницей.

— Она бы никогда не была горничной или фабричной дѣвушкой, матушка. Она необыкновенно талантлива.

И Лапмеръ разсказалъ матери про книгу Стеллы, которую онъ прочиталъ въ корректурѣ и которую такъ хвалилъ издатель Несторіуса.

— Ну, чтожъ изъ этого? — замѣтила милэди. — Эта книга — плодъ изящной обстановки и досуга. Неужели ты думаешь, что ея талантъ могъ бы развиться—если только у нея есть талантъ—еслибы она была въ услуженіи? Развѣ не бываетъ, что обстоятельства подавляютъ дарованіе въ самомъ его зародышѣ? развѣ нѣтъ умныхъ и способныхъ людей между слугами и фабричными? Говорю тебѣ, что она имѣетъ сильныя причины быть благодарной, и однако, зная, какъ она мнѣ полезна, почти незамѣнима, она бросаетъ меня, больную женщину, безъ сожалѣнія или извиненія.

— Значить, вамъ скучно безъ нея, матушка? значить, вы привязались къ ней?—вскричалъ Лапмеръ, и щеки его вспыхнули, а глаза засверкали.

Милэди отвела глаза отъ огня и пристально взглянула въ лицо сыну.

— „Привязалась“ —слишкомъ сильное слово; я привыкаю къ своимъ слугамъ, когда они полезны и вѣрны, я даже чувствую къ нимъ расположеніе, но не привязанность.

— Но она не слуга; она хорошаго рода, необыкновенно образована и даровита такъ, какъ немногія женщины. О, матушка, будьте гуманны, если можете! Вы знаете, что эта дѣвушка завладѣла вашимъ сердцемъ, хотя вы и старались не допустить этого. Вы знаете, что вамъ ея очень недостаетъ, что она стала вамъ дорога.

— Необходима, можетъ быть, Викторіанъ, но не дорога.

— Нѣтъ, она стала вамъ дорога, — убѣждалъ Лашмеръ, становясь на колѣни передъ кресломъ матери и обнимая ее одной рукой за талію, какъ онъ часто дѣлалъ въ былые дни, когда былъ мальчикомъ, и хотѣлъ что-нибудь отъ нея получить: — да, матушка, скажите, что она вамъ дорога, ради меня!

— Ради тебя, Викторіанъ! что ты хочешь сказать?

— Ради меня, матушка, да, ради меня. Эта безпріютная дѣвушка, эта сирота, дочь демагога, это отродье радикала — единственная женщина, которую я согласенъ взять въ жены. Можетъ быть, она не захочетъ выйти за меня замужъ, — я все сдѣлалъ, чтобы заслужить ея ненависть, — но если она не согласится быть моей женой, я не женюсь вовсе. Я умру женоненавистникомъ. Да, ненавистникомъ такихъ женщинъ, какъ лэди Кэрмино, въ алебастровой груди которыхъ никогда не просыпается никакое великодушное чувство; или какъ мистриссъ Вава-суръ съ толстой штукатуркой на лицѣ; или лэди Софія, типъ современной амазонки, все свое время проводящей въ неженственныхъ занятіяхъ спортомъ, въ обществѣ мужчинъ, и даже забывшая, что она женщина; или такихъ хитрыхъ и лицемѣрныхъ, какъ мистриссъ Мольчиберъ, эксплуатирующихъ въ свою пользу пороки и слабости свѣтскихъ людей. Одну женщину, только одну видѣлъ я — прямодушную, честную, оригинальную, независимую, презирающую богатство, которое само давалось ей въ руки, и желающую жить своимъ трудомъ. Эту женщину я люблю и уважаю, она и никакая другая будетъ моей царицей.

Лэди Лашмеръ съ искреннимъ ужасомъ поглядѣла въ взволнованное лицо сына.

— Что это за безуміе? — продолжала она. — Какъ? я думала, что ты терпѣть не можешь эту дѣвчонку!

— И я такъ думалъ, матушка. Богу извѣстно, что я старался изо всѣхъ силъ ненавидѣть ее, приучилъ себя думать, что я ее ненавижу. И, несмотря на это, она все-таки привлекала меня. Это казалось какимъ-то колдовствомъ, но теперь я понимаю, что это просто вліяніе чистой, возвышенной души, не испорченной свѣтомъ. Я вѣрю, что Провидѣніе предназначило ее мнѣ, что мой братъ для меня воспиталъ ее и что все клонится къ одному счастливому концу, — къ тому, чтобы она стала моей женой.

— Но ты долженъ же знать, Викторіанъ, что если ты унизишься до такой степени, если ты вступишь въ такой неравный бракъ, ты разобьешь мое сердце!

— Я знаю, что ничего такого не случится, дорогая матушка. Конечно, вы испытаете нѣкоторое разочарованіе. Вамъ пріятнѣе было бы, чтобы я женился на Кларисѣ и наполнилъ свои сундуки ея золотомъ; но это разочарованіе скоро пройдетъ, и вы будете рады вашей новой дочери, которую давно уже любите, хотя и не даете себѣ въ этомъ отчета.

Наступило молчаніе, которое длилось очень долго, причемъ Викторіанъ продолжалъ стоять на колѣняхъ передъ матерью.

Онъ ждалъ взрыва, гнѣвныхъ упрековъ. Но, къ его удивленію, миледи молчала, прикрывъ глаза рукой. Ему показалось даже, что она плакала.

— Я очень сильно чувствую ея отсутствіе. Она успокоивала меня своимъ музыкальнымъ голосомъ и была очень кротка, безконечно терпѣлива и такъ ласкова, какъ только я ей позволяла. Но ты правъ, Викторіанъ, въ своихъ обвиненіяхъ. Я не была съ нею добра; я боялась быть доброй и показать ей, какъ она стала мнѣ необходима. Мы созданы изъ крѣпкаго матеріала, я и ты, Викторіанъ. Мы происходимъ отъ жестокосердой расы, у которой фамильная гордость была какъ бы своего рода религіей. Трудно смягчиться, когда такая гордость сидитъ въ крови, является наслѣдіемъ цѣлаго ряда поколѣній. И каково мнѣ думать, что мой сынъ женится на безродной дѣвушкѣ, служанкѣ въ домѣ его матери!

— Ея отецъ имѣлъ университетскій дипломъ!

— Дорогой Викторіанъ, вспомни о толпахъ людей съ университетскимъ дипломомъ, до сыновей оксфордскихъ парикмахеровъ включительно. Люди будутъ спрашивать, кто урожденная твоя жена, и что же ты имъ отвѣтишь?

— Я предоставлю отвѣтъ времени и дамъ, носящей мое имя. Ея красота и ея талантъ будутъ достаточнымъ отвѣтомъ. Но она еще не моя: я говорю какъ Альнаскаръ. Богъ знаетъ, когда и гдѣ мы встрѣтимся. Меня преслѣдуютъ мучительныя предчувствія, терзаютъ четыре ужасныхъ слова.

— Какихъ словъ?

— „Ищите ее среди мертвыхъ“.

И онъ передалъ матери про спиритическій сеансъ, и какъ онъ старался посмотрѣть на все это какъ на глупость, но смущается смысломъ словъ, выразившихъ худшія его опасенія.

— Неужели мой умъ водить грифелемъ?—сказалъ онъ.— Неужели у моихъ мыслей есть электрическая сила, которая передалась грифелю? Вѣдь это кажется просто безуміемъ.

Лэди Ланмеръ была одной изъ тѣхъ твердыхъ, хладнокров-

ныхъ особѣ, которыя, не смущаясь, взглянули бы въ лицо при-
видѣнію въ самую полночь и сказали бы:—вы не болѣе какъ
оптический обманъ, и меня вы не смутите. Она улыбнулась съ
мягкой проницательностью надъ простотой сына.

— Мой бѣдный Викторіанъ,—прошептала она: — подумать,
что ты, такой благоразумный и разсудительный человѣкъ, зани-
маешься такими глупостями! И, вдобавокъ, наканунѣ выборовъ,
когда тебѣ нужна полная ясность мысли!

Лашмеръ нѣсколько разъ молча прошелся по комнатѣ и за-
тѣмъ вернулся къ креслу, гдѣ сидѣла мать, и, остановившись,
долго глядѣлъ на нее. Она сидѣла въ прежней задумчивой позѣ
и съ глубокой грустью смотрѣла въ огонь.

— Вы не очень сердитесь на меня, матушка?—мягко спро-
силъ онъ.

Она была преданной матерью, всѣ надежды и мечты свои
сосредоточила на немъ одномъ и, такъ сказать, всю свою жизнь
поставила на карту. Онъ чувствовалъ, что обязанъ ей больше,
чѣмъ вообще сыновья своимъ матерямъ.

— Нѣтъ, Викторіанъ, я не сержусь на тебя. Я только сер-
жусь на судьбу, которая устроиваетъ всѣ дѣла совсѣмъ не такъ,
какъ намъ бы того хотѣлось. Подумать, что эта дѣвушка, кото-
рую мы оба презирали, измѣнить весь ходъ нашей жизни! Чтѣ
мнѣ сказать тебѣ? Если ты захочешь жениться, не могу тебѣ по-
мѣшать. Я глубоко разочарована и огорчена—вотъ и все. Я чув-
ствую, что жизнь моя была сплошной неудачей.

— Вы не будете этого больше чувствовать, матушка, когда
моя жена станетъ вашей дочерью. Когда, съ божьей помощью,
вы увидите подрастающихъ дѣтей ея и назовете себя счастливой
женщиной. Покойной ночи! Я оставляю васъ. Мы и то слишкомъ
долго говорили, и вы устали. Прислать вамъ Баркеръ?

— Баркеръ?—повторила миледи со вздохомъ: — да, пусть
придетъ и поможетъ мнѣ лечь въ постель. Она добрая душа, но
когда я больна, то отъ ея присутствія мнѣ всегда дѣлается хуже.

„Ищите ее среди мертвыхъ!“—Въ продолженіе безсонныхъ
ночей эти слова преслѣдовали Лашмера машинальнымъ, бессмыслен-
нымъ повтореніемъ. Онъ не рѣшился признаться Несторіусу.
насколько слова, начертанныя грифелемъ на доскѣ, смутили его:
въ противномъ случаѣ добрый экс-министръ успокоилъ бы его
намекомъ на то, что Стелла жива и безопасна. Лашмеръ рѣшилъ
завтра немедленно послѣ завтрака отправиться въ Брумъ. Въ
это утро лэди Кэрмино появилась тоже за завтракомъ—вещь
совсѣмъ для нея необычная.

— Я тотчасъ же уѣзжаю послѣ завтрака домой, — объявила она Лашмеру. — Мнѣ очень жаль оставить вашъ милый домъ и столько гостей, но моя мать не совсѣмъ здорова, и я должна быть при ней.

„Не совсѣмъ здорова“ показалось довольно неопредѣленной фразой Лашмеру.

— Мнѣ очень жаль, — разсѣянно пробормоталъ онъ.

Мистрисъ Мольчиберъ была въ отчаяніи. Несторіусъ, потягивая чай и украдкой заглядывая въ газету, лежавшую около его прибора, объявилъ, что отъѣздъ лэди Кэрмино равняется солнечному затмѣнію, или что-то въ этомъ родѣ. Лэди Софія даже не дала себѣ труда сдѣлать видъ, что интересуется отъѣздомъ Кларисы. Она была уже въ амазонкѣ и торопливо поѣдала завтракъ, спѣша на охоту.

— Я надѣюсь, что вы не забыли мою фляжку, Доужеръ, — замѣтила она помощнику буфетчика, который разрѣзывалъ окорокъ ветчины около нея.

— Нѣтъ, милэди.

— И сэндвичи тоже?

— И сэндвичи, и фляжка съ виномъ отосланы въ конюшню, милэди.

— Та, та, ну-ка вы всѣ тамъ, если не хотите потерять послѣдніе слѣды собакъ, то торопитесь! — сказала прекрасная Софія. — Вамъ лучше послѣдовать за мной, мистеръ Понсовби, — обратилась она къ адвокату королевы, который съ необыкновеннымъ аппетитомъ уписывалъ вкусныя почки съ шампиньонами, красовавшіяся передъ нимъ на серебряномъ блюдѣ, поставленномъ на спиртовую лампу.

— Не пожертвую своимъ завтракомъ, лэди Софія, ни ради какой охоты. Ужъ какъ-нибудь доберусь до собакъ, будьте спокойны.

Лэди Софія хлопнула дверью — и была такова.

Адвокатъ спокойно окончилъ завтракать и вышелъ на подъѣздъ, пока чистили его шляпу. По особому благоволенію провидѣнія, такіе люди всегда нагоняютъ собакъ.

Лэди Кэрмино выѣхала изъ замка въ одиннадцать часовъ съ такой пышной свитой экипажей, слугъ и фореиторовъ, точно она отправлялась въ Италію. Лашмеръ, довольный ея отъѣздомъ, сталъ необыкновенно любезенъ и, можно сказать, ухаживалъ за нею.

— Я увѣрена, что вы рады, что я уѣзжаю, — замѣтила она.

— Вовсе нѣтъ. Я боюсь, что моя бѣдная матушка очень по васъ соскучится. Такъ мало людей, которые ей истинно

пріятны. Теперь, когда вы уѣзжаете, ужъ лучше бы и всѣ другіе уѣхали. Она не въ состояніи разыгрывать хозяйку дома, а вы были превосходный депутатъ.

— Благодарю за комплиментъ. Можетъ быть, другіе послѣдуютъ моему примѣру. Да, я увѣрена, что для милліади страшно утомительно такое множество гостей въ домѣ, но, ради васъ, она готова на всякую жертву, да, на всякую,—повторила Клариса съ серьезнымъ взглядомъ.

— Да, она очень добра ко мнѣ,—отвѣчалъ лордъ Лашмеръ такъ же внушительно.—Мнѣ грустно, что ея желанія не сходятся съ моими. Но жизнь состоитъ изъ такихъ противорѣчій!

— Вы охотитесь сегодня?—спросила лэди Кэрмино въ то время, какъ онъ укутывалъ ея ноги одѣяломъ, подбитымъ соболемъ.

— Нѣтъ, фазаны отдохнутъ сегодня отъ моихъ выстрѣловъ; а сейчасъ ѣду въ Брумъ.

— Опять? можно подумать, что у васъ тамъ какое-нибудь большое промышленное дѣло.

— Я бы желалъ, чтобы у меня было такое дѣло... напри-
мѣръ, желѣзный заводъ Денбрука.

— О! не желайте этого. Оно причиняло бы вамъ только хлопоты. Я получила сегодня утромъ самое несносное письмо отъ управляющаго. Онъ опять поетъ про недовольство рабочихъ и пристаётъ, чтобы я измѣнила всю великолѣпную организацію, которую отцу стоило такихъ трудовъ довести до совершенства.

— Ничто въ мірѣ не неподвижно, лэди Кэрмино, и мы живемъ въ эпоху быстрыхъ перемѣнъ. Система, считавшаяся либеральной во времена мистера Денбрука, теперь можетъ быть сочтена за деспотическую. Если вашъ управляющій—человѣкъ здравомыслящій, то было бы благоразумнѣе послѣдовать его совѣту.

— Этого я ни за что не сдѣлаю. Я никогда не сдамся передъ демократіей. Заводъ Денбрука останется такимъ, какъ его устроилъ Джонъ Денбрукъ, или уничтожится.

Лэди Кэрмино и не подозрѣвала, какъ близка была послѣдняя альтернатива. Когда люди говорятъ, что желаютъ лучше пасть, чѣмъ отказаться отъ принциповъ, они большею частію убѣждены, что паденіе невозможно.

Лашмеръ отправился на Торлейскій выгонъ и сдѣлалъ визитъ мистриссъ Минчинъ.

Но духи не были милостивы или, вѣрнѣе сказать, у мистриссъ Минчинъ болѣла голова, и она не могла принять посѣтителя. Лашмеръ спросилъ, нельзя ли ему видѣть миссъ Гризельду, и сунуль, для большей ясности, совершенъ въ руку служанки. Но по-

слѣдняя отвѣчала, что миссъ Гризельда не можетъ никого видѣть иначе какъ въ присутствіи мистриссъ Минчинъ, и можетъ оставлять домъ мистриссъ Минчинъ только для того, чтобы погулять въ саду, что она изъ году въ годъ сидитъ дома при мистриссъ Минчинъ и день и ночь сообщается съ духами.

— Не очень веселая жизнь для молодой особы,—прибавила служанка.—Я не думаю, чтобы миссъ Гризельда долго прожила. Говорятъ, медиумы умираютъ въ молодости.

Лапмеръ оставилъ карточку, подписавъ на ней карандашомъ, что проситъ позволенія у мистриссъ Минчинъ еще разъ свидѣться съ медиумомъ. И затѣмъ уѣхалъ изъ этого дома, проклиная его, какъ и въ предыдущій разъ.

Онъ оставилъ свой фэтонъ въ гостинницѣ „Льва и Ягненка“ и пошелъ бродить по большому, шумному городу. Ему пришло въ голову, что онъ никогда не видѣлъ Гольдвина, и онъ безъ труда отыскалъ это зданіе. Со времени пожара, оно стало вдвое больше и мрачно вздымало свои кирпичныя стѣны среди окружающихъ пустырей. Онъ не надѣялся, конечно, найти Стеллу въ этомъ человѣческомъ ульѣ, не рассчитывалъ и получить о ней какія-нибудь свѣденія, но бродилъ такъ себѣ, зря, самъ не зная, въ своемъ отчаяніи, куда направить свои шаги.

Вдругъ онъ увидѣлъ почтенную, пожилую матрону, съ рыночной корзинкой на рукѣ. Она выходила изъ-подъ арки, которая вела въ каменный квадратъ. Онъ пошелъ за нею и заговорилъ:

— Позвольте узнать, сударыня, вы давно здѣсь живете?

Матрона обернулась и поглядѣла на Лапмера не безъ смущенія, пораженная его вѣжливымъ обращеніемъ, высокой, стройной фигурой, красивымъ смуглымъ лицомъ и тѣмъ невыразимымъ, непередаваемымъ словами видомъ, который является обыкновенно результатомъ хорошаго воспитанія и портного изъ Вестъ-Энда. Не часто, нѣтъ, не часто, даже во время выборовъ, появлялся такой юный Алкивиадъ подъ аркой Гольдвина.

— Да, сэръ, я живу здѣсь болѣе двадцати лѣтъ, почти съ тѣхъ поръ, какъ выстроенъ этотъ домъ.

— Значитъ, вы помните пожаръ?

— Да, сэръ, еще бы не помнить: вся моя мебель сгорѣла тогда, всѣ вещи, принадлежавшія моей бѣдной матушкѣ и ея отцу, который былъ фермеромъ въ Герфордширѣ, потому что мы не здѣшніе уроженцы, сэръ,—прибавила матрона съ такимъ видомъ, какъ будто бы это было достоинство,—и у насъ ничего не было застраховано, хотя я передъ тѣмъ все думала и толковала о томъ, что надо бы застраховаться...

Лашмеръ пытался остановить потокъ этой автобіографіи.

— Очень жаль,—пробормоталъ онъ.—А не знавали ли вы человѣка, по имени Больдвуда?

— Больдвуда, который убился на пожарѣ? Господи помилуй, сэръ, кто же не зналъ мистера Больдвуда! Онъ былъ великій человѣкъ, какъ говорилъ мой мужъ, человѣкъ, которому слѣдовало быть кабинетъ-министромъ, человѣкъ, который принималъ близко къ сердцу интересы бѣдныхъ людей и сумѣлъ бы отстаивать ихъ, еслибы достигъ власти. И вмѣстѣ съ тѣмъ джентльменъ, хотя и не очень заботился о своемъ платѣ. И такой любящій отецъ! Его дочка была усыновлена покойнымъ лордомъ Лашмеромъ и воспитана какъ барышня.

— Что, у Больдвуда были друзья въ Брумъ—люди зажиточные и которые бы принимали участіе въ его маленькой дочкѣ?

— Нѣтъ, не слыхала, сэръ. Онъ былъ сдержанный джентльменъ... не водилъ компаніи съ другими жильцами. Онъ вѣчно сидѣлъ въ своей комнатѣ и мало съ кѣмъ разговаривалъ; не думаю, чтобы къ нему могли ходить гости и я бы этого не знала, потому что наши комнаты были въ одномъ корридорѣ, и мои дѣти постоянно бѣгали взадъ и впередъ; мнѣ приходилось присматривать за ними, и я бы увидѣла, еслибы кто приходилъ или уходилъ отъ него. Лѣтомъ его дѣвочка вѣчно сидѣла на балконѣ, такъ что Больдвудъ придѣлалъ особенную рѣшетку изъ проволоки, чтобы она не упала съ балкона, и она тамъ была точно птичка въ клеткѣ. Онъ не позволялъ ей играть съ другими дѣтьми и между собой они говорили на какомъ-то иностранномъ языкѣ. Съ балкона былъ видъ на дорогу и на кладбище, и она по цѣлымъ часамъ глядѣла туда. Не думала она, бѣдняжка, что ея папочка такъ скоро переселится туда.

— Кладбище близко отсюда?

— Какихъ-нибудь пол-мили.

— Я пойду туда взглянуть на могилу Больдвуда. Прощайте, сударыня. Позвольте вамъ предложить эту бездѣлицу...

Онъ вложилъ серебряную монету въ руку матроны, которая приняла съ удовольствіемъ и присѣла ему вслѣдъ. Какой прекрасный джентльменъ, такой благородный, развѣянный и щедрый!

Лашмеръ прошелъ на кладбище, расположенное на окраинѣ города. Онъ бродилъ по немъ до тѣхъ поръ, пока не нашелъ красивой плиты, положенной его братомъ на могилѣ демагога:

„Въ память Джонатана Больдвуда, человѣка передовыхъ мнѣній и глубокихъ симпатій къ бѣднымъ и угнетеннымъ, который погибъ, стараясь спасти жизнь дочери-малютки и который

быть любимъ и оплакиваемъ рабочими классами здѣшняго народа.—По дѣламъ ихъ узнаете ихъ”.

Вотъ эпитафія, которую Губертъ лордъ Лашмеръ велѣлъ вырѣзать на плитѣ демагога.

Викторіанъ долго стоялъ у могилы Большуда, устремивъ въ нее неподвижно глаза, точно на него напелъ столбнякъ. Вдругъ шумъ шаговъ вывелъ его изъ этого состоянія.

Онъ оглянулся и увидѣлъ высокую, стройную дѣвическую фигуру въ черномъ платьѣ, которую такъ часто встрѣчалъ въ коридорахъ Лашмера.

Онъ искалъ ее среди мертвыхъ и напелъ живую и такую же прекрасной, какъ и тогда, когда она въ послѣдній разъ глядѣла на него горделиво и гнѣвно.

Она сухо поклонилась ему, слегка вздрогнувъ, но тотчасъ же овладѣвъ собой съ удивительнымъ самообладаніемъ и прошла бы мимо, еслибы онъ не остановилъ ее.

— Стелла!—сказалъ онъ, протягивая руку.

— Лордъ Лашмеръ?—вопросительно отвѣтила она, не беря протянутой руки.

— Стелла, простите меня! Я искалъ васъ съ той самой ночи. Я ничего такъ въ мірѣ не желалъ, какъ того, чтобы вы простили меня. Неужели вы не простите меня? Неужели не подадите мнѣ руки? у могилы вашего отца?

Просьба была неотразима. Она подала ему руку, не говоря ни слова. Впервые руки ихъ встрѣтились. Онъ крѣпко схватилъ маленькую ручку и привлекая къ себѣ Стеллу, которая сопротивлялась, глядя на него испуганными глазами, не то гнѣвными, не то удивленными.

Они были одни среди могилъ, въ царствѣ мертвыхъ. Никого не было по близости ни видно, ни слышно.

— Стелла, я могу сказать только одно въ извиненіе моей грубости: я обезумѣлъ отъ ревности. Я старался не любить васъ, и люблю болѣе страстно, чѣмъ воображалъ, что могу полюбить женщину, будь она принцесса. Вся моя сословная гордость, вся моя алчность къ деньгамъ разсѣялись по вѣтру. Я люблю васъ, Стелла, и живу только затѣмъ, чтобы любить васъ. Скажите, дорогая, простили ли вы меня?

У нея голова закружилась отъ такой неожиданности, и она упала бы, еслибы онъ не поддержалъ ее.

— Милая, скажи, любишь ли, простила ли меня?

Ея блѣдныя губы шевельнулись, но не произнесли ни звука. Прошло нѣсколько секундъ въ молчаніи; наконецъ, тяжелыя

рѣсницы медленно, какъ бы съ усиліемъ приподнялись, и жизнь вернулась вмѣстѣ съ сознаніемъ, и большіе черные глаза взглянули на него.

— Я ненавиждѣла себя за то, что любила васъ, — пролепетала она: — я презирала себя за то, что любила человѣка, который мною пренебрегаетъ.

— Ну, значить, мы оба довольны, — отвѣчалъ онъ, цѣлуя ее. — Мы оба боролись, и оба побѣждены судьбой, которая сильнѣе насъ обоихъ. Моя дорогая, я невыразимо счастливъ: въ мірѣ нѣтъ человѣка счастливѣе меня. А теперь поѣдемъ въ замокъ къ матушкѣ, которая тоже старалась закрыть свое сердце, но которая, какъ я подозреваю, тоже любить васъ. Она все знаетъ, моя дорогая, знаетъ, что я женюсь на васъ, если только вы захотите быть моей женой.

— Она не разсердится на васъ за такой выборъ?

— Нѣтъ, она стала кротка, какъ ягненокъ. Развѣ вы не знаете, что ея главное достоинство — здравый смыслъ, а здравомыслящіе люди покоряются тому, что неизбежно. Пойдемъ, дорогая, наймемъ извозчика; онъ отвезетъ насъ въ гостиницу, гдѣ стоитъ мой фаэтонъ. Мы приѣдемъ въ замокъ къ дообѣденному чаю. Я увѣренъ, что милэди очень обрадуется. Она васъ оцѣнила послѣ того, какъ лишилась.

Стелла объяснила ему, что никакъ не можетъ уѣхать изъ Брумма такъ внезапно. Она нашла друзей, пріютившихъ ее, и не можетъ бросить ихъ, не простась. Женскій инстинктъ подсказалъ ей, что возвращеніе въ замокъ вмѣстѣ съ лордомъ Лашмеромъ произведетъ скандалъ. Если ужъ возвращаться, то какъ можно скромнѣе и незамѣтнѣе.

— Если милэди дѣйствительно желаетъ, чтобы я вернулась, то, быть можетъ, она будетъ такъ добра и напишетъ мнѣ одну строчку и пришлетъ за мною экипажъ завтра, — сказала она.

— Она это непременно сдѣлаетъ. Да, такъ будетъ лучше. Но только не завтра, а сегодня.

Они вмѣстѣ ушли съ кладбища и пошли по улицамъ, разговаривая какъ давнишніе друзья и влюбленные.

Лавочка Чапмана была неподалеку отъ Гольдвина и кладбища.

Стелла объяснила, что съ тѣхъ поръ, какъ поселилась въ Бруммѣ, она ежедневно, а иногда и два раза въ день приходитъ на могилу отца

— Ахъ! вы по моей жестокости узнали о его смерти.

— Мнѣ лучше было узнать истину, — мягко отвѣтила она. — Всѣ мои мечты о немъ были дѣтскія. Мнѣ слѣдовало догадаться,

что еслибы онъ былъ живъ, то пріѣхалъ бы или прислалъ за мною. Онъ бы не прожилъ столько лѣтъ въ разлуцѣ со мною и не подавая о себѣ вѣсти. И я еще сильнѣе уважаю и люблю его за то, что онъ пожертвовалъ своей жизнью. Стю ли я того, что двое такихъ благородныхъ людей рисковали изъ-за меня жизнью!

— Вы для меня дороже всего міра, Стелла,—нѣжно отвѣчалъ Лашмеръ,—а Несторіусъ сказалъ мнѣ, что вы замѣчательная писательница.

— Мистеръ Несторіусъ слишкомъ добръ.

— И онъ просилъ васъ быть его женой—онъ, котораго всѣ женщины обожаютъ—и вы отказали ему. Почему вы отвергли такого человѣка, Стелла?

Она молчала; щеки ея вспыхнули, а рѣсницы опустились.

— Почему, Стелла, почему?—приставалъ онъ.

— Потому, что я любила васъ,—отвѣчала она прерывающимся голосомъ.—Васъ, который, казалось, такъ далека отъ меня и такъ жестокъ!

— Но который все время страстно любилъ васъ, Стелла, любилъ васъ и боролся съ своей любовью, хотѣлъ быть умнѣе судьбы. Еслибы вы знали, какъ я старался влюбиться въ лэди Кэрмино, вы бы поняли, какъ могущественно другое вліяніе, отвлекавшее мои мысли отъ нея.

Тѣмъ временемъ они подошли къ лавкѣ мистера Чапмана.

— Другого входа нѣтъ,—сказала Стелла:—вамъ ничего пройти черезъ лавку?

— Я очень радъ. Я никогда не видывалъ такой лавки,—засмѣялся Лашмеръ.

Онъ долженъ былъ немного наклонить голову, чтобы не задѣть сокровищъ, висѣвшихъ съ потолка въ сѣткахъ: свиного сала, свѣтъ, лука, лимоновъ.

— Что за милая лавочка!—воскликнулъ онъ.—Она напоминаетъ каюту управляющаго на моей норвежской яхтѣ.

Стелла провела его въ пріемную, священное убѣжище, которымъ рѣдко пользовались по утрамъ. Семья Чапмана пила чetyрехчасовой чай въ кухнѣ.

Стелла пошла къ нимъ и сказала, что лордъ Лашмеръ пріѣхалъ поблагодарить ихъ за доброту, и что милэди желаетъ, чтобы она вернулась въ замокъ.

— Я думаю, что оставляю васъ сегодня вечеромъ или завтра поутру,—застѣнчиво прибавила она:—но я никогда не забуду

вашей доброты и не перестану считать васъ своими друзьями. И буду навѣщать васъ, если позволите.

— Разумѣется, душа моя, всегда будемъ рады видѣть ваше хорошенькое личико, — сказалъ добродушный Чапманъ, отнимая лицо отъ чашки съ горячимъ чаемъ.

— Лордъ Лашмеръ здѣсь! — вскричала Полли съ испуганнымъ взглядомъ. — Я говорила вамъ! О! какая вы несносная дѣвочка, что хотѣли обмануть меня!

— Можно войти, мистриссъ Чапманъ? — спросилъ Лашмеръ, показываясь въ дверяхъ, которыя вели изъ пріемной въ кухню.

— О! милордъ, слишкомъ много чести, — пролепетала мистриссъ Чапманъ, и вся семья встала, включая и корректора, который приготовлялъ тартинки для своей возлюбленной.

Лашмеръ пожалъ руку Чапману такъ дружески, точно передъ выборами, какъ замѣтилъ впоследствии этотъ достойный гражданинъ, и отъ души поблагодарилъ всю семью за ея доброту къ миссъ Больдвудъ.

— Она скоро, надѣюсь, переимѣнитъ фамилію, — прибавилъ онъ, нѣжно глядя на краснѣющую дѣвушку, — и когда будетъ лэди Лашмеръ, то, конечно, позаботится, чтобы экономка покупала свиное сало и другіе припасы у васъ въ лавкѣ.

— О! милордъ, слишкомъ много для насъ чести, — сказали лавочники. — Но я надѣюсь, что ваше лордство припомнитъ, что мы пріютили дочь Джонатана Больдвуда, а не будущую лэди.

— И дочь Джонатана Больдвуда не будетъ неблагодарной, когда переимѣнитъ фамилію, — отвѣчалъ Лашмеръ. — А теперь, дорогая, я оставляю васъ съ вашими добрыми друзьями еще часика на два. Карета будетъ здѣсь, надѣюсь, къ шести часамъ. Прощайте, мистриссъ Чапманъ.

Онъ всѣмъ пожалъ руки, даже корректору, который былъ ярымъ радикаломъ въ отвлеченности, но восторгался noblemanомъ, облеченнымъ плотью и костями. Полли почувствовала, что это рукопожатіе составитъ событіе въ ея жизни, о которомъ она будетъ помнить и разговаривать долгіе годы. Никакого нѣтъ сомнѣнія, что въ людяхъ голубой крови есть нѣчто невыразимое, но это можно, пожалуй, объяснить тѣмъ, что Полли никогда до сихъ поръ не видала человѣка, который бы воспитался на итонскихъ ипподромахъ, гребъ восьмивесельной лодкой въ Оксфордѣ и одѣвался у лучшихъ портныхъ Лондона.

— Развѣ я не говорила вамъ, миссъ Больдвудъ, — начала Полли, по уходѣ Лашмера, — развѣ я не говорила, что милордъ къ вамъ неравнодушенъ, а вы секретничали!

— Я вовсе не секретничала, Полли. Пожалуйста, не дразните меня, я не могу этого вынести,—слабо защищалась Стелла.

Она съ трудомъ удерживала слезы. Мистриссъ Чапманъ погладила ее по спинѣ, а Полли нѣжно обняла за талію.

— Ну, что-жъ, поздравляю васъ отъ всей души, моя милая миссъ Больдвудъ!—сказала мистриссъ Чапманъ.

— И какъ онъ хорошъ!—вздыхнула Полли:—настоящій портретъ Гая Ливингстона.

ХІІІ.

Стелла послушалась своего милаго и уложила рукописи и тѣ немногія любимыя книги, которыя она захватила съ собою, уходя изъ лашмерскаго замка, въ тотъ самый мѣпочекъ, который таеъ страшно оттянулъ ей руки во время перехода изъ Лашмера въ Брумъ, и стала дожидаться письма и экипажа.

Она сидѣла у окна своей комнаты и ждала; но когда стрѣлка часовъ подошинулась къ шести, то стала прислушиваться къ стуку колесъ на улицѣ. Было темно, но она не зажигала огня.

Шесть часовъ, а экипажа нѣтъ какъ нѣтъ. Она слышала, какъ пробило шесть на церковныхъ часахъ и затѣмъ на часахъ двухъ фабрикъ.

Нѣтъ, очевидно, что милэди отказалась написать записку и не хочетъ знать убѣждавшую изъ дома служанку.

Но чу! вотъ загудѣли колеса кареты... да, положительно, кареты, и послышался ритмическій стукъ копытъ пары лошадей. Стелла подбѣжала къ окну и выглянула изъ него.

Свѣтъ отъ каретныхъ фонарей озарялъ улицу и освѣтилъ Стеллу въ то время, какъ она стояла у окна.

Карета самой милэди остановилась у дверей лавочки; лакей отворилъ дверцу, и изъ кареты вышла милэди въ длинномъ черномъ бархатномъ мантѣ, обшитомъ соболемъ.

Стелла, блѣдная и дрожащая, сошла внизъ, чтобы принять эту неожиданную посѣтительницу.

— Стелла, я пріѣхала за тобой,—сказала милэди сповойно и непринужденно. — Съ твоей стороны было очень неблагоразумно убѣжать изъ дому отъ того, что легкомысленный молодой человекъ сказалъ тебѣ нѣсколько грубыхъ словъ. Надѣвай шляпу, а я поблагодарю добрыхъ людей, которые позаботились о тебѣ.

Стелла не заставила милэди дожидаться, и черезъ двѣ секунды появилась съ мѣшкомъ, гдѣ лежали ея книги.

— Отдай это Джону, душа моя!—и напудренный лакей, ожидавшійся на порогѣ, бросился со всѣхъ ногъ, чтобы освободить Стеллу отъ ея бремени.

Стелла подѣловала мистриссъ Чапманъ и ея дочь, пожала руку лавочнику и послѣдовала за милэди въ карету.

Черезъ минуту лошади бѣжали по узкой улицѣ, а лэди Лашмеръ обняла Стеллу.

— Дитя мое, мнѣ пришлось разочароваться въ моихъ планахъ, но я нахожу, что Господь знаетъ, что дѣлаетъ, и послалъ мнѣ дочь, которая успокоитъ мою старость. О, Стелла, я старалась не любить тебя, но сначала ты сдѣлалась мнѣ необходима, а затѣмъ я открыла, что привязалась къ тебѣ. Я была холодна и даже жестока. Можешь ли ты простить меня, хочешь ли быть моей дочерью?

— О, лэди Лашмеръ! я только одного желаю, чтобы вы позволили мнѣ любить себя, — пролепетала дѣвушка, прижимаясь щекой къ плечу милэди, въ то время какъ та обнимала ее за талію.

— Позволяю тебѣ это отъ всей души, мое дитя. Люби меня сколько можешь побольше. Мнѣ немного осталось жить и любоваться на ваше счастье съ Викторіаномъ.

Мистриссъ Мольчиберъ находилась въ сѣняхъ, когда милэди и Стелла выходили изъ кареты. Домашніе перевероты были ея естественной стихіей. На многихъ семейныхъ корабляхъ она играла роль штурмана въ такія минуты и думала, что никакая барка не войдетъ благополучно въ гавань безъ ея содѣйствія. Она обняла Стеллу и прокуковала надъ нею:

— Мое дорогое дитя, не говорила ли я вамъ это?

— О! мистриссъ Мольчиберъ, вы говорили совсѣмъ другое.

— Неужели, милочка? Это о мистерѣ Несторіусѣ? Ахъ! конечно, говорила. Но вѣдь я и не ошиблась. Я знала, что вамъ предназначено сдѣлать блестящую партію. А теперь бѣгите скорѣй одѣваться къ обѣду.

— Я уже отобѣдала у своихъ друзей въ Брумъ, — отвѣчала Стелла. — Я напьюсь чаю въ своей комнатѣ.

Мистеръ Несторіусъ услышалъ отъ Лашмера, какъ онъ нашелъ бѣглянку среди мертвыхъ и какъ въ царствѣ мертвыхъ заключенъ былъ союзъ между живыми. Онъ говорилъ съ Лашмеромъ и затѣмъ простился съ нимъ, чтобы ѣхать на станцію желѣзной дороги на пути въ Лондонъ.

— Почему бы вамъ не остаться? развѣ вы не хотите ее видѣть?—спросилъ Лашмеръ.

— Нѣтъ, мой другъ, рана еще слишкомъ свѣжа. Со временемъ, когда вы будете счастливымъ семьяниномъ, я, можетъ быть, приѣду къ вамъ въ гости. Докторъ Время исцѣляетъ всѣ раны.

Стелла не появилась за обѣдомъ, какъ бы хотѣлось мистриссъ Мольчиберъ, желавшей, чтобы она сразу вступила въ роль не-вѣсты Лашмера.

— Хочешь сойти внизъ со мной и познакомиться съ друзьями моего сына?—спросила миледи.

— Ни за что, дорогая лэди Лашмеръ!—молила она.—Позвольте мнѣ быть, какъ и до сихъ поръ, вашей чтицей и компаньонкой. Только любите меня немножко, если можете. Такъ сладко быть любимой!

Глаза ея наполнились слезами, и вторично мать Викторіана обняла и поцѣловала ее.

Лэди Лашмеръ отобѣдала въ своей комнатѣ, извиняясь передъ гостями усталостью, и компанія внизу, освобожденная отъ ослѣпительнаго блеска двухъ великолѣпныхъ созвѣздій—лэди Кермино и мистера Несторіуса—и воодушевленная радостнымъ настроеніемъ Викторіана, предавалась такому необузданному веселью, что скандализировала буфетчика и его помощниковъ. То былъ самый веселый обѣдъ за все время сезона охоты въ замкѣ. Лэди Софія и капитанъ Вавасуръ завели перекрестный огонь анекдотовъ и эпиграммъ. Мистриссъ Мольчиберъ нѣжно кивовала на ухо хозяину, объясняя, какъ она восхитилась Стеллой съ первой же минуты, какъ ее увидѣла; какъ она старалась заслужить—и, кажется, успѣла въ томъ—ее дружбу и какъ она съ самаго начала увидѣла, что они любятъ другъ друга.

— Тотъ фактъ, что вы никогда про нее не говорили, а она про васъ—убѣдилъ меня въ этомъ,—прибавила она.—Это вѣрнѣйшій признакъ.

— Понимаю. Молчаніе—это главная улика. Ну, что жъ, теперь я могу говорить о ней, и чувствую, что ни о чемъ другомъ не хочется говорить. Но не слѣдуетъ быть эгоистомъ. Для чловѣка почти такъ же неприлично говорить про не-вѣсту, какъ и про самого себя. Онъ надобѣтъ добрымъ людямъ. Хороша ли была охота, лэди Софія?

— Отвратительная. Каналья лисица цѣлыхъ полтора часа водила насъ за носъ, но, однако, мы ее все-таки поймали.

— Я помню, какъ разъ въ Кампанѣ одна борзая... — началъ капитанъ Вавасуръ. Но тутъ всѣ заговорили разомъ, на-

перерывъ другъ передъ другомъ. Всѣмъ давнымъ-давно была извѣстна эта исторія про лисицу.

— Любезный другъ, — говорилъ послѣ обѣда Понсонби Лашмеру, — Вавасуръ готовъ рассказывать эту исторію каждый день и по два раза, если только найдетъ слушателей. И я вовсе не вѣрю, чтобы онъ когда-нибудь охотился въ Кампаньѣ или гдѣ въ другомъ мѣстѣ.

Немного позже Лашмеръ видѣлъ, какъ его гости мужескаго пола забавлялись въ бильярдной, между тѣмъ какъ мистриссъ Мольчиберъ и остальные дамы собрались вокругъ огня въ гостиной и судили и рядили о послѣднемъ скандалѣ въ большомъ свѣтѣ. Слова: „онъ сказалъ“ и „она сказала“ — сыпались безъ умолку, точно онѣ были прачки. Видя, что гости его довольны собой и своей судьбой, онъ ускользнулъ отъ нихъ и пошелъ въ комнату матери, гдѣ нашелъ Стеллу. Они просидѣли втроемъ около часа, разсуждая о будущемъ. Затѣмъ, пожелавъ спокойной ночи матери и невѣстѣ, онъ вернулся въ гостиную, гдѣ тотъ же скандалъ продолжалъ служить темой оживленныхъ разговоровъ. Послѣ того онъ прошелъ въ бильярдную.

— Ну, какъ дѣла? — спросилъ онъ: — чья партія?

— Вотъ уже третью партію выигрываетъ Вавасуръ, — отвѣчалъ Понсонби. — Право, я думаю, что онъ переодѣтый маркёръ.

Гости — мужчины и дамы — разѣхались въ концѣ недѣли, и каждый возвратился къ своему дѣлу: Лашмеръ — говорить рѣчи для просвѣщенія мытыхъ и немытыхъ избирателей, долженствовавшихъ вотировать за тори или за виговъ, смотря по тому, въ какую сторону направится потокъ общественнаго мнѣнія. Онъ долженъ былъ вернуться на недѣлю на Рождествѣ и затѣмъ снова уѣхать и пріѣхать уже весною, чтобы вести невѣсту къ алтарю. Лэди Лашмеръ поставила условіемъ, чтобы свадьба была черезъ шесть мѣсяцевъ. Она находила, что такой срокъ необходимъ, чтобы онъ могъ провѣрить свои чувства, а она успѣла привыкнуть къ новой дочери.

Лашмеръ былъ слишкомъ благодаренъ матери, чтобы протестовать ея желанію.

Во время его отсутствія лэди Лашмеръ серьезно прохворала цѣлый мѣсяцъ, и Стелла съ неутомимымъ терпѣніемъ и заботой ухаживала за нею. День отъ дня онѣ становились дороже другъ другу.

Лэди Кэрмино не осталась въ Англіи присутствовать при

тріумфъ своей скромной соперницы. Она, подъ предлогомъ, что покладливая мистриссъ Денбрукъ не совсѣмъ здорова, увезла ее въ Aix-les-Bains съ постышностью Медеи, а изъ Aix, при наступленіи холодной погоды, въ Монтрё; оттуда въ Беладжіо и, наконецъ, во Флоренцію.

Въ одномъ изъ великолѣпнѣйшихъ дворцовъ этого города лэди Кэрмино поселилась съ своимъ дворомъ, окружила себя поклонниками и сифофантами высшаго разбора, и тратила трудомъ нажитыя Джобомъ Денбрукомъ денежки съ королевской тароватостью, которая всѣхъ восхищала.

Изъ своего прекраснаго замка султанша денбрукскаго желѣзодѣлательнаго завода имѣла изрѣдка сообщенія съ своими вассалами черезъ посредство управляющаго, котораго считала особенно несноснымъ и упрямымъ обуреваемымъ страстью давать ненужные и даже дерзкіе совѣты.

— Я поставила себѣ за правило не обращать никакого вниманія на то, что онъ говоритъ, — объявила она одному изъ своихъ друзей, штатскому инженеру, съ которымъ, какъ съ практическимъ человѣкомъ, вела иногда дѣловыя бесѣды.

— Но его совѣты могутъ оказаться полезными, хотя бы въ качествѣ исключенія, подтверждающаго правило, — отвѣчалъ этотъ джентльменъ.

— О! если я хоть разъ уступлю ему, то онъ сядетъ мнѣ на голову. Я думаю, что онъ очень хорошій человѣкъ и знаетъ свое дѣло, но онъ ужасный радикалъ. Самый воздухъ Брумма пропитанъ революціей.

Съ такимъ спокойнымъ и мягкимъ упрямствомъ управляющій ничего не могъ подѣлать. Тщетно писалъ онъ о необходимости не отставать отъ времени. Тщетно предупреждалъ объ усиливающимся недовольствѣ между рабочими и объ опасности, которой оно грозитъ имуществу милэди. Она была такъ же упорна, какъ Георгъ III относительно Америки, и результатъ былъ однородный.

Въ одну зимнюю полночь городъ Брумъ былъ испуганъ такимъ заревомъ, какого не видывали уже болѣе полулѣта. Мужчины и женщины выбѣжали изъ домовъ на улицу: большой денбрукскій заводъ горѣлъ со всѣми флигелями и строеніями.

Огонь показался одновременно въ десяти мѣстахъ. Не могло быть никакого сомнѣнія въ поджогѣ, но уличить никого не удалось.

Потеря лэди Кэрмино равнялась почти миллиону. Произве-

дено было тщательное слѣдствіе, сто-пятнадцать свидѣтелей были заслушаны, но въ результатѣ оказался nil.

И вотъ какимъ образомъ великій денбрукскій заводъ окончилъ свое существованіе. Лэди Кермино рѣшительно отказалась выстроить его заново и вообще имѣть отнынѣ какое-нибудь дѣло съ желѣзомъ.

— Если я благодарна за что-нибудь этимъ негодяямъ, такъ это за ихъ поджогъ,—объявила она съ свойственнымъ ей величественнымъ видомъ. — Такъ пріятно думать, что я ничего не имѣю больше общаго съ торговлей и не увижу больше, какъ мою карету задерживаетъ безобразная процессія вагоновъ съ моими именемъ на нихъ.

Викторіанъ и Стелла обвѣнчались на святой и отправились въ обычное свадебное путешествіе въ классическую землю Донъ-Кихота, гдѣ Лашмеръ хотѣлъ, между прочимъ, отыскать дѣдушку или другого какого родственника своей жены.

Но отъ послѣдняго труда его избавило письмо одного адвоката изъ Мадрида, который спрашивалъ у него: не на дочери ли Джонатана Больдвуда, рожденной отъ брата его съ испанской лэди, женился Лашмеръ. Если такъ, то его жена—единственная наслѣдница дона Ксавье Оливареца, негоціанта, недавно умершаго безъ завѣщанія и оставившаго въ его рукахъ бумаги, касающіяся бѣгства его дочери.

Лашмеръ отвѣчалъ на это письмо личнымъ визитомъ вмѣстѣ со Стеллой. Испанецъ былъ пожилой человѣкъ и помнилъ мать Стеллы.

— Не можетъ быть сомнѣнія въ происхожденіи милэди. Она носитъ доказательство его на своемъ лицѣ.

Формальности для утвержденія въ правахъ наслѣдства потребовали около шести мѣсяцевъ, по истеченіи которыхъ Стелла получила около пятнадцати тысячъ фунтовъ стерлинговъ.

— Этого больше чѣмъ достаточно, чтобы отдѣлать заново домъ на Гросвеноръ-скверѣ,—сказалъ Лашмеръ, которому хотѣлось, чтобы молодая жена его заняла подобающее ей положеніе въ обществѣ.

— И купить пожизненную ренту для дорогого мистера Вернера, чтобы онъ могъ себя чувствовать вполне независимымъ,—прибавила Стелла.

Габріэль Вернеръ переселился въ свои прежнія комнаты въ замкѣ въ качествѣ бібліотекаря съ правомъ, время отъ времени

пополнять великолѣпную коллекцію старинныхъ книгъ, которою славится лашмерскій замокъ.

Романъ лэди Лашмеръ вышелъ подъ псевдонимомъ черезъ нѣсколько недѣль послѣ ея замужества и оправдалъ ожиданія издателя и мистера Несторіуса.

Онъ надѣлалъ шуму и его приписали перу мистера Несторіуса, во-первыхъ потому, что его издала фирма, печатающая произведенія этого государственнаго человѣка, а во-вторыхъ потому, что въ публикѣ стало извѣстно, что онъ держалъ корректуру.

Только небольшая кучка читателей, и преимущественно женщины, инстинктивно догадывалась, что эта исторія страстной непризнанной любви могла быть написана только женщиной, такъ какъ только для женщины любовь—главное дѣло жизни.

А. Э.



ВИКТОРЪ ГЮГО

и

НОВѢЙШАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ КРИТИКА

Есть писатели, критическая оцѣнка которыхъ становится возможной только послѣ ихъ смерти. Слишкомъ они волнуютъ своихъ современниковъ—или, по крайней мѣрѣ, своихъ соотечественниковъ,—слишкомъ подавляютъ или раздражаютъ ихъ своимъ авторитетомъ; между безусловнымъ поклоненіемъ и страстнымъ отрицаніемъ не остается мѣста для спокойнаго разбора. Таково было, при жизни, положеніе Виктора Гюго. По временамъ высоко цѣнимый всѣми литературными партіями, по временамъ горячо преслѣдуемый одними и столь же горячо защищаемый другими, онъ никогда не былъ предметомъ анализа, свободнаго отъ предвзятой мысли. Блестящій успѣхъ выпалъ на его долю очень рано, но настоящей славы онъ сталъ достигать только тогда, когда вокругъ него и изъ-за него загорѣлась борьба между приверженцами старины и сторонниками литературной революціи. Въ сороковыхъ годахъ борьба затихаетъ; никто не оспариваетъ болѣе у Гюго одно изъ первыхъ мѣстъ между французскими поэтами. Еще нѣсколько лѣтъ — и единственные его соперники, Ламартинъ и Мюссэ, сходятъ со сцены; затѣмъ для него наступаетъ періодъ изгнанія, возносящій его до облаковъ или даже за облака. Его величественный образъ, разсматриваемый издалека и снизу,

принимаетъ колоссальные размѣры. Возвращеніе во Францію сводитъ его на землю, но привычка не сразу теряетъ приобретенную силу, тѣмъ болѣе, что въ авторѣ „*Anpée terrible*“ Франція видитъ выразителя своего господствующаго чувства. Реакція противъ Гюго и противъ гюголатріи становится замѣтной только тогда, когда новая литературная школа формулируетъ новую литературную доктрину. Ультра-натурализмъ объявляетъ войну романтизму и, въ качествѣ воюющей стороны, мало заботится о сдержанности и справедливости. Ему ничего не стѣдуетъ провозгласить Гюго риторомъ и *только* риторомъ, ничего не стѣдуетъ сдать его въ архивъ, осудить его на полное и скорое забвеніе. Золя не былъ и не могъ быть *критикомъ* В. Гюго; онъ слишкомъ для этого одностороненъ, слишкомъ влюбленъ въ самого себя и въ свои убѣжденія, слишкомъ увѣренъ въ непогрѣшимости своихъ приѣмовъ. Ему удалось лишь одно: опрокинуть перегородки, затруднявшія приближеніе къ В. Гюго, показать въ немъ— вмѣсто кумира, требующаго жертвоприношеній—человѣка, наравнѣ съ другими подлежащаго изслѣдованію и изученію. Теперь ничто не препятствуетъ больше исполненію этой задачи. Великій поэтъ сошелъ въ могилу; его не оскорбитъ непривычное отношеніе къ его творчеству, не возмутитъ попытка опредѣлить, съ одинаковой точностью, сильныя и слабыя стороны его дарованія. Само собою разумѣется, что между сочиненіями и статьями, посвящаемыми, въ послѣднее время, памяти В. Гюго, не всѣ идутъ новой дорогой, не всѣ замѣняютъ подчеркиванье отдѣльныхъ красотъ и недостатковъ стремленіемъ возсоздать типичныя, основныя черты умершаго поэта. Эрнестъ Дюбуа, напримѣръ, пишетъ цѣлую книгу („*Victor Hugo, l'homme et le poète*“) по старому шаблону, переходя отъ одной группы произведеній къ другой, иногда критикуя, чаще восхищаясь, распыляясь въ подробностяхъ, соединенныхъ чисто-внѣшнею связью. Совершенно иначе поступаетъ Эмиль Фагэ, авторъ этюдовъ о великихъ писателяхъ XVII-го и XIX-го вѣка ¹⁾. Онъ принадлежитъ къ той плеядѣ молодыхъ французскихъ критиковъ, о которой недавно шла рѣчь въ нашемъ журналѣ ²⁾. Болѣе исчерпывающій, чѣмъ Жюль Леметръ, болѣе живой, чѣмъ Брюнетьеръ, онъ бодро идетъ по стопамъ Тэна, отыскивая „господствующую способность“ (*faculté maitresse*) писателя, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, гораздо больше чѣмъ Тэнъ, обращаетъ вниманіе на технику творчества, на форму произведеній.

¹⁾ *Emile Faguet. Les grands maitres du dix-septième siècle. Etudes littéraires sur le dix-neuvième siècle.* Обѣ книги выдержали въ короткое время по три изданія.

²⁾ См. № 6 „Вѣстника Европы“ за текущій годъ: „Новая французская критика“.

Онъ не поэтъ-психологъ, какъ Поль Буржэ; въ его анализѣ меньше блеска, въ его портретахъ меньше изящества и закругленности,—но они ближе къ дѣйствительности, болѣе сходны съ оригиналами. Статья о Гюго—одна изъ самыхъ выдающихся въ обоихъ сборникахъ Фагэ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, одна изъ наиболѣе характеристичныхъ для самого критика.

Основываясь на автобіографическихъ данныхъ, разсѣянныхъ во всѣхъ произведеніяхъ Гюго, „чрезвычайно легко и чрезвычайно пріятно было бы создать фигуру, достойную Плутарха: фигуру стойка, неукротимаго, великодушнаго и мягкаго, олицетворяющаго собою долгъ и добродѣтель“. Привлекательность этой задачи не подкупаетъ Фагэ; онъ знаетъ, что первая обязанность критики—правдивость, и точно сгнѣшить закалить себя противъ соблазна, выставляя цѣлый рядъ положеній, отъ которыхъ долженъ встать дыбомъ каждый волосъ на головѣ поклонниковъ В. Гюго. Характеръ В. Гюго былъ заурядный, не возвышавшійся надъ среднимъ уровнемъ. Когда въ немъ пробуждалось тщеславіе, оно овладѣвало имъ всецѣло, а бодрствовало оно въ немъ почти постоянно. Ему была чужда мрачная гордость Байрона или Шатобріана, чужда женская кокетливость Ламартина; онъ тщеславенъ какъ буржуа, исполненъ удивленія къ самому себѣ, наивнаго, открыто выставляемаго наружу. Онъ сравниваетъ себя то съ Атлантомъ, несущимъ на себѣ вселенную, то съ Монбланомъ, то съ свѣточемъ, назначеніе котораго — свѣтить міру. Онъ доходитъ въ этомъ до смѣшного, не чувствуя, что становится смѣшнымъ; онъ совершенно лишенъ такта, чувства мѣры. Все это, вмѣстѣ взятое, образуетъ одно цѣлое, которое нужно называть настоящимъ его именемъ: *педантизмъ*. Педантизмъ несомнѣтеленъ съ остроуміемъ; и дѣйствительно, истиннаго остроумія—остроумія Лафонтена, Мольера, Вольтера, Гейне — у В. Гюго нѣтъ и слѣда. Есть, однако, другой родъ ума, вытекающій изъ необузданной, капризной фантазіи, падкій на странные, непредвидѣнные контрасты, склонный къ парадоксамъ, къ пародіи, къ шутовству, къ игрѣ словъ и каламбуру. Это — веселость воображенія, подобно тому, какъ остроуміе — веселость разсудка. Проблески такого ума встрѣчаются у Аріоста, у Шекспира, въ испанскомъ театрѣ. Его было много у людей тридцатыхъ годовъ; В. Гюго владѣетъ всѣми его формами, отъ высшихъ до низшихъ. Этотъ умъ — при отсутствіи контроля со стороны другого, настоящаго ума — представляетъ одну немаловажную опасность: ему случается слишкомъ серьезно относиться къ самому себѣ. Игру фантазіи В. Гюго принимаетъ иногда за идею, шутку—за открытіе;

онъ подчиняется собственной выдумкѣ, увлекается ею за предѣлы здраваго смысла. Такъ, напримѣръ, отвѣчая (въ „Contemplations“) на обвиненія въ литературномъ революціонерствѣ, онъ признаетъ себя, шута, бунтовщикомъ въ области языка, кровопийцей фразъ, террористомъ по отношенію къ Баттѣ. Это все прекрасно и забавно; но, въ концѣ концовъ, поэту начинаетъ казаться, что освобожденіе словъ въ самомъ дѣлѣ равносильно освобожденію мысли, освобожденію человѣка, что Теофиль Готье—продолжатель французской революціи, что поэтъ, положившій конецъ господству перифразы, имѣетъ право на мѣсто рядомъ съ спасителемъ міра. Что привело его къ такому чудовищному выводу? Игра словъ, которую онъ возвелъ на степень глубокой истины: *le mot—c'est le verbe, et le verbe—c'est Dieu*. Не ясно ли, что умъ (въ смыслѣ непереводаемаго съ точностью французскаго слова *esprit*) необходимъ даже для генія? „Меня могутъ спросить,—такъ заканчиваетъ Фагъ главу объ умѣ В. Гюго,—къ чему я настаиваю на сравнительно неважномъ недостаткѣ человѣка, одареннаго первостепенными достоинствами? Потому, что эти достоинства почти непрерывно страдали отъ сосѣдства съ этимъ недостаткомъ; потому, что недостатки служатъ границами дарованія — а я занимаюсь въ эту минуту именно установленіемъ границъ, въ которыя былъ заключенъ Гюго. Отграничить — значитъ опредѣлить“.

Не нужно быть чувствительнымъ, — продолжаетъ Фагъ, — чтобы быть великимъ поэтомъ. Чувствительность въ поэзіи законна, но не необходима; она законна, когда соединяетъ въ себѣ два условія: сдержанность и искренность. Дарованіе Гюго представляется, съ этой точки зрѣнія, чрезвычайно неровнымъ. Ему случалось достигать высшей силы, которую можетъ дать чувство, и случалось впадать въ обѣ крайности, при которыхъ чувствительность является недостаткомъ. Иногда онъ слишкомъ увлекается страстью (напр. гнѣвомъ), увлекается ею до неспособности облечь ее въ артистическую форму; иногда онъ описываетъ страсть, которой не переживалъ на самомъ дѣлѣ (напр. любовь) — и остается натянутымъ и холоднымъ. Иногда, наконецъ, его творчество совпадаетъ съ тѣмъ моментомъ, когда страсть, истинная и горячая, наполняетъ еще всю душу, но уже успокоилась настолько, что поддается художественному изображенію — и тогда онъ создаетъ произведенія, выше которыхъ нѣтъ ничего во французской, можетъ быть даже во всей новѣйшей литературѣ. Сюда относятся лучшія страницы „*Châtiments*“, — но рядомъ съ ними слишкомъ много другихъ, проникнутыхъ бѣшенствомъ и переполненныхъ бранью. Чувство любви въ дѣтяхъ, къ семьѣ — самое

глубокое изъ всѣхъ чувствъ Гюго, — внушило ему много неуважимо-преlestныхъ стихотвореній — но даже оно вырождается иногда въ дѣланную наивность, въ искусственный лепетъ à la bébé (напр. во многихъ мѣстахъ „l'Art d'être grand-père“).

В. Гюго очень много говорить объ идеяхъ, поклоняется великимъ умамъ и высокимъ истинамъ; на самомъ дѣлѣ у него мало идей, мало любви къ нимъ самимъ и къ ихъ носителямъ. Въ цѣлой книгѣ о Шекспирѣ нѣтъ ни слова о психологiи и философиі Шекспира, въ цѣлой статьѣ о Мирабо — ни слова о взглядахъ Мирабо на политическое устройство Франціи. Въ безконечныхъ номенклатурахъ, къ которымъ Гюго питаетъ такую слабость, крайне рѣдко встрѣчаются имена философовъ, историковъ — и встрѣчаются, болѣею частью, только тогда, когда этого требуетъ рима. Научное движеніе вѣка ему чуждо; о Дарвинѣ, напримѣръ, онъ упоминаетъ только однажды, въ плоско-шутливомъ тонѣ. Онъ считаетъ себя поэтомъ-апостоломъ или пророкомъ, пастыремъ душъ, руководителемъ народовъ — но, въ сущности, имъ всегда руководятъ другіе, и онъ проповѣдуетъ, заднимъ числомъ, идеи, давно сдѣлавшіяся достояніемъ всѣхъ и каждаго. Во время реставраціи онъ слѣдуетъ за Шатобріаномъ, послѣ іюльской революціи усваиваетъ себѣ взгляды „Globe“ (газеты, процвѣтавшей въ эпоху борьбы противъ Виллеля), въ концѣ царствованія Людовика-Филиппа повторяетъ зады тридцатыхъ годовъ, въ 1848 г. держится еще консервативныхъ воззрѣній, становится радикаломъ только въ 1849, анти-клерикаломъ — только въ 1850 г., возобновляя кампанію, пять лѣтъ тому назадъ веденную Мишлѣ и Кинѣ. Республиканецъ — послѣ Ламартина, социалистъ — послѣ Пьера Леру, отчасти пантеистъ — послѣ Жана Рейно, онъ останавливается, наконецъ, на одномъ пунктѣ — и воображаетъ себѣ, совершенно чистосердечно, что всегда служилъ поздно избранному знамени. Его образъ мыслей — явленіе отраженное (не даромъ же онъ самъ говоритъ: „tout fait reluire et vibrer mon âme de cristal“) и, слѣдовательно, поверхностное. Отсутствующую глубину замѣняетъ торжественность тона, замѣняютъ восклицанія въ родѣ слѣдующихъ: „o profondeur! o sombre aile invisible!“, или вереница громкихъ словъ: „justice, amour, foi, raison, beauté, progrès, idéal, liberté“. Чтò понимаетъ Гюго подъ этими прекрасными, но не особенно опредѣленными словами — это остается неизвѣстнымъ. Лѣтъ сорокъ тому назадъ привлекательнымъ казался самый ихъ звукъ; ихъ принимали на вѣру, не доискиваясь настоящаго ихъ смысла; возможность противоположныхъ толкованій не сознавалась еще такъ ясно, какъ

теперь. Гюго не пошелъ дальше тогдашняго настроенія; онъ можетъ быть названъ „поэтомъ фразеологій XIX-го вѣка“. Его философія или метафизика сводится къ нѣсколькимъ смутнымъ вѣрованіямъ, плохо вяжущимся между собою; деизмъ не исключаетъ у него пантеизма, пантеизмъ уживается съ чѣмъ-то въ родѣ метемпсихозы, основанной на идеѣ загробнаго возмездія. Господствующая черта въ міросозерцаніи В. Гюго — оптимизмъ, главнымъ выраженіемъ котораго служитъ вѣра въ прогрессъ, въ освобожденіе массъ, въ торжество слабыхъ надъ сильными. Помимо великолѣпія формы, все это довольно мелко (*puéril*), но, вмѣстѣ съ тѣмъ, довольно великодушно; не будучи мыслителемъ, В. Гюго усиливался мыслить — и въ этомъ его безспорная заслуга. Не слѣдуетъ забывать, что поэтовъ-философовъ, до В. Гюго, во Франціи было очень мало, и что цѣнна всякая попытка, сдѣланная въ этомъ направленіи, лишь бы только она принадлежала истинному поэтическому таланту.

Идеи В. Гюго объ искусствѣ, о литературѣ, отличались такою же неустойчивостію, какъ и всѣ остальные. Онъ видѣлъ въ искусствѣ сначала выраженіе христіанскаго реализма, потомъ — либеральныхъ идей, потомъ — демократіи, потомъ — социализма. Онъ постоянно отводилъ ему служебную роль, требовалъ отъ него практической пользы — но на самомъ дѣлѣ, къ счастью, сплошь и рядомъ забывалъ это требованіе и являлся чистымъ артистомъ. Его мысли были, большею частью, не чѣмъ инымъ, какъ *общими мѣстами*, которымъ онъ наивно придавалъ значеніе отертыя. Онъ часто вдохновлялся событіемъ дня, какимъ-нибудь выдающимся происшествіемъ; съ этой точки зрѣнія его можно назвать прирожденнымъ журналистомъ или хроникѣромъ. Множество стихотвореній написано имъ на темы, точно заимствованныя изъ прописей: всѣ люди смертны; смерть застигаетъ насъ внезапно; счастье заключается въ добродѣтели; доброта отерываетъ двери неба, и т. п. Съ общими мѣстами морали чередуются, особенно въ концѣ дѣятельности Гюго, общія мѣста философіи или космогоніи (земля больше человѣка, солнце больше земли, звѣзды больше солнца, безконечность больше чѣмъ что бы то ни было, Богъ больше безконечности). „Я не осуждаю Гюго за пристрастіе къ общимъ мѣстамъ, — говоритъ Фагэ, — я только констатирую это пристрастіе. Я знаю, что общими мѣстами не пренебрегали иногда и самые великіе писатели, потому что они чувствовали себя способными облечь ихъ въ новую форму“. У В. Гюго новизна обуславливается тѣмъ, что общее мѣсто, подъ его рукой, часто обращается въ *образъ*, роскошно освѣщенный. Мимо поэта

проходить падшая женщина. „Не оскорбляйте ее, она может подняться“ — вотъ общее мѣсто, на которомъ останавливается его мысль. „Капля воды, упавшая на землю, смѣшивается съ грязью; пускай ея коснется лучъ солнца—она опять возносится на небо“: вотъ картина, въ которую обратилось общее мѣсто. Блѣдная формула расцвѣчивается всѣми красками жизни; гдѣ другіе только думаютъ, тамъ поэтъ *видитъ*—и заставляетъ видѣть. Слабы и скучны именно тѣ стихотворенія Гюго, въ которыхъ неудачно выбранъ образъ, недостаточно скрыто общее мѣсто; банальность содержанія не выкупается здѣсь красивыми стихами. Число общихъ мѣстъ не безконечно, оно даже довольно ограничено; отсюда опасность монотонности, неизбежность повтореній, отъ которыхъ В. Гюго далеко не свободенъ.

Неужели, однако, В. Гюго никогда не выходилъ изъ сферы общихъ мѣстъ, никогда надъ ними не возвышался? Этому Фагэ не утверждаетъ. Воображеніе, съ помощью котораго общія мѣста возводятся у Гюго на степень образа, позволяло ему иногда обходиться безъ ихъ посредства. Когда, по самому свойству избранной темы, поэту нужно было *только* представить себѣ изображаемый предметъ, силѣ выраженія, почти всегда свойственной В. Гюго, соответствуетъ и оригинальность концепціи. Всего чаще это встрѣчается въ описаніи и въ разсказѣ. Гюго обладаетъ искусствомъ одухотворять неодушевленные предметы. Онъ видитъ, ясно видитъ ихъ рисунокъ и цвѣтъ, ихъ очертанія и выступы; цѣлая эпоха представляется ему какъ игра свѣта на крышахъ, колокольняхъ, крѣпостныхъ валахъ, на движущейся толпѣ, на оружіяхъ и костюмахъ. Безсильный вдохнуть жизнь—полную и могучую жизнь—въ Эрнани, въ Дидье, въ Клода Фролло, онъ наполняетъ ею соборъ, улицу, городъ, поле битвы. Онъ неподражаемъ въ изображеніи обстановки, мастеръ во всемъ относящемся къ таеъ-называемой „*scène locale*“; ее можно назвать главнымъ дѣйствующимъ лицомъ его произведеній. Второстепенныя фигуры удаются ему, вслѣдствіе этого, лучше тѣхъ, которыя стоятъ на первомъ планѣ. Живопись, изображеніе дѣйствительности, передача впечатлѣній, воссозданіе прошедшаго, созданіе воображаемыхъ міровъ, залитыхъ свѣтомъ или теряющихся въ полу-мракѣ—вотъ настоящее царство В. Гюго, царство, всецѣло подчиненное его власти. Драматическое его дарованіе слабо; какъ романистъ, онъ воспроизводитъ эпоху, но не творитъ живыхъ людей; какъ лирикъ, онъ чрезвычайно силенъ, потому что въ лирической поэзіи многое можно сдѣлать посредствомъ однихъ только общихъ идей или простѣйшихъ чувствъ. Въ этой области, однако, ему недостаетъ иногда движе-

нѣя, порыва, восторга, глубокаго чувства. Наибольшей вышины онъ достигаетъ въ эпосѣ. Здѣсь не нужно отгѣнковъ, здѣсь нѣтъ надобности углубляться въ сложные изгибы личной душевной жизни. Частное отступаетъ здѣсь передъ общимъ, личность—передъ цѣлымъ; здѣсь отерывается полный просторъ для того „ясновидѣнія“, въ которомъ заключается главная сила В. Гюго. „En résumé“—таковъ выводъ Фагэ, приводимый нами въ подлинникѣ для лучшаго сохраненія колорита,—„Hugo est magnifique metteur en scène de lieux communs, dramaturge pittoresque, romancier descriptif, lyrique puissant, froid quelquefois, épique supérieur et merveilleux“.

Какъ это ни странно съ перваго взгляда, врагъ классицизма во многихъ отношеніяхъ былъ классикомъ, и притомъ именно классикомъ французскимъ. В. Гюго влюбленъ въ симметрію; въ изложеніи онъ послѣдовательнѣе Гомера и Ювенала, въ постройкѣ лирическихъ стихотвореній—систематичнѣе Пиндара, въ композиціи трагедій—столь же методиченъ, какъ и Расинъ. Одинъ изъ его любимыхъ приемовъ—противопоставленіе, антитеза, часто принимающая форму діалога; иногда вопросъ и отвѣтъ раздѣлены между двумя различными стихотвореніями. Другой его приемъ—постепенное повышеніе тона, переходъ отъ *pianissimo*, черезъ рядъ *crescendo*, къ оглушительному *forte*. Случается и такъ, что переходъ выбрасывается вовсе; шопотъ сразу — и чрезвычайно удачно—замѣняется крикомъ; небольшая картинка сразу развертывается въ громадную декорацію. Общему мѣсту, какъ содержанію стихотворенія, часто соответствуетъ логическое развитіе мысли (*développement*), какъ его форма. Отсюда рядъ образовъ, въ которые облекается одно и то же понятіе. Когда образы не просто нагромождены другъ на друга, а воплощаютъ собою, всѣ вмѣстѣ, идею, въ этомъ именно видѣ представшую передъ фантазіей поэта, эффектъ получается удивительный, грандіозный. Есть у В. Гюго и произведенія другого рода, дѣйствующія какъ легкій ароматъ, разлитый въ воздухъ. Связь и преемственность мыслей едва намѣчена, больше чувствуется, чѣмъ сознается—но это не ослабляетъ впечатлѣнія, скорѣе наоборотъ. Такихъ произведеній у Гюго сравнительно немного; какъ истый французъ, онъ предпочитаетъ композицію яркую, подчеркнутую, бросающуюся въ глаза.

Писатель-классикъ выражаетъ идеи, общія всѣмъ и каждому, языкомъ, которымъ владѣютъ немногіе. Къ В. Гюго примѣнима не только первая, но и вторая половина этого опредѣленія. Менѣе оригинальный, по мысли и чувству, чѣмъ непосредственные его

предшественники (Ламартинъ, Виньи, Шатобрианъ), онъ превосходитъ ихъ оригинальностью слога, превосходитъ этимъ и Ж. Ж. Руссо, и madame де-Севинье, и Расина, уступая развѣ одному Лафонтену. Въ языкѣ литературномъ, жизнь котораго обнимаетъ собою четыре вѣка, въ языкѣ, обновлявшемся три раза, онъ сумѣлъ создать новую манеру выраженія—т.-е. совершилъ нѣчто въ родѣ чуда. Для этого нужно было развить въ себѣ способность первобытной души — способность, въ силу которой образъ является не формой рѣчи, а настоящимъ *ощущеніемъ*. Происхожденіе образа, болѣею частью, таково: сначала является понятіе, какъ абстрактный, безцвѣтный продуктъ мышленія — и потомъ уже *переводится* на языкъ образовъ. Переводъ можетъ быть банальнымъ („колесница прогресса“, „государственный руль“), можетъ отличаться новизною, но все же остается переводомъ; *выражаться образно* не значить еще *мыслить образами*. Чтобы мыслить образами, нужно *чувствовать* предметы внѣшняго міра, чувствовать ихъ такъ непосредственно, какъ еслибы они входили въ составъ внутренней жизни. Это чувство вырабатывалось въ В. Гюго постепенно; оно отсутствуетъ въ „Одахъ и балладахъ“, зарождается въ „Orientales“, проникаетъ собою нѣкоторыя стихотворенія тридцатыхъ годовъ и достигаетъ своего апогея въ „Contemplations“. Съ тѣхъ поръ оно уже не перестаетъ преобладать въ поэзіи Гюго. Благодаря ему, ощущенія поэта, прежде всего, *истинны*, т.-е. вѣрны дѣйствительности (*sensation vraie*). Онъ *умѣетъ видѣть* — качество рѣдкое въ наше время. Онъ знаетъ, напримѣръ, что лунный свѣтъ — не бѣлый, не серебристый, а *голубой*; ему принадлежитъ, кажется, честь этого открытія ¹⁾. Его фантазія хранитъ богатый запасъ впечатлѣній, дающихъ готовую форму для каждаго новаго ощущенія. Голосъ, перестающій пѣть, возбуждаетъ въ немъ, напримѣръ, представленіе о гаснущемъ свѣтѣ, о садящейся птицѣ (*la voix s'éteint comme un oiseau se pose*). Въ ощущеніе переходитъ у Гюго даже абстрактная идея; передъ его глазами „изъ преобразующагося Дракона медленно возстаетъ Беккарія“. Къ истинности ощущенія присоединяется еще другой признакъ: оно *избрано*, избрано изъ числа многихъ (*sensation choisie*). Безъ выбора обиліе образовъ можетъ сдѣлаться подавляющимъ — съ его помощью оно становится неистощимымъ источникомъ силы. В. Гюго, за рѣдкими исключеніями, умѣетъ выбирать; это искусство не измѣняетъ ему

¹⁾ Такъ думаетъ французскій критикъ; но нашъ Лермонтовъ сказалъ еще гораздо раньше появленія „Contemplations“: „спитъ земля въ сіяньи голубомъ“.

и тогда, когда образы слѣдуютъ одни за другими, длинной вереницей. Ему удается *разсказать свои ощущенія*—разсказать ихъ такъ, чтобы изъ нихъ сложилась цѣлая картина. Весьма часто, такимъ образомъ, къ первымъ двумъ признакамъ присоединяется третій: ощущеніе является *разработаннымъ и выросшимъ* (*sensation élaborée et agrandie*), проникается идеей, не переставая быть ощущеніемъ. Отсюда прелесть сравненій, граничащихъ съ миеомъ. Предметы становятся живыми существами, сохраняя всю яркость своихъ природныхъ красокъ, всю опредѣленность своихъ реальныхъ очертаній. Эпитетъ, взятый изъ дѣйствительности, освѣщается эпитетомъ, созданнымъ фантазіей поэта („*Sa longue barbe blanche et tranquille*“, „*la descente sacrée et sombre de la nuit*“). Такова манера, составляющая личную собственность В. Гюго; но онъ не придерживается ея одной, для него доступны всѣ пути, проложенные другими. Онъ бываетъ иногда сдержаннымъ, сжатымъ, какъ классицизмъ XVII-го вѣка, или легкимъ, прозрачнымъ, какъ Лафонтенъ; онъ напоминаетъ по временамъ Ронсара, по временамъ — Виргилия, по временамъ — даже Гомера. „*On dira qu'il a eu un style à lui, créé par lui—et puis, qu'il a eu à sa disposition tous les autres*“.

Последнюю часть излагаемаго нами этюда, тракующую о ритмѣ и рѣимѣ, нужно прочесть въ подлинникѣ; она вся наполнена цитатами, иллюстрирующими мысль критика. Техническое искусство В. Гюго служить для Фагэ предметомъ безграничнаго удивленія; въ этой области поэтъ кажется ему почти непогрѣшимымъ. Никто не превосходитъ Гюго въ пониманіи музыки, заключающейся въ словѣ, даже въ словѣ отдѣльно взятомъ. Онъ знаетъ, что есть слова печальныя и глухія, есть слова пѣвучія и веселыя, и что между этими двумя крайностями безконечно много промежуточныхъ оттѣнковъ. Онъ знаетъ, что не безразличны, съ этой точки зрѣнія, даже буквы, что въ *o* есть нѣчто широкое и торжествующее, въ *и* (французскомъ) — нѣчто мягкое и верадчивое. Благодаря этому знанію, двѣ строфы, написанныя въ одномъ и томъ же ритмѣ, дѣйствуютъ на ухо совершенно различно; одна, въ силу преобладанія *i* и *e*, возбуждаетъ представление о чемъ-то легкомъ, тонкомъ, воздушномъ („*cette ville aux longs cris, qui profile son front gris, des toits frêles, cent tourelles, clochers grêles, c'est Paris!*“); другая, въ силу преобладанія *o* и *ou* — представление о чемъ-то шумномъ, массивномъ, тяжеломъ („*le vieux Louvre! large et lourd, il ne s'ouvre qu'au grand jour, emprisonne la couronne, et bourdonne dans sa tour*“). Переходя отъ словъ и буквъ къ стиху, Фагэ замѣчаетъ, что ма-

стерство В. Гюго коренится здѣсь въ переплетеніи преданія съ новизною, строгой правильности съ смѣлыми нарушеніями нормы. Александринскій стихъ, въ большинствѣ случаевъ, построенъ у него по общепринятому образцу, съ цезурой по срединѣ, безъ такъ-называемыхъ enjambements (т.-е. безъ разъединенія—между двумя половинами стиха или между двумя стихами—словъ, тѣснѣйшимъ образомъ связанныхъ между собою). Тѣмъ ярче бросаются въ глаза исключенія, т.-е. стихи, въ чемъ-либо отступающіе отъ обычнаго шаблона. Иногда за существительнымъ, заканчивающимъ полу-стихъ, ставится неотдѣлимый отъ него эпитетъ, вслѣдствіе чего цезура переносится къ концу стиха („plein de la rêverie immense—de la lune“); иногда такимъ же образомъ сливаются въ одно цѣлое конецъ одного стиха и начало слѣдующаго („l'aurore apparaissait. Quelle aurore? Un abîme—d'éblouissement“); иногда пускаются въ ходъ оба приема вмѣстѣ („On entendait le bruit des décharges,—semblable—à des écroulements énormes“). Заключительный стихъ, плавный и звучный, часто подготавливается нѣсколькими стихами отрывочнаго, безпкойнаго ритма, или, наоборотъ, нѣсколько мѣрныхъ, медленно движущихся стиховъ внезапно обрываются на одномъ словѣ, именно вслѣдствіе того съ необычайной рельефностью выдвигающемся на первый планъ. Искуснымъ употребленіемъ словъ, оканчивающихся на нѣмое *e* (или на *es*), Гюго достигаетъ остановокъ, паузъ въ движеніи стиха, какъ нельзя болѣе эффектныхъ. Онъ умѣетъ воспроизводить впечатлѣніе звуковъ, не прибѣгая къ прямому, банальному звукоподражанію. Если въ рукахъ Гюго до такой степени эластиченъ и послушенъ александринскій стихъ, то еще безграничнѣе его власть надъ остальными размѣрами, въ выборѣ которыхъ, въ замѣнъ одного другимъ онъ совершенно свободенъ. Что касается до риемы, то она также состоитъ въ полномъ распоряженіи поэта. Она богата, когда нужно поразить фантазію или плѣнить ухо; она скромна и проста, когда центръ тяжести лежитъ въ выраженіи чувства или идеи.

„Я старался говорить о Гюго, —этими словами заканчивается этюдъ Фагэ,—какъ будутъ говорить о немъ наши потомки: безъ неблагодарности и безъ идолопоклонства. Новыя литературныя поколѣнія отдаляются отъ Гюго—и въ этомъ они правы, потому что ему не слѣдуетъ подражать; но они идутъ дальше, они имъ пренебрегаютъ—и это пренебреженіе просто смѣшно. Оно пройдетъ, какъ прошло для Шатобріана и для Ламартина. Ручательствомъ долговѣчности служить красота формы, а ею В. Гюго обладаетъ еще въ болѣе мѣрѣ, чѣмъ его великіе предшествен-

ники. Онъ—нашъ величайшій лирикъ, нашъ почти единственный эпическій поэтъ; еслибы не было Лафонтена, мы могли бы назвать его нашимъ первымъ стилистомъ. Онъ будетъ жить столь же долго, какъ и французскій языкъ; онъ войдетъ въ обиходъ нашей школы, не только благодаря своимъ достоинствамъ, но отчасти и благодаря своимъ недостаткамъ. Неглубокій, несложный, легко понимаемый, онъ будетъ дорогъ молодымъ умамъ; его моральныя диссертации, его великолѣпные рассказы, его богатые описанія послужатъ для нихъ прекрасной умственной пищей. Онъ заслужилъ эту награду—награду величайшихъ между великими—своей любовью къ нашему прекрасному языку, которому онъ далъ новый блескъ и новую юность“.

Въ то самое время, когда во Франціи нужно сражаться съ *пренебреженіемъ* къ В. Гюго, когда поклоненіе ему, какъ художнику, не исключаетъ болѣе чѣмъ скептическаго отношенія къ его характеру, къ его идеямъ, даже къ его уму, по сую сторону Рейна начинается другое, противоположное движеніе. Великій французскій поэтъ находитъ защитника въ средѣ наименѣе къ нему расположенной—въ средѣ нѣмецкихъ литераторовъ. Авторъ недавно вышедшей брошюры: „Victor Hugo, ein Beitrag zu seiner Würdigung in Deutschland“—преподаватель учительской семинаріи въ Вольфенбюттелѣ, Шмедингъ—несомнѣнно уступаетъ Фагъ, какъ критикъ; но одну изъ сторонъ дѣятельности Гюго онъ видитъ яснѣе, чѣмъ французскій писатель. Шмедингу нужно было, прежде всего, преодолѣть въ самомъ себѣ невольное чувство вражды, возбуждаемое въ нѣмцахъ рѣзкими выходами Гюго противъ Германіи; нужна была, затѣмъ, рѣшимость пойти въ разрѣзъ съ господствующимъ теченіемъ. Рискую навлечь на себя упрекъ въ недостаткѣ патріотизма, онъ выступаетъ съ требованіемъ справедливости для французскаго поэта, а слѣдовательно, и для французскаго народа, отъ имени котораго такъ часто говорилъ поэтъ. Онъ указываетъ на то, что въ поэзіи Гюго ненависть была элементомъ наноснымъ, случайнымъ, что въ основаніи ея лежала идея всеобъемлющей любви, идея братства между народами. Прославляя Гюго, протестуя противъ близорукаго ожесточенія нѣмецкой критики, не сложившей оружія даже передъ свѣжей могилой поэта, Шмедингъ имѣетъ въ виду сближеніе націй, разобщенныхъ воспоминаніями о недавней борьбѣ и ежеминутнымъ ожиданіемъ новаго столкновенія. Онъ хочетъ поколебать хотя бы одинъ изъ предразсудковъ, препятствующихъ примиренію.

Возможенъ ли миръ, пока не устраненъ поводъ къ войнѣ — это вопросъ по меньшей мѣрѣ спорный; но для насъ неваженъ практическій результатъ поворота, совершаемаго нѣмецкой критикой — насъ интересуетъ только исходная точка этого поворота. Шмедингъ совершенно правъ, подчеркивая смягчающее, возвышающее, освобождающее дѣйствіе поэзіи В. Гюго; онъ совершенно правъ, называя идеальныя стремленія поэта чѣмъ-то большимъ, нежели заоблачныя мечты или неосуществимыя надежды. Неправъ, наоборотъ, Фагъ, не видящій во всемъ этомъ ничего другого, кромѣ „общихъ мѣстъ“. Общимъ мѣстомъ можно считать только положеніе всѣми принятое, не возбуждающее никакихъ сомнѣній, не производящее никакого впечатлѣнія — положеніе безцвѣтное и безжизненное, заѣзженное какъ старая кляча, годное развѣ для проповѣди, произносимой *ex officio*, или для такъ-называемой „воскресной морали“. Не споримъ, подобныхъ положеній у В. Гюго можно найти немало, — но ими далеко не исчерпывается содержаніе его поэзіи. Не настолько еще торжествуетъ свобода или братство — мы нарочно беремъ формулы наиболѣе общія, — чтобы пѣснь, вдохновляемая ими, неизбежно должна была звучать чѣмъ-то давно знакомымъ, давно наскучившимъ уху. Свобода не только нарушается и ограничивается на каждомъ шагѣ въ дѣйствительной жизни — она безпрестанно отвергается въ теоріи, въ принципѣ; братство не только остается неосуществленнымъ на самомъ дѣлѣ — оно провозглашается неосуществимымъ, да и не подлежащимъ осуществленію. Война возносится на пьедесталъ, милосердіе признается глупымъ или вреднымъ, политическое неравенство — законнымъ, привилегіи — благотворными. Возставать противъ широко распространенныхъ и глубоко вкоренившихся взглядовъ — не значитъ повторять общія мѣста, не значитъ прикрывать громкими фразами пустоту содержанія и отсутствіе самостоятельной мысли. Незаслуженнымъ кажется намъ и обвиненіе въ „фразеологіи“, взводимое Фагъ на В. Гюго — незаслуженнымъ не въ томъ смыслѣ, чтобы оно *никогда* не было къ нему примѣнимо, а въ томъ, что оно не можетъ служить *опредѣленіемъ* поэта. Поэзія, даже тенденціозная, имѣетъ другія задачи, чѣмъ публицистика или политическая философія. Отъ нея нельзя требовать логическихъ выводовъ, подробнаго анализа понятій; ея призваніе — вызывать *настроеніе*, возбуждать чувства, ставить вопросы, не претендуя на ихъ разрѣшеніе. Туманная, блѣдная, непонятная безъ комментариевъ, она столь же мало достигаетъ своей цѣли, какъ и холодная, дѣланная, играющая словами; но яркость мысли — не синонимъ точности, и поэтъ не обязанъ писать такъ, чтобы не оста-

вазось нивакихъ сомнѣній насчетъ каждой отдѣльной черты его міросозерпанія. Говоря о справедливости или о свободѣ, онъ не обязанъ дать отчетъ, какое изъ многочисленныхъ толкованій того или другого слова кажется ему наиболѣе правильнымъ. Исходя изъ этого убѣжденія, мы находимъ поэтическую политику или политическую поэзію В. Гюго достаточно содержательной и опредѣленной. Возьмемъ, напримѣръ, превосходное стихотвореніе его: „*Pas de représailles*“, написанное во время коммуны и обращенное одинаково къ обѣимъ враждующимъ сторонамъ. „*Pas plus que deux soleils je ne vois deux justices... Nos ennemis tombés sont là; leur liberté et la nôtre, ô vainqueurs, c'est la même clarté... Pas de colère; et nul n'est juste, s'il n'est doux*“. Неужели это не что иное, какъ „фразеологія“, какъ банальныя варіаціи на тему: „справедливость и свобода“? Неужели здѣсь нѣтъ цѣлой *profession de foi*, своеобразной и глубокой? Такихъ страницъ у В. Гюго очень много,— и главная ошибка Фагэ заключается въ томъ, что онъ не понялъ или не захотѣлъ понять ихъ истиннаго значенія. Мы говоримъ: „не захотѣлъ понять“, потому что находимъ у Фагэ признаки политическаго индифферентизма, моднаго, въ настоящую минуту, между французскими беллетристами, философами и критиками (Гонкуръ, Зола, Додэ, Ренанъ, Буржэ). Характеризуя В. Гюго какъ человѣка, Фагэ видитъ въ немъ нѣкоторыя свойства буржуа, „мелко-тщеславнаго, педантичнаго, злопамятнаго, недостаточно остроумнаго, *любителя политики и каламбуровъ*“. *Вкусъ къ политикѣ* (*du goût pour la politique*) является, такимъ образомъ, отличительной чертой буржуазнаго типа, наравнѣ съ тщеславіемъ и педантизмомъ; политика низводится на степень занятія, недостойнаго гениальной или хотя бы высоко-даровитой натуры (припомнимъ, что слишкомъ талантливыми для политической жизни Зола считалъ даже Рошфора и Валлеса). Отъ равнодушія къ политикѣ одинъ только шагъ до регрессивныхъ тенденцій, до сочувствія къ той счастливой и спокойной (т.-е. мнимо-счастливой и мнимо-спокойной) эпохѣ, когда политика не вторгалась въ литературу. Весьма вѣроятно, что это сочувствіе не чуждо Фагэ; оно проглядываетъ кое-гдѣ въ его восторженномъ преклоненіи передъ XVII-мъ вѣкомъ. Гюго-демократъ, Гюго-проповѣдникъ равенства и братства долженъ казаться ему какимъ-то чудачкомъ, иногда немножко смѣшнымъ, иногда немножко скучнымъ; въ произведеніяхъ, вызванныхъ этимъ чудачествомъ, онъ способенъ цѣнить только внѣшнюю форму.

Справедливѣе, чѣмъ Фагэ, нѣмецкій критикъ отнесся и къ *тщеславію* В. Гюго. Что Гюго былъ тщеславенъ—это безспорно;

несомнѣнно и то, что этотъ недостатокъ поэта вредить, по временамъ, его поэзіи; но справедливо ли объяснять его только „буржуазными“ чертами въ натурѣ В. Гюго? Шмедингъ ближе къ истинѣ, когда напоминаетъ обстоятельства, вскружившія голову поэта. „Еще мальчикомъ получать награды, предназначенныя для взрослыхъ, воспринять изъ рукъ Шатобріана титулъ *enfant sublime*, пережить, затѣмъ, цѣлый рядъ безпримѣрныхъ и непрерывныхъ триумфовъ, торжествовать даже послѣ кажущихся поражений, подняться, наконецъ, на высоту, которой достигаютъ развѣ государи, и все-таки остаться скромнымъ—это черезъ-чуръ трудно; подобный подвигъ слишкомъ рѣдко удается даже самымъ великимъ людямъ. Если Гюго не принадлежитъ, съ этой точки зрѣнія, къ числу исключеній, то здѣсь нѣтъ ничего непонятнаго—а что понятно, то, по французской поговоркѣ (*comprendre, c'est pardonner*), и простибельно“... Фагѣ приписываетъ метаморфозы, черезъ которыя прошелъ образъ мыслей В. Гюго, поверхностности его взглядовъ и податливости чужимъ вліяніямъ; Шмедингъ объясняетъ ихъ гораздо проще—и, какъ намъ кажется, гораздо вѣрнѣе—той внутренней работой, которую производитъ жизнь въ душѣ впечатлительнаго человѣка. Заимствованными извнѣ убѣжденія В. Гюго были лишь до тѣхъ поръ, пока онъ не созрѣлъ умственно и нравственно; только въ молодости онъ слѣдовалъ сначала традиціямъ матери, потомъ традиціямъ отца. Съ тридцатыхъ годовъ онъ идетъ впередъ не скачками, а постепенно; каждой перемены предшествуетъ медленная подготовка, направленіе которой обусловливается *событіями*, а не посторонними впушеніями. Республиканцемъ и социалистомъ сдѣлали В. Гюго не Ламартины и не Пьеръ Леру, а римская экспедиція 1849 г., своекорыстный макиавеллизмъ принца-президента и реакціонныя увлеченія законодательнаго собранія.

О Шмедингѣ мы больше говорить не будемъ; его брошюра—скорѣе доброе дѣло, чѣмъ литературная заслуга. Онъ помогъ намъ доказать, что политическая струя въ поэзіи Гюго оцѣнена Фагѣ слишкомъ низко—и это уже чего-нибудь да стоитъ со стороны нѣмецкаго писателя... Несмотря на одну крупную ошибку, изслѣдованіе Фагѣ можетъ быть поставлено наряду съ лучшими критическими работами послѣдняго времени. Точка соприкосновенія Гюго съ классиками XVII-го вѣка, особенно съ Корнедемъ, была указана уже Брандесомъ; Фагѣ пришелъ къ тому же выводу другимъ путемъ, по всей вѣроятности совершенно независимо отъ своего предшественника. Онъ проникъ въ самую глубь психологическаго процесса, давашаго жизнь лучшимъ произведеніямъ

Гюго; онъ разложилъ дарованіе поэта на его составныя части— и показалъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, его внутреннее единство, обусловливаемое господствующею его чертою. „Мышленіе образами“, какъ нѣчто отличное отъ образнаго способа выраженій, безспорно служить влючомъ ко многимъ особенностямъ творчества В. Гюго. Техника Гюго объяснена и освѣщена Фагэ съ замѣчательнымъ искусствомъ. Болѣе парадоксально, но, во всякомъ случаѣ, любопытно и оригинально мнѣніе Фагэ, что въ Гюго поэтъ-лирикъ уступаетъ эпическому поэту. Въ заключительныхъ тезисахъ Фагэ звучитъ, какъ намъ кажется, только одна фальшивая нота. Онъ слишкомъ настаиваетъ на томъ, что произведенія Гюго войдутъ въ обиходъ французской школы; онъ слишкомъ охотно подчеркиваетъ еще разъ ихъ декламационный или диссертационный характеръ, ихъ удобопонятность, граничащую съ банальностью. Пиллюа позлащена указаніемъ на то, что удивленіе „молодыхъ умовъ“ — награда, достойная великаго писателя; но не можетъ же Фагэ, въ самомъ дѣлѣ, думать, что сочувствіе „учащейся молодежи“ — синонимъ славы. Пренебреженіе къ политикѣ и здѣсь говоритъ въ Фагэ съ бѣльшей силой, чѣмъ критическое чувство; онъ наноситъ прощальный ударъ мнимымъ „общимъ мѣстамъ“, намекая на то, что увлеченіе ими—удѣлъ и признакъ умственной незрѣлости. Мы думаемъ, что онъ неправъ и что „мелкое“ для утонченнаго литературнаго вкуса—напр. вѣра въ освобожденіе массъ—надолго еще останется „крупнымъ“ для множества молодыхъ и немолодыхъ людей, чуждыхъ политическаго и соціальнаго индифферентизма.

К. АРСЕНЬЕВЪ.



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 октября 1887 г.

Отчетъ министерства народнаго просвѣщенія за 1884 годъ. — Наши университеты, въ сравненіи съ нѣмецкими; гимназій, прогимназій, реальныхъ училища. — Правила объ испытаніяхъ и испытательныхъ коммиссіяхъ; отличительныя черты историко-филологической коммиссіи. — Слухи объ отмѣнѣ или ограниченіи служебныхъ привилегій, обусловливаемыхъ образованіемъ. — Одинъ юридическій вопросъ.

Послѣ долгаго перерыва, министерство народнаго просвѣщенія возобновило въ истекшемъ мѣсяцѣ обнародованіе своихъ отчетовъ; въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ напечатано извлеченіе изъ отчета за 1884 г. Нѣкоторая запоздалость официальныхъ свѣденій не уничтожаетъ впрочемъ ихъ интереса, особенно въ виду совершившихся и проектируемыхъ нововведеній по учебному вѣдомству. Остается пожелать, чтобы распубликованіе отчетовъ министерства народнаго просвѣщенія опять сдѣлалось общимъ правиломъ, и чтобы „извлеченія“ изъ отчетовъ совпадали какъ можно больше съ самими отчетами.

Въ виду послѣднихъ нововведеній по министерству народнаго просвѣщенія, нѣкоторые органы нашей печати поддерживаютъ мысль о пользѣ уменьшенія числа учащихся въ университетахъ. Слѣдуетъ ли заключить отсюда, что это число, по ихъ мнѣнію, возросло у насъ выше мѣры, перестало быть нормально-пропорціональнымъ общей цифрѣ народонаселенія? Поищемъ отвѣта въ сравненіи между двумя сосѣдними государствами—между Россіей и Германіей ¹⁾. Мы узнаемъ изъ отчета, что въ 1884 г. у насъ числилось всего, въ восьми университетахъ, 12.105 студентовъ. Если прибавить къ этой цифрѣ учащихся въ двухъ историко-филологическихъ институтахъ (петербургскомъ и нѣжинскомъ),

¹⁾ Свѣденія, касающіяся Германіи, мы заимствуемъ изъ книги профессора Конрада (Das Universitätsstudium in Deutschland während der letzten fünfzig Jahre), о которой была помѣщена статья въ № 11 „В. Европы“ за 1885 г.

въ ярославскомъ (демидовскомъ) юридическомъ лицѣѣ и въ лазаревскомъ институтѣ восточныхъ языковъ, то она возрастетъ до 12.535. Въ Германіи, въ 1881 г., было 23.357 студентовъ, въ двадцати-одномъ университетѣ. На этихъ цифрахъ, однако, остановиться нельзя. Къ первой изъ нихъ нужно, прежде всего, прибавить учащихся въ заведеніяхъ университетскаго типа, не состоящихъ въ вѣденіи министерства народнаго просвѣщенія и не затронутыхъ, поэтому, разбираемымъ нами отчетомъ. Это—петербургская военно-медицинская академія и спеціальныя классы училища правовѣденія и александровскаго лицея. Точная цифра учащихся въ этихъ заведеніяхъ намъ неизвѣстна, но мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что ихъ не болѣе 1500 (около 400 въ лицѣѣ и училищѣ правовѣденія и около 1.000 въ медицинской академіи). Дальше нужно сбросить со счета студентовъ-богослововъ. Въ Россіи ихъ всего двѣсти, на богословскомъ (евангелическо-лютеранскомъ) факультетѣ дерптскаго университета. Православныхъ и римско-католическихъ богословскихъ факультетовъ у насъ, какъ извѣстно, не существуетъ; ихъ замѣняютъ духовныя академіи, о которыхъ мы говорить не будемъ. Въ Германіи число студентовъ-богослововъ составляло, въ 1881 г., около 15 1/2% общаго числа студентовъ, т.-е. около 3.600 человекъ. Окончательно получатся, такимъ образомъ, слѣдующія цифры: для Россіи — 14.000, для Германіи — 19.700, или круглымъ числомъ — 20.000 (не забудемъ, что свѣденія о Россіи относятся къ 1884 г., свѣденія о Германіи — къ 1881 г., а число нѣмецкихъ студентовъ съ семидесятыхъ годовъ постоянно растетъ). Россія населеннѣе Германіи по крайней мѣрѣ вдвое; по нѣмецкому масштабу она должна была бы имѣть, слѣдовательно, около *сорока тысячъ* студентовъ—почти *втрое больше*, чѣмъ ихъ было на самомъ дѣлѣ въ 1884 г. Пусть читатели не думаютъ, что мы упустили изъ виду другія высшія учебныя заведенія, существующія у насъ въ Россіи: институты технологическіе, горный, путей сообщенія, гражданскихъ инженеровъ, земледѣльческія академіи, и т. п. Вѣдь подобныхъ заведеній много, очень много и въ Германіи ¹⁾, но мы ихъ не вводили въ составъ нашего расчета, потому что предметомъ сравненія, насъ занимающаго, служить исключительно *университетское* образованіе. Или, быть можетъ, мы неудачно выбрали для сравненія такую страну, какъ Германія—классическую страну университетовъ? Въ такомъ случаѣ, обратимся къ Австріи (къ Австріи въ тѣсномъ смыслѣ слова, т.-е. къ Цислейтаніи). Студентовъ, за вычетомъ богослововъ, было тамъ, въ 1881 г., около

¹⁾ Въ однихъ высшихъ техническихъ школахъ Германіи (числомъ девять) было, въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, болѣе четырехъ тысячъ учащихся.

8.700, что составляет около сорока студентовъ на каждую сотню тысячъ жителей—приблизительно столько же, сколько въ Германіи. А у насъ на каждую сотню тысячъ населенія приходится по *четырнадцати* студентовъ!

Само собою разумѣется, что цифра *сорокъ тысячъ*, выведенная нами путемъ чисто-математическимъ, не выражаетъ собою нормальной численности русскихъ студентовъ. Въ области высшаго образованія Россія не можетъ не отставать отъ Германіи и даже отъ Австріи. Цѣлые милліоны русскаго населенія (инородцы въ Сибири, на Кавказѣ, въ восточныхъ губерніяхъ европейской Россіи) не посылаютъ въ университеты почти ни одного студента; число зажиточныхъ семей у насъ гораздо меньше, бѣдность останавливаетъ многихъ въ самомъ началѣ пути или на полѣ-дорогѣ; запросъ на высшее образованіе гораздо слабѣе, оно считается роскошью тамъ, гдѣ у нашихъ сосѣдей оно признается насущнымъ хлѣбомъ. Большимъ препятствіемъ служить и громадныя разстоянія, не вездѣ уменьшаемыя удобствомъ путей сообщенія; другое, легче устранимое, но—пока оно существуетъ—крайне неблагоприятное условіе заключается въ той организаціи гимназій, въ силу которой оканчиваетъ у насъ курсъ только небольшой процентъ гимназистовъ. Все это вмѣстѣ взятое не позволяетъ и мечтать о томъ, чтобы отношеніе студентовъ къ народонаселенію достигло у насъ, въ близкомъ будущемъ, германскаго или австрійскаго уровня; но неужели оно требуетъ еще дальнѣйшаго пониженія или хотя бы искусственной неподвижности? Неужели число студентовъ, относительно *трое* меньшее чѣмъ за границей и даже абсолютно уступающее числу нѣмецкихъ студентовъ, все-таки еще слишкомъ велико, все-таки превышаетъ потребность въ образованныхъ людяхъ? Утвердительный отвѣтъ кажется намъ здѣсь совершенно немыслимымъ. Данныя отчета, освѣщенные опытомъ другихъ государствъ, служатъ лучшимъ возраженіемъ противъ всякихъ рестриктивныхъ мѣръ, затрудняющихъ доступъ въ университеты. *Фактическая* возможность обойтись безъ образованныхъ людей существуетъ, конечно, во всякой области государственной и общественной жизни. Администраторами могутъ быть (и въ прежнее время бывали) недоросли изъ дворянъ, судьями—отставные фронтовики, учителями—недоучки; можно, пожалуй, и лечиться у знахарей или, въ лучшемъ случаѣ, у фельдшеровъ—но къ чему, спрашивается, должны привести всѣ эти аномаліи? Что сказали бы мы о театрѣ, въ которомъ часть первыхъ ампула была бы поручена фигурантамъ?...

Въ высшемъ образованіи есть притягательная сила; чѣмъ дальше оно идетъ въ ширь и глубь, тѣмъ живѣе чувствуется его внутренняя цѣнность, тѣмъ меньше выступаетъ на видъ чисто-служебное его

свойство. Было время, когда и въ нѣмецкіе университеты шли исключительно изъ-за такъ-называемаго Brodstudium; теперь они посѣщаются множествомъ молодыхъ людей, не ищущихъ тамъ ничего, кромѣ знаній. Наши университеты начинали, повидимому, приближаться къ тому же фазису развитія. Незачѣмъ, поэтому, пугаться признаковъ переполненія, появившихся, въ послѣднее время, въ нѣкоторыхъ „либеральныхъ“ профессіяхъ. До извѣстной степени оно представляется, притомъ, только мнимымъ, т.-е. обусловливается не дѣйствительнымъ перевѣсомъ предложенія надъ спросомъ, а препятствіями, стѣсняющими *обнаруженіе* спроса. Нельзя же утверждать, въ самомъ дѣлѣ, что у насъ уже теперь слишкомъ много врачей. Если врачи остаются иногда безъ занятій, то это зависитъ отъ неправильнаго распредѣленія ихъ между городомъ и деревней, между крупными и мелкими городами, а также отъ недостаточности затратъ, дѣлаемыхъ государствомъ и земствомъ на организацію народной медицины. Цѣлесообразнымъ слѣдуетъ признать не ограниченіе доступа на медицинскіе факультеты, а приближеніе врачебной помощи къ населенію, нуждающемуся въ ней какъ нельзя больше... Насколько переполненіе имѣетъ характеръ не кажущійся, а реальный, ему противодѣйствуетъ сама жизнь; чрезмѣрный приливъ влечетъ за собою отливъ, регулируемый силою обстоятельствъ—и опять, когда нужно, уступающій мѣсто приливу. Такъ было, напримѣръ, въ юридическихъ факультетахъ прусскихъ университетовъ. Въ сороковыхъ годахъ они не могли удовлетворять даже насущную потребность государства; число открывавшихся вакансій превышало число юристовъ, выдержавшихъ окончательное испытаніе. Отсюда быстрое увеличеніе числа студентовъ на юридическихъ факультетахъ; въ началѣ пятидесятихъ годовъ они составляють уже—вмѣсто 22-23—31-32% общаго числа студентовъ. Затѣмъ наступаетъ обратное явленіе; кандидатовъ на должности становится больше, чѣмъ вакантныхъ должностей—и процентное отношеніе студентовъ-юристовъ быстро упадетъ, колеблясь, съ половины пятидесятихъ до конца шестидесятихъ годовъ, между 19 и 15½%. Около 1870 г. опять чувствуется недостатокъ въ юристахъ; опять юридическіе факультеты наполняются слушателями—и опять, около начала восьмидесятихъ годовъ, начинается ихъ оскудѣніе. Статистика русскихъ университетовъ, еслибы она существовала, представила бы, по всей вѣроятности, цѣлый рядъ аналогическихъ явленій. И у насъ судебная реформа вызвала наплывъ учащихся въ юридическіе факультеты, продолжавшійся до тѣхъ поръ, пока не оказался явный избытокъ юристовъ. Теперь число студентовъ на юридическихъ факультетахъ (3.593, почти 30%) значительно меньше, чѣмъ на медицинскихъ (4.459, около 37%). Эта пропорція окажется еще болѣе выгод-

ной для послѣднихъ, если присоединить къ числу юристовъ—учащихся въ демидовскомъ лицей и въ спеціальныхъ классахъ александровскаго лицея и училища правовѣденія, а къ числу медиковъ—учащихся въ петербургской военно-медицинской академіи. Всѣхъ юристовъ окажется тогда около 4.000 (около $28\frac{1}{2}\%$), всѣхъ же медиковъ — около 5.500 (почти 40%). Весьма характеристично, съ нашей точки зрѣнія, высокое число учащихся въ физико-математическихъ факультетахъ (2.584). Распредѣленіе ихъ между отдѣлами чисто-математическимъ и естественно-историческимъ или физико-химическимъ показано въ отчетѣ только для шести университетовъ, въ которыхъ дѣйствуетъ новый уставъ¹⁾; изъ 2.301 студентовъ на долю перваго отдѣла приходится 1.312, на долю втораго — 989. Допустимъ, что между чистыми математиками не мало такихъ, которые намѣрены перейти въ институтъ путей сообщенія; все-таки общее число учащихся на физико-математическихъ факультетахъ является явно несоотвѣтствующимъ *практической* потребности въ математикахъ и естествоиспытателяхъ²⁾, и значительность его объясняется, между прочимъ, именно любознательностью, чуждою житейскихъ соображеній. То же самое мы видимъ и въ германскихъ университетахъ, гдѣ число слушателей математическихъ и естественно-научныхъ курсовъ увеличилось, за послѣдніа пятьдесятъ лѣтъ, *вдесятеро*, между тѣмъ какъ число слушателей по отдѣлу словесныхъ наукъ возросло, въ тотъ же періодъ времени, только въ $2\frac{3}{4}$ раза. Еслибы выборомъ физико-математическаго факультета руководилъ у насъ въ Россіи одинъ расчетъ на *карьеру*, нельзя было бы понять, почему онъ привлекаетъ къ себѣ больше студентовъ, чѣмъ факультетъ историко-филологическій. Во всѣхъ восьми университетахъ, съ прибавкой къ нимъ обоихъ историко-филологическихъ институтовъ, насчитывалось, въ 1884 г., только 1.340 студентовъ. Извѣстно, что изученіе филологіи обставлено у насъ довольно выгодными условіями и сравнительно много общается въ будущемъ—а тѣхъ особыхъ обстоятельствъ, которыя уменьшаютъ, въ послѣднее время, число учащихся на историко-филологическихъ факультетахъ (мы имѣемъ въ виду усиленное преобладаніе древнихъ языковъ, созданное правилами 1885 года), въ отчетномъ году еще не существовало. Если изученіе физико-математическихъ наукъ оказывалось, несмотря на все это, вдвое болѣе привлекательнымъ для студентовъ, то безкорыстное стремленіе къ

¹⁾ Въ сферѣ дѣйствія устава 1884 г. стоятъ университеты варшавскій и дерптскій.

²⁾ Не слѣдуетъ забывать, что для приобрѣтенія *прикладныхъ* знаній по математикѣ и естественнымъ наукамъ существуютъ спеціальныя школы, не требующія предварительнаго слушанія университетскихъ курсовъ.

знанію, какъ одинъ изъ мотивовъ вступленія въ университетъ, представляется, въ нашихъ глазахъ, совершенно доказаннымъ ¹⁾, а вмѣстѣ съ тѣмъ доказана и невозможность согласовать число студентовъ *единственно* съ числомъ мѣстъ, открытыхъ для нихъ на разныхъ поприщахъ практической дѣятельности.

Нельзя не пожалѣть о неполнотѣ отчетныхъ данныхъ, касающихся личнаго состава учащихся въ университетахъ. Мы не узнаемъ изъ отчета даже числа студентовъ, приходящихся на долю каждаго университета. Отдѣльно показаны только цифры, относящіяся къ университетамъ варшавскому (1.272) и дерптскому (1.410); для остальныхъ шести университетовъ дана только общая цифра студентовъ—9.423. То же самое слѣдуетъ сказать о распредѣленіи студентовъ по факультетамъ; и здѣсь изъ общей массы выдѣлено только два университета. Не означено ни число студентовъ, вновь вступившихъ въ университетъ, ни число студентовъ, оставшихся на второй годъ на томъ же курсѣ (въ 1884 г. еще не было введено дѣленіе по семестрамъ), ни число студентовъ, окончившихъ курсъ; есть только свѣденія о числѣ лицъ, получившихъ степени или званія—да и то не по всѣмъ университетамъ (по варшавскому университету показано только число докторовъ медицины). А между тѣмъ важность всѣхъ этихъ свѣденій не требуетъ доказательствъ. Въ особенности интересно было бы опредѣлить съ точностью отношеніе числа оканчивающихъ курсъ къ общему числу студентовъ. Если судить о немъ по числу лицъ, получившихъ степень кандидата или лекаря и званіе дѣйствительнаго студента, то результатъ окажется неутѣшительнымъ. Такихъ лицъ, въ семи университетахъ, насчитывается 1.348—а всѣхъ студентовъ въ этихъ университетахъ было 10.833. Итакъ, оканчиваетъ курсъ менѣе 12 1/2%—цифра невысокая, значительно уменьшающая значеніе общей цифры студентовъ. Это необходимо имѣть въ виду при сравненіи русскихъ университетовъ съ германскими. Въ Германіи нѣтъ ни переходныхъ, ни выпускныхъ испытаній; студенты, вообще говоря, достаточнѣе нашихъ и рѣже должны прекращать ученіе за отсутствіемъ матеріальныхъ средствъ. Когда мы говоримъ о двадцати тысячахъ нѣмецкихъ студентовъ, мы можемъ быть увѣрены въ томъ, что громадное ихъ большинство доведетъ до конца слушаніе университетскихъ лекцій; по отношенію къ нашимъ четырнадцати тысячамъ мы такой увѣренности имѣть не можемъ—и, слѣдовательно, отношеніе между обѣими цифрами становится еще менѣе благоприятнымъ для Россіи.

¹⁾ Само собою разумѣется, что этотъ мотивъ играетъ роль и при вступленіи въ другіе факультеты; въ области физико-математическихъ наукъ онъ только обрисовывается всего рельефнѣе и ярче.

Еще существеннѣе другой пробѣлѣ отчета—отсутствіе свѣдѣній о распредѣленіи студентовъ по происхожденію и по вѣроисповѣданію. Весьма интересно было бы знать, настолько ли много между студентами молодыхъ людей изъ такъ-называемыхъ низшихъ сословій, чтобы оправдать или хотя бы объяснить какія-либо ограничительныя мѣры, направленныя къ уменьшенію числа студентовъ этой категоріи. Какъ представлено каждое сословіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ—это намъ отчетъ сообщаетъ; тѣмъ болѣе были бы желательны свѣдѣнія о томъ же предметѣ въ примѣненіи къ университетамъ. Что касается до вѣроисповѣданія, то здѣсь особенно любопытна была бы цифра студентовъ-евреевъ, въ виду установленнаго недавно максимальнаго отношенія этой цифры къ общему числу студентовъ. Не находимъ мы, наконецъ, въ отчетѣ и свѣдѣній о томъ, во что обходится содержаніе каждаго университета, изъ какихъ источниковъ оно идетъ и какъ велика каждая главная статья дохода и расхода. Мы узнаемъ только, что на стипендіи тратится, въ шести университетахъ, 375 тысячъ рублей (въ томъ числѣ 230 тысячъ—изъ средствъ государственнаго казначейства), и что плата за ученіе доставила въ 1884 г., въ тѣхъ же университетахъ, немного менѣе 300 тысячъ рублей. Если принять средній размѣръ стипендіи въ триста рублей, то стипендіатовъ окажется 1.250, т.-е. нѣсколько болѣе одной десятой части всѣхъ студентовъ; освобождено было отъ платы за ученіе, судя по суммѣ ея поступленія, около шести тысячъ студентовъ, т.-е. почти половина общаго ихъ числа. Между цифрами, касающимися профессоровъ, отмѣтимъ только одну: вакантныхъ кафедръ, въ шести университетахъ, было, къ концу 1884 г., *пятьдесятъ-четыре* (изъ четырехсотъ-тридцати-трехъ). Желательно было бы знать, въ какой степени помогъ здѣсь недостатку преподавательскихъ силъ у насъ новый университетскій уставъ?

Въ 1884 году произошли, какъ извѣстно, печальные безпорядки въ кievскомъ университетѣ, имѣвшіе послѣдствіемъ поголовное увольненіе всѣхъ студентовъ и обратное принятіе, спустя полгода, только тѣхъ изъ нихъ, „благонадежность которыхъ не подлежала никакому сомнѣнію“. Вотъ что говорится по этому поводу въ доведеніи университетскаго начальства, вошедшемъ въ составъ министерскаго отчета: „обнародованное распоряженіе произвело сильное впечатлѣніе на студентовъ, которые, имѣя въ виду снисходительность взысканій, назначавшихся въ теченіе многихъ лѣтъ, даже въ случаяхъ весьма серьезныхъ нарушеній университетской дисциплины и порядка, не ожидали столь строгаго наказанія и, въ особенности, закрытія университета по 1-ое января 1885 г. Между тѣмъ опытъ показалъ, что наказаніе отдѣльныхъ лицъ при студенческихъ волненіяхъ

далеко не всегда достигало цѣли, потому что зачинщики весьма часто не дорожили пребываніемъ въ университетѣ; эта же чрезмѣрная снисходительность поселила въ извѣстной части мѣстнаго общества убѣжденіе въ полной дезорганизаціи университетской дисциплины"... Дальше идетъ рѣчь о небольшихъ студенческихъ кружкахъ, задававшихъ себѣ цѣлю возбужденіе молодежи къ волненіямъ и безпорядкамъ. „Вліяніе этихъ кружковъ, хотя и немногочисленныхъ, было тѣмъ сильнѣе, что оно не встрѣчало себѣ отпора въ послѣдовательномъ и строгомъ поддержаніи установленной дисциплины. Неустойчивость и слабость въ направленіи повели къ тому, что въ массѣ студентовъ вселили неувѣренность въ твердости университетскихъ порядковъ и надежду на безнаказанность волненій и безпорядковъ“. Но справедливость требуетъ признать, что взысканія, назначавшіяся въ продолженіе послѣднихъ двадцати-пяти лѣтъ за нарушеніе университетскихъ порядковъ, никогда не отличались особенною снисходительностью и слабостью. Если нарушеніе было сколько-нибудь серьезно и исходило не отъ отдѣльныхъ лицъ, а отъ цѣлой группы студентовъ, оно влекло за собою, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, не только увольненіе виновныхъ, но и административную ихъ высылку. Такъ было въ 1861 г., такъ было и впослѣдствіи времени, когда бы и гдѣ бы ни происходили такъ-называемыя студенческія исторіи. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что безъ примѣненія подобныхъ каръ не обошлась даже эпоха „диетатуры сердца“. Учебное вѣдомство, въ лицѣ кievскаго университетскаго начальства, взвело на себя упрекъ совершенно имъ незаслуженный; въ области дисциплины ему меньше всего можно поставить въ вину „неустойчивость направленія“, недостатокъ „послѣдовательности и строгости“. Причиной студенческихъ волненій могло быть все что угодно, только не „неуверенность студентовъ въ твердости университетскихъ порядковъ“; еще менѣе можетъ быть рѣчь объ убѣжденіи общества въ „полной дезорганизаціи университетской дисциплины“. Чѣмъ же объяснить самообвиненіе кievскаго университетскаго начальства? Скорѣе всего — обстоятельствами времени, къ которому относится его отзывъ. Переходъ отъ стараго порядка къ новому знаменуется, сплошь и рядомъ, порицаніемъ отжившаго и превознесеніемъ рождающагося. Старое повержено въ прахъ, но ему все-таки наносятся удары; новое лежитъ еще въ колыбели, но оно все-таки превозносится. Кіевскіе безпорядки совпали съ послѣдними днями стараго университетскаго устава; отсюда, можетъ быть, явилась попытка установить между ними причинную связь, приписать безпорядки—вліянію прежней системы. Совмѣстимость этой системы съ любой дозой строгости—совмѣстимость, доказанная фактами,—совершенно упускается изъ виду; огуль-

нымъ осужденіемъ прошлаго подчеркивается надежда, возлагаемая на настоящее и ближайшее будущее... Достойна вниманія еще одна черта въ отзывѣ кievскаго университетскаго начальства: это—отрицаніе того принципа, въ силу котораго наказаніе предполагаетъ вину и слѣдуетъ за виною. По мнѣнію университетскаго начальства, „наказаніе отдѣльныхъ лицъ“—т.-е. лицъ, признанныхъ виновными—„не всегда достигаетъ цѣли“; необходимо, другими словами, распространеніе карательныхъ мѣръ и на тѣхъ, чья виновность не выяснена вполне и не можетъ считаться доказанною. Сообразно съ этимъ, удалены были изъ университета, при открытіи его 1-го января 1885 г., какъ студенты (числомъ 70), „принадлежавшіе къ болѣе важнымъ и опаснымъ зачинщикамъ и руководителямъ беспорядковъ“, такъ и студенты (тоже въ числѣ семидесяти), „болѣе или менѣе участвовавшіе въ волненіяхъ“. Мы знаемъ, что на практикѣ встрѣчается иногда „наказаніе десятого“—но это еще не значитъ, чтобы оно могло быть оправдываемо въ принципѣ и возводимо въ систему.

Переходимъ къ той части отчета, которая касается гимназій. Мы находимъ здѣсь зародышъ тѣхъ мыслей, которыя осуществились, въ нынѣшнемъ году, закрытіемъ приготовительныхъ классовъ и новыми правилами о приѣмѣ въ гимназіи и прогимназіи. Приготовительные классы отчетъ называетъ недостигающими цѣли и даже вредными въ особенности потому, что они привлекаютъ въ гимназіи массу учениковъ, настоящее мѣсто которыхъ, по положенію ихъ родителей, было бы въ начальныхъ училищахъ. Въ другомъ мѣстѣ отчета констатируется уменьшеніе числа учениковъ, „принадлежащихъ къ низшимъ сословіямъ, попавшихъ въ эти заведенія случайно и не нуждающихся въ среднемъ образованіи, основанномъ на изученіи древнихъ языковъ и предназначенномъ для лицъ, ищущихъ университетскаго образованія“. Такое явленіе отчетъ признаетъ *спомни благопріятникъ*. „Если наши гимназіи“—читаемъ мы дальше—„постепенно освободятся отъ столь ненадежныхъ учениковъ, то онѣ несомнѣнно будутъ успѣшнѣе достигать своей цѣли“. Не станемъ спрашивать себя, на какомъ основаніи ученики изъ „низшихъ сословій“ признаются „попавшими въ гимназіи случайно“ и „не нуждающимися“ въ классическомъ образованіи; для насъ важно теперь только то, что въ 1884 г. „освободить“ гимназіи отъ такихъ учениковъ имѣлось въ виду *постепенно*. Средствомъ къ достиженію этой цѣли являлось усиленіе строгости со стороны преподавателей: предполагалось, что наименѣе способными выдержать эту строгость окажутся именно тѣ изъ числа слабыхъ учениковъ, „родители которыхъ, по своей бѣдности и неразвитости, не въ состояніи поставить своихъ дѣтей въ условія, необходимыя для успѣшнаго прохожденія гимна-

зическаго курса". Принятая, такимъ образомъ, система не оставалась безъ результатовъ; въ 1884 г., несмотря на увеличеніе числа гимназій, число учащихся въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ уменьшилось на тысячу слишкомъ человекъ (съ 72.592 до 71.521). Въ нѣкоторыхъ округахъ уменьшеніе было особенно чувствительно; въ варшавскомъ учебномъ округѣ число учащихся уменьшилось на 532, въ оренбургскомъ — на 213. Нельзя не пожалѣть о томъ, что начатое тогда дѣло не было предоставлено своему естественному теченію. Мы не стоимъ, конечно, за излишнюю строгость, за чрезмѣрную требовательность по отношенію къ ученикамъ; но она поражала бы, но крайней мѣрѣ, учениковъ наименѣе способныхъ, безъ различія происхожденія, и не преграждала бы доступъ къ образованію для цѣлыхъ категорій, для цѣлыхъ группъ, изъ среды которыхъ такъ часто выходили и выходятъ даровитые молодые люди ¹⁾.

Посмотримъ, далѣе, замѣчалось ли переполненіе гимназій и прогимназій учениками изъ среды „низшихъ сословій“. Вотъ цифры, относящіяся къ этому вопросу. Дѣти дворянъ и чиновниковъ составляли, въ 1884 г., почти половину всѣхъ учащихся (49, 1⁰/о); учениковъ изъ духовнаго званія числилось 4, 9⁰/о, учениковъ изъ иностранцевъ—1, 9⁰/о. На долю городскихъ сословій приходилось 36⁰/о, на долю сельскаго состоянія—7, 9⁰/о. Если принять во вниманіе, что въ средѣ городскихъ сословій есть много семей, обладающихъ и достаточными средствами, и готовностью снабжать дѣтей всѣмъ необходимымъ для успѣшнаго ученія, если припомнить, что и между крестьянами, отдающими своихъ сыновей въ гимназіи, есть люди состоятельные и понимающіе значеніе образованія, то едва ли окажется возможнымъ признать, что въ всесословномъ составѣ гимназій была какая-либо аномалія, требовавшая немедленнаго устраненія. Половина учениковъ принадлежала къ привилегированнымъ сословіямъ—или даже больше половины, если присоединить къ дѣтямъ дворянъ и чиновниковъ дѣтей священниковъ, купцовъ и почетныхъ гражданъ ²⁾. Неужели эта пропорція еще недостаточна, неужели гимназіи будутъ соответствовать своему назначенію только въ такомъ случаѣ, если обратятся въ дворянско-купеческія школы или, лучше сказать, въ школы недоступныя для бѣдняковъ? Цѣлая половина

¹⁾ Изъ Уфы пишутъ въ „Недѣлю“ (№ 37): „Циркуляръ министра народнаго просвѣщенія объ ограниченіи приема въ гимназіи произвелъ здѣсь чрезвычайно сильное впечатлѣніе. Въ уфимской гимназіи какъ разъ оказываются лучшими учениками сынъ извозчика, сынъ кузнеца и сынъ кухарки“.

²⁾ Необходимо имѣть въ виду, что въ высшихъ классахъ гимназій дѣтямъ дворянъ и чиновниковъ принадлежитъ, по удостовѣренію отчета, еще болѣе значительный перевѣсъ передъ учениками изъ среды другихъ сословій.

расходовъ на гимназіи и прогимназіи (около $5\frac{1}{4}$ миллионѣвъ) покрывается изъ средствъ государственнаго казначейства, т.-е. изъ средствъ всего народа; отъ мѣстныхъ обществъ—дворянства, городовъ и земства—гимназіи и прогимназіи получаютъ ежегодно около 720 тысячъ рублей, причемъ владѣ дворянства почти вдвое меньше земскаго и почти втрое меньше городского. Мы далеки отъ мысли, чтобы процентъ гимназистовъ изъ среды каждаго сословія долженъ былъ математически соотвѣтствовать долѣ участія этого сословія въ расходахъ на содержаніе гимназій; мы утверждаемъ только, что ни одному сословію, ни одному классу, ни одной общественной группѣ не долженъ быть прегражденъ доступъ къ учебнымъ заведеніямъ, содержимымъ на счетъ всѣхъ классовъ, всѣхъ группъ и всѣхъ сословій ¹⁾.

Министерскій циркуляръ 18-го іюня нынѣшняго года предписываетъ попечителямъ учебныхъ округовъ принять мѣры къ увеличенію до 40 рублей платы за ученіе въ тѣхъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, въ которыхъ она не достигаетъ этой цифры, если только при открытіи заведенія не было поставлено какихъ-либо условій относительно размѣровъ платы за ученіе. Чтобы понять значеніе этой мѣры, нужно обратиться къ отчету за 1884 годъ. Мы узнаемъ изъ него, что минимумъ платы за ученіе въ гимназіи колебался, въ различныхъ округахъ, между 10 и 30 рублями, только въ одномъ туркестанскомъ краѣ дохода до 40 рублей; въ прогимназіяхъ минимумъ платы за ученіе составлялъ отъ 8 до 30 рублей. Этого мало: были цѣлыя округа, въ которыхъ *максимумъ* платы за ученіе не превышала, для гимназій, 35 и даже 20 рублей (кавказскій округъ, западная Сибирь), для прогимназій—30, 25, 20 и даже 15 рублей (харьковскій округъ, округа виленскій и кавказскій, восточная Сибирь и казанскій округъ, оренбургскій округъ). Итакъ, для многихъ округовъ новая минимальная плата окажется выше недавней максимальной, и эта переиѣна будетъ тѣмъ чувствительнѣе, что она совпадетъ (по крайней мѣрѣ въ одесскомъ учебномъ округѣ) съ ограниченіемъ частной и общественной благотворительности, заботившейся до сихъ поръ о бѣднѣйшихъ гимназистахъ.

Самый многочисленный классъ въ гимназіяхъ—первый; онъ заключаетъ въ себѣ $16\frac{1}{3}\%$ общаго числа учениковъ. Дальше число учениковъ постоянно уменьшается и доходитъ въ восьмомъ классѣ до

¹⁾ Загѣтимъ, кстати, что послѣднее министерское распоряженіе не вездѣ понимается и примѣняется съ одинаковою строгостью. Такъ, напримѣръ, попечитель дерптскаго округа признаетъ необходимымъ обращать вниманіе не только на матеріальную и общественную обстановку дѣтей, но и на ихъ способности, открывая, такимъ образомъ, доступъ къ пріемнымъ испитаніямъ въ гимназіи и для дѣтей изъ среды низшихъ сословій.

5 $\frac{1}{2}$ %. Число переходящихъ изъ класса въ классъ понижается вплоть до четвертаго класса (съ 74 $\frac{3}{4}$ % въ приготовительномъ классѣ до 16 $\frac{1}{2}$ % въ четвертомъ), затѣмъ непрерывно повышается; изъ восьмого класса выпущено было, въ 1884 г., 90 $\frac{1}{2}$ %. „Такое явленіе, — сказано въ отчетѣ, — свидѣтельствуетъ, что дѣти, вступая въ учебныя заведенія и интересуясь новизною школьной жизни, на первыхъ порахъ охотно приступаютъ къ ученью и вначалѣ легко справляются съ курсомъ первыхъ классовъ гимназій; но затѣмъ программа занятій, постепенно расширяясь, требуетъ отъ учениковъ сравнительно большаго напряженія и способностей, а главное — навыка къ труду и усидчивости въ занятіяхъ. Четвертый классъ гимназій въ этомъ отношеніи служить границей, за которую уже рѣдко переступаютъ ученики, не приобрѣвшіе умѣнья трудиться. Для перехода изъ четвертаго класса въ пятый установлены письменныя и устныя испытанія. Строгая разборчивость и осмотрительность перевода учениковъ въ пятый классъ имѣютъ благотворные результаты. Начиная съ пятаго класса, процентъ успѣвшихъ возрастаетъ; это объясняется какъ укрѣпляющимся уже сознаниемъ пользы ученья, такъ и тѣмъ, что въ составъ высшихъ классовъ входятъ ученики, оказавшіеся, послѣ подробной провѣрки ихъ занятій, достаточно подготовленными для прохожденія курса этихъ классовъ“. Намъ кажется, что выводы отчета не во всемъ подтверждаются цифровыми данными. Между числомъ переходящихъ изъ третьяго класса въ четвертый (64 $\frac{1}{2}$ %) и числомъ переходящихъ изъ четвертаго класса въ пятый (61 $\frac{1}{2}$ %) разница вовсе не столь велика, чтобы можно было приписывать особенное значеніе испытанію, стоящему на рубежѣ обѣихъ половинъ гимназическаго курса; не очень сильно поднимается и процентъ успѣвшихъ при переходѣ изъ пятаго класса въ шестой (68 $\frac{1}{2}$ %). Наибольшій процентъ увольняемыхъ вслѣдствіе безуспѣшности ученья падаетъ не на четвертый классъ (16 $\frac{1}{2}$ %), а на второй (19 $\frac{1}{2}$ %), третій (18 $\frac{1}{4}$ %) и первый (18%); число добровольно оставляющихъ гимназію также всего больше въ первыхъ трехъ классахъ — а между ними много такихъ, которымъ угрожало попасть въ категорію неуспѣвшихъ. Не во всѣхъ округахъ, наконецъ, одинакова требовательность преподавателей и начальства; процентъ успѣвшихъ колеблется, по округамъ, между 74 $\frac{3}{4}$ % и 60%. Сравненіе данныхъ 1884 и 1883 г. даетъ поводъ думать, что въ нѣкоторыхъ округахъ — напр. московскомъ, кіевскомъ, казанскомъ — постоянно господствуетъ снисходительность, въ другихъ — напр. виленскомъ, оренбургскомъ — преобладаетъ противоположная система, въ третьихъ — напр. въ петербургскомъ — происходятъ колебанія, довольно рѣзкія. Все это вмѣстѣ взятое приводитъ къ заключенію, что успѣшность

занятій зависеть отъ множества условий, часто весьма сложныхъ и не исчерпываемыхъ одною общею формулой. Нельзя утверждать, что сначала ученiе дается легко и возбуждаетъ интересъ въ учащихся; еслибы это было такъ, то на долю перваго и втораго классовъ не упала бы такой высокiй процентъ увольняемыхъ по безуспѣшности. Нельзя утверждать и того, что ученики, благополучно достигшие пятаго класса, имѣютъ всѣ шансы благополучно окончить курсъ ученiя; еслибы это было такъ, то не оскудѣвали бы столь быстро и столь сильно высшiе классы гимназiй, особенно седьмой и восьмой. Весьма можетъ быть, что главная причина неудачъ, постигающихъ, съ самаго начала ученiя, массу гимназистовъ, коренится въ учебныхъ планахъ, слишкомъ много требующихъ отъ учениковъ, и въ способѣ исполненiя этихъ требованiй, чаще обостряющемъ, чѣмъ смягчающемъ ихъ строгость. Не даромъ же такъ много учениковъ увольняется изъ втораго класса, гдѣ выступаетъ на сцену латинскiй синтаксисъ, и изъ третьяго, гдѣ къ одному древнему языку присоединяется другой, еще болѣе трудный. Даже въ прусскихъ гимназiяхъ изученiе греческаго языка отодвинуто, въ послѣднее время, съ третьяго на четвертый годъ ученiя—и все настойчивѣе раздаются голоса, рекомендующiе начинать его еще позже. По словамъ отчета, греческiй языкъ „не представляетъ особыхъ трудностей для учениковъ“; это доказывается тѣмъ, что процентъ успѣвшихъ по греческому языку нѣсколько выше, чѣмъ по латинскому. Мы думаемъ, что эта разница—совершенно ничтожная, едва превышающая $1\frac{1}{2}\%$ —объясняется исключительно болѣею зрѣлостью учениковъ, учащихся греческому языку, и вовсе не свидѣтельствуетъ о сравнительной легкости послѣдняго. Строже, повидимому, и самыя требованiя по латинскому языку; между учениками, уволенными за безуспѣшностью, слабыхъ по латинскому языку было 1.224, по греческому—въ двое меньше (608). Поразительно велика цифра неуспѣвшихъ по русскому языку (1.075). Правда, значительная ея доля (290) приходится на варшавскiй округъ; но все же она заставляетъ предполагать, что изученiю отечественнаго языка отведено въ гимназiяхъ слишкомъ мало мѣста. Очень много неудовлетворительныхъ работъ по русскому языку (143) было представлено и при испытанiяхъ зрѣлости.

Отчетныя цифры, относящiяся къ поведенiю гимназистовъ, производятъ успокоительное впечатлѣнiе. Отмѣтка *два* за поведенiе составляла величайшую рѣдкость ($0,1\%$); даже отмѣтку *три* имѣли только $3\frac{1}{2}\%$ учениковъ, а отмѣтку *пять*— $73\frac{1}{2}\%$. Количество взысканiй было весьма велико (почти въ $2\frac{1}{2}$ раза больше числа учениковъ), но уже изъ самой громадности этой цифры видно, что она обнимаетъ собою преимущественно легкiя дисциплинарныя мѣры. Этотъ выводъ под-

тверждается удостовѣреніемъ попечителей учебныхъ округовъ, что поведеніе учениковъ и вообще нравственное ихъ настроеніе постепенно улучшается по мѣрѣ перехода ихъ въ высшіе классы; поводомъ къ карательнымъ мѣрамъ служатъ, слѣдовательно, главнымъ образомъ, дѣтскія шалости. Высшей мѣрѣ взысканія—увольненію изъ заведенія—подверглось въ 1884 г. 260 учениковъ (менѣе $\frac{1}{4}\%$); изъ нихъ 187 уволено съ правомъ поступленія въ другія учебныя заведенія того же города, 48 — безъ такого права, и только 25 — безъ права вступленія въ какое бы то ни было учебное заведеніе. Не явствуетъ ли отсюда, что всесословный характеръ гимназій отнюдь не мѣшаетъ нравственному развитію учениковъ, и что увольненіе „въ правилъ“, вводимое циркуляромъ 18 іюня, едва ли вызывается дѣйствительною необходимостью?

Общее число учащихся въ реальныхъ училищахъ простиралось въ 1884 г. до 20.218; въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, оно уменьшилось на 299, несмотря на открытіе нѣсколькихъ новыхъ классовъ. „Такое уменьшеніе,—читаемъ мы въ отчетѣ,—можно, до нѣкоторой степени, объяснить замѣченнымъ въ послѣднее время стремленіемъ родителей отдавать своихъ дѣтей въ городскія и желѣзнодорожныя училища, и вообще предпочтеніемъ реальнымъ училищамъ учебныхъ заведеній другого типа“. Если это объясненіе справедливо, то оно свидѣтельствуетъ о безполезности преградъ, воздвигаемыхъ на пути къ гимназическому образованію. Ученіе въ реальномъ училищѣ короче и легче, чѣмъ въ гимназій — и все-таки многіе родители предпочитаютъ отдавать своихъ дѣтей въ училища низшаго разряда, съ программой еще болѣе скромной и съ назначеніемъ преимущественно практическимъ. Если бы такихъ училищъ было побольше, наплывъ въ гимназій и прогимназій ослабѣлъ бы самъ собою, помимо всякихъ искусственныхъ мѣропріятій. Весьма характеристиченъ, съ той же точки зрѣнія, сословный составъ реальныхъ училищъ. Дѣти дворянъ и чиновниковъ, которыми гимназій и прогимназій наполнены почти на половину, въ реальныхъ училищахъ составляютъ 40 $\frac{1}{2}\%$ общаго числа учениковъ—немного меньше, чѣмъ дѣти городскихъ сословій (около 42 $\%$); крестьянскихъ дѣтей числится здѣсь почти 11 $\%$. Итакъ, родители изъ среды городскихъ и сельскихъ сословій и теперь охотнѣе посылаютъ своихъ дѣтей въ реальныя училища, чѣмъ въ гимназій и прогимназій; но дворяне и чиновники также пользуются реальными училищами столь широко, что нѣтъ никакого основанія предоставлять имъ привилегированное положеніе въ средней классической школѣ... Число учениковъ успѣвшихъ и неуспѣвшихъ не показано въ отчетѣ отдѣльно для каждаго класса реальныхъ училищъ; въ общемъ, процентъ успѣвшихъ, въ 1884 г.,

нѣсколько выше для реальныхъ училищъ (69,1%), чѣмъ для гимназій (68,2%) и прогимназій (65,3%). Выбывшихъ до окончанія курса было всего больше въ четвертомъ классѣ; отсюда слѣдуетъ заключить, что въ младшихъ классахъ реальныхъ училищъ ученье не представляетъ такихъ затрудненій, какъ въ младшихъ классахъ гимназій и прогимназій. Замѣчательно, что въ женскихъ гимназіяхъ общій процентъ успѣвшихъ (77,4%) еще гораздо выше, чѣмъ въ реальныхъ училищахъ. Выбывшихъ за безуспѣшность въ женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ также насчитывается несравненно меньше, чѣмъ въ мужскихъ — 394 изъ 56.288 (0,7%), между тѣмъ какъ въ мужскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ ихъ было 1.993 изъ 65.404 (3%). По отношенію къ реальнымъ училищамъ уволенные за безуспѣшность не отдѣлены, къ сожалѣнію, отъ уволенныхъ за дурное поведеніе и по другимъ причинамъ; но общая цифра всѣхъ выбывшихъ не для продолженія ученья и не для поступленія на службу весьма велика — 1.711 изъ 20.218 (8,4%). Какъ бы существенна ни была разница между курсомъ женскихъ и мужскихъ учебныхъ заведеній, она едва ли достаточна для объясненія столь различныхъ степеней успѣшности. Не зависитъ ли это различіе отъ того, что въ женскихъ гимназіяхъ сравнительно больше учащихся изъ среды высшихъ сословій? Нѣтъ; ихъ только 40%, т.-е. столько же, сколько въ реальныхъ училищахъ, и гораздо меньше, чѣмъ въ мужскихъ гимназіяхъ. Одно изъ двухъ: или требованія, предъявляемыя къ учащимся въ женскихъ гимназіяхъ, слишкомъ снисходительны, или требованія, предъявляемыя къ учащимся въ реальныхъ училищахъ и въ особенности въ мужскихъ гимназіяхъ, слишкомъ строги. Последнее гораздо вѣроятнѣе, чѣмъ первое.

Оставляя до другого раза разборъ остальныхъ частей отчета министерства народнаго просвѣщенія, относящихся къ низшимъ учебнымъ заведеніямъ, перейдемъ отъ прошедшаго къ настоящему. Въ 1888 г. исполнится четыре года со времени введенія въ дѣйствіе новаго университетскаго устава, и вмѣстѣ съ тѣмъ начнутся непрacticковавшіеся у насъ до сихъ поръ государственные экзамены. Уставомъ 23 августа 1884 г. они были предрѣшены только въ принципѣ; дальнѣйшая ихъ регламентація предоставлена министру народнаго просвѣщенія, которымъ недавно и утверждены подробныя правила по этому предмету. Производство экзаменовъ возложено на особыя испытательныя коммиссіи, учреждаемыя при каждомъ университетѣ; сколько въ университетѣ факультетовъ, столько при немъ и коммиссій, съ тою только разницею, что физико-математическому факультету соответствовать

двѣ физико-математическія комиссіи: одна — по отдѣленію математическихъ наукъ, другая — по отдѣленію наукъ естественныхъ. Предсѣдатель и постоянные члены комиссій назначаются ежегодно министромъ народнаго просвѣщенія. Никакихъ условій назначенія правила не опредѣляютъ; указаны только предметы, которые должны имѣть своихъ представителей въ комиссіи. Припомнимъ, по этому поводу, что первоначально (по проекту 1876 г.) въ предсѣдатели и члены испытательныхъ комиссій предполагалось допускать только магистровъ, докторовъ, академиковъ и лицъ, пріобрѣвшихъ почетную извѣстность учеными трудами по предметамъ испытанія. Въ составъ устава 1884 г. это требованіе не вошло, хотя и могло бы быть включено въ правила объ испытаніяхъ; оно даже сразу подняло бы авторитетъ испытательныхъ комиссій. Неразъясненнымъ остается еще одно обстоятельство: могутъ ли быть членами комиссій профессора того университета, при которомъ состоитъ комиссія? Предсѣдателю комиссій предоставляется приглашать къ участію въ ея трудахъ — по тѣмъ предметамъ, по которымъ въ ея средѣ нѣтъ специалистовъ — университетскихъ преподавателей, настоящихъ или бывшихъ (а также другихъ лицъ, обладающихъ спеціальными свѣдѣніями); но это не отвѣчаетъ на поставленный нами вопросъ, относящійся не къ случайнымъ, а къ постояннымъ, полноправнымъ членамъ комиссій. На практикѣ, думается намъ, едва ли окажется возможнымъ найти, между не-профессорами, такое число компетентныхъ лицъ, которое было бы достаточно для пополненія основнаго, если можно такъ выразиться, кадра комиссій; въ особенности велико будетъ затрудненіе по отношенію къ отдаленнымъ университетскимъ городамъ. Невѣроятно также, чтобы профессора одного университета были назначаемы членами испытательной комиссіи при другомъ университетѣ — невѣроятно потому, что испытанія будутъ производиться не во время каникулъ, а въ самый разгаръ университетскихъ занятій и будутъ продолжаться, судя по сложности задачи, довольно долго. При такомъ положеніи дѣлъ приглашенію профессоровъ мѣстнаго университета въ предсѣдатели и постоянные члены комиссій могло бы помѣшать только нѣкоторое недовѣріе къ профессорамъ, какъ къ экзаменаторамъ бывшихъ своихъ слушателей. Существуетъ ли такое недовѣріе на самомъ дѣлѣ — это покажетъ составъ комиссій; покажетъ можно лишь предполагать, что оно не было чуждо составителямъ правилъ. Признакомъ его служить, въ нашихъ глазахъ, первое условіе, которому должны удовлетворить испытуемые. Каждый изъ нихъ обязанъ представить, при самой просьбѣ о допущеніи къ испытанію, сочиненіе, написанное въ теченіе послѣднихъ трехъ полугодій университетскаго курса, на тему, одобренную факультетомъ. Сочиненіе это

разсматривается и оцѣнивается членомъ комиссіи, къ специальности котораго оно относится—и къ испытанію въ комиссіи допускаются только тѣ, сочиненія которыхъ будутъ признаны удовлетворительными. При болѣешемъ довѣріи къ профессорамъ, вся эта процедура представлялась бы излишней. Просить о допущеніи къ испытанію могутъ только тѣ студенты, которымъ зачтено факультетомъ надлежащее число полугодій—а зачету каждого полугодія предшествуетъ оцѣнка письменныхъ работъ, исполненныхъ студентомъ. Правда, эта оцѣнка, по буквальному смыслу правилъ о зачетѣ полугодій, должна относиться не столько къ качеству работъ, сколько къ прилежанію, ими обнаруживаемому; но судить о прилежаніи, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, можно лишь по его результату, т.-е. именно по достоинству работы. Ничто не мѣшало бы, повидимому, освободить членовъ испытательной комиссіи отъ первой—и весьма сложной—функции, возлагаемой на нихъ новыми правилами, и начинать испытаніе прямо съ клаузурныхъ работъ, въ присутствіи комиссіи. Теперь комиссіи придется повторять сдѣланное уже однажды въ стѣнахъ университета, и повѣрять этимъ самымъ не только знанія студентовъ, но и образъ дѣйствій преподавателей. Представленіе въ комиссію письменныхъ работъ, раньше исполненныхъ студентомъ, весьма полезно—но только въ видахъ лучшаго ознакомленія комиссіи съ способностями и занятіями испытуемаго, а отнюдь не въ видахъ удостовѣренія, что онъ можетъ быть допущенъ къ испытанію. Значеніе такого удостовѣренія можно было бы признать, безъ всякихъ дальнѣйшихъ требованій, за выпускнымъ свидѣтельствомъ, выданнымъ отъ университета. Спѣшимъ прибавить, что порядокъ разсмотрѣнія студенческихъ сочиненій, представленныхъ въ комиссію, обеспечиваетъ, насколько это возможно, правильность ея рѣшеній. Мнѣніе члена комиссіи, прочитавшаго сочиненіе, признается окончательнымъ только тогда, когда оно благопріятно для испытуемаго; въ противномъ случаѣ, сочиненіе просматривается еще нѣсколькими членами комиссіи, и достоинство его опредѣляется большинствомъ голосовъ.

Кто допущенъ къ испытанію, тотъ исполняетъ сначала, въ присутствіи комиссіи, цѣлый рядъ письменныхъ клаузурныхъ работъ; на каждую изъ нихъ полагается не болѣе пяти часовъ. Экзаменуемымъ воспрещается пользоваться какими бы то ни было пособиями, подъ опасеніемъ потери права на продолженіе испытанія. Къ устному испытанію допускаются только тѣ, письменныя работы которыхъ будутъ признаны удовлетворительными; оно производится какъ по главнымъ, такъ и по дополнительнымъ предметамъ. Окончательно выдержавшимъ испытаніе признается тотъ, кто получилъ (не по одному изъ главныхъ предметовъ) не болѣе одной неудовлетворительной отмѣтки,

если притомъ послѣдняя уравнивается двумя отмѣтками: *весьма удовлетворительно*. У кого такихъ отмѣтокъ не менѣе половины, а неудовлетворительной отмѣтки нѣтъ ни одной, тотъ получаетъ дипломъ первой степени; всѣмъ остальнымъ, выдержавшимъ испытаніе, выдаются дипломы второй степени. Кто не выдержалъ испытанія, тотъ можетъ быть допущенъ къ нему вновь, не болѣе двухъ разъ, съ годовыми промежутками, въ продолженіе которыхъ онъ въ правѣ посѣщать университетъ въ качествѣ посторонняго слушателя. На тѣхъ же основаніяхъ разрѣшается повторительный экзаменъ и тому, кто получилъ дипломъ второй степени, но желаетъ замѣнить его дипломомъ высшаго достоинства.

Разбиралъ, два года тому назадъ ¹⁾, правила о зачетѣ полугодій и объ экзаменныхъ требованіяхъ, которымъ должны удовлетворять испытуемые въ правительственныхъ комиссіяхъ, мы имѣли уже случай указать на ненормальное положеніе, созданное, въ преобразованныхъ историко-филологическихъ факультетахъ, для древнихъ языковъ. Всѣ студенты историко-филологическаго факультета, къ чему бы они ни готовились, какую бы специальность ни избрали, обязаны заниматься прежде всего и больше всего древними языками. Изъ восемнадцати обязательныхъ лекцій на долю древнихъ языковъ отведено четырнадцать; всѣ остальные предметы низведены на степень „дополнительныхъ“ и отодвинуты на задній планъ, такъ что можно, напримѣръ, сдѣлаться учителемъ русской литературы, не изучавъ русской исторіи, или, наоборотъ, учителемъ русской исторіи, не изучавъ русской литературы. Тѣмъ же самымъ характеромъ отличаются и правила о производствѣ испытаній, специально относящіяся къ комиссіи историко-филологической. Испытуемые въ другихъ комиссіяхъ могутъ представить сочиненіе на любую тему, одобренную факультетомъ, лишь бы она относилась къ одному изъ экзаменныхъ предметовъ или къ отдѣлу, избранному для дополнительнаго испытанія; если представляемое сочиненіе было удостоено факультетомъ медали, почетнаго отзыва или преміи, оно принимается комиссіею безъ дальнѣйшей повѣрки, и авторъ его прямо допускается къ письменнымъ клаузурнымъ работамъ. Другое дѣло — въ комиссіи историко-филологической. Здѣсь сочиненіе непременно должно быть написано на тему изъ области классической филологіи; изъ дѣйствія этого общаго правила не исключаются даже диссертации, удостоенныя награды. При прошеніи о допущеніи къ испытанію въ историко-филологической комиссіи долженъ быть представленъ собственно-ручно написанный *на латинскомъ языкѣ* автобіографическій очеркъ,

¹⁾ См. Общественную Хронику въ № 10 „Вѣсти. Европы“ за 1885 г.

съ свѣденіями о ходѣ воспитанія и образованія просителя и о домашнихъ научныхъ занятіяхъ его во время пребыванія въ университетѣ. Отъ испытуемыхъ въ другихъ комиссіяхъ такой автобіографіи, даже на русскомъ языкѣ, не требуется. Сочиненіе, представляемое въ историко-филологическую комиссію, *можетъ* быть написано на русскомъ языкѣ, но „удовлетворительное латинское сочиненіе даетъ предпочтительное право на дипломъ первой степени“. Изъ числа письменныхъ клаузурныхъ работъ *три* посвящаются древнимъ языкамъ (переводъ съ русскаго на латинскій, переводъ съ русскаго на греческій, истолкованіе *на латинскомъ языкѣ*—на русскомъ только для „болѣе слабыхъ“—отрывка изъ классическаго автора), и лишь *одна* русскому языку, причемъ тема выбирается все-таки изъ области классической филологіи, греческой или римской исторіи, исторіи древняго искусства или древней философіи. Въ переводахъ съ русскаго языка на древній испытуемые должны обнаружить твердость и навыкъ въ синтаксисѣ, а по латинскому языку—и въ *стилистикѣ*. При разсмотрѣніи и оцѣнкѣ письменныхъ работъ *рѣшающее значеніе* придается обнаруженному въ нихъ знанію древнихъ языковъ и начитанности въ авторахъ; обнаруживающіе неудовлетворительное знаніе самыхъ языковъ вовсе не допускаются къ продолженію начатаго ими испытанія. Устные испытанія по общеобязательнымъ предметамъ (т.-е. опять-таки по всему относящемуся къ классической древности) производятся въ полномъ собраніи постоянныхъ членовъ комиссіи; испытанія по дополнительнымъ предметамъ—въ особыхъ комитетахъ, на которые раздробляется комиссія. Каждому испытуемому ставится *одиннадцать* отмітокъ, изъ которыхъ *семь* относятся, прямо или косвенно, къ знанію древности (*четыре*—къ классическимъ языкамъ и по одной—къ древней исторіи, древней философіи и исторіи древняго искусства) и только *четыре*—къ дополнительнымъ предметамъ (раздѣленнымъ на двѣ группы, изъ которыхъ каждый экзаменующійся избираетъ одну, по своему усмотрѣнію). Кто получилъ по древнимъ языкамъ хотя бы одну неудовлетворительную отмітку, тотъ признается невыдержавшимъ испытанія. Чтобы получить дипломъ первой степени, нужно имѣть шесть отмітокъ: *весьма удовлетворительно*, въ томъ числѣ не менѣе одной по интерпретаціи римскихъ и одной по интерпретаціи греческихъ авторовъ.

Ничего подобнаго, ничего соотвѣтствующаго всѣмъ этимъ постановленіямъ мы не находимъ въ правилахъ, относящихся къ другимъ испытательнымъ комиссіямъ. И на другихъ факультетахъ есть главные предметы, но они не выдвигаются при этомъ на первый планъ, въ ущербъ всему остальному; самое большее, чѣмъ они *иногда*

отличаются отъ прочихъ—это требованіе двухъ оти́токовъ, тогда какъ вообще признается достаточной одна. А между тѣмъ для студентовъ математическаго отдѣленія—чистая математика, для студентовъ естественниковъ—физика и химія имѣютъ, безъ сомнѣнія, несравненно болѣе значеніе, чѣмъ древніе языки—для студентовъ историко-филологическаго факультета, не избравшихъ ихъ своей спеціальностью. Тамъ *главный* предметъ является главнымъ по своему существу, по своей тѣснѣйшей связи съ остальными или, лучше сказать, по своему господству надъ ними; здѣсь главный предметъ *провозглашенъ* главнымъ, вовсе не будучи имъ безусловно. Читая правила объ испытаніяхъ въ историко-филологической комиссіи, можно подумать, что всѣ испытуемые предназначаютъ себя въ учителя древнихъ языковъ. И въ такомъ случаѣ строгость требованій представлялась бы, быть можетъ, чрезмѣрной, но все-таки она имѣла бы *raison d'être*, которую крайне трудно признать за нею относительно студентовъ не-специалистовъ по древней филологіи. Однообразная окраска, уже раньше данная занятіямъ студентовъ историко-филологическаго факультета, сдѣлается теперь еще болѣе яркой; всѣ такъ-называемые дополнительные предметы—т.-е. *русская литература, русская исторія*, всеобщая исторія, славянская филологія, сравнительное языковѣденіе—еще болѣе потеряютъ свою цѣну въ глазахъ студентовъ. Будущій историкъ, будущій специалистъ по русскому языку или славянскимъ нарѣчіямъ сосредоточить всѣ свои усилія не на томъ предметѣ, которому онъ посвятить цѣлую жизнь, а на томъ, который ему позволительно будетъ забыть черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ испытанія. Пусть его знанія по избранной спеціальности будутъ только въ обрѣзъ „удовлетворительны“—это не помѣшаетъ ему получить даже дипломъ первой степени, лишь бы только у него оказалось шесть „весьма удовлетворительныхъ“ оти́токовъ по древнимъ языкамъ и тѣсно связаннымъ съ ними общеобязательнымъ предметамъ. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что при вновь устанавливаемомъ порядкѣ мѣста учителей исторіи, географіи, русскаго языка будутъ замѣщаемы лицами, компетентность которыхъ собственно по этому предмету ничѣмъ доказана не будетъ. Въ самомъ дѣлѣ, какимъ путемъ комиссія будетъ удостовѣряться въ томъ, что испытуемый вполнѣ овладѣлъ избранною имъ спеціальностью, если эта спеціальность не входитъ въ область классической филологіи? Сочиненіе, имъ представленное, будетъ написано на тему, не имѣющую ничего общаго съ его будущими занятіями; то же самое слѣдуетъ сказать и о *всѣхъ* письменныхъ клаузурныхъ работахъ. Остается только устное испытаніе, произведенное, притомъ,—такъ какъ рѣчь идетъ о „дополнительномъ“ предметѣ—не въ полномъ составѣ комиссіи. Очевидно, что

по одному случайному отвѣту нельзя составить себѣ точнаго и вѣрнаго понятія о знаніяхъ испытываемаго. Преподавателемъ исторіи или русскаго языка можетъ сдѣлаться, такимъ образомъ, отличный латинистъ или эллинистъ, едва знакомый съ событіями среднихъ вѣковъ или новаго времени, съ отечественной и западно-европейской литературой. Наоборотъ, превосходный знатокъ исторіи, русскаго языка, славянскихъ нарѣчій можетъ потерпѣть неудачу, рѣшительную для всей его будущности—не всякій же имѣетъ возможность продолжать ученіе еще годъ или два послѣ выпуска изъ университета,—только потому, что онъ оказался недостаточно твердымъ въ греческомъ синтаксисѣ или въ латинской стилистикѣ. Представимъ себѣ двухъ кандидатовъ, предназначающихъ себя къ одной и той же дорогѣ, напр. къ занятію исторіей. Одинъ изъ нихъ, одаренный памятью словъ, такъ хорошо овладѣлъ лексическимъ и грамматическимъ матеріаломъ, что написалъ сочиненіе на латинскомъ языкѣ, на немъ же исполнилъ третью клаузурную работу (истолкованіе отрывка изъ римскаго или греческаго автора), перевелъ безъ ошибокъ съ русскаго языка на латинскій и греческій и отлично выдержалъ устное испытаніе по древнимъ языкамъ. Другой написалъ сочиненіе по-русски, по-русски же истолковалъ древняго автора, запоминать кое-что изъ синтаксиса и оказался неблестящимъ интерпретаторомъ древнихъ авторовъ. Первый получить дипломъ первой степени, хотя бы свѣденія его по русской исторіи и литературѣ были самыя скромныя; послѣдній получить, въ лучшемъ случаѣ, дипломъ второй степени, хотя бы никто изъ товарищей не могъ сравняться съ нимъ въ знаніи исторіи и всѣхъ сопридѣльныхъ съ нею предметовъ. Чѣмъ бы ни предполагалъ заняться студентъ-филологъ, для него—какъ и для всякаго образованнаго русскаго человѣка—больше всего необходимо полное обладаніе русскимъ языкомъ; даже для будущаго преподавателя древнихъ языковъ оно важнѣе, чѣмъ умѣнье *писать* по-латыни—а между тѣмъ латинскому сочиненію дается преимущество передъ русскимъ... Въ связи съ правилами о зачетѣ полугодій и объ экзаменныхъ требованіяхъ, правила объ испытаніяхъ въ историко-филологической комиссіи слишкомъ легко могутъ привести къ результату, котораго, конечно, не желаютъ ихъ составители: къ опустѣнію историко-филологическихъ факультетовъ, и безъ того уже мало посѣщаемыхъ сравнительно съ другими (припомнимъ относящуюся сюда цифру отчета за 1884 годъ: 1.340, т.-е. менѣе 10% общаго числа студентовъ), и къ оскуднѣнію философскихъ, историческихъ и литературныхъ знаній, особенно важныхъ именно въ наше время.

Въ правилахъ объ испытаніяхъ, какъ и въ университетскомъ уставѣ, говорится о дипломахъ *первой и второй степени*. Въ чемъ будетъ заключаться разница между тѣми и другими — это остается неопредѣленнымъ; видно только, что она довольно значительна — иначе незачѣмъ было бы устанавливать, что получившіе дипломъ второй степени могутъ, если пожелаютъ, держать повторительный экзаменъ, съ цѣлью полученія диплома первой степени. Намъ удивило, поэтому, газетное извѣстіе о законопроектѣ, составленномъ, будто бы, въ министерствѣ народнаго просвѣщенія — законопроектѣ, отмѣняющемъ или до крайности ограничивающемъ служебныя права, сопряженныя съ образованіемъ. Молодыхъ людей, получившихъ высшее образованіе, предполагается уравнивать почти вполнѣ съ молодыми людьми, нигдѣ не учившимися. И тѣмъ, и другимъ предоставлено будетъ начинать службу безъ класснаго чина; для первыхъ будетъ нѣсколько сокращенъ срокъ полученія чина, но та же самая льгота будетъ дана и окончившимъ курсъ, съ отличіемъ, въ среднемъ учебномъ заведеніи. Не знаемъ, какъ согласовать этотъ слухъ съ вновь вводимыми дипломами первой и второй степени — и именно потому сомнѣваемся въ справедливости самаго слуха. Другимъ источникомъ сомнѣній служить существованіе законопроекта, вовсе отмѣняющаго гражданскіе чины и идущаго, слѣдовательно, прямо въ разрѣзъ съ проектомъ, поднимающимъ ихъ значеніе. Большой важности вопросу о чинахъ мы, конечно, не придаемъ; они давно уже потеряли прежнее значеніе и не служатъ болѣе существенной приманкой для лицъ, стремящихся къ высшему образованію. Уничтоженіе чиновъ могло бы пройти совершенно безслѣдно — но далеко не безразличнымъ было бы такое возстановленіе ихъ силы, которое стало бы поперекъ дороги образованнымъ людямъ. Не въ интересахъ этихъ людей, а въ интересахъ дѣла слѣдуетъ открыть для нихъ однихъ доступъ къ извѣстнымъ должностямъ, къ извѣстнымъ званіямъ ¹⁾. Въ этомъ заключается, какъ намъ кажется, важнѣйшая задача и единственное оправданіе государственныхъ экзаменовъ; учреждать испытательныя правительственныя комиссіи и въ то же самое время отнимать главную цѣну у результатовъ испытанія, значило бы впасть въ противорѣчіе, слишкомъ очевидное для того, чтобы быть вѣроятнымъ. Пусть будутъ отмѣнены чины — но пусть еще болѣе прежняго будетъ обязательна научная подготовка, разъ что она необходима по самому роду служебныхъ занятій... Напомнимъ по этому поводу, что дѣйствіе пра-

¹⁾ По справедливому на этотъ разъ замѣчанію „Новаго Времени“ (№ 4144), уничтоженіе служебныхъ привилегій, связанныхъ съ образованіемъ, повредитъ не университетамъ, къ которымъ будетъ притягивать многое другое, а только государственной службѣ.

вилъ о государственныхъ экзаменахъ все еще не распространено на учебныя заведенія, конкурирующія съ университетами (училище правовѣденія, александровскій лицей и т. п.). Уравненія тѣхъ и другихъ требуетъ и логика, и самая элементарная справедливость ¹⁾.

Мѣсяца три тому назадъ въ фельетонѣ „Новаго Времени“ (№ 4071) сообщенъ былъ довольно любопытный разговоръ, происходившій, въ присутствіи фельетониста, между нижегородскимъ губернаторомъ и непремѣннымъ членомъ мѣстнаго губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія. Рѣчь шла о какихъ-то крестьянскихъ безпорядкахъ въ горбатовскомъ уѣздѣ. Непремѣнный членъ полагалъ, что на горбатовскій уѣздъ слѣдовало бы распространить дѣйствіе правилъ о чрезвычайной охранѣ. „Вы желаете, значитъ,—замѣтилъ губернаторъ,—чтобы я лично имѣлъ право передраť волнующихся крестьянъ. Это право я могу получить и безъ примѣненія ярмарочнаго положенія къ данной мѣстности“ ²⁾. Дальше слѣдовало объясненіе причинъ, по которымъ губернаторъ не рѣшается ходатайствовать объ облеченіи его, по отношенію къ крестьянамъ, такою чрезвычайною властью. Сомнѣваться въ достовѣрности этого разсказа нѣтъ основанія; дѣйствующія лица прямо названы въ немъ по имени или обозначены указаніемъ на занимаемое ими мѣсто, и никакихъ возраженій противъ фельетона въ напечатавшей его газетѣ не появлялось. Все сочувствіе наше, при чтеніи разсказа, было на сторонѣ г. нижегородскаго губернатора; намъ показалось только, что едва ли справедливо онъ усматриваетъ въ положеніи объ усиленной и чрезвычайной охранѣ право подвергать кого бы то ни было тѣлесному наказанію—и не ошибается ли онъ также, предполагая, что это право можетъ быть дано ему лично по отношенію къ мѣстности, не объявленной въ состояніи усиленной охраны. Не прошло и полутора мѣсяца, какъ въ газетахъ появился приказъ нижегородскаго губернатора, слѣдующаго содержанія: „8-го августа (слѣдовательно, во время ярмарки, т.-е. во время дѣйствія въ Нижнемъ-Новгородѣ положенія объ усиленной охранѣ) отставной унтеръ-офицеръ Скуднѣвъ, неправильно вымогая у евреевъ деньги, сталъ ихъ бить, нанесъ одному изъ нихъ увѣче и обратился къ собравшейся толпѣ съ предложеніемъ начать поголовное избіеніе евреевъ. Крестьянинъ Масленниковъ сильно способствовалъ возбужденію толпы. Благодаря распорядительности полиціи, преступный безпорядокъ былъ во время остановленъ; Скуднѣвъ и Масленниковъ

¹⁾ См. Внутр. Обзоріе въ № 10 „Вѣстн. Европы“ за 1884 г.

²⁾ На время ярмарки Нижній-Новгородъ подчиняется, какъ извѣстно, дѣйствію правилъ объ усиленной охранѣ.

были арестованы и, по окончательномъ разборѣ дѣла, наказаны розгами, согласно приказанію губернатора“. Во всемъ этомъ представляется особый интересъ, прежде всего, юридическая сторона дѣла. Мы перечитали по этому поводу еще разъ, съ величайшимъ вниманіемъ, все „положеніе о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія“, утвержденное 14-го августа 1881 г. и вошедшее, съ дополненіями, въ составъ продолженія къ своду законовъ (т. XIV, уставъ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій), изданнаго въ 1886 г.; мы познакомились и съ положеніемъ комитета министровъ 11-го іюля нынѣшняго года, которымъ продолжено, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, дѣйствіе правилъ объ охранѣ и кое въ чемъ измѣнена ихъ редакция — и не нашли ни одной статьи, которая, прямо или косвенно, могла бы опровергать наше вышеизложенное предположеніе. Изданіе обязательныхъ постановленій, назначеніе, за ихъ неисполненіе, ареста до трехъ мѣсяцевъ или штрафа до пятисотъ рублей, воспрещеніе общественныхъ собраний, закрытіе торговыхъ и промышленныхъ заведеній, передача извѣстныхъ дѣлъ въ вѣденіе военнаго суда, ограниченіе судебной гласности, распространеніе сферы административнаго контроля надъ должностными лицами, производство полицейскихъ обысковъ, предварительный арестъ подозрительныхъ людей и высылка ихъ изъ мѣстностей, объявленныхъ въ положеніи усиленной охраны — вотъ единственныя права, вытекающія изъ правилъ 14-го августа 1881 г.; и ни одно изъ нихъ не уполномочиваетъ администрацію на примѣненіе тѣлесныхъ наказаній. Даже при существованіи чрезвычайной охраны карательная власть администраціи измѣняется только количественно, но не качественно; увеличивается продолжительность личнаго задержанія, повышается максимальная цифра денежнаго штрафа, но къ этимъ двумъ видамъ наказанія не присоединяется никакихъ другихъ. Административнымъ карамъ подлежатъ, притомъ, не всѣ проступки, а только тѣ, которые имѣютъ характеръ нарушенія обязательныхъ постановленій или (при чрезвычайной охранѣ) изъятъ, особымъ, заранее объявленнымъ распоряженіемъ, изъ вѣденія суда. Проступокъ Скуднева и Масленикова не подходилъ ни подъ одну изъ этихъ категорій и вовсе не подлежалъ разбору губернатора; онъ былъ подсуденъ судебной власти. Если одному изъ потерпѣвшихъ евреевъ дѣйствительно нанесено было *ущербъ*, въ техническомъ смыслѣ этого слова, Скуднень могъ быть присужденъ къ весьма тяжкому наказанію — болѣе, можетъ быть, тяжкому, чѣмъ то, которому онъ подвергся по распоряженію губернатора; но степень ответственности обоихъ виновниковъ безпорядка и самый размѣръ взысканія

во всякомъ случаѣ долженъ былъ опредѣлить компетентный судъ, съ соблюденіемъ установленныхъ процессуальныхъ формъ.

Мы рассматривали до сихъ поръ распоряженіе нижегородскаго губернатора только съ точки зрѣнія положенія объ усиленной охранѣ; но не имѣется ли для него какой-либо другой легальной точки опоры? Случай съ Скудневымъ и Масленниковымъ—не первый въ своемъ родѣ; не говоря уже о разныхъ деревенскихъ экзекуціяхъ, тѣлесныя наказанія были пускаемы въ ходъ и въ городахъ, при усмирении—или, лучше сказать, по усмирении—анти-еврейскихъ беспорядковъ. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что нѣчто въ родѣ юридической санкции подобныхъ мѣръ усматривается въ пун. 2 ст. 340 уложенія о наказаніяхъ, въ которомъ сказано: „не почитается превышеніемъ власти, когда чиновникъ или должностное лицо, въ какихъ-либо чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, возьметъ на свою отвѣтственность принятіе также чрезвычайной, болѣе или менѣе рѣшительной мѣры, и потомъ докажетъ, что она, въ видахъ государственной пользы, была необходима, или что по настоятельности дѣла онъ не могъ, безъ видимой опасности или вреда для службы, отложить принятіе сей мѣры до высшаго на то разрѣшенія“. Но едва ли эта статья имѣетъ что-нибудь общее съ обсуждаемымъ нами вопросомъ. Она предполагаетъ, во-первыхъ, *неожиданное и непредвидѣнное* стеченіе обстоятельствъ, и уже поэтому одному не можетъ относиться къ случаямъ, встрѣчающимся далеко не въ первый разъ, къ беспорядкамъ, способъ предупрежденія или прекращенія которыхъ можетъ и долженъ быть опредѣленъ заранее, общимъ или отдѣльнымъ распоряженіемъ компетентной власти. Такимъ общимъ распоряженіемъ служатъ, въ настоящее время, правила 14-го августа 1881 г., достаточно вооружившія администрацію, болѣе чѣмъ достаточно расширившія и усилившія ея власть, а отдѣльнымъ распоряженіемъ является примѣненіе этихъ правилъ къ данной мѣстности на извѣстный срокъ. Во-вторыхъ, статья 340 имѣетъ въ виду наличность *чрезвычайныхъ условий, еще длящихся, еще неустраненныхъ*; какъ только они миновали, нѣтъ больше надобности въ *чрезвычайныхъ мѣрахъ*—а слѣдовательно нѣтъ больше для нихъ и основанія. Тѣлесныя наказанія, по самому своему свойству, всегда *смыдуютъ* за беспорядкомъ, а потому не могутъ способствовать его *прекращенію*—и слѣдовательно никогда не могутъ быть подведены подъ дѣйствіе ст. 340. Въ случаѣ, насъ занимающемъ, чрезвычайныхъ обстоятельствъ не было вовсе; была только *попытка* произвести беспорядокъ, во-время остановленная распорядительностью полиціи. Безспорно, изъ ничтожной искры разгорается иногда большой пожаръ, а въ горючемъ матеріалѣ на нижегородской ярмаркѣ нѣтъ недостатка; это доказали

прискорбныя событія 1884 года. Противъ такихъ подстрекательствъ, какія позволили себѣ Скуднѣвъ и Маслениковъ, несомнѣнно слѣдовало принять энергичныя мѣры; но все же мы не видимъ причины, по которой это не могло бы быть сдѣлано на законной почвѣ, въ законныхъ предѣлахъ. Оба преступника были тотчасъ же арестованы; ничто не мѣшало немедленно возбудить противъ нихъ уголовное преслѣдованіе, которое могло быть приведено къ концу еще до окончанія ярмарочнаго сбора. Мы очень хорошо помнимъ, какъ лѣтъ двадцать тому назадъ, вскорѣ послѣ осуществленія судебной реформы, въ Петербургѣ совершенъ былъ поджогъ, грозившій большою опасностью (кажется, въ Думской улицѣ, во дворѣ дома, переполненнаго жильцами, и въ двухъ шагахъ отъ гостинаго двора). Въ высшихъ сферахъ возникла мысль о преданіи виновнаго (крестьянина Щепочкина) военному суду, чтобы быстрой и энергичной карой предупредить повтореніе подобныхъ преступленій; но судебной администраціи удалось доказать, что тотъ же результатъ можетъ быть достигнутъ и безъ нарушенія законовъ подсудности. Между событіемъ преступленія и судебнымъ разбирательствомъ прошло только двѣ недѣли; Щепочкинъ былъ признанъ виновнымъ и присужденъ къ тяжкому уголовному наказанію. Съ такою же быстротою окончилось, годъ спустя, дѣло объ убійствѣ военнаго австрійскаго агента, князя Аренберга; съ такою же быстротою могло окончиться и судебное дѣло о Скуднѣвѣ и Маслениковѣ. Гласный судебный разборъ не оставилъ бы сомнѣнія въ виновности подсудимыхъ; при негласной полицейской расправѣ оно всегда возможно. Еще менѣе обезпеченнымъ представляется здѣсь соотвѣтствіе между виною и наказаніемъ...



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го октября 1887.

Безсиліе дипломатическихъ проектовъ по болгарскому вопросу. — Турція въ роли представительницы порядка и законности. — Необходимость политики невмѣшательства. — Нѣмецко-болгарскій инцидентъ и ошибочное его толкованіе. — Положеніе дѣлъ въ Болгаріи и способы борьбы съ оппозиціею. — Англія и ирландскій вопросъ. — Политическія дѣла Франціи. — Новое пограничное столкновение и манифестъ графа Парижскаго.

Повидимому, болгарскій вопросъ утратилъ значительную долю интереса для европейской дипломатіи съ тѣхъ поръ, какъ Болгарія фактически вышла изъ сферы нашего вліянія. Дипломатическая переписка еще продолжается, но она ведется вяло и безъ особенныхъ шансовъ на успѣхъ; въ газетахъ прекратился воинственный шумъ, и болгарамъ предоставлено вѣдаться самимъ съ своими правителями, безъ непосредственнаго вмѣшательства опекающихъ ее державъ.

Проекты разрѣшенія кризиса въ духѣ берлинскаго трактата или, вѣрнѣе, въ духѣ интересовъ того или другого могущественнаго государства — оказались несостоятельными и оставлены, одинъ за другимъ, безъ всякихъ послѣдствій. И нужно признать, что авторы этихъ проектовъ какъ будто сознательно стремились къ такому результату: для умиротворенія Болгаріи предлагалось именно то, что наиболѣе способно было вызывать раздраженіе болгаръ и неудовольствіе западно-европейскихъ кабинетовъ. Даже имена кандидатовъ, выставившихся въ печати на должность умиротворителей Болгаріи, выбирались какъ бы умышленно такія, противъ которыхъ заранѣе могли ожидать сильнѣйшіе протесты болгарскаго населенія и болгарскихъ политическихъ партій. Пожиная теперь то, что сами сѣяли, наши близорукіе газетные „патріоты“ не имѣютъ теперь основанія жаловаться на кого бы то ни было по поводу нынѣшней вражды болгаръ къ русской газетной политикѣ. Мы можемъ думать, что болгарскіе дѣятели совершили крупную ошибку, избравъ на княжескій постъ лицо, состоящее въ подданствѣ Австро-Венгріи; было бы, можетъ быть, лучше, еслибы выборъ палъ на принца какой-нибудь нейтральной державы, не имѣющей своихъ особыхъ интересовъ на Востокѣ, — хотя еще вѣрнѣе было бы оставаться на почвѣ національной, не прибѣгая къ содѣйствію иностранныхъ искателей вакантныхъ престоловъ. Мы можемъ также утверждать, что болгарамъ нуженъ былъ бы правитель, болѣе испи-

танный и надежный, ближе связанный съ народомъ, съ его потребностями и стремленіями, чѣмъ молодой принцъ Кобургскій; но съ другой стороны,—кого противопоставляютъ этому принцу и какихъ правителей рекомендуютъ болгарамъ на мѣсто нынѣшнихъ? Мыслимо ли предположить, что болгары найдутъ для себя нѣчто привлекательное въ перспективѣ управленія турецкаго пашы или кого другого, извѣстнаго своею антипатіею къ существующему государственному порядку въ Болгаріи? Какъ ни юнъ и неопытенъ принцъ Фердинандъ, какъ бы связанъ онъ съ австрійскими тенденціями, но онъ во всякомъ случаѣ вынужденъ завоевывать себѣ симпатіи страны и опираться на популярныя ея дѣятели. Въ дипломатическихъ же проектахъ умиротворенія все направлено противъ народныхъ чувствъ и желаній Болгаріи, все имѣетъ видъ какъ бы непріязненной расправы во имя берлинскаго трактата. Удивительно ли, что болгары готовы держаться даже за чуждаго имъ австро-венгерскаго принца, лишь бы сохранить хотя бы тѣнь самостоятельности? Много говорятъ о произволѣ и злоупотребленіяхъ властвующей нынѣ группы людей въ княжествѣ; но народъ не имѣетъ теперь другого выбора, какъ подчиниться какому-нибудь произволу—своему или чужому, и онъ предпочитаетъ свой. Когда у насъ указываютъ на незаконныя дѣйствія Стамбуловыхъ и Муткуровыхъ, то при этомъ забываютъ, что послѣдніе распоряжаются въ своей собственной странѣ, на глазахъ всего населенія, и что гораздо хуже и произвольнѣе, съ точки зрѣнія болгаръ, былъ бы иностранный режимъ, предлагаемый дипломатіею. Болгары имѣютъ въ своемъ прошломъ нѣкоторый опытъ для того, чтобы судить объ удобствахъ турецкаго или вообще чужого управленія; они предпочитаютъ свои собственные порядки или безпорядки чужимъ заботамъ и чужой европейской опеке. Любопытно все, что устроить законный порядокъ въ княжествѣ приходилось бы державѣ, не знающей никакихъ законовъ и никакого порядка у себя дома: Турція, подъ гнетомъ которой страдали болгары въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій, должна фигурировать теперь въ роли охранительницы порядка и справедливости въ освобожденной отъ нея странѣ. Турецкое правительство, для котораго произволъ и беззаконіе составляютъ обычную систему администраціи, берется послать одного изъ своихъ пашей для водворенія законности среди народа, имѣющаго свой популярный строй и управляемаго нисколько не хуже другихъ государствъ, когда они испытываютъ у себя тяжелый внутренній кризисъ. Нельзя смотрѣть серьезно на эти толки и переговоры о мѣрахъ восстановленія порядка въ Болгаріи, когда въ центрѣ этихъ переговоровъ—по крайней мѣрѣ официально—стоитъ держава, давно уже страдающая недугомъ хронической неурядицы въ дѣлахъ управ-

ленія. Представители произвола и злоупотребленій у себя выступают вдругъ строгими судьями законности относительно чужой страны; турки обращаются въ западной Европѣ съ предложеніями и нотами, въ которыхъ обнаруживаютъ безпокойство о судьбахъ Болгаріи, а сами не могутъ справиться съ болѣе насущными внутренними заботами, которыя постоянно напоминаютъ о себѣ въ весьма чувствительныхъ и непріятныхъ формахъ. Еще недавно турецкіе сановники, хлопочущіе о порядкѣ у болгаръ, остались вдругъ безъ жалованья, такъ какъ оттоманскій банкъ отказалъ въ дальнѣйшемъ кредитѣ турецкому казначейству, въ виду крайне запутаннаго состоянія государственныхъ финансовъ. Усилія выдвинуть Турцію на первый планъ въ дѣлѣ рѣшенія болгарскаго вопроса указываютъ лишь на то, что никакого рѣшенія не будетъ, и что вопросу дано будетъ „уважить въ болотѣ“ (*versumpfen lassen*), по живописному выраженію одной изъ авторитетныхъ нѣмецкихъ газетъ, приписываемому самому кн. Бисмарку. Отъ этого, конечно, ничего не потеряютъ болгары, не говоря уже о другихъ народахъ, которые, въ сущности, очень мало интересуются дѣлами „братушекъ“ и ихъ принцевъ.

„Что касается уваженія къ международнымъ договорамъ,—говорили мы еще недавно по поводу болгарскаго объединенія,—то на эту тему напрасно разсуждаютъ газеты въ данномъ случаѣ: ни одна изъ державъ, подписавшихъ берлинскій трактатъ, не нарушила его, а измѣнилась только фактическая основа нѣкоторой части трактата, поминимой и участія заинтересованныхъ кабинетовъ. Болгары не могли нарушить договоръ, въ которомъ вовсе не участвовали: они играли въ немъ роль матеріала, о которомъ составлены были извѣстные постановленія, но не пользовались правами дѣйствующихъ лицъ, и потому не подлежали отвѣтственности за послѣдствія мѣръ, принятыхъ великими державами“¹⁾. Такъ и въ настоящее время: хотя занятіе престола принцемъ Фердинандомъ противорѣчитъ берлинскому трактату, и неправильный поступокъ этого принца обострилъ положеніе вассальнаго княжества, но нельзя винить за это болгаръ, которые тщетно добивались назначенія какого-нибудь болѣе подходящаго князя въ теченіе цѣлаго года. И для великихъ европейскихъ государствъ нарушеніе международныхъ договоровъ имѣетъ серьезный смыслъ только въ томъ случаѣ, когда оно совпадаетъ съ нарушеніемъ существенныхъ политическихъ интересовъ. Мы не стали бы спорить противъ избранія княземъ сочувственнаго намъ кандидата, даже безъ соблюденія формальныхъ условій, и мы ничего не имѣли бы противъ за-

¹⁾ См. Иностранное Обзорѣніе въ октябрьской книгѣ „Вѣстника Европы“ за 1885 г., стр. 840.

ищенія престола русскимъ дѣятелемъ, помимо согласія западно-европейской дипломатіи. Намъ неудобенъ и нежелателенъ принцъ Кобургскій не столько потому, что онъ нарушилъ предписанія берлинскаго трактата, а потому, что онъ прямой кандидатъ австрійской имперіи, главнѣйшей соперницы и противницы нашей на Балканскомъ полуостровѣ. Вспомнимъ, что франко-прусская война 1870 года произошла изъ-за кандидатуры принца Гогенцоллернскаго на королевскій тронъ Испаніи; а между тѣмъ Испанія — независимое государство, тогда какъ Болгарія — вассальное княжество, созданное Россією и находившееся долго подъ исключительнымъ ея вліяніемъ. Понятно тогда, что водвореніе принца Фердинанда въ Софіи является фактомъ невыгоднымъ для нашей политики и неприятымъ для нашего національнаго самолюбія. Но нельзя не сознавать, что такой оборотъ въ положеніи дѣлъ сдѣлался возможнымъ вслѣдствіе цѣлаго ряда нашихъ собственныхъ ошибокъ, и что нынѣ большинство болгаръ высказывается рѣшительно противъ насъ. Мы ничего лучшаго не обѣщаемъ и теперь болгарамъ, взаимно установившагося у нихъ режима, — какъ видно изъ тѣхъ проектовъ, которые приняты Портою и которые согласился поддерживать князь Бисмаркъ передъ Австрією, Англією и Италією. Болгарія прямо выражаетъ, что она не приметъ комиссаровъ, какъ выразителей чужого господства и вмѣшательства, а потому и самыя планы такого рода, выдвигаемые съ нашей стороны, еще болѣе отдаляютъ болгаръ отъ Россіи, безъ всякой надобности и пользы, такъ какъ затѣмъ явится трудно разрѣшимый вопросъ: а кто возьметъ на себя принудить болгаръ силою? Гдѣ нельзя разсчитывать на успѣхъ и нѣтъ разчета употреблять принудительную силу, тамъ полное невмѣшательство гораздо цѣлесообразнѣе безплодныхъ и раздражающихъ полумѣръ. Если у насъ дѣйствительно существуетъ вѣра въ естественную силу тяготѣнія балканскихъ народностей къ великой славянской державѣ, то мы можемъ спокойно предоставить эти народности самимъ себѣ и ожидать въ нихъ возрожденія старыхъ симпатій и связей. Связи эти будутъ тѣмъ прочнѣе, чѣмъ меньше мы будемъ заниматься чужими дѣлами и, тѣмъ самымъ, меньше отвлекаться отъ заботъ о собственномъ благоустройствѣ; успѣхи во внѣшней политикѣ много зависятъ отъ плодотворности внутреннихъ работъ, ведущихъ къ процвѣтанію и развитію общественныхъ, нравственныхъ и умственныхъ силъ страны.

Нѣкоторыя газеты указываютъ на энергическій образъ дѣйствій Германіи — по поводу недавняго оскорбленія нѣмецкаго представителя въ Русукуъ — какъ на примѣръ, достойный подражанія. Но между нашими требованіями и германскими нѣтъ ничего общаго. Болгарскій префектъ позволилъ себѣ оскорбить нѣмецкаго агента, о которомъ въ

то же время появилась обидная замѣтка въ мѣстной газетѣ „Болгаринъ“, но ни то, ни другое не имѣло и тѣни какого-нибудь нарушенія берлинскаго трактата Болгаріею. Притомъ, это былъ не единственный случай за послѣднее время, и вообще болгарскія власти не всегда соблюдали должное почтеніе относительно иностранныхъ агенто́въ, а потому Германія потребовала удовлетворенія черезъ посредство Порты, угрожая въ противномъ случаѣ послать три броненосца въ Черное море для блокады Варны, съ разрѣшенія султана. Само собою разумѣется, что болгарское правительство поспѣшило немедленно исполнить требованіе князя Бисмарка: болгарскій повѣренный въ Константинополѣ, Вулковичъ, могъ уже 15-го (3) сентября сообщить великому визирю объ отставкѣ рушукскаго префекта Мантова, о закрытіи газеты „Болгаринъ“ и о преданіи суду ея редактора. Германія удовлетворилась этимъ, и „инцидентъ“ закончился мирно. Подобныя столкновенія возможны и между равноправными государствами, независимо отъ какихъ-либо политическихъ цѣлей; тутъ дѣло идетъ объ отдѣльномъ специальномъ фактѣ, который не затрагиваетъ никакихъ трактатовъ. Германія требовала отъ Болгаріи того, чего требуютъ отъ всякой страны, хотя бы и совершенно самостоятельной; такъ же точно и Болгарія могла уступить германской угрозѣ, безъ всякаго ущерба для своихъ народныхъ и политическихъ правъ. Пожертвовавъ префектомъ Мантовымъ и газетою „Болгаринъ“, княжество признало для себя обязательнымъ безусловное уваженіе къ германскому флагу и къ германскимъ агентамъ. Ни одинъ изъ европейскихъ кабинетовъ не имѣлъ повода возражать противъ требованія Германіи, основаннаго на общепринятомъ международномъ правѣ. Совсѣмъ другое представляютъ наши счеты съ Болгаріею; мы требуемъ не возмездія за оскорбленіе русскаго представителя или русскихъ подданныхъ, а добиваемся внутренней перемены въ самомъ княжествѣ, согласно буквѣ берлинскаго трактата. Грозить блокадою болгарскихъ портовъ за неисполненіе нашихъ общихъ требованій не позволилъ бы намъ тотъ самый трактатъ, на который мы ссылаемся; и еслибы мы приступили къ принудительнымъ мѣрамъ для удаленія незаконнаго князя изъ предѣловъ Болгаріи, то другія державы непременно протестовали бы противъ нарушенія болгарской автономіи. Проводить какую-нибудь параллель между частнымъ нѣмцеко-болгарскимъ инцидентомъ и общеполитическимъ русско-болгарскимъ споромъ, какъ это дѣлали наши газеты,—значить, очевидно, смѣшивать вещи, не имѣющія между собою ничего рѣшительно общаго.

Что настоящее положеніе дѣлъ въ Болгаріи не можетъ считаться нормальнымъ—этого никто отрицать не станетъ. Мы не знаемъ, насколько вѣрны рассказы о такъ-называемыхъ „палочныхъ командахъ“,

которыя будто бы по своему распоряжаются съ непокорными обывателями, такъ какъ обо всемъ этомъ мы можемъ судить только по сообщеніямъ газетныхъ репортеровъ; но намъ вѣстается трудно объяснить то, чтобы народъ, стѣмѣвшій свергнуть князя Александра и затѣмъ устранить его преемниковъ, могъ такъ долго выносить жестокія насилія отъ ничтожной горсти своихъ же представителей, не имѣющихъ за собою другой опоры, кромѣ общественнаго мнѣнія и чувства. Еще болѣе непонятнымъ представляется намъ то обстоятельство, что официальные европейскіе агенты въ Софіи и въ другихъ мѣстахъ не замѣчаютъ какъ будто этихъ насилій, о которыхъ встрѣчается поэтому очень мало свѣденій въ иностранныхъ газетахъ. Подвиги болгарскихъ „палочниковъ“ описываются большею частию въ сообщеніяхъ изъ Бухареста, гдѣ они, можетъ быть, создаются или сильно преувеличиваются подозрительною фантазіею нѣкоторыхъ болгарскихъ эмигрантовъ. Документальныхъ или точно comprovенныхъ данныхъ по этому предмету мы не имѣемъ,—по крайней мѣрѣ относительно послѣдняго времени. По всей вѣроятности, въ Болгаріи практикуется нерѣдко тѣлесное наказаніе за такъ-называемыя политическія преступленія, къ которымъ причисляется измѣнническій образъ мыслей, неблагонамѣренность, сочувствіе врагамъ правительства и т. п. Но такъ какъ у болгаръ нѣтъ вообще различія сословій, а потому нѣтъ и лицъ, изъятыхъ отъ тѣлесныхъ наказаній, то „палочная расправа“ можетъ примѣняться тамъ къ лицамъ всѣхъ классовъ населенія, если эти лица обнаружили „преступные замыслы“. При томъ состояніи, въ какомъ находится Болгарія, тѣлесныя кары одинаково постигаютъ обывателей, безъ суда, особенно въ случаѣ какихъ-либо чрезвычайныхъ происшествій или уличныхъ беспорядковъ. Это очень печальное явленіе, но не забудемъ, что Болгарія недавно только вышла изъ-подъ турецкаго ига; она не могла еще вполне освободиться отъ дурныхъ турецкихъ традицій и привычекъ,—и по-неволѣ приходится отнестись къ ней снисходительно и не судить слишкомъ строго мало похвальные поступки ея администраціи. Наконецъ, многія извѣстія о болгарскихъ насиліяхъ оказывались чистѣйшимъ вымысломъ; таковы, напримѣръ, рассказы объ истязаніяхъ Каравелова и Никифорова, объ арестѣ Родославова и Николаева и т. п. Каравеловъ не возобновилъ бы изданія своей газеты и не намечталъ бы громоносной статьи противъ принца Фердинанда, Стамбулова и ихъ приверженцевъ, еслибы онъ когда-нибудь подвергался „свѣченію“ по приказу нынѣшнихъ министровъ, какъ о томъ серьезно сообщалось въ нашей печати. Никифоровъ, терпѣвшій будто бы истязанія во время регентства, продолжаетъ быть дѣятельнымъ членомъ оппозиціи и участникомъ въ предпріятіяхъ Каравелова. Николаевъ, ко-

тому будто бы предстояло тюремное заключеніе по приказу регента Муткурова, назначенъ адъютантомъ принца по предложенію того же Муткурова, какъ военнаго министра. Радославовъ, арестованный будто бы въ Варнѣ по распоряженію Стамбулова, энергически подготавливаетъ теперь выборы въ интересахъ своей партіи и является наиболѣе опаснымъ соперникомъ болгарскаго „премьера“, какъ призналъ послѣдній въ разговорѣ съ корреспондентомъ „Temps“. Ничего не слышно о какихъ-либо мѣрахъ противъ заведомыхъ вождей оппозиціонной или „русской“ партіи, Драгана Цанкова и митрополита Климента. Правда, Каравеловъ дорого заплатилъ за свое смѣлое напавленіе на правительство въ газетѣ „Тырновская Конституція“; но самый способъ расплаты характеризуетъ болгарскіе порядки совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, какъ изображаютъ ихъ газеты. Статья Каравелова не была задержана цензурою и номеръ газеты не былъ конфискованъ правительствомъ; газета не подверглась запрещенію или взысканію, а возбудила противъ себя уличные протесты значительной части софійскихъ гражданъ, созванныхъ на сходку извѣстнымъ Захаріемъ Стояновымъ, редакторомъ непримиримой „Свободы“. Послѣ рѣчей и резолюцій, осуждавшихъ поведеніе Каравелова, толпа направилась къ дому бывшаго министра, напала на типографію его газеты и произвела рядъ безчинствъ, которыхъ не сумѣли предупредить полицейскія власти; затѣмъ эти увлекшіеся „патріоты“ отправились къ Стамбулову и къ принцу Фердинанду, сдѣлали имъ шумную овацію и удостоились одобренія и благодарности изъ устъ „князя“. Такія одобрительныя слова, сказанныя имъ съ балкона людямъ, виновнымъ въ „буйствѣ“ и въ нарушеніи общественной тишины и спокойствія, болѣе чѣмъ неумѣстны, но они доказываютъ только то, что принцъ не чувствуетъ себя настолько безопаснымъ въ софійскомъ дворцѣ, чтобы не бояться шумной уличной толпы и смѣло вступить съ ней въ пререканія.

Волненія, разыгравшіяся въ Софіи 1-го (13) сентября, и особенно двусмысленная роль принца Фердинанда и Стамбулова послѣ сдѣланныхъ имъ овацій,—произвели крайне дурное впечатлѣніе среди заграничныхъ друзей нынѣшняго болгарскаго правительства. Вѣнская оффиціозная „Presse“ посвятила этимъ событіямъ весьма рѣзкую статью, въ которой замѣчено, между прочимъ, что мѣсто принца было не на балконѣ, гдѣ онъ кланялся толпѣ, а на улицѣ, гдѣ онъ долженъ былъ употребить всѣ усилія для прекращенія беспорядковъ. Но въ сущности что доказываютъ эти беспорядки? Съ одной стороны — какъ мы уже свазали,—безпомощность и растерянность „князя“, отсутствіе надлежащаго правительственнаго авторитета, недостатокъ полицейскихъ силъ; а съ другой стороны — крайнюю не-

популярность всякой мысли о подчиненіи нашимъ требованіямъ, сильнѣйшее возбужденіе противъ сторонниковъ дипломатическаго компромисса и рѣшимость массы бороться, хотя бы очертя голову, противъ вмѣшательства во имя усвоеннаго народною партіею девиза: „Болгарія для себя“. Трехтысячная толпа народа не можетъ быть собрана и возбуждена искусственно по желанію любого оратора или публициста; она не можетъ также составиться изъ одной черни въ такомъ небольшомъ и зажиточномъ городѣ, какъ Софія. Всѣ такіа народныя вспышки очень и очень печальны; но онѣ наглядно свидѣтельствуютъ, что если „терроръ“ существуетъ въ Болгаріи, то онъ исходитъ уже не отъ одной горсти правящихъ людей, а отъ цѣлой массы городского населенія, въ которомъ идея народной независимости превратилась въ слѣпую страсть, исключаящую всякую терпимость къ чужимъ мнѣніямъ.

При такомъ настроеніи въ Болгаріи, надо быть большимъ оптимистомъ, чтобы ожидать торжества дипломатической точки зрѣнія надъ народною: очевидно, кабинетамъ едва ли удастся подвести болгаръ подъ установленныя рамки берлинскаго трактата, а придется, напротивъ, приспособить этотъ трактатъ къ новымъ условіямъ существованія объединеннаго болгарскаго княжества. Подобнаго приспособленія думаютъ достигнуть при помощи пассивной выжидательной политики великихъ державъ; въ этомъ смыслѣ дѣйствовать, вѣроятно, графъ Кальноки, во время его двухдневныхъ совѣщаній съ княземъ Бисмаркомъ въ Фридрихсруэ (16—18 сент. н. ст.). Въ болгарскомъ вопросѣ предстоитъ, повидимому, продолжительное затишье.

На 27-е сентября (9 окт.) назначены выборы въ болгарское народное собраніе, которое должно открыть свои занятія въ половинѣ октября. Правители надѣются возстановить обычное теченіе политической жизни въ странѣ; отъ хода и результата предстоящихъ выборовъ будетъ отчасти зависѣть степень осуществимости этой надежды.

Парламентская сессія въ Англіи закрыта 16-го (4) сентября обыкновенною тронною рѣчью, въ которой по обыменовенію указываются второстепенныя предположенія и ожидаемые успѣхи правительства, но очень глухо упоминаются „нужды и бѣдствія Ирландіи“, озабочивающія министровъ.

Въ дѣйствительности ирландскій кризисъ давно уже не достигалъ такой степени напряженности, какъ нынѣ. Торійскій кабинетъ провѣлъ въ палатѣ суровый билль о преступленіяхъ въ Ирландіи,—87-ой билль такого рода въ теченіе столѣтія. Въ „прокламаціи“, отъ 19-го августа, объявлена была незаконною извѣстная „національная лига“;

руководимая Парнеллемъ и заправляющая всѣмъ политическимъ и поземельнымъ движеніемъ ирландцевъ. Въ силу этой прокламаціи предоставлено ирландскому вице-королю закрывать отдѣленія лиги въ тѣхъ или другихъ мѣстностяхъ, по его усмотрѣнію. Гладстонъ предложилъ палатѣ общинъ обратиться къ королевѣ съ адресомъ по поводу этого чрезвычайнаго акта, не вызываемаго обстоятельствами; но послѣ двухъ-дневныхъ горячихъ преній, въ которыхъ участвовали наиболѣе выдающіеся представители обѣихъ партій, парламентъ, въ засѣданіи 26-го (14) августа, высказался въ пользу правительства большинствомъ 78 голосовъ (272 противъ 194). Одинъ изъ популярныхъ ирландскихъ членовъ парламента, О'Бриенъ, былъ вызванъ 9-го сентября въ судъ за произнесеніе „возмутительныхъ“ рѣчей, и судебная власть признала его подлежащимъ аресту; по этому поводу въ Митчельстоунѣ—мѣстѣ пребыванія суда—собрался многочисленный митингъ, который закончился кровавою схваткою съ англійскими констеблями. Полиція хотѣла силой пробить дорогу официальному стенографу, котораго не пропускала толпа, и, не успѣвши въ этой попыткѣ, совершила настоящее нападеніе на собравшихся: трое ирландцевъ убито и многіе ранены. Множество стычекъ съ полиціею происходитъ почти ежедневно въ разныхъ мѣстахъ Ирландіи, при насильственномъ выселеніи фермеровъ и поселянъ изъ занимаемыхъ ими участковъ, по требованію землевладѣльцевъ, въ виду неплатежа ренты.

Эти выселенія, въ которыхъ англійскіе констебли играютъ главную роль исполнителей, совершаются иногда при самыхъ тагостныхъ условіяхъ: изъ хижинъ выгоняются люди, которыхъ отцы и дѣды воздѣлывали данную землю, которые родились въ своей хатѣ и привыкли считать ее своею,—выгоняются только за то, что не имѣютъ возможности вносить установленную арендную плату. Нерѣдко больные и дряхлые выводятся изъ жилищъ и обрекаются на вѣрную гибель; и англійскія власти должны исполнять эти безчеловѣчныя распоряженія лэндлордовъ, издали слѣдящихъ за охраною ихъ правъ собственности. На основаніи поземельнаго закона 1881 г. рента значительно понижена судебными комиссіями въ большей части ирландскихъ имѣній; но на дѣлѣ земля не даетъ почти никакого чистаго дохода, и большинство мелкихъ фермеровъ остается въ неоплатномъ долгу у помѣщиковъ, подвергаясь опасности принудительнаго выселенія. Какъ указалъ сэръ Джемсъ Кэрдъ въ 1885 г., рента вовсе не добывается въ 500.000 арендныхъ участкахъ Ирландіи, дающихъ только скудные средства пропитанія фермерамъ и ихъ семействамъ, такъ что лэндлорды берутъ себѣ часть необходимаго заработка, а не дохода поселянъ.

Далеко не всѣ землевладѣльцы поступаютъ столь круто относительно несчастныхъ ирландскихъ бѣдняковъ; но достаточно повторенія систематическихъ изгнаній въ той или другой области, въ болѣе или менѣе крупныхъ размѣрахъ, чтобы ненависть къ англичанамъ росла и доходила до безпощадной жажды мести. Ночныя убійства, смертныя приговоры людямъ, содѣйствующимъ выселенію или занимающимъ фермы изгнанныхъ поселанъ, запрещеніе всякихъ человѣческихъ сношеній съ нарушителями поземельныхъ правъ ирландца, общее рѣшеніе не вносить ренты выше предположенной нормы или даже прекратить всякіе арендные платежи,—все это обычныя орудія ирландской борьбы, которая вообще не даетъ жить спокойно англичанамъ. Могущественною силою въ рукахъ ирландскихъ дѣятелей служила національная лига, располагающая громадными средствами, значительная часть которыхъ доставляется изъ Америки. Лига имѣетъ свои отдѣленія во всѣхъ городахъ и мѣстечкахъ Ирландіи; такихъ отдѣленій насчитывается болѣе 1.200. Чтобы сломить эту крѣпкую общенародную организацію, необходимо было бы, по словамъ одного изъ ирландскихъ ораторовъ, брать приступомъ каждую ирландскую деревню и каждое ирландское жилище. Этой системѣ національной самозащиты рѣшительно объявлена война торійскимъ министерствомъ. Въ сотый и тысячный разъ повторяются тѣ же мѣры насилія и принужденія, вызывая новые порывы возмездія со стороны ирландцевъ. Съ министерской трибуны опять раздаются категорическіе доводы въ пользу неуклоннаго возстановленія порядка и законности въ странѣ, причемъ порядкомъ и законностью признается установленное владычество лэндлордовъ надъ землями туземнаго сельскаго населенія. Членъ парламента О'Бріенъ арестованъ, какъ ранѣе былъ арестованъ Парнеллъ; будетъ произведено еще много арестовъ, произойдетъ еще не мало кровавыхъ столеновеній и погибнетъ не мало жертвъ, и въ концѣ концовъ ирландскій вопросъ окажется въ гораздо худшемъ видѣ, чѣмъ былъ онъ до министерства Сольсбери. Когда будетъ пройденъ обычный путь энергическаго воздѣйствія и въ результатѣ получится лишь безнадежное состояніе взаимной непримиримой злобы, — тогда снова настанетъ очередь справедливыхъ реформъ, за которыя съ такимъ благороднымъ и несокрушимымъ самоотверженіемъ ратуетъ великій старецъ Гладстонъ.

Министерство лорда Сольсбери дѣйствуетъ, впрочемъ, не только отрицательно въ области ирландскаго вопроса. Оно пытается облегчить положеніе фермеровъ при помощи новаго закона, построеннаго на тѣхъ же началахъ, какъ и земельный билль 1881 года. Въ то же время въ палатѣ обсуждался законъ о выдѣлѣ поземельныхъ участковъ сельскихъ рабочихъ въ Англіи, при участіи мѣстныхъ управ-

лений. Но Ирландія не перестаетъ служить театромъ насилій и произвола, пока возможны будутъ выселенія фермеровъ при участіи англійскихъ констэблей и пока вообще въ предѣлахъ Ирландіи будутъ распоряжаться ненавистные туземцамъ англичане.

Удивительнымъ фактомъ остается то обстоятельство, что бывшіе либералы и даже радикалы, съ Чамберленомъ во главѣ, поддерживаютъ ирландскую политику торіевъ, подъ предлогомъ опасности распадѣнія государственнаго единства въ случаѣ принятія проекта ирландской автономіи. Министерство лорда Сольсбери держится только благодаря союзу съ группою „уніонистовъ“, отдѣлившись отъ Гладстона. Нѣкоторая часть этой группы, руководимая маркизомъ Гартингтономъ, стоитъ гораздо ближе къ консерваторамъ, чѣмъ къ либераламъ; она, вѣроятно, и сольется со временемъ съ передовыми элементами торійской партіи. Что касается такъ-называемыхъ радикаловъ, то ихъ неестественная связь съ торіями имѣетъ временный характеръ и порвется, безъ сомнѣнія, при первомъ удобномъ случаѣ: составятъ ли они тогда особую партію, или воссоединятся съ послѣдователями Гладстона — сказать трудно. Болѣе правильное распредѣленіе партій можетъ установиться лишь послѣ того, какъ сойдетъ со сцены постоянный предметъ раздоровъ — злостастный ирландскій вопросъ.

Парламентскія вакаціи будутъ продолжаться еще въ Англіи до 30 ноября, въ Германіи — до 22-го числа того же мѣсяца, во Франціи — до 18-го октября (нов. стил.). Такъ-называемый европейскій миръ можетъ быть нарушенъ и въ каникулярное время, но ничто не даетъ теперь повода опасаться серьезныхъ замѣшательствъ въ ближайшемъ будущемъ.

Пробный опытъ мобилизаціи одного изъ французскихъ корпусовъ окончился вообще удачно и произвелъ успокоительное впечатлѣніе на мнительныхъ патріотовъ Франціи, указавъ и на недостатки, требующіе дальнѣйшихъ усилій военнаго управленія. Слѣпой шовинизмъ не нашелъ себѣ пищи ни въ примѣрныхъ дѣйствіяхъ 17-го корпуса, ни въ результатахъ маневровъ 9-го корпуса, которыми, по обыкновенію, чрезвычайно интересовались французскія газеты. Маневры ознаменовались однимъ изъ тѣхъ случаевъ, которые бросаютъ тѣнь на прочность дисциплины въ высшихъ рангахъ арміи: цѣлая кавалерійская бригада оставалась въ полномъ бездѣйствіи изъ-за того, что командовавшій ею генералъ находилъ для себя обиднымъ подчиняться распоряженіямъ лица, оказавшагося его начальникомъ. Виновный генералъ отчисленъ отъ дѣйствительной службы, но самый фактъ

умышленного бездѣйствія изъ-за личныхъ счетовъ напомнилъ публикѣ примѣры печальнаго прошлаго и былъ тѣмъ болѣе непріятенъ для военной администраціи, что случился на глазахъ иностранныхъ наблюдателей, военныхъ агентовъ европейскихъ державъ. Конечно, можно сослаться и на генераловъ, противодѣйствовавшихъ знаменитому маршалу Тюренну при Людовикѣ XIV, съ вѣдома военнаго министра Лува, и на бездѣйствіе Бернадотта вслѣдствіе разлада съ маршаломъ Даву при Ауерштедтѣ, и на другіе историческіе факты подобнаго рода; и однако газета „Темпе“, приводящая эти примѣры, признаетъ необходимымъ вырвать съ корнемъ зло несогласій и соперничества между начальствующими лицами въ арміи.

Миролюбивая сдержанность французовъ не поколеблена военными опытами, произведенными генераломъ Феррономъ; она не измѣнилась также подъ вліяніемъ новаго пограничнаго инцидента, происшедшаго 24-го (12) сентября по винѣ германскихъ властей. Нѣсколько французовъ, приглашенныхъ на охоту мѣстнымъ землевладѣльцемъ и находившихся безспорно на французской территоріи, подверглись ружейнымъ выстрѣламъ нѣмецкаго солдата: пули—какъ выражаются теперь офиціозныя берлинскія газеты—„достигли своей цѣли“, въ лицѣ двухъ изъ чѣмъ не повинныхъ жертвъ. Одинъ убитъ наповалъ, а другой, драгунскій офицеръ, тяжело раненъ въ ногу. По нѣмецкому объясненію, солдатъ сталъ стрѣлять лишь послѣ установленнаго троекратнаго окрика; онъ принялъ охотниковъ за браконьеровъ и полагалъ, что они ищутъ дичи на германской землѣ. Такія ошибки возможны; но если онѣ имѣютъ результатомъ убійство, то легкое отношеніе къ нимъ крайне неумѣстно, и въ этомъ случаѣ нѣкоторыя вліятельныя газеты Берлина вели себя съ непростительнымъ цинизмомъ. Еслибы французскій солдатъ убилъ нѣмца, вся германская печать прониклась бы, безъ сомнѣнія, воинственнымъ азартомъ и обвиняла бы Францію въ вызывающемъ образѣ дѣйствій; теперь нѣмецкія газеты не видятъ какъ будто ничего особеннаго ни въ захватѣ французскаго чиновника Шнебелэ, ни въ стрѣльбѣ нѣмецкаго солдата черезъ границу,—и виновною въ шовинизмѣ остается все-таки Франція, столь терпѣливо переносящая систематическіе и грубые нѣмецкіе вызовы. Берлинскія газеты *оправдываютъ* поступокъ нѣмецкаго стрѣлка совершенно неприличными доводами и натяжками. Убитый французъ, поднятый на французской землѣ въ восьми метрахъ отъ границы, былъ будто бы застигнутъ пулей на нѣмецкой территоріи, и „вѣроятно“ онъ самъ уже доползъ до своего мѣста,—пожалуй нарочно для того, чтобы ввести людей въ заблужденіе. Французскіе браконьеры обращаются будто бы жестоко съ нѣмецкими лѣсными стражами, хотя никакихъ объ этомъ свѣдѣній не было со-

общаемо раньше; германскій стрѣлокъ будто бы предупреждалъ охотившихся надлежащими возгласами, которыхъ никто, однако, не слышалъ, и онъ имѣлъ будто бы право стрѣлять послѣ такого предупрежденія. Но о чемъ онъ предупреждалъ и почему нужно было застрѣлить человѣка, не слышавшаго окрика, — остается непонятнымъ. Допустимъ даже, что стрѣлокъ видѣлъ предъ собою людей, занятыхъ незаконною охотою въ нѣмецкомъ лѣсу; неужели онъ долженъ былъ поэтому пустить въ нихъ подъ-рядъ три пули, прицѣливаясь въ нихъ аккуратно, какъ въ дичь? И оправданіемъ должно служить заявленіе, что „пули достигли цѣли на германской территоріи“? Стрѣлять въ спины людей, ничего подобнаго не ожидающихъ и не имѣющихъ въ виду ни борьбы, ни сопротивленія, — считается гнуснымъ и на войнѣ; и если нѣмецкій солдатъ способенъ на такое дѣйствіе, ложно понимая свои инструкціи, то формальная точка зрѣнія этого солдата не должна бы находить отголосокъ въ нѣмецкой печати. Инцидентъ будетъ, разумѣется, улаженъ мирнымъ дипломатическимъ способомъ, но произведенное имъ впечатлѣніе изгладится не скоро, благодаря своеобразнымъ оправдательнымъ попыткамъ нѣкоторыхъ германскихъ газетъ.

Политика министерства Руве имѣетъ, по существу своему, мирный характеръ; она вращается главнымъ образомъ около финансовыхъ сокращеній и реформъ. Въ бюджетѣ на будущій годъ сдѣлана крупная экономія въ 129 милліоновъ франковъ; въ новыхъ налогахъ, предложенныхъ прежнимъ кабинетомъ, не предвидится надобности, и только система обложенія спиртныхъ напитковъ будетъ преобразована болѣе или менѣе радикально, для чего составлена особая внѣпарламентская коммиссія, подъ предсѣдательствомъ извѣстнаго экономиста, сенатора Леона Сая. Правительство стремится достигнуть нѣкотораго упрощенія администраціи; министръ внутреннихъ дѣлъ Фалльеръ выработалъ проектъ, которымъ будетъ упразднено болѣе 60 совѣтовъ префектуры въ департаментахъ. Вообще въ заботахъ нынѣшняго министерства преобладаетъ сторона дѣловая, прозаическая. Внести въ политику элементъ поэзіи пытался графъ Парижскій, въ любопытномъ манифестѣ, обнародованномъ 15-го (3) сентября.

Въ этомъ документѣ, имѣющемъ видъ „инструкцій представителямъ монархическихъ партій во Франціи“, излагаются не только обычные доводы противъ республики, но и дается монархіи новый принципъ, заимствованный отъ бонапартистовъ. Необходимо, по словамъ графа Парижскаго, „возродить историческую традицію свободнымъ соглашеніемъ между націею и фамиліею, представляющею собою эту традицію: этотъ старинный договоръ будетъ возстановленъ, отъ имени Франціи, или учредительнымъ собраніемъ, или народнымъ го-

лосованіемъ“. Претендентъ отдаетъ предпочтеніе плебисциту, какъ „формѣ болѣ торжественной или соотвѣтствующей значенію акта, который не долженъ быть повторенъ вновь“. Бонапартисты негодуютъ по поводу этого „плагіата“: они считали плебисцитъ своимъ законнымъ достояніемъ и главнѣйшимъ шансомъ успѣха въ будущемъ. Графъ Парижскій обѣщаетъ сохранить всеобщую подачу голосовъ, ослабить всемогущество палаты депутатовъ, поднять авторитетъ Франціи въ Европѣ и возбудить вопросъ объ облегченіи военнаго бремени по взаимному согласію европейскихъ правительствъ. Нѣтъ ничего легче какъ давать широкія обѣщанія, чтобы завладѣть властью; но человѣкъ, не имѣвшій еще случая доказать свои способности въ политикѣ и въ управленіи, долженъ былъ бы съ меньшею самоувѣренностью говорить о своихъ политическихъ задачахъ и намѣреніяхъ. Пока французской печати данъ интересный матеріалъ для разсужденій и споровъ. Даже монархисты не думаютъ, что принатіе идеи плебисцита можетъ приблизить воцареніе буржуазной династіи, извѣстной своею непопулярностью въ массѣ французскаго населенія. Между сторонниками монархіи поддерживается разладъ, позволяющій республиканцамъ не обращать особеннаго вниманія на заявленія, подобныя манифесту графа Парижскаго. Странѣ не предстоитъ государственные перевороты, пока враждебныя республикѣ партіи борются между собою и обнаруживаютъ коренныя разногласія среди своихъ собственныхъ парламентскихъ группъ.



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го октября 1887.

— *М. Н. Катковъ*, 1863 годъ. Собраніе статей по польскому вопросу, помѣщавшихся въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, „Русскомъ Вѣстникѣ“ и „Современной Лѣтописи“. Выпускъ первый, Москва, 1887.

Книга, заглавіе которой мы выписали, составляетъ, по всей вѣроятности, первый томъ полнаго собранія сочиненій М. Н. Каткова. Говоримъ: *по всей вѣроятности*, потому что ей не предпослано никакого предисловія; издатели не сочли нужнымъ познакомить публику съ своими намѣреніями, съ планомъ изданія. Это не единственная странность книги, не единственный пробѣлъ ея. Она общаетъ дать статьи Каткова, а наполняется почти на треть (болѣе двухсотъ страницъ изъ 662) матеріаломъ совершенно другого рода: официальными актами, корреспонденціями изъ Вильно и Варшавы, статьями постороннихъ сотрудниковъ и т. п. Уже на самой первой страницѣ мы находимъ статью Щебальскаго, неизвѣстно почему и для чего попавшую въ сборникъ статей Каткова. Издатели не потрудились даже приложить оглавленія къ объемистому тому, какъ не потрудились объяснить, отчего изданіе начато прямо съ 1863 г., отчего оставлены въ сторонѣ первыя семь лѣтъ журнальной дѣятельности Каткова. Одною торопливостію всего этого оправдать нельзя, если и допустить, что торопливость была необходима; къ изданію сочиненій И. С. Аксакова также было приступлено очень скоро послѣ его смерти, но оно не страдаетъ ни однимъ изъ указанныхъ нами недостатковъ ¹⁾.

¹⁾ Замѣтимъ мимоходомъ, что изданіе сочиненій Аксакова, гораздо болѣе удовлетворительное въ типографскомъ отношеніи, чѣмъ первый томъ сочиненій Каткова, стоитъ гораздо дешевле: по 1 руб. 50 коп. за каждый огромный томъ за исключеніемъ напечатанныхъ на зеленой бумагѣ, между тѣмъ, какъ первый выпускъ статей Каткова продается по три рубля.

Вмѣсто того, чтобы увеличивать объемъ сборника перепечаткой дипломатическихъ депешъ и случайныхъ корреспонденцій, не мѣшало бы, кажется, подумать о способахъ введенія его въ болѣе тѣсныя границы. Вышедшій томъ обнимаетъ собою только *восемь тысячъ* и содержитъ въ себѣ только статьи по *одному* вопросу; сколько же понадобится томовъ, чтобы перепечатать *все* написанное Катковымъ или другими при его жизни, въ продолженіе слишкомъ тридцати или хотя бы только двадцати-пяти лѣтъ (съ 1863 г.)? Вѣдь ихъ наберется, пожалуй, нѣсколько десятковъ. Насколько недоступно будетъ для большинства читателей приобрѣтеніе такого громаднаго числа томовъ, настолько же трудно будетъ и ознакомленіе съ ними, и изданіе не приведетъ къ желанной цѣли. Едва ли можно будетъ, слѣдовательно, обойтись безъ *выбора* статей; но какъ избѣжать произвола въ выборѣ, какъ достигнуть того, чтобы сокращенія и выпуски не исказили литературную физіономію покойнаго писателя. Вотъ вопросъ, необходимо требующій отвѣта, а отвѣтъ сдѣлается возможнымъ только тогда, когда издатели отнесутся совсѣмъ иначе къ начатому ими дѣлу. Къ содержанію статей, вошедшихъ въ составъ перваго тома, мы еще возвратимся.

— О. К. Андерсонъ. Г. Э. Лессингъ, какъ драматургъ. Спб., 1887.

Лессингъ принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, изученіе которыхъ всегда полезно и интересно. Чѣмъ больше книгъ, ему посвященныхъ, появляется на русскомъ языкѣ, тѣмъ лучше. Съ этой точки зрѣнія мы готовы привѣтствовать и трудъ г. Андерсона; но особенно цѣннымъ или оригинальнымъ его признать нельзя. Слишкомъ подробно излагая содержаніе драматическихъ произведеній Лессинга, авторъ даетъ скорѣе рядъ рецензій, чѣмъ цѣльную характеристику великаго писателя. Онъ ограничивается иногда повтореніемъ взглядовъ Лессинга, не подвергая ихъ никакой критической оцѣнкѣ. Со стороны Лессинга ожесточенная борьба противъ французской классической или псевдо-классической трагедіи была совершенно понятна и неизбѣжна. Ему нужно было сломить авторитетъ, тяготѣвшій надъ молодымъ нѣмецкимъ искусствомъ, мѣшавшій его свободному полѣту. Въ стремленіи къ этой цѣли онъ не разбиралъ средствъ, не могъ и не хотѣлъ быть безпристрастнымъ. Его работа не прошла безслѣдно. Идолопоклонству передъ мнимо-совершенными образцами давно насталъ конецъ; французскій классицизмъ низведенъ съ своего пьедестала, но это еще не значитъ, чтобы онъ былъ повергнутъ въ прахъ и пораженъ, какъ выражается г. Андерсонъ, „смертельнымъ ударомъ“.

Напротивъ того, онъ сдѣлался предметомъ спокойнаго изслѣдованія, и оно открыло въ немъ несомнѣнныя своеобразныя красоты. Авторъ разбираемой нами книги опаздываетъ на цѣлое столѣтіе, усвоивая себѣ безусловно-отрицательное отношеніе Лессинга къ Корнелю. Не странно ли встрѣтить, послѣ трудовъ Тэна и всей новѣйшей французской критики, такое опредѣленіе классической трагедіи: „все дышитъ въ ней искусственностью: напыщенный языкъ, неестественность чувствованій и поступковъ, отсутствіе живой характеристики лицъ, запутаннѣйшая интрига. Все отличается такой холодной правильностью, что даже характеры очерчиваются по выработанному шаблону. Живыхъ людей, въ которыхъ обыкновенно смѣшаны различныя черты, во французскихъ трагедіяхъ нельзя встрѣтить“. Итакъ, Федра или Гоеолія Расина—не живыя лица?.. Хорошо еще, еслибы, рядомъ съ недостатками французской трагедіи, у г. Андерсона были указаны ея достоинства; но нѣтъ, ничего подобнаго мы у него не находимъ, потому что ничего подобнаго нѣтъ у Лессинга. Лессингъ-драматургъ въ глазахъ автора значить меньше, чѣмъ Лессингъ-критикъ; нѣкоторыя слабыя стороны „Эмилии Галотти“ и „Натана“ подмѣчены г. Андерсономъ совершенно вѣрно. Едва ли онъ правъ, однако, когда сѣтуетъ на *недраматичность* „Натана“. Драматическая форма допускаетъ безконечное разнообразіе, и философская драма имѣетъ такое же право на существованіе, какъ и всякая другая. „Натанъ“ выдержалъ самую лучшую пробу—пробу времени; прошло болѣе ста лѣтъ, а онъ не только читается по прежнему, но и не исчезаетъ изъ нѣмецкаго драматическаго репертуара... Весьма жаль, что г. Андерсонъ не познакомился съ нападеніями Дюринга на Лессинга; они, болѣею частью, крайне несправедливы, но необходимо имѣть ихъ въ виду, какъ яркій контрастъ обычному въ нѣмецкой литературѣ восхваленію Лессинга. Укажемъ, въ заключеніе, одну небольшую ошибку автора. Одно изъ дѣйствующихъ лицъ „Минны фонъ-Барнгельмъ“, французъ Рикко, говоритъ, если вѣрить г. Андерсону, о своей службѣ въ *Соединенныхъ Штатахъ*. Это было бы болѣе чѣмъ странно, такъ какъ „Минна фонъ-Барнгельмъ“ вышла въ свѣтъ въ 1767 г., а Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты—соединенное государство, называемое этимъ именемъ—существуютъ лишь съ конца семидесятыхъ годовъ. Рикко служилъ *Генеральнымъ Штатамъ* (Staaten-General), т. е. нидерландскому правительству.

— М. Бродовскій. Искусство устнаго изложенія (чтеніе вслухъ, декламация, ораторская рѣчь и проч.). Спб., 1887.

Цѣль этой небольшой книги, по словамъ автора, двоякая: доказать, что искусство хорошаго устнаго изложенія не дается природой, а приобрѣтается изученіемъ и можетъ быть предметомъ преподаванія, и затѣмъ снабдить „эстетически развитыхъ людей“ такими теоретическими познаніями, примѣненіе которыхъ, путемъ практическихъ упражненій, могло бы дать способность художественно говорить и читать вслухъ. Первая мысль автора не нова; она является повтореніемъ стариннаго афоризма: *oratores fiunt, poetae nascuntur*—афоризма, который можетъ быть принятъ не иначе, какъ съ большими оговорками. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что ораторское искусство можетъ быть выработано, усовершенствовано, отшлифовано, какъ драгоценный камень; но столь же безспорно, въ нашихъ глазахъ, и то, что иногда можно обойтись безъ этой работы—и что ея успѣхъ возможенъ только на благодарной почвѣ, при благодарномъ матеріалѣ. Ораторомъ можно сдѣлаться, но можно и родиться. Однимъ ораторское искусство—и точно также искусство декламации, выразительнаго чтенія—дается почти само собою, сразу, безъ продолжительныхъ упражненій; для другихъ оно совершенно недоступно, сколько бы они ни положили на его приобрѣтеніе упорныхъ, добросовѣстныхъ усилій. Для оцѣнки труда г. Бродовскаго это, впрочемъ, вопросъ второстепенный; гораздо важнѣе опредѣлить, можетъ ли искусство устнаго изложенія быть почерпнуто изъ *книги* вообще—и изъ книги г. Бродовскаго въ особенности. Мы должны признаться, что эта возможность для насъ болѣе чѣмъ сомнительна. Небезполезными могутъ оказаться развѣ кое-какія фیزیологическія свѣденія, сообщаемыя авторомъ, но для приобрѣтенія ихъ гораздо лучше обратиться къ первому источнику, т.-е. къ учебнику фیزیологіи. Все остальное безсильно замѣнить *примѣръ*, т.-е. живую рѣчь, *слушаніе* которой несомнѣнно имѣетъ большое педагогическое значеніе. Что могутъ заимствовать читатели хотя бы изъ такого опредѣленія „символическаго художественнаго акцента“: „этотъ акцентъ долженъ изображать, рисовать звуками голоса смыслъ слова такъ, чтобы понятіе, заключающееся въ этомъ словѣ, представлялось ясно воображенію слушателя въ видѣ какого-нибудь образа“? Неужели это можетъ *научить* кого-либо художественной передачѣ своихъ или чужихъ мыслей?.. Помимо неопредѣленности, зависящей отъ самой сущности предмета, наставленія г. Бродовскаго часто страдаютъ преувеличеніями, натяжками или отличаются полнѣйшею банальностью. Символическій акцентъ, по словамъ автора, „долженъ образно рисовать всѣ вообще

представленія нашихъ пяти чувствъ, всѣ отвлеченныя понятія; онъ долженъ сдѣлать возможнымъ для образнаго созерцанія всякій видимый физическій процессъ, совершающійся въ природѣ. Слова: зеленѣть, цвѣсти, благоухать, расти и т. п. нужно произносить такъ, чтобы каждое изъ нихъ возбуждало въ слушателяхъ „образное представленіе“.—Ораторѣмъ, кто послѣдовалъ бы этому совѣту; ихъ неизбѣжнымъ удѣломъ стала бы аффектація, претенціозность, и даже въ лучшемъ случаѣ слушателямъ ихъ не былъ бы видѣнъ лѣсъ изъ-за отдѣльно показываемыхъ деревьевъ. „Читать, какъ стихи, такъ и прозу, нужно или сидя, или стоя, по книгѣ или наизусть. Стихи лучше читать стоя и наизусть; болѣе крупныя поэтическія произведенія удобнѣе читать сидя и по книгѣ“. Неужели авторъ придаетъ какое-либо значеніе подобнымъ указаніямъ? Неужели онъ не понимаетъ, что все зависитъ здѣсь отъ личныхъ особенностей и привычекъ читающаго? Если я не устаю отъ долгаго стоянія, зачѣмъ же мнѣ садиться при чтеніи длиннаго стихотворенія? Если я увѣренъ въ своей памяти, зачѣмъ мнѣ прибѣгать къ помощи книги?.. Есть у г. Бродовскаго и такіе совѣты, которые невольно вызываютъ улыбку. „При чтеніи сидя не слѣдуетъ дѣлать никакихъ движеній руками; при устной передачѣ стоя и наизусть *два-три* умѣстныхъ плавныхъ движенія *правой рукою* въ теченіе всей передачи еще допустимы, *но никакъ не больше*“. Въ самомъ дѣлѣ? И это правило должно оставаться въ силѣ, хотя бы „передача“ продолжалась полчаса или цѣлый часъ? Развѣ слушатели считаютъ движенія чтеца и начинаютъ чувствовать себя неловко именно при четвертомъ его жестѣ? Развѣ можетъ считать свои движенія самъ чтецъ, увлекающійся чтеніемъ?.. Отъ многихъ другихъ рекомендацій автора еще менѣе поздоровится тому, кто вздумалъ бы руководствоваться ими. Таковы, напримѣръ, слѣдующіе совѣты оратору: „ораторская рѣчь обращается къ разуму (а къ чувству ей запрещено обращаться?)... говорить нужно въ умѣренномъ темпѣ (а если увлеченіе невольно, въ иныхъ мѣстахъ, ускоряетъ рѣчь, если она задерживается, въ другихъ, желаніемъ глубоко заронить въ душу слушателей каждое слово?)... ораторская рѣчь должна быть самоувѣренная (!), съ тономъ нѣкотораго скромнаго превосходства надъ слушателями“ (представимъ себѣ хотя бы земское собраніе или думу, въ которыхъ каждый гласный, въ моментъ произнесенія рѣчи, выставлялъ бы на видъ свое превосходство надъ всѣми остальными!). Всего болѣе понравилась намъ въ книгѣ г. Бродовскаго слѣдующая фраза: „личныя наблюденія за естественнымъ выраженіемъ различныхъ чувствъ и ощущеній, а также чтеніе вслухъ лирическихъ и драматическихъ произведеній не только дадутъ возможность изучить разнообразныя интонаціи для выраженія разно-

образныхъ чувствъ, но и покажутъ, до какихъ границъ можно доходить при устной передачѣ страстей и чувствъ, чтобы не переходить границъ изящнаго и не истощаться физически“. Авторъ здѣсь совершенно правъ—только не заключается ли въ этихъ словахъ приговоръ надъ всей его книгой?—К. К.

— *О естественныхъ предѣлахъ народовъ и государствъ.* Политико-географическое изслѣдованіе по вопросу о войнѣ и мирѣ. Съ приложеніемъ трехъ картъ Спб., 1887.

Неизвѣстный авторъ придумалъ весьма несложный способъ для устраненія войнъ на будущее время: между государствами должны быть проведены новыя границы,—по возможности прямолинейныя,—которыя точно указаны на трехъ приложенныхъ къ книгѣ картахъ. Заботясь о всеобщемъ мирѣ, авторъ отдаетъ Бельгію и Голландію нѣмцамъ, Швейцарію—тремъ сосѣднимъ державамъ, а весь Балканскій полуостровъ, включая Румынію и Константинополь, — австрійцамъ. Такимъ же образомъ авторъ предлагаетъ распорядиться и въ Азіи, гдѣ между прочимъ создаются особыя государства изъ русскихъ владѣній на Амурѣ, въ Туркестанской области съ прикаспійскимъ краемъ и въ Закавказьѣ. Уже изъ этого произвольнаго распредѣленія странъ и народовъ можно видѣть, что мы имѣемъ дѣло съ проектомъ совершенно несерьезнымъ. И однако авторъ написалъ цѣлую книгу, въ 228 страницъ, для разработки своего плана во всѣхъ его подробностяхъ, и это обстоятельство заставляетъ насъ обратить вниманіе на его своеобразный трудъ.

Разсужденіе автора о ненужности войнъ и о тяжести военныхъ бюджетовъ не представляетъ, конечно, ничего новаго; но оно было бы болѣе убѣдительно, еслибы самъ авторъ обнаруживалъ больше миролюбія относительно нѣкоторыхъ народовъ, обрекаемыхъ имъ почему-то на гибель. Нѣмцамъ приписывается вѣра въ будущее распространеніе ихъ „на Балканскій полуостровъ и Россію, отсюда въ Азію, изъ Азіи въ Америку, а изъ Америки на луну (?)“. Въ Германіи существуетъ будто бы „цѣлая фаланга самодуровъ, сочинившихъ Drang nach Osten“, и это стремленіе на Востокъ названо въ другомъ мѣстѣ „наглымъ“ (стр. 2, 12). А между тѣмъ авторъ хочетъ сдѣлать для нѣмцевъ то, о чемъ они сами не смѣютъ и мечтать:—онъ бросаетъ имъ въ жертву всѣ балканскія земли, упразднивъ безъ всякихъ церемоній самостоятельное существованіе Сербіи, Болгаріи, Румыніи и европейской Турціи, въ видахъ созданія новой южно-славянской Австріи. Говоря о границахъ государствъ, авторъ руководствуется лишь физическими условіями различныхъ странъ и не

принимаетъ въ расчетъ ни этнографическаго состава населенія, ни стремленій и интересовъ жителей. По его мнѣнію, „только то государство прочно и имѣетъ шансы на дальнѣйшее существованіе, которое болѣе или менѣе совпадаетъ съ отдѣльной изолированной страной,—точно также и народъ; остальные, второстепенныя государства и народы самою природою обречены на слитіе съ главными, преобладающими; пока же они не слились, между ними необходимо будетъ происходить неудержимое стремленіе къ этому, взаимное или одно-стороннее, которое рано или поздно должно будетъ увѣнчаться полнымъ успѣхомъ“ (стр. 41). Такъ, напримѣръ, еслибы Нидерланды не пожелали присоединиться къ германской имперіи, то „Германія была бы совершенно права въ употребленіи силы, потому что съ естественной точки зрѣнія устья Шельды и Рейна для нея гораздо нужнѣе, чѣмъ для Нидерландовъ (?!), такъ какъ они служатъ портомъ (?) на $\frac{9}{10}$ для Германіи, и только на $\frac{2}{10}$ для самихъ Нидерландовъ“ (стр. 43). Авторъ стѣсняется еще относительно мадьяръ, которымъ пришлось бы отвести подчиненное мѣсто въ австрійско-славянской державѣ. Но и въ этомъ случаѣ „неизбѣжно насиліе“, ибо „одинъ народъ, хотя бы даже и болѣе значительный, чѣмъ венгры, ничто предъ вѣчностью (!) и остановить естественный ходъ событій онъ не можетъ“ (стр. 47). Авторъ старается смягчить свой суровый приговоръ нѣкоторымъ подобіемъ остроумія. „Если ужъ,—философствуетъ онъ,—изъ любви къ древностямъ оставлять нетронутыми венгровъ и румынъ,—то отчего бы для музея не оставить также финновъ, эстовъ, латышей, литовцевъ и т. д.? Для каждаго изъ этихъ народовъ можно бы отмежевать по уголку земли, а для археологій они навѣрное представили бы не меньше интереса, чѣмъ венгры или румыны. Но при такомъ пристрастіи къ музеямъ пришлось бы слишкомъ дорого платить за не совсѣмъ цѣнные экспоненты (??): чтобы удержать эти экспоненты (sic) отъ химическаго разложенія вслѣдствіе разрушительнаго вліянія сосѣдней атмосферы, потребовались бы большія издержки на вентиляцію и спиртъ (!)“.

Исправляя границы государствъ, авторъ просто проводитъ на бумагѣ прямую линію отъ какихъ-нибудь горъ до ближайшаго моря: его не останавливаютъ при этомъ ни естественныя, ни національныя преграды, которыхъ на картѣ и не видно. Для автора ничего не стоитъ отрѣзать къ Германіи территорію съ полутора-милліоннымъ французскимъ населеніемъ или присоединить къ Франціи 875.000 фламандцевъ (стр. 81—83); при этомъ „нѣкоторой части французовъ или нѣмцевъ придется перемѣнить свой языкъ и применить къ другой національности,—что можетъ совершиться даже черезъ нѣсколько поколѣній, — но зато граница будетъ представлять удобства „крат-

чайшаго разстоянія" между Нѣмецкимъ моремъ и Вогезами. Раздѣлъ Швейцаріи между Германією, Францією и Италією производится также посредствомъ прямыхъ линій. „Ради прямизны“ пограничной черты, Россія уступаетъ нѣмцамъ часть Польши съ городомъ Калишемъ (!), а нѣмцы уступятъ намъ прусскую территорію съ двумя милліонами жителей, за что будутъ щедро вознаграждены въ другихъ мѣстахъ. Нужно, по мнѣнію автора, примѣняться „къ современнымъ политическимъ обстоятельствамъ, когда нѣмецъ сильно задралъ носъ вверхъ и ужасно какъ важничаетъ“. Прежде мы были въ дружбѣ съ нѣмцами; „только послѣ франко-русской войны нѣмцы вдругъ ошалѣли и на берлинскомъ конгрессѣ поступили съ русскими не по пріятельски. Натурально, что русскіе обидѣлись на нѣмцевъ. Но вскорѣ тѣ и другіе поняли, что ссориться имъ не пристало“ (стр. 117). „Вотъ и разговаривай тутъ съ нѣмцемъ, когда ему и море по колено“, — замѣчаетъ авторъ въ другомъ мѣстѣ. Но онъ готовъ на уступки, „въ угоду нѣмцамъ“; только Данцига онъ не можетъ оставить за ними, ибо въ противномъ случаѣ „Висла текла бы по бородѣ Данцига и его полосы, да въ ротъ бы ему мало попадало, по причинѣ политической границы“ (стр. 121). Ради экономическихъ выгодъ „кратчайшаго разстоянія“, приходится будто бы отдать нѣмцамъ чешское королевство, отдѣлить отъ Австріи къ Германіи $3\frac{1}{2}$ милліона славянъ и отъ Германіи къ Австріи $5\frac{1}{2}$ милліоновъ нѣмцевъ (стр. 148), послѣ чего получится „самая правильная и удобная или, иначе сказать, нормальная, естественная“ граница. Ради этого авторъ предлагаетъ даже устроить „взаимное переселеніе племенъ изъ Австріи въ Германію и обратно“, что обошлось бы обоимъ правительствамъ „не болѣе 300—400 милліоновъ рублей“ (!?); такое переселеніе „весьма упростило бы вопросъ объ австро-германской границѣ, въ которомъ главную дисгармонію составляетъ этнографическая сторона его, и облегчило бы его разрѣшеніе“ (стр. 158—9), въ смыслѣ прямолинейности границы.

Подобныхъ курьезовъ мы давно уже не встрѣчали въ литературѣ. Авторъ не задумался даже надъ вопросомъ, захотятъ ли черногорцы, сербы и болгары округлить собою владѣнія Австріи, пожертвуютъ ли собою швейцарцы для исправленія границъ сосѣднихъ державъ, подчинятся ли добровольно своей участи голландцы и бельгійцы. Особенно оригинально разсуждаетъ авторъ относительно Россіи. Когда славянство будетъ поглощено Австро-Венгрією и составитъ половину ея населенія (стр. 183), то „Россія спокойно вручитъ Австріи Балканскій полуостровъ и Константинополь, какъ державѣ родственной и единовѣрной (?), а Австрія найдетъ въ Россіи единственную союзницу и защитницу въ періодъ своего политическаго формировація.

Босфоръ и Дарданеллы Россіи лично (?) не нужны“ и т. д. Россія отдастъ китайцамъ Амурскую область, такъ какъ послѣдняя „для китайцевъ сподручнѣе (1), чѣмъ для русскихъ“ (стр. 195). Подобныя, совершенно дѣтскія идеи автора не заслуживаютъ возраженія.

— *Платонизмъ*, какъ основаніе современнаго міровоззрѣнія, въ связи съ вопросомъ о задачахъ и судьбѣ философіи. А. Н. Гилярова. Москва, 1887.

Книжка г. Гилярова представляетъ весьма интересный и талантливо написанный этюдъ о философіи Платона, съ точки зрѣнія современныхъ нравственныхъ идей. Авторъ связываетъ философію съ поэзіею, и въ широкой степени пользуется произведеніями поэтовъ, русскихъ и иностранныхъ, для нагляднаго доказательства и объясненія этой связи. Въ первой главѣ, которая составила изъ вступительной лекціи, читанной въ московскомъ университетѣ, г. Гиляровъ даетъ общій взглядъ на ученіе Платона, которымъ онъ, по собственному сознанію, „занимался въ теченіе двѣнадцати лѣтъ“. Воззрѣнія автора отчасти грѣшатъ односторонностью, вытекающею изъ чрезмѣрнаго увлеченія любимымъ предметомъ. Г. Гиляровъ находитъ въ новой философіи много такихъ недостатковъ, которыхъ не оказывается у древнихъ мудрецовъ. „Въ нынѣшнемъ вѣкѣ“,—говоритъ онъ,—особенно много „нечестныхъ мыслителей“, для которыхъ „философія была не жизненною потребностью, но лишь средствомъ къ достиженію цѣлей, не имѣющихъ ничего общаго съ исканіемъ истины“. Средневѣковая философія отличается „большею искренностью“, но она не годится по своему мистическому характеру. „Для плодотворнаго изученія — по словамъ автора—остается одна только древняя философія. Древніе философы — всѣ безъ исключенія были честные мыслители“. Что касается Платона, то его „идеологія есть не только блистательнѣйшая изъ всѣхъ философскихъ системъ, но также и великолѣпнѣйшее поэтическое произведеніе“. Платонъ внесъ новый элементъ идеализма въ общечеловѣческое чувство любви. До него, люди будто бы „знали только чувственную любовь и кровную родственную привязанность; тѣ прекрасныя, чистыя, отрѣшенные отъ всего земнаго и какъ бы сотканныя изъ запаха цвѣтовъ и луннаго свѣта грезы любви, которыми теперь туманятся дни юности и которыя воспѣваются всѣми поэтами у всѣхъ образованныхъ народовъ, имъ не были знакомы“ (стр. 14). Едва ли основательно приписывать философу созданіе чего-то такого, что не существовало раньше. Прежде чѣмъ сдѣлаться предметомъ философскихъ размышленій, идеальная любовь проявлялась въ дѣйствительности въ са-

мыхъ разнообразныхъ и часто бессознательныхъ формахъ; это видно изъ древнѣйшихъ народныхъ сказаній и поэтическихъ легендъ, въ которыхъ трудно усмотрѣть какую-либо связь съ философіею. Авторъ указываетъ на сходство ученія Платона съ ученіемъ апостольскимъ. Нѣтъ сомнѣнія, — добавляетъ онъ, — что сходство это — часто только внѣшнее; „тѣмъ не менѣе, первое въ нѣкоторыхъ частяхъ настолько близко къ послѣднему, что платонизмъ былъ усвоенъ древними отцами церкви и отразился на образованіи философской стороны христіанской догматики“ (стр. 15). „Повсюду, — продолжаетъ г. Гиляровъ, — гдѣ звучать христіанскія молитвы и жива искренняя вѣра въ евангельское ученіе, идеализмъ съ его философіею и поэзіею не перестанетъ быть торжествующимъ мировоззрѣніемъ; и станете ли вы углубляться въ философскій смыслъ установленныхъ христіанскою церковью догматовъ, станете ли мыслить о величій безусловнаго нравственнаго долга, станете ли увлекаться высокимъ поэтическимъ произведеніемъ или грезить о любви, — вы всегда будете обвѣяны духомъ великаго генія Греціи — Платона“ (стр. 17—18). Очевидно, авторъ увлекается, — особенно по отношенію къ догматамъ. Онъ, вообще, стоитъ за философію сердца. „Платонова идеологія, — говоритъ онъ, — раздѣляетъ недостатокъ, общій всѣмъ метафизическимъ системамъ, — она не можетъ защитить себя предъ холоднымъ судомъ разсудка; но она лучше всѣхъ другихъ метафизическихъ построеній тѣмъ, что несравненно поэтичнѣе ихъ. Неистинная для ума, она истинна для сердца“. „Не въ философскихъ системахъ, — замѣчаетъ г. Гиляровъ въ другомъ мѣстѣ, — а въ грезахъ и ожиданіяхъ сердца скрытъ двигатель исторіи“.

Въ дальнѣйшихъ четырехъ главахъ (названныхъ почему-то „приложеніями“) авторъ подробно развиваетъ свою мысль о вліяніи философіи Платона на лирическую поэзію, на нравственные и эстетическія понятія новыхъ временъ. Между прочимъ г. Гиляровъ „полюбопытствовалъ узнать, какъ грезятъ о любви народы, не воспитанные на Платоновыхъ воззрѣніяхъ“; и нигдѣ не находилъ онъ „той чистоты или, по крайней мѣрѣ, той просвѣтленной мечтательно-грустнымъ идеализмомъ чувственности, которая налагаетъ такой своеобразный отпечатокъ на любовныя стихотворенія современныхъ европейскихъ поэтовъ“ (стр. 30). Авторъ приводитъ много пространныхъ выдержекъ изъ произведеній Байрона, Гёте, Гейне, Лермонтова, Фета и др. Одно стихотвореніе, довольно значительное по объему, переведено съ нѣмецкаго самимъ г. Гиляровымъ — и переведено довольно складно, рифмованными стихами (стр. 49 — 53). Разумѣется, романтическій характеръ нашихъ „любобныхъ идеаловъ“ нисколько не доказываетъ еще, что мы обязаны ими Платону, и въ этомъ отно-

шеніи доводы автора совершенно неубѣдительны. Къ новымъ философамъ, какъ упомянуто уже выше, г. Гиляровъ относится болѣею частью отрицательно. Онъ не щадитъ даже Спинозы; о „железной логикѣ“ послѣдняго,—замѣчаетъ онъ,—„могутъ говорить только незнакомые ни со Спинозой, ни съ логикой“ (стр. 83). „Въ „Логикѣ“ Гегеля можно искать скорѣе всего, чѣмъ логики и здраваго смысла. Нельзя не подивиться той увѣренности, съ которою Гегель разсчитывалъ на глупость (!) своихъ слушателей и читателей. Для невѣжества имя Гегеля навсегда останется символомъ мудрости; для лицъ знающихъ оно не можетъ быть ни чѣмъ инымъ, какъ символомъ самоуувѣреннаго шарлатанства“ (стр. 86). Подобные отзывы слишкомъ рѣзки для начинающаго русскаго ученаго, собственныя воззрѣнія котораго далеко не отличаются логическою ясностью и опредѣленностью. „Если мнѣ нужно держать отвѣтъ,—заключаетъ авторъ свою книжку,—какое убѣжденіе вынесъ я изъ занятій исторіей философіи, я скажу прямо и рѣшительно: не знаю человѣка и философа лучше Сократа, не знаю метафизики выше Платоновой, не знаю нравственнаго ученія лучше и выше евангельскаго“ (стр. 90). Нельзя сказать, чтобы подобная profession de foi давала какое-либо положительное представленіе о философскихъ идеяхъ автора.

— *И. Тарасовъ*. Публичныя лекціи и рѣчи. Ярославль, 1887 г.

Профессоръ Тарасовъ извѣстенъ въ литературѣ, какъ специалистъ по такъ-называемой наукѣ „полицейскаго права“, составленной изъ смѣси различныхъ элементовъ законодательства и управленія. Любимая тема автора—полицейскій арестъ, о которомъ онъ написалъ обширный трактатъ въ трехъ книгахъ и нѣсколько отдѣльных статей. Г. Тарасовъ въ разное время произносилъ и печаталъ лекціи не только по вопросамъ своей специальности, но и по предметамъ общаго интереса; эти чтенія собраны имъ теперь во едино, безъ переработки и приведенія ихъ въ систему. Мы находимъ здѣсь статьи и о малолѣтнихъ преступникахъ, и о желѣзно-дорожной политикѣ, и о сельскомъ хозяйствѣ, и объ Иванѣ Посошковѣ, и объ уваженіи къ женщинѣ, и даже о Пушкинѣ и Достоевскомъ. Нѣкоторые интересъ представляютъ только тѣ лекціи и рѣчи, въ которыхъ приводятся фактическія наблюденія, сдѣланныя самимъ авторомъ въ чужихъ краяхъ. Самостоятельныя разсужденія г. Тарасова заключаютъ въ себѣ мало любопытнаго: въ нихъ проглядываетъ теоретическій оптимизмъ, соединенный съ модною практичностью извѣстнаго рода.

Говоря о полицейскомъ арестѣ и о необходимости его въ госу-

дарствѣ, авторъ замѣчаетъ, что „все дѣло не въ фразахъ и не въ установленіи кабинетныхъ принциповъ, впередъ обреченныхъ на поруганіе, а въ установленіи практическихъ гарантій для личной свободы“, — хотя эти гарантіи едва ли возможны безъ извѣстнаго „кабинетнаго принципа“, усвоеннаго законодательствомъ. По мнѣнію г. Тарасова, нужно предоставить гражданамъ право „преслѣдовать органы полиціи судебнымъ порядкомъ въ томъ случаѣ, когда дѣйствія полиціи неправильны по формѣ и по содержанію“, какъ это принято въ Англіи; между тѣмъ „на континентѣ, при безсильномъ и часто неискреннемъ стремленіи ограничить законами власть полиціи и облагодѣлать ея вторженіе въ сферу личной свободы названіемъ „судебнаго ареста“, отвѣтственность полиціи ставится въ зависимость отъ благоусмотрѣнія начальства (стр. 53 — 56). Но поможетъ ли принципъ полицейской отвѣтственности, если онъ не оставленъ болѣе общими гарантіями, о которыхъ не упоминаетъ авторъ? Государство является для г. Тарасова чѣмъ-то отвлеченнымъ, охраняющимъ интересы общежитія при всякихъ административныхъ порядкахъ. Напримѣръ, отъ перехода желѣзныхъ дорогъ въ руки правительства ожидается „громадная экономія силъ и капиталовъ, которые будутъ употреблены на производство и умножать этимъ сумму народнаго богатства: желѣзно-дорожный доходъ, получаемый государствомъ, пойдетъ на уменьшеніе и на отпѣну наиболѣе отяготительныхъ налоговъ, вслѣдствіе чего подымется матеріальное благосостояніе плательщиковъ налоговъ. Столь могущественное средство сообщенія, сдѣлавшись государственнымъ достояніемъ, будетъ эксплуатироваться для государственныхъ цѣлей; оно получитъ народный (?) характеръ; оно сдѣлается предметомъ благороднаго соревнованія между государствами; ему придано будетъ значеніе культурнаго института, а не частнаго промысла, подобно тому какъ контора ростовщика превращается въ рукахъ государства въ государственное кредитное учрежденіе. Весь организмъ желѣзно-дорожнаго управленія получить стройную форму; весь желѣзно-дорожный служебный персоналъ подчинится единообразнымъ правиламъ дисциплины, опирающимся на право и политику, а не на произволъ частныхъ хозяевъ“ и т. д. (стр. 137). Все это было бы прекрасно, еслибы нарисованная авторомъ картина имѣла какое-либо сходство съ дѣйствительными особенностями казеннаго хозяйства, — еслибы интересы чиновничества совпадали съ интересами народными и еслибы не было ни хищеній, ни злоупотребленій, ни произвола. Самъ же авторъ, разбирая нашу желѣзно-дорожную политику въ прошломъ, находитъ въ ней незавидныя „самобытныя черты“, которыя выражались „въ полной бессистемности, въ незнакомствѣ съ условіями,

при которыхъ развивалось желѣзно-дорожное дѣло, въ разныхъ отступленіяхъ, въ конкретныхъ случаяхъ, отъ установленной политики... въ поспѣшномъ и неосновательномъ отчужденіи казенныхъ дорогъ частнымъ кмпаніямъ; въ субъективизмѣ политики, опредѣлявшейся субъективными свойствами лицъ, состоявшихъ во главѣ желѣзно-дорожнаго управленія, и въ явномъ предпочтеніи, оказываемомъ иностраннымъ капиталистамъ и предпринимателямъ" (стр. 113—4). Значить, не всегда въ государствѣ общій интересъ преобладаетъ надъ частнымъ, и неудачныя правительственныя мѣры могутъ иногда очень дорого обходиться странѣ.

Г. Тарасовъ рѣшительно высказывается противъ тѣхъ „преобразователей, близорукихъ кабинетныхъ администраторовъ, которые, не зная народа, его истинныхъ потребностей, его завѣтныхъ стремленій, ревнуютъ о благѣ этого самаго народа по своей себялюбивой и тиранической мѣркѣ, вслѣдствіе чего потребности истинной реформы остаются неудовлетворенными и слабымъ огнемъ тлѣютъ до тѣхъ поръ, пока, переживъ своихъ насильниковъ, не дождутся минуты, чтобы воспрянуть всею своею мощью и громко возвѣстить о себѣ" (стр. 155). Авторъ возстаетъ и противъ „буржуазно-конституціоннаго" режима, основаннаго на господствѣ имущихъ надъ неимущими, — ибо „буржуазія—это классъ людей аферы и наживы во всѣхъ сферахъ дѣятельности,—люди, у которыхъ получаютъ извѣстный доходъ—значить быть правительствомъ,—люди, которые, признавая право частной собственности священнымъ, не хотятъ признать того же значенія за правомъ на трудъ,—заклятые враги всякой порядочности въ недоступной имъ формѣ (?) и ревностные замѣстители принциповъ удобствомъ и т. д." (стр. 171). Однако будущее представляется автору въ розовомъ свѣтѣ: „Наступитъ новая эра, когда трудъ, земля и капиталъ перестанутъ быть враждебными факторами въ производствѣ, ведущими между собою ожесточенную борьбу. Ни трудъ, ни капиталъ, ни земля не будутъ стоять въ привилегированномъ положеніи другъ къ другу. Податныя тяжести падутъ въ равной степени на всѣхъ; всѣ будутъ равномѣрными участниками въ пассивѣ и активѣ государственнаго хозяйства. Только при такомъ условіи, общностью интересовъ смѣнится борьба ихъ, а равенствомъ общественнымъ — привилегированное положеніе отдѣльныхъ группъ или классовъ" (стр. 168—9). Въ статьѣ о Достоевскомъ повторяются обычные нападки на нашихъ „лже-либераловъ", которые будто бы стремятся пересадить на родную почву то „негодное", что создано Западомъ и что на Западѣ же начинаетъ вызывать сомнѣніе въ своей доброкачественности. Такого рода разсужденія болѣе „практичны", чѣмъ основательны,—даже съ точки зрѣнія „полицейскаго права".

— Принципъ отвѣтственности желѣзныхъ дорогъ за ущербъ, причиненный при эксплуатациіи. А. Гордона. Спб. 1887.

Исслѣдованіе г. Гордона, при своемъ спеціальному характеру, представляетъ и значительный общій интересъ: оно съ замѣчательною ясностью и убѣдительною доказываетъ, что законодательные и юридическіе вопросы не могутъ быть разрѣшаемы правильно при помощи однихъ лишь кабинетныхъ соображеній, безъ всесторонняго пониманія сложныхъ условий и потребностей жизни. Извѣстный принципъ можетъ казаться вѣрнымъ въ теоріи; а на практикѣ онъ приводитъ къ послѣдствіямъ прямо противоположнымъ той цѣли, которая имѣлась въ виду при его установленіи. Такъ именно случилось съ дѣйствующимъ нынѣ закономъ объ отвѣтственности желѣзныхъ дорогъ, который вызвалъ у насъ массу практическихъ недоумѣній и не разъ уже служилъ предметомъ споровъ въ юридическихъ обществахъ и въ печати. Законодатель желалъ усилить отвѣтственность желѣзно-дорожныхъ управленій, а вмѣсто того ослабилъ ее; онъ желалъ точнѣе опредѣлить ее, опираясь на опытъ иностранныхъ законодательствъ, а вмѣсто того установилъ (въ статьѣ 683 первой части X т. по продолженію 1879 года) нѣчто такое, что „представляетъ собою полное отрицаніе всей сущности принципа отвѣтственности желѣзныхъ дорогъ, существующаго не только въ западной Европѣ, но и въ Америкѣ“ (стр. 84). По мнѣнію автора, все это произошло отъ того, что въ законѣ сдѣлана ошибка, и онъ ставитъ общій вопросъ о томъ, можетъ ли выраженіе, являющееся послѣдствіемъ ошибки, имѣть силу закона. Г. Гордонъ полагаетъ, что разумная судебная практика должна руководствоваться не буквою, а смысломъ и цѣлью закона. Онъ ставитъ намъ въ примѣръ иностранныхъ юристовъ, которые умѣютъ пополнять законодательные пробѣлы путемъ толкованія. Такъ, „французская юриспруденція, опираясь на законы, которые были созданы въ то время, когда никто и не подозрѣвалъ еще, что современемъ явятся желѣзныя дороги, сама, безъ содѣйствія законодателя, выработала почти цѣлое желѣзно-дорожное право... Многое изъ того, что въ Германіи сдѣлало, по желѣзно-дорожному праву, послѣ тяжелой борьбы, законодательство, во Франціи и Бельгіи сдѣлало судебная практика и теорія права. Мѣсто германскаго законодателя заняли въ этой области права, во Франціи и Бельгіи,—судьи и научные исслѣдователи. Совѣщательная комната судей и кабинетъ ученаго замѣнили собою, во Франціи и Бельгіи, по желѣзно-дорожному праву, трибуну германскаго парламента“ (стр. 52). Но не слѣдуетъ забывать, что такое полезное творчество въ области права предполагаетъ много условий, существующихъ въ западной Европѣ

и, быть можетъ, отсутствующихъ у насъ. Поэтому мы должны пока мириться съ тѣми несообразностями, на которыя указываетъ авторъ, — въ ожиданіи надлежащей законодательной поправки.

Желѣзныя дороги отвѣчаютъ у насъ безусловно лишь за сохранность багажа, а не за цѣлость пассажира. „Если я поѣду по желѣзной дорогѣ, — говоритъ г. Гордонъ, — и повезу съ собою собаку, лошадь, корову, и мнѣ, и этимъ животнымъ будетъ причинено поврежденіе крушеніемъ поѣзда, происшедшимъ отъ случая, то желѣзная дорога будетъ подлежать отвѣтственности за вредъ, причиненный этимъ животнымъ, но не мнѣ. Такимъ образомъ, нашъ законъ ограждаетъ неприкосновенность имущества и животныхъ строже, чѣмъ то, что составляетъ наше высшее достоинство — наше здоровье и жизнь. Это дѣло невозможное. Мы должны заранѣе категорически рѣшить, что подобной вопіющей несообразности законодатель и въ мысляхъ не могъ имѣть“ (стр. 96—7). Вообще авторъ очень широко смотритъ на отвѣтственность за вредъ, причиненный кѣмъ-либо случайно. „Человѣкъ поскользнулся, упалъ и разбилъ мою цѣнную вещь. Положимъ даже, что онъ упалъ отъ того, что съ нимъ случилось головокруженіе, припадокъ, нервный ударъ. Онъ невиновенъ въ причиненіи мнѣ убытка. Его ни въ чемъ упрекнуть нельзя. Это несчастіе. Но мнѣ отъ этого не легче. Я тутъ уже рѣшительно ни въ чемъ не повиненъ. Я не вижу основанія, отчего я долженъ нести тяжелыя матеріальныя послѣдствія приключившагося съ другимъ несчастія, а не онъ самъ. Возможно, что причина несчастія кроется въ прежней неосторожной жизни этого лица, но я тутъ рѣшительно ни при чемъ. За что же страдать матеріально долженъ я, а не онъ?“ (стр. 40—1). Тѣмъ болѣе должны отвѣчать за случай желѣзныя дороги и тѣмъ менѣе справедливо устранять отвѣтственность ихъ, когда нѣтъ „вины управленія и его агентовъ“. Отвѣтственность желѣзныхъ дорогъ, — какъ поясняетъ авторъ, — не можетъ быть измѣряема обыденнымъ житейскимъ масштабомъ. „Имущество, здоровье и жизнь громадной массы людей, приходящихъ въ соприкосновеніе съ желѣзными дорогами, требуютъ особенной заботливости со стороны законодательства. Чѣмъ съ большими опасностями связаны желѣзныя дороги, тѣмъ больше осторожности и предусмотрительности требуется отъ лицъ, ими завѣдующихъ. Причины, вызывающія несчастія на желѣзныхъ дорогахъ, иногда весьма сложны... Лица, которымъ всего ближе извѣстны дѣйствительныя причины, вызвавшія несчастіе, — личный составъ желѣзной дороги — иногда заинтересованы въ томъ, чтобы скрыть или умолчать о такихъ обстоятельствахъ, которыя могли бы обнаружить вину или неосторожность со стороны дороги. Поэтому выясненіе этихъ причинъ для лица, пострадавшаго отъ несчастія на

железной дорогѣ, сопряжено иногда съ такими затрудненіями, которыя граничатъ съ невозможностью" (стр. 36—7). Авторъ дѣлаетъ подробный критическій разборъ иностранныхъ законодательствъ, начиная съ римскаго, и приводитъ массу матеріала фактическаго, литературнаго и судебнаго, въ подтвержденіе своей основной точки зрѣнія.

— Г. Е. Аванасьева. *Судьбы Ирландіи*. Публичныя лекціи. Одесса, 1887. Стр. 88. Цѣна 75 к.

Въ книжкѣ г. Аванасьева читатель найдетъ довольно обстоятельный историческій очеркъ положенія Ирландіи, отъ XVI-го вѣка до настоящаго времени. Разказы объ ирландскихъ бѣдствіяхъ представляютъ мало разнообразія по содержанію и даже по фактическимъ подробностямъ. Враждебныя столкновенія туземцевъ съ англійскими властями, повальные изгнанія поселенъ изъ владѣній лэндлордовъ, кровавыя стычки съ агентами послѣднихъ и съ исполнителями несправедливаго закона, разореніе земледѣльцевъ, нужда и голодъ, — все это повторяется въ теченіе многихъ десятилѣтій, и жгучій ирландскій вопросъ не сходитъ со сцены политической жизни Англіи. Рутинныя мѣры строгости остаются, по обыкновенію, безплодными и еще болѣе ухудшаютъ состояніе страны; а отдѣльныя реформаторскія попытки, предпринимаемыя либеральными министрами, не доведены еще до конца и облегчаютъ кризисъ въ частностяхъ, не затронувъ сущности вопроса въ его цѣломъ. Сильный проектъ Гладстона, поставившаго дѣло впервые на широкую почву народной автономіи, не могъ осуществиться вслѣдствіе энергическаго сопротивленія того особаго класса патріотовъ, который считаетъ долгомъ, во имя своего патріотизма, причинять страданія другимъ и поддерживать угнетеніе подвластныхъ народностей. Книжка г. Аванасьева не бесполезна для желающихъ ознакомиться съ исторіею ирландскаго вопроса.

— *D-r Paul Berger*. Наслѣдственность болѣзней и ихъ отношеніе къ браку. Переводъ д-ра М. Тумовскаго. Спб. 1887.

Если слѣдовать совѣтамъ д-ра Бергера, то большинство людей должно было бы воздерживаться отъ вступленія въ бракъ, такъ какъ потомству передаются не только болѣзни, но и наследственные къ нимъ расположенія, отъ которыхъ свободны очень немногіе; а производить болѣзанное или слабое потомство — преступно. Авторъ сожа-

лѣтъ, что, „при заключеніи брака, вопросамъ ума и сердца отводится выдающееся мѣсто въ нашихъ соображеніяхъ“, тогда какъ „не менѣе важный вопросъ о здоровьѣ тѣла упускается изъ виду даже высшими слоями общества“. Существуютъ врачи, которые во имя общественной гигиены доказываютъ необходимость „медицинскаго, по требованію властей (1), освидѣтельствованія, результатъ котораго былъ бы сообщенъ обѣимъ сторонамъ, собирающимся вступить въ бракъ“ (стр. 83); но даже д-ръ Бергеръ отвергаетъ такое предложеніе, какъ слишкомъ „рискованное и пока невыполнимое“. Въ длинномъ спискѣ „болѣзней, безусловно исключающихъ бракъ“, значится и золотуха, и пороки сердца, и воспаленіе глазной сѣтчатки; даже „вопросъ объ умѣстности брака для человѣка, претерпѣвшаго воспаление легкихъ или плевры, долженъ рѣшаться съ величайшею осторожностью, сообразуясь съ общимъ состояніемъ организма и съ условіями наслѣдственности“ (стр. 75). Забраккованные медициною кандидаты въ отцы семейства могутъ утѣшаться сознаніемъ, что „покорность судьбѣ должна помочь человѣку переносить горькую свою участь—отказъ отъ радостей любви“.

Популярныя книжки, въ родѣ сочиненія Бергера, весьма полезны для публики, но только подъ однимъ условіемъ: чтобы запугивающіе медицинскіе приговоры не принимались буквально, и чтобы читатели не отыскивали въ себѣ тѣхъ болѣзненныхъ признаковъ, о которыхъ разсуждаетъ или упоминаетъ авторъ.

— *Евгеній Бѣлозерскій*, Письма изъ Персіи. Спб., 1886.

— Современная Персія. — Картинки современной персидской жизни и характера, доктора Уильса. Перевелъ съ англійскаго И. Коростовцевъ, Спб., 1887.

Современное состояніе Персіи изображается въ обѣихъ книгахъ довольно печальными красками. Свѣденія г. Бѣлозерскаго немногимъ разнятся отъ сообщеній доктора Уильса: первый передаетъ въ болѣе сжатомъ и сухомъ видѣ то, что у втораго подкрѣпляется интересными разсказами и анекдотами.

Г. Бѣлозерскому приходилось, между прочимъ, дѣлать наблюденія не особенно пріятныя для нашего національнаго самолюбія. Давно уже извѣстно, что второстепенные представители русскихъ интересовъ на Востокѣ часто совсѣмъ не отвѣчаютъ своему назначенію. Авторъ разсказываетъ, что онъ „былъ свидѣтелемъ громадной безтактности со стороны одного агента русскаго правительства, который на персидской почвѣ самовольно отобралъ у одного иностранца два карабина“. „Не скрою,—говоритъ далѣе г. Бѣлозерскій,—что такая неумѣлость, такое непониманіе нашей роли, наконецъ та-

кое подрываніе нашего авторитета въ Персіи тягостно отзывалось на насъ. Лучше бы насъ не видать этого! И откуда откапываютъ такихъ легкомысленныхъ дѣятелей, серьезно компрометирующихъ великое русское дѣло на Востока (стр. 8)?“ Въ важномъ торговомъ пунктѣ—Барфрушъ—русскимъ агентомъ оказывается „не получившій никакого образованія армянинъ, персидскій подданный, который самъ арендуетъ рыбныя промыслы, земли и имѣнія, и потому, естественно, держитъ сторону персіянъ, отъ которыхъ въ сильной степени зависятъ его интересы, и съ которыми ему во всякомъ случаѣ невыгодно не ладить, тогда какъ русскіе люди — завѣзжіе, сегодня здѣсь, а завтра нѣтъ. Замѣчательно, что то же явленіе повторяется и со стороны нашего консульства въ Рештѣ: оно имѣетъ своимъ агентомъ въ Энзели какого-то персіянина, который и распоряжается тамъ полновластно потому только, что его братъ служитъ мирвой (писцомъ) въ русскомъ консульствѣ“ (стр. 9 — 10). Русскіе товары успѣшно вытѣсняются западно-европейскими въ предѣлахъ Персіи; даже спички доставляются туда изъ Вѣны, такъ какъ наши коммерсанты не догадались посылать ихъ въ герметически закупоренныхъ жестяныхъ коробкахъ, какъ это дѣлаютъ австрійцы. „Благодаря главнымъ образомъ небрежности и халатности, съ которой наше купечество относится къ торговлѣ на Востока, Персія, какъ большой торговый рынокъ, ускользаетъ изъ нашихъ рукъ, тогда какъ сама природа облегчаетъ намъ сообщеніе съ этой страной“ (стр. 89). Много толковали у насъ о необходимости запретить транзитную европейскую торговлю съ Персіею черезъ Кавказъ, въ видахъ устраненія неудобной для насъ конкуренціи,—и что же вышло? „Послѣ запрещенія транзита, на всемъ Кавказѣ наступило страшное затихше въ торговлѣ, потому что спросъ на наши товары не увеличился, а заграничные — пошли въ Персію или черезъ Трапезундъ, или обходомъ черезъ Суэзскій каналъ и Персидскій заливъ черезъ Вуширъ“ (тамъ же).

Правительственные порядки въ Персіи характеризуются системою карательнаго воздѣйствія на подданныхъ: „самое легкое наказаніе—это палки по пятамъ; затѣмъ отрѣзываютъ уши, на что, впрочемъ, имѣетъ право только одинъ шахъ, а губернаторамъ и правителямъ предоставлено право рѣзать только мочки ушей; отрѣзываютъ носъ, продѣваютъ черезъ носовой хрящъ толстую иглу и на веревкѣ водятъ по базарамъ; продѣваютъ черезъ ахилловы жилы у ступни ногъ веревку и связываютъ ею ноги,—нужды нѣтъ, что она гніетъ и въ ранахъ заводятся черви; отрѣзываютъ руки, ноги, употребляютъ пытки съ огнемъ, производятъ задушеніе веревкой, пригвозждаютъ ухомъ къ двери, наконецъ отрѣзываютъ голову, и это самое легкое

наказаніе для преступниковъ" (стр. 39). Крайняя необезпеченность личности приводитъ къ полному застою во всѣхъ сферахъ персидскаго быта. Отсюда и тѣ черты въ характерѣ персовъ, которыя отмѣчаются европейскими наблюдателями; отсюда и „внутреннее ничтожество“, и „полюйшая пустота душевная, не интересная ни въ какомъ отношеніи для европейца“. Оригинальный обычай существуетъ въ Персіи, по свидѣтельству г. Вѣлозерскаго: тамъ „можно жениться на какой угодно срокъ, хоть на мѣсяцъ, хоть на нѣсколько дней“, и дѣти, происходящія отъ такого брака, считаются законными (стр. 59).

Очерки доктора Уильса даютъ много любопытныхъ подробностей о внутренней жизни и нравахъ персовъ. Авторъ побывалъ и въ Россіи, которую онъ называетъ „доброю, старою, грязною Россією, въ которой народъ, можетъ быть, и грубъ, но добръ и гостепріименъ“. Подобно большинству англичанъ, интересующихся политикою, авторъ опасается поступательнаго русскаго движенія на Востокъ. „Персія,—говоритъ онъ,—есть глиняная стѣна, служащая барьеромъ между нами и Россією. Мы ничего не дѣлаемъ, чтобы помѣшать распаденію и разрушенію этого барьера. Мы добровольно допускаемъ подчиненіе Россіи и русскому вліянію цѣлой орды храбрыхъ солдатъ (персидскихъ), которые современемъ неудержимымъ потокомъ нахлынутъ на Индію. Между тѣмъ небольшое количество разумно истраченныхъ денегъ принесло бы въ Персіи огромную пользу. Развѣ Персія не можетъ служить оплотомъ противъ русскаго наступленія (стр. 179)?“ Жалкое положеніе страны, на которое указываетъ авторъ, устраняетъ мысль о пригодности ея для роли „оплота“. По словамъ автора, сами персы убѣждены, что „порядокъ безъ палокъ немыслимъ“ (стр. 13). Недалеко отъ Ши-раза существуетъ „колодезь смерти“: туда „бросаютъ невѣрныхъ женъ“, но не тайно и не ночью, а днемъ, публично, въ присутствіи довольной толпы (стр. 79). При такихъ нравахъ и порядкахъ не можетъ быть и рѣчи о какой-либо политической роли злосчастнаго народа, подавленнаго деспотизмомъ и невѣжествомъ.—Л. С.

— *Гигіена нервовъ и нейропатія*, доктора Кюллера. Переводъ Н. Н. Ковалевской, подъ редакцію профессора Ковалевскаго. Харьковъ. 1888. 190 стр. in 16°.

Въ сжатой, но весьма содержательной формѣ, авторъ дѣлаетъ опытъ систематическаго изложенія ученія о гигиенѣ людей, отдавшихъ тяжелую дань нашему нервному вѣку въ видѣ разнообразныхъ страданій, поражающихъ физическое и духовное существо человѣка и

сдѣлавшихся въ послѣдніе годы предметомъ усиленнаго изученія и наблюденія, подъ названіемъ: нейрозовъ, нейростеніи, нейропатіи и психопатіи. Отдѣлы, озаглавленные— „Среда“ и „Мыслительная область“, читаются съ особымъ интересомъ. Книга посвящена людямъ нервнаго темперамента, но содержитъ въ себѣ множество свѣденій, нужныхъ родителямъ, воспитателямъ и вообще всѣмъ, кто имѣетъ частыя столкновенія съ живыми людьми. Крайне болѣзненная воспримчивость нервовъ, къ которой въ старые годы относились полупутиливо, полусерьезно, придавая ей значеніе каприза и распушенности, становится въ послѣднее время могучимъ факторомъ серьезнѣйшаго извращенія житейскихъ отправления и отношеній. Поэтому сочиненіе д-ра Кюллера объ условіяхъ, задерживающихъ развитіе этой воспримчивости, заслуживаетъ особаго вниманія, такъ какъ, говоря словами автора: „чѣмъ дальше движется современное общество по пути прогресса, тѣмъ болѣе большимъ количествомъ сблѣсковъ усыпаетъ оно свой путь, а именно, грустными жертвами психозовъ и нейрозовъ“. Переводъ и внѣшній видъ книги были бы безукоризненны, не будь многихъ опечатокъ и нѣкотораго злоупотребленія иностранными техническими терминами, не всегда понятными многимъ нейропатамъ, для которыхъ книга предназначена.—А. К.

ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1-го октября 1887.

Защитительная рѣчь профессора Владимірова по дѣлу подпрапорщика Шмидта.— Давно забытый споръ, какъ иллюстрація къ недавнему прошлому.—Еще два слова о продолжателяхъ и подражателяхъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“.

Съ тѣхъ поръ, какъ у насъ вошло въ моду все давнопрошедшее, и лозунгомъ, въ разныхъ областяхъ жизни, сдѣлалось возвращеніе къ старымъ привычкамъ и порядкамъ, довольно часто стала появляться на сцену въ печати вышедшая-было изъ обращенія доктрина о „чести военнаго мундира“. Въ этомъ не было бы еще большой бѣды, еслибы извѣстнаго сорта доктринеры не доходили—здѣсь, какъ и во всемъ остальномъ—до самыхъ крайнихъ выводовъ и еслибы за словами не слѣдовало дѣло. Увеличеніе числа процессовъ, вызванныхъ кровавой расплатой за обиду, едва ли можетъ быть приписано одной случайности. Весной этого года въ курской губерніи разсматривалось дѣло о подпрапорщикѣ Шмидтѣ, убившемъ, въ Обояни, трактирнаго буфетчика Гutowскаго; нѣсколько мѣсяцевъ спустя въ Тифлисѣ судится поручикъ Рыбачковъ, застрѣлившій штабсъ-капитана Голушенко; на дняхъ въ Харьковѣ слушалось дѣло о корнетѣ Гогелѣ, убившемъ, въ Ромнахъ, купца Мосолова. Поводомъ къ убійству, во всѣхъ этихъ случаяхъ, было оскорбленіе, нанесенное убійцѣ. Вотъ чтó мы узнаемъ, напримѣръ, изъ газеты, особенно усердствующей въ защитѣ „мундирной чести“. Деньщикъ, посланный съ запиской въ глухую, отдаленную часть города (какого—неизвѣстно) и вслѣдствіе того вооруженный кинжаломъ, встрѣчаетъ кучку пьяныхъ мѣщанъ, начинающихъ „издѣваться надъ солдатскимъ мундиромъ“. Сначала онъ требуетъ, чтобы его оставили въ покоѣ, предупреждаетъ, что иначе „плохо будетъ“ оскорбителямъ; когда это не дѣйствуетъ, онъ наноситъ одному изъ глумящихся ударъ по лицу. На него бросаются всѣ остальные; онъ вынимаетъ кинжалъ, размахиваетъ имъ, грозитъ — нападающіе не унимаются; онъ ранитъ кого-то въ плечо — нападеніе прекращается только на минуту и возобновляется съ новою силой; тогда деньщикъ опять пускаетъ въ ходъ свое оружіе—и на этотъ разъ одинъ изъ нападающихъ падаетъ мертвымъ. Производится слѣдствіе, оканчивающееся тѣмъ, что деньщикъ признается поступившимъ правильно и неподлежащимъ суду. „Онъ доказалъ,—прибавляетъ отъ себя авторъ газетной статьи,—что уважаетъ свой мундиръ и дорожитъ имъ... Товарищи

его убѣдили въ томъ, что солдатъ не на однихъ словахъ, но и на дѣлѣ можетъ и долженъ защищать честь своего мундира "... „На долю современныхъ офицеровъ,—читаемъ мы въ той же статьѣ,—выпала тяжелая задача: приниженный (1), забытый (1) и сбитый съ толку (1) военный мундиръ вновь возвести на ту высокую ступень, на какой долженъ онъ находиться по смыслу, если хотять, чтобы войско было дѣйствительно войскомъ, а не сбродомъ, не толпою всякихъ проходимцевъ". Дальше констатируется тотъ фактъ, что хотя офицеры и солдаты, „заступившіеся за свой мундиръ", и до сихъ поръ еще подвергаются иногда наказанію какъ за самоуправство, но это случается все рѣже и рѣже—и скоро, быть можетъ, не будетъ случаться вовсе.

Еще болѣе серьезнымъ симптомомъ, чѣмъ вышеприведенныя газетныя фразы, представляются варіаціи на ту же тему, принадлежащія человѣку науки. Защитникомъ подпоручика Шмидта передъ военнымъ судомъ выступилъ профессоръ харьковскаго университета, г. Владиміровъ; его защитительная рѣчь, напечатанная сначала въ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ", вышла недавно въ свѣтъ отдѣльной брошюрой. „Воинская честь,—говоритъ г. Владиміровъ, оправдывая ея преступленіе своего кліента,—не есть простое литературное выраженіе; воинская честь есть обязанность каждаго военного человѣка, безъ нея не можетъ быть хорошей арміи. Честь есть виѣшнее проявленіе извѣстнаго чувства долга, извѣстнаго нравственнаго настроенія. Она различна въ различныхъ сословіяхъ; понятія о чести ученаго, военного, духовнаго лица различны (?), хотя всѣ должны быть честными людьми. Каждому военному должно быть присуще—кромѣ правилъ нравственности, для всѣхъ обязательныхъ—также и благородство. Ему недостаточно быть честнымъ; отъ него требуется нѣчто большее—великодушіе, извѣстная возвышенность чувствъ; требуется, чтобы въ каждомъ, самомъ тяжкомъ жизненномъ положеніи, военный человѣкъ поступалъ такъ, какъ диктуютъ высокія чувства, хотя бы онъ рисковалъ своею личностью, своимъ положеніемъ, своею жизнью—чтобы, напримѣръ, ему могла безбоязненно вручить свою честь женщина, при всякихъ условіяхъ. Наконецъ, воинская честь есть *соблюденіе достоинства внѣшнѣю выраженія чести, которая овеществляется въ мундирѣ*. Честь мундира есть общее достоинствіе арміи; съ нимъ нельзя обращаться произвольно и небрежно. Если на комъ-нибудь *омрачено это внѣшнее выраженіе чести*, и если это лицо попадаетъ въ такое положеніе, что воинская честь требуетъ одного, а уголовный законъ—другого, то оно, конечно, очутится между молотомъ и наковальней; но тогда чувство воинской чести должно подсказать ему, какъ поступить". При столкновеніи съ трагической прислужкой у Шмидта былъ разорванъ мундиръ; оторванный

кусокъ (съ подпрапорщичьей нашивкой) остался у буфетчика—и послѣдній былъ убитъ именно тогда, когда Шмидтъ, двадцать-четыре часа спустя, потребовалъ возвращенія ему этого „вещественнаго доказательства“ нанесенной ему обиды. Прокуроръ (по словамъ защительной рѣчи) утверждалъ, что оскорбленіе, причиненное Шмидту, было не важно, что онъ могъ „равнодушно смотрѣть на растерзанный мундиръ“; согласиться съ этимъ взглядомъ—значило бы, по мнѣнію защитника, „уничтожить военную особенность настоящаго дѣла, убить его душу“.

Нетрудно замѣтить, что аргументація г. Владимірова не представляетъ собою одного гармоническаго, стройнаго цѣлаго. Сначала онъ высказываетъ нѣсколько общихъ положеній, далеко не лишенныхъ основанія—но потомъ замѣняетъ ихъ другими, совершенно противоположнаго свойства. „Воинская честь“ внезапно является у него синонимомъ „чести мундира“, тогда какъ на самомъ дѣлѣ между той и другой лежитъ цѣлая пропасть. Воинская честь, какъ ее первоначально понимаетъ и опредѣляетъ защитникъ, совпадаетъ съ честью вообще, слегка только подчеркивая или выдвигая на первый планъ одну ея сторону. Есть качества, свойственныя каждому „честному“ человѣку—но преимущественно свойственныя тѣмъ, отъ кого постоянно ожидается проявленіе этихъ качествъ. Если, вопреки ожиданію, данное качество оказывается здѣсь отсутствующимъ или недостаточно развитымъ, это считается *особенно* унизительнымъ, *особенно* постыднымъ. Невоздержный священникъ, пристрастный судья, недобросовѣстный ученый навлекаютъ на себя, съ этой точки зрѣнія, порицаніе болѣе строгое, чѣмъ человѣкъ другого званія, другой профессіи, страдающій тою же слабостью или тѣмъ же порокомъ. Отъ военнаго человѣка прежде всего требуется мужество, храбрость; понятно, что больше всего ему вѣняется въ вину трусость, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ — даже простая осторожность. Въ этомъ только смыслъ, какъ намъ кажется, и можно говорить о специально-воинской чести; иначе придется различать между офицерскою и солдатскою честью, между тѣмъ какъ воинская честь—только одна. По своему внутреннему свойству она не составляетъ чего-то исключительнаго, принадлежащаго единственно однимъ военнымъ; она близко соприкасается, на примѣръ, съ тѣмъ чувствомъ, во имя котораго врачъ или сестра милосердія считаютъ себя не въ правѣ бѣжать изъ зачумленнаго города, отъ постели заразительнаго больного—и во имя котораго они подвергаются осужденію, если не останутся твердыми на своемъ опасномъ постѣ. Идти дальше едва ли возможно; едва ли возможно вводить въ понятіе о воинской чести—какъ это дѣлаетъ г. Владиміровъ — деликатность, великодушіе, возвышенность чувствъ. Жела-

тельно, конечно, чтобы всѣмъ этимъ отличались офицеры — но не менѣе законно такое желаніе по отношенію ко всякому нравственно развитому человѣку, кѣмъ бы и чѣмъ бы онъ ни былъ. Не адъсь, однако, главный пунктъ разногласія нашего съ г. Владиміровымъ. Мы встаемъ противъ скачка, посредствомъ котораго онъ сразу переходитъ отъ „воинской чести“ къ „честью мундира“. Ясная мысль уступаетъ мѣсто туманной или напыщенной фразѣ; намъ говорить о „соблюденіи достоинства внѣшняго выраженія чести“, объ „омраченіи внѣшняго выраженія чести“, объ „овеществленіи чести“ въ формѣ мундира. Провозглашается, такимъ образомъ, не обязанность быть и оставаться честнымъ, а обязанность оберегать внѣшнимъ образомъ внѣшнюю оболочку, совершенно напрасно возводимую на степень символа. И этой-то оболочкѣ присвоивается преимущество—передъ чѣмъ? Передъ чужою жизнью — передъ жизнью буфетчика, застрѣленного Шмидтомъ, передъ жизнью мѣщанина, заколотога деньщикомъ. Мы не касаемся самаго существа уголовныхъ дѣлъ, подавшихъ поводъ къ разсужденіямъ г. Владимірова и вышеупомянутой газеты. Весьма можетъ быть, что Шмидтъ убилъ буфетчика, находясь въ состояніи аффекта или необходимой обороны; весьма можетъ быть, что деньщикъ защищался кинжаломъ противъ нападенія, угрожавшаго опасностью его здоровью или его жизни. Для насъ важно только то, что достаточнымъ оправданіемъ *убійства* признается въ одномъ случаѣ „растерзаніе мундира“, въ другомъ случаѣ—„издѣвательство надъ мундиромъ“. И развѣ мундиръ, офицерскій или солдатскій, въ самомъ дѣлѣ нуждается у насъ въ подобной защитѣ, развѣ онъ въ самомъ дѣлѣ „приниженъ, забитъ и сбитъ съ толку“? Нельзя себѣ представить ничего болѣе далекаго отъ истины. Между войскомъ и народомъ, между войскомъ и обществомъ существуютъ у насъ, вообще говоря, самыя хорошія, самыя нормальныя отношенія; испортить, исказить ихъ могутъ только непрошенныя защитники, опасные друзья мундира ¹⁾. Солдатъ, со времени введенія въ дѣйствіе общей воинской повинности, представляетъ собою всѣ классы народа, въ среду котораго онъ и возвращается настолько скоро, что не остается времени для искусственнаго ихъ разобщенія. Офицеры до сихъ поръ

¹⁾ Въ послѣднее время въ газетахъ изрѣдка стали появляться извѣстія о буйствахъ и безпорядкахъ, будто бы совершаемыхъ солдатами и не находившихъ достаточно-энергичнаго отпора со стороны военнаго начальства (см., напр., корреспонденцію изъ Лубенъ, полтавской губерніи, перепечатанную изъ „Южнаго Края“ въ № 257 „Новостей“). Мы не теряемъ надежды, что эти извѣстія окажутся ошибочными или преувеличенными—но если они справедливы, то это еще болѣе убѣждаетъ насъ въ опасности распространенія ложныхъ понятій объ отношеніи военныхъ къ не-военнымъ.

пользуются сочувствіемъ, заслуженнымъ ими въ продолженіе послѣдней восточной войны; никому не приходитъ въ голову унижать ихъ, презрительно относиться къ ихъ профессіи, къ ихъ мундиру. Обоянь или Ромны—не завоеванная страна, въ которой войска должны вѣчно быть на-сторожѣ, вѣчно чувствовать вокругъ себя атмосферу вражды, въ каждую данную минуту готовой перейти отъ косыхъ взглядовъ къ обиднымъ словамъ, отъ обидныхъ словъ къ насильственнымъ дѣйствіямъ. Военная форма никому у насъ не противна, ни въ комъ не вызываетъ неприязни; незачѣмъ, слѣдовательно, и заботиться о чрезвычайной ея охранѣ. Пусть только каждый, носящій форму, сохраняетъ уваженіе къ другимъ и къ самому себѣ—и ему будутъ платить тою же монетой. Возможны, конечно, исключительные случаи, въ которыхъ не обережешься отъ незаслуженныхъ оскорбленій—но вѣдь они возможны не для однихъ военныхъ, и мы не видимъ причины, почему одной категоріи гражданъ право самозащиты должно быть предоставлено въ бѣльшей мѣрѣ, чѣмъ всѣмъ другимъ. Оружіе дано офицерамъ и солдатамъ, безъ сомнѣнія, не для того, чтобы они пускали его въ ходъ противъ безоружныхъ. Меньше всего такой образъ дѣйствій соответствуетъ „великодушію“, составляющему, по мнѣнію г. Владимірова, принадлежность воинской чести.

Заговоривъ однажды о защитительной рѣчи г. Владимірова, мы не можемъ умолчать о другой ея чертѣ, столь же мало симпатичной; это — погоня за фразой, вдвойнѣ неумѣстная въ устахъ русскаго профессора и русскаго защитника. Чтѣ сказать, наприимѣръ, о такомъ приступѣ къ защитѣ: „23 ноября 1886 г., въ темную ночь, на крыльцѣ квартиры командира сѣвскаго полка лежалъ молодой подпрапорщикъ Шмидтъ. Онъ имѣлъ видъ или усталаго путника, котораго еле донесли искалѣченные ноги, или пловца, котораго послѣ сильной борьбы волны выбросили на берегъ, избивъ предварительно объ острые камни и утесы“. Въ рѣчи зауряднаго французскаго адвоката, какъ и въ заурядномъ сенсаціонномъ романѣ, эта риторика насъ бы не удивила; лучшимъ приѣмамъ русской адвокатуры, да и русской беллетристики, она рѣшительно противорѣчитъ. „Еслибы мы,—продолжаетъ защитникъ,—быстро помчались въ абакумовскій трактиръ, то увидѣли бы тамъ другую картину. Въ биллиардной воннатѣ лежалъ убитый буфетчикъ Готовскій, повернутый къ стѣнѣ, уткнувшись лицомъ въ соръ, выметенный изъ юстиции. Онъ окончилъ жизнь въ обстановкѣ, которая какъ бы напоминаетъ собою низкіе поступки его относительно подпрапорщика Шмидта“. Стремленіе къ эффекту доводитъ здѣсь до безцѣльнаго, непростительнаго глумленія надъ убитымъ. Какъ бы несчастный буфетчикъ ни былъ виноватъ передъ Шмидтомъ, онъ искупилъ свою вину смертью, т.-е.

наказаніемъ, во всякомъ случаѣ, несоразмѣрнымъ преступленію, — и не защитнику Шмидта подобало рисовать картину грязи, среди которой умеръ Гutowскій. „Еслибы мы, — продолжаемъ нашу выписку изъ защитительной рѣчи, — отправились въ третье мѣсто, въ квартиру подпорпорщика Шмидта, то въ сундукѣ его нашли бы истерзаннй подпорпорщичій мундиръ. Онъ-то и служить ключомъ къ разгадкѣ всей этой исторіи“. Патетическое близко, очень близко граничило бы здѣсь съ смѣшнымъ, еслибы только въ дѣлѣ объ убійствѣ было мѣсто для смѣшного. Придавая такое значеніе „истерзанному“ мундиру, защитникъ оказывалъ, въ сущности, плохую услугу своему кліенту. Мундиръ былъ „истерзанъ“ накануне убійства, и выдвигать его на первый планъ — значило придавать преступленію оттѣнокъ обдуманности, которой оно на самомъ дѣлѣ было чуждо. Ложная исходная точка отразилась, такимъ образомъ, на всей защитѣ и парализовала, до извѣстной степени, выдающееся дарованіе, которымъ обладаетъ защитникъ.

Вышедшій недавно въ свѣтъ первый выпускъ журнальныхъ и газетныхъ статей М. Н. Каткова ¹⁾ заключаетъ въ себѣ множество иллюстрацій къ сказанному нами въ предыдущей хроникѣ о нетерпимости покойнаго писателя. Ограничимся однимъ примѣромъ, особенно характеристичнымъ. Весною 1863 г., въ самый разгаръ польскаго возстанія, въ журналѣ „Время“ появилась статья г. Страхова, посвященная польскому дѣлу и озаглавленная: „Роковой вопросъ“. Что въ этой статьѣ не было ничего зловреднаго, преступнаго, антипатріотическаго — достаточнымъ ручательствомъ тому служить имя ея автора и помѣщеніе ея въ журналѣ, фактическимъ редакторомъ котораго былъ О. М. Достоевскій. Тѣмъ не менѣе, „Московскія Вѣдомости“ забили тревогу ²⁾. Автору и журналу онѣ поставили въ вину, прежде всего, анонимность статьи (она была подписана: „Русскій“). „Такая статья не должна была явиться безъ подписи автора. Только бандиты наносятъ удары съ маской на лицѣ“. Дальше статья г. Страхова провозглашалась сплошною ложью, и въ самой подписи усматривался коварный умыселъ. „Разумѣется, поляки поторопятся перевести статью на всѣ языки Европы и скажутъ: вотъ видите ли, какъ сами русскіе думаютъ; не правы ли мы? — Поди потомъ, разувѣрай Европу“. Въ какой степени замѣтка „Московскихъ Вѣдомо-

¹⁾ См. выше, Литературное Обозрѣніе.

²⁾ Первоначальная замѣтка „Московскихъ Вѣдомостей“ подписана: Петерсонъ; псевдонимъ ли это, или настоящее имя одного изъ сотрудниковъ газеты — не знаемъ, но редакція была, очевидно, солидарна съ авторомъ замѣтки.

стей“ способствовала запрещенію „Времени“ — этого мы рѣшить не беремся; весьма вѣроятно, однако, что между обоими явленіями была причинная связь—иначе г. Страховъ не сталъ бы говорить (въ „Воспоминаніяхъ“ о Достоевскомъ), что редація „Московскихъ Вѣдомостей“ чувствовала себя въ нѣкоторой мѣрѣ виноватою передъ „Временемъ“. Какъ бы то ни было, въ одной изъ ближайшихъ книгъ „Русскаго Вѣстника“ появилась статья, толкуемая теперь г. Страховымъ въ смыслѣ косвенной защиты пострадавшаго журнала. Допустимъ, что такова дѣйствительно была цѣль Каткова (статья помѣщена въ собраніи его сочиненій безъ всякой оговорки, и слѣдовательно принадлежитъ лично ему); тѣмъ знаменательнѣе тонъ статьи и ея манера. Начинается она увѣреніемъ, что „Роковой вопросъ“ вызвалъ въ русскомъ обществѣ *сильнѣйшее негодованіе*. „Общественное мнѣніе было оскорблено этою статьею. Патріотическое чувство не могло допустить, чтобы среди русскаго общества раздался странный голосъ въ пользу притязаній, враждебныхъ Россіи. Оно никакъ не могло допустить, чтобы въ русскомъ обществѣ кто-нибудь бралъ на себя должность судьи между русскимъ и польскимъ дѣломъ, и подъ личиною судейскаго безпристрастія произносилъ приговоръ въ пользу польской цивилизаціи и латинства. Будь что-либо подобное написано полякомъ, будь что-либо подобное написано полемическимъ тономъ, съ запаломъ страсти, общество скорѣе могло бы стерпеть. Оно могло бы отвѣчать презрѣніемъ на подобную выходку, но оно было глубоко возмущено, слыша подобныя разсужденія отъ человѣка, назвавшаго себя русскимъ, и какъ бы ни сильно выразилось это негодованіе, оно было бы совершенно естественно и справедливо“. Какъ ясно рисуются здѣсь полемическіе приемы, разъ навсегда усвоенные Катковымъ! Прежде всего—претензія говорить отъ имени общества. Въ нѣсколькихъ случайныхъ отзывахъ, въ нѣсколькихъ мимоходомъ слышанныхъ восклицаніяхъ усматривается голосъ „общественнаго мнѣнія“; личное настроеніе немногихъ возводится на степень господствующаго чувства. Мы хорошо помнимъ весну 1863 года—и можемъ сказать съ полнымъ убѣжденіемъ, что о *всеобщемъ* негодованіи противъ „Рокового вопроса“ или противъ журнала, напечатавшаго эту статью, не было и помину. Закричите пронзительно и громко: „предательство, измѣна!“—и вы всегда найдете стоустое эхо, которое повторитъ за вами эти слова; но будете ли вы правы, выдавая вызванные вами отголоски за самостоятельные голоса и кичась ихъ многочисленностью?.. Этого мало: преувеличивъ распространенность и силу негодованія, Катковъ признаетъ за нимъ ничѣмъ не ограниченное право репрессалій. Подумалъ ли онъ, какое значеніе могло быть дано его словамъ: „какъ бы сильно ни выразилось

негодованіе, оно было бы совершенно естественно и справедливо“? Весьма можетъ быть, что онъ хотѣлъ оправдать ими только запрещеніе „Времени“ и свою собственную роль въ этомъ дѣлѣ; но подѣ буквальный ихъ смыслъ подошло бы всякое насиліе противъ автора статьи или редактора журнала. Заранѣе извинять всякій взрывъ „благороднаго негодованія“, значитъ играть въ опасную игру—особенно опасную въ обществѣ, только что пробудившемся отъ сна и не привыкшемъ къ борьбѣ мнѣній... Двадцать-четыре года тому назадъ печать у насъ была совершенно безправна; ей ли подобало принимать на себя защиту распоряженія, налагавшаго молчаніе на цѣлую группу писателей? Разбираемая нами статья „Русскаго Вѣстника“ знаменуетъ собою зарожденіе тѣхъ тенденцій, послѣднимъ словомъ которыхъ является монополія оффиціозной прессы.

Отъ изображенія чувствъ, возбужденныхъ, будто бы, „Рокowymъ вопросомъ“, Катковъ переходитъ къ автору этой статьи ¹⁾. „Г. Страховъ занимается философіей и храбро причисляетъ себя къ послѣдователямъ гегелевской философіи, давно похороненной и всѣми забытой. Не печальное ли это явленіе? Люди занимаются сами не зная чѣмъ, сами не зная зачѣмъ. Богъ знаетъ, какимъ образомъ вдругъ возникаютъ у насъ разныя направленія, ученія, школы, партіи. Какія дѣйствительныя причины могли бы возбудить у насъ въ чловѣкѣ потребность, не вымышленную, а серьезную, заниматься гегелевскою философіей, и что значать эти занятія, ничѣмъ не вызываемыя, ничѣмъ не поддерживаемыя, ни къ чему не клонящіяся, ни къ чему не ведущія? Съ какими преданіями они связываются, къ чему они примыкаютъ, на чемъ стоятъ? И дѣйствительно ли развился у насъ такъ широко философскій интересъ, что у насъ могутъ являться специалисты по разнымъ нѣмецкимъ системамъ? Какой смыслъ представляетъ изъ себя русскій чловѣкъ, становящійся послѣдователемъ системы, выхваченной изъ цѣлаго ряда нѣмецкихъ системъ и отдѣльно не имѣющей никакого значенія ни у себя дома, ни для посторонняго наблюдателя?“... Какое поразительное неуваженіе къ чужой умственной жизни, какая странная претензія регулировать чужія занятія, налагать запретъ на ту или другую дорогу къ знанію! Гегелевская философія, въ особенности четверть вѣка тому назадъ, могла служить предметомъ глубокаго интереса, источникомъ живого увлеченія, совершенно независимо отъ національности изслѣдователя. Громадная роль, сыгранная ею въ развитіи нѣмецкой мысли, не успѣла еще изгладиться изъ памяти. Подѣ ея непосредственнымъ вліяніемъ нахо-

¹⁾ Оправдательное письмо, адресованное г. Страховымъ въ редакцію „Русскаго Вѣстника“ и „Московскихъ Вѣдомостей“, давало Каткову право назвать г. Страхова по имени.

дились еще такіе умы, какъ Лассаль, какъ Карлъ Маресъ; подъ ея руководствомъ продолжали еще воспитываться, даже за предѣлами Германіи, цѣлыя поколѣнія — наиримѣръ то, къ которому принадлежитъ Брандесъ. Въ Россіи она только что перестала стоять во главѣ угла. Традиціи временъ Станкевича и Бѣлинскаго не были еще забыты; спеціальныя сочиненія о Гегелѣ и гегеліанизмѣ — напр. книга Гайма — находили у насъ и читателей, и переводчиковъ. Что же удивительнаго въ томъ, что явился молодой русскій писатель, рѣшившійся заняться гегелевскою философіей и причислившій себя къ ея послѣдователямъ ¹⁾? Ему было къ чему „применуть“, у него были „преданія“, съ которыми онъ могъ „связать“ свое дѣло. Забылъ эти преданія не г. Страховъ — забылъ ихъ самъ Катковъ, бывшій профессоръ философіи, бывшій членъ философскихъ кружковъ „in der Stadt Moskau“. Допустимъ, однако, что занятіе гегелевскою философіей, въ началѣ шестидесятихъ годовъ, было у насъ чѣмъ-то висѣвшимъ на воздухѣ, лишеннымъ почвы; что же изъ этого слѣдуетъ? Неужели одобренія заслуживаютъ только занятія, кѣмъ-либо „поддерживаемыя“, къ чему-либо „ведущія“, т.-е. имѣющія какую-нибудь ясно определенную практическую цѣль? „Печальнымъ явленіемъ“ былъ бы не выборъ темы, лежащей въ сторонѣ отъ большой дороги — печальнымъ явленіемъ было бы стремленіе сообразоваться исключительно съ господствующимъ запросомъ, съ наиболѣе распространенными требованіями публики.

Общая вина г. Страхова, по опредѣленію Каткова, заключалась въ слишкомъ усердномъ занятіи гегелевскою философіей; спеціальной виной его, какъ автора инкриминированной статьи, было... старанье глубже вникнуть въ вопросы! „Въ этомъ-то, — по мнѣнію строгаго обвинителя, — вся и бѣда. Въмѣсто того, чтобы смѣшаться съ живыми людьми, вмѣсто того, чтобы за-одно съ ними мыслить, чувствовать и дѣйствовать, г. Страховъ пустился вникать глубже въ вопросъ. Онъ забылъ и почву, и народное чувство, и событія, происходящія теперь у всѣхъ передъ глазами, и погрузился въ метафизику вопроса“. Отсюда прискорбное недоразумѣніе: „человѣкъ хотѣлъ самымъ рѣзкимъ образомъ выразить свое народное самолюбіе, свой патріотизмъ — и оскорбилъ это самолюбіе, возмущилъ патріотическое чувство“. Итакъ, къ первой обязанности мыслителя — идти по проторенной дорожкѣ, сохранять связь съ преданіями, стремиться къ практической цѣли — присоединяется другая, еще болѣе важная: не углубляться слишкомъ далеко въ изучаемые вопросы, а смѣшиваться съ

¹⁾ Былъ ли г. Страховъ, въ самомъ дѣлѣ, „послѣдователемъ“ Гегеля — мы не знаемъ; мы исходимъ изъ фактовъ, приводимыхъ въ статьѣ Каткова, не отрицая ихъ достовѣрности.

„живыми людьми“, мыслить за-одно съ ними. „Живые люди“—это, очевидно, полу-образованное большинство, скользящее по поверхности вопросовъ, руководимое отчасти рутинной, отчасти „народнымъ самолюбіемъ“, отчасти тою или другой минутной вспышкой. И вотъ кому мыслитель долженъ приносить въ жертву свою самостоятельность, свою свободу, свои душевныя убѣжденія! Хорошъ „патріотизмъ“, во имя котораго требуются подобныя жертвы! Это „патріотизмъ“ прусскихъ „юнкеровъ“ передъ Іеною или большинства французскаго законодательнаго корпуса передъ объявленіемъ войны 1870 г.; это патріотизмъ, не желающій слушать Штейна и Гарденберга или кричащій о „предательствѣ“ Тьера. Въ приведенныхъ нами словахъ обрисовался весь Катковъ позднѣйшей эпохи—Катковъ-доктринеръ, не понимающій или не признающій возможности разногласія, Катковъ-нивелиляторъ, желающій подвести все и всѣхъ подъ мѣрку „настоящаго“, т.-е. своего собственнаго патріотизма.

Статья Каткова о „Роковомъ вопросѣ“ любопытна во многихъ другихъ отношеніяхъ. Проникнутая полемическимъ задоромъ противъ славянофильства, она обнаруживаетъ весьма ярко глубокое различіе, существовавшее между Катковымъ и Аксаковымъ—различіе, которое постоянно помнилъ первый, но слишкомъ часто, къ сожалѣнію, расположенъ былъ забывать послѣдній. Ко всему этому мы будемъ имѣть случай возвратиться; укажемъ здѣсь только одну черту, характеристичную для *литературной* манеры Каткова. Его часто называютъ великимъ стилистомъ, великимъ мастеромъ и виртуозомъ слова—до такой степени часто, что этотъ титулъ принимается, наконецъ, словно на вѣру, какъ нѣчто безспорно принадлежащее покойному писателю. Пора, думается намъ, приступить къ повѣркѣ рѣшенія, ниѣмъ и ничѣмъ не мотивированнаго ¹⁾. Полный матеріалъ для такой работы окажется на лицо только тогда, когда будетъ окончено или близко къ концу изданіе главнѣйшихъ статей Каткова; но уже теперь нетрудно подмѣтить нѣкоторые штрихи, не говорящіе въ пользу господствующаго мнѣнія. Возьмемъ хотя бы цитаты, приведенныя нами выше, и посмотримъ на нихъ съ точки зрѣнія формы. Для усиленія эффекта Катковъ постоянно прибѣгаетъ къ фигурѣ повторенія и усугубленія. Въ различныхъ словахъ нѣсколько разъ высказывается одна и та же мысль; аргументація не идетъ впередъ, а топчется на одномъ и томъ же мѣстѣ. Этотъ способъ выраженія представляется самъ по себѣ совершенно законнымъ и можетъ, иногда, способствовать достиженію цѣли; опасно только злоупотребленіе имъ, утомительна

¹⁾ Само собою разумѣется, что мы не думаемъ отрицать дарованіе Каткова; изслѣдованію подлежатъ только его *свойство* и *степень*.

только безпрестанная игра на одной и той же струнѣ—а именно съ этимъ мы встрѣчаемся у Каткова. Мы едва ли ошибемся, если назовемъ такой приемъ преимущественно *адвокатскимъ*—но въ адвокатской рѣчи онъ гораздо болѣе уместенъ (или, по крайней мѣрѣ, гораздо менѣе неприятенъ), чѣмъ въ журнальной или газетной статьѣ. Для *слушателей* плеоназмы—конечно, при нѣкоторомъ искусствѣ оратора—не такъ чувствительны, какъ для *читателей*. Слѣдствіемъ впечатлѣній у первыхъ совершается гораздо быстрее, чѣмъ у послѣднихъ; отсюда, въ иныхъ случаяхъ, необходимость или цѣлесообразность задержки, облегчающей усвоеніе сказаннаго, сосредоточивающей вниманіе на томъ или другомъ главномъ тезисѣ оратора. При чтеніи задержка всегда зависитъ отъ самого читателя; онъ можетъ остановиться, еще разъ просмотрѣть прочитанное—и автору незачѣмъ неуклонно держаться латинской поговорки: *bis repetitum placet*. Лично для оратора, вдобавокъ, фигура повторенія является иногда точно отдыхомъ, въ продолженіе котораго—если онъ импровизируетъ свою рѣчь—онъ можетъ приготовить, мысленно, переходъ къ другой серіи аргументовъ. Положеніе писателя—совсѣмъ иное; онъ свободенъ остановиться, гдѣ и когда хочетъ, ему нѣтъ надобности прибѣгать къ искусственнымъ паузамъ мысли, во время которыхъ продолжаетъ звучать или двигаться слово. Чѣмъ чаще встрѣчаются у него повторенія и усугубленія, тѣмъ больше оснований предполагать въ немъ бѣдность внутренняго содержанія, прикрываемую обиліемъ внѣшнихъ формъ. Мы видѣли уже, какъ скудна, въ самомъ дѣлѣ, подкладка длиннаго ряда фразъ, посредствомъ которыхъ Катковъ выставляетъ на видъ всеобщее негодованіе противъ „Роковаго вопроса“ или тщету занятій гегелевскою философіей. Приведемъ, изъ той же статьи, второй примѣръ, еще болѣе поразительный. Рѣчь идетъ о туманности и пустотѣ, свойственной славянофильству. „Смѣемъ увѣрить нашихъ пророчествующихъ народолюбцевъ, что они возвратятся къ народу и станутъ на почвѣ, о которой они такъ много толкуютъ, не прежде, какъ переставъ толковать о ней и занявшись какимъ-нибудь серьезнымъ дѣломъ. Не прежде эти мыслители обрѣтутъ то, чего ищутъ, какъ прекративъ свои исканія. Не прежде станутъ они дѣльными людьми, какъ переставъ пророчествовать и благовѣствовать. Не прежде станутъ они и русскими людьми, какъ переставъ отыскивать какой-то таинственный талисманъ, долженствующій превратить ихъ въ русскихъ людей. Они наткнутся на искомую народность не прежде, какъ переставъ отыскивать ее въ какихъ-то превысупреннихъ началахъ, въ пустотѣ своей ничѣмъ не занятой и надутой мысли...“ Мы прерываемъ здѣсь нашу выписку не потому, чтобы запасъ повтореній былъ уже исчерпанъ; нѣтъ, они продолжаются еще на протя-

женіи цѣлой страницы (491—492) — но мы боимся утомить читателей и загромоздить нашу замѣтку слишкомъ длинными цитатами. Достаточно и того, что въ пяти фразахъ, слѣдующихъ одна за другою, повторяется до пресыщенія одна и та же мысль, вовсе не сложная и не нуждающаяся въ широкимѣшателѣномъ развитіи. Быть можетъ, эта шумиха фразъ производитъ на кого-либо оглушающее впечатлѣніе; быть можетъ, она является для кого-либо тѣмъ рядомъ капель, который пробиваетъ камень по vi, sed saepe cadendo—но дарованіе автора нельзя измѣрять дѣйствіемъ его на читателей такого рода. Сжатость, какъ истинный источникъ силы, служить отличительной чертой всѣхъ дѣйствительно великихъ публицистовъ.

Стараясь опредѣлить, по возможности спокойно и безпристрастно, значеніе Каткова, мы вовсе не хотимъ закрывать глаза на лучшія стороны его дѣятельности. Намъ пріятно, поэтому, привести слѣдующій отрывокъ изъ письма его къ С. Н. Фишеръ (основательницѣ единственной женской гимназіи, гдѣ введено обученіе обоимъ древнимъ языкамъ), напечатаннаго недавно въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ (№ 242). „Женщина,—пишетъ Катковъ (1-го іюля 1872 г.),—по существу своему не умалена отъ мужчины; ей не отказано ни въ какихъ дарахъ человѣческой природы, и нѣтъ высоты, которая должна оставаться для нея недоступною. Наука и искусство могутъ быть открыты для женщинъ въ такой же силѣ, какъ и для мужчинъ“... „Нечего опасаться,—прибавляетъ онъ годъ спустя, — основательнаго образованія и стѣснять его предѣлы. Пусть женщина идетъ здѣсь наравнѣ съ мужчиной... Истинно образованная женщина, способная восполнить мужское дѣло и въ умственномъ трудѣ, не можетъ не стать истиннымъ благомъ для той общественной сферы, гдѣ она появится“. Условіе для допущенія женщинъ къ высшему образованію Катковъ ставилъ только одно: среднее образованіе, равное мужскому. Съ его точки зрѣнія это требованіе было совершенно послѣдовательно и нисколько не уменьшаетъ цѣнность его взгляда на женское образованіе. Пусть друзья покойнаго писателя отыщутъ между его письмами побольше такихъ, какія огласила госпожа Фишеръ—они окажутъ этимъ его памяти гораздо большую услугу, чѣмъ попытками поставить его имя наряду съ именами Ломоносова и Пушкина (!), возвести его на степень „печальника и молитвенника предъ Господомъ за землю русскую“—или разъяснять его значеніе отрокамъ и дѣтямъ. „По почину попечителя виленскаго учебнаго округа, —читаемъ мы въ „Новомъ Времени“ (№ 4152),—въ учебныхъ заведеніяхъ округа между учащими и *учащимися* собираются по подпискѣ деньги на серебряный вѣнокъ, который будетъ возложенъ на могилу М. Н. Каткова“. Мы рѣшительно отказываемся вѣрить этому слуху. Подписки по почину начальства едва ли допускаются между

учащимися; тѣмъ менѣе умѣстны въ этой средѣ подписки въ память писателя, съ которымъ не могутъ быть знакомы ученики среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній.

Предположеніе, выраженное нами въ предыдущей хроникѣ относительно продолжателей и подражателей Каткова, подтверждается съ каждымъ днемъ все больше и больше; они усердно и неуклонно идутъ по его стопамъ, только еще яснѣе ставя точки надъ і. Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ раздаются жалобы на *подвохи* противъ новаго университетскаго устава—подвохи, вызванные именно его достоинствами; другими словами—въ университетахъ есть люди, девизъ которыхъ: чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. Петербургскій „подголосокъ“ не высокаго сорта прессы идетъ еще дальше и прямо называетъ профессора, котораго надлежитъ удалить изъ университета! Въ той же газетѣ мы находимъ слѣдующее опредѣленіе тверской земской статистики: „это такая вещь, посредствомъ которой политическимъ ссыльнымъ, за извѣстное жалованье, поручается обученіе народа тому, что они всего лучше знаютъ—наукѣ о революціи“. Дальше этого безцеремонность идти, повидимому, не можетъ. У нея есть, впрочемъ, и хорошая сторона: *откровенность*, устраняющая всякое сомнѣніе насчетъ послѣднихъ цѣлей этого рода агитаціи. До сихъ поръ никто не рѣшался прямо и открыто порицать крестьянскую реформу; теперь не останавливаются уже и передъ этимъ. Негодуя на „Journal de Saint-Petersbourg“, осмѣлившійся назвать конецъ пятидесятихъ и начало шестидесятихъ годовъ временемъ „восхитительнаго расцвѣта идей“ и „незабвеннаго пробужденія“,—„Московскія Вѣдомости“ восклицаютъ: „да развѣ не въ эту самую эпоху неумнымъ обращеніемъ съ чуждыми идеями положено начало матеріальному раззоренію нашего дворянства?“ Очевидно, здѣсь идетъ рѣчь не о чемъ другомъ, какъ объ освобожденіи крестьянъ съ землею. Въ самомъ дѣлѣ, что такое, съ точки зрѣнія извѣстныхъ витій, свобода и благосостояніе нѣсколькихъ десятковъ милліоновъ „низшаго рода людей“!?



ОПЕЧАТКИ:

Въ настоящей книгѣ остались, по недосмотру, неисправленными слѣдующія мѣста:

Строк.:	Строка:	Напечатано:	Слѣдуетъ:
592	10 св.	Цютерень	Цютфень
597	19 „	самне	не самыя

СОДЕРЖАНІЕ

ПЯТАГО ТОМА.

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ, 1887.

Книга девятая. — Сентябрь.

	СТР.
ТЮРЬМА.—Повѣсть.—VI-XI.—В. ДМИТРИЕВОЙ	5
ИЗЪ АВТОБІОГРАФІИ.—І. М. М. АНТОКОЛЬСКАГО.	68
СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА ВОРОНЦОВЫХЪ.—Окончаніе. IV.—А. Г. БРИКНЕРА	109
П. Н. Кудрявцевъ, въ его учено-литературныхъ трудахъ.—І.—В. И. ГЕРЬЕ . .	146
Типъ Фауста въ мировой литературѣ.—Очерки.—III.—М. Ф. ТЪ	199
СТЕПЛА.—Романъ въ двухъ частяхъ, миссисъ Бреддонъ.—Съ англійскаго.—Часть вторая.—V-IX.—А. Э.	228
НАКАНУНЪ ПУШКИНА.—Сочиненія К. Н. Батюшкова, со статьею о жизни и со- чиненіяхъ Батюшкова, написанною Л. Н. Майковымъ, и примѣчаніями, составленными имъ же и В. И. Сантовымъ.—А. Н. ПЫПИНА.	278
СТАРЫЙ ДРУГЪ.—Романъ.—I-XXII.—І. ЯСИНСКАГО.	312
ХРОНИКА.—Внутреннее Овозрѣніе.—Ограниченіе приема въ гимназій и про- гимназій: министерское распоряженіе 18-го іюня и циркуляръ попечи- теля одесскаго учебнаго округа.—Тѣсная связь между этими мѣрами и новыми университетскими правилами.—Вопросъ о сосредоточеніи перво- начальнаго народнаго образованія въ рукахъ одного вѣдомства.—Сель- ская медицина въ западныхъ губерніяхъ.—Новая желѣзно-дорожная по- литика.	371
ИНОСТРАННОЕ ОВОЗРѢНІЕ.—Австро-германскій союзъ и его значеніе.—Свиданіе императоровъ въ Гаштейнѣ.—Восточная политика Австріи, въ связи съ условіями союза двухъ имперій.—Причины разногласій между Вѣною и Берлиномъ по поводу балканскихъ дѣлъ.—Предпріятіе принца Кобург- скаго въ Болгаріи.—Отношенія великихъ державъ къ болгарскимъ со- бытіямъ.—Трудность практическихъ мѣръ для охраны берлинскаго трак- тата.—Проекты вышатаательства безъ оккупации.—Дѣло внутренняго при- миренія во Франціи и въ Италіи	393
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОВОЗРѢНІЕ.—Дѣтскія игры преимущественно русскія, въ связи съ исторіей, этнографіей, педагогіей и гигиеной, Е. Покровскаго.—Слово о Полку Игоревѣ, какъ художественный памятникъ кievской дружины Руси. Исслѣдованіе Е. Барсова. А. П.—К. Головинъ, Сельская община въ литературѣ и дѣйствительности.—К. К.—Древніе и современные со- фисты, Функъ-Брентано, переводъ Я. К. Новицкаго.—Л. С.	408
ИЗЪ ОВЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ:—Свобода сужденій объ умершихъ; ея необходи- мость, ея границы.—Обзоръ журнальной дѣятельности М. Н. Каткова.— Его нетерпимость; неопредѣленность его положительной программы, не- достатки его отрицанія.—Настроеніе, созданное „Московскими Вѣдомо- стями“.—Отношеніе ихъ къ вопросу объ окраинахъ.—Значеніе Каткова для русской печати.—Преемники Каткова.—Церковно-приходскія школы въ петербургской губерніи	426
БІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.—Стихотворенія С. Я. Надсона, съ портретомъ, факсимиле и біографическимъ очеркомъ. Изд. К. Т. Солдатенкова.— Физиономія и выраженіе чувствъ, П. Мантегацци. Пер. Н. Грота и Е. Вербицкаго.—Артуръ Шопенгауеръ. Лучи свѣта его философіи. Пер. Н. Маракуева.—Вл. Михневичъ. Петербургское лѣто. Очерки лѣтняго сезона. Лѣтнія сказки. Дачный романъ.	

Книга девятая. — Сентябрь.

стр.

Изъ автобиографіи.—II.—Окончаніе.—М. М. АНТОКОЛЬСКАГО	441
Тинъ Фауста въ мировой литературѣ.—Очерки.—IV.—Окончаніе.—М. Я. ФРИШМУТЪ.	470
Тюрьма.—Повѣсть.—XII-XXI.—Окончаніе.—В. И. ДМИТРИЕВОЙ	502
П. Н. Кузьявцевъ, въ его учено-литературныхъ трудахъ.—II.—Окончаніе.—В. И. ГЕРЬЕ	564
Пошехонская старина. — Жизнь и приключенія Никанора Затрапезнаго. — I. Грѣздо. — II. Мое рожденіе и раннее дѣтство. Воспитаніе физическое.—III. Воспитаніе нравственное.—Н. ЩЕДРИНЪ	599
Новыя объясненія Пушкина.—I.—А. Н. ПЫПИНА	632
Старый другъ.—Романъ.—XXXIII-XXXIX.—I. I. ЯСИНСКАГО.	676
Четыре лекціи Георга Брандеса, въ Петербургѣ и въ Москвѣ. — I. Художественный реализмъ у Эмиля Золя.—II. О литературной критикѣ	733
Стелла.—Романъ въ двухъ частяхъ, миссисъ Брэддонъ.—Съ англійскаго.—Часть вторая.—X-XIII.—Окончаніе.—А. Э.	768
Викторъ Гюго и новѣйшая французская критика.—К. К. АРСЕНЬЕВА	802
Хроника.—Внутреннее Овозрѣніе.—Отчетъ министра народнаго просвѣщенія за 1834 годъ.—Наши университеты, въ сравненіи съ нѣмецкими; гимназіи, прогимназіи, реальныя училища.—Правила объ испытаніяхъ и испытательныхъ комиссіяхъ; отличительныя свойства историко-филологической комиссіи.—Служи объ отмиѣнѣ или ограниченіи служебныхъ привилегій, обуславливаемыхъ образованіемъ.—Одинъ юридическій вопросъ.	818
Иностранное Овозрѣніе.—Безсиліе дипломатическихъ проектовъ по болгарскому вопросу.—Турція въ роли представительницы порядка и законности.—Невозможность политики невмѣшательства.—Нѣмецко-болгарскій инцидентъ и ошибочное его толкованіе.—Положеніе дѣлъ въ Болгаріи и событія борьбы съ оппозиціею.—Англія и ирландскій вопросъ.—Политическія дѣла Франціи.—Новое пограничное столкновеніе и манифестъ графа Парижскаго.	844
Литературное Овозрѣніе.—М. Н. Катковъ, 1863 годъ. Вып. I.—Дессингъ, какъ драматургъ, Ф. Андерсона. — Искусство устнаго изложенія, М. Бродовскаго.—К. К. — О естественныхъ предѣлахъ народовъ и государствъ.—Платонизмъ, А. М. Гилярова.—Публичныя лекціи и рѣчи, И. Тарасова.—Принципы ответственности желѣзныхъ дорогъ, А. Гордона.—Судьбы Ирландіи, Г. Аванасьева.—Наслѣдственность болѣзней, перев. М. Тумовскаго.—Письма изъ Персіи, Е. Бѣлозерскаго.—Современная Персія, Уильса.—Л. С.—Гигіена нервныхъ и нейропатовъ, д-ра Кюллера.—А. К.	858
Изъ Овещественной Хроники.—Защитительная рѣчь профессора Владимірова, по дѣлу подпрапорщика Шмидта. — Давно забытый споръ, какъ иллюстрація къ недавнему прошлому. — Еще два слова о продолжателяхъ и подражателяхъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“	878
Биографическій Листокъ.—Мелочи жизни, М. Е. Салтыкова.—Двадцатипятилѣтіе Пермскаго края, Е. Красноперова.—Опытъ статистическаго изслѣдованія о дѣятельности ссудосберегательныхъ товариществъ, Н. Осипова.—Свойства матеріи, Дж. Тэта. — Учебникъ акушерства для акушеровъ, д-ра Шнета. — Иллюстрированный словарь практическихъ свѣдѣній, Л. Симонова, вып. 9.	

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ.

Мелочи жизни. Соч. М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина). Дѣл. части. Спб. 1887. Стр. 216 в 245. Ц. 3 р.

Новое изданіе составляетъ двадцать-второй томъ въ общемъ числѣ сочиненій М. Е. Салтыкова. Здѣсь собраны всѣ отдѣльные его этюды за послѣдній годъ; большинство ихъ хорошо знакомо читателямъ нашего журнала; нѣкоторые же, какъ, напримеръ, „Газетчикъ“, появляются теперь впервые. „Мелочи жизни“ представляютъ собою цѣлую галерею самыхъ разнообразныхъ и разнотипныхъ типовъ, очерченныхъ изъ современной жизни, но авторъ при этомъ ведетъ преслѣдуетъ одну и ту же задачу — показать, „какими образомъ“, — говоритъ онъ самъ въ одномъ изъ своихъ этюдовъ, — дѣло воплоти реальное и содержательно можетъ, благодаря обстоятельству, обратиться въ чуждъ безсмысленныхъ, не согрѣтыхъ внутреннимъ смысломъ „мелочей“.

Двадцатипятилѣтніе Пермскаго края со времени отмены крѣпостного права царемъ-освободителемъ, императоромъ Александромъ II. Историко-статистическій очеркъ. Е. И. Красноперовъ. Изданіе пермскаго губернскаго земства. Пермь, 1887. 8°. 204 стр.

Г. Красноперовъ изыскать почетную извѣстность въ ряду писателей, работающихъ въ области истинныхъ изысканій; такимъ образомъ, въ настоящее время случай онъ является особенно компетентнымъ историкомъ Пермскаго края за послѣднія двадцать-пять лѣтъ. Основнымъ фактомъ, который далъ поводъ къ написанію этой исторіи, было освобожденіе крестьянъ. Этому факту, имѣвшему великое значеніе въ исторіи русскаго народа, авторъ придаетъ большое нравственное значеніе для общества. Обозрѣвая пережитое со времени крестьянской реформы, многие увидятъ, какъ мало-по-малу создается общее благо, и это послужитъ поощреніемъ для трудовъ на общественную пользу и ободреніемъ для тѣхъ, кого могутъ терзать сомнѣнія. Авторъ полагаетъ, что успѣхъ, достигнутый послѣ преобразованій, подбуждаетъ и на самыхъ важныхъ реформъ. „Кто знаетъ, быть можетъ, даже и тѣ, кто.. отшатнулся отъ добраго пути, ..и тѣ, увидѣвъ добрые плоды чуждой имъ дѣятельности и осмысленную радость ея сторонниковъ, почувствуютъ если не угрѣшеніе совѣсти, то недоумѣніе, — опустивъ руки, угрожающія подняться на доброе дѣло, если не въ полномъ раскаяніи, то въ смущеніи, въ тревожномъ вопросѣ: — не ошиблись ли мы?“ Съ такою благою надеждою авторъ предпринималъ свой трудъ, въ которомъ рассказываетъ, во-первыхъ, о началѣ и развитіи крѣпостного права (причемъ къ его общей исторіи присоединены факты, относящіеся собственно къ пермскому краю), и, во-вторыхъ, о томъ, какъ за послѣднюю четверть столѣтія, со времени отмены крѣпостного права, измѣнялось общественное и хозяйственное благоустройство, — насколько авторъ могъ изучить это послѣднее по извѣстнымъ ему истиннымъ запискамъ и наблюдѣніямъ. Такимъ образомъ, кромѣ собственно крестьянскаго вопроса останавливается на народонаселеніи по сословіямъ, до и послѣ реформы; на состояніи земледѣлія; на судѣ,

земскій, воинской повинности, народномъ образованіи; на податяхъ и повинностяхъ до и послѣ реформы; на путяхъ сообщенія, торговлѣ и промышленности; на состояніи сельскаго хозяйства и его задачахъ. По всемъ этимъ вопросамъ авторъ старается указывать не только существующіе успѣхи, но и тѣ преграды и опасности, которыя затрудняютъ развитіе общественнаго и хозяйственнаго благосостоянія.

Опытъ статистическаго изслѣдованія о дѣятельности ссудосберегательныхъ товариществъ. Составилъ Н. О. Осиповъ. Спб. 1887. Стр. IV, 150 и 35.

Изслѣдованіе г. Осипова касается спеціально двухъ товариществъ — Большаго-Токманскаго и Ново-Васильевскаго, дѣйствующихъ въ берлинскомъ уездѣ, таврической губерніи. Авторъ обработалъ въ своей книгѣ только часть свѣдѣній, собранныхъ имъ по порученію петербургскаго отдѣленія комитета о сельскихъ ссудосберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ. Трудъ исполненъ, повидимому, добросовѣстно и съ знаніемъ дѣла.

П. Дж. Тотъ. Свойства матерій. Переводъ съ англійскаго, подъ редакціею И. М. Сиченова. Спб., 1887. Стр. 340. Цѣна 2 р. 60 к.

Содержаніе книги профессора Тотъ обнимаетъ общую часть науки, преподаваемой въ англійскихъ университетахъ подъ именемъ „натуральной философіи“. Авторъ подробно разсматриваетъ основныя начала физики, пользуется при этомъ математическими формулами, предполагающими въ читателѣ знакомство съ „элементами алгебры и тригонометріи“. Изд. проф. И. М. Сиченова, подъ редакціею котораго переведена книга, рузается и за достоинствомъ самого сочиненія, и за точностью его перевода.

Учебникъ актинерства для актинерскъ, доктора Шнета, доцентъ старшимъ ординаторомъ Императорскаго Института Фраммингъ. Съ 45 рис. 1887 г. Спб. XII и 367 стр. in 8°.

Подробный, изложенный въ высшей степени систематично и популярно и снабженный многими рисунками, практическій учебникъ Шнета, выдержавшій на русскомъ языкѣ третье изданіе, снабженъ переводчикомъ рядомъ примѣчаній, обязательными правилами обеззараживанія при уходѣ за родильницами и спискомъ статей дѣйствующихъ русскихъ законовъ, а также правительственныхъ распоряженій о повивальныхъ бабкахъ и сельскихъ повитухахъ.

Иллюстрированный Словарь практическихъ свѣдѣній, необходимыхъ въ жизни всякому. Изд. и ред. Л. Симонъ. Вип. 3. Спб. 1887. Стр. 689—816. Ц. 2 р.

Мы имѣли случай не разъ говорить объ этомъ полезномъ изданіи, выполняемомъ съ большою тщательностью и снабженнымъ многочисленными иллюстраціями. Настоящій выпускъ заключается въ себя конецъ буквы М (мало) и останавливается на буквѣ О (обезьяна).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКѢ
НА 1888 г.

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРИИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ.

	Годъ:	Полгода:	Четверть:		Годъ:	Полгода:	Четверть:
Безъ доставки	15 р. 50 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	{ Съ пересылкою	17 р.	8 р. 50 к.	4 р. 25 к.
Съ доставкою	16 „ — „	8 „ — „	4 „ — „	{ За границей . .	19 „	10 „ — „	5 „ — „

Нумеръ журнала, съ доставкою и пересылкою въ Россіи и за границей — 1 р. 50 к.

Книжные магазины пользуются при подпискѣ обычною уступкою.

ПОДПИСКА принимается — въ Петербургѣ: 1) въ Главной Конторѣ журнала „Вѣстникъ Европы“ въ С.-Петербургѣ, на Вас. Остр., 2-я лин., 7; 2) въ ея Отдѣленіи, при книжномъ магазинѣ Э. Мелле, на Невскомъ проспектѣ; — въ Москвѣ: 1) при книжныхъ магазинахъ Н. И. Мамонтова, на Кузнецкомъ Мосту; 2) Н. П. Карбасникова, на Моховой, д. Коха, и 3) въ Конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи. — Иногородные обращаются по почтѣ въ Редакцію журнала: Сиб., Галерная, 20, а лично — въ Главную Контору. Тамъ же принимаются частныя извѣщенія и ОБЪЯВЛЕНІЯ для напечатанія въ журналѣ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Редакція отвѣчаетъ вполнѣ за точную и своевременную доставку городскихъ подписчикамъ Главной Конторы и ея Отдѣленій, а тѣмъ изъ иногороднихъ и иностранныхъ, которые внаемъ подписную сумму по почтѣ въ Редакцію „Вѣстника Европы“, въ Сиб., Галерная, 20, съ сообщеніемъ подробнаго адреса: имя, отчество, фамилія, губернія и уѣздъ, почтовое учрежденіе, гдѣ (NB) допущена выдача журналовъ.

О перемѣнѣ адреса просить извѣщать своевременно и съ указаніемъ прежняго мѣстожителства; при переуѣдѣ адреса изъ городскихъ въ иногороднее доплачивается 1 р. 50 к.; изъ иногороднихъ въ городскіе — 40 коп.; а изъ городскихъ или иногороднихъ въ иностранныя — недостающее до вышеуказанныхъ цѣнъ за границей.

Жалобы высылаются исключительно въ Редакцію, если подписка была сдѣлана въ вышеуказанныхъ мѣстахъ, и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, не позже какъ по полученіи слѣдующаго нумера журнала.

Вслѣдствіе на полученіе журнала высылаются особо тѣмъ изъ иногороднихъ, которые прилагаютъ къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюлевичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:

Сиб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., 2 л., 7.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., Академ. пер., 7.

Digitized by Google

